



# ВАРЛАМ ЦАЛАЛАНОВ



## В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ СОВРЕМЕННОКОВ



ЛИЧНОЕ ИЗДАНИЕ

## **Фотографии на обложке, слева направо**

### **Первый ряд:**

Сергей Неклюдов, Нина Савоева, Юлий Шрейдер, Галина Воронская,  
Борис Лесняк

### **Второй ряд:**

Людмила Зайвая, Александр Солженицын, Ирина Емельянова, Роман  
Гуль, Олег Волков

### **Третий ряд:**

Сергей Григорьянц, Елена Мамучашвили, Вячеслав Вс. Иванов, Ирина  
Сиротинская, Иван Исаев

### **Четвертый ряд:**

Елена Захарова, Александр Морозов, Лилиана Лунгина, Геннадий Ай-  
ги, Михаил Левин



**ВАРЛАМ ШАЛАМОВ  
В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ  
СОВРЕМЕННОКОВ**

*МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ*



Личное издание, 2014



**Варлам Шаламов в свидетельствах современников. Сборник.** –  
Личное издание, 2014.

Издание пятое, дополненное, 2011, 2012, 2013, 2014. 1186 с. PDF

Составление, корректура, предисловия, примечания, статьи без указания автора – Дмитрия Нича

Самый полный и, в сущности, единственный на сегодняшний день свод воспоминаний о Шаламове его современников включая биографические разделы на посвященных Шаламову сайтах. Все материалы имеют отсылки к источнику, т.е. к первоначальной бумажной и/или сетевой публикации.

Размещение сборника допускается только на **некоммерческих сайтах** и должно сопровождаться указанием имени составителя и ссылкой на блог/электронный архив Шаламова «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/>. Любое другое использование требует согласования с авторами мемуаров и составителем сборника – в последнем случае через личное сообщение пользователю **laku-lok** в вышеуказанном блоге.

К тридцатилетию со дня смерти

## Содержание

Предисловие к пятому изданию .....	<u>18</u>
Предисловие к четвертому изданию .....	<u>19</u>
Предисловие к третьему изданию .....	<u>21</u>
Предисловие ко второму изданию .....	<u>22</u>
От составителя .....	<u>23</u>
<b>Геннадий Айги</b> (1982) [1967] .....	<u>26</u>
<b>Лев Аннинский</b> (2013) [1966] .....	<u>32</u>
<b>Борис Биргер</b> (1990) [1967] .....	<u>34</u>
<b>Константин Ваншенкин</b> (2009) [1977] .....	<u>35</u>
<b>Лариса Васильева</b> (2010) [конец 1970-х годов] .....	<u>36</u>
<b>Наталья Васильева</b> (2009) [1956] .....	<u>39</u>
<b>Петр Вегин</b> (2001) [1972, 1976] .....	<u>42</u>
<b>Георгий Владимов</b> (1983, 1996) [1960-е, первая половина] .....	<u>49</u>
<b>Олег Волков</b> (1989) [1960-е – нач. 70-х годов] .....	<u>53</u>
<b>Галина Воронская</b> (1990) [Колыма, 1950-70-е годы] .....	<u>57</u>
<b>Александр Галич</b> (1982) [сер. 1960-х годов] .....	<u>64</u>
<b>Алёна Галич</b> (2010) [сер. 1960-х годов] .....	<u>66</u>
<b>Вита Гельштейн</b> (прибл. 1988) [1965-68] .....	<u>68</u>
<b>Рене Герра</b> (2009) [1968] .....	<u>69</u>
<b>Валентин Гефтер</b> (2011) [1965] .....	<u>71</u>
<b>Александр Гинзбург</b> (1986) [1966] .....	<u>76</u>
<b>Александр Гладков</b> (вторая пол. 1960-х – первая пол. 1970-х) [1966-72] .....	<u>80</u>
<b>Игорь Голомшток</b> (2013) [середина 1960-х, семидесятые] .....	<u>108</u>
<b>Сергей Григорьянц</b> (1999, 2011) [1960-е – нач. 80-х годов] .....	<u>113</u>
<b>Сергей Гродзенский</b> (1990, 2011) [1960-е годы] .....	<u>143</u>
<b>Роман Гуль</b> (1882, 1989) [сер. 1960-х – сер. 1970-х годов] .....	<u>150</u>
<b>Ольга Гуревич</b> (2012) [1980-81] .....	<u>152</u>
<b>Петр Демант</b> (1969-71, 1992) [Колыма] .....	<u>156</u>

<b>Валентина Демидова</b> (2011) [1966-67] .....	<b><u>158</u></b>
<b>Александра Дроздова</b> (2007) [1954-56 гг.] .....	<b><u>165</u></b>
<b>Ирина Емельянова</b> (1997, 2011) [1950-е, вторая половина] .....	<b><u>167</u></b>
<b>Виктор Живов</b> (2012, 2013) [вторая пол. 1960-х] .....	<b><u>189</u></b>
<b>Людмила Зайвая</b> (1996) [1977-1979] .....	<b><u>191</u></b>
<b>Елена Захарова</b> (2002, 2007, 2011) [1980-1982] .....	<b><u>203</u></b>
<b>Светлана Злобина</b> (2012) [1954-1958] .....	<b><u>219</u></b>
<b>Натан Злотников</b> (1987) [1960-70-е годы] .....	<b><u>224</u></b>
<b>Александр Зорин</b> (2007) [1982] .....	<b><u>226</u></b>
<b>Вячеслав Всеволодович Иванов</b> (2000, 2011) [1960-е, вторая половина] .....	<b><u>229</u></b>
<b>Наталья Иванова</b> (2007, 2009) [нач. 1970-х годов] .....	<b><u>238</u></b>
<b>Иван Исаев</b> (1979-1981, 1997) [Колыма, 1960-80-е годы] .....	<b><u>241</u></b>
<b>Анатолий Кабанов</b> (1992) [Колыма] .....	<b><u>253</u></b>
<b>Ирина Каневская</b> (1982) [сер. 1960-х – нач. 70-х] .....	<b><u>255</u></b>
<b>Наталья Киנד</b> (1990) [1960-е, вторая половина] .....	<b><u>261</u></b>
<b>Георгий Коваленко</b> (нач. 1990-х) [1982] .....	<b><u>262</u></b>
<b>Геннадий Красухин</b> (2008-09) [1960-е, вторая половина] .....	<b><u>263</u></b>
<b>Владимир Лакшин</b> (1989) [нач. 1960-х годов] .....	<b><u>267</u></b>
<b>Михаил Левин</b> (2007) [1978 – нач. 79-го] .....	<b><u>268</u></b>
<b>Татьяна Леонова</b> (2006, 2012) [1980-81] .....	<b><u>275</u></b>
<b>Станислав Лесневский</b> (2010) [1968] .....	<b><u>285</u></b>
<b>Борис Лесняк</b> (1998) [Колыма, 1950 – 70-е годы] .....	<b><u>288</u></b>
<b>Елена Лопатина</b> (1994) [конец 1960-х – 70-е годы] .....	<b><u>324</u></b>
<b>Лилиана Лунгина</b> (1999-2000) [1966-1968] .....	<b><u>326</u></b>
<b>Евгения Лысенко</b> (2007) [1966-68] .....	<b><u>328</u></b>
<b>Елена Мамучашвили</b> (1996) [Колыма] .....	<b><u>334</u></b>
<b>Надежда Мандельштам</b> (1965, 1968) [вторая пол. 1960-х] .....	<b><u>345</u></b>
<b>Владимир Мирзоев</b> (2010) [1980-81] .....	<b><u>348</u></b>
<b>Анатолий Михайлов</b> (1974-87, 2010) [1974] .....	<b><u>350</u></b>
<b>Олег Михайлов</b> (2002) [1966 – нач. 70-х годов] .....	<b><u>356</u></b>
<b>Александр Морозов</b> (1981-82) [1980-82] .....	<b><u>372</u></b>
<b>Майя Муравник</b> (2006) [1961-63] .....	<b><u>381</u></b>
<b>Сергей Неклюдов</b> (1994, 2011) [вторая пол. 1950-х – сер. 1960-х] .....	<b><u>385</u></b>
<b>Морис Надо</b> (2008) [1968-69] .....	<b><u>401</u></b>
<b>Лев Озеров</b> (1990-е) [середина 1970-х] .....	<b><u>403</u></b>
<b>Марина Округина</b> (2001) [Колыма] .....	<b><u>405</u></b>
<b>Елена Орехова-Добровольская</b> (1991)	



[Колыма, первая пол. 1950-х] .....	<a href="#"><u>406</u></a>
<b>Раиса Орлова</b> (1984, 1987) [сер. 1960-х, 1970-е годы] .....	<a href="#"><u>413</u></a>
<b>Иван Павлов</b> (2005) [Колыма] .....	<a href="#"><u>417</u></a>
<b>Евгений Пастернак</b> (2012) [вторая пол. 1950-х – нач. 70-х] .....	<a href="#"><u>419</u></a>
<b>Людмила Поликовская</b> (2013) [1968] .....	<a href="#"><u>427</u></a>
<b>Александр Ратнер</b> (1993, 2007) [1979] .....	<a href="#"><u>429</u></a>
<b>Наталья Решетовская</b> (1990) [1962-67] .....	<a href="#"><u>431</u></a>
<b>Нина Савоева</b> (1996, 2009) [Колыма].....	<a href="#"><u>437</u></a>
<b>Григорий Свирский</b> (1998) [сер. 1960-х годов].....	<a href="#"><u>439</u></a>
<b>Анатолий Сенин</b> (1981, 1987) [1981-82] .....	<a href="#"><u>441</u></a>
<b>Алексей Симонов</b> (1999, 2013) [сер. 1950-60-х годов].....	<a href="#"><u>455</u></a>
<b>Ирина Сиротинская</b> (1992, 2007, 2009, 2010) [вторая пол. 1960-х – 1982] .....	<a href="#"><u>460</u></a>
<b>Александр Солженицын</b> (1972-1999) [1960-е, первая половина] .....	<a href="#"><u>476</u></a>
<b>Федот Сучков</b> (1988) [первая пол. 1960-х, нач. 1980-х] .....	<a href="#"><u>492</u></a>
<b>Евгений Федоров</b> (1990) [1960-70-е годы] .....	<a href="#"><u>499</u></a>
<b>Светлана Федюшкина</b> (2013) [1968-71] .....	<a href="#"><u>504</u></a>
<b>Юрий Фрейдин</b> (2012) [вторая пол. 1960-х] .....	<a href="#"><u>506</u></a>
<b>Александр Храбровицкий</b> (1983) [вторая половина 1960-х – 1979] .....	<a href="#"><u>508</u></a>
<b>Лидия Чуковская</b> (1965 – 1995) [сер. 1960-х – 1970-е].....	<a href="#"><u>512</u></a>
<b>Олег Чухонцев</b> (1994, 2012) [1968] .....	<a href="#"><u>516</u></a>
<b>Павел Шабанов</b> (2007) [1979-81] .....	<a href="#"><u>519</u></a>
<b>Виктория Швейцер</b> (2008) [1966-68] .....	<a href="#"><u>523</u></a>
<b>Юлий Шрейдер</b> (1989, 1993, 1999) [вторая пол. 1960-х – конец 70-х годов] .....	<a href="#"><u>525</u></a>
<b>Воспоминания о Шаламове жителей поселка Туркмен</b> (1993, 2014) [1954-56] .....	<a href="#"><u>533</u></a>
<i>Анонимные свидетельства</i>	
<b>Доктор К.</b> (Амаяк Абрамянц, 2002) [1980] .....	<a href="#"><u>539</u></a>
<b>Сотрудницы редакций</b> (Ирина Полянская, 1995) [1960-е годы] .....	<a href="#"><u>541</u></a>
<b>Медсестра из дома престарелых</b> (Александра Свиридова, 1992) [1979-81] .....	<a href="#"><u>543</u></a>
<b>«Бродячий актер»</b> (журнал «Посев», 1972) [Колыма].....	<a href="#"><u>545</u></a>
<i>Точечные свидетельства о Шаламове</i> .....	<a href="#"><u>547</u></a>

---

<b>Конспект послелагерной биографии Варлама Шаламова</b> .....	<b><u>554</u></b>
--	-------------------

## **МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ**

<i>От составителя. Открытое письмо российским шаламоведам (комментарий к статье Марка Головизнина о первых зарубежных изданиях «Колымских рассказов»)</i> .....	<b><u>589</u></b>
---	-------------------

<b>Прижизненные издания «Колымских рассказов» в переводах</b> .....	<b><u>591</u></b>
---	-------------------

Письмо Шаламова немецкому издателю «Колымских рассказов», 1968 год

«Колымские рассказы» на итальянском в издательстве Савелли, 1976

Пьеро Синатти. О прижизненных изданиях «Колымских рассказов» в Италии. Шаламов и Примо Леви

«Колымские рассказы» на французском в издательстве Масперо, 1980-82 гг.

Николя Милетич о Шаламове и издателе Франсуа Масперо

Шаламов на польской сцене в годы военного положения

Игорь Голомшток. Шаламов у англоязычных, середина семидесятых

Джон Глэд. Судьба «Колымских рассказов» в англоязычной Америке, начало восьмидесятых

Джон Глэд об изданиях и переводах Шаламова в Америке

Хронология прижизненных изданий сборников «Колымских рассказов»

<b>Шаламов в «тамиздате» на русском</b> .....	<b><u>616</u></b>
---	-------------------

«Колымские рассказы» в «Новом журнале»

Редакционное примечание к публикациям КР в «Новом журнале»

Марина Адамович. Роман Гуль, Шаламов и «Новый журнал»

Георгий Адамович о «Колымских рассказах», 1967

«Колымские рассказы» в журнале «Грани», 1970. Шаламов и Солженицын

Рукописи очерков из антиромана «Вишера» на Западе в 1970 году

Первая критическая статья о «Колымских рассказах», Михаил Геллер, 1974

Мои маргиналии к статье Михаила Геллера «Полюс лютости»

Юрий Мальцев. О «Колымских рассказах» Варлама Шаламова, 1976

Первая книга прозы Шаламова на русском, 1978

Анджей Стипульковский, первый издатель сборника «Колымских рассказов» на русском

Виолетта Иверни. Первая журнальная рецензия на «Колымские рассказы», журнал «Континент», 1979

15 стихотворений Шаламова в журнале «Вестник РХД», 1981

Вторая книга прозы Шаламова на русском, 1985

Марк Альтшуллер, Елена Дрыжакова. «Мученик колымского ада (В. Шаламов)», 1985

Необходимый комментарий к статье Альтшуллера и Дрыжаковой «Мученик колымского ада»

Совершенно неисследованный вопрос. Шаламов на «вражеских головах», 1960-80-е годы

Объем прозы Шаламова, изданной на Западе на русском до 1989 года

## **Блокада (СССР и русская эмиграция) .....700**

Ответ Шаламову издательства «Советский писатель», ноябрь 1963

Ирина Некрасова. О «внутренних рецензиях» на «Колымские рассказы»

«Колымские рассказы» у Твардовского, 60-е годы

Шаламов и его связная Ирина Каневская

Личность Ирины Каневской

Никита Струве и «список-68». По следу слизня

Идеологическая диверсия. Солженицын в русских эмигрантских журналах, 1968

Альманах «Мосты». «Лагерная литература» без Варлама Шаламова, 1968

Место издательства «Посев» в блокаде Шаламова, 1970

Прижизненная критика прозы Шаламова на русском Западе

Шаламов в советской «Краткой литературной энциклопедии», 1975

Случай «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана, 1970-е годы

Первый комментарий к комментарию Ирины Сиротинской

О трупоедах. Шаламов в журнале «Вестник РХД», №137 [III-IV], 1982

Ирина Сиротинская. Шаламов и Запад

## **Вологда и Москва двадцатых годов .....747**

Екатерина Сигорская. О Шаламове в юности

Первый сексуальный опыт Шаламова  
«Шаламовский дом» в Вологде, 1930-50-е годы  
Шаламов в Московском университете, 1926-28 гг.

**Вишера** ..... **753**

Где должна быть установлена памятная доска Шаламову в Соликамске?

Шаламовская «Вишера» и исторические реалии

Андрей Шимкевич и Шаламов. «Не веришь – прими за сказку»

**Колыма** ..... **762**

Олег Максимов. Колыма, в аркагалинской химической лаборатории  
Евгения Гинзбург. Нина Савоева, главврач больницы для заключенных  
в Беличьей

Михаил Миндлин. О главвраче лагерной больницы Нине Савоевой

«Шерри-бренди». Как из басен возникает литература

Юрий Давыдов. Шаламов о смерти Бориса Савинкова

Воспоминания колымских медиков о Шаламове

Мария Ночнова. Воспоминания о Георгии Демидове и Центральной  
лагерной больнице для заключенных в поселке Дебин

Александр Козлов. О медиках-персонажах «Колымских рассказов»

О персонаже одного рассказа Шаламова

Начальник прииска «Партизан». О документальности «Колымских  
рассказов»

Александр Городницкий. Стихи Шаламова в ленинградской студии в  
1947 году?

Об одном неопознанном колымчанине

Юрий Шапиро. Колыма после Шаламова

Петр Демант. Суд над Аркадием Добровольским, пос. Ягодное, 1957

Еще об Андрее Максимовиче Пантюхове

**101-й километр** ..... **806**

Туркмен и Озерки, среда обитания

**Самиздатское собрание сочинений Шаламова, авторская редак-  
ция, 1965/66-68 гг.** ..... **808**

Самиздатское собрание сочинений Шаламова в архиве Леонида Пинского

Самиздатское собрание сочинений Шаламова в Русском архиве, Бремен. Том «Воскрешение лиственницы»

Второй комментарий к комментарий Ирины Сиротинской



В качестве резюме. Первое издание «Колымских рассказов» на русском, 1965/66-68 гг. Украденные возможности  
Первые издания «Колымских тетрадей» на русском, середина 60-х годов  
Самиздатский авторский двухтомник «Колымских тетрадей», 1966  
Цикл «Синяя тетрадь», «Колымские тетради», первое издание, 1966  
Цикл «Сумка почтальона», «Колымские тетради», первое издание, 1966  
Цикл «Лично и доверительно», «Колымские тетради», первое издание, 1966  
Цикл «Златые горы», «Колымские тетради», первое издание, 1966  
Цикл «Кипрей», «Колымские тетради», первое издание, 1966  
Цикл «Высокие широты», «Колымские тетради», первое издание, 1966

### **Эволюция корпуса «Колымских рассказов» .....[898](#)**

Варлам Шаламов. Предисловие к сборнику «Колымские рассказы», 1965 год  
Промежуточное звено. Самиздатский сборник «Колымских рассказов», начало 1965 года  
Еще одна самиздатская книга колымской прозы Шаламова, май-июнь 1965  
Сборник «Колымские рассказы», подготовленный для издания книгой на Западе, лето 1965 года. Процесс Синявского и Даниэля  
Попытка реконструкции списка КР, переданного Шаламовым в Америку в 1966 году  
Первая подборка рассказов из сборника «Перчатка или КР-2», «Новый мир», 1989  
Что такое сборник «Перчатка или КР-2»?  
Неопределенность датировок Сиротинской

### **Ирина Сиротинская в судьбе Шаламова .....[933](#)**

Ирина Сиротинская о себе  
Павел Нерлер. Сиротинская в погоне за Мандельштамом  
Ирина Сиротинская. «Поход за рукописями», с добавлениями и комментарием составителя  
Сиротинская и Лидия Перова  
Завещательное распоряжение Шаламова, 4 апреля 1969 г.  
Судьба завещания Шаламова от 1969 года  
Забота Ирины Сиротинской о Шаламове, 1979-1982  
Корреспонденция Шаламова после помещения его в богадельню  
Виктория Швейцер. ЦГАЛИ времен Шаламова и Сиротинской  
Так все-таки, был Шаламов в «спецхране» или нет? Да, был!

Что охраняем, то и имеем

**Шаламовская послелазгерная Москва: события, среда, быт .....[970](#)**

Дом Шаламова на Хорошевокой, 10, Москва

Борис Слуцкий. Из рецензии на поэтический сборник «Огниво», 1961

Владимир Колобов. Поэзия: Анатолий Жигулин, Шаламов и Солженицын. Середина шестидесятых

Впечатления от Шаламова на вечере памяти Мандельштама, мехмат МГУ, 1965

Еще одна нить, связывающая Шаламова с Мандельштамом

Шаламов – Юрию Лотману, 1967

Шаламов – Юрию Лотману от Надежды Мандельштам, 1967

Шаламов – Александру Морозову, 1967

Сказка о Шаламове-нелюдимае

Процесс Синяевского и Даниэля. «Письмо старому другу» Шаламова и комментарий к нему Валерия Есипова

Александра Раскина. Шаламов и Фрида Вигдорова

Сергей Заграевский. Шаламов и семья Моисея Авербаха

Людмила Мазур-Пинская. Шаламов и Леонид Пинский

Еще пара предосудительных знакомств Шаламова

Вера Клюева и Шаламов

Наталья Кинд и Шаламов

Людмила Зайвая. О Шаламове и Наталье Кинд

В. А. Баскина. Шаламов и Наталья Кинд

Шаламов и столичный культурный слой, мозаика

Юрий Давыдов. Судьба Бруно Лопатина-Барта

Об одном неустановленном адресате Шаламова

Анатолий Королев. Шаламов как вечный ээка

Дом Шаламова на Васильевской, 2

Совковая плесень

Подборки стихов Шаламова в журнале «Юность», 1969, 1971, 1973, 1976 гг.

Шаламов-переводчик

Поэзия Шаламова в зеркале советской сатиры

Владимир Бондаренко. Шаламов и Станислав Куняев

Марина Тарковская. Арсений Тарковский и Шаламов

Владимир Десятников. Шаламов и Солженицын в «Дневнике русского человека»

Татьяна Бек о Шаламове

Петр Старчик о Шаламове в старости

Валерий Шубинский. Юрий Трифионов, Шаламов и Солженицын

<b>Переписка Шаламова, не вошедшая в семитомное собрание сочинений, 2013</b> .....	<b><a href="#">1020</a></b>
Письма Елене Лопатиной, 1966-1975	
Другие письма и записки Шаламова и его адресатов	
Неопубликованная переписка Шаламова	
<b>Поднадзорный</b> .....	<b><a href="#">1026</a></b>
Из справки-ориентировки госбезопасности	
Шаламов под надзором ГБ	
Когда будут открыты материалы КГБ по Шаламову? Никогда!	
<b>Шаламов в советском самиздате</b> .....	<b><a href="#">1032</a></b>
«Колымские рассказы» в советском самиздате	
Самиздатские списки КР из архива Международного Мемориала	
«Колымские тетради» в самиздате в восьмидесятих годах	
<b>Письмо в «Литературную газету», 1972</b> .....	<b><a href="#">1037</a></b>
Подлинная история «Письма в ЛГ»	
Петр Якир. Открытое письмо Варламу Шаламову	
Сергей Заграевский. Моисей Авербах и «Письмо в ЛГ»	
Михаил Геллер о «Письме в ЛГ» в польском журнале «Культура», Париж, 1972	
Ответ журнала «Посев» «Литературной газете», 1972. Лев Рар	
Ответ журнала «Посев» «Литературной газете», 1972. Аноним	
С. Горянов. Открытое письмо Варламу Шаламову, журнал «Посев»	
Вокруг шаламовского «Письма в ЛГ»	
Шаламов, Булат Окуджава и «письма в ЛГ»	
<b>«Премия Свободы»</b> .....	<b><a href="#">1063</a></b>
Премия Свободы французского ПЕН-Клуба	
Еще о Премии Свободы и ее лауреате Варламе Шаламове	
Шаламов на обложке журнала «Посев», 1981	
Что такое «Премия Свободы французского ПЕН-Клуба»?	
<b>Дом престарелых, психушка, смерть</b> .....	<b><a href="#">1073</a></b>
Багаж Шаламова при переезде в дом престарелых	
Дом престарелых в Тушино	
Михаил Айзенберг. О Шаламове и Александре Морозове	
Шаламов в доме престарелых, фотографии	
О Татьяне Николаевой, опекавшей Шаламова в богадельне, 1980 год	

Татьяна Уманская о Шаламове  
Андрей Высокосов. Путь Шаламова в психбольницу  
Здание бывшей психбольницы, где умер Шаламов  
Хроника последних дней Шаламова  
Отпевание Шаламова в церкви  
Андрей Бессмертный о похоронах Шаламова  
Кто именно отпевал, хоронил и поминал Шаламова?  
Глеб Панфилов и Андрей Тарковский. Два режиссера о Солженицыне  
и Шаламове в беседе на исходе 1982 года  
Как выглядела могила Шаламова в восьмидесятые годы?

**Некрологи тех и других ..... [1095](#)**

Сообщение в «Литературной газете» о смерти Шаламова  
Сергей Григорьянц. «Прощальное слово», 1982  
Некролог в газете «Русская мысль» и журнале «Континент»  
«Памяти В. Шаламова», журнал «Вестник РХД», №136, 1982  
Михаил Геллер и Семен Мирский. Поминальное слово о Шаламове.  
Радио Свобода, 1982  
Густав Герлинг-Грудзинский. «Клеймо. Последний колымский рас-  
сказ», 1982

**Архив, библиография ..... [1116](#)**

Фонд Шаламова в РГАЛИ, Москва  
Материалы по Шаламову в других фондах РГАЛИ  
Рукописи Шаламова и списки его творений за рубежом. Краткий обзор  
Материалы по Шаламову в архиве Михаила Геллера, Франция  
Папка с первыми «колымскими» стихами Шаламова у Леона Траубе в  
Бремене  
О судьбе «списка-66» и перспективах на будущее  
Александра Свиридова, Ирина Сиротинская. Послесловие к переписке  
Шаламова с Солженицыным  
Библиография советских журнальных подборок стихов Шаламова,  
1950-70 гг.  
«Наливаются кровью аорты...». Неизвестная статья Шаламова, шести-  
десятые годы  
Рассказ Шаламова «Исландская сага»  
Вводное слово Михаила Геллера к «Краткому жизнеописанию Варла-  
ма Шаламова, составленному им самим»  
Ложь как принцип. Библиография в собрании сочинений Шаламова  
Отсутствующий том собрания сочинений Шаламова



**Разное** .....[1151](#)

Борис Гудзь, чекист и доносчик  
Александра Свиридова. Вокруг Шаламова

**Несколько слов о «Колымских рассказах». От составителя**.....[1157](#)

«Почерк». Три версии одного сюжета  
Четвертая версия того же загадочного сюжета  
«Инжектор», ареал распространения  
«Колымские рассказы» как изнанка «Архипелага ГУЛАГ»  
Неопровержимость литературы  
Составленный мной сборник избранной прозы Шаламова

**Посвящается Шаламову** ..... [1175](#)

Михаил Поздняев  
Валерий Петровиченков  
Герман (Грейнем) Ратгауз  
Виталий Амурский  
Геннадий Айги  
Владимир Герцик  
Юрий Айхенвальд  
Евгения Изварина  
Михаил Немцев



## Предисловие к пятому изданию

За бортом предыдущего издания осталось слишком много материала, поэтому, как бы ни утомило меня это занятие, приходится делать пятое, завершающее.

Добавил свидетельства Игоря Голомштока, Раисы Орловой, Людмилы Поликовской, жителей поселка Туркмен и дополнил уже имеющиеся в сборнике воспоминания Ивана Исаева, Алены Галич, Бориса Лесняка и некоторых других.

Значительно расширен раздел «Материалы к биографии». До сих пор нет электронной версии некролога и двух писем о похоронах Шаламова, опубликованных в газете «Новое русское слово», Нью-Йорк, 20 января и 7 марта 1982 года, для меня эти номера недоступны.

«Конспект послелагерной биографии Варлама Шаламова» заменен свежей, более полной версией.

Хочу напомнить, что цель сборника – не ответить на вопросы, а поставить их.

Моя просьба указывать на неточности на протяжении четырех предыдущих выпусков игнорировалась, так что никаких претензий по этому поводу не принимаю. Над книгой я работал один, без советов и консультаций.

Все необходимое сказано в предисловиях в предыдущим изданиям; там же, а также в статьях сборника, выражена благодарность всем, кто помогал мне в сборе материала.

*Февраль 2014*



## Предисловие к четвертому изданию

Перед читателем четвертое и, надеюсь, последнее издание сборника воспоминаний о Шаламове современников и материалов к его биографии. Добавил свидетельства Александра Храбровицкого, Александра Гладкова, Александра Гинзбурга, Валентина Гефтера, Ларисы Васильевой и других, некоторые мемуары дополнены. На публикацию нескольких свидетельств, данных в частной переписке, я либо не получил разрешения, либо получил на условиях, делающих ее невозможной.

По сравнению с предыдущим изданием объем сборника увеличился почти вдвое и перевалил за тысячу страниц. Упаковать сотни материалов в электронную книгу оказалось сложно, кроме прочего, чисто технически. У меня имелась дизайнерская основа в формате doc для первого, еще небольшого издания, при увеличении объема содержимого втрое она начинает трещать по швам, а навыками профессиональной компьютерной верстки я не владею. Особую трудность представляла вставка в текст фотографий, преимущественно сканов машинописных и журнальных страниц – читатель должен отчетливо видеть, что там написано, а это требует соответствующего размера. В каждом случае я выкручивался, как мог, тем не менее, несколько страниц сборника заполнены лишь частично – уменьшить размер фотографии было нельзя, а механически переносить следующий за ней текст в пробел означало нарушить элементарную логику изложения. В бумажных книгах проблема решается вклейками с иллюстрациями, как она решается в электронной книге, не знаю. Так что приношу свои извинения за некоторую очевидную кустарность изделия, в конце концов, это «самиздат».

Раздел «Материалы к биографии» занимает почти половину сборника, на сей раз потребовалось хоть как-то его структурировать, что я и сделал. Я организовал статьи тематически и хронологически, хотя некоторые из них вполне могут быть перенесены в другой подраздел. Ориентиром для читателя в море представленной информации должен служить «Конспект послелагерной биографии Варлама Шаламова» в последней, августовской версии, помещенный как раз на стыке разделов воспоминаний и материалов к биографии. Это своего рода опорный столб всей конструкции.

В первых изданиях я почти не давал комментариев к мемуарам, со временем стал это делать и чем дальше, тем больше. Упреждаю этим пояснением вопрос, почему воспоминания, скажем, Бориса Лесняка не прокомментированы, а дневник Александра Гладкова сопровождаются обильными примечаниями.

Сборник делался в течение почти двух лет, это итог своего рода «работы в движении», поэтому в каких-то статьях составителя могут встречаться не замеченные мной анахронизмы – о чем-то уже известном говорится как о неизвестном или предполагаемом. Релевантным в таких случаях будет более позднее.

Содержание материалов сборника ограничено почти исключительно годами жизни Шаламова. Все, что относится к последующему периоду вплоть до современности, можно найти в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/>. На компоновку этого в свою очередь гигантского массива информации в отдельную электронную книгу, что следовало бы сделать, моих сил и энтузиазма уже не хватит.

Позволил себе включить в сборник несколько страниц собственных соображений о природе «Колымских рассказов».

И наконец, хотя сборник сугубо документальный, завершаю его небольшой подборкой стихов, посвященных Шаламову. Ибо стихи – это высшее, чего может удостоиться человек.

Выражаю благодарность всем, кто помогал мне в работе, их имена названы в предисловии к третьему изданию и в тексте сборника.

*Август 2013*





## **Предисловие к третьему изданию**

Я ошибался, полагая, что объем свидетельств очевидцев почти исчерпан. Третье издание сборника дополнено мемуарами Натана Злотникова, Светланы Злобиной, Алексея Симонова, Мориса Надо, Ольги Гуревич и еще полудюжины человек. Практика показывает, что даже сегодня не поздно найти и опросить людей, знавших Шаламова или обстоятельства его жизни. На публикацию одного из имеющихся у меня свидетельств, данного в личной переписке, я не получил разрешения. Расширены воспоминания Валентины Демидовой и Сергея Неклюдова. Введен подраздел «Точечные свидетельства о Шаламове». Значительно расширен раздел «Материалы к биографии».

Моя глубокая благодарность оформителю сборника Игорю Генину, модератору блога «Варлам Шаламов и концентрационный мир» Наталье Сегеде и всем, кто откликнулся на мои просьбы поделиться воспоминаниями о Шаламове или сведениями о связанных с ним событиях. Благодарю филолога Михаила Юрьевича Михеева за действенную помощь в заполнении белых пятен шаламовской биографии.

*Ноябрь 2012*



## **Предисловие ко второму изданию**

Второе издание сборника дополнено мемуарами Ирины Каневской, Анатолия Сенина, Сергея Гродзенского, Натальи Решетовской и других знавших Шаламова или сталкивавшихся с ним людей. Воспоминания Сергея Неклюдова, Ирины Емельяновой, Валентины Демидовой, Геннадия Красухина и других расширены за счет новых материалов.

Дополнен раздел «Материалы к биографии». Сборник практически исчерпывает опубликованные свидетельства о Шаламове и наглядно демонстрирует их скудость и недостаточность. О свидетельствах имеющих, но неопубликованных и потому недоступных сказано во вступлении к первому изданию. По мнению составителя, необходима срочная и целенаправленная работа по сбору воспоминаний о Шаламове немалого числа еще живых и здравствующих его современников.

*Апрель 2012*



## От составителя

Этот сборник – побочный продукт моей работы в блоге, посвященном Шаламову, и над биографическим очерком, который я назвал «Московский рассказ». Необходимые мне свидетельства современников о Шаламове оказались рассыпаны по десяткам сайтов и блогов, некоторые из которых почти неизвестны и, соответственно, чрезвычайно малодоступны. Я решил, что было бы неплохо собрать их все под одной виртуальной обложкой. Понятно, что этот сборник не полон и, тем более, на научность не претендует, но на сегодняшний день это самый полный свод воспоминаний о Шаламове его современников, существующий в бумажном или электронном виде.

Здесь практически все, имеющееся в Сети, исключая книжку Сиротинской «Мой друг Варлам Шаламов» (2006), удостоившуюся отдельного издания. Считаясь с масштабом такого явления как Шаламов, это, конечно, удручающе мало, но сколько уж есть. К тем, кому известны еще какие-нибудь воспоминания современников о Шаламове, просьба информировать о них в блоге, посвященном писателю, «Варлам Шаламов и концентрационный мир»

[http://community.livejournal.com/ru\\_prichal\\_ada/](http://community.livejournal.com/ru_prichal_ada/)

Сборник составлен без какой-либо цензуры. Примером такой цензуры воспоминаний о Шаламове служит сайт shalamov.ru, который бракует неподходящее мало того что из идеологических соображений, так еще исходя из личных пристрастий курировавшей ресурс и мыслившей категориями различного рода допусков распорядительницы шаламовского наследия Ирины Сиротинской, причем в качестве критерия ценности и достоверности берется именно ее беспомощный, полный суесловия и недобросовестный мемуар. Формулируется это так: «На сайт отбираются только те сочинения, которые представляют историческую ценность и достоверность которых в достаточной степени подтверждена другими источниками. О проблеме достоверности воспоминаний о Шаламове подробнее читайте в статье Ирины Сиротинской «Нет мемуаров, есть мемуаристы...», – упомянутая статья – один из тенденциозных довесков к ее сочинению. В результате на сайте нет и едва ли появятся воспоминания о Шаламове Бориса Лесняка, Нины Савоевой, Сергея Григорьянца, Татьяны Леоновой, Анатолия Михайлова, Ирины Каневской и других неугодных. Ценнейшее интервью «Общей газете» Людмилы Зайвой (1996), давно предлагавшееся

для размещения на сайте оцифровавшим его энтузиастом Андреем Параничевым, было выложено только в 2011 году, после смерти невлюбившей ее Сиротинской, причем, что характерно, без объявления в новостной ленте. Электронная версия письма французского издателя Мориса Надо российскому историку Марку Головизнину, в котором неоспоримо засвидетельствован факт передачи Шаламовым списка «Колымских рассказов» для издания книгой в парижском издательстве «Les Lettres Nouvelles», что и было сделано в 1968 году, выложена не на сайте, а в моем блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир».

В сборнике отсутствуют следующие важные, но недоступные для меня материалы:

Воспоминания колымских медиков, работавших с Шаламовым в Центральной лагерной больнице для заключенных в поселке Дебин на Колыме. Согласно сообщению «Медицинской газеты», их записал будущий главврач этой больницы, ныне противотуберкулезного диспансера, Георгий Гончаров.

Воспоминания диссидента Александра Гинзбурга об участии Шаламова «Письмом старому другу» в неподцензурном сборнике по делу Синявского и Даниэля, опубликованные в газете «Русская мысль» за 1986 год.

Очерк известного советского фантаста и автора «Норильских рассказов» Сергея Снегова (Штейна) о знакомстве с Шаламовым в начале шестидесятых. О наличии этого мемуара в неразобранном архиве ее отца я узнал сначала от дочери Снегова Татьяны Ленской, а позже нашел подтверждение в ее интервью, данном газете «Комсомольская правда» 30 октября 2008 года: «Еще есть неизданные рассказы о встречах отца с Анной Ахматовой, Александром Твардовским, Константином Симоновым и Варламом Шаламовым».

Во второй части книги помещены материалы, касающиеся различных аспектов шаламовской биографии.

В Содержании рядом с фамилией автора мемуаров (наиболее значительные выделены цветом – и не только свидетельства) в обычных скобках дается год их написания или публикации, а в квадратных – период жизни Шаламова, о котором повествуется. Каждый материал сопровождается кратчайшей справкой о его авторе.

Все материалы имеют отсылки к источнику, т.е. первоначальной публикации в бумажном или в электронном виде. Возможны, конечно, ошибки, кто заметит – извещайте, исправлю.

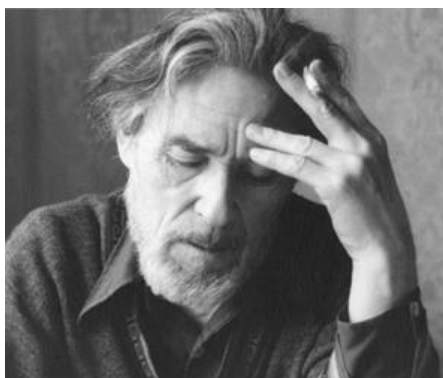
В некоторых материалах опущены пространные рассуждения, имеющие отношение не к биографии Шаламова, а к другим, далеким от нее темам. Желающий может пройти по ссылке и прочесть материал целиком.

Сборник посвящен тридцатилетию со дня смерти Шаламова.

Дмитрий Нич

*Ноябрь 2011*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small loop in the middle.



**Геннадий Айги**

***Один вечер с Шаламовым***

(Послесловие к подборке стихов)

Впервые я прочел Шаламова летом 1965 года. Я сидел один в пустом подвале моего друга-художника, на столе оказалась кипа машинописных листов. Я стал читать, – это был «Зеленый прокурор» Варлама Шаламова.

Я не люблю слова «потрясен», – слишком часто мы его произносим. Со мной происходило нечто иное: какая-то тяжелая, могучая поступь вошла в пространство, в меня, в судьбу... Мощные, небывалые в русской прозе нашего времени, шаги Большой Прозы.

Я никогда не любил бойкую, дробную, эффектную прозу, начавшуюся в русской литературе новейшего времени с Андрея Белого (как правильно заметил Борис Пастернак), с его нарциссически-гениальной прозы (уникальность которой требует особого подхода, вне зависимости от ее последствий). Я равнодушен к «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова, для меня это – «литература» (в смысле: «все прочее – литература»), не люблю прозу Набокова (которая так и останется для меня «бенгальским огнем»; к «Лолите» я отношусь, «как положено»). До знакомства с «Котлованом» Андрея Платонова (произведением, ставящим его автора, на мой взгляд, в один ряд с Джойсом, Селином и Кафкой), я не мог знать, что «эффекты» его стиля были мучительным нащупыванием нового, гениального пути автора в русской словесности.

Мне чувствовалось, что в «Зеленом прокуроре» проглядывает какая-то особая, не бывшая до сих пор большая форма прозы (не роман, не исследование, не повесть... – некое крупное абстрагированно-чистое соответствие «нероманной» трагедии времени).

Летом 1967 года я написал стихотворение «Степень: остоики», посвященное В. Т. Шаламову (остоики, здесь, – производное от морского

термина «стойчивость»). В декабре 1967 года мне позвонил мой ближайший друг К. П. Богатырев: «Приезжай вечером к Рожанским, сегодня у них будет твой любимый писатель».

Я до сих пор глубоко благодарен И. Д. Рожанскому и Н. В. Кинд, в квартире которых мне довелось провести долгий вечер с Варламом Шаламовым, – это была моя единственная встреча с ним.

Вечер для всех нас был очень трудный. Время от времени мы умолкали, как в присутствии «кого-то» – Вышедшего-из-Ада... – иначе не скажешь.

Я не раз замечал, что бывшие зеки, обычно, в первые же минуты знакомства, сразу «узнают» друг друга и вступают в свой особый, несколько табуизированный для других, «контакт».

Константин Богатырев, очень общительный «вообще», скромно и деликатно, но все же по-зековски попробовал заговорить со старшим зеком. Шаламов мгновенно дал знать (каким-то необъяснимым образом: не было ни жеста, ни взгляда, ни слова), что такой разговор невозможен. (В оцепенении-безмолвии, как будто воздвиглись молчания-«слова»: «я оттуда, где вы не были»).

Иван Дмитриевич Рожанский предложил В. Шаламову записать его чтение на магнитофон. Шаламов охотно согласился: он хотел прочесть стихи. Раздались два-три тихих голоса: «Не прочли бы Вы Вашу прозу». Варлам Тихонович прочел один рассказ, я не запомнил, какой. И вот по какой причине (да простится мне, что я должен говорить такое), – во время его чтения произошло нечто, еще более усилившее общую оцепенелость: писатель вдруг зажестикублировал как-то «дергано», перешел на скороговорку... – и... – видимо, лучше не определять наше впечатление, не рассуждать, в какой «дошедшести» может быть такой «язык», в отличие от общепринятого.

Варлам Тихонович почувствовал наше оцепенение: он бросил мгновенный антрицитово-твердый взгляд и быстро овладел собой, – перед нами снова был стройный, артистичный человек с легкими движениями, руки его были не «почти», а просто изящны (многие, впервые увидевшие писателя при отпевании его в храме Николы на Кузнецких, с удивлением отмечали потом красоту его рук).

Позволю сказать себе прямо («так, как было»): в тот вечер во мне стояла все та же тяжелая поступь, услышанная мною в незабываемом «Зеленом прокуроре».

Я (помнится, в два «приема») попытался сказать Варламу Тихоновичу о давнем своем впечатлении от этого произведения и вообще – от его прозы. Он молчал. Потом сказал коротко и без какой-либо интона-

ции: «Я всю жизнь думал о прозе и знаю, что форму для своих вещей я нашел».

Тут вежливо вступил в разговор Константин Петрович Богатырев. «У Вас в рассказе сказано: «4 километра». Скажите, пожалуйста, не было ли в реальности чуть-чуть иначе: например, 3 или 5 километров?».

– Если я сказал «4», значит, 4 и было, – ответил Шаламов, – во всем, что я написал, все было так, как описано.

Константин спросил у Шаламова, как он относится к «Доктору Живаго».

Снова был краткий и безынтонационный ответ:

– «Охранная грамота», «Детство Люверс», «Повесть» – гениальные произведения. Такая проза бывает один раз в двести лет.

Эти три момента на вечере с Шаламовым я привожу потому, что они, на мой взгляд, свидетельствуют, что Шаламов, несмотря на несколько преувеличенное отношение к своим стихам, давно и хорошо сознавал, чего он добивался в своей прозе.

Начиная с 1965 года, мне приходилось слышать от весьма вдумчивых людей, хорошо знающих словесное искусство, что проза Шаламова – это просто «фактографические вещи», чуть ли не «очерки». Я старался доказывать им, что за такой «фактографической прозой» стоит большой Поэт и большой Художник, что почти каждая его вещь пронизана специфически-поэтическим видением и мышлением большого мастера, – пронизана, как мощным светом, без какой-либо спекулятивной туманности. (Вспомним хотя бы его любимый стланник, уже не ветками, а трагическими лучами прорастающий сквозь все его творчество; вспомним графит, которым отмечены не только зарубки на деревьях и бирки на ногах покойных зеков, но уже и наши души, и наша память, и наше изменившееся представление об «эстетическом»...)

Один из моих друзей полностью согласился с моими мнениями о Шаламове-художнике лишь после 17-летнего спора, когда он в едином большом томе прочел все колымские рассказы, – прав оказался Варлам Тихонович, когда он трагически протестовал против разрозненных публикаций его произведений.

Первым об этой трагичности сказал Михаил Геллер, которому русская литература обязана бережным и наиболее полным изданием прозы Шаламова. Из литературных исследователей самую достойную оценку произведениям Варлама Шаламова, по моему мнению, дал до сих пор только Андрей Синявский в потрясающем выступлении по радио летом 1981 года.



Думая о прозе Шаламова, я вспоминал одно из моих давних впечатлений от Кафки. Случилось так, что с самыми первыми его рассказами я познакомился уже после того, когда прочел все, что было издано из его произведений (включая письма, «Дневники») во французском переводе. Сперва я был разочарован этими рассказами, столь явно проглядывали в них искусственные, «гофмановские» приемы, – ранний Кафка «вымучивал» свои вещи, чтобы передать нечто «мистически»-существенное.

Однако, именно эти ранние вещи писателя «показали» мне, с каким огромным мучительным трудом Кафка пришел к простоте нового языка, к чуду этой простоты, творившей самые таинственные и самые существенные произведения эпохи.

Думаю, что такой простоты по-своему добился и Варлам Шаламов. Ни в чьем творчестве трагическое в новейшей истории народа не выражено языком, соответствующим высоте этого трагического так, как в великом Томе автора «колымских рассказов».

В течение вечера, проведенного с Варламом Тихоновичем, несколько раз приходило мне в голову известное изречение об «умерших для жизни при жизни». И я весь был поглощен наблюдением за художником-Шаламовым. Дальнейшее показало, что поэт, даже «Вышедший-из-Ада», остается с одной слабостью: живое в нем есть – по отношению к Поэзии. Я сказал Варламу Тихоновичу, что у меня есть стихотворение, посвященное ему. Этим он живо заинтересовался. Сразу же предупредив, что «наши встречи необязательны», он сказал, что за стихотворением для него обратится ко мне его знакомая И. С. [Ирина Сиротинская – прим. автора]. Живой интерес Варлама Тихоновича к обещанному стихотворению продолжался, – я не мог сразу же встретиться с И. С., и она мне звонила несколько раз: «Варлам Тихонович снова напоминает». Я хотел, чтобы мое стихотворение, посвященное Шаламову, было прочтено им среди ряда других моих вещей, – так сказать, в контексте моей поэтики, – все же, весьма отличавшейся от тогдашнего «общепринятого» поэтического языка.

После получения машинописной книги моих стихов ответ Шаламова был очень быстрым. Он передал мне через И. С. свой стихотворный сборник «Дорога и судьба» с дарственной надписью: «Поэту Геннадию Лисину (моя старая фамилия – Г. А.) с глубокой симпатией. Я не верю в свободный стих, но в поэзию – верю! В. Шаламов. Москва. Январь 1968».

Недосказанное в надписи было сообщено мне, от имени автора, при встрече с И. С.: «Я не верю в свободный стих. Никогда не думал, что

это может быть поэзией, – раза два повторил Шаламов, – но странно: вот, свободные стихи – а настоящая поэзия».

Поблагодарив за посвященное ему стихотворение, он просил передать мне дословно: «Обо мне писали много, стихи, есть даже песня. Ничто из них мне не нравится. Это стихотворение – лучшее, написанное обо мне, единственное, верно соответствующее мне и моему творчеству».

В тот вечер от Рожанских, уже в полночь, мы уехали вместе. В передней Варлам Тихонович долго мучился «надеванием» пальто: левую руку старался засунуть в рукав правой рукой, уже «одетой». Я сделал движение, чтобы помочь ему. Шаламов мгновенно остановил меня твердым, почти жестким взглядом.

Тем более я был крайне удивлен, когда он, прощаясь, вдруг наклонился и «кiziaщным» (иначе не скажешь) движением быстро взял руку моей молодой спутницы, поднес ее к губам («Всего Вам доброго») и столь же быстро нас оставил.

Мои связи с Варламом Тихоновичем продолжались через И. С. Он несколько раз передавал мне для чтения новые – заключительные – страницы «Колымских рассказов». Однажды, заметив, что в рассказах писателя встречаются ничтожные погрешности (повторение одной и той же фразы в двух разных рассказах; упоминание первого лица, где-то в одной и той же вещи, как третьего), я осмелился сказать автору через И. С., что нужна бы «ничего не стоящая» редактура, что, если автор согласен, таковую, при огромном уважении к нему, я мог бы взять и на себя.

Ответ был краток (но, в передаче И. С., не «безынтонационный», а горестный): «Мне это безразлично. Это мелочи. Потом разберутся. Главное для меня – успеть рассказать правду, не известную никому в мире».

Под огромным влиянием творчества Шаламова я находился около пятнадцати лет. Образы и «мотивы», возникавшие под воздействием трагического духа его произведений, варьировались в ряде моих стихотворений в течение всего этого времени.

10 марта 1982

Опубликовано в журнале «Вестник РСХД», Париж, 1982, N 137.  
Сетевая версия на сайте литературного альманаха «Опушка»  
[http://www.opushka.spb.ru/text/aigi\\_komment.shtml#sn11](http://www.opushka.spb.ru/text/aigi_komment.shtml#sn11)

*Геннадий Николаевич Айги (Лисин) (1934-2006), поэт, один из лидеров послевоенного советского авангарда, деятель чувашского национального возрождения*





## Лев Аннинский

### *Шаламовская несознанка*

Десятилетия лагерных сроков оставили на его лице несмываемые упрямые борозды. В облике поражала статность. И еще – при рукопожатии – каменная сила огромной ладони, сохранившаяся у человека под шестьдесят.

Шаламов приносил свои стихи к нам в редакцию журнала «Знамя»; стихи принимались, публиковались.

Потрясение было впереди. По рукам вдруг пошли машинописные листочки с «Колымскими рассказами». Мне дали их на ночь: запретный самиздат.

Чтение меня ошеломило – отчаянием любви к людям, обреченным на зверскую беспощадность. Шаламов очередной раз появился в редакции и, как всегда, здороваясь, пожал мне руку.

– Варлам Тихонович! – произнес я, срываясь от волнения. – Я... прочел ваши рассказы...

И тут он обрезал меня ясным, яростным возгласом:

– Не писал!

Эта мгновенная реакция обожгла меня: я почувствовал финал допроса и тихо отошел, боясь, что он возненавидит меня за мою оплошность.

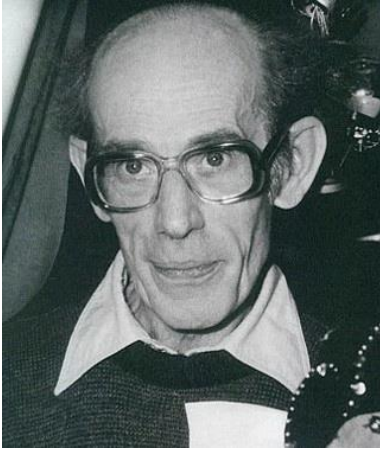
Последующие встречи удостоверили меня в его полной ко мне дружелюбности. Естественно, о рассказах я больше не заикался.

А вот звенит и теперь в памяти как финальный аккорд великого колымского цикла – яростный возглас, подключающий человеческое бессилие к запредельному напряжению судьбы, которая выносит приговор: писать. Или не писать.

Опубликовано в журнале «Юность», 2013, № 3 (686), электронная версия в номере журнала <http://unost.org/2013/3.pdf>

*Лев Александрович Аннинский (род. 1934), советский и российский литературный критик, литературовед. В журнале «Знамя» работал с 1960 по 1967 гг.*





## **Борис Биргер**

«В 1967 году я попросил попозировать Варлама Тихоновича Шаламова, с которым я познакомился у Н. Я. Мандельштам. [...]

Передо мной сидел человек страшной, нечеловечески страшной судьбы. Я хотел написать в трагической манере – но разве это слово из лексикона классического театра и литературы может хоть сколько-нибудь обозначить двадцать лет ада, в котором находился автор «Колымских рассказов»? А ведь он

вернулся из ада более человечным, чем я, проживший благополучную жизнь... Какое мне было дело во время работы над портретом, что нужно и что не нужно двадцатому веку? Оставить на портрете хоть частичку его судьбы, его души – вот что было важно.

К сожалению, мои возможности были тогда еще очень ограничены – портрет Варлама Тихоновича – это только подход к психологическому портрету».

Из воспоминаний «Мне всегда хотелось писать свет», опубликовано в журнале «Семья и школа», записала Л. Осипова, 1990. Сетевая версия на сайте Кругозор [http://www.krugozor.org/boris\\_birger\\_p6.html](http://www.krugozor.org/boris_birger_p6.html)

*Борис Георгиевич Биргер (1923-2001), художник-портретист, рисовавший столичную либеральную и творческую интеллигенцию, эмигрировал в Германию*





### **Константин Ваншенкин**

«Еще за двадцать лет до возникновения Солженицынской премии, т.е. в 1977 году, я сидел как-то в так называемом Пестром зале ресторана ЦДЛ с двумя приятелями и вдруг увидел, что к нашему столику (ко мне!) подходит своей затрудненной, как бы несколько затрудненной походкой незнакомый со мной Варлам Тихонович Шаламов (я встал) и вручает мне книжку стихов «Точка кипения» («Советский писатель», 1977) с дарственной

надписью, сделанной тоже затрудненным, как и походка, корявым почерком.

Она начиналась: «Константину Яковлевичу Ваншенкину – автор», а кончалась словами: «за золотое перо. В. Шаламов. Москва. 14 июня 1977».

И знаете, о чем я думаю сейчас, держа шаламовскую книжку в руках? А ведь эта оценка – тоже великого писателя и страдальца – не слабее, чем бывала у Александра Исаевича. Здесь, правда, нет денежного эквивалента, но, может быть, в чистом виде это действует даже сильнее. И знаете, что еще? В большинстве солженицынских присуждений в качестве обоснования присутствует и гражданская, политическая составляющая. Здесь – только художественная».

Из статьи «В мое время», журнал «Знамя», №9, 2009. Сетевая версия на сайте Журнальный зал

<http://magazines.russ.ru/znamia/2009/9/va9.html>

*Константин Яковлевич Ваншенкин (1925-2012), поэт, прозаик, поэт-песенник*





## Лариса Васильева

Отрывок из книги Ларисы Васильевой «Душа Вологды: книга воспоминаний, пониманий, познаний, ожиданий», Вологда: Книжное наследие, 2010. Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»

<http://ru-prichal-ada.livejournal.com/205117.html>

---

Его нельзя не заметить. Лицо мудреца, мыслителя, философа. Морщины много пережившего человека, глубокие, продольные. Глаза с невыразимым словами, необыкновенным взглядом.

Познакомилась с ним в Доме литераторов, о котором все, ещё оставшиеся жить, вспоминают сегодня, как о волшебно-прекрасном мире, похожем на нечто напоминающее дворец золотого века Перикла, где никто из нас не бывал. Ни к чему не обязывающие три встречи. Запомнились все.

«Варлам Шаламов – крупный поэт» – говорили о нём. Почувствовала его необыкновенность сразу. Знаю немногих, в ком поэт внешним обликом заслонял человека. Это не связано с известностью. Даже с мерой таланта – как его измеришь? Глаза – зеркала души, выражают – что?

Среди поэтов моего поколения могу назвать лишь немногих «поэтов на вид». Со взором не то, чтобы горящим, а... Трудно определить, но попробую. Это взор, направленный не на собеседника, а сквозь него. В небо? И в то же время, глядящий в себя самого. [...]

Повторяю, *такой* взгляд не определяет силу таланта. Не есть признак безумия. Напротив – отстранённость от внешнего безумного мира, погруженность в нездешний. [...]



Помню отчетливо, у Варлама Тихоновича Шаламова *такой* взгляд был. Он дал мне понять, что Шаламов ощущает Богоприсутствие, чувствует Небеса. [...]

Сидя напротив Варлама Тихоновича за столиком в кафе Дома литераторов, я почему-то чувствовала себя виноватой. Перед ним? Нет, вообще виноватой, что молодая, здоровая, весёлая, а он старый, больной, грустный. Хотелось сделать для него хорошее. Разумеется, он ничего не просил. Помалкивал, глядя своим *таким* взглядом сквозь меня.

К нам подошёл известный поэт. Поздоровался. Что-то сказал. Заботливая жена увела мужа. Варлам Тихонович, посмотрев им вслед, сказал:

– Хороший поэт. Тоже «сидел».

Удивилась, не зная подробностей биографии этого поэта. А Варлам Тихонович усмехнулся.

– Мы, лагерники, отлично узнаём друг друга. [...]

В Варламе Шаламове бывшего лагерника я, конечно, не увидела. Сама там не была. Тюремного опыта узнавания не имела. Усмотрела другое: Шаламов – человек «из бывших». При скромном облике и блёклой одежде Варлама Тихоновича, в нём было нечто отлично видное и слышное в речи. Как будто чей-то сынок из царского времени, хотя о своём происхождении он со мной не говорил. Много лет спустя, оказавшись на центральной Кремлевской площади Вологды, где с видом на одноименную с городом реку слева стоит двухэтажный особняк, я узнала: в нём прошло детство Варлама Шаламова. Теперь там его музей. Впрочем, быть сынком и быть при этом счастливчиком, баловнем – не есть одно и то же. Жизнь семьи из дома окнами на вологодский Кремль, была разной в разные времена, но, думаю, порода ощущалась в Шаламове неизменно, где бы он ни находился.

В конце семидесятых я стала главным редактором альманаха «День поэзии». Встретив в Доме литераторов Варлама Тихоновича, попросила у него стихи для альманаха.

– Сейчас я наблюдаю, как вашего внимания добиваются толпы желающих попасть в альманах, а ко мне вы сами подходите. За что такая честь?

На эту любезную «провокацию» я не поддавалась. Пропустила мимо ушей. Повторила просьбу.

– Спасибо. Не усложняйте себе жизнь. С моими сочинениями у вас могут быть сложности.

– Не те времена, – возразила я, – даже Гумилева пытаюсь напечатать.

– Слышал. Правильно. Ахматова вам за это спасибо сказала бы. Не одна она.

«Прозорливый, – подумала я. – Откуда ему знать, что желая порадовать, пусть даже на Том Свете, любимую Анну Андреевну, я затеяла публикацию стихотворений Николая Степановича Гумилева. Его имя у Советской власти тогда было не под запретом, но под неразрешением. Хотелось мне в альманахе блеснуть смелостью.

Увы. Опубликовать стихи Николая Гумилева в альманахе «День поэзии» не удалось. Варлам Шаламов своих стихотворений не дал, хотя между нами было условлено, если он решит, то оставит конверт «под лампой, слева при входе в Дом литераторов».

Жалела я, что нет в обоих моих «Днях поэзии» стихотворений Варлама Тихоновича. Это тоже было бы смело. В моём литературном поколении разрешенная до определённых границ смелость становилась чертой характера. Если кто-то нарушал границу, его предупреждали. Тихо, но твёрдо. Через цензуру. А иногда громко. Для того работали литературные критики. Думаю, если бы Советская власть вела себя мудрее и деликатнее с религией и культурой, иные были бы у неё сегодня результаты.

Более Варлам Шаламов мне не встречался.

*Лариса Николаевна Васильева (Кучеренко) (род. 1935), поэтесса, мемуарист, автор многочисленных сборников стихов и нескольких книг воспоминаний и публицистики, общественный деятель*





## Наталья Васильева

Летом 1956-го года судьба занесла меня в дачный посёлок Переделкино. Не помню, как называлась та деревня, что находилась недалеко от дач знаменитых писателей. Здесь моя тётя, московская писательница Евгения Николаевна Анучина снимала две комнаты в одном из домов. [...] Тётя моя сняла дачу в компании со своими замечательными подружками.

Одна из них – Ольга Сергеевна Неклюдова. Маленькая женщина, зеленоглазая, со вздернутым носиком, всегда серьёзная, как будто чем-то озабоченная. На фоне моей тётки и другой своей подруги – Ольги Ивинской (той самой, которую воспел Борис Пастернак), белокурых и голубоглазых, неотразимо обаятельных щебетуний, хохотушек, не перестающих шутить и в дни невзгод, Ольга Сергеевна была практически незаметна, но мы все любили её за бесконечную доброту, умение оказаться рядом с тем, кто в её помощи нуждается. Когда-то в Елабуге она была рядом с Мариной Цветаевой в последние дни жизни поэтессы. В 1956-м таким человеком оказался Варлам Шаламов. Он приехал из лагерей в Переделкино, поближе к Пастернаку, на помощь которого, я думаю, рассчитывал. Ещё не было его «Колымских рассказов», и моя тётя, смеясь, говорила по поводу его стихов: «А-а...», – и махала рукой. И только Ольга Сергеевна отнеслась к нему со вниманием, приютила его, стала ему другом, женой. Правда, союз этот был недолгим. Шаламов очень часто заговаривал со мной. Ему, я думаю, было забавно наблюдать за дочерью Павла Васильева, так похожей на своего отца («Пашка в ангельском виде» – так говорили обо мне папины знакомые) и в то же время так далёкой от его творчества (я училась в МАИ, и вся дачная колония сочувственно говорила: «Наташа – инженер»). А мне это сочувствие было непонятно и смешно). И вот одна-

жды Варлам Тихонович прочитал мне строки из знаменитого стихотворения «Стихи в честь Натальи». Оно уже ходило по Москве в машинописном варианте, но те строки, которые прочёл мне Шаламов, были пропущены, и он об этом знал:

– А в июне в первые недели,  
По стране весёлое веселье,  
И стране нет дела до трухи.  
Слышишь, звон прекрасный возникает –  
Это петь невеста начинает,  
Пробуют гитару женихи.  
А гитары под вечер речисты,  
Чем не парни наши трактористы:  
Мыты-бриты, кепки набекрень.  
Слава, слава счастью, жизни слава,  
Ты кольцо из рук моих, забава,  
Вместо обручального надень...

Прочитав, Шаламов спросил меня, как я думаю – чьи это стихи. Что я могла сказать ему в своём невежестве, выпускница школы 1951 года. В памяти крутились «Молоткастый, серпастый...», «Встала ты под пытку Татьяной...», симоновское «Жди меня»..., – всё остальное было запрещено, нас спасли тогда Пушкин и Лермонтов, слава Богу, разрешённые. Я робко спросила: «Это Ваши стихи?». Варлам Тихонович от неожиданности аж поперхнулся и сказал: «Запомни, Наташа! Такие стихи мог написать один человек на свете – твой отец!».

Из воспоминаний, опубликованных на сайте музейного работника Галины Ивановой <http://www.esenin.ryazan.ru/2.html>

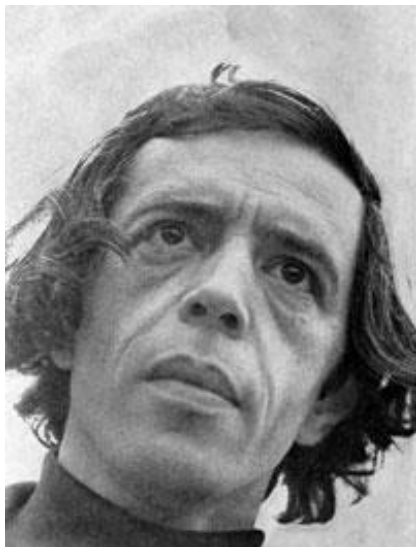
---

«Он [отец] был наделён редким даром среди писателей – даром живой народной речи. Многие его соратники по перу: Борис Пастернак, Варлам Шаламов, Александр Гатов – говорили мне об этом лично».

Наталья Васильева на встрече со студентами Рязанского университета, ноябрь 2013, с сайта рязанской газеты «Родной город» <http://proryazan.com/2013/11/12/doch-repressirovannogo-poeta-rasskazala-studentam-rgu-ob-otce/>

*Наталья Павловна Васильева-Фурман (род. 1933), дочь от первого брака расстрелянного в 37-м году поэта Павла Васильева, инженер, организатор ежегодных Васильевских чтений в Рязани*





## Петр Вегин

### *Горький человек*

Тот, кто взял себе псевдоним «Максим Горький», прожил хотя и не бесхитростную, но достаточно сладкую жизнь. За этот дуализм и наказала его судьба, приняв жуткий облик Сталина, насильственной смертью. Но так или иначе, а причислить его к горьким людям никак не возможно, особенно если вы встречали в жизни действительно горьких людей.

Я знал их несколько, и может быть, самый горький из них –

Варлам Тихонович Шаламов.

...Он широко распахнул дверь – принес стихи в «День поэзии». Они все были напечатаны, но я не о стихах – никогда прежде и никогда после я не встречал людей, так открывающих двери – рывком, во всю дверную фрамугу, не наполовину, чего было вполне достаточно, чтобы войти, а так, что даже волна воздуха обдала! Движения его были непривычно резки и притом лаконичны. Я еще не знал тогда, что у него – начальная стадия болезни Паркинсона, и о самой этой болезни ничегошеньки не слышал. И до того не имел чести быть знакомым с Варламом Тихоновичем, знал его только издали, а он протянул мне уже подписанный сборник стихов «Московские облака» – широким жестом, со словами: «Мне Слуцкий сказал, что с вами можно...» И многозначительно сжал губы, как бы проглатывая мякиш недовершенной фразы...

Кто не знает – пусть узнает, а кто знает, пусть лишний раз вспомнит: Варламу Тихоновичу советская власть задолжала восемнадцать лет жизни. Колыма, золотые прииски, бухта Нагаево, прииск «Партизан», Черное озеро, Аркагала, Джелгала... За то, что назвал Бунина великим русским писателем, – десять лет! Голод, побои, холод, унижения, каждый день рука об руку со смертью... Как же после такого ожидают люди?!

Он брал жизнь горстями, большой рукой вологодского мужика. До самой последней минуты своей жизни – в интернате, куда его засунул

Литфонд в 1979 году и где он скончался, сидя в платяном фанерном шкафу, 17 января 1982 года... До этой последней минуты он писал за поем, когда уже не мог писать – диктовал стихи...

К нему, вскоре после его возвращения в Москву, приходил Солженицын – уговаривал вместе писать «Архипелаг ГУЛАГ». Но Шаламову нужно было написать свое...

Он жил на Беговой. Мы встретились в троллейбусе.

– Пойдем ко мне! Если вы никуда не спешите...

Да если бы я даже и спешил, я немедленно перестал бы спешить!

В комнате его было много книг, много папок – очевидно с рукописями. Варлам Тихонович соорудил какой-то чай из трав.

– Согреемся!

Дело было зимой, а зиму он ох как не любил!

Наверное, уже один вид снега, даже нашего московского, нежного, вызывал в его памяти те жуткие снеги, безжалостно заметавшие жизнь многих его товарищей.

– Хотите почитать?

Я сначала не понял вопроса, подумал, что стихи почитать, смутился.

Он заметил.

– Прозу мою почитать... Хотите?

Тогда еще мало кто, кроме близких ему людей, знал о существовании «Колымских рассказов». Он положил передо мной две или три толстые папки и сам развязал тесемки на первой... Я читал, а он пил чай. Потом я читал уже сквозь неудержимые слезы, а он пил чай. Потом я уже был не в силах читать, и он сказал:

– Ну, тогда еще чайку на дорожку!..

Мои домашние, когда я пришел, были удивлены не моим долгим отсутствием, а моим видом.

– Что с тобой случилось? Ты заболел?!

Я ответил отрицательно и спросил водки. К счастью, у тещи хранилась непочатая бутылка. Но ни жена, ни теща не могли понять, в чем дело. Я разом выпил большую рюмку и начал пересказывать им то, что я несколько часов назад прочитал. Я рассказывал, а теща наливала. Уже всем. Потом пришлось сбежать еще. И никто не пьянел...

Несколько дней я не мог спать, передо мной стояло лицо Варлама Тихоновича, и я никак не мог перевести в реальность, что это я пил чай, слышал и прикасался к человеку, который вернулся из советского ада.

...Анатолий Жигулин сел еще мальчишкой, студентом, кажется в шестнадцать лет. Мы подружались с ним еще в провинциальные вре-

мена – воронежские поэты приехали в гости к нам, ростовчанам, а потом мы нанесли ответный визит. У Толи тогда только что вышла едва ли не первая книжка стихов – «Костер-человек». Лагерная книжка, так неразумно потерянная мной в моих частых кочевьях по жизни.

После лагерей Толя часто болел, даже спустя много лет. Однажды он решил попроситься в творческую командировку – захотел проехаться по лагерным местам, где он сидел.

– Только я один не смогу, страшно мне, боюсь запить... Поехали со мной вместе.

Понимая, какая это будет жуткая поездка, я все же согласился. Секретариат правления утвердил нам творческие командировки, оставалось только получить деньги и заказать билеты.

– Давай перед поездкой сходим к Варламу Тихоновичу, – предложил Толя. – Может, он что-то захочет передать той земле...

Ничего не захотел передать Варлам Тихонович. Только посмотрел на Толю грустно-грустно и неожиданно резко, до самого пола, поклонился.

– Поклон мой передай...

Ночью я прокручивал в воображении и все ужасы, которые предстояло увидеть, и возможные Толины срывы...

Утром позвонила Ира, его жена:

– Петя, извини, никакой поездки не будет. Толя ночью запил. Он не выдержит этого путешествия, он там умрет...

Через некоторое время у меня написалось стихотворение «Заполярные кладбища». С посвящением В.Т. Шаламову, в числе других стихов я отнес их в «Новый мир», где заведующим отделом поэзии был Евгений Винокуров, мой старший друг. Прочитав стихи, он многозначительно кашлянул и сказал:

– Это нужно, обязательно... Попробуем... Сейчас Сережа (Наровчатов, главный редактор журнала. – П.В.) надолго уедет, и я зашла в набор. А там посмотрим – может, и проскочит...

Проскочило! В июльском номере «Нового мира» (за 1976 год. – П.В.) вышла подборка моих стихов под общим названием «Зимняя почта». Были в той подборке и «Заполярные кладбища», но без посвящения Шаламову.

– Женя, как же так? Ведь в верстке было и посвящение, я же вычитывал... И ты сам радовался...

– А ты тоже радуйся, что вообще прошло, – ответил всегда жующий во время телефонных разговоров Винокуров. – Хотя, может, и рано радоваться... здесь уже нашлись доброхоты... настучали Наровчатову по телефону...



Как в воду смотрел Винокуров! Через некоторое время вернулся из поездки Наровчатов, пригласил меня к себе в кабинет и, хмурия густые брови, прогудел:

– Что ж это ты, брат, подсовываешь журналу? Подводишь, понимаешь ли, меня... В ЦК очень недовольны этой публикацией... Я же – твой крестный отец, а ты... Ладно, держись.

И здесь я не выдержал и спросил Наровчатова:

– Сергей Сергеевич, а вы – неужели «зарубили» бы? Неужели и вы против правды? Да и что там такого ужасного, в этом стихотворении? Да вас же самого сколько резали, сколько...

– Ладно, ладно, – неожиданно подобрев, улыбнулся Наровчатов своей замечательной улыбкой, – только ты не знаешь, что значит стоять «на ковре» в ЦК перед... перед... – Он не договорил, но было понятно – перед кем. – Вообще, молодец. Но готовься к неприятностям!

Я ходил, боясь встретиться Шаламова. Хотя он и не знал ничего о снятом посвящении.

Спустя пару недель после выхода «Нового мира» стихотворение было прочитано по одному из «вражеских голосов» – то ли по радио «Свобода», то ли по «Немецкой волне». Я сам не слышал, но десятки людей прожужжали мне уши об этом, добавляя, что к стихам был *такой* комментарий...

Втайне этим можно было гордиться, но я уже знал по примеру старших моих товарищей, чем кончаются такие игры.

В конце года секретариат Союза писателей устроил обсуждение журнала «Новый мир». Я был приглашен в числе немногочисленных авторов. Очень старательно шпыняли Михаила Рощина за его новую прозу, делали отбивную из Наровчатова за публикацию эссе Марины Цветаевой «Сонечка» и наконец попросили меня оценить свою публикацию.

Я решил валять дурачка, хотя и ежу было понятно, что акция – идеологическая.

– Я получил несколько писем от читателей, – ответил я, – много устных отзывов... Всем публикация очень нравится, мне это дорого...

– И «Заполярные кладбища»? – возопил кто-то из верховных жрецов Союза. – И эта политическая порнография тоже нравится? Вы знаете, какую чепуху вы мелете? Вы подвели вашего старшего товарища – Сергея Сергеевича Наровчатова! Нам что – каждые полгода менять редактора «Нового мира»? Вы – идеологический провокатор, внутранный эмигрант...

Наровчатов сидел свесив когда-то буйную, кудрявую голову, и бледность его на фоне государственно красной скатерти была так похожа на заполярные снега...

– Я прошу не оскорблять мое гражданское достоинство! – вспыхнул я. – Кто вам дал право называть меня идеологическим провокаторм и...

Миша Рошин тихонько дернул меня за рукав.

Кончилось тем, что секретариат вынес постановление, в котором журналу вменялась в вину политическая близорукость, позволившая появление в печати таких малохудожественных произведений, как публикации Цветаевой и Рошина, а также идеологически вредной поэзии Петра Вегина, которую уже использовали наши враги в одной из своих радиопередач.

И здесь я понял – что это за формулировочка. И Миша Рошин очень вовремя заметил и шепотком сказал мне: «Хороший подарок ко дню рождения Иосифа Виссарионовича!» А дело было именно накануне какой-то годовщины Рябого. И здесь я взбесился:

– Товарищ Марков! Георгий Мокеевич! – рванул я к первому секретарю. – Я прошу внести в ваше постановление существенное для меня уточнение! Если вы считаете идеологически вредным это стихотворение, то это не значит, что такова вся моя поэзия. Вы понимаете, какой будет резонанс, если через пару дней в «Литературке» будет напечатано такое? Да еще придется на день рождения Сталина!

Марков побагровел, помолчал и обратился к «вождям»:

– Мне кажется, товарищ Вегин прав. Он поэт лирический, и мы не вправе ставить клеймо на всю его работу...

Мы вышли с Рошиным из особняка Ростовых, и я обнял его. Сзади подошел, хрустя снегом, Наровчатов:

– Ну, парень... Считай, что ты воскрес. Раньше бы тебя... – И, махнув рукой, пошел к своей черной «Волге».

Двадцать первого декабря в «Литературной газете» на первой странице появилось постановление Союза писателей СССР о журнале «Новые мир» – идеологически вредным там называлось только одно мое стихотворение – «Заполярные кладбища».

Крест за крестом,  
крест за крестом –  
не сосчитать упрямому.  
Как будто вышивка крестом,  
по снегу домотканому.

Уткнись в треух, сожми кулак.  
У слова – сила мстителя.  
Зачем вы так, за что вы так  
людей и снег обидели?

Мы не заплачем, мы пойдем  
январскою известочкой...  
А где не вышито крестом,  
там вышито все звездочкой...

Русофилы и черносотенцы смотрели на меня после этого как на некую недобитую мерзость, из двух журналов прислали стихи обратно, а стоящие, все понимающие люди подходили и многозначительно пожимали руку. Как легко быть героем в сумасшедшем доме – достаточно написать одно стихотворение, не вмещающееся в неандертальское сознание партии...

Снег был пушистый, медленный, мягкий. Я шел домой по улице Горького и, не доходя памятника Юрию Долгорукому, издали увидел человека, заметно возвышающегося над толпой и машущего мне рукой. Это был Варлам Тихонович. Я не знал, что делать. Он подошел и, здороваясь, резко протянул свою руку, как будто вставил ее в мою.

– Молодец, молодец! – прижал он меня к себе. – Я все знаю, все знаю. Не смущайся, что сняли посвящение, не твоя вина. Спасибо, спасибо... «Зачем вы так, за что вы так людей и снег обидели?..»

Я готов был заплакать – от стыда, от этой неожиданной встречи, от его слов.

Я и сейчас недалеко от слез, потому что мне по прошествии многих лет и многих бед, отдаливших те дни, бесконечно стыдно перед Богом, перед всеми на земле, перед дочерью и перед снегом, что моя родина, мой народ могли допустить, позволить смогли, чтобы самых чистых, самых достойных, талантливых и умных гноили на вечной мерзлоте, травили собаками, унижали голодом, вдавливали в смерть то светлое, доброе и умное, что несли в себе эти горькие люди. И никакие монументы жертвам сталинизма, никакие признания ошибок и перегибов не смягчат этого заливающего всю душу стыда, покуда не покается и не повинится вся страна, произнеся священную клятву о том, что этого никогда больше не будет. Ведь очистились в своем покаянии немцы после фашизма, обрели человеческое достоинство, создали новую, прекрасную страну.

Неужто не найдет в себе духа Россия стать на колени перед тенью Варлама Тихоновича Шаламова и всех других горьких людей и не попросит в молчаливом, земном поклоне прощения?

«За что вы так...»

Из книги Вегина «Опрокинутый Олимп. Записки шестидесятника», М. Центрполиграф, 2001. Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/187550.html>

*Пётр Викторович Вегин (Мнацаканян) (1939—2007), поэт, художник, мемуарист, в конце восьмидесятых годов переехал в США, где работал преподавателем, журналистом, редактором. Автор полутора десятков стихотворных сборников*





## Георгий Владимов

### *Скребущая песчинка общественной совести*

«Предлагаю вашему вниманию запись тех вопросов, которые были заданы Георгию Владимову в Бостоне и его ответы на них.

*Ирина Муравьева*

### Вопрос о публикации посмертных дневников Варлама Шаламова в «Знамени».

Я хочу вас ввести в курс дела, так как суть вопроса такова – как я отношусь к критике Солженицына в этой публикации. Шаламов в своих записях несколько раз нападает на Солженицына, обвиняя его в спекуляции и нечестности, в жизни по лжи.

Я имел честь быть знакомым с Варламом Тихоновичем Шаламовым, когда работал в «Новом мире» – единственном журнале, куда Шаламов мог прийти, где он был желанным гостем, хотя мы не напечатали ни одной его строчки. Он приходил и приносил нам по рассказу в неделю из своего знаменитого колымского цикла без всякой надежды, что его напечатают. Еще до «Ивана Денисовича» я благодаря ему уже имел полное представление о том, что такое лагерь и что такое архипелаг Гулаг.

Для меня появление «Ивана Денисовича» не было ошеломительным. Я уже все это знал. После съезда Твардовский возымел желание напечатать что-то о лагерях. И сказал, что хорошо бы иметь такое произведение. Солженицын пишет, что он этот зов услышал и решил дать «Ивана Денисовича». Мы тогда с Алексеем Кондратовым [Кондратовичем – в шестидесятые годы заместителем Твардовского как главного редактора – прим. составителя] предложили Твардовскому рассказы Шаламова. Но Твардовский очень увлекся уже повестью Солженицына и решил печатать ее. У него были здравые, на мой взгляд, основания. Он сказал, что нужно такое произведение, которое объяснит тем,

которые ничего об этом не знают, что такое лагерь. Он говорил, что нужен путеводитель по лагерю, чтобы сложилось такое полное представление о лагере. А таким путеводителем оказался «Иван Денисович». Эта вещь дает полное представление о том, что и как. Если же мы берем Шаламова, то нужно прочитать очень много рассказов, чтобы сложилось такое полное впечатление. Да, это очень сильная литература. В ней есть ледяное дыхание Колымы. Существует цензура, – говорил Твардовский, – и цензура обязательно выгрызет что-то из того, что предложим мы. Выгрызет обязательно так, что все запутается и все станет непонятным.

Вещь Солженицына прогремела, принесла ему мировую славу, а бедный Варлам Тихонович так и не дождался увидеть свою книгу напечатанной на родине. Он, если я не ошибаюсь, увидел свою книгу, изданную на Западе, но, кажется, он уже не мог оценить случившееся по достоинству, потому что это было совсем незадолго до его смерти. Это печальная и страшная судьба. И вот человек этой судьбы бросает свой упрек собрату, жизнь которого прошла лучше. Обвиняет его в отходе от каких-то принципов, в спекуляции, что он свое заключение превратил в какой-то товар.

Мне в связи с этим вспомнилась статья Дмитрия Писарева «Популяризаторы отрицательных доктрин», где он говорит о двух типах человеческого поведения. Говорит он о Джорджано Бруно, которому был прямой расчет идти на костер, потому что никаких других доказательств собственной правоты у него не было. Обыватель, видя, что какой-то человек пошел в пламя за свои убеждения, понимает, что наверное, что-то в этих убеждениях есть – не идут же на такую страшную смерть просто так. У Галилея же такой необходимости не было. Публика уже верила не столько клятвам, сколько научным доказательствам. Так что Галилей мог сказать, что земля не вертится и тут же, если верить легенде в других обстоятельствах, сказать, что она все-таки вертится. Сам он продлил свой век и высвободил себе время для научных занятий. И от этого, в конце концов, выиграл. Далее Писарев пишет о Вольтере, у которого, как он говорит, был некоторый «чичиковский элемент». Но при всем том, что тот был такой вроде боец, он был еще и замечательный проныра. Он переписывался со всеми монархами Европы, получал деньги, призы, ордена, но все же ни у одного монарха не возникло мысли о том, что они могли бы подкупить Вольтера, то есть заставить его отступить от своих убеждений. Так что сравнивая между собой путь Солженицына и путь Шаламова, я вижу, что один из них гибельный, тупиковый, но предельно честный, благородный, вызывающий к себе огромное уважение, а другой путь

победительный, хотя при этом, может быть, где-то оказалась нарушена нравственность.

Я никого не осуждаю, но я при этом все-таки говорю, что когда выбираешь свой путь, то не надо своих соотечественников призывать жить не по лжи. Жизнь по-моему не может существовать безо лжи совершенно, даже животный мир без нее не обходится. Когда птица уводит собаку от гнезда, она притворяется полудохлой. Это есть ложь, но благородная ложь, ложь во спасение, вот как я к этому отношусь. [...]

### Почему у меня не сложились отношения с журналом «Грани».

Отвечаю: журнал «Грани» принадлежит НТС, Народно-Трудовому Союзу, и я пришел к выводу, что это организация чрезвычайно подозрительная, вредная и бывшая в использовании по борьбе с демократическим движением. Есть разные мнения: одно то, что если бы эта организация не существовала, то КГБ ее бы придумал, и другое мнение, что КГБ ее и придумал, то есть это филиал КГБ на Западе. С помощью НТС многие люди были осуждены. Вот, скажем, знаменитое дело Красина и Якира. Их ведь раскололи только на том, что они были связаны с НТС. Им грозила шестьдесят четвертая статья, предусматривающая высшую меру, на этом они и сломались. Ни с какой другой организацией угроза такого наказания бы не прошла. А про НТС было известно, что они в свое время сотрудничали с гитлеровцами.

Из России мне виделась совсем другая картина: какая маленькая это организация и как трогательно она сражается с Комитетом Государственной Безопасности и все такое. Но приехав на Запад, я понял, что КГБ должен пылинки сдувать с этой организации, потому что она очень помогает в его делах.

Что касается чисто деловых отношений журнала «Грани» и издательства «Посев», то вели они себя со мной очень грязно, присваивали себе мои гонорары еще когда я жил в России и преследовался за связь с НТС. Выяснилось это поздно, когда прошло более десяти лет, а вы знаете, что срок хранения документов и истекает за десять лет, о чем они меня с большой радостью и известили».

Из интервью Георгия Владимова, опубликовано в ежеквартальнике «Время и мы», Нью-Йорк – Москва – Иерусалим, №133, 1996. Сетевая версия здесь

[http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/vremya\\_i\\_my\\_133\\_1996.pdf](http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/vremya_i_my_133_1996.pdf)

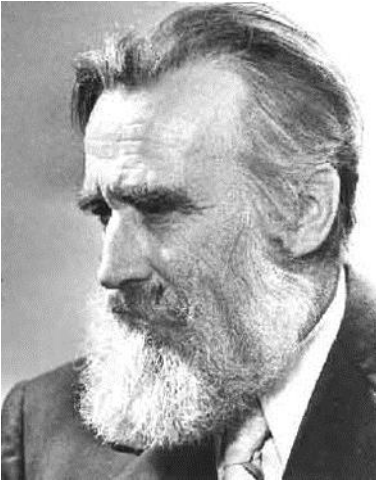
«[...] в 1963 году [...] открылись ворота для лагерной темы, и в них протиснулся «Иван Денисович». К слову сказать, для меня эта повесть не была сенсацией, еще в 1956-57 годах к нам в отдел прозы «Нового мира» приносил свои лагерные очерки Алексей Костерин, приходил с «Колымскими рассказами» Варлам Тихонович Шаламов, мы читали, ужасались и восхищались, – но что могли тогда поделать? Самый революционный скачок, какой мы могли себе позволить, – «Не хлебом единым» Дудинцева. И то имели кучу неприятностей, в результате которых главный редактор Симонов должен был уйти».

Из интервью, взятого у Владимова М. В. Назаровым. Опубликовано в журнале «Посев» (Франкфурт-на-Майне. 1983. №7-8). Электронная версия на сайте Русская идея <http://www.rusidea.org/?a=10007>

*Георгий Николаевич Владимов (Волосевич) (1931-2003), писатель и литературный критик, эмигрант, с 1984 по 1986 главный редактор франкфуртского НТС-овского журнала «Грани»*







**Олег Волков**

***Наша вина и боль***

[...] Есть люди, встречи с которыми вызывают не только сочувствие и сострадание, но и жгучее ощущение своей вины перед ними. Вины из-за того, что на твою долю не досталось и сотой доли перенесенных ими бед и унижений.

Я общался с Варламом Шаламовым после его реабилитации, когда уже были опубликованы его первые книги стихов, сразу замеченные и получившие признание. Житейски

он был мало-мальски сносно устроен. Вглядываясь в его твердое, нервное лицо, подмечая манеру держаться, улавливая интонации его глухого голоса, я не мог не видеть, сквозь его нынешний облик, столь знакомые мне черты моих сотоварищей по лагерям... Одного из тех многолетних сидельцев, что приобретают особую совокупность манер и поведения, которая обличает долгие годы скитаний по лагпунктам: их метит пожизненно неизводная печать, общая всем большесрочникам, проводшим долгие годы в заключении.

У Варлама Тихоновича слегка дергалась голова, и слушал он собеседника напряженно – следствие побоев, навсегда повредивших его слух. Выдавал и нездоровый, желтовато-бледный цвет лица – из-за длительного пребывания на сорокаградусном морозе, продубившем кожу на всю жизнь. Ходил он прихрамывая и опираясь на палку. И в условиях однокомнатной московской квартиры Шаламов выглядел эком, привыкшим к алюминиевой кружке и миске, нарезанным на столе ломтям хлеба, который он ел, держа кусок в одной руке, а другую подставляя горстью, чтобы не ронять крошек. В комнате было голо, хозяин не хотел заботиться о комфорте, чай разливал в кружки, сахар доставал из кулька. После чаепития сахар и хлеб аккуратно убирал в тумбочку у кровати. Неприхотливая мебелировка – железная кровать, не слишком аккуратно застеленная, кухонный стол и тройка разнотельных стульев составляли все убранство комнаты, однако пол был чисто выметен и книги на полке аккуратно составлены. На единствен-

ном столе, за которым мы чаевничали, стояла сверкающая чистотой новенькая пишущая машинка.

Говорил Варлаам Тихонович медленно, с запинками, чувствовалась его выработанная годами привычка к одиночеству, замкнутость характера. Бумазейная сорочка с расстегнутым воротом и мятые брюки как-то больно напоминали о лагерной среде далеко не первого срока. Мы разговаривали на профессиональные темы – я и познакомился с Шаламовым после того, как написал рецензию на сборник его колымских рассказов, горячо их рекомендуя издательству «Советский писатель». Вполне, впрочем, бесполезно. В те годы никакое издательство не могло и помыслить их опубликовать. То был потрясающий своей правдивостью сборник свидетельств о страшных, тщательно засекречиваемых палаческих делах, творимых на далекой Колыме.

На долю автора рассказов о Колыме и пришлось как раз те тяжкие мучительства, что в них описаны. Да, да, именно он виделся мне с кайлом в руках, долбящим породу на лютом морозе... Именно ему грозила казнь за невыполнение нормы выработки, о которой он писал в новелле «Одиночный замер». И глядя на дрожащие руки Шаламова, на нервный тик, то и дело передергивающий его лицо, на застывший взгляд, я знал: в его свидетельствах нет ни грамма выдумки, передачи с чужих слов – все это испытал на себе сидящий передо мной истерзанный, но еще сильный, еще не сдающийся человек. В свете его рассказов ничтожными показались пережитые мною самим невзгоды. Перед тем, что перенес колымчанин Шаламов за проведенные на Колыме СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ, меркнут испытания сонма эков на прочих островах Архипелага...

Шаламова несколько опекал литературный фонд; был он некоторое время и предметом внимательного женского ухода. Однако изо всех пор его «вольной» столичной жизни выделялась не утратившая своей силы горечь памяти о пережитых долгих годах – не изжитая и не изживаемая.

Шаламову довелось при жизни видеть опубликованными свои стихи, но проза появилась на свет лишь после его смерти. Если не считать доставившего ему больше забот и огорчений, чем радости, вышедшего за границу сборника колымских новелл. При тогдашних обстоятельствах Варламу Тихоновичу пришлось отречься от своего детища, даже упрекать тех, кто помимо его воли способствовал появлению книги в зарубежном издательстве. Необходимость осудить публикацию и оправдываться в том, что, по всем человеческим законам, должно было радовать и вдохновлять писателя, болезненно им переживалась. Последняя моя с ним встреча пришлась как раз на время, когда разыг-

ралась эта плачевная история, истерзавшая сознание автора. Необычная горячность его высказываний по поводу инцидента лишь подчеркивала несправедливость меры, лишавшей писателя права на обнаружение правды!

Судьба была до конца сурова к человеку, рожденному под злополучной «звездой». В детстве он полной мерой хлебнул невзгод, доставшихся на долю православного духовенства: отец его был священником при русском посольстве в Канаде (Т. Н. Шаламов служил на о. Кадыяке – И. С.), потом в Вологде. На пороге возмужания на подростка обрушились гонения, о которых рассказано в повести «Вишера». За этим периодом последовали каторжные семнадцать лет Колымы.

Измученным инвалидом подошел он к концу своего трагического пути. Наконец, забрезжили первые отсветы признания, был замечен его незаурядный талант. Но брали свое недуги: крепкий от природы организм, подточенный пытками и лишениями, не выдержал. До подлинно светлого дня Варлам Тихонович не дожил. И это тем более обязывает нас позаботиться об увековечении памяти большого писателя, жертвы бесчеловечных порядков.

Язвит душу сознание, что кончил свои дни Шаламов в доме для инвалидов. Около него не было родной души, которая бы скрасила его последние дни. Он выстоял, у него хватило сил, чтобы остаться человеком – вопреки ожесточавшим и принижавшим условиям. Однако ценой веры в возможность торжества добра, ценой отчуждения от людей.

Сейчас приоткрылась наконец завеса над прошлым, мы начинаем узнавать правду, которую Варлам Тихонович мог бы помочь раскрыть так полноценно. Утрата наша невосполнима: он многое знал, видел и помнил, как никто, и, обладая редкой памятью, эрудицией и начитанностью, был бы особенно нужен в новых условиях. Ненаписанные книги Шаламова стали бы жемчужиной литературы, восстанавливающей истину о прошлом, освободили бы незаурядный талант Шаламова из-под лагерных глыб!

Лето 1989 г.

---

ВОЛКОВ Олег Васильевич (1900-1996) – писатель, много лет провёл в лагерях и ссылке, автор книги «Погружение во тьму».

---

### Небольшие пояснения

Олег Васильевич Волков с пониманием отнесся к творчеству и личности В.Шаламова. Тем более хотелось бы его поправить в некоторых неточностях, привнесенных воображением художника.

Однокомнатной квартиры у В.Т. никогда не было, жил он в коммунальных квартирах. Меблировка тоже описана неточно: кровать была деревянная, а стол письменный, на нем и стояла машинка. Ел хлеб он, не подставляя ладонь, а с палкой он не ходил. Нервного тика тоже не было. Чай пил из чашки. Говорил всегда горячо, образно, но, может быть, и не со всеми. Руки дрожали у него после довольно редких припадков болезни Меньера (головокружение, нарушение слуха). Только в конце 70-х годов – почти постоянно.

Письмом в ЛГ в 1972 году он отрекался не от книги – ее-то как раз и не было, а от конъюнктурных разрозненных публикаций своих рассказов в чисто политических целях – не хотел быть игрушкой в руках разведчиков и политиканов. Не секрет, что почти все русскоязычные издательства и журналы финансировались ЦРУ.

Но, конечно, главное достоинство слов Олега Васильевича в том, что он при жизни высоко оценил талант В.Т. Спасибо ему.

И. Сиротинская

Опубликовано в Шаламовском сборнике №3, 2002, сетевая версия на сайте Данте XX века <http://www.booksite.ru/fulltext/3sh/ala/mov/6.htm>

*Олег Васильевич Волков (1900-1996), писатель-лагерник, переводчик, участник движения за охрану исторических памятников, создатель автобиографической книги «Погружение во тьму»*





### **Галина Воронская**

Первая моя встреча с Варламом Тихоновичем Шаламовым была в 49 году на Левом берегу, поселок Дебин. Не путать с прииском Дебин, который находится несколько дальше по дороге к Ягодному.

Поселок Дебин стоял на берегу Колымы, там находилась центральная больница для заключенных, хотя в определенные дни недели принимали на консультацию и вольнонаемных. В больнице были врачи по всем специальностям. Был рентгеновский кабинет, большая лаборатория. Больница помещалась

в кирпичном здании, около нее размещался поселок с двухэтажными домами, где были даже канализация и водопровод. По тем временам большая редкость для Колымы. В этих домах жил медперсонал и работники, обслуживающие больницу. При больнице находилось небольшое подсобное хозяйство. В теплицах выращивали помидоры и огурцы. Были коровы. Имелись небольшие поля с капустой и картошкой. Недалеко от больницы размещался лагерь. Большинство заключенных работало по обслуживанию больницы, некоторая часть – в подсобном хозяйстве. Выше по Колыме были пороги, впоследствии там была построена электростанция.

Я привела в приемный покой больницы свою старшую дочь Валентину и соседского мальчика для прививок. Ко мне подошел высокий худощавый человек, с темными волосами, спросил меня, не я ли являюсь Галиной Александровной Воронской? Я ответила, что я. Он представился, что он – Варлам Тихонович Шаламов. Обо мне он узнал от нашего общего знакомого, который тоже в это время был в лагере на Левом берегу, Валентина Португалова. После этого я, приходя в больницу, с ним раскланивалась, разговаривала. Но разговоры были довольно ограничены, поскольку это была больница, присутственное место, и очень много людей. Насколько мне известно, Варлам Тихонович был расконвоирован. Все заключенные медицинские работники, как правило, тоже расконвоированные, старались каждую свободную

минуту провести на воздухе, подойти к реке Колыме. Он почти никогда этого не делал. Очевидно, он в это время либо писал, либо читал. Встречалась я с ним в это время редко, потому что у меня в 51 году родилась вторая дочь Татьяна, и я почти все время была дома. Знаю через Валентина Португалова, что внимательно следил за всеми выходящими журналами, которые Валентин Португалов доставал ему из библиотеки на вольном поселке.

Валентин Валентинович Португалов отбывал на Левом берегу второй срок, полученный им уже на Колыме. В лагере он возглавлял агитбригаду и самодеятельность. Валентина Валентиновича я немного знала еще по Москве, учились с ним в Литературном институте имени Горького. С нашей семьей на Левом берегу у него были хорошие отношения, и он довольно часто к нам заходил.

Мой муж, Иван Степанович Исаев, тоже учился в Литературном институте, на вечернем отделении. Был арестован в 1936 г. До ареста работал в Управлении по охране авторских прав. Хотя, мы все трое были из одного института, дела у нас были совершенно разные.

Дружил он с доктором Лоскутовым, который тоже был заключенным, и с вольнонаемным доктором Мамучашвили. Несмотря на свою молодость, она побывала на фронте и была там ранена. На Левом берегу она вскоре вышла замуж. Какое-то отдаленное отношение она имела к семье Багратиона.

На Колыме он мне не давал читать ни прозы, ни стихов. Однажды он пришел с Португаловым, и у меня было впечатление, что он хочет почитать стихи, но я побоялась, потому что мы жили в коммунальной квартире, и меня окружали соседи, убежденные и ярые сталинисты, и такое чтение в те годы могло служить большим криминалом. Вероятно, я неправильно поступила, но я уже к тому времени пережила второй арест и была приговорена к вечной ссылке. По первому аресту я попала на Колыму. Новые лагерные сроки давали за каждое неосторожное слово, да еще и привирали. Я знала о том, что он пишет стихи, но встречаться в спокойном уединенном месте не было возможности. В Москве он несколько раз вспоминал о том, как в тюрьме два мальчика, обвиненные тоже по 58-й статье, сделали из тряпок мяч и играли в футбол. Повторение этого рассказа не было результатом его забывчивости, а просто это чрезвычайно поразило и, очевидно, произвело на него такое огромное впечатление, что он несколько раз мне об этом рассказывал.

В то же время он мне рассказал, смеясь, и совершенно спокойно, как его вели куда-то два конвоира на принудилровку и они очень торопились, так как там в этот день для вольнонаемных было кино, а кино

на Колыме – на дальних приисках было чрезвычайное событие не только для заключенных, но и для вольных. А он, по мнению этих конвоиров, шел слишком медленно, у него не было сил. Посовещались, они сказали, давай его покормим, может, он пойдет быстрее. И дали ему хлеба. Хлеб он, конечно, съел, но быстрее идти не мог. Тогда они его стали бить. Конвоиры на сеанс опоздали. Меня удивило, что он об этом рассказывал как-то иронически и смеясь. Мужчин так много били на Колыме, что они уже, если так можно выразиться, к этому привыкли, и там, где это было возможно, даже проявляли чувство юмора.

По окончании срока он поехал в Магадан, пытался там устроиться. Устроиться ему не удалось. Но он получил направление куда-то на трассу, почти на границе с Якутией. Там до него были беспробудные пьяницы и люди, которые совершенно не желали и не умели никого лечить. А Варлам Тихонович не пил и относился к больным по-человечески, лечил их, поэтому местное начальство и все население относилось к нему очень хорошо, чего не было бы, кстати, в Магадане, потому что там было очень много договорников. Позднее он сказал мне: вот я теперь смогу помогать своей дочери.

Как-то он заехал на Левый берег за какими-то справками и зашел ко мне. Увидел у меня несколько книг Пастернака, стихов Пастернака – мне их из Магадана переслал Португалов. К сожалению, моя младшая дочь успела их расчертить карандашом, и эти исчерченные экземпляры он с горьким вздохом попросил подарить, я ему отдала. Мне было очень неудобно, что я не доглядела, и они попали в руки моей младшей дочери. Это были небольшие сборники, названия не помню.

Когда я приехала в Москву, мы вместе с мужем к нему зашли. Тогда он жил где-то около Арбата. И я впервые познакомилась с его второй женой Ольгой Сергеевной Неклюдовой, с которой впоследствии сдружилась. Позднее они получили квартиру около Беговой улицы, там я часто бывала. Теперь о некоторых его оценках. Он считал, что самые большие поэты XX столетия – это Блок и Пастернак. Иногда цитировал их отдельные четверостишия, строчки. Удивил меня, что он Веру Панову считал хорошей писательницей, к которой я лично относилась несколько сдержанно. Характер у него был трудный, я бы даже сказала, неуравновешенный.

Иной раз придешь в гости, Варлам Тихонович – сама любезность, снимет пальто, подаст пальто, примет участие в общем разговоре. Но, бывало и так: сижу я с Ольгой Сергеевной, он приоткроет дверь и, не поздоровавшись, скажет: «Ах, это вы!» и уйдет в свою комнату. Варлам Тихонович часто менял оценки книги, людей. Иногда он того или

другого писателя расхвалит, а через две-три недели, хотя за этот период данный писатель или поэт нигде не выступал, не выпустил никаких книг – уже совершенно другая, резко отрицательная оценка. Знаю о том, что он очень долго не вступал в Союз советских писателей, хотя ему несколько раз предлагали. Чем это было вызвано, я не знаю. Но позднее он все же вступил. Он был очень тщеславен, но, к сожалению, много из того, что он писал в те времена, не могло быть напечатано.

Был у нас разговор насчет одного журналиста, который выступал в это время с очень ортодоксальных позиций, многие его осуждали, осуждал его и Варлам Тихонович. Он сказал: «Но я ему прощаю больше, чем другим, потому что он прошел через Колыму». Давала я ему читать свои рассказы, некоторые ему понравились, некоторые – нет. С его оценками я в общем согласилась, потому что несколько рассказов было о Колыме, о лагере, а несколько – о Колыме, не касались лагеря, их можно было попробовать напечатать, чего я, кстати, не сделала. Он мне тогда сказал: «Вы прошли через Колыму. Это дает Вам моральное право».

Очевидно, он считал, что для него, чтобы писать, человеку нужно быть участником больших событий и коллизий.

Рассказал он мне, что в ЦДЛ встретился с Генрихом Беллем. Генрих Белль был знаком с его рассказами, вышедшими на Западе. Мне показалось, что Варлам Тихонович был очень польщен, ведь это же был Генрих Белль.

Я знаю, что он хорошо относился к творчеству моего отца. Лично он его не знал. Мне кажется, что это хорошее отношение он частично как-то переносил на меня.

Разговаривали мы с ним о текущих литературных и политических событиях всегда очень откровенно и непосредственно. Он считал, что 37-й и другие годы по своим жертвам далеко превосходят все то, что было в истории человечества, а я полагала по своей наивности, что в истории человечества были тоже очень тяжелые годы: татарское иго, инквизиция. Потом я поняла, что инквизиция, это совсем, конечно, ничто по сравнению с той огромной гибелью людей, которая прошла на Колыме и в других лагерях.

Последнее время перед помещением его в интернат я с ним уже почти не встречались. Он разошелся с Ольгой Сергеевной, а ходить в два дома я считала неудобством, да и не очень он меня приглашал! Как-то раз, правда, вызвал нас с мужем, в больницу. Не знаю, по поводу чего он лежал. Мы навестили его, разговор был общий, так как он проходил в больничном коридоре, Варлам Тихонович все-таки был доволен, что мы пришли, очевидно, не слишком много народу его то-



гда посещало. Через какое-то время он позвонил – и вызвал нас к себе на дом. Он жил на Васильевской улице. Мы с мужем приехали. В комнате был ужасный беспорядок. Стояла электрическая плитка и кругом была разбросана масса листов бумаги. Что это были за листы – я не знаю. В это время соседи начали хлопотать, чтобы его поместили в интернат, он уже иногда забывал – включит газ и не зажжет его и т. д. С ним было опасно жить. Участковый милиционер и соседка по квартире к нему хорошо относились. Его устроили в интернат на Планерной, это один из лучших интернатов. Провожала его какая-то женщина из Литфонда и мой муж, Иван Степанович. С Иваном Степановичем раньше он немного поссорился. Поссорились, как это ни странно, из-за блатных. И я, и Иван Степанович считали, что блатные – люди, хотя и испорченные исковерканные, но в большинстве из них осталось что-то человеческое. Конечно, среди них встречались те, которые уже потеряли людской облик. И в то же время я глубоко убеждена, что сейчас по улицам ходят люди вполне заслуженные и престижные, но, попав в экстремальные условия, неизвестно, как бы они себя вели. Может быть, даже хуже, много хуже этих блатных. Варлам Тихонович всех блатных за людей не считал. Он полагал, что у них потеряно все человеческое.

Теперь возвращаюсь к моменту его отправки. Я осталась внизу, у дома, а Иван Степанович пошел с женщиной из Литфонда наверх, помог Варламу Тихоновичу одеться, причем он очень сильно толкнул Ивана Степановича, так, что тот отлетел к стенке. Затем они вышли все втроем. На нем было пальто, несмотря на летнее время, и зимняя шапка с ушами. Там стояла машина от Литфонда. Когда Варлам Тихонович уезжал, он мне все время махал рукой, и я с болью почувствовала, что сюда он больше не вернется.

Когда машина отъехала, подошла женщина – на лавочке там сидело несколько пожилых женщин. Спросила, увезли ли его? Женщины ответили, что увезли. Она вздохнула, что же поделаешь, раз ему Сталин выписал кровавую путевку в жизнь. Женщины сочувственно закивали головами,.. а потом они меня спросили: а вы от какой организации его провозжаете? Я ответила: я его провожаю от Колымы.

В интернате на Планерной муж его довольно часто посещал, хотя после каждого посещения ему приходилось принимать валидол. Варлам Тихонович невнятно говорил и плохо слышал, иногда трудно было уловить его мысль, общение с ним было чрезвычайно трудное. В палате, кроме него, был только один человек. Знаю, что посещал его Глоцер. Насколько мне известно, это детский писатель и литературовед. Фамилию его назвал Варлам Тихонович, мой муж его разыскал. Зво-

нил нам. Потом, когда Варлам Тихоновичу присудили во Франции премию «Свободы», появилось очень много девушек и парней, которые его опекали и навещали. Они обстирывали его, приносили вкусную еду и, кажется, даже дежурили. Мне они не очень нравились, потому что я, конечно, понимала, что они много делают для Варлама Тихоновича, но держались они вызывающе и резко. Как-то они мне позвонили и сказали, что сейчас все едем к Вам. А я уже очень сильно болела, причем тон был очень повелительный, требовательный. От их визита отказалась. Удивило меня, что его отпевали в церкви.

Из всего того, что я читала из его стихов, рассказов, кроме рассказа «Крест», который, я не знаю, можно ли назвать религиозным, я никогда не слышала о нем ни слова о религии и о Боге. А то, что он был сын священника, это еще не доказательство того, что он верил в Бога, потому что мой отец, который был исключен из семинарии и был сыном священника, был атеистом. Очевидно, это была воля молодежи, которая в то время его окружала.

Какой-то злой человек из Литфонда разрешил директору интерната перевести Варлама Тихоновича в другой интернат, там его поместили в палату, где было человек сорок. Варлам Тихонович понял, куда его отвезли, и ему стало плохо с сердцем. Принимая его, сестра сказала: «Не жилец он на этом свете». К сожалению, она оказалась права. Через несколько дней у него начался тяжелый сердечный приступ и он скончался.

#### Литературная запись и публикация Татьяны Исаевой

«Воспоминания о В. Т. Шаламове». Опубликовано в журнале «Литературное обозрение», 1990, №10 (по другим сведениям – журнал «Лад», Вологда, 1994). Сетевая версия на сайте Данте XX века <http://www.booksite.ru/varlam/article13.htm>

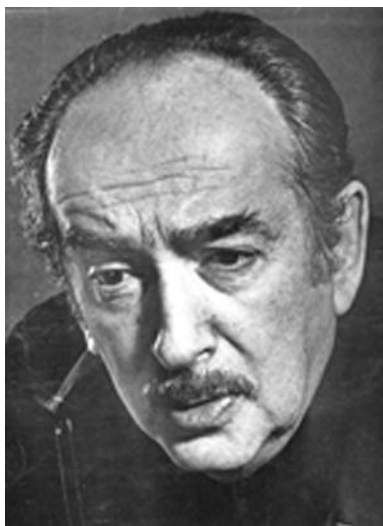
---

#### От составителя

В примечаниях Татьяны Исаевой к переписке матери с Шаламовым, опубликованной в журнале «Исторический архив», сказано, что Шаламову «не хватало для стажа несколько месяцев, документов не было, и Г. А. Воронская дала свидетельские показания о его работе [на Колыме]».

*Галина Александровна Воронская (1914-1992), дочь революционера и критика Александра Воронского, знакомая Шаламова по Колыме и в последующие годы, литератор, жена колымского товарища Шаламова Ивана Исаева*





## Александр Галич

«Посвящается она [песня «Все не вовремя» – прим. составителя] Варламу Тихоновичу Шаламову. Это замечательный человек, замечательный писатель. Когда-то он начинал в тридцатые годы как поэт, и сейчас он, кстати, печатается в «Юности», но он пробыл очень много лет в лагерях. Он написал, по-моему, об этом прекрасную книжку, цикл рассказов и очерков об этом [«Колымские рассказы» – прим. публикатора]. Когда я её прочёл, мне захотелось написать песню, посвящённую ему. Мы ещё

не были даже знакомы. И, в общем, это единственная моя, так сказать, лагерная стилизация, ибо я, так сказать, не очень люблю этот жанр. Но тут просто было как-то необходимо написать. И, кстати, было очень странно: я у одного нашего знакомого пел песни... Сидел какой-то очень высокий человек, костлявый. Сидел, приложив руку к уху – так слушал меня. Когда я сказал, что вот песня, посвящённая Варламу Тихоновичу Шаламову, он подсел совсем близко, просто прямо лицом к лицу. Мне было очень неудобно петь, и я очень злился во время того, как я пел эту песню. А потом, когда я кончил, он встал, обнял меня и сказал: «Ну вот, значит, давайте познакомимся. Я и есть Шаламов Варлам Тихонович». Так мы с ним познакомились, потому что песня была написана до нашего с ним знакомства. У меня, как известно, вообще голоса нет, а на эту песню у меня и вовсе голоса не хватает, потому что это такая, так сказать, истерично-эротичная песня».

1964?

Фонограмма выступления Александра Галича с исполнением песни, посвящённой Шаламову. Электронная версия на сайте «Барды» <http://www.bard.ru>

*Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург) (1918-1977), поэт, драматург, известный бард, диссидент, эмигрировал во Францию, погиб при невыясненных обстоятельствах*





## Алёна Галич

«Однажды, уже студенткой ГИТИСа, я пришла к папе, а у него был домашний концерт, и так получилось, что я сидела рядом с Варламом Шаламовым, слегка наискосок, так, что я могла разглядеть его лицо. А лицо у него было необыкновенное – очень суровое, с такими продольными складками, ещё больше подчёркивающими эту суровость, и при этом очень светлые глаза, излучающие доброту. Этот контраст между суровостью лица и мягкими глазами – завораживал. Я до неприличия на него «пялилась». Папа пел тогда свои «лагерные»

песни, среди которых была «Ветер, поле, огоньки», посвящённая Варламу Тихоновичу, после которой он подарил ему тогда свою книгу стихов «Шелест листьев», он её издал сразу же после лагерей; и подписал: «Александр Галичу – создателю энциклопедии советской жизни».

Из интервью Екатерине Садур на сайте Православного литературного журнала «Феофил» <http://feofil.ru/?p=24>

\* \* \*

«После того как папа освоил гитару, в квартире около метро «Аэропорт» стало собираться очень много народу, стулья для гостей приходилось собирать по всем соседям. Часто приходили бывшие лагерники, приводил их Варлам Тихонович Шаламов, с которым папа дружил. В этого высокого человека с аскетичным лицом я влюбилась с первого взгляда, именно у отца я тогда прочитала все его напечатанные на машинке «Колымские рассказы» – «Эрика» брала всего четыре копии, поэтому мне доставался так называемый «слепой» экземпляр.

Шаламова я всегда почитала гораздо больше, чем Солженицына, очень много позаимствовавшего у Варлама Тихоновича, которого не печатали, когда-нибудь я еще об этом подробно расскажу. А тогда я

скромно сидела в уголке и, слушая отца, наблюдала за этими людьми. Они приезжали из лагерей практически без зубов или со ртом, полным железа, но какие потрясающие у них были глаза!».

Алена Галич в интервью газете «Бульвар Гордона», Киев, № 43 (443), 2013, электронная версия на сайте издания [http://www.bulvar.com.ua/arch/2013/43/5268307d9d586/view\\_print/](http://www.bulvar.com.ua/arch/2013/43/5268307d9d586/view_print/)

\* \* \*

«Он подружился с Варламом Тихоновичем Шаламовым. Это первый писатель, который до Солженицына написал книгу о ГУЛАГе. Это я могу четко утверждать. И Шаламов начал в нашу квартиру на «Аэропорте», которая не такая уж и большая, как всем казалось в то время... Стали приходить люди, которые отсидели. У которых, знаете, были такие стальные зубы... Они приходили, их приводил Варлам Тихонович. И он [Галич] пел лагерные песни, слушал рассказы».

Из интервью Алены Галич Радио газеты «Комсомольская правда» (Радио КП), 18 октября 2013 <http://www.kp.ru/radio/stenography/85784/>

\* \* \*

«В 1961 году из лагеря вернулся папин двоюродный брат Виктор. Тогда многих освобождали, и эти люди собирались в нашей квартире. Среди них был и писатель Варлам Шаламов. Папа говорил, что для него тогда перевернулся весь мир».

Алёна Галич, из статьи «Александр Галич. Схватка с КГБ» на сайте Sem40 <http://www.sem40.ru/famous2/m1462.shtml>

*Елена (Алёна) Александровна Галич-Архангельская (род. 1943), дочь Александра Галича, артистка, Президент российского фонда «Отчий дом Александра Галича»*





## **Вита Гельштейн**

«Очень долго к ней [Надежде Мандельштам – прим. составителя] ходил Шаламов. Но тот ведь очень болен был. Надежда Яковлевна всегда так корректно ему старалась помочь. Он жил неподалеку от нас, и она подстраивала так, чтобы когда приходил Шаламов, мы в этот день у нее были. Но совершенно не для того, чтобы участвовать в разговорах. Шаламов вообще был молчалив и неразговорчив. С нами он, по-моему, никогда никаких слов не произносил. Дело было в том, что обратно мы брали такси и всегда подвозили его домой».

Из статьи Ольги Фигурновой «В этом доме легко раздавалось все», опубликована в «Общей газете». Сетевая версия на сайте [sem40.ru](http://www.sem40.ru/famous2/m369.shtml) <http://www.sem40.ru/famous2/m369.shtml>

*Вита Иделевна Гельштейн (1921–2004), врач, жена известного московского врача-кардиолога Гдаля Гельштейна*





## Рене Герра

«В компании моих собеседников оказался, к большому моему несчастью, и зловещий следопыт и архивист с Лубянки А. В. Храбровицкий. Сегодня его имя напрочь и безвозвратно забыто, а тогда он пользовался хорошей репутацией в «узких кругах» как неутомимый исследователь творчества Короленко (был женат на его дочери). [...]

В один прекрасный день, в начале декабря 1968 года, у выхода из рукописного отдела Ленинки ко мне подошел Варлам Шаламов и сказал, что не надо было общаться с АВХ, а теперь остается только поскорее уехать в Париж, пока еще не поздно...

Прекрасно зная, кто Варлам Шаламов, чьи «Колымские рассказы» до этого читал во Франции в нью-йоркском «Новом журнале», я был очень тронут и потрясен до глубины души его откровенностью и смелостью».

Ренэ Герра, «История моей переписки с Б. К. Зайцевым», альманах «Русский Миръ», выпуск № 2, 2009. В Сети здесь <http://www.russkymir.org/download/n2/07.pdf> либо здесь [http://www.russkymir.org/?page\\_id=358](http://www.russkymir.org/?page_id=358)

От составителя

«Осведомитель и стукач Храбровицкий, работавший там редактором в отделе прозы...»

Из записей Шаламова «Борис Полевой. В дебрях «Советского писателя», седьмой том собрания сочинений, 3013, электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/292494.html>

*Рене Герра (род. 1946), французский славист, профессор университета города Ниццы, секретарь Бориса Зайцева и специалист по его творчеству, коллекционер*





## Валентин Гефтер

От составителя

Валентин Гефтер, сын известного историка и правозащитника Михаила Гефтера, в то время студент мехмата МГУ, был организатором на своем факультете первого вечера памяти Осипа Манделштама в мае 1965 года. Воспоминаниями о вечере он поделился в 19 томе Записок Манделштамовского общества «Сохрани мою речь...», выпуск пятый. Поскольку доступа к этой малотиражной книге у меня нет, я написал Валентину Михайловичу

с просьбой прислать текст своего мемуара для электронной публикации. Он любезно откликнулся. Большое ему спасибо.

Как известно, председательствовал на этом вечере Илья Эренбург, а Шаламов прочел рассказ «Шерри-бренди». Выясняется, что Эренбург и сам не знал о предстоящем выступлении Шаламова и был шокирован им не меньше, чем сидящие в зале партийные аппаратчики, хотя и повел себя должным образом, позволив выступавшему прочесть рассказ до конца. Кстати, формально в это время Шаламов и Эренбург не знакомы. «Знакомство с Эренбургом» (запись в дневнике Шаламова от 22 октября 1966 года).

Немного сократил текст за счет отступлений, не относящихся непосредственно к вечеру. Примечания мои.

---

### **Как начиналось...**

*(К истории первого вечера памяти О. Манделштама в СССР)*

Прошло более 40 лет с эпизода, о котором собираюсь рассказать сегодня, и потому детали и оттенки, также как имена некоторых участников, уже стерлись в памяти. [...]

Начал я с помощниками с вывешивания на 14 этаже главного здания МГУ на Ленинских горах подборок поэзии авторов, мало известных – вообще и относительно просвещенной мехматской публике. Видимо, одними из первых были стихи Мандельштама, так что довольно быстро зародилась идея провести вечер его поэзии у нас на факультете. Естественно, что в голову пришло начать со звонка Эренбургу как единственно известному мне «мандельштамоведу». Достав его телефон в справочнике Союза писателей, я без особых рекомендаций объяснил его секретарю, а потом и самому Илье Григорьевичу цель задуманного, и он пригласил меня к себе для обсуждения плана действий.

Не могу сказать, чтобы этот визит (первый и последний) к мэтру особенно сильно отпечатался в моей памяти. Прихватив с собой для смелости приятеля, который рвался хотя бы посмотреть на..., мы явились в известный москвичам дом на ул. Горького (ныне Тверской), где находится книжный магазин – теперь «Москва», а тогда просто 100-ый по номеру. Смутно вспоминается интерьер квартиры Эренбургов, да и сам облик хозяина не отличим теперь для меня от виртуальных впечатлений, связанных с фото- и иной хроникой. (Кстати, я не ахти как знал тогда даже его прозу, особенно раннюю, хуренинговского\* периода, не говоря уж о стихах, которые потом стали мне довольно близкими, по крайней мере, по мысли и общему тону).

Разговор был довольно краткий и конкретный. Наскоро выяснив, кто мы и почему вдруг «ринулись» на Мандельштама, составилась недлинный список людей, которых надо пригласить выступить на будущем вечере. Дальше мне оставалось договориться с ними о выступлениях и согласовать дату; затем предстояло «утрясти» с Эренбургом повестку вечера и получить общее «добро» на факультете. Этот период запомнился мне только двумя эпизодами.

Первый был связан с визитом к Варламу Шаламову на Хорошевское шоссе, где в мини-коттеджах, построенных после войны пленными немцами, он тогда обитал. Тут мне еще меньше запомнились детали краткого захода в дом, а сам Шаламов, дав тут же согласие на участие в вечере, не показался внешне столь трагичным, как его судьба и книги, которых я тогда не знал, разумеется. Кстати, в то же время состоялись пара телефонных разговоров с Николаем Харджиевым\*\*, которые оказались гораздо полезней в смысле подготовки вечера, чем напутствие Эренбурга, порекомендовавшего обратиться к Н.Х. При

этом сам он заочно производил впечатление человека менее «котурного» что ли...

Второй эпизод был похарактернее. В МГУ, узнав, что ведущим вечера предполагается Эренбург, которого в ту зиму 1965-го после снятия Хрущева и первых заморозков «на нашей почве, на датской» стали «доставать» в печати, обеспокоились этим фактом чуть ли не более, чем собственно Мандельштамом. Начался двухтуровый, кажется, процесс согласования программы вечера – сначала на факультете, а потом в партбюро МГУ, который быстро свелся к опасениям начальства, как бы чего не наговорил критикуемый публично Эренбург. Но после моих объяснений, что он – только ведущий вечера, а сам говорить будет, мол, мало (что следовало и из намерений самого Ильи Григорьевича), а потом еще и моего предупреждения объявить вслух, что вечер запрещен только по одной этой причине, согласие сверху было получено.

Передо мной лежит кусочек серого цвета бумаги в 1/8 листа со штампом факультета, который и стал отпечатанным на машинке приглашением на вечер 24 апреля 1965 года. Там с обращением «Уважаемый товарищ» его счастливый обладатель был зван в аудиторию 16–24 главного здания МГУ для участия в вечере поэзии, посвященном поэзии О.Э. Мандельштама. Как это распространялось вне университета (для своих висело объявление и пропусков, наверно, не требовалось)? В основном через приглашенных по списку, согласованному с Эренбургом и Харджиевым, и знакомых – моих, вернее, нашей семьи; плюс их раздавали тем, кто прознав про вечер, обращались к нам через уже званных. Видно, прошел слух по немногочисленной тогда Москве знающих и понимающих, что такое Мандельштам и его стихи, коих было немного. А выживших и помнивших его самого было и подавно меньше...

Наступил, наконец, долгожданный вечер (24 апреля, по дате на приглашении, но, не исключено, что он был перенесен на 13 мая по причине отсутствия Эренбурга в Москве; так, кажется, отложилось в воспоминаниях некоторых участников). Возможно, один из первых вечеров такого рода на мехмате и в МГУ в целом и, точно уж, первый из посвященных памяти Мандельштама и общественному признанию поэта после его уничтожения, сначала как автора, а потом и физического – в 1938-ом.

Амфитеатр нашей уютной и привычной учебной аудитории был полон, в первом ряду сидели преподаватели мехмата и разные кураторы (что могло и совпадать по тем временам), а выше пришлые интеллигенты и студенты из тех, кто знал и понимал, что происходит. Вечер

открывал Эренбург, приехавший с женой и несколько взволнованный не столько предысторией подготовки вечера, сколько знаменательностью «воскрешения» такого явления, как Мандельштам.

Честно говоря, я плохо помню многих выступавших, и, тем более, их слова. Видно, общее волнение за ход вечера и оргмоменты, с ним связанные, перевесили во мне возможность, и так не очень большую, запечатлеть на «внутренней» пленке памяти содержание происходившего. Вспоминаются только несколько моментов, которые и перескажу.

Первый был связан со вступительным словом ведущего, упомянувшего о присутствии в зале Надежды Яковлевны Мандельштам, которую практически никто (и я в том числе, не предупрежденный о ее приходе) тогда не знал в лицо. Аудитория в едином порыве, как пишут в плохих романах или в газетах, встала и заплодировала самому этому факту. Кажется, сама Надежда Яковлевна сказала в ответ, что овацию относит к памяти мужа и его поэзии, а не ее скромной персоне.

Затем прошло несколько выступлений друзей и знатоков (самого Харджиева среди них не было, то ли по плохому самочувствию, то ли по иной причине), а потом настала очередь чтения стихов О.Э. Хотелось, чтобы это прозвучало, а не только прочиталось на стендах, которые задолго до этого были выставлены в коридоре. Удалось, по моему и не только мнению, это вполне. Читал Вадим (Дима) Борисов, тогда студент истфака МГУ, с которым меня познакомили общие друзья. [...] Его чтение произвело большое впечатление на всех, даже на Эренбурга, который отметил это по окончании вечера по дороге к своей машине.

Но апофеоз вечера наступил (для меня, во всяком случае), когда пришла очередь Шаламова, который не очень-то был тогда известен даже в писательских кругах, не говоря уж о более широкой публике. Он вышел, как и все выступавшие, к месту лектора и на фоне учебной доски прочел свой знаменитый рассказ о гибели поэта в пересыльном лагере (на «Второй речке?»).

Сам текст вместе с перекоренным от эмоционального напряжения и приобретенного им в Гулаге нервного заболевания лицом произвели на слушателей/зрителей потрясающее впечатление. Вряд ли можно было сильнее и трагичнее передать все, что связано было для людей 1965 года с судьбой Мандельштама и всей страны. Культ не культ, а причастных к террору было немало... Так воспринималось нами то, что сделали все еще властвовавшие нами (прошло лишь 12 лет со смерти Сталина) и «их» время с Поэтом и культурой вообще. И не в последнюю очередь с нашими душами, отравленными воздухом той

жуткой и одновременно чуть ли не героической (все еще в восприятии многих, в том числе и моем) эпохи. [...]

На шаламовской ноте и закончился вечер. И не только потому что был исчерпан список выступающих, а еще из-за того, что после него сказать было нечего. «Дальнейшее – молчание...».

Реакция на произошедшее была симптоматична. Лица части сидящих в первом ряду были бледными – то ли от страха за мехмат и за себя, то ли от неприятия услышанного, враз перечеркнувшего их согласие с собственной совестью и советской властью «заодно с правопорядком». (Как сейчас вспоминает моя однокурсница, я потом рассказывал, что один из партфункционеров даже передал через меня записку ведущему с требованием прекратить чтение Шаламовым его рассказа). Но то, что и Илья Григорьевич будет в шоке, предвидеть было сложнее. Тут же, в лифте он с упреком сказал мне: «Что ж вы меня не предупредили о том, что будет читать Шаламов!». Видно, только что услышанное выходило за пределы допустимого – даже при его жизненном опыте и умудренности всеми тонкостями подсоветского выживания. А, может, именно благодаря этому...

Оргпоследствий, как мне помнится, не воспоследовало.

-----

Прим. составителя:

\* Имеется в виду ранний (1922) роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито»

\*\* Известный текстолог, мандельштамовед, коллекционер

*Валентин Михайлович Гефтер (род. 1944), выпускник мехмата МГУ, работал научным сотрудником в Институте высоких температур, с конца девяностых возглавляет московский Институт прав человека, ведет активную правозащитную деятельность*





## Александр Гинзбург

### *Двадцать лет тому назад...*

От составителя

Статья из газеты «Русская мысль» (14/02/1986) диссидента и общественного деятеля Александра Гинзбурга о том, как в составленной им «Белой книге» по делу писателей Синявского и Даниэля, 1966, появилось известное шаламовское «Письмо старому другу». Прежде всего, весьма благодарен филологу Михаилу Юрьевичу Михееву, который ксерокопировал статью в Ленинской библиотеке с микрофильма (!), иначе не дали – я этот скан только пе-

рекодировал и вычитал. Странно, но вполне объяснимо, почему важнейшие материалы к биографии Шаламова появляются не на сайте shalakov.ru, а в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир». Мемуар Гинзбурга отчетливо проявляет характер отношений Шаламова с Леонидом Пинским, внесшим, пожалуй, самый значительный индивидуальный вклад в появление «Колымских рассказов» как законченного художественного массива – и в качестве редактора-составителя, и в качестве инициатора издания пятитомника КР 1965/66 – 68 гг., который копировала для перестроечных, а затем российских публикаций Сиротинская. Мало-помалу истинная биография Шаламова и путь «Колымских рассказов» к читателю, погребенные под горами лжи, обрастают деталями и подробностями.

---

*Повторная публикация документов самиздата – явление довольно редкое. Ровно 20 лет тому назад – в феврале 1966 года – состоялся суд над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Впервые за многие годы политический процесс вызвал в Советском Союзе бурную общественную реакцию. Как следствие этой реакции и появилась*



*документальная книга о процессе, объединившая и запись суда, и письма в «инстанции» – в защиту арестованных писателей, и самиздатские документы, передававшиеся тогда из рук в руки. Один из таких документов, написанный в форме «письма к другу», мы и предлагаем вниманию наших читателей. Сегодня же мы впервые называем и его автора – Варлам Тихонович Шаламов.*

Я даже не знаю, есть ли у этого письма конкретный адресат. Думаю, что просто это была группа людей, на которых автор, безусловно, ориентировался, к которым обращался. Это был некий круг, существовавший в Москве с конца 50-х годов. Постепенно он, к сожалению, почти сошел на нет, в основном потому, что большинство его участников умерло. Это была компания бывших зэков сталинских времен. В этом кругу (достаточно, впрочем, широко) десятки людей хорошо знали друг друга. Сюда практически невозможно было попасть просто так, если ты сам не прошел через тюрьму или лагерь. Я познакомился с этими людьми в 1962 году, после своего первого срока. Понятно, что именно здесь в феврале 1966 года с особым интересом обсуждался первый (полузакрытый) политический процесс, на котором судили двух писателей. Помню как сейчас, одну из квартир писательского дома у метро «Аэропорт» в дни процесса и сразу после него. Люди собирались здесь каждый день, чтобы своими глазами увидеть и прочитать то, что доходило до нас из зала суда.

Это были кипы машинописных листов – запись допроса обвиняемых и их свидетелей, речи адвокатов, последнее слово подсудимых. А кто-то приносил то, что удавалось достать в самиздате – письма протеста, петиции, обращения. Все это читали вслух, часто тут же перестукивали на машинке и потом до хрипоты обсуждали в табачном дыму за чашкой простывшего чая. И был среди этого шума и споров только один человек, который почти никогда ничего не говорил. Он был в этом доме частым гостем. Он сидел, прислонившись к стене, в низко надвинутой меховой шапке (в тот год в феврале было очень холодно). Иногда мне казалось, что ему неудобно сидеть на стуле, что он вдруг возьмет да и присядет на корточки, как это делали в лагерях старые зэки. Это был Варлам Тихонович Шаламов. Он почти ничего не говорил, очень редко задавал вопросы, но слушал других с напряженным вниманием. Помню, что однажды он исчез (я сразу это отметил, потому что он вызывал во мне какой-то особенно жадный интерес) и три дня не появлялся. А потом пришел снова. И как раз в этот день в «нашем доме» читалось вслух «Письмо старому другу».

Я тоже ходил туда каждый день – у меня, помимо живого интереса, была еще и своя задача – я собирал все документы о процессе Синявского и Даниэля, чтобы составить потом «Белую книгу» (в те дни я уже твердо решил это сделать). В тот вечер я впервые и услышал это



письмо. Я долго потом не знал, в какую часть «Белой книги» мне его поставить, потому что, в самом деле, в этом письме было все, что в той или иной форме вошло в книгу, а терять хотя бы десятую, сотую часть того, что было накоплено, мне очень не хотелось. Мне казалось, что каждый документ в этой книге есть документ исторический. И вот я наконец, как мне кажется, нашел способ, подсказанный литературой прошлого века. В сборнике не было оглавления. И «Письмо старому другу» как бы его заменило. Можно было открыть книгу, посмотреть на портреты Синявского и Даниэля и прочитать только это письмо

– и все становилось ясно. В его последних строчках содержалась главная мысль книги, когда автор письма приводил слова Петра Долгорукого: «Для России этот врач – гласность».

У многих из нас и тогда было подозрение, что автором письма был Шаламов – очень многое в его интонации перекликалось с «Колымскими рассказами». Но вслух об этом, естественно, никто не говорил. В конце 1966 года, когда книга уже была готова и я показывал ее многим людям, я случайно встретил Шаламова в Ленинской библиотеке. Своей немного неверной, шатающейся походкой он рассказывал по галерее, где располагались каталоги, что-то приговаривал и как будто никого вокруг не замечал.

Увидев меня, он пошел навстречу и стал расспрашивать о книге. Он её еще не видел. Я рассказал ему, что, как и где расположено, и, в частности, заметил, что кончается это все «Письмом к старому другу». Тут он остановил меня резким вопросом: «И сколько Вы думаете получить за это?» Я ответил: «Ну, по статье не больше 7-ми». На его лице промелькнула тень: «Ваше счастье, в наше время минимум 25 схлопотали бы». Получил я потом 5 лет – ошиблись мы оба.

В январе 1967 года меня арестовали. Мои следователи не сразу обратили внимание на это письмо. Потом они попробовали приписать его мне. Но эта версия отпала довольно быстро – даже они поняли, что не мог человек моего возраста и с моим жизненным опытом написать такое письмо. Так что на суде обвинение выглядело уже так: «автор тенденциозно составил книгу, включив в нее антисоветские документы – «Письмо старому другу» и листовку, подписанную «Спротивление»».

А о том, что автором «Письма старому другу» был Варлам Тихонович Шаламов, окончательно я узнал, когда уже вышел из лагеря. Мне сказал об этом Леонид Ефимович Пинский, известный профессор-литературовед, в доме которого и собирался кружок старых эзков – тех людей, благодаря которым появилась «Белая книга по делу Синявского и Даниэля».

*Александр Гинзбург*

---

Скан статьи в архивированном файле, 2,2 МБ  
[http://dl.dropbox.com/u/9178411/A\\_Ginzburg\\_20\\_let\\_tomu\\_nazad.rar](http://dl.dropbox.com/u/9178411/A_Ginzburg_20_let_tomu_nazad.rar)

*Александр Ильич Гинзбург (1936-2002), диссидент, активист самиздата, распорядитель солженицынского Фонда помощи политзаключенным, лагерник, в 1979 году в рамках международной сделки был обмен на советских шпионов, содержавшихся в американской тюрьме, и выслан на Запад*





**Александр Гладков**

*Шаламов в дневниках Александра Гладкова*

Филолог Михаил Юрьевич Михеев, работающий в РГАЛИ с дневниками Александра Константиновича Гладкова, предоставил мне возможность сделать выписки, связанные с Шаламовым, из его дневников за 1964-1972 гг. (РГАЛИ, фонд А. К. Гладкова, 2590, оп.1). Весьма ему благодарен.

Значком # обозначены абзацы.

Предварил записи короткими комментариями.

Хочу отметить впечатление, произведенное Шаламовым на мемуариста во время его первого визита на Хорошевскую,10:

«От Шаламова огромное впечатление. Глухота, дергающиеся движения, нечто вроде внешнего юродства, и сложный быстрый ум, вкус, тонкость. Убежденность, как у протопопа Аввакума».

**1961**

3 нояб. (...) захожу в «Новый мир». Там знакомство с поэтом Д. Самойловым. (...) Еще знакомлюсь с поэтом Шаламовым. Он был на Колыме много лет, хорошо знает Валю Португалова. К нему хорошо относился Пастернак. Его книжку выпустили не так давно в 2000 экз-земпляров и она сразу же исчезла\*.

\* *Сборник стихов «Огниво»*

**1964**

14 марта # Книжка стихов Шаламова «Шелест листьев» – чистый тон, естественность, но... ждал много и м.б. большего. Впрочем, редактора...

## 1965

От составителя

Разговор гостя с хозяином касается, в частности, темы «вымирания классического романа» – мысль, владевшая Шаламовым по меньшей мере с конца пятидесятых годов.

Одно из первых упоминаний «Колымских рассказов» (не просто «Колымской прозы») как целого: «папка», т.е. машинописный сборник.

Фоном происходящего служит раскручивающееся дело Синявского и Даниэля.

Сделал кратчайшие примечания.

Н.Я. – Надежда Мандельштам.

---

(32) 3 апреля. Прочитал 5 рассказов В. Шаламова из его колымского цикла: «Заговор юристов», «Сгущенное молоко», «Заклинатель змей», «Одинокый замер» и «Посылка» (в рукописи). Всего листа два. Кажется, это далеко не все из написанного в этом роде автором. Очень хорошо!

4 апр. Кажется, это только часть «колымской прозы» Шаламова. Много говорят также о мемуарах Гинзбург, матери Василия Аксенова. Но я еще их не читал.

(47) 13 мая (...) Сад зеленеет. Сейчас еду в город. Вечером в МГУ вечер памяти Мандельштама и я обещал Н.Я. быть на нем.

14 мая. Вечер вчера состоялся, хотя и была сделана попытка его отменить. [...] Аудитория битком набита и масса непрошенных у входа. Председательствует И.Г.Эренбург, почти дряхлый и с розовенькими щеками. Он говорит умно, сдержанно и точно на той крайней границе между цензурным и нецензурным, которую он чувствует как никто. Показывает №4 алмаатинского журнала «Простор», где напечатан целый цикл Мандельштама и в том числе знаменитый «Волк», которого в прошлом году запретили в «Москве». Еще говорят: Н.Чуковский

(поверхностно и почти пошловато), Н.Л. Степанов (вяло ораторски, но умно, хотя и академично), поэт Арсений Тарковский и Варлам Шаламов, который читает свой колымский рассказ «Смерть поэта» и иступленно, весь раскачиваясь и дергаясь, но отлично говорит.\*

(94) 7 сент. Н.Я. в последний раз очень хвалила новые рассказы Шаламова. Это вообще ее последнее увлечение. Конечно, так называемая, «вторая литература», т.е. вещи, бродящие по рукам в машинописном виде и не печатаемые редакциями, ярче и сильнее.

(98) 16 сент. Был в городе. Редакция «Новый мир». Встреча с приехавшим вчера Лево́й [друг Гладкова литературный критик Лев Левицкий]. Подробности об аресте Синявского. Вместе с ним арестован переводчик Даниэль. [...] Встреча на остановке такси с Шаламовым. Он зовет к себе.

(99) 18 сент. Сегодня снова в городе: у Шаламова и в ЦДЛ на гражданской панихиде по С. Злобину\*\*. От Шаламова огромное впечатление. Глухота, дергающиеся движения, нечто вроде внешнего юродства, и сложный быстрый ум, вкус, тонкость. Убежденность, как у протопопа Аввакума. Говорим о Колыме. Его история в целом. Его проза и позиции. О вымирании классического романа. О «документальности» новой прозы. Его жены писательницы Ольги Неклюдовой нет. Мещанская квартира на Хорошевском шоссе, рядом с квартирой Штока\*\*\*. Он пишет в школьных тетрадях карандашом. Взял у него папку «Колымских рассказов»\*\*\*\*.

(101) 22 сент. (...) Н.Я. сегодня звала к себе: у нее будет Шаламов. Мог бы успеть до поезда, но вряд ли поеду.

-----

\* См. запись о вечере самого Шаламова и статью в разделе «Материалы к биографии» о впечатлении, произведенном выступлением Шаламова на присутствовавших

\*\* Степан Павлович Злобин, советский писатель, исторический романист, лауреат Сталинской премии

\*\*\* Исидор Шток, советский драматург и прозаик

\*\*\*\* Возможно, речь идет о сборнике, отрецензированном в письме Шаламову от 2 сентября Надеждой Мандельштам – сборник «Колым-

ские рассказы» оформлен Шаламовым в окончательной редакции не позже весны 1965 года

Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/220797.html>

## 1966

Дневниковые записи Gladkova за 1966 год частично опубликованы (Александр Gladkov. *«Я не признаю историю без подробностей...» (Из дневниковых записей 1945-1973) / Предисловие и публикация Сергея Шумихина. // In теторiam: Исторический сборник памяти А. И. Добкина. СПб.; Париж: Феникс-Atheneum. 2000*). Выборки, однако, сделаны мною исключительно из работ Михаила Михеева.

Наглядно видно, что с Надеждой Мандельштам Шаламов приобрел широкий круг знакомств в среде самой продвинутой столичной интеллигенции. Крайне интересно указание на пребывание у Надежды Мандельштам Шаламова и Кларенса Брауна 26 мая 1966 года, буквально в те дни, когда последний получил от Шаламова для передачи в Америку Глебу Струве шестисотстраничный список «Колымских рассказов», а также свидетельство о посещении Н. Мандельштам Шаламовым и Леонидом Пинским в марте того же года. О содержании составленных Шаламовым под редакцией Пинского томов этого не осуществленного за океаном собрания сочинений см. в тематическом подразделе «Материалов к биографии» данного сборника.

Достоин внимания, что Эренбург, похоже, так и не удосужился прочесть «Колымские рассказы», во всяком случае, не упомянул ни одного свидетельства, чтобы он их читал. А жить ему с лета 1966 оставалось год.

Снабдил кратчайшими уточнениями и примечаниями.

В.Ш. – Шаламов, Н.Я. – Надежда Мандельштам, Н.И. – Наталья Стоярова.

---

(25) 4 марта # 26-го [апреля] почти целый день у Надежды Яковлевны. 27-го вечером у Ильи Григорьевича [Эренбурга]. 28-го – Загорянка. (...) 2-го (...) Едем с Колей Панченко к Н.Я. и вечер допоздна у нее. (...) # Прочитал рукопись романа А. Платонова «Котлован» о кол-

лективизации, в условной манере, которую я не очень люблю, но вещь сильную, яркую, правдивую. (...) одну рукопись В.Ш. (о процессе)\* и последние слова С.и Д. (уже бродящие по Москве в машинописи). # (...) # У Н.Я. я пробыл целый день и обедал. Она очень хвалит «Встречи с П. [Пастернаком]». – Да, это он, – говорит она. Она хорошо знала его много лет и это свидетельство ценно. Еще прочли рукопись Шаламов (ему понравилась только первая половина) и Дорош, которому, кажется, понравилось. Вечером у Н.Я. появился Шаламов, потом Наталья Ивановна [Столярова], Пинский и Майя Синявская [Мария Розанова], жена героя процесса. Она некрасива, в очках, упряма, кажется очень усталой, но не подавленной. Рассказ ее о процессе, о свидании и пр.

11 марта [о книжке Б. Дьякова о лагере\*\* – прим. М. Михеева] Перечитывал ее с волнением, все время останавливаясь и вспоминая свою лагерную эпопею. Конечно, Шаламов пишет лучше, глубже, острее, правдивее, но и это пригодится.

(57) 8 мая (...) # Днем и вечером у Н.Я. Потом приходит Коля Панченко с Варей [Варвара Шкловская], ее подруга биолог Оля, какая-то филологичка Марта, американец Кларенс [Браун], занимающийся в ун-те, славист, переводчик Мандельштама [...]

26 мая # Почти два дня в Москве. 24-го с Э. [Эмма Попова, жена Гладкова] поехали к Н.Я., пошли с ней на выставку «шестерки» – Вайсберга [Владимир Вайсберг, художника-нонкорфомист] и его друзей, потом опять к Н.Я. – пришли Шаламов, американец Кларенс Браун, потом Браун ушел и появилась Майя Синявская, Голомшток [Игорь Голомшток, искусствовед и историк искусства] и некая Вика Швейцер [Виктория Швейцер, биограф Цветаевой], работающая в ССП, приятельница Майи [...]

(59) (...) 30 мая # Вчера днем поехали в город с Эммой. Сначала у Ц.И. Кин [Цецилия Кин – литературовед, литературный критик], потом заходим за Левоу и едем к Н.Я. Она нас сразу утаскивает к Н.И. Столяровой, где находятся приехавшие из Швейцарии Вадим Леонидович Андреев с женой (падчерицей Чернова)\*\*\*. У Н.Я. были Амузины [Иосиф Амузин – историк-библеист, кумрановед]. У Н.И. еще какой-то репатриант Алекс. Алекс.\*\*\*\*, потом приходят Пинский, Кома Иванов [Вячеслав Вс. Иванов], Шаламов, Рожанская [Наталья Кинд] и еще какая-то дама. Мы сидим до половины десятого, потом я



отвожу Эмму на вокзал. Она уезжает поездом № 38. Разговоры довольно интересные: рассказы Андреева о разных деятелях зарубежья, споры о Платонове и Бабеле и т.п. (...)

(60) 31 мая (...) Днем еду в город. Книжные магазины, Лева, звонок на улицу Грицевец, потом у Н.Я. с Амусиными, Шаламовым, Аренсами\*\*\*\*\*, Левой. Аренсы подкидывают меня на машине и около 12 ночи я возвращаюсь. # Рассказы Шаламова о том, как он сидел в 29-32 гг. и о Колыме и о судьбе героев его рассказов. Спор о Солженицыне, к которому Ш. относится скептически и совсем не принимает «Ивана Денисовича», как неверную картину лагеря. Из присутствующих его поддерживаю один я, хотя и с оговорками. Нападает он и на «Новый мир». # При всех его крайностях, это замечательный человек. Талантлив, умен, любопытен, бездна знает всего и как никто – историю лагерей...

(61) 3 июня # Вчера целый день в городе (...) # Аксенова [Евгения Гинзбург] написала еще три главы своих мемуаров [«Крутой маршрут»]. И.Г. [Эренбург] их читал и очень хвалит. Шаламова он не читал.

(64) 7 июня (...) # В последний раз у Эренбургов еще говорили о рукописи Н.Я. [книга «Воспоминания»] [...] И.Г. и Л.М. [Любовь Михайловна, жена Эренбурга] о мании преследования, которая издавна свойственна Н.Я. Л.М. считает рассказы Шаламова слишком «страшными». И.Г. их еще не читал и лучшими в этом жанре находит мемуары Аксеновой, которая продолжает их писать, переехала в Москву и пр. Слухи о напечатании их за границей И.Г. опровергает.

(65) 9 июня (...) Сейчас по рукам ходит бездна рукописей и особенно много рассказов Шаламова.

(108) 27 авг. (...) # Прочитал очерки и рассказы Олега Волкова\*\*\*\*\* о лагерях. Интересно, но Шаламов лучше.

(110) 1 сент. # У Надежды Яковлевны. (...) # Говорим о разном: о Солженицыне, о Шаламове, о стихах Максимова, о Коле Иванове. Он знает более 70 языков, а сама Н.Я. более 20. # У Н.Я. снова народ и видимо лишний, от которого она устает. Некая Елена Алексеевна [Елена Ильзен-Грин, машинистка Леонида Пинского] и какой-то Эдик.

(112) 6 сент. (...) # Вчера едем в город. (...) Потом у Н.Я. вместе с Шаламовым, Нат. Ив. Столяровой и Мишей [ошибка – Александром] Андреевым, сыном Вадима Андреева. (...) # Шаламов продолжает писать рассказы: только что написал и принес Н.Я. 8 штук. Бранил пьесу Пановой в «Нов. мире», снисходительно хвалил (с упреком за отсутствие прямызни?) Домбровского. (...) # Денег нет, утром ходил сдавать бутылки. # (...) # Вчера утром делал выписки из своих старых дневников о всех упоминаниях Мандельштама по просьбе Н.Я. для какой-то картотеки Морозова\*\*\*\*\* (биографической) и вдруг понял, что я могу написать о нем и начинаю понимать – как.

(113) 7 сент. (...) # С утра в городе. Три часа у Шаламова. Разговор о многом. В нем есть односторонность и своего рода фанатизм, но человек он крупно талантливый и интересный. Кто-то говорит, что память это свойство таланта: у него удивительная память. Взял у него читать еще кучу рассказов и переписку с Пастернаком.

8 сент. # Полночи читал рассказы Шаламова (некоторые уже вторично). Есть вещи отличные, есть небрежно-беглые. Он пишет их в школьных тетрадях в линейку с одной стороны листа (на другой вносит поправки). Сходимся в том, что профессиональная школа перечеркиваний и помарок, возведенная в абсолют Фединым и даже Флобером и Толстым, в большинстве случаев обескровливает рукопись (как это было с Бабелем). Писатель должен неустанно работать над собой, а писать быстро, легко и почти импровизационно. Это высказываю я, а Ш. сказал, что это и его мысли и техника работы. Он получает 70 руб. пенсии «за стаж» и изредка (но очень редко) какой-нибудь гонорар и этим удовлетворен. Жалуеться только, что не хватает денег на машинистку. Написано уже около полутораста рассказов о Колыме\*\*\*\*\* – это целая энциклопедия жизни, быта, истории этого самого огромного советского лагеря. У него цепкая память и интерес ко многому, что выходит из границ темы. Говорим с ним и о «Синей блузе» и он верно указывает о незамеченном исследователями Брехта ее влияни<и> на драматурга. Рассказы о молодежи вокруг ЛЕФа в конце 20-х годов: он ходил туда. Лихая, анекдотная, циническая атмосфера салона Бриков и его стиль, оттолкнувший его С.Третьяков и его взгляды [см. воспоминания Шаламова «Двадцатые годы»]. Он отрицательно относится к «Ивану Денисовичу», хотя признает «полезность»: считает это «неполной правдой» и вообще не жалуется Солженицына.

(118) 17 сент. [...] Просмотрел гору шаламовских стихов: несколько «Колымских тетрадей». Это очень слабее его прозы. Во-первых, всё

приблизительно-условно-поэтично, очень иносказательно и очень не-свежо. Есть конечно и сильные стихи – он большой талант, но уж очень всё лирично и нежно. Т.е. прямо противоположно его же прозе.

(119) 19 сент. [...] Перечитываю (кажется, в третий раз, если не в четвертый) рукопись Над. Яковл. Это замечательно при всей односторонности и субъективизме. # Когда-то я сокрушенно думал, что наша эпоха не оставит великих мемуаров. Оказалось, что оставит. Ведь и гигантский цикл рассказов Шаламова – тоже мемуары.

8 дек. (...) Разговоры и с Д.Я.\*\*\*\*\* Он прочитал рассказы Шаламова и ему не нрав<и>тся. «Как-то всё голо. Нет обобщений». Удивительно, до чего у нас при взаимной симпатии разные литературные вкусы...

(171) 30 дек. (...) Прочтено много интересных рук-й (роман Бека, пов. С-на [«Раковый корпус» Солженицына], проза Ш-а, «Зимний перевал» Драбкиной, лагер. мемуары и разное) и порядочно книг.

-----

\* Речь, без сомнения, идет о шаламовском «Письме старому другу», опубликованном анонимно в сборнике Александра Гинзбурга по делу Синявского и Даниэля. В воспоминаниях Гинзбург пишет: «У многих из нас и тогда [февраль 1966] было подозрение, что автором письма был Шаламов – очень многое в его интонации перекликалось с «Колымскими рассказами». Но вслух об этом, естественно, никто не говорил»

\*\* Борис Дьяков, «Повесть о пережитом». Шаламов крайне негативно относился к мемуарам Дьякова, считая их лживыми и партийно-ортодоксальными. См. в его переписке с Солженицыным

\*\*\* О семье Андреевых и Шаламове см. здесь <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/63539.html>

\*\*\*\* Возможно, Александр Александрович Угримов, друг Натальи Столяровой и Натальи Кинд, репатриант, лагерник, один из помощников Солженицына

\*\*\*\*\* Вероятно, Лев и Сарра Аренсы. Лев Аренс – сын начальника Петергофской пристани и Царскосельского Адмиралтейства, биолог, лагерник, друг Ахматовой

\*\*\*\*\* Об Олеге Волкове и Шаламове см. здесь <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/67425.html>

\*\*\*\*\* Об Александре Морозове и Шаламове см. здесь <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/42639.html>

\*\*\*\*\* Преувеличение. К этому времени было написано порядка ста двадцати рассказов и очерков

\*\*\*\*\* Давид Дар – журналист, писатель, один из лидеров молодежного поэтического андеграунда, муж писательницы Веры Пановой

Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/215509.html>

## 1967

Сделал кратчайшие примечания, хотя требуется, конечно, основательный комментарий, тем более, что упоминания о Шаламове вырваны из контекста, который я за неимением места опустил.

Н. Я. – Надежда Мандельштам, В. Т. – Шаламов

---

(л. 33) 19 фев. # Вчера письма от Левы и Шаламова. [...] # Шаламов пишет: «у меня просто руки опускаются, когда видишь, что все наиболее выстраданное, наиболее проверенное подвергается сомнению из-за того, что люди просто не хотят подумать серьезно о многом, начиная с фармакологии букиниста\* и кончая блатным миром. Никто не хочет знать, что все гораздо серьезней, страшнее»... Это в связи с маниловскими рассуждениями Шарова о том, что он де неверно описывает мир рецидива, который не столь плох.

(44) 20 марта # Вечером еду к Надежде Яковлевне. Застаю ее в плохом настроении. Она пишет воспоминания об Ахматовой\*\*, очень волнуясь и нервничая и говорит, что: «Старухе забрала ее когтями и когда она кончит, то утащит за собой»... У нее неважно с сердцем и она плохо выглядит. Приезжает Шаламов и долго сидим втроем. Разные разговоры. Она дает нам читать куски из новой рукописи, которая умна и интересна и говорим о ней. [...] # У Н. Я. телефон, но без номера: ей нельзя звонить, а она может. # Завожу Шаламова на такси на Беговую и возвращаюсь к Левае уже поздно. #

(65) 28 апреля 1967 г. # Был в городе. ЦДЛ. Шаламов. Гарины. [...] # С Шаламовым говорили о литературе, с Гариными о моем новом

кино-замысле (...) # Мы во многом сошлись с Шаламовым в оценке рукописи Н. Я. # 29 апреля # Прочитал целую кипу рассказов Шаламова. Нет, мне нравится его манера. Встречаются повторения, но это неизбежно и их немного. Есть сильнее, есть слабее, но в целом это выразительно, умно, точно. Это как чудовищная фреска, внутренняя форма которой зависит не от сюжета, а от размера стены, на которой она написана, а стена эта колоссальна. # И я совершенно согласен с ним, где его точка зрения оспаривается, как, например, в вопросе о рецидиве. Так и я увидел этот отвратительный мир, так и я рассказывал о нем, еще не читав Шаламовских рассказов.

(72) 15 мая # Вчера был в городе: взял билет на поезд и отвез Шаламову его рукописи. Сидел у него часа три. Подарил ему сборник, который он просмотрел бегло, очень хвалит.

(75) 20 мая # Томительная жара, но все же с легким ветерком. # Утром отвез бук сирени Надежде Яковлевне. Она была рада. Рассказывает, что потребовала рукописи О. Э. у Харджиева [...] # С. мне показал в америк. газете объявление о выходе №85 «Нового журнала»\*\*\* (Нью-Йоркского), где на первом месте стоят «Колымские рассказы» Шаламова. Он или не знает об этом, или не захотел мне рассказать. # Солженицын написал обращенное к съезду письмо с жалобой на свою литературную судьбу и с предложениями: ликвидировать главлит и перестроить ССП с тем, чтобы он не принимал участие в травле писателей, а защищал их.

22 мая [...] открыл левин чемоданчик и зачитался его и маминими письмами периода после моего ареста и перед его смертельной болезнью и во время нее. [...] грех беречь себя и я счел обязанным все прочитать. Господи, какая мера горя, незаслуженного, непоправимого. И это только две судьбы – две из миллионов! И еще находятся люди, рассуждающие о прощении Сталину во имя некоей исторической объективности. # Не потому ли меня так и тянет к Шаламову, что он какая-то вариация (наисчастливейшая) судьбы Левы. У них есть общее, но Ш. огнеупорнее, или просто везучее.

(82) 31 мая [...] В №5 «Юности» снова стихи Шаламова. (...)

5 июня Бибиси передало полный текст письма Солженицына без комментариев. [...] # Написал письма Дару, Шаламову и Н. Завтра отправлю.

(90) 10 июня # Не записал еще вчера про встречу с Шаламовым с его бывшей (и настоящей м.б.?) женой О.С. Неклюдовой на Аэропортовской днем. У него обвязана голова и она провожала его в поликлинику: он упал и разбил голову\*\*\*\*. Но он веселый – в руках у него связка книг: первых авторских экземпляров новой книги стихов «Судьба и дорога». Тут же надписывает мне. Неклюдова раздражена на него, шипит все время и мне неловко. До сих пор я ее ни разу не встречал.

(98) 25 июня # Эмма\*\*\*\*\* играла днем «Идиота», ее провожала толпа девочек, снимали американские репортеры: она приехала с розами в руках. На театр Шаламов прислал книжку «Дорога и судьба» с надписью.

(104) 3 июля # Нашел на почте несколько писем: от Шаламова [...] # Шаламов благодарит за отзыв о книжке «Дорога и судьба» ...

(112) 17 июля # Все думаю о «Круге первом». # Это много выше мелких вещей Солженицына, особенно тех, что пронизаны искусственным русофильством, словечками от Даля и пр. Он писатель глубокого дыхания: атлет, способный поднимать большие тяжести. Как романист он сильнее, чем новеллист. И это – настоящий крупный писатель, которого ждали и который пришел... # [...] Если не считать рассказов Шаламова, некоторых мемуаров и кое-каких стихов, то разумеется ничего подобного «Кругу первому» в литературе еще не было на тему о лагерной трагедии русского народа. # Это сильнее «Ивана Денисовича» и «Матренина двора». То было обещанием, а это уже большое свершение. # И меня удивляет, что Н. Я. и В. Т. (кажется) так холодно отнеслись к этой вещи\*\*\*\*\*.

30 авг. # Сегодня днем Бибиси передало, что в Москве начался процесс над тремя советскими писателями, обвиняемыми в издании нелегального журнала. Но так как я ни разу не видел ни одного нелегального журнала и о пресловутом «Фениксе»\*\*\*\*\* слышал только из зарубежных источников, то не могу догадаться: кто это? Кто-нибудь вроде Алика Гинзбурга, которого тоже ни разу не видел, или ему подобных, и вряд ли это члены ССП. # [...] Добровольский, Кушев, Долоннэ, некая Вера Ложкова\*\*\*\*\* ?, А. Гинзбург и еще кто-то. Это основатели некоего общества СМОГ (Слово. Мысль. Образ. Глубина.).

(176) 31 окт. # В городе был у Н.П. Смирнова, у Ц.И. Кин и у Н.Я. Мандельштам, которой сегодня 68 лет. Она мрачна: болен Евг. Як.\*\*\*\*\* (спазмы) и пророчит, что в следующем году умрет. Впрочем рада шоколаду и шампанскому, которые я привез. У нее обычные гости: Шаламов, Варя Шкловская и Коля Панченко, Саша Морозов, Мелетинские, Юля и ... (забыл имя и фамилию) и двое молодых: муж и жена, которых именно тоже забыл (да и знал ли?). # [...] # Шаламову несколько месяцев назад вернули рукопись рассказов о воровском мире с обвинениями его в негуманном отношении к людям из изд-ва «Советский писатель». Рец-ю писал Ю. Лаптев\*\*\*\*\*. Он туманно слышал, что его рассказы вышли на англ. языке. За рубежом есть хорошие рецензии на его стихи: одна написана Г. Адамовичем. В наших журналах рецензии маринуются. Коля Панченко уверяет, что есть список тех, кого не нужно печатать и о ком не надо писать, и он там тоже. Все может быть.

7 дек. (...) Еду к Шаламову за книжкой о Фрунзе.\*\*\*\*\* Телефонное знакомство с Галиной Александровной Воронской.

-----

\* В рассказе Шаламова «Букинист» речь идет об использовании психотропных веществ в показательных судебных процессах 30-х годов

\*\* Книга Надежды Мандельштам «Об Ахматовой»

\*\*\* Номер журнала за 1966 год с первой подборкой «Колымских рассказов», переданных Шаламовым в Америку для издания книг

\*\*\*\* См. письмо Шаламова Якову Гродзенскому от 21 июня 1967

\*\*\*\*\* Актриса Эмма Попова, жена Гладкова

\*\*\*\*\* См. последнее (недатированное, осень 1967?) письмо Шаламова Солженицыну в «Новой книге», 2004, с отзывом на рукопись романа «В круге первом». Похвала книге, дополненная критикой, в некоторых отношениях совершенно дежурна и сопровождается выражением твердой уверенности Шаламова, что «роман умер», и хвалит он Солженицына за «победу в канонической, а потому неизбежно консервативной форме». Иначе говоря, хвалит удачу работника сферы ритуальных услуг

\*\*\*\*\* Самиздатский альманах «Феникс-66», выпущенный Юрием Галансковым, подвергшимся за это судебному преследованию наряду с Александром Гинзбургом, составившим «Белую книгу» по делу Синявского и Даниэля («процесс четырех»). Для «Белой книги»

Шаламов написал «антисоветское» (формулировка суда) «Письмо старому другу»

\*\*\*\*\* Диссидентка Вера Лашкова. Упомянутый Долоннэ – поэт Вадим Делоне. Вместе с Владимиром Буковским и Евгением Кушевым получил год условно за участие в демонстрации в защиту фигурантов «процесса четырех». Именно об этом, втором, суде и сообщает Би-Би-Си

\*\*\*\*\* Евгений Яковлевич Хазин, брат Н. Мандельштам

\*\*\*\*\* По-видимому, писатель и сценарист Юрий Григорьевич Лаптев, лауреат Сталинской премии, тогдашний проректор Литинститута

\*\*\*\*\* Речь, без сомнения, идет о «Повести непогашенной луны» Бориса Пильняка, посвященной автором революционеру и литературному критику Александру Воронскому, другу Фрунзе и отцу Галины Воронской

Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/210270.html>

## 1968 [Письмо Шаламова Шолохову?]

Общественный фон – Пражская весна и оккупация Чехословакии советскими войсками.

---

(20) 1 фев. (...) # Во вчерашней «Лит. газете» рецензия Олега Михайлова на книгу стихов В. Шаламова. Она давно уже лежала в редакции и ее не печатали, так как Шаламова стали издавать за границей и хвалить там же. И если ее напечатали, стало быть, это что-то значит, какой-то тактический ход...\*

(124) 12 июля. # В последней «Лит. газете» хвалят стихи Шаламова. Не может быть, чтобы Чаковский не знал, что рассказы о Колыме недавно печатал «Новый журнал», что они изданы в ФРГ по-немецки (а у нас не изданы), что Шаламов написал целую энциклопедию о Колыме в страшные ее годы, но, оказывается, это не имеет значения и его можно прославлять. Он не подписывал никаких писем. Да. Но его личное письмо к Шолохову стоит многого\*\*. Но скандала, связанного с его именем, не было. И о нем пишут. В этом же номере, не бог весть



как резко, но все-таки бранят новый роман Бабаевского «Белый свет», который – по ту сторону добра и зла.

(215) 30 дек. Друзья все те же. Ближе стали отношения с Юрой [Трифоновым]. Дальше от Н.Я.\*\*\* – кажется, из-за ее непрерывного «салона» бородатых снобов с религиозным уклоном.

-----

\* Очевидно, интрига против Твардовского и «Нового мира», в ходе которой подборки стихов Шаламова будут отмечены в июле рецензентом «Литературной газеты» Станиславом Лесневским как лучшие стихи полугодия. См. письмо Шаламова Якову Гродзенскому от 16 июля 1968 года

\*\* Речь, по-видимому, идет о шаламовском «Письме старому другу», опубликованном анонимно в сборнике материалов Александра Гинзбурга по делу Синявского и Даниэля. Шолохов выступил тогда с кровожадной речью в адрес писателей, смеющих публиковать свои произведения за границей без разрешения начальства

\*\*\* Мандельштам, с которой как раз в это время порвал Шаламов

## 1969

Общественный фон – активизация кампании против диссидентов – с арестами, увольнениями и т.д. По словам Шаламова, как они переданы Gladkovым, летом 1969-го он «написал много новой прозы», однако, этим годом почти ничего не датировано: «Колымские рассказы» завершены год назад, переплетены в пятитомник и отправлены в Париж для несостоявшегося издания, так что «закончить «Колыму» он не мог – она уже закончена, не считая позднего сборника «Перчатка или КР-2». Возможно, Шаламов пишет «Воспоминания о Колыме», но Сиротинская датирует их семидесятыми. Без сомнения, работает он над «Четвертой Вологодой» и стихами, но это опять же не «Колыма». Учитывая, что Gladkov с Шаламовым не виделись больше двух лет, естественно заключить, что Шаламов просто сообщает приятелю о прошлогоднем завершении корпуса «Колымских рассказов». Возможно также, что речь идет об окончательной, «косметической» правке текстов – скажем, в пятитомнике 1965/66 – 1968 гг. рассказы «Укрошая огонь» и «Хан-Гирей» фигурируют под названиями «Огонь и вода» и «Тамарин-Мирецкий».

О каком «соседе-пьянице» говорит Шаламов, не знаю.

---

(16) 22 янв. Письма Левы и Шаламова. Шаламов хвалит мою статью в «Прометее» и какие-то стихи М. Петровых.

(17) 23 янв. (...) # В Ч. Словакии еще одно самосожжение – в Брно. В субботу 25-го похороны Яна Палаха.

(52) 12 марта. На одной из полос [«Литературной газеты»] в траурной каемке некролог «Памяти друга». Умер Валя Португалов\*, товарищ Левки, товарищ и моей молодости.

(85) 28 мая. Третьего дня рано утром приехала Эмма. (...) # [...] едем к Н.Я. Мандельштам. # Сначала сидим втроем, потом приходит некая искусствоведка Леля<sup>1</sup>, которую я вижу у Н.Я. в первый раз. Между Н.Я. и Шаламовым пробежала черная кошка.\*\*

12 сент. С утра в городе. (...) # Встреча у левиногого дома с Шаламовым. Заходим с ним к Лёве. Он хорошо выглядит, свежий цвет лица, сравнительно мало седины. Всё лето много работал: сделал сборник избранных стихов для Гослитиздата, написал к ним комментарий, написал много новой прозы, в том числе закончил всю «Колыму». Много читает, интересно и свежо судит обо всем. Его рассказы о разном. Все-таки удивительно интересный, самостоятельно мыслящий человек. С Н.Я. совсем не встречается. Говорит, что вечера у нее стали мешать его работе, но дело не в этом: между ними, как говорится, пробежала черная кошка. Его рассказ о соседе инженере-пьянице.

(149) 15 сент. Послал 2 бандероли в Ленинград и «Дело Чернышевского»<sup>2</sup> Шаламову.

-----

\* Поэт, адресат Шаламова, его товарищ по Колыме

\*\* Из этой фразы ясно следует, что не виделись Шаламов и Гладков очень долгое время, поскольку «черная кошка пробежала» между упомянутыми лицами не позже декабря 1968-го

*1 По мнению Романа Тименчика - Леля Мурина*

*2 По мнению Сергея Соловьева, речь идет о книге: «Дело Чернышевского. Сборник документов». Подгот. текста, введ. статья и*

коммент. И.В. Пороха. Саратов, Приволж. книж. изд-во, 1968 г. 680 с.

### *Дополнение*

В дневниках Гладкова за этот год упоминается публикация в «Правде» глав некоего шолоховского опуса, шаламовский набросок рецензии на который опубликовал сначала Н. Ганущак, а недавно он появился в седьмом томе собр. соч. Шаламова. Ниже – мнение Гладкова о «лагерном» куске шолоховского романа, который Шаламов называет «скороговоркой» (синонимом к слову «скороговорка» у него служит «пустяк»: «развиться скороговорке, пустяку, погремущке»). И у Шаламова, и у Гладкова в связи с прочитанным всплывает общая ассоциация – «балагур».

(54) 14 марта. # В «Правде» продолжение глав Шолохова с куском о 37-м годе. Уж наверно всё это проутюжено и прочищено, но и в этом виде, пожалуй, главное сказано. Концепция: да, это было, но Сталина обманывали, хотя он еще не может быть до конца разгадан.

(55) 15 марта # В «Правде» последний кусок шолоховских глав. Всё сусальное. С обычным его шутейным балагурством. Неужели и это реп-тильная критика начнет выставляться как шедевр соцреализма? # И все же, пожалуй, полезно, что это напечатано. Всё-таки 37-й год в карман не спрячешь. Мелкость исторической позиции тоже разоблачает Шолохова.

Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/237299.html>

### **1970**

Общественный фон – разгон редакции «Нового мира», присуждение Нобелевской премии Солженицыну. О Шаламове в дневнике мало, судя по всему, в этом году они не встретались.

Примечания составителя

---

РГАЛИ, Фонд А.К. Гладкова 2590, оп.1, е.х. 110 Дневниковые записи 1970

(3) 3 янв. Письма от Борщаговского, Ц.И., Шаламова (...). # (...) Шаламов хочет моего совета по какому-то «литературному делу».

(10) 19 янв. # В № 1 «Юности» стихи Шаламова.

(56) 2 апр. (...) # Фильм «Хламида»\* очень понравился В.Т. Шаламову, который успел его увидеть. Он приходил в «Новый мир» и рассказал об этом Леве. #

(74) 15 мая. В театральном журнале Бибиси с отзывом на чешский спектакль «Ревизора» выступал Николай Рытьков. Это он – тот диктор английских передач, который делает много ударений. [...]

Да, это он, сумасшедший эсперантист и чудак.\*\*

(91) 23 июня. В № 6 «Юности» напечатан рассказ Евгении Гинзбург [автора лагерных мемуаров «Крутой маршрут»]. Я его не прочитал еще, но тут важен сам факт появления ее фамилии в печати. У нее такое же положение, как у Шаламова.\*\*\* #

(111) 4 авг. (...) # Из кругов редакционного аппарата Лит. газеты слухи о том, что уже 60 стран поддержали призыв французских писателей дать Нобелевскую премию Солженицыну.

(145) 8 окт. Александр Исаевич Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе.

---

\* Документальный фильм «Невероятный Иегудиил Хламида» по сценарию Александра Гладкова. О начале литературной деятельности Горького, печатавшегося под псевдонимом «Иегудиил Хламида».

\*\* Высказываю предположение. Рытьков – актер, эсперантист, дважды сидел, первый раз – в одном из лагерей Магадана, где его, наконец, пристроили театральным работником. В 1965 году бежал на Запад, работал диктором на Би-Би-Си под псевдонимом Чугуев. Не Рытьков ли – «бродячий актер», подписавший этим псевдонимом статью «Последний страшный рассказ» в блоке материалов в журнале «Посев» №4, 1972, в ответ на шаламовское «Письмо в ЛГ» (см. в «Материалах к биографии» в данном сборнике)?

\*\*\* Отнюдь не такое же. Во-первых, Гинзбург состояла в правящей коммунистической партии, выезжала за границу – во Францию, в Германию, жила в собственной квартире в элитарном писательском доме на ул. Аэропортовской, в 1966 «Юность» напечатала ее повесть. Во-вторых, ее мемуары «Крутой маршрут» вышли на Западе книгой на русском еще 1967 году – сразу в издательстве «Посев» и в миланском издательстве Мандадори (одновременно на русском и итальянском), не говоря уж о журнальных публикациях и переводах.

Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/259164.html>

## 1971

Дневник Гладкова 1971 года позволяет точнее датировать антироман «Вишера» («написал о Вишере») – название ВИШЕРСКИЙ АНТИРОМАН появляется в записных книжках Шаламова в ноябре 1970, таким образом, основная часть очерков, очевидно, была написана в течение нескольких месяцев на рубеже 1970/71 гг., – и последнюю часть «Четвертой Вологды» начиная с повествования о большевистском терроре. Удивительно, что *буквально все*, что пишет Шаламов, он пишет «в стол» – только в бреду можно вообразить, что «Вишера» или «Четвертая Вологда» могли быть опубликованы в СССР семидесятых годов. То, что Запад дважды захлопнул перед ним дверь, ничего не поменяло – иначе как «в стол» писать прозу Шаламов просто не может. Всякие утилитарные соображения тут, по-видимому, отпадают автоматически.

Контекст очень пестрый: литературная и театральная жизнь, Солженицын, издание на Западе книги воспоминаний Н. Мандельштам, гонения на «инакомыслящих», еврейская эмиграция, смерть Хрущева, присуждение Твардовскому Ленинской премии и его смерть, гибель советских космонавтов на Земле и прогулки американских по Луне и т.д.

---

8 янв. [...] Письма (новогодние) от Л.Я. Гинзбург\* и В.Т. Шаламова.

(23) 26 янв. Днем поехал к Н.Я.М. [Мандельштам]. Застал ее больной и лежащей в постели. Сердце. Ждет акций начальства, но храбрится. \*\* [...] # Н.Я. несколько раз задавала мне одни и те же вопросы, я

отвечал, она спрашивала снова, забыв, что я ответил. Шаламов к ней не ходит с тех пор.\*\*\*

(42) 6 марта. [...] Письмо пришло на ул. Грицевец. Я сегодня заезжал туда и взял. [...] # Уйдя оттуда, встретил на углу Никитского бульвара и Арбатской площади (вернее – на бывшем углу) В. Шаламова. Прошлись по проспекту Калинина, зашли в книжный магазин. Он прилично одет. Продолжает писать о своей жизни. Написал о Вишере, собирается писать о Вологде первых лет революции, терроре М. Кедрова и пр. [...] # Шаламову понравился фильм «Бег».\*\*\*\*

(44) 9 марта. [...] Припоминаю разговор с Шаламовым. Он ненавидит Льва Толстого и как философа, и как человека, и как писателя. Сказал, что если бы у него нашлось время, он написал бы о нем работу, где показал бы его ничтожество. Мы разговаривали на ходу и он не аргументировал даже бегло своего мнения. Это может показаться чудачеством, но В.Т. слишком серьезный и убежденный человек, чтобы так к этому отнестись. Сам он пишет прозу очень простую и неукрашенную, но преклоняется перед «Петербургом» Белого.\*\*\*\*\*

(47) 15 марта. (...) # Послал письма: Каверину [...], Шаламову.

(56) 3 апр. Письмо от Шаламова.

(57) 5 апр. [...] # Послал бандероли Эмме и Шаламову.

(59) 8 апр. [...] # Открытка от Шаламова: он получил Рильке. # Газета «Русские новости» закрыта по указанию из Москвы. # Вышел 100-й номер «Нового журнала» в Н.Йорке. В нем рассказы В.Ш.\*\*\*\*\*

(69) 24 апр. [...] # Послал письма Э. Войтоловской и Н. Шейко [рижский режиссер – М.М.] и открытку Шаламову.

(72) 28 апр. (...) # Письмо от В.Ф. [Пановой – М.М.] и открытка от Шаламова.

(180) 27 окт. [...] Беглая встреча с Шаламовым в магазине книжном. Покупаю по его совету книгу о Народной Воле, вышедшую в Саратове. Пока я платил в кассу, он исчез. Не успел с ним толком поговорить.\*\*\*\*\*

-----

\* Лидия Гинзбург, литературовед, мыслитель

\*\* Очевидно, в связи с выходом в Америке ее книги воспоминаний

\*\*\* То есть с конца 1968 года

\*\*\*\* Фильм о гражданской войне по мотивам произведений Михаила Булгакова

\*\*\*\*\* Запись в дневнике Шаламова, сделанная приблизительно в это время:

«Оттен: Вы прямой наследник всей русской литературы – Толстого, Достоевского, Чехова.

Я: Я – прямой наследник русского модернизма – Белого и Ремизова. Я учился не у Толстого, а у Белого, и в любом моем рассказе есть следы этой учебы».

\*\*\*\*\* Не рассказы, а рассказ – «Надгробное слово»

\*\*\*\*\* Жаль, что не успел – это очень тяжелое время для Шаламова, в преддверии ультиматума: членство в ССП или прекращение публикаций в СССР. А за ультиматумом последует история с «письмом в ЛГ» – поначалу это письмо в приемную комиссию Союза Писателей

Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/250189.html>

### **1972, первая половина [«Письмо в ЛГ»]**

О Шаламове времен его скандального «Письма в ЛГ». Посвятил этой истории, как она изложена у Гладкова, статью в тематическом подразделе «Материалов к биографии» в данном сборнике.

Стоит также отметить, что, несмотря на упомянутый Гладковым обыск, Леониду Пинскому удалось уберечь от ищек госбезопасности самиздатское собрание сочинений Шаламова 1965/66-68 гг.

Сопроводил выборку кратчайшими примечаниями.

---

(9) 8 янв. Еще приходят запоздавшие новогодние письма: от Е.С. Добиной\*, Д.Я. Дара и В.Т. Шаламова.

(12) 12 янв. Отправил письма Генн. Гладкову (композитору) и Шаламову. # В Литературке действительно полполосы о семье Солжени-

цына. Попутно в редакционной врезке называют роман «Август Четырнадцатого» антисоветским. Умнее было бы помолчать.

(25) 5 фев. Зарубежное радио сообщает, что будто бы 30 дек. на Политбюро (откуда это известно?) стоял вопрос о ликвидации периодики самиздата, для чего и были произведены обыски [у П. Якира, Ю. Кима и др.]. Несмотря на это вышел и уже попал за границу № 23 «Хроники текущих событий». Подозреваемых в участии вызывали на Лубянку и допрашивали два полковника, которые интересовались также журналом неославянофилов «Вече» и киевским «Украинским вестником».

(34) 23 фев. Сегодня в «Лит. газете» письмо в редакцию В. Шаламова. А только вчера я послал ему записку с предложением встретиться в воскресенье. Любопытно, что заставило его так написать? Беспричинно это не делается. Он не член Союза и там давление на него оказать вряд ли могли. Но его книжка стихов в плане «Сов. пис.». И все же меня это письмо удивило. В нем говорится, что «проблематика “Колымских рассказов” снята жизнью».

(38) 28 фев. В 2 часа еду к Шаламову. Он рассказывает мне историю своего письма в редакцию. Как я и думал, у него заблокировали книгу стихов в «Сов. пис.» и цикл стихов в «Лит. газете». При выяснении причин узнает, что всё упирается в Союз писателей. Он не член Союза. Разговор с Марковым\*\*. – Мы вас примем, но вот вас всё печатают за рубежом. Мы знаем, что Вы сами не передаете, что это делается без разрешения, но напишите мне об этом, а я покажу это письмо в приемной комиссии... В.Т. написал, Марков передал письмо, выбросив обращение и один абзац, в «Лит. газету». Но В.Т. ни о чем не жалеет и настроен задорно. Он хочет вступать в Союз. Вся беда в его полной оторванности от литер. среды и общей ситуации, с которой он не мог соразмерить своих поступков. И он искренне не понимает, как его письмо могут повернуть против Максимова\*\*\*, например, Каржавина\*\*\*\* или еще кого-то. В.Т. даже не знал об исключении Галича [из Союза писателей и Союза кинематографистов]. Но я не стал ему этого объяснять. Мне стало очень жалко его и я виню и себя в том, что, хорошо относясь к нему, редко с ним встречался, – в сущности, он жил в полной изоляции, усугублявшейся его глухотой и болезнями, бедностью и пр. # Его комната, где уже довольно много книг. Он умело покупает новинки: показывал мне новую интересную книгу Э. Бурджалова [Э.Н. Бурджалов, «Вторая русская революция»] о Февр. рево-



люции. И снова рассказы о Колыме. О смерти Арк[адия] Добровольского [колымский товарищ Шаламова], которого хорошо знал и Шульман. Тот умер в Киеве в инвалидном доме, куда его водворила его последняя жена, киевская поэтесса Костенко [жену Добровольского звали Елена Орехова]. Чем-то неуловимо его комната, хотя она и довольно большая, напоминает кабинку лагерного придурка. # От Шаламова еду к Гариным. # Э.П. плох – таким я его еще не видел. (...) # Ухожу ночью, еду домой на «леваке». Грустно. Жалко Гариных, жалко Шаламова, и себя тоже немного жалко. Тепло. Тает.

(39) 29 фев. Шаламов показывал мне купленную им книгу – хрестоматию «Родная литература. XX век», выпущенную изд. «Просвещение», где есть стихи Гумилева, Мандельштама, Кузьмина, Ахматовой. Составитель – Н. Трифионов. Теперь можно поверить, что выйдет Мандельштам в «Библ. поэта». # Странное время! [...]

Рассказы Шаламова об около-оппозиционном поэтическом фольклоре конца 20-х годов. Поэма о П. Залуцком Михаила Голодного\*\*\*\*\*, стихи М. Светлова и даже Багрицкого. Ш. уверяет, что он сам слышал, как Багрицкий читал стихи о Троцком на студенческом вечере. Он тогда учился в МГУ и жил в общежитии на Б. Черкасском, напротив «Комсом. правды». Там сплошное гудение от диспутов и споров. К 1929 году из ста студентов, живших в общежитии, были арестованы и отправлены в ссылку 80 человек. Он сам был взят там в первый раз. Как на диспуте тогдашний ректор Вышинский, рьяно выкорчевывавший оппозицию, получил две пощечины. Потом он ушел в Главпрофобр и уж затем в прокуратуру. Теория Ш[аламов]а о самоуправном и антиправовом характере «досрочных освобождений» и сравнение [далее текст от руки, почерком Гладкова – прим. Михаила Михеева] Вышинского и Крыленко как “стр<?авн?>виков”.

(40) 1 марта. Рассказ В.Ш. о том, что Н. Дементьев\*\*\*\*\* , поэт, был троцкистом и его самоубийство с этим связано. Ш. даже утверждает, что он застрелился в тот момент, когда за ним пришли. Это было в начале 1936 года. Но тогда как раз была передышка между волнами арестов 1935 и конца 1936 гг. Кроме того, будь за ним нечто эдакое – это могли ему припомнить посмертно в разгаре 1937 г. Было же подобное с секретарем Аджарии... забыл фамилию... Пастернак написал на смерть Дементьева стихи и напечатал их в апреле 1936 года в «Знамени».

(43) (...) 6 марта. Вечером в ЦДЛ [...] # Неприятный осадок после разговора с А. Рыбаковым [Анатолий Рыбаков] о Шаламове. Конечно, этот маленький и весьма ловкий «прогрессист» считает теперь Шаламова «негодяем».

(89) 29 апр. Открытка от В. из Мукачева и письмо от Шаламова.

(96) 11 мая. Еще новость. Среди тех, у кого был обыск с 5 на 6-е, профессор Пинский. [...] В ночь на 6-е было 4-5 обысков с поисками «самоиздата» (а не только у Пинского).

-----

\* Ефим Добин, писатель, литературовед, театровед

\*\* Георгий Марков, официальный советский строчкогон, видный функционер ССП

\*\*\* Владимир Максимов, писатель, диссидент, в 1974 году эмигрировал, основал журнал «Континент»

\*\*\*\* Наум Коржавин, поэт, прозаик, в 1974 году эмигрировал в США

\*\*\*\*\* Михаил Голодный, журналист и пролетарский поэт. «Залуцкий, П. А. – в годы первой мировой войны член Русского бюро ЦК РСДРП(б). После Февральской революции – член Петроградского Совета и ЦК РСДРП(б). После Октябрьской революции – на руководящей партийной работе» – справка в книге Герберта Уэллса «Россия во мгле»

\*\*\*\*\* Николай Деменьев, поэт-«перевалец», прозаик и переводчик. Покончил самоубийством в 1935 году

Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/226572.html>. См. также статью «Подлинная история «Письма в ЛГ» в разделе «Материалы к биографии»

## **1972, вторая половина**

Для минимального контекста воспроизвел пару записей, не относящихся непосредственно к Шаламову.

Диссидент Петр Якир – автор «Открытого письма» Шаламову (см. «Хроника текущих событий», вып. 24), последовавшего за шаламовским «Письмом в ЛГ».

Сделал кратчайшие примечания.

---

29 июля. Прочитал в «Книжном обозрении», что вышла новая книжка стихов В. Шаламова «Московские облака». Это точно сработало его письмо.

22 авг. Шведская пресса опубликовала произнесенную речь Солженицына при несостоявшемся вручении ему Нобелевской премии.

28 авг. (...) Слушал текст речи Солженицына. Мысли верны, но тон ее фальшив. Стилистика неестественна и манерна. У С-на плохо с литературным вкусом. Слово он говорит не от себя, а от кого-то напыщенного и велеречивого.

31 авг. Вчера днем уехал в город. Лавка. Там пустота. Встреча с Шаламовым. Он переехал на новую квартиру, на Васильевской. Дом, где он жил, сносят. Книжка его вышла, но тираж лежит в Туле, где она печаталась. Лето, отпуска, не вывозят\*. Он еще хуже слышит, чем раньше.

13 сент. (...) Да, почтой пришла от Шаламова его новая книжка «Московские облака». Но я еще не посмотрел ее. (...) # Радио сообщает об аресте в Москве Виктора Красина, уже побывавшего в ссылке.\*\*

12 нояб. (...) Вдруг вспомнил, что не ответил Шаламову на присыл его книжки «Московские облака». Надо написать.

4 дек. Ночью «Г.А.» [Голос Америки] передавал (московский корреспондент Крейзер, кажется), что П. Якир «кается» и выдает множество людей.

-----

\* По сообщению Сиротинской со ссылкой на архив Шаламова в РГАЛИ, начало истории с изданием сборника «Московские облака» приходится на февраль 1968 года. Таким образом, к читателю эта книжка добиралась более четырех с половиной лет.

\*\* См. советскую прессу о процессе Якира и Красина.

Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/229202.html>

## **1973-1975**

4 июля 1973. (...) # Разговаривал [в очереди в ЦДЛ – прим. составителя] с Заком и Кузнецовыми, Шаровым и Шаламовым и другими.

31 дек. 1973. (...) # Поздравления от В.Т. Шаламова и Веры.

8 янв. 1974. (...) # Письмо от Шаламова.

29 июля 1975 (...) # По «Нем. волне» передавали пошло сплетнический очерк Глейзера\* о наших писателях с пакостями о многих (Шаламове, Окуджаве, и др.).

-----

\* Александр Глезер, коллекционер, издатель («Третья волна», журнал «Стрелец»), поэт; эмигрировал в феврале 1975 года после известной «Бульдозерной выставки», в организации которой принимал участие.

\_\_\_\_\_

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

### ***Письма Шаламова Александру Гладкову, 1966-74 гг.***

Опись писем Шаламова Александру Константиновичу Гладкову сделана работающим с дневниками Гладкова Михаилом Михеевым.

Примечания составителя.

\_\_\_\_\_

Фонд Гладкова, 2590-1-378. Письма Шаламова Гладкову (16 шт., 21 л.)

(1) Записка от руки 25 окт. 1966

(2) [текст – полстраницы машинописи, 1-й экз.; он благодарит за присылку вырезки с интервью Куни\*] Конечно, не только Куни и Орнальдо\*\*, но и все, все темные силы были мобилизованы и использованы. И почему нет? Разве есть границы морали личной? Жизнь не знает, что такое самое худшее – всегда есть дно дна. Предела тут нет. Смерть, наверное, какой-то предел, но и смерть есть только часть жизни. У меня просто руки опускаются, когда видишь, что все, наиболее выстраданное, наиболее проверенное, подвергается сомнению из-за того что люди просто не хотят думать серьезно о многом, начиная с фармакологии букиниста и кончая блатным миром. Никто не хочет знать, что все гораздо серьезней, страшней.\*\*\* # (...) [высоко оценивает Л.Я. Гинзбург – о стихах]

(3) [конверт со штемпелями: от 16-2-67: Москва Краснопресн. – 18-2-67 Комарово]

(4) [записка – 8 июня 67]

(5) [письмецо на 1 страничке, от руки, 1 дек. 67]

(6) [машинопись на 1 стр. с подписью от руки, 20 янв. 69, про Райта-«неудачника»]\*\*\*\*

(7) [конверт с адресом на имя Поповой Э.А. со штемпелем 22-1-69 в Ленинграде]

(8) [благодарность за книгу – 18 сент. 69]\*\*\*\*\*

(9-10) [новогодн. открытка на 2 сторонах]

(11) [конверт]

(12) [письмо от 5 янв. 71]

(13) [письмо от 2 апр. 71 – жалеет, что затерялось его большое п., отправленное 19-20 марта по старому адресу Г-а; о Рильке, Пастернаке, Дрожжине – плохо разборчивый почерк, шариков. ручка]

(14-17) [открытки – отправленные 6, 27 апр.71 и 27 дек.71]

(18) [письмо 12 марта 1972 – от руки: о том, что рад выходу книги Мандельштама\*\*\*\*\*, с пред-м Дымшица] Это, конечно, победа в арьергардных боях, но все же победа. # (...) самым худшим автором был бы нрзб господин

(18-об) Твардовский – стоит только вспомнить некролог Ахматовой, который этот сталинский лауреат написал\*\*\*\*\*. # У Надежды Яковлевны я не был более четырех лет\*\*\*\*\* – оттого и все ее нрзб <?-публикации> прошли мимо моих ушей и глаз. И о сборнике О.Э. я

узнал из Вашего письма. Если будете заказывать через лавку – нельзя ли экземпляр для меня этой книжки. # Адрес Н.Я. такой М-447, Б.Черемушкинская, 50, корп.1 кв.4. телефон 126-67-42. # (...)

(19) [письмо от 28 апр.72: просит устроить его в театр на «Молодость театра», так как не может достать билет] \*\*\*\*\*

(20) [записка от 27 дек.73: поздравление с НГ, почерк уже очень плох, но кое-как читаем]

(21) [письмо от 3 янв.74 – написано печатными буквами: сообщает свой новый адрес, на Васильевской]\*\*\*\*\* (...) # Дело в том, что у меня дрожат руки и не дают возможности выводить буквы русского алфавита с достаточной художественной достоверностью. # Пальцы мои не дают мне возможности вдеть нитку в игольное ушко и таким образом кратчайшим путем попасть в царство небесное. # Не дают мне мои пальцы и печатать на машинке. (...)

-----

#### Примечания

\* Михаил Куни, Ганс Куни – сценические псевдонимы эстрадного артиста Моисея Кунина, специализировавшегося на гипнозе и прочих психологических опытах. Речь, видимо, идет о статье Н. Воскресенской и В. Тоболева «Лабиринты памяти. 12 ошибок Михаила Куни», журнал «Знание – сила», 1966, № 10

\*\* Сценический псевдоним актера Николая Смирнова, демонстрировавшего в двадцатых годах сеансы массового гипноза. Был репрессирован.

\*\*\* Ср. запись в дневнике, начало 1971 года: «Телепатия, гипноз были орудием Берии и Сталина. И Васильев, и Орландо, и Мессинг – все были на службе в НКВД как специальные эксперты. (См. мой рассказ «Букинист».))»

\*\*\*\* Алмрот Райт, американский бактериолог и иммунолог, учитель Флеминга. О Райте и Флеминге см. в книге Андре Моруа «Жизнь Александра Флеминга». В примечании к письму Шаламова в «Новой книге», 2004, ошибочно назван генетик Сьюэл Райт. Из недатированного письма Шаламова Гладкову: «Страсть Флеминга это как бы отпечаток, слепок с вылепленной огнем судьбы неудачника Райта. И без Флеминга Райт остался бы в медицине. Раствор Райта на брюшной тиф, солевой раствор на гнойные раны – раствор Райта – до сих пор не улучшен, известен врачам всего мира многих поколений». То есть ука-

занное письмо Шаламова следует датировать январем 1969 года, а письмо, помещенное в «Новой книге» вслед за ним – 1966-67, годами совместного проживания Шаламова и Неклюдовой.

\*\*\*\* По предположению Сергея Соловьева, Gladkov посылал Шаламову книгу «Дело Чернышевского. Сборник документов».

\*\*\*\*\* Сборник избранных стихов Мандельштама в серии «Библиотека поэта» издательства «Советский писатель», составленный Николаем Харджиевым.

\*\*\*\*\* Твардовский об Ахматовой, 1966: «Поэзия Ахматовой – это прежде всего подлинность, невыдуманность чувств, поэзия, отмеченная необычайной сосредоточенностью и взыскательностью нравственного начала. И ее, между прочим, никак нельзя назвать исключительно поэзией сердца. В целом это лирический дневник много чувствовавшего и много думавшего современника сложной и величественной эпохи, хотя бы и отраженной в этом дневнике далеко не во всей полноте и значительности».

\*\*\*\*\* Более т р е х, с декабря 1968-го.

\*\*\*\*\* Последняя пьеса Gladkova, поставленная при его жизни.

\*\*\*\*\* Из недатированного письма Шаламова Gladkovу в «Новой книге», 2004: «Дорогой Александр Константинович, адрес мой Вы записали верно: Москва — Д-56, Васильевская 2, кв. 59, а телефон: 2-54-19-25»

Электронная версия со всеми ссылками, касающимися персон, упомянутых в примечаниях – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/256886.html>

*Александр Константинович Gladkov (1912 - 1976), советский драматург, мемуарист, лагерник; автор пьесы «Давным-давно» и сценарист известной кинокомедии «Гусарская баллада»*





## Игорь Голомшток

«И еще были встречи: Надежда Яковлевна Мандельштам – мудрая женщина, вокруг которой вращался сонм молодых поклонников поэта, Варлам Тихонович Шаламов, похожий на старый огромный разохшийся шкаф (его я встречал у Надежды Яковлевны), Наталья Ивановна Столярова, секретарь Эрэнбурга».

«Не буду описывать всех виденных мной страшных сторон колымской действительности: она и без меня достаточно описана. Когда уже в Москве в 60-х годах известный литературовед Леонид Ефимович Пинский, сам бывший лагерник, дал мне прочитать четыре машинописных тома «Колымских рассказов» Варлама Шаламова, составленных Пинским вместе с их автором, я читал их, почти не отрываясь, целые сутки. Те же места, где проходили лагерные годы Варлама Тихоновича (Северо-Западное Горное Промышленное Управление, Ягодное, Сучан, Серпантинка...), те же пейзажи, даже имена лагерных начальников, с детства застрявшие в ушах, некоторых из них я даже имел честь лицезреть воочию. Я видел много, чего в нежном возрасте видеть не рекомендуется: как травили собаками беглецов, как вохровец на моих глазах застрелил чем-то ему не понравившегося заключенного, как вели на расстрел легендарного лагерного убийцу Фомина... Конечно, в детском моем сознании все это не складывалось в цельную картину, не открывало подлинной сути происходящего, но оседало в памяти. Его политическую основу, внутреннюю связь со всем, что происходило в стране, я осознал уже в Москве».

Игорь Голомшток, из мемуаров «Воспоминания старого пессимиста», с сайта Журнальный зал, начало <http://magazines.russ.ru/znamia/2011/2/go12.html>, продолжение <http://magazines.russ.ru/znamia/2011/3/go85.html>



\* \* \*

От составителя

Михаил Михеев списался с проживающим в Англии искусствоведом Игорем Голомштоком, и мы сформулировали вопросы, на которые Игорь Наумович любезно ответил. Ниже эта проведенная по электронной почте беседа, октябрь 2013. Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/275639.html>

---

*Михаил Михеев, Дмитрий Нич:* – Не могли бы Вы что-то рассказать о Шаламове как о человеке и о своем тогдашнем восприятии его текстов?

Встречались ли Вы тогда или знали ли что-то об Ирине Сиротинской?

Слышали ли от Леонида Пинского или от Натальи Столяровой о переправке Шаламовым списков КР на Запад?

*Игорь Голомшток:* – Три тома «Колымских рассказов» мне дал прочитать Пинский, и я не отрываясь читал их целые сутки, такое они произвели на меня впечатление. Потом, уже в Оксфорде, я дал их прочитать Роберту Чандлеру, и он начал их переводить.

С Шаламовым я встретился только один раз у Надежды Яковлевны (Александр Гладков пишет об этом вечере, только я его там не помню). Так что других воспоминаний о В.Т. у меня нет. О нем мне много рассказывала Наталья Ивановна Столярова, с которой я дружил. Она приезжала к нам в Оксфорд где-то в конце 70-х и говорила, что В.Т. в очень плохом состоянии, что ему даже не в чем выйти на улицу, и мы купили ему в магазине подержанных вещей длинное черное пальто.

Да, говорила она в основном о его бедственном положении и тяжелом психическом состоянии: свою комнату он превратил в берлогу, порвал со всеми, кто ему помогал, в том числе и с ней. Тем не менее Н.И. продолжала его опекать – вот пальто отвезла в Москву. О дальнейшей судьбе этого пальто я не знаю.

Не помню, чтобы она упоминала имя Сиротинской.

О том, как попали на Запад его рассказы, она не говорила.

– В своих воспоминаниях Вы упоминали четыре тома. В архиве Леонида Пинского хранятся три переплетенных самиздатских книги – собственно «Колымские рассказы», «Артист лопаты» и «Левый берег», а вот тома с «Очерками преступного мира» нет. Зато в Русском архиве в Бремене есть переплетенный самиздатский сборник «Воскрешение лиственницы», то есть пятая книга корпуса. Не могли бы Вы уточнить, какие из этих книг Вы читали в Москве? Может быть, они Вам знакомы по фотографиям, помещенным в сборнике «Варлам Шаламов в свидетельствах современников»?

Как формулировал Пинский свое участие в оформлении КР как корпуса? В каких, хотя бы приблизительно, словах – редактор? помощник?

– Пинский дал мне прочитать три части: «Колымские рассказы», «Артист лопаты» и «Левый берег». Это были машинописные листы в простой конторской папочке (или в трех папочках?). Трех самиздатских переплетенных томов я никогда не видел. Следовательно, Пинский дал мне рукописи еще до того, как они были переплетены в тома, т.е. где-то в 1965 или начале 66 года. Была ли там четвертая часть – «Очерки преступного мира» – я не помню (старческая память – сами понимаете). Но я точно помню, что в то же время я прочитал «Сучью войну», которая произвела на меня очень сильное впечатление. Роберт помнит, что в Оксфорде я рассказывал ему о «Сучьей войне». В опубликованном на Западе сборнике «Колымских рассказов» ее не было. Я попросил Столярову при возможности переслать этот очерк мне, что она и сделала через Париж. Но мне в руки он не попал, осел у кого-то в Париже. Кстати, в той машинописной копии «Сучьей войны» содержалась цифра убитых в этой войне, которая меня поразила и запомнилась – 80 тысяч человек. В опубликованных текстах она отсутствует.

Из слов Пинского я понял, что именно он был инициатором распределить всю хаотическую кучу рассказов в части или тома, превратив их в единую эпопею, что они с Шаламовым и сделали.

По прочтении рассказов я вернул папочку (или папочки) Леониду Ефимовичу, и у меня ничего не осталось.

– Как Вы восприняли письмо Шаламова в «Литературную газету» в феврале 1972 года? Было ли тогда впечатление от него действительно таким ужасным, как описывает жена Копелева Раиса Орлова?

И как Вы тогда реагировали на распространившееся вроде бы сразу же утверждение Солженицына, что теперь «Варлам Шаламов умер»?

Чем Вы объясняете разрыв Шаламова с Надеждой Мандельштам? Было ли с ее стороны какое-то предпочтение позиции Солженицына и Сахарова?

– Я думаю, что разрыв Шаламова с Н.Я., как и со всеми другими, был вызван не какими-то высказываниями о Солженицыне или ком-то еще, а общим психическим состоянием Шаламова, его подозрительностью (ведь сам он писал в полемике с Солженицыным, что лагерный опыт ничему хорошему человека не учит) и его, так сказать, высоким моральным императивом, ко всяким отклонениям от которого он был нетерпим.

Мое отношение к его письму в «Литературную газету» – удивление и недоверие. Слухи ходили самые разные, но ведь в действительности никто ничего толком не знал. Мне кажется, что причиной этого письма был срыв – глубокое разочарование в том, как были встречены рассказы на Западе. Роман Гуль сидел на рукописи, публикуя из нее в своем журнале кусочки с собственными сокращениями; немецкий и французский неполные сборники с плохими, как мне говорили, переводами, не прозвучали. Да и как можно было судить об эпопее по отдельным отрывкам?! Шаламов явно надеялся на больший эффект.

Относительно высказывания Солженицына мне все ясно. Шаламова он считал своим соперником, а своих соперников он уничтожал. Он «похоронил» Шаламова с той же целью, с какой организовал травлю Синявского, объявив его агентом КГБ.

– Когда Вы, будучи еще в Москве, читали КР, то как их воспринимали – как художественную прозу или документальные свидетельства, и что преобладало?

– При чтении «Колымских рассказов» я воспринимал их не только как документальный материал, который на Колыме задел краем мое еще детское сознание и осел где-то в глубине души, но и как высокую литературу. В своем отношении к литературному произведению, как и ко всякому произведению искусства, я с давних пор следую старому афоризму – «стиль – это человек». И сквозь стилистику рассказов для меня просвечивал автор – абсолютной честности, высокого (опять) морального императива, талант, для которого слово – не элемент изящной словесности, а точный эквивалент мысли и явления, которое оно обозначает. Что не часто встречается в литературе.

*Игорь Наумович Голомиток (род. 1929), историк искусства, переводчик, примыкал к диссидентским кругам, эмигрировал в 1972 году; сотрудничал с журналами «Континент», «Синтаксис», с Русской службой Би-Би-Си, преподавал в Оксфорде и других западных университетах*





## Сергей Григорьянц

*Он представил нечеловеческий мир*

В 1963 году с Шаламовым меня познакомил Валентин Валентинович Португалов. Он провел лет 20 на Колыме, и там хорошо знал Варлама Тихоновича. С этих пор я продолжал встречаться с Шаламовым на протяжении лет пяти часто, потом, до 1975 года – реже.

В это время был необыкновенно популярен Солженицын, но его вещи, и в первую очередь по сравнению с прозой Шаламова, мне не были тогда близки. У меня было представление – не знаю, насколько оно убедительно сегодня (надо продумывать заново) – что структурно, жанрово Солженицын не соответствует материалу, о котором он пишет. В 61 году вышел «Один день Ивана Денисовича», в самиздате распространялся «В круге первом». Против каких-то деталей в книгах Солженицына были серьезные возражения у тех, кто был в лагере. Скажем, он делает одним из своих героев бригадира. Но каким бы он ни был, бригадир по своему положению заставляет работать умирающих людей, он – убийца. И никакие моральные разговоры этой сути изменить не могут... Главное же, я полагал, что в мире, где кульминации нет и не может быть, где смерть разлита с первой буквы до последней, где не может быть никакого нарастания действия, никакого развития, невозможны и литературные формы, которые выработаны совершенно другими обстоятельствами и другой природой человека, а потому вводить такой материал в тургеневские структуры – изначально ложная посылка: здесь неизбежна внутренняя недостоверность художественного, да и любого другого смысла.

И это для меня бесспорно подтверждалось тем, что делал Шаламов. Здесь был не просто, как я видел, более глубокий и точный лагерный опыт, это была иная подлинность мира. Шаламов вышел из левовского круга, где к форме относились серьезно. В 30-е годы он уже выпустил книгу очерков. Он был близок к Сергею Третьякову, к Брикам... Когда Солженицын попал в лагерь, он еще не думал о литературе все-

рьез. Шаламов попал в лагерь первый раз прямо из московского университета, и это был его предварительный опыт. Потом он оказался в центре литературной жизни, хотя и не был центральной фигурой. Основной задачей Шаламова был поиск формы, вмещающей доселе небывалый для человеческого сознания опыт. Естественно, форма неизбежно должна оказаться новой для литературы. Кстати, мне кажется, именно поэтому в 60-70-е его мало кто понимал. Простота и ясность Шаламова казались большой странностью и трудно воспринимались. Его читал очень узкий круг не только потому, что это был самиздат, но и потому, что русская интеллигенция в самиздате искала информации, а не литературы. Это было время литературы о лагерях – вот я в связи с Солженицыным сказал «тургневской», но, может быть, правильной было бы сказать – народнической. Книга Евгении Гинзбург, воспоминания генерала Горбатова... Это было время рассказов о лагерях, а не понимания человеческой природы. И в этом смысле Шаламов был бесспорным исключением.

Всех интересовали события: что же было по-настоящему. Для того времени были очень характерны реплики Твардовского. Когда Анна Андреевна прислала ему «Поэму без героя», Твардовский прочитал и честно сказал: «Ничего не понимаю, но это Ахматова – будем печатать»... То есть было почтение к судьбе XX века, но не было понимания литературы нашего времени. В этом состояла существенная слабость «Нового мира»: при всем его замечательном значении, это был журнал XIX века, продолжающий традиции «Русского богатства»... У Шаламова не было такого имени, а точнее, не было никакого имени, и поэтому, когда «Колымские рассказы» попали к Твардовскому, он, как мне передали, сказал: «Ну что это, какие-то очерки... Нам это не нужно». Это был характерный парадокс того времени: наиболее сложная, напряженная и внутренне насыщенная литература воспринималась как недостаточно профессиональная и малоинформативная. Вся среда «Нового мира» весьма скептически относилась к литературе XX века, к авангарду, к новым опытам.

Кроме того, Варлам Тихонович лишился единственной в то время среды, которая могла быть близка ему – это было нечто вроде салона у Надежды Яковлевны Мандельштам. Надежда Яковлевна была человеком довольно высокомерным, а тут – Шаламов, который считает себя еще и писателем, а не только почитателем Мандельштама... И Шаламов оказался вне даже этого кружка, остался один... Хотя и он, и Вячеслав Всеволодович Иванов рассказывали мне несколько по-разному одно и то же. После своего последнего освобождения Шаламов, хотя и оказался на свободе, но уехать, как и другие бывшие зеки, из Магадана

не мог и решил, что и умрет здесь. Ему удалось уговорить знакомого врача, возвращавшегося на Большую землю, передать свою «Синюю тетрадь» Пастернаку. Рассказывают, что тот ходил по Переделкино и всем говорил: вот, смотрите, есть в России поэты, какие замечательные стихи... Пастернак ответил Шаламову большим письмом, послал свой перевод «Гамлета» с дарственной надписью на весь фронтиспис. Их недолгая переписка была очень важна для Варлама Тихоновича. К Шаламову очень хорошо относился Аникст, может быть, еще несколько человек – но всего несколько человек. И все это при его собственном ясном понимании своего места в литературе, ясном понимании значения того, что он делает.

Варлам Тихонович был человеком жестким. С лагерным неприятием приспособленческого мира... Он осуждал Толю Жигулина, который переменял лагерные стихи «вольными» для того, чтобы напечатать лагерные, Аркадия Белинкова, который, чтобы его книга о Тынянове вышла, включил в нее какое-то место о троцкистах, отравлявших колодцы... Не принимал попыток сказать правду за счет неправды. Плохо относился и ко всем вступлениям в Союз писателей. В тот период его позиция была абсолютно твердой, но повторяю: он чувствовал себя совершенно одиноким – люди, которые хорошо к нему относились и к которым он сам относился неплохо (в том числе и я), были людьми совсем иного опыта, а потому и иной внутренней структуры. Его одиночество было непреодолимым. Однажды Щипачев (секретарь Союза писателей Москвы, человек, считавшийся по тем временам необыкновенно либеральным) узнал, что вот есть такой писатель Шаламов, и прислал своего секретаря, чтобы тот взял стихи и рассказы «для ознакомления». Теоретически дать было бы полезно. Но для Шаламова это было настолько оскорбительно, что он ничего не дал, и рассказывал мне об этом, как бы размышляя, но не желая ничего менять. Это был одновременно и «пафос дистанции» (популярная тогда формула) великого писателя от литературного чинуши, и гордость зека, и обида на ничего не понимающий мир.

У Варлама Тихоновича в последние годы не было пишущей машинки. Я для себя и для него перепечатывал довольно много его рассказов и стихов на своей «Эрике». До этого что-то перепечатывалось на машинке его второй жены. Когда они развелись, он переехал в соседний дом, тоже на Хорошевском шоссе, где у него была одна комната, очень запущенная. К тому же у Варлама Тихоновича (как фельдшера) была замечательная идея о том, что поскольку вода грязнее воздуха и в ней больше микробов, то невымытый стакан чище мытого. Стаканы были зеленые... В этот период написана большая часть его рассказов.

Я попытался помочь опубликовать его рассказы, дал их опять в «Новый мир» Игорю Александровичу Сацу, с которым был в хороших отношениях, в киевский журнал «Радуга», еще куда-то, но из этого ничего не вышло. К сожалению, я давал его рассказы нескольким иностранным студентам, которые привозили книги из-за границы. В результате в 68 году в Германии вышла первая книга его рассказов, где были перевернаны и его имя, и его фамилия (Варлаам Шаланов – стояло на обложке), и вообще ему было очень неприятно, что первая книга его прозы вышла по-немецки, а не по-русски. В России издавались только стихи. И к тому же проходили как бы незамеченными. Это была в значительной степени пейзажная лирика, за которой стоял лагерный мир. Причем была важна цельность циклов и их последовательность – Шаламов устанавливал строгий порядок в своей лирике, иначе все разрушалось, и было не так легко понять смысл, опознать – из какого это мира... Но в книгах все циклы были разбиты редакторами.

Издание рассказов за границей вызвало, конечно, чудовищный скандал. Единственным журналом, который Варлаам Тихонович печатал, была «Юность». Там работал Олег Чухонцев в отделе поэзии, отделом заведовал поэт Сергей Дрофенко, который замечательно и понимал, и знал поэзию. В общем, насколько я знаю, Шаламова пригласил к себе Полевой, сказал, что время неясностей прошло, что если он не напишет письма в «Литературную газету» о том, что это сделано без его ведома... в антисоветских целях... что он возмущен публикацией и т.д. и что если он не вступит в Союз писателей, «Юность» печатать его не будет, да и книги его не будут издаваться.

Варлаам Тихонович на самом деле все эти годы чувствовал себя на грани ареста. Зачастую он выходил из дому уже с сумкой, где было все необходимое для тюрьмы. Арестуют на улице – некому будет передать. Тюремное вафельное полотенце вместо шарфа было и привычкой, и символом – лагерь всегда в нем и всегда рядом. Он жил абсолютно нище, жил на микроскопическую пенсию. И на публикации, которые случались раз в год. В то же время он ощущал, ценил себя как сосуд, вместивший страшный и незнакомый человечеству опыт. И он подписал это письмо, я думаю, не из страха, но чтобы успеть передать другим свое знание...

Периодически в его жизни появлялись женщины, сейчас некоторые из них сильно преувеличивают свое в нем участие. А участие ему было необходимо. Именно поэтому ему было так важно внимание Сиротинской. После того, как Шаламов доверил ей право распоряжаться своими рукописями, ЦГАЛИ был получен весь архив Шаламова и спрятан в спецхране, для работы в котором нужен был допуск к «секретным



материалам». После чего, пользуясь своим полуофициальным правом распоряжаться рукописями, она сделала все, чтобы его произведения не увидели света как можно дольше. Первые публикации появились только в 1989 году. Полагаю, они могли и должны были появиться раньше.

После своего первого возвращения из тюрьмы, когда мне еще не разрешено было жить в Москве, я узнал, что Шаламов находится в доме для престарелых. Улица Вилиса Лациса. Туда я и поехал... Варлам Тихонович почти не говорил. Горло его было опять обмотано грязным вафельным полотенцем... Врачи на мой вопрос ответили, что почти никто не приходит, иногда родственники парализованного соседа дадут немного печенья или плавленый сырок, раза два в год бывают дамы из Литфонда. Варлам Тихонович постоянно что-то невнятно бормотал. Саша Морозов понял, что это были стихи, записал и опубликовал предсмертный цикл. Вскоре вышел том рассказов по-русски, но в «УМКА-Press», Шаламову была присуждена французская литературная премия. Интерес к нему возрастал и теперь уже все больше людей приходило к Шаламову в дом для престарелых, приходили и врачи, и просто посетители. Всего этого было слишком много для КГБ восьмидесятого года. И на Лубянке было принято решение запереть его в психушке – больнице для психохроников. Врач Лена Хинкис (Захарова), присутствовавшая при смерти Варлама Тихоновича и выяснявшая все обстоятельства, рассказывала мне, что он как мог сопротивлялся: изможденный, иссохший, этот старик отбивался, срывал с себя то, во что его пытались заматывать, вынося на январский мороз. Кажется, они никак не могли с ним справиться. Впрочем, вряд ли этих приехавших за ним красногордых молодых людей волновало, замерзнет ли он. В результате заключения в психушке не получилось, у Шаламова началось острое воспаление легких и через несколько дней он умер. (Он сам и предсказал свою смерть – замерз.) Судьба Шаламова, его гибель, как и в рассказах, – как будто не развязка, а жизнь природы, потерявшей «человеченный» облик. Шаламова и убили те, кто создал эту нечеловеческую природу людей.

Варлам Тихонович просил ничего не говорить на его похоронах (я не знал этого), и тот некролог, который был опубликован в «Континенте» и стал одним из пунктов моего второго обвинения, на самом деле был не произнесенным на могиле надгробным словом. Потухнут свечи восковые/ В еще не сломанных церквах,/ Когда меня внесут впервые/ Со смертной пеной на губах.

По рассказам Варлама Тихоновича, Солженицын просил Шаламова ему помочь и с ним сотрудничать. Думаю, что слава Солженицына в

60-е – начале 70-х уязвляла Варлама Тихоновича. Но, по-моему, тогда еще не был понятен масштаб Солженицына – автора «Архипелага», масштаб Солженицына как крупнейшего в русской, а может, и в мировой истории литератора, оказавшего влияние на историю своей страны, да и всего мира. Тогда было просто два писателя, с тем или иным лагерным опытом, пишущих примерно на одну и ту же тему. И все складывалось несправедливо в отношении Шаламова... Сейчас я пытаюсь реконструировать понимание отношений в 60-х – начале 70-х годов. Тогда еще не было ясно, что у Солженицына действительно глобальное историческое мышление. Это не было очевидно ни Шаламову, ни многим другим.

Шаламов скептически относился к предположению, что можно писать вместе. Он относился серьезно к литературной форме и языку, говорил, что это не пиджак, который можно снять или переменить. В Солженицыне, кроме чисто лагерных ошибок, он не принимал, в частности, того, что он пользуется далевским словарем. Говорил, что язык нельзя выдумывать и нельзя брать из словаря, язык должен быть внутренним, это внутренний механизм, не может быть искусственно созданного языка, как не может быть и искусственной формы.

Но противопоставлять Солженицына и Шаламова легко... Сложнее, но, может быть, правильной сегодня говорить об общем их неприятии того, что с нами произошло и происходит, об открытии ими нового внутреннего (у Шаламова) и социального мира человечества, поиске выхода из катастрофы, на которую обрекает себя человечество. Я бы сказал, что их объединяет не столько общность опыта, сколько осознание вплотную придвинувшейся катастрофы.

Как мне представляется, Солженицын – это мостик, переходный элемент между миром человеческим, не понимающим запредельной сути того, что на самом деле было на Колыме, и тем, колымским миром. Именно благодаря тому, что он там почти не был, именно благодаря своим ошибкам. Он не вполне тот и потому понятен. Хотя и он – бесспорно оттуда.

А Шаламов, подобно немногим человеческим гениям, обнажил совершенно другую природу человека. Того, что показал он, просто не существовало в понимании человека о самом себе. В этом смысле его можно поставить рядом с Достоевским... С теми, кто открыл другое качество человеческой природы. Именно поэтому Шаламов не воспринимался большинством читателей. Он представил нечеловеческий мир с той степенью концентрации и ясности, которая и делает невозможным восприятие. Мир способен лишь постепенно понимать о себе

то, чего в момент события понять не может... Сначала нужна информация. А на информацию наслаивается понимание.

В последние десятилетия нашего века, параллельно с технологическим прогрессом, параллельно с чудовищно реальной опасностью самоуничтожения человечества, идет процесс внутреннего познания, внутреннего самоопoznания. И человечество за последние 30 лет прошло очень большой путь. Это дистанция – как от «газиков» того времени до космических кораблей. Первая мировая война, потрясла и разрушила гуманистический мир. Отравляющие газы, лагеря, танки... Это было потрясение сознания... На этом разломе возникло современное искусство, литература. Он же был причиной появления коммунизма и фашизма.

Шаламов настолько крупен, что он не отставал, он всегда был внутренне в этом потоке осмысления. И в этом он опережал развитие русского общества. Никто не смог так написать и так глубоко передать запредельную суть опыта, который мы прошли. Сейчас мы только подходим к пониманию этих чудовищных процессов и подходим, опираясь на то, что обнажил Шаламов.

Материал подготовлен на основании интервью, которое С. Григорьянц дал редакции «Индекса» в январе 1999 года. Опубликовано на сайте Сергея Григорьянца 15 февраля 2011 <http://grigoryants.ru/>

---

[От составителя. После публикации на сайте Сергея Григорьянца его интервью 1999 года «Он представил нечеловеческий мир» [http://community.livejournal.com/ru\\_prichal\\_ada/15591.html](http://community.livejournal.com/ru_prichal_ada/15591.html) я попросил его уточнить и дополнить некоторые обстоятельства. Выкладываю здесь с его разрешения и с благодарностью фрагменты из его писем, 2011. Я ничего не редактировал, поэтому не исключены повторения. Подзаголовки сделаны мной.]

#### Архив. Ирина Сиротинская

[...] утверждения Сиротинской, что архив Шаламова был открыт – это прямая ложь. В 81-83 годах я сам работал над какими-то текстами о лагерном и уголовном мире, что, кстати говоря, является одним из пунктов моего обвинения и приговора в 83-м году. И поэтому в конце 82-го или начале 83-го года попробовал сравнить изменения в «воровских законах» с 30-х по 70-ые годы, для чего решил прочесть рукописи

Шаламова о воровском мире и приехал в ЦГАЛИ. Директор архива Наталья Борисовна Волкова, с которой я был в довольно хороших отношениях, тем не менее, мне отказала, даже не спрашивая есть ли у меня «отношение» из какой-нибудь редакции, Сиротинская, с которой я внешне был в нормальных отношениях, поскольку тогда я о ней ничего не знал, и которая была заместителем директора архива, встретила меня в коридоре и доверительно мне сказала, что архив на «секретном хранении» и никакое «отношение» из редакции или издательства мне не поможет, нужен допуск к секретности.

С чем я и уехал. Примерно в это же время Саша Морозов, который записал последние стихи Шаламова, и еще кто-то, не могу вспомнить фамилию, кто хотел писать о Шаламове, тоже пытались получить допуск к его рукописям и им это не удалось. Впоследствии, в конце 80-х начале 90-х годах, архив Шаламова формально стал открытым, но всем было известно, что Сиротинская никого к нему не допускает, считая его своей собственностью, якобы из конкурентных соображений. Но, вероятно, по-прежнему сохранялись и цензурные.

[...] что касается Сиротинской, то ее [возможная – прим. составителя] работа по поручению ГБ является уже просто дополнительной нагрузкой. Вы забываете, что будучи сотрудником ЦГАЛИ она официально была сотрудником МВД, поскольку архивное управление было частью Министерства внутренних дел в то время. Уже поэтому с точки зрения закона действующего во всех европейских странах она не могла быть наследницей Шаламова независимо от какой-либо незаверенной его записки, которую она показывает, поскольку убийца или человек причастный к убийству не может быть наследником жертвы, а к смерти Шаламова и МВД и КГБ бесспорно приложили руку. Михаил Яковлевич Геллер был чудовищно возмущен тем, что она посмела в один из своих сборников включить его статью, конечно, без его разрешения. У Сиротинской было задание получить архив Шаламова, она его получила, после чего Шаламова, конечно, бросила. Архив был помещен на секретное хранение и к нему никто не имел доступа. Я был в довольно хороших отношениях с Зильберштейном и соответственно с [его женой – прим. составителя] Волковой (директором архива), но мне ничто не было показано даже в 87-ом году.

[...] жаждущий хоть какого-то человеческого участия Варлам Тихонович действительно хорошо к ней относился. Едва ли в не последний раз перед моим арестом в начале 75-го года я его неожиданно встретил в Ленинской библиотеке. Шаламов мне сказал, что занят поисками материалов о Чугуевском периоде жизни Репина, и спросил, не знаю ли я кого-нибудь, кто может ему помочь. Я знал только Зильберштей-

на, выпустившим три тома о Репине, дал ему телефон, совершенно не представляя себе, что он это делает для работы Сиротинской в архиве, где Волкова, будучи женой Зильберштейна, всеми материалами его располагала.

### Живые свидетели

Действительно, живых людей, знавших Шаламова, остается все меньше. Я тоже думаю, что он великий писатель и был уверен в этом с года 63-го, когда нас познакомил поэт Валентин Валентинович Португалов – они были дружны с Шаламовым еще на Колыме. Кстати говоря, Любовь Васильевна – вдова Валентина Валентиновича, года два назад была еще жива[...] «Варлашу» она тоже помнит еще по Колыме.

### Шаламов и Надежда Мандельштам

Что же касается расхождения Шаламова с Солженицыным и Надеждой Яковлевной, я думаю, да из рассказов Варлама Тихоновича это вытекало, что здесь все несколько сложнее. Надежда Яковлевна человек была довольно диктаторский, Варлама Тихоновича вполне принимали в ее кружке пока воспринимали только как колымчанина и почитателя Мандельштама. Но когда выяснилось, что он сам пишет не только прозу, но и стихи, а и то и другое резко не понравилось Надежде Яковлевне, к нему стали относиться, как к неизвестно на что претендующему писаке. Дело кончилось скандалом и он перестал там бывать.

### Шаламов и либеральная интеллигенция. Литературный мир. Солженицын

60-е годы это было довольно распространенное у московской либерально настроенной интеллигенции отношение к Варламу Тихоновичу. Его гениальную, но новаторскую прозу почти никто не воспринимал. После того как был напечатан «Один день Ивана Денисовича» я через Игоря Александровича Саца (тогда члена редколлегии Нового мира), с которым я был дружен, передал рассказы Шаламова Твардовскому. Твардовский их прочел, сказал, что это какие-то очерки и отказался печатать. Александрович Трифионович был, конечно, хороший человек и большой поэт, но весь из XIX века и искренне не понимал литературы века XX. Я помню, как перед публикацией «Поэмы без

героя» он честно сказал: «Ничего не понимаю, но это Ахматова и мы будем печатать». У Шаламова не было имени Ахматовой.

С Солженицыным все было гораздо сложнее. Нужно иметь в виду, что Шаламов уже был профессиональным литератором, в 30-е годы прошедший школу у Третякова и выпустивший книжку своих очерков, а Солженицын был дилетант, сельский учитель математики, который не понимал многих самых элементарных вещей в структуре и языке литературного произведения, но обладал очень большой уверенностью в себе и своем призвании. Я мог бы больше написать об их литературных расхождениях, но частью это есть в опубликованной с недостойным предисловием Солженицына их переписке. Главное в другом – КГБ, конечно, были выгодны расхождения между Солженицыным и Шаламовым, но они были вполне естественными, а не искусственно созданными. После 62 года Шаламову, уже написавшему большую часть гениальных «Колымских рассказов», была обидна всемирная слава «Одного дня Ивана Денисовича», написанного под бесспорным влиянием старомодных тургеневских повестей. [...]

Мы с ним пару раз обсуждали возможность для меня написать критическую статью об «Одном дне Ивана Денисовича», конечно, напечатал бы ее только «Октябрь». Для меня бы это был разрыв с множеством моих знакомых, но меня тогда это скорее веселило, тем более, что речь в этой статье должна была идти о том, что только человек, ничего не понимавший в лагерной жизни, мог сделать положительным героем – бригадира, который был убийцей по самой своей должности – он заставлял работать и умирать на работе, точно понимая, что он делает. Я хотел написать тогда о том, что ложью является сам жанр «одного дня» – жанр тургеневской повести. [...]

А уж коммунистка Евгения Гинзбург со своими издевками по поводу героини Спиридоновой, всю свою жизнь проведенной в царских и советских лагерях, и любительскими стихами в эпиграфах перемешанными со стихами Блока и вовсе была для Шаламова не то, что даже недостойным, скорее непристойным персонажем. Понятно, что для всей советской либеральной среды Гинзбург была (и остается) гораздо более близка, понятна, популярна, чем Шаламов. [...]

Шаламов хотел публикаций, боролся за издание своих рукописей, но великие писатели часто это делают хуже, чем люди более практические. Помню, как он мне рассказывал, что Степан Щипачев – поэт вполне бездарный, но тогда председатель Союза писателей Москвы и к тому же делавший различные либеральные телодвижения (именно он настоял на принятии в Союз писателей Беллы Ахмадулиной и, кажется, Андрея Синявского), решил узнать, кто же это такой Шаламов, и

прислал к нему свою секретаршу с просьбой дать экземпляр рассказов. Варлам Тихонович был оскорблен тем, что какой-то Щипачев присылает к нему секретаршу, и рассказов не дал. [...]

Он сознательно не вступал в Союз писателей. Он не написал ни одного «датского» стиха (то есть к советским праздничным датам для лучшей проходимости сборника или подборки), что делал, например, осуждаемый за это, хотя и высоко ценимый, Толя Жигулин. Шаламов всегда упоминал, что Аркадий Викторович Белинков для публикации блистательной книги о Тынянове включил туда упоминание, что троцкисты отравляли колодцы.

[...] я тем не менее никогда не возражал, слушая инвективы в их адрес Варлама Тихоновича, считая, что такие вопросы человек с таким (у меня тогда отсутствовавшим) опытом решает каждый для себя – нет одного решения для разных людей. [...]

Во всем этом мире Шаламов ясно понимал, что он один, один как хранитель высокой русской культуры, один как проживший и понявший ад несравнимый ни с какими кругами ни Данте, ни Солженицына, один как непримиримый борец, выкованный лагерем и противостоящий любым даже мельчайшим уступкам.

[...] возвращаясь к Шаламову, к его противостоянию и одиночеству и в слове и в жизненной позиции и в памяти нужно иметь в виду, что существовала тогда и вовсе гнусная часть лагерно-мемуарной литературы – пара книг, написанных вполне бездарными людьми, которые и до ареста были стукачами (Заславский и другие) и в лагере оставались ими же, почему и выжили. И с ними тоже либеральные советские интеллигенты ставили рядом поэзию и прозу Шаламова (повторяю – ему было совсем не до эмигрантских распрей, да он и не знал о них ничего).

Наконец была и еще третья позиция в отношении к «литературе ГУЛАГА», тихо, но твердо представленная очень достойным и уважаемым человеком и при этом – прекрасным прозаиком – Сергеем Александровичем Бондариним. Он считал, что суетиться со своими воспоминаниями – постыдно, а кому-нибудь что-то объяснить – невозможно. Сергей Александрович никому своих воспоминаний не показал, не попытался их опубликовать и не дал в «Самиздат», а с большим трудом добился того, чтобы ЦГАЛИ взял их на хранение без права показывать тридцать лет. Они до сих пор не опубликованы и, вероятно, никому не известны.

Таким образом и люди, и позиции тех, кто писал о Колыме были тогда очень разными, и я знал обо всех. Но противостояние Шаламова мне было ближе всего. И потому, когда появилось письмо в «Литера-

турной газете» я написал ему, что считаю это недостойным. Хотя мне кажется – не отправил это письмо, просто перестал ему звонить.

### Шаламов и «тамиздат». Отношение к эмиграции

[...] не только папка, увезенная Хенкиным, стала основой для публикаций Шаламова. За границу рассказы его передавали многие – я знаю по меньшей мере трех человек и я сам был четвертым. Это далеко не всегда были собранные самим Варламом Тихоновичем циклы, зачастую это были случайные подборки рассказов. Скажем, не в том порядке, в котором их потом располагал Шаламов, а в том, котором они писались им и давались знакомым. Весьма вероятно, что с этим как раз и связана хаотичность публикаций. Большой том «Колымских рассказов», изданный Струве, вполне очевидно, собран из нескольких таких подборок, а не является перепечаткой папки, который дал Шаламов Хенкиной, впрочем, Струве можно об этом спросить.

Хаотичность публикаций Варлама Тихоновича в зарубежной печати, конечно, была связана и с тем, что редакторы, как это было и с Твардовским в Советском Союзе, просто не были способны понять, с чем они имеют дело. [...]

Что касается других людей, которые могли и отправляли рукописи Шаламова на Запад, то двоих из трех Вы сами назвали – это Наталия Кинд и Столярова, третья была итальянка [...]

Итальянок, которые увозили самиздат, известных мне, было по меньшей мере две – материалы одной из них в моем обвинительном заключении и приговоре в 75-ом году, ее выслали в году 68-ом, дали ей билет на поезд в отдельном купе и там сразу же устроили обыск. Это Сирена Витале. У нее было большое количество материалов, в том числе и мои. Вторая была дочь известного итальянского профессора слависта, очень дружила с Юнной Мориц и, кажется, довольно безболезненно вывезла или передала с кем-то все, что мы ей давали, в том числе и рассказы Шаламова, и стихи Горбаневской.

Шаламов к эмиграции относился настороженно, к успеху за рубежом, я полагаю, как и Неклюдов, не стремился – ему нужно было понимание на родине, осознание внутри России того, что произошло с ее народом, ее культурой, с ее историей.

Раздражение по поводу публикаций в эмигрантских журналах, за которыми он не следил и не мог следить, на мой взгляд, слишком мелкое для него обстоятельство, чтобы вынудить его подписать такое письмо. К эмиграции он относился как к какой-то нечистой суете непристойным образом сбежавших из советского лагеря людей, ему она



не была интересна. Скажем, меня, профессионально в эти годы занимавшегося для «Литературной энциклопедии» этой темой и уже довольно много знавшего о журналах русской эмиграции, о публикациях он никогда не спрашивал, и это не было недоверием – это было отсутствием интереса.

### Письмо в Литературную газету, 1972

Что касается письма Шаламова в «Литературной газете», то я боюсь, что здесь Вы не правы. Я в это время из «Юности» уже был уволен, но вполне заслуживающие доверие сотрудники журнала мне рассказывали, что это письмо было написано Борисом Полевым, который пригласил к себе Шаламова и сказал, что, если он не подпишет этого письма, то в «Юности» его стихи больше печататься не будут (а это был единственный журнал, который печатал Шаламова) и не о какой книжке он тоже может не думать. По воспоминаниям Варлам Тихонович в эти дни не выходил из дому без мыла, зубной щетки и пары сменного белья в авоське, считая, что может быть арестован и на улице тоже.

Тем не менее, он согласился подписать это письмо совсем не из-за возмущения журнальными публикациями, а потому что в это время в Германии вышла первая книжечка его рассказов в переводе на немецкий – именно она была причиной того, что КГБ и Полевой потребовали от Шаламова написать это письмо. В книжке этой были перепутаны даже его имя и фамилия, на обложке стояла Варлаам Шаланов и к тому же Варламу Тихоновичу было глубоко отвратительно, что первая книжка его рассказов была немецкой, а не русской, причем он подозревал, что качество перевода такое же как и написание его фамилии. Что же касается тома изданного УМСА-Press, то не высказывая этого вслух, Шаламов был ему, конечно, очень рад и держал его при себе даже в доме престарелых на Вилиса Лациса.

[...] о том, что это письмо написано Полевым, мне рассказывал Олег Чухонцев, которого Варлам Тихонович очень любил и ценил как поэта и подарил одну из своих рукописей, а Олег, как Вы знаете, много лет работал в «Юности».

[...] я вполне верю рассказу Олега Чухонцева и думаю, что Варлам Тихонович сказал ему сам.

## Стиль жизни и общения

[...] я, как и Вы, считаю вполне возможным, что Варлам Тихонович далеко не все мне говорил и чувство конспирации, конечно, у него было внутренним и неизбежным в отношении со всеми, с кем он разговаривал. Кстати говоря, с лагерных времен у него сохранилось просто физиологическая невозможность о чем-либо говорить с двумя собеседниками одновременно, он всегда замолкал: по представлениям сталинского времени свидетельство одного – не доказательство, свидетельство двух – верный срок. [...]

Писем Шаламова мне не могло и быть, потому что он просто не знал моего адреса – в эти годы я жил то в разных комнатах общежития Московского университета, то в постоянно менявшихся квартирах, которые мы снимали с женой. Постоянный адрес в Москве у меня появился в 72-ом году, когда с Варламом Тихоновичем я практически не виделся (кроме упомянутой мною встречи в библиотеке). Письмо, которое упоминает Сиротинская – это скорее всего мое письмо к Варламу Тихоновичу. Таких письма было два, поэтому я не знаю, о каком из них идет речь, причем, одно из них я, кажется, не отправил. Оба были не столько письмами, сколько записками, относились к 66 и 68 году и были, действительно, довольно неприятными. Первое было результатом недоразумения – я позвонил по какому-то поводу Шаламову, а он из-за своей глухоты меня не узнал и спутал с каким-то не известным мне человеком, который в это время настойчиво его преследовал, и Варлам Тихонович наговорил мне какие-то слова, которые относились к другому человеку. Я не помню, то ли послал ему письмо, то ли что-то сказал при встрече, и он страшно огорчился, с каким-то даже самоуничтожением начал говорить, что Вы меня простите пожалуйста, глухого, я Вас с кем-то спутал (он называл имя, я забыл его). Тем дело и кончилось, но может быть на самом деле я ему послал эту записку удивленную, возмущенную и он, приложив не малые усилия, разыскал меня по телефону общежития университета, где был один телефон на весь этаж.

## Шаламов и диссиденты

Кстати говоря, именно у Кинд [...] я и произносил это прощальное слово, которое не было сказано на кладбище, и которое, кстати говоря, было единственным на поминках. Уже то, что двадцать или двадцать пять человек, провожавшие Шаламова, считали правильным, чтобы слово о нем говорил человек, недавно вернувшийся из лагеря, – как раз

ясно обнаруживало восприятие Варлама Тихоновича как человека, как писателя, противопоставленного всей советской системе, не только сталинской, но и тогдашней – то есть человека, принадлежавшего именно к диссидентскому миру.

### Ольга Неклюдова

Первый раз, вероятно, это было в 64-ом году, вскоре после того как нас познакомил Португалов, я был у Шаламова еще в квартире Неклюдовой. Это было в соседнем (или через один) домике, построенном немецкими военнопленными в начале Хорошевского шоссе, где, переехав от Неклюдовых, потом жил Шаламов. Маленькие комнатки Неклюдовых были одним из самых приятных и лучших примеров интеллигентных жилищ того времени – там все было очень уютно с большим вкусом, были видны, что имело в то время большое значение, хорошие книги писателей начала века, да и сама Неклюдова производила очень приятное впечатление – это была немолодая, но очень располагающая к себе женщина невысокого роста, но громадный, худой лагерник Шаламов выглядел в этой уютной квартирке довольно странно.

Когда, я думаю, что довольно скоро, ему опять позвонил, мне дали уже другой телефон, и новая комната Шаламова ничего общего не имела с квартиркой Неклюдовых. И что бы ни говорила Сиротинская, Шаламов тогда стаканы не мыл, и они были зелеными, впрочем, и во всей комнате была очень большая неухоженность и нищета. У Неклюдовой был сын – Сережа, примерно моего возраста, очень приятный и интеллигентный молодой человек, работавший, кажется, редактором в издательстве «Искусство».

Раза два или три я его случайно встречал. Поскольку Варлам Тихонович был нашим общим знакомым, я пытался говорить о нем, но Сергей всегда категорически отказывался продолжать эту тему. Ни он, ни его мать, насколько я знаю, никогда и ничего не говорили о Шаламове. Думаю, что они высоко ценили его как писателя, но он оказывался очень тяжел в совместной жизни. Впрочем, это только мое предположение.

### Последний путь

[...] на кладбище, а перед тем в храме (забыл название) на Большой Ордынке, где Варлама Тихоновича отпевали, я думаю, в общей сложности может и было человек 150, но на поминках людей было гораздо

меньше – человек 25, максимум 30. Сиротинская была только на кладбище, но появилась как-то внезапно около церкви. Я с ней оказался в одной похоронной машине по дороге на кладбище. С ней не только никто не здоровался, но даже и сесть рядом никто не хотел – около нее было пустое место. Похоронами руководил Боря Михайлов, запевал поминальные тропари, с которыми процессия с гробом Варлама Тихоновича шла от машин к могиле, именно он мне сказал, что Варлам Тихонович не хотел, чтобы что-то говорили на его могиле. Позже я понял, что он не мог этого знать, а от Марины Шамаханской и Сергея Ходоровича узнал, что Михайлов играл вполне провокационную роль в работе Солженицынского фонда примерно в это же время. [...]

О похоронах Шаламова я вспомнил еще одну деталь. И Сиротинская, и я ехали на кладбище в катафалке с телом Варлама Тихоновича. Сиротинская прошла вперед и села рядом с его головой, я был где-то около ног. И катафалк, и автобус, кажется только один, были переполнены, на панихиде в церкви было довольно много людей и все они хотели поехать на кладбище, но рядом с Сиротинской оставалось два или три места – никто не захотел сесть рядом с ней. На поминках, как Вы понимаете, ее не было, да и в храме я ее не видел. Около получаса рядом с телом Варлама Тихоновича простоял опершись на палку Владимир Яковлевич Лакшин.

[...] именно у Кинд и прошли те поминки после возвращения с кладбища, о которых я упоминал, и именно там я и произносил это прощальное слово.

### Шаламов в доме престарелых. Александр Морозов

После того как я сам с 75 по 80 год пробыл пять лет в лагерях и тюрьмах, где, естественно, меня очень многое еще и поражало, и интересовало, я все это очень хотел обсудить с Варламом Тихоновичем. Тем более, что и сам хотел что-то написать. Выпущен я был, однако, во-первых, с запретом жить в Москве и Московской области и, во-вторых, со штампом на справке об освобождении «подлежит документированию по месту прописки», в переводе на русский язык это называлось – надзор, т.е. ограничение выходить из дому в какое-то время, ограничение в передвижении и необходимость раз в неделю отмечаться в милиции. У меня всего было месяца два на то, чтобы пожить с женой и найти себе какое-то жилье за пределами ста километров (это примерно радиус Московской области). Тем не менее, в первый же вечер у Миши Айзенберга – поэта, моего университетского приятеля, я спросил, где Варлам Тихонович: телефон его не отвечал, но это было

естественно, потому что дом, в котором он жил на Хорошевском шоссе, был уже снесен. Сперва мне сказали, что в последние годы он жил по какому-то другому адресу, и обещали его выяснить. Занялся этим Ленья Глезеров. Но потом оказалось, что Шаламова нет и по его новому адресу и вообще никто о нем ничего не знает и все о нем забыли. Недели через две, через Юру Фрейдина – человека, знавшего Шаламова по кружку Надежды Яковлевны, но к тому же врача, который мог запросить различные медицинские учреждения, Варлам Тихонович был найден. Мне передали от Фрейдина, что он находится в пансионате для больных стариков, не помню точно его название, на улице Вилиса Лациса. Я туда поехал первый раз с Ленией Глезеровым (одного меня на всякий случай друзья не очень отпускали), и мы нашли этот дом для престарелых. Сперва я довольно долго говорил с его директрисой, которая все выясняла у меня, кто я такой и почему я его разыскиваю. Я сказал, что я старый знакомый, хочу помочь Варламу Тихоновичу, и это ее как-то очень расположило. Она мне в ответ сказала, что уже года два Шаламов находится у них, никто его не навещает, раз в год приходят из Союза писателей, кажется, на первое мая, какие-то дамы-патронессы с коробкой мармелада и иногда присылают какие-то приглашения из Союза писателей. Что Шаламову очень тяжело одному и даже просто хочется чего-нибудь вкусенького, но «сами понимаете, что у нас здесь за еда». После этого впустила нас в палату, где лежал Шаламов, на самом деле сидел раскачиваясь на кровати, говорил очень невнятно, но было видно, что меня сразу узнал и обрадовался. На грязной тумбочке валялись, действительно, какие-то приглашения из Дома литераторов. Апельсины, которые мы принесли, сперва спрятал под подушку, которая лежала прямо на грязном матрасе, уже до этого то ли директриса, то ли нянечка, ведшая нас в палату, пожаловалась, что Варлам Тихонович постоянно сдирает простыню. Тем не менее, при нас с некоторым трудом, поскольку Варлам Тихонович, действительно, ей мешал, начала заново застилать постель. Сосед Варлама Тихоновича был такого же возраста, но говорил более внятно, показал на засохший огрызок какого-то бутерброда на тумбочке Варлама Тихоновича и сказал, что это его дочь иногда его угощает. Мы были всего минут десять. За это время пришла дочь соседа, сказала, что иногда пытается что-то Шаламову дать, но он не всегда может и хочет съесть. Того, что мне говорил Варлам Тихонович, я понять не мог, но все, что я ему сказал, мне кажется, он вполне понял. Я пообещал, что обязательно постараюсь ему помочь. Ленья Глезеров попробовал как-то ровнее поставить тумбочку, но Шаламов ему не дал.

Мои два месяца в Москве подходили к концу, надо было торопиться устраиваться, надо было опять идти к Варламу Тихоновичу, и на этот раз со мной захотел пойти Саша Морозов. Он слегка помнил Шаламова по встречам у Надежды Яковлевны. В первый раз и с Сашей мы были очень недолго, хотя на этот раз принесли больше продуктов и Саша гораздо лучше меня разбирал то, что говорил Варлам Тихонович. Саша сказал, что и без меня (я уже уезжал в Боровск на жительство) наладит уход за Варламом Тихоновичем. Из Боровска меня выпускали раз в месяц на три дня в Москву к семье, поэтому я только месяца через три опять пришел на Вилиса Лациса и опять с Сашей Морозовым. Саша с гордостью мне сказал, что на самом деле то непонятное мне бормотание Шаламова – это постоянное, как и в лагере, сочинение и повторение стихов, и что он эти стихи записывает и уже очень много собрал. Варлам Тихонович был не то что более ухоженным, но все-таки чуть более убранным и, может быть даже, чуть в более успокоенном состоянии. На голове у него была какая-то шерстяная шапочка. Саша мне сказал, что это ему связала одна из посетительниц. При нас пришла еще какая-то незнакомая мне дама, которая с большим терпением и ласковостью начала пытаться накормить Варлама Тихоновича, сам он почти не мог есть еще из-за того, что громадные руки у него так дрожали, что он почти ничего не мог поднести себе ко рту.

И тут произошел у нас с Сашей, на самом деле, очень серьезный разговор, о котором он никогда не хотел вспоминать. Саша мне сказал, что у Варлама Тихоновича теперь бывает очень много посетителей, мне подарили несколько фотографий совершенно замечательных, которые были сделаны первоклассным фотографом\*, и что вот теперь и Шаламов, и стихи, которые Саша записал, в центре внимания литературной Москвы. Перечислил он мне несколько немолодых дам, которые к нему постоянно ходят (пару фамилий я знал – это были сидевшие люди, но с какими-то сомнительными репутациями), врачей, которых он приглашал. Я Саше очень серьезно сказал, что не надо привлекать к Варламу Тихоновичу такого внимания, что это очень опасно. Саша с привычной для него резкостью ответил, что пусть они замаливают свои грехи – он имел ввиду безопасность тех дам, которых он водил, а я имел ввиду безопасность Варлама Тихоновича, но в некоторых случаях Саше ничего нельзя было объяснить. Я еще пару раз был у Шаламова, все было как и тогда, когда мы пришли с Сашей.

Остальное Вы знаете из воспоминаний Елены Викторовны [Захаровой – прим. составителя].

Меня в Боровске каким-то образом нашла, кажется, Таня Трусова, она тоже часто ходила к Варламу Тихоновичу, и для нее это имело большое личное и даже семейное значение – поскольку ее отцом [дедом – прим. составителя] был Уманский, врач, который спас Шаламова на Колыме. Таня даже подписывалась в те годы Трусова-Уманская. Сказала мне о смерти Варлама Тихоновича и, по-моему, сразу же попросила написать прощальное слово. Когда я приехал в Москву, оно у меня было написано, и после поминок, по-видимому, кто-то у меня взял текст для «Континента». [...]

У меня под рукой сейчас нет заметки Саши Морозова для «хроники», но когда-то я ее читал и помню, что все там было не совсем так, кажется, он пишет, что это он нашел Шаламова (что же он не искал его три года до моего возвращения), а уж о моем предостережении он и все последующие годы выказывался вспоминать. Хотя однажды я ему сказал о некоторой его вине, опять встретившись у Миши Айзенберга, Саша сделал вид, что не понял.

[...] хочу сразу же объяснить вам, во-первых, кто такой Саша Морозов. Это человек, бесконечно любивший Мандельштама и собравший фантастическую картотеку о нем. Собственно, Мандельштам был единственным смыслом его жизни. Если не ошибаюсь, в 64-ом году, будучи редактором издательства «Искусство», ему удалось опубликовать «Разговор о Данте» Мандельштама – это была единственная публикация, да еще книга, за многие десятки лет. Кроме того, Саша был очень близкий и любимый всеми нами человек, к примеру, ездивший с моей матерью, кажется дважды, в разные лагеря и тюрьмы, где меня держали в первый раз. [...]

Мелкие дополнения к тексту. Так серьезно я стал говорить с Сашей об опасности для Шаламова не только благодаря тюремному опыту, который мне многое подсказывал, но еще и из-за того, что, когда второй или третий раз я пришел к Шаламову, опять, как и в первый раз, решил поговорить о его состоянии с той же в общем-то очень доброжелательной женщиной (может быть, это была главный врач, а не директор). Но в этот раз от ее доброжелательства не осталось и следа, говорила она со мной очень сухо и неприязненно, сказала, что очень плохо, что так много людей к нему приходит, что это беспокоит других постояльцев, что они будут проверять документы у тех, кто приходит к Шаламову – это было довольно смешно – какое бюро пропусков в доме для престарелых. Но было ясно, что с ней уже компетентные органы проводили беседы. У Шаламова рядом с подушкой всегда лежал черный том «Колымских рассказов», есть сам он уже чаще всего не хотел да и почти не мог – руки так дрожали, что он не мог поднести

ни ложку ко рту, не расплескав, ни даже кусок какой-то более сухой пищи. Его, действительно, надо было кормить, что дамы, которых привел Саша, ласково и усердно делали. В это же время опять стала помогать Шаламову Зайвая, Сиротинская туда не приходила ни разу.

*\* Кстати, фотографии Шаламова в доме престарелых в конце 70-х годов были сделаны, по словам братьев Дзядко, другом их семьи французским корреспондентом Николаем Милетичем, ныне шефом московского бюро АФП*

*Из выступления братьев Дзядко, видео-ролик*  
<http://www.youtube.com/watch?V=fqabbkhnd0w>

Размещено на сайте С. Григорьянца и в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»

---

***Сергей Григорьянц. Фрагмент из Прощального слова, 19-20 января 1982 года***

«В литературных кухнях-салонах к Шаламову относились с заметной и насмешливой снисходительностью (а потом и злорадством: «мы еще тогда это говорили»), а он жаждал какого-то действия, или, вернее, действенной жизни литератора-профессионала: переводил, писал об уголовном мире, создавал наставления для начинающих поэтов, разбирал раннее творчество Репина, – и все это никому не было нужно. Кое-что, правда, издавалось, но проходило, как правило, незамеченным».

Опубликовано в журнале «Континент» №34, 1982 год. Выложено в электронной библиотеке ImWerden [http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/kontinent\\_034\\_1982\\_text.pdf](http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/kontinent_034_1982_text.pdf) и на сайте автора <http://grigoryants.ru/stati-raznyx-let/slovo-o-varlame-shalamove-sergej-grigoryanc-1982-god/>

---

***Фрагменты из выступления Григорьянца на вечере Шаламова в ЦДЛ, 2011***



«Варлама Тихоновича, по-видимому, я единственный здесь знал, к сожалению. При всем большом уважении [...], на мой взгляд, в этом фильме [«Острова. Варлам Шаламов», реж. Светлана Быченко – прим. составителя] довольно много неправды, исходящей в первую очередь от Сиротинской. [...] разница в моем знакомстве с Варламом Тихоновичем и знакомстве Сиротинской состоит в том, что, во-первых, как и Сережа Неклюдов, я знал Варлама Тихоновича все-таки с года 62-го, нас познакомил покойный Валентин Валентинович Португалов и, во-вторых, я за надгробное слово на могиле Варлама Тихоновича и на поминках у Натальи Владимировны Кинд, где, конечно, не было Сиротинской, поскольку к друзьям Шаламова она не относилась [...] и никто с ней не разговаривал, я получил семь лет <тюремь>, а Сиротинская получила повышение по службе за получение архива Шаламова в ЦГАЛИ и за то, что этот архив был спрятан на секретном хранении. Я на днях разговаривал с директором ЦГАЛИ Волковой, она прекрасно это помнит. Я пробовал <с архивом познакомиться>, когда вернулся. Для меня как раз Варлама Тихоновича и нашли в доме для престарелых. [...] никаких сотрудников КГБ <среди сиделок> там не было, Сиротинская туда ни разу не пришла, ее вообще совершенно не интересовал Шаламов после того, как она получила архив, она выполнила свою работу [...] И вообще у Сиротинской, простите меня, был присутствующий здесь сын, еще двое детей и муж.

Светлана Быченко. Можно я скажу?

Сергей Григорьянц. Сейчас, дайте я уж договорю, а потом Вы. Естественно, Вы скажете все... Я просто считаю своим долгом все это сказать, потому что такие вещи говорить надо [...], тем более, что людей живых и хотя бы тех кто был...

[...] там была врач – Елена Хинкис, которая ухаживала за Варламом Тихоновичем, которая прекрасно помнит, что Варлам Тихонович всех узнавал, видел и никаких проблем с этим не было, проблемы были совсем другие [...] Варлам Тихонович, конечно, прекрасно понимал, что Сиротинская сотрудник МВД, хотя бы по форме, я даже уже не говорю о других организациях, но вы же сами понимаете, что Главное архивное управление в советское время было частью структуры МВД [...] и, соответственно, НКВД до этого и так далее. У Варлама Тихоновича не было выхода, это была гораздо более трагическая и гораздо более отчаянная ситуация. Он, действительно, к этому времени был совершенно одинок, он, действительно, не нашел понимания в «Новом мире», где был десять лет внутренним рецензентом, и я старался, кстати говоря, тоже через [зама Твардовского Игоря – прим. составителя] Саца, через разных людей в «Новом мире» как-то <помочь публика-

ции>. Твардовский не понимал рассказов Шаламова и не хотел их печатать, говорил – вот это какие-то очерки. Твардовскому, действительно, был гораздо ближе Солженицын. Шаламов остро чувствовал оскорбление от того, что он не признан. [...] он был очень подозрительный при этом человек [...], у него масса других лагерных чудовищных привычек, на днях мне девяностолетняя, но тем не менее вполне живая Любовь Васильевна Португалова рассказывала, как, когда они пришли к Неклюдовым, он сам варил <себе еду>, он не мог есть то, что остальные ели, а сам варил себе какой-то супчик из соленой селедки. Он был, действительно, совершенно измученный человек, который [...] Это не был такой редкий случай – Сергей Александрович Бондарин, много лет проведенный на Колыме, тоже сам передал, он был членом союза писателей. Сам передал в ЦГАЛИ свой архив. Шаламов в общем считал, что ну Бог с ним, совершенно не обманываться [...]

Я боюсь, что о Колыме забудут, как забыли о гвельфах и гибеллинах, а Шаламов, как и Данте, будет существовать. Или о Колыме будут помнить в связи с Варламом Тихоновичем, как это ни страшно для нас всех звучит. [...] там в начале [фильма «Острова» – прим. составителя] идет такая очень сладкая песенка – это совершенно не о Шаламове, и жизнь его, на самом деле, гораздо трагичнее и страшнее в Москве, я уж не говорю о Колыме, чем во всех фильмах и во всех рассказах о нем».

Выложено на сайте автора <http://grigoryants.ru/sovremennaya-diskussiya/s-i-grigoryanca-na-shalamovskom-vechere-cdl-06102011/>

---

От составителя. Ниже возражения и дополнения Сергея Григорьянца по ходу прочтения моего очерка («Московский рассказ. Жизнеописание Варлама Шаламова, 1960-80-е годы», 2011)

### Шаламов и литературная среда

В журнале «Знамя» главным сторонником публикаций Варлама Тихоновича, как и Наташи Горбаневской и некоторых других преследуемых людей, была, конечно, не Скорино, а Галя Корнилова, другая сотрудница отдела поэзии, бывшая жена Володи Корнилова, которой иногда и удавалось уговорить Скорино напечатать что-то малопрохо-

димое в других журналах. Я был в это время внутренним рецензентом отдела поэзии в «Знамени» и в журнале «Москва» у Евгении Самойловны Ласкиной и все это видел изнутри.

Вообще, Вы совершенно зря не доверяете Шаламову, когда он пишет, что у него ухудшились отношения в «Новом мире» после того, как он написал одобрительную рецензию на какую-то лагерную повесть. Это вполне реальная ситуация, и одобрительная рецензия внутреннего рецензента создавала необходимость (по формальным правилам) передавать рукопись одному из двух-трех членов редколлегии, в «Новом мире» скорее всего Игорю Александровичу [Сацу], которые тоже читали рукописи из самотека. Вторая одобрительная рецензия поставила бы журнал перед необходимостью или печатать одобренный рецензентами материал или объяснять, что по цензурным причинам это невозможно. Это как-то еще можно было объяснить знакомым, известным московским литераторам, но было очень трудно сказать неизвестному человеку из провинции, который непонятно как себя в этой ситуации поведет. Самотек чаще всего был совершенно непрофессиональным, и задача внутреннего рецензента состояла, как правило, в том, чтобы объяснить автору, почему его не печатают, но одобрение даже одного внутреннего рецензента вполне могло создать непростую ситуацию в журнале и большие проблемы для официальных сотрудников редакции. Поэтому все, что пишет Шаламов – совершенная правда. Вообще, полагаться на представления Солженицына о редакционной жизни вообще и в «Новом мире» в частности я бы Вам не советовал ни в коем случае. Как раз Солженицын был совершенно посторонним человеком, ничего в редакционной жизни не понимавшим, а по характеру своему и не хотевшим понять и просто оболгавшим в «Теленке» многих очень хороших людей. [...]

Вы не совсем точно или даже совсем не точно пишете о Фогельсоне, Леониде Ивановиче Тимофееве и сюда же можно прибавить Степана Щипачева. Бесспорно, никто из них не понимал, что Шаламов гений, и в этом бесспорная и, может быть, не единственная их вина, но в то же время не по литературным, а по человеческим своим качествам они были наиболее добрыми и либеральными людьми в писательском мире того времени, каждый из которых в той или иной степени стремился помочь Шаламову. Во-первых, Вы совершенно не понимаете, как тяжела была роль редактора, боровшегося за издание заведомо непроходимой в советских условиях книги. Мало того, что он безоговорочно портил себе служебную репутацию, и поэтому почти никто из редакторов не соглашался «пробивать» книги таких авторов как Шаламов или Белинков. Как правило, это были люди необычайно добро-

желательно относящиеся к авторам книг, которые они редактировали, боровшиеся со своими главными редакторами и цензорами за каждое авторское слово, а к тому же еще попадавшие в трудное положение с самими авторами, которых, конечно, не устраивало то, что могло бы быть напечатано. [...]

Фогельсона я не знал, изредка мельком здоровался, но уже то, что он брал на себя каторжный труд по борьбе со всем своим начальством и начальством, которое было гораздо выше и которого он не видел, и все-таки доводил книгу до хоть какого-то проходимого состояния, создавало ему тогда в Москве очень хорошую репутацию. Гораздо проще и выгоднее было редактировать комсомольских поэтов, которые не создавали никаких проблем. И поэтому не случайно в 87-м году его позвали на вечер памяти Шаламова. В Москве это хорошо понимали. [...]

Леонид Иванович Тимофеев и Степан Щипачев, конечно, пользуясь Вашей терминологией, были советскими вельможами, но при этом из тех, которые искренне стремились помочь и молодым, и тем, кто вернулся с Колымы, конечно, ничем при этом не жертвуя. Степан Щипачев омолодил, будучи председателем Союза писателей Москвы, Союз писателей, приняв Бэллу Ахмадулину, Юнну Мориц и целый ряд других, менее талантливых, но тогда еще живых более-менее людей. К Шаламову он прислал секретаря с просьбой дать ему прочесть «Колымские рассказы». Варлама Тихоновича это возмутило. Он мне говорил: «Стану я давать еще какому-то секретарю». Но он вообще не хотел в эти годы иметь ничего общего с Союзом писателей и был совершенно прав. Но в стремлении Щипачева познакомиться с его рассказами и помочь Шаламову, конечно, никакой злобы не было. Все это примерно можно рассказать и о Леониде Ивановиче Тимофееве. Он был членом-корреспондентом академии наук, не Бог весть каким филологом и литературоведом, но ни к каким карательным органам точно не принадлежал и относился к тем людям, которые стремились сделать что-то доброе, если это им не очень дорого стоило.

### Шаламов в быту. Интернет. Архив Шаламова

Еще жива, хотя и довольно плохо себя чувствует, Любовь Васильевна Португалова – последний человек, который знал Шаламова еще на Колыме. В недавнем разговоре по телефону она мне рассказала замечательные детали поведения Шаламова у Неклюдовых, где она с Валентином Валентиновичем часто бывала. Варлам Тихонович ни минуты не мог сидеть на стуле, стоял, бегал и не только при гостях, но и

в обычные дни, не мог есть того, что готовила Неклюдова для себя и сына. Он ежедневно варил себе похлебку из соленной селедки и небольшого количества крупы – не мог перестроиться к обычному быту. Сиротинская жлет постоянно не только в идеологических и существенных для понимания творчества Шаламова своих рассказах, но и постоянно жлет в бытовых, для чего как бы нет особенных причин, и это вызывает дополнительные сомнения в ее длительном знакомстве с Шаламовым. Зеленые, годами невымытые стаканы я видел собственными глазами, и удивительно, что она это отрицает, значит, скорее всего, она их просто не видела или уж во всяком случае ей это было совершенно безразлично.

В разговоре с сыном Сиротинской после просмотра фильма о Шаламове в Доме литераторов меня очень озадачила одна деталь. Мало того, что сын мне показался очень профессиональным, но к тому же он не вдруг сказал, что Шаламов был перевезен из дома для престарелых потому, что начались разговоры о его отправке на лечение за границу. Я, естественно, ничего подобного не слышал и спросил у Лели [Елены Захаровой – прим. составителя], были ли такие разговоры, на что она мне ответила, что ничего подобного никто сказать, да и подумать не мог. То есть, по-видимому, это какая-то странная появившаяся в КГБ версия\*.

Наталья Борисовна Волкова, с которой я тоже на днях виделся, тоже рассказала мне очень странную вещь – якобы Сиротинская только после смерти Шаламова уже в архиве, разбирая его бумаги, случайно обнаружила конверт с завещанием и передачей ей всех прав на рукописи. Для Волковой как для директора ЦГАЛИ это очень существенный пункт, поскольку именно он определял характер хранения и распоряжение архивом Шаламова. Поэтому я не думаю, что Наталья Борисовна могла в этом рассказе как-то ошибиться или что-то спутать. И, конечно, она подтвердила, что архив все эти годы был на специальном хранении, то есть требовал допуска секретности для работы с ним и личного разрешения Сиротинской.

*\* [Судя по мемуарам Анатолия Сенина в данном сборнике, такие разговоры действительно могли вестись – прим. составителя]*

#### Подробности публикации рассказа «Стланик»

История с публикацией в «Сельской молодежи» первого отрывка прозы Шаламова «Стланик» совсем не так проста, как об этом пишет Федот Сучков, да и, скорее всего, он ее и не понимал. Ко мне она име-

ла непосредственное отношение – я в результате ее был уволен из «Юности», поэтому могу рассказать. В 64-м году, как Вы знаете, шла ожесточенная борьба между либеральными советскими органами печати, к которым принадлежал «Новый мир» и отчасти «Юность», и консервативными – в первую очередь журналами «Октябрь» и «Молодая гвардия». На самом деле это было отражением политического столкновения в Кремле, о чем я и пишу сейчас в своей книге, но так или иначе ЦК ВЛКСМ и лично первый секретарь Павлов стремились получить в свое распоряжение журнал «Юность», тираж которого в это время достиг 5 миллионов (это был самый популярный литературный журнал в мире и только Олег Чухонцев на редколлегии, когда об этом говорилось с гордостью, притворно вздыхал: «Но мы еще не достигли тиража журнала «Здоровье» с его 7 миллионами»), который был органом Союза писателей СССР, как и «Новый мир». Борис Николаевич Полевой был членом ЦК КПСС и опытным партийным НКВД-шным работником и успешно отбивался. Поскольку получить журнал «Юность» в свои руки не удавалось, в ЦК ВЛКСМ решили создать ему конкурента, для чего была выбрана «Сельская молодежь». К 65-му году ее редакция была усилена известными молодыми либералами Фазилом Искандером, Олегом Михайловым, а первый номер с громадным словом «Молодость» на обложке, которое предполагалось в будущем сделать новым названием журнала, включал в себя стихи Булата Окуджавы, «Записки на манжетах» Михаила Булгакова, «Стланик» Шаламова и что-то еще столь же сенсационное. Номер этот долго пробивался в цензуре, вышел с большим опозданием, и журнал «Юность» ответил на его выход, как и полагалось достойному советскому изданию. Тут же был написан донос, который должны были подписать все сотрудники редакции, об антипартийном содержании журнала ЦК ВЛКСМ «Сельская молодежь». Я был в это время в редакции, хотя и заведующим отделом, но только на договоре уже второй трехмесячный срок. Большого доверия у начальства я не вызывал, и мне этот донос никто для подписи не дал, но кто-то из сотрудников журнала проговорился, и я начал бегать из одного отдела в другой, возмущаясь тем, что делает редакция. Думаю, что все к этому времени этот донос уже подписали. Так или иначе, на следующий день меня пригласил ответственный секретарь журнала Железнов и сказал: «Вы знаете, Сергей, вообще-то срок Вашего договора еще не истек, зарплату мы Вам выплатим, но лучше завтра уже не приходите на работу». Думаю, что «Стланик» в «Сельскую молодежь» принес не Сучков, а Олег Михайлов, который передо мной был заведующим отделом кри-

тики в «Юности», и хорошо, как и все в редакции, знал Шаламова и его прозу. Впрочем, я у Олега никогда этого не спрашивал.

### Архив Шаламова, Сиротинская и ЦГАЛИ

Никакого «служебного долга» получать рукописи писателей у сотрудников ЦГАЛИ нет. Советские писатели иногда и с большим трудом (обычно члены правления Союза) могли уговорить архив взять их рукописи. Крученых и Ахматовой в 30-е годы, при Бонч-Бруевиче, удавалось какие-то подборки продавать, но это касалось только материалов Маяковского, Ольги Розановой и других давно умерших писателей и художников.

Рукописи таких как Шаламов не собирались ЦГАЛИ – их систематически конфисковало КГБ и оставляло в своих архивах или уничтожало. Шаламов – исключение, которое и подтверждает характер профессионального (но не архивного) задания Сиротинской. Равнять его с Мандельштамом нельзя. Мандельштам давно погиб и у него одно антисталинское стихотворение, хотя и списки Мандельштама на обысках КГБ изымало.

И я не думаю, что Сиротинская была в курсе контактов Шаламова (при всей его восторженности), и именно необходимость наблюдать за ним и делала их связь столь длительной. Не зря же в больницу Левину [см. мемуары Михаила Левина – прим. составителя] постоянно звонят гебисты: впервые Шаламов в неприслушиваемой комнате, не в квартире, за которой наблюдают, и к тому же без Сиротинской.

### Аркадий Храбровицкий, Рене Герра

Думаю также, что Вы не правы утверждая, что Александр Вениаминович Храбровицкий – стукач КГБ, что бы по этому поводу ни говорил Шаламов да еще в передаче Рене Герра\*. Я писал об этом Рене, у которого есть личные причины распространять об этом скорее всего клеветническую информацию. Насколько я знаю, в свою очередь Храбровицкий писал в Париж Зайцеву, Сионскому и еще кому-то, что агент ГБ – Рене Герра. Я не думаю ни того, ни другого. Рене, с которым мы знакомы с 1966 года (однажды он мне привез из Парижа эмигрантские книги) очень обрадовался, когда узнал, что Храбровицкий был свидетелем от КГБ при моем первом осуждении и с жаром начал меня убеждать, что это подтверждает его мнение о том, что Храбровицкий был агентом КГБ. Я не просто сказал ему, что я этого не думаю, но для того, чтобы формально это закрепить, написал ему еще и

письмо, где изложил свое мнение, а я в этом понимаю все же больше чем Рене. И он вынужден был написать, что я его мнения не разделяю. Чтобы так не думать у меня есть довольно неприятные, но вполне бесспорные основания. Дело в том, что Александр Вениаминович, когда меня судили, не просто давал обо мне показания следователям о том, какие антисоветские книги я ему дал почитать (это есть в моем деле), но и выступал свидетелем обвинения (Олег Михайлов, мой шафер на свадьбе, хотя бы на заседание суда не пришел). Но дело в том, что КГБ не имело и не имеет права использовать своих тайных осведомителей в качестве свидетелей обвинения, и тем самым рассекречивать их. Это просто слабые и не очень хорошие люди, но не более того. Клеветать на них все равно не нужно, как бы они не вели себя сами.

*\* Для меня неважно, был ли Храбровицкий осведомителем КГБ, для меня важно, что так думал Шаламов, а не верить Герра у меня нет оснований, тем более что сам Шаламов назвал Храбровицкого в записных книжках «осведомителем и стукачом» [прим. составителя]*

#### Шаламов, русская эмиграция и деньги спецслужб

Происходило бесспорно манипулирование спецслужбами (Востока и Запада) общественным мнением (я очень это остро чувствовал) и действиями и эмиграции, и советской интеллигенции. Вы совершенно точно пишете о фантастических средствах, затраченных на издания Солженицына. Но эти средства – не Струве, у него их нет. Средства американские, как у всех издательств, средств массовой информации и складов книг для распространения в России в эмиграции (кроме «Континента, который издает Шпрингер). И есть определенная общность в обсуждении планов и выбора приоритетов для успешной общественной пропаганды. Конечно, выбран был Солженицын. Те, кто не издавал Шаламова, вряд ли сами на 100% определяли этот выбор. Но Вы совершенно правы, что мощных защитников, готовых бороться за изменение выбора приоритета, у Шаламова за рубежом не оказалось. Михаил Яковлевич Геллер к этому узкому кругу людей, обсуждавших «приоритеты», не относился.

С американским выбором все ясно и просто. Гораздо интереснее с менявшимся отношением (в менявшемся КГБ и ЦК КПСС) к Солженицыну в России.

Вообще Вы склонны исполнителей (вольных и невольных) делать инициаторами, а это не совсем точно.



Главное, Вы [...] не доверяете Шаламову, когда он пишет, что не хочет быть пешкой в игре двух разведок. Ключевое слово здесь не «пешкой», как Вы полагаете, а «разведок».

Игры КГБ очень сложны, с Солженицыным не вполне ясны, но он был готов к играм, что КГБ всегда приветствовало. Я не случайно упомянул Вам Агаянца и Виктора Луи. Могу прибавить и Эрнста Генри, по совету которого он пишет письмо Брежневу («Теленок»). Шаламов – не играет и потому во всех случаях неприемлем для КГБ. Но зато около него есть Сиротинская.

С ЦРУ все гораздо проще, и это главное, чего Вы не хотите понять. Все мало-мальски крупные СМИ, издательства, русские книжные склады, закупувавшие книги и журналы – существовали только благодаря «холодной войне» и на американские деньги (только у Максимова были деньги Шпрингера). Ни одно из них не было и не могло быть самокупаемым. Американцы любят, чтобы их деньги, выделяемые с определенной целью (борьба с коммунизмом), тратились эффективно, но в соответствии с их представлением об эффективности и значении той или иной фигуры (или пешки). При этом они любят, чтобы люди, которым деньги выделяются, были управляемы, то есть, чтобы их рекомендации выполнялись. Конечно, Солженицын был выбран в качестве ударной и наиболее эффективной фигуры (из списка с Шаламовым, Гроссманом, Домбровским, Синявским и другими). Как раз на издание Солженицына у Струве появились деньги – своих у него отродясь не было. Было принято решение, что Солженицын – главная фигура – и не Гуля, не Струве и не Иловайская, хотя, вероятно, и с их, но очень осторожным, участием определялась эта ставка (Михаил Яковлевич Геллер к подобным обсуждениям причастен быть не мог). Причем, с точки зрения американцев – выбор был совершенно правильным: Солженицына читала каждая домохозяйка. Шаламова она не смогла бы прочесть. Без Солженицына Рейган не смог бы сказать, что «СССР – империя зла».

И только когда раскручивание Солженицына удалось, стала очевидной успешность выбранной стратегии, денег у русских на Западе стало еще больше и появилась возможность издать Шаламова, Гроссмана и других. До этого ни у Гуля, ни у Струве, ни у кого другого денег на издание просто не было.

Вы обвиняете исполнителей, а не заказчиков. Шаламов бесспорно считал убийцами бригадиров, но не их он считал инициаторами террора.

С точки зрения людей, дающих деньги на издания, на рекламные компании, у Шаламова было еще два недостатка: он был неуправляем

и был революционером. Неуправляемых, среди тех, кто получает или использует их деньги, американцы не любят. Так и у фонда «Гласность» пропали все гранты по разным причинам, но и потому, что оказалось, что я неуправляем.

Опубликовано в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/95161.html>

*Сергей Иванович Григорьянц (род. 1941), диссидент, лагерник, литератор, общественный деятель, издатель журнала «Гласность» и председатель одноименного правозащитного фонда*





## Сергей Гродзенский

### *Об отце, шахматах и авторе «Колымских рассказов»*

В обычном почтовом конверте этой почти миниатюрной книжечке было бы просторно. Это «Огниво» – первый сборник стихов Варлама Шаламова, авторы ныне знаменитых «Колымских рассказов». На титульном листе – дарственная надпись: «Якову Гродзенскому на память о чердаке на улице Баумана и всём, что было после. В. Шаламов».

Варлам Тихонович Шаламов был другом моего отца, вместе с ним одно время учился на юрфаке Московского университета. Чердак, упомянутый В. Шаламовым, был «студенческим общежитием». Он располагался в одном из домов на Старо-Басманной улице (ныне улица К.Маркса), рядом с садом Баумана. Потому-то Шаламов и спутал название улицы.

Жизненные пути отца и В. Шаламова разошлись в студенческие годы. Варлам Шаламов стал жертвой первой полосы массовых арестов. 13 апреля 1929 года он впервые вошел в тюремные ворота. Ровно через шесть лет, день в день, первый раз «взяли» моего отца. Обоим вменялась в вину «КРТД» – контрреволюционная троцкистская деятельность.

Отец вернулся в середине пятидесятых годов, после двадцати лет тюрем, «истребительно-трудовых» лагерей (Воркутлаг), «вечной» ссылки («Кенгир-Рудник»). Первое время после возвращений в Москву он любил ходить по центральным улицам и говорил, что стоит ему пройти всю «Тверскую» (название «улица Горького» он не употреблял) и он обязательно встретит кого-нибудь из старых знакомых.

Однажды, прогуливаясь «по Тверской», отец увидел мужчину с острым, пронзительным взглядом, идущего слегка покачиваясь. В лице странного пешехода было что-то «разбойничье», заставлявшее некото-

рых прохожих боязливо озираться. Не без труда отец узнал в нем приятеля давно прошедших студенческих лет Варлама Шаламова. Он вернулся в Москву, пережив Колыму, символизирующую для любого ветерана-эка предел человеческих страданий. (Покачивание при ходьбе – это следствие побоев, нарушивших вестибулярный аппарат, а также слух.) [...]

Помню, отец рассказывал, что в ответ на его восторженный отзыв о только что вышедшей повести «Один день Ивана Денисовича» Шаламов сдержанно оценил Солженицына, охарактеризовав его как «очередного лакировщика» в литературе.

У моего отца установились с Шаламовым дружеские отношения. Сохранились десятки писем, открыток и телеграмм Шаламова. (Были и такие: «Яков, Христом Богом молю, приезжай скорей!») Отец приложил усилия к тому, чтобы выхлопотать Шаламову пособие, и очень обрадовался, когда бывший ээк стал получать пенсию 72 рубля.

В быту Шаламов был человеком непростым. Одна из его особенностей: он кошек любил гораздо больше, чем собак. «Кошка – гордое, красивое животное. Намного лучше собаки, имеющей человеческие недостатки и готовой подхалимисто вставать на задние лапы перед хозяином», – говорил он как-то отцу. Рядом с Варламом Тихоновичем, когда он работал, была кошка по кличке Муха. Чья-то злая рука погубила Муху. Шаламов прислал отцу последнюю фотографию своей любимицы с надписью: «Якову от меня и Мухи. Муха – на другой день после смерти, а я?» 29 июля 1965 г. Москва. В. Шаламов». И приписка: «Муха тебя знала много лет и очень любила. В. Ш.»

Шаламов был страстным футбольным болельщиком, ходил на «Динамо», но болел за «Спартак». Думаю, симпатии к этому клубу отражали неприязнь к ведомствам, которые представляли соперники «Спартака» – «Динамо» и ЦДСА. Узнав, что по телевизору ожидается трансляция футбольного матча, Варлам Тихонович оживлялся и радостно потирал руки: «Сейчас футбольчик посмотрим». Это не вызвало энтузиазма у домашних, ведь предстояли полтора часа громогласных выкриков и прыжков, небезопасных для мебели.

Порой в высказываниях моего отца о Шаламове проскальзывала мысль об интересе Варлама Тихоновича к шахматам. Шахматный мотив иной раз всплывает и в его рассказах. В «Бутырской тюрьме (1937 год)» говорится: «Кормили в Бутырках отлично. «Просто, но убедительно», по терминологии шахматных комментаторов». [...]

Интерес его к шахматам был подлинным. Предполагаю, Варлам Тихонович участвовал в шахматных турнирах. Смутно припоминаю,

что он рассказывал о выигрыше шахматного турнира в лагере. Но приз был вручен не ему, а другому, более «благонадежному» зэку.

Мои воспоминания о Шаламове-шахматисте очень скудны. Да и виделся я с ним всего несколько раз. Обычно отец сам ходил в гости к Шаламову. У нас Варлам Тихонович появлялся изредка. Тема шахмат в разговоре не развивалась, поскольку моего увлечения этим делом отец не одобрял.

Как-то, возвращаясь домой, я столкнулся в дверях с выходящими отцом и Шаламовым. Варлам Тихонович поздоровался со мной, а отец спросил:

– Варлам говорит, что видел какую-то твою статью о шахматах. Что это за графомания?

Лицо родителя выражало изумление и иронию, поскольку в мои шахматно-журналистские дела он не был посвящен и, видимо, полагал, что сын не способен написать что-либо более содержательное, чем заявление в профком. Я притворно-вопросительно посмотрел на Шаламова, а тот глухо произнес:

– В газете «Шахматная Москва». Мне понравился заголовок «Шахматные Андерсены». Еще видел вашу заметку по композиции в «64».

– Вы читаете эти газеты? – осведомился я.

– Регулярно просматриваю «Футбол» и «64».

При другой такой же встрече Варлам Тихонович спросил меня:

– Вы знали шахматного мастера Блюменфельда? Я ответил, что слышал о нем – известном теоретике и психологе. Шаламов сказал: «Я знал его племянника Марка Абрамовича Блюменфельда. Мы были с ним в Вишерском лагере. Он имел кличку Макс».

Как раз тогда, в конце 60-х годов, Варлам Тихонович работал над циклом автобиографических рассказов и очерков, получившем название «Вишера. Антироман». В цикле «Вишера», недавно увидевшем свет, находим рассказ «М.А. Блюменфельд».

А тогда я, полагая, что говорю Варламу Тихоновичу приятное, произнес:

– В 38 году стал жертвой репрессий и погиб председатель шахматной федерации Николай Васильевич Крыленко. Прекрасный был организатор. Благодаря его энтузиазму удалось в 30-е годы провести знаменитые московские шахматные турниры.

Лицо Шаламова окаменело. «Крыленко!.. Председатель шахматной федерации!.. Прекрасный организатор!.. – глухо произносил он, отделяя одно слово от другого тяжелой длинной паузой, – А вы знаете, кто был этот Крыленко? О «крыленковской резинке» слышали?!» И он стал объяснять мне суть «крыленковской резинки». [...]

Последний раз я видел Варлама Тихоновича Шаламова в Ленинской библиотеке. Я узнал его сразу по походке. А когда мы поравнялись, то посчитал, что имею право улыбнуться знакомому. Варлам Тихонович остановился, внимательно посмотрел на меня. (О Шаламове говорили, что он в каждом встречном видел «стукача».) Я, продолжая улыбаться, назвал себя. Варлам Тихонович не расслышал, и лишь когда я снова громко повторил свою громоздкую фамилию, заулыбался:

– Вы – сын Якова, – встретив мой кивок, продолжил: – Извините, Сережа, я знаю, что со мной трудно общаться.

И заговорил о шахматах, потому, видимо, что больше ему со мной было разговаривать не о чем:

– Вы в Ленинке по шахматным делам? Яшка вас поругивает: «Балбес мой, – говорит, – тратит уйму времени на шахматы». А я ему сказал: «Не мешай сыну заниматься любимым делом». Так что будет отец пилить за шахматы, отвечайте: мне, мол, Шаламов сказал, чтобы я шахматы не забрасывал.

Говорил он, как всегда, медленно, запинаясь, но дружелюбно. Вести с ним диалог было трудно: он плохо слышал. Разговор наш проходил вскоре после «матча века» (1970 г.), Варлам Тихонович оказался в курсе результатов этого матча. На него произвел впечатление грубый зевек фигуры тогдашнего чемпиона мира Бориса Спасского в партии с Бентом Ларсеном. На прощание В.Т. Шаламов сказал, что хотел бы еще повидаться со мной и поговорить о шахматах.

«Другого раза» не случилось. В конце 1970 года отец слег с инфарктом. От Шаламова пришло письмо, начинавшееся словами: «Яков, за твои добрые дела тебя следовало бы наградить бессмертием вовсе не исключает кратковременных недомоганий, всевозможных кризов...».

В январе 1971 года отца не стало. Варлам Тихонович переживал утрату. Некоторое время мы обменивались празднично-поздравительными открытками. Затем в «Литературной газете» появилось печально известное отречение В. Шаламова от «Колымских рассказов» с упреками по адресу тех, кто способствовал появлению книги в зарубежном издательстве.

Помню гневную реакцию знакомых ветеранов ГУЛАГа на поступок Шаламова. Слышал, что кто-то, не ограничившись разрывом отношений с ним, уничтожил когда-то подаренные им книги и фотографии. Думаю, будь жив отец, он, человек либеральный и сам хлебнувший горя, не осудил бы Шаламова. Постепенно, понимая, что отца Варламу Тихоновичу я не заменю, я перестал ему звонить...

В письме А. Солженицына к В. Шаламову от 21 марта 1964 года есть строки: «...И я твердо верю, что мы доживем до того дня, когда «Колымская тетрадь» и «Колымские рассказы» также будут напечатаны. Я твердо в это верю, и тогда-то узнают, кто такой есть Варлам Шаламов».

Это время пришло. Организуются шаламовские чтения, работает комиссия по литературному наследию В.Т. Шаламова.

...Недавно в Центральном доме литераторов я присутствовал на вечере, посвященном жизни и творчеству автора «Колымских рассказов». В кульминационный момент была магнитофонная запись, и в тишине зазвучал голос Шаламова. Он читал «Шахматы доктора Кузьменко». Почему именно этот рассказ был записан на пленку?..

Слушая «Шахматы доктора Кузьменко» в авторском исполнении, я вспомнил тот же голос, обращенный ко мне:

«Хорошо, что у Вас есть любимое дело. Занимайтесь шахматами, пишите на шахматные темы».

Опубликовано в журнале «64. Шахматное обозрение», №11, 1990.  
Электронная версия на сайте shalamov.ru

<http://shalamov.ru/memory/181/>

---

«Автора этих строк попросили сделать сообщение на тему «Неизвестные страницы из жизни известных людей», поделиться воспоминаниями об известных деятелях, которые случайно встретились на его жизненном пути. Интерес вызвал рассказ о моем школьном учителе А.И. Солженицыне и друге юности моего отца В.Т. Шаламове. Оба писателя, которых признают классиками и называют великими, были людьми очень разными. Это проявлялось и в их увлечениях. А.И. Солженицын с пренебрежением относился к футболу, поругивал меня за занятия шахматами.

В.Т. Шаламов был страстным болельщиком «Спартака», всегда очень эмоционально переживавшим неудачи любимой команды. Он любил шахматы, разбирался в них, а не так давно в его опубликованных дневниках я прочитал уважительные строки об игре в шахматы по переписке. Могу предположить, что Варлам Тихонович написал это после того, как выслушал мой рассказ (дело было в конце 60-х гг.) о заочных шахматах.

Сын священника В.Т. Шаламов был убежденным атеистом, а бывший комсомолец А.И. Солженицын не скрывал, что верит в Бога. А.И. Солженицын считал, что во многом благодаря Гулагу он стал писателем. В.Т. Шаламов лагерный опыт оценивал крайне негативно. Читая его «Колымские рассказы», вспоминаешь ироничный афоризм Станислава Ежи Леца: «Не восхищайтесь Дантом. По части ада был он дилетантом».

Приводилось еще много примеров из воспоминаний об этих выдающихся людях, показывающих их различие и в жизни, и в творчестве. Закончил беседу я словами В. Некрасова о Варламе Шаламове: «Читать Шаламова страшно, а не читать стыдно», которые были встречи с пониманием».

Сергей Яковлевич Гродзенский

д-р техн. наук, профессор Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), действительный член Академии проблем качества, мастер спорта по шахматам, гроссмейстер по заочным шахматам»

Из отчета о конференции на тему высоких технологий, журнал «Стандарты и качество», декабрь 2011 <http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=55368>

---

«Я профессионально занимаюсь шахматами, с детства ими увлекаюсь, я даже гроссмейстер в некотором смысле. Так вот, Солженицын поругивал меня: «Чем ты занимаешься, Сережа!». Отец тоже поругивал, а Шаламов всерьез интересовался шахматами. И в моих публикациях «Шахматы в жизни замечательных людей» шаламовская часть занимает довольно большое место. Варлам Тихонович предстает с необычной стороны. Он был футбольным болельщиком, а мой отец тоже очень увлекался футболом. И я помню, как они с жаром спорили, почему проиграла их любимая команда, и Шаламов говорит: «Тренер поставил в ворота эту курву позорную!»

Однажды отец мне сказал: «Слушай, Варлам говорит, какую-то публикацию твою видел в шахматном журнале. Что это за графомания?» Видимо, отец считал, что что-то более содержательное, чем заявление в профком, я не в состоянии написать. И Шаламов говорит: «Да, я видел Вашу статью, мне очень понравилась». А я в то время



увлекался шахматами по переписке. Шахматы многогранны: они сочетают черты науки, искусства и спорта. И исследовательская составляющая шахмат – игра по переписке. Отец относился, конечно, к этому со злобной иронией. А когда я стал рассказывать, Шаламов говорит: «Послушайте, Сережа, мне это интересно. Яшка, иди на хрен, ты ничего в этом не понимаешь. Расскажите, Сережа». Я стал рассказывать. И теперь с удивлением увидел, что в дневниках Шаламова, относящихся к тому периоду, 60-ым годам, он вдруг пишет, что «для меня было бы естественным участие в шахматном турнире по переписке, мне близка эта исследовательская часть».

Из выступления Гродзенского на обсуждении книги Валерия Есипова «Варлам Шаламов», сентябрь 2012 <http://shalamov.ru/events/47/>

*Сергей Яковлевич Гродзенский (род. 1944), сын близкого друга Шаламова рязанца Якова Гродзенского, специалист в области высоких технологий, шахматист, шахматный композитор*





## Роман Гуль

«Роман Гуль : – [...] я много печатал вещей, которые показывали жизнь в СССР чрезвычайно ярко. Я чуть ли не 10 лет печатал, например, рассказы Варлама Шаламова.

Джон Глэд: – Вы знаете, я впервые узнал Шаламова и начал его переводить благодаря «Новому журналу».

Роман Гуль: – Я считаю, что мы не делали никакой из этого помпы, никакой публикации особой, но это было просто открытием этого писателя, потому что это замечательный писатель и его вещи останутся, помоему, и в литературе и в истории,

потому что он чрезвычайно важен для истории [...]

Джон Глэд: – Из тех писателей, которых вы печатали в «НЖ», какие были как бы большим открытием, по-вашему?

Роман Гуль: – Больших открытий... Кроме Шаламова. Это было открытие. В 1963 году я получил рукопись совершенно случайно. Один известный профессор-славист позвонил мне по телефону и говорит, что он из Москвы привез рукопись одного русского писателя. На другой день он приехал ко мне и дает рукопись в 600 страниц. Я очень обрадовался, хотя я Шаламова не знал как писателя. Я когда-то читал его стихи, но особого моего внимания они не привлекли. Ну, и в течение 10 лет я публиковал эти самые рассказы Шаламова и считаю, что это, конечно, было настоящим открытием. Других таких сразу на ум мне не приходит».

Из книги интервью Джона Глэда «Беседы в изгнании – Русское литературное зарубежье», издательство «Книжная палата», 1991. Интервью взято в 1982 году, в год смерти Шаламова. Сетевая версия в библиотеке Белоусенко [http://www.belousenko.com/wr\\_Glad.htm](http://www.belousenko.com/wr_Glad.htm)

---

«Хотя ссылки на «Новый журнал» в советской печати в конце 60-х годов прекратились, мы начали получать из Советского Союза рукописи, что было лучше всяких «ссылок». Самым большим подарком для «Нового журнала» была объемистая рукопись Варлама Шаламова – «Колымские рассказы». Произошло это так. Один известный американский профессор-славист как-то позвонил мне по телефону и сказал, что был в Москве и привез большую рукопись для «Нового журнала». Я поблагодарил, и на другой день профессор привез мне на квартиру рукопись «Колымских рассказов». Это была очень большая рукопись, страниц в шестьсот. Передавая ее, профессор сказал, что автор лично виделся с ним и просил взять его рукопись для опубликования в «Новом журнале». Профессор спросил автора: «А вы не боитесь ее опубликования на Западе?» – На что Шаламов ответил: «Мы устали бояться...» Так в «Новом журнале» началось печатание «Колымских рассказов» Варлама Шаламова из номера в номер. Мы печатали Шаламова больше десяти лет и были первыми, кто открыл Западу этого замечательного писателя, взявшего своей темой – страшный и бесчеловечный ад Колымы. Когда рассказы Шаламова были почти все напечатаны в «Новом журнале», я передал право на их издание отдельной книгой приехавшему ко мне покойному Стипульковскому, руководителю издательства «Оверсиз Пабליкейшенс» в Лондоне, где они и вышли книгой».

Роман Гуль, «Я унес Россию: апология эмиграции. Россия в Америке», издательство «Мост», 1989; Издательство: Б.С.Г.-Пресс, 2001. Сетевая версия тома 3, главка «Новый журнал», на сайте Добровольческий корпус [http://www.dk1868.ru/history/gul3\\_2.htm](http://www.dk1868.ru/history/gul3_2.htm).

Впервые – в части мемуаров «Россия в Америке», «Новый журнал», 1985.

*Роман Борисович Гуль (1896-1986), писатель-эмигрант, критик, общественный деятель либерального направления, редактор нью-йоркского «Нового журнала»*



## Ольга Гуревич

От составителя.

Татьяна Леонова, ухаживавшая за Шаламовым в доме престарелых со своей подругой, которую она называет Олесей Гуревич, дала мне ее электронный адрес, и я попросил Ольгу Александровну поделиться собственными воспоминаниями о Шаламове – может быть, в форме ответов на вопросы, которые у меня возникли. Ольга Гуревич любезно откликнулась и прислала короткий текст, дополняющий

картину, нарисованную Леоновой.

---

Я прочитала воспоминания Тани Леоновой – там все сказано, и я смогу добавить совсем мало.

Главное, что, мне кажется, можно сказать о жизни Шаламова в доме престарелых – что его не воспринимали там как человека, не говорю уже как поэта. Его же – больного, слепого, почти глухого, брошенного всеми окружавшими прежде людьми – связывало с жизнью как раз то, что он хотел остаться и оставался поэтом. Единственным человеком, помогавшим ему в этом, был Александр Морозов, регулярно приходивший и записывавший его стихи. Мы – остальные, приходившие покормить, помыть и как-то пообщаться – были для него новыми, не связанными с его жизнью. Мы как-то спросили его, чего ему хочется, он ответил сразу – попросил найти Юлию Шрейдера и передать, что он просит придти. К сожалению, тот так и не пришел, и Шаламов постепенно перестал о нем спрашивать. После смерти Шаламова Шрейдер, в качестве друга, неоднократно писал о нем прочувствованные воспоминания. Вообще, эта книга воспоминаний [сборник «Варлам Шаламов в свидетельствах современников»] стала для меня неожиданно-

стью: оказывается, несколько десятков человек, каждый из которых откомендовался как хороший знакомый Шаламова, в то время жили и здоровались, знали о том, что он жив, потом узнали о его смерти и написали воспоминания. Возможно, что если бы тогда они приняли в нем хоть минимальное участие, всего этого последнего ужаса в его жизни просто бы не было.

Трудно даже представить, насколько он был сильным, самодостаточным и уверенным в себе как поэте, что смог сохраниться в полной изоляции в таком недружелюбном для него месте, не зная, что будет дальше, и не имея никакого контакта с теми, от кого он полностью зависел.

Теперь ответы на Ваши вопросы:

*«Каково было отношение к Шаламову со стороны персонала и администрации интерната?»*

1. Прихожу, как-то в начале своего знакомства с этим учреждением, к доктору, начинаю говорить об истощенном состоянии Шаламова. В ответ: «Конечно, у него же сниженное питание». Пытаюсь понять, что такое «сниженное питание». В ответ: «Вы же видите, что он еду до рта донести не может». Кормить там некому, так что вопрос закрыт.

2. Прихожу – дом престарелых закрыт для посетителей – карантин по гриппу. В приемной никого, кроме секретарши. С трудом уговорила вызвать нянечку с его этажа. К ней у меня единственная просьба – сказать ему, что две недели ни Сашу Морозова, ни Таню, ни меня не пустят к нему из-за карантина и что потом мы опять будем приходить (не бросили). Просьба вызывает удивление – зачем, ведь он же не понимает. Потом нахожу еще кого-то, опять прошу. Обе обещали, чтобы отвязалась, но, по-моему, так и не передали.

*«Когда именно Вы начали уход за Шаламовым и когда и по какой причине его прекратили? Перед самой смертью за ним ухаживала другая маленькая группа людей наряду со знакомым Вам Александром Морозовым. Мне кажется, вы с Леоновой с этими людьми не встречались. Был ли у вас какой-то режим дежурств?»*

Начала вместе с Таней – не помню точно когда, но мне кажется, что она это написала [осень 1980-го], прекратила потому, что лежала, сохраняя беременность. С Таней мы в основном ходили по отдельности, чтобы чаще получалось. Других людей, приходивших к Шаламову, я действительно не встречала.

*«Не могли бы Вы назвать имя женщины-психиатра, освидетельствовавшей Шаламова по вашей с Леоновой просьбе».*

Имени ее я не помню. Я не была с ней знакома, видимо, она была найдена «по цепочке» – я работала тогда в медицинском институте.

*«Сиротинская пишет, что в палате Шаламова был балкон. Выходил ли он на него, сидел ли там, дышал ли, что называется, свежим воздухом?»*

Удивительно, как простой вопрос может ошарашить своей «простоестественностью», когда речь идет о Шаламове в тот последний период. Он был замкнут в себе и совершенно отгорожен от окружающего. Думаю, что мысль выйти на балкон и погреться на солнышке просто не приходила ему в голову. Вот и Александр Морозов пишет, что Шаламов не соглашался на его предложения выйти на балкон или погулять.

*«Были ли у него какие-то личные вещи, любые? Или только казенные».*

Думаю, что не было.

*«Мог ли он сам включить с наступлением темноты свет и выключить? Или ему из-за слепоты этого не требовалось?»*

Не знаю, когда я приходила вечером, свет всегда был включен. Это ведь был этаж для лежачих – свет могли включать и выключать централизованно.

*«Запиралась ли его палата изнутри? И запиралась ли вообще? Мог ли он как-то отгородиться от нежелательных для него посетителей, например, соседей?»*

Не знаю, думаю, что не запиралась, ведь это был этаж для лежачих – соседи по коридорам не ходили и в палаты не заглядывали.

*«Морозов пишет, что иногда он бредил наяву. А по Вашему впечатлению, был ли он абсолютно вменяем – в обычном смысле? В том смысле, в каком мы, общаясь с человеком, уверены, что тот полностью отдает отчет, где находится и с кем разговаривает?»*

Я никогда не замечала, чтобы Шаламов бредил наяву, он адекватно реагировал на мои слова и отвечал на вопросы. Правда, и разговоры наши были короткими и простыми, не дававшими толчка к волновавшим его воспоминаниям.

*«Со дня его переезда в дом престарелых до прихода Морозова прошел год. Как, по-вашему, он сумел выжить в этих условиях без посторонней помощи? Спрашиваю потому, что для меня это загадка».*

Для меня тоже. А как он выжил в лагере?

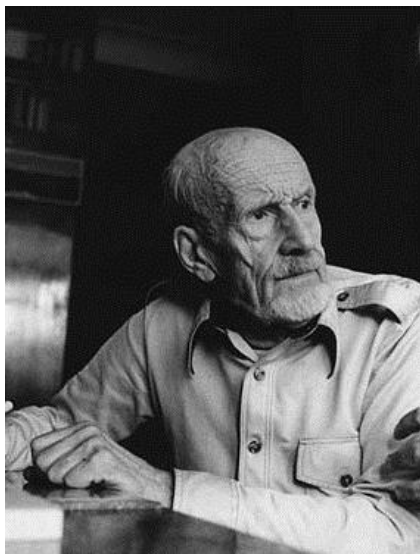
*«Судя по всему, что я читал об этом доме престарелых, вернее было бы назвать его «враждебным» для Шаламова, чем «недружелюбным».*

Когда я подбирала подходящее слово, чтобы охарактеризовать та-мошнюю обстановку, я колебалась между «недружелюбным» и «равнодушным». Думаю, что это была обычная ситуация в простом не субсидированном доме престарелых тех времен – одна няня на этаж лежащих, врач с очень лимитированными возможностями лечения и госпитализации, всеобщие нищета и воровство. Те, кто работали в таких заведениях, либо должны были быть святыми, либо становились черствыми и равнодушными (инстинкт самосохранения ведет по второму пути).

Собственно враждебность (персональная) проявилась в том, что начальство решило от него избавиться.

*Ольга Александровна Гуревич (род. 1948), врач-гематолог, работала в Институте гематологии и переливания крови в Москве, после эмиграции – в университетской клинике «Хадасса» в Иерусалиме*





### Петр Демант (Вернон Кресс)

[От составителя. Дело происходит в поселке Дебин на Колыме, в Центральной лагерной больнице для заключенных зимой 1946-47 гг.]

«Мы сели и начали дрожать – из нас выходил мороз. Не успели нагреться, как из прииска «Верхний Дебин» привезли сумасшедшую девушку, крепкую, цветущую, с улыбающимся красивым лицом и совершенно тусклыми глазами. [...] Когда санитарка попыталась разуть ее насильно, она закричала зычным голосом, жутким, как волчий вой.

Потом истерично засмеялась, забилась в угол за дверями, поджав под себя ноги, и тихо заплакала.

– Сейчас укол сделаем, и ты возьмешь валенки, – сказал приезшему фельдшеру высокий мужчина в белом халате, наблюдавший за сценой из дверей приемного покоя. – Олповцы, живо под душ! – крикнул он сильным, низким голосом. – Еще и этап приходится мыть, черт знает что за порядки в ОЛПе [отдельный лагерный пункт – прим. составителя], не могут их вымыть в котельной! – Он выругался и скрылся за дверями.

Я знал этого человека: Варлам Тихонович Шаламов попал за колючую проволоку еще студентом, но скоро освободился. В Москве был вторично арестован и, по рассказам, сидел уже много лет. Первый раз я встретил Шаламова на двадцать третьем километре. Это был смуглый черноволосый красавец с мощным телом и лицом римского центуриона, словно вырезанным из темного дерева. Он работал, сколько я его знал, фельдшером, славился грубостью и прямоотой и не боялся блатных. Знаток литературы, а таких на Колыме после тридцати седьмого года встречалось немало, высоко ценили его стихи, которые он изредка читал в узком кругу. Проведя большую часть жизни в заключении, Шаламов никогда не терял здесь своего лица – честного,



умного и, несмотря на резкость в обращении, очень порядочного человека».

Из книги воспоминаний Петра Деманта (литературный псевдоним Вернон Кресс) «Зекамерон XX века», писавшейся в 1969-71 гг., электронная версия на сайте Сахаровского центра [http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=10984#ref297518\\_2](http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=10984#ref297518_2)

---

«Кресс/Демант говорит, что ему “трудно читать угрюмого Шаламова” – Шаламов тысячу раз прав, но у него не было памяти карнавала в Аахене или юношеского похода по горам Буковины, его мир более узок. Ужасы лагеря автор старается вытеснить из памяти. Они “помешали бы мне работать и радоваться жизни. Сцены, которые вычеркивали все, на чем стоял и стоит мой мир, мои идеалы и надежды, сцены, которыми тщательно и систематически травили нас в запроволочной империи”».

Александр Уланов, «В твердой памяти», с сайта Журнальный зал <http://magazines.russ.ru/druzhba/2007/2/ul13.html>

*Петр Зигмундович (Сигизмундович) Демант (1918-2006), писатель-лагерник, уроженец Австрии, до конца семидесятых годов колымчанин, автор нескольких книг беллетризованной мемуаристики, общественный деятель*





## Валентина Демидова

«С Шаламовым они пересеклись на Колыме. И папа, видимо, настолько поразил Шаламова, что Шаламов потом, думая, что папа погиб – когда его забрали на этап, они там больше не встретились, на Колыме – он писал, есть такая цитата из письма Солженицыну Шаламова, когда он спорит с Солженицыным, какая интеллигенция... вообще, почти дословно эта цитата – что техническая интеллигенция всегда была на прикорме правительства; поскольку она была полезна, то она всегда в более легких

условиях существовала, чем интеллигенция гуманитарная – и здесь только редкие исключения, вот, пожалуй, только Ферми и Демидов. Меня совершенно поразила эта цитата, то есть, сравнить, почему Ферми,.. вот это было отношение к папе там [в лагере], настолько он был для него авторитетен. [...]

Шаламов, думая, что папа погиб после Левого берега [центральной больницы Севвостлага в поселке Дебин, где оба работали – прим. составителя], когда его увели на этап,.. он, когда писал пьесу «Анна Ивановна», это его единственная пьеса – она памяти Георгия Демидова. А с ним произошло следующее. Папа был в Ухте, освободился, Шаламов был в Москве, освободился раньше, папа знал, что Шаламов в Москве, но не искал ни с кем контакта, он начал в Ухте писать, и совершенно случайно его хорошая знакомая из Ухты, врач, переехала в Москву и получила комнату в коммуналке на Горького, в большой квартире, где жила совершенно замечательная женщина, Лидия Максимовна Бродская, может быть, кто-то слышал эту фамилию, переводчица, большая приятельница Шаламова. И у нее в гостях как-то был Шаламов. Зашла эта соседка Верочка [Вера Линде – прим. составителя], которая хорошо знала папу, и что-то вскользь сказала и назвала – а Лидия Максимовна уже знала, она [Линде] много рассказывала о папе: Гордич. Она сказала: Гордич должен был приехать, но не может. А Шаламов просто поднял голову и спросил: Гордич – это югослав? Фа-

милия такая югославская. А Вера говорит: нет, это Георгий Георгиевич Демидов, он в Ухте. Он говорит: кто?! Она говорит: Демидов Георгий Георгиевич. И вот таким образом, совершенная судьба, вы знаете, говорят, ее не бывает, нет, бывает. И они сошлись, опять, они встретились, тогда папа изредка наезжал в Москву, у них переписка восстановилась. Папа когда стал писать, он начал Варламу Тихоновичу показывать свои вещи. И Варлам Тихонович стал давать ему какие-то указания, какие-то замечания [...].

Один раз меня папа – я приехала в Москву, и он пошел к Шаламову, еще на Беговой – он меня взял с собой. Я присутствовала при их разговоре, уже когда у них были большие споры по поводу...

[вопрос из зала] – Какой год приблизительно?

– Это примерно шестидесятые годы, я точно не могу сейчас сказать... Я помню, что я сидела в уголке, а они часа два, у них, видимо, уже было вот это противостояние – когда Шаламов считал,.. это то, что я сама слышала, что он говорил. Он ему сказал, что таких, как ты и я, прошедших все это, выживших, сумевших уцелеть и умеющих все это описать, практически почти нет. Поэтому нечего тут размазывать по странице, как он тогда, простите за слово, сопли, а надо факты. Не надо никаких «любит – не любит», вот эти чувства все, это все вторично, это никому не нужно. Как можно больше фактов! Фактов, фактов, вот сколько успеешь – столько и написать, а вот это все никому не нужно. Я помню, как они, как два бычка, оба такие высокие, друг против друга, у стола, упершись, красные, я думала, бодаться начнут. Я сидела там в уголочке, боялась пошевелиться. Потом мы с папой оттуда ушли, и по дороге, мы шли пешком, он аж кипел весь, он говорил: «Ну ты пойми, мы там жили, это каторга, страшная каторга, невозможная каторга, практически не выживали на общих работах (а он там десять лет провел на этих общих работах, из четырнадцати), и все равно, понимаешь, там были люди, живые, эти люди любили, эти люди дружили, эти люди помогали, эти люди предавали – все было по-разному, но это была жизнь и это были живые люди. И не писать об этом я не могу». И поэтому рассказы его совершенно другие. Они по-разному писали и по-разному к этому подходили. Вот и все. А пересорились действительно потому что... ну я вам хочу сказать, у Шаламова появился несколько... он был действительно... Папа мне говорил – он признавал первенство Шаламова, он говорил: ты писатель, профессионал, а я еще не знаю, кто я, я совершенно не уверен в своем писательском таланте, абсолютно. Но у Шаламова появился такой тон, знаете, немножко менторский, а с папой так нельзя было разговаривать, категорически. Поэтому нашла коса на камень и получился раз-

рыв. И вот это последнее папино письмо, которое есть в переписке,.. она не раз издавалась, к сожалению, там, по-моему, одиннадцать папиных писем, шаламовских там два или три, только черновики сохранившиеся, потому что при обыске все, что было у папы – вся переписка и все записные книжки – было изъято и это не вернули. Писем Шаламова в папином архиве нет, они не сохранились. Но демидовские письма, вот это последнее горькое письмо: с кем ты меня спутал, Варлам? Очень горькое. [...]

Но вот потом, через несколько лет, когда было вот это – конечно, не отречение Шаламова от произведений, а безусловно просто отказ от того, что напечатано без его разрешения, без его ведома – в Литературке. Папа аж кипел, когда кто-то ему сказал: видишь, Шаламов (зная, что они когда-то поссорились)... Он тогда прямо взорвался совершенно, кулаком по столу двинул и сказал: что вы понимаете, что вы знаете, как они умеют ломать!»

Из выступления Валентины Демидовой в Сахаровском центре в Москве 20 апреля 2011, расшифровка составителя. Видеозапись на сайте Сахаровского центра

<http://www.sakharov-center.ru/discussions/?id=768>. Текст в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/124548.html>

---

« – Известно, что Шаламов и Демидов познакомились на Колыме, в больнице Левого берега, где Шаламов уже был фельдшером, а Демидова сделали зав. рентгенкабинетом. Как состоялось их первое знакомство и как произошла вторая встреча?

– Папа, умирая на общих работах, с дистрофией четвёртой степени попал в больницу на Левом берегу. Там его долго выхаживали, и пока он лежал в больнице, он построил рентгеновский аппарат, которого там не было. В благодарность за это главный врач больницы оставил его рентгентехником «на истории болезней». В этой больнице они с Шаламовым познакомились и подружились. Шаламов там был уже фельдшером. Все заключённые врачи, медсестры и санитары должны были на ночь покидать больницу, но папе в знак благодарности за его работу разрешили вечером не уходить, и он оставался ночевать в этом рентгеновском кабинете. Я так понимаю, именно этими вечерами и проходили у них с Шаламовым очень серьёзные беседы. В одном

письме папы к Шаламову есть такая фраза: «Твои нигилистические рассуждения о ненужности всего в литературе, что апеллирует к устаревшим эмоциям, мне были известны и прежде. Если не ошибаюсь, ты был поклонником Писарева». Папу держали в больнице как могли долго, но однажды был объявлен новый этап и папу забрали.

Медсёстры Левого Берега рассказывали, что Демидова в больнице буквально боготворили. С ним было потрясающе интересно, и, судя по всему, Варламу Тихоновичу тоже. Его уважало даже всё лагерное начальство. Единственный, кто его ненавидел, был главврач, полковник ГБ М.Л. Доктор. Вокруг Демидова всегда толпились люди, он очень любил молодёжь. И к нему всегда бежали плакаться женщины – он им давал всякие советы, мирил, разговаривал. И в Ухте в его доме всегда была толкучка. Под шумок и стукачей ходило сколько хочешь, но это и понятно.

Шаламов думал, что папа погиб после того, как его забрали на этап. [...]

Второй раз в жизни они встретились в Москве. Шаламов ходил в гости на ул. Горького, где жила Лидия Максимовна Бродская – переводчица, симпатичная седовласая старушка, которая его очень любила. Папа называл эту квартиру «воронья слободка». Это была большая московская коммуналка, обитая дубовыми панелями, старая, уютная квартира. Там было девять или десять комнат. И жили там разные люди: в том числе, по-моему, одна из княгинь Трубецких с сыном. Туда же по обмену переехала из Медведково одна из папиных приятельниц Вера Линде, и они с Лидией Максимовной очень подружились. Как-то Вера Линде заходит в комнату к Лидии Максимовне и говорит, что скоро Горгич придет... Шаламов удивился: «Кто это, югослав какой-то?». «Да нет, это не югослав. Это имя один мальчик придумал. Ему трудно выговаривать Георгий Георгиевич, вот он и называет так Георгия Демидова». Шаламов, ещё более удивлённо: «Кого?!». Он был уверен, что папа на Колыме погиб. А папа знал, что Шаламов в Москве, но не искал ни с кем контакта.

После этого случая в «вороньей слободке» восстановилась их переписка. Они виделись во время приездов папы в Москву. Когда папа начал писать, он стал давать рассказы Шаламову. Начались обсуждения, споры, подсказки – и кончилось всё это разрывом... Видимо, в силу того, что это были два очень сильных характера, и у каждого было своё мнение о том, как писать и что писать, ведь у обоих на бумагу выходило наболевшее.

Однажды папа приехал в Москву, когда я тоже была там, и он взял меня с собой к Шаламову. Я присутствовала при их разговоре, когда у

них уже были горячие споры по поводу литературы. Это было в 1960-е, в самый разгар их полемики. Я сидела в уголке, а они часа два разговаривали, спорили. Я сама слышала, как Шаламов говорил: «Таких как ты и я, прошедших всё это, выживших, сумевших уцелеть и умеющих это описать, почти нет. Поэтому нечего размазывать по странице сопли, нужны факты. Не надо всего этого: любит-не любит, чувства – это всё вторично и никому не нужно. Как можно больше фактов, фактов, фактов, фактов. Сколько успеешь, об этих фактах только и писать. А остальное – никому не нужно». Они, как два бычка, встали, оперев руки в стол, оба красные – я думала, бодаться начнут. Я сидела в уголке, боялась пошевелиться. И я помню, как мы шли с папой пешком, а он весь кипел: «Ну ты пойми, мы там жили. Это страшная, невозможная каторга. Там немногие выживали после общих работ, и всё равно – там жили люди. Эти люди любили, дружили... И не писать об этом я не могу».

Папу вообще нельзя было учить таким тоном. Тут они как-то не рассчитали оба. Мой папаня обиделся, стукнул кулаком и сказал: «Можешь быть уверен: следующих своих колымских рассказов я уже тебе не покажу». А он был человек слова. Но могу вам сказать – я этому свидетель – когда появилось то потрясшее всех письмо-отречение, и когда кто-то из знакомых папе сказал, зная, что они вроде разругались с Варламом Тихоновичем: «Вот видите, Георгий Георгиевич!», – случилось что-то небывалое. Я видела, что стало с папой и испугалась, потому что он стал багровым! В одно мгновение у него налилось лицо... У него бывали минуты ярости, и в эти минуты он должен был кулаком, – а кулак был дай боже, – стукнуть или по стене, или по столу. И он брякнул кулаком по столу – на столе всё подлетело вверх, звякнули чашки, посуда, и он рывкнул: «Как вы, молокососы, смеете об этом говорить? Что вы знаете о том, как они умеют ломать?» Вот это единственное, что он сказал. Все мгновенно заткнулись с перепугу. И больше никогда эта тема не поднималась. Я знаю точно: он никак Шаламова не осудил. Совершенно. Он знал, что «они» умеют. «Они» – он так их и называл. Именно «они» у него всё забрали.

– Сохранились ли какие-то письма Демидова к Шаламову помимо уже опубликованных?

– Опубликованы только те письма, которые нашлись в архиве Шаламова. У папы ведь ничего не осталось – после обыска письма не вернули. Архив папин я смогла достать с помощью А. Н. Яковлева. Обыск был в восьмидесятом году, поэтому я даже не знаю, хранил ли папа письма вообще. Правда, несколько писем я нашла после его смерти, и у меня сохранилась вся моя и мамина переписка с ним. Немножко в

этих письмах есть и о Шаламове. Вот, например: «Будешь у Веры, спроси, какого чёрта мне не отвечает Шаламов?» Потом: «В Москве уж чуть не месяц торчит Валя Г. Сдаёт экзамены. Может, с ней я что-нибудь получу от этого старого брюзги Шаламова?»

– Как отец Вам описывал Шаламова?

– Он так и говорил: «брюзга». По сути, они были два таких гиганта [Валентина Георгиевна сжимает перед собой кулаки. – А. Г., С. С.]. Вот ещё тоже из письма: «В Москве встретился с писателем Шаламовым, с которым был на Колыме в одном лагере. Расстались мы с ним уже семнадцать лет, и он считал, что я погиб и написал пьесу, которую посвятил моей памяти. Эта пьеса попала на глаза Вере Линде. Так в третий раз я был воскрешён из мёртвых».

У папы был сборник стихов Шаламова с дарственной надписью. Он рассказывает об этом в письме: «Шаламов прислал мне сборник своих стихов «Дорога и судьба». Есть и хорошие. Тираж – тысяча экземпляров. Попробуй купить. Издательство «Советский писатель».

– Кем для него был Шаламов?

– Он говорил: «Шаламов – писатель, а я – любитель». И авторитет Шаламова в литературе был для него безусловным, абсолютным. Как я понимаю, Шаламов, в силу своего характера, не нашёл с ним верного тона. Менторский тон в отношении папы был категорически невозможен. Крутые оба характера были, очень крутые. «С кем ты меня спутал, Варлам?» – пишет он в последнем письме к Варламу Тихоновичу. В моём представлении они как два могучих дуба. И оба с жуткими судьбами. Среди людей, которые вышли из лагеря, из этого ужаса, было немало тех, которые влились в нормальную жизнь. Конечно, это след, это раны, память, но они смогли как-то жить после этого. Жить нормально. А у этих двоих всё и дальше шло тяжело, как по ухабам. [...]

– Демидов не хотел публиковать свои рассказы на Западе. Почему?

– Да, не хотел. Ему предлагали. Он мне говорил, что есть две основные причины отказа. Первая и самая главная – это нужно дома. На Западе это просто очередная сенсация, а о том, что было, знать людям нужно здесь. Это наша история, это наша беда. И второе: он был искренне убеждён, что если нигде за границей ничего не опубликует, то его никто не тронет и у него будет время закончить задуманное. Для него самым главным было дописать автобиографический роман «От рассвета до сумерек». Поэтому вопрос, печататься на Западе или нет, не стоял. Папа категорически не хотел этого. Он мне говорил, что не дай бог его там кто-нибудь опубликует – ведь не дадут больше писать.

История с изданием «Колымских рассказов» Варлама Тихоновича за границей была для него ярким примером.

– Когда ему предлагали публиковаться на Западе?

– Думаю, это были семидесятые годы. Он был уверен в том, что у Варлама было абсолютно безвыходное положение, что Шаламова заставили написать письмо-отречение. Я-то теперь знаю, что он писал добровольно. Но папа считал, что Шаламова вынудили. Что когда на него обрушилась критика, он был поставлен в такие условия. И папа был убеждён, что из-за письменного стола его точно вытолкнут, писать ничего не дадут, а это для него было важнее всего остального».

Из интервью Валентины Демидовой Сергею Соловьеву и Анне Гавриловой, апрель 2011. Опубликовано в четвертом Шаламовском сборнике, 2011, электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир», здесь

<http://ru-prichal-ada.livejournal.com/173367.html> и здесь <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/173759.html>

*Валентина Георгиевна Демидова (род. 1938), дочь колымского товарища Шаламова инженера и писателя Георгия Демидова, публикатор его творческого наследия, живет в США*







## Александра Дроздова

Из статьи журналиста клинской районной газеты «Серп и молот», 17.01.08, Александра Сырова «Жестокая правда Шаламова». Электронная версия здесь <http://www.mosoblonline.ru/upload/att/20080122171031.pdf>

---

«В пятидесятые годы она [Дроздова] работала на Решетниковском торфопредприятии заведующей материальным складом. Как раз к этому складу и приписали Шаламова. [...] Собеседница

охотно делилась с нами воспоминаниями:

– Варлам Тихонович был высоким, широкоплечим, жилистым человеком с глубокими морщинами на обветренном лице. Носил кожаный черный пиджак, кирзовые сапоги и шапку-ушанку. Общался мало, слыл молчуном. Каждый день приходил к восьми утра в контору, его посылали по разрядке за грузом. Привозил запчасти, спецодежду, инвентарь. Рабочий день был до пяти вечера. Варлам Тихонович груз сдавал на склад, я его принимала. Его семья, кажется, в то время, в Москве находилась. Он по выходным в столицу уезжал, хотя ему и запрещено было.

Сама я жила тогда в Туркмене, а через дорогу находилось общежитие, где квартировался Шаламов. Его соседкой по коммунальной квартире была Надежда Филипповна Овчинникова. Надежда Филипповна до сих пор живет в Туркмене.

У меня корова была. Варлам Тихонович часто молоко у меня брал, а сам по моей просьбе из Москвы сахара привозил. Водку не пил, да и другие в то время так не пили, как сейчас пьют. Это же просто беда. [...] Шаламов о себе почти ничего не рассказывал».

*Александра Федоровна Дроздова, жительница поселка Туркмен и села Решетниково Калининской, ныне Московской области, завскладом*

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a small loop and another long horizontal stroke.



## Ирина Емельянова

Жизнь моя поделилась на две классические части – стихи и действительность.

### «Несколько моих жизней»

У Варлама Тихоновича есть такие стихи: «Сотый раз иду на почту за твоим письмом. Мне теперь не спится ночью, не живется днем». Стихотворение это не имеет посвящения, под ним нет даты (однако я вполне допускаю мысль, что посвящены они тому же адресату, что и публикуемые ниже письма). Но от кого бы он их ни ждал, важна тут сама роль письма в его жизни, как и

жизни тысяч других, на десятилетия отрезанных от нормального мира. Пожалуй, лагеря и ссылки дали нашей культуре последнюю вспышку русского эпистолярного гения. Письма оттуда – не только обмен сигналами, не только заявка, что «до сих пор еще живой», но прежде всего потребность докричаться до своих, покончить со звериным одиночеством.

Весной 1956 года Шаламов живет и работает агентом по снабжению на торфопредприятии в поселке «Туркмен» Тверской области. Это уже не подземный мир Колымы, но еще и не настоящая земля, не приисковый барак, но и не Москва.

Это – временная передышка, остановка, канун возвращения в жизнь. Это своего рода Болдинская осень, когда накопленный опыт не удержать, он жаждет стремительной переплавки в слово. И тут, при свете тусклой барачной лампочки, в тех же самодельных тетрадках, в которых он пишет и свои письма, творит он свою Колымскую эпопею: рождаются шедевры, страдание кристаллизуется в куски прозы самой высокой пробы – «Сентенция», «Артист лопаты», «Прокуратор Иудеи», «Дождь»... Даже теперь, в конце века, они потрясают не только ужасами описываемого, но прежде всего – тем, как это сделано,

мастерством. Одновременно происходит и заживление колымских ран, восстановление душевной ткани, попытки первых шагов «туземца планеты на новой планиде»...

В это время он ведет обширную переписку. Она интересна не только как феномен возвращения в мир привычных ценностей человека из подземелья, но и сама по себе – оригинальными оценками, вкусами, «шаламовской» позицией. Большинство из этих писем опубликовано, и, разумеется, по своей значимости они не идут в сравнение с теми, что найдены и публикуются здесь. Я нашла их недавно в старом шкафу, разбирая коробки с надписью «лагерные письма». Они очень личные, «молодые», но в совокупности представляют собой важный этап на пути возвращения. Тому, кому дорого творчество В. Шаламова, будет интересен и душевный контекст этой послеколымской Болдинской осени, вернее – весны.

Они адресованы моей матери. В начале 30-х годов, после первой отсидки, он был редактором журнала «ЗОТ» («За овладение техникой»), где и она, молоденькая совсем, работала литературным сотрудником, а может, просто стажером — во всяком случае очерки ее в журнале публиковались. Там они встретились в первый раз. От этого знакомства до первых писем из «Туркмена» – дистанция в двадцать лет. Но ни ее адреса, ни этих встреч он не забыл. И вот, в 1956 году, весной, из «полусвободы» – первое, почти официальное, робкое письмо.

Туркмен, 20 марта 1956 г.

Дорогая Ольга Всеволодовна. Если Вы помните меня и если Вы сохранили интерес к стихам, – то прошу Вас мне написать. Я мог бы показать Вам кое-что, заслуживающее, как мне кажется, внимания. В Вас же я всегда видел человека, который чувствует правду поэзии. Много, более 20 лет, мы не видались. Я не бросил стихов и вот – хотел бы показать Вам, что пишется сейчас. Но – и без стихов и без рассказов – я хотел бы видеть Вас.

Я не живу в Москве, но бываю там 2 раза в месяц по воскресеньям. Если Вы хотите меня видеть, – напишите, и я приеду в один из субботних вечеров или в одно из воскресных утр. Все сейчас приобретает свою подлинную, естественную окраску, и хотелось бы верить, что это уже навсегда.

Если же (по любой причине) Вы сочтете нашу встречу ненужной – не отвечайте вовсе без всяких угрызений совести.

Ув. Вас В. Шаламов

Шаламов Варлам Тихонович, ст. Решетниково Окт. ж. д., Калининск. обл., п/о «Туркмен», до востребования.

Туркмен, 30 марта 1956 г.

Дорогая Люся. Бесконечно счастлив был получить Ваше милое сердечное письмо. Я бы давно написал Вам, но не решался, чувствуя, какую скрытую тревогу год-полтора назад вызывали мои посещения Москвы даже у моих родных и знакомых.

Боязнь доставить огорчение именно тем людям, которым отведено значительное место в моей душе (и Вы – из них), удерживала меня до последнего времени. Справедливо ли было такое суждение или оно было ложно и излишне щепетильно – об этом было трудно судить, не видя Вас двадцать лет. Ну, подробно при личной встрече. С легким и просветленным сердцем прошу прощения за оговорку в конце первого письма – я считал ее морально обязательной.

Письма к нам в «Туркмен» (это – торфяные разработки) идут 3-4 дня. Ваше письмо от 26 марта получил я только сегодня. Этот срок следует Вам иметь в виду на будущее.

Я приеду в Москву в субботу 7 апреля и буду в Потаповском в 9 часов вечера. Если, паче чаяния, я задержусь и попаду в Москву позднее, чем намечено сейчас, то буду у Вас в 10 часов утра в воскресенье, 8 апреля.

Привет Вашей дочери.

Взволнован я вовсе необычно, прошу простить за путаное письмо. Сердечно Вас приветствую.

Ваш В. Шаламов

Туркмен, 31 марта 1956 г.

Дорогая Люся.

Ждать до 7-го апреля слишком долго, я приехал бы сегодня, но ведь Вы не получите моего письма заранее. Поэтому все остается так, как я писал: 7-го в 9 часов вечера или утром в воскресенье.

Я легко разгадаю Вашу загадку о нашем общем друге (вариантов всего два).

Желаю Вам счастья, бодрости, удач. Сберегите для меня какую-то часть Вашего времени и на будущее. Мне о многом хотелось Вам рассказать и еще больше – услышать. Я написал это короткое письмо потому, как Вы понимаете, что мне хочется говорить с Вами раньше, чем пройдет эта последняя неделя.

Ваш В. Шаламов

<Без даты>

<ТЕЛЕГРАММА> БУДУ ВЕЧЕРОМ ВОСЬМОГО — ВАРЛАМ —

\* \* \*

Шестого, седьмого, нет, сегодня, наконец, восьмого... Каким молодым нетерпением веет от этих пожелтевших телеграмм, от выгоревших фиолетовых чернил, от школьных листков в линейку! Увлечение двадцатилетней давности, образ красавицы, нежной и отзывчивой, вдруг обретает плоть. Неужели не напрасно в аду Колымы береглись двадцать адовых лет не только стихи – слово – но и воспоминания, тени когда-то любимых и прекрасных? Не об этом ли: «На склоне гор, на склоне лет я выбил в камне твой портрет...» И склон лет – уже не склон, а, наоборот, – подъем, который надо взять. Всего каких-то два варианта? Им найдется что противопоставить – мощнейший аккумулятор неизрасходованной за двадцать лет нежности, потребности в любви и понимании. Право же, заряд смертельный – годы, возраст (да и она не молода!) – ничтожные подробности рядом с возможностью счастья.

Варламу Тихоновичу было в то время 49 лет.

Как поразительно молодеют фотографии наших семейных альбомов по мере нашего собственного старения! Вот маленькая, – кажется, с первого «вольного» паспорта – фотография Шаламова – я с изумлением смотрю на нее сейчас: куда делись глубокие морщины, скорбно запавшие щеки, эти борозды на лбу, видевшиеся моим шестнадцати годам? Конечно же, их проводило воображение, подавленное Колымой, заботами, шоковой терапией, множило на двадцать полярных лет и получало раздавленного старика, на которого и взглянуть-то страшно.

И который ожидается восьмого, в один из субботних вечеров...

В этом году кончалась моя школьная жизнь, и предчувствие свободы окрашивало эти апрельские вечера особой, никогда уже не повторившейся легкостью и ожиданием чудес. Эти тонкие, тающие, тянущиеся апрельские сумерки, как хороши были они тогда в Москве! В притихшей вечерней квартире необычно пусто, мы вдвоем с мамой, мы ждем, она волнуется. Начинает накрапывать мелкий дождь, потом припускает сильнее, темнеет, зажигаем лампу. Но не дождю остановить нетерпеливого гостя.

В мокром брезентовом дождевике с грубым тяжелым рюкзаком за спиной, который он не знает куда пристроить в маленькой передней, гость с первого взгляда, шага, слова, рукопожатия опрокидывает представление, сложившееся в полудетской голове. Мошен, могуч, напорист и совсем молод. Шахтер, каменотес, лесоруб, джеклондоновский золотоискатель – клетчатая ковбойка и короткая стрижка дополняют портрет. Огромная заскорузлая рука сдавливает наши немощные пальчики с ненужной несоразмерной силой. Несоразмерен квартире и голос – резкий, напряженный (он уже тогда плохо слышал, начиналась глухота, перешедшая потом в болезнь Меньера), рубленая отрывистая речь, железобетонная рука-метроном отбивает в воздухе ее ритм, и куски фраз падают на наши головы, как куски породы, отваливаемой кайлом. Он читает стихи. «Я двадцать лет дробил камень не гордым ямбом, а кайлом, я жил позором преступления и вечной правды торжеством...» Об этом, как раз об этом сказано в романе «Доктор Живаго»: «...когда Блок писал – мы, дети страшных лет России, – это был образ, метафора, а теперь и дети – дети, и страхи – страшны...» Что знал лермонтовский Демон о позоре преступления? Блок – о кайле, дробящем камни? И вот передо мной поэт, который знает все о том, о чем не нужно знать людям, и который выжил все-таки благодаря им, не знавшим...

За весь вечер он ни разу не засмеялся. Даже тень улыбки не коснулась темного, навсегда обветренного – больше всего меня поразил цвет его кожи, такой же был и у Али Эфрон – как бы опаленного лица. А ведь это был счастливый и свободный вечер в его новой жизни. Более того, жизнь тогда манила надеждами, обещала полное возвращение – и к читателям, и в Москву, сулила многое. Однако – как поется в современной песне – «всего на жизнь свобода опоздала» – она опоздала на его третью жизнь.

В этот вечер тайна «двух вариантов» осталась нераскрытой. Об этом не говорили – не только потому, что я мешала, но и из-за совершенно «нежитейского» тона этой встречи. Но была еще одна суббота, и еще одна, и выяснилось, что его предположения неверны, а есть третий, единственный вариант, и этот вариант – его любимый поэт.

\* \* \*

Туркмен, 23 апреля 1956 г.  
Дорогая Люся.

Вот я и съездил в субботу в Москву и вернулся, и очень сиротливо мне там показалось в этот раз. Как всегда в таких случаях, замечаешь погоду и апрель становится только апрелем, не больше.

Все это, конечно, пустяки, на это не надо обращать внимания. Это – просто кусочек дневника человека, которому второй раз в жизни судьба показывает его счастье, показывает в поистине необычайном, фантастическом сплетении обстоятельств, которых никакому прославленному фабулисту не выдумать и которые, тем не менее, ежедневно, повсечасно выдумывает и создает жизнь. Дело ведь вовсе не в том, что «мир мал» и не только в сюжетных талантах жизни.

Дело в том (и это главное), что существует, реально существует некий идеал, вязущийся с душой, творчеством и жизнью поэта.

Он может проявляться в идеях, вкусах, склонностях, в персонализации любви и ненависти и т. п. И каждый своей, своеобразной дорогой движется к этому идеалу. Он может подойти к нему из обобщенного опыта человеческой жизни – из гордого и опасного мира книг, выбирая (и этот процесс интуитивен) то, что отвечает этому идеалу, с которым он рожден на свет.

Он может подойти и в личном опыте, вся житейская завидность которого оказывается в этом случае освещенной блеском драгоценных камней, и понимаешь до перехвата дыхания, как все это жизненно нужно, как все единственно. И этот идеал реально существует, воплощается в реально существующей женщине. Это чрезвычайно важно. Эта женщина принадлежит к той редчайшей породе, которая и делает из поэта – поэта, из художника – художника. Она – закваска тех пяти хлебов, которыми кормят пять тысяч человек. Эта живая женщина и есть свидетельство верности пути.

Я, по понятным причинам, отказываюсь от попытки даже частичной характеристики этого реально существующего идеала, хотя и могу это сделать.

Именно это олицетворение, именно это воплощение и есть доказательство правоты. Это лишний раз убеждающая проба подлинности поэтического металла, всей совершенности его при строжайшей требовательности чувств. (Это – о стихах и идеале Б. Л.)

Я по-новому перечел рад стихов Б. Л. и с новой силой почувствовал то, что он говорил мне когда-то о честности поэтического чувства. За этот фантастический узор, который жизнь вышила на моей судьбе 14 апреля, я бесконечно ей благодарен. Бесконечно. Я рад также и тому, что она подняла на новую высоту человека, жизнь, идеи и творчество которого столько лет мне дороги.



Вот это и есть, вероятно, мой ответ на то, что Б. Л. просил тебя мне передать при нашей с тобой встрече, этот ответ о моем отношении к нему, больше чем уважение, больше чем симпатия. Это – утверждение жизни, формула ее.

29-го я приеду и доскажу недописанное.

В.

\* \* \*

Итак, «узор» или удар судьбы, связавший любимого поэта и любимую женщину, был пережит. Остались – драгоценная дружба, уют вечернего дома, куда спешил он из торфяных разработок (кажется, работал там в конторе учетчиком) в субботних электричках, возможность отогреться, оттаять, довериться. Он занялся моим образованием. Экспромтом он читал мне что-то вроде лекций по литературе, и оригинальный его подход освежил и встряхнул для меня пропыленные хрестоматийные тексты. Он обожал «Госпожу Бовари», прозу Флобера. Увлекался Хемингуэем, только появившейся тогда повестью «Старик и море». Более того, он написал за меня вступительный разбор этой вещи, который я подала на конкурс в литературный институт, и заслужила всяческие похвалы. Оказалось, что он любит футбол, кино.

\* \* \*

Туркмен, 3 мая 1956 г.

Дорогая Люся.

Я хочу сказать насчет Ирины. Ей будет очень много почтального беспокойства – мне очень трудно не писать тебе. Вот и сейчас – пишу, а перед Ириной немножко совестно – это ведь не предупреждение о приезде.

Так вот об Ирине. Она хочет учиться в киноинституте, а это ведь плохо. И не потому, что там «среда» и т. д. Я в «среду» не очень верю, я больше вейсманист, чем мичуринец. Но, кроме наследственности, я верю в детство. В раннем детстве записываются черты характера, чертятся главные линии, высекается навсегда то, что в последующие годы лишь шлифуется, приглушается или углубляется. Вот потому-то я придаю большое значение второму (по меньшей мере) поколению интеллигентов и т. д. Вся человеческая борьба, судьба – есть утверждение детства, борьба за детство. У кого сколько хватит сил.

Душевного оружия, полученного в детстве, Ирине, наверное, хватит для борьбы с любой «средой». Я – о другом.

Тебе не казалось ли, что кино – штука второго сорта, искусство, не имеющее своего ума, а все свои мерки заимствующее то из литературы, то из театра, то из живописи, то из скульптуры. Что Ирина в любом другом искусстве встретится с подлинниками единственно бесмертного, что есть в жизни, что даже общение потребительское отметит жизнь особой метой. В кино же этих великих подлинников нет. Учеба в худ. институте всегда приобщение к чему-то бесконечно важному, уравнивающему счастье и несчастье. В кино таких вещей нет, как бы ни старались Чаплин и Дисней.

«Интервенция» Славина была единственно хорошей пьесой нашей за 40 лет (кроме, конечно, пьес Булгакова – это дело другого масштаба). Славин написал хорошую повесть «Наследник» и превосходный рассказ «Женщина», столь мало замеченный у нас. Не помнишь? Фабула имеет отношение к кино. А потом Славин погиб в кино, как и Габрилович. Киноинститут обеднит Ирину. Я могу развить это и подробней, но письмо ведь не трактат.

Идешь вот по улице и думаешь: вот и этого не сказал, и того не говорил, и тоже к слову (при твоём рассказе О. И. о нашем знакомстве) не прибавил, что ты была первым человеком на свете, который увидел в моих стихах – стихи. Все говорили совсем не то, не так, не о том, и только ты говорила то, так и о том, показывая на ростки настоящего (редко) и на ненастоящее, чужое, манерное, фальшивое (часто). Я не люблю литературной среды и я – не оттуда, как ты знаешь.

Вот Цветаева написала в хорошем волнении две хорошие статьи о Б. Л. («Эпос и лирика» – эту я видел раньше и «Световой ливень».) Она хвалила, казалось бы, предельно, большего пленения, кажется, и представить нельзя, но ведь это – мизерно, ничтожно по сравнению с тем, кто он такой и что он такое. Что он в миллион раз богаче, нужней (и не туда нужней), чем думает Цветаева при всей своей восхищенности и преклонении. Ясно, что русская поэзия XX века готовит два имени – Блока и Пастернака. Я-то и сравнивать их не могу – ибо то, что встало и что надо было разрешить Пастернаку, не идет ни в какое сравнение с нехитрой по сути дела (по тому грозному и наивному времени) коллизией Блока с жизнью. Совсем другие задачи, другие масштабы даны, другая воля, другие душевные силы нужны.

Для меня предсмертная просьба Пришвина о личном свидании с Б. Л. больше значит, чем эти две цветаевские статьи.

Пастернак давно перестал быть просто поэтом, гениальным поэтом (а м. б., никогда им и не был). От него ждут откровений, а не стихов. И их получают. И ими живут.

Легко объяснимо, почему Б. Л. не любит стихов Мартынова. На серьезный счет у Мартынова нет ни одной выстраданной строки, важной для его жизни. При несомненной одаренности он поэт искусственный, нарочитый. Он ходит по жизни и видит, что он задумал с утра увидеть. Он отправился наблюдать и зарифмовывать. Он ищет – а надо отбрасывать – лезущий на бумагу мир, оставляя то, что на бумаге может уместиться. И вообще – мне кажется, что художник ничего не «наблюдает». Он слышит, видит, но ничего нарочито не сберегает. Он думает не для стихов, а для своей души. А когда душа и жизнь помимо него оказываются стихами, музыкой, картиной, это не зависит от его воли, это – воля мира, какой-то части мира, захотевшей говорить его языком.

Стихи Мартынова – это не его жизнь, это его профессия. И мне кажется также, что есть стихи и не-стихи. И все! Что нет никаких «квалифицированных стихов», ни «хороших», ни «плохих», и сам я пользуюсь этими определениями по привычке. Мне нравятся Мартыновские «Любовь», «Тоска», «Надпись на камне», но не потому, что они волнуют меня, как не может волновать какой-нибудь Асеевский «Черный принц». Это – мерки пригорода поэзии. А вот я читаю Анненского, скажем (не говоря уже о каждой строке Пастернака), и каждый стих волнует меня по-особому. Баратынского, Тютчева. Мне нравится Бальзак, но не могу ведь я его ставить на одну доску со Стендалем или Толстым, не говоря уже о Шекспире и Достоевском. Я не хочу этим сказать, что Мартынов находится на таком же расстоянии от Анненского, как Бальзак от Шекспира, расстояние неизмеримо, бесконечно дальше. Бальзак-то ведь не в пригороде. Что касается пригорода, то я вот романы всякие когда-то переписывал и много знал наизусть (а Евгения Онегина никогда не знал наизусть), и очень стыдился этого (что переписывал), и перестал стыдиться только тогда, когда в дневнике Блока увидел целый сборник романсов и песен, начиная с «Дышала ночь восторгом сладострастья».

О первом варианте. Первый вариант, конечно, почти всегда – лучший и уж во всяком случае всегда – самый честный. Первый вариант исправляется потому, что чувством жертвуешь ради мысли, а еще потому, что соблазняет звуковое, а еще потому, что настроенность сегодняшняя иная, чем настроенность завтрашняя или вчерашняя. Стихотворений оконченных, наверное, ни у кого не бывает.

Ты не сердись на такое длинное письмо? Не сердись – мне очень, очень трудно. Не что-либо житейское, личное решать мне трудно. Это – другое. Завтра я уеду в Тулу, а возвращаясь из Тулы, пошлю телеграмму на Потаповский, и, м. б., ты сумеешь выбраться. Крепко целую.

В.

Письмо бросаю в Москве.

\* \* \*

Я представляла, как в своем «Туркмене» на торфяных разработках (что-то вроде Баскервильских болот) он строчит мелким аккуратным почерком, без помарок, макая перо в «непроливайку», эти длинные письма, спеша выговориться, поделиться, бесконечно радуясь обретенному собеседнику. Быть может, эти скороговоркой сыплющиеся имена – Бальзак, Стендаль, Толстой, Мартынов – напоминают ухаживание начитанного гимназиста: «А из Гоголя вы что любите?» Но дело не в глубине и тонкости литературных оценок. В свете его судьбы эта потребность обменяться, перекликнуться драгоценными именами имела другой, человеческий смысл. Это было возвращение на «факультет ненужных вещей», в знакомый мир, о чем так хорошо сказано в его рассказе «Сентенция».

\* \* \*

Туркмен, 24 мая 1956  
Дорогая Люся.

Второе письмо за сегодняшний вечер. Я, право, уже полтора месяца только и делаю, что пишу тебе письма – отправляю и не отправляю – всякие. Первое сегодняшнее чуть-чуть не вошло в разряд неотправленных – но до каких же пор мы будем молчать?

«Литературная Москва» закончил сегодня пьесой Розова. Плохая пьеса. Пьесы, наверное, писать очень трудно – трудней, чем, скажем, повесть или роман, и всякому большому писателю хочется, наверное, написать хорошую пьесу. В этих несвободных, заданных рамках жанра попробовать свои силы, освободив себя от заботы закрепления пейзажа, интерьера. Соблазняет прямота обращения к зрителю, упрощенность воздействия, новизна задач. Страшная ответственность диалога, музыкальный ключ его.

Толстой упорно хотел быть драматургом – и не получилось театра Толстого. Горький же и сам понимал беспомощность своих пьес. Даже Салтыков и Чернышевский не удержались от подобных проб. Знал, что такое пьеса, – Чехов – впрочем, чего он не знал? Знал и Андреев – только у него было больше таланта, чем сердца и ума. Но тот, кто владел диалогом, как никто на свете, у кого речь героя – не только душевный, но и физический его портрет, у кого романы так похожи на первый взгляд на пьесы, – Достоевский – пьес не писал. И больше того, любой роман прямо просится на переделку в драму. Но все переделки были бледнее и в сотни раз хуже, чем роман. И не потому, что это «вторичность», и не потому, что за переделки брались бездарные люди – были и не бездарные. Почему? В чем тут дело? В каком-то необъяснимом совершенстве прозы, в неслучайности предложения, в необходимости каждого слова. О периодах Достоевского, о якобы небрежности, торопливости его пера писалось много – но попробуйте вынуть хоть одно слово – ткань будет зиять.

«Портрет» Шкловского – обыкновенный грамотный рассказ. Впрочем, по мнению нынешней критики, рассказ, повесть, драма должны прежде всего, иметь познавательное значение, а подтексты – это дело десятое. Если уж это верно, то лучше моих плохих «безвыходных» рассказов им не найти – достоверность и бытовая и психологическая имеется в избытке.

Лучшее, несравненное в сборнике – это заметки о Шекспире, несмотря на их беглость. Некрасивые воспоминания Чуковского о Блоке – см. его же воспоминания о Блоке в «Записках мечтателей» в 1921 (№ 6).

Когда-то, года два с лишним назад, я говорил Б. Л. о том особом значении, которое его стихи имели для многих людей на севере – когда поэзия, которую обвиняли в изощренной и нарочитой туманности, вдруг оказалась единственной реальной поэтической силой, выступившей прямо, да еще в таких условиях, где никто и насильно-то не мог бы, кажется, вспомнить каких-либо стихов представителей «гражданской поэзии». Мне показалось во время этого разговора, что Б. Л. отнесся с некоторым недоверием к моим словам (дескать, в лучшем случае на Шаламова они так действовали). Но это ведь совсем не так. Это – не только лично мое. Я помню ледяные камеры карцеров, выдолбленных в замороженных скалах, где люди, раздетые «до белья», согревались в объятиях друг друга, сплетаясь в клубок почище Лаоконовского клубка, около остывшей железной печки, безнадежно упрямо трогая ее острые ребра, уже утратившие тепло, и читали «Лейтенанта Шмидта»: «Недра шахт вдоль Нерчинского тракта...» Это не я читал

эти стихи. Я их слушал. Их читал Александров, какой-то московский экономист. Цветаева пренебрежительно изволила высказаться о «Л. Ш.» – это неверно, как неверны и ее замечания о «1905 годе», где море в «Морском мятеже», – м. б.» лучшее в поэзии море.

Я помню больничные койки, где матрасы были набиты сучьями стланика (вместо сена, которого и лошадям-то не хватало), костлявых людей на этих костлявых матрасах, где пролежни образовывались за сутки, людей с грязной шероховатой кожей, поблескивающей, как рыба чешуя, людей, собравших последние силы, чтобы отключиться, оторваться от всего, что их окружает, чтобы эту дальность отрыва увеличить до предела, читая строки «Высокой болезни». Не знаю, м. б., они помнили и другие стихи – они их не вспоминали. Я помню Миру Варшавскую, медицинскую сестру, которая годами, пряча от бесконечных обысков, возила с собой «Второе рождение» и которая прямо говорила, что только стихи дали ей душевные силы все пережить.

И я думал позже – много позже – вот счастье поэта, вот где реальная сила его искусства, вот измерение подлинности его, вот к каким поэтическим истокам обращается человек, который не имел недостатка в Асеевых и Маяковских. Вот что в поэзии оказалось для него самым дорогим в то время, когда и думать-то о стихах нельзя было. И что такое «изошренность» и «роскошь» и что такое черный хлеб искусства. Стихи эти пришли к людям не там, а гораздо раньше. Стихи эти были давно вложены, сохранены и к их помощи обратились в трудный час, доказывая этим их удивительную животворящую силу. Вот это-то и есть то самое чудотворство, о котором написано в «Августе». И все это происходит не потому, что это интеллигенты вспоминают – дескать, Пастернак их поэт. Хотя и это суждение, как бы оно ни было односторонне, ничего не заключает в себе малого. Для меня же ясно, что тут дело в той единственной нужности для человека, которая сказала в его стихах. Что на подлинность выдержан особый экзамен. Что ни одно поэтическое имя современника не заслужило уважения и памяти. А ведь стихи прошлого – Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Баратынского – таким образом, и для этого хранить в памяти нельзя. Необходимо, чтобы это был мир реальности, знакомых деталей, мир, достоящийся нам без перевода, без аналогии (как при чтении Данте, Сервантеса, где мы должны подставить сегодняшнюю арифметику в их формулы). Не благодаря формальным достоинствам держится все, а потому, что это – подлинность единственного видения, осветившего жизнь с нужной стороны.

И еще вот что: когда начинает теряться понемногу мир – исчезают привычные интересы, убегают из памяти понятия, суживается словарь,

прошлая жизнь кажется небывшей (голод, холод) – это процесс постепенный, медленный, и если человек не умирает, а выздоравливает – он также медленно возвращает себе кое-что (не все, конечно) из потерянного. В выздоровлении крепость физических сил опережает в возвращении крепость сил духовных, а у многих они (духовные силы) совсем не возвращаются. Так вот, в этом процессе таянья человека – стихи держатся дольше, чем проза – я это проверял на людях и на самом себе. Даже Гумилевские «Мореплаватели» (это «даже» для тебя – я ведь не поклонник Гумилева как поэта) крепче, оказывается, сидят в человеке, чем хотя бы «Война и мир». Понимаю это, веря в стремление человека к высокому, в то, что правда поэзии выше правды художественной прозы – и особенностями стихосложения – его мнемоническими качествами, укрепленными звучанием.

Ну, кое-как заканчиваю это письмо. «Золотая роза» Паустовского понравилась мне бы больше, если бы он не врал бессовестно о Мультатули, которого и о котором я хорошо знаю, и если бы не писал он этой раздражительной короткой фразой – эта штука вовсе не в духе русского языка, точнее, русской прозы.

Письмо сегодняшнее я так и не отправил. Ну, оно от тебя не уйдет. Привет Ирине, Дмитрию и Мар. Ник.

Крепко целую.

В.

\* \* \*

О том, что значил для Шаламова Пастернак, с не меньшей силой сказано и в его стихотворении «Поэту». Оно имеет и второе название – «Молитва». Мне же через несколько лет предстояло проверить справедливость слов о «роскоши» и «черном хлебе искусства» – на своем, маленьком, несоизмеримом тюремном опыте – и она подтвердилась. После смерти Б. Л., когда нас с мамой арестовали, мы, встретившись с ней после полугодового следствия и лубянской одиночки на суде, читали друг другу «Лейтенанта Шмидта», и мама говорила: «Господи, ну откуда он (Боря) мог все это знать, ведь он никогда не сидел, как же можно было это увидеть – «Это небо, пахнущее как-то так, как будто день, как масло, спактан! Эти лица – а в толпе – свои!» И дело не в знакомых деталях – тут Шаламов не совсем прав. Что – по деталям – может быть дальше от вонючей трехметровой камеры с парашей и намордником, чем красивая жизнь господина Свана? Но я никогда не забуду своего упоения Прустом именно там, на Лубянке, Прустом,

отложенным в свое время в уюте нормальной жизни, как скучный, изысканный буржуа, и тут вдруг открывшимся в своей пронзительной человечности, и это был тот самый «черный хлеб искусства», как оказалось.

Наступило лето, и мы все переехали на дачу, в деревню Измалково, около Переделкина. Б. Л. бывал у нас почти каждый день. В те годы еще чистый пруд с лодками и купаньем, живописные деревенские дачки с мостками, старый, сырой, безнадежно запущенный самаринский парк на другом берегу – все это стало новой рамкой, летним фоном для встреч и переживаний. А их было в то лето немало. Вокруг мамы образовалась колония подруг и приятелей – были и вернувшиеся «оттуда». Жил в Измалкове в то лето только что вернувшийся из лагеря художник Кирилл Зданевич. По субботам стал приезжать туда и Шаламов. Вечером, спасаясь от комаров, разжигали на берегу костер. Иногда после дождя сырые ветки долго не разгорались – и только Шаламов, мама и Кирилл умели в любую погоду раздуть пламя – сказывался лагерный опыт. Читали стихи. Шаламов – всегда стоя, у самого огня, отбивая ритм «чугунной» рукой, раскачиваясь, все в той же ковбойке, и тот же рюкзак всегда был рядом. Надо ли говорить, каким сочувствием горели женские лица, обращенные к нему, какой отклик находил он в наших сердцах?

Переночевав на даче, в воскресенье он шел в писательский городок, на дачу к Б. Л.

\* \* \*

Шатура, 12 июня 1956 г.

Люся, хорошая, дорогая моя – ни черта у меня не выходит – машины нет до сих пор, я вторые сутки торчу в какой-то дурацкой гостинице и, конечно, завтра не уеду и не смогу тебя повидать в среду в Москве.

То, что чуть не заставило меня разреветься на асфальтовой дорожке в Переделкине, становится с каждым часом все неотложней и острее. И Шатура мне не в Шатуру, и Туркмен не в Туркмен.

Для Ирининой библиотеки купил я сегодня однотомник Багрицкого (есть, кажется, все, кроме пресловутых троцкистских стихов «о поэте и романтике»). Привезу в субботу (или в воскресенье). Стихов Мартынова и «Контики» [имеется в виду книга Тура Хейердала «Путешествие на «Кон-Тики» – прим. составителя] здесь нет. Диалог при покупке Багрицкого в книжном магазине:



Я: Снимите, пожалуйста, с полки вот эту книжку серенькую. Да-да, Багрицкого... Сколько она стоит?

Продавщица: Семь шестьдесят.

Я: Деньги платить вам или в кассу?

Продавщица (деликатно): Только, товарищ, это ведь стихи...

Я: Ну, ничего, пусть стихи.

В номере со мной живут два молоденьких студента-электрика (на практике) – оба маленькие, худенькие, оба в очках, оба привязывают к кровати гимнастические пружины, оба жмут в карманах резиновые мячи – копят силу, подражая юности Теодора Рузвельта, кто, как известно, сделал из себя, щупленького, подслеповатого юноши – знаменитого охотника на львов. О Рузвельте я еще с ними побеседую. Четвертая койка была свободна с вечера, но в середине ночи на нее рухнуло какое-то тяжелое тело, зазвенели пружины и «номерная» девушка, увидев, что я открыл глаза, попросила прочесть ей вслух (она – неграмотная) документы нового соседа: главный инженер котлонадзора по Московской области. Утром он исчез и я так и не мог рассмотреть эту пьяную рожу при дневном свете.

Люся, милая, думай обо мне побольше. Крепко тебя целую, желаю счастья, здоровья, покоя.

В.

Передай сердечный мой привет, особенно добрый и теплый Ольге Сергеевне. Пусть она поймет меня хорошо и увидит мою глубочайшую привязанность, уважение и доверие, которые прочно утвердились во мне, несмотря на краткое наше знакомство. Евгении Николаевне, которая очень, очень, очень мне понравилась, лучшие приветы. Ее любезной запиской я, конечно, не могу воспользоваться – я просто не читал тогда текста, да и не об этом просил. Ну, объясню при личной встрече. К тому же и в четверг, по-видимому, я не смогу быть в Москве.

Нине не забудь передать мои приветы, особым образом для меня важные.

Всем твоим – всегдашние лучшие пожелания. Я приеду в Измалково или в субботу вечером или в воскресенье утром (при любой погоде).

Еще раз – целую.

В.

На поезд я успел попасть – минут за 10 приехал. С заездом в Потаповский.

Самое главное: Если Б. Л. захочет меня видеть, то все перестроить применительно к времени, назначенному им. Если 22-го он видеть меня не сможет, то расширить время моей работы (если Женя не возражает, я хотел бы именно у нее). Пора уже всем этим начать заниматься, «откинув незабудки, здесь помещенные для шутки».

Всем привет

В.

Видала ли Алигер? Ей можно просто выбрать десятка два из более «нейтральных».

В.

Туркмен, 3 июля 1956 г

Дорогая Люся.

Счел я за благо в Измалково больше не ездить... [Продолжение этого последнего шаламовского письма Ивинской не опубликовано – прим. составителя]

\* \* \*

Далее следуют последние страницы этого короткого, воистину весеннего романа, такого молодого, несмотря на возраст и опыт участников, такого светлого. Их я не привожу. И живы еще поминаемые там лица, и не нужны житейские подробности. По недоразумению ли, по логике ли «сюжета» – Варлам Тихонович ушел из нашей жизни. И уже не мы, а другие люди, другая женщина, помогли ему и вернуться в Москву, и обрести дом, и начать путь к читателю – о чем он, судя по приписке насчет Алигер и о конце «незабудок», уже начинал подделовому хлопотать. (Речь шла об альманахе «Литературная Москва».) Только вот – «всего на жизнь свобода опоздала», и надежды 1956 остались бледными картофельными ростками, и не увидел он у себя на родине – ни своих настоящих книг, ни лиц своих миллионных читателей. В узком кругу, в самиздате распространялись Колымские рассказы – а сейчас в московском метро через плечо семнадцатилетней девушки я читаю «Сентенцию»... Он не дожил до этого.

Последние двадцать лет его жизни мы почти не виделись. Доходили слухи о его утяжелявшейся болезни, невыносимом характере, вспыш-

ках бешенства, растущей нетерпимости. Он стал резко судить и Б. Л. Не только к роману «Доктор Живаго», к которому он всегда относился скрыто неприязненно, предъявлял он несправедливый счет, но и к позиции самого Б. Л. в нобелевские дни – что не стал тот монолитом неуязвимости, не сумел навязать событиям свою волю – пресловутые «покаянные» письма. Он не написал нам в лагерь, не интересовался нашей судьбой.

Он умер в доме для престарелых, где, как говорят очевидцы, припадки безумия чередовались с периодами ясности ума и суждений. Он, за которым двадцать лет «смерть ходила по пятам», сроднившийся с ней в Колымском аду, как принял он ее, когда она стала реальностью в грязной палате для душевнобольных стариков? Сын священника, он не терпел разговоров о Боге, подчеркивал свое неверие. Поэтому так странно показались мне его похороны – и панихида, и молитва на лбу, и крест. Разве что погода была шаламовская – мороз, кайлом выбитая могила, нахохлившиеся вороны на разрушенной часовне Кунцевского кладбища. Но мог ли он, познавший до самого дна, чего стоит наш материальный мир, не верить в возможность выхода из него? Так веривший в слово – не верить в чудо? Чем жил он в последние часы просветления? Вот его стихи о соснах – о строевом лесе, который валил он в тайге, пресловутые таежные кубометры, бывшие соснами:

Чем живут в такой вот час смертельный  
Эти сосны испокон веков? –  
Лишь мечтой стать мачтой корабельной,  
Чтобы вновь коснуться облаков.

Париж, 1990

Опубликовано в книге Ирины Емельяновой «Легенды Потаповского переулка : Б. Пастернак. А. Эфрон. В. Шаламов : Воспоминания и письма». – М. : Эллис Лак, 1997. Сетевая версия на сайте Сахаровского центра <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=934> и на сайте Данте XX века <http://www.booksite.ru/fulltext/eme/lya/nova/index.htm>

---

«Ирина Емельянова: Шаламов – это, конечно, фигура грандиозная. Я до сих пор читаю его рассказы, а тогда они были только написаны.

Он читал их по тетрадочкам – тетрадки в линейку, чернила, аккуратный почерк. У него в распоряжении не было даже пишущей машинки.

Любовь Борусяк: А у вас в доме не было машинки?

И.Е.: Он привозил. Он же не мог жить в Москве – у него был «минус». Он привозил, и потом перепечатывали, конечно. Но первое чтение – либо по памяти, либо по тетрадочкам. Помню очень характерные жесты Шаламова, угловатые такие движения. У него начиналась болезнь Меньера – потеря равновесия. Варлам Шаламов выглядел живым памятником сопротивления сталинскому режиму. Конечно, он произвел на меня огромное впечатление. Он даже мне помогал. Когда я поступала в Литературный институт, я, как все, немножко кропала стихи. В институт пришла очень поздно, поэтому комиссия не выказала энтузиазма: вот, мол, еще одна девочка с бантом и со стихами.

Л.Б.: В смысле очередная поэтесса?

И.Е.: Понимаете, было 500 человек на место, и все поэты. Там были славные люди в приемной комиссии. Встретив такой прием, я уже было собиралась уйти, но меня спросили: «А какие у Вас рекомендации?» Для поступления в Литературный институт нужны были две рекомендации – от двух членов Союза писателей. Я сказала, что одна рекомендация у меня от Пастернака, а другая от Ольги Сергеевны Неклюдовой. Это – мамина подруга, знавшая меня с детства. Члены приемной комиссии меня почти на пороге задержали: «Не уходите, не уходите».

Л.Б.: Еще бы! С такими-то рекомендациями.

И.Е.: Кто же там был? – Двое молодых людей, которые были просто погребены подо всем этим, потому что это же был творческий конкурс поэтов. Вы понимаете, для того чтобы писать прозу, нужно было иметь хоть какой-то опыт, хоть какое-то образование, но все писали стихи и надеялись туда попасть. Один из членов приемной комиссии мне говорит: «Ну, напишите что-нибудь другое, не надо этих бесконечных стихов. Даже ваши переводы какие-то бесцветные».

Л.Б.: А он посмотрел при Вас?

И.Е.: Только глянул, а там Шелли. «Напишите статью какую-нибудь критическую. Вот хоть о Хемингуэе что ли, – его сейчас все читают. В понедельник принесите. А заодно принесите рукопись романа почитать, если у вас есть, конечно».

Л.Б.: Понятно. Взаимовыгодный обмен. А не страшно было приносить роман совсем неизвестным людям?

И.Е.: У нас у всех, и у мамы тоже, такое легкомыслие всегда было. Рукопись романа я им не принесла, потому что ее не было у нас. Но в это время Борис Леонидович написал «Люди и положения» – автобио-

графический очерк. Тогда готовилось издание 1957 года, и к нему по инициативе мамы и редактора, Банникова, он написал этот очерк, корректирующий остроту «Охранной грамоты», но, безусловно, интересный. Дома у нас уже были экземпляры этого очерка. Я принесла этот очерк им и, кроме них, принесла его ректору.

Когда я вернулась домой в Переделкино, я рассказала маме, что мне нужно написать очерк о Хемингуэе. А у нас тогда был Варлам Тихонович. Он говорит: «А я вам сейчас напишу». С тех пор прошло n+1 лет, а я все хочу его опубликовать, потому что он там выразил свое настоящее понимание новеллы. Это его вообще безумно занимало. Писал он, разумеется, приспособлявая текст к моему уровню. Но мысли эти он потом неоднократно повторял в своих более глубоких работах.

Л.Б.: Но он о Хемингуэе писал, как было велено?

И.Е.: Да. Это называлось «Мастерство Хемингуэя как новеллиста». И в этот текст он вложил свое понимание эволюции рассказа. Очерк приняли с восторгом, когда я пришла. Говорили, что ректор им зачитался.

Л.Б.: То есть в институт Шаламов поступил.

И.Е.: Да, в институт он поступил. В остальном все было тяжелее.

Л.Б.: А он у вас часто бывал?

И.Е.: Часто. Приезжал в основном на уикэнды.

Л.Б.: Все-таки его не очень отслеживали?

И.Е.: Нет, его совершенно не отслеживали. Ему прописаться в Москве было нельзя, и он был прописан в Тверской области – таких людей тогда называли «туркменами». Он описал это в «Колымских рассказах», поэтому не хочу повторяться. Кроме того, был фильм, сериал о Шаламове.

Язык Шаламова совершенно непереволим на визуальный ряд, непереволим ритм его прозы. Зато там точно рассказано, как он попал в эти «туркмены», которым можно было прописываться только за 100 километров от крупных городов.

Л.Б.: В Калинин и Калининской области тогда и позже много было таких людей.

И.Е.: Ирэна Савельевна Вербловская, ахматовед и моя подруга, с которой я была в лагере, она тоже должна была жить в Калинин. Калинин находился между Петербургом и Москвой, и люди, отбывшие срок, часто жили в Александрове. Это как раз 101-й километр и есть. Кстати, там находится музей Цветаевой. Почему я об этом знаю? Потому что музей, где мы с вами сейчас находимся, – центральный, а есть еще два филиала – в Александрове и в Болшеве. В Александрове

очень симпатичная директор, которая сказала, что просто дом Анастасии Ивановны – это не так интересно. Лучше, если там будет музей «101-й километр». И кто только не вынужден был там жить! Такой же была и Тверь.

Варлам Шаламов приезжал к нам на уикэнд. Он сначала приезжал к своей семье, но жена с ним развелась, вы это знаете. Дочь не хотела его знать, и он написал маме письмо, которое я опубликовала. Он писал: «Подумайте, стоит ли мне к Вам приходить, потому что мое появление даже у очень близких друзей всегда вызывает панику». В результате так оказалось, что он приезжал к нам.

Л.Б.: И никакой паники не возникало?

И.Е.: Паника у нас не возникала никогда. Что касается всяких опасений и страхов, мама была удивительно беззаботным человеком в хорошем смысле этого слова. Но она была и человеком неосторожным, что имело и свои минусы. Ее письма к нему не сохранилось, но, видимо, вслед этому письму он пишет: «Простите меня, что я позволил себе сомневаться. Спасибо за Ваш быстрый ответ». Вот так.

То есть человеческие ценности, несмотря на два лагеря, она хранила. Это были весна и лето, а потом он женился и переехал на законных основаниях в Москву. Вот тогда он уже был легализован. Я очень часто ездила в электричке – а в то время это было довольно долго, – и по дороге он мне давал уроки. Я должна была сдавать зарубежную литературу, историю и что-то еще. Он обладал умом настоящего классификатора и был прекрасным педагогом, поэтому он в меня все это вколачивал. Помню, что самым любимым его романом была «Мадам Бовари».

Я, кстати, написала о тех уроках по литературе, которые он мне давал. По-моему, я отдала это в «Грани». Они мнегодились, когда я преподавала в Сорбонне, когда мы уже жили во Франции. В частности, этот его интерес к эволюции новеллы, что он в них ценит. Шаламов, кстати, очень ценил Мопассана как новеллиста. У него есть такой литературный опыт с рассказом Мопассана. Он вычеркивал из его новеллы лишнее, то, что не нужно с его точки зрения. Этот экземпляр тогда у меня был. Это очень было интересно, характерно для него. Я сейчас не преподаю, а то бы я вас пригласила на этот спецкурс по новеллам Шаламова.

Л.Б.: Мне это было бы очень интересно. А вы использовали этот экземпляр на своих лекциях?

И.Е.: Конечно, я им показывала лаконизм Шаламова, то, что не надо бояться повторения прилагательных, глаголов, не нужно искусственно и нарочито искать словарного разнообразия. Например, при-

лагательное «серый» он мог использовать десять раз. Но важно не только это, но еще и композиция, роль заглавия, отсылки литературные. В общем, есть целая система, основы которой он изложил в моей липовой работе. Кроме того, Шаламов рассказывал мне о специфике французского романа, его отличиях от русского и так далее. Это был такой своего рода ликбез.

Л.Б.: Это все-таки не ликбез. Ликбез, он для человека с нулевыми знаниями, у вас они такими явно не были.

И.Е.: Знаете, у меня были некоторые школьные предубеждения, их он и хотел во мне разрушить».

Из интервью Ирины Емельяновой «Ольга Ивинская, Борис Пастернак, Варлам Шаламов», 2010, выложено на сайте Полит.Ру <http://www.polit.ru/article/2010/06/23/emeljanova/>

---

[От составителя. От Емельяновой при поступлении в Литературный институт, на семинар критики, потребовали «какого-нибудь критического разбора». Шаламов, тогдашний друг ее матери Ольги Ивинской, вызвался написать для нее этот разбор.]

«Я напишу, – сказал Варлам Тихонович. – А вы перепечатайте, и пусть она в понедельник отнесет. Пусть добавит что-нибудь из Маркса – для проходимости...»

[...] он написал для меня эссе о Хемингуэе как мастере новеллы. Быть может, он и приспособивался к менталитету вчерашней ученицы, «писал по-школьному», как можно популярней, упрощал свои мысли, но тем не менее даже здесь содержится набросок того, чего он касался и в своих письмах, и в статьях, о чем постоянно думал как писатель – в чем искусство новеллы, секрет ее построения. [...]

Почему выбран именно Эрнест Хемингуэй? Дело в том, что американский писатель занимал воображение Шаламова еще с двадцатых годов, по письмам видно, как он следил за развитием Хемингуэя, за эволюцией его формы. Это был собрат по оружию. На двадцать лет вырванный из литературной жизни, Варлам Тихонович, освободившись, «попал» как раз и на «реабилитацию» Хемингуэя: после долгого замалчивания в «Иностранной литературе» была опубликована его повесть «Старик и море». О ней только и говорили. [...]

Итак, в воскресенье знакомая машинистка быстро перепечатала текст, и в понедельник я отдала его Николаю Борисовичу Томашевскому. Он написал сверхположительный отзыв. И я была принята в Литературный институт.

Что же касается цитаты из Маркса... Для нее оставлено место, и в первый экземпляр я ее вписала. А во второй – поленилась».

Из статьи Ирины Емельяновой «Неопубликованный очерк Шаламова» в альманахе «Тарусские страницы», выпуск Третий, Revue «GRANI». Paris, 2011, электронная версия на сайте [shalamov.ru](http://shalamov.ru/memory/178/) <http://shalamov.ru/memory/178/>

P.S. От составителя. Шаламовский очерк о прозе Хемингуэя недавно опубликован.

*Ирина Ивановна Емельянова (род. 1938), дочь возлюбленной Пастернака Ольги Ивинской, лагерница, филолог, мемуаристка, живет во Франции*







## Виктор Живов

«Помню, как 5 марта к нам зашла соседка – мы жили в коммунальной квартире, естественно. Соседка Феоктиста Сильвестровна была украинка, она сбежала и укрылась в Москве от голодомора. Она пришла к нам в комнату, что редко случалось, и с таким несколько напряженным и чуть-чуть улыбающимся лицом сказала: «Включите скорее радио». И ушла. Мы включили радио, там передавали сводки о том, что у Сталина – что там? Удар, консилиум. [...]

Помню, гудок гудел – долго, целую минуту, кажется. И мне было интересно, как долго он будет гудеть.

Так что у меня каких-то особенных воспоминаний об этих днях нет. Разве что могу пересказать историю, которую мне уже позднее, вернувшись из ссылки, рассказывал Варлам Тихонович Шаламов. Он тогда жил на Беговой, там такие писательские домики. И он рассказывал, как, по-моему, писатель Панферов, который пил запоем, вышел на Беговую, размахивал бутылкой, пьяный, и кричал: «Сдох пахан!» И никто на него не обращал внимания, люди проходили с железными лицами. Достоверности у этой истории – процентов пять, но все-таки это шаламовский рассказ».

Виктор Живов на сайте «05/03/53», собирающем свидетельства о реакции на смерть Сталина <http://050353.ru/2013/02/28/zhivov/>

\* \* \*

«[...] у меня очень ограниченные знания о Шаламове, я не так много помню. Мы познакомились, я думаю, в начале 1965 года или в конце 1964.

[...] Скажем, [помню] как мы возвращаемся с Шаламовым где-то около 3 часов ночи после встречи 1966 года от Н. Я. [Мандельштам]. Помню ночь, ветер, шаламовский жест, останавливающий такси, но ничего не помню из того, о чем мы говорили. И даже нетвердо помню,

кто еще шел вместе с нами – Дима Борисов [Вадим Борисов], возможно, моя сестра. Но точно не помню.

[...] Мы должны были встречать у Н.Я. Новый 1967 год вместе с Шаламовым, Натальей Столяровой, моей сестрой. Но мы с Машей [Мария Константиновна Поливанова – прим. сост.] в этот день решили пожениться, и я позвонил Н. Я. (или, может быть, моей сестре, я не помню, когда у Н. Я. появился телефон) и сказал, что не приду. После этого я еще бывал у Н. Я. весной 1967 г., потом как-то приходил к ней с Машей осенью 1967 г., потом заскакивал один раз днем весной 1968, а после этого не бывал: холостая жизнь кончилась [...] И то же с Варламом. Мы были у него с Машей в конце августа 1967 г., потом, возможно, я еще раз заезжал к нему и что-то завозил (перепечатанное), а потом больше не виделся. Сиротинской я не видел, кажется, никогда».

Из писем Виктора Марковича Живова филологу Михаилу Юрьевичу Михееву, 16 и 21 октября 2012 года. Публикуется с разрешения адресатов.

### *Дополнение*

«Остальное время они [Шаламов и Н. Мандельштам] часто виделись в Москве. О степени их близости говорит и тот факт, что 1966-й год – первый Новый Год в новой квартире Н.Я. на Б.Черемушкинской улице – они встречали вместе: кроме Н.Я. и В.Шаламова, тогда еще были Виктор и Юлия Живовы и Дима Борисов\*».

\* Сообщено Ю.М. Живовой

Павел Нерлер, «От зимы к весне: на полях переписки Надежды Мандельштам и Варлама Шаламова», опубликовано на сайте Полит.ру [http://www.polit.ru/article/2007/06/22/mandelshtam/#\\_ftnref6](http://www.polit.ru/article/2007/06/22/mandelshtam/#_ftnref6)

*Виктор Маркович Живов (1945-2013), филолог, историк русского литературного языка и православной культуры, публицист, профессор МГУ и Калифорнийского университета в Беркли*





## Людмила Зайва

С Варламом Тихоновичем Шаламовым я познакомилась, купив его сборник стихов «Дорога и судьба». Ну как с поэтом знакомятся? Открываешь сборник – неизвестное имя, находишь там какие-то близкие тебе строчки и покупаешь.

Напала я на строчки с посвящением Борису Пастернаку: «От кухни до передней, по самый горизонт/ идет ремонт последний, последний мой ремонт... Моя архитектура от шкуры до нутра/ Во власти штукатура», ну и так далее.

Потом я читала его прозу в самиздате и была в него почти влюблена. Ну знаете, как влюбляются в

писателей...

У меня вообще есть особенность влюбляться в писателей. Вон и сейчас у меня портрет Сартра висит, а раньше там портрет Сомерсета Моэма был, Паустовского, Бунина. И это влюбленности с полными подробностями – со снами, посвящением стихов, отмечанием дат рождения, писанием писем, которые, конечно же, не отсылались. Вот такая же была влюбленность в Шаламова. Я видела его фотографию в книжке – он там в шапочке такой зековской.

А в то время я работала директором клуба книголюбов «Эврика». Там собирались читатели, писатели, шли разговоры. Среди тех, с кем я общалась, был Юлий Анатольевич Шрейдер, кандидат физико-математических наук (это было в году 76-м), сейчас-то он академик. Я обратилась к Шрейдера с просьбой, чтобы он мне помог устроить в дом инвалидов одну старенькую питерскую писательницу. А он говорит: «У меня самого есть один писатель, которого я никак не могу никуда пристроить». Я спрашиваю: «А кто это?» «Да ты его не знаешь. Это Варлам Шаламов». Это был конец 77-го года, мне было 38 тогда.

Я говорю: «Варлам Шаламов в беде, и ты молчишь?! Сейчас же мы едем к нему!»

Мы назначили свидание через час у метро «Маяковская». Было такое слякотное предзимье – ноябрь, кажется. Я заняла денег. Купила коньяку, шоколад, цветов купила – к поэту же еду.

Шаламов жил на Васильевской улице, дом 4 – там, где Дом кино. То, что я увидела, превзошло все мои ожидания. Мы вошли в коммунальную квартиру. Он открыл свою дверь – высокий, двухметровый. Его качало – и он оперся о косяк. Потом я узнала, что у него была болезнь Меньера – трясучка, абсолютная дискоординация. Это все последствия лагеря. Потом у него уже была почти слепота, почти глухота.

И когда я вошла в комнату, там было по колено бумаг. Антисанитария – это даже мягко сказано. Сейчас я понимаю, что я была неправа в этом своем ощущении. Он ухаживать за собой не мог, стеснялся выйти на кухню. Все держал в комнате – и продукты, и помойное ведро. А комната была 15 метров. У него была большая библиотека. Посередине комнаты стоял диван. Через всю комнату висели простыни – он в них постоянно сморкался, потому что платков ему не хватало. У Шаламова был хронический ринит.

Он так застеснялся, когда нас увидел. Схватил веник и стал веником сметать со стула бумажки. Шрейдер говорит: «Вот Людмила Владимировна. Она пишет стихи». Шаламов говорит: «Не надо писать стихов после Пушкина». «Варлам Тихонович, – говорю, – я хочу у вас взять автограф». То есть я не знала, что сказать. Но было ясно, что и коньяк, и шоколад, и молоко здесь совершенно некстати. Тут только врач хороший был бы кстати.

Я говорю: «Варлам Тихонович, может, вам врача хорошего?» Что с ним случилось, я просто не знаю. Он стал на меня так орать, все расшвыривать: «Никаких врачей!» И сразу: «Где валидол! Валидола нет!» Ну что мне делать? И я сама стала на него кричать: «Я женщина! Я пришла к вам в гости! Ведите себя достойно! Вы не имеете права на меня кричать! Я сейчас уйду и расскаюсь, что я к вам пришла!» Тут Юлик нашел валидол.

Потом, когда я принесла ему для автографа книжку стихов, он мне на ней написал: «Людмиле Владимировне от автора, не нуждающегося во врачебной помощи».

Я на него покричала. И он сказал: «Извините. Мне кроме нембутала (это снотворное) ничего не нужно».

Мы немножко посидели. Потом зашли в соседний дом, где жил наш с Юликом общий приятель, выпили этот коньяк, съели шоколад. Я так ревела, у меня была истерика.

## Цветы поэту

В следующий раз я пришла недели через две – искала нембутал, его же без рецепта не дают. Потом уже одна моя знакомая, которая работала в больнице, мне его крала. А еще потом, когда я у него убиралась и открыла один из ящиков, я увидела там залежи нембутала. Он его и не пил. Просто знал, что, если скажет, что у него нет лекарства, я обязательно приеду.

Я шла и не знала: пустит ли он меня, не побьет ли. Я взяла с собой нембутал, комплект постельного белья.

Потом я вспомнила, что часто видела его на улице, когда ходила в гости к своей подруге в этот район, останавливалась на нем взглядом. У него были пронзительные синие глаза – что бы ни говорили другие воспоминатели. Он ходил в ботинках на босу ногу, брюки не доставали до щиколотки – с его ростом он не мог просто купить себе подходящую одежду. Пиджак надет на голое тело. По улице он шел по диагонали – то есть, со стороны глядя, четкое алкогольное опьянение. Только лицо не пьяное – крепкое, сильное. Таким его видели в Москве все. За спиной рюкзак – в рюкзаке продукты. Продуктов он мог купить удивительно много. Он мог купить сто пирожков, три килограмма сосисок. Я потом только поняла, что он каждый раз выходил из дома, как в последний раз.

Ну вот, пришла я – никого нет. Жду, курю на лестнице. Вижу – он тяжело так поднимается.

Говорит: «Здравствуйте». Я не сразу даже поняла. Говорил он очень невнятно. Иногда я вообще его не понимала. Но были какие-то просветы.

Он схватил мои руки, начал их целовать. «Спасибо, что пришли». Проводил меня в комнату.

– Я хочу у вас убраться.

– Зачем у меня убраться. У меня есть пылесос. Давайте с вами поговорим.

Я принесла ему цветы – крокусы.

– Вы знаете, – спрашиваю, – какие это цветы?

– Нет, никогда не видел.

– Это крокусы.

– Крокусы – как красиво звучит. Надо записать это слово, – сказал Шаламов.

Я ему часто цветы приносила. Он их очень любил, любил деревья. Когда я убиралась, у него в конвертах находила чьи-то засушенные розы, ромашки. Он их не разрешал выбрасывать. Он помнил, что это за цветы, откуда они. Как ему не принести цветы?..

Я еще раз попросила разрешения убраться. А убраться, как я потом поняла, было невозможно. Я роюсь в бумагах, и мне попадают его письма, письма Эренбурга, Солженицына, его письма во все редакции, его черновики. Я же не могу все это смести и выбросить. Я сижу на корточках, складываю все по кучкам. А он кричит: «Все это надо выбросить!»

### Я его приручила

В общем, я его приручила. Я не знала его прошлой жизни. Я не знала, что с ним случилось. Он мне все это рассказал. Он отвечал на все мои вопросы.

Это был разрушенный, больной человек, который знал себе цену, который никак не мог себя в этой жизни реализовать и точно знал, что его время придет. Он в этом не сомневался ни одной минуточки.

Убирать у него было трудно. Потому что, когда я приходила, он говорил: «Посидите лучше, мы с вами поговорим. А уборка, она куда не уйдет». Я приносила еду – потом я приспособилась брать еду в ресторане «Пекин». Там были комплексные обеды. Я брала ему по три обеда, и все три обеда он мог съесть – у него была болезнь, не помню, как называется, патологическая прожорливость. И был очень худой – все в нем сгорало. Ложкой он есть не мог. Он брал две кружечки и борщ из кастрюльки брал кружечкой. Потому что из ложки все выплескивалось – у него дрожали руки.

К нему вообще не одна я ходила. До меня ходила масса народа, у него было много поклонников, поклонниц и друзей. Но случилось вот что. На Западе опубликовали его «Колымские рассказы». А Шаламов был автором «Юности», они первые его опубликовали. И Борис Полевой, главный, очень испугался, и они все отвернулись от него. И тут появилось в «Литгазете» письмо, в котором он отказался от своих «Колымских рассказов», писал, что проблематика колымских рассказов снята самой жизнью. Он не то чтобы испугался. Но он знал, что если он это не сделает, то ему дорога в печать закрыта. А жил он на инвалидную пенсию в 72 рубля. Я ему хлопотала пенсию I группы, но с ней была тьма проблем.

Я-то думаю, что он это письмо не писал – он его подписал. Оно написано казенным, стандартным, нешаламовским языком. Я его

спрашивала про эту историю, и он ответил: «Ну это надо было сделать». И после публикации этого письма от него отвернулись очень многие. Он стал фигурой одиозной. И даже не Шаламова бросили, а он сам бросил всех, прервал общение со всеми. И даже с колымскими друзьями.

Сначала я ездила раз в неделю, потом два раза в неделю. А через год надо было ездить чуть ли не каждый день. А я не могла, у меня была пятилетняя Марина.

Он мне дал телефоны: «Если вам надо будет, чтобы вам помогли» – телефон Лихачева, Тимофеева, Сиротинской\*.

Про его любовь к Сиротинской я узнала так. Убиралась в квартире и нашла картонку, на которой было написано крупным почерком: «Варлам, для твоих соседей я твоя племянница». Я спросила, что это. «А! Это Ирина Павловна написала». И он рассказал, что это была любовь. И брак бы был по любви, но вот она не решилась, потому что у нее было трое детей и муж был не согласен на развод. Они с Шаламовым были знакомы с года 67-69-го, когда еще он жил на Хорошевской.

Из-за нее он, конечно, развелся со своей второй женой. Развод, я знаю, был очень тяжелый и доставил всем много горя. Когда он болел, я звонила его первой жене, она мне сказала: «Да пусть он сдохнет, пусть он в гробу перевернется. Я туда больше не пойду».

### Нежность зека

Он писал каждый день. В его письмах были философствования об Ахматовой, о Блоке. И между тем, что нембутал кончился. Или вот, когда я уже готовила его книгу и началось творческое общение: «Я написал новые стихи, немедленно придите». Он отдавал свои новые вещи мне на правку и правил, где я указывала. Вот он пишет:

«Вашему вкусу я доверяю больше, чем себе. Простите мне это нахальство. Я отслужу». «Отслужу» я тогда не заметила. Или вот еще: «В этой поправке я увидел теплую дружественную руку, которая может вести поэта к вершинам мастерства, и поспешил утвердить ваш текст для канонизации. Не только потому, что вы мне нравитесь как женщина, но и потому, что следуя за вами художественных потерь не будет. Вы законченный мастер русского стихосложения, следовать за которым удовольствие». Или вот стишок обо мне и комплименты:

«Да, мне нравится фамилия Зайвая,  
теплая, живая, боевая...

Тут я хочу вам сказать без всяких комплиментов насчет моложавости. Что вы будете возбуждать желание мужчин скорее оказаться с

вами в постели не только в 40, но в 50, 60, 70, 80, всю вашу увлекательную жизнь благодаря вашим гормонам и прочему. Я думаю, что натура, как вы, казалась желанной мужчине лет с 5-6». Или это неприлично цитировать?

По телефону он не говорил. Были звонки с молчанием, и я знала, что это он. Я не понимаю, почему он не говорил по телефону. В одном письме он написал: «Людмила Владимировна, просить меня позвонить – это очень жестоко».

Иногда он звал меня «Людмила Владимировна». А когда был в хорошем настроении – «блядища». Ну зек он, в нем этот лексикон, матерщина, грубость переплеталась с поэтической нежностью. Я очень переживала, когда он говорил «Людмила Владимировна». Я съела «блядишу» – это было у него как «Людочка», как «милая». Это у него так звучало. Иногда смотрю на него, ну – зек, бандит, да как он писать стихи может?

У него были совершенно неожиданные приступы почти бешенства. Один раз мы сидели, говорили, говорили, вдруг он вскочил и начал все срывать, все рушить. Я испугалась, забились куда-то. Он очень быстро пришел в себя и сказал: «Если со мной еще когда-то такое произойдет, вы не обижайтесь. Вы по стойте где-нибудь в коридоре. Это через 10 минут пройдет. У меня бывают такие невероятные боли в мозгу из-за глаз, что я сам за себя не отвечаю».

У меня был роскошный комплект нового белья – я его расшила подсолнухами. Постелила – а он спал на досках. Ой, это тоже была эпопея. Ему надо было принести лист фанеры два на три. Он говорит: «Мне нужно четырехслойной фанеры листов десять или двадцать». Ну я понимала, что надо только один. А где его было взять? Я сняла заднюю стенку с гардероба – вот недавно он уже совсем развалился – и эту фанеру ему отвезла. Прихожу: белье в подсолнухах изорвано в клочья. И в больнице потом, в интернате он рвал постель в клочья.

Когда он был в хорошем расположении духа, мы сидели и разговаривали. Я очень жалею, что тогда не записывала за ним на диктофон. Есть какие-то идиоты, которые говорят, что, если бы Шаламов не сидел, ему не о чем было бы писать. Это абсолютная ерунда. Это был широчайший интеллект – он интересовался историей музыки, поэзией, живописью. Я общалась с тьмой народа в своем клубе книголюбов – и с писателями пила водку, разговаривала, ездила на дачи. Такого ума я ни у кого не встречала.

Он мне отдался весь, со всеми потрохами, со всеми тайнами. Теперь я понимаю, что он любил меня. Это была мучительная любовь. Иначе, какими бы силами я все это вынесла. Уходила я оттуда всегда в слезах.



Я не могла его оставить одного. Я видела, что он страдает. Я доставала Союз писателей, чтобы ему помогли, дали вторую комнату, литературного секретаря. Наверное, я его любила. Я разрывалась между ним и Маринкой. Но Маринка могла без меня побыть два-три часа. Она была в детском саду – я ее просто позже забирала, потом я ее отдала на неделю.

Он меня провожал и сразу писал письмо, которое я получала утром. Это была мука. Я сейчас не помню своих чувств тогда. Я помню, что занималась им каждую минуту. Я все время о нем думала, кого бы позвать, что бы еще сделать.

### Я его бросила

Один раз я его бросила, а второй раз – он меня.

Я бросала его вот почему. Я договорилась с главным редактором издательства «Советская Россия», что они выпустят книжку Шаламова – переиздание из его пяти книг. Шаламов согласился и дал мне свои книги – по два экземпляра каждой – для расклейки. И еще дал 80 рублей и сказал: «Не занимайтесь этой ерундой, расклейкой. Найдите кого-нибудь для этого. Это стоит 150 рублей. Вот вам 80, а потом я еще вам дам денег». Ну как я могла 80 рублей отдать кому-то. Я узнала у профессионалов, как делается расклейка, и делала ее сама. Надо было из пяти книг выбрать лучшие стихи (они везде были напечатаны в вариантах). Я этим занималась полгода – по ночам.

Принесла я ему эту расклейку. Говорю: «Расклейка готова. Посмотрите: так ли я все сделала, нравится ли вам это?»

Там было 320 страниц. И тут он стал на меня орать: «А мне это совсем не надо, Людмила Владимировна. Я вас об этом даже не просил. Вы должны бросить меня и сделать себе судьбу. Я себе ее уже сделал. А с этим я сделаю вот что!» И бросает расклейку под потолок. Все эти листья разлетаются, летят на пол, на очередной пролитый кефир или молоко (не помню). И он по этому топчется своими ножищами. Я говорю: «Я эту работу сделала потому, что я обещала издателю. А к вам я больше никогда не приду. Я такого отношения не заслужила».

Через три недели раздается звонок. Звонила какая-то женщина. И говорит: «Мне ваш телефон дал Варлам Тихонович Шаламов, чтобы я у вас спросила телефон Шрейдера. А то он в больнице». Телефон Шрейдера он знал наизусть. Это был трюк, чтобы мне сообщить, как ему плохо.

Что я должна была сделать после звонка? А я тут же помчалась в больницу. Так я к нему вернулась. Он встретил меня так, как будто

ничего не было. Так обрадовался, целовал мне руки: «Забери меня отсюда». Он дал согласие пойти в интернат. Врачи его готовили в 32-й интернат для психохроников.

Меня вызвал врач, который его лечил, некий Левин:

– А кто вы ему?

– А никто. Я за ним ухаживаю.

– А что вы от него хотите?

– Да ничего.

– Я слышал, что Шаламов вроде бы писатель.

Я ему рассказала, кто он такой, Левин взял его книжку «Точка кипения» (Шаламов потом ему ее подписал). И сказал: «Людмила Владимировна, я все понял. Он годится для этого интерната по анализам. Но я не могу, прочитав его стихи, отдать его туда».

Потом Шаламов все равно оказался в 32-м интернате – его туда перевели из 9-го, и он там сразу умер.

Сейчас этот врач Александр [Михаил – прим. составителя] Михайлович Левин в Америке. Я слышала, как он по «Голосу Америки» рассказывал про Шаламова.

Левин пошел на подлог и переправил ему показания, чтобы его взяли в обычный интернат.

### «Выходи за меня замуж»

Я его забрала домой. И началось все сначала. Опять пошли цветы, письма, стихи.

И я начала думать, что делать дальше.

У него была идефикс – жениться. Он вообще раньше нравился женщинам, наверное, потому что был совершенно неспорченный, нерастроченный и красивый человек. Я ему даже искала невесту. И даже нашла одну женщину, которая согласилась. Но раз помыла окна и пришла вся в слезах, сказала, что больше к нему не пойдет.

А после больницы он сделал мне предложение. Предложил выйти за него замуж «хотя бы народвольтческим браком». Или привести нотариуса. «Вы столько для меня делаете, – говорил он, – что если со мной что-нибудь случится, вы же ничего не получите».

Он мне говорил: «Блядища, ну дай мне умереть в своей постели. И я тебя отблагодарю. Ты будешь очень богатой».

У него был дикий страх перед интернатом. Страх врачей, психушки. Он знал, что если его куда-то поместят, то это будет непременно психушка. И он знал, что если рядом я, то я его никуда не отдам.

Сюда, в свою однокомнатную квартиру, я его взять не могла. Я стала хлопотать ему вторую комнату, которая освободилась в коммуналке. Написала письмо в Союз писателей, что ему нужна комната для литературного секретаря. Это же должность, и у всех «литературных генералов» секретари были. Но, конечно, все впустую.

Я поняла, что все знают, что с ним, но никто не поможет. Его не убивали потому, что он самдох. И я поняла, что мне тоже никто не поможет. Я звонила Сиротинской, советовалась. После каждой встречи рассказывала, что он, как он. Предлагала ей самой прийти. «Нет».

Я хлопотала ему квартиру, а ему вместо квартиры дали путевку в Ялту. Он хотел поехать со мной туда в сентябре. Я говорю: в сентябре не могу. Мне надо ехать летом, с ребенком.

Когда я его готовила на отдых в Ялту в Дом творчества (это было уже потом, когда я к нему вернулась), он мне дал 37 рублей 50 копеек и попросил купить ему пиджак пятый рост. Я объездила все магазины – таких пиджаков нет. Я зашла к своим друзьям, рассказываю про свою маету. И говорю мужу подруги, дипломату: «Ну не могу я найти на него пиджака. Леша, может, у тебя что-то есть». И он мне выносит четыре роскошных костюма – серый, бежевый, черный и какой-то еще такой серебристый. В идеальном состоянии, пятый рост. Наверное, они были чуть старомодными, для дипломата это же очень серьезно. Я с чемоданом, в чемодане костюмы, лечу к Шаламову.частливая тем, что он будет одет.

Когда я дала ему костюмы, он говорит: «Да сколько же это стоит? Где этикетка?» Пересмотрел все – этикетки нет. «Варлам Тихонович! Вы померьте этот костюм. Вы примерьте этот пиджак». Он скрестил сзади руки и говорит: «Я с чужого плеча не надену». Я объясняю, что в магазинах ничего нет: «Нет. Я с чужого плеча не надену».

– «Это вам в подарок от друзей, они из химчистки».

– «Нет».

На следующий день я к нему прихожу, а он одет в мой черный грязный свитер (я в нем там убиралась). «Варлам Тихонович, этот грязный свитер – с чужого плеча!»

– «Но ваше же плечо не чужое. Но если вам очень неприятно, я, конечно, сниму. Мне так приятно, что на мне этот свитер». Его в этом свитере похоронили. Он его не снимал, хотя мы уже расстались и прошло три года.

Он уехал на месяц в Ялту. И буквально через неделю пришла телеграмма: приготовить ему любой вид транспорта, кроме такси, что он возвращается тогда-то. Я послала Юлика встречать Шаламова в аэропорт, а сама жду их дома.

Самолет должен был прилететь где-то около двух дня. Юлик пришел, половина первого ночи, и говорит: «Люда, пришли пять или шесть самолетов. Шаламова там нет. Он не прилетел». Что делать в этой ситуации?

Мы с Юликом понимали: если Шаламов умер, то мы в эту квартиру больше не попадаем. Сюда придут завтра из милиции, опечатают все. У нас нет ни доверенности, ничего, мы чужие люди. Шрейдер говорит: «Люда, надо спасти хотя бы что-нибудь. Потому что все это будет уничтожено». И мы с Юликом приняли решение хотя бы часть архива забрать. Мы взяли из квартиры Шаламова 12 или 13 папок. Брали только то, что было напечатано на машинке.

Утром я позвонила в Ялту директору дома отдыха и говорю: «Варлам Тихонович должен был улететь». Директор хохочет: «Да вот он сидит в коридоре, не хочет лететь самолетом, требует билет на поезд. Вы кто? Разве таких людей присылают? Здесь над ним все смеются».

Когда он вернулся, первым делом я рассказала, что и как было. И он сказал, что все, что надо, он уже отдал в ЦГАЛИ и чтобы то, что мы взяли, осталось у меня. «Может, лучше у Юлика?» спросила я. «Нет, пусть хранится у вас».

Вот тогда он и сделал мне предложение. Я и сама понимала, что другого выхода нет. Иначе даже съехаться с ним не могла. Пришла домой, думала, думала об этом, позвонила Сиротинской. Она медленно так сказала: «Наверное, это ваше правильное решение. Но он человек трудный».

### Разрыв

На следующее утро – в шесть часов звонит его соседка: «Людмила Владимировна, Варлам Тихонович закрылся в ванной и там упал. Непонятно, что с ним происходит, вам надо приехать!». «Зовите «скорую помощь»». «Нет, зовите сами, я этого делать не буду». Я вызвала «скорую» и помчалась туда.

«Скорую помощь» я застала еще у порога. Подбегаю:

– Ну, что там случилось? Это я вас вызывала.

– Да он жив-здоров. Он нас вытолкал, поколотил. Мы дважды пытались войти. Вам надо психушку вызывать, а не нас.

Он мне открыл – в прекрасном самочувствии. В доме еще со вчерашнего вечера чисто. Он лежал на диванчике, совершенно спокойный.

– Варлам Тихонович, как себя чувствуете?

– Прекрасно, как на курорте.

- Варлам Тихонович, а что у вас болит?
- Да ничего, я прекрасно себя чувствую.
- А что здесь случилось?
- Да ничего не случилось!
- Варлам Тихонович, а почему вы врачей не пустили?

Он поманил меня пальцем и на ухо говорит: «Надо узнать, кто их вызвал». А я говорю: «Да я вызвала. Я! Я их вызвала! Почему вы их не пустили?!»

Он замер, быстро встал с постели и сказал совершенно спокойно: «Отдайте мой паспорт, отдайте мои документы».

У меня были его документы, я хлопотала ему пенсию.

– Отдайте. А теперь прочь отсюда, стукачка.

Взял меня за шиворот и вытолкал. Я не поняла, в чем дело. Ведь было начало 8-го утра. Сижу на кухне – я же знаю, что у него бывают приступы. Посидела, поплакала. Вышла соседка. Я ей все рассказала. Она говорит: «Это из-за того, что вы вызвали врача». Полтора часа я просидела на кухне. Несколько раз пыталась к нему войти – он меня не пустил. Я позвонила Шрейдеру и сказала, что Шаламов остается один. Он мне сказал: «Я запрещаю тебе туда ходить. Я отвечаю за тебя не в меньшей мере, чем за него».

Потом Варлам Тихонович прислал мне письмо. Звонила его соседка. А у меня начался психоз.

Он звал меня, просил вернуться и просил прощения. Но тут появилась Союз писателей, Сиротинская, которая потом писала и говорила, что я Шаламова унижала, обворовывала, обирала. Унижать такого человека, как Шаламов...

Он попал сначала в 9-й интернат. Я не ходила туда ни единого раза. Я только говорила с врачом. Я знала, если я туда еще раз приду, то все начнется сначала.

О смерти Варлама Тихоновича я узнала от моего соседа с 6 этажа. В шесть утра он позвонил мне и сказал, что «Голос Америки» передал, что 17 января 1982 года умер Варлам Тихонович Шаламов. В 7 я позвонила Шрейдеру и сказала – умер Варлам. В полдевятого позвонила Сиротинской, она сказала: я знаю, мне сказал об этом Юлий Анатольевич Шрейдер, который с вами никаких дел теперь иметь не хочет.

---

\* Ирина Павловна Сиротинская – заместитель директора Российского государственного литературного архива; хранительница архива В. Т. Шаламова [прим. редакции].

Записала Екатерина Данилова

[Анонс «Общей газеты»]

«Людмила Владимировна Зайвая ухаживала за семидесятилетним Варламом Шаламовым. Началось все с литературной влюбленности, закончилось – болезненным разрывом. Ее воспоминания – еще один аргумент в давнем споре: может ли любящая женщина спасти гения. Может ли вообще кто-то кого-то спасти. И что такое спасение. И что такое литература...

Со своими воспоминаниями Людмила Зайвая, поэт, издатель, выступает впервые».

«Общая газета», 11-17 июля 1996 года, статья под кричащим названием «Шаламов отдался мне весь, со всеми тайнами», сетевая версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» [http://community.livejournal.com/ru\\_prichal\\_ada/6944.html](http://community.livejournal.com/ru_prichal_ada/6944.html), дублирована на сайте shalamov.ru

*Людмила Владимировна Зайвая (1939-2011), подруга и помощница Шаламова в последние годы жизни, клубный работник*





**Елена Захарова**

*Последние дни Шаламова*

Я хотел бы так немного!  
Я хотел бы быть обручком,  
Человеческим обручком...  
В. Шаламов

Я должна рассказать о последних месяцах жизни Варлама Тихоновича Шаламова и о его смерти. О Шаламове писали многие люди, знавшие его в разные периоды жизни гораздо дольше и лучше меня, но случилось так, что я оказалась свидетелем «финала трагедии». Несколько раз мои устные рассказы использовали в своих работах журналисты, но, полагаю, мне самой следует максимально подробно и точно описать все, что я видела и слышала в июне 1981 – январе 1982 года.

Для того, чтобы сделать понятными некоторые обстоятельства, придется сначала кое-что сообщить о себе и о том, как я оказалась возле В. Т.. Мой Шаламов начался лет в 14 с песни Галича «Все не вовремя» из цикла «Литераторские мостки». Знала я тогда, а было это начало семидесятых, только то, что Шаламов много лет провел в лагере. О том, что такое лагерь, я тоже немножко знала, мама не выгоняла меня из комнаты, когда велись «взрослые» разговоры, и «самиздат» от меня не прятали, «Крутой маршрут» я успела прочесть. А в конце 1979 или начале 1980 года мой отец, переводчик Виктор Александрович Хинкис, попросил меня пойти вместе с ним в «Дом престарелых». По дороге отец объяснил, что идем мы к Шаламову. «Это тот, кому посвящена песня Галича?» – спросила я. «Ну да», – ответил папа. И я услышала о существовании «Колымских рассказов», о письме в «Литературку», о болезни и одиночестве Шаламова, о том, что почти никто не знает, где именно сейчас находится Варлам Тихонович. Сам же отец выяснил адрес «Дома престарелых», куда мы направлялись, от своего знакомого, журналиста Сергея Ивановича Григорянца. Григорянец, знавший Шаламова раньше, с трудом разыскал его, хотел навестить В. Т., но не успел, так как был арестован. И вот мы пришли в «Дом для

инвалидов и престарелых №9». Надо сказать, что в то время я уже была студенткой 5 курса мединститута, подрабатывала фельдшером на «скорой», кое-что повидала и считала себя опытным человеком. Но то, что я увидела, в рамки моего опыта не укладывалось. В маленькой палате стояло две койки, две тумбочки и стол. Грязь, запах. Два старика (у В. Т. в то время еще был сосед) – один неподвижно лежит на кровати, другой сидит на полу рядом с голой, не застеленной койкой, одет в какое-то тряпье, изможденный, все время дергается, лицо асимметричное. С ним-то отец и поздоровался очень громко. Старик крикнул что-то совершенно неразборчиво и взмахнул рукой, в которой была зажата погнутая алюминиевая кружка. Ни о разговоре, ни тем более о медицинском осмотре не могло быть и речи. Я выскочила на улицу, через несколько минут вышел отец. «Ну что? – спросил он. – Как ты думаешь, может, мне похлопотать, чтобы его перевели в другое место?» Я ответила: «Не знаю, по-моему, ему ничем помочь нельзя». Единственное, чего мне хотелось, это уйти как можно дальше от этого места и забыть о том, что я увидела.

Прошло около года. Я заканчивала институт, работала, часто бывала в доме у Надежды Яковлевны Мандельштам, Н. Я. и дала мне почитать «Колымские рассказы». Забыть не получалось, вернуться – тоже. В декабре 1980 года Надежда Яковлевна умерла, а в мае 1981 умер мой отец. В конце июня друзья Надежды Яковлевны собрались помянуть ее – исполнилось полгода со дня смерти. И вот Александр Анатольевич Морозов, замечательный человек, знаток поэзии, исследователь творчества Мандельштама, прочел несколько недавно записанных им стихотворений Шаламова.

Послеужинный кейф –  
Наше лучшее время,  
Открывается сейф  
Перед всеми.

Под душой – одеяло,  
Кабинет мой рабочий,  
По сердцу карандаши  
Днем и ночью.

Мозг работает мой  
Как и раньше – мгновенно,  
Учреждая стихи  
Неизменно.



Меня поразили даже не столько сами стихи (цикл «Неизвестный солдат» был затем опубликован в «Вестнике христианского движения» еще при жизни В. Т. и, частично, в журнале «Литературное обозрение» в августе 1988г.). Ужасно было вдруг осознать, что они были разобраны с голоса В. Т. и записаны именно тогда, когда этот «человеческий обрубок» сидел на полу в грязной палате инвалидного дома. Господи, значит там, внутри этой скованной болезнью, отрезанной от мира не только стенами, но и глухотой, слепотой и почти немотой, оболочки, сидит живой, мыслящий человек, поэт.

На следующий день, испросив у Александра Анатольевича разрешения сказать, что мы его друзья, мой приятель Владимир Рябоконт и я пришли к Варламу Тихоновичу. Я очень боялась, что В. Т. нас не примет, прогонит, но он не прогнал. Имя Саши Морозова, которое мы прокричали в ухо В. Т., оказалось «волшебным словом». И я стала ходить в дом на улице Лациса один-два раза в неделю, сначала с Володей или Александром Анатольевичем, а потом и одна. Через некоторое время я встретила еще с двумя людьми, которые в это же время каким-то образом разыскали В. Т. и стали его навещать. Это Татьяна Николаевна Трусова (Уманская), которая узнала своего деда, профессора Уманского, в рассказе «Вейсманист», и Людмила Анис, которая просто прочитала «Колымские рассказы» и решила увидеть их автора.

Кормили, купали в ванной, стригли ногти, переодевали в чистое, стирали и тут же на батарее сушили вельветовые пижамы, оставшиеся от моего деда и пришедшиеся очень кстати, мыли полы. Узнавал В. Т. по рукопожатию, хотя, честно говоря, я не уверена, что он узнавал, кто именно пришел, разве что А. А. Морозова. Скорее чувствовал, что пришел друг. Постепенно я научилась разбирать, что В. Т. говорит, но мы почти и не разговаривали. Что я могла такого сказать, что представляло бы интерес для Шаламова. Тем более было бы дико мучить его какими-то расспросами, речь давалась ему тяжело. Читать сам он, конечно, не мог, и слушать чтение тоже желания не выражал. Только дважды я приносила ему его книги – один раз «тамиздатский» том «Колымских рассказов», и другой – журнал «Юность» за август 1981 года с подборкой его стихов. Он надписал мне журнал, хотя рука все время дергалась, а видел ли он хоть что-нибудь, я так и не знаю.

«Лене Циркис  
от автора  
В Шаламов  
Тушино  
25 сентября»

Фамилия Хинкис – он три раза переспрашивал – ему не далась, а объяснять про своего покойного отца, которого он когда-то знал, я не стала. В. Т. так чудовищно напрягался, пытаясь разобраться, что ему говорят, что я просто не могла себе этого позволить.

Я думаю, что В. Т. считал себя заключенным, да, собственно, он им и был. Поэтому он срывал с кровати постельное белье – протестовал, как мог, повязывал полотенце на шею, чтобы не украли сокамерники (к этому времени сосед умер или его перевели в другую палату, но, по моему, В. Т. этого не заметил). При этом он с невероятным трудом, но все-таки перемещал себя до туалета, находившегося тут же, в предбаннике палаты. Путешествие в ванную комнату могло происходить только с помощью двух людей, и являлось для В. Т. настоящим подвигом. И он его совершал. Дело в том, что у В. Т. была болезнь Меньера, тяжелое неврологическое страдание, при котором резко нарушается способность к целенаправленным движениям, зато все время происходят непроизвольные подергивания мышц. В этих условиях человек, к тому же почти слепой, сам передвигаться не может.

Тут, наверное, следует подробнее описать, что представлял собой «Дом для престарелых и инвалидов». Обитателями этого заведения были одинокие, тяжелобольные люди, кстати, далеко не всегда престарелые или даже пожилые, много было там и молодых инвалидов, главным образом с нарушениями двигательного аппарата. Понятно, что все они нуждались в первую очередь в уходе, так как не могли самостоятельно передвигаться, а зачастую даже и есть сами. О необходимости медицинской помощи нечего говорить. В интернате был врач, а может быть и несколько, были медицинские сестры, санитарки. Конечно, персонала не хватало, но дело не в этом. Дело в отношении. Не хочется зря обидеть кого-нибудь, может быть, среди сотрудников и были люди добросовестные и просто добрые, но выглядело это вот как.

Те, кто мог хоть как-то двигаться или имел дальних родственников, плативших, пусть небольшие, деньги, еще могли выжить. Беспомощные, прикованные к постели – умирали. От голода – кормить с ложки было не принято, или от гнойных пролежней, образующихся от лежания по несколько суток на мокрых, загаженных простынях. Кричали, пока были силы кричать, а что толку. Медицинская помощь, если бы она и была, в таких условиях не имела никакого смысла. От этого нет лекарств. Некоторым, впрочем, приносили какие-то таблетки, да не все могли их проглотить. Словом, каждый раз, подходя к дверям «Дома для инвалидов и престарелых», я буквально силой заставляла

себя войти внутрь. И привыкнуть мне не удалось. Оказываясь внутри, я испытывала вновь такой же шок, как в 1979 году.

Тех, кто хочет лучше представить себе ситуацию, я отсылаю к опубликованной в первом номере «Иностранной литературы» за 2002 год документальной прозе Рубена Гальего «Черным по белому». Могу засвидетельствовать – все, что там написано – правда. Думаю, что такого рода заведения – это самое страшное и самое несомненное свидетельство деформации человеческого сознания, которое произошло в нашей стране в 20-м веке. Человек оказывается лишенным не только права на достойную жизнь, но и на достойную смерть.

Нескольким женщинам, обитавшим в соседних с В. Т. палатах, мы понемногу помогали. Кого покормим, кого перестелим. Они еще появятся на минуту в конце моего рассказа. А сейчас надо вернуться в лето 1981 года. В августе В. Т. перенес воспаление легких, еле выжил, приходили мы в это время чаще, каждый день, давали антибиотики. А в сентябре меня пригласил к себе для беседы главный врач. Он поинтересовался, кем доводимся Шаламову Морозов, Уманская, Анис и я. «Вы не родственники, так и не ходите, – сказал главный врач. – А то мне уже намекают «оттуда», что обстановка нездоровая, да еще Евтушенко звонил, интересуются разные люди... Нехорошо. Вы ведь понимаете, что я могу перевести вашего Шаламова в интернат для психохроников, с глаз подальше, тем более основания есть, он недавно протечку устроил, воду в туалете не закрыл».

Я испугалась. «Интернат для психохроников» – это почти полная изоляция, а условия там еще хуже, я уже знала, что бывает еще хуже. Перестать ходить к В. Т. я не могла, это было бы предательством. Может, и не много значили наши посещения, но все-таки мы его мыли и кормили, держали за руку, просто были с ним, а теперь взять и исчезнуть, и он опять останется один. Надо сказать, что за те месяцы, что я бывала у В. Т., мне ни с кем, кроме трех упомянутых выше людей, сталкиваться не приходилось, может быть, кто-то еще его и навещал, не знаю. Я долго уговаривала главного врача. Уверяла, что мы и сами не заинтересованы в лишних разговорах, что ни Евтушенко, ни кого бы то ни было еще, мы ни о чем не просили. Ссылалась на то, что я врач (в это время я уже окончила институт и работала в одной из московских больниц), что В. Т. нуждается в элементарной помощи сиделки и так далее. Разговор завершился тем, что посещения нам не запретили, но пригрозили провести психиатрическую экспертизу В. Т..

Вскоре экспертиза состоялась. Мне удалось добиться разрешения присутствовать. Несколько человек, сотрудники районного психоневрологического диспансера проследовали в кабинет главного врача,

меня, естественно, не пустили. Пробыв у главного около получаса, они зашли в палату к В. Т. и спросили его, какое сегодня число. В. Т. не ответил, не услышал, а вероятнее всего – не захотел отвечать. И, задав еще пару вопросов – какой день недели и что-то еще – комиссия покинула палату. Я побежала следом, пыталась объяснить, что В. Т. плохо слышит, мне кратко ответили – сенильная деменция. И ушли. В переводе на человеческий язык это означает, что полуслепой и полуглухой беспомощный человек, живущий в изоляции, не имеющий не то что телевизора или радио, но даже календаря (да и не нуждающийся в них), и не знающий, какое сегодня число, страдает старческим слабоумием. Все.

После «экспертизы» я еще раз была у главного врача. Он повторил заключение комиссии, и добавил – пока подождем. Мы оставили в сестринской комнате свои телефоны, потолковали со всеми медсестрами, просили позвонить, если все-таки переведут.

Прошла осень, мы продолжали навещать В. Т. два-три раза в неделю по очереди, нами никто больше не интересовался. Показалось, что опасность миновала. В Новый год у В. Т. был А. А. Морозов, в начале января, как обычно, приходили попеременно. Я была в последний раз числа 12-го. А вечером 15-го мне позвонила Т. Н. Уманская. Шаламов исчез, сказала она. На следующий день мы пришли в пустую палату, на батарее висела чистая пижама, в тумбочке лежали стопкой газеты «Московский литератор» и приглашения на вечера в Дом писателей. Я забыла сказать, что Литфонд регулярно присылал их Шаламову по почте, не забывали писатели своего собрата. Старушка из соседней палаты сказала: «Увезли вашего Тихона» (почему-то она его Тихоном называла, видимо, имя Варлам было не упомянуть). Пошли к дежурной медсестре – ничего не знаю, была не моя смена, приходите днем к главному врачу. Дальше я помню неотчетливо, по-моему, я ее слегка придушила, но так или иначе, она посмотрела в какой-то журнал и дала адрес: Абрамцевская улица, интернат для психохроников №32.

Утром 17 января, была суббота или воскресенье, Людмила Анис и я поехали туда. Это было какое-то марсианское место, посреди изрытого замерзшими глиняными колдобинами пустыря стояло большое серое бетонное здание, как мне показалось, почти без окон. Долго бродили мы вокруг в поисках входа. Наконец, нашли запертую дверь, позвонили, опять долго-долго ждали. Кто-то открыл, я путано и почти без всякой надежды на успех объясняла ситуацию, просила разрешения побеседовать с дежурным врачом, напирая на то обстоятельство, что я медицинский работник. Удивительно, но нас пустили. Ко мне вышел дежурный доктор, выслушал мой лепет. Доктор оказался человеком.

Он разрешил нам зайти к В. Т., хотя посещений в это время не было. День был очень морозный и ясный, большая палата насквозь прострелена солнцем (стало быть, окна были). На одной из кроватей лежал В. Т., на соседней – какой-то старик засовывал себе в рот пальцы, измазанные экскрементами. Потом доктор рассказал мне, что это был в прошлом крупный гэбэшный чин.

Мы подошли к Шаламову. Он умирал. Это было очевидно, но все-таки я достала фонендоскоп. В. Т. умирал от воспаления легких, развивалась сердечная недостаточность. Думаю, что все было просто – стресс и переохлаждение. Он жил в тюрьме, за ним пришли. И везли через весь город, зимой, верхней одежды у него не было, он ведь не мог выходить на улицу. Так что, скорее всего, накинули одеяло поверх пижамы. Наверное, он пытался бороться, одеяло сбросил. Какая температура в рафиках, работающих на перевозке, я хорошо знала, сама ездила несколько лет, работая на «скорой».

Я вернулась к дежурному врачу, спросила, получает ли Шаламов какое-нибудь лечение. Доктор достал из шкафчика историю болезни, посмотрел сам, к моему изумлению, дал посмотреть и мне. Оказалось, он же дежурил и в день перевода В. Т.. В записи первичного осмотра значилось – беспокоен, пытался укусить врача. Диагноз все тот же, сенильная деменция. В назначениях я обнаружила антибиотик, стало быть, воспаление легких развилось почти сразу. Пошла к медсестре, оказалось, антибиотик сегодня еще не вводили, не дошла очередь. Опять вернулась к доктору, и, ясно понимая, что смысл в моих действиях чисто символический, попросила назначить внутривенное вливание препарата, стимулирующего деятельность сердца. – Пожалуйста, можете даже сами ввести. – Ввела, и антибиотик тоже. Еще раз повторю, я не считала, что это может изменить ситуацию, Шаламов был в агонии, но все-таки я решила сделать то небольшое, что было возможно. Ничего не изменилось, да и не могло измениться. Тогда я стала читать молитву «На исход души». Не буду утверждать, что Шаламов перед смертью узнал нас, но надеюсь все же, что присутствие наше он успел почувствовать. Впрочем, не знаю. Через полтора часа В. Т. умер.

Я совершенно не понимала, как мне быть. Спросила у доктора, какая у них принята практика. Выяснилось, что тела умерших увозят в морг и какое-то время хранят там. Невостребованные в течение двух, что ли, месяцев передают в анатомический театр или кремируют сразу несколько тел и хоронят в одной урне, а где, доктор не знает. И тут до меня дошло, что я же – не родственница Шаламову, и никто из моих друзей не родственник, и есть ли в живых кто-нибудь из родных В. Т.,

и где они – я не знаю. А это значит, что тело мне, скорее всего, не выдадут, и никому не выдадут. Оставалось попробовать все-таки получить свидетельство о смерти. Я вернулась в палату, заглянула в прикроватную тумбочку. Пустой портсигар тюремной работы (наверное, чей-то давний подарок, В. Т. не курил), пустой кошелек, рваный бумажник. В бумажнике несколько конвертов, квитанции на ремонт холодильника и пишущей машинки за 1962 год, талончик к окулисту в поликлинику Литфонда, записка очень крупными буквами: «В ноябре Вам еще дадут пособие сто рублей. Приедите (так) и получите потом», без числа и подписи, свидетельство о смерти Н.Л. Неклюдовой, профсоюзный билет, читательский билет в «Ленинку», все. Паспорта нет, а без него свидетельства не получишь. Опять к доктору. Оказалось, паспорт на прописке в ЖЭКе, так положено, всех обитателей интерната сразу прописывают. Шаламова увезли, доктор по моей просьбе сделал отметку в сопроводительном документе, что родственники есть, и выдал-таки мне врачебную справку о смерти. Я не знаю имени своего коллеги из интерната для психохроников, но именно ему мы обязаны тем, что у Шаламова есть могила.

Выходной день, ЖЭК не работает, больше сделать ничего нельзя. Дальше я помню не очень четко, конечно, я позвонила нескольким друзьям, и мне стали звонить многие и многие, собирались деньги, приходили люди, В понедельник в ЖЭКе мне почему-то без особой волокиты отдали паспорт Шаламова, он оказался уже посмертно прописан на Абрамцевской улице. Дальше было проще, паспорт и справку обменяли в ЗАГСе на свидетельство о смерти, вырезали из паспорта фотографию и тоже отдали. Таким образом, я получила право похоронить Шаламова.

И здесь я должна рассказать о том, как я солгала. Дело в том, что открыты для захоронения в то время были два кладбища, оба далеко за чертой города. Кто-то, не помню, к сожалению, кто именно, обратился в Литфонд за помощью в организации похорон. Я встретилась с человеком, который занимался похоронами писателей, он взялся хлопотать о месте на Троекуровском кладбище, повесил в холле Дома литераторов фотографию в траурной рамке. И назначил мне встречу в секретариате Союза писателей. Я пришла, мне сообщили, что предполагается траурный митинг в Дубовом зале Дома литераторов. И тут со мной что-то случилось, я вспомнила газеты и приглашения в тумбочке, сидящего на полу Шаламова с полотенцем на шее, и твердо сказала, что Варлам Тихонович завещал мне отпеть его в церкви. Это была неправда, я никогда не говорила с В. Т. на религиозные темы, мне и в голову это не приходило. Тем более я бы не осмелилась судить о его вере или

неверии. Но он был сыном священника, он точно был крещен, стало быть, в отсутствие прямого запрета с его стороны, его следовало отпеть. Все это промелькнуло у меня в голове, и одновременно я уже слышала ответ секретаря – ну что ж, только тогда представители СП присутствовать не смогут.

Отпевали Шаламова в церкви Николы в Кузнецях, именно эту церковь посоветовал мне отец Александр Мень, не знаю, почему именно ее. На похороны пришло очень много людей, у ограды Троекуровского кладбища дежурили черные Волги. К стеклу кабины похоронного автобуса был прикреплен портрет Сталина. Один из моих друзей подошел к водителю отдать традиционную бутылку водки. Водитель спросил, кого хоронят. Услышав, что писателя, сидевшего в лагере, сказал – извините, я ж не знал, и убрал портрет.

Осталось добавить, что на могиле Шаламова был установлен памятник работы скульптора Федота Сучкова, тоже лагерника, давнего друга В. Т.. Федот Федотович приложил много сил, чтобы выбрать гранитную стелу, отлить в бронзе копию деревянного скульптурного портрета, выполненного им еще при жизни Шаламова, смонтировать памятник. Огромное количество людей помогало собрать деньги, необходимые для выполнения этих работ. А в 2000 году бронзовая скульптура с Троекуровского кладбища была кем-то украдена. Недавно памятник восстановлен усилиями вологжан. Теперь он чугунный, будем надеяться, останется стоять, также как и барельеф работы Ф. Сучкова у входа в музей Шаламова в Вологде.

И последнее, может быть, и необязательное, но крайне важное для меня дополнение. В середине 80-х годов в Москве прошло несколько вечеров, посвященных памяти В. Т. Шаламова. Два или три раза мне приходилось бывать на этих встречах, рассказывать о последних днях Варлама Тихоновича.\* Осенью 1987 года, на следующий день после шаламовского вечера, присутствовавший на нем доктор из Боткинской больницы поделился на работе впечатлениями от услышанного. «Так ведь Ленка в нашей больнице работает, мы с ней с института дружим, она мне рассказывала про Шаламова, – сказал моему будущему мужу один из коллег. – Хочешь, я вас познакомлю». Ну вот, а весной 1989 года родился наш сын, обязанный, таким образом, своим появлением на свет Варламу Тихоновичу Шаламову. И сейчас ему примерно столько же, сколько было мне, когда я впервые услышала имя Шаламова.

Вологда-Москва. Июнь 2002 года.

---

ЗАХАРОВА Елена Викторовна – врач, переводчик. Выступление на Шаламовских чтениях 2002 г.

---

\* Рассказы Е. В. Захаровой легли в основу публикаций: В. Пимонов. О вечере, посвященном 80-летию В. Шаламова. «Русская мысль», Париж, 31 июля 1987 г.; Е. Шкловский. Ненаписанный рассказ В. Шаламова. «Литературное обозрение», 1989, № 12. Об обстоятельствах, ускоривших кончину писателя, см. также воспоминания И. П. Сиротинской в «Шаламовском сборнике», вып. 1, Вологда, 1994.

Опубликовано в Шаламовском сборнике, №3, 2002. Сетевая версия на сайте Данте XX века <http://www.booksite.ru/fulltext/3sh/ala/mov/8.htm>

---

«О последних месяцах его земного бытия мне рассказала доктор Елена Викторовна ЗАХАРОВА, проводившая автора «Колымских рассказов» в последний путь.

– Елена Викторовна, как вы познакомились с Шаламовым?

– Году в 1980-м (я тогда мединститут заканчивала) мой отец узнал, что Шаламов находится в доме престарелых. Отец хотел, чтобы я оценила медицинскую ситуацию, и для этого привел меня на Планерную. То, что я увидела, произвело очень сильное впечатление: мне показалось, что человек, сидящий на полу рядом с покрытой голым матрацем кроватью, уже и не вполне человек. А в мае 1981 года отец мой умер и хлопотать, понятное дело, уже не мог.

Тогда же, в мае, я услышала от филолога и литературоведа Александра Анатольевича Морозова, что он посещает Шаламова. Страшно волнуясь, Морозов прочел поразившие меня стихи из последнего цикла. И я сообразила, что эти стихи были написаны в то время, когда я впервые увидела Шаламова. Стало быть, я ошиблась. Стало быть, он там, внутри этой оболочки, мучается.

И я вновь отправилась на Планерную. Варлам Тихонович плохо слышал, плохо говорил, но меня он принял, не прогнал.



Положение его в этом инвалидном доме было страшным. Грязь, отсутствие минимального ухода. В сущности, это была почти тюрьма.

– Как он там оказался?

– Он был немолодым и совершенно одиноким человеком. С первой женой очень давно расстался, со второй тоже; с дочерью отношения не поддерживал. Других родственников не было. В 70-е годы были два человека, как-то ему помогавшие, но потом, по их словам, отношения эти прекратились, для них оказалось невозможным делить время между своими семьями и тяжело больным человеком. И он остался совершенно один. И он действительно был болен.

– Чем же он болел?

– Насколько мне известно, там фигурировали разные диагнозы, в том числе болезнь Менъера. Я полагаю, хоть сейчас трудно реконструировать события, а тогда я была совсем неопытной, что у него был тяжелый паркинсонизм.

Он плохо слышал, плохо видел, не мог нормально передвигаться. И речь была нарушена...

Мне кажется, он считал себя заключенным; поэтому срывал с кровати постельное белье, а полотенце повязывал себе на шею, чтобы не украли предполагаемые сокамерники.

Раньше же, как я слышала, он закупал запасы продуктов. И поскольку ни ухода, ни опеки не было, его и поместили в дом для инвалидов и престарелых. Ну вот, а больше и некуда было ему деваться.

– Вы пытались помочь?

– Пассивно. Я могла осуществлять уход, практически санитарский. Что и делала, навещая Варлама Тихоновича пару раз в неделю... Может быть, ему это и не нужно было, я не знаю. Возможно, я делала это для себя.

– Он получал какую-то лекарственную терапию?

– Должность врача там, безусловно, существовала. Но, пока я там бывала, ни разу врача не видела. Имелись медицинские сестры.

Но я не думаю, что даже адекватное лечение могло тогда положительно повлиять на его состояние.

– А он пытался писать?

– Я ни разу не видела. Обычно он сидел или лежал. Но тот же Морозов каким-то неведомым, непонятным для меня образом общался с ним на литературные темы и умудрился кое-что расслышать и записать.

Я находилась просто совершенно с другого бока, с физической стороны. И мое общение с ним продолжалось всего-то с мая 1981 года по день его смерти, по 17 января 1982 года.

Бывала там также Татьяна Николаевна Уманская (Трусова) – преподаватель литературы. Она разыскала Шаламова, потому что в герое рассказа «Вейсманист» опознала своего деда. Бывала еще Людмила Анис, которая в самиздате прочитала несколько рассказов Шаламова. И так они ее пробрали, что она автора отыскала.

Мы организовали некие дежурства, более или менее регулярные. Лично я больше никого там не встречала – ни друзей, ни близких, ни братьев-писателей.

Правда, в тумбочке Шаламова я обнаружила залежи приглашений на мероприятия в Дом литераторов. Видимо, кто-то присылал или заносил, но людей я не встречала, попались только эти бумажные следы.

В июле или в августе 1981 года Варлам Тихонович заболел воспалением легких. Я приносила антибиотики, делали инъекции. Он выкарабкался. В тот период мы приходили каждый день, потому что Шаламов нуждался в интенсивном уходе.

Надо полагать, что частые визиты насторожили администрацию, потому что однажды меня пригласил к себе главный врач этого учреждения. Он сказал, что множество посещений этого больного не приветствуется и не одобряется. Если далее будет так продолжаться, то Шаламова переведут в интернат для психохроников, куда никому, кроме близких родственников, доступа не будет.

Он добавил также, что на него оказывают давление «оттуда». Я попыталась смягчить ситуацию... Главврач обещал собрать комиссию для освидетельствования Шаламова.

С некоторым трудом мне удалось добиться разрешения присутствовать при этом освидетельствовании. Оно выглядело совершенно кафкианским образом. Прибыли трое неизвестных; они долго беседовали с главным врачом, а потом в его сопровождении отправились в палату. Комиссия проследовала к Варламу Тихоновичу, и мне позволили зайти вслед за ними.

Его спросили, какой сегодня день недели, какое число. На эти вопросы он не ответил – то ли не расслышал, то ли не захотел отвечать. Тогда они покинули палату и огласили заключение: старческая деменция, то бишь слабоумие. И отбыли.

После чего все как-то странно затихло. Я спросила у главного врача, чего же нам ждать дальше. Он ответил: «Посмотрим, только ведите себя тихо. А то шума от вас много».

На Новый год туда приходил Морозов. После Нового года заходили Людмила Анис и я. К тому времени мы, понимая тяжесть состояния Шаламова, завели с медицинскими сестрами человеческие отношения. В журнале передачи дежурств я попросила записать и мой телефон, и

телефон Татьяны Николаевны Уманской. Но никто из персонала ни мне, ни ей не позвонил.

Зато в четверг 15 января вечером позвонила мне в панике Татьяна Николаевна, которая пришла к Шаламову и не обнаружила его на месте. Что-либо сделать в этот вечер мы бы уже не могли, да никто бы нас к нему и не впустил.

В пятницу утром мы туда поехали. Комната была пуста; на батарее висела высохшая пижама, в тумбочке лежали приглашения в Дом литераторов и стопка газет «Московский литератор», портсигар тюремной работы, хотя он не курил, драный бумажник, билет в Ленинскую библиотеку, какая-то квитанция на холодильник (все это я отдала потом в Вологодский музей).

Больная из соседней палаты сказала мне: «Забрали твоего Тихона» (они его почему-то Тихоном звали). Тогда я кинулась к дежурной медицинской сестре. После энергичных расспросов она заглянула в журнал и ответила, что перевели его в интернат для психохроников в Медведково. И даже сообщила мне номер интерната и его адрес.

В субботу утром мы с Людмилой Анис отправились в Медведково. Нашли казенного типа здание, окруженное заледенелым пустырем. Обошли вокруг. Все заперто наглухо. С трудом отыскивали дверь, стали колошматить. Открыл вахтер, буркнувший, что посетителей нет.

Удивительным совершенно образом я уговорила его разрешить нам побеседовать с дежурным врачом. Тот посмотрел в какую-то свою книжку и сообщил: «Да, действительно, доставлен позавчера; имеется запись, что он буен и пытался укусить санитаря».

Я принялась умолять дежурного врача, чтобы он позволил мне навестить Варлама Тихоновича, и он почему-то согласился. Даже дал почитать историю болезни, из коей явствовало, что буквально на следующий день после поступления у Шаламова развилась пневмония. Затем нас пустили в палату.

Был он без сознания. Хрипел. В общем, стало ясно, что он уже уходит. Я поинтересовалась у врача, выполнялись ли сегодня какие-то назначения. Он ответил, что пациентов много и до Шаламова у сестры еще очередь не дошла. Я попросила разрешить мне самой выполнить назначения, ввела ему строфантин и какие-то еще препараты.

Все это носило символический характер и помочь не могло, но я была в каком-то помрачении, плохо соображала. Часа, наверное, через два Шаламов умер у меня на руках, не приходя в сознание.

Тела умерших там отправляют в морг, а затем либо выдают родственникам, либо через три месяца хоронят в общей могиле. И тут до меня дошло, что я же не родственница Шаламову и, значит, тело его

мне, скорее всего, не выдадут. И все-таки надо было попробовать получить свидетельство о смерти.

Пришлось просить выдать мне какую-либо справку, свидетельство, что тело Шаламова – не «бесхозное». И дали мне некую бумагу... Я обрела право похоронить Шаламова.

Обратилась к человеку, который занимался похоронами писателей. Он повесил в холле ЦДЛ объявление в траурной рамке, принялся хлопотать о месте на Троекуровском кладбище и предложил провести торжественную гражданскую панихиду.

Тут со мной что-то случилось, и я заявила, что Варлам Тихонович завещал себя отпеть. На самом деле я никогда не говорила с ним на религиозные темы, но он был сыном священника, и при отсутствии прямого запрета с его стороны его следовало отпеть (по моему разумению).

Писатели посоветовались и согласились на похороны по церковному обряду, но предупредили, что члены Союза писателей там присутствовать не смогут. По совету отца Александра Меня отпевали Шаламова в церкви Николая в Кузнецях.

На могиле Шаламова установили памятник работы Федота Федотовича Сучкова – тоже бывшего заключенного. Он отлил в бронзе копию деревянного скульптурного портрета, выполненного им еще при жизни Шаламова, потратил собственные деньги при монтаже памятника. И множество людей собирали деньги для этого.

В 2000 году эту бронзовую скульптуру украли с могилы. Позднее усилиями Вологодского музея Шаламова и держательницы шаламовского архива И.П. Сиротинской там была заново установлена чугунная копия памятника.

Я бываю там очень редко.

Записал Виктор Тополянский

---

Справка «Новой»:

Виктор Давыдович ТОПОЛЯНСКИЙ – врач, писатель и историк-архивист.

«Последний этап гражданина Шаламова», интервью «Новой газете», 08.11.2007. Сетевая версия на сайте газеты  
<http://www.novayagazeta.ru/arts/33354.html>

---

«Мне попадались некоторые тексты, в которых упоминается, что перед смертью Варлама Тихоновича какие-то недобросовестные люди в каких-то своих корыстных интересах к нему приходили. Это как надо понимать, в каких таких корыстных интересах?! Это инвалидный дом! Вы находитесь внутри картины Босха – без преувеличения, я тому свидетель. Это грязь, смрад, разлагающиеся полуживые люди во круг, какая к чёрту медицина там? Обездвиженный, слепой, почти глухой, дёргающийся человек – такая вот раковина, и внутри неё живёт писатель, поэт. Время от времени несколько человек приходят, кормят, поят, моют, за руку держат, Александр Анатольевич вот ещё разговаривал и стихи записал. Какие тут могут быть корыстные интересы?! Это вообще о чём?»

«[...] то, что меня в своё время так поразило: у него была нарушена способность правильно двигаться, происходили насильственные движения шеи и головы, у него была нарушена способность внятно артикулировать свою речь... но у него не был нарушен интеллект! Внутри этой чудовищной скрюченной, дергающейся, почти немой оболочки, находившейся в чудовищных условиях, был живой, страдающий, гениальный человек. Всеми забытый в доме скорби».

Из выступления Елены Захаровой на международной Шаламовской конференции, июнь 2011 года. Сетевая версия на сайте [shalamov.ru](http://shalamov.ru/memory/179/)

---

«Валерий Васильевич ссылается и даже цитирует текст Ирины Павловны Сиротинской [...] – что бедная беззащитная старость Шаламова стала «предметом шоу»; кавычки закрываются, и дальше Валерий Васильевич пишет: это совершеннейшая правда. Это не совершеннейшая правда. Безусловно, публикация в «Вестнике РХД» сыграла негативную роль в обстоятельствах последних месяцев. Потому что последние тревожные месяцы с угрозой перевода из учреждения – это, конечно, было не просто так. Но я категорически не согласна с формулировкой «шоу», я категорически не согласна с формулировкой «постановочные фотографии», не согласна как человек, который там был – недолго, но

был. Не было там никакого шоу и никакой «сиделки из КГБ» там никогда не было! Никогда, ни одного раза!

Есипов В.В.: С Ириной Павловной спорьте...

Захарова Е.В.: Валерий Васильевич, Вы ее цитируете, и Вы могли бы – это очень нескромно с моей стороны, но – Вы могли бы и меня процитировать. Но Вы выбрали позицию Ирины Павловны – это Ваше право. Но и мое право сказать Вам об этом: никакой сиделки под дверью комнаты Варлама Тихоновича Шаламова никогда не было! Ни под дверью, ни внутри. Никто за ним не следил. И за нами тоже.

Есипов В.В.: Елена Викторовна, вы появились там в сентябре 81-го года, а Ирина Павловна ходила туда с 79-го года...

Захарова Е.В.: Начиная с того момента, о котором я могу засвидетельствовать – не было. Да, не было».

Из выступления Елены Захаровой на обсуждении книги В. Есипова «Варлам Шаламов» в Музее истории ГУЛАГа, Москва, сент. 2012. Электронная версия на сайте shalamov.ru <http://shalamov.ru/events/47/>

*Елена Викторовна Захарова (род. 1957), врач, ухаживавшая за Шаламовым в доме престарелых, дочь переводчика Виктора Хинкиса, переводчик, завотделением Боткинской больницы в Москве*





## Светлана Злобина

Текст интервью, взятого у Светланы Злобиной Валерием Есиповым и Анной Гавриловой и напечатанного в «Новой Газете» 19.10.2012

<http://en.novayagazeta.ru/arts-and-sports/55025.html> в статье «Чистый переулочек станет еще и честным».

линии Шаламову?

---

« – Кто вы по родственной

– Варлам был женат на Галине Игнатьевне Гудзь. Ее старшая сестра Мария Игнатьевна – моя свекровь. Я вышла замуж за ее сына Кирилла в 1948 году. Кирилл 1923 года рождения, был на фронте, после войны учился в геологоразведочном институте, там мы познакомились и затем поженились. С 1948 года я стала жить в квартире Гудзей в Чистом переулке в одной комнате с Марией Игнатьевной. Шаламов тогда находился на Колыме. Его хорошо помнил Кирилл по своему детству, до ареста Шаламова в 1937 году. Конечно, помнил он и Галину Игнатьевну. После ареста Шаламова, через два месяца, ее как жену «врага народа» отправили в ссылку в Туркмению, под Чарджоу. Она взяла с собой маленькую дочь Леночку, ей было три года.

Это было страшное время для всей семьи. Ведь еще в декабре 1936 года арестовали самую старшую из трех сестер – Александру Игнатьевну. Она работала ответственным секретарем газеты «Фронт науки и техники», была умным и принципиальным человеком, Варлам ее очень любил. Они оба оказались на Колыме, но встретиться там не смогли – Александра Игнатьевна умерла (все это описано в воспоминаниях Шаламова, в главе «Ася»).

Родители, конечно, были потрясены неожиданными арестами. Игнатий Корнильевич Гудзь – а он был старый большевик, работал в Наркомпросе вместе с Луначарским и Крупской – и так уже болел, а эти тяжкие испытания добились его – он умер в 1938 году. Его жена Антонина Эдуардовна продержалась немного дольше, умерла в 1942 году в эвакуации. Они вместе с Марией Игнатьевной эвакуировались в Туркмению к Галине. Потом Мария Игнатьевна забрала Леночку с собой, чтобы определить ее в школу. В 1946 году Галина вернулась из ссылки, но в Чистом ее лишили прописки, она устроилась бухгалтером в какую-то строительную организацию и получила место в общежитии. Леночка продолжала жить в Чистом. Потом, когда Галине дали комнату, они соединились с мамой. Школу Леночка закончила с золотой медалью.

В 1951 году нас с Кириллом отправили в экспедицию на Чукотку. Там я увидела многое из того, что потом описал Шаламов. Там тоже были лагеря Дальстроя, и хотя наша работа была в основном полевой, мы часто соприкасались с заключенными. Приехали с Чукотки в 1954 году и снова стали жить в Чистом переулке. К этому времени Варлам вернулся с Колымы, но жил на 101-м километре, работал на торфопредприятии близ станции Решетниково. В Москву он приезжал обычно один раз в две недели, специально копил два выходных, чтобы побыть подольше. И часто приходил в Чистый переулок, провести вечер и заночевать.

Не знаю, встречался ли он с Галиной, но было видно, что их отношения охладелись, а Леночка совсем не приняла отца. Она его почти не помнила – все-таки семнадцать лет прошло, но главное не в этом: Галина, как ни странно, воспитывала дочь в духе партийной официальности и сама в своем поведении придерживалась такой же официальности. Она была напугана сталинскими репрессиями. Конечно, Варламу, который, как мы теперь знаем, в это время уже начал писать свои «Колымские рассказы», было трудно найти с ними что-то общее. Но к родственникам, к Марии Игнатьевне и к нам он тянулся. Когда Мария Игнатьевна тоже начала отдаляться от него, он целиком переключился на нас с Кириллом. Наверное, потому что мы тоже были на Севере и знали, что это такое. Мы вместе обедали и ужинали, пили чай. Варлам это ценил – он ведь отвык от домашней пищи. Нравилось ему мои творожные коржики. Разговоры шли за полночь, о самом разном, часто просто бытовом и семейном. Видно было, что Варлам теплеет от этих встреч.



– Он приезжал свободно, без оглядки? Ведь он еще не был реабилитирован и, как стало известно теперь, за ним вели слежку «органы».

– Да, все эти приезды Варлама в Чистый были тайными, нелегальными. Во-первых, потому что тогда для бывших заключенных, еще не реабилитированных, пребывание в Москве более суток считалось нарушением режима. Во-вторых, в нашей квартире продолжал жить Борис Игнатьевич Гудзь, брат трех сестер, бывший сотрудник ОГПУ и внешней разведки. Он Шаламова сильно не любил, можно сказать даже – ненавидел, что было взаимным.

Все приходы Варлама к нам сопровождалось большими предосторожностями. Наша квартира №7 располагалась на четвертом этаже. К этому времени, к середине 1950-х годов, она стала коммунальной. Две комнаты занимал Б.И. Гудзь с женой, одну – мы, и жил еще сосед-инвалид. Чтобы Варламу прийти незаметно от Бориса Игнатьевича, мы договорились, что он будет стучать тихонько в стену нашей комнаты, примыкающей к лестничной площадке. Потом он быстро проходил к нам, мы запирали дверь и включали радио, чтобы не слышались разговоры. Но однажды Гудзь все же заметил Шаламова. Что же он сделал? Сразу стал звонить в милицию: «Задержите такого-то нарушителя режима!» Варламу пришлось быстро уходить. После этого случая он старался предварительно звонить по телефону. Когда Шаламова реабилитировали в 1956 году, Борис Игнатьевич этому страшно удивился и возмутился. Помню, он даже весь побелел от ярости и кричал: «Этого не может быть!»

– С чем все это связано, как вы думаете?

– Конечно, с профессией Бориса Игнатьевича. Хотя он к этому времени уже не служил в органах, а работал директором какой-то автобазы, навыки чекиста сохранились. Кроме того, он был убежден в политической неблагонадежности Шаламова, считал его «троцкистом». Его роль в аресте Варлама в 1937 году еще до конца не выяснена.

– На этот счет есть прямое свидетельство самого Шаламова в его воспоминаниях «Несколько моих жизней»: «Донос на меня написал брат моей жены». Документально подтвердить это сегодня трудно, но писатель имел какие-то основания так утверждать.

– Наверное, имел. Борис был правоверным сталинцем. Такой характерный пример: когда арестовали Асю и Варлама, Антонина Эдуардовна, жена И.К. Гудзя, стала ходить к ним в Бутырку, носить передачи, Борис страшно возмущался: «Они – враги народа, а она туда ходит». В семье в связи с этим был тяжелый скандал. Борис все время забегал в комнату к Игнатию Корнильевичу и что-то доказывал. И однажды отец ему сказал: «Выйди из комнаты, закрой дверь с той стороны и никогда больше не заходи». Когда отец умер, Борис даже не пришел на похороны. Это тоже говорит о его характере.

Все это мне рассказывал Кирилл, но я и сама прекрасно знала Бориса Игнатьевича, он умер ведь не так давно, в 2006 году, прожив 104 года. О нем много писали в газетах в связи с его 100-летием как о «заслуженном чекисте», «ветеране разведки». Вероятно, у него были какие-то действительные заслуги, когда он работал резидентом в Японии в 1933 – 1935 годах. Но поверить в то, что он в это время «курировал» Рихарда Зорге (как говорил в своих интервью) я не могу, прихвастнуть он любил. Сохранилась его фотография из японского периода: он в шортах у автомобиля. То есть он был шофером при советском посольстве и исполнял еще какие-то неведомые шпионские и иные обязанности.

Неопровержимо другое: вернувшись в Москву в 1936 году, он начал ревностно исполнять обязанности бдительного чекиста в своей семье. Это видно и на судьбе Шаламова. Могу сказать прямо: Борис Игнатьевич всегда был очень скрытным и неискренним человеком. И его «историческая роль» (если таковая имеется) нуждается в серьезной переоценке.

– Ваше общение с Шаламовым в Чистом переулке продолжалось до 1956 года. Виделись ли вы позже?

– Он в том году женился на О.С. Неклюдовой (Либединской), переехал к ней, а мы уехали на работу за границу. Пути, как говорится, разошлись. Но мы всегда следили за литературой и нередко встречали стихи Шаламова в журнале «Юность». Потом нам дали почитать самиздатские «Колымские рассказы». Было понятно, что он стал большим писателем, но живет трудно. Беспокоить его мы не решились.

Я встретила его случайно в метро на станции «Красносельской» в начале 1970-х годов. Варлам сказал, что в метро почти не ездит, пото-

му что у него расстройство вестибулярного аппарата (его действительно пошатывало). Он очень обрадовался, расспрашивал о нашей жизни, записал адрес, а потом прислал письмо на имя Кирилла, в котором писал, что вспоминает меня «с величайшей и глубокой благодарностью». Письмо я, конечно, храню и очень рада, что хоть немного поддержала Варлама Шаламова в жизни в трудный период до реабилитации».

*Злобина Светлана Ивановна (род. 1927), геолог, дальняя родственница Шаламова, была знакома с ним в период его послелагерной ссылки в середине 1950-х годов*





## Натан Злотников

«У него была легкая походка. Это казалось невероятным для человека едва ли не двухметрового роста, с могучим разворотом плеч, с той совершенно богатырской статью, которой природа все реже наделяет людей; но в этот раз она щедра была не понапрасну – путь, который выпал Варламу Тихоновичу Шаламову, был неизмеримо тяжел, порою трагичен.

Художнику одному дано увидеть иногда то, что необходимо всем, и он отправляется к своей цели наикратчайшим путем,

напрямик – поэтому всегда идет по первопутку, всегда рискует. Однако каждый, кто идет путем художника, счастлив.

Эти строки – скромный знак запоздалой благодарности моей, – быть может, лишь беглым светом осветят некоторые вехи шаламовской жизни, жизни, которая заслуживает глубокого изучения. Он появлялся всегда внезапно, неслышно проходя редакционными коридорами, – я уже говорил, как легок был его шаг, – усаживался, закидывая ногу на ногу и сплетая пальцы рук на остром колене. И все же в этой его, казалось бы, совершенно статичной позе таилось много движения. Иногда подолгу молчал. Но всем в его присутствии было хорошо и спокойно, как будто по соседству с большим и сильным деревом. Говорил мало, преодолевая некоторую затрудненность речи, с застенчивостью, свойственной прямодушным натурам. И каждая фраза странным образом походила на того, кому обязана была своим рождением. И стихи были похожи на него: строгость, аскетичность и, может быть, даже суровость слога сопутствовали достоинству глубокой оригинальной мысли, отваге и бесстрашию сердечного порыва. [...]

У В. Шаламова были особые отношения со словом, он верно и строго служил слову, и оно служило ему. В этой взаимности не было и

тени компромисса, а всегда присутствовала готовность к самопожертвованию – так друг служит другу».

Из предисловия Натана Злотникова к публикации эссе и прозы Шаламова в журнале «Юность», №3, 1987, сетевая версия материала – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/164986.html>

*Натан Маркович Злотников (1934-2006), поэт, с начала шестидесятых по конец девяностых работал в журнале «Юность» на должностях от литературного консультанта до заместителя главного редактора*





## Александр Зорин

Его отпевали у Николы в Кузнецках – в Никольской церкви на Новокузнецкой. Давно закончилась литургия и разошлись священники, а гроба все еще не было. Мало ли с чем связана задержка... Шаламов – опасный покойник. Могут быть антисоветские выпады, стихийное выражение чувств. Российская власть всегда внедряла свое свинцовое око в погребальный обряд писателей, которых опасалась, – от Пушкина до Высоцкого.

Но сегодня манифестаций быть не могло: провожающих Варлама Тихоновича в последний путь собралось не много. Горстка почитателей жалась у ворот. Среди них – Евгения Самойловна Ласкина, редактор отдела поэзии столичного журнала, пробивавшая его подборки; поэты Владимир Леонович, Вадим Рабинович, Анатолий Сенин...

Наконец подкатил катафалк, и оттуда выпрыгнул на хрустящий февральский снежок архангелоподобный Андриуша Бессмертный. Гроб поставили на середину храма, и народ сомкнулся вокруг, как смыкается вода в колодце над опущенным ведром. В безмолвном оцепенении прошло еще минут тридцать.

«Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков...» – начал заупокойную литию отец Александр Мень. Ему прислуживал незнакомый дьякон, обладавший роскошным баритоном. Хора не было.

Большинство из пришедших на похороны – народ явно не церковный. Стоявшие спиной к алтарю не расступились, да и не заметили, когда открылись Царские врата. Запрестольный образ «Спасителя, грядущего в славе» так и остался для усопшего закрытым, что противоречит обряду: новопреставленный готовится к встрече с Господом и как бы должен «видеть» Его. «Видеть» мешала массивная приземистая

фигура литератора, с которым я когда-то дружил и хорошо знал его беспросветную жизнь. Асимметричное лицо серо-землистого цвета, растерянный взгляд. Кое-кто осенял себя крестным знамением, теплились в кулаках редкие свечечки.

Заколачивать гроб решили на кладбище – кто-нибудь, возможно, поедет проститься туда. Я не уверен, находились ли в храме его родственники. И вообще, есть ли они у него...

Стихов Шаламова я не помнил наизусть и спросил знакомого литератора, не захватил ли он книжку его стихотворений? Голос из-за плеча мгновенно предупредил: «Покойный не хотел шума на похоронах, чтения стихов». Голос принадлежал вездесущему «доброжелателю», наверняка из числа тех, кто тоже самое говорил на похоронах Пастернака. Но на тех похоронах народу было несравнимо больше и предупредительных советов не слушались.

В автобусе, по дороге на кладбище, пустили по рукам внутреннюю рецензию издательства «Московский рабочий» на последний сборник его стихотворений. Рецензия положительная, но сборник так и не вышел. И листочек – гневный, обжигающий руки обидой и жалостью. В нем крупно несколько строк о том, что предсмертные дни Шаламов отбывал в психушке, куда его, отрубив от участия близких, засунул Литфонд. Потерявший ум, в параличе, грязный, одинокий, он умер на семьдесят пятом году жизни.

Несколько лет он жил в доме престарелых. Там его все-таки опекали верные помощники. Удалось установить дежурство – по средам и пятницам. Больничную пищу он есть отказывался. Боялся, что отравят. Когда друзья принесли ему «Колымские рассказы», его книгу, изданную за границей, он ее уже видеть не мог и долго-долго ощупывал руками.

Однажды я заметил человека, переходящего Садовое кольцо на площади Восстания. Человек конвульсивно размахивал руками, ноги его заплетались, голова дергалась, скособоченная к левому плечу. Казалось, он вот-вот упадет, и я держался поближе, чтобы успеть его подхватить. Оказалось, что человек идет туда же, куда и я, в ЦДЛ. В вестибюле надо подняться по ступенькам, я хотел помочь, он гневно обернулся, едва не оттолкнув меня. Тут я узнал его. В этот день он принес свои стихи в «День поэзии».

Гроб поставили на краю могилы, и после короткой последней молитвы вышла пауза. Наверное, она возникла для того, чтобы мы обратили глаза к небу. Там, в беззвучной бездне, медленный самолет вычерчивал широкий серебряный крест.

К могиле приблизился старичок, скульптор Борис Сучков, и, запинаясь, прочитал одно стихотворение Шаламова. «Извините, – сказал он почему-то те же слова, что я слышал в храме, – покойный не хотел шума на похоронах и чтения стихов... Но я выбрал одно...»

Еще два человека осмелились прочитать по стишку. Гражданин, мрачный, как Харон, спокойно и по-деловому подносил микрофон к каждому читающему. Судя по аппаратуре и поведению, явно западный репортер. Те, вездесущие, тоже, наверное, записывали, но тайно.

Могильщики быстро сделали свое дело, и мы помогли им – по горсточке, по комочку...

Редкая цепочка провожавших потянулась на дорожку. И вдруг – навстречу колонна военных. Над колонной кумачовый гроб. Мы, ступая по глубокому снегу, прижались к оградкам могил. За барашковыми папахами и серыми шинелями шли родственники, потом рота солдат с винтовками, потом духовой оркестр, трудно дышащий, ухающий траурной колотушкой. Мне показалось, что мы стояли вечно, вдавленные в железные прутья.

Я поднял голову. Крестообразный след от самолета уже развеялся.

«Тихие похороны Шаламова», «Новая газета», 18.06.2007. Сетевая версия на сайте газеты <http://www.novayagazeta.ru/arts/35233.html>

*Александр Иванович Зорин (род. 1941), поэт, прихожанин о. Александра Меня, деятель христианского экуменического движения*





**Вячеслав Всеволодович  
Иванов**

45 лет назад Б. Л. Пастернак дал мне почитать две толстые общие тетради, полученные им от ссыльного поэта, стихи которого были записаны в них чернилами ровным почерком. Он просил меня обращать внимание на сильные места: ему нужно скоро написать

автору. [...]

Высокая и странная фигура Шаламова запомнилась в дни после смерти Пастернака, возле его дачи и потом на могиле. Тогда он написал и читал стихи, выразившие общее чувство:

Толпа гортензий и сирени  
И сельских ландышей наряд –  
Нигде ни капли смертной тени,  
И вся земля – цветущий сад.

Вскоре мы начали читать самиздатские тексты лагерных рассказов Шаламова – едва ли не самого оригинального и убийственно точного литературного воплощения пережитого времени. Помню разговор о них с Фридой Вигдоровой, которая раньше многих оценила их несравненную достоверность и нравственную силу и волновалась, что им не дадут дойти до печати. Она была права, прозу Шаламова стали публиковать в России только после реформ, начиная с 1988 г. Его полная тематическая и стилистическая бескомпромиссность, отсутствие фальши и традиционности делали сосуществование с официальной советской прозой невозможным.

В нашей неофициальной литературной и общественной среде после-хрущевского времени судьба и проза Шаламова были из самых заметных явлений. Мы с ним тогда сблизились, часто встречаясь у

Надежды Яковлевны Мандельштам. Ее воспоминания были для него примером нового вида литературы, одновременно документальной и обладающей своей, прежде невиданной формой. В эссе о прозе Шаламов иллюстрирует этой книгой мысль о возникновении новых документальных литературных форм, приходящих на смену роману и рассказу, отжившему свой век.

Читая машинопись «Колымских рассказов», полученную от автора, я задавал себе и ему вопрос: не служит ли он сам, его человеческая и литературная судьба опровержением его тезиса о том, что лагерь лишает прошедшего через него всего человеческого, что в лагерном опыте есть только отрицательный смысл. Отвечая на мои сомнения, Шаламов настаивал на своем. Он боялся ложного утверждения очистительной роли этого полностью негативного испытания. [...]

То, что физически он был все же разрушен, бросалось в глаза даже до его последних старческих хворей, отнявших у него сперва слух, потом зрение, вернувших лагерные страхи и привычки. Когда я шел с ним рядом по улице, становилось больно: полностью была расстроена координация движений. [...] И эта высоченная фигура, все составные части которой двигались порознь, была сверходухотворенной. Надежда Яковлевна Мандельштам как-то мне сказала, что внешность Шаламова ей напоминает современную авангардистскую скульптуру из железа. Не только его стихи и проза, родившиеся из смертоносного опыта, он сам оставался произведением искусства.

В нем была страстность. В его мыслях, в категорическом отрицании советского режима. Когда в декабре 1965 г. состоялась первая (после почти сорокалетнего перерыва) политическая демонстрация в защиту Синявского и Даниэля, Шаламов, двадцатилетним юношей участвовавший в предыдущей демонстрации оппозиции в ноябре 1927 г. под лозунгом «Долой Сталина!», пришел к Пушкинской площади. Когда, встретившись через несколько дней у Надежды Яковлевны, мы с ним делились впечатлениями, он сказал мне, что стоя в переулке, сосчитал, сколько было участников. И нашел их число обнадеживающим. Отомстить за замученных и погибших он считал своим и нашим общим долгом. [...]

Едва ли не основная черта житейской позиции Шаламова – полная независимость. Никому ничем не быть обязанным, никого не просить, отказаться от посылок, от любой помощи. Только на самого себя надеяться, зная, что всякий другой в лагере может предать. Когда думаешь о Шаламове, из русского прошлого, из великих образцов литературы и жизненного геройства прежде всего встает Аввакум. Шаламову это сравнение тоже приходило на ум. [...]

Вместе с Аввакумом Шаламов вошел в многовековую историю русского мученичества, долготерпеливого и гордого борения за право на свободу и правду.

Он не признавал расхождения слова с делом. Шаламов был осознанным врагом диктатора. [...]

Я вспоминаю старое изречение о том, что в России литература вынуждена заменять все отсутствующие общественные установления. У нас не было Нюрнбергского суда, никто не осудил людоедов, загубивших десятки миллионов самых смелых и одаренных русских людей, многие из виновных обладают и сейчас финансовой или политической властью. Но у нас есть книги Шаламова. В них сказано все главное, что надо знать о том времени.

Из эссе «Аввакумова доля», опубликовано в «Избранных трудах по семиотике и истории культуры» – М., 2000. – Т.2. Сетевая версия на сайте Варлам Шаламов <http://shalamov.ru/authors/104.html>

---

Поскольку я был многообразно связан с творчеством Шаламова и с ним самим, я в какой-то степени буду выступать не только в роли учёного, анализирующего Шаламова, но и одновременно просто буду говорить как человек, который его знал и рано познакомился с его творчеством [...]

Надежда Яковлевна Мандельштам, с которой я уже давно дружил, получила маленькую квартиру в Москве. Как-то раз, придя к Надежде Яковлевне, я застал у неё Шаламова. С тех пор мы регулярно встречались, главным образом у неё, даже немножко переписывались, в частности он посылал мне новогодние поздравления. Как-то вместе возвращались от неё пешком (а разок в такси) и разговаривали уже без неё. То есть я был в довольно большом контакте с ним. Пожалуй, из отдельных разговоров я хочу привести два, потому что они оба представляются мне крайне интересными. [...]

Один разговор состоялся в тогданный день конституции, в декабре 1965 года. За два месяца до этого были арестованы друживший со мной – не очень крепко, но тем не менее мне известный – Андрей Сивянский и совсем мне незнакомый Даниэль. [...] Состоялась демонстрация, Есенина-Вольпина схватили в момент, когда он поднял маленький флажок, на котором было написано: «Уважайте нашу Консти-

туцию!». Я стоял рядом с ним, меня они не схватили, но это отдельная история, тут можно только строить догадки. А его тут же усадили в машину и увезли. Через несколько дней, вскоре после этого, мы встретились с Шаламовым у Надежды Яковлевны Мандельштам. Он мне сказал, что не хотел смешиваться с нами, с этой небольшой группой. Там было, наверное, человек сорок и, я думаю, не меньше стукачей. То есть стукачи создавали видимость более обширной демонстрации, как это часто до сих пор бывает. Шаламов наблюдал за нами, стоя рядом в переулке. Но он мне сказал, что сосчитал нас, как раз цифры я помню от него. И он считал, что это очень важное событие, потому что это первая демонстрация после троцкистской демонстрации 27-го года, которая была разогнана. Собственно, никаких политических демонстраций после этого до 65-го года не было – огромный промежуток времени. Он считал, что само по себе возрождение демонстраций – это очень важное событие.

[...] Второй разговор был, когда Шаламов мне уже довольно много давал читать своих произведений о лагере. И я как-то, встретившись с ним у Надежды Яковлевны, говорю ему: «Варлам Тихонович, всё-таки я с одним не могу согласиться. Я не могу согласиться с тем, что Вы утверждаете, что каждый человек, прошедший через лагерное мучение, теряет человеческий облик, что невозможно сохранить себя как человека. Для меня Вы являетесь опровержением этого, Вы же сохранились несмотря ни на что!». И Шаламов очень убеждённо стал мне говорить, что я ошибаюсь, что всё-таки и его всё это коснулось. Он не излагал мне подробностей, но, конечно, ужасное состояние его нервной системы было для всех нас очевидным, физически наблюдаемым. Как-то мне Надежда Яковлевна в его отсутствие сказала замечательную вещь: что он был похож на современную ультра-авангардно-модернистскую скульптуру из металла. Знаете, такие скульптуры, которые как бы изображают человека, но нарушают законы симметрии. Вот так он выглядел. Мы с ним не раз шли по улице, и я всякий раз поражался тому, что он это преодолевал и мог идти, скажем, рядом со мной или с другим человеком, который более или менее нормально двигался. Шаламов умел мобилизовать свой организм, который, конечно, подчинялся ему с трудом.

Вот этот второй разговор для меня был значим ещё потому, что он как бы продолжал один мой разговор с Солженицыным. А с Солженицыным меня познакомил мой тогдашний друг Лев Зиновьевич Копелев [...] в то время он [Солженицын] часто бывал у меня или вместе со мной у Копелева или Чуковских и других общих знакомых, а в Рязани один раз я у него, и, в частности, он просил меня приехать к нему в

Солотчу под Рязанью, где он тогда жил, для того чтобы я читал его роман «В круге первом». Он боялся выпустить рукопись из дома, тем более за мной тоже следили, было известно, что я участвовал в антиправительственных акциях. Поэтому он просил, чтобы я приехал к нему туда, поселил меня в бывшей монастырской гостинице в Солотче. Сам он был в Рязани, но приезжал ко мне в течение двух-трёх дней, пока я читал роман. И когда я кончил читать, мы с ним его и другие его сочинения обсуждали, в частности, он обсуждал со мной замысел «Архипелага ГУЛАГа», в котором я потом принял участие. Я среди тех трёхсот людей (которых он перед смертью перечислил), кто давал ему материал для «Архипелага ГУЛАГа». Он мне сказал, что он незадолго до того приглашал в Солотчу и Шаламова, который жил в той же гостинице, куда он меня поместил. А идея у него была – уговорить Шаламова писать существенные куски из «Архипелага ГУЛАГа». И они разошлись полностью по той причине, которую я уже назвал: потому что Шаламов считал, что человек в лагере не выдерживает, человек в лагере погибает. А Солженицын пытался доказать и писал об этом и в «Архипелаге...» тоже (хотя это не было главной темой «Архипелага...»), в отличие от «Одного дня Ивана Денисовича»: нет, человек в лагере сохраняется, сохраняет там любовь к труду. Всё это Шаламов считал лакировкой со стороны того литературного дельца, которым, думаю, с полным основанием он считал Солженицына. Так что для меня было понятно, что их расхождение основывалось на очень принципиальном подходе к этой главной проблеме, которую сегодня вы здесь обсуждаете: проблеме того, какова литература после Колымы, Колымы и Освенцима. Если люди погибают во всех смыслах – пройдя через мучение пыток и лагеря, – то литература не имеет права не писать об этом. И попытки, как это делал Солженицын, скрыть этот факт, построить искусственную литературу на отрицании этого бесспорного факта – это вызывало у Шаламова, как и у меня, резкое отторжение. [...]

Теперь я перейду к тому, что с этой точки зрения я нахожу замечательным в поэзии Шаламова. [...]

Удивительно, что этот человек, прошедший через все мучительные испытания, не только сохранил основное в себе, но смог создать совершенно новое направление в поэзии, которое, я думаю, до сих пор не оценено. Вы знаете, Россия – это страна, в которой всё происходит очень медленно. Иногда говорят, что в России надо долго жить. Но я сам, быть может, пример того, что, действительно, лучше жить долго: что-то к концу жизни начинаешь понимать. Но при этом нисколько не стоит надеяться на то, что понятое тобою будет вовремя оценено. Я

думаю, что время для правильной оценки величия Шаламова как поэта ещё не наступило. Я сужу об этом по нашей молодой поэзии. Произведите опрос наших молодых поэтов, какие бы они ни были. Пока для них Шаламов – это не источник вдохновения. Если спрашивать кого-то: а кого вы любите? Будет стандартный набор имён, который мы все знаем. В этот стандартный именной набор Шаламов, конечно, не входит. Не потому, что он кажется меньше, а из-за той идеи, что надо иметь пантеон, надо иметь маленькую группу достопримечательностей в каждой области. При Сталине вообще желательно было иметь по одному человеку: Станиславский в театре, Павлов в психологии и так далее. Сейчас нам общественное мнение разрешает иметь четырёх главных поэтов Серебряного века и позднего периода, но не больше. Но Шаламова никто не решится туда включить, потому что в конце концов люди, в том числе и молодые поэты, – рабы некоторого условного, усреднённого общественного мнения. А Шаламов всю свою жизнь писал вопреки условному общественному мнению, как сталинского времени, так и времени после него. [...]

Ответы на вопросы (фрагменты):

– Вы сейчас привели совершенно потрясающее свидетельство, что Солженицын пытался вместе с Шаламовым писать «Архипелаг ГУЛАГ», что Солженицын пытался сделать его соавтором. [...] Но кроме того Вы высказали другую удивительную вещь: что не состоялась эта совместная работа только потому, что Солженицын и Шаламов по-разному воспринимали возможность лагерного опыта, потому что Шаламов считал невозможным сохранение личности в ГУЛАГе. Я хочу спросить: только ли поэтому они отказались от совместной работы? [...]

– Вы знаете, я начну как раз с «...ГУЛАГа». «...ГУЛАГ» – это проявление очень хорошего организационного редакторского дара Солженицына. Им самим, по-видимому, написана глава, совпадающая в большой степени с главами «В круге первом»: как человек попадает на Лубянку в первый раз, как его раздевают там и так далее. Это очень хорошо написано в романе, ещё лучше, мне кажется, в этой главе в «Архипелаге». Другие части содержат в почти не изменённом виде куски, написанные, скажем, академиком Лихачёвым о Соловках, куски, написанные Белинковым о его испытаниях в лагере. Я говорю о том, что я достоверно знаю. Солженицын сумел эти разнородные тексты, не очень меняя, объединить вместе. Такая коллективная работа, конечно, имела огромное историческое значение, я думаю, как истори-

ческое свидетельство, «Архипелаг...», конечно, очень ценное собрание материалов разных людей. Повторяю, их было примерно триста человек. И Солженицын так эффективно нас всех использовал, хорошо собрал всех вместе. Я думаю, его роль как документалиста-историка со временем будет оценена. Конечно, желательно было бы подробнее изучить, кто что написал, и это пока можно, вероятно, сделать. Я по своему опыту знаю, что Солженицын очень мало менял тот текст, который ему давали. Поэтому на основании этого текста судить, что думал сам Солженицын, не очень легко, потому что это всё-таки комбинация произведений разных авторов, их воспоминаний и свидетельств. А что касается основного противопоставления Солженицына и Шаламова, оно было многосторонним, я согласен с этим, оно не касалось только проблемы того, что происходит с человеком в лагере. Оно касалось и поведения после лагеря. И в частности, Солженицын и Шаламов, конечно, очень отличались в том, как нужно отнестись к публикации своих произведений и их использованию за границей. Для меня поразителен тот факт, что Солженицын на полном серьёзе упрекал Ленина, которого я считаю гениальным политическим теоретиком: он предсказал весь современный глобальный капитализм, уже за одно это занял подобающее место в истории политической мысли и истории России, поэтому нельзя о нём судить так примитивно, как это делает Солженицын или Сокуров в фильме, который не имеет вообще никаких исторических оснований. Солженицын обвиняет Ленина в том, что Ленин взял деньги у немецкого Генерального штаба. Скажите, а чем это отличается от того, что сам Солженицын получил огромные деньги от ЦРУ на публикацию своих произведений? Когда Шаламов обращается в ненапечатанном письме к Солженицыну и говорит ему: «Вы были орудием в холодной войне», он формулирует это правильно. Я думаю, что пришло время об этом говорить. Мы не должны считать, что мы обязаны соблюдать социальные табу. Да, Солженицын сидел в лагере. Я сам относился к нему с симпатией. Он произвёл ряд таких действий, которые меня настроили чрезвычайно против него, не могу это скрывать. Считаю его человеком фальшивым и во многом не соответствующим той роли, которую он в таком карнавале на себя напялил. И надеюсь, что история во всём этом разберётся. Но Шаламов имеет то достоинство, что он одним из первых понял эту фальшивую суть Солженицына.

– Что Вам известно о причинах разрыва Бориса Леонидовича и Варлама Тихоновича? Вначале они были очень близки, но потом их общение прекратилось.

– Мне неизвестно ничего. Всё, что я знаю об Ольге Всеволодовне, преимущественно крайне негативного свойства, я опубликовал в своих воспоминаниях о Пастернаке, которые сейчас полностью напечатаны в журнале «Звезда» в 2009-2010 гг. Дочка Ольги Всеволодовны, с которой я дружил в те пастернаковские годы, Ира Емельянова, на меня обижена и писала даже письмо в «Звезду», хотела поймать меня на каких-то ошибках – но это её дело. Но я допускаю, что Ольга Всеволодовна, которая знала Шаламова, по каким-то причинам не хотела продолжения его общения с Борисом Леонидовичем. Я в своих воспоминаниях привожу некоторые примеры того, как при мне несколько раз Ольга Всеволодовна плохо говорила о каких-то людях, явно пытаясь повлиять на Бориса Леонидовича в смысле ухудшения его отношения к близким друзьям (я её не так много видел, в частности в присутствии Пастернака; он меня с ней познакомил, когда наступили эти тяжёлые дни, сказав, что мало ли что с ним случится, он хочет, чтобы близкие ему люди знали друг друга). Иногда она добивалась кое-чего, я такие ситуации видел. Но было ли это в отношении Шаламова? Там много оснований есть предположить, что было. Хотя я никаких подробностей не знаю и подозреваю, что очень мало кто знает эти подробности. Вообще говоря, об Ивинской, как ни удивительно, довольно мало известно, существует определённое табу, и даже очень хорошей книге Быкова о Пастернаке то, что написано по поводу Ивинской, по-моему, совсем не достоверно.

– У Шаламова в середине 70-х годов вышла статья, которая называлась «Звуковой повтор – поиск смысла». Каково Ваше мнение о попытке Шаламова теоретически сформулировать свой поэтический опыт. Что Вы думаете относительно содержания статьи?

– Я очень высокого мнения о направлении этих исследований. [...] из того, что сделали формалисты применительно к языку поэзии, именно исследование повторов в связи со смыслом – одна из наиболее интересных тем. Однако главная формалистическая работа на эту тему Шаламову не была известна, потому что её написал как раз уже упомянутый мною великий лингвист Поливанов, но не успел её напечатать до расстрела. И она была напечатана много спустя после реабилитации Поливанова, поэтому она не могла быть известна Шаламову. Она называется «Об одном основном принципе фонетической техники», напечатана в журнале «Вопросы языкознания» приблизительно в 60-м году. Она во многом совпадает по направлению со статьёй Шаламова. Вы знаете, если какая-то научная мысль верна, она часто формулируется несколькими авторами. А Шаламов был одним из тех, кто



долго и успешно думал на эту тему. Думаю, что результат, эта его работа, заслуживает большого внимания.

Фрагменты из выступления на Шаламовской конференции, июнь 2011. Сетевая версия на сайте [shalamov.ru](http://shalamov.ru)

Текст <http://shalamov.ru/research/175/>

Видеоролик <http://shalamov.ru/video/19.html>

*Вячеслав Всеволодович Иванов (род. 1929), семиотик, лингвист, переводчик, директор Русской антропологической школы РГГУ, член нескольких академий, сын писателя Всеволода Иванова, живет в США*





## Наталья Иванова

«Я с ним познакомилась в «Знамени» в 1972 году. Я тогда пришла работать в отдел поэзии совсем еще юным существом, и первый поэт, который ко мне тогда пришел, был Варлам Тихонович. Он был человеком абсолютно вне любой литературной среды, она ему была совершенно не только противопоказана, а я думаю, что она ему была и неприятна».

Из интервью на Радио Свобода, 2007, сетевая версия на сайте радиостанции

<http://www.svobodanews.ru/content/article/398201.html>

---

«То, что он в 1972 году был вынужден отречься от публикации на Западе [...] фактически его заставили написать письмо, которое было напечатано в «Литературной газете», то, что публикации на Западе не соответствуют тому, как бы он хотел представить своё творчество, они представляют его не так, как он сам хотел себя представить. И вообще, сделаны вне его воли и распоряжений. Что соответствовало реальности. Это всё так. Но эта публикация Солженицыным ставилась Шаламову не то, что в упрёк, Солженицын написал: «Шаламов умер» после этого. Странно, что для Солженицына сразу не умер Пастернак, после публикации своего письма Никите Сергеевичу. Вот так резко высказался. Что Шаламов воспринял очень болезненно. [...]

Я видела эти тетради, в том числе и тетради «Колымских стихов» и не только, прозы. Это были такие синие тетради в лист печатный, написанные. Там были стихи, написанные синими чернилами, насколько я помню, очень убористым почерком. И ко мне Шаламов приходил, я его помню. Это был первый поэт, который пришёл ко мне, когда я пришла работать в те самые годы в «Знамя». [...] Я пошла ра-

ботать редактором в отдел поэзии. Это был Тверской бульвар, особнячок, с правой стороны от Литературного института, сейчас там какое-то туристическое бюро. И тогда там отдел поэзии, отдел прозы и отдел критики сидели вместе в одной комнате, на первом этаже. Была осень. И пришёл Шаламов, уже лежали его стихи в «Знамени».

Я сказала, что Людмила Ивановна Скорино, несмотря на абсолютную ретроградность своего поведения в кожевниковские годы, а он тогда был главным редактором, она почему-то испытывала нежные чувства к Шаламову. И когда я пришла, я увидела, что ко мне входит человек со следами некоторой болезни на лице и с угловатыми движениями. У него же было такое заболевание, которое отличали головокружения, такая странная походка, он мог в любой момент упасть, в том числе и на улице, и могли не понять, что происходит с человеком, могли подумать, что он пьян.

Но на самом деле это последствия, конечно, лагерные, эта болезнь. Такой странный человек, но с абсолютно выточенным лицом, которое иногда дёргалось, и несколько стихов шли в журнале «Знамя». В том числе стихи, которые так или иначе были связаны с Сибирью, с Севером. Но лагерной темы, как таковой, в них не было. Это было начало 70-х годов. И уже тогда я думаю, что это было после письма Шаламова, напечатанного в «Литературной газете». Он публиковался в «Знамени», чуть-чуть публиковался, 2-3 стихотворения за год в журнале «Юность».

Олег Чухонцев вспоминает о своих встречах с Варламом Шаламовым, они ходили вместе после того, как Варлам Тихонович прочитал вёрстку стихотворения, они ходили вместе в столовую обедать. И Олег Григорьевич Чухонцев вспоминает, как Шаламов брал то, что называется «первое, второе, третье» на подносе. И как он исключительно аккуратно и необыкновенно быстро это всё съедал. Эти последствия тяжелейших лагерных условий, в которых он провёл значительнейшую часть своей жизни, они привели к тому, что не так много он написал, как хотелось бы исторически. [...]

Это был человек, абсолютно закрытый, живший в комнатке в коммунальной квартире. В этой коммунальной квартире люди не понимали, с кем они живут рядом. И закончивший свою жизнь в интернате для хроников, а последние дни, перед смертью, проведший в больнице для психохроников, где он и скончался, потому что ему не могли уже помочь, его просто страшным образом простудили в январе, когда он на носилках ждал своей палаты в течение нескольких часов. Фактически в мёрзлом помещении. [...]

В Вологде существует музей Шаламова, единственный в России музей, хотя у нас в Москве он жил на Садово-Кудринской, 19. Там ни доски, ничего нет».

Из интервью на радиостанции Эхо Москвы, 2009, сетевая версия на сайте радиостанции <http://www.echo.msk.ru/programs/all/602461-echo/>

*Наталья Борисовна Иванова (род. 1945), литературный критик, редактор, литературовед*





**Иван Исаев**

### *Первые и последние встречи*

Когда я пишу эти маленькие заметки для памяти – Варлам Тихонович Шаламов жив, однако находится в таком физическом состоянии, что вряд ли сможет вернуться к творческой деятельности.\*

Двадцать пятого мая текущего года мне пришлось помочь молодой женщине из Литфонда – Наталье Ивановне – отправлять Шаламова в дом для престарелых инвалидов, который мы в разговорах

между собой называли более мягко – пансионатом.

Нужна ли была такая крайняя мера для этого человека? Видимо, нужна. Другого реально осуществимого варианта никто из его знакомых и близких не находил.

В последние два или три года (не знаю точно) Шаламов потерял всякую работоспособность. Он давно, более десяти лет, ничего не слышит, потеряна координация движений. Выходя на улицу погулять, он часто не мог самостоятельно вернуться к себе домой. Иногда в таком состоянии его подбирала скорая помощь и он оказывался в первой попавшейся больнице без денег, документов. Последнее время речь Шаламова стала совершенно непонятной, но самое страшное из всего – это потеря зрения.

В середине апреля нам с женой (Галиной Александровной Воронской) позвонила какая-то женщина с квартиры Шаламова и передала его просьбу, чтобы мы к нему приехали.

Потом эта женщина позвонила еще раз вечером из своего дома и, наверное, целый час рассказывала моей жене, как она в течение ряда лет бескорыстно, как поклонница таланта, ухаживает за В. Т., но он ее ругает и гонит из своей квартиры, не дает денег\*\*. Жена из этого рассказа вынесла впечатление: хорошо, что за Шаламовым ухаживает эта добрая душа.

Я большой скептик, чем женщины, и не привык верить только одной стороне, по этой причине своего мнения сразу высказывать не стал.

На другой день мы поехали к Шаламову на Васильевскую улицу. Женщина, звонившая нам, тоже обещала приехать, но приехала, как потом выяснилось, много позже, когда нас там уже не было. На звонок дверь открыла соседка Шаламова – простая, пожилая и, видимо, добрая женщина. Сам он никаких звонков не слышит. Открыв дверь в комнату Варлама Тихоновича, мы увидели картину, подробно описывать которую было бы просто святотатством. Я сразу убедился, что никто за Шаламовым по-человечески не ухаживает, пусть даже корыстно. Сам он стоял посреди перевозданного хаоса своей комнаты, неуверенно изучал руками пространство вокруг себя.

– Варлам Тихонович, – окликнули мы его, но он молчал.

– Вы громче, – сказала соседка, – он не слышит.

Я первым вошел в комнату, на полу которой валялись страницы какой-то рукописи (это нетрудно было определить по хорошо знакомому, почерку), а также журналы, газеты, книги. Подойдя вплотную к Шаламову, я взял его за руку и громко сказал почти в самое ухо, что это мы пришли к нему в гости. Шаламов обрадовался, жал нам руки, но мы тогда не заметили, что он ничего не видит и узнал нас только по голосу.

Кое-как освободив нам место на старом венском стуле и табуретке с пластиковым сиденьем, Варлам Тихонович тут же начал излагать жене неосуществимые проекты своей личной жизни и подробно рассказывать, в какой современной больнице он находился, и что все там блещит.

– Я в такой больнице никогда в жизни не лежал, – говорил Шаламов.

Из всего, что он рассказывал, я, самое большее, понимал десятую часть.

Наконец, улучив время, я вышел и постучал к соседке (той, что открыла нам дверь). Зовут ее Анастасия Федоровна. Здесь же, только в другой комнате, живет ее сын с невесткой. Они уже получили двухкомнатную квартиру и скоро уезжают. На мой вопрос, давно ли в таком состоянии Варлам Тихонович, она сказала – давно. Его уже не менее двух раз пытались отправить в дом для престарелых, но он категорически отказывался. «В богадельню не пойду, – говорил, – а насильно отправите – повешусь». При таком положении никто не брал на себя ответственности. Ничего не могли посоветовать ему и мы.

Я оставил Анастасии Федоровне свой домашний телефон и просил звонить в тех случаях, когда понадобится какая-то помощь. Хотя хо-рошенько и не знал, чем могу помочь. Во всяком случае, нам с женой необходимо было время для размышлений и советов людей, хорошо знавших Шаламова и нас. Так мы тогда и уехали, не оставив никаких своих предложений, хотя твердо убедились: в таком состоянии Варламу Тихоновичу одному оставаться никак нельзя.

Недели две-три спустя после нашего посещения позвонил сын Анастасии Федоровны (второй сосед Шаламова) и сказал, что Варлам Тихонович просил меня приехать, он согласен уехать в дом для престарелых.

В комнате было по-прежнему грязно и неубрано. Значительно убавилось книг на стеллажах. Шаламов посмотрел на меня и спросил: «Ты кто?»

И только тогда я понял, что он ничего не видит. Я спросил у Варлама Тихоновича, к кому из писателей (из тех, кто хорошо к нему относится) обратиться за помощью и советом. Он назвал Наума Мара и Бориса Слуцкого. Слуцкого найти по телефону не удалось. Н. Мар, узнав, по какому поводу я ему звоню, ответил:

– Шаламов мне надоел. Ему много раз предлагали дом для престарелых, а он не только отказывается, но и гонит от себя тех, кто ему это предлагает.

Я объяснил, как умел, что Шаламов человек больной, и его поступки надо оценивать с учетом этого обстоятельства.

– Мне этим заниматься некогда. Звоните в Литфонд и договаривайтесь. А потом поставите в известность меня.

В Литфонд и многие другие места я действительно звонил. Но ставить в известность об этом Мара мне уже не хотелось. Первая реакция в Литературном фонде относительно устройства Шаламова в дом для престарелых была бурной и весьма недоброжелательной. Снова пришлось объяснять, что человек стар, болен, беспомощен. Что теперь он согласен, и именно из этого факта надо исходить, а не из его поведения в прошлом.

Наконец в Литфонде согласились, что будут хлопотать, но для этого необходимы медицинские анализы. Какие – врач знает. Надо сказать, лечащему врачу Александре Юльевне удалось все оформить в рекордный срок – около десяти дней. Сам Шаламов плохо понимал, что такого рода формальности требуют времени. Он торопил всех, кто этим занимался.

25 мая, в пятницу утром позвонила из Литфонда женщина (Наталья Ивановна), которая непосредственно занималась сбором всех необходимых документов, и сказала:

– Все готово, и я сейчас еду в интернат, чтобы его туда приняли.

Она спросила – смогу ли я помочь Варламу Тихоновичу собраться и потом проводить в этот пансионат. Я ответил: «Обязательно». Несколько позже выяснилось, что Шаламова примут, но нужно, чтобы он приехал не позже четырнадцати часов дня.

Мы с Галиной Александровной взяли такси у автобусной станции метро Щелковская и поехали к Шаламову, чтобы помочь ему собраться. На месте выяснилось, что Галина Александровна ничем помочь не может. Все требовало только мужских рук.

Варлам Тихонович, узнав, что надо срочно собираться, разволновался. В начале он пытался собрать вещи сам, но все валилось у него из рук. Он снова на ощупь искал вещи, пока, наконец, потный и беспомощный, не уселся на дно платяного шкафа. Мне же он все время твердил:

– Не торопись! Не торопись!

Объяснять ему, что надо торопиться, было бессмысленно, это только затянуло бы дело. Поэтому я молча собирал все, что можно было собрать. Все его носильные вещи уместились в старый чемодан и рюкзак. Демисезонное пальто, покрытое серым пухом, и шапку из овчины он надел на себя, хотя жара в квартире и на улице была не меньше 30 градусов.

Когда он облачался таким образом, его почему-то больше всего беспокоила шапка. При этом он даже попытался шутить:

– Чаще всего, когда торопишься, почему-то теряется шапка.

Только он закончил сборы, подъехала на такси Наталья Ивановна из Литфонда. Поддерживая Шаламова под руку, я спустился с ним во двор. А там не обошлось без любопытных старух, которые, наверное, осмотрели нас с ног до головы. Мне некогда было обращать на это внимание, а жена потом сказала, что какая-то старуха, глядя на Шаламова, спросила: «Да что же это он такой?». Другая ответила: «А разве он виноват, что Сталин дал ему кровавую путевку в жизнь». После такого определения старухи заахали, запричитали.

А жену мою спросили: «А вы кого здесь представляете?»

Она ответила: «Колыму».\*\*\*

– А-а-а, – протянула спросившая и покачала головой.

Наконец, машина тронулась и по 2-й Брестской улице мы выехали к Белорусскому вокзалу, а затем на Ленинградское шоссе.



Дом для престарелых и инвалидов находился в черте города, недалеко от станции метро «Планерная». Доехали мы туда в самом начале четвертого. Формально повода отказать от приема Шаламова не было, но две женщины в белых халатах, сестры или врачи – трудно сказать, долго и как будто подозрительно изучали документы Шаламова, с недоумением смотрели на него самого.

– Да разве он для нашего дома?

Наталья Ивановна, не давая укрепиться сомнениям, горячо убеждала женщин в белых халатах, что относительно Шаламова все согласовано.

– Это у него только такой вид. Мы торопились и не смогли его как следует одеть.

Подошла пожилая, но крепкая няня. Она критически осмотрела Шаламова, заявила:

– Я его, такого, мыть не буду.

Здесь уж мы с Натальей Ивановной в два голоса сказали, что заплатим за это дополнительно, на что няня не особенно уверенно ответила:

– Деньги мне не нужны.

Но по всему было видно, что она помоеет Шаламова и деньги возьмет. Наконец начали оформлять документы. Меня попросили сказать Шаламову, куда его привезли. Он выслушал и ответил: «Знаю. Спасибо».

На первое время в целях карантина Шаламова поместили на первом этаже. Я помог ему дойти в отведенную комнату. Снял с него пальто, шапку, пиджак и повесил на вешалку. Когда снял с ног тяжелые полуботинки и два разных по цвету носка, все ужаснулись и попросили меня довести его до ванной комнаты. А там уже пришлось помогать и мыть.

Вымытый и переодетый во все чистое, Варлам Тихонович с видимым удовольствием вытянулся на кровати. Из двух кроватей, стоявших в комнате, он выбрал для себя более жесткую, объясняя это тем, что он всю жизнь спал на жестком.

Прощаясь, я обещал его навещать. «Спасибо», – ответил он и натянул на себя простыню до самого подбородка. Поспешные сборы, переезд, волнения, мысли – примут или не примут, каждого из нас утомили по-своему. Я это почувствовал только тогда, когда вместе с Натальей Ивановной покинул территорию дома, в котором остался Шаламов.

Наталья Ивановна весьма усердно благодарила меня за помощь и говорила, что хорошо, когда в трудную минуту находятся близкие друзья.

А был ли я по-настоящему близким другом Шаламова? Вряд ли. Моя жена справедливо заметила в разгар всех моих хлопот:

– Вот ведь как получилось: никогда ты с ним не дружил, а теперь он весь полностью тебе достался.

В Москве мы с Шаламовым встречались не больше десяти раз. Правда, до Москвы, около тридцати лет тому назад, мы впервые познакомились на Колыме, в поселке Левый берег. Он был тогда еще заключенным, работал фельдшером в больнице. Я был уже вольным, хотя с приставкой «бывший з/к» и с весьма шаткими правами.

Поселок Дебин, который тогда чаще называли Левый берег, на фоне приисков и местечек Колымы казался оазисом в раю вечной мерзлоты. Этот поселок возник на месте расположения воинской части «Колымский полк». После войны полк перевели на материк, а добротные двухэтажные дома с центральным отоплением, кирпичные казармы и некоторые другие службы передали центральной больнице УСВИТЛа. По тем временам это было неслыханной роскошью.

Варлам Тихонович попал во вновь организованную больницу с какого-то прииска в состоянии крайнего истощения. Но судьба пощадила его, он остался жив, окреп, а добрые люди из числа з/к и вольнонаемных помогли ему остаться работать в больнице фельдшером. Там, в просторном больничном коридоре, и состоялась наша первая встреча. Мы говорили о литературе, именах, к ней причастных, о том, кто на каком прииске работал. Спрашивать, кто за что сидит тогда было не принято. Все знали, что люди нашего круга осуждены судом или Особым Совещанием по 58-й статье, а все остальное было от лукавого. Мы были люди разного возраста и одинаковой судьбы. Оба жили и учились в Москве, оба затем прошли дорогами, что ведут до сибирских гор.

Когда Шаламов узнал, что моя жена – дочь А. К. Воронского, он как-то сразу подобрел и, что называется, раскрылся душой; сказал, что очень любит Воронского как критика и беллетриста, тут же назвал добрую половину книг известного писателя.

За первой встречей последовали новые. Больница не была отгорожена от поселка, и несколько дней спустя я пригласил В. Т. к себе домой. Впоследствии он много раз бывал у нас дома. Говорили мы больше о литературе – теме, одинаково близкой всем нам, часто не соглашались, спорили. В разговорах В. Т. много раз признавался, что из поэтов больше всего любит Блока и Пастернака, считал, что они лучше всех определяют нашу эпоху. Он всегда внимательно следил за литературой, высказывал собственные оценки. Писать что-либо в то время было небезопасно, но в свободные минуты В. Т. много читал.

Помогал ему в подборе книг В. В. Португалов. Часть книг Шаламов брал у меня.

Однажды он неожиданно предложил нам устроить вечер стихов Пастернака. Вначале мы с женой согласились, а потом уклонились от предложения. Именно в это время Галина Александровна после второго ареста была приговорена к ссылке «до особого распоряжения». И хотя время травли Пастернака еще не пришло, устраивать «вечер поэзии» в условиях Колымы 1949 года было добровольным безумием. Варлам Тихонович, видимо, учел это и не настаивал на своем.

Проживая с В. Т. Шаламовым около трех лет в одном поселке, я имел возможность близко наблюдать его. Мне всегда казалось, что этот высокий, худой, замкнутый, малообщительный человек живет своей внутренней жизнью. Шаламов, кажется, никогда не курил и не пил спиртного. Думаю, что это с его стороны не требовало никаких усилий воли. Просто он был человеком, не нуждающимся в подобных стимуляторах.

Я никогда не видел его смеющимся или хотя бы улыбающимся. Он почти не пользовался возможностью бывать на свежем воздухе, казалось, его вовсе не интересовали неповторимые краски северной природы.

Позже, когда я ближе познакомился с поэтически творчеством Шаламова, то убедился, что первое впечатление не всегда верно. Шаламов умел видеть природу, понимал и любил ее, но скорее разумом, чем сердцем.

В Москве в узком кругу знакомых В. Т. иногда рассказывал, как ему приходилось работать на колымских приисках, добывая «металл № 1» – золото на пятидесятиградусном морозе при 12-14 часовом рабочем дне.

Как-то раз, когда он кончил рассказывать, одна дама из «окололитературных кругов» сказала: «Варлам Тихонович! Но ведь вы там дышали свежим воздухом!»

Шаламов выразительно посмотрел на даму и резко ответил: «Я этим вашим свежим воздухом сыт вот так... по горло».

Дама умолкла, как школьница, не выучившая урока, а потом незаметно ушла.

Да, может быть, сейчас трудно понять, в каком положении мы там были. Каждый из нас прошел свою «Владимирку». Шаламов проходил ее трижды.

И может быть, поэтому природа этого богом забытого края с морозами под пятьдесят градусов, с бесконечными сопками, покрытыми летом вечнозеленым стлаником, а зимой снегом до полутора метров

глубиной, с каньонами, перевалами и серпантинами трасс отозвалась в его стихах запахом горькой полыни.

В 1953 году я вместе с семьей переехал в административный центр Колымского края – Магадан. В. Т. к тому времени освободился, и мы как-то случайно встретились на главной улице «столицы Крайнего Севера» – на проспекте Ленина. Шаламов был радостный и воодушевленный, рассказывал о своем освобождении; энергично жестикулировал и говорил, что здесь, в Магадане, почувствовал себя равноправным человеком, тут его никто не знает в лицо, он ходит по улице, как все. Домой ко мне он не зашел, спешил в санитарное управление за направлением на какой-то отдаленный прииск, куда он устраивался в качестве вольнонаемного фельдшера.

После смерти Сталина, двадцатого съезда партии и общей реабилитации Шаламов вернулся к активной литературной деятельности. Мы знали, что еще за несколько лет до Колымы, в 30-е годы, он уже печатался в журналах. Многие годы жизни на Крайнем Севере, его собственное положение там и положение его товарищей дали ему новые, во многом готовые темы для творчества.

Несмотря на редкие встречи в Москве, Шаламов, видимо, помнил нас хорошо. Все свои сборники стихов он присылал с дарственными надписями. На книжке «Огниво» было написано: «Дорогим Галине Александровне и Ивану Степановичу, жителям чудной планеты Колымы. 24 мая 1961 г.». На книге «Дорога и судьба» – «Дорогим Галине Александровне и Ивану Степановичу с глубоким уважением, симпатией и признательностью. Москва, июнь 1964». И так же на всех остальных. Слышали мы, что «Колымские рассказы» выходили на русском языке в Западной Германии, США, Англии. По поводу этих рассказов было опубликовано письмо Шаламова, смысл которого был в том, что он не знает, какими путями попали туда эти рассказы и этим самым на него наводится тень.

Вот пока и все, что мне хотелось записать о Шаламове, почему и как пришлось помещать его в дом для престарелых инвалидов. Он долго боялся такого конца. А интернат называл старым и горьким словом – богадельня. Но, к сожалению, при его физическом состоянии ничего другого придумать было нельзя.

Говорят, его первая жена умерла. Дочь от этого брака не проявляет никакого интереса к судьбе своего отца. Возможно, сам Шаламов с его нелегким характером дал для этого основание.

Во всяком случае, к семидесяти двум годам своей жизни Шаламов оказался одиноким, беспомощным и заброшенным человеком. Но бо-

лезни и судьба многих людей этого поколения делают этот возраст более тяжким, чем он мог быть при других обстоятельствах.

Его статьи, рассказы и стихи будут еще переиздаваться, обсуждаться, оцениваться. Но сам он уже больше не сможет принимать участие в творческом литературном процессе, хотя еще и жив.

Воспоминания И. С. Исаева датированы 2-3 июня 1979 г.

\*\* Речь идет о Л. В. Зайвой. Ср. ее воспоминания в «Общей газете», 1996, № 27.

\*\*\* Подробнее об этом эпизоде рассказано в воспоминаниях Г. А. Воронской – журнал «Лад», Вологда, 1994, № 6.

Публикация Т. И. Исаевой.

Опубликовано в Шаламовском сборнике №2, 1997. Сетевая версия на сайте Данте XX века <http://www.booksite.ru/fulltext/2sh/ala/mov/5.htm>

---

### ***Иван Исаев о последних годах Шаламова***

[От составителя. Отрывок из мемуаров Ивана Исаева, написанных в 1980-81 годах. По словам его жены Галины Воронской, он иногда навещал Шаламова, страдая после каждого визита от сердечного приступа. Вот его впечатления о том, что можно назвать жизнью товарища по Колыме в богадельне.]

«Конечно, неизбежный конец наступит. Хочется только одного: чтобы это не было страшно для близких и окружающих, не очень больно для себя, и без потери хотя бы частицы здравого ума и человеческого облика.

Судьба Варлама Тихоновича Шаламова, человека одного со мной возраста, мучает меня по ночам. Он пережил то же (больше или меньше), что и я, и в тех же самых местах, сумел потом достичь много большего, чем это удалось мне – написал несколько сборников стихов (философски умных, хотя временами до жесткости обнаженных). Его рассказы опубликованы за границей, говорят, произвели там большое впечатление. Пришла слава, можно сказать – мировое признание. А

сам создатель всего этого находится в доме для престарелых и инвалидов в пределах Москвы, возле метро Планерная. Он в беспомощном состоянии. Слепой, глухой, почти лишенный речи, с нарушением координации движений. Заканчивает свое существование растительной, животной жизнью. Здесь, видимо, сказываются все контузии, которые он получил от жизни. А контузии и от войны и от жизни проявляются потом в самых разных формах. И хотя существует мнение: кто трудно жил, тот легко умирает – да, видно, не всегда сбывается».

Исаев И. С. «О Колыме, товарищах, судьбе», глава «О смерти», с сайта Сахаровского центра  
<http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=2640>

А вот пример того, что пережил Исаев, соотносящий свой колымский опыт с шаламовским, из тех же воспоминаний:

«25 июня 1941 года у меня кончился срок пребывания в исправительно-трудовых лагерях, установленный мне Особым Совещанием, 5 лет. Но 22 июня, как известно, началась война. Сталин, такой великий и мудрый, сразу же лишился способности говорить и мыслить. Зато НКВД сразу же приостановил освобождение «до особого распоряжения» и усилил внутренний режим.

Всего три дня решали мою судьбу, жить или не жить. И я, доведенный до отчаяния тем, что творилось вокруг меня и лишенный всякой надежды на ближайшее будущее, решил не жить.

Осенней ночью, усталый, голодный, в рубище, которое уже не грело тело, я зашел в деревянную будку, где насосы качали воду на бутару, в которой промывались золотоносные пески. В будке по случайности никого не было. Я бросил в сторону рукавицы и схватился руками за обнаженную медь рубильника. Все мое тело и, главным образом, голову, затрясло с такой силой, что, казалось, ничего живого там не осталось. Но в это время та же сила отбросила меня в сторону, и я потерял сознание.

Свет, как мне потом рассказывали, везде погас, и насос перестал работать. Забегали бригадиры, десятники, вохра. Меня, живого, только с обожженными руками, сразу же обвинили в экономической диверсии и сволокли в холодный «кандей» – карцер, а дальше все должно было решиться своим чередом.

И все-таки, вопреки всему, я остался жив.

Не убило меня электричество, не замерз в карцере, не расстреляли меня потом, как это можно было ожидать в 99 случаях их 100. Какие здесь действовали силы и законы, я не знаю.

---

Из писем Исаева товарищу по Колыме Алексею Яроцкому:

«Собираюсь до 15 мая навестить его в его теперешнем состоянии. Тяжело я все это переживаю. После последнего посещения совсем расстроилось сердце. Умом все понимаю, а с нервами ничего сделать не могу. Ну что тебе еще написать, мой грустный товарищ?» (недатировано)

«[...] Варлама Тихоновича похоронили по христианскому обычаю. Отпевали в церкви. Есть такая в Замоскворечье в Вишняковском переулке (недавно мимо нее проходил). В церкви после отпевания читали его стихи, много фотографировали. Затем состоялось захоронение на Кунцевском кладбище. Это своего рода филиал Новодевичьего. У могилы тоже читали стихи. Народу было порядочно, два полных автобуса. Руководили всем этим какие-то девицы, одетые в глубокий траур и все прочее. Впрочем многое в этом было сделано не для его памяти, а для чего-то другого. Очень жалею, что сердечный приступ не позволил мне быть на похоронах. Я бы наверное был бы там единственным, кто знал покойного в рубищах и голодного. Вспомнил я, как ты с Марией Павловной [жена Яроцкого, приезжавшая к нему на Колыму – прим. Т. Исаевой] долгое время откармливали его после освобождения.

Он потом рассказывал мне, как за многие годы почувствовал себя в семье человеком.

Почему его хоронили по церковному обряду, сказать не могу. Вообще человек он был неверующий, хотя и сын священника [...]

Москва, 29 марта 1982г.»

Публикация дочери Исаева и Воронской Татьяны Исаевой, «Я не теряю надежды», журнал «Исторический архив», 2000, №1, электронная версия на сайте shalamov.ru <http://shalamov.ru/library/24/15.html>

---

В «Новой газете» за 2 августа 2013 года помещена статья <http://www.novayagazeta.ru/gulag/59342.html> Эльвиры Горюхиной «Они не боялись и не просили, но хотели верить». Это рецензия на книгу «Я не сплю в московской тишине, / Через час подъем на Колыме», составленную С. Гладышев и Т. Исаевой, и посвященную «жизни и смерти узников ГУЛАГа после освобождения».

В статье есть упоминания об Исаеве в связи с Шаламовым. Написано, что он действительно вел переговоры с издательством «Советская Россия» о выходе поэтического сборника Шаламова к его 75-летию. Об этом мельком сказано в сообщении Александра Морозова о смерти Шаламова для «Хроники текущих событий», 1982, но я не поверил, потому что Исаев назван там «редактором», а никаким редактором он, конечно, не был, он был инженером, к тому же на пенсии. Оказывается, Морозов был лучше информирован, чем я.

*Иван Степанович Исаев (1907-1990), инженер-плановик, колымский товарищ Шаламова, муж Галины Воронской*





## Анатолий Кабанов

Всего и не пересказать, что пережито. Обо всех это за нас, выживших и мертвых, написал Шаламов [...]

Не могу сказать, что я хорошо знал Варлама Тихоновича или тем более был дружен с ним. Нет, этого не было. Но меня с ним на Колыме познакомили. Он был тогда в 1950-1951 годах уже вольным, работал фельдшером, а я – «зеком» без всяких прав. Но мы с ним друг другу доверяли и говорили откровенно [...]

У нас была хорошая общая знакомая Катя Чиркова (он показывает мне ее фотографию). Простой кассир, она в тех нечеловеческих условиях многим помогала, чем могла. Катя сейчас живет в Донецке. И могли Шаламову обо мне рассказать другие фронтовики – «зеки». Верный народ [...]

Мы поддерживали друг друга. Поставили на место блатных, любимчиков начальства. Блатники стали нас бояться, мы за пакости их в окна выбрасывали... А иной раз и начальству, и охране могли сказать: «Мы Гитлеру шею свернули, погодите – свернем и вам». Может, это и не характерно, но такое тоже бывало [...]

И Шаламов среди нас, «зеков», пользовался большим уважением. Он был одним из тех, кто сохранил в себе человечность. На него можно было рассчитывать, Шаламов всегда поможет. Правда, он резко выделялся среди большинства своей культурой, знаниями. И было заметно, как он временами уходил в себя, о чем-то задумывался, казался отрешенным от нас. Но душа его была открыта. Помню, как-то он читал какую-то книгу. И так заразительно, прямо из глубины души начал смеяться, я такого смеха вроде бы никогда и не слыхивал.

« – Шаламыч, ты чего? – спросил я его.

– А вот почитай – как весело и здорово написано».

Он показал мне место в книге. Не помню сейчас, какая это была книга. Но главное, и на Колыме, оказывается, можно было смеяться. И это тоже ободряло.

И от Шаламова я услышал такие слова: «Весь этот ад колымский кончится однажды, обязательно кончится».

И он оказался прав.

Из статьи Владимира Аринина «Я знал Шаламова», опубликована в вологодском еженедельнике «Русский Север», 1992, 2 июля. Элек-

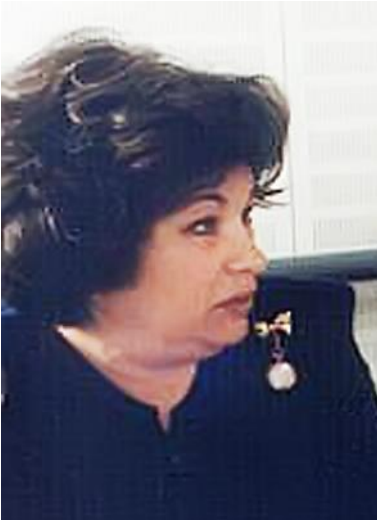
тронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»  
<http://ru-prichal-ada.livejournal.com/123655.html>

---

«Совсем недавно после одного из вечеров в Вологде подошла женщина, которая рассказала про Анатолия Владимировича Кабанова. Он когда-то отбывал срок на Колыме, и Варлам Шаламов, который после отсидки работал там фельдшером, помог ему во время тяжелой болезни. Узнав, что тот вологодский, достал для земляка пенициллин, который был в жутком дефиците».

Из интервью Валерия Есипова сайту Русский мир, апрель 2012  
<http://www.ruskiymir.ru/ruskiymir/ru/magazines/archive/2012/04/article0010.html>

*Анатолий Владимирович Кабанов – вологжанин, фронтовик, после войны был арестован, осужден как «враг народа» на пятнадцать лет лагерей и отправлен на Колыму.*



**Ирина Каневская**

***«Памяти автора «Колымских рассказов»***

Западные журналисты сообщили из Москвы, что умер Варлам Шаламов. В доме для престарелых. В безвестности и нищете.

Не знаю, бывали ли вы в таких домах. Мне пришлось.

Быть может, страшнее всего – их запах. Как в советских ветеринарных лечебницах, там пахнет болью и страхом. Клеенкой в кровавых пятнах, казенной нищетой кротких и безответных. И страхом. Старики

в этих домах знают, что отсюда им одна дорога – на кладбище...

Фотография, апреля 1966 года, которую вы видите, была подарена ему фоторепортером из «Юности». Там, в редакции, были люди, знавшие и ценившие его рассказы, которые они не могли печатать, но время от времени печатавшие его стихи – вполне невинные стихи о природе.

Порванный и самим коряво зашитый воротник ковбойки завернулся. Руки его – на снимке этого не видно – тяжело лежат на коленях, придерживая большого черного кота. Тускло-расплывчато блестит глаз на свисающей кошачьей морде.

Кот мертв. Застрелил его из винтовки сосед – генерал на пенсии. Просто так. Захотелось. Варлам не мог расстаться с другом. Держал его, завернув в пластик, в холодильнике – несколько недель. Страшно? А почему бы и нет? В его жизни бывало пострашнее...

Второй раз его арестовали в 1937 году (до этого отсидел 5 лет за троцкизм. Он даже немного гордился тем, что действительно что-то вроде повода было: он организовал группу студентов-литераторов, изучали Троцкого). Жена его, дочь известного писателя, от него отреклась.

Шаламов вернулся в Москву лишь через 30 лет.

Сожженная жизнью жена, уже старуха, полубезумная, взяла его к себе. Но скоро все превратилось в ад, и Шаламов поселился один в маленькой комнатке на Хорошевском шоссе.

Он работал непрерывно: писал «Колымские рассказы».

Труд, для одного человека почти неподым.

Уже перенести все это – и не потерять облика человеческого было почти невозможно. Как-то, в ответ на мои слова, что я чувствую вину перед теми, кто сидел (хотя просто по возрасту не могла сидеть), он сказал: «Не надо. Человек не должен знать того, что мы узнали. Лагерь никого не улучшил. Он разлагает. Почти всегда».

Его лагерь не разложил. Он, конечно, не «благословлял тюрьму» – он и до нее понимал, что к чему. И прозрел не благодаря ей. И писателем он был до нее – уже писал и печатался. Лагерь стал его темой – это да. Но личность Шаламова, видно, сложилась вопреки лагерю. Мало кто знает, что Шаламов – сын священника (его рассказ «Крест» автобиографичен).

Он говорил: «Мне повезло – меня не били. Первый раз, в 29-м, было еще рано, а потом уже перестали – поток. А то не знаю, каков бы я был...»

Так получилось, что мы по цепочке знакомств были очень близко от него и, хотя еще не видели автора, получили одними из первых огромную кипу его рассказов. Большой пакет, завернутый в газету.

За городом, у друзей, на старой даче, запоем, передавая друг другу по страничке, читали.

Бывают моменты, когда жизнь становится агрессивна. Она бросается на тебя смертью близкого существа, твоей собственной болезнью, ситуацией, вынуждающей принимать судьбоносные решения. Только потом, после шока, понимаешь, что это был за момент, в котором, как в зерне, были ростки твоего же будущего. Вот таким был этот день лично для меня – когда я прочла, не отрываясь, пачку рассказов Шаламова.

Рассказы пошли по стране. А он продолжал писать. С черным, беспородным, мурлыкающим котом на коленях.

Высокий, все еще красивый, с быстрым исподлобья взглядом лагерника, он стеснялся людей. Мешала не только все усиливающаяся глухота, мешала мучительная болезнь нарушения равновесия – вдруг земля уходила из-под ног, и он падал.

Потом мы с мужем уехали работать в Прагу. В 1968 году чехи отменили цензуру и таможенные досмотры...

Сейчас, после смерти Шаламова, я могу рассказать, что в начале лета 1968 г., приехав в отпуск, я взяла у него чемодан – большой убо-

гий советский фибровый чемодан, туго набитый рукописями. Там были, почти полностью, «Колымские рассказы». Почти все носили следы авторской правки. Я привезла их в Прагу. Оттуда позвонила в Париж нашему русскому другу, он прислал французского студента, который взял чемодан и беспрепятственно провез его в Париж.

Но дальше произошло нечто, мне и по сей день не совсем понятное. Вместо того чтобы издать рассказы книгой, их переправили в США и начали печатать по капле в русском журнале, тем самым задержав для читателя настоящее знакомство с Шаламовым на несколько – больше десяти! – лет.

После оккупации Чехословакии меня, мужа и еще троих сотрудников журнала «Проблемы мира и социализма», где мы работали, под конвоем отправили из Праги в Москву, как не оценивших «братской помощи» и за «плохое поведение». Наступили нелегкие годы. Связаться с заграницей и четко узнать, что же происходит с рассказами Шаламова, было почти невозможно. Косвенно дошло такое очень странное объяснение: рассказы тяжелые, люди не осилят целую книгу.

На Шаламова, ждавшего выхода книги, эта неудача и невероятный успех «ГУЛАГа» Солженицына – что теперь скрывать, это было именно так – сильно повлияли. Он не без основания считал, что сделал не меньше.

Отчасти это, отчасти прогрессирующая болезнь, страх не успеть и желание видеть хоть что-то напечатанным были, по-моему, причиной того, что он подписал гнусную подсунутую ему бумажку – заявление, что «проблематика «Колымских рассказов» снята жизнью...». Но нам ли судить его?

Мы часто виделись. Он приходил и к нам, и к Надежде Яковлевне Мандельштам. Они очень друг друга любили.

Потом болезнь резко усилилась. Он стал совсем сторониться людей, появлялся все реже. Последний раз я видела его перед нашим отъездом из Советского Союза, осенью 1973 г. С Даниловского рынка он нес ведро дешевых подмороженных яблок и новый конопляный веник. Почти ничего не слышал, читал что-то по губам. Сказала ему, что уезжаем. Он снял у меня с пальца кольцо и надел себе на мизинец. На память.

Когда я думаю о том, что рассказов Шаламова и сегодня не могут прочесть в Союзе, о том, что имя его замалчивается, о его мученической жизни, писательском подвиге и смерти в старческом приюте, о нарушении властями его последней воли – быть похороненным по православному обряду, – то я думаю и о своей собственной, и о нашей общей вине за его судьбу, о том, что нам еще суждено, говоря словами

Волошина, «искупить смиренно и глубоко Иудин грех до Страшного суда».

---

Текст выступления Каневской на Радио Свобода после известия о смерти Шаламова. Напечатан в журнале «Посев», №38(3), 1982 год. Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/122528.html>

---

#### Комментарий составителя

Каневская спустя много лет многое напутала, и в ее Шаламове не меньше легенды о Шаламове, чем действительного Шаламова.

Умер Шаламов не в доме престарелых, а в психбольнице.

Сомнительно, чтобы он держал в холодильнике труп кошки Мухи, хотя если держал, я его понимаю. [*Добавление 2013 года. Нет, оказывается, не сомнительно, а совершенно правдоподобно. Вот отрывок из воспоминаний Сергея Гродзенского с цитатой из письма Шаламова своему отцу, Якову Гродзенскому: «Шаламов прислал отцу последнюю фотографию своей любимицы с надписью: «Якову от меня и Мухи. Муха – на другой день после смерти, а я?» 29 июля 1965 г. Москва. В. Шаламов». И приписка: «Муха тебя знала много лет и очень любила. В. Ш.»*]

Галина Гудзь не была дочерью известного писателя, писательницей была вторая жена Шаламова.

Не было у Шаламова непрерывного тридцатилетнего перерыва жизни в Москве.

«Гнусную бумажку» никто ему не подсовывал, написал собственноручно.

«Последней воли быть похороненным по православному обряду» не было, и власти этой сомнительной воли не нарушали.

В статье Каневской важны, но важны исключительно, только три абзаца – неоспоримое свидетельство о передаче Шаламовым летом 68 года чемодана с почти полным корпусом «Колымских рассказов» на Запад. Я ошибся в своем биографическом очерке «Московский рассказ», сделав главным действующим лицом этой истории Хенкина, мемуара Каневской в моем распоряжении тогда не было, а в статье

Леоны Токер, пересказывавшей его, сказано: «... в 1968 **она заехала с мужем** к Шаламову и получила от него саквояж с рукописями, который **они** благополучно доставили в Прагу». На самом деле роль связного сыграла сама Каневская. Однако очевидно, что сделать это она могла только с согласия и одобрения мужа, и парижский друг, пришедший за рукописью студента, был, я думаю, из старых парижских знакомых Хенкина. Кто этот друг, пусть выясняют кто там занимается Шаламовым в Париже, по месту жительства, Мирей Берюгги, кажется, книгу о Шаламове пишет <http://shalamov.ru/video/9.html>. Поинтересуйтесь, госпожа Берюгги, это ведь ваша специальность и профессиональный долг. Каневская либо запуталась, либо намеренно мутит воду, рассказывая о последующей отсылке рукописей в Америку и публикации их «по капле» в американском журнале. В «Новом журнале» Романа Гуля КР печатались с 66-года и со списка, вывезенного Кларенсом Брауном.

В конце статьи Каневская говорит о своей вине. Вина ее, на мой взгляд, ни в чем ином как в отсутствии максимально полной информации о том, через кого, кому именно и на каких условиях список КР 68-го года был передан из Праги в Париж. Понятно, что обнаружение такого свидетельства вызвало бы скандал в русской эмиграции и осложнило бы жизнь сотрудницы Радио Свобода Каневской. Но если речь о вине, то это и было бы ее искуплением.

P.S. Филолог Михаил Юрьевич Михеев высказал несколько справедливых замечаний к моему комментарию.

«Откуда ей стало известно, что отставной генерал? Если это предположение Каневской (или высказанная ей самим Шаламовым его «легенда», рассказ), то лучше это тоже оговорить».

Совершенно верно. Каневская повторяет версию Шаламова, изложенную им в письме к Н. Мандельштам. То есть, она известна ей либо от Шаламова, либо от Мандельштам и ее круга.

«Может быть, сказать, что иной трактовки письма Ш. 72 года, даже если она и была у К., напечатать в «Посеве» было бы нельзя?»

Конечно. Мне это не пришло в голову, но это очевидно.

Подробнее об Ирине Каневской в связи с Шаламовым см. в «Материалах к биографии» в данном сборнике в тематическом подразделе.

*Ирина Семеновна Каневская (1937-2006), журналистка и сценарист, жена переводчика и писателя Кирилла Хенкина, сотрудника НКВД, впоследствии диссидента и литератора, эмигрировала в 1973 году, работала на Радио Свобода ведущей программ*







## Наталья Кинд

«А потом мы познакомились, я думаю, что тоже через эту самую Марину Казимировну [Баранович – прим. составителя], и тогда он стал у нас очень много бывать. Потому что он дарил мне уже вот эти книжки, которые я вам показывала, это уже шестидесятые годы. Потом мы его записывали много на магнитофон. Потом мы очень часто ходили вместе к... этой самой, к Надежде Яковлевне Мандельштам. Это недалеко, это четыре остановки на автобусе, отсюда мы возвращались с ним всегда пешком, он даже

немножко там приухаживал там за мной – ну, я еще тогда молодая и ничего собой была [...] А потом они поругались с Надеждой Яковлевной, что-то такое она похвалила, я не знаю. [...] Он принес мне рукописи, ну в смысле на машинке, и сказал: «Вот я вам даю это, а вы ставьте отметки на каждый рассказ по пятибалльной системе». Я думаю: ну уж нет, Варлам Тихонович, этого не будет. Читать я буду. И он мне дал. И честно говоря, не без моего участия, они туда, фьють... через барьер попали. Что делать... Ну я считаю, что это хорошо».

Из воспоминаний Натальи Кинд о Шаламове, видеозапись (расшифровка составителя)

<http://www.youtube.com/watch?v=b9-IPXIOII4>

*Наталья Владимировна Кинд (1917-1992), геолог, жена Ивана Рожанского, участница диссидентского движения, подруга Натальи Ивановны Столяровой и Надежды Мандельштам*



## **Георгий Коваленко**

– Кого еще из известных людей за 21 год работы на кладбище Вы предали земле?

– На Новодевичьем хоронил Микояна, Хрущева, Фурцеву, Любовь Орлову, Шукшина. На Кунцевском – Маленкова, Лысенко, Визбора. Хорошо помню похороны Варлама Шаламова и Надежды Яковлевны Мандельштам. Народу на них было немного. Зато присутствовали сотрудники Комитета. Даже здесь не оставляли опальных

людей в покое.

Из статьи «Кремлевский землекоп» в альманахе «Курносовая», №21, сетевая версия на сайте альманаха

[http://www.kulichki.com/death/koi/memento\\_mori21.htm](http://www.kulichki.com/death/koi/memento_mori21.htm)

*Георгий Никитович Коваленко (1947-2003), могильщик, заведующий столичными кладбищами*



## Геннадий Красухин

«Одно время [видимо, после 1967, когда Красухин начал работать в «Литературной газете» – прим. составителя] я был близок с Варламом Тихоновичем Шаламовым. Мы вместе гуляли по городу, он приходил ко мне домой или в «Литературную газету». Варлам Тихонович Солженицына не любил. Не признавал даже его первой, поразившей всех вещи – повести «Один день Ивана Денисовича».

– Что он знает о лагере? – отмахивался Шаламов на моё недоумение. – Где он сидел? В шарашке? Лично он

этого не пережил. Потому и вышла вещь подсахаренной.

Я удивлялся: «Что же в ней сладкого?» «А что горького? – парировал Варлам Тихонович. – В лагере не до интеллигентных разговоров о фильме Эйзенштейна. Лагерь не шарашка. Там одно только занимает, как бы тебе сегодня не сдохнуть!»

Шаламов знал, о чём говорил. На допросах ему вывернули руки, порвали сухожилия, отчего ему трудно было попадать рукою в рукав. Чекисты били его по ушам, повредив барабанные перепонки, – он стал плохо слышать. Отплатил он им за это сторицей. Его «Колымские рассказы» – натуральные физиологические очерки о ГУЛАГе – воспроизводят такой кошмарный звериный быт, который недурно бы дать ощутить тем, кого зовут назад в советское прошлое. «Это наша история», – объясняют энтузиасты такого возврата. Что ж, пусть подталкиваемые ими люди, особенно молодёжь, почувствуют на примере непридуманной прозы Шаламова, какова была наша история! Хотел бы Солженицын, чтобы «Колымские рассказы» вошли в сознание читателей так же, как его «Архипелаг ГУЛАГ»? Не уверен. Войнович в книге, о которой я писал, подметил, что для Запада был Александр Исаевич невероятно авторитетен и что поэтому мог бы поспособствовать широкому изданию «Колымских рассказов». Мог бы, но делать этого не стал [...]

Я и сейчас не согласен с тем, как оценил Шаламов «Ивана Денисовича». Лично меня эта небольшая повесть перевернула. Очень сильное художественное произведение. По-моему, одно из лучших у Солжени-

цына. (Да и Шаламов, как позже выяснилось, это поначалу признавал. Но я пишу о том времени, когда мы с ним встречались. Я застал его категорически не принимающим ни Солженицына-человека, ни Солженицына-художника)».

«Варлам Тихонович Шаламов любил Пастернака, которому написал из лагеря и получал в ответ от него ободряющие письма и денежные переводы. «По тем временам это был очень смелый поступок», – говорил мне Шаламов. Пастернак приветил Шаламова, освободившегося из лагеря.хлопотал за него, много ему помогал».

«Пишет Солженицын о том, как отрёкся от своих «Колымских рассказов» Варлам Шаламов, как напечатал отречение в «Литературной газете». Сломали? С одной стороны, несомненно. Но как ломали? Кажется, в нью-йоркском «Новом Журнале» были напечатаны первые два или три его рассказа. Варлам Тихонович получал инвалидную пенсию – 80 рублей в месяц. После публикации за границей пенсию задержали. А когда у Шаламова кончились деньги, объяснили, что их у него и не будет, пока не подпишет он это написанное чекистами письмо. А не подпишет, пусть подыхает от голода. А не подохнет, ещё раз посетит знакомые места, где он провёл почти двадцать лет жизни. Махнул рукой Варлам Тихонович: пёс с вами, печатайте! Пенсию ему вернули. Приняли в Союз писателей, благодаря которому он последние три года жил в литфондовском пансионате для инвалидов и престарелых в Тушине, где и умер.

Но это, как я сказал, с одной стороны. «Мы так и поняли, – объяснял Солженицын поступок Варлама Тихоновича в сноске того тамиздатского «Архипелага ГУЛАГа», который я читал в советское время, – умер Шаламов». А я так это не понимал. «Колымские рассказы» уже были переданы на Запад и жили своей жизнью. «Что бы ни заставили меня о них написать, – говорил Шаламов, – они есть. И читатели их когда-нибудь прочитают».

Что ж. Не было у Шаламова мировой известности. Не мог он поэтому не только диктовать свою волю палачам, но хотя бы вернуть себе те несчастные 80 рублей, чтобы не помереть с голоду. Гласно отрёкся от «Колымских рассказов», как некогда отрекался от Нобелевской премии его кумир и друг Борис Леонидович Пастернак. Но тайно и горячо ждал, что их продолжат публиковать. Я уже говорил, и Войнович до меня писал, что мог Александр Исаевич своим авторитетным словом подвигнуть западных издателей выпустить книгу Шаламова. Не захотел!»

Из книги Геннадия Красухина «Комментарий. Не только литературные нравы», Издательство: Языки славянской культуры, 2008 г. Сетевая версия в библиотеке Либрусек <http://lib.rus.ec/b/181609/read>

---

«С Варламом Тихоновичем Шаламовым мы сблизились позже, когда я уже работал в «Литературной газете» [с 1967 года]. Но стихи его я напечатал ещё в «Семье и школе». А один из «Колымских рассказов» – в «РТ» [еженедельник «РТ-программы», прил. 1965-66 гг. – прим. составителя].

Он мне их дал много. Мы с Рощиным поначалу отобрали несколько. Но цензура пропустила самый безобидный, пейзажный – о суровой природе Колымы. А наши машинистки работали до глубокой ночи, перепечатывая всё, что дал мне Шаламов. Многим хотелось иметь его рассказы в своём домашнем архиве».

Из книги Красухина «Путеводитель по судьбе: От Малого до Большого Гнездииковского переулка», 2009; сетевая версия в библиотеке Либрусек <http://lib.rus.ec/b/178843/read>

Красухин о журнале «РТ-программы»:

«РТ» расширявалось как «радио-телевидение». Я видел этот внушительных размеров с яркой необычной для того времени обложкой еженедельник, листал его и удивлялся его смелым материалам. Меньше всего он походил на издание, которое обязано информировать читателей о содержании радио- или телевизионных программ на неделю. Не похож был он и на теперешние «7 дней» или «Антенну». Мастерски написанная публицистика, захватывающие очерки о художниках или музыкантах, наконец, очень толковые анонсы передач, которые можно будет послушать или увидеть, делали журнал заметным явлением тогдашней общественной жизни. И вот туда пригласили работать бывшего сотрудника «Нового мира» Михаила Рощина. Наверняка для того, чтобы он сделал журнал еще и явлением литературной жизни. Конечно, мне очень захотелось там работать».

Из статьи «Совесь, благородство и достоинство», опубликовано в журнале «Семья и школа», №9, 2011  
[http://mag7a.narod.ru/pdf/7a\\_1109.pdf](http://mag7a.narod.ru/pdf/7a_1109.pdf)

---

От составителя. Красухин, в то время литературный обозреватель еженедельника «РТ-программы», редактировавшегося Борисом Войтеховым, пишет о публикации в этом еженедельнике одного из «Колымских рассказов» Шаламова в 1965-66 годах. Никогда не слышал, чтобы, кроме рассказа «Стланик», напечатанного «Сельской молодежью» в 1965 г., в СССР публиковалось еще что-нибудь из «Колымских рассказов». Может быть, кто-то имеет представление, о чем речь?

*Геннадий Григорьевич Красухин (род. 1940), журналист, литературовед, литературный критик, редактор*





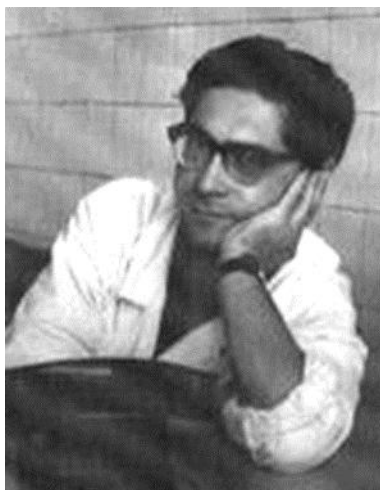
## Владимир Лакшин

«Помню его появление в «Новом мире» в начале 60-х годов, едва ли не той зимой, когда была напечатана повесть об Иване Денисовиче. Высокий, костистый, чуть сутулившийся, в длиннополом пальто и меховой шапке с болтающимися ушами... Лицо с резкими морщинами у щек и на подбородке, будто выветренное и высушенное морозом, глубоко запавшие глаза... Он никогда не снимал верхней одежды, так и входил в кабинет с улицы,

забегал на минутку, словно для того лишь, чтобы удостовериться – до его рукописи очередь еще не дошла. Журнал был в трудном положении: разрешив, по исключению, напечатать повесть Солженицына, «лагерной теме» поставили заслон. Была сочинена даже удобная теория, мол, Солженицыным рассказано все о лагерном мире, так зачем повторяться?»

Из опубликованного в журнале «Знамя», № 6, 1989, предисловия к подборке «Колымских рассказов». Сетевая версия на сайте Данте XX века [www.booksite.ru/fulltext/1sh/ala/mov/31.htm](http://www.booksite.ru/fulltext/1sh/ala/mov/31.htm)

*Владимир Яковлевич Лакшин (1933-1993), литературный критик, редактор, мемуарист*



**Михаил Левин**

***Варлам Шаламов.  
Воспоминания лечащего врача***

Я вспоминаю далёкие военные годы. Мы жили в эвакуации в заброшенной сибирской деревне. Я с ребятами носился по пыльным улицам, заглушая свой постоянный голод. Солнце летом греет там беспощадно. Вдруг вдаль появились облако пыли и какая-то движущаяся масса, и чем ближе они отделялись от горизонта, тем более прояснялась огромная человеческая колонна. Она была окружена людьми в гимнастёрках с оружием – автоматами и винтовками. Стоял глухой шаркающий монотонный шум, изредка прерываемый криками охраны. Большинство идущих были изнурённые, с поникшими головами мужчины, одетые в серые фуфайки. Что мне особенно запечатлелось в памяти и запомнилось – это небольшое количество женщин, тоже в фуфайках, в платках и некоторые из них с детьми пелёночного возраста на руках. Пелёнки были тёмно-серого грязного цвета. Лица людей были мёртвенно-спокойные. Иногда солдаты подталкивали оружием отстающих и тех, кто как-то отделялся чуть в сторону от строя. Вся колонна двигалась медленно, затем постепенно уходила за следующий горизонт. Некоторые мои деревенские товарищи знали, видимо по разговорам дома, что это гонят «врагов народа» и пытались иногда кидать в них придорожные камешки. Но конвоиры криками останавливали их. У меня тогда появилось, а затем осталось навсегда чувство глубокой жалости к этим людям. А картина с женщинами, несущими завёрнутых в пеленки младенцев, скорбно стоит перед глазами и по сей день.

Много лет спустя, когда я читал «Один день Ивана Денисовича» Александра Исаевича Солженицына, а затем «Колымские рассказы» Варлама Тихоновича Шаламова, каждый раз эта трагическая картина живой-мёртвой колонны с печальной колоритностью оживала в моей памяти.

Шёл 1978 год. Я – врач-невропатолог 67-ой городской больницы города Москвы замещал ушедшего в отпуск заведующего неврологи-



ческим отделением доктора Бориса Захаровича Карасина. Принимаю доклад медицинского персонала и врачей на утреннем рапорте о поступивших больных. За ночь их привозили немало. Среди новеньких прозвучало какое-то необычное для слуха москвичей имя – Варлам Тихонович Шаламов. Кроме необычно звучащего имени, ничего больше оно мне не говорило. По распределению больных на летучке вести его досталось мне.

И вот я обследую высокого худого человека с глубокими морщинами на лице и подбородке. Общение с ним было затруднено из-за значительно пониженного слуха и зрения. Кроме того, этому мешали судорожные движения в лице и бросковые судороги в руках и ногах. Он сразу сообщил мне, что он фельдшер и когда-то работал в Сибири. О том, что он писатель и прошел как заключенный Колымские лагеря, в первый раз ничего не сказал.

Шаламов поднимался и ходил с невероятным трудом, нуждался в помощи для передвижения. Я поместил его, узнав о его медицинских заслугах как фельдшера, да ещё из далекой Сибири, в привилегированную двухместную палату. В остальном – больной как больной, хотя и трудный и требовательный.

Несколько дней спустя одна из моих больных Любовь Рафаиловна Жерардьё, необыкновенно интеллигентный и приятный человек, старавшаяся помочь больным, которые были в ещё худшем положении, чем она, выяснила какие-то подробности о Варламе Тихоновиче и даже телефон Людмилы Владимировны Зайвая, его секретаря. (Помню, что даже после выписки, Любовь Рафаиловна навещала Шаламова и приносила ему продуктовые передачи.)

Людмила Владимировна Зайвая принимала живое участие в судьбе Шаламова, была для него незаменимым человеком в течение последних нескольких лет его жизни. Как я узнал впоследствии, из-за сложности характера Шаламова, усугубившимся ещё и его болезнью, поразившей нервную систему, они рассорились и не встречались какое-то время, и она не знала о его госпитализации. Домком, где он в то время жил, по собственной инициативе отправил его в 67-ую больницу по рекомендации врачей. Узнав о том, что Варлам Тихонович в госпитале, Людмила Владимировна немедленно явилась в больничное отделение.

В тот день я дежурил и помню длительную беседу с Людмилой Владимировной. Тут же впервые она мне сказала, кто такой фельдшер Варлам Тихонович Шаламов. До его появления я не знал абсолютно ничего о Шаламове как о писателе и поэте, пока не встретился с ней. С её помощью мы разговаривали с ним, она была как бы переводчиком,

так как общение с ним было затруднено из-за его дефектов зрения и слуха. Так в течение долгих четырех месяцев я был лечащим врачом этого выдающегося, с трагической судьбой и очень больного человека. Несколько раз я встречался и говорил со знакомым Шаламова Юлианом Анатольевичем Шрейдером, который иногда навещал Шаламова. От него я впервые услышал многозначительную фразу: «Это настоящий писатель, это большой талант...».

Отрывочно, при хорошем настроении, которое бывало у Шаламова не очень часто, я пытался расспрашивать о его жизни на Колыме. Ответы иногда были несвязные, иногда холодно-жесткие, вызывали во мне ужас того, что пережил этот человек и огромное к нему сочувствие. К тому времени Александр Солженицын был уже всемирно известным писателем и его «Архипелаг Гулаг» стал именем нарицательным. Я спросил мнение Шаламова о нем. Он пришёл в сильное возбуждение. Первое, что я услышал от него, что Солженицын предлагал ему совместно писать «Архипелаг Гулаг», но он от этого отказался. Говорил, что настоящий «Архипелаг Гулаг» описан им. Он считал, что является очевидцем, который не попытался приукрасить лагерную действительность и что он говорит истинную «голую правду». Шаламов утверждал, что его «Колымские рассказы» по сравнению с «Иваном Денисовичем» намного трагичнее. При этом всё больше возбуждался в разговоре, нервничал, лицо судорожно передегивалось, иногда ронял предметы со своего прикроватного столика.

Познакомились Александр Исаевич Солженицын с Шаламовым, по его словам, в 1962 году, переписывались, при наездах в Москву встречались позже. Намного позднее я прочитал опубликованные письма Шаламова к Солженицыну. Все они были очень дружелюбными, и судя по ним, высоко ценящими заслуги Александра Исаевича Солженицына. В свою очередь Солженицын высоко ценил Шаламова и считал Колыму сталинским Освенцимом. Я попросил Шаламова дать мне почитать «Колымские рассказы», и с его разрешения Людмила Владимировна принесла мне напечатанный на машинке экземпляр. Мы с женой взахлёб зачитывались рассказами, подстёгиваемые опасениями, что они в какой-то степени грозят нам неприятностями, хотя и не Колымой, но всё же... Чтение художественной литературы типа «Колымских рассказов» или «Архипелага Гулаг» было делом не совсем безопасным, даже в 70-е годы.

Наши встречи с Людмилой Владимировной стали более частыми. Несмотря на то, что питание в больнице было хоть и не очень вкусным, но достаточно калорийным, Людмила Владимировна приносила ему дополнительную еду. К этому подключилась и моя жена, которая

собирала кульки с какими-то дефицитными продуктами. У Шаламова после лагеря оставался страх перед голодом и многие продукты он прятал потом под матрац, под подушку или в других потаённых местах. Это была довольно сложная задача – вынимать полуиспорченные продукты, когда он терял бдительность, и сделать это так деликатно, чтобы его не обидеть.

Настроение Шаламова часто менялось от гордого, настойчивого очень резкого в обращении, нетерпимого прямо к противоположному – мягкому, испуганному, жалобному «будто просящему милостыню». Очень часто он говорил заговорщически: «У меня много денег, очень много денег». Он как будто пытался задобрить медперсонал, чувствуя себя виноватым. Иногда, приходя на обход, я находил его лежащим на клеёнке, без простыней, свернувшегося в комочек, с завязанным полотенцем вокруг шеи, засунутыми простынями и наволочками под матрац. В это время общение с ним было крайне затруднено, почти невозможно. Наверное, это было явное проявление странностей и переживаний бывшего ээка. При попытке его обследовать в эти моменты, он судорожно хватал меня за руки, ощупывал их и если не узнавал, отбрасывал. Его зрение катастрофически падало, и он практически не слышал. Пытаясь обратить внимание, он бывало настойчиво кричал: «Але, але, але!» В таком случае неоценимую услугу переводчика играла Людмила Владимировна. Она каким-то невообразимым методом практически разговаривала с ним, и он утихал и смирялся. Помню, в её отсутствие я не смог понять его, и он схватил на ощупь какой-то предмет и пытался бросить его в меня. Потом всегда, после эмоционального взрыва, от него независящего, чувствовал себя виновато. Он понимал свое тяжелое положение. В более просветленные моменты старался загладить свою вину, и однажды подарил мне два сборника своих стихов с подписью.

Работала у нас в отделении пожилая санитарка тётя Шура, пожилая женщина, доброжелательная к больным. Каким-то таинственным образом она умирала Варлама Тихоновича в моменты его возбуждения. Иногда он жалобно просил, чтобы я позвонил Галине. Потом я узнал, что это была его первая, бывшая, жена – Галина Игнатьевна Гудзь. Любовь Рафаиловна Жерардые каким-то неизвестным мне образом узнала телефон Галины, но получила враждебный и холодный отклик, чтобы ее больше не тревожили. Узнал я также, что его дочь Лена не хотела даже знать своего отца и отказалась от него.

Посещал его Юлиан Анатольевич Шрейдер, хороший знакомый Варлама Тихоновича, доктор философии и литератор, о котором я прежде упоминал. Мы разговаривали о Шаламове, которого он знал с

1966 года, и познакомила его с ним Надежда Яковлевна Мандельштам. Он первым рассказал мне о высоком художественном уровне «Колымских рассказов» и их месте в современной литературе. И прочитав их, я осознал, что у меня находится действительно талантливый и незаурядный человек, к сожалению, здоровье которого, к этому времени было уже основательно подорвано. Юлиан Анатольевич восклицал: «Это талант по большому счёту!» И то, как он это говорил, вызвало у меня доверие и уважение.

За время пребывания в нашем отделении, мне звонили какие-то люди, которые, не называя себя (и так было ясно, что они из органов), спрашивали, каково состояние Варлама Тихоновича Шаламова. Спрашивали моего мнения, не подлежит ли он переводу в психоневрологическое отделение. Я категорически и справедливо настаивал, что в настоящее время он неврологический больной, что у него непроизвольные судороги и он будет труден для психиатрического отделения. Были звонки от главного врача, которая также интересовалась по запросу из вышестоящих инстанций, как мне потом говорили. Но я настаивал, что он неврологический больной и должен быть в нашем отделении. Я понял, что этому человеку защитить себя самого трудно, и я должен, как врач и человек, сделать все возможное, чтобы справедливо отразить его состояние, и по возможности помочь ему, пусть даже в малом. Этот человек по настоящему много выстрадал в жизни. И его теперешняя болезнь усугубилась вследствие ужасного и тяжело-го прошлого.

Варлам Тихонович страдал от прогрессирующего неврологического заболевания, сопровождающегося насильственными судорожными движениями в конечностях и лице, а так же снижением умственной деятельности (Хорея Гентингтона)[1]. Болезнь эта в большинстве случаев наследственная, начинается она незаметно, протекает хронически, медленно, но безостановочно прогрессируя. Такие больные долго сохраняют способность самостоятельно передвигаться, есть, одеваться и раздеваться и т.п., хотя все эти акты сопровождаются массой излишних непроизвольных движений. Такова была судьба Шаламова.

После более чем четырехмесячного пребывания в нашем отделении Шаламов был выписан домой с некоторым улучшением состояния здоровья. Я посетил его дома[2]. Дверь мне открыла Людмила Владимировна. Варлам Тихонович вышел ко мне навстречу, двигаясь тяжело, но самостоятельно. Он выглядел утихомирленным, необычайно спокойным и какое-то подобие улыбки было на его лице, что я редко видел, когда он лежал в отделении. Он подарил мне и надписал с боль-

шим трудом фотографии. Он вынес большой том своих рассказов, изданный недавно в Лондоне.

В 1981 году я и моя семья эмигрировали в США. С большим огорчением уже здесь узнал, что Варлам Тихонович Шаламов скончался в 1982 году. Мне искренне жаль, что я встретился и общался с этим человеком не в лучшее для него время. Настоящая и заслуженная слава пришла к нему позднее, уже после перестройки. Но я никогда не забуду его «Колымских рассказов» и их героев и ошеломляющее впечатление, которое они произвели на меня и мою супругу. Я понимаю, что эти несколько строк памяти немного добавят к его биографии, но я счастлив, если смог хоть чуть-чуть что-то облегчить в те тяжелые дни его болезни.

Филадельфия, сентябрь 2007 г.

Опубликовано к 100-летию юбилея со дня рождения писателя Варлама Тихоновича Шаламова и 25-летию выхода в свет «Колымских рассказов».

2007 – 2011

Журнал «Побережье», № 16, 2007, Филадельфия.

---

#### Примечания

1. В письмах и записных книжках В. Шаламов пишет лишь о том, что страдал от болезни Менъера. Справку о её последствиях, выданную доктором Л.Н. Карликом, он долгие годы носил при себе как удостоверение того, что его шаткая походка или падение, заплетающаяся речь – последствия болезни, а не алкогольного опьянения. В ней было указано: «Больной может ошибочно быть принят за пьяного. Заплетающаяся речь. Больной может внезапно упасть. В случае появления приступа на улице или в общественных местах просьба к гражданам оказать больному первую помощь». И действительно справка помогла. В письме Я.Д. Гродзенскому в 1970-м году Шаламов пишет: «Медицинская справка текста профессора Карлика в высшей степени улучшила мой проект – и уже применялась в объяснении с водителями троллейбусов – ибо те имеют те же задания, что и милиция, и служащие метро. Собственноручно профессор успокаивает, приводит меня в состояние глубокой благодарности».

В 1978-м году в 67-й больнице Шаламову был поставлен другой диагноз: болезнь Хорея-Гентинтона. Упоминаний этого диагноза в

опубликованной на сегодняшний день переписке и записных книжках не встречается. М. Левин, по просьбе редакции <http://shalamov.ru> специально для этой публикации пояснил: «Шаламов страдал не от болезни Меньера, а имел очень серьёзное неврологическое (не психоневрологическое, а именно неврологическое) заболевание с тяжёлым повреждением мозга, с произвольными движениями во всех конечностях. При такой болезни речь человека дизартрична. Болезнь Меньера же лечится отоларингологами, с ней люди живут и работают». К сожалению, о последних годах жизни Шаламова известно очень мало. Уточнение обстоятельств его болезни и трагической гибели должно стать задачей дальнейших исследований

2. Вероятно, это было в первой половине 1979-го года (Уточнение М. Левина)

Сетевая версия на сайте shalamov.ru  
<http://shalamov.ru/memory/169/>

*Михаил Иосифович Левин, врач-невропатолог, живет в США*





**Татьяна Леонова**

***Последний этап Варлама Тихоновича Шаламова***

В восьмидесятом году мне попала в руки книга, изданная в Лондоне, – это были «Колымские рассказы» Варлама Тихоновича Шаламова. После прочтения их, ни о чем другом я уже думать не могла. Буквально на следующий день я была на вечере Арсения Тарковского, но впечатление от книги Шаламова полностью заблокировало мое восприятие поэзии. Все в стихах показалось слишком литературным и

бессмысленным. В общем, я была в шоке, не в переносном, а в психологическом смысле слова.

Как раз в этот момент из Ленинграда приехал в Москву мой приятель Леша Романков. Я стала рассказывать ему о «Колымских рассказах», оказалось, что он их уже читал. И вдруг он мне говорит: «А ты знаешь, что Шаламов сейчас слепой, глухой, одинокий умирает в доме для престарелых?». Об этом он узнал от своей знакомой, которая жила в Пскове, но всегда, когда бывала в Москве, заходила к Шаламову. Она рассказывала друзьям о том, что он там находится просто в ужасном положении. Меня это сообщение потрясло. Я попросила Лешу как можно скорее узнать, где находится этот дом для престарелых и он сообщил мне адрес – на Планерной.

И вот я отправилась туда, совершенно не предполагая, что меня там ждет. То, что я увидела, могло бы стать последним очерком из «Колымских рассказов», потому что по впечатлению, верней, по ужасу это было примерно то же самое. Дом для престарелых находился в огромном железобетонном здании. Входишь на первый этаж – все замечательно: чистенько, фикусы стоят, стенгазеты какие-то, старушки опрятные ходят, телевизор, а дальше начинаются круги ада, и чем выше я поднималась, тем острее и концентрированнее становился запах мочи, грязи, гниения. Я почувствовала, что задыхаюсь. На последнем этаже находились лежачие, те, на ком администрация поставила крест. Я вошла в огромный широченный коридор, по грязному линолеуму

ползали какие-то совершенно беспомощные люди. Это была страшная картина. Я даже не предполагала, что такое вообще может иметь место. Никого из медперсонала видно не было, но от Леши Романкова я знала, в какой палате находится Шаламов.

Захожу: на одной кровати сидит человек в разодранной одежде, а на другой, вообще без постельного белья, только голый матрац, спит огромный, худой, изможденный человек, с очень длинными руками и ногами. То, что на нем было надето, даже назвать одеждой нельзя было – какие-то изорванные тряпки. К тому времени я уже видела фотографию Варлама Тихоновича и поняла, что это он.

Когда я вошла, он, видимо, что-то почувствовал. У слепых и глухих развиваются другие органы чувств. Он проснулся, рывком сел, причем конечности его двигались резко, беспорядочно, было очевидно, что у него какая-то болезнь, сопровождающаяся нарушением координации движений. Впоследствии я узнала, что у него была болезнь Меньера. Болезнь нелеченная, в последней стадии: страшные, внезапные движения руками и ногами, жуткие гримасы на лице. Наблюдать за ним было тяжело. Как только он сел, сразу же начал кричать: «Але, але, какой день, какое число, который час?», причем страшно громко. Все было таким странным, сюрреалистическим... Было поразительно, что этот похожий на полутруп человек так интересуется временем. Но Шаламов действительно следил за временем, в один из приходов он прокричал мне, что на будущий год ему исполнится семьдесят пять лет. До юбилея он не дожил.

Я ухаживала за ним весь последний год его жизни. Его обычная реакция на новых людей была негативной. Он замыкался, молчал, не отвечал на вопросы. Но и без этого мне было ясно, что Варлама Тихоновича надо одевать, мыть, кормить. Запах на всем этаже стоял чудовищный. В то первое посещение, помню, я вышла из палаты, разыскала нянечку. Она мне тут же все объяснила по-своему: «А кто ж их тут мыть-то будет?». Нянечка была одна на целый этаж лежачих больных и по сути дела ничем не могла им помочь. Я спросила: «Почему у Варлама Тихоновича нет постельного белья?». Она ответила: «Да он сам его срывает». При его судорогах белье сбивалось под ним жгутами и впивалось в худое дистрофичное тело. Видимо, это было болезненно. Тогда он срывал белье и даже рвал на куски. На спинке его кровати висело несколько таких лоскутков, которыми он пользовался как салфетками, а на шее было повязано полотенце. Впоследствии я поняла, что Варлам Тихонович держал полотенце на шее, чтобы его не украли. Он был очень чистоплотным человеком, и насколько это было в его силах, следил за собой.



Там крали все – начиная с администрации, медперсонала и работников кухни до тех больных, кто еще мог хоть как-то двигаться. И этих больных, конечно же, нельзя осуждать. Их ведь очень плохо кормили. У них не было ни родственников, ни знакомых, которые могли бы их защитить. Порядки в доме для престарелых были совершенно лагерные. В одной из статей И. Сиротинской о Шаламове, которую я прочла в интернете, сказано, что последние годы своей жизни он провел «в пансионате для инвалидов и престарелых Литфонда в Тушине». Не знаю, может быть, тот дом для престарелых, где последние годы своей жизни провел Шаламов, и имел какое-то отношение к Литфонду, может быть там было какое-то количество мест для Литфонда, но уж пансионатом его никак нельзя было назвать.

Поначалу Варлам Тихонович не хотел со мной разговаривать, но я и без разговоров догадалась, что его почти не кормят. Впоследствии выяснилось, что даже в истории болезни у него было записано – «дистрофия». Его не кормили, он – не просил. Но когда он понял, что я хочу ему помочь, то сказал мне, что любит виноград и шоколад. Все, что я ему приносила, он съедал тут же. Никогда ничего не оставлял. Он знал, что пока я в палате, у него ничего не отнимут и не украдут.

Увидев всё это, я бросила клич по знакомым. Уже не я одна, но и мои друзья стали к нему ходить. Володя Мирзоев и Саша Волохов мыли его, хотя это делать было невероятно трудно из-за его самопроизвольных движений.

По знакомым мы собрали Варламу Тихоновичу одежду, переодели его во все чистое, оставили смену белья, но на следующей неделе ничего найти уже не удалось. Все исчезло. Оставлять еду и одежду не имело смысла. Имело смысл только организовать дежурства, чтобы несколько раз в неделю кто-то приходил и кормил его. Причем мы поняли, что еды надо приносить не слишком много, потому что по лагерной привычке Варлам Тихонович съедал все сразу и, пока еда была, не мог остановиться.

Конечно же, у нас возник вопрос: как могло случиться, что известный писатель и поэт Варлам Шаламов, член Союза писателей, оказался в таком бедственном положении? К тому времени у него уже вышло пять сборников стихов. Этот вопрос не давал нам покоя. Мы стали думать о том, как ему помочь. Никто из нас к Союзу писателей отношения не имел, «ходов» туда мы не знали. Но был у меня один знакомый, Дориан Ротенберг, поэт-переводчик с русского на английский, который был членом Союза писателей, и я решила обратиться к нему за помощью. Я позвонила ему, однако в том разговоре он повел себя как-то индифферентно. Дориан сказал, что ценит Шаламова как писа-

теля, читал «Колымские рассказы», но понятия не имеет, как лично он мог бы ему помочь. Однако через день он мне сам позвонил и сказал, что поговорил со своей знакомой, которая очень активный человек в Союзе писателей, и она уже начала наводить справки.

В результате получилось только хуже. Была организована комиссия Литфонда. Об этом я узнала со слов Дориана и главного врача дома для престарелых, который, конечно же, был страшно недоволен нашей активностью. Еще бы, стали приходиться какие-то люди из Литфонда, что-то узнавать про Шаламова, что-то от этого главврача требовать... Однако никто из членов комиссии ни разу к самому Шаламову не поднялся. «По-дружески» главврач пытался мне втолковать, что вся наша помощь может Шаламову только навредить. Он говорил: «Ну что ты сюда ходишь? Это и опасно, и бесполезно. Кроме того, этот ваш Шаламов ведь член Союза писателей и у него большая пенсия. Он мог бы быть совсем в другом положении, но он же все завещал какой-то бабе, которую мы никогда здесь не видели».

Эта женщина – И.П. Сиротинская была «душеприказчицей» Шаламова. После перестройки она стала главным специалистом по его творчеству и все права на публикации его книг принадлежали ей. Когда Александра Свиридова снимала фильм о Шаламове, за разрешением ей пришлось обращаться к Сиротинской. Впоследствии она писала проникновенные предисловия к его изданиям и публиковала его произведения. Правда, на статью А. Солженицына «С Варламом Шаламовым», опубликованную в 1999 году в «Новом мире», где он пишет, что и характер Шаламова был ужасный, и человек он до мозга костей был советский, и участия в антисоветской деятельности не хотел принимать, Сиротинская, единственная в постсоветской печати, отозвалась гневной отповедью. Но тогда, в последний год его жизни, ни главврач, ни я, ни другие люди, ухаживавшие за Шаламовым, ее рядом с ним не видели.

Насколько я понимаю, Сиротинская была последней любовью Шаламова, и он доверял ей больше, чем кому бы то ни было. Его страшно мучило то, что родственники после каждого его ареста уничтожали все им написанное. В своих воспоминаниях он жаловался на то, что его первая жена в 1929 году сохранила все, что им было напечатано (он ведь много печатался в двадцатые годы), а вот все неопубликованное – уничтожила. То же самое сделала и сестра после его второго ареста в 1937 году. Шаламову как писателю было невыносимо уничтожение его произведений, а Сиротинская была литературным человеком, понимала ценность его текстов. Только вот ценность его самого, ценность его жизни явно не чувствовала. К сожалению, она принадлежала

к ненавистному ему типу «дельца от литературы». Он ведь в этом обвинял и Солженицына. Это он написал в неопубликованном письме Солженицыну, в ответ на прозвучавшее на весь мир высказывание Александра Исаевича о том, что после письма в «Литературную газету» «Варлам Шаламов умер». И это о живом человеке...

Да, он написал письмо в «Литературную газету», где заявил, что не позволит антисоветским журналам «использовать» его рассказы в собственных идеологических целях. Не для идеологии, мол, он рассказы эти писал. «Быть использованным» на лагерном жаргоне означало быть изнасилованным или поддаться на провокацию НКВД.

У Солженицына и Шаламова было разное отношение к писательской деятельности. Солженицын использовал литературу как рычаг для переворота мирового сознания и для сведения личных счётов. Шаламов был писателем, и только, литература и художественная правда были для него не средством, а – целью.

Пытаясь помочь Варламу Тихоновичу, мы старались подключить к этому писателей, которых уважали в диссидентских кругах. С этой целью мы поехали в Переделкино на встречу с Ф. И. [Фазиль Искандер – прим. составителя] (один из наших друзей оказался его знакомым, парень был молодым писателем, и Ф. И. его опекал). Мы поехали втроем: этот парень, моя подруга Олеся Гуревич, которая тоже ухаживала за Шаламовым, и я. Мы с Олесей остались на улице. Возвратился наш знакомый весьма обескураженным и сказал, что Ф. И. отказался участвовать в деле спасения Шаламова на том основании, что, якобы, сам Шаламов отрёкся от своих рассказов и предал дело своей жизни. Мы были просто потрясены таким ответом. Ведь в том же номере «Литературной газеты», где Шаламов действительно написал, что «проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью», так же каялись и извинялись за написанное и опубликованное за границей двое других писателей, одним из них был Ф. И. У него, как и у Шаламова, прошли публикации за границей, КГБ взял за горло и его, заставив написать покаянное письмо. Ф. И. прекрасно знал, каким образом КГБ заставляет писателей отречься от опубликованного за границей; знал, как тяжело вынести подавление творческой свободы, отречение друзей, изоляцию, гонения – все то, с чем были связаны подобные публикации на Западе для писателей, живших в СССР. И себя он за такое «отречение» простил, мотивируя тем, что по его письму, мол, понятно, что он отрекается «не всерьёз». А вот Шаламову решил ничего не прощать. Так больному, беспомощному семидесятичетырехлетнему великому писателю, умирающему от голода в «ГУЛаге» для престарелых, отказали в помощи по «идейным» соображениям.

Правда, когда Шаламов умер, Ф. И. был на его похоронах и стоял над гробом со свечкой. Нельзя сказать, что там было много народу, – человек сто пятьдесят, в их числе и переодетые агенты КГБ. Если бы все, кто раньше отказал Шаламову в помощи, прошли бы через все то же, через что прошел Шаламов, если бы они выполнили свой долг перед миллионами безвинных жертв, как это сделал Шаламов, документированно воссоздав этот ад на страницах своей прозы, может быть у них и возникло бы какое-то право на осуждение. Но, кажется, что, переживи они в полном объеме то, что пережил Шаламов, они бы вовсе не стали осуждать его. «Колымские рассказы» Шаламова – это великая литература, открывшая миру глаза на то, как уничтожается человеческий дух. Уничтожается буквально, на самом деле. Одновременно, «Колымские рассказы» и вся жизнь Шаламова яркое доказательство бессилия зла перед Духом Человека.

Всё время, пока Варлам Тихонович находился в этом доме для престарелых, нас не оставляла идея перевести его из ада, в котором он оказался, куда-то, где ему будет лучше, удобнее, где за ним будет постоянный уход и где его будут лечить. Эту мысль я даже донесла до него, но у Варлама Тихоновича была весьма своеобразная реакция. Он сказал, что не хочет никуда переходить, потому что, как здесь, он уже знает и вполне допускает, что в другом месте будет хуже. Он боялся, что у него отнимут главное – возможность думать о своем, сочинять и передавать это другим. Он принимал все физические ужасы своего существования, но вот с внутренней свободой расставаться не хотел. Жизнь научила его не надеяться на лучшее. Он давно и твердо знал, что лучше не будет.

Мы понимали, что его надо лечить. Официальная комиссия, созданная Союзом писателей по делу Шаламова, не сделала ничего для облегчения его существования. Главврач дома для престарелых говорил, чтобы мы оставили Шаламова в покое и дали ему умереть. Но мы решили действовать. Олеся Гуревич нашла женщину-психиатра – для того, чтобы та сделала независимое заключение о психическом состоянии Варлама Тихоновича. Отсутствие лечения от болезни Менъера главврач мотивировал тем, что больной психически ненормален. Мол, лечи – не лечи, все равно не поможет. Администрация мечтала избавиться от неудобного жильца – кому нужны эти комиссии и проверки. Я думаю, что они искренне считали Шаламова невменяемым. Он был во многом неадекватным. Например, не отвечал на вопросы, которые ему задавали официальные лица. Он вел себя, как опытный зэк с начальником.

Мы пригласили нашу психиатршу к Варламу Тихоновичу. Она с готовностью пришла, она тоже читала «Колымские рассказы» и искренне хотела ему помочь. Мы стояли в дверях, пока врач с ним разговаривала, и внимательно слушали. Она задавала ему вопросы. Поначалу Варлам Тихонович ей не отвечал, потом начал говорить. Я сейчас не помню все, но один вопрос, а главное – ответ Шаламова произвел на меня огромное впечатление. Нужно помнить, что разговор с Шаламовым шел на крике, иначе он ничего не слышал. Врач прокричала: «Скажите, у вас есть в жизни мечта?». Вопрос довольно странный в такой ситуации, но Шаламову он не показался странным. Варлам Тихонович тут же прокричал в ответ: «Да, у меня есть мечта – я хочу остаться поэтом». Однако врач, человек хороший и трезвый, взглянула на нас и сказала: «Ну, вы же видите, он действительно ненормальный». Эта женщина была очень доброжелательной, искренне хотела помочь, но ее диагноз мало чем отличался от официального: Шаламов ненормальный, лечить надо не только неврологию, но и психику. Чего же было ждать от врачей богадельни, уставших от страданий своих пациентов?

Однажды к Шаламову пришли какие-то люди. Я точно не знаю, чего от него хотели, сама я при этом не присутствовала, но мне рассказали, что Шаламов запустил кому-то из пришедших табуреткой в голову. Правда ли это? – Представить себе семидесятичетырехлетнего слепого, страдающего дистрофией человека, который бросается табуретками, мне трудно. В результате Шаламова перевезли в психиатрическую больницу. Он сопротивлялся. Но что он мог сделать? Через несколько дней его не стало. Вот такая история...

Впрочем, был в нашем общении один светлый момент. Со временем у нас с Варламом Тихоновичем возникли кое-какие собственные отношения. Разговоры – короткие, но все же были. Как-то раз он мне прокричал: «На самом деле я не только стихи пишу. У меня есть проза. Я написал «Колымские рассказы». Я ему в ответ: «Я читала эти рассказы». Он удивился: «Как же так? Где вы их могли прочитать? Я же выступил в газете и запретил их публиковать». А я ему кричу: «Да, но они же были опубликованы за границей и оттуда попали к нам. Я их здесь читала. И не только я, многие мои знакомые. Люди делают копии. Так что, наверное, уже тысячи людей читали ваши рассказы!». Лицо его вдруг разгладилось, появилась какая-то умиротворенная, очень хорошая улыбка. Это был всего один миг, но он был. Обычно у него всегда было напряженное, угрюмое, почти сердитое лицо. Ничего другого в тех обстоятельствах ждать и не приходилось. А та улыбка навсегда врезалась мне в память.

Я думаю, главврач на самом деле относился к нам доброжелательно, поэтому искренне убеждал не ходить к Шаламову. Предупреждал, что нам может быть хуже, что это все может быть опасно для нас. Чтобы объяснить главврачу, кем является на самом деле его пациент, я пошла в библиотеку, взяла сборники стихов Варлама Шаламова и отнесла в богадельню. «Колымские рассказы» я, конечно, не могла принести. Главврач знал, что какое-то отношение к Союзу писателей Шаламов имел, но, естественно, никогда его не читал. В общем, отнесла я шаламовские стихи главврачу, может, надеялась, что это как-то заставит его задуматься. Вскоре Варлама Тихоновича не стало. Обратное за книгами я не пошла. Я не могла заставить себя опять войти в это страшное здание. Сил не было возвращаться туда после его смерти. Пушкинской библиотеке я была готова заплатить штраф за потерю книги. Когда я рассказала библиотекарю о Шаламове и об оставленном сборнике, он меня понял и сказал, что никакого штрафа брать не будет, а книгу спишет как потерянную. Может, главврач прочел Шаламова и кому-то из своих знакомых передал.

Опыт, который я приобрела в том доме для престарелых, был для меня разрушительным. Ходить туда, соприкасаться с ужасом этого места я не хотела. Но один раз увидев этот ад, забыть его и оставить Шаламова одного страдать там я уже не могла. Каждый раз, когда я уходила от Варлама Тихоновича, меня бил озноб, возникало дикое чувство голода и глубокого изнеможения. По дороге к метро я должна была зайти в булочную, купить батон за шестнадцать копеек и сразу, без остановки, его съесть. Потом я узнала, что у меня начиналась гипогликемия, как у диабетиков, когда в крови резко падает содержание сахара. Известно, что на нервной почве это бывает.

К счастью, не я одна помогала Шаламову. Кроме меня и моих знакомых туда ходил еще литературовед Александр Морозов и его друзья. Шаламов его всегда ждал с нетерпением. Несмотря на свое тяжелое состояние, Варлам Тихонович постоянно диктовал Саше Морозову стихи. В этих жутких условиях он сочинял, запоминал, дождался Сашу и надиктовывал ему стихи. Впоследствии Саша опубликовал их. Они совсем не похожи на стихи, которые Варлам Тихонович писал, будучи здоровым человеком. Сам факт, что в этом аду он продолжал быть поэтом и мечтал только о том, чтобы «оставаться поэтом», меня потряс.

Варлама Тихоновича продолжали использовать даже тогда, когда он оказался совершенно беспомощным. Я не хочу называть имен, судья этих людей – их совесть. Среди знакомых, которых я привлекла к спасению Варлама Тихоновича от голодной смерти, нашла женщину.

на, присвоившая себе деньги, собранные на продукты и на оплату услуг человека, который в летнее время вызвался ухаживать за Шаламовым. У всех у нас были дети, летом надо было вывозить их из загазованной Москвы в деревню. Этот парень был студентом. У самого у него не было ни копейки, чтобы купить продукты, поэтому мы, как всегда, кинули клич и стали собирать с миру по нитке. Ребята из Питера и москвичи должны были сдать собранные деньги той самой нашей общей знакомой. Она была православная, очень религиозная женщина. Мы уехали в отпуск спокойные, но, вернувшись, узнали, что никаких денег она студенту не передала. Я пошла к ней узнать, что случилось. И она довольно агрессивно ответила, что не получила ни копейки. Я позвонила друзьям, которые обещали собрать эти деньги: они собрали большую сумму и собственноручно передали этой женщине. Когда я вновь обратилась к ней с вопросом о том, что стало с деньгами, она сказала, что Варлам Тихонович получил все, что ему причиталось.

Да, в своей жизни он получил полно. Больше, чем может вынести человек. Но несправедливости и предательства продолжились и после его кончины. Союз писателей был согласен похоронить Шаламова, но запретил отпевание. Елена Захарова – знакомая Саши Морозова, которая тоже помогала Шаламову, стала добиваться разрешения – объясняя, что якобы перед смертью Варлам Тихонович завещал ей похоронить его по православному обряду. Ей поверили. Варлама Шаламова отпевали в известной в Москве церкви в Вешняковском переулке и похоронили на Кунцевском кладбище. Спустя несколько лет, уже в постсоветское время Е. Захарова призналась, что историю с предсмертной просьбой Шаламова она придумала. В своих воспоминаниях «Последние дни Шаламова» она рассказывает об этом.

В июне 2002 года на могиле Шаламова был разрушен надгробный памятник. Оторвав от гранитного постамента, грабители унесли скульптурный портрет Шаламова. Но это не уничтожило память о нём. Стали выходить его произведения, его книги переводят на другие языки. А. Свиридова сделала замечательный фильм о Шаламове – «Несколько моих жизней».

Варлам Тихонович Шаламов нашел своего читателя.

*Татьяна Леонова*

*Эти воспоминания легли в основу публикации «Шаламов: путь в бессмертие», «Новый Журнал» 2006, №245*

От составителя:

Я нашел в интернете электронный адрес Татьяны Леоновой и написал ей с просьбой прислать фотографию для этого сборника. Татьяна Яковлевна охотно откликнулась, но посоветовала, что в текст ее статьи были без согласования с ней сделаны вставки, которые ей неприятны. Помещаемый текст заверен самой Леоновой и несколько отличается от текста публикации под названием «Шаламов: путь в бессмертие», «Новый журнал», № 245, 2006, сетевая версия которого выложена на сайте Журнальный зал

<http://magazines.russ.ru/nj/2006/245/le17.html>

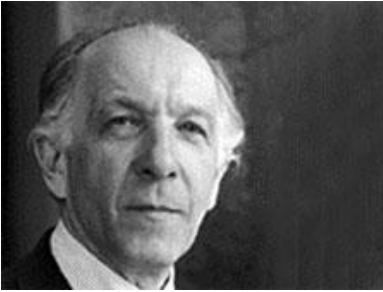
По моей просьбе уточнить период, в течение которого она ухаживала за Шаламовым, Леонова написала:

«Одно могу сказать точно – я начала навещать Шаламова осенью 80-го. Деньги, которые пропали, собирали в начале лета 81-го, т.к. все летом разъезжались. Под эти деньги О. Гуревич нашла молодого человека, который должен был регулярно бывать у Шаламова и приносить ему продукты. Этот план реализован не был, т.к. Л., которая должна была передавать деньги этому человеку, ему ни разу не позвонила. Мы с Ольгой бывали на Планерной почти до конца 81-го».

*Татьяна Яковлевна Леонова (род. 1948), биолог, генетик, старший научный сотрудник Рокфеллеровского университета, Нью-Йорк, примыкала к диссидентским кругам*







## Станислав Лесневский

### *Вестник Серебряного века*

Моя короткая, к сожалению, дружба с Варламом Тихоновичем Шаламовым началась с удивления.

Дело в том, что приход Варлама Шаламова – поэта (прозаика мы долго ещё не знали) был по-своему

неправдоподобен. Совершим некоторое историко-литературное отступление.

Представьте, допустим, что мы только сейчас открыли Евгения Боратынского, а раньше мы бы ничего подобного не знали, не читали. Расслышали ли б мы «последнего поэта», оценили бы? Не знаю... Временной разрыв трудно преодолевается. У нас совсем другой язык, иной образ мысли и слова, а главное – звук и слух...

Даже «Столбцы» Николая Заболоцкого, явись они не в двадцатые годы XX века, а в шестидесятые, были бы встречены, я думаю, с некоторым изумлением. А поздняя лирика Заболоцкого, идущая и от Тютчева, и от Хлебникова, рождённая драматическими потрясениями времени, оказалась созвучна шестидесятникам.

Историко-литературные десятилетия не вполне совпадают с хронологическими. В русской поэзии середины XX века определённым рубежом стал первый альманах «День поэзии» 1956 года. Едва ли не впервые многие в России прочитали тогда стихи Марины Цветаевой!

Это была эпоха возвращений – ценностей, имён и явлений, несправедливо забытых, отторгнутых, перечёркнутых волею жестоких исторических судеб. Возвращались к жизни и люди, которым довелось одолеть невзгоды, испытания Архипелага ГУЛАГ.

Вернулся Александр Солженицын, вернулся Варлам Шаламов... Мы вчитывались, вглядывались, вдумывались в новые страницы русской прозы и русской поэзии. В июле 1968 года «Литературная газета» обратилась к критикам с вопросом, какие стихи, опубликованные недавно в журналах, показались наиболее примечательными. Я выбрал Варлама Шаламова и попытался передать своё удивление новым поэтическим «звуком»: «Меня вновь остановили стихи, явно суховатые, потаённо-загадочные, как переклик звуков в имени их автора: Варлам Шаламов. Три журнала (№ 3 и № 5 «Знамени» и «Юность») вышли предвестьем будущей книги поэта, чей канон строг:

Стиха невозмутима мера –  
Она  
Для гончара и для Гомера  
Одна.

Тем чувствительнее дрожь, изнутри бьющая в эту разумность. «Грозная память» давно бы разорвала пределы, если бы не оковы краткости.

И, ставя обе лыжи стоймя  
К венцу избы,  
Я постучу в окно спокойно  
Рукой судьбы.

За чётко очерченным кругом размышлений – тёплая тайна жизни. «И чтоб мягкий и нестрашный тихо зверь дышал домашний из домашней темноты».

Какие-то гулы отдалённо колеблют «невозмутимую меру» Варлама Шаламова. А начало его стиха всё-таки там, «где взмахнула Ока рукавом». («Литературная газета», 1968, 10 июля).

Варлам Тихонович позвонил мне, и мы встретились. Сухонький, словно былинка, поэт излучал необычайную музыкальную ноту. В наше массовое «бесстилье» он входил с культурой Серебряного века, а тогда даже это имя целой поэтической эпохи ещё не произносилось. Варлам Шаламов стал для нас вестником художественной Атлантиды.

В ответ на моё письмо я получил от Варлама Шаламова сжатое, но бесценное размышление о судьбах русской поэзии XX века:

«Дорогой Станислав.

Спасибо за Ваше сердечное письмо. Вместе с Вами я радуюсь, что прошёл этот проклятый високосный год, год активного солнца, никакие талисманы, никакие алые ленточки на шее не удержат и не могли удержать ни событий, ни судеб.

Я рад, что удалось напечатать в «Дне поэзии» эти стихи. (Такой маятник в сторону ухудшения не один раз.) Рад из-за «Северянина», «Ястреба». Да – «Таруса» (безглагольный стишок в подражании Фету) – написание стихотворения.

Но всё это зря, зря. Стихи – это тонкая, точная работа, остаётся вне зрения читателя.

В статьях этого «Дня поэзии-1968» – опубликовано письмо А. Яшина, предсмертное завещание. Яшин хороший человек, и завещание его продиктовано самым лучшим чувством.

Но ведь всё, что там изложено, его позиция, – это как раз то, из-за чего погибает русский стих. Если всё равно, как писать, тогда не надо браться за стихи. Стихи всегда символический и многозначный, поэтический текст, допускающий много толкований, – технически страницы стиха могут восхищать.

Яшинский стих – это образец достижения всей русской лирики XX века, и, если уж Яшин святой, я предпочту гореть в аду вместе с Анненским и Белым, мои стихи не могли быть написаны без Белого, без Пастернака, без Анненского. Я думаю, что ещё вернусь к моим стихам.

«Я – северянин...» уплотнено до предела – более русская грамотность вытерпеть не может.

С глубокой симпатией

Ваш В. Шаламов.

Декабрь 1968 г.»

...Прошли годы, и сегодня ясно, что без Фета, Анненского, Белого, Пастернака, без плеяды поэтов Серебряного века (кстати, этот титул в отношении русской поэзии есть уже в статье Владимира Соловьёва о Константине Случевском) нет Русской Музы. Варлам Шаламов пришёл к нам с этим знанием, пониманием, а главное – слухом, который был дан поэту свыше как Дар».

Опубликовано в «Литературной газете», №44 (6298), 2010.11.03.  
Сетевая версия на сайте газеты <http://www.lgz.ru/article/14412/>

*Станислав Стефанович Лесневский (род. 1930), советский литературный критик, литературовед*





## Борис Лесняк

### *Мой Шаламов*

Журнальный вариант

[От составителя. Глава из книги воспоминаний: Лесняк Б. Н. «Я к вам пришел!» – Магадан : МАОБ-ТИ, 1998. Сетевая версия книги размещена на сайте Сахаровского центра]

---

«Этот человек обладал редкой особенностью: один глаз его был близоруким, другой – дальнозорким. Он способен был видеть мир вблизи и на расстоянии одновременно. И запоминать. Память у него была удивительная. Он помнил множество исторических событий, мелких бытовых фактов, лиц, фамилий, имен, жизненных историй, когда-либо услышанных.

В. Т. Шаламов родился в Вологде в 1907 г. Он никогда не говорил, но у меня сложилось представление, что он родился и вырос в семье священнослужителя или в семье очень религиозной. Он до тонкостей знал православие, его историю, обычаи, обряды и праздники. Он не был лишен предрассудков и суеверий. Верил в хиромантию, например, и сам гадал по руке. О своем суеверии он не раз говорил и в стихах, и в прозе. При этом был хорошо образован, начитан и до самозабвения любил и знал поэзию. Все это уживалось в нем без заметных конфликтов.

Мы познакомились ранней весной 1944 г., когда солнышко стало уже пригревать и ходячие больные, пододевшись, выходили на крылечки и завалинки своих отделений.

В центральной больнице Севлага, в семи километрах от поселка Ягодное, центра Северного горнопромышленного района, я работал фельдшером двух хирургических отделений, чистого и гнойного, был операционным братом двух операционных, ведал станцией переливания крови и урывками организовывал клиническую лабораторию, которой в больнице не было. Свои функции я выполнял ежедневно,

круглосуточно и без выходных дней. Прошло сравнительно мало времени, как я вырвался из забоя и был непомерно счастлив, обретя работу, которой собирался посвятить свою жизнь, а кроме того, обретал надежду эту жизнь сохранить. Помещение под лабораторию было отведено во Втором терапевтическом отделении, где с диагнозом «алиментарная дистрофия» и «полиавитаминоз» находился Шаламов уже несколько месяцев.

Шла война. Золотые прииски Колымы были для страны «цехом номер один», и само золото называлось тогда «металлом номер один». Фронту нужны были солдаты, приискам – рабочая сила. Это было время, когда колымские лагеря уже не пополнялись столь щедро, как прежде, в довоенное время. Еще не началось пополнение лагерей с фронта пленными и репатрированными. По этой причине восстановление рабочей силы придавать большое значение.

Шаламов уже отоспался в больнице, отогрелся, появилось мясо на костях. Его крупная, долговязая фигура, где бы он ни появлялся, бросалась в глаза и дразнила начальство. Шаламов, зная свою эту особенность, усиленно искал пути как-то зацепиться, задержаться в больнице, отодвинуть возвращение к тачке, кайлу и лопате как можно дальше.

Как-то Шаламов остановил меня в коридоре отделения, что-то спросил, поинтересовался, откуда я, какие статья, срок, в чем обвинялся, люблю ли стихи. Я рассказал ему, что жил в Москве, учился в 3-м Московском медицинском институте, что в квартире заслуженного и известного тогда фотохудожника М. С. Наппельбаума собиралась поэтическая молодежь (младшая дочь Наппельбаума училась на первых курсах отделения поэзии Литинститута). Я бывал в этой компании, где читались свои и чужие стихи. Все эти ребята и девушки – или почти все – были арестованы, обвинены в участии в контрреволюционной студенческой организации. В моем обвинении значилось чтение стихов Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

С Шаламовым мы сразу нашли общий язык, мне он понравился. Я без труда понял его тревоги и пообещал, чем сумею, помочь.

Главным врачом больницы была в то время молодая энергичная Нина Владимировна Савоева, выпускница 1-го Московского медицинского института 1940 г., человек с развитым чувством врачебного долга, сострадания и ответственности. При распределении она добровольно выбрала Колыму. В больнице на несколько сотен коек она знала каждого тяжелого больного в лицо, знала о нем все и лично следила за ходом лечения. Шаламов сразу попал в поле ее зрения и не выходил из него, пока не был поставлен на ноги. Ученица Бурденко, она была еще

и хирургом. Мы ежедневно встречались с ней в операционных, на перевязках, на обходах. Ко мне она была расположена, делилась своими заботами, доверяла моим оценкам людей. Когда среди доходяг я находил людей хороших, умелых, работающих, она помогала им, если могла – трудоустраивала. С Шаламовым оказалось все много сложнее. Он люто ненавидел всякий физический труд. Не только подневольный, принудительный, лагерный – всякий. Это было его органическим свойством. Конторской работы в больнице не было. На какую бы хозяйственную работу его ни ставили, напарники на него жаловались. Он побывал в бригаде, которая занималась заготовкой дров, грибов, ягод для больницы, ловила рыбу, предназначенную тяжелобольным. Когда поспевал урожай, Шаламов был сторожем на прибольничном большом огороде, где в августе уже созревали картофель, морковь, репа, капуста. Жил он в шалаше, мог ничего не делать круглые сутки, был сытым и всегда имел табачок (рядом с огородом проходила центральная колымская трасса). Был он в больнице и культургом: ходил по палатам и читал больным лагерную многотиражную газету. Вместе с ним мы выпускали стенную газету больницы. Он больше писал, я оформлял, рисовал карикатуры, собирал материал. Кое-что из тех материалов у меня сохранилось по сей день. Вот стихотворения Шаламова тех лет:

Курсы французского языка

Мои познания очень узки  
По части кушаний французских.

Маг и волшебник дядя Саша  
Твердит заклятия над кашей:

Придав кусочек ветчины,  
Он кашу произвел в «чины».

В метаморфозе сей простой  
Явилось блюдо «ризотто»».

Обыкновенная селедка –  
Поешь, так долго сохнет глотка.

Но капнул соуса Муса,  
И после колдовского зелья

Ты сельдь не назовешь уж сельдью  
Без добавленья: «провансаль».

Нам, напрягая все старанья  
В познание школы рестораньей,

Придется, кажется, начать  
Язык французский изучать.

Возвращение

Кажется, так: поправив «галстук»,  
Вычистив бурки на «шинном» ходу,  
Впрыснув для храбрости хлористый кальций  
В вену (отнюдь не подкожно!), иду.

К автовокзалу тропую зимней,  
К автопарку из двух единиц –  
Наших заслуженных ландо и лимузина,  
Предметов зависти всех больниц.

Мимо прачечного комбината,  
Два поворота знакомых, и вот –  
Вашему индустриальному взгляду –  
Фабрика-кухня и хлебозавод.

Делают аускультацию каше,  
Творя кулинарные чудеса,  
Обер-повар Матвеев Саша  
И первый тенор кухни Муса.

Вот поднимаются навстречу,  
Гордо вздымаясь в небеса,  
Многоваттные, многосвечные  
Хирургические корпуса.

Забыв про пословицу «тайм из мони»,  
Поплевывая в крашеный потолок,  
Томно улыбается нежный Мониин –

Стоматолог и одонтолог.

Морг ли? Часовня ли? Иль крематорий?  
Здесь в приоткрытый «прозекторский зал»  
Слышится шелест различных историй  
(Историй болезни!). А разве нельзя  
Заполнить простую «Историю здоровья»,  
Может быть, там, за фанерной доской  
В нашем Институте переливания крови  
Чьей-нибудь донорскою рукой?

<.....>

Время колымскую тянет резину.  
От вздохов и охов лишившись сна,  
Высох в щепку Андрей Максимыч  
(Луна – не картошка!). К тому же – весна.

Мечется «стрижка, брижка, завижка»:  
Фигаро, туды! Фигаро, сюды!  
Дон Микаэль с чемоданом под мышкой –  
Блуждающий Институт красоты.

Мимо дворцов пищевого блока,  
Мимо загадочных ОК и ОП  
Все еще «Туманной» и «Одинокой»  
Двигаетесь Вы по знакомой тропе.

Кончено. Можно, вступив на крыльцо,  
Видеть лицо своего «мажордома»  
Сонное (или Ни-сонное) вовсе лицо  
При выражении – «вот мы и дома».\*

Тренируя память, Варлам записал в двух толстых самодельных тетрадах стихи русских поэтов XIX и начала XX века и подарил те тетради Нине Владимировне. Она хранит их.

Первая тетрадь открывается стихотворениями И. Бунина «Каин» и «Ра-Озирис». Далее следуют Д. Мережковский, К. Бальмонт, И. Северянин, В. Маяковский, С. Есенин, Н. Тихонов, А. Безыменский, С. Кирсанов, Э. Багрицкий, А. Антокольский, И. Сельвинский, В. Ходасевич – всего более тридцати стихотворений.



Во второй тетради – А. С. Пушкин «Я вас любил...»; Ф. Тютчев «Я встретил вас, и все былое...»; Б. Пастернак, М. Лермонтов, Е. Баратынский, Беранже, А. К. Толстой...

Меня, провинциального паренька, такая поэтическая эрудиция, удивительная память на стихи поражала и глубоко волновала. Мне жаль было этого даровитого человека, игрою недобрых сил выброшенного из жизни. Я им искренне восхищался. И делал все, что было в моих силах, чтобы оттянуть его возвращение на прииски, эти полигоны уничтожения. На Беличьей Шаламов пробыл до конца 1945 г. Два с лишним года передышки, отдыха, накопления сил – для того места и того времени это было немало.

В начале сентября 1945 г. наш главный врач Нина Владимировна была переведена в другое управление – Юго-Западное. Пришел новый главный врач – новый хозяин с новой метлой. Первого ноября я заканчивал свой восьмилетний срок и ждал освобождения. Врача А. М. Пантюхова, позже принимавшего участие в судьбе Шаламова, к этому времени в больнице уже не было. Я обнаружил в его мокроте палочки Коха. Рентген подтвердил активную форму туберкулеза. Он был сактирован и отправлен в Магадан для освобождения из лагеря по инвалидности с последующей отправкой на материк. Вторую половину жизни этот талантливый врач прожил с одним легким. У Шаламова в больнице не оставалось друзей, не оставалось поддержки.

Первого ноября с маленьким фанерным чемоданчиком в руке я уходил из больницы в Ягодное получать документ об освобождении – «двадцать пятую форму» и начинать новую, «вольную» жизнь. До половины дороги меня провожал Варлам. Он был грустен, озабочен, подавлен.

– После вас, Борис, – сказал он, – мои здесь сочтены.

Я его понимал. Это было похоже на правду... Мы пожелали друг другу удачи.

В Ягодном я задержался недолго. Получив документ, был направлен на работу в больницу Утинского золоторудного комбината. До 1953 г. я не имел никаких вестей о Шаламове.

### Встречи в Москве

После приезда Шаламова из Барагона к нам в Магадан в 1953 г., когда он делал первую попытку вырваться с Колымы, мы с ним не виделись четыре года. Встретились в 1957 г. в Москве случайно, недалеко от памятника Пушкину. Я выходил с Тверского бульвара на улицу Горького, он с улицы Горького спускался на Тверской бульвар. Был

конец мая или начало июня. Яркое солнце беззащитно слепило глаза. Навстречу мне шел легкой, пружинистой походкой рослый, полетному одетый мужчина. Возможно, я не задержал бы на нем взгляда и прошел мимо, если бы этот человек не раскинул широко руки и высоким, знакомым мне голосом не воскликнул: «Ба, вот это встреча!». Варлам Тихонович был свеж, весел, радостен и тут же рассказал, что вот только что ему удалось опубликовать в «Вечерней Москве» статью о московских таксистах. Он считал это большой для себя удачей и был очень доволен. Говорил о московских таксистах, о редакционных коридорах и тяжелых дверях. Это первое, что он о себе рассказал. Выяснилось, что живет и прописан в Москве, женат на писательнице Ольге Сергеевне Неклюдовой, с ней и ее сыном Сережей занимает комнату в коммунальной квартире на Гоголевском бульваре. Познакомился с Ольгой Сергеевной Варлам Тихонович в Переделкино, где обретался какое-то время, приезжая со своего «сто первого километра», как я думаю, повидаться с Борисом Леонидовичем Пастернаком.

Рассказал, что его первая жена (если я не ошибаюсь, урожденная Гудзь, дочь старого большевика) от него отказалась и их общую дочь Лену воспитала в неприязни к отцу.

Лена, дочь В. Т., родилась в апреле. Помню об этом потому, что как-то в апреле 1945 г. на Беличьей он сказал мне очень тоскливо: «Сегодня у моей дочери день рождения». Я изыскал способ отметить это событие, и мы выпили с ним по мензурке медицинского спирта.

В то время жена ему часто писала. Время было трудное, военное. Анкета у жены, была, прямо скажем, дрянной, и жилось ей с ребенком весьма нерадостно, весьма непросто. В одном из писем она писала ему примерно следующее: «...Поступила на курсы бухгалтеров. Профессия эта не очень хлебная, но надежная: у нас ведь всегда и везде что-нибудь считают». Не знаю, была ли у нее профессия раньше и если была, то какая.

По словам В. Т., его возвращение с Колымы жену не обрадовало. Она его не приняла, считая прямым виновником своей загубленной жизни, и сумела внушить это дочери.

Я в то время в Москве был проездом с женой и дочкой. Большой северный отпуск позволял нам не очень экономить время. Мы задержались в Москве, чтобы помочь моей маме, вышедшей из лагеря инвалидом, в 1957 г. реабилитированной, в хлопотах о возвращении жилплощади. Мы остановились в гостинице «Северная» в Марьиной роще.

Варлам очень хотел познакомить нас с Ольгой Сергеевной и пригласил к себе. Ольга Сергеевна нам понравилась: милая, скромная женщина, которую, судя по всему, жизнь тоже не очень баловала. Нам

показалось, что в их отношениях есть гармония, и мы радовались за Варлама. Несколько дней спустя Варлам и Ольга Сергеевна приехали к нам в гостиницу. Я их познакомил с мамой...

С той встречи между нами установилась регулярная переписка. И каждый мой приезд в Москву мы с Варламом встречались.

Еще до 1960 г. Варлам и Ольга Сергеевна с Гоголевского бульвара переехали в дом № 10 по Хорошевскому шоссе, где в коммунальной квартире получили две комнаты: одну средних размеров, а вторую – совсем маленькую. Но у Сергея был теперь свой угол, к общей радости и удовлетворению.

В 1960 г. я заканчивал Всесоюзный заочный политехнический институт и более года жил в Москве, сдавая последние экзамены, курсовые и дипломный проекты. В этот период мы виделись с Варламом часто – и у него на Хорошевке, и у меня в Новогирееве. Я жил тогда у мамы, которая после долгих хлопот получила комнату в двухкомнатной квартире. Позже, после моей защиты и возвращения в Магадан, Варлам бывал и без меня у мамы и переписывался с ней, когда она уехала в Липецк к дочери, моей сестре.

В том же 1960 г. или начале 1961-го я как-то застал у Шаламова человека, который собирался уже уходить.

– Знаешь, кто это был? – сказал Варлам, закрывая за ним дверь. – Скульптор, Федот Сучков, хочет сделать скульптурный портрет Солженицына. Так вот, приехал просить меня о посредничестве, о рекомендации.

Знакомство с Солженицыным тогда В. Т. льстило в высшей степени. Он этого не скрывал. Незадолго перед тем он написал Александру Исаевичу и побывал у него в Рязани. Был принят приветливо и благосклонно. В. Т. показывал Солженицыну «Колымские рассказы». Эта встреча, это знакомство окрыляли В. Т., помогали его самоутверждению, укрепляли под ним почву. Авторитет Солженицына для В. Т. в то время был велик. Импонировали и гражданская позиция Солженицына, и писательское мастерство.

В 1966 г., будучи в Москве, я выбрал свободный час и позвонил В.Т.

– Вали, приезжай! – предложил он. – Только быстро.

– Вот, – сказал он, когда я приехал, – собирался сегодня в издательство «Советский писатель». Хочу там оставить. Пусть не печатают, черт с ними, но пусть у них побудет.

На столе лежало два машинописных комплекта «Колымских рассказов».

Многие из его колымских рассказов я знал уже, десятка два было им мне подарено. Я знал, когда и как некоторые из них писались. Но увидеть вместе все, отобранное им для издательства, мне хотелось.

– Ладно, – сказал он, – даю тебе на сутки второй экземпляр. У меня не осталось ничего, кроме черновиков. В твоём распоряжении день и ночь. Откладывать больше не могу. А это тебе в подарок, рассказ «Огонь и вода». – Он протянул мне две школьных тетрадки.

В. Т. жил еще на Хорошевском шоссе в тесной комнатке, в шумной квартире. А у нас к этому времени в Москве стояла пустой двухкомнатная квартира. Я спросил, почему бы ему там не поставить стол и стул, он мог бы спокойно работать. Эта идея ему пришла по душе.

Большая часть жильцов нашего кооперативного дома (ЖСК «Северянин») уже переехала в Москву с Колымы, в том числе и правление ЖСК. Все они очень очень ревностно, болезненно относились к тем, кто еще оставался на Севере. Общим собранием было принято решение, запрещающее сдавать, подселать или просто пускать в пустующие квартиры кого-либо в отсутствие хозяев. Все это мне растолковали в правлении, когда я пришел поставить в известность, что даю ключ от квартиры В. Т. Шаламову, моему товарищу, поэту и журналисту, живущему и прописанному в Москве и ждущему улучшения своих квартирных условий. Несмотря на протест правления, я оставил письменное заявление на имя председателя ЖСК. У меня сохранилось это заявление с аргументацией отказа и подписью председателя. Считая отказ незаконным, я обратился к начальнику паспортного стола 12-го отделения милиции, майору Захарову. Захаров сказал, что вопрос, по которому я обращаюсь, решается общим собранием пайщиков ЖСК и лежит за пределами его компетенции.

На этот раз я не смог помочь Варламу даже в столь пустяковом деле. Было лето. Собрать общее собрание, да еще по одному вопросу, не удалось. Я вернулся в Магадан. А квартира стояла пустой еще шесть лет, пока мы не выплатили долги за ее приобретение.

В шестидесятые годы Варлам начал резко терять слух, нарушилась координация движений. Он лежал на обследовании в больнице имени Боткина. Был установлен диагноз: болезнь Меньера и склеротические изменения вестибулярного аппарата. Были случаи, когда В. Т. терял равновесие и падал. Несколько раз в метро его поднимали и отправляли в вытрезвитель. Позже он заручился врачебной справкой, заверенной печатями, и она облегчила ему жизнь.

В. Т. слышал все хуже и хуже, и к середине семидесятых годов перестал подходить к телефону. Общение, беседа стоили ему большого нервного напряжения. Это сказывалось на его настроении, характере.

Характер у него стал нелегким. В. Т. сделался замкнутым, подозрительным, недоверчивым и потому необщительным. Встречи, беседы, контакты, избежать которых было нельзя, требовали с его стороны огромных усилий и изматывали его, выводя надолго из равновесия.

В его последние одинокие годы жизни бытовые заботы, самообслуживание тяжелым грузом ложились на него, опустошая внутренне, отвлекая от рабочего стола.

У В. Т. был нарушен сон. Он уже не мог спать без снотворного. Его выбор остановился на нембутале – средстве самом дешевом, но отпускавшемся строго по рецепту врача, с двумя печатями, треугольной и круглой. Действие рецепта ограничивалось десятью днями. Полагаю, что у него к этому препарату развилось привыкание, и он вынужден был увеличивать дозы. Доставка нембутала тоже отнимало у него время и силы. По его просьбе еще до нашего возвращения из Магадана в Москву мы посылали ему и сам нембутал, и рецепты без проставленной даты.

Бурная канцелярская деятельность той поры проникала во все поры жизни, не делая исключения и медицине. Врачам предписывалось иметь личные печати. Вместе с печатью лечебного учреждения врач обязан был ставить и свою личную печать. Формы рецептурных бланков часто менялись. Если раньше врач получал бланки с поставленной треугольной печатью поликлиники, то позже больной должен был сам идти от врача к окну больничных листов, чтобы поставить вторую печать. Врач часто забывал сказать об этом больному. Аптека не отпускала лекарства. Больной вынужден был снова идти или ехать в свою поликлинику. Этот стиль существует поныне.

Моя жена, хирург по специальности, в Магадане последние перед уходом на пенсию несколько лет работала в физкультурном диспансере, где лекарств не прописывают, и обеспечение В. Т. нембуталом для нас тоже становилось сложной проблемой. Варлам нервничал, писал раздраженные письма. Сохранилась эта невеселая переписка. Когда мы переехали в Москву, а в Москве жена уже не работала, проблема рецептов усложнилась еще более.

### Уроки хорошего тона

В конце шестидесятых годов я бывал в Москве раза четыре. И, конечно, в каждый приезд свой хотел повидать Варлама. Как-то с автозавода имени Лихачева, куда я приезжал для обмена опытом, я проехал к В. Т. на Хорошевку. Он бурно приветствовал меня, но выразил сожаление, что не может уделить мне много времени, так как должен быть

через час в издательстве. Мы обменивались главными своими новостями, пока он одевался и собирался. Вместе дошли до автобусной остановки и разъехались в разные стороны. Прощаясь, В. Т. сказал мне:

– Ты звони, когда сможешь приехать, чтобы наверняка застать меня дома. Звони, Борис, и мы договоримся.

Сев в автобус, я стал прокручивать в памяти свежие впечатления нашей встречи. Вдруг я вспомнил: в прошлый мой приезд в Москву первая наша встреча с В. Т. очень была похожа на сегодняшнюю. Я подумал о совпадении, но не задержал на этом надолго внимание.

Году в семьдесят втором или третьем (в то время В. Т. жил уже на Васильевской улице, и мы вернулись в Москву), будучи где-то очень близко от его дома, я решил заглянуть к нему, проведать. Дверь открыл В. Т. и сказал, разводя руками, что принять меня сейчас не может, так как у него посетитель, с которым предстоит ему долгий и трудный деловой разговор. Просил извинить его и настаивал:

– Ты приезжай, я всегда тебе рад. Но ты звони, пожалуйста, звони, Борис.

Я вышел на улицу немного растерянный и смущенный. Попытался представить себя на его месте, как я возвращаю его с порога своего дома. Мне это казалось тогда невозможным.

Вспомнился 1953 год, Магадан, конец зимы. Поздний вечер, стук в дверь – и на пороге Варлам, с которым мы не виделись и не общались с ноября 1945 г., более семи лет.

– Я из Оймякона, – сказал Варлам. – Хочу хлопотать о выезде с Колымы. Хочу уладить кое-какие дела. Мне нужно пробыть в Магадане дней десять.

Мы жили тогда рядом с автовокзалом, на Пролетарской улице, в общежитии медицинских работников, где в длинный и темный коридор открывались двери двадцати четырех комнат. Наша комната служила нам и спальней, и детской, и кухней, и столовой. Мы жили в ней с женой и трехлетней дочкой, тогда болевшей, и нанимали для нее няню, западную украинку, отбывшую большой срок в лагерях за религиозные убеждения. По окончании срока ее оставили в Магадане на спецпоселении, как и других евангелистов. Лена Кибич жила у нас.

У меня и у жены нежданное появление Варлама ни на секунду не вызвало ни сомнения, ни замешательства. Мы уплотнились еще больше и стали делить с ним кров и хлеб.

Сейчас я подумал, что мог бы Шаламов о своем приезде написать загодя или дать телеграмму. Мы бы что-то придумали более удобное для всех нас. Тогда такая мысль не пришла ни ему, ни нам в голову.

Варлам прожил у нас две недели. В выезде ему отказали. Он вернулся на свой таежный медпункт на границе с Якутией, где работал фельдшером после освобождения из лагеря.

Теперь, когда я об этом пишу, я очень его понимаю. Давно уже понимаю. Сейчас мне больше лет, чем было Варламу в шестидесятые годы. Мы оба с женой не очень здоровы. Тридцать два и тридцать пять лет на Колыме не прошли для нас даром. Нежданные гости теперь нас очень стесняют. Когда мы отворяем дверь на неожиданный стук и видим на пороге весьма дальних родственников, поднявшихся на седьмой этаж пешком, несмотря на исправный лифт, или давних знакомых, приехавших в Москву к концу месяца или квартала, у нас невольно напрашиваются слова: «Что же вы, милые, не написали о намерении приехать, не позвонили? Могли не застать нас дома...». Даже приход соседей без предупреждения нас затрудняет, застает часто не в форме и злит порой. Это при всем расположении к людям.

И вот товарищ по лагерю, где каждый был виден как на ладони, человек, с которым ты делил хлеб и баланду, сворачивал одну на двоих сигарку... Предупреждать о приходе, согласовывать встречи не приходило в голову! Не приходило долго.

Теперь я часто вспоминаю Варлама и его уроки хорошего тона, а если точнее – простейших норм общежития. Понимаю его нетерпение, его правоту.

Прежде, в другой нашей жизни, иными были точки отсчета.

### Особые приметы

Удивительно! Глаза, в которые я так часто и подолгу смотрел, не сохранили в памяти цвета. Зато запомнились присущие им выражения. Глаза были светлыми – светло-серыми или светло-карими. Они были посажены глубоко и смотрели из глубины внимательно и зорко. Лицо его было почти лишено растительности. Небольшой и очень мягкий нос он постоянно мял и сворачивал набок. Казалось, что нос лишен костей и хрящей. Небольшой и подвижный рот мог вытягиваться в длинную тонкую полосу. Когда Варлам Тихонович хотел сосредоточиться, он сгребал губы пальцами и держал их так. Когда предавался воспоминаниям, выбрасывал руку перед собой и внимательно разглядывал ладонь, при этом его пальцы круто изгибались к тыльной стороне. Если что-то доказывал, выбрасывал обе руки вперед, разжав кулаки, и как бы подносил к вашему лицу на раскрытых ладонях свои аргументы. При высоком росте кисть руки была небольшой и не носи-

ла даже малых следов физического труда и напряжения. Пожатие ее было вялым.

Он часто упирал язык в щеку, то в одну, то в другую, и водил изнутри языком по щеке.

У него была мягкая, добрая улыбка. Улыбались глаза и чуть заметно рот, его уголки. Когда он смеялся, а это случалось редко, из груди его вырывались странные, высокие, словно рыдающие звуки. Одним из любимых выражений было «Душа из них вон!». При этом он рубил воздух ребром ладони.

Говорил он трудно, подыскивая слова, пересыпая речь междометиями. В его бытовой речи многое оставалось от лагерного бытия. Возможно, это была бравада.

«Вот, купил новые колеса!», – говорил он, довольный, и по очереди выставлял ноги в новых ботинках.

«Вчера весь день кантовался. Отопью пару глотков крушины и по новой валюсь на кровать с этой книгой. Вчера дочитал. Отличная книга. Вот так надо писать! – Он протянул мне нетолстую книгу. – Не знаешь? Юрий Домбровский, «Хранитель древностей». Дарю тебе».

«Темнят, гады, чернуху раскидывают», – говорил он о ком-нибудь.

«Жрать будешь?», – спрашивал он меня. Если я не возражал, мы шли на общую кухню. Он извлекал откуда-то коробку с остатками вафельного торта «Сюрприз», разрезал на куски, приговаривая: «Отличная жратва! Ты не смейся. Вкусная, сытная, питательная, и готовить не надо». И были в его манипуляциях с тортом широта, свобода, даже некая удаля. Я невольно вспоминал Беличью, там он ел по-другому. Когда мы раздобывали что-нибудь пожевать, он приступал к этому делу без улыбки, очень серьезно. Откусывал понемногу, неторопливо, жевал прочувствованно, внимательно разглядывал то, что ел, поднося близко к глазам. При этом во всем его облике – лице, теле – угадывались необыкновенная напряженность и настороженность. Особенно это чувствовалось в его неторопливых, рассчитанных движениях. Каждый раз мне казалось, сделай я что-нибудь резкое, неожиданное – и Варлам молниеносно отпрянет. Инстинктивно, подсознательно. Или так же мгновенно кинет оставшийся кусок в рот и захлопнет его. Меня это занимало. Возможно, я сам ел точно так же, но себя я не видел. Теперь жена часто упрекает меня, что я ем слишком быстро, увлеченно. Я этого не замечаю. Наверно, это так, наверно, это «оттуда»...

## Письмо



В февральском номере «Литературной газеты» за 1972 г. в нижнем правом углу полосы в черной траурной рамочке напечатано письмо Варлама Шаламова. Чтобы о письме говорить, надо его прочитать. Это удивительный документ. Его следует воспроизвести, чтобы произведения такого рода не забывались.

#### «В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский эмигрантский «Новый журнал» в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои «Колымские рассказы».

Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветским журналом «Посев» или «Новым журналом», а также и с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность. <...>

Я честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении

XX съезда Коммунистической партии в моей личной жизни и жизни всей страны.

Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков – по рассказу-два в номере, – имеет целью создать у читателя впечатление, что я – их постоянный сотрудник. <...>

Эти господа, пышущие ненавистью к нашей великой стране, ее народу, ее литературе, идут на любую провокацию, любой шантаж, на любую клевету, чтобы опорочить, запятнать любое имя.

И в прошлые годы, и сейчас «Посев» был, есть и остается изданием, глубоко враждебным нашему строю, нашему народу.

Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом зловонном антисоветском листке своих произведений.

Все сказанное относится к любым другим белогвардейским изданиям за границей.

Зачем же им понадобился я в свои шестьдесят пять лет?

Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, «внутреннего

эмигранта», господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся!

С уважением  
Варлам Шаламов  
Москва  
15 февраля 1972 года».

Когда я наткнулся на это письмо и прочитал его, то понял, что над Варламом учинено еще одно насилие, грубое и жестокое. Не публичное отречение от «Колымских рассказов» поразило меня. Старого, больного, измученного человека нетрудно было вынудить к этому. Язык поразил меня! Язык этого письма рассказал мне обо всем, что случилось, он – неопровержимая улика. Таким языком Шаламов изъясняться не мог, не умел, не был способен. Не может говорить таким языком человек, которому принадлежат слова:

Пускай я осмеян  
И предан костру,  
Пусть прах мой развеян  
На горном ветру,  
Нет участи слаще,  
Желанней конца,  
Чем пепел, стучащий  
В людские сердца.

Так звучат последние строки одного из лучших стихотворений Шаламова, носящего весьма личный характер, – «Аввакум в Пустозерске». Вот что для Шаламова значили «Колымские рассказы», от которых его заставили публично отречься. И, как бы предвидя это роковое событие, в книге «Дорога и судьба» он написал следующее:

Меня застрелят на границе,  
Границе совести моей,  
И кровь моя зальет страницы,  
Что так тревожила друзей.  
Пусть незаметно, малодушно  
Я к страшной зоне подойду,  
Стрелки прицелятся послушно,  
Пока я буду на виду.  
Когда войду в такую зону

Непоэтической страны,  
Они поступят по закону,  
Закону нашей стороны.  
И, чтоб короче были муки,  
Чтоб умереть наверняка,  
Я отдан в собственные руки,  
Как руки лучшего стрелка.

Мне стало ясно: Шаламова заставили подписать это удивительное «произведение». Это в лучшем случае...

Как ни парадоксально, автор «Колымских рассказов», человек, которого с 1929-го по 1955 г. волочили по тюрьмам, лагерям, пересылкам сквозь болезни, голод и холод, никогда не слушал западных «голосов», не читал «самиздата». Я знаю это точно. Он не имел ни малейшего представления об эмигрантских журналах и вряд ли названия их слышал раньше, чем поднялся шум по поводу публикаций ими отдельных его рассказов...

Читая это письмо, можно подумать, что Шаламов был подписчиком «зловонных журнальчиков» и добросовестно их изучал от корки до корки: «И в прошлые годы, и сейчас «Посев» был, есть и остается...»

Самые страшные слова в этом послании, а для Шаламова они просто убийственные: «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью...».

Добровольно отречься от «Колымских рассказов» и их проблематики Шаламов не мог. Это было равносильно самоубийству для человека, писавшего:

Я вроде тех окаменелостей,  
Что появляются случайно,  
Чтобы доставить миру в целости  
Геологическую тайну.

9 сентября 1972 г., простившись с Магаданом, мы с женой вернулись в Москву. Я отправился к В. Т., как только появилась возможность. Он первым заговорил о злополучном письме. Он ждал разговора о нем и, похоже, готовил себя к нему.

Он начал без каких-либо обиняков и подходов к вопросу, почти без приветствия, от порога.

– Ты не думай, что кто-то заставил меня подписать это письмо. Жизнь меня заставила сделать это. А как ты считаешь, я могу прожить на семьдесят рублей пенсии? После напечатания рассказов в «Посеве»

двери всех московских редакций для меня оказались закрытыми. Стоило мне зайти в любую редакцию, как я слышал: «Ну что вам, Варлам Тихонович, наши рубли! Вы теперь человек богатый, валютой получаете...» Мне не верили, что, кроме бессонницы, я не получил ничего. Пустили, сволочи, рассказы в розлив и на вынос. Если бы напечатали книгой! Был бы другой разговор... А то по одному-два рассказа. И книги нет, и здесь все дороги закрыты.

– Ну, хорошо, – сказал я ему, – я понимаю тебя. Но что там написано и как там написано? Кто поверит, что писал это ты?

– Меня никто не заставлял, никто не насиловал! Как написал – так написал.

Красные и белые пятна пошли по его лицу. Он метался по комнате, открывал и закрывал форточку. Я постарался его успокоить, сказал, что верю ему. Сделал все, чтобы от этой темы уйти.

Трудно признаться, что над тобой совершено насилие, даже себе трудно в этом признаться. И трудно жить с этой мыслью.

От этого разговора у нас обоих – у него и у меня – остался тяжелый осадок.

В. Т. не сказал мне тогда, что в 1972 г. готовилась к выходу новая книга его стихов «Московские облака» в издательстве «Советский писатель». К печати она была подписана 29 мая 1972 г....

Шаламов действительно не вступал в какие-либо отношения с названными журналами, в этом нет никакого сомнения. Ко времени публикации рассказов в «Посеве» они давно уже ходили в стране по рукам. И нет ничего удивительного в том, что они попали и за рубеж. Мир стал тесен.

### Муха

Когда Варлам Тихонович разошелся с Ольгой Сергеевной, но оставался еще под одной с нею крышей, он поменялся с Сережей местами: Сережа перешел к матери в комнату, а маленькую комнату занял В. Т. Под узким окном в фанерной коробке на тумбочке рядом с Варламом поселилась черная гладкая кошка с умными зелеными глазами. Он называл ее Мухой. Муха вела свободный, независимый образ жизни. Все естественные отправления совершала на улице, из дома выходила и возвращалась через открытую форточку. А котят рожала в коробке.

К Мухе В. Т. был очень привязан. В долгие зимние вечера, когда он сидел за рабочим столом, а Муха лежала у него на коленях, свободной рукой он мял ее мягкий, подвижный загривок и слушал мирное урча-

ние кошки – хранительницы свободы и домашнего очага, который хотя и не крепость твоя, но и не камера, не барак, во всяком случае.

В 1966 г. летом Муха вдруг пропала. В. Т., не теряя надежды, искал ее по всей округе. На третий или четвертый день он нашел ее труп. Возле дома, где жил В. Т., вскрывали траншею, меняли трубы. В той траншее он и нашел Муху с разбитой головой. Это привело его в невменяемое состояние. Он неистовствовал, бросался на ремонтных рабочих, молодых, здоровых мужиков. Они смотрели на него с великим удивлением, как смотрит кошка на кидающуюся на нее мышь, пытались его успокоить. Целый квартал был поднят на ноги.

Мне кажется, я не преувеличу, если скажу, что это была одна из самых больших его привязанностей и тяжелых потерь.

Выщербленная лира,  
Кошачья колыбель –  
Это моя квартира,  
Шиллеровская щель.

Здесь нашу честь и место  
В мире людей и зверей  
Оберегаем вместе  
С черною кошкой моей.

Кошке – фанерный ящик,  
Мне колченогий стол,  
Клочья стихов шуршащих  
Снегом покрыли пол.

Кошка по имени Муха  
Точит карандаши.  
Вся – напряженье слуха  
В темной квартирной тиши.

Муху В. Т. похоронил и еще долго оставался в удрученном, подавленном состоянии.

Как-то я сфотографировал Варлама Тихоновича с Мухой на коленях. На снимке его лицо излучает покой и умиротворенность. Варлам называл этот снимок самым любимым из всех снимков послелагерной жизни. Между прочим, у этого снимка с Мухой были дубли. На одном из них у Мухи получились как бы сдвоенные глаза. В. Т. это страшно

заинтриговало. Он никак не мог понять, каким образом такое могло получиться. А мне это непонимание казалось забавным – при его-то разносторонности и гигантской эрудиции. Я объяснял ему, что, снимая в слабоосвещенном помещении, вынужден был увеличить экспозицию, выдержку. Реагируя на двойной щелчок аппарата, кошка моргнула, и аппарат зафиксировал ее глаза в двух положениях. Варлам слушал с недоверием, и мне казалось, что ответом он не удовлетворен...

В. Т. я фотографировал много раз и по его просьбе, и по своему желанию. Когда готовилась к печати его книга стихов «Дорога и судьба» (я считаю этот сборник одним из лучших), он попросил снять его для издательства. Было холодно. Варлам был в пальто и в шапке-ушанке с болтающимися тесемками. Мужественный, демократичный облик на этом снимке. В. Т. его и отдал в издательство. К сожалению, благонамеренная ретушь сгладила суровые черты лица. Я сравниваю подлинник с портретом на суперобложке и вижу, как много потеряно.

Что же касается Мухи, Кошки, – она всегда была для Варлама символом свободы и домашнего очага, антипода «мертвого дома», где голодные, одичавшие люди поедали своих извечных друзей – собак и кошек.

О том, что на знамени Спартака была изображена голова кошки как символ свободолюбия и независимости, впервые я узнал от Шаламова.

### Кедровый стланик

Кедрач, или кедровый стланик – кустистое растение с мощными древовидными ветвями, достигающими толщины в десять – пятнадцать сантиметров. Ветки его покрыты длинными темно-зелеными иглами. Летом ветви этого растения стоят почти вертикально, устремляя свою пышную хвою к не очень жаркому колымскому солнцу. Ветка стланика щедро усыпана мелкими шишками, наполненными тоже мелкими, но вкусными настоящими кедровыми орешками. Таков кедрач летом. С наступлением зимы он опускает свои ветви к земле и прижимается к ней. Северные снега покрывают его толстой шубой и сохраняют до весны от лютых колымских морозов. А с первыми весенними лучами он пробивает снежный покров. Всю зиму он стелется по земле. Вот почему кедрач называют стлаником.

Между небом весенним и небом осенним над колымской землей не столь уж большой промежуток. А поэтому, как и следует ожидать, не очень рослая, не очень броская, не очень пышная северная флора спешит, торопится зацвести, процвести, отплодоносить. Спешат деревья,

спешат кустарники, спешат цветы и травы, спешат лишайники и мхи – все спешат уложиться в отведенные им природой сроки.

Великий жизнелюб, стланик плотно прижался к земле. Лег снег. Сизый дымок из трубы магаданского хлебозавода изменил направление – он потянулся к бухте. Кончилось лето.

Как встречают на Колыме Новый год? С елкой, конечно! Но ель на Колыме не растет. Колымская «елка» делается так: срубается лиственница нужного размера, наголо обрубаются ветки, ствол обсверливается, в отверстия вставляются ветки стланика. И чудо-елка ставится в крестовину. Пышная, зеленая, ароматная, заполняющая помещение терпким запахом теплой смолы, новогодняя елка – большая радость для детей и для взрослых.

Колымчане, вернувшиеся на «материк», к настоящей елке привыкнуть не могут, с нежностью вспоминают составную колымскую «елку».

У Шаламова о кедровом стланике написано много и в стихах, и в прозе. Расскажу об одном эпизоде, вызвавшем к жизни два произведения Варлама Шаламова, прозаическое и поэтическое, – рассказ и стихотворение.

В растительном мире Колымы два символических растения – это кедровый стланик и лиственница. Мне кажется, кедровый стланик символичен в большей степени.

К новому 1964 г. авиабандеролью я послал из Магадана в Москву Варламу Тихоновичу несколько свежесрезанных веток стланика. Он догадался поставить стланик в воду. Стланик жил в доме долго, наполняя жилище запахом смолы и тайги.

В письме от 8 января 1964 г. В. Т. писал:

«Дорогой Борис, жестокий грипп не дает мне возможности поблагодарить тебя достойным образом за твой отличный подарок. Самое удивительное, что стланик оказался невиданным зверем для москвичей, саратовцев, вологжан. Нюхали, главное, говорили: «Пахнет елкой». А пахнет стланик не елкой, а хвоей в ее родовом значении, где есть сосна, и ель, и можжевельник».

Прозаическое произведение, навеянное этим новогодним подарком, – рассказ. Он посвящался Нине Владимировне и мне. Здесь уместно сказать, что Нина Владимировна Савоева, бывший главный врач больницы на Беличьей, в 1946 г., через год после моего освобождения, стала моей женой.

Когда Варлам Тихонович пересказывал продуманное им содержание будущего рассказа, я не согласился с некоторыми его положениями и деталями. Просил их убрать и не называть наших имен. Он внял

моим пожеланиям. И родился рассказ, который мы знаем теперь под названием «Воскрешение лиственницы».

Стихотворение опубликовано в 1967 г. в книге стихов «Дорога и судьба». Звучит оно так:

Я не лекарственные травы  
В столе храню,  
Их трогаю не для забавы  
Сто раз на дню.

Я сохраняю амулеты  
В черте Москвы,  
Народной магии предметы –  
Клочки травы.

В свой дальний путь,  
В свой путь не детский  
Я взял в Москву –  
Как тот царевич половецкий  
Емшан-траву, –

Я ветку стланика с собою  
Привез сюда,  
Чтоб управлять своей судьбою  
Из царства льда.

Так иногда незначительный повод вызывает в воображении мастера художественный образ, рождает идею, которая, обретая плоть, начинает долгую жизнь как произведение искусства.

### Время

В 1961 г. в издательстве «Советский писатель» тиражом в две тысячи экземпляров вышла первая книга стихов Шаламова – «Огниво». Варлам прислал ее нам со следующей надписью: «Нине Владимировне и Борису с уважением, любовью и глубочайшей признательностью. Беличья – Ягодный – Левый берег – Магадан – Москва. 14 мая 1961 года. В. Шаламов».

Мы с женой от души радовались этой книжке, читали ее друзьям и знакомым. Мы гордились Варламом.



В 1964 г. вышла вторая книжка стихов, «Шелест листьев», тиражом в десять раз большим. Варлам прислал ее. Мне хотелось, чтобы вся лагерная Колыма знала, что человек, прошедший через ее жернова, не утратил способности к высокой мысли и глубокому чувству. Я знал, что ни одна газета не напечатает того, что я хотел бы и мог рассказать о Шаламове, но дать о нем знать мне очень хотелось. Я написал отзыв, называя обе книжки, и предложил «Магаданской правде». Его напечатали. Несколько экземпляров я послал Варламу в Москву. Он попросил прислать еще сколько возможно номеров этой газеты.

Небольшой отклик на «Шелест листьев» Веры Инбер в «Литературке» и мой в «Магаданской правде» – это было все, что появилось в печати.

В 1967 г. у В. Т. вышла третья книга стихов, «Дорога и судьба», как и предыдущие, в издательстве «Советский писатель». Каждые три года – книга стихов. Стабильность, регулярность, основательность. Зрелые, мудрые стихи – плоды мысли, чувства, неординарного жизненного опыта.

Уже после появления второй книги литераторы с именем, достойные уважения, предлагали ему свои рекомендации в Союз писателей. О предложении Л. И. Тимофеева, литературоведа, членкора АН СССР, мне рассказывал сам В. Т. В 1968 г. Борис Абрамович Слуцкий говорил мне, что тоже предлагал Шаламову свою рекомендацию. Но В. Т. вступать в СП тогда не хотел. Он объяснял это тем, что ставить свою подпись под декларацией этого Союза ему не с руки, брать на себя сомнительные, как ему казалось, обязательства он считает невозможным. Это была его позиция того времени. Несколько позже в СП он все же вступил.

Но время, выпренно говоря, бесстрастно, а действие его на нас неотвратимо и разрушительно. И возраст, и вся безумная, недоступная пониманию нормального человека, страшная тюремнолагерная одиссея Шаламова проявляла себя все заметнее и заметнее.

Как-то я заехал на Хорошевское, 10. Варлама Тихоновича не было дома, встретила меня Ольга Сергеевна приветливо, как всегда. Мне показалось, что она рада моему приходу. Я был человеком, который знал их отношения с В. Т. с самого начала. Я оказался тем, перед кем она смогла выплеснуть всю свою тоску, горечь и разочарование.

Глядя на цветы, которые она ставила в вазу, Ольга Сергеевна еще больше погрустнела, опечалилась. Мы сели друг против друга. Она говорила, я слушал. Из ее рассказа я понял, что они с Варламом давно уже не муж и жена, хотя и продолжают жить под одной крышей. Характер его стал несносен. Он подозрителен, всегда раздражен, нетер-

ним ко всем и всему, что противоречит его представлениям и желаниям. Он терроризирует продавщиц магазинов ближайшей округи: перевешивает продукты, тщательно пересчитывает сдачу, пишет жалобы во все инстанции. Замкнут, озлоблен, груб.

Я ушел от нее с тяжелым сердцем. Это была наша последняя с ней встреча и беседа. Вскоре В. Т. получил комнату тоже в коммунальной квартире, этажом выше.

Варлам Тихонович был уверен, что все его соседи по новой квартире стукачи, специально к нему приставленные, что за каждым его шагом следят, что телефон прослушивается и, вполне вероятно, комната тоже. Когда он хотел поговорить со мной «без свидетелей», мы одевались, выходили на улицу, он брал меня под руку, и мы бродили по не очень шумным боткинским проездам и переулкам. Слышал в это время В. Т. совсем плохо, так что говорил преимущественно он. Брал меня он под руку еще и потому, что походка его была неустойчивой, а так он чувствовал себя увереннее. Опираясь на руку, он все время пальцами мял мою руку. Эти движения пальцами остались как привычка общения с кошкой Мухой, с которой он проводил большую часть своего одиночества.

В. Т. заметно менялся за последние годы (шестидесятые, семидесятые). Суждения его стали категоричными, возражения раздражали, тон стал менторским, вещательским, пророческим. Резко менялось его отношение к людям, недавним его кумирам. О Солженицыне, знакомство с которым так ему льстило еще недавно, он стал отзываться неприязненно. Он объяснял это тем, что позицию и поведение Солженицына считает авантюрными, что Александр Исаевич предлагал ему держаться активного единства и на этой почве произошел их полный разрыв.

Более демонстративно и более неожиданно для меня проявилось это новое в нем в отношении Бориса Леонидовича Пастернака. После освобождения из лагеря В. Т. работал фельдшером медпункта небольшого таежного поселка на границе с Якутией. Оттуда он послал Пастернаку письмо со своими стихами. Пастернак ответил быстро теплым письмом. Завязалась переписка. Ею В. Т. очень гордился, называл Пастернака поэтом милостью Божьей, самым значительным из современников и человеком высочайших достоинств. Письма его он бережно сохранял и как-то уже в Москве попросил меня переснять их. Я сказал, что могу сделать это безупречно только в Магадане, куда я вскоре возвращаюсь, что там у меня для этого есть все условия – и аппаратура, и освещение, и материал, а здесь, в Москве, с собой лишь примитивная камера, малопригодная для этой цели.

В. Т. не хотелось надолго расставаться с письмами, и он уговорил меня попытаться переснять их в Москве теми средствами, что есть. У себя в московской квартире, которая с 1964-го по 1972 г. стояла пустой, я устроился на подоконнике, приладил к объективу насадочную линзу и без экспонометра и мерной линейки письма отснял. Репродукция получилась недостаточно качественная. Съемка делалась с близкого расстояния, точно учесть смещение кадра (параллакс) я не мог, и правый край листа на некоторых письмах оказался чуть-чуть срезанным на одну-две буквы. Отпечатки я сделал уже в Магадане. Отправляя их, я еще раз предложил В. Т. прислать письма в Магадан ценной бандеролью или посылать их по одному, по возвращении предыдущего. Он не решился, а, возможно, нашел надежный способ снять с них копии в Москве. О письмах я его больше не спрашивал.

В одну из наших встреч, после смерти Бориса Леонидовича, он как-то между прочим бросил:

– Вообще-то говоря, Пастернак не был столь выдающимся поэтом, каким некоторые пытаются его представить...

Эти неожиданные слова меня обескуражили. Я почувствовал себя от них неуютно. Сказал ему: «До сих пор я слышал от тебя отзывы о нем лишь восторженные, полные почитания». Наш разговор на этом что-то прервало. К этой теме мы уже не возвращались.

В книге стихов Варлама Шаламова «Дорога и судьба» (1967) стихотворение «От кухни и передней...» дано с посвящением Борису Пастернаку. В книге «Точка кипения» (1977) посвящение снято. Возможно, непреднамеренно.

У В. Т., по его словам, к 1960 г. из колымских, лагерных друзей остались в живых трое: Федор Ефимович Лоскутов, глазной врач, с которым он познакомился на фельдшерских курсах в больнице УСВИТЛ, а может, знал еще по прииску «Партизан»; Андрей Максимович Пантюхов, врач-терапевт, в палате которого в 1943 г. лежал В. Т. на Беличьей. Пантюхова он вывел в рассказах «Домино» и «Курсы». Третий – я, младший по возрасту.

Первым ушел из жизни Лоскутов, батальонный комиссар гражданской войны, человек высоких моральных качеств, достойный всяческого уважения. 25 ноября 1983 г. в Павлодаре скончался Андрей Максимович Пантюхов, поддерживавший переписку после лагеря и со мной, и с Варламом. Приезжая из Павлодара в Москву, он всегда искал встречи с нами обоими.

До больницы Севлага и Пантюхов, и я работали в лагерной больнице прииска Верхний Ат-Урях. Во время реорганизации этого прииска в

феврале 1943 г. по наряду санотдела Севлага оба были переведены на Беличью. Наши дружеские отношения мы пронесли через всю жизнь.

Когда странности Варлама стали бросаться в глаза, мы с Пантюховым обменялись тревожными письмами. Наблюдения наши и оценки совпали.

Последний раз В. Т. был у нас дома в 1976 г. Он приехал к нам на троллейбусе (рельсовый транспорт, в том числе и метро, он не переносил из-за жесткой вибрации – результат давней и тяжелой болезни вестибулярного аппарата). С Ниной Владимировной он не виделся с 1957 г. Она рада была его приезду, приняла со всей открытостью своего характера и с радушием, на какое только была способна. Варлам был растроган этой встречей.

Проблема нембутала, которая оставалась для В. Т. одной из насущных, а потому касалась и нас, вскоре привела к малоприятному и жесткому разговору, а потом и к переписке в той же тональности. В. Т. требовал от нас правильно и своевременно оформленных рецептов в соответствии с постоянно меняющимися инструкциями Минздрава. Настаивал на регулярной присылке рецептов. Одно из его писем было грубым и раздраженным. Он писал нам в Друскининкай, куда я возил жену на лечение. Я ответил ему тоже в повышенном тоне, уже который раз объясняя, что ни я, ни Нина Владимировна доступа к рецептам давно не имеем и что только при случае можем попросить нембутал для себя в районной поликлинике у участкового врача. Больше Варлам не писал.

По времени примерно в тот же период у нас с Варламом состоялся разговор, тоже оказавший влияние на наши последующие отношения. Жалуясь на ухудшающееся здоровье, понижение трудоспособности, он сказал, что очень дорожит остающимся временем, что хотел бы успеть сделать хотя бы малую часть того, что задумано. А силы тают. Он сказал, что нуждается в полном покое, почти в изоляции, хочет, чтобы его имя не привлекало к себе внимания. Поэтому предельно ограничивает круг своих знакомств и контактов. После этого разговора я решил инициативу в наших взаимоотношениях предоставить ему. В это время он уже не подходил к телефону. Приезжать к нему без приглашения я не мог. По несколько раз в году я писал ему письма, в которых напоминал, что мы еще на ногах и, если он нуждается в какой-либо помощи, на нас может рассчитывать полностью. Ни на одно из этих писем мы не получили ответа.

В 1979 г. я перенес обширный крупноочаговый инфаркт и в последующие два-три года оставался под давлением этого заболевания.

Варлам молчал. Время от времени до нас доходили его новые публикации. Мы понимали, что возле него кто-то есть и сейчас он в нас не нуждается. Принцип Варлама «не поддерживать старых знакомств, ибо они не несут свежей информации», был нам известен. Тем не менее его судьба беспокоила нас. Сам я тогда не мог, поехала к нему на Васильевскую Нина Владимировна. Соседи по квартире сказали, что там он уже не живет, что Литфонд определил его в дом для престарелых, какой именно – они не знают, что последнее время он был не в состоянии себя содержать.

Жена дважды ходила в Литфонд, но и там никто не мог сказать о нем что-нибудь определенное. Мы искали его через Горсправку – безрезультатно. Сохранились ответы Горсправки. Все же нашли место его пребывания. Это был дом инвалидов № 9 на улице Вилиса Лациса, 3.

Посетить там В. Т. мы уже не успели. 19 января 1982 г. западное радио оповестило о его смерти. До нас это известие дошло лишь на следующий день. Я позвонил в дом инвалидов № 9. Человек, взявший трубку, был любезен, доброжелателен, отвечал на все вопросы и рассказал следующее.

Шаламов умер в доме инвалидов № 32 для невменяемых, куда был переведен накануне. Причиной же перевода послужило то, что, по словам дежурных, в месте общего пользования Шаламов якобы оставил открытым водопроводный кран. Раковина переполнилась, и вода затопила этаж. С директором этого заведения у Шаламова и раньше были острые столкновения. Случившееся директор расценил как умысел и силой перевел Шаламова в дом для невменяемых. Варлам Тихонович протестовал и сопротивлялся. Все это его потрясло и привело к смерти.

– Сегодня, – сказал тот человек, – в одиннадцать часов утра состоялась панихида в Вешняках, в церкви, а похоронили Шаламова на Ново-Кузьминском кладбище?\*\*\*

Кто были люди, взявшие на себя заботу о покойном Шаламове, его похороны, я не знаю. Очевидно, новые друзья и знакомые.

Варлам Тихонович был жертвой произвола и насилия в течение всей своей жизни. И конец ее, по всем законам классической трагедии, завершился под тем же зловещим знаком.

Я вспомнил слова, очень верно кем-то сказанные: «Россия, бросающая камни в своих пророков, по вековой традиции убивающая своих поэтов».

### Детали и частности

Зимой 1946 г. Шаламов попал на этап в Индигирское управление, может быть, самое гиблое, суровое место этого края. По дороге на Индигирку этап заночевал в Сусумане, в пересыльной зоне комендантского лагеря. Заключенный врач Андрей Максимович Пантюхов, с которым мы вместе приехали с Верхнего Ат-Урхя на Беличью, снял Шаламова с этапа, а вскоре отправил его на курсы фельдшеров, организованные при больнице СВИТЛА под Магаданом.

Между прочим, ни в «Колымских рассказах», во многом биографических, ни в автобиографических записях разных лет Беличья в судьбе Шаламова не фигурирует или почти не фигурирует. А это два с лишком колымских лагерных года, где счет шел на дни, а иногда и часы.

Я обратил на это внимание совсем недавно, когда познакомился с «Автобиографией», «Воспоминаниями разных лет», рассказом «Поездка на Олу». Из «Колымских рассказов» я вспомнил «Домино», «В больницу», «Облаву», «Спецзаказ». Сопоставив, тщательно выверив факты, я пришел к некоторым выводам.

В течение всей послелагерной жизни Варлам строил свою биографию, тщательно отбирая для нее подходящие факты, даты и краски. Иногда он позволял смещение во времени и событиях, отбрасывал то, что не украшало автопортрет, или привносил в него что-то.

Два с лишним года, проведенные на Беличьей в тепле и покое (культорг больницы, читающий лагерную газету в палатах и выпускающий временами стенную газету), разрывали цепь непрерывных страданий и унижений. Вот почему в «Колымских рассказах» больница Севлага нигде ни разу не упоминается, разве что мельком в рассказе «Облава». Этот рассказ написан достаточно близко к жизненной правде, но краски сильно сгущены. В нем повествуется, как в промывочный сезон администрация лагеря забирала для приисков здоровых людей из числа хозобслуги, санитаров и выздоравливающих больных. В рассказе его герой – Крист (читай – Шаламов) самовольно уходит от облавы в лес и там пережидает отъезд начальства. Автор умалчивает о том, что в действительности еще до приезда начальства в лес Криста отправила главврач, обычно узнававшая об «облавах» заблаговременно. Так она сберегала людей, на которых держалась больница, основной ее костяк. Крист не относился к этой категории, тем не менее главврач и его спасала от облав более двух лет, пока сама оставалась в этой больнице. Она причисляла его к тонкому и хрупкому социальному слою интеллигенции, который формирует культуру и нравственность народа. Рослый, но слабый физически Шаламов вряд ли выдержал бы вторично забой.

В лагерной больнице на Беличьей тяжелым больным с плохим аппетитом предлагалось заказывать индивидуальные блюда («Что бы ты съел?»), это почти всегда помогало восстановлению аппетита и способствовало выздоровлению.

Н. В. Савоева (крестьянская дочь) приняла эту больницу в 1942 г. очень запущенной, расхлябанной, неустроенной и немедленно приступила к строительству подсобного хозяйства. Уже на следующий год большая теплица добавляла к больничному скудному питанию свежие помидоры, зеленый лук, огурцы. А открытый грунт поставлял морковь, репу, капусту. Летом под присмотром кого-нибудь из фельдшеров или санитаров выздоравливающие собирали на зиму бруснику, грибы, черемшу. Два человека ловили в реке Дебине рыбу. Главный врач строго следила за хранением и распределением своего основного терапевтического «арсенала». Все тяжелые больные большой больницы находились под ее личным наблюдением. О каждом из них она знала все. Блюдами по заказу – «спецзаказом», а затем двойным больничным рационом были поставлены на ноги и В. Шаламов, и М. Миндлин, ныне проживающий в Москве, тоже человек почти двухметрового роста, в плачевном состоянии попавший на Беличью, вспоминающий теперь со слезами благодарности и больницу, и Маму Черную. Так называла лагерная Колыма Нину Владимировну. И прозвище это было синонимом Беличьей.

Читая «Автобиографию» В. Шаламова, датированную 1964 г., я обратил внимание, как он характеризует свои рассказы в плане литературном. Вот как он об этом пишет:

«Рассказы мои – не рассказы в обычном смысле. Именно здесь, в Решетникове, в поселке Туркмен (1953-1956 гг. – Б. Л.) я сделал попытку реализовать те новые идеи в прозе, которые занимали меня всю жизнь, попытку выйти за пределы литературы».

Очень хотелось понять, какой смысл вкладывается в эти слова, что подразумевается под сказанным. Но этого Шаламов здесь не говорит, предоставляя читателю, критику, литературоведу разобраться самим.

Я – читатель. «Колымские рассказы» в определенном смысле и обо мне, о моей лагерной жизни. Наши судьбы с Шаламовым во многом схожи. Мы оба из Бутырской тюрьмы были брошены на колымское золото, где «балом правил сатана». Оба голодом, холодом и непосильным трудом были доведены до полного, предельного истощения и авитаминоза. Я проработал на прииске четыре года. Варлам – немногим более двух. Я был моложе и продержался дольше. Обоих от смерти, на пороге которой мы оба стояли, спасла медицина, вылечив и приняв в свое лоно. Литературно одаренный Шаламов после реабили-

тации посвятил себя стихам и прозе. Я, не удовлетворенный фельдшерской долей, лишенный возможности завершить врачебное образование, окончил политехнический заочный институт и до возрастной пенсии проработал инженером на машиностроительном заводе.

Мне известно, как писались многие из колымских рассказов Шаламова. Я посылал Варламу из Магадана в Москву справочную литературу, архивные документы, сведения об интересующих его людях. Сохранилась переписка. Некоторых персонажей его рассказов я знал лично и ближе, чем он. Многие описанные им события происходили на моих глазах или рядом со мной.

Думая над «Колымскими рассказами», восхищаясь их силой, их мощью, я удивлялся своеобразию толкования отдельных событий или явлений, а также характеристикам тех или иных персонажей, названных настоящими именами, умерших или еще живых. Удивлялся вольному толкованию их судеб и поступков. Одни и те же персонажи в разных рассказах изображаются по-разному («Флеминг» – в рассказах «Курсы» и «Букинист»; Сергей Лунин – в рассказах «Потомок декабриста», «Инженер Киселев», «Шоковая терапия»). Герой двух рассказов, где описано одно и то же событие, в одном случае именуется майором Пугачевым («Последний бой майора Пугачева»), в другом – полковником Яновским («Зеленый прокурор»); один и тот же персонаж назван в рассказе «Курсы» Яковом Давидовичем Уманским и Яковом Михайловичем Уманским – в рассказе «Вейсманист».

Теперь мне кажется, что я понимаю слова: «Сделал попытку выйти за пределы литературы». Я понял это как совмещение художественной прозы с документальностью мемуаров. Такая проза позволяет воспринимать ее как мемуары, обретая одновременно право на домысел и вымысел, на произвольное толкование судеб героев, сохраняя их настоящие имена. Показательными примерами такой прозы являются рассказы «Инжектор», «Калигула», «Экзамен», «Город на горе» да и «Воскрешение ливневницы», где пышный вымысел перемешан с клочками собственной биографии.

### Разными глазами

Помню один разговор с Варламом на Беличьей. Он говорил мне о событии, свидетелями которого мы были оба. То, что он говорил, не было похоже на то, что я видел и слышал. Оценки его совершенно не совпадали с моими. Я был молод и самонадеян, собственным наблюдениям доверял полностью. Я ему возражал. Он же в ответ развивал стройную, связную концепцию. Но она не убеждала меня. Уже тогда я



подумал: что это? Или он видит дальше и глубже меня, или мир им воспринимается иначе, нежели мною? Я относился с большим уважением к нему, его жизненному опыту, его знаниям, недюжинности. Но я и себе верил, и это сбивало меня с толку.

Позже я не единожды вспоминал этот разговор на Беличьей и приходил к мысли, что срабатывал в Шаламове врожденный писатель, который и обобщал, и домысливал, и воображением дополнял то, чего не хватало для созданной им самим картины. Эта догадка моя подтвердилась во многом, когда впервые читал его «Колымские рассказы». Большая часть «Колымских рассказов» документальна, их персонажи не вымышлены – сохранены имена. В рассказах они нередко приобретают иную плоть и иную окраску. Все это я относил к естественной разнице между правдой жизни и правдой художественной, о которой у меня было не очень четкое, книжное представление.

Сам Шаламов писал мне об этом в письме от 23 марта 1963 г.:

«Помнить нужно вот что: успех художественного произведения решает его новизна. Эта новизна многосторонняя: новизна материала или сюжета, идеи, характеров, психологических наблюдений, которые должны быть новы, тонки и точны, новизна описаний в пейзаже, в портрете; свежесть и своеобразие языка. Второе, что тебе надо очень хорошо понять: правда действительности и художественная правда – вещи разные (курсив мой. – Б. Л.). Истинно художественное произведение – всегда отбор, обобщение, вывод. В рассказе нужна выдумка, вымысел, «заострение сюжета». К основной схеме должны быть присоединены наблюдения разновременные, ибо рассказ – не описание случая. Третье: наша сила в нашем материале, в его достоверности. И любой прямой мемуар в полном согласии с датами и именами более «соответствует» нашим знаниям о предмете.

У произведения, имеющего вид документа, – сила особая».

Как правило, свои рассказы В. Т. писал легко, писал от руки почти начисто, с очень незначительными последующими правками. Так написаны, например, рассказы «Огонь и вода», «Галстук», «Ночью». Очевидно, они писались, будучи надежно выношенными.

Мне очень хочется рассказать немного не о писателе Шаламове, а о Шаламове-человеке, его характере в будничной, повседневной жизни. Характер у Варлама Тихоновича, как я понял из прозы Шаламова и других публикаций, конечно, отцовский – он был честолюбив, тщеславен, эгоистичен. Я затрудняюсь сказать, чего было больше. К этим чертам еще можно прибавить злопамятность, зависть к славе, мстительность.

Вот что пишет Шаламов об отце в «Четвертой Вологде»:

«Чрезмерной душевной тонкости был чужд отец»; «Скромность отец не считал достоинством»; «Скрывать свое умение, свое превосходство отец не имел привычки».

А вот как писал В. Т. о себе:

«Учитель пения поглядел на меня с интересом, и тщеславное сердце мое забилося ожиданием очередной победы»; «Мне все равно всюду было тесно, тесно было на сундуке, где я спал в детстве много лет, тесно в школе, в родном городе. Тесно было в Москве, тесно в университете. Тесно было в одиночке Бутырской тюрьмы. Мне все время казалось, что чего-то не сделал, не успел... Не сделал ничего для бессмертия, как двадцатилетний король Карлос у Шиллера»; «Я вернулся в школу к Куклиной.

– Вы будете гордостью России, Шаламов» («Четвертая Вологда»); «Ночью 1931 г. я стоял на берегу Вишеры и размышлял на важную, большую для меня тему: мне уже двадцать четыре года, а я еще ничего не сделал для бессмертия» (рассказ «В лагере нет виноватых»).

И о себе, и о своих близких Шаламов писал порой откровенно до жестокости:

«Хотя у нас была большая семья, но она не выполнила главного назначения многодетных семей – пенсионного обеспечения стариков. В нашей семье дети не заплатили долга родителям... Никаких денег ни Галя, ни Валерий никогда маме не посылали... Я посылал только тогда, и в очень скромных пределах, когда не сидел в тюрьме» («Четвертая Вологда»); «Ведь своего поведения я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался... Я не буду искать «полезных» знакомств, давать взятки» (рассказ «Сухим пайком»).

Не каждый, опустившийся на самое дно бытия, предавал, клеветал, давал взятки, доносил, крал или брал взятки. Много есть еще заповедей всеобщей и христианской морали. У Варлама не всегда слова соответствовали делу: он искал и находил «полезные» знакомства. В лагере – хотя бы Сергей Лунин, потомок декабриста, Андрей Пантюхов, Нина Владимировна, я. Делал подношения: в Москве после лагеря носил редакционным дамам букетики цветов в портфеле и улыбался смущенно, объясняя мне, что такова жизнь. На левом берегу в больнице СВИТЛа на хирурга Сергея Михайловича Лунина написал донос. На того самого Лунина, который ранее на Аркагале спас Шаламова от испепеляющего гнева и ненависти начальника участка. Сделал это Лунин с ущербом собственным интересам (см. рассказы «Инженер Киселев» и «Потомок декабриста»). Лунин сделал Варламу много доброго,

разве что не снабжал его табаком и хлебом ежедневно. Он сам был на лагерной пайке, правда, не вкалывал в забое на морозе. А Варлам ответил ему черной неблагодарностью: написал донос и облил грязью его имя в своих рассказах, выведя Лунина еще и махровым антисемитом. Зная Лунина по институту Нина Владимировна против этого категорически возражает. Сергей Лунин учился с ней в Первом медицинском на курс старше. Был старостой хирургического кружка института, которым руководил академик Бурденко. И сам Бурденко, и его ассистенты высоко ценили хирургический талант Лунина, брали его вторым ассистентом на самые сложные операции. Нина Владимировна была членом хирургического кружка. Будущие хирурги души не чаяли в Луinine и ходили о нем хлопотать, когда он внезапно «исчез».

Сам Шаламов в рассказе «Шоковая терапия» (а «шоковая терапия» проводилась только в больнице СВИТЛа) рассказывает о молодом хирурге, заведующем отделением, которого старый невропатолог называет Сережей. Рассказывает с большей симпатией и уважением, показывая его благородство. Очень похоже, что неприязнь Варлама к Лунину, а может быть, и более чем неприязнь появились на какой-то более поздней стадии пребывания Лунина в отделении и носили весьма личный характер – ревность, зависть, уязвленное самолюбие. Возможно, рассказ «Потомок декабриста» – это попытка оправдать и обосновать собственный неблагоприятный поступок, идущий вразрез с объявленным этическим кредо.

«Своим первоочередным долгом я считаю возвращение пощечин, а не подаваний. Такова моя натура, память, моя человеческая суть. Я все помню. Но хорошее я помню сто лет, а плохое – двести» (из «Воспоминаний разных лет»).

Шаламов был человеком страстным, погруженным в себя. Перед ним была Цель. Он шел к ней, не размениваясь на мелочи, жертвуя стоящими на пути, отбрасывая все, что не служило или мешало достижению этой цели. Он не был отягощен ни излишней сентиментальностью, ни деликатностью.

Он был живым человеком, очень сложным, противоречивым, меняющимся во времени, как все живое. Менялись его суждения, его принципы, менялись оценки, менялись и привязанности, если таковые были. Беспольных знакомств Варлам не поддерживал, в дружбу, рожденную в беде, не верил.

«Человек не любит вспоминать плохое... Это один из мудрых законов жизни – элемент приспособления, что ли, сглаживания «острых углов». Вот почему никакая дружба не заводится в очень тяжелых

условиях, и очень тяжелые условия вспоминать никто не хочет» («Дорога в ад»).

Последние из приведенных высказываний Шаламова дополняют друг друга, разве что есть некоторая непоследовательность в суждении о памяти, памяти на плохое. «Очень тяжелые условия вспоминать никто не хочет» и «Я все помню. Но хорошее я помню сто лет, а плохое – двести». Но это уже свойство индивидуальное, так надо понимать.

Проявленное к нему сострадание, сочувствие, когда бескорыстно делятся с ним не лишним куском хлеба, а пайкой, он называет «подающим».

«Но и сейчас я помню, как Лесняк приносил мне каждый день хоть кусок хлеба, хоть горстку табаку. Я никогда не делился, все съедал сам и выкуривал сам. Это было в полных правилах колымской арестантской этики».

Были в его послелагерной жизни периоды, когда он считал, что слава и бессмертие, к которым он с детства стремился, принесет ему проза, его «Колымские рассказы» в первую очередь. Порой он отдавал приоритет своей лире.

Варлам был очень чувствителен к славе и безрассудно ревнив. Когда им были уже написаны лучшие стихи и «Колымские рассказы» отпущены в мир, он пересмотрел свое мнение о Пастернаке, неприязненно отзывался о Солженицыне. Тепло и радушно принятый Надеждой Яковлевной Мандельштам, позже разрушил их добрые отношения, о чем свидетельствуют люди, бывшие в тот период рядом.

Ревнуя к славе Анну Ахматову, он так живописует встречу с ней: «В 1964 г. я встретился с Анной Ахматовой. Она только что вернулась из Италии после очередного перерыва таких *вояжей* (курсив здесь и далее мой. – Б. Л.). Взволнованная впечатлениями, премией, новым шерстяным платьем, Анна Ахматова готовилась к Лондону. Я как-то встретился с ней в перерыве между двумя волнами ее заграничной славы.

– Я хотела бы в Париж. Ах, как я хочу, хочу в Париж, – *сюсюкала* Анна Андреевна.

– Так кто вам мешает? Из Лондона слетайте на два дня.

– Как кто мешает? Да разве это можно? Я с Италией не отходила от посольства. Как бы чего не вышло.

И видно было, что Ахматова твердит эту чепуху не потому, что думает «следующий раз не пустят» – следующего раза в 80 лет не ждут, – а просто отвыкла думать иначе» («В лагере нет виноватых»).

Рассказано без симпатии и уважения. Я бы сказал, с неприязнью. Анна Андреевна Ахматова – поэт милостью Божьей, гордость России

– избитая, исхлестанная, сломанная. Что жалит тебя, Варлам? На могилу Ахматовой в Ленинград, в Комарово все же поехал! Что-то толкало.

В рассказе «Курсы» В. Т. о себе говорит: «Острейшее самолюбие росло во мне. Чужой отличный ответ на любом занятии я воспринимал как личное оскорбление, как обиду».

«Я верю в одиночество как лучшее, оптимальное состояние человека» («Сейчас не 37-й»).

Варлам Тихонович закончил жизнь в одиночестве в доме презрения, оттолкнув от себя друзей и близких. И все же в тех унижительных, диких, позорных для отечества условиях инвалидных домов, в которых оказался Шаламов, его нашли добрые, сердобольные люди, щедро наделенные чувством сострадания, и оказали ему посильную помощь. В последние месяцы его жизни они несли возле него дежурство. И, когда он ушел из жизни, взяли на себя безмерно тяжелый труд, связанный у нас с ритуалом последнего долга.

Склоняю голову перед бескорыстным добром и милосердием, на которые Россия испокон веку была щедра.

Хочу напомнить и уточнить:

Варлам Тихонович Шаламов за весь свой колымский срок пробыл на прииске в золотом забое два года на Партизане и полтора – два месяца на Джелгале. Зимой 1938-1939 гг. в связи с «заговором юристов» из магаданской тюрьмы («Дом Васькова») попал на магаданскую транзитку и оставался там до весны по случаю тифозного карантина. Весной его этапировали на Черное озеро в угольную разведку. Там он работал кипятыльщиком, в титане кипятил для шурфовщиков воду. Потом угольная Аркагала (тоже не прииск). После суда в Ягодном в 1943 г. попал на витаминную фабрику, обдирал хвою со стланика. Оттуда в середине 1943 г. был направлен в больницу Севлага на Беличью с диагнозом «дизентерия» и «полиавитаминоз». Там его вылечили, поставили на ноги и оставили в больнице культургом. На этом поприще он находился до конца 1945 г. А в начале 1946 г. был снят с этапа врачом Пантюховым и направлен на лагерные фельдшерские курсы под Магаданом. Окончив курсы, В. Т. остался работать в больнице СВИТЛа по полученной специальности. До освобождения из лагеря в 1951 г. больше на «общие» работы не попадал.

И тем не менее Варлам Шаламов, как никто другой, сумел рассказать миру обо всех ужасах лагеря, дав исчерпывающий анализ не только лагерного бытия тех лет, но и широчайший обобщенный анализ времени. Его «Колымские рассказы» – грозный документ эпохи.

Движущая сила в создании этих рассказов – всепоглощающий гнев, рожденные лагерем злоба и чувство мести за растоптанные мечты, надежды и амбиции. Острая наблюдательность, феноменальная память и писательская одаренность были приведены в действие ими.

В письме от 5 августа 1964 г. он писал мне: «Я пишу стихи с детства, а в юности собирался стать Шекспиром или по крайней мере Лермонтовым и был уверен, что имею для этого силы. Дальний Север – точнее, лагерь, ибо Север только в лагерном своем обличьи являлся мне – уничтожил эти мои намерения. Север изуродовал, обеднил, сузил, обезобразил мое искусство и оставил в душе только *великий гнев* (курсив здесь и далее мой. – Б. Л.), которому я и служу остатками своих слабеющих сил. В этом и только в этом значении Дальнего Севера в моем творчестве. Колымский лагерь (как и всякий лагерь) – школа отрицательная с первого до последнего часа. Человеку, чтобы быть человеком, не надо вовсе знать и даже просто видеть лагерную Колыму. Никаких тайн искусства Север мне не открыл».

Неизвестно, достиг бы Шаламов как писатель тех вершин, что достиг, если бы его миновала горькая чаша лагерной одиссеи со столь яркой, грозной, вопиющей, непривычной уху и глазу фактурой.

Варлам Шаламов – это «Колымские рассказы» прежде всего. Именно они будут вписаны справедливо в народную память надолго.

\* Поэма «Возвращение», приведенная здесь в извлечениях, посвящена главврачу больницы на Беличьей Н. В. Савоевой и написана по случаю ее возвращения из инспекционной поездки по лагерным приискам для отбора тяжелых больных зимой 1944 г.

Люди, упомянутые в стихотворениях, – обслуживающий персонал больницы (дядя Саша – старший повар Александр Иванович Матвеев, Нисон Азарович – заключенный, дневальный главврача и др.).

«Туманный», «Одинокий» – названия приисков.

\*\* В действительности Шаламов похоронен на Старо-Кунцевском.

Из книги «Я к вам пришел», издательство МАОБТИ, Магадан, 1998. Глава о Шаламове опубликована в журнале «Октябрь», №4, 1999. Сетевая версия на сайте Журнальный зал

<http://magazines.russ.ru/october/1999/4/lesn.html> (В мемуарах Елены Мамучашвили упомянута публикация в газете «Рабочая трибуна», 29 марта 1994 г.)

Еще отрывок из мемуаров Бориса Лесняка «Я к вам пришел» <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=3295> – об инциденте, вероятно, как-то соотносящимся с содержанием шаламовского очерка «Вставная новелла» и его дневниковыми записями о Лесняке 1971 года.

«Уже в конце шестидесятых дал я преподавательнице моей дочери почитать «Колымские рассказы» Шаламова в рукописи. А она сняла копии и послала в Саратов товарищу. А у товарища устроили «шмон» и нашли те рассказы. Бедную молодую женщину потянули к Галине Борисовне [КГБ]. Там она исписала добрый том показаний. Сказала, что рассказы Шаламова дал я и разрешил перепечатать. Потянули меня. Мне показали целую кипу изъятых у нее материалов и десятки листов ее признаний. Майор Тарасов Леонид Ильич с крупными желтыми зубами, гордившийся своим именем и отчеством, вел со мной не допрос, а как бы собеседование, часто уходя в сторону от основного вопроса. Я отвечал ему спокойно и уверенно. На один из вопросов я замедлил с ответом. Мне не понравилась сама постановка вопроса.

– Что растерялись, не знаете, что сказать! – возрадовался он.

– Ошибаетесь, – сказал я. – Я же знаю, с кем говорю. Отвечать вам надо так, чтобы не дать возможности разночтениям и ложного толкования, Леонид Ильич. Таков мой опыт. [...]

От подписи я отказался, потому что пеструю нашу беседу он изобразил как допрос: вопрос-ответ, вопрос-ответ. Искажен был не только смысл моих слов, но и сами вопросы. Это я ему и высказал.

– Тогда запишем, что вы отказались от подписи.

– Я сам запишу, – сказал я и протянул руку за протоколом. Он дал мне последнюю страницу, исписанную до половины. На ней я изложил свои претензии».

*Борис Николаевич Лесняк (1917-2004), колымский товарищ Шаламова, инженер-технолог, мемуарист, муж Нины Савоевой*



## Елена Лопатина

«Я познакомилась с Варламом Тихоновичем в доме подруги юности Н. В. Кинд относительно вскоре после его появления в Москве. Наши дальнейшие встречи нельзя назвать частыми, но они были все же достаточно регулярными. Таким же постепенно стал и обмен письмами.

Представленные здесь письма В. Т. Шаламова могут привлечь внимание читателей, интересующихся историей своей страны. Вместе с тем тематика этих писем во многом отражает основу сложившихся между нами дружеских отношений. И здесь я должна в какой-то степени прокомментировать письмо от 8 июня 1968 года.

В самом конце мая или в начальных числах июня этого года поздно вечером Варлам Тихонович позвонил мне по телефону и сказал, что несколько часов назад неожиданно познакомился с известным востоковедом И. Д. Амусиным, который, оказывается, в 1938 году был сокамерником моего отца в ленинградской тюрьме.

На следующий день я встретила с Иосифом Давидовичем и теперь постараюсь как можно точнее кратко передать услышанное. В тюрьме обычно произносятся только фамилии, а мужественное поведение сокамерника в этом аду все более приводило к ассоциациям с «самим Германом Александровичем Лопатиным». И Амусин решился задать вопрос моему отцу – не имеет ли он какого-либо отношения к семье Германа Александровича. В ответ он услышал: «Я его сын».

Бруно Германович родился 6 февраля 1877 г. в Лондоне и в метрике был записан под фамилией Барт, поскольку Герман Александрович Лопатин в это время проживал, из соображений конспирации, по документу английского подданного Барта. В России – вместе с матерью – он окончательно поселился лишь после осуждения Германа Александровича в 1887 г. на пожизненное заключение в Шлиссельбургской крепости.

По окончании юридического факультета Московского университета Бруно Германович смог принять русское подданство. По восстановлению отцовской фамилии и разрешение носить имя Лопатин-Барт было зафиксировано уже особым постановлением правительства после февральских событий 1917 г.

Эти формальные уточнения необходимы потому, что в качестве одного из крупных петербургских адвокатов, ведущих до революции только политические процессы, Бруно Германович известен именно под фамилией Барт.



Адвокат Бруно Германович Лопатин-Барт был расстрелян 18 июня 1938 года на основании бессудного постановления Особой Тройки УНКВД по Ленинградской области».

Из предисловия к переписке с Шаламовым. Опубликовано в журнале «Звезда», 1994, №1. Сетевая версия на сайте Данте XX века <http://www.booksite.ru/varlam/letter.htm>

*Елена Бруновна Лопатина (1912-1993), географ, знакомая Шаламова в период 1960-70-х годов, внучка народовольца Германа Лопатина*





## Лилиана Лунгина

«Я думаю, залог великой художественности «Ивана Денисовича» в том, что Солженицын взял счастливый день. Что он описал не тяжелый день Ивана Денисовича, а вот – что такое хороший день в заключении, когда все складывается как нельзя лучше. [...]

Вот потом же появились рассказы Варлама Шаламова. Шаламов вернулся следом за Солженицыным. Я с ним познакомилась у Леонида Ефимовича [Пинского – прим. составителя], потому что к Лёне в

дом ходили многие вернувшиеся из лагерей. Это был совсем другого облика человек, чем Солженицын. Я увидела еще не старого, но совершенно состарившегося, похожего на образы Рембрандта человека; жизнь наложила на него ужасную печать, исказила лицо, он был весь в морщинах, у него был тяжелый, страшный взгляд. Это был абсолютно раздавленный системой человек.

Его рассказы, глубоко художественные и замечательные, имеют познавательную ценность отнюдь не меньшую, чем «Один день Ивана Денисовича». Но тогда эти рассказы не были здесь опубликованы. Однако нам удалось, даже, скажу, не без моего участия, переправить их за границу. Знакомые французские врачи вывезли рукописи на себе, приклеив страницы под одежду. И они были опубликованы во Франции. Но не произвели никакого впечатления в том смысле, что их не читали. Это теперь Шаламов стал знаменит. Сейчас его переиздают. А тогда правда, которую он сказал о лагере, эта жизнь урок – он очень много писал не только о политических, но и об урках, об этой стороне лагерной жизни – оказалась настолько горькой, не завернутой в приемлемую, глотаемую оболочку, что тираж, который вышел в издательстве, никто не покупал. И пресса была такая... Он очень тяжело это пережил. И когда началась травля Солженицына, даже позволил себе высказаться. В том же номере газеты, где сообщалось, что Солженицына высылают, было письмо-протест Шаламова против того, что без его разрешения опубликовали за границей его рассказы. Это неправда. С его разрешения. Это была горечь от того, что рассказы не получили

никакого отклика. Как в бездну провалились. Он не понимал почему. И умер он ужасно. Я его видела, пока он ходил к Лёне. Потом он заболел, не смог больше жить один в своей квартире. Он умер в районном доме для престарелых, в ужасных, просто в лагерных условиях, в полной забывости, безвестности, совершенно трагически. А сейчас на Западе это большой писатель. У нас, впрочем, тоже».

«Это именно она [Наталья Ивановна Столярова – прим. составителя], не без моей подсказки, организовала переправку рукописей Шаламова с помощью своих французских друзей».

Из фильма «Подстрочник. Жизнь Лилианы Лунгиной», видеоролик <http://www.youtube.com/watch?v=bIHftzMVoEY>; текст заснятого на камеру повествования – в электронной библиотеке e-Reading-lib <http://www.e-reading-lib.com/book.php?book=1003683>

*Лилиана Зиновьевна Лунгина (1920-1998), филолог, переводчик, мемуаристка, принадлежала кругу Леонида Пинского*



### **Евгения Лысенко**

«В 1960-е и 1970-е годы, когда, после 24 лет проживания в комнате студенческого общежития, наша семья переехала в кооперативную квартиру, у нас бывало много народу. [...]

Среди друзей, приобретенных в те годы, были люди, создавшие целый пласт культуры, тогда еще подпольной, преследуемой, самиздатской, а ныне ставшей достоянием всего общества. Это Варлам Тихонович Шаламов, Надежда Яковлевна Мандельштам, Евгения Семеновна Гинзбург, Венедикт Ерофеев, Александр Галич, Борис

Чичибабин, Всеволод Некрасов, Генрих Сапгир, Игорь Губерман. [...]

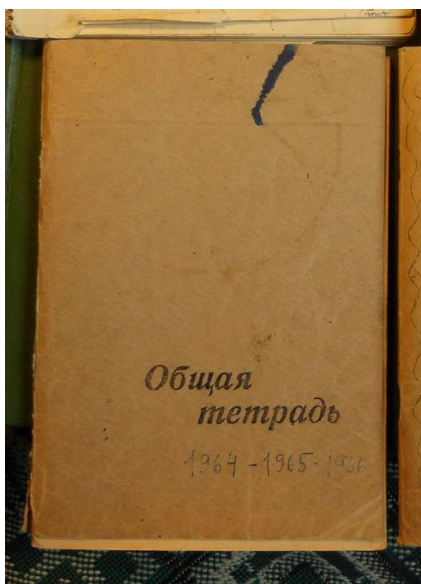
Помню, как горячо убеждал он [Леонид Пинский] Н. Мандельштам, прочитав ее «Первую книгу», (т. е. конечно, рукопись), не прятать несколько имевшихся у нее экземпляров по разным домам, где они могли и пропасть, а размножить и пустить в свет. В. Т. Шаламову он помог сгруппировать отдельные колымские рассказы в циклы, что придало им характер истинной эпопеи. Помог, кстати, и передать их за рубеж, где они впервые начали появляться в печати».

Из «Биографического очерка» о Леониде Пинском в книге «Минимы», СПб.: издательство Ивана Лимбаха, 2007

---

### ***Шаламов у Леонида Пинского, шестидесятые годы***

Календарные записи жены Пинского Евгении Лысенко, хранящиеся в ее архиве, отмечают кроме прочего встречи хозяев дома с Шаламовым.



Ниже представлены фрагменты этих записей с упоминанием посещений Шаламова, Н. Мандельштам и Натальи Столяровой (включил их как лиц, тесно связанных с Шаламовым во второй половине шестидесятих годов). Присутствует также Лиана Лунгина, при содействии которой рукопись «Колымских рассказов» в 1968 году была передана Шаламовым на Запад в издательство Леттр-Нувель, Париж, для издания на французском.

Записи Е. Лысенко крайне лапидарны и, конечно, не фиксируют всех визитов Шаламова, да и массы других людей –

Пинский был человеком общительным и открытым, и дом его представлял собой своего рода интеллигентско-диссидентский салон, если это слово уместно для советских, обычно кухонных, сборищ и «посиделок». Вот что рассказывает, например, Александр Гинзбург в своей статье 1986 года:

«Помню как сейчас, одну из квартир писательского дома у метро «Аэропорт» в дни процесса [Синявского и Даниэля] и сразу после него. Люди собирались здесь каждый день, чтобы своими глазами увидеть и прочитать то, что доходило до нас из зала суда. [...]

Все это читали вслух, часто тут же перестукивали на машинке и потом до хрипоты обсуждали в табачном дыму за чашкой простывшего чая. И был среди этого шума и споров только один человек, который почти никогда ничего не говорил. Он был в этом доме частым гостем. Он сидел, прислонившись к стене, в низко надвинутой меховой шапке (в тот год в феврале было очень холодно). Иногда мне казалось, что ему неудобно сидеть на стуле, что он вдруг возьмет да и присядет на корточки, как это делали в лагерях старые зэки. Это был Варлам Тихонович Шаламов. Он почти ничего не говорил, очень редко задавал вопросы, но слушал других с напряженным вниманием. Помню, что однажды он исчез (я сразу это отметил, потому что он вызывал во мне какой-то особенно жадный интерес) и три дня не появлялся. А

потом пришел снова. И как раз в этот день в «нашем доме» читалось вслух «Письмо старому другу».

Я тоже ходил туда каждый день – у меня, помимо живого интереса, была еще и своя задача – я собирал все документы о процессе Синявского и Даниэля, чтобы составить потом «Белую книгу».

[...] о том, что автором «Письма старому другу» был Варлам Тихонович Шаламов, окончательно я узнал, когда уже вышел из лагеря. Мне сказал об этом Леонид Ефимович Пинский, известный профессор-литературовед, в доме которого и собирался кружок старых зэков».

Ни сам Александр Гинзбург, ни «старые зэки» в записях Лысенко, в частности, за февраль 1966, не фигурируют, иначе говоря, по краткости записей гости и встречи зафиксированы только частично – скорее всего, в календарь заносилось только то, о чем существовала предварительная договоренность, об остальном он умалчивает.

Материалами и фотографиями обязан Михаилу Юрьевичу Михееву и Людмиле Дмитриевне Мазур, за что премного им благодарен. В календарике Евгении Лысенко, уточняет Михеев, «отмечены и такие ее работы и заботы, как стирка, глажка белья, уборка, магазин, поликлиника, хождение в издательства».

В.Ш. – Шаламов, Н.И. – Наталья Столярова, Н.Я. – Надежда Мандельштам. Упоминания о встречах с Шаламовым помечены крестиком.

---

### *Выписки из календарей Евгении Лысенко 1965-67 гг.*

#### **1965**

24 окт. (воскресенье) – В.Ш. +

20 нояб. – У Н.И.

24 нояб. У Мандельштам

29 нояб. – Н.И.

### **1966**

- 4 фев. – Шаламов. +  
7 фев. – Шал. +  
18 февр. – «Дж. и призр»\* # Шал. +  
28 апр. – Разговор с В.Ш. # Копелевы; +  
30 апр. – У Н.Я.  
20 мая – У Н.И.  
28 мая – отдала Н.И.  
29 мая – «Чевенгур» # У Н.И.  
2 нояб. – В.Ш. [на след. день – в Переделкино] +  
6 нояб. – Лунгины # Н.И.

### **1967**

- 2 янв. Лунгины  
26 марта В.Ш., Майя +  
28 мая Н.И.  
23 июня – у Неклюдовой\*\* +  
16 окт. – у Н.Я.М-м.  
4 нояб. зв[онюк] в Б[елую] Ц[ерковь] # Шаламов +

*\* Возможно, фильм Федерико Феллини «Джульетта и духи» (1965)*

*\*\* Ольга Неклюдова, бывшая жена, в то время сожительница Шаламова в доме на Хорошевской, 10*

Ниже фотография страницы календаря за февраль 66-го, отмечено три встречи с Шаламовым:

- 4 фев. Шаламов.  
7 фев. Шал.  
18 февр. – «Дж. и призр» # Шал.

Фелпанб		9 Plg	
7 B н-л	14	21	28
СЦ Вадерн 4/ Май 1958	СС (Вадерн) М (неп- н/2)	«Казанка» Витл 4/	Торант СЦ
8	15	22	
У.Б. М. У. неоптн. Вадерн	Меню X	П-на X	
9	16	23	
X	Продсобр. м. л.	М 4/8	Продсобр. Торант Витл
10	17	24	
Пл. Б/В Вадерн 6 м-у X	СС У Меню	М 7/11	Сирек X Витл 4/20
11	18 П. 45 Б/В	25	
X	СЦ Р.Л. С.С., 3/1958	«Приморск» М, «Два и три» Май	Сирек X
12	19	26	
X	«Продсобр» май X май	X	X «Трактор» Вадерн
13	20	27	
П. Б/В X	Уборка май X	май X	Сирек май X Пр.
Май (2)	С.С.		



Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/218266.html>

Смотреть фотографии в хорошем качестве, архив с файлами, 2,9 МБ [http://dl.dropbox.com/u/9178411/Kalend\\_E\\_Lisenko.zip](http://dl.dropbox.com/u/9178411/Kalend_E_Lisenko.zip)

*Евгения Михайловна Лысенко (1919-2004), переводчица, жена историка литературы и философа Леонида Пинского*

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small loop in the middle.



**Елена Мамучашвили**

***В больнице для заключенных***

Эта фотография сделана на Колыме в 1948 г. Второй справа в верхнем ряду – В. Т. Шаламов, в то время старший фельдшер хирургического отделения центральной больницы для заключенных и сам заключенный. В нижнем ряду вторая слева – хирург-ординатор вольнонаемная Е. А. Мамучашвили. Работала в Магаданской области с 1947 по 1974 год. В настоящее время живет в г. Подольске Московской области. Воспоминания записаны во время приезда Елены Александровны Мамучашвили в Вологду в июне 1996 г.

– Как вы, молодая красивая южанка, оказались на Дальнем Севере?



– Мне было тогда 25 лет. Я окончила медицинский институт в г. Орджоникидзе (Владикавказ), успела побывать на фронте, получила серьезное ранение и после госпиталя задумалась о своей дальнейшей судьбе. Я хотела быть хирургом и никем больше. Мне предлагали сельский участок, заведование амбулаторией, но все это было не по мне. И вдруг попало на глаза объявление о том, что заключаются договора для работы в Дальстрое. Перечислялось много профессий, и в том числе хирург-ординатор (один). Я, не раздумывая, заключила договор и поехала. Что такое Колыма, Дальстрой, я совершенно не представляла, но знала, что буду заниматься любимым делом и смогу достойно выполнить свой врачебный долг. Сказывалось, наверное, и романтическое чувство, не покидавшее меня до самого прибытия в порт Нагаево. Когда после почти месячного путешествия через всю страну, через Японское и бурное Охотское море я увидела с борта парохода молчаливые холодные заснеженные сопки, стало страшно от мысли, что я могу не вернуться из этого «белого безмолвия» на краю света... В Магадане получила направление в центральную больницу УСВИТЛ (Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей), в поселок Дебин. Проехала свыше 500 километров колымской трассы, по дороге встречались редкие поселки с приземистыми барачными строениями. И когда сквозь морозную дымку увидела на берегу реки громадное трехэтажное здание больницы, оно показалось мне миражом. Это было тогда самое большое здание на Колыме, его строили солдаты для размещавшегося здесь после войны Колымского полка. По масштабам больницы, а она была рассчитана на 1200-1300 коек – можно было представить, сколько несчастных скрыто за колючей проволокой лагерей...

Хирургическое отделение на 300 коек располагалось на втором этаже левого крыла больницы. Когда я первый раз перешагнула порог отделения, меня встретил высокий, красивый человек лет сорока в закрытом белом халате с засученными рукавами. Заложив большие пальцы за пояс халата, он довольно бесцеремонно осмотрел меня своими сине-стальными глазами и спросил: «Вы новый хирург? Я провожу вас в ординаторскую». Это был старший фельдшер отделения Варлам Тихонович Шаламов. Так началось наше знакомство и совместная, в течение почти пяти лет, работа до его освобождения.

Мы были коллегами, служили медицине, но обладали разным статусом. Это я почувствовала сразу после разговора с начальником больницы – им был в то время Михаил Львович Доктор (на Колыме его все называли «доктор Доктор»). Он предупредил, что мне предстоит работать с интеллигентными, интересными и умными людьми, но я

должна помнить, что это «враги народа», поэтому никаких отношений, разговоров, кроме служебных, быть не должно. Это предупреждение меня убило: как же жить, если с одной стороны «враги народа», а с другой уголовники – воры, бандиты, убийцы. Вольнонаемных, как я, было немного – администрация больницы, несколько врачей и охрана. Стало страшно и одиноко. Я плакала, заполняя дневники историй болезни. Но вскоре в моем сознании произошла переоценка того, о чем говорил начальник больницы (а он предупреждал, видимо, по долгу службы). Тем более, что со стороны «врагов народа» я встретила доброе отношение и взаимопонимание. Это относится и к Варламу Тихоновичу, несмотря на всю его сдержанность и суровость.

Он был фактически хозяином отделения – для всех, включая заведующего Н. Г. Рубанцева. Как старший фельдшер он отвечал за порядок – и порядок в палатах, перевязочных, операционных был отменным. Я думаю, что тут сказывалась врожденная требовательность Шаламова к себе и другим, добросовестность и щепетильность. Или он, много лет скитавшийся по грязным и завшивленным тюрьмам, этапам, зонам, особенно дорожил чистотой и стерильностью больницы? По крайней мере он почти не выходил из нее, даже летом. Первое время как заключенному это ему было запрещено, а затем он, видимо, привык к такому положению и не хотел унижаться перед охраной на вахте, ведь на каждый выход требовалось разрешение.

Жил, вернее спал В. Т. прямо в отделении, в бельевой. Так было принято в больнице: многие из обслуживающего персонала жили в тех кабинетах, где работали. Питались за общим столом. Питание было относительно неплохое: консервы, каша, рыба, иногда мясо. Почти так же питались вольнонаемные. В магазине поселка Дебин стояли бочки и банки с кетовой икрой и креветками, но картошка была большой редкостью, тем более в больнице.

У меня хранится как дорогая реликвия пожелтевший листок с шутивным стихотворением, которое написал для меня В. Т. в качестве поздравления с новым 1948-м годом. В нем упоминается и картошка-деликатес, и другие житейские мелочи...

Я забыл, какие свечи  
Зажигают в Новый год,  
Чем, какое горе лечат  
В новогодней звонкой встрече  
По законам старых мод.

Но всегда лечивший шуткой

Горе, голод и мороз,  
И веселой прибауткой  
Осушивший много слез,

Я в привете новогоднем,  
По привычке давней той,  
За здоровье Ваше поднял  
Новогодний тост, за то,

Чтоб всегда, ходя на лыжах,  
В рифмах Колыма – зима  
Вы держались к дому ближе  
И старались не хромать.

Всем ветрам и всем морозам  
Не желая потакать,  
Не высывали носа  
Из пухового платка.

Я хочу, чтоб Вы на пире  
Над картошкой в мундире,  
Сказкой кулинарных грез,  
Над засахаренной пшенкой  
И над банкою тушенки  
Призадумались всерьез,

И рискнув опять на вольность,  
Смело вилку занеся,  
Не кричали б снова «больно»,  
Не молили небеса,  
Чтобы были чудеса.

Я хочу, чтоб с Новым годом  
Вас поздравил капитан  
Парохода, парохода,  
Что везет Ваш чемодан,

Чтобы в легком белом платье,  
В белом платье легче вьюг,  
Тост поднять Вам, как заклятье  
Возвращения на юг.

Чтобы жили Вы сердечно  
И любили бы стихи,  
Настоящие, конечно,  
А не эти пустяки.

(Подписано: В. Шаламов).

Стихи я любила, и это стало, пожалуй, основной связующей нитью моих добрых отношений с В. Т. «Литературные вечера» лагерной больницы описаны им в рассказе «Афинские ночи». Кроме упомянутых там Португалова, Добровольского и других я вспоминаю Чернопицкого, Логвинова, Диму Петрашкевича. Это были фельдшера и лаборанты-заключенные, жившие в одной комнате-общежитии. После работы, когда «вольные» уходили домой, в эту комнату собирались все, кто желал пообщаться, поспорить, почитать стихи – свои и чужие. Я заходила сюда во время ночных дежурств, слушала, затаив дыхание, как совершается таинство, позволяющее забыть обо всем на свете...

Шаламов бывал на этих вечерах, но не всегда. Он вообще держался несколько особняком. Я думаю, это происходило от его неумения подчиняться каким бы то ни было авторитетам, полной бескомпромиссности, твердости взглядов. Он считал себя немного «над» другими и имел к тому основания. Когда он говорил на вечерах, то обязательно утверждал что-то свое, каждое его слово было точно и весомо, интонация очень серьезная, менторская. (Когда я услышала магнитофонные записи рассказов и стихов Шаламова, которые он начитывал в 60-е годы, то сразу вспомнила те вечера: именно так он говорил).

Очень мало было людей, к которым он прислушивался и которых уважал. Один из них – Георгий Георгиевич Демидов, в то время зубной техник-заключенный, и хирург Валентин Николаевич Траут, бывший заключенный. О Демидове Шаламов написал рассказ «Житие инженера Кипреева». Я дружила с Демидовым, и он мне много рассказывал из своей колымской биографии. Известна история о том, как он изобрел способ восстановления сгоревших электролампочек и потом отказался от награды – «американских обносков» (за что получил новый срок). Мне ее впервые рассказал Шаламов. Недавно я встречалась со старым колымчанином Н. М. Смищенко, хорошо знавшим Демидова и Шаламова, и он подтвердил эту историю, вошедшую в рассказ В. Т.

Демидов тоже писал стихи, иногда грустные, но чаще – шуточные. Несмотря на то, что за плечами у Демидова была еще более тяжелая лагерная жизнь, чем у Шаламова, он был мягче. Колочий, резкий, им-

пульсивный, но в душе добрее. Если В. Т. почти не выходил из больницы, то Демидов летом каждое утро перед работой отправлялся на сопки и приносил оттуда мне цветы: совсем не свойственная В. Т. чувствительность. Когда я прочла в «Огоньке» 1980 г. [опечатка либо ошибка при оцифровке – прим. составителя] рассказ Демидова «Дубарь», то поразились, насколько соответствует он характеру автора.

Демидов-заключенный получил от нарядчика задание похоронить умершего в лагере ребенка. Он делает это необычайно благоговейно, с почти религиозным чувством и ставит над могилкой крест. Шаламов, окажись он в такой ситуации, несомненно, сделал бы то же самое, но он бы, я думаю, этого не описал и креста бы не ставил. Он не был сентиментальным человеком и его никак не назовешь сентиментальным писателем...

Строгих, бескомпромиссных людей у нас не любят. Для меня не стало открытием, что многие в больнице недолюбливают Шаламова. А он держал себя так, что было видно: он не нуждается в чьем бы то ни было участии, признательности, дружбе. Несомненно, на все это наложила отпечаток его многолетняя лагерная жизнь. Он острее, чем многие, чувствовал жестокую несправедливость всего происходящего на Колыме. Как я понимаю, у него были свои правила поведения в этой обстановке – правила, по которым он оценивал других людей. Без этого трудно понять его конфликт с новым заведующим отделением Сергеем Михайловичем Луниным.

Это произошло в 1948 году, после отъезда Н. Г. Рубанцева [Александра Александровича Рубанцева – прим. составителя]. Сменивший его С. М. Лунин был человеком неординарным. Он сохранил черты дворянской породы и в то же время впитал в себя пороки лагерной жизни. Внешне красивый, С. М. всегда был любим женщинами и любил повеселиться по-гусарски. С отъездом Рубанцева, всегда поддерживавшего Шаламова в его строгих требованиях к порядку, дисциплина в отделении ослабла. Лунина часто посещали посторонние люди, были выпивки. На этой почве и произошел конфликт. Он в общих чертах описан в рассказе Шаламова «Потомок декабриста», где образ Лунина представлен довольно-таки уничижительно.

Что же произошло? Однажды вечером, будучи выпивши, Лунин вызвал к себе в кабинет одну из молодых медсестер и заставил ее танцевать на столе. Это крайне возмутило В. Т. Утром он рассказал мне об этом происшествии и заметил, что «терпеть такое больше невозможно». Он написал докладную на имя начальника больницы, в результате чего Лунин вынужден был прервать договор и уехать на материк, а Шаламов был переведен на таежную командировку.

Врач Б. Н. Лесняк в своих воспоминаниях, опубликованных в газете «Рабочая трибуна» (29 марта 1994 г.), пишет, что Шаламов не только «облил грязью» Лунина (в рассказе «Потомок декабриста»), но и написал на него тогда, на Левом, «донос». Разумеется, назвать докладную «доносом» нельзя. Шаламов был покороблен поведением Лунина, в котором было очевидно нарушение дисциплины и медицинской этики. Следует иметь в виду, что они – Шаламов и Лунин – были раньше вместе в зоне на Аркагале, и уже тогда их отношения были не совсем гладкими, во всяком случае некоторая предубежденность к Лунину у В. Т. изначально присутствовала.

Надо сказать, что Шаламов в своем рассказе отразил лишь одну, не лучшую, сторону сложного характера Лунина. Сергей Михайлович был хорошим хирургом, отзывчивым и смелым человеком. Например, когда был ужесточен режим политзаключенных и готовился этап для отправления в спецлагеря («Берлаг») из числа обслуживающего персонала больницы-заключенных, Лунин ночами в течение недели прооперировал несколько человек с диагнозом «острый аппендицит», и этим спас их от этапа и, может быть, сохранил им жизнь. Это было очень рискованно, и об этом знали немногие – Лунин, Шаламов, я и, конечно, «пациент». Этот поступок Лунина не отражен в «Потомке декабриста», но о нем не стоит забывать, говоря о С. М. как реальной личности. Я к Лунину относилась с уважением, училась у него. После Колымы он работал в отделении срочной хирургии Боткинской больницы и в санавиации. Бывая в Москве, я всегда виделась с ним. Мы много разговаривали, вспоминали Колыму. Умер он в 1963 г. от легкой недостаточности.

– Судя по истории с Луниным, кто-то может подумать, что Шаламов был аскетом, едва ли не монахом. Что вы можете сказать об этой деликатной сфере отношений?

– Монахом он не был, но он был лишен цинизма бесшабашных лагерных любовных приключений. Отношение к женщинам у него было, я бы сказала, прагматичным, без романтики. Хотя в это время «любовный дух» витал над больницей: влюблялись все, от начальника до санитаря. В первое время меня это поразило, потрясло. Потом стало по-человечески понятно, ко многому научилась относиться со снисхождением и с юмором, ведь случались иногда истории под стать «Декамерону». Шаламов в сем не участвовал и закрывал на это глаза – очевидно, проявляя мужскую солидарность и понимание. Аскетизм, подобный мрачному аскетизму Савонаролы, был ему чужд. Впрочем, эта тема лучше всего отражена в его рассказе «Уроки любви».



– Считаете ли вы рассказы Шаламова строго документальными? Некоторые бывшие колымчане и исследователи его творчества склонны упрекать его в том, что он что-то «не так» (не так, как было в жизни) описал. Вы разделяете такой взгляд на писателя?

– Уже по случаю с Луниным можно понять, что Шаламов ставил перед собой не столько документальные, сколько художественные задачи. Рассказы он писал значительно позднее, и естественно, что какие-то события в его памяти проступали более выпукло, а какие-то затушевывались. Литература, как я понимаю, не может обойтись без доли фантазии. В этом смысле могу сослаться на рассказ «Последний бой майора Пугачева». Побег из лагеря, о котором там идет речь, был совершен весной. Мне о нем рассказали те из бежавших, кто был ранен и лежал у нас в больнице. Собственно, было два побега. Первый раз большой группой, человек 13-14, на прииске им. Горького заключенные разоружили охрану и ушли в сопки. Их искали, преследовали целое лето. Руководителем у них был кто-то из Западной Украины, так называемый «бандеровец». Иногда они появлялись на дорожных «командировках» либо на стоянках у геологов. Случился какой-то внутренний конфликт, они разошлись на две группы и вскоре их схватили и судили в Магадане. Когда их возвращали в лагерь по колымской трассе, в районе Атки они опять пытались разоружить охрану, завязалась перестрелка, многих убили, кто-то остался цел. К нам в больницу попали трое, помню, что у их палаты постоянно стоял часовой. Подробности побега мне рассказывал один из бежавших, после лечения он был вновь отправлен в лагерь. Среди троих был майор – высокий, очень красивой внешности. У него было тяжелое ранение, и его мы не спасли. Вот этот умерший майор и мог стать прототипом Пугачева. Вероятно, Шаламова привлек красивый человеческий тип и мужество майора. Хотя по рассказу «Последний бой» майор умирает не в больнице, а в лесу, не сдавшимся, в рассказ этот веришь, потому что люди с такими сильными характерами в лагерях были.

– Вы пользовались тогда большим доверием Шаламова. Об этом можно судить по известному факту – переправке на «материк» его письма к Б. Пастернаку. Именно вы везли это письмо. Теперь это осознается как факт большого историко-литературного значения. А что вы чувствовали тогда?

– Это было в феврале 1952 года. К тому времени наши отношения с В. Т. приобрели большую сердечность и доверительность. После возвращения с лесной «командировки» в 1949 г. он работал старшим фельдшером приемного отделения больницы. Там, при отделении, у него была небольшая комнатка. Наши беседы (вернее, говорил он, а я

слушала) проходили во время моих дежурств, 3-4 раза в месяц, а иногда я и во время работы забежала к нему в отделение, чтобы о чем-то спросить, посоветоваться. Во время дежурств любимой его темой была литература. Он читал и переписывал мне по памяти стихи Блока, Пастернака, Гумилева, Ахматовой, а также Алигер, Асеева, Мартынова. Все это делалось, как я понимаю, для того, чтобы развить мой вкус к поэзии. Я до сих пор храню листки с этими стихами. На одном из них он написал: «Я вспоминаю сейчас не лучшие, а так, случайные, что в голову ночью приходит». Он относился ко мне с большим теплом и заботой, как бы по-отцовски. Я к тому времени вышла замуж, у меня рос сын, я стала заведующей отделением, а он в холодные ночи колымовской зимы, как ребенку, укладывал мне в ноги грелку или укрывал потеплее...

Имя Пастернака и его стихи не раз всплывали в наших разговорах. Я чувствовала, что у В. Т. к этому поэту особое отношение. И когда он перед моим отъездом в первый большой шестимесячный отпуск спросил: «Не затруднит ли вас передать моей жене пакет и письмо для передачи Пастернаку?» – я, естественно, сразу согласилась. Пакет был небольшой, завернут в газету и перевязан крест-накрест бечевкой. Как я теперь знаю, это были стихи из «Синей тетради» – первого сборника стихов, написанных В. Т. на Колыме. Я знала о содержании пакета, хотя своих стихов В. Т. мне почти не читал, а когда читал, то говорил, что это «проба пера».

Было ли это поручение – перевезти в Москву письмо и пакет Пастернаку – достаточно рискованным? Вероятность обыска была мала, но если бы кто-то узнал и сообщил об этой нелегальной передаче, то были бы большие неприятности, особенно для Шаламова, который тогда ждал освобождения. Я понимала, что для него это жизненно важный момент, хотя сам он был спокоен, особой мольбы не высказывал и, видимо, был готов, что я могу отказать. Но, зная значение доставки пакета, об отказе, конечно, не могло быть речи.

С Колымы я летела самолетом до Москвы, где встретила с женой Шаламова Г. И. Гудзь. Пакет со стихами и письмо адресату – Пастернаку вручала уже она. Когда я в конце 1952 года (ноябрь) вернулась в Дебин, в больницу, В. Т. уже не застала: он освободился и уехал работать в район Оймякона. За ответным письмом Пастернака, о котором я ему сообщила телеграммой, он приезжал оттуда зимой, за пятьсот километров (об этом свидетельствует рассказ «За письмом»).

Встретились мы потом нескоро, в 1961 году, причем, совершенно случайно – в центре Москвы, у Елисеевского магазина. Он был очень обрадован встрече, мы поехали к нему домой на Хорошевское шоссе,

где он познакомил меня со своей второй женой О. С. Неклюдовой. Тогда же он показал мне сборник «Колымских рассказов» – отпечатанный на машинке и переплетенный. Так я узнала, что он пишет прозу. Тогда он, видимо, еще надеялся на ее издание. После этого мы виделись еще несколько раз, во время моих отпусков, каждая встреча отмечена или сборником стихов, или журналом с его стихами и его же автографами. А последний раз увиделись в 1970 году, когда он подарил мне журнал «Юность» со своими стихами. Он уже постарел, у него развилась болезнь Меньера, и мы долго шли пешком, потому что ему трудно было ездить в каком-либо транспорте. В 1972 г., после письма В. Т. в «Литературную газету», стал циркулировать слух, что Шаламов выехал за границу. Не знаю, кто распустил этот слух, но я ему поверила и больше не делала попытки встречи. О последних трагических годах Шаламова я ничего не знала, за что постоянно себя корю...

С наших первых встреч на Колыме у меня было к нему особое, возвышенное отношение. Он олицетворял для меня идеал мужчины – красивый, мощный, благородный, всепонимающий. В развитии моего интеллекта Варлам Тихонович сыграл колоссальную роль. Ведь на Колыму я приехала «сырым материалом». Общение с ним и другими людьми в лагерной больнице сделало меня человеком с определенными взглядами и моральными устоями. Конечно, о будущем величии Шаламова-писателя я тогда не догадывалась. Лишь прочтя теперь «Колымские рассказы», я поняла всю меру его огромного таланта и силы духа. Я горда и счастлива, что была рядом с таким человеком.

Записал В. Есипов

Опубликовано в Шаламовском сборнике №2, 1997, сетевая версия на сайте Данте XX века <http://www.booksite.ru/fulltext/2sh/ala/mov/4.htm>

От составителя

В видеозаписи <http://shalamov.ru/video/10.html> окончание интервью с Мамучашвили, где она рассказывает о своих московских встречах с Шаламовым, сильно отличается от текста статьи. Ниже моя расшифровка.

«То, что он стал писать прозу – я об этом даже не знала. Я узнала об этом вот только после 62-го года. Я приехала еще раз в отпуск в шестьдесят пятом году, позвонила Галине Игнатьевне [Гудзь, первой

жене Шаламова – прим. составителя], но его в Москве не было, он не жил с ней. И я его потеряла из виду. И в 65-м году\* случайно на улице Горького я его встретила. В это время он был женат второй раз, жил на Хорошевском шоссе и пригласил к себе, и я была у него. И вот там он мне показал у себя – жена его с сыном были на первом этаже, а у него на втором этаже была комната – там он мне показал отпечатанные на машинке, сброшюрованные листы его будущих «Колымских рассказов». Вот тогда я узнала, что он пишет прозу. Но о величии его как писателя я тогда не подозревала.

А сейчас, когда я прочла, это вызывает чувство благоговения – что я была близко около этого человека, что я сыграла какую-то определенную роль в его жизни. Это доставляет мне чувство гордости».

*\* Мамучаивили путает – на второй этаж Шаламов переехал в апреле 1968-го, значит, встреча случилась не раньше весны-лета этого года – прим. составителя*

*Елена Александровна Мамучаивили (1923?-2003), врач, знакомая Шаламова по Колыме, где работала вольнонаемным хирургом*





## Надежда Мандельштам

От составителя

С Надеждой Мандельштам и ее кругом Шаламов порывает в конце 1968 года. Длились эти отношения больше трех с половиной лет и не имеют ничего общего с тем, как их подает Ирина Сиротинская в главке «Надежда Яковлевна Мандельштам» своего лживого мемуара. Проследить их эволюцию за скудостью данных трудно, но, как выясняется, еще в сентябре 1968 года эти отношения сохраняли постоянство и доверительность. Шаламов знал о работе Надежды Яковлевны над «Второй книгой» и, как видно, не поощрял этого занятия (не потому, разу-

меется, что речь о мемуарах вдовы поэта – первую книгу воспоминаний Мандельштам он принял почти восторженно), – не поощрял (не «хвалил») в силу общего изменения отношений, движущихся к финалу.

Отрывки из книги Надежды Мандельштам, «Об Ахматовой», М. 2008, сост. Павел Нерлер, электронная версия в библиотеке ImWerden [http://imwerden.de/pdf/mandelstam\\_nadezhda\\_ob\\_akhmatovoy\\_2008\\_text.pdf](http://imwerden.de/pdf/mandelstam_nadezhda_ob_akhmatovoy_2008_text.pdf)

---

«Эпистолярно-биографических вех, документирующих работу Н.Я. над «Второй книгой», еще меньше, чем в первых двух случаях [имеются в виду книги «Воспоминания» и «Об Ахматовой» – прим. составителя]. Почти все они, собственно, восходят к переписке Н.Я. с Натальей Евгеньевной Штемпель и начинаются, самое раннее, только с 31 июля 1968 года: «Немножко работаю, но очень мало». Следующая пошутливая вешка датируется сентябрем того же года:

Вроде пробую работать, но почти ничего не выходит. Не знаю, как быть. Варлаам раздувает ноздри и говорит, что никакой комиссии [по литературному наследию Мандельштама, второй по счету, во главе с Симоновым – прим. составителя] не надо... Ему хорошо... И еще: существует специальная литература жен, писавших о своих мужьях. Этой литературе никто, как известно, не верит. Поэтому Варлаам советует немедленно перестать писать об Осе. Я даже затосковала: попасть в эти жены обидно, но это единственное, о чем мне хочется говорить и о чем мне есть что сказать. Беда... Посоветуйтесь про жен с Шурой, но пусть он помнит, что у всех жен были друзья, которые их хвалили. Пишите, Наташа...»

В том же сборнике еще один штрих к отношениям Мандельштам и Шаламова.

Визит к Ахматовой в Боткинскую больницу, поздняя осень 1965 года:

«Последние месяцы жизни А.А. провела в Боткинской больнице. [...] Она всё хотела приехать посмотреть мою новую квартиру, уже было собралась, но ей стало плохо. Отложили на два дня, но она очутилась не у меня, а в больнице. В испуге я помчалась к ней. Меня провожал Шаламов. Он остался ждать в раздевалке, а я поднялась наверх. Такой страшной я ее никогда не видала. [...]

Я спустилась к Шаламову в полном ужасе: конец, как быть без нее?»

Кстати, оставаясь внизу, Шаламов передал Ахматовой записку, в которой возводит адресата в «живые Будды» – с годами он пересмотрит это отношение на более трезвое.

\* \* \*

Литературовед Виктория Швейцер цитирует переписанный ею отрывок из черновой рукописи «Второй книги» Надежды Мандельштам.

«Есть таинственная связь стихов с полом, до того глубокая, что о ней почти невозможно говорить. Это знала А. А. [Ахматова – В. Ш.], и ей хотелось разведать у меня то, что я заметила. Знает об этом и Шаламов, который сердится на О. М. [Мандельштама], что тот писал стихи не только мне, но и другим женщинам. Он тоже пытался убедить меня, что все остальное мелочь, не стоит выеденного яйца по сравнению с изменой стихами».

Виктория Швейцер, «К вопросу о любовной лирике О. Мандельштама» [http://imwerden.de/pdf/mandelshtam\\_i\\_antichnost\\_1995\\_text.pdf](http://imwerden.de/pdf/mandelshtam_i_antichnost_1995_text.pdf) , сборник «Мандельштам и античность», 1995, в библиотеке ImWerden

В качестве варианта того же текста – более ранний по времени написания отрывок из книги Н. Мандельштам «Об Ахматовой»:

«Мучился он [Мандельштам] и стихами к Наташе Штемпель и умолял меня не рвать с нею, а я никак не видела основания в этих стихах для разрыва с настоящим другом [...]

Должно быть, я здесь чего-то не понимаю, считая, что стихи – это уж не так важно. Есть таинственная связь стихов с полом – до того глубокая, что о ней почти невозможно говорить. Это знала А.А., и ей хотелось и меня выпотрошить на этот счет. Знает об этом и Шаламов, который сердится на О.М. за то, что он писал стихи другим женщинам. Он тоже пытался убедить меня, что всё остальное мелочь перед стихами...»

*Надежда Яковлевна Мандельштам (1899-1980), вдова Осипа Мандельштама, мыслитель, биограф мужа и интерпретатор его творчества, автор всемирно известных книг «Воспоминания» и «Вторая книга»*





## Владимир Мирзоев

«Генетик Таня Леонова узнала, что Варлам Тихонович Шаламов после инсульта, почти обездвиженный, слепой, находится в доме престарелых – в нечеловеческих условиях. По нищим друзьям и знакомым по рублику, по три стали собирать деньги на еду, поочередно ездить в совковую богадельню, больше похожую на зоопарк. Однажды была наша очередь ехать. Мой близкий друг Саша Волохов [актер, впоследствии православный священник – прим. составителя], моя первая жена Л. и я поехали куда-то на окраину (уже не вспомнить, что это было за место, но

«было пасмурно и серо»).

Мы нашли Шаламова лежащим на сетке панцирной кровати; матрас отсутствовал, белье, видимо, не менялось неделями; полностью нагое тело писателя было в лиловых пролежнях, простыни – в экскрементах. Сосед Шаламова по комнате, кривой на один глаз старик, судя по всему, воровал из тумбочки продукты. Мы попробовали завязать разговор – ничего не получилось. Речь у Шаламова была нарушена. Удар скрутил огромное и все еще сильное тело Варлама Тихоновича в бараний рог, руки и ноги не слушались. Еще у себя дома, в коммуналке, слепнувший писатель перепугал пузырьки, закапал в глаза зеленку; полностью потеряв зрение, стал абсолютно беспомощен, тогда его поместили в богадельню. Пока Л. меняла белье на кровати, мы с Сашей повели (скорее понесли) Шаламова в душевую, которая была в самом конце длинного коридора – туда не так просто было добраться. Кое-как доковыляли, с огромным трудом уложили писателя в древнюю чугунную ванну с желтыми разводами на эмали. Было ощущение, что Варлам Тихонович отвык от воды – она его пугала. Пока мы отмывали губками скрюченное жилистое тело, писатель успокоился – видимо, понял, что мы не местные садисты-санитары, что хотим ему помочь, да и теплая вода принесла облегчение. Потом, уже лежа в чистой по-



стели, Шаламов с аппетитом поел – моя жена, как ребенка, кормила его с ложечки домашней едой.

Еще через полчаса появился литератор Морозов. Тут выяснилось, что Варлам Тихонович продолжает сочинять стихи, запоминает их, а потом надиктовывает Морозову. Разбирать слова было трудно, но реально – требовались терпение и привычка. Помню, нас поразило, что в этом аду к Шаламову приходят стихи – как помощь свыше, как палочка-выручалочка, которой привык пользоваться узник ГУЛАГа с семнадцатилетним стажем...

Миша Эпштейн стал хлопотать в Литфонде о переводе Шаламова в специализированный дом престарелых при Союзе писателей. Бюрократические шестеренки проворачивались медленно, без энтузиазма. Тем временем в богадельню к Шаламову потянулись журналисты, писатели, диссиденты – информация о положении писателя стала просачиваться в зарубежные СМИ. Французский Пен-клуб наградил его премией Свободы. Через неделю или две после нашего визита Шаламова перевезли в Дом Литфонда, а еще через некоторое время – в психушку, где писатель внезапно скончался – как заявили врачи, от обширного воспаления легких. Кто-то из персонала постоянно открывал настежь окна, а время было зимнее, январь.

И тогда, и теперь чувствую чугунную тяжесть своей вины. Все мы, сердобольные, глупые, недальновидные, желая помочь, привлекли к Шаламову внимание чекистов. Для них автор «Колымских рассказов», хоть и раздавленный судьбой, слепой и беспомощный, оставался смертельным врагом. Жил бы Варлам Тихонович в своем зоопарке еще лет десять, голодал, мучился, но сочинял стихи».

Из мемуаров Владимира Мирзоева, опубликованных в журнале «Искусство кино», 2010, сетевая версия на сайте журнала <http://kinoart.ru/2010/n9-article12.html#2>

*Владимир Владимирович Мирзоев (род. 1957), театральный режиссер и сценограф, преподаватель театрального мастерства, политический активист либерального направления*



**Анатолий Михайлов**

***Последний мастер***

Хочу шептать любому на ухо  
Слова давнишнего прибоя,  
А не хочу закрыться наглухо  
И пренебречь судьбой любовью.  
В. Шаламов

Я вытащил из кармана квитанцию и пробежался глазами по кнопкам. Как-то всё-таки странно. Неужели в адресном столе ошиблись? А может, я перепутал номер дома. Надо спуститься вниз и проверить.

Оказывается, не перепутал.

Вернувшись обратно, я ещё раз перечитал все фамилии и, прежде чем позвонить, задумался.

У каждого человека, если у него нет отдельной жилплощади, среди наклеенных с фамилиями полосок должна радовать глаз хотя бы своя персональная кнопка. А здесь мало того, что коммуналка. Ещё и без опознавательного знака.

Придется звонить наугад – кто-нибудь да откроет.

С той стороны спросили:

– Кто там?

Спрашивала женщина. Я сказал:

– Простите... Здесь живет Варлам Тихонович Шаламов?

За дверью ничего не ответили. Я стоял и ждал... Я решил нажать на другую кнопку, может, другая окажется поудачливее, но в это время звякнула цепочка, и за спиной у женщины я увидел старика. Он двинулся из глубины коридора какой-то непонятной поступью.

– К вам пришли! – повернувшись на шаги, резко выкрикнула женщина, и я заметил, что каждая выходящая в коридор дверь при этом выкрике приоткрылась и каждая со своим косяком образовала щель, из которой кто-то выглядывал.

Нет, наверно, мне всё это померещилось. И это совсем не Варлам Тихонович. Просто я не туда попал. Но Варлам Тихонович приблизился и не оставил мне никакого шанса.

(Когда-то в журнале «Юность» я прочитал про Варлама Тихоновича такие строчки: «У него была легкая походка. Это казалось невероят-

ным для человека едва ли не двухметрового роста, с могучим разворотом плеч, с той совершенно богатырской статью, которой природа всё реже наделяет людей; но в этот раз она щедра была не понапрасну – путь, который выпал Варламу Тихоновичу Шаламову, был невероятно тяжёл, порою трагичен» [Цитируется статья Натана Злотникова – прим. составителя]. И это мне тоже показалось невероятным.)

«Могучий разворот плеч» был как-то бесцеремонно отторгнут от туловища, точно поникший на стволе сдвинутый каркас переломанных ветвей, и каждое плечо ходило ходуном независимо от рук, как будто это не руки, а крылья, которые принадлежат птице, а птицу только что подстрелили. И это было видно даже при свете коридорной лампочки.

– Варлам Тихонович... – выдавил я, наконец, даже не выдавил, а скорее выдохнул – и замолчал. Я уже предчувствовал, что ничего хорошего меня в этой квартире не ожидает.

Мы прошли с ним по коридору, и, пока мы с ним шли, я обратил внимание, что из каждой щели на нас продолжают смотреть.

Он вошёл в комнату первым, а я со своим нелепым магнитофоном следом за ним. Резко остановившись, он как-то неожиданно повернулся. И тут я его разглядел уже окончательно.

На Варламе Тихоновиче висело неопределенного цвета рубище, как будто на кресте; что-то вроде полотняного костюма; такие костюмы выделяет производство на похороны одиночек. Но дело даже не в костюме, а в самом лице.

Нижняя губа по отношению к верхней была смещена, а выжидательный наклон головы, словно к чему-то внимательно прислушивающейся, придавал всему лицу выражение какой-то застывшей тревоги. Точно когда-то его свело судорогой, да так и не отпустило.

На фотографии в книжке Варлам Тихонович совсем не такой. Конечно, всё это есть, но где-то там, внутри. А наружу лишь только взгляд. Не то чтобы подавленный или страдальческий. А просто отрешённый. Но зато в самую душу.

Вокруг, рассыпанные в поэтическом беспорядке, молчаливо белели листы, наверно, черновики; откуда-то из угла кругляшками клавиш проступала пишущая машинка, а возле неё, отбрасывая тень, горела настольная лампа.

Варлам Тихонович сделал по направлению ко мне шаг и произнес:

– Вы ка-а-а мне?

При этих словах он как-то весь напрягся, и голова у него мало того что затряслась, ещё и потянулась вверх подбородком. И туловище снова задёргалось. И даже когда он замолчал, оно продолжало раскачиваться.

Я плохо соображал, что делаю, но чувствовал, что каждое моё слово куда-то меня проваливает.

– Варлам Тихонович... – снова начал я, – я на ваши стихи...

– Что?! – закричал Варлам Тихонович и приставил дрожащую ладонь к своему уху.

Лицо у него в этот момент было хоть и перекошенное, но доброе. Наверно, он меня принял за водопроводчика с коробкой для инструмента. И только тут я окончательно понял, что в довершение ко всему Варлам Тихонович ещё и глухой.

Так ничего и не придумав, я прокричал чуть ли не в самое его ухо:

– Я на ваши стихи написал песни...

По его выпученным глазам я вдруг сообразил, что он меня услышал, а может, разобрал по губам. Лицо у него не то чтобы перекошило, оно ведь и так уже было перекошено до предела, а как-то теперь перекрутило. Он опять весь затрясся и несколько раз со всё ещё дрожащей возле уха ладонью прокричал слово «что» и каждый раз всё громче и громче:

– Что? что?! что?!! Песни??!

И тут я почувствовал, что он уже еле сдерживается, чтобы меня не ударить.

Я втянул голову в плечи и, лепеча «Варлам Тихонович... Варлам Тихонович...», стал от него пятиться.

А он рывком распахнул дверь и как-то истерически закричал:

– Только через Союз писателей!!! Только через Союз писателей!!!

Миновав коридор, мы выскочили на лестничную клетку. Он – чуть ли меня не подталкивая и кандыбая, все продолжая выкрикивать «Только через Союз писателей!!! Только через Союз писателей!!!», а я – чуть ли не прикрыв голову руками и все продолжая лепетать «Варлам Тихонович... Варлам Тихонович...»

Бросившись из подъезда вон, я поплёлся к троллейбусной остановке. Возле входа в продовольственный шевелили мозгами алкаши. По улице Горького, всё прибывая и прибывая из подземных переходов, валила толпа...

А там, наверху, где-то в стороне, среди тараканов и клопов (наверно, когда мы выскакивали, снова в каждой щели затаили дыхание), остался тянуть ляжку и умирать удивительный поэт и последний российский мастер короткого рассказа.

1974-1987

Из мемуаров «На прощанье – ни звука...», журнал «Литературная учеба» №3, 2010, сетевая версия на сайте журнала <http://www.lych.ru/online/index.php/0ainmenu-65/50--32010/591--1-r->

---

От составителя:

Автор, Анатолий Григорьевич Михайлов – совершенно реальное лицо, хотя известно о нем немного. Вот что удалось найти в интернете.

Краткая справка:

«Михайлов Анатолий Григорьевич родился в 1940 году в Москве, закончил Московский авиационный институт. Прозаик, автор книг «У нас в саду жулики», «Записки из коридора», «Мозги набекрень» и «Что остается». Печатался в журналах «Звезда», «Октябрь» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

«Новый Мир», 2010, №4

[http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/2010/4/mi2.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/4/mi2.html)

В автобиографической повести «Грустный вальс», которая предвзается этой справкой, Михайлов приводит свой диалог с работником КГБ:

«Он меня спросил:

– А с кем вы, Анатолий Григорьевич, когда бываете на материке, встречаетесь из поэтов и писателей?

Я задумался:

– Ну, с кем... в Ленинграде – с Глебом Горбовским и еще с Кушнером...

И он записал. Про Горбовского он, оказывается, слышал, а Кушнера даже читал, только вот забыл, в каком журнале.

– А в Москве, – продолжал я, – с Булатом Окуджавой...

Но оказалось, Окуджава тоже оскандалился, и я даже возмутился:

– Как это так – оскандалился? Ведь Булат Шалвович прошел всю войну!

И Федор Васильевич и на этот раз тоже не стал возражать.

– И еще с Варламом Шаламовым.

Но оказалось, что о Шаламове Федор Васильевич даже и не слышал. А я бы на его месте повесил бы портрет Варлама Тихоновича у себя над столом».

Наиболее подробную информацию третьего лица о Михайлове я нашел в повести Михаила Гольдина «Как нарисовать человека. Американский дневник (Предисловие Натана Павлюка)», опубликованный в журнале «Вечерний Гондольер»

[http://gondola.zamok.net/078/78goldin\\_1.html](http://gondola.zamok.net/078/78goldin_1.html)

«12/21/2001

Анатолий М.

Он и сейчас, наверное, продаёт книги – в том числе свои – у Петропавловской крепости.

Он считает, что автор не должен ничего придумывать, а добросовестно описывать то, что было. Мастерство проявляется в отборе материала.

У него есть цикл рассказов про то, как вернувшись из Магадана, он проникал к поэтам, на чьи стихи написал песни, доставал магнитофон и пытался эти песни продемонстрировать. Шаламов, Бродский, Окуджава, Горбовский – и о каждой встрече (пусть и не совсем удачной) получился рассказ.

М. – не бард. Я никогда не слышал, как он поёт. Он бывал у меня дома. Однажды пришёл с какими-то странными поэтами, которые читали стихи про российских жидов, забывших в России стыд. Но он не антисемит. М. мне кажется, вообще не любит людей. А евреи ведь тоже люди.

Несколько лет назад он приезжал в Нью-Йорк и написал две повести об этом – довольно убогие, на мой взгляд. Но я люблю его вещи, услышанные в конце восьмидесятых – одновременно трогательные и мощные.

Публикуется он мало. Помню его рассказ в «Октябре», другой – в одном из ленинградских журналов.

Его герой – это всегда он сам, со всей откровенностью. Но было ли всё на самом деле именно так, как в тексте? Даже если автор искренне уверен, что осуществляет исключительно отбор, то он все равно подвержен прихотям памяти и невольным манипулированием тем, что было «до» и «после».

\* \* \*

На сайте «Голубая лагуна» Константина Кузьминского, который называет Михайлова «питерско-магаданским бардом», опубликован текст последнего под названием «Ветвь зимы» <http://kkk->

[bluelagoon.ru/5knig/vetv\\_zimv/vetv\\_zimv\\_8.htm](http://bluelagoon.ru/5knig/vetv_zimv/vetv_zimv_8.htm), где он упоминает встречу с Бродским и выражает свое отношение к «Колымским рассказам» Шаламова:

«Бродскому ещё повезло, что я с ним общался всего один раз. Вот и получилось, что надо.

[...] после «Колымских рассказов» мусолить бумагу стыдно. И после «Котлована» тоже.

Выщёлковая тысячью рулад, можно, конечно, колдовать над перьями индюка или шкурой барана. И это очень забавно. У каждого свой Свифт.

Своим «Котлованом» Платонов всю это свифтопляску закрыл. А своими «Колымскими рассказами» Шаламов повесил замок».

Здесь же Михайлов дает свой адрес:

«СПб

ул. Пушкинская д.18 кв.57

Михайлову Анатолию Григорьевичу».

*Анатолий Григорьевич Михайлов (род. 1940), магаданский поэт, бард, прозаик, живет в Петербурге*





## Олег Михайлов

### *В круге девятом*

Благословляю тебя, тюрьма, что ты была в моей жизни» (А. Солженицын); «Даже часу не надо быть человеку в лагере» (В. Шаламов).

#### 1.

В 1966 году в издательстве «Советский писатель» мне предложили рукопись какого-то Шаламова, очевидно, надеясь, что я её зарублю. Это были и сегодня не оценённые по заслугам «Очерки преступного мира». Прочитав их, я написал восторженную рецензию, которая, увы, никак не помогла изданию. Слишком «неудобной», даже для продолжавшейся по инерции «оттепели» была эта страшная картина преисподней уголовного мира, с которым Шаламов вёл неотступную войну. Тогда же завязались наши добрые отношения с этим писателем, без которого я не мыслю русскую литературу XX столетия.

Насколько мог, я попытался «легализовать» Шаламова-прозаика; его стихи уже выходили, хоть и обкусанные бдительными редакторами. Договорился с критиком В.Чалмаевым отвезти «Очерки преступного мира» в «Наш современник», полагая, что главный редактор С.Викулов, уже как земляк Шаламова, вологжанин, напечатает их. Написал об этом Шаламову и получил коротенький ответ:

«Дорогой Олег Николаевич.

Спасибо за Ваши заботы. Приезжайте с Чалмаевым (или как Вам будет удобно) в любой день утром (до 12-ти), и я дам для «Нашего современника» рукопись «Очерков преступного мира». И стихи.

С уважением В.Шаламов.

Несмотря на мою глухоту, я думаю, что, если мне удастся разобрать, кто говорит – мы сумеем сговориться о свидании».

Однако и на этот раз ничего путного не получилось. Рукопись, которую я привёз в редакцию, отвергли. Я понял, что натякаюсь на сте-



ну. Единственное, что оставалось – при случае напоминать о Шаламове, даже если приходилось выдавать желаемое за действительное. Так, в вышедшей в 1967 году в издательстве «Знание» брошюре «Любят ли ваши дети поэзию?» я не только дважды уважительно процитировал шаламовские стихи, но и написал заведомую неправду о судьбе злополучных «Очерков».

Поводом послужило стихотворение популярного тогда поэта Эдуарда Асадова, в котором девушка-«трусиха» легко справляется с двумя уголовниками, в то время как её спутник «со спортивной фигурой» откровенно «дрейфит». Мне такой поворот показался безусловно фальшивым, и я разразился филиппикой:

«Уголовный мир именно поэтому особенно опасен, что в нём действуют волчьи законы беспощадного отношения сильного к слабому, круговой поруки, кровавой мести. Недавно мне довелось рецензировать в рукописи книгу писателя В.Шаламова «Очерки преступного мира», которая должна выйти в одном из издательств. Книга эта должна стать обязательным чтением для родителей, ибо в ней очень ярко показано, каким страшным, античеловеческим существом является матерый рецидивист. Очерки В.Шаламова будят ответственность и вооружают общество в борьбе за искоренение преступности, так как показывают истинное лицо уголовника».

Шаламов слишком хорошо знал преступный мир, так как прошёл все девять кругов гулаговского ада.

## 2.

Он был высок, худ, длиннорук, с круглой головой и неправильными чертами скуловатого лица, изрезанного глубокими складками-бороздами. И на лице этом – яркие синие глаза, словно вспыхивавшие при разговоре, когда разговор приобретал интересный для него поворот.

Кисти рук у него были очень сильные – кисти, прикипевшие к тачке, хотя сами руки всё время странно двигались, вращались в плечевых суставах. Ему выбили эти суставы при допросах, так же, как повредили и вестибулярный аппарат: всякий раз, садясь, особенно если стул или кресло были низкими, он на мгновение терял сознание, эквilibrium, ощущение пространства и не сразу мог в нём найти себя.

В разговоре произносил слова отрывисто и даже отворачивал от собеседника лицо – не привычка ли после допросов? Говорил несколько в нос.

Думаю, что как прозаик он был всё-таки много выше, чем поэт, хотя стихи его отмечены несомненным и оригинальным даром, и звукописью, и силой мысли. Ведь именно в прозе высказал он самое важное: о небеспредельности человеческих сил в столкновении с теми испытаниями, совершенно не предсказуемыми и не возможными, скажем, для века девятнадцатого, какие выпали на долю сотен тысяч людей. Силы зла, утверждал Шаламов, при известных обстоятельствах, способны сломить и разрушить в любом человеке всё. Ибо возможности человека конечны, а зло может быть бесконечным, всемогущим, беспредельным.

И там, в эпицентре зла человек – заживо или нет – гибнет.

Помню, как в ответ на мои восторги по поводу солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича» Шаламов положил мне на плечо свою большую вздрагивающую кисть со словами:

– Ах, Олег Николаевич! Ещё один лакировщик появился в советской литературе...

Он имел право сказать так.

3.

Конечно, брошюрка моя о поэзии была элементарной, не вдавалась в тонкости стиха и адресована была «просто читателю». Я послал её Шаламову вместе с рецензией эмигрантского поэта и критика Георгия Адамовича на его книжку стихов «Дорога и судьба», напечатанной в парижской «Русской мысли». В зарубежье уже гремели шаламовские «Колымские рассказы», и Адамович так и назвал свой отзыв: «Стихи автора «Колымских рассказов». К тому времени в редакции «Литгазеты» лежала и моя рецензия – «По самой сути бытия». Но главный редактор А.Б. Чаковский всё тормозил её.

22 декабря 1967 года Шаламов отвечал:

«Дорогой Олег Николаевич.

Сердечно Вас благодарю за Вашу книгу. Книга разумна, полезна и серьёзна. Несколько универсальна, пожалуй. О стихах написано необычайно мало. Асеев, Маяковский писали ведь вовсе не о стихах. Благодарю за страницы 25, 55, 74. Особенно тронут упоминанием «Очерков преступного мира». А как мне получить копию Вашей рецензии на «Дорогу и судьбу»? Нельзя ли её столкнуть в бурные волны самотёка?

От всей души благодарю Вас за рецензию Адамовича.

Ваш В.Шаламов».

Наконец появилась – вопреки всем тормозам – и моя рецензия в «Литгазете». Она была не в пример скромнее и скованнее отзыва Георгия Адамовича. Приходилось говорить полунамёками, осторожно обходя «лагерный опыт» автора там, где парижский поэт, напротив, обращал на него внимание, останавливался и «заострял»:

«Сборник стихов Шаламова, – духовно своеобразных и по своему значительных, не похожих на большинство теперешних стихов, в особенности стихов советских, – стоило и следовало бы разобрать с чисто литературной точки зрения, не касаясь биографии автора. Стихи вполне заслужили бы такого разбора, и, вероятно, для самого Шаламова подобное отношение к его творчеству было бы единственно приемлемо. Но досадно это автору или безразлично, нам здесь трудно отделиться от «колымского» подхода к его поэзии. Невольно задаёшь себе вопрос: может быть, хотя бы в главнейшем, сухость и суровость этих стихов есть неизбежное последствие лагерного одиночества, одиноких, ночных раздумий о той «дороге и судьбе», которая порой выпадает на долю человека? Может быть, именно в результате этих раздумий бесследно развеялись в сознании Шаламова иллюзии, столь часто оказывающиеся сущностью и стержнем лирики, может быть, при иной участи Шаламов был бы и поэтом иным? Но догадки остаются догадками, и достоверного ответа на них у нас нет».

Мне же поневоле приходилось переводить всё в иную, «оптимистическую» плоскость:

«Поэта Варлама Шаламова читатель знает плохо. Прозаика – и того хуже. Между тем благодаря нравственной наполненности, серьёзности содержания, выверенности слова и насыщенности жизненным трудным опытом – благодаря всему этому произведения Шаламова обладают в избытке той «учительной» силой, которая драгоценна всегда, а в наши дни, когда так много говорится о духовном формировании человека, в особенности» и т.д.

2 февраля 1968 года я получил от Шаламова развёрнутое послание, где он выразил ясно и твёрдо своё кредо – кредо гражданина и художника.

«Дорогой Олег Николаевич, – писал он. – Благодарю Вас за рецензию в «Литературной газете». Формула Ваша отличается от концепции Адамовича: «автор готов махнуть рукой на всё бывшее». Я вижу в моём прошлом и свою силу, и свою судьбу и ничего забывать не собираюсь. Поэт не может махнуть рукой – стихи тогда бы не писались. Все это – не в укор, не в упрек Адамовичу, чья рецензия умна, значительна, сердечна. И – раскованна. Сборник стихов – не роман, который можно

пролистать за ночь. В «Дороге и судьбе» есть секреты, есть строки, которые открываются не сразу.

Непоправимый ущерб в том, что здесь собраны стихи-калеки, стихи-инвалиды (как и в «Огниве» и в «Шелесте листьев») «Аввакум», «Песня», «Атомная поэма» («Хрустели кости у кустов»), «Стихи в честь сосны» – это куски, обломки моих маленьких поэм. В «Песне», например, пропущена целая глава, важнейшая: «Я много лет дробил камня Не гневным ямбом, а кайлом», в самом конце сняты три строфы. В других поэмах ущерб ещё больше, а «Гомер», «Седьмая поэма» и к порогу сборника не подошли.

Нарушением единого потока сборника было включение стихов, написанных в трудных условиях на Колыме в 1949 и 1950 году и выбранных из множества стихов тех лет: «Чучело», «Притча о вписанном круге» и некоторые ещё. Но лучше было включить при всем их многообразии и шероховатости, как след судьбы, как след настроений тех лет, как доказательство себе самому, как трудно было на Колыме складывать буквы в слова. В своё время Пастернак был против «Чучела» и понял всё только при личной встрече.

В сборнике есть два «прозаических» стихотворения – «Прямой наводкой» и «Гарибальди». Эти стихи заменили снятые стихи о Цветаевой.

Я написал более тысячи стихотворений. А сколько напечатал? 200? 300? – отнюдь не лучших. Я пишу всю жизнь. Дважды уничтожали мои архивы. Утрачено несколько сот стихотворений, тексты давно мной забыты. Некоторые присылают мне только теперь. Утрачено и несколько десятков рассказов, а напечатано в тридцатые годы лишь четыре. Сохранилась лишь часть (большая) колымских стихов – в своё время вывезенных на самолёте и вручённых мне в 1953 году. Эти «Колымские тетради» (стихи 1937 – 1956 годов), числом шесть, составляют более шестисот стихотворений. Часть из них вошла в сборники, в публикации «Юности».

Таким образом, в «Дороге и судьбе» – лучшие стихи – это стихи двадцати- и пятнадцатилетней давности. Я приехал в 1956 году после реабилитации с мешком стихов и прозы за спиной. Около ста стихотворений было взято журналами – каждый брал помаленьку. И я рассчитывал, что до славы остался месяц. Но начался венгерский мятеж, и сразу стало /ясно/, что ничего моего опубликовано не будет. Так продолжается и по сей день. Мне удаётся печатать по несколько стихотворений в год – самых для меня не интересных, участвовать в «Днях поэзии», выпустить за 10 лет три сборника по два-три листа – с усечением и купюрами.

Я смею надеяться, что «Колымские тетради» – это страница русской поэзии, которую никто другой не напишет, кроме меня.

Теперь о поэзии мысли. Мне представляется крайне важным эмоциональная сторона дела, чувство, оттенок чувства, которые исследуются стихом и только стихом в пограничной области между чувством и мыслью, составляющим суть, на мой взгляд, творческого процесса. Ведь творческий процесс больше отбрасывание, чем поиск. Мне кажется также крайне важной звуковая организация стиха, ритмическая его конструкция. И о том, и о другом я не забываю никогда. Только это не аллитерации типа «мир – мор», которые и Цветаеву-то портили, уводили её от главного – преодоления препятствий, воздвигнутых поэтической перед собой, иногда выглядело героически, истерически-героически. Эпигонов цветаевских эти «поиски» задушили. У эпигонов Цветаевой это было бреньчаньем (в отличие от бряцания Цветаевой), бреньчаньем оружием весьма примитивным, простейшим оружием из крупнейшего поэтического арсенала.

Для меня эта сторона дела становится предметом постоянной заботы. Чтоб не искать примеров далеко – вот стихотворение «Лицо», которое нравится Вам и которое вы считаете «программным» для меня. Ведь в этом стихотворении всё насквозь прорифмовано, ассоциировано. Без внимания к этой стороне дела у меня нет стихов. Мне кажется даже, что любой поэт в любом стихотворении всегда ставит малую или большую, но чисто «техническую» задачу – и разрешает её. Эти задачи могут быть разнообразные: новая тема, рифма, мысль, размер, ритм... Всегда хочется вставить в строку какое-нибудь многосложное слово, прозаическое до демонстративности.

Но я горжусь и тем, что звуковая организация стиха, звуковая опора строфы в моих стихах существует как бы позади мысли, внутри мысли. При проверке строка оказывается более совершенной, чем казалось на первый взгляд, и это должно дать читателю дополнительную радость, ту самую радость точного слова, которая важнее всего для человека, работающего над стихом, над словом. Стихи – это всеобщий язык – потому нет дела, факта, события, идеи, которую нельзя было бы применить в стихах. Стихами можно сказать (а главное – найти!) многое, чего не найдешь прозой. Поэт, который заранее знает, что он хочет выразить в своем стихотворении, – это не поэт, а баснописец. На свете есть тысяча правд, но в искусстве есть только одна правда – правда таланта. Вот и всё. Спасибо Вам большое.

Остаётся ещё сказать, что у меня нет равнодушной пушкинской природы (она была ещё у Пастернака) и что пейзажная лирика – лучший род поэзии гражданской. Называя моих учителей, Вы, ей-богу,

ошибаетесь, так же, как и Адамович. Вся русская лирика начала века – вместе – Анненский и Блок, Мандельштам и Цветаева, Пастернак, а также десяток имён ниже этих, которые искали, нашли и могли бы составить славу поэзии любой страны. Вершина же русской поэзии – Тютчев. Поэт для поэтов – но жизнь. И пока нет своего языка – нет поэта. Вопрос новизны, вопрос творческой интонации – главнейший в поэзии, как и в искусстве вообще. Поэтическая интонация – это не стиль, но и не то объяснение, которое даётся в литературоведческих словарях, авторы которых привыкли иметь дело с прозой. Поэтическая интонация гораздо шире, глубже, особенней, тоньше, сильнее наконец – от любимых рифм до любимых мыслей.

Сердечный Вам привет.

Ваш В.Шаламов.

Ещё решил дописать для Вас страничку о прозаических моих опытах, о судьбе русской прозы.

История русской прозы XIX века мне представляется постепенной утратой пушкинского начала, потерей тех высот литературных, на которых стоял Пушкин. Пушкинская формула была заменена постепенно описательным нравоучительным романом, смерть которого мы наблюдаем в наши дни.

В этом разрушении пушкинского начала сыграли большую роль два человека – Белинский и Лев Толстой. Белинский, который всем твердил, что стихи можно объяснить прозой. Похвалы Белинского были троянским конём, завезённым в пушкинский мир, в пушкинский лагерь. Лев Толстой был вершиной практики описательного, нравоучительного романа, чуждого пушкинской мысли о жизни, пушкинской фразе. Лев Толстой клялся в верности Пушкину («Гости съезжались на дачу»), но это было суесловием. Ни в своей практике, ни в своем словаре, ни в своих литературных идеях ничего не было более чуждого Пушкину, чем Лев Толстой. Толстой немало сделал, чтобы перевести спор в искусстве в живую жизнь, и не случайно все видные террористы начала века проходили первоначальную учёбу у автора моралистических рассказов.

Но я хотел бы повести разговор вне моральной оценки деятельности Толстого, которая, на мой взгляд, привела и не могла не привести к большой крови. Его художественный метод, его советы писателям, его лукавый пример с тремя дневниками – для всех, для Черткова и для самого себя – осуждение Шекспира и похвалы Семёнову, его записные

книжки 200 вариантов цвета глаз Катюши Масловой – всё это до такой степени удивительно для писателя.

Характеры, развитие характеров. Эти принципы давно подвергаются сомнениям. Проза Белого и Ремизова была восстанием против толстовских канонов. Но нужно было пройти войнам и революциям, Хиросиме и концлагерям – немецким и советским – чтобы стало ясно, что самая мысль о выдуманных судьбах, о выдуманных людях раздражает любого читателя. А прозаики притворяются, давая людям из своих романов действительные имена, и думают, что спасут положение, что им не нужно будет переучиваться.

Только правда, ничего кроме правды. Документ становится во главу угла в искусстве, без документа нет литературы. Даже современного театра нет без документа.

Но дело не только в документе. Должна быть создана проза, выстраданная как документ. Эта проза, в своей лаконичности, теплоте тона отбрасывающая все и всяческие побрякушки, есть возвращение через сто лет к пушкинскому знамени. Обогащённая опытом Хиросим, Освенцимов и Северлагов русская проза возвращается к пушкинским заветам, об утрате которых с такой тревогой напоминал в своей речи Достоевский.

Свою собственную прозу я считаю поисками, попытками именно в этом, пушкинском направлении.

Ваш В.Шаламов».

Увы, сегодняшняя художественная литература, сегодняшняя проза с её постмодернистской низкопробностью, с её глюками и люками в разное неведомое, к сожалению, этот стратегический прогноз Шаламова не подтверждает.

4.

В начале 70-х я увлечённо работал над очерком «Величие и падение одесской школы». Меня привлек феномен группы молодых литераторов, живших в Одессе и оказавшихся после гражданской войны в Москве: Юрия Олеси, Валентина Катаева, Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Эдуарда Багрицкого, Исаака Бабеля и некоторых других. Всё они были, без всякого сомнения, людьми литературно очень одарёнными, но имевшими, на мой взгляд, весьма шаткие нравственные устои. Впрочем, своя положительная программа у них имелась: в романтиче-

ских или даже героических тонах воспевались те, кого бы мы назвали сегодня «криминальным элементом».

«В романтическом ореоле, – писал я тогда, – являют они живую пирамиду – от талантливого тунеядца, фантазёра и бытового скандалиста Кавалерова («Зависть» Ю.Олеши) к мошенникам по случаю – главбуху Прохорову и кассиру Ванечке («Растратчики» В.Катаева), далее – к профессиональному «симпатичному жулику» Остапу Бендеру («Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок»), над которыми недосягаемо высится фигура бандита Бенциона Крика («Одесские рассказы» И.Бабеля). С другой стороны, эти писатели были воинствующими атеистами, стремившимися как можно больнее обидеть и оскорбить верующего, православного человека».

Очерк должен был появиться в журнале «Наш современник». По командировке этого журнала я ездил в Одессу, читал в тамошнем спецхране подшивки периодики революционных лет, переписывал «православные» и «белогвардейские» стихи В.Катаева и Э.Багрицкого. Главный редактор «Нашего современника», ознакомившись с очерком, озабоченно сказал:

– А вы не боитесь, что вас, так, за эту статью будут бить?..

Автор по молодости не боялся, хотя опасность исходила от неколебимых в литературе (если глядеть через очки того времени) авторитетов.

Совсем по-другому отнёсся к замыслу написать об «Одесской школе» Варлам Тихонович. Его, заслуженного зека, очень волновала романтизация «уголовного элемента» в советской литературе (преимущественно 20-х годов). В своих «Очерках преступного мира» Шаламов посвятил этой теме специальную главку – «Об одной ошибке художественной литературы». В ответ на мою просьбу разрешить процитировать в «Одесской школе» отрывок из этой главы (оставшейся, как и вся работа, тогда в рукописи), он писал мне в мае 1972 года:

«Дорогой Олег Николаевич!

С удовольствием разрешаю Вам использовать мои работы, как Вы хотите – в любых пределах и формах. Это – ответ по пункту «а». По пункту «б» «страничку из «Очерков преступного мира» прилагаю. Эта ли?»

Есть смысл, мне кажется, эту «страничку» привести.

«В двадцатые годы, – писал Шаламов, – литературу нашу охватила мода на налётчиков. Бенья Крик из «Одесских рассказов» и пьесы «Закат» Бабеля, «Вор» Леонова, «Ванька Каин» и «Сонька Городушница» Алексея Кручёных, «Вор» и «Мотыка Малхамувес» Сельвинского, «Васька Свист в переплёте» В.Инбер, «Конец хазы» Каверина, налёт-



чик Филипп из «Интервенции» Славина, наконец – фармазон Остап Бендер Ильфа и Петрова – кажется, все писатели отдали легкомысленную дань внезапному спросу на уголовную романтику.

На эстраде Леонид Утёсов получил всесоюзную аудиторию блатной песенкой «С одесского кичмана»...

С одесского кичмана  
Бежали два уркана...

Утесову откликнулся многоголосый рёв подражателей, последователей, соревнователей, отражателей, продолжателей, эпигонов:

...Ты зашухерила  
Всю нашу малину...

и так далее.

Безудержная поэтизация уголовщины выдавала себя за «свежую струю» в литературе и соблазнила много опытных литературных перьев. Несмотря на чрезвычайно слабое понимание существа дела, обнаруженное всеми упомянутыми, а также всеми неупомянутыми авторами произведений на подобную тему, эти произведения имели успех у читателя, а следовательно, приносили значительный вред.

Дальше пошло ещё хуже. Наступила длительная полоса увлечения пресловутой «перековкой», той самой перековкой, над которой блатные смеялись и не устают смеяться по сей день. Открывались Болшевские и Люберецкие коммуны. Сто двадцать писателей написали «коллективную» книгу о Беломорско-Балтийском канале. Книга эта издана в макете, чрезвычайно похожем на иллюстрированное Евангелие. Одна из притч «История моей жизни» написана М.Зощенко и всегда включалась в сборники его сочинений.

Литературным венцом этого периода явились погодинские «Аристократы», где драматург в тысячный раз повторил старую ошибку, не дав себе труда сколько-нибудь серьёзно подумать над теми живыми людьми, которые сами в жизни разыграли несложный спектакль перед глазами наивного писателя.

Много выпущено книг, кинофильмов, поставлено пьес на темы уголовного мира. Увы!

Преступный мир с гутенберговских времён и по сей день остается книгой за семью печатями для литераторов и читателей. Бравшиеся за эту тему писатели разрешали эту серьёзнейшую тему легкомысленно, увлекаясь и обманываясь фосфорическим блеском уголовщины, наря-

жая её в романтическую маску и тем самым укрепляя у читателя вовсе ложное представление об этом коварном, отвратительном мире, не имеющем в себе ничего человеческого. Возня с различными «перековками» создала передышку для многих тысяч воров-профессионалов, спасла блатарей».

В своём письме Шаламов добавляет:

«Есть ещё и «с» – дополнение, возможно, полезное для Вашей работы.

«Одесская школа» – это блеф литературный, очень дорого обошедший советскому читателю.

«Дополнение» возникло потому, что моя работа написана крайне сжато, конспективно. Сказать надо было так много, что как ни важна эта тема – а она очень важна, бесконечно важна – не было и нет времени на расширение аргументации, примеры и прочее.

Но и сейчас – через пятнадцать лет после записи «Очерков преступного мира» – всё остаётся по-прежнему, ни капли правды не проникло по блатному делу ни в литературу, ни на сцену.

Казалось бы, – что страшного в развенчании блатного мира? Недавно появились «Записки серого волка» – очередная «туфта» по этому важному вопросу. Не говоря уж о крайней претенциозности стиля, отвечает на этот вопрос не тот, кому надо отвечать. «Серый волк» – бандит, а не вор («волжский грузчик» – такая кличка для него в блатном мире припасена). «Серый волк» боится воров и врёт, что их нет. Берётся судить по вопросам, по которым не имеет права судить, судит вместе с «Москвой», вместе с «Литгазетой». Это – очередной опус шейнинского толка, наш век – век документа. Появляется автобиография бандита. До воровского царства ещё очень далеко. Но это всё по-пусту, а «с» – дополнение может выглядеть так:

О Бабеле можно сказать и больше. Кроме «Одесских рассказов» с Беней Криком, имевших огромный читательский успех, есть у Бабеля пьеса «Закат», шедшая в Художественном театре (2-м?), выросшая тоже на шуме блатной романтики «Одесских рассказов». «Закат» пользовался большим успехом, трактовался печатно как новый «Король Лир».

Совсем недавно кинорежиссёр Швейцер окунулся в блатную шекспириану, поставив «Золотого телёнка» – программную вещь «одесской школы» – по схеме «Гамлета», с монологами о суетности жизни, с шутком Паниковским и могилой шута. Если биндюжник Мендель Крик – это король Лир, то Остап Бендер – Юрского – Гамлет, не меньше.

Эллий-Карл Сельвинский, как он себя именовал в те годы для сборника «Мена всех» – каламбур, задуманный в поддержку ямба Ильфа и Петрова в Вороньей слободке – дал свой фотопортрет в жабо из лебязьих перьев. Близ портрета было стихотворение «Вор», вошедшее потом во все хрестоматии двадцатых годов и во все сборники стихотворений Эллия-Карла Сельвинского:

Вышел на арапа. Канает буржуй.  
А по пузу – золотой бампер...

И конец:

...Вам сегодня не везло, дорогая мадам смерть.  
Адьо до следующего раза.

Неумелое управление блатной лексикой не было никем замечено. На Кольме я читал вора́м это стихотворение – для опыта – они отмахивались со злобой – да и верно – не для них ведь оно было написано.

Второе широко известное стихотворение Сельвинского на блатную тему – это «Мотька Малхамувес» – всякий раз с разъяснением, что «Малхамувес» – это Ангел смерти – таких кличек у блатных нет, там всё попроще, не так пышно. Это – остросюжетный рассказ об ограблении магазина, с блатной лексикой, более точной, чем в первом, «Воре», почерпнутой на этот раз из какого-нибудь официального пособия по «блатной музыке», где нет таких промашек, как «Вышел на арапа»:

Красные краги. Галифе из бархата,  
Где-то за локтями шахматный пиджак

и т.д.

Сюжетный опус «Мотька Малхамувес» пользовался большим успехом. Входил во все сборники Сельвинского.

Вера Михайловна Инбер не хотела отстать от своих товарищей – конструктивистов в разработке этой эффектной темы. Но в отличие от прямой героизации «Вора» и «Мотьки Малхамувеса», блатная поэма В.М. Инбер имела нравоучительный конец с героем милиционером, смертью преступника под пулями власти в перестрелке. Главная же преступница, организовавшая ограбление, подбившая порчка на ограбление, скрывалась. Милиционер говорит своему начальнику:

Дело его слабо.  
Я же, хотя цел,  
Виновен в том, что бабы  
Я не предусмотрел.  
И конец:

Ты, видать, таков,  
Вырезать стекло алмазом  
Пара пустяков –

Так говорит перед смертью Васька, герой большой поэмы «Васька Свист в переплёте».

У того же автора (В.М. Инбер) есть большое количество «уголовных» стихотворений, входивших во все сборники поэта в те годы, и немалое количество романсов той же тематики.

Отдал дань «перековке» и М.Зощенко, написав скучную документальную повесть «История одной жизни» об исправлении международного фармазона на канале. Даже губы скривить в улыбке не захотел – только восхищался и удивлялся, обводя чернилами бурную жизнь нового Бенвенуто Челлини. Пришвин в «Осударевой дороге» по уши в перековке. Все вещи Шейнина – спекуляция, особенно удивительная для следователя. Впрочем, Шейнин был следователем не по блатным делам. Количество примеров, разумеется, может быть умножено во сто крат.

Я хотел бы напечатать «Очерки преступного мира» в любом журнале – специальном, ведомственном, провинциальном и т.д. Казалось – почему бы издательству бояться решения этой важнейшей темы? Боятся нарушить – не традицию, а душевный покой, свой и начальства.

Желаю Вам всякого добра.

С глубоким уважением

В.Шаламов».

Очерк «Величие и падение «Одесской школы» – с обширными цитациями из Шаламова – я подготовил для книги «Верность» в издательстве «Современник». Но директор и главный редактор убоялись опубликовать её в первоизданном виде, и пришлось сростить два очерка – «Верность» (эту статью я напечатал в N 1 журнала «Наш современник» за 1974 год) и «Одесскую школу» – в некий полукастрированный вариант под заглавием «В исканиях гуманизма». Однако и в этом виде это была если и не бомба, то бомбочка.

Когда я пришёл в книжный магазин на улице Черняховского и спросил книгу «Верность», мне ответили: «Вы знаете, её у нас нет. Вчера приехал автор и скупил все экземпляры...»

Из героев моей «Одесской школы» тогда был жив только Валентин Петрович Катаев. Его, разумеется, должно было возмутить многое в моём очерке. Например, высказывание Бунина, тогда у нас не известное: «Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За 100 тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки». Поэтому нетрудно было догадаться, кто был «автором», скупившим книгу.

А «Верность» с благодарностью я послал в дар Варламу Тихоновичу и получил от него подарок – третью книгу стихов «Московские облака».

## 5.

Довольно долгое время я был автором «Краткой литературной энциклопедии», написал туда о Бунине, Блоке, Андрее Белом, Гиппиус, Шмелёве, подготовил и обширные статьи – «Русская литература XX века», «Русская советская литература» (эта статья была сильно испорчена, и я поставил под ней псевдоним – Д.Н. Агарков – фамилия матери моего друга Д.Н. Ляликова), «Русская эмигрантская литература» (снята на стадии сверки по требованию Главлита) и т.д. И, конечно, хотел написать о Шаламове, о чём и сообщил ему. 20 апреля 1972 года он отвечал:

«Дорогой Олег Николаевич.

Я очень рад, что именно Вы будете писать обо мне для «Литературной энциклопедии». Отвечаю на Ваши вопросы. Я родился 18 июня 1907 года в городе Вологде. Список вышедших книг (стихотворных сборников) невелик:

1. «Огниво» – 1961, г. Москва, Изд. «Советский писатель».

2. «Шелест листьев» – 1964. То же издательство.

3. «Дорога и судьба». 1967. То же издательство.

4. «Московские облака» – выходят в «Советском писателе» в июле нынешнего 1972 года – так мне обещали в издательстве.

Сборников прозы у меня нет, хотя меня хорошо печатали «до»: рассказы «Три смерти доктора Аустино», в № 1 «Октября» за 1936 г. «Возвращение» в журнале «Вокруг света», № 12 за 1936 г. «Пава и древо» – в «Литературном современнике», № 3 за 1937 г. Очерк «Кар-

тофель» был напечатан в «Колхознике» М.Горького, в № 9 1935 г. «Мастер, переделывающий природу» (о Мичурине) – в журнале «Прожектор», № 8 1934 г.

Недавно я просмотрел мои старые вещи. Рассказов там просто нет в том понимании жанра, какого я держусь сейчас. Там и нравственные требования были иные, и внутренний толчок иной, и техническое вооружение отличалось от нынешнего.

«После» был напечатан только «Стланик» – один из серии «Колымских рассказов» – в журнале «Сельская молодёжь» – № 3 за 1965 г. «Вопросы литературы» напечатали мою статью «Работа Бунина над переводом «Песни о Гайавате».

Первые стихи я напечатал в возрасте 50 лет, хотя писал стихи с детства, в журнале «Знамя» в 1957 году (№ 5) – цикл «Стихи о Севере». С этого времени печатаю стихи постоянно – в журналах «Москва», «Знамя», альманахах «День поэзии». Главный же журнал, где я постоянно печатаю стихи, – это «Юность». Б.Н. Полевой и редакция дали мне возможность, несмотря на запоздание, определить своё поэтическое лицо.

На все мои стихотворные сборники было много рецензий и откликов. Наиболее мне дороги рецензия Слуцкого на «Огниво» – «Огниво высекает огонь» («Литературная газета», № 5, X.1961 г.), Ваш разбор «По самой сути бытия» в «Литературной газете». Были рецензии Г.Красухина в «Сибирских огнях» (№ 1 за 1969 г.) и Э.Калмановского в «Звезде» (№ 2, 1965), где были попытки угадать кое-что в моих стихах. В шестьдесят лет остаётся немного вещей, которыми по-настоящему дорожишь. Как я ни спешил – а я очень спешил использовать запас и нравственных сил, и таланта, – я не сделал и тысячной части того, что хотел. И в стихах, и в прозе.

В стихах мне казалось, что я вышел на какие-то важные рубежи пейзажной лирики русской поэзии XX века во всей её технической и духовной оснащённости. Что я нащупал почти предел эмоциональности, уплотнённости стихотворной строки при сохранении звуковой опоры канонического русского стиха, чьи возможности – безграничны.

В прозе я считаю себя наследником пушкинской традиции, пушкинской фразы с её лаконизмом и точностью. Сближение документа с художественной тканью – вот путь русской прозы XX века – века Хиросимы и концлагерей, века войн и революций.

Поэзия и проза взаимно пересекаются в моих вещах, едины, но не внешним, а внутренним единством.

Голова моя свежа, как и пятьдесят лет назад, и перо моё в полном порядке.

С глубочайшим уважением

В.Шаламов

На любой Ваш вопрос я готов ответить незамедлительно».

К сожалению, очень скоро я потерпел поломку в личной жизни и на какой-то срок мне было не до «литературы».

Статью о Шаламове для «Литературной энциклопедии» написал другой человек. [Леонид Чертков – прим. составителя]

Статья из газеты «Литературная Россия», №10. 08.03.2002. Сетевая версия на сайте газеты <http://www.litrossia.ru/archive/81/culture/1902.php>

---

«Бунин, у нас – будто бы и признанный классик, но писатель с драматической судьбой. Я имею в виду судьбу его книг в нашей стране, и даже в наше время – время перестройки, которое мы называем временем гласности и демократизации. Если же обратиться к более отдаленной поре, то там есть просто разительные примеры, как менялось отношение к Бунину. Так, например, Варлам Шаламов рассказывал мне, что в 1943 году, на Колыме, он получил дополнительный срок, – десять лет, – за то, что назвал Бунина – классиком».

Из интервью Олега Михайлова журналу «Слово», №7, 1990, сетевая версия в блоге [http://www.fedy-diary.ru/?page\\_id=6200](http://www.fedy-diary.ru/?page_id=6200)

*Олег Николаевич Михайлов (род. 1932/1933?-2013), литературный критик, прозаик*





**Александр Морозов**

### *Смерть Варлама Шаламова*

17 января 1982 года автор «Колымских рассказов» Варлам Тихонович ШАЛАМОВ скончался в доме-интернате для психохроников № 32, куда за три дня до смерти был насильственно перемещен из дома-интерната обычного типа.

Весной 1978 г. ШАЛАМОВ был помещен в дом-интернат для инвалидов и престарелых № 9 Тушинского р-на Москвы. Незадолго перед тем он лежал в невропатологическом отделении больницы, и соседи по квартире, ссылаясь на беспорядок, создаваемый ШАЛАМОВЫМ, требовали избавить их от него. В интернате ШАЛАМОВА поместили в шестиметровую палату на двоих. Ему тогда был 71 год.

К весне 1980 г. ШАЛАМОВ ослеп, наступило сильнейшее поражение речи. В это время его начал посещать А.А.МОРОЗОВ. Он пишет:

Не с профессионально-врачебной точки зрения Варлам Тихонович выглядел так: он сразу узнал меня (мы не виделись около 12 лет), вспоминал обстоятельства нашего знакомства в доме Н.Я. Мандельштам, на вопросы же отвечал все, хотя и приходилось мучительно разбирать его речь, многократно переспрашивая. О самочувствии говорил неохотно: чувствует себя здесь прекрасно, кормят здесь хорошо, а что нужно – так это посещать. Но при этом он несколько раз упоминал о «ларьке», куда надо спешить до закрытия. Потом это прошло, но до конца осталось неприятие постельного белья, повязанное через шею вафельное полотенце и другие симптомы лагерного сдвига. Вообще мне показалось, что он чувствует себя здесь, как если бы он находился в лучшей тюрьме, откуда ни за что не хочет выходить. Так и было: ни на прогулку, ни в ванную комнату В.Т. невозможно было вывести. Любую перемену он воспринимал как ведущую к худшему.



Лечение же требовало больницы. После неоднократных обращений к разным врачам (врачи были именно разные, и не забыть, как один, приглашенный из нужной невропатологической клиники, где он занимал должность заведующего отделением, повернул обратно от ворот Дома инвалидов, сказав, что посещение Шаламова повредит его репутации). Один врач, наконец, согласился помочь устроить В.Т. в больницу, если только он сам согласится на это. Иначе и быть не могло, но почти год прошел, пока В.Т. не сказал мне однажды, что он согласен... «Но только с вами», – добавил он. Тут подошла угроза другой «больницы», о чем будет рассказано, но пока я поделюсь историей со стихами.

Он начал их диктовать в октябре 1980 г., в первом же стихотворении описал обстановку в Доме инвалидов и сказал, что «мозг работает мой, как и раньше, мгновенно». Около тридцати стихотворений продиктовал он («продиктовал» – не то, конечно, слово), но о главном говорил, что это будет «Неизвестный солдат». Однако последнее было то, где «мы не самосожженцы и не Аввакумы» и «велика ль Земли забота, я и сам не знаю». В.Т. сам сказал на следующий раз, что это его последнее стихотворение вообще, и попросил сделать подборку из уже имеющихся под названием «Неизвестный солдат» и отнести это в «Знамя», потом в «Юность». Ни там, ни здесь не принимали завещания Шаламова. В «Юности» было напечатано что-то из его прежних стихов, про эти же заведующий отделом поэзии заявил, что они, конечно же, распад.

Мне эти стихи казались замечательными, каких В.Т. еще не писал, и после тяжелых сомнений, желая, чтобы они были услышаны еще при его жизни, я решился переслать их за границу, где они и были напечатаны в журнале «Вестник русского христианского движения» (№ 133). В.Т. узнал об этом от меня и принял, хотя переживал по-настоящему публикации только здесь, августовскую «Юность» с его стихами оставил у себя и заставлял каждый раз читать ему вслух.

Кстати, о премии, данной ему французским Пен-клубом, которая тоже, наверно, повлияла на его конечную судьбу. В.Т. ее требовал, имея в виду, вероятно, какой-то жест ее получения. Когда же я заговорил о возможных деньгах, какое было бы его распоряжение, он равнодушно заявил: «Государству – так все делают».

С весны 1981 г. В.Т. вместе со мной стали посещать еще Лена Хинкис и – с лета – Таня Уманская (внучка того Уманского, про которого рассказ «Вейсманист»). С этого времени мы взяли весь уход за В.Т. на себя: приносили и меняли одежду, мыли в комнате и т.д. Вокруг В.Т. обстановка была неважной: ему ставили миску, обыкновенно почему-

то без ложки, но плохо было с водой – кран отключали, а подносить не трудились, и В.Т. иногда громко кричал на всю больницу. Среди персонала считалось, что к нему подходить опасно – может чем-нибудь бросить, ударить. Речь шла о прикованном к месту, незрячем человеке. Впрочем, до туалета В.Т. добирался сам, цепляясь за стенку, сам ложился и вставал. Выглядел он предельно истощенным. Врач сказал: «Полный авитаминоз», хотя ел В.Т. при нас много. Но при этом телесно («соматически») он был здоров, и при нас перенес в несколько дней тяжелое простудное заболевание с высокой температурой. Врачебной помощи фактически не было, если не считать вкалывания аминазина (сведения противоречивы). От Литфонда его иногда навещали официальные представители, но раз он плохо принял двух явившихся дам, может быть, почувствовав, что они брезгают пожать ему руку. Зато повестки на разные профсоюзные собрания и газета «Московский литератор» поступали регулярно, и только раз, кружным путем, пришло настоящее письмо от одного поклонника со словами о «великом русском писателе» и пр. В письме, между прочим, приводились такие строки В.Т.:

Должны же быть такие люди,  
Которым веришь каждый миг,  
Должны же быть такие Будды,  
Не только персонажи книг.

Всех, кто приходил к В.Т. после меня, он встречал хорошо, благодарил, а еще раньше стал спрашивать у меня и потом у других: «Когда вы еще придете?», сам считая дни. Слухи, что он никого якобы не принимал и потому к нему никто не ходил, – неверны.

В последних числах июля 1981 г. ХИНКИС случайно узнала из разговора медсестер о принятом решении перевести ШАЛАМОВА в специализированный дом для психохроников. Главный врач интерната Б.Л.КАТАЕВ подтвердил, что решение принято, обосновав его, во-первых, диагнозом «старческое слабоумие», поставленным ШАЛАМОВУ на бывшей незадолго перед этим консультации, и, во-вторых, заключением санэпидемстанции об антисанитарном состоянии его палаты. КАТАЕВ сказал, что ШАЛАМОВ «социально опасен» и представляет угрозу для персонала, т.к. способен, например, опрокинуть тумбочку или бросить в медсестру кружкой. ХИНКИС напомнила КАТАЕВУ о недоброй репутации домов для психохроников. КАТАЕВ воскликнул:

- Да что вы! Это совсем не так страшно.
- Когда предполагается перевод?
- Завтра-послезавтра.

– Что же, не приди я сегодня, о переводе никто бы и не узнал?

– Нет, почему же, мы собирались звонить в Союз писателей.

ХИНКИС просила отсрочить перевод. КАТАЕВ поинтересовался, на какой срок («Хотя бы недели на три», – сказала ХИНКИС), но не ответил ни да, ни нет.

ХИНКИС сразу пошла к директору интерната Ю.А.СЕЛЕЗНЕВУ, который забеспокоился, едва услышал имя ШАЛАМОВА.

– Кто вы такая, – спросил он. ХИНКИС объяснила.

– Вы что, считаете, что он действительно поэт?

ХИНКИС сказала, что этому есть доказательства. Тут же СЕЛЕЗНЕВ обнаружил, что знает об этом и без доказательств, и даже осведомлен о самых недавних фактах, связанных с ШАЛАМОВЫМ. Он заявил, что вокруг ШАЛАМОВА «развели шум», «печатают его», «дали премию», «появляются какие-то юнцы с магнитофонами» и «уже звонил Евтушенко».

– Чего вы хотите? – спросил он наконец.

ХИНКИС призвала проявить гуманность и неформальный подход к судьбе ШАЛАМОВА.

– Я бы рад подойти неформально, – сказал СЕЛЕЗНЕВ. – Мне лично все равно, останется Шаламов или будет переведен, но товарищи из ГБ этим уже заинтересовались.

ХИНКИС спросила, кто проводил консультацию и нельзя ли попытаться пересмотреть диагноз. Оказалось, что слабоумным признали ШАЛАМОВА консультанты из психоневрологического диспансера N 17, курирующего дом-интернат, в штате которого нет своих психиатров. Окончился разговор невнятно выраженным согласием СЕЛЕЗНЕВА на попытку добиться переосвидетельствования ШАЛАМОВА.

В ближайшие за этим дни удалось связаться с заведующей диспансером N 17, и ХИНКИС, неожиданно легко, по телефону, условилась с ней о повторной консультации. 14 августа ХИНКИС встретила у ворот интерната двоих консультантов и проводила их к главврачу. Тут же появилась старшая сестра и еще несколько лиц из персонала. Казалось, что о предстоящей консультации в интернате знали заранее, хотя в известность о дне и часе ХИНКИС никого не ставила. Все вместе поднялись к ШАЛАМОВУ. Он сидел на стуле, поглощенный питьем чая. ХИНКИС поздоровалась – ШАЛАМОВ ответил. Консультанты здороваться не стали. Помолчав, один из них, очевидно, старший, сказал:

– Патологическая прожорливость.

Молчание. Потом спросили у ШАЛАМОВА, какой нынче год. Шаламов сказал:

– Отстаньте.

Молчание. Спросили, почему на койке не видно постельного белья. На это ответила ХИНКИС, упомянув о лагерном прошлом ШАЛАМОВА. Молчание.

– Ну, ладно, – сказал, наконец, старший, – будем описывать по статусу (что означало: больной недоступен контакту и заключение выносятся на основании визуального наблюдения).

– Так что же? – спросила ХИНКИС у консультантов уже в коридоре.

– А ничего, – ответил старший, – это, конечно, слабоумие. Можете пригласить хоть сто психiatров, никто диагноз не изменит.

Вся консультация продлилась несколько минут.

Пытаясь все-таки изменить диагноз, обратились к главному психиатру Литфонда ДАШЕВСКОМУ. Он обещал посмотреть ШАЛАМОВА, но вскоре взял обещание назад, дав понять, что этот случай – вне медицинской компетенции. Врач, осмотревший ШАЛАМОВА частным образом, не считал, что его переход в «психохронику» оправдывается клинической картиной, однако соглашался заявить свое мнение не иначе как официальной и полномочной комиссии экспертов. В первой декаде сентября последовало заверение Союза писателей в том, что Союз берет на себя контроль над ситуацией и без ведома Союза ШАЛАМОВА никуда не переведут.

ШАЛАМОВА перевели 14 января 1982 года. Но еще в октябре одна из почитательниц запросила в Мосгорсправке его адрес и получила листок с адресом дома-интерната для психохроников № 32. А после смерти ШАЛАМОВА по штампу в его паспорте узнали, что еще в конце июля 1981 года он был уже выписан из дома-интерната № 9.

О самом переводе узнали так. ШАЛАМОВ давно просил ХИНКИС позвонить от его имени И.С.ИСАЕВУ, редактору, на помощь которого он рассчитывал, собираясь готовить книгу стихов к своему 75-летию.\* ХИНКИС позвонила как раз 14 января. ИСАЕВ разговаривал сухо, помощи не обещал и только под конец разговора сообщил новость:

– Его уже перевели. Мне позвонила какая-то женщина.

Этой женщиной была работница ЦГАЛИ И.П.СИРОТИНСКАЯ, которой, по ее словам, ШАЛАМОВ завещал свой литературный архив.

17 января утром ХИНКИС приехала в дом-интернат для психохроников № 32. Дежурный врач сказал ей, что ШАЛАМОВ «очень тяжелый». Кто такой ШАЛАМОВ, врач не знал. В палате на восемь человек ШАЛАМОВ лежал и хрипел; врач предполагал пневмонию. Медсестра сказала:

– Его такого и привезли. Встать уже не мог.

Никакого ухода за ним в эти дни не было. ШАЛАМОВ узнал пришедшую, обрадовался, но уже ничего не говорил. Он оставался в сознании почти до самого конца. Смерть наступила около шести часов вечера.

Последняя запись в истории болезни ШАЛАМОВА:

«Крайне бестолков, задаваемых вопросов не осмысливает. Пытался укусить врача».

19 января в помещении секретариата СП обсуждался вопрос о похоронах ШАЛАМОВА. Представители Союза склоняли друзей покойного «похоронить его по-хорошему», т.е. перед кремацией выставить тело в ЦДЛ и провести гражданскую панихиду. Согласились и на церковные похороны, но тогда уже без панихиды в ЦДЛ и «чтобы не было речей». Поэт В.КОСТРОВ отлучился на полчаса и вернулся, окончательно уладив дело с секретарем правления СП Ю.ВЕРЧЕНКО. Союз обеспечивал автобусы и место на кладбище. Прощаясь, КОСТРОВ выразил удовлетворение тем, что «большой русский поэт будет похоронен достойным образом», и прибавил, что ни он сам, ни другие представители Союза писателей «по понятным причинам» присутствовать в церкви не смогут.

21 января утром состоялось отпевание Варлама Тихоновича ШАЛАМОВА в церкви Николая в Кузнецях и затем похороны на Кунцевском кладбище. Присутствовало около 150 человек. А.МОРОЗОВ и Ф.СУЧКОВ прочитали стихи ШАЛАМОВА.

Статья из неподцензурного бюллетеня «Хроника текущих событий», №64, 1982. Сетевая версия на сайте Полит.ру <http://www.polit.ru/article/2007/06/18/shalamov/>

*\* От составителя*

*Исаев, не будучи, конечно, никаким редактором, действительно вел переговоры с издательством «Советская Россия» о сборнике стихов Шаламова к его 75-летию. Об этом можно прочесть в «Новой газете» за 2 августа 2013 года в статье Эльвиры Горюхиной <http://www.novayagazeta.ru/gulag/59342.html>*

*Рассказ Морозова о том, как и через кого стало известно о переводе Шаламова в психбольницу, разительно отличается от рассказов Елены Захаровой и Людмилы Зайвой.*

«Эти стихи продиктованы Варламом Тихоновичем Шаламовым (вернее, расслышаны от него) в октябре-ноябре 1980 г., в Доме для престарелых и инвалидов, где он теперь находится. Лишне говорить о его состоянии и положении там, оно узнается из стихов, да кроме того, одно имя автора «Колымских рассказов» способно вызвать представление об этой жизненной судьбе, где главное – ее понятность во взаимодействии со временем, а вернее и точнее, со вселенской катастрофой, произошедшей во времени на пространстве и живом теле России. Понятая так, эта судьба взята на себя ее носителем уже сознательно, как художником и ответчиком, и взята с пропуском во все личное. Сегодняшняя ее линия прочерчивается не менее круто. Слепой и с почти полностью пораженной речью, Варлам Тихонович Шаламов продолжает быть «один на один»...

Чем бы ни объяснялось особое качество его новых стихов, их невероятная «компрессия» (отзыв медиков, не литературоведов, эти склонны говорить о «распаде», отказываясь их печатать), – читателей, верно, они не оставят равнодушными. Да и как забудешь теперь про верную Еву и про то, чём только может быть куплена (и искуплена) ее верность, как забудешь про Португалова, и по смерти шагающего по колымскому льду, и кого не охватит жуткий озноб перед встающим видением Царя Миноса в стране «авитаминоза» – стране, над которой этот царь мертвых царствовал уже тогда, когда ошупывал своими холодными руками тело Блока. А в завершающем стихотворении мы подходим с Шаламовым к тому порогу сознания, как итогу начатого в 1917 году, о котором другой ответчик своего времени сказал: «Мы живем, под собою не чуя страны»... У Шаламова то же довлеющее чувство перенесено на протяжении 8-ми строк с исходного для него конечного пространства в планетарное измерение, и та невозможная свобода, с которой «я» в этом и других стихотворениях переходит в «мы», причем это «мы» начинается с обитателей сего Дома, несчастных сих, несчастных нас, сама возможность такого перехода в наипростейшем и грозном виде – свойство Великого Духа, питающего Великую Поэзию.

А.М.»

---

*От редакции:* В. Т. Шаламову присуждена была французским Пэн-клубом в марте 1981 года «Премия Свободы».

Александр Морозов, из послесловия к публикации цикла стихов Шаламова «Неизвестный солдат. Пятнадцать стихотворений». Опубликовано в журнале Вестник РХД, №133, 1981 год. Сетевая версия в библиотеке Imwerden  
[http://imwerden.de/pdf/shalamov\\_neizvestnyj\\_soldat\\_1981.pdf](http://imwerden.de/pdf/shalamov_neizvestnyj_soldat_1981.pdf)

\* \* \*

Вариант воспоминаний Морозова приводится в передаче Радио Свободы «Мифы и репутации», посвященной столетию со дня рождения Шаламова <http://www.svoboda.org/content/transcript/401018.html>

Ведущий Иван Толстой: «В апреле 82-го года на Радио Свобода в Мюнхен попала самиздатская пленка, или, как тогда говорили, магнитиздатская. Это была долгая запись разных выступлений в связи с кончиной Варлама Шаламова, прошедших в чьей-то квартире в Москве. Тогда же эти записи составили радиопрограмму, вышедшую в эфир Свободы 28 апреля 82-го года. Друг Шаламова Александр Морозов рассказывает о посещении писателя в больнице и о записи его стихов».

Александр Морозов: «Я его застал – это была весна 1980 года – слепым, почти не владеющим речью. Заболевание зашло так далеко, что голосовые связки его уже не слушались. Лишь по большой привычке время от времени можно было выделять отдельные слова. Сразу, по первому впечатлению, он произвел на меня безумное впечатление. Именно безумное. Не сумасшедшее, а по-Лировски безумное, то есть с полосами затмения, бреда. Он клонился к тому, что Варламу Тихоновичу казалось, что он в тюрьме. Надо сказать, что потом это сгладилось, полосы безумия почти прошли. Но я сразу понял, по тому, что он меня узнал и вспомнил обстоятельства нашего знакомства, что он все понимает, и отвечает, несколько помедлив, на все вопросы, потому что думает, как ответить наиболее коротким и вразумительным образом.

Теперь о главном. Я был против этого диагноза, и пытался через врачей помочь Варламу Тихоновичу. Я пытался сказать, что этот человек не только жив и в сознании, но что он продолжает работать. И вот, осенью 1980 года, Варлам Тихонович сказал, что мы запишем стихотворение. Я не достаточно обрисовал его состояние, чтобы вы могли понять, как на меня это подействовало. Я уверен, что таких стихов Варлам Тихонович еще не писал. Стихотворение, которое он продиктовал... даже не то слово. Я его мучительно расслышал, слово за слово,

в течении многих часов». [Читает стихи из цикла «Неизвестный солдат»]

*Александр Анатольевич Морозов (1932–2008), литературовед, мандельштамовед, примыкал к диссидентскому движению, ухаживал за Шаламовым в доме престарелых*







## Майя Муравник

В редакции готовилась к выходу книжечка стихов Варлама Шаламова «Лиловый мед». Первая в его жизни. Ради нее он приходил к нам с утра, как на работу, присаживался в уголке и в сотый раз вычитывал корректуру. Варлам Тихонович сильно заикался, плохо видел и, пригнувшись, водил носом по строчкам, вынюхивал каждую букву. Ватного пальто и ушанки с болтающимися тесемками не снимал, хотя стоял жаркий июль. Еще не старый, он выглядел глубоким стариком, крупным, костлявым, с лицом до того иссеченным морщинами, что они казались ненастоящими.

– П-постоянно б-болит г-голова, – говорил Варлам Тихонович. – Уши т-тоже. На п-приисках б-бригадиры были хуже зверей. Б-били по г-голове. Я ведь ископаемое, вроде к-колымского мамонта. Д-двадцать лет отбухал. Обидно, что т-такой высокий и м-мосластый. Эти в лагере умирают раньше. З-закон физиологии. П-просто им т-требуется б-больше пищи. Мелкого мужичонку с-согнет в д-душу, а он все шевелится да еще норму т-тянет.

В «Лиловом меде» не было никакой лагерной маяты – ни морозов под пятьдесят, ни окоченелых трупов с биркой на ноге, ни эков, про которых Шаламов писал: «...отходы с грязными изломанными телами полуживых людей, переставших быть людьми». А были только цветы, лиловый вереск и хрустальное журчание ручьев в великолепном стихотворном пастернаковском ключе. Пастернака Варлам Тихонович боготворил.

Толпа гортензий и сирени  
И сельских ландышей наряд –  
Нигде ни капли смертной тени.  
И вся земля – цветущий сад.

«Мед» – значит, должно быть сладко. Значит, и поэтика стройная, и мысли глубокие, и полная величия красота северной природы. Моя знакомая, близкий друг Шаламова, объяснила, что он специально такие стихи отобрал, хотя в столе у него, в синих тетрадках, масса лагерных стихов.

– Варламу Тихоновичу ни к чему это публиковать, – сказала она. – Главное он уже сделал.

Главное заключалось в том, что в соседней редакции прозы – соседняя дверь – уже три года ждала своей участи необъятная по объему, опыту, мудрости и страшному материалу рукопись «Колымских рассказов», которой подошло бы название «Колымская библия». Она бесконечно проворачивалась в редакции, получила десятки восторженных рецензий, положительных редзаклучений и одобрение самого царя и бога советской литературы Константина Симонова: «Подобная книга совершенно неотвратимо должна увидеть свет. Это очевидно. Это бесспорно».

И Шаламов страстно верил, что эта книга, смысл всей его мучительной жизни, пробьется к читателю. Иначе к чему в лагерях, уже на смертном рубеже, на самом краю пропасти его всегда щадила Костлявая? Был случай, когда его приговорили к расстрелу. Негодяй-следователь состряпал дутое обвинение в принадлежности к какому-то «заговору юристов». И вдруг в последний момент разоблачили и расстреляли самого следователя. Или другое: Варлам Тихонович сдавал экзамены на фельдшера и провалился – не сумел ответить на все вопросы комиссии.

– Я в отчаянье п-пришел, – рассказывал он. – У меня д-дистрофия. В-верный к-конец. Я на все п-плюнул. Издыхать, так издыхать. И в-вдруг, ни с того ни с сего, меня утвердили.

Перейдя в лагерную больничку\*, писатель уже не надрывался на общих работах и не так голодал. И даже мог писать. Он выкарабкался. Его спас Божий промысел.

Однако для «Колымских рассказов» срок, видать, еще не наступил. Директор Лесючевский все что-то тянул, выжидал и аккуратно каждый год выбрасывал шаламовскую книгу из плана. Когда в «Новом мире» опубликовали «Один день Ивана Денисовича», Лесюка чуть кондратий не хватил. Он ненавидел Хрущева и этого не скрывал:

– Там, наверху, дурак сидит. Он во всем виноват. Это он распустил всю эту шайку-лейку.

И Лесюк дождался. Как-то он срочно созвал общеиздательское совещание. Встал, ликующий, выбросив вперед перед работниками руки и, словно в полете, провозгласил:

– Вы, дорогие товарищи, знаете, что наступил решающий перелом в политике нашей партии и что дурака больше над нами нет!

Грянули аплодисменты.

– Я пригласил вас для того, чтобы объявить о полной перемене курса в отношении лагерной тематики. Партия осудила эти вредные тенденции прежнего руководства и нацелила нас на воспевание военно-патриотического воспитания молодежи. Правильно я говорю?

– Правильно, Николай Васильевич!

Через день Варлам Тихонович вошел в нашу комнату, пошатываясь и волоча в авоське толстенную папку, которую бухнул на середину стола.

– В-вот, – с трудом проговорил он. – В-вернули. П-продержали три года и в-вернули. Сказали, что нельзя. М-мол, мы бы очень хотели, но есть указание. Т-там такая п-прекрасная редакторша В-верочка\*\*... Она заплакала.

Шаламов вдруг стал задыхаться и, заведя назад руку, попытался нащупать стул. Кто-то поспешно его пододвинул. Он сел и согнулся, словно у него нестерпимо заболело внутри:

– А я, с-старый д-дурак, на что-то надеялся. Н-никогда не надеялся. Это г-главный был п-принцип. А тут п-подловили на п-приманку... И с-самое удивительное, что все они в редакции т-тоже в-верили. Но вот, в-вернули.

Шаламов поднялся и вдруг заговорил, перестав заикаться и даже заносчиво:

– Но ведь и понятно! Разве им под силу такое печатать? Разве они могут такое показывать людям? И дело не просто в лагерной теме. Издавали и лагерную. Дело в сути. В том, что вся мировая и русская литература – это прежде всего беллетристика. Да. И Гёте, и Шекспир, и Толстой, и даже Достоевский. А беллетристика не что иное, как изящная словесность, то есть искусство для чтения. Чтобы проняло. Блестящие описания, хитрый вымысел, игра фантазии. Взлет ума и таланта, порой дерзновеннейшего. Но не более того. А здесь... – Шаламов указал на свою папку, – совсем другое... Это – единственный в своем роде феномен нелитературной литературы. И вообще – не литературы. Это судебный протокол. Сухой, до предела отцеженный перечень фактов, собранных для судебного разбирательства. Ничего подобного мировая литература не знала, да и не могла знать. Откуда им?.. Вот так... – Он передохнул, в груди его что-то заклокотало. – Только этот перечень фактов получился чересчур огромным. Однако, не моя вина. Он соответствует моему лагерному сроку. Меньше не получилось. Боже

мой! – Шаламов закрыл лицо корявыми, искривленными пальцами. – Куда я с этим пойду? Куда мне теперь деваться?

Он подтянул к себе папку и, переломившись от ее тяжести, направился к выходу. Голова его тряслась, тесемки поношенной ушанки качались.

Больше в издательство «Советский писатель» Шаламов не приходил. Он тяжело заболел и перестал выходить из дому.

---

\* Устроиться в больничку В. Шаламову помогла лагерный врач из вольнонаемных Нина Владимировна Савоева.

\*\* Вера Давыдовна Острогорская.

Фрагмент из книги «Розовый дом. Вспоминая что было», издательство: Аграф, 2006 г. Сетевая версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/21946.html>

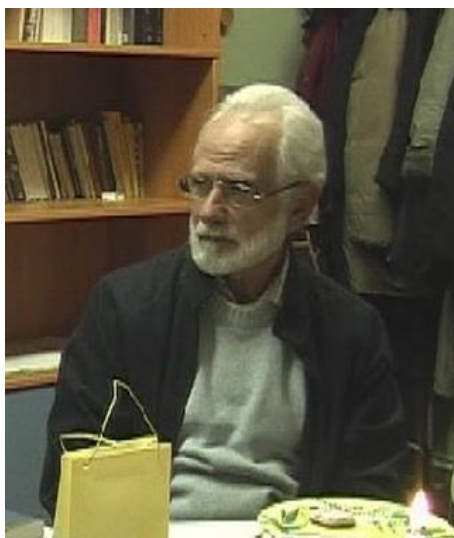
Впервые, повидимому: М. Муравник. Редакционный эпизод. – «Новое русское слово», 11 апреля 1980

От составителя.

Описываемое Муравник возвращение Шаламову рукописи «Колымских рассказов» произошло, возможно, до отставки Хрущева. Редакционное заключение с отказом было написано в ноябре 1963-го, а в апреле следующего рукопись еще лежала в издательстве.

В. Д. Острогорская – редактор либерального толка. По словам Юрия Трифонова, «сделала много доброго самым разным людям».

*Мая Ильинична Муравник (род. 1932), журналистка, редактор, издатель, мемуарист, жена искусствоведа и коллекционера Александра Глезера*



## Сергей Неклюдов

### *Третья Москва*

В 1956 году после реабилитации В. Т. Шаламов смог, наконец, перебраться в Москву. Его предшествующие проживания в этом городе – с двадцать третьего по двадцать девятый и с тридцать второго по тридцать седьмой, также разделенные тюрьмой и лагерем, – были непохожи одно на другое. Его первая, студенческая Москва (о ней он немного рассказал в «Четвертой Во-

логде») существенно отличалась от его второй Москвы – Москвы середины тридцатых, когда он начал (и довольно успешно) работать как журналист и писатель. Последнее возвращение состоялось почти через двадцать лет. Драматичной оказалась встреча с этой Москвой, уже третьей в жизни Варлама Тихоновича.

Как и в предыдущих случаях, он вернулся, чтобы начать жизнь сначала, но на сей раз – немолодым и больным человеком. Его очерки и рассказы, печатавшиеся в тридцатые годы, были забыты. Даже просто знакомых тех лет сохранилось мало, а в литературном мире его не помнил почти никто. Что касается его поэзии и прозы конца сороковых – начала пятидесятых – а это были стихи «Колымских тетрадей» и «Колымские рассказы» – то их, по условиям времени, знал лишь самый узкий круг друзей. Мастеру зрелому, уже воплотившему в слове свой долгий и страшный жизненный опыт, предстояло вступать в литературу одновременно с действительно молодыми поэтами, скажем, Ахмадулиной или Вознесенским, и общество оказалось к ним – своему будущему – куда более расположенным, чем к отставшим от времени мученикам, обитателям еще недавнего кровавого и постыдного прошлого.

Это касалось не только Варлама Тихоновича. В подобное же положение новичков попали и другие поэты, до середины пятидесятых го-

дов писавшие «в стол», а в своей официальной жизни чаще всего занимавшиеся переводами. Среди них – такие значительные имена, как Семен Липкин, Арсений Тарковский, Мария Петровых. Их и после пятьдесят шестого года печатать не спешили, хотя, конечно, несколько расширился круг читателей, случались и публичные выступления.

Я хорошо запомнил один такой вечер в старом МГУ на Моховой, в коммунистической аудитории, проводившийся, по-моему, 1 декабря 1962 года. Был он, кажется, абонементный, в рамках цикла вечеров любителей поэзии, общества книголюбов или какого-то литобъединения. Вел его Б. А. Слуцкий, а выступали А. Тарковский, В. Шаламов, Е. Благинина и Н. Эскович. Народу было не особенно много, больше молодежь, слушали вежливо – некоторое время, а затем устали и начали просить, чтобы Елена Николаевна почитала свои детские стихи, и никто, вероятно, не понимал, насколько это жестоко. Она прочитала – «Журавушку». Потом появился какой-то молодой человек и начал декламировать нечто очень длинное про Мурку и МУР. Запахло скандалом, который, впрочем, не состоялся, но меж тем герои вечера были забыты. Они молча сидели на своих стульях лицом к залу, а Слуцкий отвечал – очень откровенно по тем временам – на многочисленные вопросы. По просьбе публики он прочел стихотворение «Бог», обличил как творчески несостоятельного живописца Герасимова, противопоставив ему подлинного художника – Оскара Рабина. И все мы, сидевшие в зале, понятия не имели, что в этот самый день совсем рядом – через улицу, на выставке в Манеже бродит все более распалеймый гневом Хрущев и что назавтра ударят очередные – и уже последние – заморозки в нашей первой оттепели.

Да не поймут меня неправильно! Я не хочу бросить тень на Бориса Слуцкого. Он был один из немногих писателей, кто пытался, пока еще оставались какие-нибудь возможности, помогать Шаламову в его литературных делах. Но поэтическим вкусам тогдашних стихолобов эти четверо немолодых поэтов, очевидно, совершенно не соответствовали. Впрочем, можно ли обвинять людей в отсутствии интереса? Разве что в недостатке воспитания...

Тут были и причины стилистические. В своем отталкивании от литературы двух предшествующих десятилетий (или от того, что выдавало себя за нее) читатель хотел от современной поэзии не только непрменной интимной интонации вкупе с неофициозной гражданственностью, но и возвращения к авангардистским формам, развитие которых было некогда искусственно прервано. Я не собираюсь рассуждать о том, как ответили на эти запросы времени тогдашние молодые. Хочу только сказать, что для Варлама Тихоновича чисто биогра-

фически опыт осмысления левого искусства давно остался позади, а язык классического русского стиха, возможности которого пятидесятилетний поэт считал безграничными, был в ту пору неинтересен и эстетически непонятен. А он еще требовал для себя каких-то преимущественных прав на поэтическую речь: «Поэзия – дело седых, не мальчиков, но мужчин!» Это тоже не нравилось.

А как же с лагерной темой, никого не оставлявшей равнодушным? Но в произведениях Шаламова она к читателям просто не попадала. Да, с 1957 года его стали печатать, примерно по подборке стихов в год (в «Юности», «Знамени», «Дне поэзии» и в других местах); вышло и несколько небольших поэтических сборников. Однако издаваемое подвергалось жесточайшему конъюнктурному обезображиванию: последовательно изымалось все без исключения, от стихотворных циклов до отдельных слов, в чем усматривался хотя бы намек на запретную тему. А о публикации рассказов речь вообще не шла.

Тематические изъятия приводили к очень значительным поэтическим искажениям. Вытравливалась главная и лучшая часть шаламовского творчества, которое в результате оказывалось не просто обедненным, но и совершенно изуродованным и измененным. Как, скажем, выглядел бы Тютчев, если у него убрать десяток-полтора лучших стихов? Ведь не просто поэтом неизмеримо меньшего масштаба, но уже и другим поэтом. Так вот, Шаламов, с которым до недавних пор дозволялось ознакомиться, это совсем не тот писатель, каким он являлся на самом деле. Составить о нем представление по публикациям было нельзя. В каком-то смысле они могли сыграть даже отрицательную роль, создавая ложное впечатление о его творчестве.

Но и среди людей, которые знали его произведения в их подлинном виде, многие были во власти предвзятой и искаженной оценки, согласно которой Шаламов был поэтом добротным, но по значению периферийным; привлекательной же была тематика, как бы отделенная от самой поэтической фактуры стиха. Проза вызывала больший интерес, но в Шаламове-прозаике ценился умелый очеркист, летописец Колымы; к его рассказам относились скорее как к документу, чем как к произведениям художественной литературы.

Однако для самого Варлама Тихоновича дело обстояло совсем иначе! Он-то чувствовал себя в первую очередь поэтом, поэзию он вообще ставил выше всякой другой литературы. И колымские рассказы были для него не публицистикой, а литературой, но такой, где дистанция между фактом и художественным произведением сокращается до предела, не оставляя места вымыслу, где средством обобщения (и обобщения чудовищной силы!) становится именно этот факт. Язык шала-

мовской прозы, такой простой, почти протокольный, на самом деле тщательнейшим образом выстроен в точном согласии со смысловым, синтаксическим и фонетическим ритмом. Конечно, писал он колымские рассказы прежде всего потому, что должен был написать их — по велению долга памяти, о котором впоследствии более отчетливо и страстно сказал Александр Солженицын. Однако при этом Варлам Тихонович никогда не ставил перед своими вещами внелитературных задач — воспитательных или просветительских; он вообще отрицал наличие у искусства какой-либо иной роли, кроме естественно обусловленной его природой. И значение, не меньшее, чем долг памяти, имели для него при написании колымских рассказов чисто литературные задачи. Впрочем, тут нет никакого противоречия — именно потому, что поэтика у него накоротко, без последующих звеньев соединена с фактом. В стихах несколько иначе и сложнее. Но и они — «вызревший плод» сполна прожитых ста жизней. Это отчасти объясняет, почему цензурные изъятия, тематические по своим целям, производили столь опустошительные искажения его поэтического облика.

В профессиональную, цеховую среду советской литературы, чванливую, косную, равнодушную, перегороденную разнообразными кастовыми барьерами, Варлам Тихонович входил с трудом. В полной мере он так и не смог освоиться в ней. Надо напомнить, что начинать ему приходилось «с нуля» — в отличие от сходных с ним по поздней литературной судьбе Арсения Тарковского, весьма известного переводчика, или Елены Благиной, также очень известной детской писательницы. «Мы вашего мальчика не будем печатать», — сказал одному из шамаловских ходатаев известный и вельможный поэт (хотя и тоже прошедший через аресты и лагерь). А ведь приходилось еще и зарабатывать себе на хлеб литературной поденщиной — рецензированием «самотека» (так на писательском жаргоне именовался поток рукописей, присылаемых в редакции с улицы, без каких-либо внутренних рекомендаций). В этом качестве, кстати, он одно время сотрудничал в «Новом мире», где ему давали читать рукописи на лагерную тему — как специалисту. Но ни единой его строчки, ни стихотворной, ни прозаической, там напечатано не было, даже несмотря на ходатайство такого крупного для Твардовского авторитета, как Солженицын. В общем, дальше людской не пускали.

Надо сказать еще об одном обстоятельстве, препятствовавшем вхождению Варлама Тихоновича в литературную жизнь. Он был очень некорпоративный человек, не желавший сливаться ни с какой группой, даже издали и симпатичной ему. Он не хотел стоять ни с кем в одном ряду. Это касалось не только, скажем, Союза писателей, в который он



поначалу вступать не собирался по идеологическим соображениям, но и лево-радикальных кругов, как сейчас бы сказали, диссидентских, к которым он также относился настороженно. Ни в каких акциях политического характера он не участвовал; мне вспоминается лишь одно исключение из этого – его письмо по поводу процесса Синявского и Даниэля. Он совсем не стремился к публикации своих вещей за рубежом, причем не только из осторожности, естественной в его положении. Он хотел, чтобы именно на родине, где жизнью его распорядились столь бесчеловечно, ему не просто разрешили дотянуть и дышать, но чтобы общество признало свою страшную вину перед ним и вернуло ему естественное право поэта – говорить на своем языке правду своему народу.

Борьбой за это он и был занят оставшиеся годы. Когда ему удавалось напечатать разрешенное – часто ценой огромных жертв, он думал, что перехитрил их и одержал маленькую победу. Если это так (а у меня есть основания полагать, что это так), я думаю, он заблуждался. В этой его жизни победили они. А прорыв плотины молчания должен был состояться уже где-то за пределами его земного существования.

Опубликовано в Шаламовском сборнике №1 (1994), сетевая версия на сайте Данте XX века  
<http://www.booksite.ru/fulltext/1sh/ala/mov/29.htm>

---

От составителя

Ниже следует моя расшифровка выступления Сергея Неклюдова на международной Шаламовской конференции, июнь 2011, Москва. Литературно не обрабатывал, чтобы сохранить максимальную приближенность текста к живой устной речи. Сетевая версия текста – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/121214.html>. Видеозапись выступления на сайте Варлам Шаламов <http://shalamov.ru/video/20.html>.

В качестве альтернативы – сделанная значительно позже стенограмма этого выступления на сайте [shalamov.ru](http://shalamov.ru/memory/192/) <http://shalamov.ru/memory/192/>. Она, естественно, отредактирована и сокращена.

«Вы знаете, для того, чтобы... вот для начала, мне хотелось бы определиться со статусом моего выступления. Я чувствую себя несколько неловко, поскольку по своим занятиям, по сфере своих интересов я не литературовед, я не занимаюсь творчеством Шаламова, я не шаламовед, я выступаю здесь не в качестве, так сказать, филолога, а в качестве свидетеля. Вот. По-видимому, на сегодняшний день об этом периоде жизни Варлама Тихоновича живых свидетелей осталось не так уж много, и, вероятно, про это надо что-то рассказать. Я, значит... прежде всего о временных рамках. Я познакомился с Варламом Тихоновичем в 1956 году, когда... ну незадолго до того как они поженились с моей матерью, затем мы прожили вместе практически в одной комнате до 1968 года, затем мы расстались, – вот, так сказать, такие временные рамки.

По-видимому, надо сказать несколько слов о матери. Ольга Сергеевна Неклюдова, 1909 или 1910 – там некоторые есть неясности в метрической записи – писатель, профессиональный писатель, уроженка Саратова, по причине дворянского происхождения не могла там... толком поступить в институт, поэтому училась в несколько разных институтах, в том числе в городе Владикавказе, где ей помог преодолеть вот этот, так сказать, социальный барьер ее дядя Петр Петрович Миндалев – такой профессор-филолог, казанский по своему исходу... вот, затем в Саратове, и заканчивала институт Крупской в Москве. В Москве с 30-х годов, с первой половины 30-х годов. Без дома, без собственной комнаты, без собственной квартиры до 1950-го года. Печататься начала в конце 30-х годов, ну, во второй половине 30-х годов, вот... и является автором... там десяти книг – повести и рассказы. Четыре раза была замужем. Ну, первый брак был такой юношеский, в Саратове еще совсем, так сказать, такой молодежный и короткий, второй брак – это был такой математик, впоследствии весьма известный, Павел [?] Сергеевич Кузнецов, тоже брак был недолгий и неудачный, затем был тоже недолгий брак, закончившийся [с] войной, с писателем Георгием Николаевичем Либединским, с которым, значит, вот они... развела война, ... и самый долгий, собственно говоря, с Варламом Тихоновичем Шаламовым. Вот. Ольга Сергеевна была человеком со сложной судьбой и с не менее сложным характером. Человек тоже достаточно... нет, избежавший самого страшного, но достаточно битый жизнью и достаточно, так сказать, много претерпевший в своей литературной судьбе. При этом человек болезненно самолюбивый, обидчивый – крайне, резковатый в суждениях, как о ней говорили, она го-

ворит: либо обидится, либо сама обидит, – вот... и строчки Варлама Тихоновича: «Дыханье оскорбит, неловкий взгляд заденет», – собственно, написаны ей. Надежды на то, что этот брак будет счастливым, было мало, ну, так оно и получилось.

Познакомились они в 1956 году в доме подруги моей матери Ольги Всеволодовны Ивинской, возлюбленной Пастернака. Варлам Тихонович после, значит,.. еще тогда не реабилитированный, еще тогда живший за сотым километром, на сотом километре, вот... он приезжал,.. он написал своей старой знакомой еще с конца двадцатых годов Ольге Всеволодовне или Люсе, как ее звали,.. вот, она, это о ее знакомстве, раннем знакомстве с Варламом Тихоновичем я записал интервью – просто чтобы оно сохранилось – незадолго до ее смерти, и это интервью я отдал ее дочери Ирине Ивановне Емельяновой, которая его и опубликовала, честно вам сказать, не могу назвать точно, где именно. Вот. Ну, интервью это, текст, принадлежит ей, а не мне, вот... я был, так сказать, только техническим исполнителем, если угодно, вот... но он существует. Ирина Ивановна опубликовала также и переписку Варлама Тихоновича и Ольги Всеволодовны, вот этого самого пятьдесят шестого года, ну, в своей... тоже не скажу сейчас выходные данные этой переписки, ее довольно легко обнаружить. Вот. История их знакомства и, возможно, какого-то... либо платонического, либо вполне реального романа, так точно не знаю. Вот. В пятьдесят шестом году я, собственно говоря, тоже увидел Варлама Тихоновича в квартире той же самой Ольги Всеволодовны Ивинской на Потаповском переулке. Я очень хорошо запомнил этот момент, мы тогда, значит, соответственно, очень молодые люди, почти что подростки,.. моими близким друзьями был сын Ольги Всеволодовны уже покойный сейчас Дмитрий... и вот Ирина Ивановна помянутая. Вот. И мы... я помню, как за приоткрытой дверью человек читал стихи. Я помню, как я стою около этой двери и слушаю эти стихи. Вот. И это очень такое странное и... я бы сказал, непривычное впечатление. Стихи он читал замечательно совершенно, это было великолепно – как свои, так и чужие, надо сказать. Он читал стихи. Потом я, естественно, это много раз слушал. Потом он приезжал на дачу – жили мы с Измалкове, это станция, это поселок между Переделкиным и Баковкой, так вот это, где-то посередочке будет, под Москвой, примерно в двадцати километрах от Москвы. Вот. И он приезжал к нам туда в гости, и там же начались его отношения с матерью, потом, значит, вот, собственно говоря, они поженились.

Жили мы в это время в комнате, в коммунальной квартире на Гоголевском бульваре, в комнате, которая, как я сейчас помню, была двенадцать с половиной квадратных метров... Вот. В 53 году скончалась

моя бабушка, и мы, значит, соответственно, обрели, так сказать,.. нам стало [с иронией] просторно с мамой после этого,.. а вот потом Варлам Тихонович... Ну, было тесно. Хотя всей этой тесноты в то время и в том, я бы сказал, в тех ощущениях жилых пространств в полной мере, конечно, не ощущали. Вот. Никакого, ну как бы сказать,.. мать стояла на очереди получения квартиры, какой-то долгой, вы знаете, кафкианской какой-то очереди, которая никогда не кончалась, непрерывно наращивалась, и ничего из этого не выходило. Мне кажется, что именно все-таки появление Варлама Тихоновича... ну, лишнее, наверное, говорить, что он не получил никаких, ни в каком смысле компенсаций, так сказать и так далее,.. ну вот, но что где-то в каких-то там вот инстанциях того времени шевельнулось и все ж-таки нам тогда предоставили – ну, не отдельную, конечно, квартиру, но все ж-таки две комнаты на Хорошевском шоссе,.. вот, куда мы и переехали в 57-м году. Это были две комнаты в квартире, которую ранее занимал Валентин Фердинандович Асмус, профессор Асмус,.. вот. Он и семья его переехала в соседний домик – знаете, там на углу Беговой и Хорошевки, отчасти еще до сих пор остались... вообще тогда стоял такой городок, построенный пленными немцами, двухэтажных коттеджей. И вот это был один из таких коттеджиков, значит, четырехквартирный, в каждой квартире по три комнаты. Вот. Это было дело на первом этаже. Одна комната была оставлена Валентину Фердинандовичу как его рабочий кабинет, но поскольку советский закон не позволял оставлять рабочий кабинет человеку, когда его жена переписывается, так сказать, в соседний дом – нельзя было, муж с женой должны были быть прописаны только в одном месте, только так – то, значит, там была прописана мать Ариадны Борисовны теща Валентина Фердинандовича, которая после как... Валентин Фердинандович купил себе дачу в Переделкине и навечно переехал туда, в общем, больше не показывался,.. она там отчасти бывала в этой комнате, в общем, комната чаще всего стояла пустой.

Мы занимали две комнаты, одна из них была проходной, одна была общая, в которой жила мама и в которой стоял телевизор, обеденный стол там и так далее, а другую мы делили с Варламом Тихоновичем. Довольно быстро я вот как-то там понимаете, мне было шестнадцать лет и, очевидно, уже возникла нужда нас как-то поделить. И вот две эти комнаты, они каждая из них были опять-таки по двенадцать с лишним метров, квадратных, мы решили разделить, знаете, наподобие ильфо-петровских «пеналов» там, помните, вот у них такие,.. иначе не получалось. В стене дома было четыре окна и, значит, вот по два на каждую комнату, и можно было в простенке между окнами, значит, от

этого простенка дотянуть какую-то такую фанерную перегородку почти до двери, пробив дверь еще в одной из капитальных стен, потому что комната пересекалась наискосок, закрыв эту,.. в общем... так. «Пенал» побольше достался Варламу Тихоновичу, «пенал» поменьше достался мне. Я даже, знаете, пытался нарисовать схему, чтобы показать [смеется],.. но у меня ничего не получилось. Что-то так с пропорциями плохо выходило. Вот, значит, там наша жизнь и протекала. В этих, значит, стенах. Вот.

Что сказать об этой жизни... Вы знаете, мне... вот я глубоко как-то... сочувствую призыву говорить о Варламе Тихоновиче как о человеке, мне это очень важно, тем более, что чувствую некоторую свою вину, потому что никогда вот, никакого участия, нигде, никогда впоследствии, как мы разъехались, я, так сказать, в его жизни не принимал. Ну, тому были некоторые обстоятельства, главным обстоятельством было то, что последние, долгие годы мать моя тяжело болела, и оставлять ее одну я практически не мог. Вот. Ну и расстались мы, не могу сказать, что очень, так сказать, гармонично. Нет, ссор не было, но тем не менее... Отношения стали портиться у... довольно быстро, и это было, видимо, предсказуемо. Два немолодых уже человека со своим самоощущением, со своим понятием о месте в жизни, со своими, так сказать, обидами, амбициями и так далее, чисто личного, скажем так, характера,.. вот. Маловероятно, что они могли быть, так сказать, вместе. Кроме того, по всей видимости, здесь сказывалось и то, что, ну... какие-то такие черты характера, которые... и у того, и у другого они были в избытке. Что касается мамы, она была человек, как я сказал, ну и с очень неустойчивой нервной системой, ко всему-то прочему, ну и, конечно, пристрастный, обидчивый, мнительный, болезненно-мнительный, очень обаятельный, ну вот Арсений Борисович помнит ее, пожалуй, единственный здесь присутствующий, кто помнит ее живой и молодой еще относительно. Вот. Значит, очень любимая окружающими, очень живая, очень так сказать и так далее... С другой стороны, вот я говорю, в быту человек достаточно, весьма и чрезвычайно тяжелый. И со своим счетом ко всем окружающим, к окружающему миру.

Ну, Варлам Тихонович известен намного больше, естественно, но по моему суждению, по моему наблюдению – такому, так сказать, житейскому, которое у меня продолжалось много лет – он человек был, как бы это сказать, конституционально одинокий. У него что-то было... вот я наблюдал, как у него рвались отношения, по его инициативе рвались отношения со всеми окружающими людьми. Я помню, как он... Он был увлекающимся. Я не буду говорить об их отношениях с

Александром Исаевичем, это, так сказать, дело отдельное, особое и много раз обсуждаемое,.. но и в некотором смысле, вы знаете, оно, вот тоже, этот конфликт, он очень, обсуждается, так сказать, ну в таком... и это справедливо, в общем, видимо, в таком идеологическом плане, а там было поразительное несовпадение характеров, темпераментов, ну вот полное, полное, понимаете, эти два человека никак не могли дружить, хотя первые, вообще-то, я помню, это такой был не разлей вода, первые там какие-то месяцы, очень недолгие, очень были близки, очень тесные отношения. Он приходил каждый раз по приезде из Рязани, первый раз, первый дом, в который он приходил – это он к нам приходил, и так далее – Александр Исаевич. И потом какая резкая ссора, когда, как я помню, он приехал из Солодчи – ну, куда его позвал Александр Исаевич – значит, это самое,.. он приехал, у него были белые от ярости глаза, у Варлама Тихоновича, потому что тот образ жизни, тот ритм, тот тип, так сказать, отношений, который был предложен Александром Исаевичем – абсолютно это было невозможно. То есть этот аспект тоже присутствовал, то есть человеческой несовместимости. Но несовместимость Варлама Тихоновича шла, конечно, гораздо дальше. Я помню как тоже, ну, известный литературовед Леонид Ефимович Пинский, с которым Варлам Тихонович познакомился на моей свадьбе и очень подружился на протяжении какого-то времени, потом вдруг, в какой-то момент – это уже было после того, как мы разъехались – а мы первоначально, когда родилась моя старшая дочь, в шестьдесят восьмом году, и когда я не понимал, куда я привезу жену из роддома, вот в этот самый момент, они уже с матерью были в разводе, Варлам Тихонович, который уже был, уже стоял на некоторой очереди – он получил комнатку за выездом выше этажом в нашем же доме. Вот. И в день, когда я выписывал жену из больницы с ребенком, он выехал в эту комнату наверх. Ну просто я не знаю, конечно, совпадение, но вот так оно получилось. Так вот. Он жил в этой комнатке выше, мы еще, так сказать, встречались и отношения какие-то еще сохранялись,.. вот, и Леонид Ефимович как-то звонит к нам в квартиру, говорит, что «он мне не открывает». Он, возможно, не слышит – Варлам Тихонович был глуховат, глухота его была волнами и имела какие-то такие, так сказать, психологические, видимо, психологические обертоны, я бы сказал так, потому что я помню, он практически не говорил по телефону, ну вот когда мы жили вместе, он всегда просил там меня, ну как бы транслировал через меня,.. вот, я помню, как у него, в зависимости от партнера по разговору, у него вот это, как бы порог слышимости, менялся, при том, что вот не было никакого... ничего искусственного – не то что он там прикидывался глухим, нет,

упаси Господь, у него просто так сказать было... какая-то самокоррекция, понимаете, с этим делом... Да, Меньер, конечно, синдром Меньера, с самого начала.

Вы знаете, когда он только-только приехал, когда вот только они поженились, он ведь производил впечатление невероятно крепкого, жилистого, кряжистого, очень сильного физически и очень такого, так сказать, здорового человека. И прошло несколько месяцев – когда мы как раз переехали – и все поехало, знаете, как будто из человека вынули какую-то важную ниточку, на которой все держалось. У него стали выпадать зубы, у него стал так сказать... ну, с зубами были проблемы, он стал слепнуть, он стал, так сказать, гложуть, у него начались там камни в почках, у него началось обострение Меньера. Сколько раз мне приходилось, я ездил в метро и забирал его из метро – он не мог ездить в транспорте, он ходил пешком, для него надо было... Я, вы знаете, людей с такой болезнью, с таким синдромом, встречал двух только в жизни – это вот Варлам Тихонович и Новелла Матвеева, известная поэтесса, которая тоже везде пешком, не знаю, как сейчас, но когда-то так было. И вот, значит, это самое... И вот, когда его начинало рвать – его укачивало в метро и его начинало рвать – его принимали за пьяного и звонили, милиция, значит, звонила и говорила, спрашивала, что – ну вот я приезжал и как-то его увозили. Да, и он лежал в больницах все время, вот это 57, 58-й, наверное, годы. Действительно после чего вот, пройдя циклы этих болезней, послесыльных этих самых болезней, он вышел из этого инвалидом, больным человеком, он бросил курить – он очень много курил папиросы «Север», одну за другой, ну когда он только-только появился у нас – он бросил курить, он сел на диету, он делал специальную гимнастику вот для этого самого Меньера...

Вы знаете, я не могу сказать, что Варлам Тихонович запомнился мне как исключительно бытовой человек, но мне легче говорить о нем как о бытовом человеке по двум, пожалуй, причинам. Одна связана с тем, что... вы знаете, он был человек очень проговаривающий то, что он потом пишет. И я много раз впоследствии, читая его тексты, слышал его голос, я помню, как он это говорит, я помню, как он выходит из комнаты, или просто с бумажкой, или просто вот так вот изустно он начинает что-то такое вот... Говорил он хорошо. Я помню, как он... первое впечатление от Солженицына, как он ходит из комнаты в комнату, поминутно входит в комнату и, дрожа от восхищения, читает «Случай на Кречетовке», вот вслух читает, чтением был великолепным совершенно, просто замечательным. Вот. И с этой точки зрения все, что я мог бы сказать ну вот о его творческой, интеллектуальной жизни, будет выглядеть как цитаты. Понимаете? Из уже опубликованного.

Для меня это не является цитатами, но что делать, оно, может, и слава богу. Вот. А быт, конечно, запомнился, он оседает на каких-то решетках памяти, так сказать. Так, как не самое, в общем-то, лучшее [смеется] на самом-то деле, из того, что... Ну, я уже, кажется, перебрал свой лимит. Так что спасибо за внимание.

[Реплика, судя по голосу, Валерия Есипова]:

– Не может быть лимита. Можно еще вопрос задать, Сергей Юрьевич?

– Да, пожалуйста.

– То есть мы так немножко обсуждали эту проблему... Мироощущение у него было ну как у советского нормального человека, да, вот так, в быту, он не проявлял, так сказать, никаких там протестных признаков? [Сказано тоном скорее утверждения, чем вопроса].

– Вы знаете, ну, я бы сказал, из таких политических заявлений мне запомнилось, например, такое. Когда он мне сказал: запомни, сказал он, ничего лучше Хрущева при советской власти быть не может. Вот я очень хорошо помню эту фразу. Это, видимо, была реплика на какие-то там наши с матерью там какие-то брюзжания по поводу чего-то... ну по поводу, кто помнит, тот знает, много. Вот. И значит, это самое.

Он... как вам сказать. Когда я сказал о его вот таком... ну действительно одиночестве, ну, об индивидуализме что ли, он был человек очень не групповой, он был человек не командный, он был человек сам по себе. С этой точки зрения любое его рядоположение с кем-нибудь... ну не было слова «диссиденты», но были люди вот там и так далее... у него вызывало некоторое отторжение, он не хотел быть вместе. Он хотел быть один. В этом смысле, поскольку любая как бы сказать политическая позиция – это все-таки вместе, по всей видимости, – тут как-то не очень... у него не было... Ну он был человек не декларативный, вот так скажем. Нет, что касается его взглядов, ну как вам сказать. Он имел некоторые такие, ну не то чтобы радужные, он был человек скорее мрачный, но все-таки такие, так сказать, благоприятные воспоминания о двадцатых годах, он, ну я бы сказал, толерантно отзывался о Луначарском, не без некоторой иронии, но все ж-таки вполне толерантно.

Он был... у него были сложные отношения с религией. Он был человек нерелигиозный, атеистический, но у него... и по отцу, естественно, и по лагерному опыту у него было уважение к лицам духовного звания. Само по себе, он был человек рациональный и очень чуждый любой, какой бы то ни было мистики. Он был антимистичен. Он с отвращением относился к этому. Вот. Он был... Одна из вещей, которая у него вызывала огромный... ну я бы сказал, практически ярость –



антисемитизм. Он говорил, что антисемитизм – это не... это уголовное преступление, что антисемиту просто не подают руки или бьют в морду. Вот и все. На этом, собственно говоря, вопрос кончается, тут нечего обсуждать, говорил он. Вот.

Он не любил, как сказать,.. сельской местности. Он был чисто городской человек. Он был человеком чисто городской цивилизации. Ну на нашей жизни это сказывалось таким образом, что мы на лето уезжали на дачу, а он никогда туда не ездил. Ну ему еще и электричка трудно давалась, но даже не только поэтому... Для него дача – это, возможно, ну это как для моей матери, отчасти тоже, для нее это было воспоминание о бездомной жизни и тяжелых сумках, которые надо,.. когда вот еще не было в Москве квартиры и снималась там какая-то комнатенка в Переделкине там и так далее. У него было... все ассоциации с природой у него были негативными. Вот.

Мы с ним один раз выезжали в Сухуми, вместе были в Сухуми у его сестры Галины Тихоновны, Сорохтиной, у которой там нам всем поныне памятных местах недавних событий на Бзыбском шоссе был дом, и там вот, один раз он к ней съездил, по-моему, один, может быть, два, но точно не помню. Один раз они, по-моему, с матерью съездили куда-то на курорт. В основном он предпочитал жизнь в Москве. Ну и ездить ему было тяжело действительно, ну и, кроме того, без Ленинской библиотеки, без хождений туда фактически почти ежедневно, без хождений, так сказать, без обходов книжных магазинов, без городской квартиры он... неуютно себя чувствовал. Вот.

Ну, наверное, излишне говорить, что... Нет, он не был... Ну как вам сказать. С литературной средой... ну, понимаете, что такое литературная среда... Литературная среда в понимании там пятидесятих-шестидесятых годов – это некоторый такой очень корпоративный замкнутый цех, очень чванливый, высокомерный, сервильный, в общем, так сказать, ну были там среди них и достойные люди, естественно, конечно, как и везде, талантливые и всякие, но как корпорация это был ужасный мир. К Варламу Тихоновичу... Варлама Тихоновича он активно отторгал, понимаете? С этой точки зрения когда сейчас там ставят вопрос, какие у него были отношения с Твардовским... Ни-ка-ких! Твардовский – при всех своих заслугах – был вельможей, человеком с дачами, машинами, квартирами и всем на свете, понимаете? Нет, может быть, он был очень хороший человек, я не об этом говорю. А Варлам Тихонович был поденщиком в его журнале, читавшим самотек, знаете, что такое самотек? Вот, да. То есть то, что присылается, приходит так сказать, почтой и так далее, и ему как специалисту давали по колымской тематике. Много интересного, надо сказать, было в пятиде-

сятые годы. И в шестидесятые тоже. Ну, до Брежнева, скажем так, еще при Хрущеве. Вот. Какая там, Господи боже... Несмотря на заступничество Александра Исаевича – ни строчки в «Новом мире» опубликовано не было! Вообще, так сказать, все, что печаталось его – это было исковеркано, обкорнано, причем даже понимаете, как сказать, вроде бы,.. в «Советском писателе», где выходили в основном его книги стихов, ну был же замечательный редактор Виктор Фогельсон, который изо всех сил старался, вообще говоря, как-то, так сказать, что-то сделать. Он не мог! Пресс был такой тяжести, такой интенсивности, что никакой... ничего это было невозможно. Что сказать... Варлам Тихонович конечно – вот на чем я готов настаивать – он хотел состояться в своей стране. Вот это – да. Это совершенно стопроцентно. Конечно, его взгляды были, ну как вам сказать, правосоциалистическими – вот так если определить, он никогда это не формулировал. Но я думаю, что они были бы, ну я там не знаю,.. он весьма с уважением говорил о меньшевиках, скажем, например, вот так. Но он ни с кем не кооперировался, ни внутреннее, ни фактически. Простите, если я длинно слишком».

\* \* \*

В качестве уточнений к воспоминаниям Сергея Неклюдова приведу цитаты из его писем филологу Михаилу Юрьевичу Михееву. Публикуется с разрешения адресатов.

«АИ [Солженицын], действительно, спешил, откуда и его предельно наполненный график дел (как я это помню по первым впечатлениям). ВТ [Шаламов] при всей своей порывистости и крайней нетерпеливости был человеком скорее неспешным, не планирующим жизнь и склонным отдаться полностью какому-либо внезапно увлекшему его занятию.

Но не надо забывать идеологических расхождений между «почвенником» Солженицыным и «принципиальным горожанином» Шаламовым, скорее социал-демократом по политической ориентации, резко отрицательно относящимся к каким бы то ни было национальным предпочтениям. Эти противоречия, конечно, проявились не сразу, и я не уловил, в какой именно момент они стали ощутимыми».

(Из письма С. Неклюдова от 17.10.2012)

На вопрос Михеева:

«А чем, кстати, закончился эпизод, [...] когда Пинский спустился к вам на этаж со словами: «Он мне не открывает. Он возможно не слышит»? – Но дальше Вы, кажется, отвлеклись от темы – на то, что глухота и сам порог слышимости были у Шаламова избирательны, изменчивы. Или же этим все и кончилось – он так и не смог достучаться к Шаламову и ушел? Или же на этом вообще их общение прекратилось? Так по чьей вине, все-таки Шаламова?», – Неклюдов отвечает:

«Эпизод с Леонидом Ефимовичем закончился тем, что он посидел у нас полчаса и уехал домой, так и не попав к В.Т. Их общение прекратилось, конечно, по инициативе Шаламова, – как и его разрыв с Надеждой Яковлевной, с Натальей Ивановной [Столяровой] и с разными другими людьми. Обычно происходило это «на гладком месте», совершенно беспричинно – с внешней стороны, по крайней мере. Что же касается циклизации «Колымских рассказов», то про нее я ничего не знаю. Сам я никаких циклов не помню – читал эти рассказы как разрозненные тексты, но не уверен, что это может быть доказательством их более поздней циклизации (т. е. после того как мы разъехались в 1972 г.)».

На вопрос Михеева в письме от 17.10.2012, когда Шаламов ознакомился с повестью Платонова «Джан», ответ был следующим:

«Джан» – [...] это был первый текст неопубликованного Платонова, с которым мы познакомились; отлично помню эту зачитанную машинопись в самодельном картонном переплете. И на всех на нас повесть произвела сильнейшее впечатление. «Котлован» был позднее, его перепечатала Валя, моя будущая жена, в возможном количестве экземпляров, один оставив себе, как это делалось. Именно она принесла его в наш дом, а потом отдала Надежде Яковлевне, которая, прочитав, передала кому-то дальше. Мы поженились в 1967-м, значит, примерно тогда».

---

«Мой отчим, с которым мы прожили вместе достаточно долгое время, – Варлам Тихонович Шаламов. Но и это не имело отношения к пробуждению у меня научных интересов, а скорее сформировало идеологические воззрения, политическую позицию, и в огромной степени – литературные вкусы».

Сергей Неклюдов, «Прямая речь», с сайта журнала «Постнаука»  
<http://postnauka.ru/talks/392>

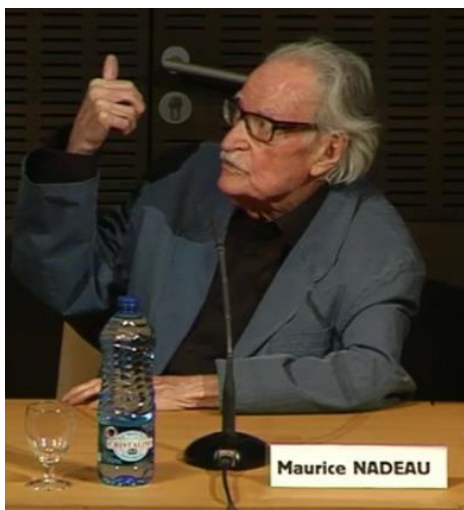
---

«Моим отчимом был Варлам Тихонович Шаламов, сильно повлиявший на мои политические взгляды и литературные вкусы, а заканчивал я филфак МГУ, причем выбор направления университетских занятий был в значительной степени негативным – я не хотел идти туда, где было особенно ощутимо присутствие советской идеологии».

Сергей Неклюдов, «Наука не самокупаема...» на сайте газеты «Новое время», 2013 <http://newtimes.ru/articles/detail/65587/>

*Сергей Юрьевич Неклюдов (род. 1941), филолог, востоковед, директор Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, сын Ольги Неклюдовой, второй жены Шаламова*





**Морис Надо**

***Объяснительная записка издателя Мориса Надо***

Письмо Мориса Надо (2008) адресовано российскому историку Марку Головизнину, занимавшемуся вопросом издания «Колымских рассказов» на французском в парижском издательстве Les lettres nouvelles, 1969. Со слов переводчика Шаламова Оливье Симона, основой сборника послужили фотопленки, попавшие от

Шаламова к директору издательства, литературоведу и левому общественному деятелю Надо и хранящиеся в архиве издательства. В телефонном разговоре с Головизниным Морис Надо подтвердил эти сведения, а затем прислал письменное свидетельство, опубликованное Головизниным в четвертом Шаламовском сборнике, 2011.

---

«Я опубликовал в «Les Lettres Nouvelles» в 1969 году «Колымские рассказы» Варлама Шаламова после того, как получил микрофильм, переданный мне моей подругой Жанной Леви. С ее слов, она получила пленку у сотрудника французского посольства, который скрыл ее в пакете с продуктами, чтобы провести через границу. Супруги Жанна и Рауль Леви были моими давними друзьями, которые поддерживали отношения с советскими диссидентами.

Сам я поддерживал отношения с Борисом Пастернаком, опубликовал письмо, которое он мне направил, а также имел контакты с Солженицыным и некоторыми другими (Николаем Боковым), тексты которых я также публиковал в «Les Lettres Nouvelles».

Что касается Шаламова, то я имел основания отнести к материалу с недоверием, опасаясь провокаций ГПУ с учетом предыдущих попыток спецслужб скомпрометировать мою деятельность на посту главного редактора журнала. Я попросил Жанну Леви предоставить мне до-

казательства 1. существования Шаламова, 2. его желания быть опубликованным во Франции в левом издании. Несколькими месяцами позже эти доказательства были мне предоставлены в виде: 1. фотографии автора – человека с очень изможденным лицом, которая имела дарственную надпись, 2. его согласия быть опубликованным во Франции.

Эти документы стали частью архива *Lettres Nouvelles*, принадлежащего редактору Рене Жилияру (Rene Juilliard).

У меня не было ни желания, ни средств, чтобы опубликовать весь сфотографированный текст. Я проконсультировался с двумя друзьями, переводчиками-русистами, которые осуществили отбор текстов, опубликованных мной под названием «Колымские рассказы».

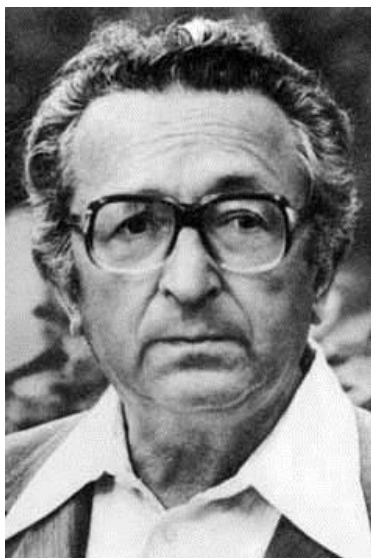
Хочу добавить, что сведения обо мне можно получить из «Советской энциклопедии», где я фигурирую как «враг СССР», «слуга капитала» и «опасный троцкист».

Морис Надо»

Напечатано в Шаламовском сборнике, выпуск 4. Электронная версия – в блоге «Варлам Шаламова и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/171078.html>

*Морис Надо (1911-2013), французский общественный деятель и издатель левого направления, участник Сопротивления, основатель издательства Les Lettres nouvelles, авторитетный литературный критик, сотрудничавший с Альбером Камю и Сартром, лауреат Национальной премии по литературе*





## Лев Озеров

### *Шаламов*, верлибр-воспоминание

Вперед и в сторону –  
Ходом шахматного коня –  
С заплечным мешком  
Бредет Варлам Шаламов,  
Подбитый Колымой.  
Одинокий, глядит исподлобья.  
День морозный.  
Заходим в кафе.  
Есть нечего, но тепло.  
– Почитайте, Варлам Тихонович,  
Новые стихи...  
Без слов снимает заплечный мешок  
С сухарями и рукописями,  
С документами на всякий случай,

Если смерть застанет в пути.  
Читает медленно  
Выделяя каждое слово.  
– Спасибо, – говорю.  
– Нет, это я должен  
Благодарить вас.  
Кто и когда сейчас  
Просит читать стихи?!  
Принесли кофе, сосиски, хлеб.  
Шаламов старается есть  
Не слишком быстро,  
Чтобы не показать,  
Что очень голоден.  
Этот привыкший к голоду рот  
Раскрывается медленно, недоверчиво,  
Как бы нехотя, стесняясь.  
Шаламов ест молча,  
С испытанной неторопливостью.  
С толком, с расстановкой,  
Не думая, как мне кажется, о еде.

О чем думает Шаламов?  
Кладет рукопись  
В заплечный мешок.  
Выходим в зиму.  
– Морозно! – говорю.  
– Что вы, тепло, – отвечает.

Опубликовано в журнале поэзии «Арион», №2, 1994  
<http://www.arion.ru/mcontent.php?year=1994&number=126&idx=2425>

От составителя

По-видимому, довольно точная и даже сухая фотография, запечатлевшая Шаламова во второй половине семидесятых.

Наблюдения Озерова подтверждают свидетельство Людмилы Зайвой:

«По улице он шел по диагонали – то есть, со стороны глядя, четкое алкогольное опьянение. Только лицо не пьяное – крепкое, сильное. Таким его видели в Москве все. За спиной рюкзак – в рюкзаке продукты. [...] Я потом только поняла, что он каждый раз выходил из дома, как в последний раз».

*Лев Адольфович Гольдберг (псевдоним Озеров) (1914-1996), советский поэт, переводчик, мемуарист, преподаватель, автор множества сборников стихов, эссе и воспоминаний. Другие псевдонимы – Лев Берг и Л. Корнев*







## Марина Округина

«Шаламова я встречала уже на свободе. В лагере мы с мужчинами не общались. Потом, уже когда нас выводил из лагеря охранник, там работали у нас уборщицы по всем учреждениям по городу, а потом приходили в одно место, тогда мы могли с мужчинами встречаться, видаться, разговаривать. Шаламов был очень замкнутый, очень одинокий, очень резкий в разговорах, знаете так, рубил топором».

«У нас на Колыме...», интервью, 2001, опубликовано на сайте Сахаровского центра  
<http://www.sakharov-center.ru/museum/library/unpublishtexts/?t=okrugina>

*Марина Никаноровна Округина (род. 1910), лагерница-колымчанка*

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a small loop at the end.

## Елена Орехова-Добровольская

### *«За нами придут корабли»*

...Как мне приступить к рассказу о Шаламове, чтобы не было стыдно перед его памятью? Варлам ведь был совсем не обычным человеком. Далеко не каждый мог приблизиться к нему, тем более – стать его другом и знать о нем от него самого. Я даже не знаю никого, кто бы имел право писать о Шаламове. По причине сложности его натуры, взыскательности к людям, к их поступкам, строгости и бескомпромиссности его взглядов, высоты и недоступности этого исключительного интеллекта.

В моей памяти это всегда одинокий, обособленно стоящий в массе людей человек, очень высокий, худой, во всегда коротком для него, наглухо завязанном на спине белом халате, в белой фельдшерской шапочке, сосредоточенно ввинчивающий скрученную сигарку в мундштук. Очень суровый. Нельзя представить себе Варлама смеющимся...

Я увидела его впервые в 1948 году, когда конвой привез меня с сепсисом из лагеря Эльген в больницу ГУЛАГа «Левый берег». Со всех лагерей на Колыме этапы больных заключенных поступали сюда через санпропускник, через дежурных врачей и фельдшера з/к Шаламова. Остался он в моей памяти с того самого момента, как я оказалась в санпропускнике. Я была з/к следующего, послевоенного «набора», науку проходила всего четыре года, а Варлам отсиживал уже второе десятилетие.

Больница «Левый берег» была оазисом в этой пустыне. Для очень многих она была спасением, и каждый мечтал любым способом попасть в нее со страшных приисков Колымы. На то время волею гулаговских вершителей судеб в больнице собрались более-менее достойные собеседники Шаламова – Демидов, Добровольский, Португалов, Лоскутов, Кундуш, Махнач. Двое из них, Добровольский и Лоскутов, имели уже по три срока. Из всех Шаламов особо выделял моего будущего мужа Добровольского.<sup>1</sup>

О том, что Аркадий Захарович был личностью исключительно интересной и одаренной, говорит сам факт внимания к нему Шаламова. На Левый берег он попал после третьего в его жизни суда, со вторым восьмилетним лагерным сроком. А между этими делами было еще и «дело Грязных» – в лагере на прииске Утином распространялась рукопись «Сталинский социализм в свете истинного ленинизма», автором

которой был Грязных, а Аркадий Захарович – его близкий друг и единомышленник. На следствии Грязных решил «отшить» Добровольского, а сам получил «вышку», которую потом заменили десятью годами. В 60-е годы Грязных был у нас в Киеве, уже старым и больным человеком. Борис Грязных...

Но рука доблестных чекистов вскоре еще раз достала Добровольского. Это было в лагере «23-й километр» (от Магадана) в 1944 году. В этом лагере оперуполномоченный НКВД Симановский (я его застала в 1945 году и хорошо помню) хлеб свой не ел даром. У него была хорошо налаженная сеть стукачей, и он раскрыл «контрреволюционную группу» из троих: Добровольского, ленинградской журналистки Владимировой и поэта Ладейщикова. Именно стараниями опера Симановского получил свой третий срок и доктор Ф. Е. Лоскутов.

Вот с таким багажом и свела судьба Добровольского с Шаламовым. Что было за плечами к тому времени у самого Варлама – это мы знаем теперь. А тогда никто не мог рассчитывать на его откровенность: он бы очертил вокруг себя зону молчания.

Аркадий Захарович ко времени моего знакомства с ним тоже был фельдшером – в глазном отделении у Лоскутова. И был человеком большой притягательной силы – чрезвычайно содержательным, выделялся красивой и яркой речью и, несмотря ни на что, отменным чувством юмора. То он влюблен в молодую комсомолку маркшейдера Августу (за эту тайную любовь к з/к ее уволили с Дальстроя), то в мою зав. лабораторией на Левом (меня после выздоровления оставили в обслуге больницы), то на вечере самодеятельности выступает с головоломными математическими фокусами. Ни одна из этих черт не была присуща Шаламову. Добровольский относился к нему с исключительным уважением, по-моему, даже с некоторой завистью: Варламу было известно многое о Пастернаке... В свою очередь у Добровольского было и преимущество, если можно так сказать: Шаламова не интересовали иностранные языки, а Аркадий Захарович на нарах в бараках зубрил английский и французский учебники. Однажды новая начмед в погонах майора отобрала у фельдшера з/к Добровольского иностранную книжку и отправила оперуполномоченному Бакланову. Книжка оказалась историей партии на французском языке. Добровольский разительно смеялся, вспоминая этот случай. На все этапы он таскал с собой стопки книг. Английский и французский изучил настолько, что потом в Киеве зарабатывал на жизнь переводами в журнале «Всесвіт». Близкий друг Добровольского Яроцкий (Шаламов упоминает его в рассказах) говорил: «Пока мы в лагерях теряли свой интеллект, Аркадий его умножал». Именно знакомство с Добровольским приблизило

меня к Шаламову. Врезался в память такой момент. В санпропускнике Варлам с Аркадием вспоминают своего знакомого Сашу Чаусова, видимо, талантливого поэта, погибшего при попытке бежать зимой на лыжах через Берингов пролив на Аляску. Его поймали вохровцы и обмороженного, в беспамятстве, принесли в санчасть. Добровольский, оказавшийся там в то время, узнал в умирающем Чаусова. Об этом он и рассказывал сейчас Шаламову. Они вместе вспоминали Сашины стихи\*:

Ша, мальчишка, не реветь!  
Заберет тебя медведь...  
Он идет на улей боком  
И в молчании глубоко  
Прямо лапой мед берет.  
Прямо лапой: прямо в пасть  
Он запихивает сладь,  
И, конечно, очень скоро  
Наедается, урча.  
Лапа черная у вора  
Вся намокла до плеча...

Помню еще одну строчку Чаусова о том, как все мы однажды вернемся домой:

...За нами придут корабли  
И станут, гремя на причале.

Кажется, в 1954 году, в поселке Ягодное, где мы жили на поселении без права выезда, Добровольский получил от Варлама письмо. Шаламов писал, что его поселили на каком-то полустанке Калининской области. Запомнилась из этого письма такая многозначительная строчка: «Дочь оказалась орешком, который раскусить трудно».

Переписка тогда как-то не заладилась. И хорошо, а то мог бы, пожалуй, и Шаламов оказаться в «группе Добровольского» на суде в 1957 году, когда хватали уже за венгерские дела. Добровольский был человеком, которого доблестные органы никогда не упускали из вида. Ведь могли прибавить срок еще до «дела Грязных», когда к нему на Утином в барак пришел Яроцкий, только что освободившийся. Добровольский так простился с ним: «Ну, Алеша, поздравляю тебя с выходом из малой зоны в большую...» Или когда открыто назвал Сталина «великий хлеборез» (хлеборез в лагере был всесильным). Или когда

мы в лаборатории заговорили как-то о том, почему из такой светлой идеи получился такой мрак, и Аркадий Захарович сказал: «Потому что сценарий задуман был великанами, а разыграли его карлики» ...Ну, а тут венгерские события, «братская рука помощи», а Добровольский говорит – оккупация. По вечерам у нас всегда бывали друзья, был соборный из хлама приемник, шли жаркие споры, и был на этот раз стукач. Так на столе начальника райотдела КГБ Жалкова оказалась магнитофонная запись новогодней речи Добровольского и других его крамольных высказываний. Снова восемь лет ИТЛ, а я осталась с трехлетним сыном. Исправляли Добровольского в лагерях с 36-го по 58-й год, и он часто говорил: «Я прошел полный курс академии социальных наук».

По «венгерскому» делу он был освобожден неожиданно быстро. Наступила уже «эпоха позднего реабилитанса» (тоже Добровольского выражение), и в незабываемом государстве КГБ стали твориться неслыханные дела: из лагеря ему удалось через верных друзей передать письмо в Киев М. Бажану и М. Рывльскому, они заявление Аркадия Захаровича отдали лично Хрущеву, и в Магадан тогда явилась комиссия из Прокуратуры СССР. Был пересмотр дела на стадии предварительного следствия, был поголовный отказ свидетелей (кроме стукача) от своих показаний, были уволены Жалков и магаданский следователь, и Добровольского торжественно восстановили в Союзе писателей. Было ему сорок семь лет, и жить оставалось чуть больше десяти, О своей болезни (облитерирующий энтерит) он признавался еще в Ягодном. Матери писал: «Укатали Сивку да крутые горки». Он знал, что его ждет (курс медицины он прошел в лагерной больнице у бывшего профессора Казанского университета Аксыянцева), и после возвращения в Киев пребывал в каком-то ступоре. Только переводами зарабатывал.

Шаламову судьба отпустила чуть больше дней, и он распорядился ими достойно. На «материке» они с Добровольским ни разу не встретились, только переписывались. Писал Шаламов и нашему общему колымскому знакомому Ф. Е. Лоскутову, жившему в Ирпене под Киевом. Такое внимание Шаламова значило очень многое.

Федор Ефимович Лоскутов тепло и уважительно упоминается в «Колымских рассказах». Но это такая личность, о которой надо знать как можно больше. Шаламов сравнивал Лоскутова со знаменитым доктором Гаазом, и это, конечно, не случайно. На Колыме о нем говорили: «Федор Ефимович – человек». Его внутренняя красота превосходила внешнюю. Спокойная мудрость, доброта, подвижническое служение долгу распространялись от него на каждого, кто с ним со-

прикасался. В Магадане, после освобождения, Федор Ефимович был ургентным врачом (по вызовам). Его ценили как специалиста даже начальники, знавшие, что он только что вышел из лагеря. За вызов к ним ему платили, а он эти деньги передавал заключенным в лагерь, куда его тоже вызывали. Это знали все на Колыме. И когда в начале 60-х годов надо было от Магаданской области представить кандидатуру на звание заслуженного врача РСФСР, это звание получил Лоскутов. Среди врачей-коммунистов, жен кэзэбистов – он один, бывший каторжник.

Он был старше всех нас – застал еще первую мировую войну, где был солдатом-фельдшером... На Левый берег Федора Ефимовича привезли уже с третьим лагерным сроком, начиная с 37-го года. «В атмосфере доносов, клеветы, наказаний, бесправия, получая один за другим тюремные приговоры по провокационно созданным делам – творить добрые дела было гораздо труднее, чем во времена Гааза», – писал Шаламов о Лоскутове (рассказ «Курсы»). Как ни странно, этот добрейший человек считался опасным. Когда в 50-м году в больницу нагрянул генерал Деревянко со свитой, и начальство в панике доставляло ему формуляры обслуживающего персонала с 58-й статьей, и он решал нашу судьбу, надзиратель привел к нему Лоскутова. Генерал перелистал «страшное» дело стоявшего перед ним немолодого человека в белом халате и спросил сурово: «Федор Ефимович, вам не надоело?»

Именно благодаря Лоскутову мир знает теперь Шаламова. Хотя Варлам Тихонович много раз был на волоске от смерти – об этом мы знаем из его рассказов – была с ним еще одна история, о которой он, вероятно, и не знал. Мне рассказал ее в 60-е годы сам Лоскутов.

Однажды на Левом ему донесли, что блатные в туберкулезном отделении проиграли в карты Шаламова – они его не любили. Федор Ефимович немедленно пошел в это отделение к старому вору по кличке «Слепой», который когда-то попал к нему с мастырькой глаз (трофическая язва, вызванная подкожным воспалением), и Федор Ефимович тогда хоть и не вернул ему полностью зрение, но не дал ослепнуть совсем. Вор выслушал Лоскутова и важно сказал: «Ладно, иди, Ефимыч, пусть живет твой лепила...»

Шаламов, повторю, мог не знать об этом случае. Его уважение к Лоскутову и без того было безграничным. После лагеря они не только переписывались, но и встречались. Из письма Шаламова к Лоскутову я запомнила строчки об упоминавшемся выше оперуполномоченном НКВД Бакланове: «Если Бакланову понадобятся свидетели, он может смело обратиться ко мне». Выходит, Шаламов, такой «зубр», а тоже

пребывал в иллюзии, что вот теперь призовут к ответу всех хватов и симановских. Как мы теперь знаем, ничего этого не произошло: наши доблестные чекисты разыскивали преступников по всему свету, а своих собственных отправляли на персональные пенсии. Бакланов давно живет в Киеве, не знаю, нуждается ли он в признаниях своих бывших подопечных...

Вспоминаю еще Шаламова таким. Ночью меня по вызову конвоир привел из лагеря в больницу: уже под утро пошла отдохнуть в санпропускник – там можно прилечь на кушетке, там у Варлама всегда были книги... Шаламов включил мне лампу у изголовья, укутал ноги своим кожушком (был у него такой тулупчик белый) и дал «Репортаж с петлей на шее» Фучика... А вот мы, obsлyга, все в белом, сидим в тесном санпропускнике, и Шаламов читает лекцию о первой помощи при обморожениях. Стоит высокий, в вечно коротком для него халате, в белой шапочке, речь его, как всегда, литературно красива, изложение высококвалифицированно. После лекции доктор Терелин, бывший главный терапевт дивизии и бывший з/к, встает с громким ворчанием: «Интересно получается – лечению обморожений нас учит фельдшер с лагерными курсами»...

Все, кого я вспомнила здесь и не вспомнила, были прекрасными людьми, чрезвычайно интересными и красивыми. Я была много моложе их, и они были ошеломляющим открытием для меня. Встреча с ними – награда и оправдание моего пребывания в колымском вертепе.

г. Киев. Декабрь 1991 г.

1. Добровольский Аркадий Захарович (1911–1969) – киносценарист, один из соавторов известного фильма «Трактористы». Эти эпизоды жизни лагерной больницы описаны в рассказе Шаламова «Афинские ночи». Послелагерная переписка Шаламова и Добровольского опубликована в журнале «Знамя», № 5. 1993. – Прим. ред.

Опубликовано в Шаламовском сборнике, выпуск №1. Сетевая версия на сайте Данте XX века

<http://www.booksite.ru/fulltext/1sh/ala/mov/27.htm>

-----

*\* Поправка Александры Раскиной:*

*Здесь «приводятся в качестве стихов лагерного поэта Саши Чаусова стихи поэта Бориса Корнилова, арестованного в 1937 г. и рас-*

*стрелянного в 1938 г., про медведя и мед, написанные им в 1933 г. и опубликованные в 1935. Чаусов читал стихи; подумали, что свои – это бывает».*

*Елена Евгеньевна Орехова-Добровольская, жена киносценариста Аркадия Добровольского, оба колымчане, лагерные товарищи Шаламова*







## Раиса Орлова

«Тогда, в первые месяцы и годы после съезда [двадцатого, 1956 – прим. составителя], мы жили новым чувством свободы, которое находили прежде всего в стихах. [...]

В политике едва тепло, а стихи разливались уже весенним половодьем. Старые, известные звучали по-новому. Все больше открывали мы богатства родной поэзии. Это были «Теркин на том свете», стихи Бориса Слуцкого, Варлама Шаламова, Бориса Пастернака, Максимилиана Волошина; несколько позже – «Реквием» и «Поэма без героя» Анны Ахматовой, стихи Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама... [...]

Варлам Шаламов, один из самых талантливых, самых беспощадных художников – летописцев советской каторги, вспоминая двадцатые годы, преображался, становился добрым, доверчивым, веселым, рассказывая о вечерах Маяковского и других поэтов, о диспутах Луначарского с Введенским, о первых спектаклях Мейерхольда, о красках и шумах московских улиц...

Его воспоминания помечены 1962 годом, то есть они писались одновременно с «Колымскими рассказами». [...]

Сознание Варлама Шаламова словно раскололось: светлый мир двадцатых годов и беспросветный ужас колымской каторги в его творчестве не были ничем связаны, представляли так, будто о них написали два разных человека.

[...] Многие считали «Один день» не только самым значительным, но и единственным проявлением духовного ВОЗРОЖДЕНИЯ. [...] Мы радовались его славе, помогали ее распространению. Однако это было только одно из многих дел, казавшихся нам важными, срочными, неотложными. [...]

Были еще «Тарусские страницы», «Софья Петровна», рассказы Варлама Шаламова, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург и «Первая книга» Надежды Мандельштам, «Мои показания» Анатолия Марченко

и книга Белинкова об Олеше и другие рукописи, которые мы старались «пробовать» в редакциях и распространять в самиздате. [...]

24 февраля [1972 года]. Вчера в «Литгазете» – причесанное интервью с Бёллем. Две статейки против Солженицына – Мартти Ларни и какой-то гедеэровской дуры. И ко всему – страшное письмо Варлама Шаламова, проклинающего Запад и наших «отщепенцев», и Солженицына.

Так Чаковский подыгрывает Шпрингеру, целеустремленно дискредитируя Бёлля в глазах его читателей».

Лев Копелев, Раиса Орлова, «Мы жили в Москве», электронная версия в библиотеке Белоусенко [http://www.belousenko.com/books/kopelev/kopelev\\_orlova\\_moskva.htm](http://www.belousenko.com/books/kopelev/kopelev_orlova_moskva.htm)

\* \* \*

[Шаламов и Надежда Мандельштам в воспоминаниях Раисы Орловой]

Статья литературоведа Раисы Орловой о Надежде Мандельштам «Вызволяя себя из прошлого». Опубликовано в журнале «Страна и мир», №10, 1984, Мюнхен, электронная версия [http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/strana\\_i\\_mir\\_1984\\_10\\_text.pdf](http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/strana_i_mir_1984_10_text.pdf) в библиотеке Вторая литература.

Орлова рассказывает о вечере памяти Мандельштама на мехмате МГУ в 1965 году с участием Шаламова и пишет, что вела запись этого вечера, которая «позже распространялась в Самиздате». Итак, уже третий претендент на известную запись об этом вечере <http://shalamov.ru/memory/118/>: Есипов называет ее автором Александра Гладкова, одесский краевед Сергей Калмыков расшифровал ее по стенограмме, сделанной Генриеттой Адлер (см. соответствующую статью в данном сборнике), и вот, наконец, Раиса Орлова, причем, пишет она, Надежда Мандельштам по ходу стенографирования вносила в текст свои замечания. Интересно было бы взглянуть на оригинал этой записи – в сетевом тексте тоже есть замечания Мандельштам, но не те, которые приводит Орлова. Впрочем, вполне возможно, речь идет о другой записи вечера\*, хотя другой я не знаю. Где находится тетрадка Орловой с этой записью, тоже не знаю.

Валентина Гефтера, организатора вечера, кстати, не «прорабатывали потом на парткоме», он сам пишет, что административных последствий не было.

Еще одно интересное свидетельство Орловой, относящееся, несомненно, к 1965-68 гг. – отзыв Мандельштам о прозе Шаламова: «Шаламов – лучший прозаик XX века». Что ж, понимала старуха в литературе.

---

«В следующем году бы устроен вечер поэзии Мандельштама – после тридцатидвухлетнего молчания. Вечер состоялся в МГУ, на мехмате. Выступали И. Эренбург, Н. Чуковский, Н. Степанов, Арс. Тарковский, В. Шаламов. Два студента читали стихи Мандельштама. Тогда, в шестьдесят пятом году, все было или казалось открытием, предвещением, вызовом. Даже состав ораторов. Организатора вечера, студента В. Гефтера, прорабатывали потом в парткоме за то, что он не «уравновесил» Эренбурга Грибачевым. [...]

Самое сильное впечатление того вечера – Варлам Шаламов. «Я написал этот рассказ 12 лет тому назад на Колыме, – сказал он. – Мы все – свидетели удивительного воскрешения. Впрочем, Мандельштам никогда не умирал. И не в том дело, что время все ставит на свои места. Нам давно известно, что его имя – одно из первых в русской поэзии. Он оказался самым нужным, несмотря на то, что почти не пользовался станком Гуттенберга».

Шаламов читал «Шерри-бренди», рассказ о поэте, который умирает на лагерных нарах. Перифраза гибели Мандельштама. Многие знали о долголетних страданиях самого Шаламова – и не в первом, а в девятом кругу Архипелага ГУЛАГ. Видели изможденного человека, конвульсивно двигавшиеся руки, глубоко запавшие глаза. Образ погибшего невольно соединялся в нашем восприятии с образом читающего. Шаламов чудом остался в живых и сейчас передает нам страшную повесть.

Я сидела рядом с Надеждой Яковлевной, записывала, стараясь не пропустить ни слова. Запись эта позже распространялась в Самиздате.

Время от времени Н.Я. вписывала ко мне в тетрадку свои впечатления, давала оценки: «Степанов – это совсем другая культура», «чудный мальчик!» (о студенте В. Борисове).

Исправляла ораторов: «Неправильно датирует». «Не Дом ученых, а Дом искусств». «Никакой Невы в окне не было».

Особенно язвительны были ее замечания по ходу речи Ник. Чуковского: «Ритма не чувствует – ошибки в чтении», «про Пушкина – пошлость и чепуха».

Строго требовала от меня: «Не исправляйте его «по дружбе»: глупые мемуары выдают себя ошибками». [...]

Люди вокруг нее постоянно менялись. Художники, физики, философы, священники, писатели. Салон-кухня для элитарной публики, где изрекались приговоры, не подлежащие обжалованию. «Шаламов – лучший прозаик XX века». «Вайсберг – лучший художник в нашей стране». Со временем приговоры менялись, но их железная категоричность сохранялась».

-----

От составителя

Слова Шаламова, записанные Орловой, довольно сильно отличаются от оных в конспекте (все-таки я считаю) Генриетты Адлер:

\* «Я прочитаю рассказ «Шерри-бренди», написал его лет 12 тому назад на Кольме. Очень торопился поставить какие-то меты, зарубки. Потом вернулся в Москву и увидел, что почти в каждом доме есть стихи Мандельштама. Его не забыли, я мог бы и не торопиться. Но менять рассказ не стал.

Мы все свидетели удивительного воскрешения поэзии М. Впрочем, он никогда и не умирал. И не в том дело, что будто бы время всё ставит на свои места. Нам давно известно, что его имя занимает одно из первых мест в русской поэзии. Дело в том, что именно теперь он оказался очень нужным, хотя почти и не пользовался станком Гутенберга».

Слов «по дружбе», которые Мандельштам велела не исправлять, в записи Адлер нет.

*Раиса Давыдовна Орлова (Либерзон) (1918 – 1989), литературовед, переводчик, мемуарист, жена общественного деятеля и писателя Льва Копелева, примыкала к диссидентским кругам, в 1980 эмигрировала с мужем на Запад*





**Иван Павлов**

«Постепенно в больницу стали поступать новые курсанты. Их было немного из-за более строгого отбора: некоторых не брали по ставейному признаку, других – по уровню образования, третьи, устроившись на теплом местечке в лагере, сами боялись трогаться с насыщенного места, не ища журавля в небе, имея в руке синицу. [...]

Мы, несостоявшиеся курсанты, интересовались всеми прибывавшими в больницу абитуриентами,

тем более, что временно они попали в нашу дорожную бригаду. Как-то возле столовой мы встретили двух новичков. Один из них, высокий и худой, преждевременно состарившийся, с изможденным лицом, в старрой, третьего срока, телогрейке и ватных брюках, не по росту маленького размера, но тщательно залатанных и зашитых, был будущий известный русский писатель и поэт Варлам Тихонович Шаламов, автор «Колымских рассказов». В лагере таким высоким особенно трудно приходилось: пайка заключенного не учитывала его рост, а лишь процент выполнения им нормы выработки. [...]

В аптеке, у кабинетов главврача и медстатистика часто сходились фельдшера: старые и вновь окончившие курсы, оставшиеся работать в отделениях больницы. Среди них был и Варлам Шаламов. С Варламом Тихоновичем я как-то встретился и за шахматной доской, когда в лагере организовали шахматный турнир.

В конце декабря в бухту Нагаево прибыли из Находки, уже в сопровождении ледокола, последние караваны кораблей с невольниками. И как всегда, с ними в больницу поступил поток тяжелобольных. Часто машины приезжали ночью, но Александр Абрамович требовал, чтобы его будили в любое время. Он немедленно принимался осматривать больных. Много было с воспалением легких, с тяжелыми дизентерийными, дистрофическими и авитаминозными поносами, с отморожениями, с пролежнями, часто инфицированными, изъязвленными. Больные неподвижно лежали на койках, эти живые скелеты с втянутыми животами, сухой кожей, преждевременно состарившимися лицами,

опустошенными взглядами, отрешенными от реальной жизни. У глубоких дистрофиков после полного исчезновения подкожной жировой клетчатки атрофируются мышцы, происходят необратимые изменения во внутренних органах, нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта, теряется аппетит, пропадают все человеческие чувства и инстинкты.

В эту зиму особенно тяжелым был этап заключенных, приехавших в трюмах парохода «Советская Латвия». Много было работы – приходилось срочно вызывать уже отработавших сутки сменщиков: фельдшеров и санитаров. Нередко болезненное состояние и дистрофические изменения внутренних органов у прибывших с материка заключенных были настолько глубокими, что процесс разрушения организма становился уже необратимым; и в первых же записях в историях болезней, сделанных врачом, можно было прочесть: «Положение безнадежное!» А ведь всего две недели назад в Находке медкомиссия признала их годными для тяжелой физической работы на приисках, рудниках и шахтах Колымы!».

Из книги «Потерянные поколения», СПб., 2005. Сетевая версия на сайте Сахаровского центра <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1755> и на сайте Самиздат [http://zhurnal.lib.ru/p/pawlow\\_i\\_i/p-2doc.shtml](http://zhurnal.lib.ru/p/pawlow_i_i/p-2doc.shtml)

*Павлов Иван Иванович (род. 1926), лагерник, маркшейдер, преподаватель, мемуарист*





## Евгений Пастернак

Сергей Соловьев, вводное слово:

«Столетие Шаламова прошло почти незамеченным, о столетии и говорить нечего. Шаламов всей своей биографией, всем им написанным противоречит любому официальному, любой юбилейной шумихе. Он – писатель, не-

удобный и литературно, и идеологически. [...]

Шаламов и Пастернак общались не очень долго, но это общение было крайне важно для них обоих. Об этом общении, об отношении Шаламова с литературной средой, об особенностях его характера рассказывает сын Бориса Пастернака, Евгений Борисович Пастернак.

– Вы знали Варлама Тихоновича лично. Какое было Ваше первое впечатление о нём?

– Еще до того, как я познакомился с Варламом Тихоновичем лично, я познакомился с его стихами. Это были две тетради в самодельном голубом или лиловом переплете, которые он послал моему отцу. А я в то время приезжал в Москву в отпуск, и отец дал мне их прочитать. И впечатление от этих стихов стало моим самым сильным впечатлением из всего того, что я помню о Варламе Шаламове.

Внешне он выглядел так, примерно, как может выглядеть очень сильный человек, раздавленный танком, или чем-то вроде того, чему сопротивляться нельзя и что уродует человека полностью.

Мы были потом знакомы поближе еще до его общения с Надеждой Яковлевной Мандельштам во время его брака с матерью Сергея Неклюдова, когда он жил около Беговой. Сережа и познакомил нас с ним. Сначала он был, я бы сказал, более открытым человеком, чем сделался позднее, потому что, как мне кажется, его тяготила невозможность напечатать его прозу, невозможность быть тем, кем он мог быть – более подготовленным к той роли, которая выпала на долю Александра Исаевича Солженицына.

При первой же встрече, вероятно, он дал нам машинопись своего рассказа «За письмом». Потом были стихи на смерть моего отца. Он дарил нам свои книжки стихов, которые выходили в СССР, потом мы получили уже не от него, из-за границы, «Колымские рассказы», которые нас поразили. Поразили тем, каково находится, говоря образно, не в круге первом, а в круге последнем. Причем, конечно, там, где Шаламов пытается дать беллетристику, быть, что называется, художественным, там, где возникают страшные образы урок, или рассказы о его фельдшерской уже службе, такая проза производит все-таки меньшее впечатление, чем рассказы, в которых пережитое показано как увиденное глазами насмерть задавленного и перепуганного человека, например, «Одиночный замер» и другие рассказы такого типа. Эти рассказы потом вспоминаются как высочайшие вершины художественной прозы, можно сказать, они сделаны из реального вещества.

Однажды я узнал, что Шаламов напечатал известную заметку в «Литературной газете», я был уверен, что это было сделано под давлением, и мы с женой кинулись на Васильевскую узнать, что с ним, а он нас отшил вполне справедливо. Это было отказом от позиции протеста и переходом к позиции, когда он от издательств, от власти искал какой-то пользы, что в тех условиях было невозможно.

Ну, а о судьбе Шаламова нужно сказать только, что она была ужасной до конца, и ближе всего это знает Елена Викторовна Захарова. Ее отец Виктор Хинкис, вскоре погибший при неизвестных обстоятельствах, заставил ее безропотно принять на себя заботу о Шаламове и быть при нем последние месяцы его жизни, а было это очень страшно для совсем молодой девочки, еще только учившейся на врача.

– На Вас произвели впечатление именно стихи. Стихи уже показывали, что это большая фигура в литературе, как об этом писал Б.Л. Пастернак?

– Да, конечно. Большая фигура в литературе, которая хотела от этой литературы, вернее, от печати не всегда того, что ей было дано.

– Речь идет о публикациях?

– Да, о публикациях и вообще об известности.

– Борис Леонидович обсуждал с Вами его стихи?

– Да. Мы с ним говорили о Шаламове только по поводу его стихов. Но все это есть в его письмах Шаламову, и повторять тут эти слова нет смысла.

«Это настоящие стихи сильного, самобытного поэта. Что Вам надо от этого документа? Пусть лежит у меня рядом со вторым томиком алконостовского Блока. Нет-нет и загляну в нее. Этих вещей на свете так мало. А что тут еще выдумать».



– Чем для Вашего отца были встречи с Шаламовым?

– Встречи с Шаламовым могли быть для Пастернака чем-то поддерживающим, особенно поначалу. Первое письмо из ссылки было просто потрясением, он узнал, что его читают там. Вот одно из писем Шаламова...

«Несмотря на низость и трусость писательского мира, на забвения всего, что составляет гордое и великое имя русского писателя, на измелчание, на духовную нищету всех этих людей, которые по удивительному и страшному капризу судеб, продолжают называться русскими писателями, путая молодежь, для которой даже выстрелы самоубийц не пробивают отверстий в этой глухой стене – жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась и всегда будет прежней – с жадной настоящей правды, тоскующей о правде; жизнь, которая, несмотря ни на что – имеет же право на настоящее искусство, на настоящих писателей.

Здесь дело идет – и Вы это хорошо знаете – не просто о честности, не просто о порядочности моральной человека и писателя. Здесь дело идет о большем – о том, без чего не может жить искусство. И о еще большем: здесь решение вопроса о чести России, вопроса о том – что же такое, в конце концов, русский писатель? Разве не так? Разве не на этом уровне Ваша ответственность? Вы приняли на себя эту ответственность со всей твердостью и непреклонностью. А все остальное – пустое, пигмейское дело. Вы – честь времени. Вы – его гордость. Перед будущим наше время будет оправдываться тем, что Вы в нем жили».

Пастернаку нужна была поддержка просто для того, чтобы он мог работать. Аудитории он был лишен, вещи его не печатались, и если это одиночество нарушалось – это слава Богу.

– А Шаламов не говорил Вам о том, какую роль в его жизни сыграл Борис Леонидович Пастернак после его возвращения из лагеря?

– Нет на эту тему мы никогда не говорили. Но есть его письмо отцу: «День 24 июня был одним из самых больших дней всей жизни моей. Более 25 лет назад я себе выдумал смелую сказку – что когда-нибудь я буду читать свои стихи у Вас в доме. Это было одно из самых скрытых, самых дорогих мне, самых страстных моих желаний, самое затаенное, в котором я никогда никому не признавался. Бесчисленное количество раз появлялось это видение. Я так привык к нему, что даже гостей сам приглашал, самовольно рассаживая их по креслам (так, вместо Берггольца у меня сидела Ахматова). Так было задумано, с этой верой я жил, никогда ее не терял. Было много таких лет, когда подоб-

ное казалось бредовой фантастикой, сумасбродней которой и придумать нельзя. И все это сбылось самым феерическим образом 24 июня.

Вы для меня давно перестали быть просто поэтом. Иное я искал, находил и нахожу в Ваших стихах, в Вашей прозе. Но даже Вы, боюсь, не измерите для себя всей глубины, всей огромности, всей особенности этой моей радости».

Вообще, я думаю, что Шаламов был верен Пастернаку. Его ревность к отцу и некоторые резкие характеристики – это уже было позднее, и это на самом деле не важно.

– А прозу свою он Борису Леонидовичу не показал?

– Эти их разговоры мне неизвестны. Я многое уже в последнее время забыл, да и мне просто впрямую отец запретил заниматься этой стороной его жизни. А Шаламов какое-то время попадал именно туда. Шаламов ревниво относился ко всему, что было связано с моим отцом и к своим письмам, которые он от отца получал, и не хотел, чтобы я каким-то образом участвовал в этих отношениях. Но он сразу отозвался на мою просьбу скопировать письма отца и приносил нам их по одному. Возможно, в какое-то время он надеялся, что я их опубликую, что это как-то поможет ему тоже начать печататься. Но в те времена публикации были очень редки и трудно давались. Роман «Доктор Живаго» вообще нельзя было упоминать, а письма к Шаламову были сплошь об этом. А потом после письма в «Литературную газету» он категорически запретил мне что-либо из них публиковать, он сказал, что сам подготовит их и опубликует. Я не был уверен, что это возможно, имя Пастернака вообще тогда вытравливалось из печати. Да я никоим образом и не претендовал на первенство публикации. Вообще, наши отношения были с его стороны достаточно прохладными. Хотя, с другой стороны, я был чем-то интересен ему, иначе зачем бы он приходил, рассказывал нам, чем он занят и что делает. Запомнились рассказы о его дружбе с Сергеем Третьяковым, радостном периоде его вовлеченности в литературную жизнь 1920-х годов, что для меня было очень странным, я не разделял его восторженности по отношению к этому кругу и времени. Но это все было до нашего последнего свидания на Васильевской, за которым и последовал строгий телефонный звонок с запретом на публикацию писем. Он совершенно не понимал литературной обстановки, и она вселяла в него какие-то надежды. Этим и было, вероятно, вызвано его письмо в «Литгазету».

– По некоторым воспоминаниям, Шаламов и в кругу Н.Я. Мандельштам хотел быть принятым прежде всего как поэт. Ему важно было, чтобы окружающие оценивали его как поэта?

– Как литератора в целом – да. Понимаете, ему важна была его художественная судьба. А эта художественная судьба, литературный мир, разговорчики, хотя это все было очень высокого качества, не хочу ни в коей мере сказать что-нибудь унижающее, но по сравнению с реальной судьбой это было ничто. Насколько я знаю, история их размовки с Солженицыным заключалась в том, что Солженицын хотел привлечь Шаламова к «Архипелагу» и позвал его в Рязань. И там пробовал его убедить в необходимости участия тем, что начал рассказывать ему о своем опыте и читать свои стихи. Это было, конечно, чудовищно, ведь весь его опыт «в кругу первом», а у Шаламова был последний круг ада. И стихи Александра Исаевича – это не стихи.

– Об этом рассказывал С.Ю. Неклюдов: Шаламов был белым от злости, когда приехал от Солженицына...

– Вот-вот. Но вообще Шаламов бывал белым от злости и по меньшим поводам. Он был человеком эмоциональным и хотел своей литературной судьбы, хотя ему была дана судьба, которая сама по себе была более значительна, чем его литературный опыт. Вообще его желание печататься я тогда не понимал, но вполне мог бы понять – и потом понял.

– Почему произошел разрыв между Шаламовым и Н.Я. Мандельштам? Это кажется странным, тем более что и после их разрыва Шаламов отзывался о ней очень уважительно...

– То, что отзывался уважительно, – это понятно и правильно. У Шаламова между его человеческим отношением и поведением достаточно большой разрыв. Могу сказать, что Надежда Яковлевна однажды, просто когда мы к ней пришли, а мы бывали у нее часто вместе с женой и Михаилом Львовичем Левиным, которого она очень любила, она просто сказала, что «Шаламов бросил меня, так сказать».

– О чем с Вами разговаривал Шаламов, что его интересовало?

– Ну, например, он с нами разговаривал о своих занятиях русской историей, ему хотелось написать что-то вроде русской истории по Шаламову. На что у него были огромные данные.

– Действительно, в конце 60-х – начале 70-х годов Шаламов работает над биографиями нескольких исторических деятелей – Натальи Климовой, Федора Раскольникова, Эдуарда Берзина... Что именно он Вам об этом рассказывал?

– Он мне просто называл фамилии людей, биографиями которых он занимался. Встреченный на улице, он рассказывал мне, о ком он читал в библиотеке, какие-то события, его впечатления. Например, рассказывал о Борисе Савинкове...

– У Шаламова в воспоминаниях о двадцатых годах и в рассказе «Золотая медаль» есть несколько прямых цитат из поэмы Вашего отца «1905 год» и «Высокая болезнь». Судя по всему, у него – по крайней мере, какое-то время – был замысел написать историю трагедии русской интеллигенции времен революции на примере судьбы знаменитой эсерки-максималистки Натальи Климовой...

– Да, возможно. Кроме того, у него были основания заниматься Наташей Климовой, потому что она была матерью Натальи Ивановны Столяровой.

Н.И. Столярову мы знали не только по кругу Н.Я. Мандельштам, хотя и по ее кругу, конечно, так как именно благодаря Наталье Ивановне Надежда Яковлевна осталась в России, а не эмигрировала за границу, насколько я понимаю. И благодаря Наталье Ивановне Надежда Яковлевна не наделала многих глупостей. Наталья Ивановна Столярова была человеком высочайшей пробы. Она дружила с Александром Александровичем Угриновым, тоже нашим большим другом. С Вадимом Андреевым. История наших отношений с ней, конечно, интересная. Мы знали о ее участии в солженицынских делах больше, чем о ее отношениях с Варламом Тихоновичем.

– Знаете ли Вы о том, кто передал рассказы Шаламова за рубеж? Первый переводчик Шаламова на английский – Джон Глэд – утверждает, что это был Кларенс Браун, но известны несколько претендентов на эту роль... В архиве есть намеки на участие в этом процессе А.В. Храбровицкого...

– Кларенс Браун – вполне возможно... Кларенс Браун вывез наследие Мандельштама, мне хорошо известна вообще история с передачей чемоданчика рукописей, я ее наблюдал. Было несколько человек, которые в этом участвовали. А Храбровицкого я знал совсем немного, помню только, что Шаламов отзывался о нем как о человеке, преодолевшем страх.

– Не знаете ли Вы, как Шаламов относился к факту своих зарубежных публикаций?

– Разговора о его зарубежных публикациях не было. Но Шаламов хотел печататься именно здесь и быть советским писателем. Это может прозвучать грубо – «советским писателем». Может быть, стоит сказать – русским писателем, но главное – он хотел быть писателем у себя на родине. К лагерям он относился как к абсолютно уродующему человека, совсем не признавал возможности появления там каких-то благородных судеб вроде Ивана Денисовича. В общем, у него были свои основательные причины несогласия с Солженицыным...

– У читателей и исследователей неизбежно возникает сравнение Шаламова и Солженицына. С Вашей точки зрения, каково место Шаламова в лагерной литературе и в литературе вообще?

– Литературных данных у Шаламова невероятно больше, чем то, что мог сделать именно в художественной литературе Александр Исаевич. Но Шаламов этим просто не смог воспользоваться при жизни. Солженицын же фактически пожертвовал своей литературной судьбой ради судьбы исторической. Шаламов не мог себе представить главы своих литературных произведений, если бы они содержали отчеты о заседаниях Государственной Думы. Это вообразить себе нельзя. Солженицын на это шел абсолютно естественно, потому что для него исторический результат был важнее.

– А исторические штудии Шаламова разве не были направлены на схожие цели?

– Я их не читал, поэтому ничего сказать не могу, но у Солженицына это не попытки исторических штудий. У Солженицына это полная жертва собою как литератором ради судьбы в истории, ради судьбы человека, влияющего на жизнь своей страны. Скажем, «Красное колесо» – это же не литература в прямом смысле этого слова. Фактически все литературное творчество Солженицына кончается «Архипелагом».

– С Вашей точки зрения, Шаламов будет в XXI веке востребован больше, чем сейчас?

– Чего захочет русская литература XXI века – не знаю. Оценка Шаламова, конечно, впереди. Он не прочитан пока, но будет ли он прочитан – это зависит от этой самой базарной торговки, русской литературы, с которой неизвестно что будет. Шаламов конечно, человек огромного литературного таланта, но главное, что он человек вот именно того героизма, который характеризует лучших людей своего времени, погибших от этого времени, раздавленных этим временем.

Беседовал Сергей Соловьев, главный редактор сайта shalamov.ru

---

Полная – электронная – версия интервью (приводится здесь) на сайте shalamov.ru <http://shalamov.ru/memory/187/>, сокращенный вариант опубликован в «Новой газете», 20.06.2012 <http://www.novayagazeta.ru/arts/53160.html>

\* \* \*

«Не я один, а те люди, с которыми я разговаривал, с которыми виделся, особенно Варлам Шаламов, считали его [Бориса Пастернака] совестью русской литературы».

Из интервью Евгения Пастернака сайту РИА Новости, февраль 2010  
<http://old.rian.ru/interview/20100210/208519935.html>

*Евгений Борисович Пастернак (1923-2012), сын Бориса Пастернака от первого брака, профессиональный военный, исследователь творчества отца и автор первой его биографии, примыкал к диссидентским кругам*



## Людмила Поликовская

В 1968 г. я работала в г<азете> «Московский комсомолец», где вела еженедельную «Литературную страницу». Я решила напечатать стихи В. Шаламова, и обратилась к нему с этой просьбой. Он согласился. Я пришла к нему домой – то ли за тем, чтобы вместе с ним отобрать стихи, то ли просто для того, чтобы взять то, что уже отобрал он сам. Не помню. Во всяком случае стихи я прочитала в его квартире. Из всех стихов сейчас помню только строчку «В глухую ночь умрет глухой Бетховен».

Он тогда жил у О. Неклюдовой\*. Но, когда я пришла, он был дома один. Комната меня не поразила ни роскошью, ни нищетой. Обыкновенное жилье московской интеллигенции. Он принимал меня так, как обычно принимают ненадолго зашедших гостей. Шоколадные конфеты, какое-то печенье... Потом он пошел меня провожать. В общей сложности мы провели вместе около часа. Конечно, все время разговаривали. Но сейчас, спустя 35 лет, я помню только то, что меня тогда поразило.

Про свои «Колымские рассказы» он сказал, что писал их исключительно ради стилистических конструкций и выбрал наиболее знакомый материал именно для того, чтобы сосредоточиться на стиле. И тем меня очень разочаровал. Я, конечно, поняла, что он перестраховывается, но было как-то обидно, что он меня подозревает в «стукачестве». (Скорее даже не подозревает, а так – на всякий случай).

Вообще этот человек произвел на меня не очень приятное впечатление. Он был неприятен внешне. В силу какой-то болезни он все время дергался – смотреть на это было тяжело. Главное же, этот физический недуг никак не окупался внутренним обаянием. Он вел себя со мной вполне комильфо, но никакой человеческой симпатии, никакого интереса к моей личности не чувствовалось.

Буквально через несколько дней после нашей встречи грянули чешские события. Цензурные гайки закрутились еще круче – и я не смогла напечатать его стихи. Мне объяснили, что для советской молодежи, строящей коммунизм и полной оптимизма, они слишком мрачны.

Больше никогда я Шаламова не видела и не стремилась к встрече.

12 ноября 2013

*\* Странное утверждение. Дело происходит в августе месяце, а уже в письме к Гродзенскому от 14 апреля Шаламов пишет: «У меня много хороших личных новостей, а главная – очень большая, не сравнимая с другими, – я получил комнату, уже переехал и живу впервые за шестьдесят лет моей жизни – в самостоятельной, отдельной комнате. Просыпаюсь каждое утро с чувством глубочайшего облегчения, покоя, физического и нравственного удовольствия».*

*Так что едва ли он жил у Неклюдовой, скорее, в собственной комнате на втором этаже. Вероятно, Поликовская знала, что Шаламов живет с Неклюдовой, но не знала о переезде.*

*Кстати, то же недоразумение в воспоминаниях Елены Мамучашивили: она пишет, что Шаламов живет с Неклюдовой, а принимает он ее в комнате на втором этаже, то есть у себя, после переезда – От составителя*

Опубликовано на сайте shalamov.ru <http://shalamov.ru/memory/221/>

*Людмила Владимировна Поликовская (род. 1940), редактор, критик, литературовед*







## Александр Ратнер

Дневниковая запись

«21.VI.1979

Ездил с А.В. Храбровицким в дом престарелых № 9 у метро «Планерная» навестить В.С. Оголевца, близкого знакомого А.В., встретившегося в Полтаве с Короленко, автора книги, кажется, о художнике Ярошенко. А.В. знал, что в этот «дом скорби» помещен около месяца назад Варлам Шаламов, автор «Колымских рассказов», опубликованных по-русски на Западе и переведенных на многие языки. У нас же полностью замолчанных! В книге, по словам А.В., почти 200 рассказов, объем около 1000 страниц. Солженицын заметил, что лагерную Колыму Шаламов «совершенно исчерпал».

День оказался неприятным, с большим трудом пробилась мы через вахтера в белом халате с голосом, более подходящим для вышибалы, чем для служителя «богоугодного заведения». На третьем этаже прошли длинным коридором сквозь строй инвалидов кресел на колесах, старух с клюками, одутловатых мужчин, изуродованных гримасами паралича. Наконец, комната № 244, радостный Виктор Степанович... Пока сидели в комнате, я не мог отвести взгляд от человека на соседней койке. Он лежал, уткнувшись лицом к стене, его худая спина и ноги все время вздрагивали, передергивались. Казалось, человек беззвучно плакал навзрыд.

Мы вышли в коридор и сели на диван. Между А.В. и В.С. тягостно тлел разговор. Старик сетовал на тяжелое житье-бытье в интернате, он-де перестал чувствовать себя человеком и просит при первой возможности выручить его из этого кошмара. Недавно от эпилепсии умер его молодой сосед, теперь новый – в каком-то параличе, весь дергается... Вдруг А.В. спросил, не слышал ли В.С. о Шаламове, и услышал: мой сосед и есть Шаламов!..

Мы вернулись в комнату. Когда вошли, Шаламов резко повернулся навзничь и, как-то хаотически двигаясь, пытался сесть, пока ему это не

удалось. А.В. не видел Шаламова десять лет и все спрашивал, помнит ли тот его. Шаламов пытался отвечать, но у него ничего не получалось – речь была совершенно неразборчива. Тогда он попросил бумагу и карандаш и нарисовал на каком-то клочке крест. Как понял его А.В., это должно было означать: «Вы в моей жизни плюс...».

Опубликовано в книге «Дневник // Конспект времени: Труды и дни Александра Ратнера» – М.: Новое литературное обозрение, 2007 [По-видимому, опубликовано, точнее, отпечатано на ротаторе еще в 1993 году в Вятке тиражом 18 экз. – прим. составителя]. Сетевая версия на сайте shalamov.ru <http://shalamov.ru/memory/119>

*Александр Владимирович Ратнер (1948-1991), библиограф, историк, преподаватель*





## Наталья Решетовская

### *Из переписки Солженицына и Шаламова*

От составителя.

Солженицын, как известно, запретил печатать свои письма к Шаламову. Частично содержание этих писем раскрывается Решетовской в мемуарах «Александр Солженицын и читающая Россия». Здесь же – легкий абрис отношений Шаламова с Солженицыным.

Примечания в квадратных скобках мои.

---

«Из пришедших писем самым дорогим явилось письмо от писателя Шаламова, написанное им после прочтения «Ивана Денисовича» [ноябрь 1962].

«Дорогой Александр Исаевич! – писал Варлам Тихонович. – Я две ночи не спал – читал повесть, перечитывал, вспоминал... [далее идет текст шаламовского письма]

Пусть «Один день» будет для Вас тем же, чем «Записки из мертвого дома» были для Достоевского», – заключил Шаламов.

Сердечно поблагодарив Варлама Тихоновича за его «письмо-рецензию», Александр Исаевич писал ему: «В ней (рецензии. – Н. Р.) скрестились лагерник и художник, и, наверно, уж второй такой мне не получить ни от кого». А дальше Александр Исаевич, в свою очередь, отзывается на стихи Шаламова, полученные им от него, – те, что еще не увидели света: «С огромным наслаждением мы прочли Ваши малые поэмы и стихи и будем теперь перечитывать. Там нет не только плохих стихов, но даже посредственных. Только хорошие и отличные – то есть не отличные, а такие, что лучше написать нельзя».

Особо Александр Исаевич выделил следующие стихи: «В честь сосны», «Гомер», «Аввакум», «Бивень», «Другу», «Жил-был», «Дерево в болоте», «Я в воде не тону». Он даже попытался уговорить Твардовского их напечатать, но натолкнулся на непонимание; Александр Три-

фонович счел стихи Шаламова не народными, слишком «интеллигентными», рассчитанными на узкого ценителя. Муж мой был этим крайне огорчен: «Как можно стихи такой редкой тонкости, аромата и вместе с тем мужественности, удивительного слияния с природой обвинить в... непонятности народу? В наличии нескольких исторических имен? Тогда Пушкина всего надо выбросить», – писал он Шаламову».

\*\*\*

«25 января [1963] пришла телеграмма от Варлама Тихоновича Шаламова: «Поздравляю Замечательными рассказами Кречетовка Матренин двор»».

\*\*\*

«Первым письменным отзывом на рассказ «Для пользы дела» [1963] была телеграмма от Шаламова, похвалившего рассказ, а затем, в тот же день, 19 августа, – письмо от К. И. Чуковского, который хотя еще не читал рассказ, но: «...всюду слышу восторженные отзывы о Вашем рассказе, – писал он».

\*\*\*

«К этому времени [1967] Солженицыну уже была известна реакция Твардовского на вторую часть «Ракового корпуса». Разговор между ними, после очень долгого перерыва, произошел 16 марта. О нем, об этом разговоре, есть в «Теленке». Отражен он и в апрельском письме Александра Исаевича к писателю Шаламову: «...Я закончил 2-ю часть «Ракового», успел уже получить принципиальный отказ от Твардовского («не напечатал бы, даже если бы это зависело только от одного меня»).

В том же письме он сообщил, что «предложил моск(овской) секции прозы ее обсудить, как они намеревались в ноябре после обсуждения 1-й части. Но, возможно, литер(атурные) чиновники... помешают», – не без оснований опасался он».

От составителя

Стало быть, переписка Шаламова с Солженицыным продолжалась и в 1967 году, чего я, признаться, не ожидал. К слову, Солженицын не только запретил печатать свои письма к Шаламову. Он еще и закрыл

доступ к письмам Шаламова в своем архиве, разрешив, впрочем, Сиротинской, публиковать шаламовские письма с копий и черновики. Что ж, при наличии разрешения логично бы было опубликовать письма Шаламова Солженицыну с чистовиков, лежащих в его архиве.

\*\*\*

«В Рязани еще ждало очень содержательное письмо [1967, по тексту мемуаров – прим. составителя] от писателя В. Т. Шаламова, который только что прочел роман «В круге первом».

«Дорогой Александр Исаевич!

Я прочел Ваш роман. Это – значительнейшая вещь, которой может гордиться любой писатель мира. Примите запоздалые, но самые высокие мои похвалы. Великолепен сам замысел – дать геолог(ический) разрез сов(етского) общества от самого верха до самого низа – от Сталина до дворника Спиридона... Слабее других женские фигуры».

А далее Шаламов делится с Солженицыным своими соображениями о жанре романа вообще: «Я не разделяю мнения о вечности романа, романической формы. Читателю, пережившему Хиросиму и концлагеря, газовые камеры Освенцима, революции и войны, – кажутся оскорбительными выдуманнные сюжеты и выдуманнные судьбы».

«Роман умер», – заключает он.

В своем ответном письме Александр Исаевич возражает Шаламову.

Нет, проза из документов не выживет роман. Он очень ценит прозу из документов («когда автор не тонет в документах, а сплавляет их и они живут») – «но почему это вместо? – спрашивает Александр Исаевич. – Это – рядом!».

...Не всякая эпоха дотягивает до романа, бывают такие дробные, потерянные, что им романов и не писать, и не читать. На Западе сейчас, может быть, такая как раз эпоха. А у нас – нет, а у нас начинается эра романов, это скоро будет главный ж а н р.

Сейчас кривая человеческой истории очень опала – вниз, в материю, она нырнула в нее с головой и глубже. Но я ощущаю, что уж мы на изныре. Для такой материальной эпохи вполне естественно перевозносить, ценить факт и документ и относиться презрительно к жизни Духа.

Но скоро это будет не так. И тогда мы все заметим, что никакая документальная проза нисколько не может нам заменить романа, главная прелесть и обаяние которого не только в излагаемой правде жизни, но в полете духа великой художественной личности, даже ее игре. Все

излагаемое она окрашивает неповторимо – и это-то главным образом и заставляет нас трепетать».

Что же касается «выдуманных сюжетов и выдуманных судеб», то Александр Исаевич развивает дальше мысли Шаламова: оскорбительным может казаться в ы д у м а н н о е , а н е с о т в о р е н н о е».

\*\*\*

«Солженицын, вопреки имеющему место скептицизму в отношении того, имеет ли традиционный роман будущее, вполне за его существование! За его живучесть! Несколько позже он и Шаламов обменяются своими мыслями об этом.

Шаламов: Читателю, пережившему Хиросиму и концлагеря, газовые камеры Освенцима, революции и войны – кажутся оскорбительными выдуманные сюжеты и выдуманные судьбы.

Солженицын: Вы (и многие вообще) противопоставляете роману – прозу из документов, вот будто она-то и выживет роман. Я очень высоко ценю эту форму (когда автор не тонет в документах, а сплавляет их, и они живут) – но почему это вместо? Это – рядом!..»

От составителя:

Решетовская дословно цитирует не датированное (осень 1967?) письмо Шаламова, о котором в комментариях к Переписке последнего в «Новой книге», 2004, говорится: «письмо не отправлено». Очевидно, что письмо было отправлено и, так сказать, отвечено. Возможно, Шаламовым был отослан другой вариант опубликованного письма. Солженицын отвергает тезис Шаламова о «смерти романа», соотнося свои сочинения не с «выдуманным», а с «сотворенным».

---

### ***Шаламов в Солотче, 1963***

«2 июня [1963] утром муж уезжает в Москву. К сожалению, Твардовский улетел в Италию. Встречен в редакции «Нового мира» Александр Исаевич был тепло. Рассказ [«Для пользы дела»] всем понравился. [...]

В редакции «Нового мира» Александр Исаевич познакомился в тот раз с писателями Тендряковым (тот зовет его к себе в Пахру), Войновичем, Икрамовым.

С Шаламовым муж в ту свою поездку виделся не один раз. Даже предложил ему пожить с ним осенью в Солотче. После очередной встречи с Шаламовым пишет мне, что Варлам Тихонович «загорелся идеей Солотчи».

\*\*\*

«Побывала у Шаламова. Предупреждаю его об особенностях характера своего мужа, который лишь толику времени в день может позволить себе отвлечься от основных занятий. Говорю, что он таков с юности: даже свидания со мной приурочивал к часу закрытия читален. Чтобы жить вместе с ним, нужно принимать его таким, каков он есть, не обижаться на него. Варлам Тихонович уверяет, что все это понимает. Но ведь он тоже поедет в Солотчу работать. Вот только кончатся дела, связанные с публикацией сборника его стихов».

\*\*\*

«Александр Исаевич работает над «Раковым корпусом». На денек сделал перерыв. Занимаемся письмами. Время от времени перебрасываемся, будто и в самом деле «детишки», воланчиками. [...]

Встречаем на рязанском вокзале Варлама Тихоновича. Он отказывается заехать к нам домой, а потому они тут же уезжают в Солотчу... Жду не дождусь очередной субботы, когда смогу поехать к ним...

Подходя к домику, еще издали увидела мужа, подбрасывающего ракеткой воланчик. Встретил меня словами: «Ты вылечила меня бадминтоном! Голова не болит!» И только после этого немного смущенно поведал, что Варлам Тихонович в то утро... уехал в Москву, совсем уехал.

Конечно, я расстроилась. Не ужились... Пытается объяснить: Шаламов только что сдал окончательно свой сборник стихов, он был вправе отдохнуть немного, ему хотелось разговаривать... А тут еще наступило похолодание, он мерз. Это, в свою очередь, мешало его творческому настроению... Одним словом, уехал. И все тут!

Сам Шаламов постарался развеять наше огорчение. Через несколько дней пришло от него письмо, в котором он благодарил за любезность и гостеприимство, которым он «так плохо воспользовался»: «Я никуда не ездил целых 6 лет, и путешествие в Рязань показало, что

ездить мне очень трудно. На меня не сердитесь, не огорчайтесь – все будет хорошо».

А мужу моему, напротив, здесь пишется. Говорит, что в ночь на субботу часа полтора записывал нахлынувшие мысли. Повесть разрабатывается: намечал 25 глав, но уже получается 32».

---

«Пообедав в кафе «Театральное» в проезде Художественного театра, мы с мужем расстаемся. Он едет к В. Т. Шаламову, потом – к А. А. Ахматовой. Знакомство с ними много значило для Александра Исаевича: Ахматову он ставил выше всех живущих поэтов, поэзия же Шаламова не просто нравилась ему, но была очень близка по духу. [...]

Ахматова подарила Александру Исаевичу свой томик стихов, сделал надпись: «А. Солженицыну в дни его славы»,

– Вы потом поймете смысл этих слов! – добавила она при этом.

– Я уже и сейчас с ними совершенно согласен.

В тот же вечер и Шаламов вручил Александру Исаевичу свой сборник стихов «Огниво».

Фрагменты из книги мемуаров Решетовской «Александр Солженицын и читающая Россия», опубликованы в журнале «Дон» в 1990 году, тогда же вышли отдельным изданием. Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир», здесь <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/126000.html> и здесь <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/125730.html>

*Наталья Алексеевна Решетовская (1914-2003), первая жена Солженицына, химик, преподаватель, плодовитый мемуарист.*





## **Нина Савосва**

«В 1944 году в больнице Севлага на Беличьей я рассказала о смерти Осипа Эмильевича Мандельштама Варламу Тихоновичу Шаламову, который попал в больницу как тяжелый дистрофик и полиавитаминозник. Мы изрядно над ним потрудились, прежде чем поставили его на ноги. В больнице с ним познакомился заключенный фельдшер хирургического отделения Борис Николаевич Лесняк, через год после освобождения, в 1946 году, ставший моим мужем. Он горячо ратовал за Шаламова. Я оставила

Шаламова в больнице культторгом, сохраняя его от тяжелых приисковых работ, где он долго продержаться бы не смог...»

Из статьи Александра Локтева, «Она сама выбрала Колыму», сетевая версия на сайте Новой газеты

<http://www.novayagazeta.ru/data/2009/085/24.html>

---

«Я утопала в конкретной повседневной работе, заботах и планах. Мне не хватало суток. Но и работникам больницы я не давала покоя. [...]

Были и недовольные, не сразу подчинившиеся этому требованию, привыкшие к расхлябанности и безответственности.

Только два человека были в этой больнице необязательными, своим присутствием вызывали недоумение и внутренний протест истинных тружеников – это Варлам Шаламов и Женя Гинзбург. Гинзбург была сестрой-хозяйкой дома отдыха для заключенных забойщиков Бурхалы, передового прииска Севера. [...]

Вторым был Шаламов, недюжинность, даровитость которого мы с Борисом Николаевичем разглядели без большого труда, хотели его

сохранить как русского интеллигента, человека нездорового, настрадавшегося от непосильного труда, голода, холода, произвола. Я сделала его культургом больницы, он читал в палатах лагерную многотиражку, выпускал вместе с Лесняком больничную стенгазету. Летом, когда поспевал урожай открытого грунта, я ставила Варлама сторожем. Он жил в уютном шалаше, был сыт и независим. Агроном Дановский жаловался на него: «Здоровый мужик круглые сутки лежит на боку, хотя бы одну грядку в день прополол...». Я Дановского успокаивала, говорила, что у Шаламова болезнь такая. Ему нельзя.

Эти два человека были бельмом на глазу всего персонала, трудившегося в поте лица, и моим уязвимым местом, моей ахиллесовой пятой».

Нина Савоева, «Я выбрала Колыму», издательство МАОБТИ, Магадан, 1996, сетевая версия на сайте Сахаровского центра [http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/auth\\_pagesa5a5-2.html?Key=10739&page=23](http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/auth_pagesa5a5-2.html?Key=10739&page=23)

*Нина Владимировна Савоева (1916-2003), знакомая Шаламова по Колыме, где работала вольнонаемным врачом-хирургом, героиня рассказа «Черная мама», жена Бориса Лесняка*





## Григорий Сви́рский

«Я видел Варлама Шаламова всего один раз: не помню, кого я искал, – заглянул в конференц-зал Союза писателей, где шло заседание. Быстро оглядел зал, трибуну. За трибуной, не касаясь ее, словно трибуны вообще не было или она была отвратительно грязной, стоял человек с неподвижным лицом. Сухой и какой-то замороженный, темный. Словно черное дерево, а не человек. В президиуме находился Илья Эренбург, измученный,

взмокший, нервно подергивающийся, отчего его седые волосы встряхивались, как петушинный гребень, и тут же падали бессильно.

Эренбург пытался встать и тихо уйти, но человек, не прикасавшийся к трибуне, вдруг воскликнул властно и тяжело: «А вы сидите, Илья Григорьевич!» – и Эренбург вжался в стул, словно придавленный тяжелым морозным голосом.

Знай я тогда о Шаламове хоть что-нибудь, я бы бросил все суетные дела и остался, но Шаламов тогда еще был неведом мне; не отыскав взглядом нужного человека, я попятился из душного прокуренного зала к дверям.

Шаламов как мне рассказывали позднее говорил о расправе с писателями его поколения, говорил что-то угрожающе-неортодоксальное и Эренбург попытался «при сем» не присутствовать: лучшие главы из его книги «Люди, годы, жизнь» – о Мейерхольде, Таирове – цензура вырубала в те дни топором. Он отстаивал их в ЦК. Однако пришлось ему остаться. Вернувшиеся писатели-зэки открывали новую страницу истории литературы – Илья Эренбург не смел, да и не желал прекословить.

Так же, как необычен облик Варлама Шаламова, словно открытого из вечной мерзлоты, в которой заледенел, да так и не оттаял еще, так же необычны рассказы Шаламова. Они резко отличаются и по стилю, и по тональности и от прозы Евгении Гинзбург, и от книг Александра Солженицына, дополняя мир Солженицына своим шаламовским улыбочивым миром глубинной лагерной России, в котором человек, по

твердому убеждению Варлама Шаламова, хуже зверя, беспощаднее зверя, страшнее зверя.

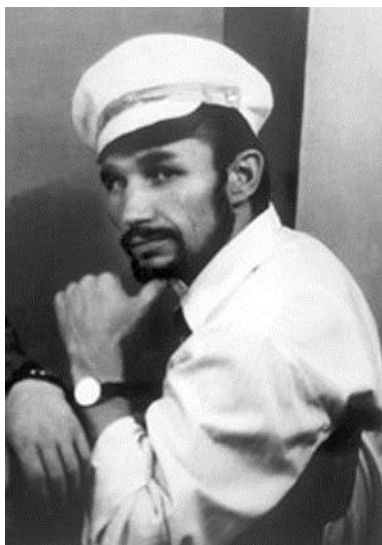
Шаламов не озабочен сюжетной выстроенностью своих рассказов; сюжет хоть и заостряет повествование, но так или иначе трансформирует действительность. Шаламов небрежен порой даже в стиле.

Но никто и не ждал от Шаламова стилистической безупречности, от него ждали правды, и он от рассказа к рассказу приоткрывал такие страницы каторжной правды, что даже бывшие эзки, и не то выдавшие, цепенели; шаламовская правда потому и потрясает: она написана художником, написана, как говаривали еще в XIX веке, с таким мастерством, что мастерства не видно... [...]

Шаламов стремительно разошелся по Руси, особенно в те два года, когда писателей за слово – не сажали; тогда он, как известно, печатался лишь за рубежом в «Новом журнале», может быть, это самый большой вклад журнала в русскую литературу сопротивления».

Из книги «На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986», Лондон, «OVERSEAS», 1979; Москва, «КРУК», 1998. Сетевая версия в библиотеке Мошкова <http://lib.ru/NEWPROZA/SWIRSKIJ/svirsky1.txt>

*Григорий Цезаревич Свирский (род. 1921), писатель, мемуарист, в прошлом военный корреспондент, активист движения советских евреев за эмиграцию, живет в Канаде*



Анатолий Сенин

*Последний приют старого колымчанина*

Солнце играло почти куинджинскими декоративными сочными пятнами в уютной белоствольной березовой роще. Она была как бы искусно написанным задником для двух нахлобученных охровых домов с усеченными крышами. Сверху они напоминали огромные вылезшие из земли гробы, обнесенные бетонной решеткой. Да и ухожены были, как гробы, – у их подножий теснилась аккуратная, как бы кладбищенская нетронутая кустарнико-

вая зелень, а за ними уже кольцо в подмосковной синоде (МКАД подпоясывала своим бетонным поясом заднее подножие рощицы) – плыли нагромождением снежных гор тоскливые и грозные облака, которые придавали этим домам еще большую отрешенность. Вокруг домов и в самих домах не прощупывалось никакой жизни, и это еще больше роднило их с гробами. А охровость стен напоминала барак, построенный из пожелтевшей на воздухе лиственницы. Это дом престарелых и инвалидов, состоящий из двух корпусов, – наверное, один из многих в Москве.

Вдоль асфальтированных дорожек буйно зацветает боярышник, а за ним бьет ядовитой зеленью нетоптаное разнотравье. На лавочке в промоине кустов сидят двое: один с повернутой в сторону головой и уродливым красным шрамом вдоль всего лица, другой с маленькими выцветшими глазками, с костылями, отброшенными на лавочку, без кистей обеих рук, а вместо них – разрезанные напополам запястья, напоминающие крабы клешни.

Спрашиваю: как пройти к административному корпусу?

Клешней мне указывает: прямо за кустами. Уходя, вслед услышал:

«Вон как одет – интеллигент, наверно, а отца или мать запрятал сюда. Нынче вся такая молодежь пошла». (Мне невольно стало почему-то стыдно за отглаженные белые брюки, за клетчатый пиджак, за желтые импортные туфли, которые, как мне показалось, надеты были

очень некстати. Многостиранные байковые пижамы, мятые и выцветшие, делали этих двоих еще более убогими, но здесь, наверно, такие порядки.)

При входе в дом на лавочках вдоль стены сидят посетители, мужчины и женщины, но почему-то больше пожилых и среднего возраста женщин. Справа, в узком коридоре на стене при подъеме на лестницу, висит объявление:

#### ДНИ ПОСЕЩЕНИЯ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Среда: 14.00–18.00, суббота: 9.30–12.30, воскресенье: 14.00–17.00.  
Сведения о состоянии больных – ежедневно по тел. 495-41-44 с 16.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Беседа врача с родственниками по средам с 14.00 до 16.00.

Это расписание не для меня: я пришел в пятницу. К тому же я не родственник, никто для того, к кому пришел, – а сострадалец, а почитатель у нас не в учет.

Поднимаюсь по лестнице. В холле за журнальным столиком сидит женщина в белом халате лет пятидесяти.

– Как можно повидать Варлама Тихоновича Шаламова?

Она поднимает на меня глаза, недоуменно смотрит и говорит:

– К нему давно уже никто не ходит, да, собственно, и не ходил. Если не считать беспокойства, когда его к нам устраивали. Вы кто будете такой?

Я нашелся сразу, я понял, что частное лицо могут и не пропустить:

– Я из Союза писателей. Мне поручено навестить коллегу.

– Но сегодня неприемный день. У нас это не положено. Распорядок есть распорядок.

Потом, увидев проходящую по холлу молодую женщину, она обратилась:

– Вот, к Шаламову пришли из Союза писателей. Можно его пропустить?

Та, бросив взгляд на меня, на дипломат, который я держал двумя руками впереди себя, сказала:

– Можно, только, пожалуйста, не задерживайтесь долго. На несколько минут. Да и сами вы не захотите с ним долго находиться, – и ушла в глубь просторного, светлого коридора.

Женщина подошла к однотумбовому столу, достала оттуда журнал, долго пробегала страницу за страницей, неразборчиво написанные фамилии, затем взяла маленький листочек и написала: «Корп. 2, этаж

3, ком. 244» и добавила «Поднимитесь на третий, налево, затем с правой стороны последняя комната».

Я сворачиваю направо, налево, – за стеклянными дверями уходящие в перспективу столы и за ними – старухи, что-то жующие. Их так много, этих жующих старух, что меня почему-то охватывает ужас, а они в байковых халатах, с повязанными на голову белыми платочками и без, в седилах, и все сливается в какую-то серую массу, непонятно что делающую. Я пытаюсь притормозить и рассмотреть отдельные лица, но ноги меня сами уносят, что-то меня подгоняет, неизвестно что, но очень похожее на животный ужас.

Уже на лестнице я представляю себе, как сейчас, меньше чем через минуту, открою дверь и увижу светлую, чистую комнату с небольшими книжными полками на степах, с пишущей машинкой на столе, а за ней, среди вороха рукописей, сидящего, но еще не старика, с серыми внимательными глазами, со взглядом строгим, недоверчивым позековски, но по мере разговора добреющим, как у всех людей, которые много выстрадали, много перевидали на своем пути. Еще представил его в белой свежей рубашке, в костюме серого цвета, чуть сутуловатым, с тяжелой обреченной походкой, если смотреть сзади, – в общем, таким, каким я его увидел впервые в 1962-м или 1963 году в ЦДЛ. Представил, как стану говорить о литературе, эмигрантском писательском зарубежье, как сообщу ему приятную и не совсем обычную новость, заключающуюся в том, что одна молодая женщина, математик, сотрудница одного научно-исследовательского института, полюбившая его произведения и по-христиански готовая пойти на жертву – выйти за него замуж – с тем, чтобы забрать его из этой причесанной тюрьмы. Что недавно его «Колымские рассказы» были изданы в Лондоне и Париже и получили литературную премию «Свободы», что Запад зачитывается этими переводами, что они имеют большой спрос у читателей самиздата, что, наконец, к нему приходит заслуженная, трудная слава. Что в Москве найдутся такие люди, которые всегда окажут ему моральную и материальную поддержку, и что эта женщина, пожелавшая выйти за него замуж несмотря ни на что, – если он пожелает, может вывезти его за границу, где он будет творить в свободном мире для страждущей России. И так до бесконечности – что, что, что... Мне хотелось пожелать этому человеку, вынесшему преисподнюю, счастья, покоя, долгих лет творческой жизни, выразить все то, что можно испытывать к автору «Колымских рассказов», если их понимать и принимать со жгучим холодком в сердце.

Пока я шел по длинному коридору третьего этажа, по которому сновали тележки с пищей, в сознании провернулся кусочек статьи – предисловия к «Колымским рассказам» Андрея Синявского. [...]

«Нет места человеку, а есть только срез человеческого материала, говорящий об одном: психика исчезла, есть – физика, реагирующая на удар, на пайку хлеба, на холод, на тепло...

...Се человек! Человек, нисходящий до собственных костей, из которых строят мост к социализму, через тундру, тайгу Колымы. Не обличение – констатация того; как это делалось... Эта мысль, высказанная Синявским, промелькнула в десятые доли секунды в трагической концентрации: не человек, а срез материала. Нужный или ненужный срез красивого дерева, это не так важно. Главное – человек разрезан пополам, вдоль, и все его внутренности видны. Все язвы, все кольца страданий.

Вот встречаюсь с этим великим страдальцем, выжившей вестью застенков социалистического строя, неважно – сталинского, хрущевского или брежневского, – и что могу сказать я, не увидевший своими глазами ада Колымы или нынешней Мордовии? Что? Только сочувствовать. Но способность сочувствовать, как сказал Солженицын, и есть шаг к исправлению, к уничтожению зла. Но как это объяснить ожесточенному, может быть, человеку? [...]

Да ладно. Что скажу – то скажу. Лишь бы не выгнал, лишь бы не принял за «фрайера» или гебиста, лишь бы стать хоть в чем-то полезным для него... Старый одинокий человек более всего ценит внимание.

Стучу в дверь – молчание. Еще стучу – тишина. Из открытой напротив двери раздается хриплый голос:

– Вы входите, входите, все равно не достучитесь.

Оглядываюсь: в кровати, приподнявшись на локте, с головой, повязанной серой тряпкой, лежит старуха.

Осторожно открываю дверь. Тишина. Ни звука. В комнате две койки, одна – не застелена, скалится ржавой сеткой; на другой – грязный матрас, и на нем лежит свернутый клубочек чего-то непонятного, будто сбиты в кучу одеяло с подушкой. Вхожу, разглядываю: в клубочке есть поседевшая голова со впалыми щеками, и она безумно смотрит водянистыми глазами из-под нависшего круглого подлбья в угол и жует одну-единственную протезную челюсть, перекатывая ее из одного угла провалившегося рта в другой. Наклоняюсь, приглядываюсь. Серое лицо-череп мычит что-то невнятное, не сводя остекленевших глаз с пустого угла. Зеленая куртка и вельветовые брюки пижамы грязны, шея замотана грязным вафельным полотенцем, как это делают зеки для утепления души. Кисти рук удивительно длинные, музыкаль-



ны даже, и, глядя на них, я никак не мог представить себе, что они ворочали тяжелые баланы, что держали кайло в шурфах, что таскали шершавые камни – это были руки интеллигента. Кто-то из писателей сказал, что по рукам можно нарисовать портрет их владельца, не обязательно видеть его лицо. Только одни руки и остались...

Комочек зашевелился в складках сбитого грязного матраца, и та самая тонкая рука по-христиански, как-то по-юродивому даже, потянулась к пустой алюминиевой кружке, ко дну которой пристали порошок чая. Рука эта брала и подносила к недвижному лицу кружку и опять ставила на край бог знает чем заляпанной приземистой охровой тумбочки. Такие движения она делала несколько раз. Я оцепенел. Я видел перед собой не человека, а кусочек от него, как бы маленькую щепочку, годящуюся только на растопку. Окликнул:

– Варлам Тихонович!

Глаза повернулись в мою сторону и оживились, с них на мгновение опала оцепенелость. Он поднял голову в безумном вопрошении и недоразумении.

В комнате с распахнутыми дверками маленького стенного шкафа, несмотря на жару улицы, было сыро, неудобно, отрешенно – в таких номерах содержат буйных умалишенных. И стены в ней были желты, грязно желты.

Этот остаток от человека потянул ко мне свою белую тонкую руку, и я подал свою. Цепкие, но бессильные пальцы облепили до запястья мою руку и начали как бы лизать ее благодарственно, но внезапно отбросили, и глаза, стекленея вновь, смотрели так же равнодушно в угол.

Я понял: мне нужно что-то говорить, возможно, какая-то мысль дойдет до него, и он вернется к рассудку. Еще мне показалось, что с ним здесь никто не общается, и он потерял дар речи за долгий срок молчания. Я стал говорить, что он почитаемый писатель среди старшего поколения, вынесшего на своих плечах весь ужас сталинизма, что к нему, к его произведениям, этой документально-художественной прозе, относится с большим интересом молодежь, стоящая в оппозиции к режиму, что он лауреат французской премии и т. д.

Лицо прояснилось. Он спустил ноги, которые в самом толстом месте – середине икры – можно было охватить пальцами моей небольшой руки. Я это увидел потому, что, когда он опускал на пол босые ноги, штанина задралась. То была не нога, а кость, обтянутая кожей.

Он сел на край койки и едва разборчиво спросил:

– Вы кто такой?

Я сказал, что писатель, что его произведения потрясают меня своей суровой концентрацией правды, от которой идет мороз по коже, в них

нет литературщины, нет ее ловких приемов, что они – жуткое, страшное выражение той действительности, в которой чудом можно уцелеть. Я еще что-то говорил, но его глаза вновь погрузились в отсутствие.

Он встал. Встал с табуретки и я. Согнувшись, выдвинув подбородок вперед, он начал ошупывать пустоту комнаты вокруг меня, лоя когото невидимого, и вдруг повис на моем плече. Веса его тела я не ощутил, но, как потом я анализировал, в нем было килограммов 30-40, не более. Полная дистрофия при его росте.

Это было ужасно! Он выглядел, как нам показывают в кинохронике времен Отечественной войны, узником Освенцима или Бухенвальда. Нет, это был вечный узник концлагеря. Старый, заброшенный, никому не нужный писатель – изобличитель преступлений сталинской Колымы.

Едва передвигая ноги, он дошел до двери, шаря в пространстве комнаты расставленными в стороны руками, цепляясь за дверки шкафчика и стены, упал на матрац и так же свернулся клубочком, как бы сжавшись от холода. Глаза вновь остекленели и смотрели в пустой угол.

Я сел на табурет, не зная, что дальше делать. Оцепенение ног, рук и всего тела наступило мгновенно, и я не помню, сколько просидел, кажется, около часа. Очнулся я тогда, когда в комнату вошла карлица с детским и одновременно взрослым лицом. Она развозила на тележке пищу. Я спросил у нее, разговаривает ли он вообще? Как принимает пищу? Она ответила, что он никому не нужный, потерянный человек. Она даже удивилась, узнав, что он писатель. Видимо, от всех обитателей дома скрывалось это обстоятельство.

Меня никто из обслуживающего персонала не торопил с уходом. Я мог бы побыть у Варлама Тихоновича еще, но дух этой камеры-комнаты гнал меня вон, мне на миг показалось, что и я через несколько минут могу занять место на пустой койке рядом с обезумевшим или павшим в психическую прострацию писателем.

Я встал и попрощался. Глаза так же смотрели в угол, а из синего рта высунулся кусок протеза, который он сосал, как соску малое дитя. В дверях я задержался, надеясь, что он повернется в мою сторону. Но он так и остался лежать маленьким, высушенным бревнышком. Сердце сосала тоска, горечь, страх и что-то еще, чего не выразишь словами.

В коридоре я спросил у полной женщины, которая стояла с тележкой у шаламовской двери:

– Ест что-либо Шаламов?

– Не трудитесь, не носите ему ничего, если вы родственник. Все равно все пропадет или мы раздадим ваши продукты другим больным. Здесь мало к кому приходят, и они рады домашней пище.

Я быстро прошел, не поблагодарив эту женщину, которая меня впустила, так как коридор был пуст.

Солнце сияло вовсю, и этот контраст от полученного минусового заряда посещения убийственно томил своей непонятной тоской и досадой душу. Я шел и думал: «Срез материала», как сказал Синявский. Материал строительства социализма надломился и треснул, он превратился в кучу обломков костей. На человеческом мясе и костях строилось это здание, и не только на Кольме, но и по всей стране. [...]

Варлам Шаламов родился в 1907 году. Будучи студентом Московского университета, факультета словесности, в 1929 году, то есть в 22 года, он был арестован и отбыл 5 лет концлагерей, которые не были такими страшными, какими они станут в 1937 году. Вторично отправлен в лагерь в 1936 году и вернулся в Москву в 1957 году, то есть через 21 год. Выпустил в издательстве «Советский писатель» три книги стихов небольшим объемом – до трех печатных листов. В журнале «Знамя» в 1962 году (пишу по памяти, ибо вся моя библиотека пропала при обстоятельствах весьма известных в 1971 году) вышло три его рассказа, где был и «Самородок». В том же году, если мне не изменяет память, рассказ был свободно экранизирован (была такая мода на лагерные темы), и, как помню, начинался фильм так: за пишущей машинкой в меховой жилетке и клетчатой рубашке сидит поседевший писатель, он задумывается на какое-то время и вновь печатает. На экране машинописным шрифтом выстукиваются титры. Каретка двигается, и за ней смена титров создателей фильма. Белый лист заслоняет колючая снежная пурга, и сквозь нее пробиваются истощенные фигуры заключенных с лопатами в руках. Вдали, за спинами, маячит с винтовкой конвоир в белом, крепко сбитом полушубке. Я не стану передавать содержание фильма, его приемы, скажу лишь, то, что по отношению к шаламовскому рассказу он приглажен утюгом соцреализма – заключенные, нашедшие золотой самородок, честны по отношению к государству – сдают его надзирателю, но не сказано там, что за «утаивание металла» расстреливали.

С ним я познакомился тогда, в те времена, еще юношей, как я говорил, в ЦДЛ. Он был в сером, плохо отглаженном костюме, в белой рубашке без галстука, худощавый, сутуловатый, выше среднего роста. Недоверчивость была его второй природой: он, слушая, кажется, ничему не верил, и это понятно, этим отличается любой зек, много лет проведенный в окружении стукачества, доносов, страшных лет борьбы

за существование – как бы прожить еще один день. Но в нем была и та отчаянность характера, которая перестает ценить материальное ради тихого внутреннего сосредоточения, которое он не мог получить в шумных, промерзших бараках, в трущобах этажей нар. [...]

К Шаламову в его последний приют я еще несколько раз приходил и выяснил следующее. Писатель оказался не совсем забытым, как я это показал в самом начале. За ним ухаживали люди самых различных профессий. Их нельзя подвести под традиционное понятие «поклонники таланта». Это, скорее, люди Совести. Хочется вскользь коснуться этих людей, которые ходят в одном круге, только более широком – бесконвойном временно и условно, и несут на алтарь российской словесности свое человеческое тепло, доброту, беспредельное бескорыстие и отчасти мужество.

Когда писателя поместили в этот приют, описанный выше, после долгих поисков его разыскал первым литературовед и поэт С. М. [Александр Морозов – прим. составителя]. Один, в течение полутора лет он ухаживал за больным писателем: приносил продукты, обмывал его, терпеливо кормил, искал со слепым и глухим писателем духовных контактов, в опорном, выработанным лагерем и годами недоверии, потерявшим всякую надежду на человечность, и это ему удалось: через некоторое время он стал под диктовку писателя записывать его стихи.

Во время вторичного моего посещения я встретил там маленькую, хрупкую на вид женщину [речь идет о Татьяне Уманской-Грусовой – прим. составителя] – она излучала доброту и удивительную твердость духа – внучку героя новеллы Шаламова «Вейсманист» и персонажа романа – документального, разумеется – «Крутой маршрут» Евг. Гинзбург, главы «Временно расконвоированные» под именем Т. Она бойко, четко и вместе с тем по-женски мягко рассказала об особенностях поведения писателя, которое мне показалось поначалу странным и загадочным. Она добровольно взяла на себя хлопотливые обязанности по созданию микроклимата вокруг больного. Раз-два в неделю на скудную интеллигентскую зарплату покупает продукты на рынке, собирает деньги у сочувствующих на нянь. Его судьба стала и ее судьбой. Лед молчания и забвения тронулся: когда санитарки из уст Т. узнали о судьбе их больного, познакомились с его произведениями, две из них стали, идя на работу, захватывать с собой молоко, и это при их ничтожной зарплате.

Врач Л. [Елена Хинкис-Захарова – прим. составителя], пришедшая к писателю осмотреть его по просьбе друзей, осталась навсегда ему верна. Она настояла на том, чтобы его не переводили в психбольницу

для хроников, что, по существу, для писателя было бы идентично заключению. Она выхлопотала, чтобы он в своей больничной комнатенке остался один, и повесила на окно свои домашние шторы.

Упомянутая выше женщина – моя знакомая, – которая хотела взять на себя груз замужества, чтобы облегчить судьбу писателя, настолько обогрела его, настолько своей добротой и терпением смогла расположить к себе безнадежно, казалось бы, больного писателя, что он начал оттаивать, стал по-человечески наивно, по-детски просто капризничать, что несвойственно старому зеку. Может быть, за всю свою долгую мученическую жизнь, обогретый вниманием чужих, неизвестных ему людей, к нему вернулись обыкновенные человеческие слабости, которым нельзя было проявиться там – на Колыме, – ибо они были бы равнозначны смерти.

Обо всех этих людях можно рассказать много, каждый из них заслуживает отдельных страниц, но моя запись не о них, а о нем.

Писатель не остался одинок, хотя этого кому-то очень хотелось. Сегодня его посещают самые различные люди, разных возрастов, но в основном молодежь: студенты, талантливый молодой физик, учительница, осветитель московского модного театра. Он – Шаламов – стал напоминанием нашей действительности, он объединяет честных и добрых людей, которым небезразличны ни сталинские лагеря Колымы прошлого, ни сегодняшние лагеря Мордовии и Перми.

Недавно прошел слух о том, что Шаламова хотят перевести в психбольницу для хроников. Известно: это вновь решетки, побои санитаров. Камерная затхлость воздуха и, конечно, добивающие психику нейролептики, не считая того, что доступ туда ограниченный и подконтрольный. Понятно, зачем понадобилась эта мера властям: после присвоения французской премии «Свобода» Шаламову за книгу «Колымские рассказы» интерес к творчеству писателя вспыхнул с новой силой, и чтобы никто не знал, как живет новый лауреат, потребовалась изоляция под знаком беспокойства за его здоровье. Но, благодаря натиску и ходатайствам его друзей, он пока остается там – в одном из нахлобученных домов, где коротают свои последние дни никому не известные инвалиды.

20 июня 1981 г. Москва

#### ПОСТСКРИПТУМ

Спустя пять лет после морозного солнечного 17 января 1982 года, когда тело Варлама Шаламова – вытянутое, выбритое и, может быть,

впервые – в новеньком, отглаженном, цвета серой мыши костюме, купленном на собранные деньги – покоилось в гробу на невысоком постаменте в церкви Параскевы Пятницы на Новокузнецкой, подбираясь к шестой годовщине его смерти, я листаю кипы периодической печати в эту темную декабрьскую ночь и нахожу:

«Литературная газета» отмечает его восьмидесятилетие заметками из его биографии. «Дружба народов», «Юность» – летний номер дает подборку его стихов с предисловием Н. Злотникова (только он-то здесь при чем?) и 11-й и 12-й номера печатают его большое эссе о литературной жизни Москвы предреволюционного времени «Двадцатые годы» с комментариями академика Д. С. Лихачева [...].

Стихи Шаламова анонсированы на следующий год в «Новом мире» и других журналах, но нет пока анонса на главный, кровавый труд его жизни, выстраданный, вымученный той честностью, о которой, видимо, говорит академик. [...]

...Рождественские морозы трещали вовсю. В церкви Параскевы был не литургический день, она открыта лишь для отпевания великомученика по нашей просьбе. Я встретил двух-трех знакомых поэтов, и в мерцании свечей, поздоровавшись кивком головы, стоял у изголовья теперь уже святого Варлама, прощался, вглядываясь в детское высохшее тельце, в восковое лицо-череп и в вновь – руки. О, какие руки! Кисти рук великого пианиста. От первого моего посещения осталась дневниковая черновая запись, датированная 21 июня 1981 года, которую я перепечатал на машинке и которая в дальнейшем станет свидетелем обвинения в антисоветской агитации и клевете. Но вот прошли эти полгода, и я еще несколько раз посетил дом на Планерной, сделал, может быть, последние фотопортреты писателя, от которых веет ужасом. Свет в его обшарпанной келье был не лучшим для фотосъемки, а лампу-вспышку я не захватил, но кое-что все же получилось, хотя не обошлось без курьеза: попутав в спешке кассеты, я снял на эту пленку похороны Юрия Трифонова. Кадры вышли комбинированными: из-за гроба с писателем Юрием Трифоновым проглядывало лицо писателя Варлама Шаламова, одного – баловня судьбы, другого – человека, прошедшего все круги дантова ада.

Спустя еще несколько месяцев после описанного мною посещения Шаламова водворяют в загородную психбольницу для хроников, куда я уже не попаду из-за занятости...

...Батюшка долго не являлся. Вся церковь трепетала золотым светом свечей, мы все, кто пришел, стояли вокруг гроба со свечами.

Явился священник, и после недолгого обряда началось отпевание. Оно возносилось в своды – нетрадиционное, смелое не по-церковному:

«Прими душу его раба великомученика, испытавшего долгий ад заключения...» Песнопение длилось часа полтора. Мы вынесли гроб на руках за паперть, вдвинули в катафалк и двинулись кто на чем мог на Кунцевское кладбище. Югославский писатель и переводчик Александр Бондаревич фотоаппаратом японского производства щелкал всю процедуру отпевания и выноса тела. После я узнал от него, что в Югославии русского писателя Шаламова знают так же, как и Солженицына, он у них переведен. Здесь же, на родине, его хоронят всего человек 30-35, не более. Официальных представителей от Союза писателей не было, во всяком случае, я их не видел, не слышал их речей.

Мы выгрузили гроб с Шаламовым на металлическую тележку, везти было нельзя, колесики утопали в снегу, да и до нас – именно на тот участок, где была вырыта могила писателю – двигалась большая процессия военных, среди которых было множество генералов КГБ. Процессия, поблескивая теплой медью духового оркестра, двигалась с кольцами еловых венков и букетами живых цветов, впереди – портрет еще молодого, преуспевающего по виду (гладко выбрит, выхолен, набриолинен) сотрудника этого тайного ордена. Он застрелился, как сказали.

Здесь, где кончаются пути человеческой жизни, сошлись на узкой заснеженной тропке жертва сталинской преисподней, выжившая и достойно пронесшая честь, совесть, негибаемость воли, человечность, отразившая как в зеркале то, что ни одному человеку на земле нельзя забывать, чтоб не повторилась антидиалектическая, противоречащая самой природе человека и всему живому на земле вещь – безнаказанное насилие, и тот, кто, пользуясь всеми благами, привилегиями и неограниченной властью, при первом же столкновении с трудностями дезертировал через самоубийство.

Наша странная по виду группа: бородачи, усатые и одетые немодно, но неординарно – бедно, но с каким-то шармом, который всегда отличал интеллигента, – боком, вытягивая в морозе молитвенное пение, встретила на узкой кладбищенской тропе с отглаженной, выхоленной на одно лицо процессией, и она, косясь недоброжелательно на нас, заглушила нас оркестровой медью. Я почувствовал себя заключенным, их – моими конвойными, вохровцами, только высоких рангов. Я видел, как один генерал поморщился от нашего церковного песнопения, бросил взгляд в гроб, почему-то сплюнул. Перед самой шаламовской могилой наши процессии, разошлись, их – двинулась влево, наша – пошла прямо, к последнему человеческому пристанищу, возвышавшемуся над белизной снега охровыми комьями глины. Гроб поставили у зияющей ямы. Траурно все молчали, подходили к изголовью, проща-

лись. (Я даже был удивлен, что четыре металлических прогона ограды были изготовлены, окрашены в серебрянку. Значит, без меня удалось пробуждающееся русское милосердие.) Я хотел произнести речь, но жена, стоящая рядом, одернула, она знала, что я могу сказать, а по тем временам это было чрезвычайно опасно. О чем думал каждый из нас в эти прощальные минуты? Взглядом я пробежал по синеватым от холода лицам и увидел, что у каждого в душе застыла безысходность. Когда расстаешься навсегда с близким или великим человеком, невольно выплывает из подсознания своя собственная жизнь, в основном – ее тревоги.

Распоряжался всей похоронной процессией А. М. [Морозов], он и забивал гроб, и руководил спуском в могилу. Как только гроб, задевая края могилы, зашуршал и мягко стукнулся о дно, я первым бросил горсть смерзшегося глиняного гравия, все подходили и бросали, стук гулко отдавался в морозном воздухе.

И вот прибывают неподатливый холм из глиняных комьев, они рассыпаются, скатываясь. Прибили кое-как, подкладывая большие комья руками, и все замерли в молчании. Я видел, как серебряной пылью посыпался снег с лапы елки, стоящей на удалении, – там была жизнь, иная жизнь – птиц и деревьев. Группками рассредоточились и медленно двинулись по знакомой тропе.

Кто-то предложил посетить могилу Надежды Яковлевны Мандельштам, и инициатор стал проводником. Мы шли узкой углубленной тропкой, вихляя между деревьев и могил долго, сбиваясь с пути, и, наконец, стали.

[...] Я смотрел на крест и вспоминал воронежские мытарства автора с ее мужем, женщины, явившей высокий образец верности, как некогда жены декабристов.

После посещения могилы все кучками рассыпались в разные стороны, чтобы помянуть по русскому обычаю отмаявшегося писателя, жизнь которого на этой земле кончилась и следом началось бессмертие.

Все – писатель А. Бондаревич и группа польских интеллигентов, англичанин и я с женой – решили помянуть Шаламова на квартире Геннадия Айги, чувашского поэта. Получилось что-то вроде поминального интернационала, символа как бы мирового признания писателя. В застолье речь все время возвращалась к книге «Колымские рассказы», и она несколько кругов сделала по рукам, тогда – запретная, наказуемая, антисоветская.

Помнится, я поднял тост и произнес такой монолог, содержание которого я передам лишь приблизительно, ибо в минуты скорби и пе-



чали из меня идет экспромт, который я не могу повторить, как бы ни старался, слова будут блеклыми и неубедительными.

– Ушел навсегда от нас твердой зековской походкой, в морозную, почти колымскую даль (за окном было 35 по Цельсию) человек и писатель, который четверть века пробыл там, где никому не надо бывать, – в преисподней. Он на земле прошел то, что проходят грешники, представившиеся Богу, натворившие немало зла в земной жизни, и, видимо, там он попадет в рай. Рай его славы он не увидит сам, но мы должны сделать все, чтобы он состоялся, он нам – живым – нужен, но не как устрашение, а как поддержка духовных сил наших, и мы все и каждый отдельно должны приложить все усилия, чтобы ни одно живое существо не увидело того, что увидел он. [...] Шаламов – писатель суровый, как и его время, жизнь; перед лицом смерти он писал свои произведения, не написал, а – выстрадал. Я верю, что придет время, когда и для него найдутся не только следователи, но и исследователи, и они напишут свои труды и оставят ему памятник. Но «Колымские рассказы» – это непревзойденный памятник жертвам сталинской Колымы, одновременно памятник самому Варламу Тихоновичу Шаламову.

16 декабря 1981 года Москва

Опубликовано в альманахе «Рубикон», М., 1993. Вып.1. Очерк иллюстрирован фотографией Шаламова, сделанной 15 июня 1981 года. Сетевая версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/114280.html>

---

От составителя:

Статья Сенина полна мелких неточностей, на которых я не хочу останавливаться, кроме того, удивляет дата под Посткриптумом – год его написания, по-видимому, все-таки 1987-й. Коробит то, что Сенин приписывает Шаламову авторство рассказа Георгия Шелеста «Самородок», о котором Шаламов в письмах к Солженицыну отзывался с омерзением.

Сенин сообщает несколько новых фактов. Например, его рассказ о почитательнице Шаламова, предлагавшей тому фиктивный брак с возможностью выезда за границу (кто эта женщина-математик, не знаю), перекликается с пассажем Сиротинской в ее мемуаре об «осаждавших» директора дома престарелых «женах», требовавших зарегистри-

ровать брак, и о фантастических планах вывезти больного писателя за границу. При этом – по своему обыкновению ничего не говорить прямо – Сиротинская ссылается не на очерк Сенина, опубликованный в 1993 году и ей, архивисту и главному тогдашнему авторитету по Шаламову, легко доступный и безусловно известный, а на некоего распространителя сплетен по фамилии Тумановский. Другой новый для меня факт – что поминки по Шаламову справлялись не только в доме Натальи Кинд, но и у поэта Геннадия Айги, причем в компании присутствовавших на похоронах многочисленных иностранцев. Мельком брошенная фраза Сенина о том, что незадолго до его посещения по дому престарелых поползли слухи о переводе Шаламова в приют для умалишенных подтверждает мое предположение, что решение избавиться от компрометирующего пациента было принято администрацией в конце мая – начале июня. В остальном очерк интересен подробностями и общим духом – хочется сказать, слогом, – характерным для той эпохи и кругов столичной либеральной интеллигенции.

*Анатолий Андреевич Сенин (род. 1951), московский художник и поэт, деятель самиздата, примыкал к диссидентскому движению, подвергался тюремному заключению*





**Алексей Симонов**

*«Шаламов был ожогом,  
а не литературой»*

[...] В 1956 году возник журнал «Москва», и моя мать стала заведовать в нем отделом поэзии. Шаламов принес туда свои стихи. Потом он бывал у нас дома. Он подарил матери две вы-

шедшие при его жизни книжки, написав добрые слова. Теперь эти книжки у меня.

Я видел Шаламова много раз, и дома, и у матери в редакции, но не помню, чтобы Шаламов говорил о ГУЛаге. Лишь однажды я услышал от него несколько слов, но и то это был разговор о географии, а не о лагере.

В 1956 году, 31 августа я прилетел в поселок Томтор Оймяконского района Якутской АССР. А 1 сентября вылетел за 240 км в то место, которое было выбрано для первой экспедиционной базы по третьему международному геофизическому году. В эти сутки я успел сходить в Оймяконский лагерь, который тогда уже был пуст. Много лет спустя я узнал, что в этом лагере Шаламов, уже фельдшером, досиживал последний срок. Вот об этих местах мы и поговорили.

Дело не в недоверии – в нашем доме, точнее, у моей тетки хранился один из четырех машинописных экземпляров «Колымских рассказов». Так что я читал их тогда же.

Их читал широкий круг узкого знания, то есть широкий круг той интеллигенции, которая продолжала интересоваться этой темой. Сейчас уже мне трудно вспомнить, понималось ли в то время, что «Колымские рассказы» – это большая литература. Тогда главное было правда или нет, а качественные оценки отодвигались далеко в сторону. Этому есть бесспорные примеры. Практически беспомощная, но храбрая книга «Не хлебом единым» произвела нечто вроде переворота в

литературе. Сейчас это читать невозможно, а тогда ею восторгались. Паустовский, выдающийся стилист советского времени, поддерживал и прославлял ее, за нее мой отец лишился редакторства в «Новом мире».

Шаламов был ожогом, а не литературой. Когда тебя обжигает, ты не спрашиваешь о качестве каленого железа. И до сих пор есть люди, которые не анализируют, не вдаются в вопросы качества. Евреи в Израиле считают Евтушенко своим национальным героем, им и в голову не приходит разбирать «Бабий Яр» с точки зрения поэзии. В то время важнее было сказать, чем сказать хорошо. Так называемые литературные споры на деле были бесконечно далеки от литературы.

С тех пор мерки совершенно изменились, нам уже такая снисходительность недоступна, конечно, если в нас сохранилась способность не только ностальгировать, но и анализировать собственную ностальгию.

У нас уровень самоанализа – и общества, и отдельного гражданина – как был, мягко говоря, недостаточным, так и остался. Нам бы не унифицировать, дать периоду вполне определенную оценку и тем самым – подвести черту, отстраниться от необходимости обдумывать опыт.

И все-таки «Иван Денисович» стал поворотным пунктом не только потому, что это было напечатано на журнальной странице, но и потому, что это было гениально написано. Хотя оценка качества тогда в оценку не входила, на интуитивном уровне оно людьми воспринималось. И, может быть, главное – там было осмысление того опыта, до пределов понимая которого читателю никогда не дойти...

Шаламов свою точку зрения сформулировал предельно четко: в этом опыте ничего позитивного нет. Рассказы как бы открыты в тебя, от них нечем защититься. У Шаламова нет тех оценок, которые позволяют отстраниться, спастись от возможного разрушения чужим опытом, чужой трагедией, которая, в конечном счете, с Шаламовым и произошла: он все-таки сошел с ума... Человек, полностью прекративший общаться, превращается в столпника, а говорит ли он при этом с Богом, экспериментально выяснить не удается.

Даже опосредованный, этот опыт бесконечно страшен. Шаламов утверждал, что он иррационален, и любая попытка рационального

осмысления его оскорбляла. И этот человек, с таким опытом и столь великий, что мог реализовать его в словах, даже он не смог его из себя избыть.

Расскажу одну историю. Произошло это в день похорон Эренбурга. И. Г. Эренбурга хоронили в ЦДЛ, к тому времени уже все конфликты с его мемуарами «Люди, годы, жизнь» были столь остры, что на Колонный зал не решились. Тогда было все ранжировано, принимались специальные решения, чуть ли не политбюро собиралось. В ЦДЛ похороны всегда устраивались одинаково: был один вход для всех, и другой – для литераторов, и на входе стояли те, кто этих литераторов пропускал. Я подъехал на троллейбусе «Б», вышел чуть ближе американского посольства, и пошел в сторону хвоста очереди, который уже загнулся с улицы Герцена на улицу Воровского. Я увидел Шаламова, который шел туда же. Мы пошли вместе. Идем вдоль очереди, и я ему говорю: там наверняка есть проход, нас пропустят. А в тот день даже сотрудники иностранного отдела были выделены на дежурство. Подходим к тому месту, где всегда на похоронах в России бывают давки, где идет распределение кому куда, а нам навстречу какой-то человек, который пытается нас остановить. Он дотрагивается до Шаламова – не толкает, только дотрагивается, – и было такое ощущение, что Варлам Тихонович словно изломился, избегая этого прикосновения. И вот этот согнутый Шаламов пошел обратно вдоль очереди...

Мне не хватило тогда ни соображения, ни мужества пойти за ним... Он ушел, как бы отделившись.

Ну ерунда, вроде бы, но вот это ощущение, что к нему снова прикоснулось насилие... Может быть, я несколько «олитературиваю», но не домысливаю, это ощущение тогдашнее, той минуты.

Насилие и страх. И перед ними Шаламов был беспомощен.

-----

Материал подготовлен на основе интервью, которое А. Симонов дал редакции в январе 1999 г.

\_\_\_\_\_

Опубликовано в журнале «Индекс/Досье на цензуру», №7-8, 1999, электронная версия полной статьи – в блоге «Варлам Шаламов и концентриционный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/181810.html>

От составителя.

Последняя фраза очерка Симонова звучит абсурдно: насилие и страх, перед которыми Шаламов беспомощен. За год до описанной сцены Шаламов передает «Колымские рассказы» для издания книгой в Америку, а еще через год – для издания книгой, вернее, собранием сочинений, в Париж – сразу во французское и русское эмигрантское издательства. Беспомощный и охваченный страхом человек бросает вызов всей советской системе – и это задолго до Солженицына и без тыла последнего! Комильфо Симонов просто не знал этих фактов (их и сейчас мало кто знает), да и вообразить их не мог, и потому «олигатурил», психологизировал на глубину ложного символа понятное и, пожалуй, рефлекторное нежелание Шаламова связываться с системой по пустякам. Человек с динамитным поясом не будет связываться с контролером в трамвае, требующим предъявить билеты и потесниться.

\* \* \*

От составителя.

Александра Раскина, дочь Фриды Вигдоровой, переслала Елене Чуковской ответ Алексея Симонова на свой вопрос о Шаламове. Тот прояснил некоторые обстоятельства, касающиеся его матери, работавшей редактором в журнале «Москва», Шаламова и самиздатских списков «Колымских рассказов» второй половины пятидесятых – первой половины шестидесятых годов. Весьма признателен всем перечисленным, а также Михаилу Михееву, переславшему мне от Чуковской ответ Симонова Раскиной, за возможность его опубликовать.

---

«О Шаламове. Е.С. [Ласкина\*] работала в журнале «Москва» с самого его открытия, т.е. с осени 1956 года, если мне не изменяет память на даты. Познакомилась она с Варламом Тихоновичем через стихи, как – не знаю, я в это время (до апреля 1958) был в экспедиции. Когда приехал, Шаламов уже был хорошим знакомым, и я даже рискну

утверждать, что он появлялся на 2-й Аэропортовской 4, а не только на Арбате в редакции. Что до рассказов, то я их читал в машинописи, в том числе в маминной перепечатке, и было это в интересующий тебя период (1960 – 1964 г.г.). Скажу больше: у Шаламова было несколько схронов [тайников], где он накапливал перепечатанные рассказы, и один из них размещался у средней маминной сестры Софьи Самойловны. Она жила тогда недалеко от Триумфальной арки, на Кутузовском и брала она экземпляр у нас. Были ли у нее непосредственные контакты с Варламом – не помню, но мне почему-то кажется, что были. Теткин архив оказался у меня, и разномастная перепечатка рассказов там присутствует, хотя я и не могу навскидку сказать, что из шаламовского наследия там есть, а чего нет, зато твердо могу сказать, что трепаться об этих рассказах в доме избегали именно по причине схрона, хотя шаламовские стихи постоянно были на слуху. С папашей я на эту тему не говорил никогда, так что тут ничем не могу помочь».

*\* Евгения Самойловна Ласкина, литературный редактор, вторая жена писателя Константина Симонова, двоюродная сестра киносценариста и поэта-песенника Бориса Ласкина, соавтора сценария известной советской кинокомедии «Карнавальная ночь». До 1949 года работала в Государственном комитете по радиофикации и радиовещанию, во второй половине пятидесятых – заведомом поэзии журнала Москва. Присутствовала на похоронах Шаламова.*

Электронная версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/230371.html>

*Алексей Кириллович Симонов (род. 1939), сын советского писателя Константина (Кирилла) Симонова, журналист, переводчик, кино- и телережиссер, общественный деятель; с 1991 года президент российского «Фонда защиты гласности», вице-президент Русского ПЕН-центра*



## Ирина Сиротинская

«Джон Глэд: Он был недоволен Романом Гулем, редактором нью-йоркского «Нового журнала».

Ирина Сиротинская: Да, очень недоволен, он был просто в бешенстве. Гуль печатал его аптекарскими дозами. Первую книгу Варлам Тихонович отправил на Запад через Надежду Яковлевну Мандельштам. Насколько я знаю, это была единственная попытка публикации, предпринятая с его ведома. Но Шаламова очень разочаровало то, что сделали с его первой рукописью.

Он ждал, что его издадут отдельным томом, что будет удар, резонанс, а из-за публикации маленькими дозами исчез эффект. Позже он счел, что Запад его не оценил, и перестал поддерживать отношения с западными корреспондентами. Так что все последующие публикации были взяты из «самиздата».

Д.Г. Журнал «Грани»...

И.С. Да, да, это уже пересылали разные люди, а он об этом и не знал. С ним обращались, как с покойником. И это его не устраивало. Вообще это был человек окончательных решений.

[...] Я познакомилась с Галиной Игнатьевной, когда собирала архив Варлама Тихоновича.

Д.Г. Она жива?

И.С. Нет, она умерла в году 84-м.

Д.Г. Она вам отдала архив?

И.С. Нет, к сожалению, она уничтожила его письма с Колымы. Я к ней пришла именно за тем, чтобы попросить колымские письма. Как раз в это время (1966 год) Варлам Тихонович отдал нам свой архив. Там были письма Галины Игнатьевны, и я, не ссылаясь на него, сама ей позвонила. Она дала мне кое-какие фотографии, еще кое-что, но письма были уничтожены. Это, конечно, большая потеря, хотя ничего особенного он ей писать из-за цензуры не мог.

[...] Познакомились мы в марте 66-го года. Я прочитала его рассказы в «самиздате», это было духовным потрясением. К тому времени, в



1965 году, он развелся уже с Ольгой Сергеевной. Нельзя даже сказать, что кто-то был виноват, просто два писателя в одной, тем более маленькой квартире – это слишком много. Жизнь не сложилась, хотя он очень хорошо относился к Ольге Сергеевне. Он получил комнату в том же доме, этажом выше и с 66-го года писал, что называется, на моих глазах. Он говорил, что в нем что-то клокочет и ему надо высказаться. Я была слушателем благодарным, понимала его место и в литературе, и в жизни и относилась к нему... даже трудно слова подобрать... и он это, конечно, чувствовал. Он говорил, что, может быть, не писал бы дальше цикл «Колымских рассказов», если бы не было такого слушателя. Даже посвятил мне цикл «Воскрешение лиственницы». Я обычно о чем-то спрашивала, он рассказывал, рассказывал, а в другой раз, когда я приходила, уже были написаны рассказы. Писал, конечно, он один, но какой-то первый эмоциональный толчок давали наши беседы. Вот «Четвертая Вологда»... Буквально при мне написана. Многие другие поздние рассказы.

[...] Он говорил: «Все думают, что я очень сложный, а я простой, моя мораль элементарна». Но попробуйте жить по элементарной морали, то есть не лжесвидетельствуй, ни в малом, ни в большом, не укради, не убий... И этой элементарной моралью он никогда не поступался. Он почти никого не подпускал к себе близко, и большая часть его знакомств заканчивалась тем, что он спускал человека с лестницы. Но, тут, наверное, надо сказать и о письме 72-го года. Многие строят догадки, а это все происходило на моих глазах. Он говорил, что письмо следует расценить, как пощечину всем тем, кто спекулирует на чужой крови. Это были наши некоторые диссиденты, которые хотели из него сделать знамя, идола, святыню. Он говорил: «Они затолкают меня в яму и будут писать петиции в ООН. Ты сам прыгай в яму, а не толкай другого». Он был против использования его имени помимо его воли. Он все-таки прежде всего считал свои рассказы искусством. Не политическим актом, а искусством. Из них же пытались сделать политический акт. И это ему не нравилось.

Д.Г. Но нельзя же отрицать политический элемент, это смешно.

И.С. Но использовать эти рассказы только в политических целях – это сводить на нет их художественное воздействие. Он считал, что так не должно быть. Его рассказы имеют политическое значение, но в то же время это – постижение мира средствами искусства, это – откровение души. И последняя отдушина, которая у него была, это публикация стихов. А все эти «Посевы», которые он упоминал, и радио «Свобода» перекрывали ему последние возможности публикации здесь. Книжка «Московские облака» долго не выходила, он метался по изда-

тельству, пытаясь выяснить, в чем дело, в конце концов, нашлась добрая душа, которая сообщила, что надо писать письмо, без этого публиковать не будут. То есть ему перекрывался последний выход, и он должен был вообще просто лечь в могилу. Здоровье его было на исходе, он не годился для политической борьбы, это не Солженицын, который был здоров физически и значительно моложе Шаламова. Письмо он написал сам. Говорят, что его принудили к этому, но на него насильем невозможно было воздействовать. Это были его собственные слова, я видела черновик письма, он пригласил меня и показал черновик. Я ему, правда, сказала, что это не надо посылать, я чувствовала, что этого не надо делать. Шаламов мне сказал (он меня «Красной Шапочкой» звал): «Ты – Красная Шапочка и в мире волков ничего не понимаешь». Я обиделась и ушла, а надо было остаться. Я стала уже вычеркивать отдельные фразы, и он их не оставил. Надо было бы еще немножко вычеркнуть...

Д.Г. И черновик остался?

И.С. Да, остался.

Д.Г. И он был еще резче?

И.С. Да, еще резче. Черновик был даже не один. К тому же он написал историю своего письма в «Литературную газету». Это было в феврале 72-го года, кажется, 23 февраля. Он написал его в крайнем раздражении. Надо сказать, что тут же принесли с курьером верстку.

Д.Г. Принесли верстку письма или книги?

И.С. Письма. И он мне говорит, что-то со стихами они так не торопятся, а вот письмо...

Д.Г. Так что письмо – это была та цена, которую он заплатил за книжку?

И.С. За возможность печататься.

Д.Г. Но он пошел дальше, чем обязан был?

И.С. Да, безусловно. Я вот за это себя и корю, что мне надо было остаться и вычеркнуть побольше. Я не ходила к нему целую неделю, потом он позвонил, попросил прийти, и, когда я пришла, он буквально рыдал.

Д.Г. Жалел?

И.С. Не то чтобы жалел. Он просто плакал и говорил, что он не такой, каким я его считала, что он свалился в яму, написав письмо. Но кто мог осудить этого человека? Это, в конце концов, его право.

Д.Г. Но я знаю человека, у которого висел портрет Шаламова в его квартире, а после этого он портрет снял. И на Западе была реакция.

И.С. К нему приходили, пытаясь поддержать. Столярова Наталья Ивановна, Федот Федотович Сучков, автор его скульптурного портре-

та, Евгений Борисович Пастернак. Но он просто всех выгонял. Он писал, находясь в состоянии аффекта. Но через две недели, когда я пришла, он уже реабилитировал себя в собственных глазах и стал говорить, что для этого поступка требуется гораздо больше мужества, чем если бы он ничего не писал.

Д.Г. Значит, он предал свои рассказы?

И.С. Но главное, что он продолжал писать, писал «Колымские рассказы-2», по фону еще более мрачные, чем первые. В первых присутствует еще сильная личность автора, пережившего все, а эти были очень безрадостные. Например, «Перчатка», «Афинские ночи», опубликованные в «Новом мире». Он писал их до 73-го года. И тогда же он написал стихи «Славянская клятва» «Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам». Имея в виду всю эту камарилью. Он на самом деле не оторвался от своих «Колымских рассказов». Но он не такой человек, чтобы раскаиваться. Он должен был сделать усилие и осознать себя правым. И после этого письма начался процесс распада личности.

Д.Г. Физического распада?

И.С. И физического, и вообще распада личности. В 73-м году он писал, что это хороший год в его жизни – много написал стихов и прозы. Но этого хватило ненадолго. Это было тяжелое зрелище, страшнее смерти. Здоровье стало ухудшаться, он стал хуже видеть, обострилась болезнь Меньера. В 79-м году Литфонд устроил его в дом для престарелых. Я его там навещала. Он очень не хотел туда ехать, но я не могла его содержать, у меня было трое детей. Он даже хотел вернуться к первой жене и просил меня ей позвонить. Я позвонила, но она сказала, что у нее был недавно инсульт. Я позвонила дочке Лене, но та сказала: «Я не знаю этого человека».

Я приходила в дом престарелых, он диктовал стихи, воспоминания. Стихи часто диктовал из «Колымских тетрадей». Видимо, он опять почувствовал себя, как в лагере. Он, например, повязывал полотенце на шею, как шарф, чтобы не украли. Тщательно считал приносимые яблоки, вел учет, чтобы не украли. Я спрашивала, как дела. И он говорил, что, в общем, хорошо, хорошо кормят.

Д.Г. Где этот дом?

И.С. Это у метро Планерная, улица Лациса. Там такие четырехэтажные корпуса, и его комната была 244. Сначала в комнате с ним жил какой-то то ли генерал, то ли прокурор, старичок, потом его удалили, и у Шаламова была отдельная комната. Я приходила, он лежал, сжавшись в комок, потом уже ничего не видел. Узнавая меня по руке, вставал, усаживался на стул и диктовал стихи.

Д.Г. Когда он ослеп?

И.С. Когда его поместили в дом престарелых. Там все это стало прогрессировать. Его отец ослеп из-за глаукомы. Туда, в этот дом, я принесла ему лондонскую книжку, вышедшую в 78-м году. Он посмотрел, потрогал, увидел, что толстая книжка, и спросил: «А деньги где?». Я сказала, что денег нет. Деньги для него означали независимость. Были бы деньги, можно было бы нанять сиделку. Это все стоит дорого.

[...] По его просьбе я предложила стихи в журнал «Юность», и вышла публикация в номере восемь. Он очень радовался, дарил всем экземпляры.

Последний раз я его видела в январе 82-го года, когда пришла поздравить с Новым годом, чего-то принесла. Все было так же, он узнал меня по руке, сел, продиктовал стихи. Все, как всегда, так что я даже не встревожилась, а его, оказывается, 15 января перевели в другой интернат – для психохроников, и 17 его не стало. Конечно, потрясение, простуда. Мне позвонили и сказали, что он умер.

Д.Г. У него маразма не было?

И.С. Он был труднокоммуникабелен: слепой, глухой. Самое страшное, что внутри этого немощного тела был кусочек жизни, поэзии. Он диктовал воспоминания. Он говорил плохо, почти ничего не слышал, не видел, руки дрожали. Но сказать, что он был невменяем, нельзя. Конечно, были такие отклонения, что он прятал простыни, которые ему стелили, при мне не давал менять белье – так боялся хищений, а потом прятал под матрац. Но это включилась программа выживания, как в лагере. Страшно, что я не слышала его последних слов, мне рассказывали, что он пытался что-то сказать...»

Из интервью Сиротинской Джону Глэду, 1992. Опубликовано в журнале «Время и мы» (Тель-Авив), №115. Сетевая версия в библиотеке Imwerden

[http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/vremya\\_i\\_my\\_115\\_1992](http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/vremya_i_my_115_1992)

---

### ***В. Шаламов и А. Солженицын***

Я познакомилась с Варламом Тихоновичем в 1966 году, когда его отношения с А.И. Солженицыным ещё не прервались. Ещё какие-то надежды Шаламов возлагал на «ледокол» – повесть «Один день Ивана Денисовича», который проложит путь лагерной прозе, правде-истине и

правде-справедливости. Ещё стремился обсудить с А.И. Солженицыным серьёзные вопросы... Но трещина в отношениях уже наметилась и росла неудержимо. Не приносили удовлетворения беседы – они просто не понимали друг друга. Солженицын был далек от чисто профессиональных писательских проблем: «Он даже не понимает, о чём я говорю». Да и мировоззренческие, нравственные проблемы обсудить не было возможности.

А.И. был занят тактическими вопросами, «облегчал» и «пробивал» свои рассказы, драмы, романы. В.Т. обитал на ином уровне.

Один – поэт, философ, и другой – публицист, общественный деятель, они не могли найти общего языка.

У В.Т. оставалось чувство тягостного разочарования от этих бесед: «Это делец. Мне он советует – без религии на Западе не пойдёт...»

Эта эксплуатация священного учения отталкивала В.Т. Он, не раз афишировавший свою нерелигиозность, был оскорблен именно за религию, к которой относился с огромным уважением. Использовать ее для достижения личных практических целей считал недопустимым. «Я не религиозен. Не дано. Это как музыкальный слух – либо есть, либо нет».

По свойствам своей личности В.Т. просто не мог думать и чувствовать в этом направлении – как ему надо написать, чтобы иметь успех, чтобы напечататься в Москве или Париже. Возможно ли вообразить, что он переделывает «Колымские рассказы» в угоду «верховному мужику»? Или поучает страну, ученого и мужика, как ему жить по правде.

Теперь многие благородно «прощают» Варламу Тихоновичу «грех» письма в 1972 г. в «Литературную газету» с гневными отречениями от зарубежных публикаций и чтений по «голосам» его рассказов.

Гнев В.Т. вполне объясним – его без зазрения совести и без авторского согласия использовали в «холодной войне», «маленькими кусочками», разрушая ткань произведения, а книгу не издавали (она впервые вышла в Лондоне в 1978 г.). Что бы сказал Александр Исаевич, если бы его «Раковый корпус» публиковали по отрывку в месяц в течение десяти лет? «Колымские рассказы» публиковал в Нью-Йорке «Новый журнал» Р. Гуля, храня свою монополию на тексты В.Т. Так и «Войну и мир» можно погубить. Именно так и воспринимал Шаламов эти разрушительные, губительные для его прозы публикации. Да к тому же они перекрывали и тоненький ручеек его стихотворных публикаций в России. А стихи для В. Т. были единственной отдушиной, жизнью и смыслом той жизни. Восток удушьяемого – вот что такое его письмо в «Литературку».

А вся эта «сволочь», по выражению В.Т., «спекулирующая на чужой крови» (к тому же удачно сочетающая приятное с полезным – правозащитную деятельность с присвоением чужих авторских гоноров) ещё отпускает Шаламову его грехи!

Но ведь ни одной строки в своих работах он не поправил в угоду «верховным мужикам».

Была мандельштамовская «Ода», был пастернаковский «Художник». Но у Шаламова не было таких строк.

И это главное. Прямо он был, негибок, и об имидже даже думать не умел, «хитрожопости», столь необходимой и полезной для практической стратегии и тактики, не имел ни грамма.

И тогда, в 60-е годы, растущее отчуждение от «дельца», как он называл А.И., уже ясно чувствовалось. Он рассказывал мне о недавних беседах в Солотче осенью 1963 г. – куда он ездил в гости к А.И. Выявилась какая-то биологическая, психологическая несовместимость бывших друзей при таком длительном контакте. Вместо ожидаемых В.Т. бесед о «самом главном» – какие-то мелкие разговоры. Может быть, А.И. просто не был так расточителен в беседах и переписке, как В.Т., берёт, копил всё впрок, в свои рукописи, а В.Т. был щедр и прямодушен в общении, ощущая неистощимость своих духовных и интеллектуальных сил.

По поручению В.Т. я ходила к родственникам А.И. в Чапаевский переулок – я жила рядом, на Новопесчаной – за рукописью романа «В круге первом». В.Т., как я помню, одобрил роман: «Это разрез общества по вертикали, от Сталина до дворника».

Но была какая-то обязательность в этой положительной оценке. Словно В.Т. считал нравственным долгом поддержать каждое гневное слово против сталинизма.

Я помню его слова, сказанные с какой-то интонацией усталости, как будто еще раз повторенные: «Форма романа архаична, а рассуждения персонажей не новы». Этот философский ликбез, настойчиво внедряемый в ткань художественного произведения, и огорчал, и раздражал В.Т., как и вся «пророческая деятельность» (так он называл) Солженицына, претензионная, нравственно неприемлемая для писателя, по мнению В.Т.

Не сбылись надежды и на дружескую помощь А.И.: Солженицын не показал рассказов Шаламова Твардовскому. Может быть, это был естественный для стратега и тактика ход: уж очень тяжкий груз надо было подымать – «Колымские рассказы». «Боливару не снести двоих!» Да и много бледнеет «Иван Денисович» рядом с «Колымскими рассказами».

А.И. оттягивал знакомство В.Т. с Л. Копелевым. Ему самому Копелев помог найти пути в «Новый мир», в конечном счете – на Запад. И делиться удачей вряд ли хотелось. На Западе важно было оказаться первым и как бы единственным. И А.И. всячески уговаривает В.Т. не посылать на Запад свои рассказы.

В 70-х годах Шаламов редко и раздражённо говорил о Солженицыне, тем более, что до него дошли осуждающие слова бывшего друга, «брата» (как говорил Солженицын), с такой легкостью и жестокостью оброненные из благополучного Вермонта («Варлам Шаламов умер») о нём, ещё живом, бесправном, но недобитом калеке.

Сейчас распускаются слухи, что Солженицын помогал Шаламову. Нет, никогда, нигде и ничем не помог А.И. Шаламову, да и Шаламов не принял бы такой помощи.

Пусть Бог простит Александра Исаевича!

Опубликовано в Шаламовском сборнике №2, 1997, электронная версия на сайте Данте XX века

[http://www.booksite.ru/varlam/shalamovend\\_06.htm](http://www.booksite.ru/varlam/shalamovend_06.htm)

---

« – Вы не жалеете сейчас, что расстались с ним?

– Мы поздно встретились, к сожалению... Посвятить ему жизнь я не могла, у меня дети. Да и кто знает, что было бы. «Подарком судьбы» быть очень трудно. Я была десять лет – и устала. Мы отметили десятилетие знакомства в 76-м, потом были и звонки, и письма, но... Он хранил действительно каждую мелочь, к которой я прикасалась. Он мне передал потом конвертик, где было написано «вскрыть после моей смерти». Я вскрыла. А там – «спасибо тебе за эти годы, лучшие годы моей жизни». А потом, уже через три года, ему не друг стал нужен, не женщина, а постоянная сиделка.

– Вы бывали у него в доме престарелых в Тушине? Есть воспоминания некоей Елены Захаровой, которая там при нем была.

– Захарову я знаю. Она, так сказать, из прогрессивного человечества. Когда добрые дела делаешь, надо делать осторожно, негромко. А они там развели... Она притащила врачей к нему. Ну что могли сказать врачи? Жил он тихонько – и пусть бы жил там, в Тушине. Была там еще такая Анис – кагэбэшница. Варлам всегда говорил: они хотят меня спихнуть в яму, а потом будут писать петиции в ООН. Они принялись писать в западную прессу с фотографиями пострашнее: «вот

где держат Шаламова». А он был доволен: у него отдельная маленькая комнатка. Кормили там хорошо. Я ходила к нему тихо, приносила ему что-нибудь, он любил яблоки. Записи делала тоже тихо, он мне диктовал, я записывала. Эта бедная наседка, стукачка, бегала слушала. А Захарова... Ну надо соображение иметь, что нельзя поднимать шум, тем более в те времена. Врачи спросили у него, какой сегодня день. Здоровый-то не всегда вспомнит: если не работаешь, не следишь за этим. Он молчит. «Который час?» А у него часов нет. Он всегда боялся, что это у него спросят. И все время мне: «День, какой день? Который час?» Я ему говорю... Но это ненадолго, потом у него в памяти опять все сбивается. К тому же он слепой и глухой. Я к нему наклонялась и говорила прямо в ухо. Говорила: премию «Свобода» тебе дали! Он говорит: где? Я говорю: во Франции. Он говорит: но премия – это деньги. Были бы деньги, сиделку можно было бы нанять. А ведь зарубежные издатели никаких гонораров не переводили. Пастернаку они чемоданами возили, а он же больной, он бы не попал в этот интернат, если бы переводили гонорар. [...]

– Некоторые сейчас – да и раньше – считают Шаламова ярким антисоветчиком. Вы согласны с этим?

– Какой он яркий. Солженицын не может его простить до сих пор, что он ему не дал «Колымских рассказов». Солженицын хотел их включить в «Архипелаг ГУЛАГ». Шаламов отказался. Великий писатель кровью, жизнью заплатил за то, чтобы это написать, – и вдруг отдать. У них были очень плохие отношения. В РГАЛИ у нас есть сборник «Встречи с прошлым», где печатаются неопубликованные вещи писателей. Солженицын очень любил этот сборник, а тут я дала туда кусок из Варлама. И Солженицын, который отдал нам свой архив на сохранение, и мы его сохранили, отказался писать предисловие».

Из интервью Ирины Сиротинской газете «Московский комсомолец», июнь 2007 г. Сетевая версия на сайте газеты

<http://1001.ru/arc/mk/issue401/>

---

«[...] Алексей Пименов: Вот фрагмент из воспоминаний Сергея Неклюдова о В.Т. Шаламове: «Он одно время сотрудничал в «Новом мире», где ему давали читать рукописи на лагерную тему – как специалист. Но ни единой его строчки, ни стихотворной, ни прозаической, там напечатано не было, даже не смотря на ходатайство такого круп-



ного для Твардовского авторитета, как Солженицын. В общем, дальше людской не пускали». Чем это объяснить?

Ирина Сиротинская: Ну, во-первых, Солженицын никогда не отзывался о рассказах Шаламова... Да и не ему быть рецензентом Шаламова. Ведь Шаламов отказался от сотрудничества – от совместного писания «Архипелага Гулаг» – именно потому, что Солженицын не был в таком лагере – в колымском. Он был в Казахстане – и был бригадиром к тому же. На что сам Варлам Тихонович решительно не соглашался. Он сказал: «Бригадиром я не буду. Лучше умру». Потому что быть палкой в руках государства и выколачивать из доходаг какие-то нормы – это он считал для себя абсолютно неприемлемым.

А.П.: Почему же Шаламов не стал новомировским писателем?

И.С.: У «Нового мира» был один шанс – и он его использовал. Все-таки у Твардовскому, и «верхним мужикам» был, видимо, ближе образ крестьянина, который работает на совесть даже в лагере. Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и так далее...

А.П.: И поэтому не печатали Шаламова?

И.С.: Не печатали... Хотя рассказы лежали в отделах. А Твардовскому их не показывали. Видимо, считали их «непроходимыми». Все-таки у Шаламова – совершенно бескомпромиссная проза. А у Солженицына – нет. Там есть свет. Там и колбаской угощают, там работают на совесть... У Солженицына – есть проблески: вот они в шарашке беседуют... Умные люди. Можно мемуары писать в тюрьме – как в царские времена. Можно заниматься любимым трудом. Беседовать с друзьями. А у него просветов нет – кроме, конечно, хороших людей, которые были и там.

А.П.: В постсоветские времена Александр Солженицын контактировал с властью. Можете ли вы представить себе в этой роли Шаламова?

И.С.: Нельзя себе представить его в этой роли. Он считал, что не надо обращаться к людям с позиции пророка. Он говорил: поза пророка никому не по плечу...

А.П.: У Александра Галича есть песня, посвященная Шаламову – «Все не вовремя». Сохранились рассказы Галича об их встрече. А как Шаламов относился к Галичу?

И.С.: Вы знаете, я не сказала бы, что он относился к Галичу как-то... Возможно, относился с симпатией... Но он никогда о нем не говорил. Видимо, это было... ну, одно из таких светских знакомств. Может быть, они встречались у Надежды Яковлевны (Н.Я. Мандельштам – А.П). Ведь у нее на кухне собирался весь диссидентский свет... К ней приезжали зарубежные корреспонденты, и это была такая малень-

кая форточка в свободный мир. Вот там он мог встречаться с Галичем. Или где-то в редакции, случайно... Но Шаламов о Галиче никогда не упоминал.

А.П.: Я позволю себе еще раз процитировать Сергея Неклюдова. Шаламов, пишет он, «был очень некорпоративный человек, не желавший сливаться ни с какой группой, даже издали и симпатичной ему». Как вы полагаете – действительно ли Варлам Шаламов был в литературе принципиальным одиночкой?

И.С.: Да – по складу характера. Он был, знаете, не очень общительный. Правда, он хорошо относился, например, к компании «Юности». К Полевому, в частности. (Борис Полевой – писатель и журналист, на протяжении многих лет – главный редактор журнала «Юность» – А.П.). Уже в интернате для престарелых он диктовал мне воспоминания о Полевом. Где говорил, что Полевой был хорошим человеком и хорошим редактором.

А.П.: Разрешите мне задать вам еще один вопрос, связанный с взаимоотношениями Шаламова и Солженицына. Вот два высказывания. Первое принадлежит вам: «А.И. Солженицын, безусловно, великий стратег и тактик, а Шаламов – всего лишь великий писатель». Второе – Варламу Тихоновичу Шаламову: «Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего, потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын». И то, и другое сказано давно. Как бы вы прокомментировали эти слова сегодня?

И.С.: Ну, он действительно делец был. Он так использовал Твардовского... Людей использовал безжалостно и благодарности потом, по-моему, не испытывал. Ведь Твардовский отдал просто кусок своей жизни продвижению Солженицына. А он просто использовал Твардовского. И когда он – благодаря публикациям в «Новом мире» – получил мировую известность и Нобелевскую премию, он уже от Твардовского отрекся. Никогда не говорил о том, что Твардовский пробил эту публикацию благодаря своему влиянию... Благодаря Хрущеву, которого настроил таким образом Твардовский.

[...] А вот Шаламова не напечатали. Потому что он никакими блесками зло не прикрывал. И лагерь он считал абсолютным злом. Считал, что там не надо быть никому. Что он не делает человека лучше. Слабых – просто ломает. А остальных – просто лишает всяких иллюзий. Ведь все мы видим в перспективе какие-то надежды. А он считал, что лагерь убивает все. Все доброе в человеке. Он говорил, что не видел людей, которые бы в лагере выстояли. Кроме Демидова... Вар-

лам говорил, что это был единственный человек, который выстоял – и то благодаря тому, что он попал на работу в больницу. Как и сам Шаламов...»

Из интервью Ирины Сиротинской, 2010, корреспонденту радиостанции Голос Америки Алексею Пименову, текст на сайте радиостанции <http://www.voanews.com/russian/news/russia/Shalamov-annivers-2010-06-18-96642359.html>

---

« – Я посвятила Шаламову жизнь. Бросила любимую работу в Российском государственном архиве литературы и искусства и стала заниматься наследием Варлама Тихоновича. [...]

– Вас считают музой Шаламова.

– Он мне много посвятил. И прозы и поэзии. Его взгляд всегда пронзал, как рентген, человека насквозь. Но я этот рентген с честью вынесла. Когда я первый раз пришла к Варламу Тихоновичу, я хотела у него узнать – как жить. Этот вопрос, кстати, его не удивил. Может, я была не первой, кто его задавал. Он ответил, что, как сказано в десяти заповедях, так и жить. Ничего нового нет и не надо. Я была разочарована. И тогда он добавил одиннадцатую заповедь – не учи. Не учи жить другого. У каждого своя правда. И твоя правда может быть для него непригодна, именно потому, что она твоя, а не его. Я была еще молода и, конечно, глупа... У меня было трое детей, любимый муж. Это всегда раздражало Варлама. Он считал, что я трачу свою одаренную натуру (как он говорил) на семью. Не уставал проповедовать фалангу Фурье, где стариков и детей всецело опекает государство. «Ни у одного поколения нет долга перед другим! – яростно размахивая руками, утверждал он. – Родился ребенок – в детский дом его!» Когда я уезжала в Крым, он говорил: «Я умру, не проживу месяц без тебя». Мне это тогда казалось странным. Конечно, он больше нуждался во мне. Я приходила к нему, мыла пол, приносила продовольствие. Это само собой как-то вышло. Начиналось наше свидание всегда с того, что я мыла пол. Когда надо – окна. В общем – все. Он научил меня даже двигать мебель. Я шкафы двигала... Варлам часто говорил, что любит меня. И в письмах он постоянно упоминает, что я нужнее всех на свете и так далее. Мне хвалы возносил непомерные, и получилось так, что на пьедестале в результате оказался не он, а я. Но ко всему привыкаешь – я на пьедестале расположилась вполне комфортно... (Смеется.) Так продолжалось десять лет.

– При этом у Вас была семья.

– Да... Трое детей! Я, кстати, часто с ними ходила к нему. Они сидели в уголочке, Варлам Тихонович давал им карандаши и бумагу, дети рисовали, а мы общались в это время. Меня привязывало к нему глубочайшее сострадание. Глубочайшее... Как его увидела, у меня возникла боль в сердце. Такой талантливый, такой огромный человек жизнью заплатил за свои убеждения. А у него ко мне были, конечно, другие чувства...

– Получается, Вы были частью несчастья его жизни. Шаламов Вас любил, а Вы не ответили взаимностью...

– Он только восхвалял меня всегда. Я же с ним очень мягко обращалась, с такой нежностью. Варлам говорил, что я подарила ему десять лет жизни. И самые счастливые годы (это и в письмах есть) ему подарила я, так он считал. В общем – это дорогого стоит. Потом мне стала просто непосильна эта ноша. Я становилась старше, появились другие проблемы – дом, детям надо было уделять больше внимания... Видите ли, муж меня тоже очень любил, вот в чем дело. И между двумя людьми существовать очень трудно. Муж за несколько дней до смерти обнял меня и сказал: «Я тебя люблю еще больше, чем в молодости». Оба они любили меня, и я каждого любила по-своему. Вот сейчас мне кажется, что я мужа больше любила, а тогда казалось, что Варлама Тихоновича... Жизнь на две семьи неизбежно создает тяжелую раздвоенность. Очень тяжелую! Я должна сказать, что оставила Варлама Тихоновича, потому что больше просто не могла выносить этого. Я по природе своей моногамна. С юности думала: «Вот придет любимый, единственный...» Смешивала в своих мечтах Болконского, Фанфана-Гюльпана, еще кого-то. В результате любимый и единственный сложился из двоих. От Шаламова – высота души, интеллект, любовь к литературе. А муж – технарь, футбол смотрел, любил путешествия. Варлам передал мне весь архив свой. Весь, до последнего. Он перед уходом в дом инвалидов сделал мне... предложение. Я говорю: «Это невозможно. Я люблю детей, а дети любят отца». Варлам не смог бы дать детям то, что им давал отец. Мальчишкам нужны велосипеды, коньки, горные лыжи... Я сказала Варламу «нет». Не вышла я за него замуж. Тарковский писал, что Данте не видел ада, только воссоздал его в своем воображении, а Шаламов видел ад. Когда я была в Италии, итальянцы падали передо мной на колени и кричали «Беатриче! Беатриче!». И рыдали... А я не рыдала».

Из интервью Ирины Сиротинской газете New Times, 2007. Сетевая версия на сайте газеты <http://newtimes.ru/articles/detail/11902/>

---

«Потом он женился на Ольге Сергеевне Неклюдовой, писательнице, и поселился в ее доме. Но оказалось, в одной квартире двум поэтам тесно – неизбежен вопрос, кто талантливее, кто гениальнее. В одном из писем к Ольге Шаламов пишет: «Я тоже комок нервов». Если бы он был более добродушный, то все бы было хорошо. Писателю покой нужен. Они развелись, он получил комнату метров 7-8, где помещались кровать, полки с книгами, маленький стол и стул. [...]

В конце 70-х он уже плохо видел и по ошибке закапал себе какие-то другие капли, после чего совсем ослеп. Литфонд предложил ему переехать в пансионат для престарелых и инвалидов. Там была главная сиделка – сотрудник КГБ. И она записывала всех, кто к нему приходил.

Последний раз я видела его перед Новым годом. Он, как всегда, узнал меня по руке и продиктовал последний вариант стихотворения «Голуби». Это было все. 15 января 1982 года его перевели в психоневрологический дом инвалидов, где он прожил неполных три дня и умер. Все мы пришли, но было уже поздно...».

Из интервью Сиротинской, 2007. Опубликовано на сайте телеканала Культура <http://www.tvkultura.ru/news.html?id=155112>

---

« – Какие книги были опубликованы при его жизни?  
– Стихи публиковались. Раз в три года, чтобы просто не дать ему помереть с голоду, публиковался сборничек. Он получал гонорар, 3 тысячи, что ли. Он чувствовал себя вполне обеспеченным. После Колымы-то...»

Из выступления Ирины Сиротинской в Сахаровском центре, 2009, видеоролик [http://www.sakharov-center.ru/img/site/file/prensa\\_091031.php?kino=219](http://www.sakharov-center.ru/img/site/file/prensa_091031.php?kino=219)

---

«Он был очень одиноким и мало кому доверял. Говорили, что он постоянно молчал. Когда я к нему приходила, то не замечала, как проходили пять часов, и все это время он говорил не переставая. Я помогла ему тем, что слушала. И многое он смог написать только потому, что ему было, кому рассказать».

Ирина Сиротинская в интервью Евгению Ржевскому, 2007, на сайте журнала Самиздат [http://samlib.ru/r/rzhewskij\\_e\\_w/ayasijukakangel.shtm](http://samlib.ru/r/rzhewskij_e_w/ayasijukakangel.shtm)  
Полностью интервью см. ниже, в разделе «Материалы к биографии».

---

### <Точки отсчета>

От составителя

Главка из мемуаров Сиротинской, прежде не публиковавшаяся и помещенная в седьмом (2013) томе собрания сочинений Шаламова.

«Недавно обратился ко мне один писатель. Он был полон сочувствия Варламу Тихоновичу! Бедняга, какая нищета – 72 рэ в месяц!

Конечно, для этого писателя, привыкшего к зарубежным вояжам, собственной машине, даче, кабинету и т. п., жизнь на 72 руб. – Голгофа.

Я ответила ему: «У Вас с В. Т. разные точки отсчета. У него – арстантские нары и баланда, а у Вас – вот машина, дубленка, квартира». Нет, жизнь в Москве не была для В. Т. Голгофой. У него не было разорительных привычек. Ни вино, ни рестораны, ни путешествия его не манили. Его любимая и почти постоянная еда: утром кофе, в обед и ужин – вареная докторская колбаса с вареной же картошкой и капустой. Яблоки. Единственная роскошь – книги. У него даже небольшие собрания были из гонораров за книжечки, за переводы. Это было непрочной гарантией устойчивости его быта. Ко всем бытовым проблемам (одежды, еды, ремонта) он относился с обдуманной серьезностью, [надписано И. П. Сиротинской: В полной мере изучил он науку выживания – «Добить меня очень трудно» – прим. составителей тома]. Не любил ничего нового, ни людей, ни вещей, никаких нарушений в своем микромире.

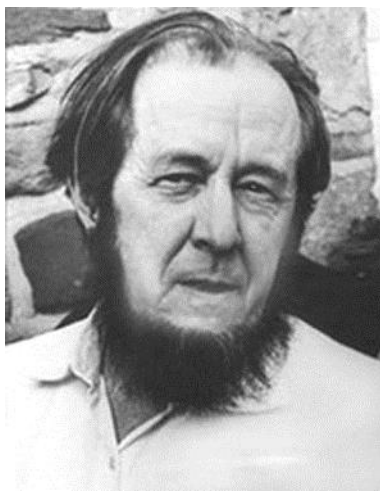
Это было очень мудро: такая бытовая стабильность оберегала шаткое равновесие его организма, просто перегруженного до отказа всякими болезнями: Менъера, глухота, стенокардия, цирроз печени и т.д.

Я всегда понимала благотворность этого размеренного быта, опасность всяких потрясений и, как могла, его оберегала».

Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» – в блоге <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/291430.html>

*Ирина (Ираида) Павловна Сиротинская (1932-2011), архивист, заместитель директора РГАЛИ, подруга и возлюбленная Шаламова на протяжении нескольких лет, правообладатель его наследия, публикатор его произведений*

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke that curves upwards and then downwards, ending in a small loop.



## Александр Солженицын

### *С Варламом Шаламовым*

Мы с ним оба были верные «сыны Гулага», я хоть по сроку и испытаниям меньше его, но по духу, по отданности, никак не слабей. Это – очень стягивало нас, как магнитом. И когда в 1956 я читал в самиздате стихи его, неведомого:

Я знаю сам, что это – не игра,  
Что это – смерть. Но даже жизни  
ради,

Как Архимед, не выроню пера,  
Не скомкаю развёрнутой тетради, –

да ведь это ж просто обо мне! о моей тайне! – и он соучастник. И с подобным же чувством прочёл он в самиздате 1962 года «Ивана Денисовича» – по своему пессимистическому взгляду никак не допуская, что это будет опубликовано.

В один из средненоябрьских дней, когда «Иван Денисович» был только-только напечатан, мы впервые встретились в комнатухе отдела прозы «Нового мира». Он был крайне взволнован событием (теперь имея в виду, что же будет с «Колымскими рассказами»): по своей болезненной манере нервно подёргивал вытянутым бритым лицом, как бы закусывал сдвинутой челюстью и размахивал предлинными руками. Из его первых фраз было: что идёт повсюду спор – будет ли мой рассказ ледоколом, таранящим дорогу и всей остальной правде, лагерной и не лагерной, либо (и Шаламов склонялся так): это – только крайнее положение маятника, и теперь покачнёт нас в другую сторону. Я, хоть и ожидал вскоре зажима меня самого – но лишь потому, что всё прочее моё обнаружится куда острее «Денисовича», а в общем движении, я думал, прорыв продолжится и будет значительный. Нет, пессимизм Шаламова оказался верней.

В тех же днях он написал мне в Рязань длинное, пылкое письмо, если даже не назвать его отчасти нежным, хотя это так непохоже на



Шаламова, но был такой дух в его письме<sup>1</sup>: «...очень-очень эту повесть хвалили. Но только прочтя её сам, я вижу, что похвалы преуменьшены неизмеримо», «столь тонкая высокохудожественная работа мне не встречалась, признаться, давно»; «повесть эта для внимательного читателя – откровение в каждой её фразе», «детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигающе новы». О «школе Ижмы» для Шухова: «Всё это в повести кричит полным голосом, для моего уха...» – «Художественная ткань так тонка, что отличаешь латыша от эстонца»; «произведение чрезвычайно экономно, напряжено, как пружина, как стихи». – И даже, переступая через своё глубокое убеждение об абсолютности зла лагерной жизни, признавал: «Возможно, что такого рода увлечение работой [как у Шухова] и спасает людей».

Повод был – об «Иване Денисовиче»; а в письме том – делился он и делился нашими общими лагерно-литературными чувствами на таком пороге. Я, разумеется, теплейше ему ответил, а вскоре, по его приглашению, повидал его в Москве – оказалось, в том же полубарачном-полуписательском городке на Хорошевском шоссе, где только что недавно я был у Ахматовой. В. Т. оказался женат, у жены взрослый сын, – но странное было впечатление условности этого соединения, чуть ли не раздельного хозяйства супругов. Один этот раз я и видел их вместе, а то всегда заставал В. Т. одного, в его отдельной комнатухе, сходной с камерой.

Не помню, ещё при первой ли нашей встрече в редакции или в этот раз тут, но на очень ранней поре возник между нами спор о введённом мною слове «зэк»: В. Т. решительно возражал, потому что слово это в лагерях было совсем не частым, даже редко где, заключённые же почти всюду рабски повторяли административное «зе-ка» (для шутки варьируя его – «Заполярный Комсомолец» или «Захар Кузьмич»), в иных лагерях говорили «зык». Шаламов считал, что я не должен был вводить этого слова и оно ни в коем случае не привьётся. А я – уверен был, что так и влинет (оно оборотливо, и склоняется, и имеет множественное число), что язык и история – ждут его, без него нельзя. И оказался прав. (В. Т. – нигде никогда этого слова не употребил.)

Тут я взял у В. Т. читать уже многое из его «Колымских рассказов» (в несколько потом приёмов возвращал и больше брал), тут же сговорил его сделать подборку стихов, которые сам передам Твардовскому. (Стихи его уж очень-очень были мне к сердцу.) Первые месяцы после напечатания «Ивана Денисовича», даже год, пока я не начал усиленно собирать материалы для «Красного Колеса», я не знал на себе более высокого долга, чем лагеря и бывшие зэки.

Правда, рассказы Шаламова художественно не удовлетворили меня: в них во всех мне не хватало характеров, лиц, прошлого этих лиц и какого-то отдельного взгляда на жизнь у каждого. В рассказах его не лагерных чаще был какой-нибудь анекдотический случай, которыми одними литературу не питаешь. А в лагерных – действовали не конкретные особенные люди, а почти одни фамилии, иногда повторяясь из рассказа в рассказ, но без накопления индивидуальных черт. Предположить, что в этом и был замысел Шаламова: жесточайшие лагерные будни истирают и раздавливают людей, люди перестают быть индивидуальностями, а лишь палочками, которые использует лагерь? Конечно, он писал о запредельных страданиях, запредельном отрешении от личности – и всё сведено к борьбе за выживание. Но, во-первых, не согласен я, что настолько и до конца уничтожаются все черты личности и прошлой жизни: так не бывает, и что-то личное должно быть показано в каждом. А во-вторых, это прошло у Шаламова слишком сквозно, и я вижу тут изъян его пера. Да в «Надгробном слове» он как бы расшифровывает, что во всех героях всех рассказов – он сам<sup>2</sup>. А тогда и понятно, почему они все – на одну колодку. А временные имена – только внешний приём сокрыть биографичность.

Другая беда его рассказов, что расплывается композиция их, включаются куски, которые, видимо, просто жалко упустить. Многие рассказы («Галстук», «Тётя Поля», «Тайга золотая» и другие) составлены как бы из калейдоскопических кусочков, нет цельности, а наволакивается, что помнит память, – хотя материал самый добротный и несомненный. Иногда из недоразвитой картины он перескальзывает в рассуждение, но и оно расплывается (как в «Красном кресте»). Однако во всех этих приметах я усматриваю не столько творческую программу Шаламова, сколько результат его изнеможения от многолетнего лагерного измота. В них тоже – черта подлинности.

Очень ценно было отдельное его «физиологическое» исследование о блатном мире.

Стихи Шаламова всегда мне нравились больше, чем проза его. (Как и ему самому.)

В новогодние дни 1963 года Шаламов приходил к нам в гости в неприятно-«роскошный» номер «Будапешта», что на Петровских линиях, мы ужинали в номере и живо обсуждали пьесы: мою «Олень и Шалашовку», которую он уже прочёл, – и его колымскую пьесу, не помню её названия, драматургии в ней было не больше, чем в моей, но живое лагерное красное мясо дрожало так же, пьеса его волновала меня.

До этой поры я ещё не взялся записывать наши встречи с Шаламовым. Первый раз записал встречу в мае 1963. Это – почти сплошь его отдельные литературные суждения. Не знаю, может быть, они уже опубликованы, изложены в системе, но во всяком случае приведу отрывочно, как у меня записано.

– Андрей Платонов – очень большой писатель, загублен Горьким, которому верил, а тот советовал чушь: «не печатайте».

– Горький – отец журнального «самотёка», он провозгласил, что талант – это только труд, трудом можно достичь всего, и обманул многих бесплодных кропателей. Но труд – это уже потребность таланта, а не отец таланта. (Верно!)

– Писатель должен быть немного «иностранцем» по отношению к описываемому материалу. Слишком много знать о материале не надо, слишком большой опыт не нужен писателю: он тогда становится непонятен своим читателям, чересчур глубоко уходит в материал, не знакомый им. (Последнюю опасность понимаю, но талант и вкус должны помочь от неё удержаться. А не знать материала достаточно хорошо – с этим не соглашусь: тогда и будет поверхностно. В. Т. говорил это, видимо, с горечью о себе: что он слишком вошёл в лагерный материал, так что читателям уже и не верится или слишком неуютно. А я примеряюсь – к истории революции: как же бы можно сметь писать её, зная недостаточно?)

– В ритмах, размерах русской поэзии – бесконечное многообразие, ямб не похож на ямб и т. д. Поэтому: нечего искать какие-то новинки, рваные формы. Надо выдать кровь – и будут стихи! (Совершенно с ним согласен.)

Это – из устойчивых убеждений В. Т., об этом у него есть и стихотворение:

Поэзия – дело седых,  
Не мальчиков, а мужчин  
.....

Сто жизней проживших сполна.

– Стихотворение не должно быть продумано заранее, а родиться в ходе написания.

– Ахматова – очень большой поэт, больше Гумилёва, даже обрезая её по 1921 году. Её единственный недостаток – некоторая академичность, холодноватость. Цветаева – больше Ахматовой, потому что горячо вложила душу и кровь. Но – много потеряла на ненужные формальные поиски.

– У Есенина – чистое поэтическое горло, этим он отличается. И... – у Северянина было чистое горло.

– У Твардовского самое лучшее – «Дом у дороги», потому что мирно, трагическое звучание. В мажоре не создаются великие вещи. Фронтной «Тёркин» выше «Тёркина на том свете», в этом последнем много частных достоинств (отдельные строфы, мысли, места), но главный порок: что сталинское время – не предмет для балагана, у Твардовского плавный санный съезд с темы. (Шаламов до конца сохранял полный зэческий накал. И не заметил я в нём, чтобы холодный отказ Твардовского лично раздражил его против А. Т. А какое горе, что Твардовский не воспринял и не напечатал тех стихов Шаламова.) «За далью даль», считал он, – провал.

– Поэтов не урожают ни «больше», ни «меньше». Их бывает всегда примерно одно и то же количество на поколение. (Эта мысль – и странная, и спорная.)

Спорили мы с ним о точке с запятой. Шаламов считал, что этот знак совсем себя изжил и ставить не надо. А я – отстаивал, он очень незаметно бывает, и зря им мало пользуются теперь.

Окно варламовской комнатухи всегда было наглухо закрыто и форточки не откроешь: выходило на Беговую, на страшное Хорошевское шоссе с постоянным перегаром грузовиков, а ещё как дребезжали стёкла от раннего утра и до позднего вечера! – но тут Варламу «помогала» сильная послелагерная глухота. А я как раз в тот (1963) год, получив свободу от школы, провёл чудесную весну в Солотче в разливное время в отдельном домике в лесу, и на осень ехал туда же, отдать писанию «Ракового корпуса». И так мне жалко было Варлама, что он лишён и тишины и воздуха, я пригласил его приехать и поработать у меня недельку. И он охотно приехал. Это был тёплый сентябрь, когда ещё топить не нужно. Избушка не имела отдельных комнат, печь и

перегородки не до потолка, всего-то мог я ему предложить закуток, правда светлый, с отдельным окном на юг, с кроватью и маленьким столиком.

Приглашая его, я судил по себе: мне бы только дали работать в тишине и в чистом воздухе, с утра до вечера, лишь бы не мешали, – и я думал, что и он нуждался лишь в том. А, оказалось, он понимал так, что вторую половину дня или хотя бы к вечеру мы будем подолгу разговаривать. Он предполагал между нами длинные литературные разговоры, он весьма нуждался в таком общении – да и очень интересные у него суждения. Но я вообще не люблю «разговаривать о литературе»; предпочитаю молча читать и впитывать, молча писать своё. Да при моём постоянном тоннельном прорыве сквозь хребты, 16-часовой неразгибности в день, – я совершенно не готов был так проводить время. Уклонился раз, два, три, самое большое могу разговаривать только к ночи полчаса. Он – может быть обиделся, может быть и нет, – но понял нашу несовместимость, и через два дня круто сказал, что – уезжает. Всё же в Солотче он написал два-три стихотворения («Будто там, в садах Платона, / Длится этот диалог»...). Открытой размолвки между нами этот неудачный опыт не вызвал – но и не сблизил никак.

Были у нас встречи и после того, но записана у меня весьма важная встреча 30 августа 1964. Я только что вернулся после летней работы в Эстонии, где неудержимо понесло меня на складку большого корпуса «Архипелага». Определились и Части его, и в Частях – многие главы, и множество уже натекшего материала я разнёс по этим заготовкам глав. Но: я и не верил в возможность справиться мне одному, да и просто не смел с таким замыслом обойти Варлама: он имел все права на участие. И я пригласил его встретиться – прийти на Чапаевский, где я остановился у Вероники Туркиной-Штейн. По телефону я, разумеется, не мог ему даже намекнуть – и он, хотя это было утреннее время, пришёл как в гости – очень помытый, в чистенькой голубой рубашке, каким мне не приходилось его видеть по его домашней запущенности. А я вместо торжественного стола – повёл его, чтобы не «под потолками», в соседний большой сквер, где и улеглись мы на травке в отдалении ото всех и говорили в землю – разговор был слишком секретен.

Я изложил с энтузиазмом весь проект и моё предложение соавторства. Если нужно – поправить мой план, а затем разделить, кто какие главы будет писать. И получил неожиданный для меня – быстрый и категорический отказ. Даже: знал я за В. Т. умение тонко намекнуть вместо того, чтобы сказать прямо (у меня уже слагалось такое ощущение, что я с ним открыт, а он полузакрыт), – а тут он ответил прямо: «Я хочу иметь гарантию, для кого пишу».

Я был тяжело поражён: до этого самого момента я был уверен, что у него, как и у меня, главная линия – сохранить память, просто писать для потомства, хоть без надежды напечатать при жизни. А он:

– Зачем я буду это писать? Какая разница, что я напишу – и это будет лежать в каком-нибудь другом месте?

Да ведь понятно ему было: такую книгу невозможно печатать.

Мысль об известности – видимо, сильно двигала им.

Ответ его был так категоричен, что и уговаривать бесполезно. Весь огромный замысел теперь ложился на мои плечи на одни. Записал я в тот день: «Нет, между нами всё-таки нет открытой ясности отношений, какая-то стена отчуждения или неполного родства – и вряд ли мы через неё когда-нибудь перейдём...». Ушёл я с утяжелённым чувством, хотя понимал, что он волен быть самим собой. Но было и облегчение: я тоже ведь, таким образом, сохранял теперь индивидуальность пера.

Это только начало мне тогда проясняться, главным образом со стороны художественной: трудно нас сопрячь в одну книгу, очень мы разные перья. И о скольких принципах, направлениях, пропорциях, тоне, местах, абзацах и фразах пришлось бы нам спорить – пожалуй, до взаимного истощения. Но в тот момент мне казались важней – единство и совместный охват нашего лагерного опыта.

Только много позже, уже работая над «Архипелагом», я подумал: а взгляды? да разве можно было совместить наши мироощущения? Мне – соединиться с его ожесточённым пессимизмом и атеизмом? А – политические взгляды? Ведь, несмотря на весь колымский опыт, на душе Варлама остался налёт сочувственника революции и 20-х годов. Он и об эсерах говорил с сочувственным сожалением, что, мол, они слишком много сил потратили на расшатывание трона, и оттого после Февраля – у них не осталось сил повести Россию за собой. (Да ведь – и ума! и души! да ведь – и ответственности перед страной и государством.) За пределами лагерной темы, на русскую и советскую историю в целом – у нас были взгляды, конечно, слишком разные.

И хорошо, что Шаламов отказался, – только загубили бы мы книгу.

В ту встречу были и другие разговоры у нас, восстанавливаю по записям того дня. После нескольких лет держания, чуть ли не с 1958, редакция «Советского писателя» вернула ему «Колымские рассказы», 34 штуки. При этом 4-6 положительных внутренних рецензий (о которых ему известно) – все скрыты, и присланы автору только две отрицательных, главная из них – «октябриста» Дрёмова. Тот пишет, что рассказы эти бесполезно читать советскому читателю. И пытается Дрёмов противопоставить «Колымским рассказам» «Ивана Денисовича» (за которого, впрочем, в той же рецензии хает и меня: «пытался», «не

удалось», «слабая художественная индивидуальность образов»). В. Т. предположил, и мы согласились: такие рецензии (там и адрес критика указан) следует распространять в самиздате вместе с отвергнутым произведением, пусть люди узнают о сути таких внутренних рецензий; тогда авторы их ещё десять раз подумают прежде, чем так подло рецензировать. С раздражением на Дрёмова Варлам сказал:

– Как я мог полемизировать с «Иваном Денисовичем», когда это написано на 10 лет раньше?..

(Да, впрочем, и я «Ивана Денисовича» задумал в 1950, мы развивались параллельно.)

Раздражение В. Т. невольно переносилось и на меня, на успех «Денисовича» – и можно его понять! Пройдя такие жестокие муки, годами вынашивая рассказы о них – и всё обойдённый печатью. Конечно, от первого же появления «Ивана Денисовича» Шаламову было очень тяжело: что, такой заслуженный лагерник, не он первый вышел с этой темой громко. Но – тогда он не дал в себе развиться зависти, обиде, держал себя благородно.

Ещё в тот раз Шаламов сказал: поэтическая критика в «Новом мире» ведётся очень плохо, и он перестал там работать внутренним рецензентом.

И ещё, о театре «Современник», очень меня поразив:

– Это – театр, который гонится за сенсационностью, а своей линии у него нет.

Я: – А у какого театра теперь – есть?

Он: – Это уже другой разговор.

И не ответ.

Были и ещё у нас встречи, но записана только одна: в начале июня 1965, в комнатке В. Т. на Хорошевском шоссе, где стёкла не умолкали постоянно греметь от страшного шума тяжёлых грузовиков.

В. Т. с большим и справедливым раздражением разносил какую-то напечатанную фальшивую книгу о колымских лагерях (не записал я автора, кажется на «К»). В этой связи заговорили о мемуарах Е. Гинзбург (тогда только 1-й части). Он резко высказывал: забвение товарищей, выпячивание себя (я сам не нашёл так, хотя и Твардовский сказал о книге то же самое); враньё (?), фальшивая душа; характер втируши, крайне (?) левые мнения, рукопись как паспорт фрондизма. Резко говорил и о ней самой: что на Колыме она занималась коммерческими операциями, а «обосновать более тяжёлого обвинения не могу» (т. е. в стукачестве). Кажется, его раздражение загорелось из-за двух её характеристик: похвальной – Кривицкому (В. Т.: он – организатор про-

вокаций и лагерных процессов) и хулы – Владимировой (о которой Шаламов написал: «Пророчица или кликуша»).

В этот раз рассказывал Варлам и о своём выступлении на мандельштамовском вечере, которым был горд. Записано у меня, сказал буквально:

– Мой час придёт!

Да, было у него много прав для такой надежды. Но – слишком жестокая и длительная мясорубка, а жизнь – отмерена, а здоровье обрывчиво.

После провала моего архива в сентябре 1965 начались годы травли и моей накальной борьбы, и мы уже не виделись. Отозвался я немедленно письмом на публикацию его стихов в «Литгазете» летом 1966: «Очень неожиданно и тем более приятно было увидеть в «Литературке» Ваши стихи! Рад! Нравится. А «О песне» – 1 и 4 – великолепны, очень значительны!» В тот же год и он мне – на моё выступление в Институте востоковедения: «Поздравляю. Так и надо было действовать давно». (Не угас под пеплом его политический, бунтарский огонь...)

А потом вдруг – его тягостное отречение от «Колымских рассказов» в «Литгазете» в феврале 1972: «зловонные журнальчики» (эмигрантские), «змеиная практика господ из «Посева», «я – честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчёт в значении XX съезда коммунистической партии» и – «проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью»... От дела всей своей жизни – так громко отрёкся...

Меня – это крепко ударило. Кто?? Шаламов?? сдаёт наше лагерное? Непредставимо, как это: признать, что Колыма – «снята жизнью»?! И помещено-то в газете было почему-то в чёрной рамке, как если бы Шаламов умер. Я в тех же днях откликнулся в самиздате. И добавил в «Архипелаг».\*

Жестокий конец, как вся лагерная и послелагерная жизнь Шаламова. Да и – как устоявшееся выражение его худого желвачного лица при чуть уже безумноватых глазах.

Пополнил он ряд самых трагических фигур нашей литературы.

1986

\* [Добавил в «Архипелаг» дословно:

*«23 февраля 1972 г. в «Лит. Газете» отрёкся (зачем-то, когда уже все миновали угрозы): «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью». Отречение было напечатано в траурной рамке, и*



*так мы поняли все, что – умер Шаламов. (Примечание 1972 г.)» – прим. составителя]*

### **Добавление 1995 г.**

А вот, вдруг, опубликовано «Из дневников» В. Шаламова<sup>3</sup>. (Видать – далеко не всё, очень разрозненно).

И я поражён. Изю всего нашего знакомства, ни из одной встречи, никаким предчувствием я не мог предположить такое: что Шаламов меня возненавидел.

Теперь стал мне понятен и его отказ от соавторства по «Архипелагу»: «Почему я не считаю возможным личное моё сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать своё личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого в общем-то дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына». (Да неужели же к моей борьбе с советским режимом, никогда ни малейшей сделки с ним, ни отречения от своего написанного, – подходит слово «делец»?)

Больно, Варлам Тихоныч, своих не познаша... А я считал Вас – уж каким братом по перу!

Теперь он вспоминает разговор – не помню, может быть и был, а может быть его задуманный и произнесенный вопрос: как мог я (нищий провинциальный учитель) принять гонорар за публикацию «Ивана Денисовича»? Что за нелепость? (Отдав миллионные гонорары за «Архипелаг» в фонд помощи энкам, я себя упрекнуть никак не могу.) А сам Шаламов, за публикации своих лагерных стихов – разве не брал гонораров? И кто его упрекнёт? А вот – напечатать, что «проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью», – вот это по отношению к лагерной памяти – как?

А может быть это своё отречное письмо сам Шаламов и не ощутил как оглушительную капитуляцию? Вопреки его буйной политической молодости – после лагерей, вследствие ли эковской осторожной выучки, или по истинному переносу интересов – ведь он никогда, ни в чём ни пером, ни устно не выразил оттолкновения от советской системы, не послал ей ни одного даже упрёка, всю эпопею Гулага переводя лишь в метафизический план. На остаток – его разногласия с советской властью были, как у Синявского, «лишь эстетические»?

Хотя нет. Та политическая страсть, с которой он когда-то в молодости поддержал оппозицию Троцкого, – видно, не забита и восемнадца-

тью годами лагерей. К тому вижу его запись, что ему, 50-летнему, «даже в 1956 году не было поздно повторить карьеру де Голля». Удивительная запись (примерно 1978). Разве горит у Шаламова деголлевская жажда спасения Родины? Или: что понимал он в военном деле, военном духе? Как всегда у него: ничто на Земле не сравнимо с лагерем. Однако и: не всё на Земле лагерем исчерпано.

Теперь видно: озлобление его ко мне – настойчиво росло, всё возвращается. Уже – и рак я «придумал» (и Твардовский было «придумал», но доказал смертью...). И за границу почему не поехал – «боялся встречи с Западом». И то, что я свою лагерную стихотворную повесть сам не печатаю по её несовершенству, – тоже мне в вину... И помощь ему предлагал – тоже в вину.

Недобро и о Пастернаке. Пренебрежительно (и с полным непониманием!) к Булгакову. Да сквозь все его эти дневниковые записи – обозлённость то и дело выныривает, далеко не только ко мне.

Уж так круто-тяжко сошлось Варламу к его ужасному концу. В одинокие предсмертные годы не выдержал душой неудач и несчастий.

### *Добавление 1998 г.*

В «Шаламовском сборнике», выпуск 2, повторив публикацию «Записных книжек» из «Знамени», публикаторша берётся ещё – от себя – пополнить упреки покойного ко мне<sup>4</sup>.

«Солженицын не показал рассказов Шаламова Твардовскому» – и сопровождает своими низкими толкованиями. А я – сразу же за публикацией «Ивана Денисовича» обратился к В. Т.: отберите какие Ваши стихи, я попробую передать А. Т. И – передал. Твардовскому, к моему удивлению и сожалению, они вовсе не понравились, и он выразил мне резкое неудовольствие моим посредничеством<sup>5</sup>. Продолжать его, настаивать – было неуместно. Тем более, что путь через новомирский отдел прозы был Шаламову и открыт, и использован им: его рассказы там хорошо знали, они лежали в «Новом мире» задолго до публикации «Ивана Денисовича», он сам мне о том писал.

Ещё, прямой навет. В рубрике «Разрозненные записи <1962 – 1964>» приводится записанный Шаламовым разговор с «новым знакомым», который, «быстро перебирая небольшими пальчиками» машинопись рассказов Шаламова, наставляет его: «в Америку посылать этого не надо», «не верить в Бога» – нельзя «добиться успеха на Западе»; и ещё: «Александр Трифонович не любит слова «кулак». Поэтому я всё, всё, что напоминает о кулаках, вычеркнул из Ваших рукописей, Варлам Тихонович». – Шаламов не называет имени «нового знакомо-

го», но публикаторша делает это за него: в комментариях 1995 года намекает, а в 1997, в «Шаламовском сборнике», вып. 2, уже прямо, не смущаясь, приписывает Солженицыну слова: «Без религии на Западе не пойдёт». – Никогда не было у меня с Шаламовым ни такого, ни подобного разговора – «пойдёт-не пойдёт», никогда я не «черкал» рукописей В. Т., никогда не обсуждал, посылать ли ему их на Запад.

Сиротинская искажает и обстоятельства моей реплики на отречение Шаламова в «Литгазете»: «из благополучного Вермонта... о бесправном, но недобитом калеке». Я откликнулся тогда же, в СССР, в феврале 1972, весьма далёкий от благополучия и обложенный травлей с непредсказуемым концом.

1 «Знамя», 1990, № 7, стр. 63 – 70.

2 Позже, в 1993, это и подтверждено близким свидетелем. – «Время и мы», № 115, Сиротинская.

3 «Знамя», 1995, № 6.

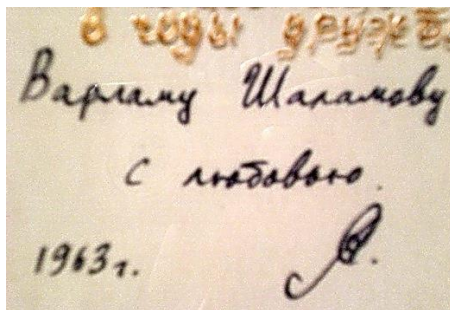
4 «Шаламовский сборник». Выпуск 2. Вологда, «Грифон», 1997, стр. 73 – 75.

5 «Бодался телёнок с дубом». М., «Согласие», 1996, стр. 57 – 58.

6 «Знамя», 1995, № 6, стр. 143 – 144.

Опубликовано в журнале «Новый мир», 1999, №4. Сетевая версия на сайте Журнальный зал

[http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/n4-99/solgen.htm](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/n4-99/solgen.htm)



Письма Солженицына Шаламову не опубликованы, кроме одного. Привожу его в качестве дополнения.

Ответное письмо Александра Солженицына на большое послание Шаламова от ноября 1962 года, полностью посвященное анализу

«Одного дня Ивана Денисовича». Опубликовано в книге «Дорогой Иван Денисович!...»: Письма читателей: 1962-1964 / Дом русского за-

рубежья имени Александра Солженицына; изд. Русский путь, 2012. Электронная версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»

<http://ru-prichal-ada.livejournal.com/196819.html>

---

А. И. Солженицын – В. Т. Шаламову

Рязань. 5 декабря 1962

Дорогой Варлам Тихонович!

Сердечно благодарю Вас за Ваше письмо-рецензию, удивительную по глубине. В ней скрестились лагерник и художник – и, наверно, уж второй такой мне не получить ни от кого. Отзывы, уже напечатанные или слышанные мною устно, даже смешно было бы сравнивать с Вашей рецензией. Я читал её очень внимательно, и не раз.

То небольшое, с чем я не совсем согласен, проистекает от разноты наших с Вами лагерных опытов – мой был короче и легче. Но, как Вы поняли, я всем текстом повести и не уставал повторять, что рисую лагерь очень благополучный и в очень благополучный день.

Я и сам знавал, а по рассказам тем более, и кое-что потяжелее, но это уже – тема для других вещей. Туда, в частности, относится и тема о блатных и о систематическом искажении её в нашей литературе, что мы ощущаем с Вами одинаково. Тема эта у меня немного уже развита, и я собираюсь её скоро представить.

Расхождения наши с Вами слегка есть:

- в общей оценке тюремного опыта для воспитания человека
- в том, мог или не мог быть в 1950 году такой случай с кавторангом (я не утверждаю, что он типичен)
- всегда ли губит «большая пайка» (Вы противопоставляете общие работы и положение тихого придурка, я же разбираю третий случай – хорошего специалиста-мастера, для него большая пайка – естественная форма многолетнего существования – ведь не все же могут устроиться в зоне и, кстати, брать хоть и скромную, но с кого-то какую-то лапу (хоть по закрутке махорки)).

Но все эти небольшие разности в понимании (их можно обсудить при встрече) никак не мешают мне понимать предмет почти во всем так же, как и Вы.

Ещё раз благодарю и благодарю Вас за рецензию, одно напечатание которой должно было забрать у Вас, пожалуй, больше, чем целый рабочий день.

С огромным наслаждением мы прочли Ваши малые поэмы и стихи и будем теперь перечитывать. Там нет не только плохих стихов, но даже посредственных. Только хорошие и отличные – то есть не отличные, а такие, что лучше написать нельзя. Я /обязательно/ убежду Твардовского прочесть те из них, которые Вы сами выберете, я надеюсь сделать это в январе. Можно, конечно, просто пожаловаться ему на его редакционный аппарат, и пусть ищут виновников и сами рукописи. Но лучше, по-моему, сделать отборку заново (или просто повторить её) – и я вручу ему в руки. В первом случае могут замотать, не найти, во втором он прочтёт сразу, а там – дело его поэтического ощущения. Мне Ваши стихи нравятся невероятно, особенно «В честь сосны», «Гомер», «Аввакум», «Бивень» (удивительно, как умеете Вы сливаться с любым кусочком природы – с мамонтом и с ландышем!), «Другу», «Жил-был», «Дерево в болоте», «Я в воде не тону» и др. и др. – почти все эти стихи, кроме 2-3, я бы и дал сейчас Ал. Триф. Но до этого мы с Вами ещё увидимся и обсудим<sup>1</sup>.

Я надеюсь, что мы увидимся в январе (в начале), а как-нибудь я ещё может быть сумею на пару деньков привезти Вас к нам.

Будьте только здоровы, здоровы и здоровы! Я уверен, что совсем близко то время, когда свет увидят Ваши настоящие стихи!

Обнимаю Вас!

Ваш АС

Моя жена кланяется Вам, а я – Ольге Сергеевне. Привет Серёже<sup>2</sup>. В суматохе того вечера я так и не расспросил Вас, какие же именно стихи Вы читали в МГУ.

Архив А.И. Солженицына.

Копия ответа. Машинопись. 3 л.

-----

<sup>1</sup> В декабре 1962 г. Солженицын передал Твардовскому через секретаря подборку стихов Шаламова из «Колымских тетрадей» и «Маленьких поэм». Твардовский в публикации отказал. См.: БТД. С. 57-58.

<sup>2</sup> Неклюдова Ольга Сергеевна (1909-1989) – вторая жена Шаламова; Неклюдов Сергей Юрьевич – ее сын.

---

Сканы письма в архивированных файлах здесь <http://dl.dropbox.com/u/9178411/coljenic1.rar> и здесь <http://dl.dropbox.com/u/9178411/coljenic2.rar>

---

Никита Струве в своей работе «Явление Солженицына. Попытка синтеза» приводит текст дарственной надписи Шаламова на книге стихов, подаренной Солженицыну после выхода «Одного дня Ивана Денисовича»: «В знак бесконечного восхищения Вашей художественной, общественной и нравственной победой». См. здесь [http://www.solzhenitsyn.ru/upload/text/Struve N.A. YAvlenie Solzhenitsyna. Popytka sinteza.pdf](http://www.solzhenitsyn.ru/upload/text/Struve_N.A._YAvlenie_Solzhenitsyna._Popytka_sinteza.pdf)

---

Несколько довольно больших отрывков из писем Солженицына Шаламову приведены в статье критика Вячеслава Огрызко «Поэзия – дело седых», газета «Литературная Россия», № 23, 08.06.2007 <http://www.litrossia.ru/2007/23/01578.html>

О сборнике «Шелест листьев» в письме, отправленном из Ташкента 24 марта 1964 года:

«Тому, кто вас совсем не знает, – и по этому сборнику тоже можно представить Вашу подлинную силу – но об этом читатель должен догадаться по «Пню», «Пауку», «Памяти», «Оде ковриге хлеба» (эти два Вы второй раз включаете, и хорошо делаете) – стихотворениям великолепным, ни в чём не ниже всего того, что я у Вас так люблю. «Поэзия – дело седых» – тоже из этого ряда, но выраженная мысль не безусловна, иногда верна, иногда нет, поэтому в эту четвёрку я его не включаю. Кроме того есть, конечно, и много хороших стихотворений... Но уж они не дают подлинного представления о Вас. Однако я бурчу, а надо радоваться: тираж уже похож на человеческий, его прочтут уже не столько, сколько «Огниво». И я твёрдо верю, что мы доживём до дня, когда и «Колымская тетрадь» и «Колымские рассказы» тоже будут напечатаны. Я твёрдо в это верю! И тогда-то узнают, кто такой есть Варлам Шаламов».

«Чего я у Вас не принимаю, – это так сказать «обратных сравнений и метафор, когда явление природы сравнивается и объясняется через явление техники, как «более известное». Мне это кажется «оскорблением природы и во всяком случае – манерностью».

О рассказах из цикла «Артист лопаты» в письме от 28 марта 1965 года:

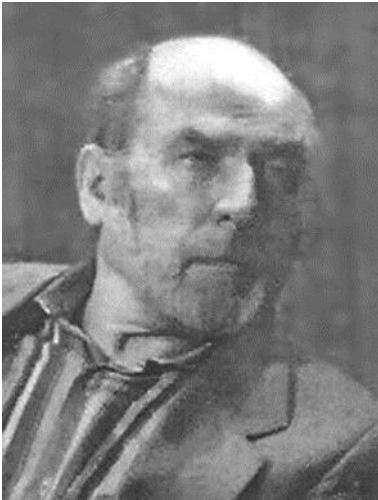
«По поводу «Одиннадцать»\* (рассказы из рукописи сборника – В.О.). Хочется Вам сказать, что все они кажутся мне значительными, незаменяемыми по верности свидетельствами, как всегда у Вас очень точно и весомо передающими обстановку. Отличными кажутся мне «Утка», «Первый зуб» (и принципиален к тому же, и изящный приём с подбором концов) и «Надгробное слово» (глубочайшая искренность, ничего нарочитого). Остальные все хороши, и все ценны познаватель-но. Только, пожалуй, рассказ об эпилептике мне показался аморфным – главным образом по мысли. Можно спорить об авторской точке зрения в «Почерке».

\* См. статью «Промежуточное звено. Самиздатский сборник «Колымских рассказов», начало 1965 года» в данном сборнике

Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрацион-ный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/47736.html>

*Александр Исаевич Солженицын (1918-2008), писатель, диссидент, политический публицист, общественный деятель, издатель, лауреат Нобелевской премии по литературе*





**Федот Сучков**

*Его показания*

[...] Мне хочется задержаться на нем, Варламе Шаламове, проработавшем за ежедневную гарантийную пайку и скудный приварок около двадцати лет в гулаговских выгребных ямах и после возвращения на волю еще около тридцати лет.

Мне довелось провожать его прах до Троекуровского погоста [Шаламов похоронен не на Троекуровском кладбище, а на Новом Кунцевском – прим. составителя] и

горестно записать в одном из своих карманных блокнотиков несколько наблюдений. Я не стану ради памяти о дне похорон заменять в записной книжке слова, легшие на клетчатые листочки.

«Сразу же после панихиды в церкви Николая на Кузнецких, – говорится в первом абзаце, – один из священнослужителей, переодевшись в алтаре в гражданские тряпки, с пижонистым дипломатом в руке, легкой походкой направился в прицерковное общее место... Безобидное, естественное действие батюшки покорило меня, настроенного на высокий лад песнопеньями и ладаном, показавшейся мне неуместностью... А когда мы высадились из автобуса у кладбищенских ворот, один из нас обратил внимание на приклеенный к стенке похоронной машины портрет усатого генералиссимуса. Получилось: государственный убийца сопровождал жертву разнузданного террора до места успокоения... И, к печали моей, во время забрасывания землей последнего пристанища автора горькой прозы, я обратил внимание на двух вроде бы беседующих между собой «амбалов», стоящих в стороне от сгрудившихся над разверстой ямой людей...»

Над полой могилой я прочитал стихотворение покойного – «Меня застрелят на границе», которое заканчивается строфой:

И чтоб короче были муки,  
И чтоб убить наверняка,



Я отдан в собственные руки,  
Как в руки лучшего стрелка...

«И верно по этой причине, – говорится далее в карманном моем блокнотике, – в автобусе, возвращающем нас с кладбища к ближайшей станции метрополитена, ко мне подсел сероглазый мужчина лет пятидесяти от роду, представившись доктором биологических наук. Выяснилось: он не читал «Колымских рассказов» Шаламова, но много слышал о них... «Уж не наследка ли ты, гусь лапчатый?!» – воскликнул я у входа в подземелье...»

Жаль, что запись моя не продолжилась до поминок на квартире Натальи Владимировны Рожанской [Кинд – прим. составителя], пламенной почитательницы таланта Шаламова. Прекрасная магнитофонная лента с голосом Варлама Тихоновича, читавшего стихи, соединяла в тот вечер сидевших за накрытым столом не с преданными земле останками, а с не собирающейся умирать душой писателя.

Свидетельством сказанного являются нарастающие публикации его залежавшихся в архиве показаний. Они не многочисленны, но поразительны по силе воздействия. Поэтический антураж в каждом из них минимален: засилье украшений помешало бы бывшему заключенному воспринимать увиденное глазами и подслушанное внутренним слухом не с дальнего расстояния. Простоту изложения диктовали Шаламову условия, в которых он оказался не в роли американского наблюдателя, а действующего лица драмы. По этой причине художественная достоверность прозы его спаялась с подлинной правдой жизни. [...]

В 1962 – хрущевском – году, скупко обнаружив «проходную» продукцию, Шаламов явился в редакцию «Сельской молодежи», где я тогда работал в качестве литературного сотрудника и вытаскивал «на гора» прозу Платонова. В ноябрьском номере были опубликованы несколько стихотворений В. Т. Шаламова, не сделавших погоды. С рассказами ничего не вышло. Не прошел и набранный уже невинный рассказик «Серафим».

Года через полтора, не веря в публикацию лучших своих произведений, Варлам Тихонович подарил мне около шестидесяти колымских рассказов. Все они с течением лет разошлись по достойным рукам любителей самиздатской, возникшей стихийно, литературы. Теперь уже можно сказать, что именно ей – преследуемой тогда – выпала честь предугадать гласность... К 1979 году в моем распоряжении из всех колымских повествований остался единственный упоминавшийся выше рассказ – «УБЕЙ НЕМЦА!» [Рассказ «Убей немца», как отметила еще Сиротинская, принадлежит Георгию Демидову. У Шаламова есть рас-

сказ «Детские картинки», который несколько невнятно пересказывает Сучков – прим. составителя].

Такое беспрепятственное, как по маслу, скольжение ДАТ на нескольких страницах скрывает за собой исполненное тревог и всяческих унижений не короткое, а двадцатидевятилетнее послелагерное существование одного из выдающихся наших современников. Он недополучил от эпохи все ценное в ней и бесценное во все времена, заработанное в поте лица богатство.

Мне вспомнилось сейчас мое вместе с геофизиком В. И. Горбенко посещение Варлама Тихоновича в доме престарелых (что поблизости от станции «Планерная») осенью 1981 года. Он лежал, когда мы вошли в двухместную, пахнущую мощами, приютскую комнатушку, как все мы лежали беспмятно в материнском чреве, в позе свернувшегося калачиком заключенного, пытающегося удержать остаточное тепло. Это было последнее мое свидание с Шаламовым. Он ощупал ходившими ходуном руками мой облысевший кумпол и, по-моему, не узнал меня.

Август 1988 г.

Из статьи, опубликованной в Шаламовском сборник №1 (1994), сетевая версия на сайте Данте XX века <http://www.booksite.ru/fulltext/1sh/ala/mov/28.htm>. Первая публикация (сокращенный или начальный вариант, в качестве послесловия к рассказу Шаламова «Житие инженера Кипреева») – журнал «Смена», ноябрь 1988 <http://smena-online.ru/stories/zhitie-inzhenera-kipreeva/page/8> см. ниже

\* \* \*

*Из послесловия Сучкова к публикации рассказа и стихов Шаламова в журнале «Смена», №22, 1988:*

«В шестьдесят втором, скупо обнаруживая «проходную» продукцию, Варлам Тихонович явился в редакцию «Сельской молодежи», где я тогда работал в качестве литературного сотрудника и вытаскивал «нагора» прозу Платонова. В ноябрьском номере были опубликованы несколько стихотворений В. Т., не сделавших погоды, с его рассказами также ничего не вышло.

В шестьдесят пятом году я накопал для издательства «Московский рабочий» внутреннюю рецензию на стихи Шаламова, портрет которого вырубил в той поре из корявого комля березы.

Рекомендованные стихотворения света не увидели, а портрет пригодился – по копии с него был отлит памятник.

Года через полтора, не веря в возможность публикации лучших своих произведений, Варлам Тихонович подарил мне около шестидесяти написанных кровью рассказов. Все они с течением лет разошлись по достойным рукам любителей самиздатской, возникшей стихийно литературы.

Такой, казалось бы, легкий пересказ событий и основных дат биографии Шаламова скрывает за собой исполненное тревог и всяческих унижений существование одного из выдающихся наших современников. Он недополучил от эпохи все то, что должен был получить от нее за вложенное в ее культуру...»

### ***Комментарий составителя***

Хронология событий, связанных у Сучкова с Шаламовым, выглядит так:

1962 – знакомство в журнале «Сельская молодежь».

1965 – Сучков пишет внутреннюю рецензию на сборник стихов, который Шаламов предлагал издательству «Московский рабочий». Сборник не вышел.

Создание скульптурного портрета Шаламова (хотя, возможно, и на год позже, во всяком случае, на выставке в Сахаровском центре «Творчество художников после ГУЛАГа», 2003, он датировался 1966-м), затянувшееся на три года, что раздражало Шаламова (см. в его письме к Н. Мандельштам: *«Морочил мне голову года три»*). Вообще, отношение Шаламова к Сучкову далеко от теплоты: *«Скульптор, который торопится вылепить Солженицына, – не опоздать бы к раздате премий. Серебрякову он уже вылепил»* (запись в дневнике, январь 1964).

1966 (Шаламов – Н. Мандельштам, июль 1968: *«Последний раз видел [его] года два назад»*) – Шаламов передает Сучкову список из нескольких десятков «Колымских рассказов». В эссе «Его показания», помещенном в первом Шаламовском сборнике, Сучков неправомерно сближает события: *«В 1962 – хрущевском – году [...] Шаламов явился в редакцию «Сельской молодежи» [...] В ноябрьском номере были опубликованы несколько стихотворений В. Т. Шаламова [...]*

*Года через полтора* [т.е. году в 1964, что неправдоподобно – в 1964 Шаламов, скорее всего, еще надеялся на публикацию в СССР хотя бы части колымской прозы, а в 1966 – уже нет и настолько нет, что переправляет ее для издания книгой в Америку], *не веря в публикацию лучших своих произведений, Варлам Тихонович подарил мне около шестидесяти колымских рассказов*». Возможно, дар приурочен как раз к созданию Сучковым скульптурного портрета Шаламова.

С 1966 по 1981 они не виделись за исключением, может быть, визита к Шаламову Сучкова вместе с Натальей Столяровой после «Письма в ЛГ» 1972 года, когда хозяин не пустил их на порог дома. Опять встретились, точнее, Сучков посетил Шаламова, только в доме престарелых за два-три месяца до его смерти.

1988 – Сиротинская на первые гонорары от журнальных публикаций «Колымских рассказов» заказывает Сучкову надгробие, отлитое со старого деревянного скульптурного портрета. До 1988 года на могиле Шаламова стоял обычный железный крест, установленный при похоронах.

Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/266221.html>

---

«На квартире Шаламова я был только один раз, уже тогда на улице Беговой. Когда я был на этой квартире, поразила скудость, такая узость,.. слово не могу подобрать, черт побери, теснота такая, комнатуха, где только койка стоит, стол и проход небольшой. Помню, у него была кошка, которую позже убили. И это была для него трагедия. Он ее похоронил, где-то возле станции метро «Беговая». И долго переживал. Правда, примета, что любовь к животным или природе – это подчеркивает, дескать, хорошую душу человека; это, конечно, не обязательно, потому что мы знаем много варваров, которые животных любят, растения любят, а над ближним своим издеваются. [...] Хорошо отзывался о Шаламове Домбровский, с которым я дружил в течение десяти лет, и он всегда говорил: «Вот, читайте Шаламова. Я, – говорит, – что, ну может, я хороший писатель, а Шаламов – писатель великий». [...] Казалось, что вот это вот – святая правда, безыскусное письмо, без желания произвести впечатление и не понравиться кому-то, понимаете вот... Он выкладывал из себя все, что знал, а как у него сюжеты складывались – это дело творческое, но, видимо, так же про-

сто: вспоминал какой-то эпизод и начинал писать. Ну, свобода... Свобода существует в поведении, в общении с людьми, это одно дело. Шаламов был несколько стеснен, я бы сказал,.. как бы застеежки существовали, скованность какая-то была, вот... Но совершенно это отсутствует, когда ты читаешь его рассказы. Тут чувствуешь, что человек абсолютно свободен, тут не существует никого, он один в мире, представим себе – пусть это не прозвучит банально – как бог, творивший, понимаете, когда-то твердь и так далее. [...]».

Из интервью с Федотом Сучковым. Видеозапись  
<http://www.youtube.com/watch?v=0XNGTww6fJYs>, расшифровка составителя

---

В качестве дополнения:

«Вообще в мастерской Сучкова в 1-м Колобовском, уже и при мне, покойного Домбровского вспоминали часто. Всегда с восхищением и с удивительными рассказами о его эксцентрических чудачествах и приключениях. Федот Федотович в таких случаях отмалчивался. Он, думаю, как-то не очень любил Домбровского. Не то что *не любил*, а не имел к нему такой безусловной любви, как, скажем, к Шаламову. Стихия водочных бурь и натисков, где царил Домбровский, Сучкову была совсем чужда, он не искал здесь гармонии».

Вячеслав Кабанов, «Фантасмагории Федота Сучкова»  
<http://magazines.russ.ru/voplit/2006/1/ka14.html>

---

«...А безнадежности беззубость  
легко досматривалась днем».

Из стихотворения Федота Сучкова «Сон в летнюю ночь», посвященного Шаламову.

Еще до шестидесяти Шаламов «безнадежно беззуб».

*Федот Федотович Сучков (1915–1991), лагерник, литературовед, литератор, скульптор, знакомый Шаламова, автор надгробия на его могиле*



## Евгений Федоров

Варлам Шаламов в беллетризованном повествовании Евгения Федорова <http://zavetspisok.ru/fedorov.htm> «Жареный петух». Непонятно, действительный случай или мистификация. Вероятно, смесь. «Антишаламовский» пафос присутствует во всей прозе Федорова, которую Юлий Шрейдер определил как «посмодернистское барокко».

Опубликовано в журнале «Нева», №9, 1990. Сетевая версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/55131.html>

---

«Однажды в жаркий летний день, роняя на оленя тень, глухой Шаламов, ныне уже покойник [...] назойливо заведясь, изъявил желание услышать «о самом страшном, что пришлось вкусить в лагере».

– И чтобы без понта! И чтобы без журфикса!

Не легко и не просто держать рачительный, честный ответ. Как же так, с бухты-баряхты. Есть над чем призадуматься бывшему лагернику, крупно призадуматься. Не хочется опростоволоситься. Немаловажно при этом ни в коем разе не упускать из виду и постоянно иметь перед глазами в качестве александрийского маяка, отменного путеводного чуда света (без такого маяка, едрена вошь, запросто потеряешь верный ориентир, заколобродишься в кромешных потемках, налетишь на скалу и – буль-буль, пошел ко дну, потонул, только этим самым, что мои греки называли фаллос, болтанул, поминай, как звали) тот несомненный и немаловажный факт, что не только по сравнению с несусветными кошмарами, которые выпали на долю страдальца и страдотерпца Варлама Тихоновича Шаламова (о его мытарствах и страданиях я был досконально осведомлен по ухайдакивающим аккуратно и наповал «Колымским рассказам»), но даже по сравнению с другими моими солагерниками мое пребывание на достопамятном ОЛПе, что в поселке Ерцево, было на зависть благополучным. И вообще наш лагерь, обычный ИТЛ, по сравнению с Шаламовской Колымой смотрится фешенебельным курортом-санаторием, притом прозрачайшей, чистейшей воды. А по доброй воле кто будет себе шукать огорчений на хобот? Никто. Дураков нет [...]

\* \* \*

Поскольку Варлам Тихонович размахнулся и в свой личный творческий план забил книгу про ужасы в лагерях, про всякий там ад и скрежет зубов, то мой незамысловатый, честный сказ должен был много его разочаровать. Это уж как пить дать. После моего рассказа, возможно, он перестал думать о своем великом замысле. Сбил я его пыл. Насколько я знаю, он не приступил к грандиозной задаче, а лишь трепался о ней на всех перекрестках. Может, оно и к лучшему. Не нужно ему такой книги: не его жанр. Зачем писать на основе чужих, сомнительных недостоверных сведений, когда и своего, пережитого материальчика ему хватало не на одну книгу. Словом, когда я простодушно поведал ему про самое ужасное, что довелось пережить, то весьма обескуражил старика, и он тут сделал свой всегдашний, выразительный, заблатненно-конвульсивный жест, как припадочный или бесноватый задвигал руками, под током словно. Вот он принялся меня, балду, бомбить, учить уму-разуму:

– Всю-то правду о себе не рассказывайте. С Лисы Патрикеевны образец берите.

Тут я без всяких обиняков, с наивной евклидовой прямолинейностью задаю старику вопрос, как мол, вы, Варлам Тихонович, относитесь к Ивану Денисовичу.

– Лакировка действительности, – отлил Шаламов лапидарные слова, вошедшие ныне в исторические анналы, ставшие хрестоматийными, известными всем и каждому. – Флер. Глянец. Конфетти. Полу-правда, выдаваемая за всю правду, рассчитанная на дурной, примитивный вкус Твардовского, а, может, и на вкус Хрущева. Хитрый, ловкий, успешный ход. Кого он двинул мне в герои? Лагерную шестерку! А эти эвфемизмы, – патока. Журфикс, знаете, получается. Помяните мои слова, эта дешевка будет иметь успех у нашей стадной, шибко безмозглой интеллигенции, шумный успех.

– Иван Денисович, позвольте вам заметить, – запальчиво я брыкнулся: слова Шаламова все во мне возмутили, – не лагерная шестерка, а мужик. Скромный, честный, беспрекословный, неподдельный, святой труженик, на котором, как на трех китах, стоит Россия и мир испокон веков.

Я чуть было не брякнул, что называть гениального, посланного нам Богом Солженицына Лисой Патрикеевной может только последний подлец, что Иван Денисович в сто и тысячу раз лучше и правдивее всего того, что вы, Варлам Тихонович, написали и напишете. Это у вас, дорогой мой писатель, все неправда, литература, журфикс. Пляска смерти, эстетика ужасов, безвкусице, нагнетаете ужасы, а лагерь не та-



кой, как у вас, а в точь-в-точь, как у великого Солженицына. Я сам с усами, нюхал порох, кровь мешками проливал, клопов кормил! Знаю, где раки зимуют, хоть в БУРе и не сидел. А вы-то сами сидели? Знаю и чувствую лагерь сердцем, как мусульманин Коран. Оставьте чванство, Варлам Тихонович, и не шебаршите. Не трясите Колымой, как орде- ном. Не вешайте людям лапшу на уши. Хватит. Долго страшно не бы- вает, а вы хоть там отмахали семнадцать лет, но лагерь не поняли, ни- чего не запомнили, кроме чехарды ужасов. У вас все серо. И ужасы серы. Романтизм. А где закон звезды и формула цветка? А у Солжени- цына все это есть. Он гений. Все это у вас, Варлам Тихонович, прет от черной зависти, и отсюда выходит математически, что по сравнению с гениальным Солженицыным, отмеченным Богом, нашим властителем дум, вы – подлинный пигмей. Это все я готов был сказать, но обуздал предельно смирительной рубашкой самолобие, совладал с собою. И нынче, когда Шаламова нет среди нас, я бесконечно рад, что не дал воли мутным чувствам, слушившим меня. Шаламов – редкостный старик, самоотверженный служитель пера, и на нем больше, чем на ком- либо, почил святой дух диссидентства. Это истинный бессребренник, восьмое чудо света, и я вполне искренне считаю, что он занимает пер- вое место в моей коллекции выдающихся умов. И я не принадлежу к тем быстроногим, кто в темпе и со злорадством выкрикнул, что имя Шаламова зловонно, как кошачий кал, и столкнул старика под откос за его письмо в Литгазету. Елки-палки, сколько раз я одергивал злые языки, хотя отдаю себе отчет, что тех, кто стоит на бескомпромиссных позициях, мне не переубедить. Глубоко ж копнул наш Достоевский. Ничто нас так не радует, как падение праведника и позор его. Не суди- те да не судимы будете. Перестаньте. И завидовал он, может быть, по- тому, что поэт, как сказал Гесиод, «соревнует усердно» (в отличие от простых смертных). В тот вечер я расстался с Шаламовым сухо, а он, уходя, как назло, надел мою новую ушанку, а свою, старую, с про- лысинами, оставил на вешалке. Ничего не хочу сказать. Уверен, что старик без хитрой, задней мысли перепугал. Впопыхах обознался: опаздывал куда-то. Все ушанки похожи, как счастливые семьи. Да вскоре мы с ним и обменялись обратно. А, если кому я не так расска- зывал, как рассказываю сейчас, то это для цирка, для красного словца, когда не жалеют родного отца. Признаюсь, говорил, что это типичный поступок лагерного волка. Но не думал так [...]

По моему впечатлению, очень рельефно оформившемуся, вовсе не из-за меня Шаламов не поднял очередной, великой книги. Ему, знаете ли, очень трудно было наскрести материал. Туг на ухо. А для глухих, говорят, две обедни не поют. Помнится, докладываю ему подробности,

а он никак не усечет, в чем перец и соль рассказа? Естественно, эков в «воронке» повезут. Возили и будут возить. Как же иначе? Где ж крутой маршрут? Говорит, гефсимании не вижу! Я же, как дебильный неуч, начинаю кренделя выкаблучивать опять от печки, повторяю снова сказ, а Шаламов становится все нервнее, раздражительнее. Я горланю ему прямо в ухо, рупором руки сложил, а он, глухая тетеря, опять переспрашивает, моргает: где ужасы? Где Голгофа? Где индивидуальный надел и авва отче, если можешь, чашу мимо пронеси? Почему кисло в рот?

\* \* \*

Коль скоро в балладе о нашем живописном, легендарно-помпозном ОЛПе, на котором разразились события большой, я бы хотел сказать, исторической, космической важности (имеется в виду бунт; кто говорит – бунт, а кто – заварушка), на котором всюду была ключом интеллектуальная жизнь в начале пятидесятих годов, собралось волею судеб немало гениальных голов, я интродуцировал сцену смерти, то очень опасаясь: не дай Бог вы читатель, высмотрите в этой присказке литературно-художественный трюк, эдакое нарочито-намеренное «ружье», которое теперь обязано по законам жанра выстрелить, шибануть, так сказать, обрмить, фланкировать. В школе все мы проходили Пушкина. Как же, «Евгений Онегин», роман в стихах. То да се. Пятое да десятое. Объясняли нам, что структурно роман в точности повторяет басню Эзопа «Журавль и Цапля», действие развивается между двумя письмами: письмо Татьяны к Онегину и письмо Онегина к Татьяне. Какая стройность! «Анна Каренина» начинается зловещим случаем на вокзале, кончается тем, как сама Анна сигает в пролет между двумя вагонами, падает под колеса поезда: «Свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». «Илиада»: единоборства Менелая с Парисом и Ахилла с Гектором – обрмляют и фланкируют остальные события. Но поверьте мне, читатель, что у меня вовсе не прием, как у Гомера, а тоскливое и не меркнувшее в памяти событие жизни, о котором я в свое время чистосердечно, без дураков, рассказал Шаламову, а Шаламов признал это все негодим для своей новой книги, признал недостаточно апокалипсическим и социально значимым».

«Подлинен, безыскусствен, абсолютно искренен, глубок Шаламов, бывалый, выдавший виды лагерник, когда вещает, что не всякий опыт нужен человеку, что лагерь лучше не знать, не ведать, что падения в лагере глубоки, что все мы, кто сидел подолгу и в тех условиях, знали эти падения, переставали быть людьми. За блатарями Шаламов вообще отрицает человеческий облик, человеческую природу: нелюдь. Нельзя о лагере, о том, как ты жил и выжил, рассказать всю правду. Да тебе наши прогрессивные деятели руки подавать не будут! Не человек ты, а только числишься человеком по лагерной картотеке да у нарядчика! Все мы падлы, особенно те, кто доплыл, доходягою был. Какое там парение ума! Какие там высокие материи? Штурм неба? Святая неудовлетворенность? Дерзание? Искание истины?»

Евгений Федоров, «Одиссея», 70-е годы, опубликовано в журнале «Новый мир», 1994, №5, сетевая версия на сайте Журнальный зал [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/1994/5/fedor.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/5/fedor.html)

---

«[...] хватит, тема репрессий, лагеря изжила себя, обращайтесь к Шаламову, это трубадур той эпохи, у Шаламова высший авторитет в интерпретации лагерной темы, непревзойденный бытописатель, стилизатор, туфту заряжал, чернушник, нагнетатель ужасов, создатель новых стереотипов, всё у него найдете».

Евгений Федоров, «Проклятие», 1955, 1998-1999, с сайта Журнальный зал <http://magazines.russ.ru/continent/1999/100/fe3.html>

*Евгений Борисович Фёдоров (р. 1929), писатель-лагерник, учился на филолога и искусствоведа, переквалифицировался в специалиста по автоматике, автор эпического романа «Бунт», лауреат литературной премии имени Даля (Париж, 1979)*

## Светлана Федюшкина

Рассказ соседки Шаламова, записанный разговаривавшим с ней по телефону Михаилом Михеевым. К записи разговора Сергей Неклюдов, давший Михееву номер телефона Федюшкиной, и друг Неклюдова Габриэль Суперфин, хорошо знающие реалии, сделали дополнения.

---

– Я работала копировщицей на Микояновской «фирме», т.е. авиазаводе, как и мой муж, Владимир Николаевич Федюшкин, и от завода получили эту квартиру. Раньше мы с мужем, моей матерью и дочерью жили все в одной комнате, на Песчаной улице. Здесь, на Хорошевке, дом был построен немцами и очень нам нравился, он был двухэтажный, с большими комнатами, с деревянной лестницей на второй этаж, деревянными перилами и деревянными крашеными полами в квартирах. Только в нем было очень шумно: шумело шоссе\*.

Шаламов переехал в комнату в нашей квартире позже нас. Мы получили две смежные комнаты, а он – одну отдельную: кухня, ванная и туалет (раздельные) и телефон в коридоре были общими. По этому телефону Шаламов разговаривал довольно часто. Так как он плохо слышал, то он попросил моего мужа, Володю, провести ему звонок прямо в комнату, кажется, этот звонок был еще и с лампочкой, но это я точно не помню. Когда Володя все сделал, Варлам купил и поставил ему бутылку коньяка, но тот несколько раз подряд отказывался, относя бутылку обратно, пока муж не предложил – выпить вместе, и тогда Шаламов сказал, что вообще не пьет. С Неклюдовыми при нас Варлам не общался и Сергей Варлама не навещал\*\*.

Вообще Шаламов вел жизнь очень замкнутую: приготовит себе что-то на плите – и к себе, за дверь. Никто из гостей у него не бывал, дверь в его комнату была всегда закрыта, только одна какая-то женщина, примерно раз в две-три недели, приходила к нему, убираться. Как было ее имя, не помню. Но когда та должна была прийти, Шаламов отправлялся в магазин (или на рынок), всякий раз накупал фруктов и цветов.

Он держал дверь в свою комнату открытой только пока в квартире никого не было. Я сама, например, никогда у него в комнате не бывала. А как только приходил кто-нибудь, Варлам всегда уходил к себе и закрывался.

– Складывается впечатление, что он был очень одинок.

– Да, так оно и было, но с нами он общался нормально. Мою дочку Татьяну, которая тогда ходила в младшие классы школы, Варлам предлагал, что будет выпускать домой, когда меня нет дома (я потом из Микояновской фирмы перешла работать к Сухому, а дальше работала курьером) или если та потеряет ключи. Вообще он был вежливым: первым купил себе – или ему достали – «газовый» холодильник, ни у кого из соседей их еще не было, он стоял на общей кухне, и Шаламов предложил нам на одной из полок ставить свои продукты. Моя дочь помнит Шаламова хорошо, но она не любит воспоминаний. Мы уехали с Хорошевки, как мне кажется, раньше, чем Шаламов, после того, как у меня родился сын, в 71-м году.

#### Дополнения:

\* Сергей Неклюдов: – Круглосуточно с тяжелыми грузовиками, да еще ночами с военной техникой перед парадами, – это, действительно, было очень мучительно. И пыль черная (в нескольких кварталах отсюда цементный завод). И железная дорога рядом (прямо напротив – станция электрички «Беговая»).

Габриэль Суперфин: – Мимо дома почти еженощно везли военную технику в чехах – что-то очень длинное и почти провисающее между двумя тяжеловозами в сопровождении мигающих военно-милицейских мотоциклов, по направлению к мосту, в сторону Пресни.

Светлана Федюшкина: – Нет, это только перед парадами.

\*\* Сергей Неклюдов: – Расстались мы на пике разных взаимных обид – между матерью и ВТ в основном; я, естественно, был на стороне матери. Поэтому в гости он к себе никогда не звал и сам к нам не ходил, а разговаривали мы только встречаясь на улице – вполне мирно, ссор никаких не было.

*Светлана Степановна Федюшкина (род. 1938), соседка Шаламова по коммунальной квартире на Хорошевской, 10, в то время работница авиационных заводов, копировальщица*





## Юрий Фрейдлин

Я не знаю, когда и каким образом познакомились Надежда Яковлевна [Мандельштам] и Варлам Тихонович. Я помню Варлама Тихоновича в этой самой квартире Надежды Яковлевны. Это уже шестьдесят пятый-шестьдесят седьмой-шестьдесят восьмой годы. Варлам Тихонович уже немолод и не очень здоров, приступы болезни, которую он считал болезнью Меньера, – не знаю, так ли это было на самом деле, – в общем, ему досаждали, конечно. Хотя они не были частыми, но они отличались

непредсказуемостью, как большинство таких приступов-припадков. И поэтому настигали его в самых неподходящих местах: например, в метро, где это было совершенно неуместно и несвоевременно. Это как-то влияло на общую его моторику, которая была немножко такой рваной, не плавной. Её хорошо показывала сама Надежда Яковлевна. Эти особые жесты: руки вперёд.

Приходя в гости к Надежде Яковлевне, Варлам Тихонович непременно приносил цветы, обычно розы, и целовал руку, что, вообще-то, было не в его повадке.

Повторяю, я совершенно не знаю, как конкретно строились, развивались их отношения к кругу чтения, к современным писателям и так далее, и тому подобное. Возможно, какой-то двигатель их взаимных отношений лежит в этой сфере, но это чистые предположения. Для меня, во всяком случае: я ничем это не могу обосновать, кроме общих предположений. Во всяком случае, на моих глазах каким-то летним вечером, после обеда Варлам Тихонович встал и сказал: «Я больше к Вам не приду». Всё. Это был шестьдесят восьмой-девятый год.

Вот такая короткая история. Можно по этому поводу строить много разных гипотез, я допускаю, что могут найтись какие-нибудь материалы – допустим, какая-то переписка, какие-то записи, чьи-нибудь там, какого-нибудь замечательного летописца, вроде покойного Гладкова. Не знаю. Я знаю, что в сохранённом Надеждой Яковлевной архиве

никаких материалов по этому поводу нет. Ну, вот, собственно, и всё, чем могу поделиться.

Из выступления Юрия Фрейдина на вечере памяти Шаламова в Чешском культурном центре в Москве 16 июня 2012 года. Текст и видеозапись выложены на сайте, посвященном Шаламову <http://shalamov.ru/memory/208/>

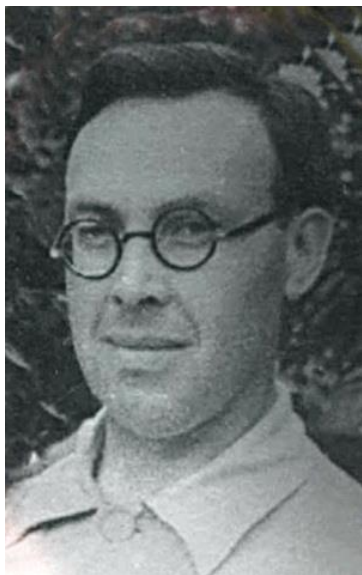
---

От составителя

Память подводит Фрейдина. Все, что я знаю, противоречит утверждению, что разрыв Шаламова с Н. Мандельштам произошел летом 1968 или следующего годов. Разрыв произошел зимой, на рубеже этих лет. Последняя их встреча произошла не позже декабря 1968 года.

*Юрий Львович Фрейдин (род. 1942), врач-психиатр, литературовед, друг и душеприказчик Надежды Мандельштам, сопредседатель Мандельштамовского общества, Москва*





## Александр Храбровицкий

### *Варлам Шаламов*

«16.6.1983 г. В 1966 году математик Юлиус Телесин дал мне прочесть машинопись нескольких рассказов Варлама Шаламова о лагерях на Колыме, сказав при этом: «Человек, который посвятит себя распространению этих рассказов, проживет жизнь не напрасно».

«Колымские рассказы» Шаламова потрясают. Я прочел их все, пять томов машинописи. Когда пятнадцать лет спустя один из томов снова попал ко мне, я не стал перечитывать. Я их помнил, и помнил то состояние нервного шока, которое они у меня вызвали;

переживать это снова было тяжело. Такой рассказ, как «Одиночный замер» – три странички о юноше, расстрелянном в лагере за то, что он не выполнил дневную норму выработки, пронзает и запоминается навсегда. Отсутствие риторики, простота художественных приемов подчеркивает ужас бесчеловечности.

Я познакомился с Шаламовым и бывал в его крошечной комнате коммунальной квартиры на Хорошевском шоссе, 10; он бывал у меня. Он был образованным человеком, читал книги по истории и философии, но я не мог уловить его взглядов. Однажды я прямо сказал ему, что не понимаю, какое у него мировоззрение. «Да никакого нет», – ответил он со смехом.

Человек он был недобрый. Одна моя знакомая, тоже бывшая лагерница, с которой я познакомил его, просила сообщить, где заказать слуховой прибор, такой, как у него; он не выполнил элементарной просьбы. Затем его мучила зависть, особенно к Солженицыну, которого он порочил («живет на подачки»); однажды обругал меня матерно за то, что я хвалил Солженицына. Но Солженицын тепло вспоминает Шаламова в «Архипелаге ГУЛАГ», говоря, что предлагал Шаламову совместно писать эту книгу, но Шаламов отказался. В одном из немногих устных выступлений в Москве Солженицын сказал о Шаламове: «Ко-



лыму он исчерпал». Ни один из «Колымских рассказов» не был напечатан в СССР, но все они в течение ряда лет печатались на Западе на русском языке и в переводах. Мне доводилось извещать Шаламова об этих публикациях и откликах на них, о которых сообщал мне мой парижский корреспондент А. А. Сионский (за переписку с которым меня критиковали в «Известиях» в 1969 году). 25 сентября 1967 года, будучи у меня, Шаламов сделал следующую приписку к моему письму Сионскому: «Дорогой Александр Алексеевич. Сердечно вас приветствую и благодарю. Поблагодарите Г. Адамовича, чью рецензию я прочел. Но ведь рассказов не шесть, а сто шестьдесят шесть. Стихи же – двадцатилетней давности, осколки колымских тетрадей. В. Шаламов».

После того как Шаламов обругал меня за Солженицына (это было в 1969 году), я перестал встречаться с ним, но окончательный разрыв, когда я не ответил на его приветствие при встрече в ЦДЛ, произошел после появления 23 февраля 1972 года письма Шаламова в редакцию «Литературной газеты». В этом письме Шаламов называл «клеветническими» и «зловонными» русские издания за рубежом, публикующие его «Колымские рассказы», проблематика которых «давно снята жизнью», и заявлял, что «омерзительная змеиная практика господ из «Посева» и «Нового журнала» требует бича, клейма». И. С. Исаев, товарищ Шаламова по Колыме, говорил мне, что письмо Шаламова в «Литературной газете» было напечатано с изменениями и добавлениями, сделанными без его ведома. Надо еще иметь в виду, что в это время Шаламов был крайне травмирован и напуган. Когда я был у него летом 1969 года, после статьи обо мне в «Известиях», он боялся говорить со мной в своей комнате и задавал вопросы письменно.

Появлению письма предшествовали, как я слышал, отказ редактора журнала «Юность» Бориса Полевого печатать очередную подборку стихов Шаламова (на мой взгляд, малоинтересных) и задержка выхода книжки стихов Шаламова «Московские облака». Последнее можно подтвердить документально: книжка стояла в плане 1971 года, но не вышла; она была сдана в набор 17 апреля 1972 года, спустя два месяца после публикации письма, и уже через месяц – 29 мая 1972 года – была подписана к печати. Одновременно Шаламов был принят в Союз писателей, затем о нем появилась статья в «Краткой литературной энциклопедии», что также было платой за покаяние.

Шаламов сообщал в своем письме о зарубежных изданиях: «Никаких рукописей я им не предоставлял, ни в какие контакты не вступал и, разумеется, вступать не собираюсь».

После смерти Шаламова (он умер в Москве 17 января 1982 года, на 75-м году жизни) выяснилось, что это была неправда. 18 декабря 1982 года слушал по «Голосу Америки» в передаче «Из мира книг» выступление редактора нью-йоркского «Нового журнала» Романа Гуля. Вот моя запись этого выступления: «Роман Гуль сказал, что он получил рукопись «Колымских рассказов» Шаламова объемом в 600 страниц от американского профессора-слависта, которому вручил ее в Москве для публикации в «Новом журнале» сам Шаламов. На вопрос профессора: «Вы не боитесь?» – Шаламов ответил: «Мы устали бояться».

Гуль сообщил, что он печатал рассказы Шаламова 10 лет, а затем передал право публикации лондонскому издателю, выпустившему их в одном томе в 1978 году.

Шаламов давал мне читать «Новый журнал» со своими рассказами. Берегая автора, редакция «Нового журнала» сопровождала каждую публикацию следующей сноской: «Рукопись этого рассказа В.Т. Шаламова мы получили с оказией из Советского Союза и печатаем его без ведома и согласия автора, в чем приносим ему извинения. Ред.» (см.: Новый журнал. Нью-Йорк, 1970. Кн. 100, сентябрь. С. 62).

Последний раз я встретился с Шаламовым случайно 21 июня 1979 года в интернате для престарелых в Тушине. Я приехал с А.В. Ратнером навестить своего знакомого В.С. Оголевца; оказалось, что в одной комнате с ним живет Шаламов. На мой вопрос, помнит ли он меня, он ответил, что я в его жизни плюс. Так как я не сразу понял его неразборчивую речь, он взял у меня ручку и бумагу и нарисовал «+».

Когда мы вошли, Шаламов, лежа лицом к стене, все время дергался, размахивал руками, выкрикивал неразборчивые слова. Дежурная сестра сказала нам, что у него неизлечимое поражение центральной нервной системы. Спустя год – 29 августа 1980 года – узнал от Г.А. Воронской, также бывшей с Шаламовым на Колыме, что Шаламов ничего не видит, не слышит, ничем не интересуется.

На смерть Шаламова широко откликнулось зарубежное радио. В некрологе парижской газеты «Русская мысль» Шаламов был назван «известным русским писателем, автором одной из самых правдивых и самых страшных книг о сталинских лагерях: «Колымские рассказы». <...> В 1980 году Шаламов был удостоен за нее «Премии Свободы» (перепечатано в журнале «Континент» – 1982. № 31. С. 176).

«Литературная газета» 27 января поместила извещение о смерти «известного советского поэта». На отпевание в церкви собралось около 150 человек; похоронили Шаламова на Кунцевском кладбище».

Глава из книги А. В. Храбовицкого «Очерк моей жизни. Дневник. Встречи» – М.: Новое литературное обозрение, 2012, серия «Россия в мемуарах»

Сканы страниц  
[http://dl.dropbox.com/u/9178411/Hrabrov\\_Shalamov.zip](http://dl.dropbox.com/u/9178411/Hrabrov_Shalamov.zip) с воспоминаниями Храбовицкого, ZIP-архив с файлами

---

Об Александре Храбовицком – включая написанную им автобиографию – подробно в книге П. И. Негретова «Все дороги ведут на Воркуту»: Benson : Chalidze Publication, 1985, в главе «Москва» <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=10076> со стр. 220 и дальше, на сайте Сахаровского центра.

О Храбовицком в связи с Шаламовым см. также в воспоминаниях французского слависта Ренэ Герра в данном сборнике

*Александр Вениаминович Храбовицкий (1912—1989), журналист, краевед, литературовед, библиограф, по мнению Шаламова, осведомитель госбезопасности*





Лидия Чуковская

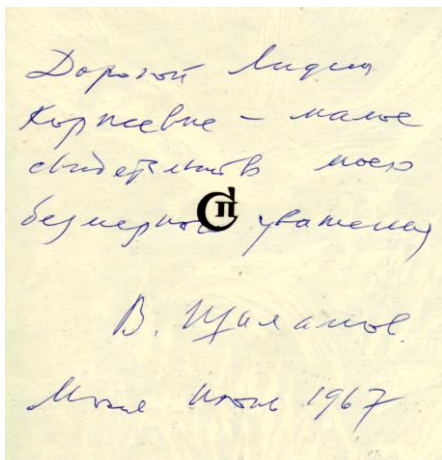
*Шаламов в дневниках Лидии Чуковской*

6/VIII [1965]

[...] Я недавно прочла, наконец, Шаламова и поняла яснее, чем когда-нибудь, как хорошо, что лагерная доля его миновала – его, гордого, светлого. [Речь, по-видимому, идет о втором муже Лидии Чуковской физике Матвее Петровице Бронштейне, арестованном и расстрелянном в 1938 году – прим. составителя]

11/VIII 65

Вчера мы похоронили Фриду [Вигдорову] – свет, жизнь. <... > Я, присев в духоте, оказалась рядом с Над. Як. [Мандельштам] (чего вовсе не хотела) – она меня познакомила с Шаламовым. Я с истинным глубоким уважением пожала его руку.



22/VI 67

Письма и книжки от [Семена] Липкина и Шаламова.

3 сентября 79, понед.,

Погибает Шаламов. Он погибает давно, он не только физически, но и психически болен. А сейчас погубил себе глаза: накапал туда зеленку и сжег роговицу.\*

17 июля 83, воскресенье

В Вестнике хороший целый отдел о Шаламове и его рассказы. Великолепная Толина статья [статья Анатолия Якобсона «Лицо пейзажа-человека» в парижском «Вестнике Русского христианского движения», редактор Н. Струве – прим. составителя] о стихах Шаламова. По-видимому, написана здесь, подцензурно.

25 апреля, четверг [1985]

По радио – рассказы Шаламова. Я их не слушаю, выключаю, и не могу отдать себе отчета в том, почему не люблю их. Когда-то Фридошка подарила мне их в машинописи – целую книгу\*\*. Я прочла рассказов 5 – и бросила, и кому-то отдала. А ведь все, что он пишет, правда. И художнического умения не лишен. А – чего-то нет. Чего? Чувства меры? Способности обращать ужас и хаос в гармонию?

5 июля 85, среда

[Владимир] Леонович читал стихи. При встречах он молчалив, сдержан (во всяком случае, с нами), а на трибуне смел и очень громко. Читает драматически. Ведет себя вызывающе. Вступление: «Пользуясь свободой устной речи прочту те мои стихи, кот. вырубili из моей книги».

Сначала грузинск. переводы. Виртуозно и задушевно. Потом наконец свои. (Грузины обязательны, п. ч. книга выходит в Тбилиси). Душевно, сильно, очень драматично. И очень противоречит цензуре, очень. Тут и Шаламов, и Ольга Степ., умершая в тундре, и «Гвоздями в меня вколачивали страх», (и как били Шаламова!)\*\* и сходка мертвых поэтов под Новый Год...

17 октября 88

В Юности № 10 прекрасное письмо Паст. к Шаламову. И одно письмо Ш. к Пастернаку, где говорится, что он, Ш., собираясь писать рассказы, изучал Мопассановскую новеллу «Мадмуазель Фифи», потом бросил, поняв, что не изучать надо чужие рассказы, а писать на бумаге свои слова, которые выбегают из тебя наружу как люди из горящего дома... (См. Маяковский «Мама! Ваш сын прекрасно болен. У него пожар серд[ц]а»).

14 янв. воскресенье [1995]

Записи Шаламова в «Знамени». Ненависть к Солж.

17 января среда [1995]

Прочла Шаламова «Записи». Выпады против Солженицына мелкие, самолюбивые и прямо завистливые. Между тем «Архипелаг» – великая проза новая не только новым материалом, но и новым художеством. Оттого читаешь. «Колымские рассказы» Шал. нельзя читать. Это нагромождение ужасов – еще один, еще один. Ценнейший вклад в наши познания о Стал. лагерях. Реликвия. И только.

Упрекает Солж. в деловитости. Да. А.И. деловит. Но в чем? В своем труде. (10 ч. в день). И в распоряжении деньгами: отдавать политич. заключенным. Сейчас он мучается безнадежной болезнью друга: Можаява. Из записей Шаламова не видать, чтоб он за кого-нибудь (кроме себя) мучился. Жесток. Иногда весьма пронизателен и умен. Сразу понял, какая дрянь Ольга Ивинская. Сначала подружился с Н.Я.М. [Мандельштам], потом понял, что она – шантажистка. Так и было. Опытная интриганка. Замечательна запись о Бродском (я ему никогда этих слов не прощу). «Вигдорова? А что такое Фрида Абрамовна Вигдорова?». [См. в дневнике Шаламова за апрель 1966 года – прим. составителя]

---

Что еще мне глубоко противно и даже отвратительно в записях Шаламова – это его отношение к пресловутому «половому акту». Так, как написал он (и к сожалению писали многие великие люди) можно писать об акте желудочно-кишечном (если он проходит без осложнений разумеется). Так писали в Дн-ах и письмах Пушкин, Лермонтов, Толстой и пр. и пр. (Хармс написал: «У меня уже 3 недели не было женщины»). Так сходятся – по потребности – собаки. («Разве так суждено меж людьми?» – спрашивал Блок). Нет, не так. У человека (не у собаки) «половой акт» исполнен высокого духовного содержания. Иначе он ничто. «Мы – единый дух» (не единая плоть). Самые прочные браки совершаются и без «полового акта». Например, между Онегиным и Татьяной во время и после их последнего разговора. Вряд ли они виделись с той минуты, и вряд ли этот брак удалось им расторгнуть до конца жизни.

#### Примечания составителя:

\* С мая 1979 года Шаламов проживал в доме престарелых и закапать себе в глаза зеленку не мог.

\*\* Вигдорова умерла летом 1965 года, следовательно, речь идет о самиздатской книге «Колымских рассказов» первой половины шести-

десятих годов, возможно, именно о том сборнике, которому в разделе «Материалы к биографии» посвящена статья «Промежуточное звено. Самиздатский сборник «Колымских рассказов», начало 1965 года».

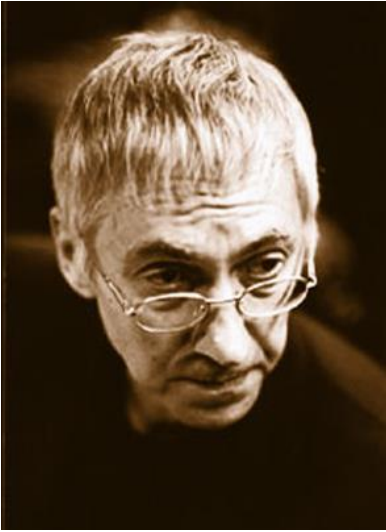
\*\*\* Стихотворение Владимира Леоновича «Варламия-еретика отпели ангелы Руси...»

Материал любезно предоставлен дочерью Лидии Чуковской Еленой Цезаревной Чуковской. Электронная версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»

<http://ru-prichal-ada.livejournal.com/222865.html>

*Лидия Корнеевна Чуковская (1907-1996), дочь Корнея Чуковского, мемуарист, писатель, диссидент, общественный деятель, лауреат нескольких международных и российских премий, в т.ч. Премии Свободы французского ПЕН-Клуба (1980)*





## Олег Чухонцев

«Я думаю, что Шаламов – самый беспощадный критик второй половины двадцатого века, то есть, может быть даже всего советского периода. Причем, поскольку он, повторяю, работал в короткой форме, его вот эти открытия – они часто воспринимались современниками [...] неадекватно, например, я помню одну женщину, достаточно крупного профессионала, она перевела чуть ли не библиотеку. Она говорит: это же не рассказы, не художество, это же очерки».

Из выступления Чухонцева на Шаламовском вечере, 1994, видеозапись, расшифровка составителя <http://www.shalamov.ru/video/7.html>

---

«А тут еще неприятности, последовавшие вслед за публикацией в «Юности» небольшого цикла моих стихов с Курбским и Чаадаевым, из-за которой мне стали отказывать даже в переводах, не говоря о рассыпанном наборе в «Молодой гвардии» четырежды объявленной и четыре года собиравшей предварительный тираж (он собирался по сумме заявок) небольшой книжки «Имя», – я сложил ее после неудачи в «Совпесе». [...]

Комсомольский вожак Павлов заявил на их съезде, что в то время как международный империализм наступает по всему фронту, проливает кровь невинных детей во Вьетнаме, некто Чухонцев свободно воспекает в стихах изменника родины. Последовали поношения в печати, вызовы куда надо. Шаламов, встретив меня на улице, с усмешкой сказал, что мне повезло: в недавние времена меня бы сперва сактировали, а потом написали, что гражданин Чухонцев искажает историю. Меньше всего хотелось такой известности.\*



\* Я почти забыл об этом разговоре, но в его «Записных книжках» наткнулся на следующее: “Двадцать лет назад Чухонцева бы расстреляли по такому доносу – статье Новицкого”».

Олег Чухонцев, «В сторону Слуцкого», напечатано в журнале «Знамя», №1, 2012 <http://magazines.russ.ru/znamia/2012/1/ch10.html>

---

«Шаламову, как сильной, неординарной личности, безусловно, необходимо было осознать свой суверенитет... Конечно, Шаламов мог бы ограничиться внутрицерковным мятежом, став, допустим, протестантом. Но он пошел еще дальше – к полному разрыву с религией».

Владимир Бондаренко цитирует Чухонцева в статье «Плач проходящего мимо Родины», опубликовано в журнале «Москва», март 2000 [http://chuhoncev.poet-premium.ru/prensa/20000000\\_bondarenko.html](http://chuhoncev.poet-premium.ru/prensa/20000000_bondarenko.html)

---

### *[Дары Шаламова]*

Маршак угощал меня чаем с печеньем,  
Чуковский книгами и беседой, [...]  
Домбровский пивом с прицепом, скорописью  
школьных тетрадок в линейку и селем  
экстатического клокотанья,  
Шаламов содержимым своего сундучка,  
где были валенки, рукавицы, кожух, носки, ушанка,  
все, что нужно, когда придут оттуда  
и дадут пять минут на сборы,  
а под шмотьём машинопись в трех томах,  
переплетенных вручную, плюс однотомник,  
тоже машинопись, но в ледерине,  
подарок из новосибирского Академгородка [...]

Олег Чухонцев, из «Речи при вручении премии 24 мая 2007 года», с сайта автора [http://chuhoncev.poet-premium.ru/texts/20070000\\_znamya8.html](http://chuhoncev.poet-premium.ru/texts/20070000_znamya8.html)

*Олег Григорьевич Чухонцев (род. 1938), поэт, переводчик, работал в журналах «Юность» и «Новый мир»*

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a small loop and another long horizontal stroke.



**Павел Шабанов**

*Портрет на фоне Вологды  
№...*

«Я встречался с Варламом Шаламовым в 79-81 годах, немало читал его произведений и воспоминаний о нем, но до сих пор не могу с определенностью сказать, кто такой Шаламов.

Оглядываясь спустя почти 30 лет назад, можно только удивляться количеству совпадений – в общезнание, с которого начался мой путь к Шаламову, меня привел художник Сергей Иевлев, который оформлял первую экспозицию в Шаламовском доме...

Летом 1979 года в студенческом общежитии Московского областного пединститута имени Крупской, представлявшем собой почти точную копию «общежития имени монаха Бертольда Шварца» из «12 стульев» Ильфа и Петрова, я познакомился со студентами Московского политехнического института.

Что? Не было никогда в Москве такого ВУЗа?

Да, но студенты – были. Позднее в их студенческих билетах писали: Краснознаменный, имени Андропова, институт КГБ... Ну, и так далее.

Я мог даже не знать, что в Москве нет такого ВУЗа, достаточно было взглянуть на их костюмы, галстуки, одинаковые, тонкой кожи ботинки, начищенные до блеска... На мне в тот момент были ботинки из «уценёнки» на Старом базаре, но это вовсе не значит, что я не разбирался в хорошей обуви.

Узнав, что я из Вологды, они пригласили меня посетить старого литератора вологодского происхождения. [...]

Мы доехали до станции «Планерная», где один из них ненадолго подошел к обычной с виду «Волге», в которой я опознал одну из почти исчезнувших к тому времени «восьмерок». Он явно получал инструктаж...

Так что Гебешные это были ребята; позднее один из них служил в одном из отделов УОДК – Управления по охране дипкорпуса при Вто-

ром Главном Управлении КГБ (возможно, при нем оно называлось иначе).

Он и подтвердил мне много позднее, что слежка за Шаламовым была обычным, но не очень ответственным делом, но и после помещения его в дом престарелых надзор за ним не прекращался.

А я, начинающий литератор из Вологды, был нужен им для установления контакта.

Так вместе с курсантами-комитетчиками я попал в палату 244 «Дома для инвалидов и престарелых № 9», и ничего нового для себя я не увидел, поскольку свою трудовую деятельность я начал санитаром в психиатрической больнице. Я был самым молодым и неженатым, и потому посылали меня во всякие командировки, сопровождать больных, и навиделся я таких заведений предостаточно...

Хотелось бы мне написать, что я сразу проникся величием личности Шаламова, что я сразу узнал в костлявом, жилистом старике автора «Письма к старому другу», по делу Синяевского и Даниэля. Это письмо уже было у меня тогда в слепой машинописной копии, я знал, что на «процессе четырех» этот анонимный текст был признан антисоветским.

Но даже если бы мне сказали, что это – автор «Колымских рассказов», это для меня тогда ничего не значило. От лагерной темы в литературе я тогда был далек, хотя с контингентом сталкивался весьма близко; примерно половина моих подопечных в беспокойном отделении больницы №19 города Волгограда были как раз оттуда. Они проходили принудительное лечение по решению суда.

В 1980 году в селе Шонга Кич-Городецкого района сельский учитель Усков подарил мне «Один день Ивана Денисовича», изданный в свое время в «Роман-газете», но я не видел в этом ничего, кроме литературы высокого уровня. Я даже давал почитать его сотрудникам Вологодского КГБ, и они мне его возвращали. [...]

Я появлялся тогда в Москве без особой цели; погулять по ночной Москве, встретить рассвет на Красной площади, пообедать в столовой в зоопарке, ближе к вечеру посидеть у Шаламова, ловя нечастые минуты, когда он начинал прилично слышать, и не надо было кричать.

Чуть позже я узнал, что меня беспрепятственно пускали к Шаламову потому, что первый раз я пришел с «политехниками», а потом медсестра видела, как я входил в метро, предъявляя удостоверение [речь идет о проездном билете на все виды транспорта – прим. составителя].

Мои уверения, что к органам я не имею никакого отношения, произвели противоположный эффект.

Я несколько раз приходил к Варламу Тихоновичу, время от времени появляясь в Москве. Не потому, что я был добрым самаритянином, и меня так беспокоила судьба литератора, у которого за плечами почти 20 лет Колымы. Просто в Москве мне пойти было не к кому.

Настороженность битого зэка, когда я впервые появился у него в компании комитетчиков, ослабла, потому что я всегда появлялся у него с явным выхлопом сухого вина. (Впрочем, запахов он почти не чувствовал). Он любил яблоки, я приносил их ему, выбирая сладкие, нетвердые сорта, и тут же сам закусывал этими яблоками «Нестинарское». (Дисциплинированные курсанты себе этого позволить не могли.) И появилось даже некое подобие доверия после того, как я привез ему портативную пишущую машинку взамен древнего монстра, который у него был.

Сейчас эта машинка, жемчужина моей коллекции пишущих машинок, уже выставлена в экспозиции «Шаламовского дома» как последняя машинка Шаламова, но это не совсем так.

Неизвестно, как появилась у него эта древняя машинка с надписью «PROGRESS».

До этого у Варлама Тихоновича была машинка «Olimpia» 8-ой модели, которую бывалый зэк прятал под кроватью, на балконе и еще бог знает где. И вдруг вместо вполне приличной, ухоженной немецкой машинки, на которой он учился печатать вслепую, появилась эта, которую мы сейчас можем видеть в экспозиции.

Кто-то из имевших доступ в палату подменил рабочую машинку на списанную, с трещиной на станине...

Знали, суки, что жаловаться он не будет.

Варлам Тихонович сидел на полу, ощупывал литеры и клавиши и беззвучно плакал. Машинка была почти такая же по параметрам, и даже с вертикальным расположением катушек ленты, но с «ятями», и с совсем другим расположением клавиш! Нужно было или переучиваться заново, или перепаивать литеры...

Совсем недавно минуло время, когда машинки подлежали обязательной регистрации, машинки еще были дефицитом, и стоили весьма прилично, но я, до этого поработавший зав. приемным отделением «Рембыттехники» и считавший себя литератором, уже запаса парой списанных машинок, не существовавших в природе по документам.

Одну из них, портативную «Москву», я вскоре и привез ему, когда случилась попутная машина в столицу...

Не знаю, написал ли он что-либо на этой машинке. Один листок с четверостишием, напечатанным на таинственно исчезнувшей «Олимпии», сохранился среди моих рукописей того времени.

Сидящий на полу возле кровати голубоглазый старик... Приступы болезни Менъера начисто лишали его слуха, и потому он садился на пол, чтобы почувствовать приближающиеся шаги...

Ему было 50, когда родился я... Смогу ли я когда понять его, сможем ли мы понять масштаб его личности?»

Напечатано в еженедельнике «Русский Север», №21, июнь 2007 года, а также в книге: Шабанов П. П. «История города Вологды. Чёрное зеркало». Вологда, 2008. Электронная версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»

<http://ru-prichal-ada.livejournal.com/118473.html>. Характерно, что Шабанов был использован госбезопасностью для установления контакта с писателем-земляком.

---

«Мне удалось заполучить машинку Варлама Шаламова, которую у него украли в интернате. Проверил шрифт – машинка та самая. Формально машинка мне не принадлежит, но человек, который её выкупил, погиб, так что машинка осталась у меня. Буфет Шаламовых я передал в музей Шаламова, письменный стол Тихона Шаламова стоит у моего знакомого. Я в своё время нашел этот стол и буфет при выезде пожарной конторы, на них сохранились инвентарные номера НКВД, я подарил этот стол своему шефу, и уже в процессе реставрации выяснилось, что стол принадлежал священнику Шаламову. Позднее стол вместе с квартирой достался Валерию Реутову».

Пояснение к фотографии пишущей машинке Шаламова «Olimpia» в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/120242.html>, из письма составителю

*Павел Петрович Шабанов (род. 1957) вологодский литератор, журналист, краевед, специалист службы охраны*





### **Виктория Швейцер**

– А с Шаламовым он [Михаил Николаев, муж Швейцер, автор книги «Детдом» – прим. составителя] был знаком?

– Да, мы были знакомы с Варламом Тихоновичем и очень его любили. Мы встречались у Надежды Яковлевны Мандельштам, он приходил к ней два раза в неделю. Варламу Тихоновичу был человек совершенно замечательный, необыкновенный, странный... Одна из его странностей – они очень были дружны с Надеждой Яковлевной, у него в ее доме даже были свои та-

почки; но в один прекрасный день они принципиально поссорились.

– Почему?

– Я не хочу об этом рассказывать. Между ними возникло принципиальное расхождение. И уходя он сказал: «Надежда Яковлевна, я к вам больше не приду». Она абсолютно не восприняла это всерьез. А он действительно больше ни разу не пришел. И я считаю, что если бы этого не случилось, многое в его жизни пошло бы совершенно по-другому.

«Виктория Швейцер в Доме-музее Цветаевой», из интервью, 2008, в блоге филолога и кинокритика Николая Гладких  
<http://gladkeeh.livejournal.com/99018.html>

---

Виктория Швейцер цитирует переписанный ею отрывок из черновой рукописи «Второй книги» Надежды Мандельштам.

«Есть таинственная связь стихов с полом, до того глубокая, что о ней почти невозможно говорить. Это знала А. А. [Ахматова – В. Ш.], и ей хотелось разведать у меня то, что я заметила. Знает об этом и Ша-

ламов, который сердится на О. М. [Мандельштама], что тот писал стихи не только мне, но и другим женщинам. Он тоже пытался убедить меня, что все остальное мелочь, не стоит выеденного яйца по сравнению с изменой стихами».

Виктория Швейцер, «К вопросу о любовной лирике О. Мандельштама», сборник «Мандельштам и античность», 1995, в библиотеке ImWerden

[http://imwerden.de/pdf/mandelshtam\\_i\\_antichnost\\_1995\\_text.pdf](http://imwerden.de/pdf/mandelshtam_i_antichnost_1995_text.pdf)

*Виктория Александровна Швейцер (род. 1932), литературовед, текстолог, биограф Цветаевой, живет в США*







## Юлий Шрейдер

«В. Шаламову удалось выжить и не сломаться. На прямой мой вопрос, как это ему удалось, он ответил: «Никакого секрета нет, сломаться может каждый». [...]

Моя переписка с В. Шаламовым возникла как продолжение наших бесед о литературе. Последняя для него отнюдь не была чем-то отделенным от жизни. Скорее наоборот, литературный процесс и был для него (по крайней мере в период нашего общения) подлинной жизнью, а все остальное лишь необходимым жизнеобеспечением, к которому он предъявлял самые минимальные требования. Об этом свидетельствовал и сам образ его жизни, в котором все было посвящено гарантированию пригодных для него условий работы: никаких усилий ради минимального комфорта в еде, одежде или обстановке, никаких ненужных для работы или рабочего состояния встреч, никаких вне литературных целей. Предельно аскетичный образ жизни был вызван не только отсутствием материальных средств (в конце концов, есть роскошь бедняков), но и внутренней установкой на полную независимость от жизненных обстоятельств. Даже человеческие привязанности были, как мне кажется, для него непозволительной роскошью, дополнительной данью земной суете. Он не привязывался к людям, но допускал к себе тех, кто не нарушал его жизненного (или, что то же, творческого) ритма. Это был акт величайшего доверия с его стороны, хотя я не могу сказать, что он не нуждался в человеческом общении. Он просто боялся хоть как-то поступиться своей независимостью, ощущением точности собственного восприятия действительности, которое не должно было подвергаться помехам чьих-то суждений или представлений. Ведь на этих представлениях всегда сказывается давление каких-то стереотипов, канонов, готовых схем. Шаламов точно выразил свое убеждение в необходимости опираться прежде всего на собственные способности воспринимать действительность: «Смотря на себя как на инструмент познания мира, как совершенный из совершенных приборов, я прожил свою

жизнь, целиком доверяя личному ощущению, лишь бы это ощущение захватило тебя целиком. Что бы ты в этот момент ни сказал – тут не будет ошибки».

Варлам Тихонович любил многократно возвращаться к своим важнейшим темам и мыслям, каждый раз высвечивая их по-новому, как бы в первый раз совершая усилия понимания. Это был, видимо, осознанный или неосознанный способ защитить продуманное и пережитое от превращения в мертвый канон, в схему программирования самого себя.

Такие повторы – возвращения на новом витке спирали к тем же мыслям, событиям, идеям – можно неоднократно встретить в прозе В. Шаламова. Подобная переключка любимых мыслей, вплоть до вербальных совпадений в некоторых абзацах, обнаруживается между приводимым текстом его письма ко мне от 24 марта 1968 года и публикуемым здесь же манифестом о «новой прозе», рукопись которого я получил от автора в середине 70-х годов. (Судя по почерку, последний он написал ранее, возможно даже до упомянутого письма.) Сличение этих текстов показывает, как развивалась мысль писателя, как возникли новые обертоны. Именно поэтому я счел целесообразным включить оба текста в одну подборку.

Чтобы встретиться с Шаламовым, необходимо было заранее улаживать о времени и месте. Телефонные разговоры становились для него все менее удобными из-за усиливающейся глухоты, и потому приходилось прибегать к письмам. В письма волей-неволей проникали отголоски уже начатых бесед, а он сам использовал переписку, чтобы еще раз сформулировать какие-то важные для него мысли: письмо от 24 марта 68-го года – пример такого использования.

Всего у меня осталось 64 письма В. Шаламова и четыре копии собственных писем к нему. Первая встреча с Варламом Тихоновичем произошла на кухне у Надежды Яковлевны Мандельштам в только что полученной ею кооперативной однокомнатной квартире на первом этаже. Это был блистательный Шаламов, уже написавший значительную часть своей прозы, ощутивший мощь и продуктивность своего литературного таланта, еще верящий в возможность публикации «новой прозы» и ничем не поступающийся (и не поступившийся потом) ради этой возможности. В свои 59 лет он был очень красив, даже декоративен, хотя явно не придавал никакого значения своей одежде (правда, как он писал, – «Поэзия – всеобщий язык», – все его рубашки были с карманами, чтобы хранить записанные на обрывках бумаги стихи). С этой встречи началось наше регулярное общение. Шаламов притягивал к себе многих. Пережитый им опыт был слишком значите-

лен для всех, слишком нас всех касался. Слушатели были и ему нужны. Вероятно, мое преимущество как слушателя состояло в том, что я не пытался ни вкладывать рассказываемое в какие бы то ни было заранее принятые схемы, ни предлагать скороспелых интерпретаций. Интуитивно я чувствовал, что мне важен не столько сам экстремальный жизненный опыт Шаламова, сколько его способность ясно осознавать действительность и место в ней собственного опыта. Поэтому я интересовался не только фабулой его литературных и устных повествований, но пытался вдуматься в то, что он говорил, а потом и писал о своих литературных задачах. Литература же для него была, как я уже отметил, не описанием жизни, а способом наиболее полного в ней участия. Все, что мешало этому участию (человеческие привязанности, морально-религиозные представления, литературные каноны, сама надежда, наконец), беспощадно им отсекалось. Мне кажется, что он принимал мое общение именно потому, что я никогда не посягал судить о нем, его произведениях или его поступках с позиции тех или иных схем. [...]

Ясность сознания, сохранение души в тех условиях требовало небывалого героизма. На фоне признанной репутации Шаламова как негнбимого героя для многих оказалась неожиданным ударом публикация в 1972 году письма В. Шаламова в «Литературную газету» с «отречением» от вышедшей на Западе книги его «Колымских рассказов». Лично я не считаю этот документ отречением – это был способ спасти хоть какие-то возможности публиковаться в своей стране (а для него важно было публиковаться именно в своей стране). Никто не вынуждал Шаламова писать такое письмо. Это я утверждаю с его слов, сказанных спустя день-два после того, как письмо было напечатано. Он вовсе не пытался оправдываться или жаловаться на вынужденные обстоятельства. Наоборот, он радовался, что ему удалось добиться этой публикации. Тут имело значение и то, что ему претило служить картой, разыгрываемой в отнюдь не совсем литературной игре. Он чувствовал себя преодолевшим еще одну ловушку, уготованную судьбой. Эта оказалась не последней.

Здоровье его катастрофически разрушалось. Впереди были больница, а затем помещение в дом престарелых, где В. Шаламов продиктовал А. А. Морозову последний цикл стихотворений. В январе 1982 года по некомпетентному (а следовательно, преступному) решению врачебной комиссии Шаламова без верхней одежды насильственно перевозили в больницу для психических хроников, где он через несколько дней скончался от воспаления легких.

После того как письмо было напечатано в «Литературной газете», около В. Шаламова практически не осталось людей, способных убедить его от дома престарелых, добиться улучшения его жилищных условий. Но Шаламов имел право поступить «не по канону», – у него уже были отняты двадцать лет жизни, и он не мог ждать еще десять лет, пока появятся минимальные условия для литературной деятельности. Могу сказать честно, что у меня и мысли не было о том, что я имею право его судить. Но многие присвоили себе такое право. Общественное мнение ждало от Шаламова большей непреклонности. Сложилось впечатление, что несколько лет я был почти единственным, кто его посещал. (Соседи тогда утверждали, что к нему никто не ходит.) Во всяком случае, не оказалось возле него тех, кто мог бы постоянно оказывать ему помощь, в которой он все больше нуждался. Около двух лет роль помощника и доверенного лица исполняла Л. В. Зайвая, которую я познакомил тогда с В. Шаламовым.

В эти годы интенсифицировалась наша с ним переписка. Мне удалось издать его статью «Звуковой повтор – поиск смысла» в сборнике, где я был тогда членом редколлегии. Хорошее послесловие к ней написал С. И. Гиндин. Некоторые из писем, в том числе публикуемые здесь, связаны как раз с проблематикой стихосложения, затронутой в этой статье. [...]

Стоит, вероятно, добавить, что В. Шаламов беспредельно восхищался творчеством Андрея Платонова, считая «Котлован» и «Чевенгур» вершинами русской литературы».

Из статьи «Варлам Шаламов о литературе», журнал «Вопросы литературы», №5, 1989. Сетевая версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/37970.html>

---

«Проза Шаламова принципиально антипсихологична, это проза предельного экзистенциального опыта, получаемого человеком, попадающим за грань человеческого существования. Она с трудом воспринимается теми, кому этот опыт чужд, кто еще готов верить в то, что жизнь в социалистическом государстве не лишила его остатков человечности, кто хотел бы считать себя еще сохранившим человеческое достоинство. Вот почему советская интеллигенция не простила Шаламову его печально известное «отречение» и сразу отшатнулась от него, хотя подобные письма подписывали многие из читаемых и почитае-

мых. Я уверен, что Солженицын никогда бы такого письма не написал, ибо для него был слишком важен собственный образ в глазах читателей. Но Шаламов считал более важной возможность хоть что-то опубликовать в своей стране, он видел в себе только писателя.

Не исключено, что это было и своего рода «вызовом» интеллигенции, не оценившей должным образом его дар. После этой публикации многие от него отшатнулись, вокруг него создалась почти пустота. Лично я даже внутри себя не могу давать никаких оценок поведению Шаламова. Его нравственное чутье несравненно выше моего. Мне доводилось слышать от людей, отсидевших свои лагерные сроки, что де и в лагерях были и человеческие отношения, и человеческие радости, и в этом смысле «человечный» Солженицын ближе к правде, чем «бесчеловечный» Шаламов».

Из статьи «Правда Солженицына и правда Шаламова». Опубликовано в журнале «Время и мы», Нью-Йорк, 1993, №121. Сетевая версия на сайте Данте XX века [http://www.booksite.ru/varlam/creature\\_31.htm](http://www.booksite.ru/varlam/creature_31.htm)

---

«Мое первое впечатление от встречи с Варламом Шаламовым было: как он прекрасен! Красивое, очень русское, чисто выбритое лицо северного типа с твердыми чертами, выразительный низкий голос, с неповторимыми интонациями заинтересованности в предмете беседы, статная фигура, значимость каждого слова. Встреча эта произошла в теплый солнечный день 1966 года на кухне у Надежды Яковлевны Мандельштам, только что вселившейся в ее первую собственную квартиру на Новочеремушкинской улице. Сам он жил тогда в двухэтажном домике на Хорошевском шоссе, недалеко от нынешней станции метро «Беговая», куда он меня вскоре пригласил, дав на прочтение несколько из своих рассказов, вызвавших ощущение ожога. К тому времени уже был опубликован «Один день Ивана Денисовича», появились и другие публикации на лагерные темы (в большинстве своем фальшивые), но с такой беспощадной и обжигающей правдой я столкнулся впервые. С тех пор я стал постоянным читателем всего, что выходило из-под его пера (впрочем, он писал черновики простым карандашом, но мне давал только перепечатанные рукописи). Большую часть я по его просьбе отдавал на перепечатку и сохранял один комплект у себя.

Ни строчки из лагерной прозы Шаламова не было опубликовано в России при его жизни. Долгое время и на Западе публиковались лишь единичные его рассказы. Наконец, вышел без его ведома том «Колымских рассказов». Шаламов к этому времени был одинок и болен. Однажды мне позвонила покойная Наталия Ивановна Столярова и попросила к ней зайти. Она вручила мне опубликованную в Париже книгу и попросила передать ее Варламу Тихоновичу с условием вернуть ее обратно, если тот не захочет ее принять. Я пришел к нему в его мрачную неприбранную комнату на Васильевской улице, из которой его перевезли потом в дом престарелых на улице Вилиса Лациса, и передал поручение. Он не ответил ни слова, только взял толстый томик в левую руку и стал оглаживать его, не касаясь, правой рукой – резкими плохо координированными из-за болезни Меньера движениями...

[...] Шаламов был в условиях, где не существовало надежды сохранить существование, он свидетельствует о гибели людей, раздавленных лагерем. Кажется чудом, что самому автору удалось не только уцелеть физически, но и сохраниться как личности. Впрочем, на заданный ему вопрос: «Как Вам удалось не сломаться, в чем секрет этого?» Шаламов ответил не раздумывая: «Никакого секрета нет, сломаться может всякий». Этот ответ свидетельствует, что автор преодолел искушение счесть себя победителем ада, который он прошел и объясняет, почему Шаламов не учит тому, как сохраниться в лагере, не пытается передать опыт лагерной жизни, но лишь свидетельствует о том, что представляет собой лагерная система. [...]

Лагерь так и не отпускал Шаламова до конца его жизни. Уже в доме престарелых он прятал под подушку сухари. В конце концов его повезли в интернат для психохроников, привязав к стулу и без верхней одежды, несмотря на морозный день. Через несколько дней он умер от воспаления легких. На соседней койке лежал прокурор сталинских времен, поедавший собственные экскременты».

Из статьи «Искушение адом», опубликовано в Шаламовском сборнике №1 (1994), сетевая версия на сайте Данте XX века <http://www.booksite.ru/fulltext/1sh/ala/mov/35.htm> и в журнале «Индекс/Досье на цензуру», 1999 , №7-8, сетевая версия на сайте журнала <http://www.index.org.ru/others/199shred.html>

«Литература для Шаламова отнюдь не была чем-то отделенным от жизни. Скорее, наоборот, литературный процесс и был его подлинной жизнью, а все остальное лишь необходимым жизнеобеспечением, к которому он предъявлял самые минимальные требования. Об этом свидетельствовал и сам образ его жизни, в котором все было посвящено гарантированию пригодных для него условий работы: никаких усилий ради минимального комфорта в еде, одежде или обстановке, никаких ненужных для работы или рабочего состояния встреч, никаких внелитературных целей. Предельно аскетичный образ жизни был вызван не только отсутствием материальных средств (в конце концов, есть роскошь бедняков), но и внутренней установкой на полную независимость от жизненных обстоятельств. Даже человеческие привязанности были, как мне кажется, для него непозволительной роскошью, дополнительной данью земной суете. Он редко привязывался к людям, но допускал к себе тех, кто не нарушал его жизненного (или, что то же, творческого) ритма. Это был акт величайшего доверия с его стороны. Его, по моим наблюдениям, мало интересовали чужие мнения, жизненные концепции и тому подобные ненужности. Факты же, неизвестные ситуации, лежащие в русле его интересов, он обдумывал и изучал. Важна для него была и возможность высказаться самому – рассказчик и чтец он был великолепный. По крайней мере, до того, как у него стали развиваться болезненные дефекты речи и слуха в конце 1970-х годов. На колымской каторге Шаламов сумел сохранить себя – уберечь от физической и духовной гибели – ради того, чтобы остаться дееспособным в литературе. Было ли это только его заслугой, проявлением его сверхчеловеческой стойкости? Сам он так не считал.

Однажды, когда Шаламов нас навестил, моя жена спросила его о том, как он сумел не сломаться в страшных условиях колымских лагерей и сохранить в себе духовные силы, для того, чтобы так об этом написать. Он ответил несколько неожиданно для нас обоих, что никакого секрета нет и сломаться может каждый. Сомневаться в его искренности у нас не было оснований, слишком серьезно это было сказано. Считать, что его спасло благоприятное стечение обстоятельств, позволивших после ряда лет каторжного труда остаться при больнице и даже потом окончить фельдшерские курсы? Но слепой случай не отбирает лучших».

Из статьи «Духовная тайна Шаламова» [главы из неоконченной работы известного философа и публициста Юлиа Анатольевича Шрейдера (1927-1998). Ср. посмертную книгу Ю. Шрейдера «Ценности, которые мы выбираем». М., 1999 – прим. публикаторов], опубли-

ковано на сайте Данте XX века, здесь же сетевая версия <http://www.booksite.ru/fulltext/3sh/ala/mov/10.htm>

---

«...лагерная проза В. Шаламова не имела никаких шансов на издание. Даже тамиздат ее принял не сразу».

Юлий Шрейдер, «Постмодернистское барокко», журнал «Время и мы», №120, 1993

[http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/vremya\\_i\\_my\\_120\\_1993.pdf](http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/vremya_i_my_120_1993.pdf)

*Юлий Анатольевич Шрейдер (1927-1998), математик, специалист в области информатики, член доминиканского братства, философ, опекал Шаламова во второй половине 70-х годов*



## Воспоминания о Шаламове жителей поселка Туркмен

### *Воспоминания Валентины Агеевой*

В 1954-56 годах Шаламов как пораженный в правах жил в поселке Туркмен Калининской области и работал снабженцем на предприятии по добыче торфа. Сохранилось свидетельство о нем жительницы места, тогдашней заведующей поселковой библиотекой Валентины Георгиевны Агеевой. Сам Шаламов об Агеевой мнения скорее неместного: «Библиотека была загадкой. Культурный уровень библиотекарки – а она работала тут более десяти лет, не давал права думать, что книги собраны ее трудами. Она была только сторожем этих книжных сокровищ» (очерк «Слишком книжное»).

Итак, Агеева:

«Ему (Шаламову) приходилось очень рано вставать и приезжать поздно. Но в библиотеку он всегда успевал. Часы работы библиотеки были с 18 до 22 часов. Варлам Тихонович очень часто посещал нашу библиотеку и проводил в ней часы. Мы даже вместе закрывали ее. Иногда я ему отдавала ключ для передачи уборщице клуба, которая топила библиотеку, чтобы мне не ходить к ней утром. Это он исполнял с большим желанием».

Из статьи Агеевой «Жил как все», опубликованной в газете «Серп и молот» 23.3.1993. Автор добавляет, что «в конце 1970-х годов встретила писателя в Москве в библиотечном коллекторе на Сретенке. Варлам Тихонович читал библиотекарям свои стихи».

Воспоминания приведены в докладе Г. В. Митькиной «Неисповедимые пути...»: В.Т. Шаламов в поселке Туркмен», прочитанном на краеведческой конференции «Варлам Шаламов и Клинский край», 2012. Электронная версия на сайте [shalamov.ru](http://shalamov.ru/research/185/) <http://shalamov.ru/research/185/>

### ***Воспоминания Нины Васильевны Марковой, соседки Шаламова***

«Был дом двухэтажный, была квартира, и жили мы трое: мы жили – Лебедевы, Овчинниковы и он третий. У него была десять квадратных метров комната, и у нас тоже десять. А еще там была двенадцать метров комната. Вот так мы все жили. Он приехал в эту комнату в пятьдесят четвертом, в начале года, и пробыл там до пятьдесят... в общем, два с половиной года жил там.

Ну что можно сказать. Он мало спал ночью, он ночью спал только два с половиной часа. Он все время писал. Он боялся – не успеет. Когда он был столько в тюрьме и вдруг попал к нам в Туркмен, и там так тихо, у нас так спокойно, у нас дверь не закрывалась. Он уходил в восемь с чем-то на работу, чтобы к восьми часам он мог работать. И приезжал он поздно. Даже,.. у нас мама была, мне было тогда двадцать два года, мама была у меня, она в другой раз в столовой не работала, она ему скажет: «Иди, там и картошка есть, и молоко (мы держали двух коз), давай поешь и никуда не ходи». И вот он в это время, когда приезжал с работы, – поест и шел в библиотеку вот к этой самой Агеевой. И он там был, даже она доверяла ему ключи, а моя мама уборщицей была – она велела эти ключи передать уборщице, а уборщица передаст, и он там занимался два часа после этого. Когда приезжал домой... потому что я... мне уже было двадцать два, я помню: он поест, потом... электричество до двенадцати часов было, было до двенадцати часов это [электричество], а потом, после двенадцати, у него была лампочка, которую он привез с этих... где он там был, в тюрьме... Эта лампочка, я даже вам не могу ее описать, она какая-то, нигде я такой не встречала, он ее зажигал, потому что она была на керосине, и вот он... два с половиной часа он только спал в ночь, он все время писал. Была тумбочка и потом еще был у него столик... Ну я у него убиралась – я не подходила. Я только посмотрю – у него были листочки, все это – как он писал, и на этом столике, и на этом столике. Я только уберусь, пыль посмотрю – и все, я даже не дотрагивалась, я даже очень боялась.

Он только в воскресенье где-то два часа ходит, а так он все время писал, писал, боялся, что он не успеет.

---

### ***Воспоминания Лидии Федоровны Старковой, работницы предприятия***

«Варлама Шаламова я знала с пятьдесят четвертого года. Работала я тогда в торфопредприятии Решетниковское, у нас центральный участок был Туркмен. И зимой мы приходили работать в контору. И вот в конторе я с Варламом Шаламовым встречалась. Так мы с ним не общались, но видела я его несколько раз. Лицо его было такое изможденное, он тоже приходил в контору за документами, он тогда работал в отделе снабжения на Решетниковском торфопредприятии...

Он больше всего общался с Валентиной Агеевой, которая работала в библиотеке, и он туда часто ходил».

Маркова и Старкова выступали на посвященном Шаламову «Круглом столе» в районной библиотеке города Клин в январе 2014 года.

Видеозапись встречи выложена на YouTube Василием Кузьминым <http://www.youtube.com/watch?v=zgVG5uCVEac>. Текст – в блоге «Варлам Шаламов и концетарционный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/299973.html>. Расшифровка составителя

\* \* \*

В последний момент обнаружил, что на сайте [shalamov.ru](http://shalamov.ru) выложена беседа Сергея Агишева со Старковой и Маркиной, проходившая, по-видимому, за пределами официальной части мероприятия. Здесь более подробно и внятно об их знакомстве с Шаламовым.

Ниже текст этой беседы <http://shalamov.ru/events/70/>.

**Л. Ф. Старкова** (в 1950-е гг. работала технологом в производственном отделе торфотреста): В 1954 г. я жила в пос. Чистый Мох. Зимой на торфяных полях делать было нечего, и к восьми часам утра я ездила на работу в контору предприятия, находившуюся в Туркмене. Производственный отдел и Отдел снабжения были рядом. На работу, которая начиналась в восемь часов утра, Шаламов приходил еще раньше – к без двадцати восемь. Я проходила по коридору, а он стоял у Отдела снабжения и ждал документов, чтобы ему ехать в Калинин за телогрейками, за спецовками. Для машин детали привозил. Мы здоровались с ним – и все. Была зима, и он был в зимнем пальто и в шапке, а что на ногах – я и не замечала что. Тогда мы не знали, что такое Шаламов. Мы не думали, что он у нас будет писателем.

С. Агишев: Какое первое впечатление произвел на Вас Варлам Тихонович?



Л. Ф. Старкова: Лицо у него было хмурое, изможденное. А сам Шаламов был высокий ростом. Он всегда был неразговорчивый. Он общался только с нашим директором, Логвиновым. Он его и оформлял на работу. Логвинов очень рано умер, но, может быть, Шаламов ему что-то и рассказывал. Мы с ним особых разговоров не вели. Общался он и с начальником Отдела снабжения, а также с кладовщицей Дроздовой, которая принимала у него товар. С женщинами он не общался, но

фотография женщин, с которыми он поддерживал контакт в Туркмене (среди них и жена Логвинова), есть в библиотеке.

С. Агишев: Нина Васильевна, Вы жили с Шаламовым в одной квартире и часто встречались. Что Вы можете рассказать о том, как вам жилось вместе?

**Н. В. Маркина** (уроженка пос. Туркмен, в 1950-е гг. по профессии – уборщица): Не только встречались. У нас квартира была из трех комнат. В первой жила Овчинникова Надя, во второй мы с мамой (отец у нас погиб на фронте), а он – в третьей. У нас десять квадратных метров и у него десять квадратных метров была комната. В комнате у него стояла казенная кровать, большой стол, тумбочка и печка. Я убиралась у него в комнате с его разрешения, он мне не запрещал. Он только предупредил, чтобы я не переключивала ничего, говоря: «Это начало моих рассказов». И на тумбочке и на столе у него всюду лежали какие-то бумаги. Я посмотрю на них, но не читала и не трога-ла. Пол вымою, пыль соберу в неделю три раза; кровать он сам всегда застилал. Спал он очень мало, наверное, часа по два, два с половиной. Потому что он часто ходил в библиотеку. Он тогда познакомился с заведующей нашей библиотекой Валентиной Георгиевной Агеевой. Она доверяла ему ключи. Он даже закрывал сам. Она уходила в девять, в десять, а он до одиннадцати бывал там. А ключи заносил к нам, по-

тому что моя мама (Елена Андреевна Лебедева – С. А.) была там уборщицей. Он бывал в библиотеке каждый день, и она (В. Г. Агеева) уже привыкла к нему. Он даже заставил ее учиться. Она же не кончила ничего, а потом она курсы кончила. У него лампочка была: он привез оттуда, где он сидел. Я такой лампочки керосиновой, а она была такая фигурная, нигде больше не видела. И он дорожил ей. Там, где он сидел, кто-то ему сделал ее. Он говорил, что когда он уезжал оттуда, ее ему подарила какая-то женщина. И вот он эту лампочку после двенадцати (до двенадцати еще свет горел) зажигал. Полвосьмого он уже уходил на работу.

С. Агишев: Шаламов что-то рассказывал о себе, был общительным человеком, или нет?



Н. В. Маркина: Ничего. Даже мама моя не спрашивала его. Только два раза мы как-то посидели. Ему очень понравился наш народ «туркменский», все с ним были очень хорошо. У нас козы были, и мама угостила его как-то молоком. А он покупал молоко у одной женщины, у которой была корова. А потом уже, когда мама ему сказала: «Что ты берешь у нее молоко? Вон, козы есть, нам хватает». Он частенько опаздывал и столовая, где он обычно питался, была закрыта, мама отваривала

картошку и говорила ему, чтобы он брал. Первое время он стеснялся. И первые три месяца вообще мало разговаривал. А потом стал привыкать. «Тетя Лена! А ты свари картошечки в мундире». Очистит и ест с молоком. В еде был непривередливый. Брал у нас творог, молоко. Но все равно стеснялся. Брал у нас, когда только опаздывал, и столовая была закрыта. Мама кормила его картошкой да щами; стирала ему. Стал больше разговаривать только спустя полтора года. Например, с Овчинниковым, дядей Лёшей, но немного – минут 20-25. А с нами общался мало, очень мало. И только писал, писал и писал. Ему некогда было. Он был целыми днями на работе. В воскресенье никуда не выходил из квартиры. Все писал, писал, писал. И в будни, когда приходил из библиотеки – тоже. Он как говорил: «Мне надо успеть. Сколько

я потерял. Очень много мной упущено». В Туркмене он писал очень много. В Туркмене была очень хорошая библиотека, но писал он только дома. Два раза он ездил встречаться с женой в Москву. Почти все время он был на работе, а вечером – в библиотеке. Или выйдет по дороге за поселок, там красиво было. Выйдет, посмотрит, а потом обратно, и писал. Но и по поселку ходил мало. В Туркмене о том, что он писатель, никто не знал. Из того, что он писал, нам он ничего не читал. И ни с кем не делился. Читал свое только в Москве, каким-то трем людям. А здесь – нет. Лишь под конец, когда он уже уезжал, узнали, что он писатель.

Л. Ф. Старкова: В 1949 г. министерство назначило на работу в Туркмен инженера Кураева, с которым общался Шаламов. Он тоже был репрессированный. В Туркмене и вообще на Решетниковском торфопредприятии было много репрессированных, потому что здесь был 101-й километр. Отношение к репрессированным в Туркмене было очень хорошим, и даже многие девушки выходили за них замуж. И после реабилитации уезжали с мужьями в Москву.

Н. В. Маркина: После отъезда из Туркмена Шаламов больше сюда не возвращался. Через 20 лет после отъезда он был в Клину и встретился с какой-то своей знакомой.

С. Агишев: А сами вы читали «Колымские рассказы»?

Н. В. Маркина: Нет.

Л. Ф. Старкова: Нет. О том, что он там пережил, мне очень трудно сейчас читать.



## Анонимные свидетельства



### Доктор К.

Свидетельство врача-психоневролога из рассказа Амаяка Абрамянца «Шаламов». Впервые в книге А. Тер-Абрамян, «Витраж. Маленькие рассказы», М. 1993, электронная версия на сайте автора <http://armenianhouse.org/abramyants/fiction-ru/shalamov.html>

«Доктор К. отложил сигарету и отхлебнул из фужера коньяку, в его татарски прищуренных глазах заплясали чертики, высокий табачно-желтый лоб заблестел сильнее, чем обычно, и боевая мефистофельская бородка, казалось, заострилась. [...]

– Вот вы говорили, что Варлама Шаламова видели, – спрашиваю я.

Мы сидим в холостяцкой комнате доктора К. Обнаженная женская натура из французских журналов (впрочем, без пошлости) соседствует на стенах с «Красным конем» Петрова-Водкина, портретом Ахматовой. На книжном шкафу с Достоевским и Еврипидом в первом ряду – батарея пустых бутылок из-под коньяка Курвуазье. Он на миг задумывается, вспоминая.

– Как-то вечером звонят в дверь. Открываю – двое. Здесь, спрашивают, живет доктор К? Я – он и есть, отвечаю. Пригласил зайти. Сравнительно молодые, ведут себя вежливо, представились: Морозов и Григорянц. Чем могу служить?

– Тут одного товарища нашего съездить посмотреть надо, не могли бы? Из разговора, однако, понимаю: оба сидели. Ну потом поехали на Планерную, где лежал Шаламов, в дом престарелых. Туда его Борис Полевой устроил...

– Это от Союза писателей какой-нибудь?

– Какой там! Обычная горздравовская богадельня. Лежал он там вдвоем с умирающим стариком. В палате вонь: старик тот ходит под себя, на лице сардоническая улыбка... Пошел Григорянц, мы у открытой двери остались.

– Как он выглядел?

– Ну какой... Руки, голова дергаются, ходят ходуном – хорея Геттингтона, простыни срывает... Длинный, худой, совсем без живота... С вафельным полотенцем на шее – колымская привычка: там шарф – это жизнь, его и ночью с себя не снимают, хоть и весь во вшах, чтоб не украли. А под подушкой и в тумбочке леденцы, кусочки хлеба припрятаны – тоже лагерная привычка.

– Да, я помню его рассказы про голод – кладешь в рот кусочек хлеба и он сам растаивает, жевать не надо.

– ...Подпустил к себе только Григорянца, мне не поверил, третий – всегда стукач. Уж как его Григорянц ни уговаривал, мол, можно верить, наш человек – ни в какую: «Нет – и все!» – рукой отмахивается, а кисти широкие, жилистые – сильные... Да тут и без осмотра диагноз на расстоянии был ясен – пляска святого Витта.

– Это старческое?

– Не только: от частых травм тоже может быть, хотя редко. Но все-таки больше двадцати лет лагерей и по голове били – и охрана, и уголовники... Хотя на возрастное больше похоже.

– Ему ведь было примерно семьдесят пять тогда? Поразительное здоровье, столько перенести и дожить до таких лет, это уж от природы.

– Один из тысяч выжил... Вообще-то он из породы людей выносливых – высокий, жилистый. Да повезло еще: попал работать в санчасть. На лесоповале да в золотом забое никто долго не выдерживал.

Доктор К. допил коньяк и взял в рот сигарету, без которой мог жить, лишь когда спал и ел.

– В общем видно было, что дела его плохи. Вскоре он умер...»







## Сотрудницы редакций

Фрагменты рассказа Ирины Полянской «Тихая комната», опубликован в журнале «Новый мир», №3, 1995, сетевая версия на сайте Журнальный зал [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/1995/3/polyan.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/3/polyan.html) (В интервью под названием «Литература – это послание» Полянская говорит: «Я нашла и опросила нескольких людей, близко знавших Шаламова, и в результате этих изысканий собрала кое-какой материал. В итоге родился рассказ об этой комнате, построенный на свидетельствах

очевидцев, воссоздающий бытовые подробности и детали жизни этого писателя, нигде в рассказе прямо не называемого... Дом этот, к сожалению, давно снесен»).

«Одна женщина, работник редакции журнала, в который он приходил со стихами, вспоминала о нем так:

– Он был страшен, страшен, как огромный паук или краб, загребавший конечностями при ходьбе. Руки – как клешни, стригущие воздух, ступни огромные и косолапые. И под стать его телу был голос – сорванный, хриплый, изломанный. Одет он был во что-то темное, большое, точно с чужого плеча, в какую-то хламиду, как Христос у Крамского. Он вызывал страх и желание немедленно отвести глаза. Стихотворения его я прочитала позже и была потрясена несовпадением его облика с их чистой и культурной интонацией. [...]

Другая женщина, редактор его единственной прижизненной журнальной публикации, совсем иначе описала его:

– У него была поразительная осанка, с какой в прежние годы и в самом деле невозможно было удержаться на воле. Много я видела известных писателей, они все перебивали у нас в журнале, но даже у самых маститых, к кому приходилось гонять курьера за их рукописями, хотя они жили в двух минутах ходьбы от редакции, не было такой

осанки, как они ни пыжились. Это, наверное, врожденное. Он был высок, временами, когда чувствовал к себе расположение, делался красив, очень тщателен и разборчив в одежде. Помню его в длинном, черном, широком, почти рыцарском – на нем – плаще... Речь его была яркой, образной, за ним хотелось записывать. Он сопровождал свои рассказы плавной и крупной, как у священника, жестикуляцией. Замечательно читал свои и чужие стихи, особенно Пастернака, влияние которого чувствовал на себе какое-то время. Он любил хорошего, умного собеседника, буквально впивался в него и долго не отпускал...»





## Медсестра из дома престарелых

«С медсестрой, которая приняла его, грязного и заросшего, мне тоже удалось поговорить. [...]

Мне стыдно, что ее имя не сохранилось на пленке. Но можно видеть ее светлое лицо.

– Я помню Шаламова, когда он поступил к нам

в интернат. Это было давно уже, я точно даты не могу сказать. Он поступил к нам из дому. Его привезла по-моему, жена. Я теперь уже не могу конкретно сказать. И кто-то из Союза писателей, женщина молодая. Привезли его к нам в очень неухоженном состоянии. На нем было черное пальто. Очень пыльное, грязное. Он был весь обросший, невымытый. Его, конечно, обработали. Был у нас несколько дней в карантинном отделении, недели две. Потом его перевели во Второе отделение на 3-ий этаж. В двухместной комнате он у нас жил. Поселили его сначала с соседом, но он был очень... таким... Трудно было понять, что он хочет сказать, потому что речь у него была нарушена. Было такое заболевание... Уже прогрессирующее... И здесь он не мог ни с кем жить. Пришлось нам его перевести из этой палаты с соседом в другую палату. Потому что он своими движениями мог перевернуть тумбочку... Не мог никогда на белье спать, потому что он его так всегда комкал. Потому что у него были такие произвольные движения. Он даже не пользовался приборами и компот пил, и суп прямо из миски. Во всяком случае то, что он такой неопрятный... вот это у меня в памяти стоит – такое пальто черное, как будто все пыльное такое. Такое впечатление, как бомж сейчас поступает, так и он...

– И никаких признаков того, что перед вами стоит великий русский писатель?

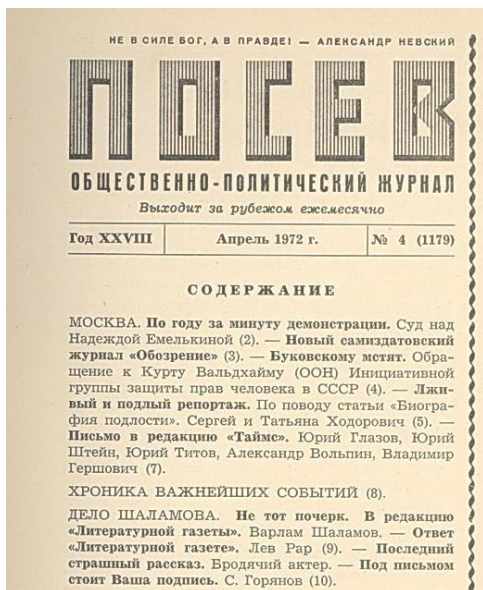
– Нет-нет-нет. Об этом даже речи не могло быть...

– Он понимал, что он пришел сюда по доброй воле?

– Нет. Он не понимал, что он пришел в интернат, нет. Ему безразлично было, где он находится в этот момент...»

Из материалов режиссера Александры Свиридовой, снятых в 1992 году для программы «Совершенно секретно» российского телевидения в доме престарелых в Тушино, расшифровка автора, приводится в ее очерке «О судьбе одного фильма». Свиридова поясняет: «Я сняла этот материал для телепрограммы «Совершенно секретно» в 1992 году, когда мы с Артемом Боровиком создали ее в первый, и как оказалось, последний год свободного телевидения России. Цитирую по сохранившейся у меня пленке».





## «Бродячий актер»

Из письма в редакцию эмигрантского НТС-овского журнала «Посев» в связи с шаламовским «Письмом в «Литературную газету» 1972 года. Напечатано в «Посеве» №4 (1179), 1972, в подборке материалов, представляющих собой ответ журнала «Литературной газете» и Шаламову лично. Электронная версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/252078.html>

---

«Прииски, лесозаготовки, лагерные больницы, «исторические» персонажи вроде доктора Доктора, сцены звериной беспощадности – всё это изображено Шаламовым потрясающе. Прошедший в те же годы все круги колымского ада, свидетельствую: в этих кошмарных рассказах – всё правда. [...] О достоверности описаний Шаламова сужу уже по тому, как он изобразил в рассказе «Эсперанто» моё с ним знакомство за кулисами лагерного театра. В основном всё верно. Всё правда.

-----

Автор этого письма – личный друг Варлама Шаламова. Если Шаламов прочтет это письмо – он узнает автора. Узнает – по когтям – и КГБ. Особые соображения, однако, не дают возможности раскрыть его псевдоним и для читателей журнала. – Ред.»

---

*\* От составителя. Действительно, в рассказе Шаламова «Эсперанто» так зовется рассказчик, конференсье лагерного театра, эсперантист, который «был на воле большим актером». Кто этот человек, не знаю. Могу осторожно предположить, что это, по словам Александра Gladkova, «сумасшедший эсперантист и чудак», бывший лагерник Николай Рытьков, бежавший на Запад и работавший диктором русской службы Би-Би-Си (см. в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»*

*<http://ru-prichal-ada.livejournal.com/259164.html> )*



## Точечные свидетельства о Шаламове

«Сначала Златоустовская срочная тюрьма, с 21 июля 1939 г. – на Колыме в Сусуманском районе, п. Аркагала и Кадыкгон [правильно – Кадыкчан, видимо, ошибка при оцифровке газетного текста – прим. составителя], которые вспоминает в своих рассказах Варлам Шаламов. С Шаламовым в 1941-1942 гг. жил в одном бараке, работал на одном участке в угольной шахте, иногда приходилось вдвоем с ним толкать одну и ту же вагонку. Освободился 29 сентября 1946 г., вместо 8 лет пробыл в заключении 9 лет 4 месяца».

Из воспоминаний **Константина Герасимовича Хоменко**, опубликованных в газете «Красноярский рабочий», 31.10.1992 г. Электронная версия на сайте Красноярского Мемориала <http://www.memorial.krsk.ru/Public/90/19921031.htm>

\* \* \*

«Варлам Шаламов (я еще встречал его, вышедшего на волю, сильно пьющего, знающего нечто запредельное, в голицынской писательской богадельне [имеется в виду Дом творчества писателей в поселке Голицыно – прим. составителя] по осени, когда там бывало дешевле)»

Из книги **Бориса Носика** «Русский XX век на кладбище под Парижем»  
[http://borisnossik.net/images/1055\\_1086\\_1075\\_1086\\_1089\\_1090\\_.doc](http://borisnossik.net/images/1055_1086_1075_1086_1089_1090_.doc)

От составителя. Речь, по-видимому, идет о конце пятидесятых – начале шестидесятых годов.

\* \* \*

«13-го ко мне приехал Гладков, мы взяли такси, заехали за Надеждой Яковлевной и отправились в университет. Н.Я. сказала, что ей звонил Шаламов, сказавший, что вечер отменили. Его действительно

собирались отменить, но потом каким-то чудом студентам удалось добиться, чтобы он состоялся. [...]

Арсений Тарковский сказал верные вещи, но в истерической интонации, лягнув попутно Есенина и Маяковского за успех у публики, которого-де никогда не искал Мандельштам. [...] Хорошо говорил Варлам Тихонович. Горячо, страстно, умно об акмеизме, от которого, по мнению Шаламова, Мандельштаму не надо было отказываться. Прочел он один из «Колымских рассказов» – не из лучших. [...]

После вечера мы большой компанией – Шаламов, Гладков, Коля Панченко, несколько знакомых и незнакомых мне людей, – обзаведясь в магазине у «Ударника» питьем и какой-то снедью, завалились к Надежде Яковлевне, которая живет на Лаврушинском, у Василисы Георгиевны Шкловской. Выпивали, закусывали, обсуждали выступления, говорили об акмеизме.

Литературный критик **Лев Левицкий**, «Дневник», опубликован в журнале «Знамья», электронная версия на сайте Журнальный зал <http://magazines.russ.ru/znamia/2001/7/levick.html>

\* \* \*

«Лично я виделся и разговаривал с Варламом Тихоновичем лишь однажды. Он пришел в редакцию «ЛГ», когда мне довелось там трудиться еще в первый заход, при Чаковском [по-видимому, 1977-78гг. – прим. составителя]. Глубоко больной человек, внешне изувеченный античный титан поинтересовался продвижением своей стихотворной подборки. Было мучительно смотреть на физические усилия этого крупного мыслителя. Впрочем, я тогда совершенно не знал его гениальной прозы, только мой тогдашний начальник Гулия конфиденциально заметил тогда же, что «Колымские рассказы» – это будущая классика. Что-то в таком роде, интригующее и пугающее одновременно».

**Виктор Широков**, «Гомер ГУЛАГа», опубликовано в Независимой газете, ноябрь 2007, сетевая версия на сайте журнала Скепсис [http://scepsis.ru/library/id\\_1607.html](http://scepsis.ru/library/id_1607.html)

\* \* \*

«В это утро во дворе больницы, в которой она [Ахматова, март 1966] умерла, собралось несколько сот человек. Пришедшие сюда добровольно осуществили дарованное советской конституцией право



на свободу собраний и свободу слова. Во дворе находился помост, назначение которого было неизвестно. За ним стоял столб с перекладиной. Люди стали подниматься на помост по одному и говорить о величии Анны Ахматовой и о своей скорби. Каждый из выступающих казался обреченным на виселицу. В стороне стояли какие-то ржавые бочки. Также в стороне топтались одинаково одетые незнакомые личности. Единственные ворота во двор были полуприкрыты. На улице перед воротами стоял автобус. К нам подошел Шаламов, шепнул: «Тут как раз та тысяча, о которой говорил Семичастный...»\*

-----

\* По Москве ходила фраза Семичастного о том, что, арестовав тысячу московских инакомыслящих, он установит в стране порядок».

**Наталья Яблокова-Белинкова**, «Погасшая елка», журнал «Грани» №136, 1985, электронная версия в библиотеке ImWerden <http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=1280>

\* \* \*

«... Как известно, помимо экспрессивной живучести в разных временах и слоях мат обладает таким ненавязчивым измерением, как уместность. Мои друзья помнят: когда Варлам Шаламов рассказывал о лагерной жизни матерным языком, правдивее и артистичнее ничего не было».

**Марина Токарева** в «Новой газете», № 13, 8 февраля 2012 <http://www.Novayagazeta.Ru/arts/50918.Html>

\* \* \*

«...Познакомился с В. Шаламовым, который – копия своих рассказов, что очень приятно».

Из письма учителя и диссидента **Анатолия Якобсона** Юноне Вертман, август 1965, с сайта, посвященного Якобсону <http://www.antho.net/library/yacobson/texts/shalamov.html>

\* \* \*

«[...] мои родственники, почти все отсидевшие, встретили меня чудесно, с моими кузенами в Москве я до сих пор поддерживаю самые теплые отношения. Затем появились и друзья, а через отца я имел счастье познакомиться с такими людьми, как Шаламов, позже установились дружеские отношения с Надеждой Яковлевной Мандельштам, с чудесным переводчиком Дюрренмата Н. Оттенем. [...]

И вот в январе 1968 года на квартире Надежды Яковлевны Мандельштам я познакомился с Солженицыным».

Переводчик **Александр Андреев**, сын Вадима Леонидовича Андреева, переправивший на Запад «Архипелаг ГУЛАГ», в интервью швейцарской газете «Наша газета», май 2011 <http://www.nashgazeta.ch/news/11732>

\* \* \*

«Когда я первый раз приехала в лагерь, а меня опекали старые лагерники, Шаламов мне рассказывал про лагерь, Домбровский мне рассказывал про тюрьму, ссылку, Наталья Ивановна Столярова. Вот они меня опекали, объясняли, как там будет. И в основном как там плохо, как там голодно, как трудно сохраниться».

**Мария Розанова**, жена Андрея Синявского, в беседе на Радио Свобода, 23 окт. 2004, электронная версия на сайте радиостанции <http://archive.svoboda.org/programs/encl/2004/encl.102304.asp>

Из другого ее интервью:

«...я ехала в первый раз на свидание к Синявскому, и меня опекали старые лагерники – те же самые Шаламов, Домбровский, Копелев – я с ними познакомилась только после ареста Синявского – рассказывали, как в лагере трудно».

Рижская газета «Вести сегодня», 146 (889) 27.06.2002, интервью с **Марией Розановой** Николая Кабанова, электронная версия на сайте Белый мир <http://www.whiteworld.ru/rubriki/000104/019/02062816.htm>

\* \* \*

«Меня в 60-м году с Варламом Тихоновичем в Москве Надежда Яковлевна Мандельштам познакомила и дала мне на одну ночь прочитать рукопись «Колымских рассказов». Меня первоначально стихи его поразили. Но рассказы я читала с валидолом. И утром понять не могла, на каком я свете. Казалось, уже на том. А Надежда Яковлевна с ее ядо-

витостью и говорит мне: «Вот и вы теперь, Тамара Юрьевна, знаете, что посылнее «Фауста» будет».

Геннадий Трифонов в статье о Викторе Астафьеве и Тамаре Хмельницкой, журнал «Континент», №114, 2002

<http://magazines.russ.ru/continent/2002/114/trif.html>

От составителя.

Ученица Тынянова и Шкловского, литературовед и переводчик **Тамара Юрьевна Хмельницкая**, конечно, запомнила – познакомить ее с Шаламовым Надежда Мандельштам могла не раньше 1965 года. Слова Мандельштам саркастически отсылают к известной сентенции Сталина.

\* \* \*

«После смерти Сталина была объявлена большая амнистия, и наш дом превратился в перевалочную базу для еврейских заключенных, каким-то образом знавших наш адрес. Эти люди выглядели ужасно: тощие, грязные, оборванные. Они спали под столом, на печке, в сенях. Бабушка их кормила, чем могла, а они рассказывали... и это были страшные рассказы. Когда такие разговоры велись, меня изгоняли, но кое-что я умудрялся подслушать. Это были настолько страшные истории, что я долго отказывался им верить. Много позже, пересказывая их Варламу Шаламову, я спросил: «Могло ли такое быть или это лагерный фольклор?». Он сказал: «Было!.. Это даже не самое страшное».

**Эйтан Финкельштейн**, физик, активист сионистского движения с СССР, диссидент

<http://kosharovsky.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E/%D1%8D%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD/>

\* \* \*

«Первыми читателями моей работы [о Сталине] были молодые историки Виктор Данилов, Михаил Гефтер, Норайр Тер-Акопян, Яков Драбкин. Немного позже я познакомился также через обсуждение своей рукописи и с известными писателями: К. Симоновым, В. Дудинцевым, А. Беком, Е. Гинзбург, В. Аксеновым, В. Тендряковым, В. Шаламовым, В. Кавериним, А. Солженицыным».

Историк, диссидент **Рой Медведев**, из воспоминаний  
[http://www.kniga.com/books/preview\\_txt.asp?sku=ebooks180211](http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks180211)

\* \* \*

### *Человек, «прекрасно знавший» Шаламова*

От составителя. Нигде в связи с Шаламовым не встречал фамилии Говорова, но на всякий случай привожу фрагмент из интервью с последним (1995), где Говоров говорит, что не только «прекрасно знал» Шаламова, но и «общался с ним почти до самой его смерти», то есть, по смыслу, чуть ли не в бытность Шаламова пациентом дома престарелых. Никаких следов этого не нашёл.

---

**«Александр Алексеевич Говоров** – доктор исторических наук по специальности «Книговедение».

Он же заведует кафедрой книжной торговли и истории книги на факультете издательского дела и книжной торговли Московской государственной академии печати.

Он же – профессор по специальности «Управление и экономика».  
[...]

– Вы же не писали о лагерях?

– Не писал. Как для профессионала это не мой период истории. И потом, я многих знал, кто хорошо об этом написал. Например, Варлам Шаламов, которого я прекрасно знал и общался с ним почти до самой его смерти. Перед «ГУЛАГом» Солженицына я преклоняюсь. Хотя как историк могу сказать, что кое-что там бездоказательно. Но, читая, я нашёл там имена людей, которые исчезли из моей жизни, а он их нашёл.

– Вы редкий человек, который делает акцент не на ужасах того времени, а спокойно, без надрыва размышляет...

– Если я скажу, что лагеря сделали меня человеком, Вы же не поверите.

– Вряд ли это стоит брать на вооружение.

– Вот и Шаламов говорил: лагеря – хороший урок, но не дай его Бог никому. Его психика была сломлена, а моя – нет. Кстати, я был четвертым освобождённым в Союзе в 1953-м году, у меня справка об освобождении № 4. Меня часто спрашивают: что мне, 23-летнему, запомнилось тогда в лагерях? Запомнилось, что у советской власти не было врагов.

– У власти, которая Вас и их туда посадила?

– А что Вы думаете? Может, я тогда молод был, романтик».

И. А. Панкеев, «Я иду к цели с тринадцати лет...», 2010 г., с сайта Российской книжной палаты

[http://www.bookchamber.ru/projects/knigochey/kngch\\_uk.html](http://www.bookchamber.ru/projects/knigochey/kngch_uk.html)

\* \* \*

«Журналист **Анна Голембиовская**:

– Я встречалась с Варламом Шаламовым в 80-е годы [очевидная ошибка памяти, речь, конечно, о семидесятых годах – прим. составителя]. Это было еще до второй горбачевской «оттепели», и такие люди как Шаламов не были тогда героями дня, как позже в «перестройку». Но мы уже знали, кто они, в нашей собственной, неофициальной истории и жизни. Они уже были обозначены для нас как люди, мимо опыта которых нельзя пройти.

Шаламов все время ходил в шарфе, кутался в него. [...]

Когда я приехала к нему и попробовала заговорить о лагере, он сказал: нет. Это был слишком трудный опыт.

Встреча с Шаламовым была для меня значима еще и потому, что я знала, что он пострадал в том числе и из-за любимого мною Бунина».

Из статьи Елены Яковлевой «Он промерз на века» в Российской газете от 30/10/2013 <http://www.rg.ru/2013/10/30/repressii.html>

От составителя. Мои попытки выяснить через автора статьи, по какому делу Голембиовская приезжала к Шаламову, успехом не увенчались.

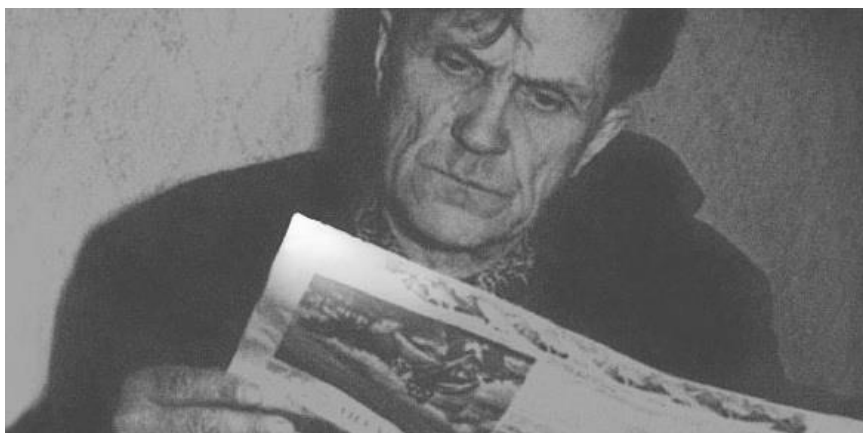


**КОНСПЕКТ  
ПОСЛЕЛАГЕРНОЙ  
БИОГРАФИИ  
ВАРЛАМА ШАЛАМОВА**

**Дмитрий Нич**

**КОНСПЕКТ ПОСЛЕЛАГЕРНОЙ БИОГРАФИИ**

**ВАРЛАМА ШАЛАМОВА**



**ЛИЧНОЕ ИЗДАНИЕ  
2014**

*Конспект сделан на основе написанной мной летом 2011 года для книги «Московский рассказ» (электронная версия в биб-ке ImWerden)*

*<http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=3105> краткой биографии Шаламова 1960-80-х годов, расширен за счет пятидесятих и дополнен фактами, которых я в то время не знал. На мой взгляд, на сегодняшний день эта сводка с должной полнотой освещает все стороны жизни и деятельности Шаламова послелазерного периода в необходимом отечественном и международном контексте. Там, где информации недостаточно, могут и даже должны встречаться неточности, охотно исправлю, если укажете.*

**ВОСХОЖДЕНИЕ  
ПИК  
КРАХ  
АГОНИЯ**





## **ВОСХОЖДЕНИЕ**

### **1953**

Ноябрь. Освобождение с Колымы. Перелет в Иркутск, от туда по железной дороге в Москву. Встреча с женой, Галиной Гудзь, и Борисом Пастернаком, в течение многих лет кумиром Шаламова и адресатом его писем с «полюса холода». Поиски пристанища и работы в окрестностях Москвы – проживание в столице и больших городах бывшим заключенным запрещено. Отныне и на протяжении последующих тридцати лет политическая полиция не будет спускать с него глаз. Архив Шаламова сожжен родственниками. Квалификация лагерного фельдшера здравотделами Подмосковья не признается, Шаламов находит работу товароведом в стройуправлении в поселке Озерки Калининской области, живет в бараке, предназначенном для сезонных рабочих. Погружен в чтение рукописи романа Пастернака «Доктор Живаго», который скрупулезно рецензирует в письме к автору. Казнь Лаврентия Берия.

### **1954**

Первое упоминание в письме Пастернаку о поэтических сборниках внутри корпуса «Колымских тетрадей» – цикл «Сумка почтальона» (первый по очередности сборник, «Синяя тетрадь», стихийно получил имя от Пастернака). Невозможность наладить отношения с дочерью, воспитанной в духе сталинистского конформизма – живое опровержение «мичуринским» учением «вейсманистских» предпочтений Шаламова. Стихи пишутся непрерывно, кажется, «этот поток никогда не иссякнет». Начало работы над короткой лагерной прозой. Устраивается экспедитором в предприятие по добыче торфа, квартирует в общежитии барачного типа в поселке Туркмен Калининской области, дважды в месяц по выходным несмотря на запрет приезжает в Москву к семье. «Работа в бесперывных разъездах».

## 1955

Находит в Туркмене богатую поселковую библиотеку, укомплектованную ссыльнопоселенцем инженером Караевым, которая «духовно воскрешает» его, жадно читает, наверстывая упущенное, в повседневной жизни молчалив и необщителен, в еде неприхотлив. «Состряпал, – как он выражается в январском письме колымчанину Добровольскому, – с десятков рассказов» (вдвое больше того, что дают датировки Сиротинской). Посещает Дрезденскую галерею, выставленную в Москве перед отправкой в Германию, выносит сильное впечатление, которым щедро делится в письмах. Короткая поездка в Ленинград. Подает заявление на имя генерального прокурора с просьбой о реабилитации. С профессиональной точки зрения существует вне какой бы то ни было литературной среды. В самом общем виде прозаический замысел Шаламова содержит сотню рассказов – цифра вполне условная, характеризующая только масштаб задуманного, соотносимый с произведением Пастернака и вообще классиками. По собственному признанию, измучен работой и отсутствием душевной поддержки во всех начинаниях. Поездка в Петрозаводск. Живо переписывается с товарищами по Колыме, к концу пятидесятых эта переписка сойдет на нет. Вынашивает «трактат о ворах».

## 1956

Подробное письмо Пастернаку с анализом второй части романа «Доктор Живаго». Двадцатый съезд партии, на котором Хрущев делает свой знаменитый секретный доклад, разоблачающий «культ личности» Сталина. Короткий и страстный, в том числе эпистолярный, роман Шаламова с возлюбленной Пастернака привлекательной и циничной авантюристкой Ольгой Ивинской, к которой он ездит на дачу в Измалково близ Переделкино. Официально реабилитирован «по вновь открывшимся обстоятельствам» с разрешением жить в Москве. Вторая личная встреча с Пастернаком. Знакомство с подругой Ивинской детской писательницей Ольгой Неклюдовой. Разрыв с Ивинской и как следствие – с Пастернаком, последним, впрочем, едва замеченный. Спустя десять лет глубоко уязвленный Шаламов в письме к Надежде Мандельштам назовет Ивинскую «какой-то сукой», под влияние которой Пастернак попал по «суетности и малодушию». Развод с Галиной Гудзь, по мнению Шаламова, беззащитно использовавшей его для сближения с окружением Пастернака, женитьба на Неклюдо-

вой и переезд в Москву, в коммунальную квартиру на Гоголевском бульваре. Устройство за нищенскую оплату внештатным корреспондентом в журнал «Москва». Подавление советским режимом Венгерской демократической революции. Папка Шаламова в госбезопасности постоянно пополняется донесениями стукачей и фотографиями, сделанными при слежке. Среди написанных за три года рассказов – «Одиночный замер», «По снегу», «Шоковая терапия», «Медведи», «Апостол Павел», «Букинист», «Татарский мулла и свежий воздух».

### 1957

На протяжении второй половины пятидесятых работает над «материалом о ворах», который позже будет оформлен в сборник «Очерки преступного мира». Сходится и поддерживает дружеские отношения с поэтом Борисом Слуцким. Публикация первой подборки из шести стихотворений в журнале «Знамя». Навещает вместе с пасынком Сергеем Неклюдовым живущую в Сухуми сестру Галину Сорохтину. Случайная встреча с товарищем по Москве двадцатых годов, бывшим лагерником рязанцем Яковом Гродзенским, который до конца жизни будет оставаться заботливым и преданным другом Шаламова. Ликвидация Дальстроя. Арест в райцентре Ягодное на Колыме товарища Шаламова Аркадия Добровольского и политический процесс в духе классических расправ минувшей эпохи, за которым встревоженный и удрученный Шаламов следит через жену Добровольского Елену Орехову. Журналы возвращают стихи (более сотни), взятые год назад. Публикация небольших очерков на актуальные темы в разделе «Смесь» в журнале «Москва», всего в течение 1957-58 гг. здесь будет напечатан десяток шаламовских статей и заметок. Встречается в Москве с колымским товарищем магаданцем Борисом Лесняком, которого не видел несколько лет. Выход в Италии романа Пастернака «Доктор Живаго». Переезд в коммунальную квартиру на Хорошевскую, 10, в дом на грохочущем шоссе, рядом с железной дорогой и цементным заводом. Резкое ухудшение состояния здоровья, приступы с потерей сознания и многомесячная госпитализация в Институте неврологии, а затем в Боткинской больнице, где Шаламову ставят диагноз «болезнь Меньера». Близко наблюдавший Шаламова Неклюдов обрисовал случившееся в таких словах: «...он ведь производил впечатление невероятно крепкого, жилистого, кряжистого, очень сильного физически... человека. И

прошло несколько месяцев... – все поехало, знаете, как будто из человека вынули какую-то важную ниточку».

### **1958**

Получение третьей группы инвалидности с ничтожной пенсией. Шаламов бросает курить, начинает регулярно принимать сильнодействующее снотворное. Еще одна поездка в Сухуми к сестре. Присуждение Пастернаку Нобелевской премии, травля его в советской печати, исключение из Союза писателей и отказ от премии, который Шаламов, по донесению осведомителя госбезопасности, порицает и считает непростительной ошибкой с далеко идущими литературными и общественными последствиями. Подборка из пяти стихотворений в журнале «Москва». Написаны рассказы «Шерри-бренди» (по другим данным – 1954\*) и «Васька Денисов, похититель свиней».

### **1959**

Переход на работу внутренним рецензентом в журнал «Новый мир». Материальное положение семьи граничит с нищетой, однако Шаламов упорно и продуктивно работает над колымской прозой, не имеющей, кстати, ни малейших шансов быть напечатанной. Среди рассказов, написанных за год – «Сухим пайком», «Сука Тамара», «Крест», «Май», «Июнь» (ответ на военную тематику официальной советской литературы), «Берды Онже», «Ягоды», «Выходной день». Примерно в это время передает в издательство «Советский писатель», руководимое сталинистом и агентом госбезопасности Николаем Лесючевским, комплект колымских рассказов и очерков в объеме более тридцати текстов.

### **1960**

Семья занимает две комнаты коммуналки, одна из которых причудливо разгорожена на крохотные «пеналы» для Шаламова и Сергея Неклюдова. Изнуряющая поденщина в «Новом мире» в качестве рецензента журнального «самотека». Без сомнения, не выпадает из поля зрения политической полиции, материалы которой по Шаламову шестидесятых-восьмидесятых годов так и не рассекречены либо вообще уничтожены. Смерть Пастернака, продолжающегося оставаться в глазах Шаламова великим поэтом и

выдающимся прозаиком, проявившим, однако, недостойную слабость в ни на гран не утратившей актуальности истории с Нобелевской премией. Шаламов присутствует на похоронах. С дочерью Еленой, жестоко выговорившей отцу за уход от матери, Шаламов отношений не поддерживает. Дочь тем временем переносит болезнь, вследствие которой биологическая линия Шаламова прерывается. Наведывается в Перedelкино.

### 1961

В издательстве «Советский писатель» под редакцией Виктора Фогельсона, с тех пор неизменного редактора всех изуродованных цензурой и редакторской правкой поэтических книжек Шаламова, крохотным для того времени тиражом (2000 экз.) выходит сборник стихов «Огниво». XXII съезд правящей коммунистической партии решает вынести мумию Сталина из Мавзолея, политическая атмосфера либерализуется. Шаламов предлагает в «Новый мир» свою колымскую прозу и стихи из «Колымских тетрадей» (несколько позже Солженицын передает в журнал через Копелевых рассказ «Щ-854», известный под нейтральным названием «Один день Ивана Денисовича»). Среди рассказов, написанных за два года – «Припадок», «Стланик», «Надгробное слово», «Посылка», «Академик». До сих пор весь массив написанного, включающий порядка шестидесяти рассказов и очерков, фигурирует под общим названием «Колымских рассказов», принадлежащем, возможно, не самому Шаламову, а так сказать носящемся в воздухе, о каком-либо делении на циклы свидетельств нет.

### 1962

Цикл «Колымские рассказы» из 33 текстов получает вид, близкий к окончательному. Продолжает работать за гроши внутренним рецензентом «Нового мира». Твардовский отвергает «колымскую» прозу Шаламова, рекомендованную ему заместителем главного редактора Алексеем Кондратовичем и писателем Георгием Владимовым; по свидетельству Сергея Григорьянца со слов также ходатайствовавшего за Шаламова заместителя редактора Игоря Саца, он называет их «какими-то очерками». Шаламов выступает в телевизионной программе с чтением стихов, запись передачи не сохранилась. Карибский кризис. Знакомство Шаламова со скульптором и литературоведом Федотом Сучковым, в буду-

цем автором надгробного памятника на могиле писателя; с Александром Солженицыным. «Новый мир» публикует повесть последнего, о которой Шаламов отзывается восторженно; в ближайшие пару лет повесть распространится по СССР общим тиражом под миллион экземпляров, сделав имя Солженицына известным всей читающей публике. Шаламов пишет для «Знамени» серию очерков о Москве двадцатых годов, которые журнал не печатает. «Литературная газета» отклоняет предложенную подборку стихов. Твардовский отклоняет стихи Шаламова, рекомендованные ему Солженицыным («Колымских рассказов», за которые автор тоже просит замолвить слово, тот даже не показывает). Вологодское книжное издательство в лице директора Владимира Малкова отказывается принять сборник его стихов. Поэтический сборник, предложенный Шаламовым издательству «Молодая гвардия», тоже не увидит свет. Незамеченным выступает на организованном Слуцким поэтическом вечере в старом здании МГУ. Состояние здоровья и мнительность Шаламова заставляют вести его несколько чудаческий образ жизни профессионального инвалида.

### 1963

Интенсивное общение и переписка с Солженицыным, чьи письма Шаламову до сих пор не опубликованы. Недолго гостит у него на даче в Солотче, откуда возвращается с «белыми от ярости глазами», свидетельствующими о несовместимости двух этих человеческих типов. «Литературная газета» отклоняет стихи из «Колымских тетрадей». Знакомится с Юрием Домбровским, находящим в «Колымских рассказах» «тацитовскую лапидарность и мощь». Готовит новый поэтический сборник. Быт, обстановка аскетичной клетушки – кровать, стол, пара стульев, тумбочка, наглухо задраенное окно. РГАЛИ выдвигает Солженицына на Ленинскую премию, Шаламов – его горячий сторонник. Магаданец Борис Лесняк снабжает Шаламова материалами для работы. В самиздате («в начале 60-х годов»), по словам филолога диссидента Юрия Мальцева, ходят три «толстых машинописных тома» «Колымских рассказов»\*\*, о машинописном трехтомнике упоминает и поэт Олег Чухонцев, правда, без временной привязки. По словам Алексея Симонова, во второй половине пятидесятых – первой половине шестидесятых у Шаламова имеется несколько тайников для накапливающихся «Колымских рассказов», один из них – у тетки Симонова Софьи Ласкиной. Как минимум однажды посеща-

ет Дом творчества в Голицыно под Москвой. Шаламову не чужд азарт футбольного болельщика – он фанат московского «Спартака», особенно в его играх против армейского футбольного клуба. Другую спортивную страсть, шахматы, он давно обуздал, почувствовав, что она начинает мешать его литературным занятиям, хотя за турнирами класса матчей на звание чемпиона мира продолжает следить увлеченно и с прилежанием. Среди рассказов, написанных за два года – «Утка», «Прокаженные», «Необращенный», «Уроки любви».

## **ПИК**

### **1964**

На предложение Солженицына вместе писать «Архипелаг ГУЛАГ» отвечает категорическим отказом, однако в ноябре отправляет ему письмо, явно предназначенное для будущей «истории лагерей». Создает, среди прочего, рассказы «Почерк», «Кусок мяса», «Поезд». Поездка в Тарусу. На исходе лета издательство «Советский писатель» возвращает Шаламову сборник «Колымские рассказы», пролежавший там несколько лет, аргументируя тем, что его «герои лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична». В течение года этот шлагбаум развернет Шаламова к решению передать отвергнутую книгу на Запад. Усилиями Гродзенского и колымских друзей получает надбавку к пенсии за «горняцкий стаж» и бросает опостылевшую работу внутренним рецензентом. При жизни Шаламова «Новый мир» не опубликует ни одной его строчки, а Твардовский так и не сочтет нужным с ним встретиться (во всем «новомирском дневнике» Твардовского Шаламов мимоходом упоминается один раз и то в примечании, сделанном впоследствии дочерью, а сам Шаламов пишет о «категорическом отказе Твардовского» печатать его рассказы и стихи). В издательстве «Советский писатель» выходит сборник стихов «Шелест листьев». Поездка с Неклюдовой в Ленинград, где Шаламов видится с проживающими там земляками-вологжанами и товарищами по Колыме. Будучи членом Литфонда, предложения о вступлении в ССП неизменно отклоняет. Формулирует доморощенное нравственное учение «живых Будд» – высокой пробы ин-

теллигентов и людей искусства, чьи слова не расходятся с делом, – к которым стихийно относил еще Пастернака, а впоследствии будет причислять Ахматову, Н. Мандельштам и, несомненно, себя, в конце концов разочаровавшись во всех. Отставка Хрущева. Окончательное превращение брака с Ольгой Неклюдовой в простое сожительство в соседних комнатах коммунальной квартиры. Начало дружбы и доверительных отношений с Натальей Столяровой, в юности возлюбленной поэта Бориса Поплавского, по возвращении в СССР лагерницей, а ныне секретарем Ильи Эренбурга, связанной с парижской русской эмиграцией правоцентристского толка. Знакомство с диссидентом Сергеем Григорьянцем, через которого списки «Колымских рассказов», поначалу без ведома Шаламова, попадут на Запад – в Германию и Италию, судьба этих списков неизвестна. Журналистка Фрида Вигдорова, известная стенограммой процесса над Иосифом Бродским, по собственной инициативе тиражирует и распространяет в самиздате машинописный том «Колымских рассказов». Эта двухсотпятидесятистраничная книга (хранится в архиве Международного Мемориала, произвольно датируется 1966 годом), оригинал которой восходит к авторской редакции рубежа 1964–65 гг., состоит из двух частей: окончательно оформленный цикл «Колымские рассказы» и безымянный «Сборник второй», подобие «цикла» из 11 новелл, вошедших впоследствии в «Левый берег». Создавшаяся критическая масса вызывает лавинообразный процесс порождения новых текстов – в течение четырех лет (1964–67) Шаламовым написано около половины всех «Колымских рассказов».

## 1965

Впечатляющее выступление на мехмате МГУ на вечере, посвященном Мандельштаму, знакомство с его вдовой, быстро переходящее в тесную дружбу. Немного позже сблизается с бывшим лагерником, филологом и философом Леонидом Пинским, принимающемся вместе с Шаламовым за структурирование огромного массива уже написанного. Убедившись, что о публикации своей колымской прозы в СССР можно забыть, Шаламов – еще в одиночку – интенсивно готовит для издания за границей уже давно сложившийся в окончательной редакции сборник «Колымские рассказы»; ему должно сопутствовать предисловие, печатавшееся впоследствии Сиротинской как эссе под названием «О прозе» – первая серьезная попытка автора сформулировать принципы



своего искусства повествования. Передача сборника за рубеж откладывается, по-видимому, в связи с арестом Синявского и Даниэля и последующими событиями. Побочным эффектом этой задержки станет то, что на будущий год Шаламов отошлет в Америку уже три сборника колымской прозы – таков его ответ на приговор советского суда двум получившим большие сроки отщепенцам-антисоветчикам. Первое упоминания в письме Шаламова к Мандельштам о циклах помимо собственно «Колымских рассказов» – «Артист лопаты», «Левый берег», «Уроки любви». В журнале «Сельская молодежь» публикуется рассказ «Стланик» – единственный текст из КР, напечатанный в СССР при жизни Шаламова, хотя по утверждению критика Геннадия Красухина, еще какой-то рассказ Шаламова был напечатан в 1965/66 гг. в еженедельнике «РТ-программы», где Красухин работал тогда литературным обозревателем. Сергей Григорьянц безуспешно предлагает «Колымские рассказы» в киевскую «Радугу» и другие журналы. Подборка из шести стихотворений в журнале «Знамя». Шаламов случайно узнает о местонахождении физика Георгия Демидова, своего колымского товарища и без преувеличения образцового русского интеллигента, проживающего в Ухте, работающего инженером-рационализатором и пишущего собственную колымскую прозу, весьма, впрочем, далекую в стилевом отношении от «новой прозы» Шаламова. В самиздате ходит расширенный вариант упомянутой выше двухчастной машинописной книги КР общим объемом не менее 270 страниц. Смерть Фриды Вигдоровой. Прочно укореняется в диссидентском окружении Надежды Мандельштам, Пинского, супругов Джорджа и Елены Грин, с которыми знаком и через Н. Мандельштам, и через свою машинистку Елену Колобашкину-Кавельмахер. Среди знакомых Шаламова шестидесятых годов – литературовед, семиотик Юрий Лотман, литературовед и переводчик Вера Клюева, художник Владимир Вейсберг, американские слависты Сидней Монос и Джеймс Биллингтон, филолог Эмма Герштейн, географ Елена Лопатина, диссиденты историк Рой Медведев, бард Александр Галич, учитель Анатолий Якобсон, литературовед и переводчик Лев Копелев, семиотик Вячеслав Вс. Иванов и многие другие. Коренным образом меняет свое отношение к Солженицыну на неприятие и презрение, аттестуя его: «авантюрист и делец», – хотя инерция отношений продолжится еще года три. Демидова «прорабатывают» в Ухтинском горкоме партии за антисоветскую направленность сочинений. Гибель шаламовской кошки Мухи, повергающая его в глубокую скорбь.

Единственная встреча Шаламова с Анной Ахматовой, которую он спустя несколько лет переосмыслит с брезгливостью и сарказмом. Знакомство с активисткой самиздата и диссиденткой Натальей Кинд и ее мужем Иваном Рожанским, связанными с европейской русской диаспорой и переправляющими неподцензурную литературу на Запад. Поездка в Верею на дачу к Надежде Мандельштам. Подборки из девяти стихотворений в журнале «Юность» и семи в архангельском альманахе «Поэзия Севера». Федот Сучков создает скульптурный портрет Шаламова (хотя вполне вероятно, что на год позже, когда Шаламов дарит ему обширный список «Колымских рассказов»). Творческий пик Шаламова – среди написанного за этот год рассказы «Прокуратор Иудеи», «По лендлизу», «Сентенция» (с посвящением Н. Мандельштам), «Погоня за паровозным дымом», «Облава», «Лида». Сборники рассказов Солженицына, печатавшихся в «Новом мире», выходят за рубежом в переводах на английский и немецкий. Присуждение Нобелевской премии Михаилу Шолохову. Демонстрация на Пушкинской площади в поддержку находящихся под следствием Синявского и Даниэля, из наблюдения за которой, по свидетельству Вячеслава Вс. Иванова, Шаламов выносит «обнадеживающее» впечатление.

## 1966

Встреча Нового года у Надежды Мандельштам в компании филологов Живовых и диссидента Вадима Борисова. По мнению хозяйки, «Шаламов – лучший прозаик двадцатого века». В течение трех последующих лет бывает у нее по меньшей мере еженедельно. Знакомит Демидова, проводящего в Москве отпуск, со своими друзьями. Суд над Синявским и Даниэлем, горячо обсуждающийся в полуподпольных диссидентских кругах, в частности, в доме Пинского, где зачитывается шаламовское «Письмо старому другу»: «Может ли быть в правде прошлой нашей жизни граница, рубеж, после которой начинается клевета? Я утверждаю, что такой границы нет, утверждаю, что для сталинского времени понятие клеветы не может быть применено. [...] Что было бы, если бы Рей Брэдбери жил в Советском Союзе, сколько бы он получил лет – 7? 5? Со ссылкой или без нее? [...] Как можно обвинять писателя в том, что он хочет печататься? [...] Море человеческой крови было пролито на советской земле, а Горький освятил массовые убийства». Это письмо будет анонимно опубликовано в «Белой книге» по делу Синявского и Даниэля, составленной дисси-

дентом Александром Гинзбургом, и квалифицировано на суде как «антисоветское». Судя по дневнику Александра Гладкова, в либерально-диссидентских кругах посвященных оно воспринимается как ответ Шаламова на кровожадный призыв Михаила Шолохова с трибуны партийного съезда к расправе над Синявским и Даниэлем и вообще писателями, осмеливающимися в обход начальства публиковать свои произведения за границей. Об авторстве Шаламова догадываются, но вслух не говорят, и сам Гинзбург определенно узнаёт об этом только по выходе из лагеря от Леонида Пинского. Столярова рассказывает Шаламову выдуманную историю о гимназической золотой медали матери, которая ляжет в основу большого неудачного рассказа «Золотая медаль». В близком к каноническому варианте оформлены циклы «Артист лопаты» и «Левый берег». Шаламов интенсивно работает над будущим сборником «Воскрешение лиственницы», для которого пишет одноименный рассказ (фактически посвященный Н. Мандельштам), а также новеллы и стихотворения в прозе «У Флора и Лавра» (фактически посвященное Наталье Столяровой и почему-то оставшееся в публикациях Сиротинской за пределами корпуса), «За письмом», «Белка», «Храбрые глаза», «Водопад», «Рябоконь». Мимолетное знакомство у Надежды Мандельштам с Иосифом Бродским, кажется, пробудившим в Шаламове холодную антипатию. По словам Лесняка, относит в издательство «Советский писатель» комплект «Колымских рассказов» – вторично, поскольку три года назад их уже отклонили. Не совсем понятно, действительно ли Шаламов предлагал их издательству, в каком количестве, сколько они там пролежали и когда были возвращены. По значительно более весомому свидетельству критика Олега Михайлова, в издательстве в то время лежали «Очерки преступного мира», на которые он писал внутреннюю рецензию. Издает в подпольной переплетной мастерской Пинского неподцензурный двухтомник «Колымских тетрадей», включающий шесть циклов стихов и почти без изменений копировавшийся потом Сиротинской для российских изданий, где она числится составителем. С архивисткой Ириной Сиротинской, своей будущей любовью и душеприказчицей, знакомится по ее инициативе весной этого года и соглашается сотрудничать с ЦГАЛИ; той же весной знакомится с Ириной Каневской, которая впоследствии по просьбе автора переправит его пятитомник колымской прозы в Париж для издания собранием сочинений. Через знакомого Надежды Мандельштам слависта-мандельштамоведа Кларенса Брауна передает Глебу Струве в Нью-Йорк шестисот-

страничный машинописный список трех сборников – «Колымские рассказы», «Артист лопаты», «Левый берег» – включающий около сотни текстов, для издания книгами (по утверждению редактора сайта shalamov.ru Сергея Соловьева, в архиве Шаламова «есть намеки на участие в этом процессе А.В. Храбровицкого»). Рассказы, однако, попадают в «Новый журнал», редактируемый Романом Гулем, и вопреки авторской воле в течение одиннадцати лет издательски печатаются небольшими подборками, подвергаясь к тому же правке. Борис Лесняк пытается устроить Шаламову «рабочее место» в своей пустующей московской квартире, но безуспешно – устав жилищного кооператива не позволяет в отсутствие хозяев давать ключи от дома чужим. Задумывает оставшуюся неосуществленной повесть, в основе которой – биографии эсерки-террористки Натальи Климовой и ее дочери репатриантки и активистки диссидентского движения Натальи Столяровой. Встреча с Ильей Эренбургом, «Колымских рассказов», впрочем, не читавшим и, похоже, так не прочитавшим. Эренбург: «Шаламов злой, но не в этом сила». Драматург Александр Гладков отмечает в Шаламове «своего рода фанатизм», сочетающийся со «сложным быстрым умом, вкусом, тонкостью». На сына Пастернака Евгения Шаламов производит впечатление «очень сильного человека, раздавленного танком или что-то вроде того». Подборка из пяти стихотворений в журнале «Юность». Солженицын выступает с чтением отрывков из своих произведений в залах множества уважаемых московских учреждений, в одном из выступлений упоминает Шаламова: «Колыму он исчерпал». Официальный развод Шаламова с Ольгой Неклюдовой. Знакомит Сиротинскую с Надеждой Мандельштам, которая привлекает ее к изъятию архива мужа у текстолога Николая Харджиева и, по словам Сиротинской, обещает взамен передачу этого архива в государственное хранилище. Отказ журнала «Наш современник» печатать «Очерки преступного мира» (единственное упоминание в прижизненной советской критике о колымской прозе Шаламова характеризовало ее как книгу об уголовниках). Примерно тогда же издательство «Московский рабочий» отклоняет стихи Шаламова, лежавшие там как минимум с прошлого года. «Мое завещание» Надежды Мандельштам.

По имеющимся свидетельствам, опять встречается Новый год в доме Надежды Мандельштам вместе с Натальей Стояровой и Вадимом Борисовым. Постоянное присутствие симптомов неврологического заболевания, которые диагноз, поставленный в пятидесятых годах в Боткинской больнице, позволяет отнести к болезни Меньера: головокружения, глухота, некоординированность движений, иногда припадки с потерей сознания. Лечится у профессора-невропатолога Петра Перли. Арест Александра Гинзбурга. Солженицынское «Письмо съезду» Союза советских писателей мобилизует фрондирующую интеллигенцию на подписание петиций в его поддержку, Шаламов же видит в «Письме» ничем не угрожающую автору расчетливую саморекламу. Поездка Шаламова в Ленинград на могилу Ахматовой (по несколько сомнительному сообщению Бориса Лесняка, отношения с которым к тому времени заметно охладели). Выходит его третья поэтическая книжка, «Дорога и судьба», «осколки колымских тетрадей», «собрание стихов-калек, стихов-инвалидов (как и в «Огнive» и в «Шелесте листьев»)». Последний обмен письмами с Солженицыным: «роман умер». В Кельне без ведома автора со списка, полученного, по видимому, немецкими студентами от Сергея Григорьянца, издательство Фридриха Миддельхауве выпускает на немецком сборник под названием «Статья 58. Записки заключенного Шаланова», с той же перевернутой фамилией переведенный затем на французский и африкаанс. Шаламов посещает с Сиротинской выставку живописи (его любимцы – Ван Гог и Гоген), много бывает в театре. Художник-нонконформист Борис Биргер пишет его портрет. Через Александра Гладкова приглашает в гости Юрия Трифонова, но встречи, судя по всему, не произошло. Знакомство с мандельштамоведом Александром Морозовым, в будущем опекуном Шаламова в доме престарелых. Издательство «Советский писатель» возвращает Шаламову лежавшую там рукопись «Очерков преступного мира», а также некоторое количество «колымских» рассказов. Франкфуртская еженедельная газета «Посев», орган НТС, публикует два его рассказа. Параллельно следствию и суду над Александром Гинзбургом госбезопасность учиняет у Шаламова обыски. Работа Шаламова и Леонида Пинского над составлением корпуса «Колымских рассказов», покамест из четырех сборников включая «Очерки преступного мира», и издание ими неподцензурного машинописного собрания сочинений тиражом в 4-6 экземпляров. Георгий Адамович публикует в парижской газете «Русская мысль» рецензию на последний сборник стихов Шаламо-

ва, которую тот по ознакомлению называет «умной, значительной, сердечной, раскованной». Подборка из восьми стихотворений в журнале «Юность». Разрыв с Демидовым на почве эстетических и мировоззренческих разногласий. Поездка в дачный поселок Мичуринец на свадьбу пасынка, знакомство с Юрием Лотманом и Борисом Успенским. Геннадий Айги посвящает Шаламову стихотворение «Степень: остоики». После напоминания Сиротинской об обещании Надежды Мандельштам передать архив мужа в ЦГАЛИ последняя отказывает ей от дома. «Колымские рассказы» продолжают публиковаться в нью-йоркском «Новом журнале», книги до сих пор нет. Мимолетное знакомство с Генрихом Бёллем. Стоярова и Кинд, возможно, передают на Запад еще одну рукопись «Колымских рассказов», судьба которой неизвестна. В записке эмигранту Александру Сионскому Шаламов пишет: «...рассказов не шесть, а сто шестьдесят шесть» – это преувеличение, но не чрезмерное: на самом деле рассказов и очерков к тому времени порядка ста тридцати. Завершает цикл «Воскрешение лиственницы» (посвященный Сиротинской), для которого написаны, в частности, «Тропа», «Графит», «Безымянная кошка», «Город на горе», «Две встречи», «У стремени», «Хан Гирей», «Шахматы доктора Кузьменко» (не исключено, что это окончательная редакция текста 1954 года).

## 1968

Суд над составителями сборника материалов по процессу Синявского и Даниэля и альманаха «Феникс-66» («процесс четырех»). Через общего знакомого и помощника и, по мнению Шаламова, осведомителя госбезопасности библиографа Александра Храбровицкого передает Солженицыну запрет пользоваться для своих работ (имеется в виду «Архипелаг ГУЛАГ») какими бы то ни было его материалами. Весной благодаря упорству Моисея Авербаха Шаламов получает отдельную комнату в коммуналке в том же доме на втором этаже и переезжает. Все чаще заводит с Сиротинской, с которой встречается также на ее даче в Расторгуево (Видное) под Москвой, разговор о супружестве, но та уклоняется от ответа. Знакомство с математиком и философом Юлием Шрейдером. Издание завершающего, пятого тома «Колымских рассказов» с циклом «Воскрешение лиственницы», осуществленное Леонидом Пинским (прямое свидетельство Храбровицкого также датирует пятитомник 1968-м годом); этот приговоренный к

пожизненному «спецхрану» пятитомник Сиротинская будет слепо копировать для перестроечных и российских изданий, не стыдясь значиться его составителем. Суммируя: к середине этого года Шаламовым подготовлено семитомное собрание сочинений, включающее пять сборников колымской прозы и двухтомник «Колымских тетрадей» из шести циклов, остается только издать эти семь книг типографским способом и дать им широкую читательскую аудиторию, между тем, за пределами столичных литературных и диссидентских кругов имя Шаламова практически неизвестно. Период 1954-68 гг. можно абсолютно обоснованно назвать вторым и основным творческим периодом Шаламова. Через окружение Пинского и сотрудников французского посольства Шаламов передает в парижское левое издательство Леттр Нувель фотокопии многоотомника «Колымских рассказов» для издания на французском. В июне через Ирину Каневскую и ее мужа Кирилла Хенкина, работающих в Праге периода открытых границ Чехословакии с Западом, передает в русское эмигрантское издательство ИМКА-Пресс, руководимое восторженным почитателем Солженицына Никитой Струве, машинописное Пятикнижие своей колымской прозы для издания собранием сочинений (историю эту слышат впоследствии и от Хенкина). Оба списка благополучно достигают Парижа. Список, переправленный Хенкиными, бесследно исчезает после полученного окольными путями невнятного объяснения, что такую тяжелую книгу читатель не осилит, но прежде, в осеннем выпуске журнала Струве «Вестник РСХД» (№89/90), печатаются рассказы Шаламова «Две встречи» и «Чужой хлеб», согласно их датировке (1967), если она верна, отсутствующие в «списке-66». Вполне вероятно, что эта публикация – одновременно и сигнал о получении багажа («списка-68»), и аванс с целью заставить Шаламова пойти на уступки в переговорах с издательством. Условием издания какой-то части КР Струве и ИМКА-Пресс могут ставить публичную солидаризацию Шаламова с Солженицыным. Характерно, что в рубрике Литература, где помещены только три текста, шаламовским рассказам предшествует рассказ Солженицына «Правая кисть» (название которого вынесено на обложку номера) – Струве устанавливает и органическое единство гулаговских авторов, и их, так сказать, иерархию. Косвенным свидетельством опосредованных контактов Шаламова с ИМКА-Пресс служит проговорка Сиротинской о том, что «Западом» Шаламову выдвигалось требование «не говорить всей правды о людской природе», ограничиться лишь тем, что «пригодно для политических манипу-

ляций». Это унижительное и заведомо невыполнимое требование могло исходить только от лиц, располагавших типографским станком – вопрос об условиях публикации «Колымских рассказов» в СССР никогда не ставился. Издание на французском затягивается по причине того, что троцкист Морис Надо, опасаящийся провокации советских спецслужб, требует собственноручного подтверждения Шаламовым желания быть опубликованным в его издательстве. Спустя несколько месяцев он его получает. Выход на Западе романа Солженицына «В круге первом» (Фишер, Франкфурт-на-Майне; Harper and Row, Нью-Йорк, по-русски) и повести «Раковый корпус» (ИМКА-Пресс, Париж) приносит автору широкую международную известность. Через Александра Андреева, сына знакомых Шаламова парижан Вадима и Ольги, Наталья Столярова передает на Запад микропленку с «Архипелагом ГУЛАГ». Сиротинская проводит отпуск в Крыму, Шаламов пишет ей ежедневно (часть этих замечательных писем уничтожена адресатом). Подборки из шести стихотворений в журнале «Знамя» и семи – в «Юности». Начало подготовки Шаламовым нового поэтического сборника в издательстве «Советский писатель», который будет добираться до читателя более четырех с половиной лет. В эмигрантских журналах «Посев», «Грани», «Вестник РСХД», «Новый журнал», «Возрождение», «Часовой» в течение года появляется свыше трех десятков материалов авторства Солженицына или рекламирующих его как выдающегося писателя и стойкого борца с советским режимом. Бегство из СССР Аркадия Белинкова. В результате прихотливой многолетней литературно-критической интриги, направленной против Твардовского и «Нового мира», журнальные подборки стихов Шаламова признаны рецензентом «Литературной газеты» Станиславом Лесневским лучшими поэтическими публикациями полугодия; Шаламов, знающий подоплеку, похвалы не переоценивает. Резко не одобряет работу Надежды Мандельштам над «Второй книгой» воспоминаний. В августе советские войска оккупируют Чехословакию, Хенкиных высылают в СССР. Газета «Московский комсомолец» возвращает Шаламову подборку стихов. После предпринятых в начале года неудачных попыток связаться с кельнским издательством на предмет получения гонорара за книгу «Статья 58», Шаламов просит о помощи в этом деле Авербаха, но и попытки последнего оказываются безуспешными\*\*\*. Следует отметить сугубую «неконвенциональность» поступка Шаламова, ибо советская либеральная творческая интеллигенция руководствовалась, по словам биографа Солжени-



цына Людмилы Сараскиной, «заповедью»: «если свои не платят, умри, как патриот, а у чужих не бери». Служебная командировка Сиротинской на родину Шаламова подталкивает его к работе над автобиографической «Четвертой Вологодой». Подборка из восьми стихотворений в журнале «Знамя». Созревшее до окончательной ясности понимание того, что эмигранты и патронирующее их ЦРУ не собираются издавать его в противовес во всех отношениях «своему» Солженицыну, приносит Шаламову жестокое разочарование в московской либеральной интеллигенции, которую он оправданно отождествляет с христианско-демократическими кругами русской диаспоры. Разрыв Шаламова с Рожанскими-Кинд, в конце года – разрыв с Надеждой Мандельштам и ее окружением, без сомнения, ускоренный продолжающимися домогательствами ЦГАЛИ относительно передачи им архива Осипа Мандельштама, на что вдова и душеприказчица категорически не согласна. На рубеже 1968/69 гг. разрыв с Натальей Столяровой, полностью представившей себя в распоряжение Солженицына и окончательно потерянной для Шаламова. Год, суливший успех, признание, а, может быть, и не чаемое личное счастье, оборачивается годом разочарований и сокрушительных поражений. «Проклятый год».

## ***КРАХ***

### **1969**

Весной в издательстве Леттр Нувель вместо полноценной книги выходит двухсотпятидесятистраничный сборник из 27 текстов, никакого резонанса не вызвавший. Разрыв Шаламова с Пинским и его окружением. «Знакомство с Н. Я. [Мандельштам] и Пинским было только рабством...» (дневниковая запись 1972 года). Отныне Шаламов не дает в самиздат ни строчки. Распоряжение от 4 апреля на случай внезапной смерти, аннулирующее его прежнее завещание – содержание которого неизвестно – в пользу Сиротинской. Это распоряжение, а затем официальное завещание – показатель гнетущей уверенности Шаламова, что ни русское зарубежье, ни московская либеральная среда его труд для будущего читателя не сохранят. Шаламов также уверен, что за ним ведется непрерывная слежка, а комната прослушивается госбезопасно-

стью. Начало затворничества. В наброске рецензии на опубликованные в газете «Правда» главы очередного опуса Шолохова с сарказмом отзывается и об авторе, и об его официальной «скороговорке» на тему сталинских лагерей. Подборка из десяти стихотворений в журнале «Юность». Работа над «Четвертой Вологдой». Французское издательство «Галлимар» без ведома автора выпускает перевод кёльнской книжки 1967 года «Статья 58. Записки заключенного Шаланова». Солженицын номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В разговоре с Александром Гладковым Шаламов рассказывает о сборнике стихов с комментариями, подготовленном им для издательства Гослитиздат («Художественная литература»). Какова судьба этого сборника, неизвестно. В качестве примера «идиотизма издательской жизни» Гослитиздат упоминается Шаламовым и в письме к Борису Полевому от декабря 1973 года. Шаламов и Сиротинская нотариально заверяют наследование ею всего имущества Шаламова включая авторское право. В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов Сиротинская передаст это завещание в «компетентные органы», где оно будет уничтожено, а накануне краха коммунистического режима, в период массового рассекречивания материалов «спецхрана», обзаведется в той же нотариальной конторе его дубликатом. По словам соседки Шаламова Светланы Федюшкиной, навещает его Сиротинская раз в две-три недели. В ноябре Солженицына исключают из ССП.

## 1970

Знакомый Гродзенского профессор Лев Карлик делает Шаламову справку на случай наступающих на улице приступов. Продолжение начатой в шестидесятых работы над антироманом (циклом очерков) «Вишера» и циклом рассказов «Перчатка или КР-2» – оба сборника, а также автобиографические записки о Колыме и частично «Четвертую Вологду» было бы оправданно назвать *поздней* прозой Шаламова. Подборка из восьми стихотворений в журнале «Знамя». Снятие Твардовского, разгон редакции «Нового мира», в сейфе которого «Колымские рассказы» безрезультатно пролежали все шестидесятые годы. На могиле Сталина у Кремлевской стены установлен памятник. В Нью-Йорке на русском выходит книга «Воспоминаний» Надежды Мандельштам, тотчас делающая ее знаменитостью. Политические пристрастия Шаламова остаются неизменными: троцкизм двадцатых годов

сменили симпатии к Маркузе и «новым левым» и преклонение перед революционной партизанщиной Че Гевары. Одна из дневниковых записей даже отдает нечаевщиной: «Не только левее левых, но и подлиннее подлинных. Чтоб кровь была настоящей, безмянной». При этом он отчетливо сознает, что какой-то минимум свободы дают лишь «демократические институты Запада», весь спектр левых движений, по Шаламову, несет «шигалевщину» и принуждение. Подборка из девяти стихотворений в журнале «Юность». Франкфуртский журнал НТС «Грани» печатает две больших подборки «Колымских рассказов». Издательство НТС «Посев» выпускает шеститомное собрание сочинений Солженицына, впрочем, дутое: два тома составляет роман «В круге первом», еще один собран из материалов, освещающих отношения автора с ССП, критики и т.д. Присуждение Солженицыну Нобелевской премии по литературе. Доход Шаламова за 1970 год составляет, по его подсчетам, 2400 рублей – вполне приличная сумма, сопоставимая с заработком хорошо оплачиваемого рабочего или служащего.

## 1971

Неудачная попытка наладить отношения с дочерью, оставившая след в дневнике. Смерть Якова Гродзенского. Журнал «Дружба народов» отклоняет предложенную Шаламовым подборку стихов. Кампания против «инакомыслящих» в СССР. Выход за границу романа Солженицына «Август Четырнадцатого», который Шаламов оценивает как продукцию беспрецедентно низкого качества, добавляя: «Все, что пишет С., по своей литературной природе совершенно реакционно». Начинает пользоваться уничижительным в его устах словосочетанием «прогрессивное человечество», преимущественно по отношению к фрондирующей либеральной интеллигенции включая Твардовского и почитателей Солженицына. Главлит (цензура) в информационной справке в ЦК КПСС выделяет Шаламова как одного из лидеров антисоветского «литературного подполья». Изъятие госбезопасностью у Бориса Лесняка списка «Колымских рассказов». Завершение книги «Четвертая Вологда». На рубеже шестидесятых-семидесятых, но, скорее всего, раньше и дольше – работа над недавно опубликованной абсурдистской пьесой «Вечерние беседы», персонажами которой Шаламов делает русских Нобелевских лауреатов – Бунина, Пастернака, Шолохова, Солженицына; все они, включая автора –

заклученные, в ходе бесед с которыми Шаламов не чинясь говорит о них то, что думает, и суждения его по большей части грубы, непререкаемы и безжалостны. Задумывалась пьеса для культового Театра на Таганке Юрия Любимова, скептическое отношение к которому отступило перед энтузиазмом подруги. Облеченный в форму письма к Сиротинской литературный манифест Шаламова [О новой прозе] (расширенный вариант текста 1968 года, опубликованного впоследствии Шрейдером, и того, что, я полагаю, является предисловием Шаламова к подготовленному им для издания сборнику «Колымских рассказов» 1965-го). За два года написаны среди прочего «Вечная мерзлота», «Галина Павловна Зыбалова», «Леша Чеканов или Однодельцы на Колыме», «Александр Гогоберидзе». Полная самоизоляция, гостей Шаламов не принимает. Подборки из пяти стихотворений в журнале «Юность» и в иркутском альманахе «Сибирь». Излюбленное место досуга (или работы) в семидесятых – Ленинская библиотека и книжные магазины. «За город», как обычно, ездит купаться и загорать в Серебряный бор на Москве-реке. Пророческий сон, как его сбивает машина. Жена товарища Шаламова по Колыме киевлянина Аркадия Добровольского отправляет мужа в дом престарелых, Шаламов странным образом одобряет это решение. Инспирированное ГБ предложение редактора поэтических сборников Шаламова Виктора Фогельсона «опровергнуть слух» о его сотрудничестве с западными издательствами.

## 1972

Требование Бориса Полевого, редактора «Юности», осудить публикации на Западе, в противном случае Шаламова перестанут печатать в СССР. Фогельсон информирует, что имя Шаламова в «черном списке»; в атмосфере травли «инакомыслящих» причину найти несложно: Шаламов – не член Союза писателей. Скандальное открытое письмо Шаламова в «Литературную газету» (на самом деле было адресовано приемной комиссии ССП и выправленным передано в газету первым секретарем правления этой организации Георгием Марковым, Шаламов, не отдавая отчета в последствиях, подписывает верстку письма), направленное против прагматического использования эмиграцией его имени и творений в целях «холодной войны» и воспринятое советской либеральной общественностью как верноподданническое. В день написания заявления – что подтверждает версию об его истинном

адресате, изложенную со слов автора в дневнике Александра Гладкова – Шаламов обращается к Арсению Тарковскому и Сергею Наровчатову с просьбой дать рекомендации в ССП. Провокация Маркова достигает цели – Шаламов подвергнут остракизму со стороны либеральной интеллигенции вплоть до таких демонстративных акций как уничтожение фотографий и книг с дарственными надписями. Отказ Шаламову от дома Авербаха, в прошлом его деятельного помощника и мужа его машинистки Елены Кавельмахер. Михаил Геллер, будущий составитель двух первых сборников прозы Шаламова на русском, в своем обзоре прессы в польском эмигрантском журнале «Культура» называет письмо «предательством». Журнал «Посев» печатает в мартовском номере ответный блок пропагандистских материалов включая открытое письмо Шаламову некоего С. Горянова, использующего такую лексику как «подлая роль», «роль стукача», «ссучился», «сделка с совестью» и противопоставляющего Шаламову академика Сахарова и Твардовского. Невозможность сказать всю правду и объясниться начистоту делает Шаламова жертвой тяжелой душевной травмы. Яростный запрет в дневнике Шаламова Солженицыну и его единомышленникам «знакомиться с моим архивом», иначе говоря, с материалами, которые могут быть использованы возглавившим либеральную оппозицию режиму компилятором «Архипелага ГУЛАГ», по мнению Шаламова, наемным провокатором американской разведки. Обыск в квартире Пинского. Арест диссидентов Петра Якира и Виктора Красина. Написание для сборника «Перчатка или КР-2» одноименной медитации (с посвящением Сиротинской), а также рассказов «Тачка I», «Тачка II», «Рива-Роччи». Переезд – похоже, исключительно собственными силами – в коммунальную квартиру на Васильевской улице. Издание («Я уже потерял надежду, но с помощью Бориса Николаевича Полевого мне удалось буквально выколотить эту книжку из издательства») «израненной» поэтической книжки «Московские облака». Советские поэтические сборники и журнальные подборки стихов Шаламова – это та выверенная системой идеологического контроля лагерная пайка, которая удерживает крепостного художника между жизнью и смертью. В Париже в издательстве ИМКА-Пресс выходит на русском «Вторая книга» воспоминаний Надежды Мандельштам. Прогрессирующее отчуждение Сиротинской от Шаламова.

Вступление в ССП – даже после «письма в ЛГ» год волынили. Окончен (трудно сказать: завершен, – скорее, сошел на нет) весьма спорный как часть корпуса последний из шести циклов «Колымских рассказов», о которых Шаламов иногда говорит Сиротинской: «Да что рассказы. Никому они не нужны». Если верить последней, шаламовский «план» корпуса включал 147 текстов, из которых два остались в набросках. Дышащее неутолимой ненавистью к «прогрессивному человечеству», которое олицетворяют для него люди, подобные Солженищину, стихотворение «Славянская клятва». Начало, по выражению Сиротинской, «распада личности», да и «физического распада» Шаламова, которое она связывает с «Письмом в ЛГ». Суд над Якиром и Красиным с публичным «покаянием» подсудимых. Работа над воспоминаниями [О Колыме], включающими непревзойденную новеллу «Черная мама», возможно, над «Заметками о Достоевском» с рассказом «Омск» и серий небольших подцензурных очерков для журнала «Юность». Незавершенность судьбы, неиздание основного труда не дает Шаламову оторваться от колымской и вишерской тематики, хотя в распоряжении его гигантский – двадцатилетний – опыт послелатерной жизни, достойный материал для еще одной трагической эпопеи. Подработка поэтическими переводами с подстрочника, как все последние годы. В письме Леониду Черткову упоминает о сданных в журнал «Наш современник» четырнадцати рассказах, на публикацию которых, впрочем, надежды мало. Подборка из пяти стихотворений в журнале «Юность». Тремор рук лишает Шаламова возможности печатать на машинке. Изъятие госбезопасностью у машинистки Солженищина Воронянской «Архипелага ГУЛАГ», немедленное издание его в Париже Никитой Струве на русском и волна мировой славы.

## 1974

Почти полное одиночество Шаламова, которое изредка скрашивают Сиротинская и Юлий Шрейдер. Депортация Солженищина, его турне по Европе и основание им Фонда помощи политзаключенным, одним из распорядителей которого будет Наталья Столярова. Михаил Геллер посвящает Шаламову главу «Полюс лютости: Варлам Шаламов» в своей книге «Концентрационный мир и советская литература», изд. ОРІ, Лондон – первая критическая работа о «Колымских рассказах». Педантичное использование Шаламовым ежегодных путевок в писательский Дом твор-

чества в Крыму, покоряющий его неизведанным комфортом и персональным туалетом при номере. Поездка в Коктебель. Работа над стихами, подборка из пяти стихотворений в журнале «Юность». Неотправленное письмо Солженицыну в ответ на реплику в «Архипелаге ГУЛАГ» «умер Шаламов»: «...считаю себя первой жертвой холодной войны, павшей от Вашей руки... вы никогда ничего не получите».

## **АГОНИЯ**

### **1975**

Обострение неврологического заболевания и общее ухудшение состояния здоровья. Занятие теорией русского стиха, тяжелое разочарование в поэзии как в путеводной звезде: «стихи – это дар Дьявола... в стихах нет правды, нет жизненной необходимости!». Работа над небольшими историческими очерками, которые по обыкновению не печатаются. В Германии под названием «Кольма. Остров в Архипелаге» переизданы «записки заключенного Шаланова» (фамилия автора на сей раз правильная) 1967 года с цитатой из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына на обложке. Куцая статья о Шаламове – как поэте – в официальном советском литературном справочнике авторства Леонида Черткова. На улице обращает на себя внимание своим видом – высокий, худой, одет неряшливо, не по росту, за спиной рюкзак с продуктами и рукописям для редакции, походка пьяного. Осведомленность европейцев о Шаламове близка к нулю – в Оксфордском университете в Англии, по свидетельству преподававшего на тамошней кафедре славистики Игоря Голомштока, этого имени никто не слышал. Предложение Шаламова «Новому миру» опубликовать его переписку с Пастернаком и воспоминания о поэте отвергнуто. Поездка в ялтинский Дом творчества. Солженицын – «Человек года» по версии французского журнала «Пуэн».

### **1976**

Разрыв изживших себя отношений с Борисом Лесняком. Символический уход Сиротинской, оформивший давно сложив-

шуюся реальность. Госпитализация с приступом стенокардии. Солженицын покидает Европу и обосновывается в собственной усадьбе в Вермонте. Последний год публикаций нью-йоркским «Новым журналом» разрозненных «Колымских рассказов», общим числом сорок девять, нередко изуродованных редакторской правкой Гуля. В год смерти Шаламова Гуль обнаруживает факт передачи «списка-66», следы которого к настоящему времени затерялись. В Италии, о чем Шаламов, скорее всего, не знает, в маленьком ультралевом издательстве Савелли, Рим, выходит сборник колымской прозы на итальянском, включающий тридцать текстов, авторитетный писатель-узник Аушвица Примо Леви пишет на него разгромную рецензию. Подборка из семи стихотворений в журнале «Юность» и пяти – в сборнике «Юность: Избранное. XX. 1955 – 1975». Статья Шаламова «Звуковой повтор – поиск смысла (Заметки о стиховой гармонии)» в московском сборнике «Семиотика и информатика». Очередная поездка в Ялту. Отзыв о «Нетерпении» Юрия Трифонова: «...балаган. Уголовный роман, ...где упущено все серьезное».

### 1977

По случаю семидесятилетия Шаламов представлен к ордену «Знак почета», однако представление не утверждено. В качестве компенсации, не накладывающей на государство идеологической ответственности и не вводящей его в расходы, имя Шаламова присваивается открытому астероиду. Английские слависты Роберт Чандлер и Майкл Скэмел задумывают издание избранного Шаламова на английском, но идея остается нереализованной. Выход поэтического сборника «Точка кипения». Полная деградация быта. С ноября глухого и полуслеплого Шаламова начинает опекать приведенная Шрейдером клубная работница Людмила Зайвая, которая прибирает в комнате и кормит его комплексными обедами из соседнего ресторана. Поездка в Ялту.

### 1978

Неудачная – по вине Шаламова – попытка Зайвой издать сборник его избранных стихов. В Лондоне в польском издательстве Анджея Стипульковского ОРІ впервые на русском языке выходит том «Колымских рассказов», составленный Михаилом Геллером на основе американского шаламовского «списка-66» и



включающий свыше сотни рассказов – три полных первых цикла КР в авторской последовательности текстов со сделанными Геллером дополнениями. В предисловии Геллер называет разрозненные публикации «Колымских рассказов» в эмигрантских журналах «самым страшным ударом судьбы», нанесенным писателю. Диссидентская «Хроника текущих событий» игнорирует лондонский сборник Столярова, не решаясь сделать это сама, передает Шаламову книгу через Юлию Шрейдера. В среде русской эмиграции на Западе вяло бытуют самые фантастические представления о времени и процессе создания «Колымских рассказов» – в книге Альтшуллера и Дрыжаковой, написанной уже в середине восьмидесятых, КР датируются 1964–67 гг. и утверждается, что Шаламов перерабатывал их для лондонского издания. Переиздание в Италии сборника «Колымских рассказов». Четырехмесячная госпитализация Шаламова, новый диагноз: «хорея Гентингтона», – спасающий от сумасшедшего дома, где его желала бы видеть госбезопасность, оказывающая давление на лечащего врача Михаила Левина. На звонок Людмилы Зайвой Галина Гудзь, первая жена Шаламова, отвечает: «Да пусть он сдохнет». Шаламов предлагает Зайвой фиктивный, «народовольческий» брак – из боязни быть отправленным в богадельню и в качестве возмещения трудов по его обслуживанию – неким имеющим ценность наследием, что, как потом окажется, не лишено смысла. «Несанкционированный – по выражению Сиротинской – обыск» (но почему, собственно, «несанкционированный», обычный обыск, учиненный тайной полицией) в комнате Шаламова в его отсутствие, пропажа части бумаг. Короткий прерванный отдых в Ялте. Солженицын выступает с «Гарвардской лекцией», издательство ИМКА-Пресс начинает выпускать 18-томное собрание его сочинений.

### 1979

В журнале «Континент», №19, появляется первая русская рецензия на «Колымские рассказы» пера Виолетты Иверни, в которой их разрозненные публикации эмигрантскими журналами названы «кастрацией, обворовыванием писателя». Очередная госпитализация Шаламова (сведения о госпитализациях разнятся). Душевное состояние скачет от гордого, нетерпимого до робкого, заискивающего. Уход Людмилы Зайвой после учиненного им на пустом месте скандала. Определяя свое мироощущение на старости лет, записывает в дневнике, что остался непреклонным без-

божником. Полное одиночество и катастрофическая невозможность себя обслуживать. Отчаявшийся Шаламов соглашается на переезд в дом престарелых. Сиротинская забирает в ЦГАЛИ остатки его архива, который помещают в «спецхран», иначе говоря, препоручают госбезопасности в лице директора Натальи Волковой и ее правой руки Сиротинской. Согласно анонсу нью-йоркского журнала «Часть речи» к публикации рассказа «Тропа», приблизительно в эти годы в самиздате циркулирует сборник «Воскрешение лиственницы». В мае крайне неухоженного Шаламова отвозят в дом престарелых в Тушино и после двухнедельного карантина поселяют в комнате на двоих площадью шесть квадратных метров. Что он берет с собой на новое место жительства, неизвестно – квитанция о приеме багажа не опубликована. Корреспонденция, приходящая на старый адрес Шаламова, никому не нужная, пропадает. Изредка его навещает знакомый по Колыме Иван Исаев, по впечатлению которого Шаламов ведет «растительную, животную жизнь». Он наполовину слеп, глух, не в состоянии выражаться членораздельно, движения некоординированы, живет буквально на ощупь, возможно, переживает инсульт. Возвращается колымская дистрофия.

## 1980

Весной Шаламова не без труда находит освободившийся из тюрьмы Сергей Григорьянц и приводит к нему литературоведа Александра Морозова, который начинает за ним присматривать. Морозов отмечает «полосы безумия» наподобие тех, что посещали короля Лира, потом это проходит. Соседа переводят от Шаламова в другую палату. Появление Татьяны Николаевой, Татьяны Леоновой и Ольги Гуревич, которые в течение нескольких месяцев ухаживают за Шаламовым. Арест госбезопасностью всего архива Демидова. Осенью Морозов записывает стихи Шаламова с голоса, безуспешно предлагает их в советские журналы, наконец, отправляет в парижский «Вестник РХД», редактируемый Никитой Струве. Сергей Григорьянц предупреждает Морозова, что привлекать к Шаламову повышенное внимание опасно. В журнале «Синтаксис» появляется вторая прижизненная статья, посвященная прозе Шаламова – «Срез материала» Андрея Синявского. В советской подцензурной периодике при жизни Шаламова было напечатано около десятка дежурных рецензий на его поэтические сборники, шаламовской прозы для критиков, естественно, не существовало.

Банкротство политики «детанта», «разрядки международной напряженности». На Западе после пяти лет безуспешных скитаний по русским эмигрантским издательствам в швейцарском издательстве «L'Age d'homme» серба Владимира Дмитриевича выходит роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», претерпевший на пути к читателю те же муки, что и «Колымские рассказы» Шаламова. В доме престарелых новый директор, отношение к Шаламову ухудшается. Умирает Надежда Мандельштам. Шаламов несколько раз зовет через опекунов Юлия Шрейдера, с которым они не виделись с весны прошлого года, но тот так и не приходит. В Париже в ультралевом издательстве Франсуа Масперо выходит на французском первый том «Колымских рассказов» с предисловием Синявского, за ним последуют еще два, в Нью-Йорке их впервые издают небольшой книгой на английском в переводе Джона Глэда, причем для Глэда это произведение «давно умершего писателя» (добавлю в скобках, что в конце 1982 года режиссеры Глеб Панфилов и Андрей Тарковский говорят о Шаламове как о ныне живущем). Ни один зарубежный издатель на протяжении пятнадцати лет не заплатил Шаламову ни копейки. Масперо, по словам Николая Милетича, готов был заплатить, но не успел.

### 1981

В марте французский ПЕН-Клуб присуждает Шаламову учрежденную сыном функционера НТС Аркадия Столыпина Дмитрием маргинальную и откровенно пропагандистскую Премию Свободы, что вдобавок ко всему реально выражается только в сообщениях русских служб западного радиовещания. Журнал «Посев» выносит это сообщение с фотографией Шаламова на обложку майского номера. Начало посещений Шаламова Сиротинской. В паспортном столе Шаламова выписывают из дома престарелых – начальный этап тайно готовящегося перевода пациента в интернат для психохроников. Появляются Елена Захарова, Татьяна Уманская и Людмила Анис, которые вместе с Морозовым берут Шаламова под опеку. По словам Сиротинской, госбезопасность открыто следит за его посетителями. Медицинская комиссия после видимости обследования дважды диагностирует у Шаламова старческое слабоумие. Поэт Анатолий Сенин упоминает некую свою знакомую, молодую женщину-математика, тоже ухаживавшую за Шаламовым, которая готова на фиктивное замужество, чтобы вывезти его на лечение за границу. Умирает Леонид Пинский. В

Америке в переводе Глэда выходит сборник «Графит» с искаженной фамилией автора на обложке – «Шаламав». Сиротинская записывает за Шаламовым собственный вариант его последнего цикла стихов, публикуя их впоследствии без ссылки на морозовское первоиздание 1981 (15 стихотворений в журнале «Вестник РХД») и переиздание (журнал «Литературное обозрение») 1989 г. По настойчивой просьбе Захаровой полуобъявленный перевод в психушку откладывается. Последняя подборка стихов в журнале «Юность». Иван Исаев ведет переговоры с издательством «Советская Россия» о поэтическом сборнике Шаламова к его 75-летию. По свидетельствам Владимира Пимонова и Владимира Рябоконя, в восьмидесятых годах в самиздате циркулируют все шесть авторских циклов (сборников) «Колымских тетрадей». Шаламов благополучно переносит воспаление легких. Волонтеры продолжают за ним ухаживать, угроза психушки, кажется, миновала.

## 1982

15 января (или на день раньше) Шаламова в отсутствие опекунов насильно перевозят в приют для умалишенных – классический случай «карательной медицины». По дороге он простужается и через два дня умирает на руках Елены Захаровой и Людмилы Анис от пневмонии и нервного потрясения. Зайвая узнает о его смерти на третий день от соседа, слушающего «Голос Америки», Шрейдер – от Зайвой, Сиротинская – от Шрейдера. Захарова приписывает Шаламову последнюю волю похоронить его по православному обряду. 21 января по рекомендации отца Александра Меня Шаламова отпевают в церкви Николы-на-Кузнецях, после чего хоронят на Ново-Кунцевском кладбище, за похоронами надзирает политическая полиция. На могиле атеиста-Шаламова устанавливается безыскусный железный крест, который простоит долгие годы. Поминки справляют в домах Геннадия Айги, Сергея Хоружего и Натальи Кинд, где Сергей Григорьянц зачитывает Прощальное слово. В «Литературной газете» появляется короткое сообщение о смерти «известного советского поэта» Варлама Шаламова, а в эмигрантских «Русской мысли» и «Континенте» – небольшой неряшливый некролог, в котором Шаламов именуется «известным русским писателем». «Вестник РХД» посредством цитаты «из частного письма» сухо информирует о смерти Шаламова и похоронах с навязчивым упором на их церковном характере. Некролог и два письма о похоронах Шаламова печатает нью-

йоркская газета «Новое русское слово». Подпольная «Хроника текущих событий» публикует полуанонимный отчет Александра Морозова о последних месяцах пребывания Шаламова в богадельне. Радио Свобода транслирует весьма достойное Поминальное слово о Шаламове Михаила Геллера и Семена Мирского, утверждающих между прочим, что рукопись «Колымских рассказов» попала на Запад «случайно»; сотрудница радиостанции Ирина Каневская предала гласности историю о передаче в 1968 году корпуса КР в Париж для издания книгами, в виде статьи это свидетельство перепечатывается журналом «Посев», на протяжении трех десятилетий не привлекая ничьего внимания. Польский писатель-эмигрант и тоже лагерник Густав Герлинг-Грудзинский пишет посвященный Шаламову рассказ «Клеймо». Парижское эмигрантское издательство ИМКА-Пресс посмертно переиздает на русском лондонский том «Колымских рассказов», сборник 1980 г. в переводе Глэда переиздается в Америке, а у Масперо выходит последний том трехтомника КР на французском. В выступлении на радиостанции Голос Америки Роман Гуль рассказывает о передаче Шаламовым «Колымских рассказов» на Запад в 1966 году. Имя Шаламова сходит с повестки дня и начинает погружаться в забвение. Солженицын тем временем обсуждает с советниками президента Рейгана условия встречи, настаивая на личной аудиенции – он не диссидент, а художник, властитель дум.

Ни одно русское издательство – ни в СССР, ни за рубежом – не издало при жизни Шаламова ни одной книги его прозы. Блокада. Была. Тотальной.

### Примечания

*\* Датировки многих ранних рассказов, а также рассказов 1966-67 и последующих годов (собственно говоря, всех текстов Шаламова) требуют уточнения.*

*\*\* По разумению автора, Мальцев путает – о самиздатском трехтомнике «Колымских рассказов» можно говорить не раньше 1966 года*

*\*\*\* Последовательность событий здесь не совсем ясна, поскольку в черновике письма Шаламова Фридриху Миддельхауве,*

*напечатанному в 4-м Шаламовском сборнике, обратным адресом значится Хорошевское шоссе, дом 10, «кв. 2», в том же черновике, помещенном в 7 томе собрания сочинений, квартира в адресе уже «3», а переехал с этажа на этаж Шаламов приблизительно ранним летом*

## ЛИТЕРАТУРА

Варлам Шаламов, «Новая книга», М. Эксмо, 2004

Варлам Шаламов, собрание сочинений в семи томах, М. Терра-Книговек, 2006, 2013

«Варлам Шаламов в свидетельствах современников», сборник, сост. Дм. Нич, личное издание, 2013, в электронной библиотеке ImWerden  
<http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=3104>

Блог/электронный архив Шаламова «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/>

Сайт, посвященный Шаламову <http://shalamov.ru/>

Шаламовские сборники, выпуски 1-4

«Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории», сборник статей, М. Литера, 2013

Ирина Сиротинская, «Мой друг Варлам Шаламов», М. Аллана, 2006

Валерий Есипов, «Варлам Шаламов», М. «Молодая гвардия», 2012

*Дмитрий Нич, декабрь 2012 – февраль 2014*



Оформление, корректура, цифровая версия автора  
Копирование на бумаге иначе как для личного пользования запрещено, размещение электронной версии допускается только на некоммерческих сайтах

Дмитрий Нич  
**Конспект послелагерной биографии Варлама Шаламова**  
Личное издание, 2012, 2014

## **Материалы к биографии Шаламова**



**От составителя. Открытое письмо российским шамаловедам (комментарий к статье Марка Головизнина о первых зарубежных изданиях «Колымских рассказов»)**

Только сейчас благодаря модератору блога прекрасной <http://sabaha-ha.livejournal.com/> ознакомился со статьей Марка Головизнина\*. Она бы мне очень пригодилась полтора года назад. Ну да ладно. За полтора года много воды утекло. Что я хочу сказать в первую очередь. Объяснительную записку французского издателя Мориса Надо Головизнин получил в 2008 году, а обнародована эта ценнейшая информация была только спустя три с лишним года, в 2011. Электронная же версия, совершенно необходимая при тиражах Шаламовских сборников, появляется только сейчас, в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир». Я нормально отношусь к сайту shalamov.ru, несмотря на идеологические, вернее сказать, стилистические разногласия, цену их работу и желаю им всего наилучшего, но манипулирование материалами и цензура, которые они осуществляют – это позор для ученых и достойно презрения. Толкуйте как считаете нужным, но делайте материалы доступными для широкой публики! Три года, чтобы опубликовать важнейший для понимания шамаломовской ситуации шестидесятых годов материал! Ну правильно. Как же его подать, если официально принятая в российском шамаловедении версия – что пай-мальчик Шаламов никогда не имел дела с плохими западными издателями? Да никак! Подайте как есть, *sapienti sat*, у кого есть одна извилина, разберется.

Теперь. Какое еще доказательство требуется Головизнину для подтверждения свидетельства Мориса Надо? Фотокопии фотокопий списков, переданных Шаламовым и хранящихся в архиве издательства? Его фотография с дарственной надписью? А откуда я, например, знаю, что опубликованные Сиротинской дневники и письма Шаламова не фальсифицированы? Да ниоткуда, у меня же нет сканов этих дневников и писем. Просто доверяю ей как источнику информации. Неужели Надо с его репутацией заслуживает меньшего доверия, чем Сиротинская? Фотокопии этих списков нужны не для доказательства правдивости Надо, она и так вне сомнения, а текстологам!

Теперь. Это поклонение документам, которое я наблюдаю у наших робких шамаловедов, просто смешно. Остается воздвигнуть алтарь и назначить главного жреца культа. Какие еще документы, если речь идет о подпольной деятельности, о подпольной борьбе? Шаламов за-

нимался подрывной деятельностью, в которую, кроме него, были вовлечены и другие, помогавшие ему люди. Какие документы оставляет подпольщик? Подпольщик оставляет дела. Документы составляет и подшивает к делу охранка, которая за ним следит в оба глаза, но охранка по мере надобности эти предметы культа шаламоведов преспокойно сжигает, для нее это не бог, а макулатура. Одумайтесь, господа! Поймите, наконец, что изучаете вы деятельность подпольщика, и не ищите в дневниках и письмах Шаламова имен Кларенса Брауна, Пинского, Каневской, Александра Гинзбурга, Елены Кавельмахер, Степана Татищева, Никиты Струве. Их там нет, а которые промелькнули, то по оплошности. Учитесь видеть, что перед вами пресловутый айсберг, на девять десятых погруженный в подполье. Учитесь, наконец, понимать и уважать предмет изучения.

Теперь. По поводу несурязиц в мемуарах Ирины Каневской я уже писал. Думаю, Каневская не слишком близко знала Шаламова. Но Шаламова не знали ни Кларенс Браун, ни Александр Гинзбург, ни Жанна и Рауль Леви, ни тот сотрудник французского посольства, от которого они получили фотопленки для Мориса Надо. Всем им Шаламов доверял в силу доверия к тому, кто рекомендовал их как надежных людей. Вот и все. Поэтому в свидетельстве Каневской важен единственный факт – собственноручное получение от Шаламова и передача рукописей КР за границу. Каневскую Шаламову рекомендовало какое-то доверенное лицо. Каневской совершенно не обязательно было знать Шаламова, досточно было шапошного знакомства. Просто ищите эти пропавшие рукописи, они существуют, вот будет вам неопровержимое доказательство, сможете приобщить его к уничтоженному ГБ досье на Шаламова. Зато текстологи вам скажут спасибо.

И наконец. Все-таки величайший респект Головизнину за то, что раскопал это дело и обнародовал вопреки генеральной линии партии.

Сентябрь 2012

*\* Марк Головизнин, «К вопросу о происхождении первых зарубежных изданий «Кольмских рассказов» В.Т. Шаламова», Шаламовский сборник, выпуск 4, 2011. Электронная версия статьи – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/170457.html>*

## Прижизненные издания «Колымских рассказов» в переводах

### *Письмо Шаламова немецкому издателю «Колымских рассказов», 1968 год*

В 1967 году западногерманское кельнское издательство опубликовало книгу под названием «Статья 58. Записки заключенного Шаланова» (см. также в статье Марка Головизнина\*) – неполный перевод авторского сборника «Колымские рассказы», список которого попал в Германию, по свидетельству Сергея Григорьянца, через его знакомых немецких студентов. В дальнейшем помощник Шаламова Моисей Авербах пытался – безуспешно, конечно – навести справки об этом издании и причитающемся автору гонораре через советскую «Международную книгу». Когда все усилия оказались напрасны, он посоветовал Шаламову самому написать издателю (ниже фрагменты письма Авербаха). Шаламов письмо написал, но отослал ли его, неизвестно. Письмо и его вариант впервые опубликованы в книге Валерия Есипова «Варлам Шаламов», М. 2012. Но то ли это письмо, которое советует написать Авербах, или нет, тоже неизвестно, потому что, скорее всего, было наоборот: сначала Шаламов написал Миддельхауве, а уже потом попросил не поставленного им об этом в известность Авербаха о помощи. Письмо Авербаха написано в октябре, тогда так в черновике письма издателю Шаламов дает свой адрес «Хорошевское шоссе, д. 10, кв. 2». По этому адресу он проживал только до апреля 1968-го, в начале месяца он переехал на второй этаж дома в квартиру номер три. Следовательно, опубликованное Есиповым письмо Шаламова датируется первым кварталом года.\*\*

---

«Уважаемый господин издатель! Вами в 1967 г. издан на немецком языке сборник моих рассказов под заглавием "Artikel 58" с пометкой "Autorisierte Übersetzung" («авторизованный перевод», «согласовано с автором» – родственно копирайту. – В. Е.). Между тем, я Вам ни этих рассказов, ни права на издание их не давал и поэтому категорически протестую против допущенной Вами бесцеремонности. Поскольку, однако, несмотря на сказанное, Вы книгу все же издали, то не будете

ли Вы хотя бы любезны прислать мне как автору один-два экземпляра ее и перевести заодно авторский гонорар».

Вариант:

«Сборника с названием "Артикль 58" у меня нет, но из оглавления вижу, что эти рассказы – мои. Хотя я этих рассказов не авторизовал, я выражаю протест против такого характера публикации. Прошу прислать экземпляр для ознакомления. Прошу также, если это полагается по законам Вашей страны, выслать гонорар по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, д. 10, кв. 2...»



«Статья 58. Записки заключенного Шаланова»; «Artikel 58»: Die Aufzeichnungen des Häftlings Schalanow» / Übers. G. D. – Köln: F. Middelhaue, 1967

#### Приложения

«В книжке этой были перепутаны даже его имя и фамилия, на обложке стояло Варлаам Шаланов и к тому же Варламу Тихоновичу было глубоко отвратительно, что первая книжка его рассказов была немецкой, а не русской, причем он подозревал, что качество перевода такое же как и написание его фамилии».

«Варлам Тихонович несколько нарочито говорил мне о своем возмущении, связанном с немецким изданием своей книги».

Из воспоминаний Сергея Григорьянца в данном сборнике.

\* \* \*

«Дорогой Варлам Тихонович!

[...] Вчера я сделал попытку попасть в «Международную книгу» и пошел на Смоленскую площадь в высотный дом, где помещаются два министерства (иностраннных дел и внешней торговли). Для входа в здание нужен пропуск, за которым я и обратился в бюро пропусков. Там мне сказали, что я должен сначала договориться с нужной мне

организацией по телефону, и если она даст мне такое указание, то они выдадут мне пропуск [...]

Пошел тут же в будку, позвонил: «Говорит Авербах М.Н. [...] Мне нужно поговорить вот о чем: одна западногерманская издательская фирма издала в ФРГ книгу советского писателя, не попросив у него согласия и неизвестно каким путем получив рукопись, которую он предлагал только нашим издательствам. Можно ли и каким путем получить с этой фирмы хотя бы гонорар?» – «Видите ли: СССР не имеет никаких договоров с зарубежными странами об охране авторских прав. Поэтому мы абсолютно ничего сделать не можем. Мы не можем даже запросить фирму – издавала ли она эту книгу, не говоря уж о предъявлении ей каких-либо требований или исков». – «А если фирма добровольно, без всяких исков, согласится уплатить гонорар!» – «Пожалуйста, но не через нас!»

[...] по моему мнению, есть еще и такая возможность: написать издательству непосредственно, послав ему заказное с уведомлением о вручении письмо. «Уважаемые, мол, господа! Вы издали сборник моих рассказов, хотя я Вам их и не передавал. Вообще говоря, Вам надо было бы получить у меня разрешение, но раз уж Вы обошлись без него, то не будете ли Вы любезны выслать мне полагающийся в подобных случаях гонорар. Мой адрес такой-то. Примите и пр.». Может быть, и пришлют! Письмо можно написать по-русски и, при желании, перевести на нем. язык. Это если Вы захотите сделать. Кроме того, я попробую в ближайшие дни связаться с еще одним учреждением «Кредит бюро», или «Минюрколлегия», как она называется ныне. Может быть, она примет на себя, за установленную у них плату, защиту Вашего частного иска».

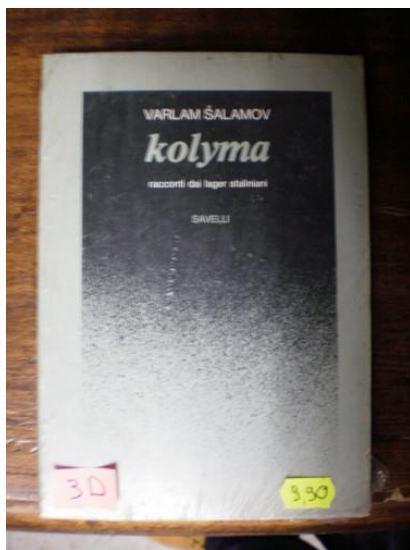
Из письма Шаламову М. Авербаха (октябрь 1968), посвященного попыткам выяснить возможности получения автором гонорара за издание кельнского сборника.

\* *Электронная версия статьи Головизнина «К вопросу о происхождении первых зарубежных изданий «Колымских рассказов» В. Т. Шаламова» – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/170457.html>*

\*\* *Последовательность событий здесь не совсем ясна, поскольку в седьмом томе собрания сочинений Шаламова, 2013, квартира в адресе указана уже «3»*

**«Колымские рассказы» на итальянском в издательстве Савелли, 1976**

Я как-то задал в блоге вопрос о сборнике «Колымских рассказов» на итальянском, выпущенном в Риме в 1976 году. Вопрос скорее риторический – главным образом хотел обратить внимание на эту совершенно выпавшую из поля зрения шаламоведов книгу – но все же вопрос. А потом решил сам попытаться если не найти ответ, то хотя бы как-то прояснить для себя ситуацию. Ниже все, до чего я смог докопаться, не владея италийским и в глаза не видев самого сборника.



*Varlam Salomov. Kolyma: trenta racconti dai lager staliniani / Varlam Salomov ; introduzione a cura di Piero Sinatti; Roma: Savelli, 1976 (Cultura politica)*

«Колымские рассказы» на итальянском, Рим, изд. Савелли, 1976 год, серия «Политическая культура»

Ни об издательстве Савелли, ни о нем самом на русском ничего нет. Пришлось прибегнуть к машинному переводу с итальянского. Вот вкратце, что удалось узнать (компиляция сведений с нескольких сайтов).

Издательство было организовано в Риме Джузеппе Самона и Паоло Джулио Савелли в 1963 году. Выражало взгляды радикальных марксистов, печатало массу левой и левацкой литературы, в 1967-68 перевело на итальянский и выпустило несколько брошюр Че Гевары. Среди сторонников Савелли можно назвать руководителя ячейки «городских партизан» Джанджакомо Фельтринелли (опубликовал на Западе роман Пастернака «Доктор Живаго») и группу «Манифест», исключенную из

итальянской компартии. Издавал серии книг «Уничтожение государства», «Маленькая библиотека ленинца», «Контркультура». В других сериях выходили книги по кинематографу, музыке, театру, истории, социологии, художественная литература, в том числе эротическая. Серия «Политическая культура», в которой вышли «Колымские рассказы», насчитывала 280 томов. Параллельно издательской деятельности Савелли редактировал журнал «Левая», а впоследствии само издательство сменило название на «Новые левые».

Выпускало книги Дефо, Сервантеса, Малларме, Пазолини, Чарльза Буковского, Бориса Виана, Дорис Лессинг, Эррико Малатеста, Розы Люксембург, Мао Цзе-Дуна и множества других авторов.

### Основные вопросы:

1 В книге тридцать рассказов – каких и в какой последовательности?

2 Что послужило основой для перевода – публикации в нью-йоркском «Новом журнале» или какой-то вывезенный на Запад список (списки «Колымских рассказов», по свидетельству Сергея Григорьянца, вывозили две итальянки, одна из них, Сирена Витале, перевела на итальянский книгу воспоминаний Надежды Мандельштам, имени второй, дочери какого-то итальянского интеллектуала, Григорьянц не помнит). Если список – то не сохранился ли он в архиве издательства?

3 Знал ли (в 1976 году мог не знать) Шаламов о выходе этой книги?

4 Пыталось ли издательство наладить контакт с Шаламовым?

5 Каково качество перевода?

6 Был ли резонанс в итальянской прессе?

7 Что представляли собой ближайшие последующие издания «Колымских рассказов» на итальянском – повторения этого сборника (повторения были – по меньшей мере, частичные) или совершенно иные версии?

Кстати, переводчик, составитель сборника и автор предисловия Пьеро Синатти (Piero Sinatti), кажется, здравствует и поныне. Вот он на прошлогоднем мероприятии, посвященном 50-летию выхода в свет «Одного дня Ивана Денисовича» <http://www.trentoblog.it/50-anni-dopo-ivan-denisovich-trento/>, причем подзаголовок гласит: «Солженицын и Шаламов» (Синатти написал предисловие к переводу «Денисовича»). Издал вместе с Густавом Герлингом-Грудзинским – о Густаве Герлинге и его посвященный Шаламову рассказ «Клеймо», 1982, см. в подразделе Некрологи данного сборника – книгу «Помнить, рассказать:

разговор о Шаламове», 1999. Пишет для миланской газеты «Il Sole 24 Ore». Сиротинская могла быть с ним знакома, хотя бы шапочно, поскольку «Колымские рассказы» в переводе Синатти выходили в Италии в девяностых годах и дальше, когда требовалось ее разрешение на издание и в выходных данных она значилась публикатором. Словом, еще не поздно его поспрашивать.

Все гиперссылки, связанные с материалом – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/229115.html>

**PS.** В ноябре 2013-го вышел сборник «Судьба и творчество Варлама Шаламова в контексте мировой литературы и советской истории» – материалы московской международной Шаламовской конференции лета 2011 года. В него включена статья Пьеро Синатти, называющаяся «Судьба Варлама Шаламова в Италии». Такого доклада на конференции не было. Синатти не принимал в ней участия и вообще никакого отношения к ней не имеет. Источник его статьи, помещенной в сборнике, не указан – либо она была заказана автору редакцией сайта shalakov.ru специально для запоздавшего сборника, либо это перевод какой-то уже имевшейся работы. Так или иначе, Синатти касается вопроса о первых публикациях «Колымских рассказов» в Италии, частично отвечая на некоторые из поставленных мной вопросов, например, осуществлялся ли перевод КР со списков или с напечатанного в русских эмигрантских журналах. Ниже отрывок из его статьи, где рассказывается о прижизненных сборниках колымской прозы Шаламова на итальянском. Электронная версия всей статьи – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»: начало <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/292874.html>, окончание <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/293340.html>

---

*Пьеро Синатти. О прижизненных изданиях «Колымских рассказов» в Италии. Шаламов и Примо Леви*



Гвидо Черонетти, уникальная и гениальная личность в итальянской литературно-художественной среде и, помимо прочего, известный библиист, писал, что «Шаламов, наряду с Кафкой и Селином, в большей степени, чем другие писатели, выразил и интерпретировал весь ужас XX столетия»<sup>1</sup>.

Это суждение было повторено через несколько месяцев тем же Черонетти, в статье, написанной под знаком справедливого возмущения против игнорирования во Франции пятидесятилетия со дня смерти одного из величайших писателей – Фердинанда Селина: «XX век оставил нам три книги, порожденные нескончаемой чередой человеческих крестных мук, которые заразили чумой и перевернули всю нашу планету <...>. Я имею в виду рассказы и интимные дневники Кафки, колымские рассказы Варлама Шаламова и "Путешествие на край ночи" Селина»<sup>2</sup>

## ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ПРОЗЫ ШАЛАМОВА В ИТАЛИИ

Черонетти тогда читал только первое, далеко не полное итальянское издание «Колымских рассказов», вышедшее в далеком 1976 году под редакцией пишущего эти строки<sup>3</sup>.

Я послал ему экземпляр книги в середине восьмидесятых, меня к этому побудили некоторые его соображения о духе XX столетия.

Я впервые натолкнулся на имя Шаламова, читая во французской «Ле Монд» великолепную рецензию Петра Равича на два первых неполных французских издания «Колымских рассказов»<sup>4</sup>.

Имя Шаламова тогда на Западе знали только те, кто читал журналы русской эмиграции «Грани» (Франкфурт) и «Новый журнал» (Нью-Йорк). Начиная с шестидесятых годов туда скудной струйкой просачивались его рассказы, которые уже некоторое время распространялись в СССР по каналам самиздата и сложными путями попадали в Германию или Францию<sup>5</sup>.

Прочитав две французские публикации Шаламова, я, потрясенный этим страшным, поразительным свидетельством, стал искать русские оригиналы. И раздобыл их с помощью Ирины Иловой-Альберти, будущей сотрудницы и секретаря Солженицына в годы его изгнания в Вермонте (США), а потом – главного редактора «Русской мысли»: известного русского еженедельника, который издавался в Париже.

Преодолевая тысячи трудностей, возникавших главным образом из-за часто встречающихся слов и выражений на лагерном жаргоне, я перевел около тридцати колымских рассказов. И начал предлагать их для публикации некоторым издателям, имевшим, как и я в те годы,

левую ориентацию; я был убежден, что по своей человеческой, исторической, литературной, а также политической значимости произведения Шаламова безусловно заслуживают того, чтобы их узнали в Италии. Я полагал, что они помогут левым подвергнуть критике один из отвратительнейших аспектов тоталитарного режима, установленного Лениным и Сталиным. В Италии ИКП [Итальянская коммунистическая партия], самая влиятельная левая партия, тогда все еще была в большой мере просоветской.

В начале 1975 года известный славист профессор Витторио Страда, университетский преподаватель и интеллектуал, член Итальянской коммунистической партии, которому я предложил напечатать Шаламова и послал в качестве пробного перевода рассказ «Шерри-бренди», проявил интерес к возможной публикации «Колымских рассказов» в «Эйнауди» – туринском издательстве, где он работал консультантом по русской литературе и которое пользовалось авторитетом в кругах прогрессивной интеллигенции. За несколько лет до того Страда опубликовал в «Эйнауди» и представил итальянским читателям «Раковый корпус» Александра Солженицына – знаменитый роман, запрещенный московскими чиновниками.

Однако вскоре Страда написал мне, что его предложение напечатать Шаламова было отклонено самим главой издательства, Джулио Эйнауди, – человеком, близким по своим взглядам к ИКП.

В те же годы на Западе переводился «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, что имело большой политико-медийный резонанс. Уже была хорошо известна диссидентская литература и публицистика. Шаламова тоже пытались втиснуть в эти рамки, для него слишком узкие.

В Италии в середине семидесятых поддержка ИКП со стороны избирателей достигла максимума за весь послевоенный период (35% голосов на парламентских выборах 1976 года). Политическая радикализация привела к тому, что большая часть левой интеллигенции с недоверием, если не с открытой враждебностью смотрела теперь на любую критическую литературу из так называемых «социалистических» стран. Отсюда, может быть, и отказ Джулио Эйнауди.

После ряда других неудачных попыток я обратился в маленькое римское издательство «Савелли» – издательство троцкистского направления, ориентирующееся на крайне узкий круг читателей и враждебное по отношению к просоветской в то время ИКП.

С этим издателем я сотрудничал и раньше – переводил или редактировал исторические и политические тексты, французские и русские (в том числе «Материалы II Съезда РСДРП»), и выпустил в 1974 году антологию публицистики советского диссидентства (инакомыслия).

Джулио Савелли согласился опубликовать тридцать переведенных мною колымских рассказов. Эта книга, объемом 270 страниц, увидела свет в июле 1976-го, в политико-культурном контексте, который никак не назовешь благоприятным.

Самая влиятельная итальянская газета, миланский «Коррьере делла сера», сперва пообещала моему издателю, что напечатает на воскресной литературной странице рассказ «Шерри-бренди», где идет речь о смерти великого поэта Осипа Мандельштама (вместе с информативной врезкой о Шаламове), а потом не выполнила своего обязательства: под тем предлогом, что, мол, не стоит печатать в воскресном – да еще летнем, каникулярном – выпуске рассуждения на такую болезненную и ко многому обязывающую тему.

Публикация этой книги для издательства обернулась катастрофой: было продано меньше трехсот экземпляров при трехтысячном тираже. Тем не менее, в печати она обсуждалась: позитивные и хорошо аргументированные рецензии появлялись в газетах национального уровня, вспомним прежде всего статьи Витторио Страда в «Републике» (газете либерально-демократического направления), Клаудио Фракасси в пара-коммунистической «Паэзе сера» и Густава Херлинг-Грудзинского в консервативном «Джорнале». Последняя была самой исчерпывающей и информативной. И неслучайно: Херлинг-Грудзинский одним из первых в мире написал произведение о ГУЛАГе, обладающее большой документальной и литературной ценностью, которое было опубликовано в начале пятидесятых: «Иной мир» (Inni swiat).

## ПРИМО ЛЕВИ И ШАЛАМОВ

Тем не менее, наибольшее влияние оказала рецензия Примо Леви, хотя бы уже из-за его славы как автора книги «Человек ли это», которая стала классикой литературы о нацистских концлагерях. Рецензия Леви появилась в «Туттолибри», литературном приложении к туринской газете «Стампа». И она была в буквальном смысле разгромной. Леви исходит из предпосылки, что «мы должны уважать человека, который отбыл семнадцать лет заключения <...> – наполненных голодом, холодом, унижениями, болезнями, промискуитетом, изнурительным трудом, одиночеством в бескрайней колымской мышеловке». Но тут же утверждает: «...жертвы сталинского террора и изоляционизма <...> во многом уступают тем, кто сражался против гитлеровского террора и кто сегодня разоблачает преступления, совершенные западной цивилизацией».

лизацией в Азии и Африке <...>: применительно к ним едва ли уместно говорить о политической зрелости».

Леви выдвигает упрек, что Шаламов будто бы «надеялся только на прекращение собственных мук и ни на какую путеводную звезду не ориентировался». Шаламовское отчаянье, продолжает туринский писатель, – это отчаянье человека, «который чувствует, что разрушен как личность, и ни во что верит; который много лет занимаясь изнурительным бесполезным трудом, полностью утратил способность к здоровым суждениям – и политическим, и даже касающимся повседневной жизни».

Нелепые обвинения – и потому, что предполагают странную иерархию преследуемых, и из-за суждения Леви, согласно которому «гитлеровские репрессии» были «гораздо более жестокими и эффективными», чем репрессии сталинские.

Однако в собственной книге, где он рассказывает о пребывании в Освенциме, которое продолжалось с февраля 1944 года до конца января 1945-го (до момента освобождения узников советской армией), еврейский партизан Леви оставил нам подлинное и недвусмысленное свидетельство: тот, кто попадал в лагерь, постепенно переставал быть человеком.

Туринский писатель (покончивший с собой в 1987 году) отрицал, помимо прочего, и литературную ценность «Колымских рассказов». Он подчеркивал, что книге свойственны «хаотичность, стилистическая неуверенность, неточность; недомолвки намеренные и другие, обусловленные небрежностью».

О том, что Леви не понял Шаламова, свидетельствуют и его высказывания более позднего времени. «Я прочитал книгу Шаламова о Колыме, она впечатляет и вместе с тем вызывает недоумение; потому что деградация человека не бывает настолько тотальной: заключенные ведь наверняка сохраняют надежду, что когда-нибудь выйдут из лагеря; наверняка там существует хотя бы видимость правовой жизни и, значит, можно совершать коллективные акции протеста; их лечат, когда они заболевают...» – так суммировал он свои впечатления в одном интервью<sup>7</sup>.

В другом интервью Леви заявил: «Я основательно изучил первую книгу Солженицына, чтобы понять, в чем состоят различия и в чем сходство между русскими и немецкими лагерями, и могу сказать следующее: в русских лагерях смерть – это побочный продукт, а не цель»<sup>8</sup>. Туринский писатель в данном случае выразил ощущение, которое разделяли тогда очень многие левые интеллигенты. Ощущение это не исчезло и до сих пор.

С тех пор в Италии больше не говорили о Шаламове – если не считать нескольких статей, появившихся в связи с его смертью в 1982-м, – вплоть до начала девяностых годов.

-----

1. Черонетти Г. Умереть в любви // «La Stampa», 18 февраля 1988.
2. Черонетти Г. Я, филосемит, отмечаю юбилей Селина // «Il Cogliere de la Sega», 26 января 2011.
3. V. Shalamov, *Kolyma – 30 racconti dai lager staliniani*, Savelli, Roma, 1976 (со вступ. статьей П. Синатти. На самом деле книга включала предисловие исторического характера и послесловие биографико-литературоведческого толка, а кроме того, полный перевод пресловутой 58 статьи Уголовного кодекса – карательного инструмента, который использовали против истинных или мнимых противников советского режима, – и словарь многочисленных лагерных блатных выражений. Два года спустя вышло – также у Савелли – второе издание, лишенное исторического введения (о системе ГУЛАГа) и включенное в литературную серию.
4. Равич П. Рассказы Варлама Шаламова // «Le Monde», 25 апреля 1970. Равич, покончивший жизнь самоубийством в 1982-м (год кончины Шаламова), был известным франко-польским писателем, поэтом и литературным критиком еврейского происхождения, пережившим нацистские лагеря.
5. Две первые книги Шаламова, появившиеся во Франции: «Artikle 58»: *Memoires du prisonnier Chalanov (sic!) / Trad, par M.-L. Ponty.* – Paris: Gallimard, 1969 и *Recits de Kolyma / Trad, par O. Simon, K. Kerel; Introd. de O. Simon.* – Paris: Denoël. 1969. Публикация «Рассказов» происходила таким образом, что автор не мог упорядочить свои тексты, дать согласие на публикацию или получить деньги за авторские права. [Второй из названных сборников был выпущен Морисом Надо по инициативе Шаламова, но в безобразно урезанном виде – прим. составителя]. Так же обстояли дела и с публикацией в издательстве «Савелли». Вступить в контакт с Шаламовым не было никакой возможности – среди прочего и по очевидным для всех соображениям безопасности.
6. Леви П. Из сталинского лагеря // «Tuttolibri», 25 сентября 1976. Эта рецензия не включена в двухтомное издание Сочинений Примо Леви, опубликованное под ред. М. Бельполити в издательстве «Эйнауди» в 1997-м.

7. Прести Ло В. Наестся, вернуться, рассказать/интервью с П. Леви // «Lotta Continua», 18 июня 1979. Интервью было опубликовано в по-смертно изданном сборнике: Примо Леви, Беседы и интервью, 1997.

8. Джакомони С. Волшебник Мерлин и homo faber/интервью с П. Леви // «La Repubblica», 24 января 1979.

---

### «Колымские рассказы» на французском в издательстве Масперо, 1980-82 гг.

В 1980-82 гг. большое парижское издательство Франсуа Масперо выпустило трехтомник «Колымских рассказов» Варлама Шаламова. Книги эти для меня недоступны, французским я не владею, поэтому цель поста – обратить внимание на это первое, причем прижизненное, собрание сочинений Шаламова, увидевшее свет не на родном языке, а в переводе, что, впрочем, по-своему логично.



#### Том 1

Kolyma I: Recits de la vie des camps / Trad, par C. Fournier; Introd. de A. Siniavski. – Paris: Maspero, 1980. – 326 p. [Kolyma : recits

Author: Varlam Tikhonovitch Chalamov; Catherine Fournier; Andrei Donatovitch Siniavski

Publisher: Paris : Maspero, 1980.

Series: Actes et Memoires du peuple.]

Kolyma II: La nuit / Trad., comment, de C. Fournier. – Paris: Maspero, 1981. – 384 p.

Kolyma III: L'homme transi /. Trad, par C. Fournier. – Paris: Fayard/Decouverte, 1982. – 349 p.

В машинном переводе это выглядит

так:

Колыма I: Рассказы из лагерной жизни

Колыма II: Ночь

Колыма III: Продрогший человек



## Том 2

Перевод и комментарии Катрин Фурнье; предисловие Андрея Синявского – очевидно, то, что было опубликовано параллельно на русском в журнале «Синтаксис», №8, 1980, а затем перекочевало в переиздание лондонского сборника «Колымских рассказов» (1978) парижским эмигрантским издательством ИМКА-Пресс (1982): Андрей Синявский, «Срез материала».

### Основные вопросы:

1 Какой русский источник указан в выходных данных трехтомника? Иначе говоря, что послужило основой для переводов – публикации в эмигрантской периодике, составленный Михаилом Геллером лондонский сборник или какой-то неизвестный, но солидный список, оказавшийся в распоряжении МASPЕРО?

2 Сколько рассказов включает трехтомник? Каких именно и в каком порядке?

3 Организованы ли они в циклы? Если судить по названиям томов, ничего общего ни с планом Шаламова, ни с близким к нему планом Геллера это не имеет.\*

4 Если перевод делался со списка, не сохранился ли этот список в архиве издательства?

5 Помимо предисловия Синявского сказано ли что-нибудь в издательском анонсе об авторе, а если сказано, то что именно?

6 Как реагировала французская критика на выход сборников? Имели ли они резонанс?

7 Каково качество перевода?

8 Прослеживается ли связь между этим изданием и присуждением Шаламову Премии Свободы французского ПЕН-Клуба весной 1981 года?

9 Пыталось ли издательство связаться с Шаламовым?\*

10 Знал ли Шаламов о выходе двух первых томов и планируемом третьим?

\* «...первые переводчики Шаламова на английский и французский (Джон Глэд и Катрин Фурнье соответственно) выдергивали отдельные рассказы из «Колымского цикла» по своему усмотрению и в ранних изданиях группировали их по принципу не имеющему ничего общего с шаламовским. [...]»

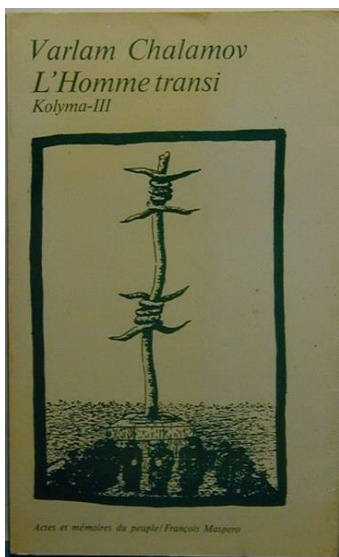
Тексты ранних переводов Шаламова на французский, сделанных Катрин Фурнье – *Kolyta I*, *Kolyta II* и *Kolyta III* (Paris: Maspero, 1980, 1981 и 1982), были впоследствии собраны в один том (Chalamov 1986), но последовательность рассказов в нем так и не исправлена.

Леона Токер, «Самиздат и проблема авторского контроля...»

«...в 1980-1982 годах последовало трехтомное издание под сокращенным заглавием «Колыта», которое, впрочем, без оглядки на авторскую волю по-новому сгруппировало отдельные тексты».

Ульрих Шмид, «Не-литература без морали...» [От составителя: а им была известна «авторская воля», которую они нарушали? Откуда у Шмида такая уверенность?]

\*\* Частично ответ на этот вопрос – в интервью Николая Милетича ниже



### Том 3

В 1986 году все три тома были переизданы книгой объемом в 1192 страниц.

Немного (потому что много на русском и нет) о Франсуа Масперо и его издательстве. Кстати, Масперо жив- здоров и, вероятно, мог бы прояснить обстоятельства издания шаламовского трехтомника, обратиться к нему кто-нибудь с такой просьбой. Вот запись



его выступления в Страсбурге в 2009 году как раз по случаю пятидесятилетней годовщины издательства

<http://www.youtube.com/watch?v=cXri-P-Vh3E>

Франсуа Масперо (Francois Maspero) родился в 1932 году в семье будущего участника Сопротивления сиолога Анри Масперо, погибшего в Бухенвальде; внук известного египтолога Гастона Масперо.

В 1956 году открыл книжный магазин левого и левацкого направления, а в 1959 организовал издательство, сразу выпустившее сборники, осуждающие колониальную войну в Алжире и сталинизм во французской компартии. Книжный магазин издательства подвергался погромам правых.

Большое влияние на поколение Масперо имел левый журнал «Тан модерн», редактировавшийся Ж.-П. Сартром. В шестидесятых Масперо публиковал книги Че Гевары; в связи с партизанской инициативой последнего и в знак солидарности с арестованным боливийскими властями французским журналистом и социологом Режи Дебре прибыл в Боливию, где был обвинен в подрывной деятельности. Не раз становился объектом судебных исков и вынужден был выплачивать разорительные штрафы, а изданные им книги подвергались запрету, как, например, книга Жюлья Шоме «Восхождение Мобуту». Совмещал издательскую деятельность с переводческой, переводил, в частности, Джозефа Конрада и Габриэля Гарсиа Маркеса. В 1978 основал журнал «The Alternative», целью которого было дать площадку высказывания диссидентам из стран Восточного блока. В 1983 преобразовал издательство Масперо в Editions La Decouverte. Написал и выпустил несколько книг.

Издательство Масперо в разное время и в разных сериях публиковало Фиделя Кастро, Христофора Колумба, Мохаммеда Шукри, Режи Дебре, Тейяра де Шардена, Льва Троцкого, Ноама Хомски, Франца Фанона, Варлама Шаламова, Луи Альтюссера, Мао-Цзе Дуна, Бернара Анри-Леви, лидера анархистов Жана Мэтрона и др.

Лауреат своего рода анти-Гонкуровской литературной премии Франции Prix Decembre (1990) за книгу «Пассажиры Экспресса-Руасси». Среди лауреатов этой премии – Мишель Уэльбек и Пьер Гийота.

Интересно в связи со всем этим отметить, что сборники «Колымских рассказов» (за исключением первого и его клонов) выходили в Европе в переводах в левых и крайне левых издательствах – Мориса Надо, Франсуа Масперо, Паоло Джулио Савелли (дважды), тогда как

право-центристская и клерикальная русская эмиграция насколько возможно торпедировала издание их книгой на родном языке. Прорвал эту блокаду лишь поляк Анджей Стипульковский в 1978 году лондонским сборником, выпущенным в польском эмигрантском издательстве, а ко времени его переиздания в издательстве ИМКА-Пресс в 1982 имелось уже свыше десяти сборников «Колымских рассказов» на французском, немецком, итальянском, английском. Складывается впечатление, что переводы буквально вынудили русское зарубежье даже не издать, а переиздать, наконец, «Колымские рассказы» на русском, да и то после смерти автора. На Западе Шаламова совершенно явственно «продвигали» левые и иноязычные и совершенно явственно блокировали правые соотечественники. Интересно также, что издававшие Шаламова левые были не менее ненавистны кремлевским угрюм-бурчеевым, чем антикоммунистические НТС и парижское воинство Солженицына. Да и сам Шаламов откровенно симпатизировал «новым левым» с их острым, как меч, умонастроением, ковавшимся антикоммунистическим молотом Запада на наковальне непреходящего сталинизма режима, выдававшего себя за советский.

Все гиперссылки и дополнения, связанные с материалом, см. в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/227747.html>

---

### *Николя Милетич о Шаламове и издателе Франсуа Масперо*

«Николя Милетич (Nicolas Miletitch)\* : – Разве можно забыть тот день, когда я впервые попал в квартиру Надежды Яковлевны Мандельштам. До того как приехал в Союз, я читал ее воспоминания. Это все было замечательно! Такие свидетели времени! Я не помню, где и когда я познакомился с одной русской женщиной, вдовой югославского коммуниста, который работал с Тито и был расстрелян. Она была сотрудницей Литфонда, и однажды она мне сказала: «Хотите мы вместе пойдём навещать Шаламова?» И мы были у него в интернате...

Елена Поляковская: – Вы написали послесловие к французскому изданию «Колымских рассказов» Шаламова. Чья это была инициатива?

Милетич: – Когда в 1981 году я вернулся в Париж, пошел к французскому издателю Шаламова. Он придерживался троцкистских взглядов. Я сказал, что знаю о том, что он издал Шаламова, не заплатив автору (хотя в то время это было практически невозможно сделать). И еще сказал: «Вы меня не знаете, но я хотел бы у вас взять деньги и отправить их в СССР, чтобы там попробовали сделать для Шаламова аппарат, для того чтобы он мог есть и говорить, чтобы хоть чуть-чуть изменить его жизнь к лучшему». И этот парень согласился. Но, увы, эта моя идея так и не осуществилась, потому что в январе 1982 года Шаламов умер. И когда этот издатель захотел издать полностью «Колымские рассказы», он меня попросил написать послесловие. Предисловие уже было написано Синявским».

Из интервью Милетича сайту Booknik, апрель 2012 года <http://booknik.ru/context/all/serb-i-molod/>

От составителя

«Парень», который «придерживался троцкистских взглядов» – это издатель Франсуа Масперо, выпустивший в 1980-82 гг. трехтомник «Колымских рассказов» на французском. Милетич действительно написал послесловие к его переизданию трехтомника сборником 1986 года. Из рассказа Николая Милетича следует, что Масперо был готов заплатить Шаламову, но не успел этого сделать. Следует также, что никаких контактов с Шаламовым (через его опекунов, например, Александра Морозова) у издательства не было.

Кстати, в одном из выступлений известные братья Дзядко упоминают, что Милетич, друг их отца, диссидента Виктора Дзядко, фотографировал Шаламова в доме престарелых. Не ему ли – наравне с фотографом Олегом Каплиным – принадлежат фотографии Шаламова начала восьмидесятых, выложенные в интернете на разных сайтах, в том числе в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»? Одна из цветных фотографий сделана Кристиной Милетич (см. в подразделе Дом престарелых, психушка, смерть)

*\* Французский журналист, кинодокументалист, с 2006 по июнь 2009 года – главный редактор агентства «Франс Пресс»; в 1978-81 гг., а затем в девяностых работал корреспондентом в Москве*

### *Шаламов на польской сцене в годы военного положения*

Удивительно, но Шаламов звучал на польской сцене даже не во времена Солидарности, когда это вполне можно представить, а в самый разгар «зачистки» страны военщиной. В 1982 году познаньский «Театр Восьмого дня» поставил «спектакль «Взлёт», посвящённый жизни и творчеству Осипа Мандельштама. Видеозапись этого спектакля, сделанную в условиях подполья, – рассказывает Anne Faivre-Duraigre в статье, написанной для круглого стола на тему «Манделештама и тамиздат», (Москва, декабрь 2010 г.), – я купила во Франции в 1986-м году. Действующих лиц в этой пьесе три: Поэт, Чекист-НКВДшник и Стукач-помощник Чекиста. Сценарий, написанный руководителем труппы Лехом Рачаком, опирался, главным образом, на воспоминания Надежды Яковлевны, и в нём чередовались биографические эпизоды из последних лет жизни Мандельштама (начиная с эпиграммы на Сталина); монологи самого Поэта на философские, общественные и эстетические темы, навеянные, по-видимому, чтением Пшибыльского; два рассказа, произнесённых тем же Поэтом, первый из которых воспроизводит рассказ Юлиа Даниэля «Руки», тогда как второй из них принадлежит перу Шаламова; и стихи Мандельштама в польском переводе познаньского поэта Станислава Бараньчака, спетые Евой Вуйчак на музыку Леха Ланковского в сопровождении гитары, скрипки или цимбал. «Взлёт» был поставлен за очень короткий срок – две недели – вслед за демонстрацией против военного положения в Познани и задержанием некоторых членов труппы. Спектакль, со слов Моника Вуйчак, представлял собой ответ познаньского режиссёра на военное положение, установленное генералом Ярузельским. Со сцены звучал текст эпиграммы на Сталина, произнесённый самим Поэтом – текст, который тогда не находился ни в одной книге, изданной в СССР или в какой бы то ни было соцстране. Звучали из уст певицы и другие стихи, которые даже Лесьневска не включила в свой сборник. Звучали, правда, по-польски, но с явным намерением сделать стихи Мандельштама доступными как можно большему количеству людей в Польше и за границей. С этой целью был снят фильм на видеоплёнке, который был издан на скорую руку малоизвестной фирмой «Видео-контакт», борющейся за распространение запрещённых польских картин и документальных фильмов и имеющей официальный адрес в парижском пригороде Ванве (Vanves). Кассета распространялась в полулегальных условиях и в Польше и на Западе – без названий авторов спектакля и

съёмки, без фамилий актёров, без даты, и это приводило к тому, что главным оставалось творчество самого Мандельштама, звучащее за пределами Советского Союза: чем не «тамиздат»?



*Обложка русскоязычной программы спектакля «Wzlot»*

Речь идет о рассказе Шаламова «Шерри-бренди», при жизни автора в СССР, разумеется, не печатавшемся и лишь единожды прозвучавшем со сцены в исполнении самого Шаламова – на Мандельштамовском вечере на мехмате МГУ в 1965 году.

Из статьи «Неожиданный «тамиздат»: стихи Мандельштама в Польше 80-х годов». С сайта Центра европейской славистики

<http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=243>

---

### ***Игорь Голомшток. Шаламов у англоязычных, середина семидесятых***

Слово искусствоведу Игорю Голомштоку, преподававшему на кафедре славистики Оксфордского университета в Англии. Из мемуаров «Эмиграция» <http://magazines.russ.ru/znamia/2013/6/g11.html>

Дело происходит в середине семидесятых годов:

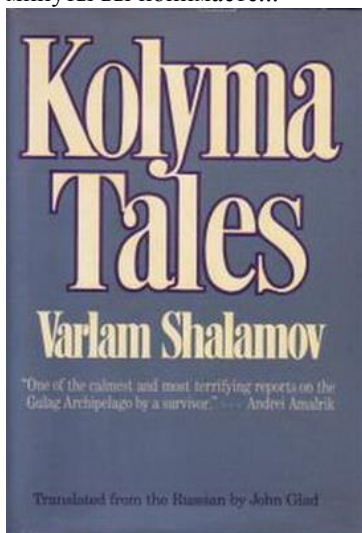
«После одной из таких лекций подошел ко мне Роберт Чандлер, который заинтересовался Шаламовым, и я дал ему почитать «Колымские рассказы». Роберт был потрясен и начал их переводить. Он был прирожденный переводчик (сейчас он один из самых крупных в Англии и

Америке). Темой его диссертации был язык Платонова, и он решил изменить тему: вместо Платонова заняться Шаламовым. Кто такой Шаламов, университетская администрация понятия не имела, и в изменении темы ему было отказано».

---

*Джон Глэд. Судьба «Колымских рассказов» в англоязычной Америке, начало восьмидесятых*

«Я начал читать «Колымские рассказы», выписывая «Новый журнал» из Нью-Йорка, который редактировался Романом Гулем. И меня рассказы поразили в первую очередь как искусство. Конечно, я понимаю, для вас, русских людей, целое измерение опускается, когда так рассуждают. Я не отрицаю этого; оно, конечно, важно. Но когда вы, допустим, слышите квартет Бетховена, вам неизвестный, уже через две минуты вы понимаете...



И я начал переводить тогда и печатать рассказы в издательстве. Все тогда благодарили очень вежливо. Но не только печатал: я составлял книгу. Я сделал два тома; там была половина или меньше половины всех рассказов. Первый том вышел, и ко мне приехал Милорадович, издатель Overseas International в Лондоне. Оно, как почти все гигантские издательства того периода, было создано на деньги ЦРУ. Понимаете, если взять первую волну эмиграции, они жили плохо, но они жили за счет того, что они могли зарабатывать. А вот вторая и третья волна... Вот, скажем, взять Бориса Филиппова: он издал Мандельштама, Ахматову, Клюева,

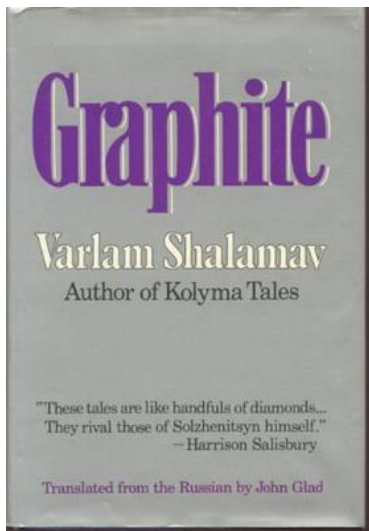
Гумилева, «Доктор Живаго» Пастернака. На какие деньги это вышло – и реклама была? Вот так.

Представьте себе, что России нет и никогда и не было, и кто-то придумал, что есть. Что Шаламов придумал – и написал эти рассказы.

Что это чистая научная фантастика. И это все равно будет великим искусством. Надо, мне кажется, признать, что советский период нанес жуткий удар по русской культуре. Шаламов, по-моему, был последний великий русский прозаик.

Что интересно: были прекрасные рецензии на рассказы в моем переводе. И не просто каких-нибудь критиков. Скажем, редактор «Нью-Йорк Таймс», Гаррисон Солсбери, сказал, что это «горсть алмазов». И так далее. Много-много рецензий. Издательство выпустило 2 тысячи экземпляров. Они мне заплатили аванс, который не покрыл расходов на машинистку (тогда не было компьютеров). Они, по сути, тогда все загубили: эти прекрасные рецензии не сказались на тиражах.

Но мне повезло в том, что я нашел чудесного редактора. Есть такой писатель, Борхес, его переводил Норман ди Джованни, мой хороший друг; с его женой, Сьюзен Эш, которая не знает ни одного слова порусски, мы сидели и дрались над каждым предложением. Говорят, книги не путешествуют. Это вина переводчиков, буквалистов. Потому что, когда вы пишете на языке, язык вас ведет, а если вы позволяете себя водить другому языку – уже музыка не получается. Так что, фактически, эта женщина, она в той же степени переводчик Шаламова, что и я.



**Обложка сборника «Графит».**  
**Фамилия автора искажена: Shalamov**

Но Шаламова я переводил, как будто переводил Вергилия: никакого контакта с ним не было. Я помню, вышла книга Роберта Конквеста, английского историка, о Колыме, и он выражает там благодарность «покойному» Шаламову. Я Шаламова про себя уже похоронил, позвонил Конквесту, и тот сказал: разве я так написал?! Так что не было никакого контакта. Я пытался писать ему, пытался через покойного Карла Проффера, основателя американского издательства «Ардис», передать письмо

Шаламову, которое он должен был передать с помощью Надежды Мандельштам. Но ответ не пришел. Вот так».

Выступление Джона Глэда на презентации книги В. Есипова «Варлаам Шаламов» в Музее ГУЛАГа, сент. 2012  
<http://shalamov.ru/events/47/>

\* \* \*

От составителя, в качестве дополнения.

Отрывок из интервью Джона Глэда «Независимой газете» («Exlibris НГ»), январь 2013 года. Электронная версия на сайте газеты  
[http://exlibris.ng.ru/person/2013-01-17/2\\_glad.html](http://exlibris.ng.ru/person/2013-01-17/2_glad.html)

*«Юлия Горячева: – Вы перевели «Колымские рассказы» Шаламова. Чья правда о лагерях вернее – Солженицына или Шаламова?*

*Дж. Г.: – Я в корне не согласен с предпосылкой вашего вопроса. Искусство есть цель сама по себе (нем. das Ding an sich), а не средство для достижения другой, высшей цели. Если бы никакого ГУЛАГа никогда не существовало и Шаламов все бы выдумал, как Борхес в своих рассказах, «Колымские рассказы» все равно остались бы в истории как великое достижение искусства. Не все ли равно, существовал реальный Король Лир или нет, и правдиво ли он описан Шекспиром?*

*Ю. Г.: – В чем, по-вашему, мировоззренческие расхождения Шаламова и Солженицына?*

*Дж. Г.: – Может быть, я не прав, но не исключено, что этот ларчик открывается просто: Шаламов считал, что Запад его как бы отставил, чтобы дать ход Солженицыну. Было ли такое намерение, не знаю, но Шаламов был лучшим художником, и сам Солженицын с этим соглашался. Мировоззрение тут ни при чем».*

---

### *Джон Глэд об изданиях и переводах Шаламова в Америке*

Из выступления Глэда на международной конференции «Судьба и творчество Варлаам Шаламова...», Москва, 2011

«Я американский русист. С 1973-го года до 1989-го я не мог получить визу и 16 лет занимался диссидентами и эмигрантами. Рукопись «Колымских рассказов» была вывезена из СССР профессором Клэрэн-



сом Брауном из Принстонского университета. Он передал ее Роману Борисовичу Гулю, эмигранту первой волны, выпускавшему «Новый журнал». Разрыв в возрасте между ним и Шаламовым был небольшой – всего 9 лет. Гуль печатал по 2-3 рассказа Шаламова в каждом номере.

Прочитав только несколько рассказов, я сразу понял, что Шаламов – большой писатель. Огромная российская травма заставляет вас рассматривать его как политического деятеля, но представьте себе, если бы ничего из описанного в рассказах никогда не было, «Колымские рассказы» все равно были бы шедевром мировой литературы.

Ходили слухи – и это понятно, ведь шла холодная война, – что на высоком уровне принято решение отдать предпочтение Пастернаку и Солженицыну, а Шаламов бедствовал в Москве, зная только, что в каком-то эмигрантском журнале в Нью-Йорке выходит по 2-3 рассказика, которые мало кто читает. А Гуль еще и редактировал их! Но всегда есть напряжение между писателем и редактором, это неизбежно.

В начале 80-х годов я был директором Института имени Кеннана по изучению России. Он теперь входит в Институт имени Вудро Вильсона в Вашингтоне. Главной силой этого центра был Джеймс Биллингтон, теперь директор Библиотеки Конгресса. Джеймс бывал у Надежды Мандельштам, в ее скромной коммунальной квартире, а вернувшись домой в Америку, он создал этот очень важный интеллектуальный центр. Биллингтон мой хороший друг, и я брал у него интервью. Он был под большим впечатлением от Шаламова и дал мне снимок, где Шаламов и Надежда Мандельштам стоят рядом.

Я переводил Шаламова, как если бы я переводил Горация или Вергилия. Никакой обратной связи не было. Я ему написал. Карл Проффер и его жена Эллендэй, которые основали издательство «Ардис», должны были передать мое письмо через Надежду Мандельштам, но ответа я не получил. Не знаю, получил он письмо или нет и сколько он тогда понимал – по состоянию здоровья.

Я начал хлопотать, чтобы издали Шаламова на английском языке, но это было невероятно трудно, приходил отказ за отказом. Я восемь раз ездил в Нью-Йорк. Я писал в университетские издательства, но все отказывались. Наконец, крупное американское издательство (W. W. Norton) согласилось. Ответственный за проект редактор Кэрол Хук Смит выделила аванс – тысячу долларов. Компьютеров тогда не было, и этой суммы как раз хватило, чтобы оплатить работу машинистки. Издали только 2 тысячи экземпляров. Были восторженные отзывы в важных газетах и журналах, и не от кого-нибудь, а от таких фигур как

Энтони Бёрджес, Сол Беллоу и Ирвинг Хоу. Гаррисон Солсбери написал, что книга эта – «горсть алмазов».

А книги в магазинах все сразу были раскуплены! Через полгода в издательстве спохватились и напечатали еще 2 тысячи, а потом еще через полгода столько же. Но кто станет покупать книгу, рецензию на которую он читал год назад? Потом вышел второй том, я озаглавил его «Графит» – по названию одного из рассказов.

Как я уже сказал, компьютеров тогда не было, и издательство должно было после набора отдать книгу на вычитку корректору. Но корректуры не было, и все ошибки наборщика сохранились, вплоть до опечатки в фамилии Шаламова на обложке – «Шаламав».

Первый том был признан одним из пяти лучших переводов 80-го года, и я узнал случайно от профессора Джонатана Чейвса, что второй том получил бы такое же признание в 1981-м году, если бы не все эти опечатки. Рецензии на второй том были хорошие, но не такие восторженные, как на первый, в который я включил только те рассказы, которые просто органически не мог не переводить.

Позже Нортон принял решение пустить нераспроданные экземпляры обоих томов под нож. Я выкупил оставшиеся экземпляры и раздавал друзьям и знакомым».

Опубликовано в сборнике «Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории», М. Литера, 2013. Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/289895.html>

---

### *Хронология прижизненных изданий сборников «Колымских рассказов»*

#### **1967**

- Немецкое издание Фридриха Миддельхауве, книга «Статья 58. Записки заключенного Шаланова», 196 стр.

#### **1969**

- Французское издание Мориса Надо, издательство Denoel, сборник «Колымские рассказы», 253 стр.

- Французский перевод издательством Галлимар немецкой книги «Статья 58. Записки заключенного Шаланова» (1967), 264 стр.

?

- Перевод немецкой книги «Статья 58. Записки заключенного Шаланова» (1967) на африкаанс, язык буров, Южная Африка

### **1975**

- Немецкое переиздание издательством Langen – Mueller книги «Статья 58. Записки заключенного Шаланова» (1967) под названием «Колыма. Остров в Архипелаге», 195 стр., авторства на сей раз Шаланова

### **1976**

- Итальянское издание Паоло Джулио Савелли сборника из тридцати «Колымских рассказов», 270 стр.

### **1978**

- Переиздание итальянского сборника в издательстве Савелли
- Издание «Колымских рассказов» на русском в польском лондонском издательстве OPI, составитель Михаил Геллер, 895 стр.

### **1980**

- «Колымские рассказы» на английском в нью-йоркском издательстве Norton, 222 стр.
- Французское издание первого тома «Колымских рассказов» под названием «Рассказы из лагерной жизни», издательство Франсуа Масперо, 326 стр.

### **1981**

- Сборник «Графит» на английском в том же нью-йоркском издательстве, 287 стр.
- Второй том «Колымских рассказов» на французском под названием «Ночь» в издательстве Масперо, 384 стр.



## Шаламов в «гамиздате» на русском

### «Колымские рассказы» в Новом журнале, Нью-Йорк, 1960-70-е годы

#### ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>В. Шаламов</i> – Колымские рассказы	5
<i>Н. Моринет</i> – Стихи	35
<i>Г. Акимович</i> – Начало повести	40
<i>И. Елизин</i> – Четыре угла	49
<i>Н. Ульман</i> – Русская сказка	54
<i>Н. Юрлова</i> – Стихи	65
<i>Л. Алексеева</i> – Стихи	67
<i>С. Карликовский</i> – Вещественность Анненковского	69
<i>Д. Кленовский</i> – Стихи	80
<i>Н. Берберова</i> – Советская критика сегодня	82
<i>Г. Глазова</i> – Стихи	107
<i>Р. Пивовин</i> – О дикрине Тютчева	109
<i>Я. Берсер</i> – Стихи	127
<b>ВОСТОКМИШЛАНГА И ДОКУМЕНТЫ:</b>	
<i>Письма Н. Телезова к Н. Бузинову</i>	129
<i>А. Левитин и В. Шарош</i> – Очерки по истории русской церковной смуты	141
<i>И. Иван</i> – На службе у японцев	179
<b>ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:</b>	
<i>Л. Ловарэй</i> – Философ библейского откровения	207
<i>Из датской тетради Н. А. Бердникова</i>	231
<i>Н. Тимашов</i> – Как я стал социологом	242
<i>Д. Аким</i> – Юбилейные размышления	251
<b>ПАМЯТИ УШЕДШИХ:</b>	
<i>Р. Гузь</i> – Веро Александрова	261
<b>СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:</b>	
<i>Т. Чуринов</i> – Эксплуатация рабочих в СССР. <i>Н. Валентинов</i> – Встреча с Б. Савинковым. <i>А. Кашин</i> и <i>Евгеньюва</i> – Найденное письмо П. И. Чайковского. <i>С. Зедлер</i> – М. Михайлов. <i>Р. П.</i> – Заметки	263
<b>БИБЛИОГРАФИЯ:</b>	
<i>А. Небельски</i> – Две книги о Достоевском. <i>D. Fanger</i> . <i>Dostoyevsky and Romantic Realism</i> . <i>R. Jackson</i> . <i>Dostoyevsky's Quest for Form</i> . <i>В. Завальнов</i> – Ю. Анненков. Дневник моих встреч. <i>Г. Керн</i> – В. Каверин. Здравствуй, брат, писать очень трудно. <i>Пром. Д. Ковальдинович</i> – Арх. Иоани Сава-Фришадский. <i>Листья древа</i> . <i>Сонтик</i> – Н. Туровцев. <i>Стихи</i> . <i>Я. Гурский</i> – А. Коворен. Хрестоматия по русск. лит. 18 в. <i>С. Крымской</i> – Е. Kostka. <i>Schiller in Russian Literature</i> . <i>К. Верников</i> – Тарсис и эмиграция. – <i>Письма и редакция</i>	282

Первые из «Колымских рассказов», напечатанные Романом Гулем в «Новом журнале», Нью-Йорк, №85, 1966 – «Сентенция», «Посылка», «Кант», «Сухим пайком». Подборки, чередуясь с отдельными рассказами, годами будут следовать из номера в номер.

ОГЛАВЛЕНИЕ	
<i>Дм. Кленовский</i> — Стихи .....	5
<i>Л. Ржевский</i> — Конец Сергей Сергича .....	6
<i>А. Великовский</i> — Стихи .....	44
<i>В. Шаламов</i> — Рауш-наркоз .....	45
<i>Е. Таубер</i> — Стихи .....	50
<i>И. Б. Зингер</i> — Друг Кафки .....	51
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи .....	63
<i>М. Крекс</i> — Стихи .....	64
<i>Ю. Мамлеев</i> — Сказка .....	65
<i>Ю. Иофе</i> — Стихи .....	72
<i>В. Вейдле</i> — Минимые вымыслы .....	74
<i>Г. Раевский</i> — Стихи .....	85
<i>А. Франк</i> — Бред .....	86
<i>И. Чиннов</i> — Стихи .....	93
<i>Г. Андрея</i> — Минюметчики .....	95
<i>Ю. Иваск</i> — Стихи .....	113
<i>С. Голдербал</i> — Заметки художника .....	115
<i>В. Перелешин</i> — Стихи .....	125
<i>В. Зубов</i> — Сергей Параджанов .....	126
<i>А. Волоховский</i> — Стихи .....	134
<i>Б. Нарциссов</i> — Под знаком дифференциала .....	135
<i>М. Добужинский</i> — О рисунках Пушкина .....	145
<i>Ю. Зорин</i> — Балет "Паганини" .....	160
<i>А. Хаостенко</i> — Стихи .....	173
 ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ	
<i>Прот. А. Киселев</i> — Облик ген. А.А. Власова .....	174
<i>Новое о "Тресте"</i> — (публ. Г. Струве, коммент. С. Войцеховского) .....	194

Последний из «Колымских рассказов», «Шоковая терапия» (в отредактированном Гулем варианте «Рауш-наркоз»), напечатанный одиннадцать лет спустя в «Новом журнале», №125, 1976. Из авторского текста рассказа выброшено две первых страницы и две последних.

Смотреть эти и другие фотографии крупным планом, архив с файлами, 4,8 МБ [http://dl.dropbox.com/u/9178411/Shalamov v NJ 1966-76.zip](http://dl.dropbox.com/u/9178411/Shalamov%20v%20NJ%201966-76.zip)

Все фотографии взяты с сайта Падуанского университета, Италия

«Как в свое время делали купюры в текстах Марины Цветаевой, так сейчас, например, в «Новом Журнале» причесали рассказы Шаламова, приведя их в большее соответствие с нормами эмигрантской эстетики»

Мария Розанова, «На разных языках», 1978 [http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/odna ili dve russkikh literatury 1978 text.pdf](http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/odna_ili_dve_russkikh_literatury_1978_text.pdf)

«Дж. Глэд: – Я переводил «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, когда находил их у Гуля, по два-три в каждом номере «Нового журнала». Он редактировал не только меня, но и Шаламова, который о таких услугах не просил, но этот конфликт между «метрополией» и эмиграцией, а также между поколениями был неизбежен».

Джон Глэд в интервью «Независимой газете», январь 2013  
[http://exlibris.ng.ru/person/2013-01-17/2\\_glad.html](http://exlibris.ng.ru/person/2013-01-17/2_glad.html)

«Хулители Синявского не поняли или не захотели понять факт совершенно ясный: Синявский боролся не с Пушкиным, а с его официальным советским образом. [...]»\*

Такие мраморно-бронзово-чугунные мантии и срывал Синявский с тела поэта. А без них Роману Гулю Пушкин почему-то представился голым, Синявский же – библейским Хамом, насмевающимся над наготой отца. [...]

Последствия такого культурного разрыва были печальными не только для Синявского.

«Колымские рассказы» Шаламова, попавшие на Запад в 1970-х, печатались в русских журналах в отрывках, с сокращениями и изъятиями абзацев, представляющихся издателям грубыми и непристойными. На Западе они прошли почти незамеченными. Для Шаламова это был удар: он надеялся, что его показания прозвучат здесь набатом».

Игорь Голомшток, «Эмиграция», журнал «Знамя», № 7, 2013  
<http://magazines.russ.ru/znamia/2013/7/7g.html>

*\* Речь идет о книге Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным» и ответной статье Р. Гуля «Прогулки хама с Пушкиным»*

---

### ***Редакционное примечание к публикациям КР в нью-йоркском «Новом журнале»***

В первые годы публикаций «Колымских рассказов» в «Новом журнале» они сопровождалась такого рода редакционным примечанием («Новый журнал», №86, 1967):

*В прошлой книге «Н. Ж.» мы уже напечатали из этой рукописи Варлаама Тихоновича Шаламова три рассказа. Рукопись «Колымских рассказов» мы, как указано в кн. 85, получили с оказией из СССР и печатаем ее без ведома и согласия автора, в чем приносим ему наши извинения. Автор рукописи поэт и прозаик, провел в концлагерях около двадцати лет. РЕД.*

---

Copyright by «The New Review», 1967.

Насколько я знаю, с 1972 года (после шаламовского «письма в ЛГ») автора выгораживать перестали. И извиняться тоже.

Смотреть страницу журнала  
[https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/NJ\\_1867\\_86\\_KR.jpg](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/NJ_1867_86_KR.jpg)

---

«Рукописи, поступавшие из СССР по тайным каналам самиздата-тамиздата, «Новый Журнал» печатал со специальным предупреждением, что тот или иной материал «из-за железного занавеса» публикуется без ведома и согласия автора. Это далеко не всегда соответствовало действительности, но редакция была прекрасно осведомлена об обстановке в СССР и старалась защитить литераторов, решившихся на передачу текстов за океан. Одной из наиболее значительных культурных акций «Нового Журнала» стала публикация на протяжении десяти лет «Колымских рассказов» Варлаама Шаламова (напомним, что в СССР они начали печататься только в конце 1980-х)».

Елена Скарлыгина, «Журналистика русской эмиграции: 1960-1980-е годы»

---

---

### ***Марина Адамович. Роман Гуль, Шаламов и «Новый журнал»***

Из интервью нынешнего главного редактора нью-йоркского «Нового журнала» Марины Адамович «Политическому журналу», № 36 (87), 31 октября 2005  
[http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=169&tek=4402&issue=126:](http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=169&tek=4402&issue=126)

«Дмитрий Стахов: [...] «Новый журнал» не циничен. И не был циничным никогда. Хотя и создавался как политическое явление, только его средством в политической борьбе была литература и поэзия. Это так?

Марина Адамович: Для основателей «Нового журнала» главным способом участия в политической борьбе была публикация литературных произведений. Когда Роман Гуль начинал публиковать Шаламова, писателя, для самого Гуля неблизкого, он руководствовался в первую очередь политическими соображениями. Он исходил из того, что публикация в «Новом журнале» Шаламова, когда Шаламова не могли опубликовать в СССР, – политика. Однако поддержанная высочайшего уровня прозой. Страшная проза, разоблачающая саму сущность советского строя. Ведь в обращении редакционной группы в первом номере от 1942 года было заявлено, что мы стоим на общедемократических позициях, но не приемлем двух идеологий: нацизма и большевизма. И прошло 60 лет, и я могу только повторить эти слова.

Д. С.: И когда ваш журнал советские власти обвиняли в «антисоветизме», а на номера в советских библиотеках ставили двойную печать, то есть «совершенно совершенно секретно», они были правы?

М. А.: Да, абсолютно. Все главные редакторы «Нового журнала» были явными антисоветчиками. Гуль был, как сказали бы в СССР, ярким антисоветчиком. Он участвовал во всех акциях, подписывал письма, боролся как мог, но в качестве главного редактора ему удавалось удачно совмещать свою позицию с позицией литератора. Материалы журнала не были голой пропагандой. Это была литература, и литература, представленная лучшими именами эмигрантской прозы и поэзии. [...] Гуль был активным противником тоталитаризма. Будучи сам человеком очень властным, он властными методами и боролся».

\* \* \*

В качестве приложения еще пара высказываний Марины Адамович о Романе Гуле и Варламе Шаламове:

«Роман Гуль фактически открыл миру Варлама Шаламова».

Из интервью блогу Slon, ноябрь 2012

[http://slon.ru/world/bunina\\_my\\_nazyvaem\\_krestnym\\_ottsom\\_nashego\\_zhurnalnala-836649.xhtml](http://slon.ru/world/bunina_my_nazyvaem_krestnym_ottsom_nashego_zhurnalnala-836649.xhtml)



« – Вы ведь публиковали и советских писателей. В частности, впервые напечатали Варлама Шаламова, не так ли?

– Да. Наш тогдашний главный редактор Роман Гуль, получив из Советского Союза рукопись «Колымских рассказов», опубликовал их в 1966 году, тем самым «НЖ» открыл это имя для всего мира».

Марина Адамович в интервью «Независимой газете», 23.05.2013  
[http://www.ng.ru/person/2013-05-23/2\\_adamovich.html](http://www.ng.ru/person/2013-05-23/2_adamovich.html)

---

### *Георгий Адамович о «Колымских рассказах», 1967*

Отрывок из рецензии на московский сборник стихов Шаламова поэта Георгия Адамовича «Стихи автора «Колымских рассказов», опубликованной в газете «Русская мысль», Париж, август 1967 года.

Электронная версия рецензии выложена на сайте shalamov.ru  
<http://shalamov.ru/critique/193/>

«Едва ли кто-нибудь из читавших «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, – не так давно помещённые без ведома автора в двух книжках «Нового Журнала», – в состоянии их забыть. На мой взгляд, они страшнее и ужаснее, чем прогремевший на весь свет «Один день Ивана Денисовича», и появившись эти короткие наброски не в эмигрантском, а в советском издании, они вызвали бы, вероятно, не меньше шума и толков. Правда, за Солженицыным остаётся преимущество новизны и открытия: он первый рассказал о том, что многие на Западе отрицали и что до последних лет, не без насмешливого высокомерия, относили к клеветническим выдумкам. После появления его свидетельства в московской печати говорить о клевете стало невозможно. Однако по существу свидетельство Шаламова, – несомненно основанное на том, что ему лично пришлось испытать, – хуже, безотраднее, безнадежнее солженицынского. Иван Денисович, при всём своём рабском бесправию и мучениях, был ещё живым человеком, – как были ещё живыми людьми и его товарищи по несчастью. В «Колымских же рассказах» бродят какие-то тени, почти мертвецы, когда-то бывшие живыми: они обмениваются отрывочными замечаниями, ссорятся, бранятся, ненавидят один другого, как будто иногда даже цепляются за жизнь, – но это подлинно «мёртвые души», мёртвые, убитые непрерывным стра-

хом и всё растущим отчаянием. Каторга в этих рассказах не только сделала, но и окончательно доделала своё дело, – чего нет в повести Солженицына.

Маленький сборник стихов Варлама Шаламова, вышедший этой весной в Москве, заранее, ещё до чтения, вызывает тревожное любопытство: каковы могут быть, какими могли остаться стихи человека, проведшего долгие годы на Колыме? Книга не совсем обычно, но, по моему, хорошо и выразительно названа – «Дорога и судьба». Приложен портрет автора: хмурое, усталое лицо, тяжёлый, пристальный взгляд. От имени издательства сообщается, что «поэзия В. Шаламова привлекает глубоко заложенным в ней философским началом, достоверностью наблюдений, взвешенностью слова» и что «круг интересов поэта разнообразен». О его участии, о его сравнительно недавнем прошлом – ни слова».

От составителя

Адамович, конечно, ошибается, приписывая Солженицыну приоритет в открытии «лагерной темы», но это по неведению.

Кроме того, режет слух, когда он называет «набросками» рассказы «Сентенция», «Сухим пайком», «Сука Тамара». Это все равно что назвать набросками «Голодаря» и «Мусорный ветер».

Рецензия Адамовича цитировалась также в статье Вячеслава Огрызко «Поэзия – дело седых» (газета «Литературная Россия», 2007).

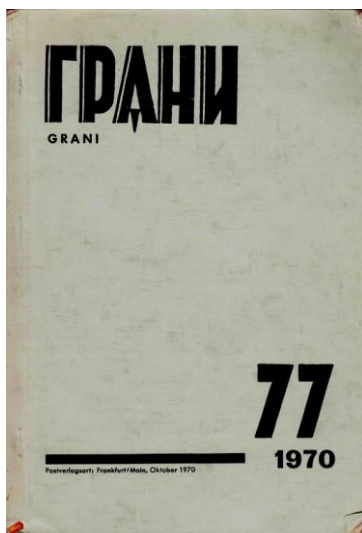
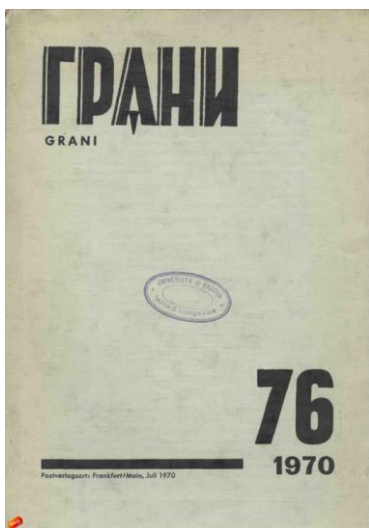
---

***«Колымские рассказы» в журнале «Грани», 1970. Шаламов и Солженицын***

«Колымские рассказы» в журнале «Грани», №76, июль, №77, октябрь

Издательство Народно-Трудового Союза «Посев», Франкфурт-на-Майне, Западная Германия

Смотреть крупным планом, в т.ч. скан страницы с содержанием номеров 75-78, архив с файлами, 4,1 МБ  
[http://dl.dropbox.com/u/9178411/Salamov\\_Grani\\_1970.zip](http://dl.dropbox.com/u/9178411/Salamov_Grani_1970.zip)



# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXV

№ 76

1970 год



## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ИЛЬЯ ГАБАЙ — Волхвы. Попытка объяснить замысел. Мои исповедь. Стихи	3
ВАРЛАМ ШАЛАМОВ — Эсперанто. Инженер Киселев. Лагерная свадьба. Татарский мулла и чистый воздух. Последний бой майора Пугачева. По лендлизу. Любовь капитана Тол- ли. Менделеев. Погоня за паровозным дымом. Рассказы	16
ИОСИФ БРОДСКИЙ — 1 сентября 1967 года. «Отказом от скорбного перечня — жест...» Стихи	84
НАТАЛЬЯ ГОРВАНЕВСКАЯ — Стихи, не собранные в книги	86
МУЗА ПАВЛОВА — Крылья. Пьеса	92

### ВОСПОМИНАНИЯ

В. АРДОВ — Встреча Анны Ахматовой с Мариной Цветаевой	110
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛЮДМИЛА КУЗЬМИЧ — Борис Пильняк и его роман «Годный год»	115
--	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

† А. ПОЛОВЦЕВ — Модернизм — духовная революция	128
ВИКТОР РОСТОПЧИН — Призрак. Страх. Страх ради	147

### БИБЛИОГРАФИЯ

Валерий Перелешин. Обвинительный акт. — А. Раин. Два издания одной книги. — Эммануил Райс. О. Мандельштам, том тре- тий. — Юрий Арешнев. Воспоминания поэта-переводчика. — Вл. Нежданов. Новая книга о советском шпионаже	190
Список книг, поступивших в редакцию	205
Обращение издательства «Посев»	207

© 1970 Copyright by Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство «Посев»

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXV

№ 77

1970 год

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ЮЛИЙ ДАНИЕЛЬ — А в это время... Поэма	4
ВАРЛАМ ШАЛАМОВ — Аневризма аорты. Кусок мяса. Припадок. Бизнесмен. Женщина блатного мира. Сергей Есенин и воровской мир. Рассказы	15
ИЛЬЯ ГАБАЙ — В последний раз в имение родовом. Позднее кредо Иова. Стихи	49
В. КОСТЕЦКИЙ — Адам, я и капитана	54

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

МИХАИЛ ВУЛГАКОВ — Записки на манжетах. Отрывки	74
Вечер памяти Мандельштама в МГУ	82
Е. ОЛИЦКАЯ — Соловки. Отрывки из книги	89
Н. Ф. ПЛАТТЕН — Из Зеркального переулка в Кремль	102

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. АЛЕКСАНДРОВ — О повести «Котлован» А. Платонова	134
--	-----

### ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

Н. О. ЛОССКИЙ — Интуитивизм	144
Г. ПОМЕРАНЦ — Человек без прилагательного	171

### БИБЛИОГРАФИЯ

В. Перелешин. Апологет ереси. — Глеб Рар. «Шерковь и Россия». — А. Русяк. Пятнадцать веков христианского искусства. — Вл. Неж- данов. Люди за бортом. — О. Можайская. В преодолении Рока	199
Список книг, поступивших в редакцию	213
Обращения редакции «Грани» и издательства «Посев»	215

© 1970 Copyright by Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство «Посев»



Следующий, декабрьский (78), номер журнала – издка судьбы – рекламирует шеститомное собрание сочинений Солженицына издательства «Посев»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

## **Александр Солженицын**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**В ШЕСТИ ТОМАХ**

Цветная художественная суперобложка, твердый переплет, тисненый золотом, работы художника А. Русака. Фотография автора и его портрет работы московского художника В. Сидура

**ТОМ ПЕРВЫЙ**

**ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА  
РАССКАЗЫ**

Матренин двор. Случай на станции Кречетовка. Для пользы дела. Захар Калита. В томе 308 страниц и фотография А. И. Солженицына на меловой бумаге.

Цена в твердом переплете 18.-- н. м., в мягком — 15.-- н. м.  
В США и Канаде 6.-- ам. дол. и 5.-- ам. дол.

**ТОМ ВТОРОЙ**

**РАКОВЫЙ КОРПУС  
600 страниц**

Цена в твердом переплете 24.-- н. м., в мягком — 21.-- н. м.  
В США и Канаде 8.-- ам. дол. и 7.-- ам. дол.

**ТОМА ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ  
В КРУГЕ ПЕРВОМ**

Цена каждого тома в твердом переплете 18.-- н. м. В США и Канаде 6.-- ам. дол. Цена каждого тома в мягком переплете 15.-- н. м. В США и Канаде 5.-- ам. дол.

**ТОМ ПЯТЫЙ**

**ПЬЕСЫ, РАССКАЗЫ, СТАТЬИ**

Олень и шалаповка. Свеча на ветру. Правая кисть. Крохотки. Пасхальный крестный ход. Как читают Ивана Денисовича. Не обычай дегтем щи белить, на то сметана. Ответ трем студентам. В томе 270 стр.

Цена в твердом переплете 15.-- н. м., в мягком — 12.-- н. м.  
В США и Канаде 5.-- ам. дол. и 4.-- ам. дол.

**ТОМ ШЕСТОЙ**

**«ДЕЛО СОЛЖЕНИЦЫНА». КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ**

Письма, записки заседаний и др. материалы, показывающие отношение А. Солженицына к СП, к вопросам цензуры, к судьбам отечественной литературы. Наиболее полный сборник документов, начиная с письма IV съезду СП. Цена в твердом переплете 18.-- н. м., в мягком — 15.-- н. м.  
В США и Канаде 6.-- ам. дол. и 5.-- ам. дол.

и печатает поздравление свежее испеченному лауреату Нобелевской премии по литературе:



*Провозвестнику рассвета в российской литературе и лучшему творцу ее — Александру Исаевичу Солженицыну шлет редакция журнала «Грани» поздравления с присуждением Нобелевской премии.*

*(Текст телеграммы, отправленной 9.10.1970 г.)*

*«Провозвестнику рассвета в российской литературе и лучшему творцу ее — Александру Исаевичу Солженицыну шлет редакция журнала «Грани» поздравления с присуждением Нобелевской премии.*

*(Текст телеграммы, отправленной 9.10.1970 г.)»*

Смотреть фотографии крупным планом, архив с файлами, 2,7 МБ  
[http://dl.dropbox.com/u/9178411/Soljen\\_Grani\\_1970.zip](http://dl.dropbox.com/u/9178411/Soljen_Grani_1970.zip)

Это не первая реклама в журнале собрания сочинений Солженицына. За два года до того, в ноябре 1968, «Грани» рекламируют его трехтомник\* издательства опять же «Посев». Из чего же состоит этот трехтомник? Первый том включает рассказы, печатавшиеся в «Новом мире», этюды и «крохотки». Два других содержат повесть «Раковый корпус», разнесенную на две книжки. Напомню, что, по замыслу Шаламова, к ноябрю 1968-го в Париже на русском должен был выйти завершенный пятитомник «Колымских рассказов», а возможно, и двухтомник стихов. Издать его тогда значило зарубить на корню многообещающую международную карьеру писателя Солженицына, на фоне отсутствия книг Шаламова оставшегося практически монополистом «лагерной темы» и уже на следующий год представленного к Нобелевской премии по литературе, а еще год спустя триумфально и с величайшим скандалом ее получившего.

Все фотографии взяты с сайта Падуанского университета, Италия

*\* Впрочем, сюжет «Солженицын и «Грани» завершается как раз неплохо, в духе восторжествовавшей справедливости:*

*«Александр Исаевич Солженицын не был одинок, когда в ответ на письмо к нему о критически-бедственном положении журнала «Грани» ответил телефонным звонком и сказал мне, в частности, следующее: «“Грани” прожили хорошую жизнь – пятьдесят лет. И могут умереть».*

*Татьяна Жилкина, редактор журнала «Грани», «Журнал с прекрасной и трагической судьбой», опубликовано в журнале «Посев», №4, 2009 <http://www.posev.ru/files/magazine-archive/68.pdf>*

---

### **Рукописи очерков из антиромана «Вишера» на Западе в 1970 году**

В передаче Радио Свобода от февраля 1971 года <http://www.svoboda.org/content/transcript/24178209.html>, посвященной советским концлагерям, бывший лагерник Геннадий Андреевич Хомяков\* говорит:



«Недавно я прочел концлагерный рассказ Варлама Шаламова. Он пишет, вероятно, с чьих-то слов, что в 1929 году на Северном Урале был открыт новый лагерь, как 4-е отделение Соловков, и что для его открытия прибыли партии заключенных с Соловков и Ухта-Печоры. И тут же, рядом, Шаламов написал, что до 1929 года был только один лагерь – Соловки. [...]

Шаламов верно пишет, что Соловки называли «УСЛОНОм», по первым буквам – Управление Соловецких лагерей особого назначения, а еще короче – «СЛОН».

Хомяков почти дословно пересказывает очерк Шаламова «Вишера» из одноименного антиромана:

«Поезд снова пошел к югу, затем в Котлас, на Пермь. Опытным было ясно – мы едем в 4-е отделение УСЛОНа на Вишеру. Конец железнодорожного пути – Соликамск.

Был март, уральский март. В 1929 году в Советском Союзе был только один лагерь – СЛОН – Соловецкие лагеря особого назначения. В 4-е отделение СЛОНа на Вишеру нас и везли».

О прибытии на Вишеру заключенных с Соловков и Ухты-Печоры у Шаламова нет, хотя Ухта-Печора у него упомянута:

«4-е отделение Соловков было преобразовано в самостоятельный лагерь УВИТЛ. Общее количество заключенных в нем к январю 1930 года достигло 60 тысяч. А в апреле, когда пришел наш этап, было только две тысячи.

Открыли Темники, Ухта-Печору, Караганду, Свирлаг, Бамлаг, Дмитлаг...»

Совершенно ясно, что незадолго до передачи Хомяков читал список очерка «Вишера» (1961).

В 1970 году в журнале «Грани» в подборке «Колымских рассказов» был напечатан очерк «Лагерная свадьба», тоже входящий в антироман – или цикл очерков – «Вишера».

Таким образом, по меньшей мере два текста антиромана попали на Запад еще на рубеже шестидесятых-семидесятых годов. Их могло быть и больше – как видно, печаталось не все из имеющегося. Интересно, что отсутствовавший в «списке-66», присвоенном Гулем, и не опубликованный в изданиях НТС очерк «Вишера» так и не попал в поле зрения Михаила Геллера – ни в лондонском, ни в парижском изданиях прозы Шаламова его нет. Это прискорбное упущение характеризует, по-видимому, степень проницаемости барьера, стоявшего между кру-

гами русских солидаристов и христианских демократов. Впервые очерк был опубликован Сиротинской в 1989 году в составе антивоенного романа.

Заодно небольшой пример переклички тем внутри массива шаламовской прозы, или точнее, ее эволюции.

В рассказе «Хан-Гирей», именуемом у Геллера – согласно «списку-66» – «Тамарин-Мирецкий», о Соловках сказано почти теми же словами, что в «Вишере»:

«В 1928 году был только один концлагерь в России – УСЛОН. Четвертое отделение Соловецких лагерей особого назначения открылось позднее в верховьях Вишеры...»

В очерке же сразу после приведенного в начале поста отрывка появляется человек по имени Тамарин-Мерецкий или Шан-Гирей:

« – Я писал раньше обзоры в «Комсомольской правде», – сказал старик. – «Тамарин-Мерецкий» – такая подпись. [...]»

Александр Александрович был не Тамарин и не Мерецкий. Настоящая его фамилия была Шан-Гирей. Он был татарский князь из свиты Николая II. Когда Корнилов шел на Петроград, князь Шан-Гирей был начальником штаба пресловутой «Дикой дивизии». А потом по призыву Брусилова Шан-Гирей перешел на службу в Красную Армию, командовал корпусом в гражданскую войну. Корпус Тамарина принимал участие в операциях против Энвер-паши, против басмачей. Энвер был разбит, но ушел из окружения, перешел границу и исчез, а Тамарин был обвинен в военных ошибках, в помощи бегству Энвера. Тамарин был демобилизован из Красной Армии, жил в Москве, работал в газетах. Вскоре был арестован и заключен в концлагерь на три года. Любитель цветоводства и огородничества стал агрономом сельхоза».

Наглядно виден таящийся в неприхотливом очерке рассказ, которому для созревания понадобится еще несколько лет, и то, как тесно этот рассказ связан с ранним очерком, который отбросил, как ракета – отработавшую ступень.

*\* Геннадий Андреев (Г. А. Хомяков), автор двух книг о советских лагерях, после войны остался на Западе, активно функционировал в НТС, затем редактировал мюнхенский альманах «Мосты», впоследствии переехал в Америку.*

*Первая критическая статья о «Колымских рассказах», Михаил Геллер, 1974*



Первая литературно-критическая работа о «Колымских рассказах». Глава четвертая из книги Михаила Яковлевича Геллера «Концентрационный мир и советская литература», London: Overseas Publications Interchange (OPI), 1974; переизд. – изд. МиК, М. 1996.

---

**Полюс лютости: Варлам Шаламов**

Можно утверждать, что понятие «ада» относительно. Можно утверждать, что последнего круга никто не достиг. Польский сатирик Станислав Ежи Лец писал: «Оказавшись на дне, мы услышали постукивание снизу». Книги Александра Солженицына – как бы ступени, низводящие в ад: «В круге первом», «Олень и шалашовка», «Один день Ивана Денисовича». Но даже в сумме лагерной цивилизации, в самом широком и глубоком образе концентрационного мира – в «Архипелаге ГУЛАГ» писатель делает оговорку: «Я почти исключаю Колыму из охвата этой книги».89 Солженицын объясняет это прежде всего тем, что о Колыме уже писал Варлам Шаламов: «Может быть в «Колымских рассказах» Шаламова читатель верней ощутит безжалостность духа Архипелага и грань человеческого отчаяния».90

Гитлеровские лагеря истребления были адом. Колыма была адом. Выжившие в аду редко пишут мемуары. Необходимо необыкновенное мужество, чтобы сказать всю правду о себе и людях.

В поэме «Последний круг» Зинаида Гиппиус писала:

Будь счастлив, Дант, что по заботе друга

В жилище мертвых ты не все познал,  
Что спутник твой отвел тебя от круга  
Последнего – его ты не видал.  
И если б ты не умер от испуга –  
Нам все равно о нем бы не сказал.<sup>91</sup>

Варлам Шаламов провел долгие годы в колымских лагерях, на самом дне ада, на «полюсе холода и жестокости», как назвал Колыму Солженицын, вернулся на землю и рассказал о том, что видел и чувствовал.

В лучшей из книг об Освенциме, в рассказах польского писателя Тадеуша Боровского есть, быть может, самая страшная фраза в европейской литературе. Герой, санитар лагерной больницы, играет в футбол, когда очередной транспорт ведут в газовую камеру. Он спокойно регистрирует: «Между двумя корнерами за моей спиной убили газом три тысячи человек».<sup>92</sup>

У Шаламова мы находим, если это возможно, утверждение еще более страшное. В пересыльном лагере герой рассказа, оказавшийся соседом пожирателя трупов, замечает: «...Есть несомненно вещи более страшные, чем мясо трупа на обед».<sup>93</sup>

Шаламов и Боровский отмечают то, о чем другие писатели не могут или не хотят говорить, – в лагере умирают даже те, кому удастся выжить. Лишь немногим удастся потом воскреснуть.

Трудность изучения творчества Шаламова объясняется прежде всего тем, что 60 рассказов и исследование о блатных не были никогда напечатаны вместе и в той форме, которую имел в виду писатель. Следовало бы говорить о книге Шаламова. Ибо написанные им рассказы – это главы одного большого произведения. Но рассказы эти печатались (и продолжают печататься) вразброс, бессистемно, не давая читателю полного представления о замысле и масштабах книги. Достаточно прочесть «Один день Ивана Денисовича», чтобы не только понять важнейшие мысли Солженицына, но и получить полное представление о его стиле, языке. Даже лучшие из рассказов Шаламова, такие, скажем, как «Одиночный замер», в отдельности дают о прозе писателя и его книге представление очень слабое.<sup>94</sup>

В его книге соседствуют физиологический очерк – «Зеленый прокурор», «Бани», «Как это началось», биографическое повествование – «Мой процесс», «Надгробное слово», рассказ – «Шерри-Бренди», «Последний бой майора Пугачева». Шаламов пишет рассказы, в которых использует факты из собственной биографии, пишет очерки, пользуясь повествованиями других заключенных и своими наблюдениями.

Писатель многократно возвращается к событиям, воспоминаниям, фактам, которые кажутся ему чем-то важными, используя их то в рассказах, то в очерках. Иногда он ведет рассказ в третьем лице, иногда в первом. Кроме того, в книге выступают два alter ego писателя – Андрей и Крист, и в одном рассказе – «Мой процесс» — героя зовут Шаламов.

Писатель постоянно меняет точку зрения, он анализирует события или поведение людей с разных сторон, но категорически отказывается психологизировать, анализировать «душу» своих героев. Как прожектором выхватывает он из темноты лагерной жизни событие, не стараясь его объяснить или даже понять. Ибо жизнь в лагере иррациональна. Это, по выражению заключенных, «страна чудес», где происходят вещи непонятные и необъяснимые для людей, живущих «наверху».

Криста внезапно вызывают к следователю. Он идет, не ожидая ничего хорошего, но оказывается, что следователю нужен человек с хорошим почерком для переписки бумаг. В течение долгих месяцев раз в неделю умирающий от голода Крист приходит к следователю и до полуночи переписывает какие-то списки фамилии. Ни разу следователь не дал заключенному куска хлеба, папиросы, не сказал ему слова, не связанного с работой. И однажды, диктуя очередной список, следователь вдруг спросил: Как вас зовут? И еще раз взглянув на папку с бумагами, которую он держал в руках, перелистав бумаги, он бросил их все в печку.

И лишь годы спустя, – заканчивается рассказ, – Крист понял, что следователь сжег его «дело». Товарищей Криста расстреляли. Расстреляли и следователя. Пощаженный Крист вспоминает иногда свое горящее «дело», решительные пальцы следователя, рвущие бумаги, подарок одного обреченного другому обреченному.

Мы не знаем, почему следователь решил подарить жизнь Кристу, мы не знаем даже эмоций Криста, ибо лишь многие годы спустя он понял значение жеста следователя.

Прожектор вырвал из тьмы факт – и погас. Но мы успели увидеть дно человеческого отчаяния.

Нередко писатель использует прием «отстранения», показывает мир, привычный для героев книги, под каким бы именем они ни выступали, «со стороны».

Серафим, бежавший от несчастной любви из Москвы на Колыму, работает – как вольнонаемный – целый год рядом с заключенными.

Но только когда его, забывшего паспорт, принимают за заключенного, сажают в камеру, он за 5 дней понимает то, чего не мог понять за год. – Как вы выносите эту жизнь? – спрашивает он заключенного.

Внезапное открытие – рядом с ним – другой, нечеловеческой жизни приводит его к самоубийству.

В куче мусора герой рассказа «Детские рисунки» находит школьную тетрадку, а в ней рисунки ребенка. На страницах тетрадки ребенок запечатлел мир, который он видит вокруг себя: дома, колочая проволока, вышки надзирателей, немецкие овчарки, часовые с автоматами. Ребенок, живущий на Колыме, рисует мир, который он знает.

Шаламов признает лишь одну прозаическую форму – короткий рассказ или очерк. Ничего лишнего. Но бывает, что он возвращается к описанному уже эпизоду, дополняя его в другом рассказе.

Женщина, которая в рассказе «Дождь» ободряет бригаду заключенных, нечеловечески уставших от работы, холода, дождя, идущего третий день, голода, ободряет, показав рукой на небо и словами: «Скоро, ребята, скоро», словами, означавшими, что скоро рабочий день кончится, запоминается автору на всю жизнь.

«Я думал о мудрости этой женщины... я думал о ее большом сердце...» Она исчезает из рассказа – сделав один жест и сказав одну фразу. Но мы встречаемся с ней снова в рассказе «Ночная смена»: бригада заключенных обнаруживает на снегу труп этой женщины и рядом – ее убийцу – следователя.

В этой книге все связано, все переплетается. Книга Шаламова – это мир, в котором, широко открыв глаза, живет свидетель.

Постепенно, из десятков рассказов, складывается его характер и его биография. Впервые арестованный в 1929 году Шаламов попадает в один из филиалов Соловков – Вишерский лагерь. Часть рассказов посвящена периоду рождения советской лагерной империи – началу 30-х годов. Отбыв пятилетнее заключение, освобожденный, он арестовывается в начале 1937 г. снова – как бывший заключенный и опять получает 5 лет и посылается на Колыму. В 1942 г., вместо освобождения ему продлевают заключение «до окончания войны», а в 1943 г. сочиняют новое «дело» – за утверждение, что Бунин – классик русской литературы – и осуждают на 10 лет «за контрреволюционную агитацию».

В книге Шаламова можно, таким образом, выделить три части: первую – преддверие Колымы – лагерь начала 30-х годов, вторую – первый колымский период, повествование о котором начинается рассказом «Причал ада», и третью – второй колымский период – с 1946 г., когда писателю удается попасть на курсы фельдшеров и, закончив их, на работу в лагерную больницу. Эта часть начинается рассказами «Экзамен» и «Курсы».

Шаламов не пишет автобиографии. Его книга – это отражение виденного в вогнутом зеркале подземного мира. «Сюжет невообразим и

все же реален, существует взаправду, живет рядом с нами».<sup>95</sup> Естественность чудовищности, примирение с чудовищностью, согласие на нее людей – вот, что показывает писатель, вернувшийся из подземного мира. Он говорит о себе:

«Я вроде тех окаменелостей,  
Что появляются случайно,  
Чтобы доставить миру в целости  
Геологическую тайну».<sup>96</sup>

Шаламов раскрывает повседневность, обыденность, привычность лагерной жизни – с 1929 года до 1956 года, когда писателю, уже освобожденному, с большим трудом удается, наконец, покинуть Колыму, – меняющейся лишь количественно: раньше – в начале 30-х – кормили чуть лучше, раньше били чуть меньше, но и первая и последняя ступень ада – это ад. Правда, спускаясь по этим ступеням, человек перестает быть человеком. На какой-то из ступеней – человек достигает дна.

Чтобы описать его, Шаламов ищет язык простой, скупой, строит фразу короткую, используя часто блатные слова и образы, язык мира, в котором живет писатель.<sup>97</sup>

Подчеркивая сжатость, лапидарность стиля, писатель дает своим рассказам короткие – обычно в одно или два слова – названия.

Несомненно, что образцом, стоявшим перед глазами Шаламова, был «Мертвый дом» Достоевского. Он несколько раз вспоминает книгу великого каторжника, удивляясь, как сильно углубилось дно ада за неполные сто лет. По отношению к действительности ближе всего, быть может, к прозе Шаламова проза Бабеля. У Шаламова нет ни ошеломляющих метафор, ни живописных описаний, характерных для Бабеля. Есть зато – как у Бабеля – умение со спокойствием медика рассказать об ужасном, найти в страшном естественное.

При анализе прозы Шаламова необходимо помнить, что он не только прозаик, но и поэт,<sup>98</sup> стихи которого высоко ценил Пастернак<sup>99</sup>. В стихах Шаламов нередко используют те же сюжеты, что и в своей прозе, но в форме значительно более лаконичной и философски обобщенной.

Шаламов пишет о человеке в лагере, о человеке перед Страшным судом. У писателя нет иллюзий: «Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдерживали»<sup>100</sup>. В те времена, когда над Британской империей не заходило солнце, кто-то

из англичан сказал: к востоку от Суэцкого канала десять заповедей перестают быть действительными. [Киплинг, «Дорога в Мандалай». Здесь эти строчки несут противоположный смысл: «Где ни заповедей нет, ни на жизнь запрета нет» – прим. составителя]. Десять заповедей переставали быть действительными за воротами лагеря. Новая мораль – лагерная – требовала от человека отказа от человечности, отказа от самого себя. Иногда – это спасало. На Колыме, говорит Шаламов, те, кто выдерживал «великую пробу нравственных сил, умирали вместе с теми, кто не выдерживал, стараясь быть лучше всех, тверже всех только для самих себя»<sup>101</sup>.

Причины физической и моральной смерти носили характер чисто материальный – голод и труд. Шаламов рассказывает о зиме 1937/38 года, когда волна массового террора прокатилась по колымским лагерям, унеся десятки тысяч жертв.

«Многие месяцы подряд, ночью и днем, на каждой вечерней и утренней поверке, офицер читал длинные списки расстрелянных. При температуре минус 50, музыканты, набранные из «бытовиков», давали фанфарный сигнал до и после прочтения каждого списка... Каждый список неизменно заканчивался словами: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УС – ВИТЛ102 полковник Гаранин»<sup>103</sup>.

Это был период «гаранинщины».

Но заключенные умирали десятками тысяч не только в этот период, и об их смерти не всегда извещали фанфары. Несравненно чаще, чем пуля палача, убивали заключенных голод и труд. Рожденная на Соловках и испытанная на Беломорканале система взаимозависимости труда и питания достигла своего «совершенства» в период «ежовщины», став на Колыме орудием истребления заключенных.<sup>104</sup>

Нет почти ни одного рассказа Шаламова, в котором не говорилось бы о еде. Голодали во всех советских лагерях, но редко где сочетание тяжелейшего труда, холода и недостатка пищи принимало такой убийственный характер, как на Колыме.

Достаточно сравнить «Один день Ивана Денисовича» и рассказ Шаламова «Хлеб», чтобы понять, что и голод носит относительный характер. Иван Денисович случайно съедает обед без хлеба. Герой Шаламова никогда не ест свой суп, «баланду», с хлебом. Хлеб он съедает отдельно. «Не следовало торопиться, не следовало жевать, не следовало запивать водой – мы сосали хлеб, как сахар, как конфету».

Хлеб становится синонимом жизни. Но убивает не только полное отсутствие хлеба. Выполнение нормы, лающее право на полный паек, не спасало заключенного, ибо даже полный паек был недостаточен для



восстановления сил, затраченных на работе по добыче золота в холодных шахтах, на рубке леса в сорокоградусный мороз.<sup>105</sup>

Если нужно было бы назвать одну черту, отличавшую книгу Шаламова от всех других книг, написанных советскими писателями о лагерях, то следовало бы назвать его отношение к лагерному труду.

Горький воспевал труд. Все советские писатели воспевают труд. На воротах всех советских лагерей красовались слова Сталина: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». И даже Солженицын в «Одном дне Ивана Денисовича» изображает «симфонию труда», показывает заключенных, в том числе и главного героя, увлекшихся человеческим делом – работой. Для Солженицына – Иван Денисович, добросовестно с увлечением работающий в лагере, – символ человека не сдавшегося, сохранившего самое важное – любовь к работе, к творчеству.

Шаламов смотрит на это иначе. Когда он говорит о работе в лагере, главное для него – не работа, а – лагерь. Работа в лагере – это рабский труд, недостойный человека.

Работа в лагере убивает. «Шестнадцать часов работы без отдыха, голод, порванная одежда, ночи в порванных палатках при температуре 60° ниже нуля, избиение охраной, уголовниками и конвойными»<sup>106</sup> – человек не может этого выдержать. Шаламов пишет, что достаточно 20 – 30 дней такой работы, чтобы превратить здорового молодого человека в «доходягу».

Работа в лагере – и это подчеркивает писатель – воспитывает «отвращение и ненависть к труду». В лагере не может быть «честного» труда. «К честному труду в лагере, – говорит один из героев Шаламова, – призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты – до самой смерти».<sup>107</sup>

Ненависть Шаламова к лагерному труду объясняется и тем, что лагерь убивает в человеке естественную для него любовь к труду – как убивает и все другие человеческие чувства, и тем, что писатель отвергал основу морали «концентрационного мира». В этом мире – со времен Соловков и «Беломорканала» – господствовал принцип: морален тот, кто выполняет норму, и чем больше он ее перевыполняет, тем он моральнее. «Мы поняли... удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек, физически сильный, лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого... Первый моральнее второго. Он выполняет «процент», т. е. исполняет свой главный долг перед государством и обществом, а потому всеми уважается».<sup>108</sup>

Шаламов не хочет принять этой «нравственной» нормы и поэтому отказывается видеть в лагерном труде человеческий труд.

Показывая человека перед лицом смерти, писатель говорит о нем всю правду, если даже она противоречит общепринятым представлениям, нарушает установившиеся каноны. Шаламов опровергает миф о дружбе, выдерживающей самые тяжелые испытания.

«Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей – значит, это нужда – не крайняя и беда – не большая».109

Писатель точно указывает, когда уходят «все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность»,110 когда остается только – «недоверие, злоба и ложь».111 В рассказе «Причал в аду» говорится, что уже через три недели по прибытии на Колыму заключенные навсегда отучиваются делить хлеб с товарищами.

Шаламов утверждает, что в настоящей нужде, в условиях, находящихся «по ту сторону добра и зла», человек остается один, наедине с самим собой. И в этих условиях он проходит последнюю проверку, испытывает свои физические и моральные силы.

Вывод оптимистичен: на самом дне ада человек может найти в себе силы, чтобы не сдаться. Герой книги Шаламова – под разными именами проходящий через все муки последнего круга ада – сохраняет человеческие чувства.

Писатель находит необычный символ для изображения этой борьбы человека за самого себя, борьбы в одиночку против всего лагерного мира. Мы встречаемся с этим символом во многих рассказах, иногда он лишь упоминается, иногда подробно описывается, иногда становится стержнем повествования. Символ – простой шарф, подаренный однажды заключенному в больнице. Едва он возвращается на работу – начинается охота за шарфом. Его хотят отобрать уголовники, бригадир, все кто чуть сильнее героя. Борьбе за шарф он отдает все свои силы. И всегда – во всех рассказах – шарф у него отбирают. Казалось бы, напрасная борьба, лишаящая героя последних сил, приносящая ему лишь дополнительное горе и неприятности. Но в этой борьбе герой Шаламова утверждает свое достоинство, свое право быть человеком и свою способность им остаться.

Голод и лагерный труд убивали человека: если он сохранял физическую жизнь – они лишали его человеческих чувств. Но сила человеческого тела удивительна. «Человек выносливее любого животного.

Часто кажется, – пишет Шаламов, – да так, наверное, и есть, что человек потому и поднялся из звериного царства, что он физически выносливее любого животного».112

В одном из лучших рассказов книги, в «Сентенции» Шаламов с беспристрастностью медика и с честностью подлинного писателя рассказывает о смерти и воскресении человека. Умиравший, почти мертвый от голода герой рассказа оказывается в тайге, в бригаде топографов, на очень легкой работе.

Сбросив с себя непомерную тяжесть лагерного труда, герой рассказа впервые осознает, что он умирает и, анализируя свои чувства, приходит к выводу, что из всех человеческих чувств у него осталось одно – злость. «Не равнодушие, а злость была последним человеческим чувством, – тем, которое ближе к костям».113

Само освобождение от работы, даже без дополнительной еды: вся еда – кусок хлеба, ягоды, корни, трава – производит чудо. К человеку начинают возвращаться чувства: приходит равнодушие – бесстрашие. Ему все равно – будут его бить или нет, дадут ли хлеб или нет. А затем является страх. Теперь ему страшно лишиться этой спасительной работы, высокого холодного неба и боли в мышцах, которой давно уже не было. Потом приходит зависть. «Я позавидовал мертвым своим товарищам... Я позавидовал и живым соседям, которые что-то жуют, соседям, которые что-то закуривают... Любовь не вернулась ко мне... Как мало нужна людям любовь. Любовь приходит тогда, когда все человеческие чувства уже вернулись».114

До любви к людям – возвращается любовь к животным. В книге Шаламова мы находим страницы, посвященные животным, которые принадлежат к лучшим в русской литературе на эту тему. Мучения животных в аду для людей подчеркивают низость падения человека.

И когда к человеку возвращаются первые, самые примитивные, самые «близкие к костям» чувства – происходит чудо – воскресает поэт. Внезапно в мозгу, казалось, давно уже умершем, вспыхивает слово, значения которого не помнит ни герой, ни его товарищи. Возвращается слово – сентенция.

«Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция»... Прошло много дней, пока я научился вызывать из глубины мозга все новые и новые слова... Мысли и слова не возвращались потоком. Каждое возвращалось поодиночке, без конвоя других знакомых слов и возникало раньше на языке, а потом – в мозгу».115

Произошло воскрешение человека, воскрешение поэта. Слово приносит жизнь. Но перерыв кончился и надо было снова возвращаться в шахту – на смерть.

Память приходит последней, но память делает жизнь невыносимой, ибо память вырывает человека из ада, в котором он живет, напоминая, что существует и другой мир. Писатель хочет сохранить память и боится этого, ибо он видел то, «что человеку не надо видеть и даже не надо знать».116

Героев Шаламова ждет только смерть. «Специальная инструкция гласит: уничтожить, не позволить остаться в живых».117

Как вы можете жить? – спрашивает Серафим, случайно, на несколько дней, попавший в шкуру заключенного. Почему люди продолжают жить в нечеловечески условиях? – спрашивает Шаламов. И, приводя несколько случаев самоубийства, задает вопрос: почему все не лишают себя добровольно жизни?

Писатель дает на этот вопрос два ответа. Одних, очень немногих, поддерживает вера в Бога. С глубокой симпатией, но и с некоторым недоумением перед явлением ему непонятным, необъяснимым, рассказывает он о заключенном-священнике, который молится в лесу,118 о другом священнике, которого – в виде редчайшего исключения – позвали исповедать умирающую,119 о немецком пасторе, теряющем в лагере память и теряющем дочь, отрекающуюся от отца.120

Истинная вера, облегчающая страдания и позволяющая жить в лагере – явление не частое.

Большинство заключенных продолжает жить, ибо надеется. Надежда поддерживает еле теплящийся огонек жизни у колымских узников. Шаламов видит в надежде зло, ибо очень часто смерть лучше жизни в аду. «Надежда для арестанта всегда кандалы. Надежда всегда несвобода. Человек, надеющийся на что-то, меняет свое поведение, чаще кривит душой, чем человек, не имеющий надежды».121 Поддерживая волю к жизни, надежда обезоруживает человека, лишает возможности умереть достойно. Перед лицом неминуемой смерти надежда становится союзницей палачей. Переживший Освенцим Тадеуш Боровский совершенно согласен с пережившим Колыму Варламом Шаламовым. «Никогда в истории человечества, – писал Боровский, – надежда не была такой сильной, но никогда она не причинила столько зла, сколько в этой войне, в этом лагере. Нас не научили отказываться от надежды и поэтому мы погибаем в газовых крематориях».122

Отвергая надежду, Шаламов противопоставляет ей волю к свободе. Неукротимую любовь не к абстрактной свободе, а к индивидуальной свободе человека. Этой теме посвящен если не самый лучший, то безусловно самый важный рассказ книги. Точнее – два рассказа. Придавая этой теме – редчайшей в советской литературе – особое значение, Шаламов возвращается к ней дважды.

В большом очерке «Зеленый прокурор», рисуя быт каторги, писатель, рассказывая о побегах с Колымы, задерживается на побеге группы заключенных под руководством подполковника Ивановского. Затем Шаламов пишет на эту же тему рассказ «Последний бой майора Пугачева».

Сравнение двух текстов позволяет сделать вывод, что писатель стремился, сохранив все детали побега, вывести рассказ за рамки частного случая, превратить его в обобщение, в символ бессмертия свободы.

В «Зеленом прокуроре» подполковник Ивановский – советский офицер, попавший во время войны в плен, а затем вступивший в армию Власова. В рассказе – майор Пугачев бежит из немецкого плена, но, попав к своим, арестовывается и отправляется на Колыму. Шаламов дает герою рассказа символическое имя – Пугачева, вождя крестьянской войны, потрясшей Россию XVIII века.

В «Последнем бое майора Пугачева» писатель не только рассказывает историю людей, решивших, что для них есть лишь одна альтернатива: быть свободными или умереть с оружием в руках. Он подчеркивает принципиальное различие между новыми, послевоенными заключенными и прежними, жертвами арестов 30-х годов.

Шаламов дает краткий, но исчерпывающий ответ на вопрос о характере «ежовщины». «Аресты тридцатых годов были арестами людей случайных... У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядочности... Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему им надо было умереть. Их самолюбию, их злобе не на что было опереться. И, разобщенные, они умирали в белой колымской пустыне – от голода, холода, многочасовой работы, побоев и болезней. Они сразу выучились не заступаться друг за друга, не поддерживать друг друга. К этому и стремилось начальство. Души оставшихся в живых подверглись полному растрению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами».123

«Ежовщина» удалась, могла удалиться лишь потому, что террор был направлен против невинных. Но именно эта невинность заключенных мешала им видеть в палачах палачей, мешала им объединиться, мешала им помогать друг другу.

Заключенные послевоенных лет были иными. В «Зеленом прокуроре» о них говорится: «Власти, знавшие до сих пор лишь спокойных

троцкистов, не подозревали, что это были люди действия». В «Последнем бое майора Пугачева» писатель выражается еще более четко: «Администрация лагерная, привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности «троцкистов», нимало не беспокоилась и не ждала ничего нового».

Самым большим изменениям – по сравнению с очерком – подвергся конец рассказа. В очерке мы узнаем, что все участники побега были убиты и лишь один – Ивановский – не был никогда найден. Писатель выражает предположение, что он, очевидно, покончил самоубийством, забравшись в какую-нибудь пещеру.<sup>124</sup> В рассказе мы присутствуем при последних минутах жизни майора Пугачева. Отбиваясь от врагов, он укрывается в пещере и вспоминает жизнь, вспоминает всех людей, с которыми его сводила судьба, всех кого он любил и уважал.

«Но лучше всех, достойнее всех были его одиннадцать умерших товарищей. Никто из тех, других людей его жизни не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе. И в бою умереть».<sup>125</sup>

Свободным умирает и Пугачев. Он «вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил».<sup>126</sup> Рассказ заканчивается не смертью, а – выстрелом.

Важное место в мире Шаламова – и в его книге – занимают уголовники, «блатные». Во всех книгах, посвященных лагерям, появляются уголовники. Шаламов пытается осмыслить проблему, проникнуть в психологию «блатных».

Прошло время, когда советские писатели во главе с Горьким видели в уголовниках бунтарей, восставших против капиталистического общества, романтиков, отвергавших серую, мещанскую жизнь. Попав в лагерь и встретившись не с литературными, а с живыми профессиональными преступниками, писатели пересматривают свои взгляды. Уголовники, которым покровительствует начальство, становятся, наряду с непосильным трудом и голодом, главной причиной гибели заключенных.

В целой серии рассказов – «На представку», «Заклинатель змей», «Боль» – Шаламов показывает блатных – людей, потерявших все человеческое – грабящими, убивающими, насилующими так же спокойно и естественно, как другие люди спят и едят. Писатель настаивает на том, что уголовникам чужды все чувства.<sup>127</sup> Создается впечатление, что он задал себе целью опровергнуть – фактами – привычные в советской литературе представления.

«Лагерь» – это дно жизни, – пишет Шаламов. – «Преступный мир» это не дно дна. Это совсем, совсем другое, нечеловеческое».128

Ненавдя уголовников, не находя для них ни одного слова снисхождения, писатель показывает одновременно одну особенность воровского мира. Это – единственная организованная сила в лагерях.129 Их организованность, их сплоченность выглядят особенно внушительно на фоне полной разобщенности всех других заключенных. Связанные строгим «законом», блатные чувствуют себя в тюрьме и лагере — дома, чувствуют себя хозяевами. Не только их беспощадность, их звериная жестокость но и их сплоченность дает им силу. Этой силы побаивается и начальство.130

Уголовники и начальство – это две силы, нашедшие свое место в лагерном мире. Они здесь дома. Начальство – такое же жестокое, беспощадное, безжалостное и такое же растленное – как и уголовники. Шаламов показывает вереницу уголовников – убивающих за свитер, убивающих для того, чтобы не ехать в лагерь, но остаться в тюрьме, и т.д. И рядом такую же галерею начальников различных уровней – от полковника Гаранина, подписывающего списки расстрелянных, до садиста инженера Киселева, собственноручно ломающего кости заключенным.

Лагерный мир, лагерная цивилизация не могут существовать без палачей, но они не могут существовать и без согласия жертв. Поэтому так мало «справедливых» в мире Шаламова. Каждый заключенный в какой-то степени виноват в своих мучениях, тем хотя бы, что он на них соглашается. В этом главный вывод писателя, мораль, которую он вынес из ада.

Главный хирург центральной лагерной больницы принял 5 декабря 1947 г. пароход «Ким», привезший 3 тысячи заключенных на Колыму. В море заключенные взбунтовались, и капитан залил трюмы, в которых они находились, водой. При температуре минус 40° трюмы превратились в склад замороженного мяса. Главный хирург побывал на фронте, но никогда ничего подобного не видел. Через 17 лет после этого случая, хирург, обладавший великолепной памятью, помнил все, что он пережил в лагерной больнице. Он не помнил лишь имени парохода, привезшего замерзших заключенных.

«Через семнадцать лет после распятия, – заключает Шаламов, – Понтий Пилат забыл имя Христа».131

Шаламов не повинен в «Пилатовом грехе». Он все помнит и, что значительно важнее, все говорит.

Он говорит все о низости людей, о глубине их падения, об их ничтожестве. Мир Шаламова – это трагический мир людей, лишенных

духовной силы, у которых украли не только все материальные ценности, но и все, во что они верили, все, что они считали духовной основой своего существования.

Герои Шаламова – это не только голые люди на голой земле, это люди без души. Лучшие из них, самые сильные ощупью, с величайшим трудом пытаются построить себе новые духовные ценности, найти новую опору в жизни.

Сам писатель находит новые силы в природе и в поэзии. Через всю книгу проходит – как символ могущества природы и несгибаемости человеческого духа – образ стланника, северного дерева, которое в предчувствии снега ложится на землю, а едва лишь пригреет слабое полярное солнце, поднимается из-под снега.

Писатель называет его «деревом надежд».<sup>132</sup> Но это и символ поэзии, которая первой возвещает приближающуюся весну, которая воспевает надежду.

Талантливое литературное произведение – книга Шаламова<sup>133</sup> представляет собой одновременно один из важнейших документов концентрационного мира. Значение книги лаконично и полно выразил Солженицын: «Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт».

---

89 А. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ», т. 2, стр. 129.

90 Там же, стр. 8.

91 З.Н. Гиппиус. Стихотворения и поэмы, т. 2, стр. 21.

92 Tadeusz Borowski – Wybor opowiadań, стр. 157.

93 В. Шаламов. Домино.

94 Мною использованы произведения В. Шаламова, распространяемые в «самиздате». Некоторые из них были опубликованы в журналах «Новый журнал», «Грани», в книгах, – вышедших на немецком и французском языках.

95 В. Шаламов. Боль.

96 Варлам Шаламов. Дорога и судьба. Книга стихов. Советский писатель, М. 1967, стр. 46.

97 Надежда Мандельштам отмечает проникновение в русский язык тюремных ассоциаций, придающих словам новое значение. См. «Воспоминания», стр. 205.



98 В 1961, 1964 и 1967 гг. Шаламов опубликовал в Москве сборники своих стихов. Его проза не печаталась никогда...

99 В рассказе «За письмом» Шаламов рассказывает, как он, уже освобожденный, проехал 1000 километров за письмом Пастернака.

100 В. Шаламов. Инженер Киселев.

101 Там же.

102 Сокращение. Управление северо-восточных лагерей.

103 В. Шаламов. Как все началось.

104 А. Солженицын пишет, что «Колыме, повезло: там выжил Варлам Шаламов и уже написал много». Но рассказы В. Шаламова и мемуары некоторых других выживших узников стали появляться только во второй половине 50-х годов, а «свидетельство» о Колыме мир получил уже в середине 40-х годов. В 1944 Колыму посетили вице-президент США Генри Уоллес и крупнейший знаток Дальнего Востока проф. Оуэн Латтимор. Каждый из них описал потом свою поездку. Проф. Латтимор в статье «Новый путь в Азию» (журнал «Нэйшенел джеографик», декабрь 1944) утверждал: «История по-видимому не знает пионерской деятельности, которую по организованности и порядку можно было бы сравнить с открытием Дальнего Севера советской властью. Магадан – часть владений удивительного концерна – Дальстроя... Он строит и эксплуатирует порты, шоссе и железные дороги, золотые прииски, есть также в городе – первоклассный оркестр и хорошая оперетта». О генерал-лейтенанте НКВД Никишове, начальнике Дальстроя – самого страшного острова Архипелага, встречавшем гостей, американский профессор пишет: «Мистер Никишов только что удостоен звания Героя Советского Союза за свои исключительные достижения. Он и его жена хорошо знают и глубоко чувствуют искусство и музыку, обладая в то же время глубочайшим сознанием гражданской ответственности... Было интересно найти на Колыме вместо разврата, джина и пьяных драк, типичных для золотой лихорадки старых времен, парники, в которых выращиваются помидоры, огурцы и даже дыни, позволяющие обеспечить выносливых горняков достаточным количеством витаминов».

Приятное впечатление от Колымы осталось и у вице-президента США. Он пишет в своей книге «Миссия в советскую Азию»: «Колымские золотоискатели – большие, здоровые молодые люди, прибывшие на Дальний Восток из европейской России... Можно сказать, что сегодня в северной Сибири городская жизнь в целом не уступает городам северозападных штатов и Аляски... По сравнению с шахтерами старой России у людей в комбинезонах на Колыме гораздо больше денег... Ни

дух, ни смысл жизни в сегодняшней Сибири нельзя сравнить с жизнью в былые дни каторжной Сибири...»

А. Солженицын называет имя Никишова в списке «колымских лагерщиков-палачей, не знавших границ своей власти и изобретательной жестокости». В. Шаламов пишет о безумной жестокости не только самого Никишова, но и его супруги.

105 В лагере, в котором находился Иван Денисович, освобождали от работы зимой, если температура падала ниже 30°, на Колыме должны были освобождать при температуре ниже 45°, но делали это не всегда. Следует помнить, что зима на Колыме продолжается не менее 8 месяцев.

А. Солженицын рассказывает, что после выхода «Одного дня Ивана Денисовича» «по мерке многих тяжких лагерей справедливо упрекнул меня Шаламов: «и что еще за больничный кот ходит там у вас? Почему его до сих пор не зарезали и не съели?... И зачем Иван Денисович носит у вас ложку, когда известно, что все варимое в лагере легко съедается жидким, через бортик?». А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ, т. 2, стр. 200. 261

106 В. Шаламов. Татарский мулла и чистый воздух.

107 В. Шаламов. Сухим пайком.

108 В. Шаламов. Сухим пайком.

109 В. Шаламов. Сухим пайком.

110 Там же.

111 В. Шаламов. Одиночный замер.

112 В. Шаламов. Заклинатель змей.

113 В. Шаламов. Сентенция. Рассказ посвящен Надежде Мандельштам.

114 В. Шаламов. Сентенция.

115 В. Шаламов. Сентенция.

116 В. Шаламов. Эпитафия.

117 В. Шаламов. Лида.

118 В. Шаламов. День отдыха.

119 В. Шаламов. Тетя Поля.

120 В. Шаламов. Апостол Павел.

121 В. Шаламов. Житие инженера Кипреева.

122 Tadeusz Borowski. U nas w Auschwitzu «Wybor opowiadani», стр. 134.

123 В. Шаламов. Последний бой майора Пугачева.

124 В. Шаламов. Зеленый прокурор.

125 В. Шаламов. Последний бой майора Пугачева.

126 Там же.

127 «Женщина блатного мира», «Сергей Есенин и воровской мир».

128 В. Шаламов. Боль.

129 После войны, когда в числе заключенных оказались бывшие военнопленные, украинские и прибалтийские партизаны, воевавшие против Советской армии, в лагерях появились подпольные организации, руководившие летом 1953 г. забастовками в лагерях, потрясшими Архипелаг ГУЛАГ. См. Joseph Scholmer. *La greve de Vorkouta*, Amiot, Dumont, Paris, 1954. Д. Панин. Записки Сологодина, «Посев», 1973.

130 После войны МВД провело операцию по расколу воровского мира, желая его ослабить. По воровскому «закону» полноправным членом «ордена» мог быть только человек, никогда не работавший, живший только за счет преступлений. Во время войны значительное количество преступников было призвано в армию. После войны многие из них вернулись к своей «профессии». И тогда возник тонкий юридический вопрос: можно ли считать службу в армии работой? Можно ли считать «вора» настоящим «вором», если он служил государству? Блюстители воровского «закона» решили, что каждый, кто служил в армии, исключается из «Ордена». Возникли две группы «блатных» – чистых и не совсем чистых. МВД привлекает особыми льготами вторую группу на свою сторону. «Нечистые», получившие кличку «суки», соглашаются занять в лагерях руководящие должности – бригадиров, десятников. Начинается беспощадная резня между «суками» и «ворами», которой способствует МВД, перевоза группы убийц из лагеря в лагерь. Упоминания об этой войне мы находим у Шаламова и Солженицына.

131 В. Шаламов. Прокуратор Иудеи.

132 В. Шаламов. Стланник. Под этим же заголовком Шаламов пишет стихотворение, опубликованное в сборнике «Дорога и судьба», стр. 31.

133 Книге не может, конечно, повредить отречение от нее писателя, заявившего в 1972 г. в печати, что «проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью», «Литературная газета», 23. 11. 1972. [Опечатка – 23.2.1972 – прим. составителя]

---

Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир», статья <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/277035.html>, примечания <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/277392.html>

\* \* \*

«Годы господства «возвышающего обмана» превратили советскую литературу в зеркало, отражавшее несуществующий мир, вымышленный литературой же. Писатели отправляются на поиски фактов, на поиски «информации» о мире, в котором они живут.

Рассказы Варлама Шаламова завершают этап сбора информации. Писатель говорит правду о лагерях, о людях, живших и умиравших там. Изображая людей перед лицом смерти, на самом дне ада, которым была лагерная цивилизация, Шаламов судит ее и не находит смягчающих обстоятельств. Он отвергает эту цивилизацию как нечеловеческую.

Ад, созданный людьми, страшнее дантовского ада. Надпись на воротах дантовского ада – оставь надежду, сюда входящий – приобретает в шаламовском аду и второе значение. Да, оставь надежду, ты не выйдешь отсюда, но и – оставь надежду, ибо она приносит излишние мучения, обманывая, она мешает умереть достойно.

Одновременно со сбором информации идет процесс ее осмысливания. Литература – впервые за долгие годы – ставит два вопроса: что произошло и почему это случилось?»

Михаил Геллер, «Концентрационный мир и советская литература», заключительная глава. Электронная версия книги – в библиотеке ImWerden [http://www.vtoraya-literatura.com/publ\\_787.html](http://www.vtoraya-literatura.com/publ_787.html)

---

### *Мои маргиналии к статье Михаила Геллера «Полюс лютости»*

В своей работе 1974 года Геллер говорит о 60 рассказах, известных ему из эмигрантской периодики и советского самиздата. Ту же цифру он приводит в статье 1989 года (см. <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/210952.html>), утверждая, что в качестве составителя лондонского тома располагал шаламовским планом КР того периода, когда было написано «немногим более шестидесяти рассказов». Я утверждаю, что это не так – у Геллера имелся шаламовский план трех

практически полных первых циклов колымского эпоса (см. мою попытку реконструкции «списка-66» в данном сборнике). Однако к 1974 году, когда писалась книга «Концентрационный мир и советская литература», этого последнего плана у Геллера не было – договор о «передаче прав» на издание КР между Романом Гулем, редактором «Нового журнала», и Анджеем Стипульковским, владельцем лондонского издательства ORI, был подписан только спустя три года, и «список-66» из трех первых сборников, составленных Шаламовым с Леонидом Пинским и повторенных Геллером в издании 1978 года, еще не был передан составителю первой книги КР на русском. Поэтому интересно отметить, какими из упомянутых в статье и неизвестными широкому читателю шаламовскими текстами располагал Геллер в момент ее написания, тем более что десяток из них так и не увидели свет в эмигрантской периодике.

Судя по статье, Геллеру известны рассказы «Дождь», «Серафим», «Тетя Поля», «Апостол Павел», «Лида», «Мой процесс», «Первая смерть», «Выходной день» (?) и очерки «Курсы» и «Зеленый прокурор», в эмигрантской периодике никогда не печатавшиеся.

Геллеру также известны рассказы, публиковавшиеся в «Новом журнале» в конце 1974 года и позже, то есть в журнале он эти рассказы прочесть не мог: «Прокуратор Иудей» – № 117, 1974, «Домино» – № 118, 1975, «Как это начиналось» – № 119, 1975, «Детские картинки», «В бане» – №120, 1975, «Ключ Алмазный» (сюжет с шарфом) – № 124, 1976.

Что-то из перечисленного Геллер мог прочесть в переводах Шаламова на немецкий и французский, но что именно, я не знаю, точное содержание этих сборников мне неизвестно.

Рассказ «Надгробное слово» носит у Геллера еще и второе название – «Эпитафия». Рассказ «Причал ада» – еще и «Причал в аду».

Рассказ «Первая смерть» у Геллера называется «Ночная смена», рассказ «Выходной день» – «День отдыха», «Детские картинки» – «Детские рисунки», «В бане» – «Бани», «Как это начиналось» – «Как это началось». Возможно, в некоторых случаях имеет место небрежность, а возможно, источником для Геллера служили какие-то собственные списки «Колымских рассказов».

У Геллера цитата из рассказа «Хлеб» звучит так: «Не следовало торопиться, не следовало жевать, не следовало запивать водой – мы со-сали хлеб, как сахар, как конфету». В каноническом варианте эта фраза звучит иначе: «Не надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать. Надо сосать его, как сахар, как леденец».

Цитата из рассказа «Домино» у Геллера звучит так: «...Есть несомненно вещи более страшные, чем мясо трупа на обед». В каноническом варианте: «...есть, наверно, дела и похуже, чем обедать человеческим мясом».

Выводов из этих наблюдений я не делаю, поскольку затрудняюсь сказать что-то определенное, но для восстановления картины заграничных мытарств «Колымских рассказов» эти детали могут оказаться немаловажными.

Под конец хочу обратить внимание, что первая – данная – критическая статья о «Колымских рассказах» на русском языке появилась УЖЕ ПОСЛЕ завершения Шаламовым всего колымского эпоса (включая рассказы из составленного Сиротинской добавочного сборника «Перчатка или КР-2) и ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ после выхода самиздатского пятитомника КР в авторской редакции, что, собственно, подводило черту под «колымским» замыслом Шаламова из сотни рассказов, осуществление которого освободило его для работы над автобиографической «Четвертой Вологдой» и антироманом «Вишера».

Для эмигрантской критики «Колымских рассказов» не существовало точно так же, как для советской.

---

### ***Юрий Мальцев. О «Колымских рассказах» Варлама Шаламова, 1976***

Начало восьмой главы книги филолога, диссидента и эмигранта Юрия Мальцева «Вольная русская литература, 1955 – 1975», посвященное «Колымским рассказам» Шаламова. КР представлены как «энциклопедия лагерной жизни», «подробный отчет о буднях лагерей, документальное бытописание лагерной жизни». По мнению Мальцева, «лагерная тема» выражена «с наибольшей силой и наибольшей глуби-

ной проникновения», конечно же, у Александра Солженицына, но Шаламов «также достоин упоминания».



Во всем этом школярском сочинении, выпущенном издательством «Посев» в 1976 году, более всего интересно весьма сомнительное свидетельство, что в начале шестидесятых в самиздате ходило три толстых машинописных тома «Колымских рассказов», хотя что они включали, не сказано (о «переплетенной вручную машинописи в трех томах», но без временной привязки, упоминает также поэт Олег Чухонцев). Еще Мальцев говорит о параллельной «Колымским рассказам» циркуляции в самиздате «Очерков блатного мира».

---

## VIII. ПРАВДОИСКАНИЯ

Основная причина, породившая самиздат, – это, конечно, невозможность сказать правду в официальной печати, стремление коснуться запретных тем, рассказать о выстраданном опыте, высказать собственные умозаключения, не совпадающие с официальной и общеобязательной точкой зрения. И среди всех запретных тем самая волнующая и самая притягательная – это, конечно, тема массового террора, лагерная тема. Раскрытие этой темы у всех связано с именем Александра Солженицына, несомненно, выразившего ее с наибольшей силой и наибольшей глубиной проникновения, но до Солженицына и одновременно с ним на эту тему писали книги и другие самиздатовские авторы, в основном, конечно, мемуары, но некоторые – также и художественные произведения, достойные упоминания. [...]

В начале 60-х годов стали распространяться в самиздате «Колымские рассказы» (три толстых машинописных тома) Варлама Шаламова, поэта и писателя, проведшего в лагерях двадцать лет. Это была, можно сказать, энциклопедия лагерной жизни. В романах Солженицына глав-

ное внимание сосредоточено на внутренней жизни заключенных, лагерная тема берется более в ее моральном и философском аспекте, у Шаламова же русский читатель нашел подробный отчет о буднях лагерей, документальное бытописание лагерной жизни, обстоятельный рассказ о том, как жили, страдали и умирали люди в советских концлагерях. Здесь читатель впервые зримо увидел изможденных, одетых в рваное тряпье, грязных, вшивых советских заключенных с кровотокающими цинготными беззубыми деснами, с шелушащейся от пеллагры кожей, с черными отмороженными щеками, копающихся в мусорных кучах в поисках каких-нибудь съедобных отходов, постоянно избиваемых конвоирами, бригадирами, старостами, нарядчиками, дневальными и больше всего, конечно, блатарями. Здесь читатель увидел, что такое грязь и теснота лагерной больницы, куда, однако, мечтают попасть все заключенные, чтоб освободиться от непосильного сводящего в могилу каторжного труда. Здесь лежат люди, которые отрубили себе пальцы на руках, чтоб попасть в больницу, или оторвали себе взрывом ногу («вставив капсуль прямо в валенок и подожгя бикфордов шнур у собственного колена»), одну руку заставляли «топтать дорогу» в глубоком рыхлом снегу на лесозаготовках полный рабочий день, и тогда заключенные стали калечить себе ноги. Здесь больные по ночам отмазывают свои повязки и подсыпают грязь с пола, расцарапывают, растравляют свои раны, чтоб подольше задержаться в больнице, здесь лежат люди, изуродованные надзирателями и конвоирами, с раздробленными носами, со сломанными ребрами, с проломленными черепами. В рассказах Шаламова читатель увидел, что такое жестокость и самоуправство лагерной администрации: заключенного, ступившего на один шаг за зону оцепления в лесу, чтоб сорвать ягоду, немедленно пристреливают, даже не дав предупредительного выстрела, как положено по уставу; арестанта, опоздавшего на развод, привязывают за ноги к конским волокушкам и волокут по земле, по камням на место работы; за ничтожную провинность (или просто по капризу начальства) заключенного сажают в ледяной карцер, вырубленный в скале, в вечной мерзлоте («достаточно было там переночевать – и умереть, простыть до смерти... много заключенных, побывавших в этом карцере только одну ночь, навсегда простились со здоровьем»). Заключенных расстреливают целыми бригадами за невыполнение нормы, выполнить которую не под силу здоровому сытому молодому человеку; расстреливают «за оскорбление конвоя», то есть за то, что выругался, когда конвойный избивал, «за нападение на конвой», то есть за любой неосторожный размашистый жест вблизи конвоя и т. д. Здесь, в рассказах Шаламова, русский читатель увидел, что такое каторжный труд



советских лагерей – по двенадцать-шестнадцать часов в день без выходов на пятидесятиградусном морозе под окриками конвоя, под палкой бригадира. Шаламов сравнивает этот труд с каторжными работами в царское время. Декабристам в Нерчинске (по «Запискам Марии Волконской») давали урок – три пуда руды на человека. Норма советского заключенного – 800 пудов. К этому еще надо добавить, что на царской каторге на бараках не висели лозунги со словами вождя о том, что «в нашей стране труд стал делом чести, славы, доблести и героизма», на царской каторге политических заключенных, пытавшихся свергнуть самодержавие, не называли «выродками» и «мерзавцами», их не морили голодом, их не заставляли ходить после работы на политзанятия для «перевоспитания», а членов их семей не отправляли в ссылку и не репрессировали.

Шаламов повествует скупое, сдержанное, точным ярким языком; рассказываемые им эпизоды живо встают перед глазами. Мы видим жуткие и почти фантастические сцены: перед строем заключенных, ночью при свете фонарей на снегу, офицер зачитывает список приговоренных к расстрелу, оркестр играет браурный туш; в бухту Нагаева приходит пароход «Ким» с тремя тысячами обмороженных заключенных – в пути заключенные подняли бунт, и начальство залило все трюмы водой при сорокаградусном морозе. Войска окружили мол и выгрузка началась. Мертвых бросали на берегу, еще живых развозили по больницам. Даже заведующий хирургическим отделением Кубанцев, недавно прибывший из армии, с фронта, где он повидал немало ужасов, был потрясен зрелищем этих людей. Мы живо представляем себе барак на пересыльном пункте, набитый так тесно, что можно спать стоя, видим лагерную баню – описание ее по своей яркости не уступает знаменитому описанию бани в «Записках из мертвого дома» Достоевского. Запечатлется в памяти поразительная картина лагерной братской могилы, на склоне горы – склон осыпался и могила отверзлась. Мертвецы ползли по склону, тысячи окоченевших в вечной мерзлоте трупов, мертвецов, не гниющих в каменной холодной могиле. «Все было нетленно: скрюченные пальцы рук, гноящиеся пальцы ног – культы после обморожений, расчесанная в кровь сухая кожа и горящие голодным блеском глаза... Нетленные мертвецы, голые скелеты, обтянутые кожей, грязной, расчесанной, искусанной вшами кожей... Гора оголена и превращена в гигантскую сцену спектакля, лагерной мистерии... Вечная мерзлота хранит и открывает тайны. Каждый из наших близких, погибших на Колыме, каждый из расстрелянных, забитых,

обескровленных голодом может быть еще опознан, хоть через десятки лет. Трупы ждут в камне, в вечной мерзлоте».

При чтении рассказов Шаламова проходят перед глазами сотни людей: юноши и старики, прославленные ученые и неграмотные крестьяне, рабочие, в свое время делавшие революцию, и украинские или литовские националисты, боровшиеся с оружием в руках против распространения этой революции на их земли, солдаты и офицеры, попавшие в плен во время войны и затем прямо из немецких лагерей переправленные в советские; проститутки и интеллигентные изящные женщины, арестованные вместе с мужьями как члены семьи «врага народа» – многоликая, пестрая толпа несчастных, попавших под колеса железной машины – государства. Они проходят страшной вереницей, как грешники дантова ада, оставляя чувство ужаса и сострадания. Но некоторые лица выделяются из толпы, запоминаются: как Федя Щапов, получивший десять лет за то, что заколол одну овцу (убой скота был запрещен законом); как студент Савельев, осужденный за антисоветскую агитацию и создание антисоветской организации (организация состояла из двух лиц, его самого и его невесты, а агитацией были письма жениха и невесты друг к другу); как Дмитриев, арестованный за то, что он был членом религиозной секты «Бог знает» и, конечно, как майор Пугачев и его друзья-фронтовики, разоружившие конвой, ушедшие в тайгу и погибшие там в бою с окружившими их отрядами, погибшие свободными людьми, предпочевшими смерть рабству.

Некоторые рассказы Шаламова великолепны по своему художественному выполнению, по сюжетной архитектуре, как, например, прекрасный рассказ «Тифозный карантин»: история о том, как больной и истощенный заключенный, попавший в тифозный карантин и затерявшийся среди тысячи других заключенных, не откликается во время переключек на свое имя, чтобы задержаться здесь, в карантине, как можно дольше, выздороветь, окрепнуть. Ему удастся задержаться дольше всех, но под конец его вместе с кучкой таких же, как он, «саботажников» отправляют в летней одежде на Крайний Север навстречу надвигающейся зиме. Эта трагическая история о тщетной борьбе маленького человека с неумолимой судьбой, о негаснущей среди мрака отчаяния надежде, – пожалуй, одно из самых волнующих произведений самиздата.

О побегах заключенных из лагерей и о жестоких расправах конвоя над пойманными беглецами рассказывает Варлам Шаламов в своем большом очерке «Зеленый прокурор».

Одновременно с «Колымскими рассказами» в самиздате распространялись шаламовские «Очерки блатного мира», в которых он разоблачает миф о блатных как о благородных разбойниках, этаких робингудах, живущих по своему особому кодексу чести. Шаламов показывает, что законы блатного мира жестоки, аморальны и бесчеловечны, что этот преступный мир, достигший огромных масштабов в 30-40-е годы, – страшная язва общества. Блатные не только распоряжались и хозяйничали в лагерях, но их духом оказалось заражено все советское общество. Когда около десяти процентов всего взрослого населения оказалось в концлагерях, когда практически не было в стране такой семьи, которая так или иначе не соприкоснулась бы с миром лагерей, эта зараза отравляла все общество, все советское общество оказалось «заблатненным». «Я знаю много интеллигентов, да и не только интеллигентов, которые именно блатные границы сделали тайными границами своего поведения на воле. В сражении этих людей с лагерем одержал победу лагерь... Примеров растреления много. Моральная граница, рубеж очень важны для заключенного. Это – главный вопрос его жизни: остался он человеком или нет».

Хотя наиболее известные и опасные блатари были уничтожены в лагерях в 40-50-х годах, преступный мир все еще велик в советском обществе, язва эта продолжает подтачивать здоровье общества; по подсчетам академика Сахарова, сегодня в Советском Союзе в концлагерях находится около двух миллионов заключенных, по подсчетам других исследователей – около четырех миллионов.

Наблюдая людей в чудовищных, нечеловеческих условиях, Шаламов приходит к пессимистическим выводам: возвыситься душой в страданиях, сохранить человеческое достоинство в страшных испытаниях (подобно героям Солженицына) способны, по мнению Шаламова, лишь редкие единицы, исключительные люди. Невыносимые лагерные условия растрлевают душу человека и превращают его в дикое животное, говорит Шаламов. На последней грани ужаса, на пределе страдания в человеке умирает все человеческое. «Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если беда

и нужда сплотили, родили дружбу людей – значит, это нужда – не крайняя и беда – не большая. Горе – недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями». «Когда переходится последняя граница, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, остается только недоверие, злоба и ложь». «Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдержали». «Лагерный опыт – целиком отрицательный до единой минуты. Человек становится только хуже, и не может быть иначе. В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек. Но видеть дно жизни – это не самое страшное. Самое страшное – это когда самое дно жизни человек начинает (навсегда) чувствовать в своей собственной душе, когда его моральные мерки заимствуются из лагерного опыта». Опускаясь на это дно, человек доносит на соседа и обрекает его на смерть за миску супа или даже за окурок, опускаясь на это дно, человек равнодушно смотрит, как избивают бессильных стариков или как сифилитик насилует женщину».

Исполняя свой долг свидетеля, Шаламов делает это с беспокойным сознанием: «То, что я видел – человеку не надо видеть и даже не надо знать».

Ю. МАЛЬЦЕВ

«Вольная русская литература 1955 – 1975»

© Possev-Verlag, V. Goradiek KG, 1976

Frankfurt/Main Printed in Germany

Взято с сайта Антология самиздата Вячеслава Игрунова [http://antology.igrunov.ru/authors/maltsev/vilna\\_lit\\_1.html#\\_ftnref112](http://antology.igrunov.ru/authors/maltsev/vilna_lit_1.html#_ftnref112).

Выложено также в библиотеке ImWerden [http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/maltsev\\_volnaya\\_russkaya\\_literatura\\_1976.pdf](http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/maltsev_volnaya_russkaya_literatura_1976.pdf)

---

*Первая книга прозы Шаламова на русском, 1978*

Вышла в польском эмигрантском издательстве Overseas publications interchange в Лондоне, 1978, предисловие Михаила Геллера, 895 стр., прижизненное издание. Использован список КР, в 1966 переправленный Шаламовым в Америку через Кларенса Брауна для издания книгой и попавший в «Новый журнал» Романа Гуля, печатавшего рассказы подборками в своем ежеквартальнике на протяжении одиннадцати лет, а затем передавшего права на издание (без ведома Шаламова, разумеется, и думаю, вместе с копиями не искаженных редакторской правкой текстов) директору ОРІ Анджею Стипульковскому.

После смерти Шаламова переиздана Никитой Струве, Париж, ИМ-КА-Пресс, 1982, 1985.

Экземпляр книги был передан Шаламову Натальей Столяровой через Юлия Шрейдера в 1978-79 году. Шаламов держал ее при себе в доме престарелых. Куда она делась после перевода его в психбольницу, мне неизвестно.

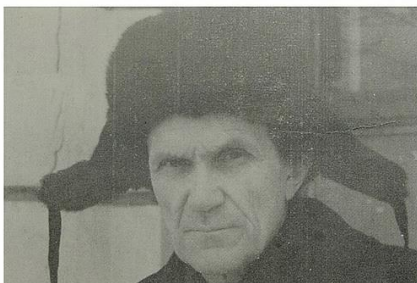
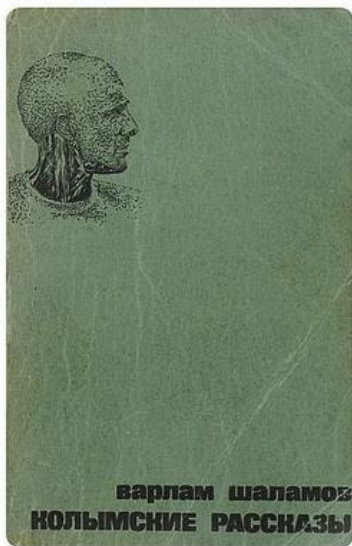
«Книга состоит из разделов: Первая смерть – Артист лопаты – Левый берег»

С сайта Аукционного Дома «Империya» <http://www.auction-imperia.ru/wdate.php?t=booklot&i=16941>

#### Содержание:

По снегу; На представку; Ночью; Плотники; Одиночный замер; Посылка; Дождь; Кража; «Кант»; Сухим пайком; Инжектор; Апостол Павел; Ягоды; Сука Тамара; Шерри-бренди; Детские картинки; Сгущенное молоко; Тишина; Хлеб; Заклинатель змей; Татарский мулла и чистый воздух; Термометр Гришки Логуна; Первая смерть; Тетя Поля; Галстук; Две встречи; Тайга золотая; Васька Денисов, похититель свиней; Серафим; Выходной день; Домино; Геркулес; Шоковая терапия; Стланик; Красный крест; Заговор юристов; Тифозный карантин; Припадок; Надгробное слово; Как это начиналось; Почерк; Утка; Бизнесмен; Калигула; Артист лопаты; Рур; Богданов; Инженер Киселев; Любовь капитана Толли; Крест; Первый чекист; Вейсманист; Причал ада; В больницу; Июнь; Май; Храбрые глаза; В бане; Ключ Алмазный; Зеленый прокурор; Марсель Пруст; Безымянная кошка; Первый зуб; Эхо в горах; Берды Онже; Огонь и вода; Облава; Протезы; Курсы; Смытая фотография; Погоня за паровозным дымом; Поезд; Прокуратор Иудеи; Боль; Прокаженные; В приемном покое; Геологи; Медведи; Ожерелье

княгини Гагариной; Академик; Алмазная карта; Необращенный; Визит мистера Поппа; Лагерная свадьба; Потомок декабриста; Комбеды; Магия; Рябоконт; Житие инженера Кипреева; Лида; Аневризма аорты; Кусок мяса; Мой процесс; Женщина блатного мира; Эсперанто; Начальник больницы; Сергей Есенин и воровской мир; Последний бой майора Пугачева; Букинист; За письмом; По ленд-лизу; Графит; Сен-тенция.



***Анджей Стипульковский, первый издатель сборника «Колымских рассказов» на русском***

*«...я передал право на их [КР] издание приехавшему ко мне покойному Стипульковскому»*

*Роман Гуль*

Первый сборник «Колымских рассказов» на русском под редакцией Михаила Геллера был выпущен в Лондоне в 1978 году издательством Overseas Publications Interchange (ОПИ). Его загадочным руководителем, получившим от Романа Гуля липовые права на издание, был человек по фамилии Стипульковский. Биограф Шаламова Валерий Есипов, если не ошибаюсь, называет его «неведомым», что отчасти верно, а отчасти недостойно биографа – биограф Шаламова должен знать, кто был первым издателем «Колымских рассказов» на родном языке. Я долго искал о нем что-нибудь в интернете, и вот, наконец, нашел.

В книге генетика и диссидента Жореса Медведева «Опасная профессия», главы из которой доступны на сайте украинского еженедельника «2000» <http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/pamjat/88192>, повествуется и о Стипульковском, и о его издательстве.

Медведев рассказывает о планах выпуска собственного русскоязычного альманаха в Лондоне, дело происходит летом 1975 года:

«Издавать в Англии ежеквартальный журнал на русском языке было нереально. Я не располагал для этого финансовыми ресурсами. Нанимать литературного секретаря не мог по тем же причинам. Да и никто среди моих немногих русских или русскоговорящих друзей в Лондоне не смог бы редактировать журнал.

Реально можно было подготовить в 1976-м первый сборник – из наиболее интересных материалов – по типу альманаха, с последующей оплатой расходов продажей прав на переводы тех или иных очерков или рассказов иностранным издательствам левой ориентации – за очень скромные суммы, поскольку такие издательства, как правило, бедны.

Моим консультантом по практическим аспектам проблемы стал Анджей Стипульковский [1929 – 1981], владелец и директор издательства польских книг Overseas Publications, который в прошлом печатал по заказам издательства Macmillan мои и Роя [Медведева, брата Жореса Медведева – прим. составителя] книги на русском языке. Его небольшое издательство располагалось в собственном доме в польском

квартале Лондона. Тогда в британской столице жили около 200 тыс. поляков, которые делились на «две эмиграции»: 1939-1940 гг. (военные, дворяне, священники и дипломаты, связанные с эмигрантским правительством) и 1946-1948 гг. (предприниматели и интеллигенция, уехавшие от навязанного Польше сталинистского режима – с президентом Болеславом Берутом и советским маршалом Константином Рокоссовским в качестве министра обороны).

Анджей был сыном Збигнева Стипульковского – одного из министров польского правительства в изгнании, автора книги «Приглашение в Москву» (*Zaproszenie do Moskwy*) о событиях 1945 г., о встрече со Сталиным. Английское издание (*Invitation to Moscow*) автор подарил мне при встрече в клубе. В Польше «Приглашение...» переиздают до сих пор. Эта книга очень важна для понимания всей проблемы «Катынского расстрела».

Стипульковский объяснил мне в деталях тонкости практической реализации намерения издавать ежегодный альманах на русском, в частности рассказал, как зарегистрировать бизнес-компанию.

Я получил и заполнил все необходимые формы и анкеты, уплатил 100 фунтов за регистрацию нового издательства в Лондоне, которое получило название T.C.D. Publications Ltd (аббревиатура T.C.D. расшифровывается как *Twentieth Century Digest*, т. е. «Дайджест «Двадцатого века»). Я стал директором и открыл счет в Барклэйс-банке, положив на него для начала 500 фунтов».

Кроме издательства OPI для публикации книг на русском, организованном 1964 году, Стипульковский возглавлял польское издательство «Polonia Book Found» и издавал исторический ежеквартальник «Полемика». В 1980-м активно поддерживал польскую оппозицию.

Итак, первый сборник «Колымских рассказов» на русском выпустило НЕ РУССКОЕ эмигрантское издательство, а небольшое ПОЛЬСКОЕ, по словам Медведева, ютившееся в доме издателя. На русском «Колымские рассказы» были изданы, вернее, переизданы парижским ИМКА-Пресс только в 1982 году, УЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ШАЛАМОВА. Другими словами, не проявив инициативу поляк, Шаламов так и не дождался бы от соотечественников выхода своей книги на родном языке. Блокаду «Колымских рассказов» русским зарубежьем прорвал поляк Анджей Стипульковский. Откровенно говоря, большой позор представить трудно.



Несколько слов об отце Анджея Стипульковского, юристе и политике Збигневе Стыпулковском. Родился в 1904 году, заседал в польском парламенте. После нацистской оккупации стал одним из руководителей вооруженного подполья, членом Временного национального Политического совета. В начале войны попал в немецкий плен, скрывался, участвовал в Варшавском восстании. В 1945 вместе с другими лидерами Сопротивления был приглашен советскими властями на переговоры, арестован и судим на «процессе шестнадцати» по обвинению в антисоветской подрывной деятельности. Виновным себя не признал, после нескольких месяцев тюрьмы был выпущен, вернулся в Варшаву, оттуда уехал в Италию и, наконец, обосновался в Лондоне как член польского правительства в изгнании, некоторое время представлял его в Вашингтоне. Умер в 1979 году.

Некоторые книги, выпущенные издательством OPI <http://www.globusbooks.com/OverseasPublicationsInterchangeBooks1251.htm>, правда, в подавляющем большинстве уже при приемнике Стипульковского Серафиме Милорадовиче.

Подводя итог. Ни одно русское издательство – ни в СССР, ни за рубежом – не издало при жизни Шаламова ни одной книги его прозы. Блокада была тотальной.

---

***Виолетта Иверни. Первая журнальная рецензия на «Колымские рассказы», журнал «Континент», 1979***

Первая рецензия на «Колымские рассказы» после чертовой дюжины лет их публикаций в нескольких русских заграничных журналах и газетах, в том числе одиннадцатилетних подборок в нью-йоркском «Новом журнале», двух больших подборок в журнале «Грани», 1970, а также выхода восьми сборников в переводах на немецкий, французский, африкаанс, итальянский и, наконец, на русском, осуществленный в 1978 польским эмигрантским издательством OPI под редакцией Михаила Геллера – на него и написана рецензия Иверни.

Иверни повторяет претензию Геллера Роману Гулю из его предисловия к сборнику, формулируя ее другими словами, но не менее резкими: «...публикация отдельных рассказов в зарубежной периодической печати была кастрацией их, обворовыванием писателя. Между тем, полная рукопись, положенная теперь в основу книги, уже множество лет находится на Западе – и уж если говорить о настоящем, полном невезении, то надо признаться, что именно шаламовской рукописи не повезло отчаянно». «Отчаянное невезение» рукописи, точнее, рукописей, было, как известно, целенаправленно и хладнокровно организовано, и то невезение, которое имеет в виду Иверни – еще не худшее из постигших эту книгу на просторах русского зарубежья.

Вторая и последняя русская прижизненная журнальная рецензия на «Колымские рассказы», «Срез материала», принадлежит Андрею Синявскому, она написана в 1980 году для журнала «Синтаксис» и трехтомника Шаламова на французском, изд. Масперо. Электронная версия журнала на сайте Падуанского университета, Италия [http://www.maldura.unipd.it/samizdat/tamizdat/russia/riviste/sintaksis/all/1980/sintaksis\\_1980\\_8.pdf](http://www.maldura.unipd.it/samizdat/tamizdat/russia/riviste/sintaksis/all/1980/sintaksis_1980_8.pdf)

---

## **Зеркало памяти**

*В. Шаламов. Колымские рассказы. Оверсиз, Лондон, 1978*

Увесистый том в 890 страниц, непривычно состоящий из двух-трехстраничных рассказов: так не бывает, так не делают книжки – уж если сборник миниатюр, то и сам он должен быть невелик, чтобы легче было «распробовать» каждую из составных. Но это – совсем особый сборник, его не берешь в руки, как любую другую книжку, и писать рецензию на него – испытываешь неловкость, почти вину. «Колымские рассказы» Варлама Шаламова кажется нечестным рассматривать с точки зрения литературного приема, композиционной выстроенности, художественной завершенности. Не только потому, что рассказанная в них жизнь слишком страшна, слишком фантастична, слишком реальна, слишком отчетливо-правдива, чтобы не скомпрометировать попытки применить к ней законы, придуманные для художественного вымысла; но и потому, что погрешности противу литературных правил выворачиваются в этой книге лишним подтверждением подлинности описы-

ваемого. Здесь сразу надо оговориться: книга издана по самиздатской рукописи, автор не имел возможности сделать свои поправки, так что решительно неизвестно, что именно в ней следует отнести к ошибкам при перепечатках, а что – к откровенному пренебрежению автора законами письма. Когда дважды и трижды в одной или близко стоящих фразах повторяется одно и то же слово; когда короткие и внятные предложения чередуются с долгими и запутанными стилистическими периодами, в которых внезапно меняются местами понятия времени и то, что произошло раньше, оказывается происшедшим позже, а вся фраза начинает выглядеть болезненно-ущербно, то это может быть с одинаковым успехом и результатом хождения рукописи по пишущим машинкам, и принципиальной невнимательностью автора к такого рода мелочам. И действительно: если нравственные законы общества, которые человек привык не то что уважать, но считать в известном смысле неизбежными, оказываются до такой степени хрупкими и нежизнеспособными, то что же говорить тогда о правилах литературных, которые в нечеловеческих условиях существования превращаются в бессмысленную, смешную, баснословно дорогую игрушку, удел счастливых, которым дозволено жить?

Рассказы Шаламова с точки зрения чисто литературной поражают своей неритмичностью, неравномерностью расположения материала внутри каждого из них, часто – композиционной асимметричностью, незавершенностью, гуляющей и далеко от темы уходящей мыслью (от темы – узкой, локальной, потому что в конечном счете тема одна: безмерность человеческого падения, в которой палач соединяется с жертвой). И одновременно, рядом – рассказы, точные, быстрые, блистательно завершенные (такие, скажем, как «Ягоды», «На представку», «Васька Денисов – похититель свиней», «Утка», «Академик», «Сентенция» и т. д.). И тут не подсчитаешь «тех» и «этих», не заговоришь привычно об «эволюции творчества», о «накоплении мастерства» – все они перемешаны без всяких пропорций и хитрых литературных приемов, и автор-лукавец не подмигивает читателю, кивая на умение свое одним полуторастрастным росчерком двинуть ему, читателю, прямо под вздох: автор с читателем бесстрастно, почти равнодушно честен. Он его не букой пугает, смакуя лагерные ужасы (а ужас весь в том, что ужасов в лагере не остается: всё – быт, простенький, как календарь); он ему и не объясняет даже, а перечисляет, на что он, читатель, гуманист, естественно, обладатель духовных ценностей, накопленных человечеством, добряк и славный парень, – на что он способен, на что способно животное, притаившееся во тьме его, в тех внутренних джунглях, о существовании которых и сам он не подозревает, пока

дьявольское, адское производство, конвейер зла (им же вызванный к жизни) не втянет его в свой процесс, в свой цикл, в свое движение – какое бы слово еще найти попроще, побудничней? – ну, в свою работу, просто р а б о т у.

О шаламовских рассказах говорить с т р а ш н о – оттого что более совершенные в литературном отношении нельзя назвать более сильными, а менее завершенные – более слабыми, оттого что приходится менять все мерки. Именно поэтому публикация отдельных рассказов в зарубежной периодической печати была кастрацией их, обворовыванием писателя. Между тем, полная рукопись, положенная теперь в основу книги, уже множество лет находится на Западе – и уж если говорить о настоящем, полном невезении, то надо признаться, что именно шаламовской рукописи не повезло отчаянно. Рассказы эти разрывать нельзя – это и не «рассказы» вовсе, а один рассказ, похожий на рваное повествование только что очнувшегося, только что пришедшего в себя после долгой и изнурительной болезни человека, который пытается пересказать то, что он видел по ту сторону сознания, ничуть не заботясь – поймут его или нет, поверят или нет. Его дело – сказать. Его дело – припомнить. Он отнюдь не надеется прибавить людям опыта или убедить их поступать так или иначе. Он не смотрит в глаза собеседнику (или собеседникам). Он смотрит в собственную память и пересказывает виденное. Между ним и любителем рассказывать сны – одна и весьма существенная разница: Шаламов не задает вопроса: к чему бы это? – он не бежит заглядывать в сонник, он сам знает ответ. К чему это, про что его страшные сны-жизнь – он знает и не устает повторять, нимало не волнуясь о том, что это уже было сказано им где-то раньше и совершенно в тех же выражениях. Его мысль-память бесконечно кружит по лицам, сценам, эпизодам, по биографиям и чужим рассказам, и нет для нее прошлого и будущего, раньше и позже, — нет хронологии, нет временной последовательности, потому что у времени на Колыме никакой последовательности и не было. Оно остановилось и заledenело, оно сохранялось консервами в вечной мерзлоте, как трупы полуприкрытых камнями эзков, при оползнях появлявшиеся на поверхности в столь высокой степени сохранности, что их трудно отличить было от еще двигающихся скелетов, которых жалкая человеческая логика требовала называть живыми, но которые на самом деле таковыми не были. Время обладало тьмой и светом, сменявшими друг друга, но не обладало главным своим признаком – движением. Это мог быть один чудовищных размеров день, а могла быть попросту вечность, которая уже сама по себе для ненадежного и слабого человеческого существа чудовищна. В этом бесконечном повествовании, ино-

гда внезапно прерываемом, словно спотыкаящемся о простое нежелание автора продолжать дальше, герой меняет фамилии и имена, является действующим лицом, или слушателем, или простым наблюдателем; по несколько раз возвращается к одним и тем же историям; умирает на наших глазах, потом оказывается на своем первом допросе, потом появляется перед нами свободным человеком, вернувшимся к обычной жизни, потом – без перехода – снова опускается в ад – в ад собственного тела, давно переставшего быть вместилищем духа, сознания, чувства, а превратившегося в разрушающуюся оболочку, где хранится жалкий комочек тепла.

«Лагерь – отрицательная школа жизни. Целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет – ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели – инженеры, геологи, врачи...». «Каждая минута лагерной жизни – отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел – лучше ему умереть». «Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас вместе с мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания». «Мы поняли – и это было самое главное, что наше знание людей ничего не дает нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду и добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере – это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку – арестанту, как я. Я не буду искать «полезных» знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов – подлец, Петров – шпион, а Заславский – лжесвидетель?». «Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого – того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену». «К честному труду призывают в лагере подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты – до самой смерти».

Все процитированное выше – сжатая суть шаламовского лагерного опыта. Простая констатация того, что все законы, по которым с рождения живет человек, по которым строится существование человеческого опыта, в лагере недействительны. Как если бы он не был одной из форм (пусть даже принудительной) человеческой общности. Нет ничего человеческого, и общности нет. Остается одно – принуждение,

насилие, растление. Власть – растлевает. Покорность – растлевает. Простое присутствие в качестве пассивного свидетеля – растлевает. Способность видеть и накапливать впечатления – убивает или растлевает. Оргия зла, тление, растление всех – и палачей и жертв. Духовная проказа, при которой одна за другой отпадают способности к размышлению, к чувствованию, к ощущению вещей отдельно от их первичной физической принадлежности и смысла. Гибель смысла вообще, гибель разума.

Несмотря на то, что поток лагерной литературы на сегодняшний день громаден, «Колымские рассказы» Шаламова читаются как открытие. Ни в одном произведении подобного рода нет такого обвинения роду человеческому, как у Шаламова. Да, мы знаем – и он не устает говорить об этом, – что ГУЛаг порожден вполне определенным политическим режимом. Но те, кто делает это своими руками, – они ведь нормальные, обыкновенные люди, обыкновеннейшие! Каждый из нас, значит, носит в себе палача или униженную, духовно уничтоженную жертву (которой, в свою очередь, ничто не мешает превратиться в палача). Все это похоже на чудовищный эксперимент, проведенный аккуратно, с лабораторной последовательностью и дотошностью: где черта, за которой человек исчезает как личность, как венец Творения? Куда еще надо поднажать, чем плеснуть, какой кислоты добавить, чтобы растворить само имя «человек» в воющем животном? Кто стоит за этим экспериментом? Кому он нужен? Дьяволу? Это далеко – дьявол. Это слишком просто – дьявол. Это слишком комфортабельно. И почему эта адская лаборатория со столь неизменной последовательностью увенчивается красным знаменем (у Гитлера – тоже было красное) и словами о равенстве и братстве (о братстве – всегда потом, сначала – о равенстве: в газовых печах все – одинаковый пепел, в вечной мерзлоте все – одинаковый лед)? Книга Шаламова – о том, во что человек способен превратить себя, во что мы способны превратить себя... Дай Бог, чтобы память была нам зеркалом!

Виолетта Иверни\*

---

\* Виолетта Исааковна Хамармер, жена поэта Василия Бетаки, театровед, эмигрировала в 1973 году, в семидесятых – заведомо критики журнала «Континент»

Опубликовано в журнале «Континент», Париж, №19, 1979. Электронная версия – в библиотеке ImWerden [http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/kontinent\\_019\\_1979\\_text.pdf](http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/kontinent_019_1979_text.pdf)

---

### *15 стихотворений Шаламова в журнале «Вестник РХД», 1981*



Цикл «Неизвестный солдат», записанный за Шаламовым Александром Морозовым с голоса в доме престарелых и переданный им в журнал «Вестник РХД», Париж, который опубликовал 15 стихотворений цикла в № 133 за 1981 г.

Подробно об обстоятельствах записи см. в воспоминаниях Александра Морозова (включая его предисловие к подборке стихов) в разделе «Свидетельства современников» и в короткой статье Михаила Айзенберга в разделе «Материалы к биографии» в данном сборнике.

Надо сказать, Шаламов в весьма достойной компании: Достоевский, Чеслав Милош, Ален Безансон, Надежда Мандельштам, Зинаида Гиппиус, Анри Волохонский, ну и, разумеется, Никита Струве и Солженицын с очередной порцией графомани – два великих кормчих зарубежной русской словесности.

Все фотографии взяты с сайта Падуанского университета, Италия

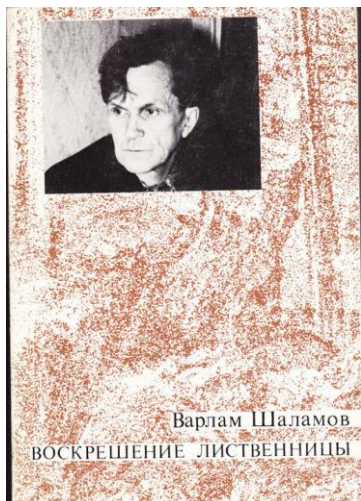
## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
От Редакции. Достоевский, Польша и наши дни — Никита Струве	3
<b>БОГОСЛОВИЕ</b>	
На рождество Божьей Матери — Николай Кавасила (вступление, перевод и примечания архим. Амвросия Погодина)	5
Бури в Евангелиях — Анри Волохонский (Израиль)	33
Возрождение монашества в Египте — Е. Демина (Дания)	38
Един Христос и едина Церковь — О. Матта-эль-Мескин (Египет)	50
Смещение языков — Алэн Безансон (Париж)	57
■ Столетие со дня смерти Достоевского	
Владычествующая идея — К. Несклов (Москва)	73
Достоевский и западное религиозное воображение — Чеслав Милош (США)	79
Саввы, не ставшие Павлами — Юрий Иваск (США)	95
Победа благодати — Ришард Пшибыльский (Варшава)	105
<b>ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ</b>	
Три стихотворения (в переводе Н. Горбаневской) — Чеслав Милош	112
Неизвестный солдат (15 стихотворений) — В. Шаламов (Москва)	115
Хлебная петля (Из Узла III, "Март Семнадцатого") — А. Солженицын	121
■ Памяти Н. Мандельштам	
Последние дни Н. Мандельштам (из частного письма)	144
Из переписки Н. Мандельштам с Н. А. Струве	149
Нежданные встречи в Ульяновске — Нина Кривошеина (Париж)	165
Два письма А. Любичева к Н. Мандельштам	177

Смотреть фотографии нескольких страниц журнала крупным планом в хорошем качестве, архив с файлами, ZIP, 0,8 МБ [https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Vest\\_Shal\\_1981.zip](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Vest_Shal_1981.zip)



## *Вторая книга прозы Шаламова на русском, 1985*



Первая книга, напомним – прижизненное лондонское издание КР, издательство ОРИ, 1978, с последующими посмертными переизданиями парижским ИМКА-Пресс, 1982, 1985.

Второй, данный, сборник – «Воскрешение лиственницы», ИМКА-Пресс, 1985, с предисловием Геллера «Вторая книга» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/205919.html>.

Шаламов В.Т. «Воскрешение лиственницы» / Предисл. М.Геллера.

Издательство: УМСА-Press, 1985, 320 стр., мягкий переплет

### СОДЕРЖАНИЕ

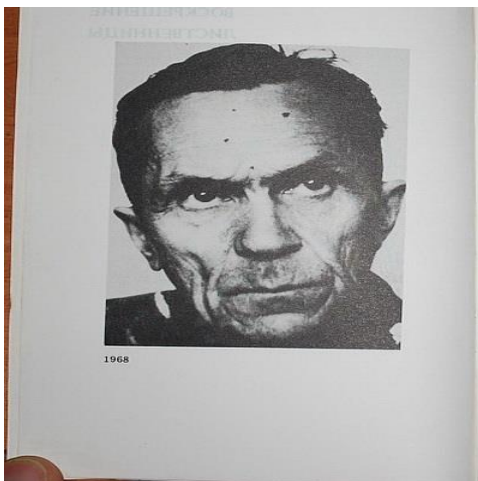
Вторая книга. Предисловие (М. Геллер)

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

Краткое жизнеописание Варлама Шаламова, составленное им самим

Четвертая Вологда. Автобиографическая повесть

Рассказы о детстве: Ворисгофер



Берданка  
Монах Иосиф Шмальц  
Белка

В лагере:  
У стремени  
Тамарин-Миредкий\*  
Борис Южанин  
Вечерняя молитва  
Тропа  
Начальник политуправления  
Город на горе  
Шахматы доктора Кузьманко\*  
Чужой хлеб  
Экзамен  
Водопад  
Воскрешение лиственницы



*\* В электронной версии оглавления – «Миредкий» вместо «Мерецкий» и «Кузьманко» вместо «Кузьменко». Книги в руках не держал, поэтому не исправляю, есть некоторая вероятность, что это опечатки в самом издании.*

С сайта Русский путь, фотографии из интернета

См. последовавшую рецензию диссидента и церковного писателя Анатолия Краснова-Левитина «Человек двадцатых годов», журнал «Континент», № 50, 1986, электронная версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»

<http://ru-prichal-ada.livejournal.com/270358.html>

---

**Марк Альтшуллер, Елена Дрыжакова. «Мученик колымского ада (В. Шаламов)», 1985**

Одна из десятка первых критических работ о прозе Шаламова на русском языке. Глава из книги профессора Марка Альтшуллера и преподавателя Елены Дрыжаковой (оба – Принстонский университет, США) «Путь отречения: русская литература 1953 – 1968», Tenaflly, N. J. (Тенафлай, Нью-Джерси), изд. Эрмитаж, 1985 (тираж 500 экз.).



**Мученик колымского ада  
(В. Т. Шаламов)**

В забое, в торфянике зыбком  
Мел месяц за месяцем вслед...  
И вот объявили ошибкой  
Семнадцать украденных лет...

И снова сановное барство  
Его не пускает вперед,  
И снова мое государство  
Вины на себя не берет...

(«Из самиздата 60-х годов.  
Неизвестный автор»)

В январе 1982 года, в Москве, в психбольнице для престарелых, 31

умер Варлам Шаламов, член Союза советских писателей с..., какого года? В самом деле, с какого же? С 1932, когда он начал печататься в советских изданиях? С 1936, когда его очерки появляются в центральных журналах Москвы? Или с 1957, когда в «Знамени» публикуется подборка стихотворений? Или с 1961, когда выходит первый сборник его стихов?

Варлам Шаламов – автор нескольких сборников лирических стихотворений, изданных центральными издательствами СССР, и сотни «Колымских рассказов», опубликованных только на Западе, сначала разрозненно в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1966-1976) и в «Гранях» (Франкфурт, 1970), а затем дважды отдельной книгой в Лондонском издательстве «Overseas» (1978, 1982) [1982 – в парижском издательстве ИМКА-Пресс – прим. составителя].<sup>32</sup> Рассказы уже переведены на английский, французский и немецкий языки.

Необычна судьба этого писателя и человека. И не тем, конечно, что был он одним из многих миллионов, прошедших через всевозможные ленинско-сталинские ГУЛаги, в том числе через Колымский ад (где, по Конквесту, каждые четыре-пять лет погибало не менее одного миллиона человек), а тем, что в ЧИСЛЕ НЕМНОГИХ, может быть, сотен, ВЫЖИЛ И СОХРАНИЛ В СЕБЕ СПОСОБНОСТЬ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, ЧТО ВИДЕЛ.

По его собственному признанию, Шаламов видел то, что «человек не должен видеть». Потому-то блюстители нравственности в СССР сначала молчаливо считали необходимым уничтожение всех, кто видел ЭТО, а затем тщательно следили, чтобы ЭТА правда не дошла до советских людей. Ведь даже у Солженицына, которому удалось прорваться в печать на гребне «хрущевского волонтаризма», описан не такой уж страшный день Ивана Денисовича. По сравнению с пятишестинедельной жизнью ээка на Колыме (больше никто не выдерживал на общих работах), долбящего мерзлую породу в шестидесятиградусный мороз, впрягающегося в тяжелые тачки с грунтом, избиваемого и подгоняемого конвоем («развод без последнего», т. е. последнего ежедневно убивали), чье тело покрыто гноящимися язвами от цынги и пеллагры, получающего 200-300 граммов хлеба и пустую баланду, выпиваемую «через борт», обмотанного вшивыми лохмотьями и нередко потерявшего дар речи, – Иван Денисович жил тепло и сытно.

Будь проклята ты, Колыма,

Что названа чудом планеты;  
Сойдешь поневоле с ума...  
Отсюда возврата уж нету, –

так поется в лагерной песне, сочиненной безымянным ЗЕКОМ еще в период существования Колымского края, переименованного вскоре после смерти Сталина в Магаданскую область.

Колымский край – огромная территория на севере Сибири, размером в 12 000 кв. км. [опечатка: миллионов кв. км. – прим. составителя] (Франция, Германия и Италия вместе взятые), покрытая тундрой и мелколесной болотистой тайгой, средняя температура зимой – 38 градусов Цельсия, летом (июнь – август) + 11-12° С. Неудивительно, что даже по хвастливому данным советской энциклопедии 1954 года на этой территории было всего 26 поселков городского типа!<sup>33</sup> Именно туда и решило «самое гуманное в мире» государство отправлять заключенных, когда начались грандиозные репрессии 30-х годов. Железных дорог в Колымском крае не было и нет, поэтому поезда с заключенными шли до Владивостока, там людей перегружали на пароходы и везли до бухты Нагаево (Магадан), а оттуда этапы отправлялись пешком: кто посчастливее – на правый берег реки, где имелись мелкие предприятия и совхозы, а кому не повезло – на левый берег, в верховье Колымы и ее притоков, где дедовским способом добывалось золото и в вечной мерзлоте вручную пытались наладить добычу угля.

Варлам Шаламов родился в 1907 году и провел свое детство в Вологде, где природа, хотя и сурова, но щедра и поэтична. Из всех русских вологжане, может быть, самые добрые и самые совестливые люди. Даже теперь, после стольких лет советской нивелировки личностей, это чувствуется. Большие светлые, близко посаженные глаза святых на русских северных иконах – это и поныне встретишь у вологодских жителей. Ну и терпеливы, конечно, как истинные северяне.

Варлам Тихонович ничего нигде не говорил о своей семье и о ранней юности. Мы знаем, что был он свидетелем обычных расстрелов и репрессий первых лет сталинской власти, но, видимо, не могли они еще тогда произвести на него решительно отвращающего от этой новой власти впечатления. Во всяком случае, выбор юридического факультета МГУ (острополитического и тогда, и сегодня) показывает скорее его желание сотрудничать с новой властью. Три года он учится и уж, конечно, как большинство его товарищей, готовящих себя к государственной правовой деятельности, интересуется политическими

событиями в стране. 1926-1929 годы проходят для Сталина в острой борьбе с настоящими его врагами, сторонниками троцкистского курса, хотя истинных приверженцев этого курса, было, может быть, совсем немного. Сталин арестовывал и осуждал за КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) профилактически, т.е. тех, кто мог бы, по его мнению, сочувствовать троцкизму. По всей видимости, именно так и был арестован 22-летний студент Шаламов. Скорее всего, у них на факультете кто-нибудь из имевших отношение к Троцкому читал лекции, а может быть, просто студенты слишком интересовались политическими проблемами.

Так Шаламов начал свой путь по ГУЛагу в 1929 году. Он получил 5 лет за КРТД. Это был «детский» срок и «детские» репрессии. После тюрьмы, о которой много лет спустя вспоминали на Колыме, как о самом желанном для ЗЕКА месте («Надгробное слово»), Шаламов отбывал наказание где-то на европейском севере, в геологоразведочных партиях, а после срока, вернувшись в Москву, мог даже печатать свои произведения в центральных журналах («Огонек», «Октябрь», «Литературный современник»). Так, в 1936 году была опубликована небольшая «новелла» В. Шаламова «Три смерти доктора Аустино». Странное она производит впечатление. Если бы на обложке напечатанного ее журнала не были обозначены неотвратимые библиографические данные: «Октябрь» № 6, 1936» – можно было бы думать, что перед нами один из Колымских рассказов:

Тюрьма. Готовится расстрел заключенных, в их числе доктора. В последний момент вдруг выясняется, что у жены начальника тюрьмы (отвратительного «худощавого зверя», с «высшим образованием», который «собственноручно избивал заключенных» и ввел «систему горячих и ледяных карцеров») начались преждевременные роды и срочно требуется врач. Сначала доктор-герой решает, что не пойдет спасать эту «раскормленную, покрашенную бабу», которая непременно родит похожего на отца «звереныша». Но затем гуманные соображения берут верх над ненавистью, и доктор идет в дом к своему врагу, спасает жену и ребенка. После чего конвойные снова ведут его на расстрел.

Рассказ в три страницы. Место и время действия не обозначены. Лишь имя героя – Аустино – и слабый намек на южную природу склоняет нас к мысли, что перед нами Испания накануне гражданской войны. Но Шаламов избегает какой-либо конкретизации. Заключенные, вместе с которыми выводят доктора Аустино на первый расстрел,

вскользь названы «боевыми товарищами», а в доме начальника тюрьмы он видит «бюст Данте» и «английскую книгу». По этим деталям советские читатели тридцатых годов должны были догадаться, что перед ними – бесчеловечная и несправедливая капиталистическая тюрьма, в которой казнят борцов за свободу.

Однако главный пафос в рассказе Шаламова не идеологический (что естественно было бы ожидать для того времени), а нравственный: должен или не должен был Аустино спасти жизнь жене ненавистного ему классового врага? Шаламов уверенно отвечает: да, должен. Гуманизм, милосердие и любовь к людям должны стать выше ненависти и мести врагу. Опять же скажем: рискованная позиция для советского человека накануне 1937, да еще побывавшего ТАМ, откуда и попали в рассказ такие, например, подробности: после принятия родов доктор Аустино возвратился в тюрьму и провел свою последнюю ночь голодным, так как канцелярией тюрьмы еще накануне был «снят с питания». Эта социалистическая деталь, несомненно, попала в рассказ из личных авторских наблюдений.

Поражает стиль рассказа. Крайний лаконизм обстановки, концентрация информации в каких-то очень острых и вместе с тем будничных моментах тоже напоминает «Колымские рассказы» («Эсперанто», «Домино», «Утка», «Аневризм аорты»). Слово между публикацией «Доктора Аустино» и появлением первых сам-и тамиздатских рассказов («Причал ада», «Прокаженные», «По ленд-лизу» и др.) не прошло тридцати лет – и каких лет! Писатель Варлам Шаламов уже в 30-е годы нашел и тему, и стиль своего творчества. Вот только гуманистический пафос, с которого он начал в 1936, не возродился в «Колымских рассказах». Да и как ему было возродиться после того, что было видно, пройдено и пережито.

Когда начались генеральные сталинские репрессии 1937 года, Шаламов был снова арестован, просто как «повторник», и за свою прошлую, уже наказанную КРТД, получил опять пять лет и вот тогда-то и попал на Колыму.

Свой новый пятилетний срок он полностью отбыл на общих работах в шахтах и приисках Джанхары на бурении шурфов, на лесоповале, был неоднократно в бригадах «доходяг» на заготовке сучьев и хвой, иногда счастье вдруг улыбалось ему и его посылали на хлебозавод. В довоенные годы было немного легче: лучше кормили, начислялись

какие-то деньги за выполнение нормы, меньше били. Но к 1941 году, после трех лет нечеловеческого труда, голода и холода сознание человека ослабевало, и ничего, кроме еды и возможности не ходить в шахту, не интересовало его.

В рассказе «Июнь» Андреев (этому герою Шаламов часто передает события своей собственной жизни) слушает известие о начале войны с тем абсолютным равнодушием, как будто это происходит в «Парагвае или Боливии». Вот это и был для Шаламова первый шаг отречения. Чужим и проклятым стало для него то государство, та система, которая пригнала людей на Колыму для бессмысленного труда и мучительной смерти. Пусть это первое отречение было бессознательным актом голода и холода, но оно вошло в оскудевший мозг и осталось там навечно. Да и как можно было иметь какие-то патриотические иллюзии, если к моменту окончания пятилетнего срока по приговору ОСО, отбытого в глухом Аркагале, Шаламов вместо освобождения был переведен в штрафной прииск на Джелгалу как «пересидчик». Ему старались состряпать еще одно дело, чтобы добавить новый срок. Стукачи усердно работали, нанятые и запугиваемые товарищи давали нужные «показания», и, наконец, по идее тогдашнего заключенного, а позже известного вольного провокатора, громившего Пастернака и многих других, Д. Заславского, Шаламов получил новые 10 лет за то, что назвал в разговоре Ивана Бунина великим русским писателем («Мой процесс»). Это было в 1943 году. Его ждали те же страшные шахты и прииски Колымы, на которых он уже побывал, но статья оказалась другая: 58 пункт 10. По этой статье можно было, хотя и нежелательно, использовать ЗЕКА не на общих работах. Это спасло Шаламову жизнь.

Начал он свой новый десятилетний срок, работая кайлом и лопатой на далеких таежных приисках. В военное время рабочий день продолжался с подходами и проверками 16 часов в сутки, нормы были невыполнимы, за это уменьшали и без того скудные пайки. Золотой забой был неминуемой смертью, и старый опытный ЗЕК понял это, научился хитростям, избавляющим от этой судьбы («Тифозный карантин»). Но и бригады из «доходяг» на более легких работах также в конечном счете вели к смерти. Шаламов показывает, как его герой, старый колымчанин Крист, получив направление в больницу, до которой было четыре километра, ползет туда, как зверь, на четвереньках по обледелой дороге. Мимо идут машины, но никто не обращает внимания на ползущее в белой мгле существо. Человек перестает быть



человеком в таких обстоятельствах, лишь инстинкт зверя может спасти его от смерти, и Крист становится этим бессловесным, сопящим и рычащим существом, в угасающем сознании которого работает лишь одно стремление – «к теплу». Проходят часы в этом инстинктивном движении, и вот... «мгла слегка поредела, и Крист увидел поворот к больнице... метров триста, не больше. И, снова зарывчав, Крист пополз» («В больницу»).

Имея за плечами такой «опыт», человек, очевидно, не может полностью восстановить то, что мы называем нормальными социальными комплексами. Здесь отречение от ТЕХ, КТО привел к этим жутким страданиям, прошло через инстинкт и никогда не будет подавлено. Мир навсегда разделится в сознании колымского раба на тех, кого били, и тех, кто бил. Выживший чудом доходяга будет со временем лишь постигать, что те, КТО били, это не только конвой, лагерное начальство, десятники, провокаторы, прокуроры, но и инженеры, служащие, писатели, словом, любой гражданин СССР, если в его руки волею какого-то непонятого Молоха – государства вложена палка.

Сорок восемь килограммов весил мужчина, чей рост был 180 см. Температура его тела – 34,3. Он уже не мог говорить, все забыл. Его ничто не интересовало, кроме еды и тепла. Книги казались «чужими, недружелюбными, ненужными» («Домино»).

Судьба случайно улыбнулась Шаламову; знакомый фельдшер взял его в больницу санитаром, а потом, в 1946 году, послал на фельдшерские курсы. Так он выжил, дождался смерти Сталина, и в 1956 году или чуть раньше уехал из колымского ада («Погоня за паровозным дымом»). Но еще там, работая в больнице для заключенных, как только вернулась к нему способность чувствовать и мыслить, возвращается к Шаламову, казалось, навсегда забытая жажда творчества. Он пишет стихи о природе, которую теперь может подолгу и внимательно наблюдать. Вот стланик, который когда-то был враждебным объектом его труда в «витаминной» «доходяжной» бригаде, теперь для него живой товарищ, жаждущий тепла, он «пригибается к земле», «тычется в стынущий камень» и «заползает под снег» до весны («Стланик»). Вот тайга – «молчальница от века», «глухонемая», не любящая людей, но все-таки способная на знаки и жесты своей «дружелюбной немоты» («Тайга»). Вот первые приметы пугающей осени. А вот и гроза, десятки раз воспетая в русской поэзии Пушкиным, Тютчевым, Фетом, Па-

стернаком... Но Шаламов увидел ее в новом свете какой-то пугающей грубой силы:

Смешались облака и волны,  
И мира вывернут испод,  
По трещинам зубчатых молний  
Разламывается небосвод.

По желтой глиняной корчаге  
Гуляют грома кулаки.  
Вода спускается в овраги,  
Держась руками за пенки.  
(«Стихи о Севере» – «Знамя», № 5, 1957)

Чувствуется пастернаковская остранинная [видимо, здесь и дальше имеется в виду «отстранение» – прим. составителя] наблюдательность, но виден и старый колымский зэк, знающий на собственном опыте, как ползут по оврагам избитые железными кулаками конвоиров обессиленные доходяги...

В одном из «Колымских рассказов» глухо, как обычно, Шаламов рассказывает, как его, уже ссыльного, вызвали в Магадан за письмом, и он проехал 500 километров и получил письмо от Б. Пастернака («За письмом»).<sup>34</sup> Ясно, что это был ответ на письмо самого Шаламова. Что он писал Пастернаку? Вряд ли это были житейские жалобы или материальные просьбы. Скорее всего он послал Пастернаку стихи, свои колымские стихи о тайге и снеге. Во всяком случае, очень возможно, что Пастернак, всегда остро чувствующий какой-то комплекс вины перед теми, кто страдал ТАМ, взялся даже похлопотать о публикации этих стихов. Подборка в «Знамени» № 5 за 1957 год стихотворений Шаламова «Стихи о Севере», возможно, появилась там усилиями Б. Пастернака, который, как известно, сам печатался в этом журнале (из цикла «Стихи из романа»). Можно предполагать с большой степенью уверенности, что именно Пастернак помог В. Шаламову вернуться к литературному поприщу. Не будь этой публикации – неизвестно, нашел ли бы в себе силы старый колымчанин броситься в мутное болото Большой Зоны под вывеской ССП (Союз советских писателей).

Впрочем, тогда, в 1956-1957 годах, было время возвращений и уцелевших (Н. Заболоцкий) и мертвых (М. Цветаева). Перед уцелевшими даже почтительно теснились, выделяя кусочек места под солн-

цем. Потеснились и перед Шаламовым, предоставив ему несколько страниц в центральном престижном журнале. В 1961 году ему удается издать маленькую книжку стихов «Огниво», которую похвалил в «Литературной газете» поэт-фронтовик Б. Слуцкий,<sup>35</sup> причем похвалил не столько за поэзию, сколько за мужество, явно давая понять читателю, где приобрел автор свой жизненный опыт:

Мозг не помнит, мозг не может,  
Не старается сберечь  
То, что знают мышцы, кожа,  
Память пальцев, память плеч.  
(«Память»)

В 1962 году Шаламов, уже несомненно член Московского отделения ССП, принимает участие в сборнике «День поэзии». Это было большой жизненной победой Шаламова, хотя по сравнению с довольно уже высокой поэтической культурой тех авангардных лет стихи Шаламова казались и неискренними, и поспешными. Поэт, очевидно, сам понимал это и предупреждал своих будущих критиков:

Тороплюсь, потому что старею.  
Нынче время меня не ждет.  
Поэтическую батарею  
Я выкатываю вперед...  
Не отводит ни дня, ни часа  
Торопящееся перо  
На словесные выкрутасы,  
Изготовленные хитро...  
(«Прямой наводкой») 36

Конечно, не мог не чувствовать Шаламов свою поэтическую скудность. Но было то, что спасало: твердая вера, твердое сознание, что его 20-летний опыт нечеловеческого бытия дает ему (а не им, талантливым «вольняшкам») знание настоящей жизни. Это – не споры об искусстве и демократии, не разговоры о XX съезде и хрущевских обещаниях, не противопоставление Ленина Сталину, не московская квартира и заграничная поездка, не партбилет, не престижная должность... Настоящая жизнь – это возможность прикасаться к природе, постигать ее неповторимую гармонию и красоту, наслаждаться ее строгим и бесстрастным порядком, жить в ней, в ее ритме и воле. Это был Пастернаковский путь отречения, к которому автор «Доктора Живаго» шел

много лет в сомнениях и раздумьях своих интеллектуальных скитаний по векам и странам. А зэк Шаламов пришел к этому отречению через колымский ад – после всего, что он знал и видел, людские дела, казалось, навсегда перестали интересовать его. Только природа достойна поэзии, только в ней – справедливость и разум. Приняв, хотя и другим путем, Пастернаковскую философию отречения, Шаламов, возможно, даже бессознательно, часто моделирует в своих стихах и Пастернаковскую поэтическую систему. Во всяком случае, А. Твардовский отверг предлагаемые Солженицыным (в период, когда авторитет последнего был очень велик) стихи Шаламова как «слишком пастернаковские».37

Вообще история контактов Шаламова и Солженицына заслуживает особого внимания.

Солженицын рассказывает в «Теленке», что уже летом 1956 года он читал в «Самиздате» некоторые стихотворения Шаламова.<sup>38</sup> Возможно, это были те самые из «колымских тетрадей» («В часы ночные, ледяные», «Как Архимед...», «Похороны»), которые Солженицын через несколько лет предложит «Новому миру». Тогда уже Солженицын понял, что автор – его «брат», «из тайных братьев», т. е. бывший зэк. Поэтому для него это были не просто стихи, менее или более удачные, «пастернаковские» или «тютчевские». Это была «горящая память сердечной боли», «кровотечение», опыт тех лагерных поэтов, которые погибли тысячами, а «выползло» оттуда «меньше пятка». Вот почему Солженицын настойчиво предлагал Твардовскому стихи и «Маленькие поэмы» («Гомер», «Аввакум в Пустозерске»). Это была поэтическая информация о том, что совершенно недоступно «молоденьким поэтам» и о чем ДОЛЖЕН узнать читатель. Эпизод происходит в 1962 году, когда шаламовские стихи о природе печатали, но эти, самиздатские, все еще ходили по рукам (лишь много позже некоторые из них, например, «Аввакум», были напечатаны, но к этому времени русская поэзия и литература ушли уже так далеко по пути своего отречения, что неискусные аллюзии в речах мужественного старообрядца: «Наш спор не церковный // О возрасте книг» // Наш спор не духовный // О пользе вериг. // Наш спор – о свободе, // О праве дышать, // О воле Господней // Вязать и решать» – уже не звучали столь актуально.<sup>39</sup>

И все-таки даже после неудачной попытки Солженицына Шаламов продолжает не только писать стихи, он продолжает нудные переговоры с редакциями об их публикации. И вот «Советский писатель» в 1964 году выпускает его сборник «Шелест листьев». Нельзя сказать,

что туда включаются лучшие стихи Шаламова. Но, тем не менее, некоторые образы неожиданны, необычны и уводят воображение читателя в какой-то неведомо страшный мир: таковы, например, «морозом скрюченные кисти» осеннего дерева, «переломанные человеком» «кости горных хребтов», «почуявшая врага» в каменном ущелье река «хрипит от возмущения». Действительно, хотя перед читателем предстали почти исключительно стихи о природе со всеми ее сложными процессами и закономерностями, он не мог не почувствовать, что автор, поэт, затаил в строках что-то еще невысказанное и вместе с тем самое главное...

В одном из последних стихотворений сборника, как бы соглашаясь с критиками о скромности своих поэтических построений, Шаламов писал:

Но, впрочем, строчки – это не вода,  
А глубоко залегающая руда.  
Любой любитель, тайный рудовед,  
По этой книжке мой отыщет след...

Действительно, этот «след», след старого колымского зэка, видевшего такое, «что человек не должен видеть», можно отыскать в лирике Шаламова, возьмем ли мы самый первый сборник его стихов «Огниво» или один из последних – «Московские облака» (1972).

Но не только лирические стихи писал Шаламов. Уже в начале 60-х годов начали ходить в самиздате его рассказы из тех же самых «колымских тетрадей». Появились они почти одновременно с «Иваном Денисовичем», и все мы имели возможность сопоставить их, вернее, сопоставить информацию, в них содержащуюся. Ведь для нас, читателей 1962 года, имя Солженицына было так же незнакомо, как и имя Шаламова. Мы не могли еще понять и различить художественные системы этих двух авторов – для нас существовали прежде всего потрясающие факты жизни. Вот почему «Колымские рассказы» некоторым казались интереснее, информативнее. Факты, в них содержащиеся: «мороженная человечина» в трюме парохода «Ким» («Прокуратор Иудеи»), прокаженные в должности санитаров больницы («Прокаженные»), жуткие убийства блатными политических – все это впечатляло на первых порах сильнее, чем «УДАЧНЫЙ» день скромного Ивана Денисовича.

Сам Шаламов, прочитав повесть Солженицына, как известно из признаний самого Солженицына, написал ему довольно критическое письмо и «справедливо упрекнул»: «И что еще за больничный кот ходит у вас там? Почему его до сих пор не зарезали и не съели?»<sup>40</sup> Действительно, мы знаем из «Колымских рассказов», что заключенные съедали все, что попадало им в руки: кошек, собак, мышей... людей. Колымский «круг» был более глубокой по сравнению с солженицынским, «адской воронкой», через которую обреченные люди спускались в миллионные братские могилы советского «котлована» во имя «нового счастливого будущего».

Некоторые из «Колымских рассказов» можно датировать по содержащимся в них хронологическим упоминаниям. Так, самой ранней датой оказывается 1964 год («Прокуратор Иудеи», где о событиях 1947 года сказано, что они произошли 17 лет назад). По этому же принципу 1964-1965 годами можно датировать «Житие инженера Кипреева». Вообще при внимательном чтении можно выделить группы рассказов, которые: а) ходили в самиздате; б) не были напечатаны на Западе до выхода Лондонского издания и вообще по некоторой сдержанности тона производят впечатление предназначенных для советской печати. Таковы: «Прокаженные», «В приемном покое», «Ожерелье княгини Гагариной», «Необращенный», «Комбеды», «Магия». Особо в этом ряду стоят рассказы, в которых лагерная тема проходит несколько «бокком»: «Академик», «Медведи», «Алмазная карта», «Визит мистера Попа». Более ранним вариантом, переработанным потом в другие рассказы, можно считать «Потомок декабриста».

Так мы можем представить, с чего начинал Шаламов.

Самым первым и еще очень остранным его героем был Голубев. Вот он, уже немолодой журналист, осенью 1957 года идет на беседу с очень известным академиком, который когда-то поносил кибернетiku, «воинствующую лженауку», а теперь небрежно диктует для популярного журнала вещие слова о ее мировом значении. Шаламову как будто гораздо интереснее этот человеческий экземпляр (чье искусство лавировать в мутных волнах «ленинских курсов» КПСС, несомненно, превосходит его другие академические дарования), чем судьба измученного, уставшего от непривычной работы стенографиста, бывшего многообещающего журналиста с негнушейся, искалеченной на допросах рукой. Академик что-то припоминает: не вы ли тот Голубев, который в 30-е годы... Нет, я не тот, спешно отвечает герой о самом себе.

«Тот Голубев умер в тридцать восьмом году». Так проводит Шаламов грань между теми, «кого били», и теми – КТО БИЛ. Этот академик – его смертный враг. Пусть не он лично посылал людей на Колыму. Но он из ТЕХ. Никогда колымский мученик не простит ИМ их сытое житье и благополучную карьеру. Таков закон отречения. Но рассказ все же, по-видимому, предназначался для печати – мы находим в нем только скрытые намеки на всю эту драматическую ситуацию, те самые «следы», изучая которые можно было добраться до сути. Такой часто бывала поэтика 60-х годов.

Еще по крайней мере два рассказа ведутся от имени Голубева: «Магия» и «Кусок мяса». В них трудно определить время событий; довоенного или послевоенного потока нашей мудрой партийной «канализации».41 В центре внимания – человеческие характеры, в основном блатные и крестьяне-бытовики. Никаких авторских размышлений и обобщений. Тот же намеренно нелирический объективный взгляд все выдавшего героя мы встречаем в рассказах без рассказчика: «В приемном покое», «Аневризма аорты», «По ленд-лизу». Особую группу составляют бытовые зарисовки характеров в рассказах о блатном мире. По свидетельству Ю. Мальцева,42 они ходили отдельной рукописью под заглавием «Очерки блатного мира». По-видимому, оттуда же попали в Лондонское издание «Женщины блатного мира» и «Сергей Есенин и воровской мир».

Очень большая группа рассказов объединяется героем с автобиографическими чертами и со странным именем Крест. Мы можем восстановить всю его трагическую историю, начиная с ареста и тюремного следствия в 30-х годах («Ожерелье княгини Гагариной»). Вот его первый год работы на прииске зимой 37-38 годов, где спасает его от расстрела (уничтожив «дело») решительный следователь, которому он помогает переписывать бумаги («Почерк»). Вот после расстрела решительного следователя он работает откатчиком (грузит тачки с золотосодержащей породой) среди блатных, избивающих и издевающихся над «троцкистом» («Артист лопаты»). Вот он, став доходягой на приисках, переведен в специальную инвалидную бригаду и таскает бревна, преодолевая мороз, усилившийся голод и боль отмороженных рук и ног, и, наконец, волею бывшего начальника, ставшего заключенным, обманом все-таки попадает в больницу, «доползает» до нее («В больницу»). Там, еще едва передвигая ноги, он торопится стать санитаром, чтобы подольше задержаться в тепле («Смытая фотография»). Он учится лагерной мудрости в первые военные годы и, умело обманув прибывшее

в больницу для вербовки людей на прииск начальство, остается санитаром («Облава»).

В юности Крист отличался страстным чувством «неподчинения чужой команде, чужому мнению, чужой воле» и потому уже в 19 лет был арестован и приобщен к «троцкистскому движению» – к фактически смертному литеру – КРТД. Вот он работает в угольной шахте, грузит вагонетки, изредка, вопреки «спецуказанию», ему удается поработать на лебедке. Из шахты его увозят в спецзону в связи с окончанием срока и дают новый срок на штрафном прииске («Лида»). Однажды судьба улыбнулась ему, и он попал на фельдшерские курсы, кончил их и стал даже заведовать приемным покоем огромной лагерной больницы («Геологи»). Но кончился его третий по счету десятилетний лагерный срок, а освобождения с литером КРТД быть не могло, и вот больничная секретарша, печатая документы, по просьбе Криста пропустила одну букву («Т») в его справке об освобождении – КРД («Лида»). Крист после 20-ти лет своего обреченного существования получил советский паспорт «Читайте! Завидуйте!»

Те же самые этапы жизненной судьбы прослеживаются у героя, носящего фамилию Андреев и чаще всего выступающего рассказчиком (от «Я»). Те же самые факты, которые бегло упомянуты в рассказах «Лида», «Геологи», «Ожерелье княгини Гагариной» или в не вошедших в лондонское издание, но напечатанных в «Новом журнале» коротких этюдах: «Экзамен», «Город на горе», подробно и с рассуждениями (явно исключаящими возможность публикации в советских изданиях) повторены в рассказах «Заговор юристов», «Курсы», «Мой процесс», причем в последнем, начатом от имени Андреева, приводится в конце документ, выданный лагерным врачом заключенному Шаламову. Несомненно, перед нами более поздние рассказы, когда писатель уже в полный голос, припоминая многие информативные подробности, повествует о колымском аде.

События и характеры повторяются, хотя и варьируются, в двух рассказах: «Потомок декабриста» и «Инженер Киселев». В первом внимание сосредоточено на подлой и вместе с тем размашисто смелой (в лагерных пределах, конечно!) личности недоучившегося Сергея Михайловича Лунина, потомка известной русской дворянской фамилии, чей предок, М. С. Лунин, умер в сибирской тюрьме. С. М. Лунин помог Андрееву избежать неминуемой смерти, руководствуясь не человеколюбием или жалостью, а просто желанием иметь собеседника из



«москвичей». Во втором рассказе об этих же событиях повествуется более кратко, автор сосредоточен на изображении личности вольнонаемного инженера Киселева, истязавшего заключенных, а о Лунине-Кунине сказано вскользь, зато события сопровождаются рассуждениями автора о самой сущности лагерной цивилизации в СССР, рассуждениями, которые никогда не могли быть напечатаны в советской прессе: «Лагерный опыт – целиком отрицательный, до единой минуты. Человек становится только хуже... Я знаю многих интеллигентов, да и не только интеллигентов, которые именно блатные границы сделали тайными границами своего поведения на воле... В лагере не было политических. Это были воображаемые выдуманные враги, с которыми государство рассчитывалось, как с врагами подлинными – расстреливало, убивало, морило голодом. Сталинская коса смерти косила всех без различия, равняя на разверстку, на списки, на выполнение плана. Среди погибших в лагере был такой же процент негодяев и трусов, сколько и на воле. Все были люди случайные, случайно превратившиеся в жертву из равнодушных, из трусов, из обывателей, даже из палачей. Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдерживали» («Инженер Киселев»).

Подобные жесткие и бескомпромиссные рассуждения о том, что именно лагерная психология была господствующей среди всех граждан СССР в сталинские годы и ничего не могла она воспитать в людях, кроме ненависти и трусости, совсем не согласуются с впечатлениями тонко наблюдательной Ф. Вигдоровой, читавшей «Колымские рассказы» в самиздате в середине 60-х годов. Она увидела в них веру в «честь, добро, человеческое достоинство», несмотря на самые горькие и беспощадные факты (Письмо Ф. Вигдоровой ходило в самиздате и было, возможно, одной из рецензий, которые представлял В. Шаламов в издательство «Советский писатель», пытаясь издать свою книгу). Думается, что Ф. Вигдорова знала лишь более раннюю, менее категоричную в рассуждениях редакцию «Колымских рассказов».

Действительно, В. Шаламов создавал свои рассказы в 1964-67 годах в надежде увидеть их напечатанными, возможно, даже и в смягченных цензурой вариантах. В «Новом русском слове» были напечатаны короткие воспоминания Майи Муравник о редакционном эпизоде в Москве, имевшем место, очевидно, где-то в начале 70-х годов. По ее словам, Варлам Тихонович Шаламов, выпустивший несколько сборников стихов в «Советском писателе», принес однажды в поэтиче-

скую редакцию огромную рукопись. Это были «Колымские рассказы». «Т-три го-года в п-прозе [*Очевидно, в отделе прозы. – прим. авторов*] в-валялись, – взволнованно говорил он автору воспоминаний. – Пятна-дцать п-положительных р-рецензий. А все-таки в-вернули. Не п-под си-силу им т-такое п-печатать!»<sup>43</sup>

Хотя автор воспоминаний, к сожалению, не сообщает даты эпизо-да, ясно, что он не мог иметь места раньше 1970. («Три года проваля-лись», и около трех лет Шаламов работал над рассказами, выпуская в это время поэтические сборники). Однако к 1970 году первые публи-кации Шаламовских рассказов уже появились на Западе.

В «Новом журнале» № 85 уже в 1966 году были напечатаны четы-ре рассказа, причем от редакции сообщалось, что рукопись получена «с оказией из СССР», т. е. из самиздата, и что рассказы печатаются «без ведома автора». При сопоставлении теперь текстов рассказов, напечатанных в «Новом журнале» до 1970 года,<sup>44</sup> с вышедшими почти через 10 лет в лондонском издательстве в отдельной книге (1978, Overseas, также «без ведома автора»), становится очевидным, что в течение этого десятилетия автор исправлял и дорабатывал тексты. Иногда Шаламов снимал эпиграфы («Шерри-бренди»), исправлял фра-зы или отдельные слова, но чаще всего он добавлял рассуждения, обычно исторического характера: о Древнем Риме («Сентенция»), о Павле I («Сухим пайком») или о характере поэтического творчества («Шерри-бренди»).

В 1970 году большую подборку «Колымских рассказов» (15) напе-чатал журнал «Грани»<sup>45</sup> также, как сообщала редакция, «без разреше-ния автора». Эти тексты, по сравнению с теми же самыми в лондон-ском издании, содержат лишь незначительные отклонения. Изменено, правда, заглавие одного рассказа. Вместо «Менделиста» в «Гранях», в отдельном издании – «Вейсманист» (с соответствующей поправкой в тексте). Очевидно, Шаламов нашел нужным употребить именно этот сталинский одиозный термин из триады «менделист-морганист-вейсманист».

В 1971-72 годах продолжается публикация «Колымских расска-зов» в «Новом журнале» (свыше 30) с тем же редакционным замечани-ем «без ведома автора». Факт публикации рассказов на Западе, неко-торое время, очевидно, не замечаемый соответствующими органами в СССР, в 1972 году, по чьему-то приказу разумеется, вдруг получает огласку. В этом году вообще началась борьба именно с тамиздатом, и многих писателей стали вызывать и вопрошать о том, каким путем их

произведения попадали на Запад (отголоски этих фактов оказались в «Литературной газете» от 29 ноября 1972 года, когда Б. Окуджава и А. Гладilin уведомили читателей о «возмущении» «наглой провокацией» «белоэмигрантской прессы», печатавшей их произведения без санкций авторов).

В. Шаламову в соответствующих инстанциях предъявили обвинение в связях с тамиздатом еще раньше. Уже в начале 1972 года он имел неприятные объяснения и вынужден был в «Литературной газете» от 23 февраля дать отречение от тамиздатовских публикаций. И Шаламов делает это удивительно неумело, грубо и лицемерно. Он не только отвергает акт своего сотрудничества с «Посевом» и «Новым журналом», но клеймит их надоевшими привычными сталинскими словами: «омерзительная» «змеиная практика», «зловонный листок», «белогвардейский журнальчик» и т. п. Кроме того, Шаламов уверяет читателей в своей лояльности, в любви к народу, в правоте партии и XX съезда и даже сожалеет, что «по инвалидности» не может принимать участия «в общественной деятельности». Но самое ужасное в его чрезмерном отречении – это признание ненужности своих рассказов, так как их «проблематика» «давно снята жизнью». Можно представить, как горько было Шаламову выговорить такие слова (или подписать их?), как, впрочем, горько было нам прочесть их. Мы знаем, как заставляют произносить и писать подобное, мы не бросим в зэка с 20-летним стажем ни камешка, но отречение было напечатано и стало историческим фактом. Как, должно быть, тяжело было Шаламову сознавать это. Ведь он как раз считал необходимым донести до людей свой страшный опыт, называя его «единственным в своем роде феноменом нелитературной литературы» (воспоминания М. Муравник).

Ценой этого отречения от самого важного дела своей жизни Шаламов «купил» право на публикацию в журналах своих стихов, без которых ему, как мы понимаем, нечем было духовно жить. Но, увы! нравственный компромисс не прибавляет человеку таланта. В 4-ом номере «Юности» (1972), сразу после отречения от «Колымских рассказов», напечатал Шаламов стихотворение «Асуан», и с грустью увидел читатель, как скромное, но все же находившее свои краски и образы перо Шаламова-поэта превратилось вдруг в официозную авторучку для очередного партийного мероприятия:

Пускай зарыт Коран  
В подножье Асуана –

Для мира Асуан  
Важнее сур Корана.  
Важнее пирамид,  
Важнее Тадж-Махала  
Его бетон, гранит  
И свет его накала...

Здесь будущего свет,  
Эмблема дружбы наций,  
Здесь Нил и сам – поэт,  
Поэт мелиорации...

Так музы наказывают за предательство. Мы, современники, знающие, что такое 17 лет Колымы, можем простить поэту, но поэзия мстит за отречение от правды творческим бессилием.

После отречения Шаламов продолжал несколько лет изредка появляться на страницах «Юности». В 1976 году была едва ли не последняя подборка его стихов о Ялте. Поэт как бы оправдывается в одном из них:

Прочь ворох старых писем.  
Их шорох – гром,  
Где ряд необходимых истин  
Добыт с трудом.

Прочь эти детские забавы –  
Род шелухи,  
Отвергнуть их имею право,  
Но не стихи.<sup>46</sup>

Снова Шаламов пытается бежать в поэзию, как в единственное убежище от старого пережитого ужаса. Но ведь в это время в Европе уже шла подготовка отдельного издания «Колымских рассказов», и Шаламов, конечно, знал об этом. Тексты многих оказались в этом издании исправленными, хотя композиция (распределение на три части по непонятному принципу) вряд ли принадлежит автору. Появились в составе лондонского издания многие лучшие рассказы, которые не были напечатаны ни в «Гранях», ни в «Новом журнале» («Первая смерть», «Тифозный карантин», «Красный крест», «Июнь», «Май», «Курсы» и др.), которые представляют собой либо переработанные

варианты опубликованных ранее, либо новые рассуждения о психологии заключенных и надзирателей и вообще рассуждения о природе лагерей, о возможности выжить, о единой нравственности в лагерях и на «воле». Появились сопоставления с книгой Достоевского «Записки из Мертвого дома» и документальные материалы («Инжектор»). Автор явно работал над своей книгой даже после того, как вынужден был публично от нее отречься. Личность самого автора становилась все яснее и яснее, и уже подлинная фамилия «Шаламов» фигурирует в некоторых эпизодах («Мой процесс»).

Несомненно Шаламов знал о готовящемся издании. В одном из стихотворений ялтинского цикла он неожиданно говорит о себе, смотрящем в ялтинское небо:

Бывали горы и покруче,  
Но – опытнейший скалолаз –  
Я не спускал с нависшей тучи  
Усталых, воспаленных глаз.<sup>47</sup>

Книга издана. Плохо ли, хорошо ли, с соблюдением авторской композиции или нет – возможно, выяснится позже. Сейчас мы радуемся, что Варлам Шаламов дожил до ее выхода, а значит, и победил и отрекся, нет, не от своей книги (то была минутная слабость, понятная, по его же интерпретации – воспитанная сталинской эпохой трусость), отрекся от настоящих врагов своего народа, от самозванных вершителей его судьбы, растлителей, реальных и моральных убийц, не случайно, а по системе уничтожавших людей. Он, Шаламов, отрекся от палачей, написав и издав книгу, неоспоримо показывающую ложь всяческих оправданий типа «незаконные сталинские репрессии», «жертвы культа личности» и т. п. Все было вполне в соответствии с законами, репрессии были не сталинские, а всеобщие, хотя жертвы и палачи могли меняться местами. И (самое главное) не личность, а система породила колымский ад и все другие, подобные ему ГУЛаги. В стране создалась психология, когда выжить стало возможным только ценой большего или меньшего предательства себе подобных.

Шаламов нигде не сделал и намека на возможное духовное возрождение народа. Религиозные темы проходят очень вскользь и, по видимому, мало занимают автора. Никаких других путей восстановления человеческого достоинства, растоптанного советским государством, Шаламов не видит.

«В лагерной обстановке люди никогда не остаются людьми, лагеря не для этого созданы», – утверждает Шаламов. По его интерпретации, у человека в лагере и после лагеря остается «только злоба, самое долговечное человеческое чувство». А. Солженицын полемизирует с этими безнадежными пессимистическими выводами Шаламова. Да, конечно, ГУЛаг несет человеческой душе «растление», но всякую ли душу растлевает? Не происходит ли там одновременно и «восхождение» человека, его возвращение к истинным ценностям, к правде и Богу? Солженицын верил в это и считал эту веру залогом духовного возрождения русского народа.<sup>48</sup>

Трагический и мрачный портрет Шаламова рисует Г. Свирский: «Человек с неподвижным лицом. Сухой и какой-то замороженный. Словно черное дерево, а не человек... словно... из вечной мерзлоты, в которой заledenел, да так и не оттаял еще...» Подстать этому облику были, по мнению Свирского, и «Колымские рассказы»: «Человек, по твердому убеждению Варлама Шаламова, хуже зверя, беспощаднее зверя, страшнее зверя».<sup>49</sup>

С единственной доступной нам фотографии (воспроизведена в сборнике «Шелест листьев», 1964) смотрит на мир застывшее в недоброй grimase настороженное лицо... Да, по-видимому, так и «не оттаяла» эта исстрадавшаяся одинокая душа. Стихи и природа стали для нее единственным согревающим прибежищем. Что ж, и это путь. Один из рецензентов Шаламова, несомненно добрый человек Дм. Ольгин, даже после публикации грубого и компрометирующего отречения Шаламова в «Литературной газете», нашел возможным сказать несколько теплых слов о стихах Шаламова. Оказывается, одно из его стихотворений он твердил в своей памяти много лет, шагая по «сумрачным осенним бульварам» столицы:

Я северянин. Я ценю тепло.  
Я различаю – где добро, где зло.  
Мне нужен мир, где всюду есть дома,  
Где белым снегом вымыта зима.  
Мне нужен клен с опавшею листвою  
И крыша над моею головой.<sup>50</sup>

Вот и все, чем жив человек. Этот простой идеал, последовательно проводимый Шаламовым во всей его поэзии, есть пастернаковский

путь отречения от официального советского идеала – служения своему государству. Шаламов принял его и передал, как видим, определенному кругу читателей. Но он вступил и на другой путь – солженицынский и написал мужественную, правдивую и бескомпромиссную книгу о советском государственном беззаконии. Может быть, теперь, после ее полного выхода по-русски и по-английски на Западе, наконец, устыдятся называть гулаговскую действительность «романтическим воображением», как сказал мне когда-то один «носорог» – весьма известный математик из Калифорнии.

Варлам Шаламов умер.

Мучительно и одиноко провел он последние годы. Печать старого колымчанина не сошла с него. У него не было семьи, не было близких. К жутким воспоминаниям, которые, как говорят, преследуют по ночам всех бывших эков, к физическим страданиям от многих недугов, несомненно, прибавились и нравственные мучения из-за того, что не выдержал и отрекся от Книги своей жизни. Но мы не будем судить Шаламова за эту фальшивую ноту. Напротив, в истории русской антисоветской литературы мы поставим «Колымские рассказы» как выдающийся факт и важнейший этап, свидетельствующий об ОТРЕЧЕНИИ их автора от самой сути бесчеловеческого шигалевского государства.

Варлам Шаламов отверг это государство полностью, со всей его идеологией, психологией и моралью. Можно только с болью сочувствовать, что нравственно убитый колымским адом, он не нашел в себе сил ни для такого духовного возрождения.

---

### Примечания

31. См. Скончался Варлам Шаламов, – «Новое русское слово», 1982, 20 января; Два письма о похоронах Шаламова. – Там же, 1982, 7 марта.

32. В. Шаламов. Колымские рассказы, Лондон. 1978, 2-е изд. – 1982.

33. Энциклопедический словарь. Т. 2. Москва, 1954, стр. 298.

34. Можно думать, что у Шаламова была переписка с Борисом Пастернаком. Александр Гладков в книге «Встречи с Пастернаком» (Париж, 1973) пишет: «Его (В. Пастернака – М. А.) письма есть у

находившихся в заключении поэтов В<арлама> Ш<аламова> и К<онстантина> Б<огатырева>» (стр. 154). Где эти письма?

35. Б. Слуцкий. Огниво высекает огонь. – «Литературная газета», 5 октября 1961.

36. «День поэзии. 1962». Москва. 1962, стр. 178.

37. А. Солженицын. Бодался теленок с дубом, Стр. 61-68.

38. Там же, стр. 15.

39. В. Шаламов, Дорога и судьба. Книга стихов. Москва. 1967.

40. А. Солженицын, Архипелаг ГУЛаг, ч. III, стр. 200.

41. См.: А. Солженицын, Архипелаг ГУЛаг, ч. 1, гл. 2: История нашей канализации.

42. Ю. Мальцев. Вольная русская литература, Посев, 1976, стр. 193.

43 М. Муравник. Редакционный эпизод. – «Новое русское слово», 11 апреля 1980.

44. См. «Новый журнал», №№ 85, 86, 89, 91, 99.

45. См. «Грани», №№ 76, 77.

46. «Юность», 1976, № 10.

47. Там же.

48. А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг ч. IV, гл. 2, стр. 605-610.

49. Г. Сvirский. На лобном месте. Стр. 277-278.

50. Дм. Ольгин. «Стиха невозмутима мера». – «Литературная газета», 29 ноября 1972.

---

С оглавлением книги можно ознакомиться здесь <http://dc.lib.unc.edu/cdm/item/collection/rbr/index.php?id=27775>

Электронная версия статьи – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»:

Начало <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/281027.html>,

окончание <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/281326.html>

---

**Необходимый комментарий к статье Альтишуллера и Дрыжковой «Мученик колымского ада»**



Статья Альтшуллера и Дрыжаковой – настоящая сокровищница сведений о степени информированности русского зарубежья шестидесятых-восемидесятых годов касательно времени и процесса написания «Колымских рассказов». Следует учесть к тому же, что речь идет не о простом образованном читателе, а о профессиональных литературоведах, преподавателях Принстонского университета, США, один из них в звании профессора; оба, несомненно, читали что-то Шаламова еще в самиздате в бытность в СССР. Следует учесть также, что если не все, то львиную долю опубликованных к тому времени на Западе текстов Шаламова Альтшуллер и Дрыжакова прекрасно знают и без труда находят разночтения в публикациях «Нового журнала», «Граней» и Геллера.

Вместе с тем картину сроков и процесса создания «Колымских рассказов», представленную в статье, можно сравнить с картами Америки, отрисованными по рассказам сыновей Эрика Рыжего, или с домыслами о постройке какого-нибудь мегалитического комплекса, воздвигнутого народом, исчезнувшим тысячи лет назад.

На основании своих дедукций, имеющих материалом сами КР и мемуар Майи Муравник, Альтшуллер и Дрыжакова разворачивают следующую, по их мнению, достоверную панораму создания «Колымских рассказов».

Согласно этой реконструкции, КР создавались в период 1964-1967 гг. Эпизод в редакции издательства «Советский писатель», описанный в мемуаре Майи Муравник, когда Шаламову возвращают папку с рассказами, относится, как сказано, не ранее чем к 1970 году, а лежали они там «года три», стало быть, как раз со времени окончания недолгой работы Шаламова над его книгой. Между тем, тут полная путаница – рассказы издательство отвергло в 1963 году, в книге Муравник «Розовый дом» она датирует эпизод отставкой Хрущева, а что сказано в ее воспоминаниях, опубликованных в газете «Новое русское слово», на которые ссылаются Альтшуллер и Дрыжакова, я не знаю, видимо, там вообще никаких временных зацепок.

По мнению авторов, Шаламов «создавал свои рассказы в 1964-67 годах в надежде увидеть их напечатанными, возможно, даже и в смягченных цензурю вариантах», «предназначенных для советской печати». Эту раннюю, «смягченную», «менее категорическую» версию читала Фрида Вигдорова, увидевшая там «веру в "честь, добро, человеческое достоинство"».

Со временем, однако, Шаламов отказывается от недомолвок и цензурных ограничений, начинает говорить «в полный голос», и его

вещи становятся жесткими и бескомпромиссными, не имеющими никаких шансов на издание в СССР.

В период с 1970 года до выхода лондонского сборника, о подготовке которого «Шаламов, конечно, знал», он перерабатывает рассказы в сторону освобождения от самоцензуры и надежд на публикацию на родине, то есть не только «явно работает над книгой», но и, по логике вещей, поддерживает контакт с зарубежным издателем. В результате лондонский сборник по правдивости и художественности оказывается достойной компенсацией автору за его лицемерное и безнравственное отречение от собственного труда в «Письме в ЛГ» 1972 года, которому в статье Альтшуллера и Дрыжаковой посвящена не одна страница и все в духе скуловоротных либеральных клише.

Естественно, датировка КР серединой-второй половиной шестидесятых годов позволяет авторам утверждать, что Шаламов, пройдя по пастернаковскому, «вступил и на солженицынский путь».

Ничего общего с реальностью создания «Колымских рассказов» вышеизложенная фантастика, конечно, не имеет, зато она обнаруживает полное неведение западного русского читателя относительно того, что он читает, да и сочинителя, кстати. Статья Альтшуллера и Дрыжаковой опубликована хоть и в год выхода второго геллеровского сборника с «Четвертой Вологдой» и «рассказами о детстве», но написана, по всей вероятности, раньше, поэтому о вологодском периоде жизни Шаламова им неизвестно практически ничего. Вообще, все биографические сведения о Шаламове они черпают из самих рассказов, где автор отождествляется с такими персонажами как Крист, Андреев и Голубев. Сам этот подход делает эстетическую составляющую КР каким-то довеском, она напрочь оттесняется пресловутым «свидетельством» («потрясающие факты жизни») и идеологией антикоммунизма.

Авторы предполагают, что первой журнальной подборкой стихов Шаламов обязан Пастернаку, но они заблуждаются. О переписке Шаламова с Пастернаком они знают из опубликованной в Париже (1973) книги Александра Гладкова «Встречи с Пастернаком». «Где эти письма?» – вопрошают они. – Разумеется, – отвечу задним числом, – у Сиротинской, в спецхране, в гестаповском тайнике.

О времени вступления Шаламова в ССП они не знают ровным счетом ничего, относя его, однако, причем «несомненно», к 1962 году.

Много говорится о житейских и творческих контактах Шаламова с Солженицыным, но все исключительно со слов Солженицына и потому все туфта.

Статья, конечно, на редкость бездарна и скорее дезинформирует, чем просвещает читателя. Но вина за последнее – не на Альтшуллере и Дрыжаковой, а на Романе Гуле, Никите Струве, Солженицыне и их присных, до 1978 года торпедировавших издание «Колымских рассказов» книгами, отсутствие которых, естественно, на корню гасило интерес и к их автору, и к процессу их написания. За всю жизнь у Шаламова не взяли ни одного интервью. Не сохранилось ни одной запечатленной его киноплёнки. Ни один литературный критик не задал ему вопроса о «Колымских рассказах» и его «новой прозе». Статья Альтшуллера и Дрыжаковой, написанная в середине восьмидесятых, демонстрирует полный успех блокады, которой подверг Шаламова концентрационный мир за воротами лагеря.

---

***Совершенно неисследованный вопрос. Шаламов на «вражеских голосах», 1960-80-е годы***

«В эфире он не выступал, хотя голос его у нас звучал. Еще больше звучали сами рассказы и стихи Шаламова в чужом чтении – в чтении наших дикторов, актеров. Голос Варлама Тихоновича один раз звучал с пленки «магнитиздата» так называемого [...] Он был записан на московской кухне, по-видимому, в гостях у Надежды Яковлевны Мандельштам [...]. Пленка была увезена в Европу, передана на «Свободу» [...], и мы включили чтение рассказа «Сентенция» в одну из наших программ в 1982 году».

Иван Толстой в передаче, посвященной Шаламову, Радио Свобода, ноябрь 2013 <http://www.svoboda.org/audio/Audio/1038447.html>

Слепое пятно шаламоведения – когда, где, что именно из написанного Шаламовым и о нем транслировалось на СССР радиостанциями «Свобода», «Голос Америки», «Би-би-си», «Немецкая волна» и другими русскими службами западного вещания. Абсолютно невозможно учесть этот фактор для понимания судьбы Шаламова и его творений, а фактор немаловажный – более важный, чем публикации «Колымских рассказов» в эмигрантских журналах и газетах – последние для советского читателя были практически недоступны, тогда как «вражеские голоса» несмотря на «глушилки» слушали повсеместно. Интересно, найдется кто-нибудь порыться в программах передач западных радио-

станций на русском языке шестидесятых-восьмидесятых годов? Задача, пожалуй, посложнее и позначительнее, чем отыскать горстку упоминаний о Шаламове в «Хронике текущих событий» или очередной образ-символ в его прозе.

---

### *Объем прозы Шаламова, изданной на Западе на русском до 1989 года*

1989 год может служить опорной точкой для обзора публикаций прозы Шаламова на Западе на родном языке – в 1989 году в СССР вышел первый сборник КР «Левый берег», а следом – составленные Сиротинской книги «Воскрешение лиственницы», «Вишера» (частично опубликованная Геннадием Трифоновым в журнале «Уральский следопыт»), «Колымские рассказы» и «Сучья» война: Очерки преступного мира». Что из спешно публикуемого в СССР на гребне «перестроечного» книготоргового бума было уже известно на русском – на русском Западе, разумеется? Каков был объем осведомленности западного русского читателя о прозе Шаламова до упразднения советских «спецхранов», позволившего шаламовским творениям выйти и на советскую публику?

Сделаю по возможности подробный обзор.

В два сборника – 1978, Лондон, 1985, Париж – под редакцией Михаила Геллера входит 116 текстов из корпуса «Колымских рассказов» – частью в составе авторских циклов, частью размещенных по усмотрению составителя, не располагавшего окончательным авторским планом эпоса.

Циклы «Колымские рассказы» («Первая смерть») и «Артист лопаты» опубликованы полностью. В цикле «Левый берег» не хватает рассказов «Лучшая похвала», «Спецзаказ» и «Иван Федорович».

В цикле «Воскрешение лиственницы», разнесенном по разумению Геллера по двум сборникам, не достаёт только рассказа «Золотая медаль». Рассказы «Укрощая огонь» и «Хан-Гирей» идут, соответственно, под названиями «Огонь и вода» и «Гамарин-Мирецкий». Рассказу «Шоковая терапия», напечатанному в сокращённом виде в «Новом журнале» № 125, 1976, под названием «Рауш-наркоз», возвращено авторское название.

Из сборника «Перчатка или КР-2», недоступного Геллеру и его московским помощникам, опубликован только рассказ «Шахматы доктора Кузьменко», а из антиромана «Вишера» – только «Лагерная свадьба», который, очевидно, тоже написан в шестидесятых. Имелся на Западе и список очерка «Вишера», давший название антироману, однако опубликован он не был.

Из восьми «Очерков преступного мира» у Геллера напечатаны эссе о Сергее Есенине и женщине воровского мира, а в журнале «Синтаксис» в 1988 году впервые увидел свет очерк «Сучья» война».

Подводя промежуточный итог. Из пяти первых циклов в опубликованном до 1989 года на Западе не хватает четырех рассказов и пяти очерков о преступном мире. Двадцать рассказов сборника «Перчатка или КР-2» впервые опубликованы Сиротинской уже в книге «Колымские рассказы» 1991 года (полностью или частично, не знаю). Итого, Сиротинская добавила к известным на Западе 117-118 текстам КР около тридцати новых, не считая семнадцати тоже лагерных очерков и эссе книги «Вишера».\*

Из не-колымской прозы Шаламова Геллер напечатал во втором сборнике «Четвертую Вологду», три «рассказа о детстве» (в публикации Сиротинской их два – рассказ «Монах Иосиф Шмальц» она сделала частью «Четвертой Вологды») и «Краткое жизнеописание», составленное самим Шаламовым и в России на 2014 год не опубликованное.

Альманах «А-Я», издававшийся в Париже, в 1985-м напечатал воспоминания Шаламова «Осколки двадцатых годов» с посвящением (или дарственной надписью) Моисею Авербаху, которые Сиротинская опубликовала потом под названиями «Двадцатые годы».

В 1986 году мичиганское издательство Анн-Арбор поместило в своем ежеквартальнике русской литературы *Russian Literature Triquarterly* (RLT) пьесу Шаламова «Анна Ивановна», опубликованную Сиротинской три года спустя в советском журнале «Театр».

Итак, к 1989 году на Западе были известны практически полностью четыре первых цикла (книги) КР – «Колымские рассказы», «Артист лопаты», «Левый берег», «Воскрешение лиственницы»; три из восьми очерков о ворах; автобиография и автобиографическая повесть «Четвертая Вологда» с примыкающими рассказами о детстве; воспоминания «Двадцатые годы»; пьеса «Анна Ивановна» и опубликованное в

1986 году в газете «Русская мысль» «Письмо старому другу», написанное Шаламовым для «Белой книги» по делу Синяевского и Даниэля. На круг, это три полновесных тома, не меньше половины бесосновательно претендующего на полноту шеститомного собрания сочинений, выпущенного к столетию Шаламова и включающего, напомним, том стихов и том дневников и писем. Иначе говоря, три из четырех томов художественной и документальной прозы Шаламова к началу ее массовых изданий в СССР за «железным занавесом» были уже известны. Равнодушие и нежелание Запада знать прозу Шаламова нельзя объяснить отсутствием текстов. Тексты как раз имелись. Причина, я полагаю, в первую очередь в абсолютной профнепригодности и ангажированности европейских и американских славистов, не исполненный долг которых – служить посредниками и экспертами, а во-вторых – в самом Западе, на основных языках которого «Кольмские рассказы» появлялись начиная с шестидесятых годов. Это неприятие Западом Шаламова тем удивительнее, что, по словам французского философа Алена Бадью, интенсивности развиваемой с помощью художественных средств шаламовской идеи о вселенной концлагерей никакая философия достигнуть не может. *«Эта идея гораздо сильнее идеи «тоталитаризма» или любой идеи о «радикальном зле». И эта идея более «настоящая», чем все то, что на эту же тему написал Солженицын»*\*\*

\*Для точности. Не только Сиротинская публиковала прозу Шаламова в «перестроечном» СССР. Шесть текстов в 1987 и 1989 гг. опубликовала Людмила Зайвая (из них «Разговор с Михаилом Светловым» и «Таблица умножения для молодых поэтов» впервые), два – вышеупомянутый Геннадий Трифонов и, наконец, эссе «Кое-что о моих стихах» – Юлий Шрейдер в «Вопросах литературы», №5, 1989. Стихи Шаламова, кроме Зайвой, печатал также Александр Морозов (цикл «Неизвестный солдат»). «Письмо старому другу» в 1989 опубликовал журнал «Огонек».

\*\* Интервью Алена Бадью Русскому журналу, 2011  
<http://www.Russ.Ru/mirovaya-povestka/na-nas-lezhit-total-naya-otvetstvennost>

Вот ссылки на статьи в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир», посвященные каждой из публикаций (помимо статей в данном сборнике):

*Шаламов в альманахе «Часть речи», Нью-Йорк, 1982* <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/212089.html>

*«Осколки двадцатых годов» Шаламова в журнале «А-Я», Париж, 1985* – здесь <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/203781.html> и здесь <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/294357.html>

*Пьеса «Анна Ивановна» в сборнике Russian Literature Triquarterly (RLT), No. 19 Ann Arbor: Ardis Publishers, 1986* <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/214992.html>

*Очерк Шаламова «Сучья» война» в журнале Синтаксис, Париж, 1988* <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/216577.html>



## Блокада (СССР и русская эмиграция)

***Ответ Шаламову издательства «Советский писатель», ноябрь 1963***

«Уважаемый Варлам Тихонович!

Редакция познакомилась с рукописью «Колымские рассказы». При знакомстве со сборником создалось впечатление, что Вы опытный и квалифицированный литератор.

Однако так называемая лагерная тема, взятая Вами в основу сборника, очень сложна, и, чтобы она была правильно понята, необходимо серьезно разобраться в причинах и следствиях описываемых событий. На наш взгляд, герои Ваших рассказов лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична.

Посылаем Вам рецензию и редакционное заключение, которое выражает мнение редакции о Вашей рукописи. Сборник «Колымские рассказы» возвращаем».

Впервые публикуется в книге Валерия Есипова «Варлам Шаламов», 2012

Автор редакционного заключения – замредактора отдела русской советской прозы В. Петелин.

Так называемая «внутренняя рецензия» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/5330.html>, прилагавшаяся к письму, написана литературным критиком Анатолием Дремовым, полностью она опубликована в седьмом томе собрания сочинений Шаламова. Я ошибся, комментируя ее в блоге – рецензия Дремова была написана не для «прогрессивного» журнала «Новый мир» во главе с Твардовским, а для «реакционного» издательства «Советский писатель» во главе с Лесючевским.

Рукопись «Колымских рассказов» в составе первого цикла была возвращена Шаламову не раньше апреля 1964 года, Майя Муравник приурочивает это событие к отставке Хрущева.



---

***Ирина Некрасова. О «внутренних рецензиях» на «Колымские рассказы»***

«Рецензия [внутренняя, год не указан – прим. составителя], озаглавленная «Заключение редакции», подписана Верой Солнцевой. Она ссылается на известные ей положительные рецензии Олега Михайлова и Олега Волкова. [...]

Из ссылок и пояснений В. Солнцевой становится понятно, что О. Волков считал опубликование очерков Шаламова «общественно полезным делом», объединение рассказов в сборник, по его мнению, «является давно назревшей необходимостью»\*.

В. Солнцевой утверждения обоих рецензентов «кажутся излишне восторженными».

Из книги Ирины Некрасовой «Судьба и творчество Варлама Шаламова: Монография». – Самара: Изд-во СГПУ, 2003, размещено на сайте shalamov.ru <http://shalamov.ru/research/158/>

\* См. у Олега Волкова: «...я и познакомился с Шаламовым после того, как написал рецензию на сборник его колымских рассказов, горячо их рекомендуя издательству «Советский писатель». Вполне, впрочем, бесполезно. В те годы никакое издательство не могло и помыслить их опубликовать».

---

***«Колымские рассказы» у Твардовского, 1960-е годы***

«После [...] унижительной работы у Твардовского как представителя прогрессивного человечества, невыносимой работы по чтению самотека – при категорическом отказе <...> Твардовского напечатать хоть строчку моих стихов, хоть один мой рассказ – ведь все это было годами в распоряжении «Нового мира». Отторгнутый Твардовским от журнала, от денег – и это превратить в ничто.

Я и рецензии-то писал с расчетом напечатать хоть один рассказ, цикл стихов. В этом мне было категорически отказано Твардовским».

Варлам Шаламов, «Я. Д. Гродзенский», наброски очерка; опубликованы в седьмом томе собрания сочинений, 2013, электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/292042.html>

---

«...и у Рыбакова [роман «Дети Арбата»], и у Ямпольского [«Московская улица» Б. Ямпольского] были к этому времени рукописи, публикация которых представлялась безнадежной. Лежали без движения и роман Бека [«Новое назначение»], и записки Симонова [«Сто суток войны»], и работа Драбкиной о Ленине [«Зимний перевал»]. И совсем недвижимыми, застывшими на многие годы были лагерные и прочие прямо антикультульные произведения [в примечаниях за текстом названия, в частности, «Колымские рассказы» В. Т. Шаламова]».

Из «Новомосковского дневника» заместителя главного редактора Алексея Кондратовича, запись от 11 дек. 1967 г. <http://editorium.ru/624/>, с сайта Редакторское дело

Писатель Георгий Владимов (см. его воспоминания в разделе «Мемуары») подтверждает слова Кондратовича, речь идет о начале шестидесятих годов:

«Для меня появление «Ивана Денисовича» не было ошеломительным. Я уже все это знал. После съезда Твардовский возымел желание напечатать что-то о лагерях. И сказал, что хорошо бы иметь такое произведение. Солженицын пишет, что он этот зов услышал и решил дать «Ивана Денисовича». Мы тогда с Алексеем Кондратовичем предложили Твардовскому рассказы Шаламова. Но Твардовский очень увлекся уже повестью Солженицына и решил печатать ее».

Пролежали в сейфе журнала все шестидесятые годы. Пусть не говорят, что Твардовский, «этот сталинский лауреат», по выражению Шаламова, о них не знал. В начале шестидесятых за Шаламова ходатайствовал и другой зам. главного редактора, Игорь Сац – и тоже безрезультатно.

Кстати, в фонде редакции журнала «Новый мир» в РГАЛИ (фонд 1702) <http://www.rgali.ru/object/979712?lc=ru> хранятся среди прочих

«Рукописи: [...] В.Т.Шаламова». Рукописи чего, никто до сих пор не поинтересовался.

---

### *Шаламов и его связная Ирина Каневская*

Как известно, Ирина Каневская, жена репатрианта писателя и переводчика Кирилла Хенкина, оставила некролог-мемуар, опубликованный в журнале «Посев» за 1982 год, но прежде, похоже, транслировавшийся радиостанцией Свобода (ответ на вопрос о приоритете я от Ивана Толстого не получил). Некролог называется «Памяти автора «Колымских рассказов» и приоткрывает завесу тайны над одной из инициатив Шаламова по передаче рукописей «Колымских рассказов» на Запад для издания книгой.

В своей статье о зарубежных изданиях «Колымских рассказов»\* историк Марк Головизнин отмечает историю Каневской с порога:

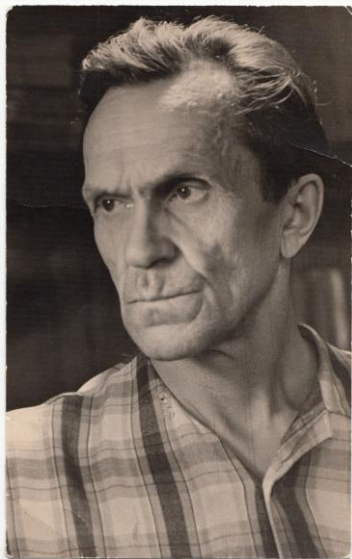
«Вскоре после смерти Шаламова в третьем номере «Посева» за 1982 год была напечатана статья сотрудницы этого издания Ирины Каневской-Хенкиной, где она излагает свою версию появления рукописи «Колымских рассказов» в распоряжении редакции «Посева».

Замечу, что Каневская вовсе не «излагает версию появления «Колымских рассказов» в распоряжении редакции «Посева», ничего подобного в мемуаре нет. Редакция «Посева» располагалась в Германии, а списки «Колымских рассказов» были переданы в Париж. Это другая страна и редакция совершенно другого издательства. Если уж на то пошло, Каневская излагает свой домысел о том, что из Парижа рукописи были переправлены за океан и там «печатались по капле в русском журнале» – имеется в виду нью-йоркский «Новый журнал».

«Данная версия, – продолжает Головизнин после цитаты из мемуара, – по-видимому, имела популярность, в первую очередь среди советских диссидентов, вплоть до опубликования переписки и дневниковых записей В. Т. Шаламова. Она и сейчас всерьез воспринимается некоторыми исследователями. [...] Рядовой же читатель «Посева», по-видимому, не догадывался, что его попросту дурачат. Излишне напо-

минать, что ни Ирина Каневская, ни ее муж никак не фигурируют в шаламовском архиве среди круга его общения».

Лично я не знаю, кто «фигурирует в шаламовском архиве среди круга его общения», поскольку архив до конца не разобран, а новые материалы печатаются с купюрами.



Но, как выяснилось, «среди круга шаламовского общения» Ирина Каневская фигурирует с весны 1966 года. Правда, не в архиве Шаламова в РГАЛИ, куда допускаются только избранные, а в Русском архиве Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете, Германия, со «спехраном» ничего общего не имеющим. Мне стало известно, что в фонде Хенкиных в этом архиве хранится фотография Шаламова с дарственной надписью Ирине Каневской, и я попросил предоставить мне фотографию для сборника.

**«Мои симпатии, Ира, мгновенны – и вечны. В. Шаламов, апрель 1966, Москва»,** – гласит надпись на

обороте.

*Источник: Институт по изучению Восточной Европы при Бременском университете, Германия, Русский архив, FSO 01 215. Фонд Хенкиных.*

*Весьма признателен за помощь архивисту Марии Классен.*

Иначе говоря, Каневская познакомилась с Шаламовым почти одновременно с Сиротинской, и ее сентиментальный рассказ о том, как через много лет после событий 1968 года Шаламов, встретив ее на пути с рынка и узнав, что они с мужем эмигрируют, «снял у нее с пальца кольцо и надел себе на мизинец. На память», звучит вполне достоверно – особенно учитывая, что роль связной Каневская исполнила безупречно. Не ее вина, что чемодан с пятитомником «Колымских рассказов», переданным для издания книгой, сгинул в Париже в очередном, на сей раз эмигрантском, «спехране».

---

\* Электронная версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/170457.html>

---

### *Личность Ирины Каневской*

От составителя

Эта статья представляет собой мой пост, выложенный в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир». Я помещаю ее вместе с полемикой в комментариях, в ходе которой участник сообщества Григорий Гольдштейн (*gg59*) подвергает свидетельство Каневской сомнению, и я вынужден искать контраргументы, набрасывая по ходу дела, как мне кажется, психологически верный портрет Шаламова на фоне его тогдашних и тамошних обстоятельств.

---

Ирина Каневская играет важную роль в одном печальном сюжете шаламовской биографии – передаче им в 1968 году машинописного многотомника «Колымских рассказов» в Париж для публикации книгой в русском эмигрантском издательстве. Неплохо бы представлять личность этого персонажа, поскольку даже исследовавший вопрос историк Марк Головизнин, отвергая свидетельство Каневской как выдумку, которой журнал «Посев» «дурачит» читателя, называет ее сотрудницей этого журнала, что вовсе не так – работала Каневская не в «Посеве» во Франкфурте-на-Майне, а на радиостанции Свобода в городе Мюнхене – география и политическая окраска этих органов русской эмиграции разные.

Вот что мне удалось найти о Каневской в Сети.

Некролог:

«24.11.2006 18:23

Скончалась Ирина Каневская, многолетний сотрудник русской службы Радио Свобода.

Ирина Каневская родилась в Москве в 1937 году в семье журналистов. В 60-е годы участвовала в правозащитном движении. В 1972 году вместе с мужем, известным журналистом Кириллом Хенкиным эмигрировала на Запад.

На Радио Свобода Ирина Каневская до выхода на пенсию в 1994 году вела общественно-политические программы «События и люди», «В стране и мире» и «Аспекты». Скончалась она в Мюнхене.

С сайта Радио Свобода

### Подробности:

«Иван Толстой: 24 ноября в Мюнхене в возрасте 69-и лет скончалась наша коллега – журналистка Ирина Каневская. Ирина Семеновна родилась в 1937 году в Ростове-на-Дону в семье журналиста-огоньковца, сама окончила факультет журналистики Московского университета, работала в 60-е годы в «Литературной» и в «Учительской газете», писала сценарии научно-популярных и документальных фильмов для телевидения. Выйдя замуж за Кирилла Хенкина – переводчика и сотрудника московского иновещания, – Каневская вошла в круг людей с экзотическими биографиями и широкими культурными интересами. В конце 60-х Кирилл Хенкин получил предложение работать в Праге в редакции журнала «Проблемы мира и социализма». Советскую оккупацию супруги не приняли, – с августа 68-го начался их разрыв с системой. Они вернулись в Москву. Эмигрировать им не давали. И тогда Кирилл Викторович организовал то, что называлось институтом спикеров еврейского движения: он приглашал к себе в квартиру на Котельнической набережной иностранных корреспондентов, давал интервью, делал заявления – прямо под носом у власти. В 72-м начальственное терпение лопнуло, их выпустили. Они требовали выезда в Израиль, они в Израиль и поехали. Оба печатались в местной печати. Скоро их пригласили в Мюнхен. Сперва Кирилла Викторовича, потом Ирину Семеновну взяли на Радио Свобода. Хенкин вскоре вышел на пенсию, а Каневская (это ее девичья фамилия) в течение 20 лет писала различные комментарии, готовила собственную субботнюю программу «Аспекты», вела главную информационную программу Либерти Лайв.

Ирину Семеновну вспоминает коллега – Джованни Бенси.

Джованни Бенси: Я работал вместе с ней практически только в Мюнхене. Когда Радио Свобода переехало в Прагу, Ирина не поехала, она осталась в Мюнхене. Работать в одной организации с ней было довольно приятно. Потому что это был человек всегда веселый, который всегда имел какую-то остроту, который умел снять с ситуаций, которые создавались на станции, драматичность. Иногда бывало, что люди ссорились и так далее. Но всегда Ирина улыбалась или имела какую-то шутку, всегда умела сгладить неприятности, которые время от времени возникали. Поэтому у меня остается это воспоминание о ней.

Чертой Ирины Каневской был теплый голос, человеческая манера говорить в микрофон.

Каневская [аудиозапись]: Кто он, Лев Тимофеев? [писатель, критик, диссидент, автор статьи «Поэтика лагерной прозы. Первое чтение «Колымских рассказов» В. Шаламова», журнал Октябрь, №3, 1991 – прим. составителя] Я была с ним знакома и дружна много лет назад и видела, как нестандартно жил и работал этот человек. В 60-м году он окончил МИМО – этот питомник молодых и успешных карьеристов. Его данные были таковы, что только служи, и все партийные и номенклатурные дороги открыты».

Радио Свобода, передача «Поверх барьеров», 29.11.2006

С Шаламовым Каневская была знакома с весны 1966 года, с Надеждой Мандельштам, в то время близким другом Шаламова – по меньшей мере с осени 1967-го (в фонде Осипа Мандельштама в РГАЛИ, среди материалов его вдовы хранится письмо Надежде Мандельштам (ф. 1893 оп. 3 ед. хр. 422 л. 3) от Ирины Каневской и ее мужа Кирилла Хенкина с припиской Натальи Ивановны Столяровой, еще одного близкого к Шаламову человека, героини рассказов «Золотая медаль» и «У Флора и Лавра»). Сама Каневская пишет: «Мы часто виделись. Он приходил и к нам, и к Надежде Яковлевне Мандельштам. Они очень друг друга любили».

Еще один штрих к портрету Каневской как ведущей программ:

«Ведущая русской Службы «Радио Свобода» Ирина Каневская [днём – уточнение автора отклика] спокойно вела передачу, и вдруг её голос перешел в слезный: «Сегодня в Нью-Йорке скончался Сергей Довлатов...» Каневская прилагала огромные усилия, чтобы сдерживать плач... У меня испортилось настроение».

Из откликов на статью о Довлатове, с сайта газеты «Аргументы и факты».

И, наконец, свидетельство известного, в том числе скандально, писателя, издателя и тоже сотрудника радиостанции Свобода Дмитрия Волчека, данное в характерной для него манере:

«Мы познакомились в 89-м году, мне было 25 лет, ему – за 70; его ровесники в Советском Союзе хмуро стояли в очередях с талонами на сахар и водку, а Кирилл в кремовом пиджаке ездил по Мюнхену на Мерседесе-кабриолете. Таких людей я никогда не видел. Кирилл и его жена Ира были гедонистами и либертенами. В них совершенно не было эмигрантской скукоженности, они жили весело и вкусно, и с удовольствием показывали мне свой Мюнхен – магазин деликатесов «Кифер», бутики на Театинерштрассе, плюшевый французский ресторан «Пьеро». Помню, сколько возмущения вызвал Ирин очерк о фестивале пирожных: как можно рассказывать такое советским людям, которые стоят в очередях за хлебом (дело было в голодном 90-м году)! Я ее замысел одобрил – о чем же говорить голодным, как не о еде. Помню Ирин рассказ о том, как они с Кириллом уезжали из Советского Союза – разрешение было получено, они продали абсолютно все вещи, и вдруг из ОВИРа пришло письмо о том, что выездная виза аннулирована. У Иры из обуви остались только летние туфли на высоком каблуке, а уже начиналась зима, и Ира в этих туфельках, утеплив их газетами, ходила по ледяной Москве, обивала пороги учреждений, уверенная, что не выпустят никогда. История с хорошим концом, но все равно жуткая – в списке советских злодеяний, который наверняка составлен в небесной канцелярии, должно найтись место и для этих замерзших ног.

«Памяти Кирилла Хенкина», на сайте Радио Свобода

---

Comments

18-ноя-2012

**gg59:**

– Вы действительно полагаете, что эти сведения, взятые в сети, что-нибудь говорят о личности Каневской?



Поскольку мы постоянно вступаем в область предположений, неизвестного, я тоже предложу Вам некоторую версию, плод фантазий.

Кратко.

Во второй половине шестидесятых – начале семидесятых движение жизни Шаламова условно укладывается в линию: Сиротинская – разрыв с либеральной интеллигенцией – письмо в «Литературку». От ощущения себя частью противников советской власти, до полного разрыва с этим кругом. Оригинально это излагается Головизниным: после процесса над Гинзбургом и Галансковым в 1968 году Шаламову нужно было «немедленно, жестко и публично отмежеваться от «Посева» (читай: от западных изданий), под словом «немедленно» Головизнин понимает период в четыре года.

Как же происходило движение? Что нужно было делать, чтобы отвадить Шаламова, мечтающего увидеть «Колымские рассказы» напечатанными, от своих друзей, оставить в одиночестве, в изоляции? Один из путей: соблазнять его возможностью публикаций, которых не будет.

Каневская и Хенкин идеальные кандидатуры. Профессиональные мистификаторы, способные десятилетиями держать свою линию и не сболтнуть лишнего ни про «студента», ни про «русского друга». «Мои симпатии мгновенны – и вечны» свидетельство мимолетности знакомства.

Передавала ли она кому-нибудь Шаламовские рукописи?

Не остались ли они в Москве?

-----

За все вышесказанное я не держусь. Привожу Вам свои размышления только потому, что Ваша версия меня не убеждает.

Что это значит «эмигрантский спецхран»?

*laku lok:*

– Это единственные сведения, какие у меня есть. Говорят они мало, но больше, чем что бы то ни было до сих пор. Кроме сантиментов, здесь есть несколько более или менее прочных фактов: как минимум с 67 года Хенкины были знакомы с Н. Мандельштам и Натальей Столяровой (последняя – подпольщица, переправлявшая на Запад подрывную литературу от Солженицына до Шафаревича). С 66 года Каневская знакома с Шаламовым. Это факты, толковать их, разумеется, можно по-разному.

Я принимаю вашу версию как достойную рассмотрения. То есть, вы предполагаете, что Хенкины – агентура ГБ. Это возможно. Что я на это могу возразить по существу. Во-первых, то, что Хенкины, по-видимому, были рекомендованы Шаламову Надеждой Мандельштам или кем-то, кому он безоговорочно доверял, поскольку в каждом втором видел стукача или провокатора – и это оправдано, диссидентское движения было наспиговано стукачами и провокаторами. Во-вторых, к лету 68-го Хенкины определенно взяли курс на Запад, это подтверждается их участием в августовской демонстрации против ввода войск в Чехословакию, такие вещи у таких людей экспромтом не делаются, они умеют взвешивать последствия. Следовательно, лишнее – и очень весомое – доказательство их принадлежности к оппозиции им бы вовсе не помешало, никто ведь не знал, что парижской русской эмиграции КР не нужны, «Новый журнал» их в то время вовсю печатал. И, наконец, главное. Из проговорок Сиротинской о том, что от Шаламова требовали не помню текстуально, но смысл именно такой – «смягчить правду о человеке, вообще не говорить правды о человеке», причем речь, разумеется, не о СССР, а о Западе, «прогрессивном человечестве», под которым она разумела русскую либеральную эмиграцию, я делаю вывод, что Шаламов, через посредников, конечно, имел контакты с теми, кто уже получил от него КР для издания книгой, и они ему этими условиями морочили голову, либо требуя публично выраженной солидарности с Солженицыным, которого раскручивали как мировой бренд, либо просто с целью протянуть время, чтобы он не выкинул еще какой-нибудь номер (а он мог и выкидывал – например, передача списков КР французам). А если контакты были – значит, списки КР были уже в Париже, у тех, кто ставил эти условия.

Есть, конечно, вероятность и того, что Каневская все это придумала. Есть вероятность и того, что она работала на ГБ, дезинформируя Шаламова и сталкивая его с потенциальными союзниками из эмиграции. Единственным неопровержимым доказательством было бы это самиздатское собрание сочинений, найденное в архиве издательства ИМКА-Пресс (его секретную часть я и называю «эмигрантским спецхраном»). Но я думаю, это нереально. Почему я так думаю, изложу в посте завтра-послезавтра. Но не забудьте: про «студента» и «русского друга» Хенкиных никто и не спрашивал. До тех пор, пока Головинин не связался с Надо и не попросил его прояснить ситуацию, Надо и не считал нужным ничего прояснять. Можно сказать, что и Надо десятилетиями держал линию на то, чтобы не сболтнуть лишне-

го. Люди, как правило, просто не считают информацию, которой владеют, достойной внимания, пока кто-то их не начнет спрашивать. Тем более, такие как Хенкины, битком набитые самыми разными сведениями, Хенкин ведь считался экспертом по советской разведке. Зачем им кричать на всех углах о «студенте» и «русском друге», получившем когда-то в Париже рукописи КР, если никому это не интересно. Каневская ведь умерла в 2006 году, а Хенкин – вообще в 2008, буквально на днях – И НИКТО У НИХ НИЧЕГО НЕ СПРОСИЛ. Сиротинская поработала настолько успешно, что до сегодняшнего дня вопросов не возникло. Да и сегодня не возникает, разве что в этом блоге.

**gg59:**

– Но ведь Надо печатал не с экземпляров, привезенных Каневской, Надо печатал с фотокопий, переданных через Пинского. Или я что-то путаю?

**laku\_lok:**

– Надо печатал с тех списков, какие получил – и какая разница, от кого, если не спрашивают. Я хочу сказать, люди склонны преуменьшать значение информации по мере того как она теряет актуальность. Все это становится прошлогодним снегом. Кого через двадцать лет будут интересовать пусси райот, кто будет выяснить подробности этой истории? То ли дело сейчас. Списки Шаламова были эпизодом в жизни Хенкиных, не имевшим никаких реальных последствий. Ну и бог с ним. Разве что рассказать в некрологе, как когда-то, сто лет назад, передали их на Запад, да вот, не сладилось. Ну она и рассказала. А подробностей никто за двадцать пять лет не спросил. Значит, никому это и не нужно. Статья Каневской опубликована в 1982 году. Посмотрите, сколько фамилий шаламоведов фигурирует в Шаламовских сборниках. Хоть один поинтересовался? Головизнин поинтересовался, написал Каневской? Написал Хенкину? Нет, написал, что все это вранье, «дурачит» читателя. А я считаю, что отнюдь не дурачит. Именно передал списки – одновременно и в русское издательство, и во французское. Решил, наконец, взорвать свою бомбу, русский революционер, мститель. Но провода перекусили. А теперь говорят: ах, какой загадочный человек Шаламов, у него семь пятниц на неделе. Что в нем загадочно-го?

**gg59:**

– Конечно, передавал. Только не во французское издательство – Каневской, а это не одно и то же.

Мы знаем: Шаламов решил «взорвать свою бомбу», она не взорвалась. Вы утверждаете, что во всем виноваты «французы», получившие рукопись и ее не опубликовавшие. А я говорю, что возможны варианты, что Каневская не принадлежит к числу добросовестных свидетелей, что получателями Шаламовских рассказов могли быть вовсе и не французы, или правильные французы, не собиравшиеся ничего печатать, или... Да мало ли кто?

Эта история хорошо вписывается в общую канву принуждения Шаламова к миру с советской властью. Где-то от появления Сиротинской в его доме и до 72 года. Именно поэтому мне не нравится Ваша версия, возлагающая всю вину «на границу».

### *laku\_lok:*

– Понятно. Я об этом думал. То есть я думал о том, что списки могли быть честно переданы в Париж (для издания на русском, естественно, я говорю только об издании на русском, французы получили для перевода свои списки по другому, совершенно независимому каналу, и выпустили на их основе небольшой сборник), – короче, честно переданы и получены, но заведомо не тем человеком, а подставным лицом госбезопасности. Но это слишком сложно. Тогда их действительно можно было и не переправлять, а оставить в Москве. Тогда мы возвращаемся к версии, что все дело руками Хенкиных было состряпано госбезопасностью. Я в это не верю. Еще и потому, что, насколько я читал о Хенкине и его самого, он по-настоящему ненавидел это гестапо, сломавшее ему жизнь. Может ведь человек однажды возненавидеть то, что сломало ему жизнь. Хенкин тому пример, у него даже своеобразная паранойя была, что все контролируется ГБ, что его агенты в каждой щели. В таком случае, он знал, кому передать в Париж, чтобы наверняка дошло до адресата. Это и есть его «русский друг». По этой логике, списки непременно попали в издательство ИМКА-Пресс, для которого и предназначались. А дальше решало издательство, то есть господин Струве. Или курировавшее их ЦРУ. Сергей Григорьянц возразил мне после прочтения моего очерка о Шаламове, что все эти струве и иловайские были, как он выразился, «бригадирами», а настоящим лагерным начальством в этом аду было финансировавшее их ЦРУ. А ЦРУ поставило на Солженицына, поскольку Шаламов был революционер и непредсказуем. И обвинять «бригадиров», капо, нужно с оглядкой на лагерное начальство. Этого я не знаю. Для этого нужно специальное исследование. Я думаю, тут просто интересы сошлись – Солженицын как «орудие холодной войны» был идеальным

вариантом и для тех, и для других. А Шаламов в той же мере мешал. В любом случае получается «заграница».

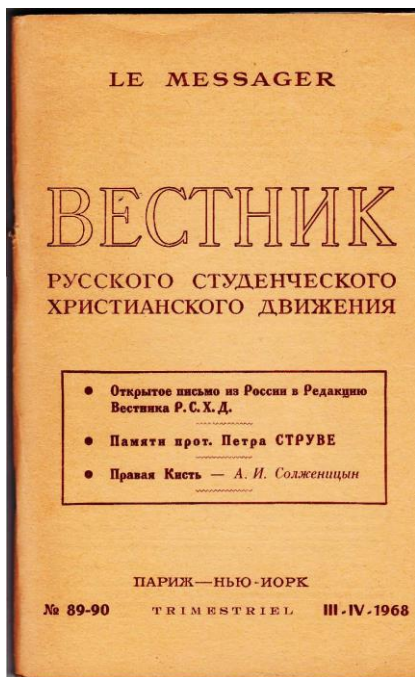
Насчет Сиротинской мне кажется, что в 67-68 годах она была Шаламовым перевербована и не стала бы ему ставить палки в колеса. То есть, она не жаждала, конечно, расстаться со своим гнездышком, но весь этот шаламовский бомбизм ее увлек. И она смотрела, чем кончится, чтобы потом определиться. Это, конечно, мои домыслы. Но не на пустом месте, я все это насколько возможно тщательно изучил. Она непроста, эта Сиротинская, чисто по-женски, она чувствует, за кем в данный момент сила. В 68-ом сила была за Шаламовым. А цели госбезопасности в отношении Шаламова всегда оставались одними и теми же – нейтрализовать этого недобитого врага, посадить-то его нельзя – за что, за «Новый журнал»? За «Письмо старому другу» в сборнике Александра Гинзбурга? После двадцати лет лагерей? Нет, непропорционально, скандал был бы. Ну и эмиграция им помогла, так уж случилось, что на Шаламове их интересы сходились. Вина равная – совка и заграницы. Честно говоря, на «идеологическом фронте» не вижу разницы между совком и заграницей, к искусству ни те, ни другие отношения не имели. Беда в том, что Шаламов был не просто бомбист, а еще и гениальный художник. А поэты, как известно, всегда и везде «жида».

Электронная версия всего вышесказанного – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/188928.html>

---

### *Никита Струве и «список-68». По следу слизня*

Как известно, в июне 1968 года Шаламов через Ирину Каневскую и ее мужа Кирилла Хенкина передал в Париж для издания собранием сочинений свой заверченный пятитомник «Колымских рассказов», составленный под редакцией Леонида Пинского.



на размышления.

Рассказы Шаламова «Чужой хлеб» и «Две встречи» напечатаны в рубрике Литература, включающей два (или три) текста, и первый по очередности – рассказ Солженицына «Правая кисть», причем его название вынесено на обложку номера\*.

Должен оговорить, что с этим номером у меня некоторая путаница. Я не знаю, все ли его экземпляры содержат два рассказа Шаламова. В оглавлении самого журнала, как видно на фотографии, дано название только одного. На сайте Голубинского «Настоящая история церкви» на странице, посвященной «Вестнику РСХД», в содержании номера 89-90 тоже только один рассказ, «Две встречи» <http://www.golubinski.ru/vestnik/articles/vestnik1968.html>.

Долгое время мне казалось, что эта рукопись тотчас, бесследно и навеки исчезла в чулане фактического руководителя издательства Никиты Струве. Теперь я так не думаю. Из статьи английского литературоведа Майкла Никольсона в Шаламовском сборнике, выпуск 1, 1994, <http://shalamov.ru/research/73/> (где, кстати, никто не удосужился исправить дату) я знал, что в 1968 году журнал Струве «Вестник РСХД» (сдвоенный выпуск № 89-90 [III–IV]) напечатал пару рассказов Шаламова, но не придавал этому особого значения, тем более что доступа к журналу у меня не было. Позже я нашел сканы обложки и оглавления (а впоследствии и всего содержания) этого номера, и они наводят

Франция: К. А. Ельчианинов, В. А. Водов, проф. прот. Алексей Князев,  
И. В. Морозов, Н. А. Струве.  
Америка: Архиеп. Сильвестр Морозовский и всея Канады, проф. прот.  
Александр Шлеман, проф. прот. Иоанн Мейендорф, М. Гасетти, О. Рувенская.  
Секретарь Редакционной коллегии: И. В. Морозов.  
91, rue Olivier de Serres, Paris 15<sup>e</sup>. Tél. : BLO. 53-66

## СОДЕРЖАНИЕ

Открытое письмо в Редакцию Вестника Р.С.Х.Д.	1
Ответ Вите-Председателя Р.С.Х.Д. прот. Александра Шлемана	3
Отчего я не поеду в Уругвай? — В. Вейдле	6
Святейший Патриарх Тихон — П. Е. Ковалевский	10
Последие Св. Патриарха Тихона 20-1-1918 г.	17
Послание Св. Патриарха Тихона к Совету Народных Комиссаров 25-X-1918 г.	19
Вера Пророков — Прот. А. Князев	24
Памяти прот. Петра Струве	
— Нагробное слово Архиепископа Георгия	34
— К кончине о. Петра Струве — прот. А. Князев	39
— Памяти о. Петра Струве — прот. Илья Медиа	43
Голоса из России	
Прошение от иеромонахов Почаевской Лавры (Соломки), Апеллин (Славенко) Велескому Патриарху Афинагору	46
Жалоба Генеральному Прокурору СССР от Б. В. Талантова	49
История о том, как был исключен из числа слушателей Одесской Духовной Семинарии Николай Николаевич Каменских	68
Письмо святи. Сергия Желудова к советскому интеллигенту	77
ЛИТЕРАТУРА	
Правая кисть — А. Солженицын	80
Две встречи — В. Т. Шаламов	93
БИБЛИОГРАФИЯ	
Два слова о "Раковом Корпусе" А. Солженицына — В. Вейдле	94
Ответственность писателя и безответственность "Литературной газеты" — Илья Чуховский	95
"Раковий Корпус" — А. И. Солженицын — В. И.	105
"Духовные зернущики" — Митрополит Владимир — Архимандрит Семенов Тян-Шанский	105
ХРОНИКА	
Летний лагерь Р.С.Х.Д. (1968) — Т. Э.	107
Быверская пустынь (Съезд Р.С.Х.Д. - ноябрь 1968 г.) — А. В. М.	107

Во Франции подписную плату просим вносить только на почтовый  
счет РСХД:  
С.С.Р. Paris 2441-04, Action Chrétienne des Etudiants Russes,  
91, rue Olivier de Serres, Paris-15<sup>e</sup>.

4 numéros par an. Abonnement annuel: 20 F. Prix du numéro: 8 F.  
Adresse de la Rédaction: Action Chrétienne des Etudiants Russes,  
91, rue Olivier de Serres, Paris-15<sup>e</sup>, France.

Однако в оглавлении номера 89-90, помещенном в выпуске 93 того же «Вестника» за следующий год, шаламовских рассказов уже два; о двух рассказах говорится и в перепечатанной здесь же рецензии Михаила Корякова из нью-йоркской газеты «Новое русское слово», вот отрывок из нее:

«[...] В № 89-90, кроме отмеченных выше материалов, напечатаны также рассказ А. Солженицына — «Правая кисть» и два рассказа В. Шаламова, статья П. Е. Ковалевского о патриархе Тихоне и другие статьи».

Последнее слово, тем не менее, за сканами

страниц 90-94 номера 89-90 [III-IV] «Вестника», ненадолго появившимися на странице журнала на сайте Дома русского зарубежья — здесь оба шаламовских рассказа на месте (см. по адресу [https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Vestnik\\_RHD\\_1968\\_Shalamov.pdf](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Vestnik_RHD_1968_Shalamov.pdf))

По всей вероятности, номер был отпечатан в двух версиях, и в Америку попала та, которую рецензирует Коряков. У меня нет возможности полистать и сравнить. Так или иначе, в рубрике Литература рассказ Солженицына первенствует.

Сразу за рубрикой Литература идет рубрика Библиография, и вот как она выглядит:

## Библиография

#### Высокая и трудная задача!

Группа людей в Париже, первыми труженниками в которой являются Иван Васильевич Морозов и Никита Алексеевич Струве, по мере сил выполняет эту задачу, выпускает прекрасный журнал — «Вестник Р.С.Х.Д.». В № 89-90, кроме отмеченных выше материалов, напечатаны также рассказы А. Солженицына — «Правая кисть» и два рассказа В. Шаламова, статья П. Е. Ковалевского о патриархе Тихоне и другие статьи.

Мих. Коряков.

#### СОДЕРЖАНИЕ ДВУХ ПОСЛЕДНИХ НОМЕРОВ «ВЕСТИНКА» Р.С.Х.Д.

Вестник № 89-90 — III-IV-1968

Открытое письмо в Редакцию Вестника Р.С.Х.Д.  
Ответ Вице-Председателя Р.С.Х.Д., прот. А. Шмемана  
Отчего я не поеду в Уругвай? — В. Вейдле  
Святешный Патриарх Тихон — П. Е. Ковалевский  
Послание Св. Патриарха Тихона 20-1-1918 г.  
Послание Св. Патриарха Тихона к Совету Народных Комиссаров 25-10-1918 г.

Вера пророков — прот. А. Князев  
Памяти прот. Петра Струве  
— Надгробное слово Архиепископа Георгия  
— К кончине о. Петра Струве — прот. А. Князев  
— Памяти о. Петра Струве — прот. Илия Мелия  
Голоса из России  
Промещение от неромонахов Почаевской Лавры Сергия (Соломка), Алевдия (Станкевич) Вселенскому Патриарху Афинагору.  
Жалоба Генеральному Прокурору СССР от Б. В. Талантова  
История о том, как был исключен из числа слушателей Одесской Духовной Семинарии Никодим Николаевич Каменских  
Письмо свщ. Сергия Желудкова П. Литвинову.

#### Литература

Правая кисть — А. Солженицын  
Две встречи, Чужой хлеб — В. Т. Шаламов  
**Библиография**  
Два слова о «Раковом Корпусе» А. Солженицына — В. Вейдле  
Ответственность писателя и безответственность «Литературной Газеты» — Лидия Чуковская  
«Раковый Корпус» — А. И. Солженицын — В. И.  
«Духовные зёрнышки» — Митрополит Владимир — Архим. Семенов  
Тыи-Шанский  
**Хроника**  
Летний лагерь Р.С.Х.Д. (1968) — Т.З.  
Бьюрская пустынь (Съезд Р.С.Х.Д. — ноябрь 1968 г.) — А.В.М.  
**Вестник № 91-92 — I-II-1969.**  
Послание Большого Собора Епископов Русской Православной Греко-Католической Церкви Америки к Американской пастве  
Брак и Евхаристия — прот. И. Мейендорф

• Два слова о «Раковом Корпусе» А. Солженицына — В. Вейдле

• Ответственность писателя и безответственность «Литературной Газеты» — Лидия Чуковская [О противоборстве Солженицына и «Литературной газеты» — прим. составителя]

• «Раковый Корпус» — А. И. Солженицын — В. И. [не знаю, кто скрывается за инициалами — прим. составителя]

Довершает картину рекламное объявление:

**В январе 1969 г.**  
**ИЗДАТЕЛЬСТВО**  
**YMCA PRESS**  
**выпускает в свет**  
**роман:**

### **А. И. СОЛЖЕНИЦЫН** **В КРУГЕ ПЕРВОМ** **670 стр., с портретом автора**

**двухцветная обложка работы Ю. П. Анненкова**

«Список-68» или пятитомник КР не сразу упокоился в сейфе адресата и не бесследно. Хочу отметить, что оба шаламовских рассказа, напечатанных в номере, написаны в 1967 году и принадлежат циклу «Воскрешение лиственницы», которого в «списке-66», переданном в Америку два года назад, быть по логике вещей не могло. Оба они много позже были продублированы «Новым журналом» («Чужой хлеб» — под названием «Хлеб» — в № 98, 1970, а «Две встречи» — в № 104, 1971) и оба, по-видимому, взяты со страниц парижского журнала двух-трехгодичной давности. Совершенно очевидно, во всяком случае, что



Книга Пятая, «Воскрешение лиственницы», в составе «списка-68» находилась ко времени первой публикации этих рассказов в распоряжении редактора «Вестника РСХД» Никиты Струве. Поначалу Струве строил в отношении чемодана шаламовских рукописей некие планы, которые можно реконструировать. Вот этой реконструкцией я и займусь.

Отношения Шаламова с Солженицыным в 1968 году колеблются на грани разрыва, но еще не разорваны. Переписка год как иссякла, и Шаламов не скрывает своего мнения о сопернике как о «лакировщике» и пронире. В январе-феврале он передает через Храбровицкого запрет Солженицыну пользоваться какими бы то ни было его материалами для «Архипелага ГУЛАГ». Однако еще в середине июня того же года – как раз тогда, когда Каневская забирает у него чемодан с рукописями для издательства ИМКА-Пресс – в письме своему другу рязанцу Гродзенскому Шаламов передает Солженицыну привет, декорум блюдет-ся. Этот созревший антагонизм, не переходящий тем не менее во вражду и не предвещающий пока и тени той ненависти, какая в будущем завладеет Шаламовым, несомненно, известен всей вовлеченной в литературно-политическую активность столичной либерально-диссидентской публике, а через нее – русскому зарубежью, которому впервые после войны выпал шанс обзавестись фигурой мирового масштаба, превратив ее прежде в мировой бренд. Речь, понятно, о Солженицыне, все теснее связывающем себя деловыми и личными отношениями с русскими парижанами правоцентристского православного толка, жестоко конкурирующими за многообещающего строчкогона с мракобесами из Народно-Трудового Союза. Именно в этот момент в руки Никиты Струве попадает шаламовский «список-68». Шаламов совершенно чужд этому кругу, но его можно использовать, как говорится, с пользой для дела. Шаламов – тоже фигура выделяющаяся и в некотором отношении символическая, tandem Солженицына и Шаламова приобрел бы дополнительную убойную силу. Собственно говоря, с точки зрения политики все так и есть, а литература у Струве и подобных служит идеологии и политике, никакого самостоятельного значения она не имеет. Но надо дать знать Шаламову его место в тандеме. Первое место за Солженицыным. Шаламов – подкрепление Солженицына, его вспомогательное войско и младший партнер. Заставить Шаламова принять такое положение дел непросто, однако залог удачи – «список-68», судьба которого в руках Струве. Поэтому в осеннем номере своего «Вестника» он в качестве сигнала о том, что рукопись получена и будущее ее зависит от стоворчивости отправителя, а

также в качестве некоторого рода аванса публикует рассказы Шаламова, но при этом четко выражая свою литературно-политическую позицию и выстраивая иерархию, которую Шаламову остается только принять. Это жесткий разговор издателя и политического руководителя со строптивым и идейно чуждым, но загнанным в угол автором. То же самое происходило у Шаламова со всеми издателями и политическими руководителями в СССР, ничего нового. Струве готов идти навстречу Шаламову, но недвусмысленно ставит на Солженицына. Это не частный разговор, это своего рода декларация о намерениях. В общих чертах: в каком-то виде КР могут быть изданы книгой, но при соблюдении таких-то и таких-то условий. Рассказ Солженицына стоит первым в рубрике и название его вынесено на обложку. Яснее некуда. Это стартовые условия для переговоров, которые, я уверен, в какой-то форме велись – через вторые руки, через третьи, но они были, о них крайне туманно проговаривается Сиротинская. В результате Шаламов понял, что пятитомник его издан не будет, в лучшем случае выйдет том избранного, и все это он должен будет добросовестно отслужить, публично солидаризовавшись с фаворитом и в роли его вассала навлекая на себя крайнюю немилость властей. Время действия – поздняя осень-зима 1968/69 гг. В результате Шаламов рвет с Надеждой Мандельштам и ее окружением, с кругом Рожанских-Кинд, с Натальей Столяровой, с Храбровицким и, наверное, еще с массой народу, которых скопом зачисляет в одиозное «прогрессивное человечество», орудие шантажа. Рвет с самиздатом и тамиздатом. Все это осложняется непрерывной реальной или вымышленной слежкой, доводящей Шаламова до того, что изъясняться он предпочитает вне стен дома (Лесняк) либо записками (Храбровицкий).

Этот очередной промежуточный результат попыток найти издателя «Колымских рассказов» на русском Западе выльется в окончательный после получения Солженицыным Нобелевской премии. «Провокатор, который получает заработанное, свое».

Читайте «Вестник РСХД»! Как говорил персонаж «Сердца ангела» в исполнении Роберта Де Ниро: «Вы его найдете. Слизняки всегда оставляют след».

P.S. Приходится с сожалением констатировать, что, находясь в Москве, Шаламов даже отдаленно не представлял себе градус оголтелости про-солженицынской кампании в русской эмигрантской печати в 1968 году. Для иллюстрации этого эпизода «холодной войны» сде-

лаю отдельную статью. В 1968 году Шаламову, конечно, не следовало передавать «Колымские рассказы» на Запад русскому адресату, момент был самый неподходящий и другим стать уже не мог. Эмигрантская печать на деньги американской разведки делала из Солженицына «абсолютное оружие» холодной войны, и литература к этому тошнотворному политическому мероприятию имело не большее отношение, чем агрономия. Оставив пятитомник КР на полке в своей наконец-то обретенной отдельной комнате, Шаламов избежал бы многих жестоких разочарований, а с ними и всей цепи событий, приведших к «Письму в ЛГ» и последующей агонии.

*\* Одновременно этот чудовищный по антихудожественности текст, почти карикатурный образец графомании продублировал НТС-овский журнал «Грани», №69*

Все фотографии взяты с сайта Падуанского университета, Италия

Смотреть фотографии этих и других страниц названных номеров журнала крупным планом в хорошем качестве, архив с файлами, ZIP, 2,1 МБ

[https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Vest\\_RSXD\\_Shalamov\\_1968-69.zip](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Vest_RSXD_Shalamov_1968-69.zip)

Все гиперссылки, связанные с материалом, см. в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/243608.html>

---

### ***Идеологическая диверсия. Солженицын в русских эмигрантских журналах, 1968***

Это обозрение материалов по Солженицыну в русской зарубежной периодике 1968 года дано как приложение к статье «Никита Струве и «список-68». По следу слизня» и рисует фон, на котором шаламовский пятитомник «Колымских рассказов» был передан в издательство ИМ-КА-Пресс для издания собранием сочинений. О Солженицыне в жур-

нале «Вестник РСХД», 1968, сказано в упомянутом посте. Ниже – сводка материалов из журналов «Посев», «Грани» и «Возрождение» (Париж), причем исходя только из оглавлений номеров, поэтому список включает лишь те статьи, в названии и расположении которых очевидным образом фигурирует Солженицын. Многое я, таким образом, упустил, особенно в журнале «Возрождение», где обзоры состояния советских дел даются в постоянных рубриках вроде «Дела и люди» с подзаголовками самого общего характера: «Под властью злобы и глупости», «На русский исторический путь» и т.д. Пролистал также брюссельский белоэмигрантский журнал «Часовой».

К 1968 году десять рассказов Шаламова появилось в нью-йоркском «Новом журнале» и два – в тогда еще еженедельной газете «Посев». В самом 1968 «Новый журнал» напечатал еще четыре «колымских расказа», и два – «Вестник РСХД». В распоряжении Романа Гуля находился шестистраничный «список-66» из трех полных циклов КР общим числом около сотни текстов. В 1967 Георгий Адамович напечатал в газете «Русская мысль» рецензию на сборник стихов Шаламова «Дорога и судьба». При этом с уверенностью можно утверждать, что в потоке тиражируемого эмиграцией Шаламов едва заметен.

---

### Журнал «Посев», 1968

№ 3

А. СОЛЖЕНИЦЫН

За Александра Солженицына надо бороться (17)

№ 4

В ЗАЩИТУ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

«Писатель, в котором нуждается моя Россия» (письмо Г. Владимова в президиум IV всесоюзного съезда советских писателей) (16)

«Он только посылал сигналы» (о «Раковом корпусе») А. Солженицына (17)

№ 5

В ЗАЩИТУ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

«Вопреки моей воле и без моего ведома» (5)

Издание А. Солженицына в Чехословакии (6)

№ 6

В ЗАЩИТУ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

«...Промолчать я не имею права» (письмо В. Каверина К. Федину)  
(11)

№ 7

В ЗАЩИТУ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

От наущничанья к открытой клевете. – Письмо А. Солженицына в  
«Литературную газету» (2)

№ 8

ДЕЛО А. СОЛЖЕНИЦИНА

«Я один, а клеветников сотни» (запись заседания Секретариата Со-  
юза писателей с А. Солженицыным) (8)

Письмо А. Солженицына IV съезду писателей (13)

«Попытка воскресить методы 1937 года» (письмо 121 ученых, дея-  
телей культуры и искусства) (15)

№ 10

ДЕЛО А. СОЛЖЕНИЦЫНА

Над нашей согнутой толпой... (5)

Письмо А. Твардовского К. Федину (6)

А. С о л ж е н и ц ы н. Разговор Шулубина с Костоглотовым (Отры-  
вок из второй части повести «Раковый корпус») (40)

№ 11

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Лидия Чуковская. Ответственность писателя и безответственность  
«Литературной газеты» (39).

А. Солженицын. Юбиляр (глава из романа «В круге первом») (44)

№ 12

В ЗАЩИТУ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

Новые провокации против А. Солженицына (14)

---

Ежеквартальник «Грани», 1968

№ 67

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН – Раковый корпус (отдельные главы)

*Реклама*

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН  
СОЧИНЕНИЯ

Однотомник. 2-е издание, 1968. Стр. 320. НМ 18.00 (\$ 4.50)

SOLSHENIZYN ALEXANDER ...den Oka-Flub entlang  
Funfzehn Kurzgeschichten und die Erzählung "Matrjonas Hof". Aus dem  
Russischen übersetzt von Mary von Holbeck und Oscar Enrot. 1965.  
80 Seiten. DM 5.80; \$ 1.50.

\*

№ 69

А. СОЛЖЕНИЦЫН – Правая кисть. Рассказ

*Реклама*

**ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПОСЕВ“**  
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН  
**Сочинения в одном томе**  
Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кречетовка. Матренин двор. Для пользы дела. Этюды и крохотные рассказы. Захар Калита. В книге 320 стр. В твердом холщевом переплете с золотым тиснением. Живописное оформление суперобложки А. Русака.  
Цена: 18.-- н. м., 22 фр. фр. В США и Канаде 4.50 долл.

**Раковый корпус**  
В 2-х ЧАСТЯХ

Это издание — небольшого формата, на тонкой бумаге, в мягком переплете — сделано так, чтобы облегчить его путь к читателю в России.

«Раковый корпус» издан в двух томиках: 1-ый том 317 стр., 2-ой том 225 стр. У каждого есть возможность передать эту книгу в Россию (например, через туриста, едущего в Россию), или дать ее человеку, приехавшему из России в качестве туриста, спортсмена и т. д.

**ВСЕГДА НУЖНО ИМЕТЬ ЛИШНИЙ ЭКЗЕМПЛЯР ПОД РУКАМИ!**  
Цена первой части: 8 н. м., 10 фр. фр., в США и Канаде 2.50 долл.  
Цена второй части: 7 н. м., 9 фр. фр., в США и Канаде 2.25 долл.  
Цена обеих частей: 15 н. м., 19 фр. фр., в США и Канаде 4.75 долл.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»  
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Сочинения в одном томе

Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кречетовка. Матренин двор. Для пользы дела. Этюды и крохотные рассказы. Захар Калита. В книге 320 стр. В твердом холщевом переплете с золотым тиснением. Живописное оформление суперобложки А. Русака.

Живописное оформление суперобложки А. Русака.

Цена: 18. – н. м., 22 фр. фр. В США и Канаде 4.50 долл.

Раковый корпус  
В 2-х ЧАСТЯХ

Это издание – небольшого формата, на тонкой бумаге, в мягком переплете – сделано так, чтобы облегчить его путь к читателю в России.

«Раковый корпус» издан в двух томиках: 1-ый том 317 стр., 2-ой том 225 стр. У каждого есть возможность передать эту книгу в Россию (например, через туриста, едущего в Россию), или дать ее человеку, приехавшему из России в качестве туриста, спортсмена и т. д.

---

Журнал «Возрождение», 1968

№ 199

Кн. С. Оболенский. Правда Солженицына (150)

---

Журнал «Часовой», 1968

№ 506, август

В разделе «Книжная полка» – рецензия на очередной номер журнала «Грани», печатающего отрывки из «Ракового корпуса», с умеренным славословием Солженицыну (14)

№ 507, сентябрь

Раздел «В освобождающейся России» – хроника деятельности Сахарова и Солженицына. О Солженицыне: «Писатель мужественно и открыто борется против лжи и насилия, царствующих в полицейском учреждении, именуемом «Союз Писателей СССР» и т.д. (5)

№ 509, ноябрь

«Академик Сахаров и писатель Солженицын» (14)

«А. Солженицын. «Раковый корпус», часть 1-я, издательство «Посев», рецензия (17)

Американский «Новый журнал» «без всякой помпы» публиковал в то время небольшие подборки «Колымских рассказов» и не участвовал в европейской идеологической диверсии под знаменем Солженицына. Возможно, нью-йоркских снобов не устраивала хамская форма, в какой велась эта кампания троглодитами из Парижа, Франкфурта-на-Майне и Брюсселя. Возможно, они ощущали себя слишком далеко от арены событий, чтобы жертвовать «классическим наследием» какому-то советскому проходимцу. Так или иначе, продлилась эта «восхитительная изоляция» недолго – уже декабрьский номер продублировал апологетическую статью Лидии Чуковской из ноябрьского «Посева» и принес эссе А. Беликова под названием «Александр Солженицын и большие ракового корпуса».

Доступа к эмигрантским газетам – «Русской мысли», «Новому русскому слову» и проч. – у меня нет, поэтому обозрения печатавшихся в них материалов дать не могу. Без сомнения, их недостаточно.

Содержания программ передач Радио Свобода, Голос Америки, Би-Би-Си и Немецкой волны за 1968 год у меня тоже нет.

В 1969-70 гг. фестиваль с Солженицыным примет в эмигрантских изданиях формы уже гротескно-пародийные, зато шум достигнет Стокгольма.

Подшивка журнала «Часовой» за 1968 год <http://archive.org/stream/chasovoiseriiala499534or#page/n278/mode/1up> – на американском сайте Интернет-архив. Остальная информация взята с сайта Падуанского университета, Италия <http://www.maldura.unipd.it/samizdat/tamizdat/index.htm>

---

### ***Альманах «Мосты». «Лагерная литература» без Варлама Шаламова, 1968***

Солидный эмигрантский литературный альманах «Мосты», выходящий в Мюнхене и редактировавшийся близким к НТС Геннадием Андреевым (Геннадием Хомяковым, на Радио Свобода выступал под псевдонимом Николай Отрадин), опубликовал в 1968 году, выпуск 13-14, статью В. Жабинского «Зарубка на века. Литература о лагерях»



[http://www.vtoraya-literatura.com/publ\\_299.Html](http://www.vtoraya-literatura.com/publ_299.Html), посвященную советской «лагерной литературе».

Владимир Жабинский, известный под псевдонимом Владимир Юрасов – прозаик, публицист, лагерник, печатался в «Новом журнале» и «Гранях», работал на Радио Свобода. В сумятице войны сумел скрыть судимость и, находясь в Германии для репараций немецкого оборудования, бежал в американскую оккупационную зону. Человек, знакомый с темой не понаслышке.

Статья большая, обзорная, страниц на двадцать. Упомянуты произведения десятков авторов, советских и иностранных, писавших о концентрационных лагерях СССР начиная с Соловков. Из советских современников упомянуты Анна Вальцева, Владимир Дудинцев, Вениамин Каверин, С. Антонов, А. Югов, Галина Николаева, Павел Нилин, Ольга Берггольц, Борис Корнилов, Маргарита Алигер, А. Алдан-Семенов, генерал А. Горбатов, Юрий Бондарев, Василь Быков, Галина Серебрякова и др. «Вершиной» литературы о лагерях назван, разумеется, «Иван Денисович» Солженицына, ему посвящено несколько абзацев. «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург удостоился отдельной главы. Имя Варлама Шаламова не названо вообще, хотя «Колымские рассказы» печатались в «Новом журнале» и «Посеве» с 1966 года, и, что самое интересное, к моменту публикации статьи были уже закончены и в виде готового для издания корпуса вторично переданы на Запад. О последнем Жабинский знать, конечно, не мог, но как объяснить отсутствие в статье даже имени создателя «Колымских рассказов» – неосведомленностью автора и редактора, во что, честно говоря, трудно поверить, или сознательным замалчиванием, политической установкой? Не читать «Нового журнала» Жабинский не мог – сам псевдоним Юрасов был подсказан ему еще в пятидесятых Романом Гулем.

---

### ***Место издательства «Посев» в блокаде Шаламова, 1970***

В «Письме в ЛГ» 1972 года Шаламов совершенно справедливо назвал нью-йоркский «Новый журнал» и франкфуртский «Посев» «зловонными журнальчиками». Ситуация с «Новым журналом», кажется, уже предельно ясна. Остается, однако, неясной ситуация со

«зловонными журнальчиками» издательства НТС «Посев», а главное, с самим этим издательством, поскольку на первый взгляд оно просто не располагало достаточным количеством текстов для издания «Колымских рассказов» и вообще шаламовской прозы книгой. На самом деле это вовсе не так.

Об издательстве «Посев» Шаламов должен был иметь более или менее отчетливое представление – какое он, как правило, имел обо всем окружающем (свидетельством тому – вся его проза), а в особенности о вещах, касающихся его писательства. Считать Шаламова неосведомленным по этой части – значит, принимать его за другого человека. Шаламов был скрытен, что естественно для подпольщика и вечного поднадзорного, но это не только не означает – неосведомлен, а как раз напротив. В 1967 году «Посев» выпустил составленную Александром Гинзбургом «Белую книгу» по делу Синявского и Даниэля с венчающим сборник шаламовским «Письмом старому другу», опубликованным анонимно. Едва ли Шаламов с его обширным кругом диссидентских знакомств не держал в руках этого сборника. Его знакомая по кругу Моисея Авербаха, мужа многолетней машинистки Шаламова Елены Кавельмахер, немка Зельма Руофф получала, по словам внука Аверхаба Сергея Заграевского, пуды «тамиздатской» литературы через посольство ФРГ в Москве. В 1968 году Шаламов исключительно с помощью Авербаха получил, наконец, отдельную комнату в коммунальной квартире этажом выше, был преисполнен к нему безграничной благодарности и до злополучного «Письма в ЛГ» сохранял с ним хорошие отношения, во всяком случае, еще в конце 1968 года Авербах пытался помочь ему получить гонорар от немецкого издателя Фридриха Миддельхауве, годом раньше выпустившего в Кельне «Записки узника Шаланова», переведенные также на французский и африкаанс, а в конце 1970 помогал с пересчетом пенсии. Поэтому вполне вероятно, что через окружение Авербаха Шаламов в 1970 году знал о двух публикациях в НТС-ском журнале «Грани» издательства «Посев» полтора десятка его рассказов и очерков. Столь же вероятно, что знал он и о публикации еще в 1967 в еженедельной газете «Посев», вскоре ставшей журналом, двух его «колымских рассказов», ничьего внимания тогда не привлечших. Поэтому под словом «Посев» в «Письме в ЛГ» Шаламов, скорее всего, имел в виду весь комплекс изданий, выходивших под эгидой этого издательства и публиковавших его рассказы – обращать внимание на то, что их печатал не только «зловонный журнальчик» «Посев», но и не менее зловонные «Грани», было нецелесо-

образно, да и просто лишне – речь в «Письме» шла обо всех зарубежных «белогвардейских изданиях».

Итак, в 1970 году в распоряжении журнала «Грани» неведомым образом оказывается список из 15 шаламовских текстов. «Неведомым» в прямом смысле – никто этого списка не видел, неизвестно, от кого он получен, да никто этим и не интересовался. «Грани» в двух номерах публикуют их двумя большими подборками. Казалось бы, ничего иного предпринять невозможно – из пятнадцати рассказов сборника не составишь. В действительности же дело обстоит ровно наоборот, и дело здесь не в возможности, а в желании. Будь у издательства «Посев» желание, оно без труда могло выпустить «Колымские рассказы» первым и – кто знает – может быть, в таком случае не единственным сборником КР на русском, выпущенным русским издательством при жизни Шаламова. Как известно, при жизни Шаламова ни одно русское издательство в мире не выпустило ни одного сборника его прозы. «Посев» имел вполне реальную возможность этого позора не допустить.

Чем же располагало издательство в 1970-71 гг.? К 15 рассказам, опубликованным «Гранями», следует добавить два рассказа, напечатанные тремя годами раньше в газете «Посев», и очерк «Вишера», в 1970 году имевшийся у тесно связанного с НТС редактора франкфуртского альманаха «Мосты» Г. Андреева (Геннадия Хомякова) и, надо полагать, у всего его окружения, но так и не увидевший тогда свет. Итого восемнадцать текстов.

Нью-йоркский «Новый журнал» напечатал ко времени подборок в «Гранях» 17 рассказов из шаламовского «списка-66» и еще шесть в 1970 году.

Два рассказа были опубликованы в 1968-м парижским «Вестником РСХД» издательства ИМКА-Пресс.

Вопроса об авторских правах при издании «Колымских рассказов» за границей встать не могло. Все публикации КР, от франкфуртских до нью-йоркских, были пиратскими. Разрешения «Нового журнала» на включение напечатанных им рассказов в сборник не требовалось – журнал уведомлял, что публикует рассказы без ведома автора, то есть открыто нарушал авторское право, что вообще повально практиковалось русскими издательствами за границей и в большинстве случаев было оправдано. В случае «Колымских рассказов» это приводило к многочисленным дублированиям публикаций. Например, «Новый

журнал» без тени сомнения продублировал рассказы «Две встречи» и «Чужой хлеб», напечатанные до того в «Вестнике РСХД», а последний – рассказ «Экзамен», напечатанный прежде в «Новом журнале». Газета «Русская мысль» невозбранно продублировала рассказ «Шерри-бренди», а журнал «Стрелец» – рассказ «Начальник политуправления», значительно раньше появившиеся у Романа Гуля. Рассказ «Тропа» был почти одновременно опубликован в нью-йоркском альманахе «Часть речи» и в парижской газете «Русская мысль». «Осколки двадцатых годов» с разницей в год напечатали «Русская мысль» и парижский альманах «А-Я». Излишне говорить, что «Новый журнал» не запрашивал разрешения московского журнала «Сельская молодежь» на публикацию уже опубликованного последней стихотворения в прозе «Стланик». Семнадцать рассказов, опубликованных в «Посеве» и «Гранях», в целостности и сохранности вошли в сборник «Колымских рассказов», составленный в 1978 году Михаилом Геллером, но, в отличие от некоей процедуры «передачи прав» на издание издательству ОРІ «Новым журналом», ни на какую «передачу прав» Стипульковскому издательством «Посев» нет и намека – видимо, никакой «передачи прав» и не было, Геллер и поляки просто взяли для своего сборника напечатанные изданиями «Посева», не утруждая себя формальностями – и правильно сделали.\*

С тем же успехом сборник «Колымских рассказов» мог быть выпущен на семь-восемь лет раньше издательством «Посев». В него могло войти более сорока рассказов и очерков, а это уже полноценная книга – напомним, что в немецкое издание Миддельхауве вошло 26 рассказов, во французское Мориса Надо – 27, а в итальянское Паоло Джулио Савелли – 30. Напомним также, что целый том Солженицына в его т.н. собрании сочинений («Посев», 1970) был составлен из рассказов, напечатанных в журнале «Новый мир» – включая «Ивана Денисовича» это 5 (ПЯТЬ) рассказов.

Вот каким могло бы быть содержание этого воображаемого франкфуртского сборника (в отсутствие авторского плана последовательность рассказов зависела бы от воли редактора, здесь она произвольна, точнее, воспроизводит географию и хронологию публикаций):

Варлам Шаламов, «Колымские рассказы», изд. «Посев», 1971

Почерк  
Калигула  
Эсперанто

Инженер Киселев  
Лагерная свадьба  
Татарский мулла и чистый воздух  
Последний бой майора Пугачева  
По ленд-лизу  
Любовь капитана Толли  
Менделист  
Погоня за паровозным дымом  
Аневризма аорты  
Кусок мяса  
Припадок  
Бизнесмен  
Сентенция  
Посылка  
«Кант»  
Сухим пайком  
«На представку»  
Заклинатель змей  
Сука Тамара  
Крест  
Одиночный замер  
Стланик  
Шерри-бренди  
Сгущенное молоко  
Плотники  
Хлеб  
Начальник политуправления  
Рябокоть  
Марсель Пруст  
Две встречи  
Лигургия  
Чужой хлеб  
Житие инженера Кипреева  
Надгробное слово  
Графит  
Утка  
Женщина блатного мира  
Сергей Есенин и воровской мир  
Вишера

Вполне представительный сборник страниц на пятьсот, которому редакторские старания могли придать достойную КР строгую и величественную структуру.

Почему же этот сборник не вышел? Потому что никто его не хотел. Почему же тогда «Посев» и «Грани» вообще печатали рассказы Шаламова? По очень простой причине, по той же, что Роман Гуль – «политической», как выразилась его преемница на посту редактора «Нового журнала» Марина Адамович. Русские эмигрантские журналы предназначались для того, чтобы на деньги ЦРУ печатать антисоветскую литературу. От этого зависело личное благополучие издателей и редакторов и их социальный статус. Они отработывали свой балык и икорку точно так же, как советские издатели и редакторы отработывали свой балык и икорку, публикуя литературу советскую. Никакой разницы между ними не было, разница была в кормушках, из которых они питались. Советские редакторы не могли печатать антисоветского Шаламова, а антисоветские были обязаны. Вот они и печатали, но – как выразился Гуль, «без всякой помпы», по долгу службы. Иначе их заменили бы другими, более разворотливыми, и Наталье Тарасовой-Жук, редактору «Граней», пришлось бы идти в корректоры, а то и хуже того, на швейную фабрику. То же самое можно сказать о тогдашнем руководителе издательства «Посев» Георгии Околовиче. «Колымские рассказы» были для них антисоветской литературой, печатать которую обязывают инструкции работодателей. Но не более того. В собственно литературе они понимали, как свинья в апельсинах, а идеологически Шаламов был для них подозрительным чужаком.

Все зависит от людей. Судьба «Колымских рассказов» и Шаламова по обе стороны «железного занавеса» зависела от шкурников, глупцов, мерзавцев и пошляков. Иными словами, она была predetermined.

*\* Я вообще думаю, что «передача прав на издание» понадобилась Геллеру и Стипульковскому для того, чтобы получить у Гуля копию шаламовского «списка-66» с авторским планом, то есть авторской разбивкой на циклы и последовательностью рассказов. О том, каким планом КР руководствовался Геллер при издании лондонского сборника 1978 года, см. в разделе «Материалы к биографии» в статье, где реконструируется «список-66»*

---

### *Прижизненная критика прозы Шаламова на русском Западе*

Насколько я знаю, при жизни Шаламова в русской эмигрантской периодике было опубликовано две статьи, посвященных «Колымским рассказам» – «Зеркало памяти» Виолетты Иверни, журнал «Континент», 1979, и «Срез материала» Андрея Синявского, журнал «Синтаксис», 1980 – последняя, возможно, была заказана Андрею Донатовичу издательством Франсуа Масперо для трехтомника КР на французском. Честь и хвала обоим авторам, хотя Синявский, собственно говоря, лишь вернул долг Шаламову за его пятнадцатилетней давности «Письмо старому другу».

Один абзац посвятил «Колымским рассказам» Георгий Адамович в рецензии на книгу стихов Шаламова «Дорога и судьба» в газете «Русская мысль», 1967.

«Колымским рассказам» уделено место в обзорах современной советской литературы в книгах Михаила Геллера «Концентрационный мир и советская литература» («Полюс лютости: Варлам Шаламов»), Лондон: ОРИ, 1974, и Юрия Мальцева «Вольная русская литература, 1955 – 1975», Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1976.

И, разумеется, необходимо назвать предисловие Геллера к лондонскому сборнику КР, 1978, «Последняя надежда». Напомню, что обе статьи Геллера были напечатаны в книгах, выпущенных п о л ь с к и м эмигрантским издательством.

Согласно библиографии Вольфганга Казака, какая-то статья Валерия Перелешина о Шаламове была напечатана в американском славистском журнале «Russian Language Journal», № 117, 1980, однако доступа к этому изданию у меня нет.

Все! За исключением статей Иверни и Синявского не знаю ни одного прижизненного отклика, посвященного прозе Шаламова, в русской эмигрантской периодике – при том, что нью-йоркский «Новый журнал» печатал «Колымские рассказы» на протяжении 11 лет, две больших подборки опубликовал в 1970 году журнал «Грани», в Лондоне в

издательстве Стипульковского вышел почти девяностостраничный сборник на русском и имелось больше десятка сборников в переводах на другие европейские языки. Две критических статьи в периодике, реакция на двадцатилетний труд великого соотечественника, в период, когда автор был уже недееспособен не только профессионально, а просто по-человечески – это то, что называется «информационной блокадой», а вернее было бы назвать тактическим союзом советского Востока и антисоветского Запада для целенаправленного уничтожения неугодного. Русское зарубежье, иступленно камлавшее на каждый чих Солженицына, воспринимало Шаламова как врага, теперь, по совокупности известного, это очевидно. Ни одной прижизненной книги и две прижизненных критических статьи в русской периодике «за кордоном» – факт, говорящий сам за себя.

Да будь они прокляты!

*Все гиперссылки, связанные с материалом, см. в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/242264.html>*

---

### ***Шаламов в советской «Краткой литературной энциклопедии», 1975***

«Шаламов Варлам Тихонович [р. 18.VI (1.VII). 1907, г. Вологда] – рус. сов. писатель. Учился на ф-те сов. права МГУ (1926 – 29). Печатается с 1932. В 1937 незаконно репрессирован. Возобновив лит. работу после реабилитации, Ш. выступает с 1957 преим. как поэт: сб-ки стихов «Огниво» (1961), «Шелест листьев» (1964), «Дорога и судьба» (1967), «Московские облака» (1972). Осн. направление поэзии Ш. – философская лирика. Для нее характерны точный отбор слов, сдержанность поэтич. средств, ритмич. разнообразие. Публикует также рассказы, к-рые отличаются повышенной эмоциональностью, лаконизмом, литературоведч. статьи; переводит произв. болг., казах., чуваш., евр. и др. поэтов.



Соч.: Маяковский разговаривает с читателем, «Огонек», 1936, №10; Три смерти доктора Аустино, «Октябрь», 1936, №1; Пава и древо, «Лит. современник», 1937, №3; Работа Бунина над переводом «Песни о Гайовате», «ВЛ», 1936, №1; [о Есенине], «Сельская молодежь», 1965, №9; Пушкинская премия Академии наук в кн.: День поэзии, М., 1968.

Лит.: Слуцкий Б., Огниво высекает огонь, «Лит. газета», 1961, 5 окт.; Инбер В., Вторая встреча с поэтом, «Лит. газета», 1964, 23 июня; Михайлов О., По самой сути бытия, «Лит. газета», 1968, 31 янв.; Красухин Г., Человек и природа, «Сиб. огни», 1969, №1; Ольгин Дм., «Стиха невозмутима мера», «Лит. газета», 1972, 29 нояб.

Л.Н. Чертков»\*

\* Леонид Чертков, поэт, литературовед, диссидент, лагерник, эмигрировал на Запад в 1974 году. Биографическая справка в Русской виртуальной библиотеке

<http://rvb.ru/np/publication/02comm/04/02chertkov.htm>

---

### ***Случай «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана, 1970-е годы***

Отрывок из статьи литературоведа и критика Бенедикта Сарнова о судьбе рукописи романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», переправленной в середине семидесятых на Запад Владимиром Войновичем для издания книгой. История эта более или менее уже известна из воспоминаний Семена Липкина, но у Сарнова присутствует еще один немаловажный ее аспект: почти тотально «просолженицынная» русская эмиграция торпедировала издание книги пять лет, пока одна замечательная австриячка-энтузиастка самостоятельно не нашла для нее независимого швейцарского издателя, серба по имени Василка Дмитриевич (русские называли его Владимиром Дмитриевичем), трудами которого книга и увидела свет лишь в 1980 году.

У меня нет цели очернить Солженицына, на мой взгляд, там и без того клейма негде ставить. Солженицын меня мало интересует. Вернее, вообще не интересует иначе как в контексте судьбы Шаламова и «Колымских рассказов», в которой он сыграл такую же зловещую

роль, как и ненавидимый им советский режим. Обрисованная Сарновым в нескольких штрихах ситуация, когда по меньшей мере выдающаяся, если не сказать больше, а для того времени исключительная по литературным достоинствам и глубине осмысления советской истории «Жизнь и судьба» без труда могла затмить «эпохальное» «Красное колесо» Солженицына, в полной мере отражает предшествующую ей ситуацию с «Колымскими рассказами», рядом с которыми «лагерная литература» будущего нобелевского лауреата включая «Архипелаг ГУЛАГ» должна была ступеньку в область чтения для домохозяек и незатейливых лагерных мемуаров, скомпилированных энергичным и разворотливым составителем в чудовищных размерах «опыт художественного исследования».

Бесславное трио: ЦРУ – Солженицын – русская эмиграция, – должно рано или поздно получить своего историка, который выявил бы роль американских спецслужб и их питомца в превращении зарубежного русского культурного слоя в авторитарную структуру с лидером, клиническим образом соединяющим в себе близкую к помешательству манию величия, твердолобость и властность сталинского наркома и безжалостную хватку дельца, мыслящего предельно далекими от искусства категориями прибыли и убытка. Это трио топило все, что шло вразрез с его генеральной линией.

Несколько кусков из статьи Сарнова, опубликованной в журнале «Вопросы литературы», № 6, 2012  
<http://magazines.russ.ru:81/voplit/2012/6/s1.html>

---

«Войнович [...] подключил к делу Андрея Дмитриевича Сахарова и Елену Георгиевну Боннэр, а им фотографировать страницы машинописи помогал еще один человек – друг Андрея Дмитриевича, физик и правозащитник Андрей Твердохлебов.

[...] все это – в общих чертах – давно и хорошо известно. Но мало что известно о том, как развивались события уже после того, как рукопись (микрофильм, пленка) романа оказалась наконец на Западе.

Переправили его Войнович и Сахаровы за границу в 1975-м. И почти сразу мы узнали, что посланный в виде пленки текст романа до тех, кому он был адресован, дошел.

Говоря «мы», я имею в виду узкий круг (узкий – в России) читателей «Континента». Уже в 1976-м на страницах этого журнала появились две главы из каким-то чудом вдруг оказавшегося на Западе арестованного гроссмановского романа. Главы эти, к сожалению, мало что говорили о масштабе и выдающихся художественных достоинствах утаенного от читателя произведения.

Тот факт, что редактор «Континента» выбрал для публикации именно эти, едва ли не самые бледные и невыразительные главы пропавшего романа, наводил на мысль, что, публикуя их (не опубликовать все-таки не мог), он хотел как-то смикшировать, приглушить значение этого события.

Тем не менее две главы из романа были все-таки напечатаны. И впервые на страницах печати появилось новое авторское его заглавие: «Жизнь и судьба».

На том, однако, все сразу и кончилось.

Прошел год... Еще один... Другой... Третий... А книга все не появлялась. И возникло явственное ощущение, что не только на Родине писателя, но и там, на вольном Западе, Гроссмана тоже «придушили в подворотне».

А было так.

Ограничившись публикацией двух, мягко говоря, не самых сильных глав гроссмановского романа, полный его текст Максимов послал Карлу Профферу, сопроводив его, надо думать, не слишком горячей, можно даже предположить, что скорее кислой, рекомендацией.

Там он и утонул.

В один из приездов Карла в Москву я спросил у него, почему он не напечатал роман Гроссмана. Он ответил: «Сам я его не читал, а мои сотрудники, которые прочли, сказали, что это не интересно».

Я бы не стал попрекать Максимова тем, что он не передал текст романа какому-нибудь другому русскому издателю. Кому еще, кроме Проффера, мог он его передать? Ведь все (почти все) другие русские издательства в то время уже контролировались Солженицыным. А Солженицын исходил из того, что во второй половине века на свет может явиться только один великий русский роман. И этим единственным великим русским романом, разумеется, должно было стать его «Красное колесо».

Не стану утверждать, что Солженицын сам вмешался в это дело, каким-нибудь личным распоряжением преградил гроссмановскому роману дорогу к читателю. Но ему и не было нужды лично в это вмешиваться. Все это без всяких слов и специальных распоряжений пони-

мала и из этого исходила вся его идеологическая обслуга. Гроссман им был «не свой», и одного этого было уже вполне достаточно. [...]

Итак, шли годы, а роман Гроссмана по-прежнему оставался неопубликованным.

[...] отснятая [в 1978-79 Владимиром Сандлером – прим. составителя] новая пленка тоже была отправлена на Запад.

В этой акции принимала участие приятельница Войновича, время от времени наезжавшая в Москву славистка, аспирантка Венского университета Розмари Циглер. Возлагая на нее это поручение, Войнович сказал:

– Это великий русский роман. Он во что бы то ни стало должен быть напечатан.

Розмари ответила коротко:

– Я поняла.

Пленку с текстом романа она передала австрийскому атташе по культуре Йохану Марти. И когда эта пленка благополучно пересекла государственную границу, ее миссия на этом, как будто, была закончена. Но, помня о том, что сказал ей Войнович и что она ему ответила, она этим не ограничилась и сделала больше, гораздо больше, чем можно было ожидать. ОНА НАШЛА ИЗДАТЕЛЯ.

Хозяин небольшого русского книгоиздательства L'Age d'Homme в Лозанне (Швейцария) Wasilka Dimitrijevic, которому она вручила драгоценные пленки, понял и оценил значение романа неизвестного ему русского писателя. И сразу, без колебаний, решил, что он его издаст. И в 1980 году, СПУСТЯ ПЯТЬ ЛЕТ после того, как она оказалась на Западе, эта многострадальная рукопись наконец стала книгой. [...]

В 2007 году в Турине была проведена международная конференция, посвященная В. Гроссману. [...] Я свой доклад к тому времени уже сделал и в «круглом столе» принимать участия не собирался. Сидел в публике и не слишком внимательно слушал ораторов [...] И вдруг мой взгляд задержался на одном из выступавших. Говорил он, насколько я мог судить (обмен мнениями шел по-французски), о том же, о чем все, но при этом то и дело вынимал из кармана пиджака и вертел в руках некие маленькие коробочки, из которых доставал и тотчас же прятал обратно какие-то рулончики. И тут меня осенило. Я взгляделся в табличку, обозначающую имя этого оратора (такой табличкой было обозначено место каждого из сидевших за тем круглым столом), и прочел: «W. DIMITRIJEVIC».

И тут я понял, что это были за коробочки, которые он вертел в руках, то и дело открывая их, но так и не решившись показать присутствующим их содержимое.

Батюшки! – ударило тут меня. Да ведь это же ТОТ САМЫЙ ДМИТРИЕВИЧ! А в коробочках этих наверняка та самая драгоценная пленка, с которой в его издательстве печатался гроссмановский роман.

Встрепенувшись, я попросил слова и, получив его, рассказал присутствующим, кто такой этот Дмитриевич и какова была его роль в судьбе гроссмановского романа. Не забыв при этом рассказать и про Максимова, и про Проффера, и даже намекнуть на особую роль в этой истории Солженицына.

Дмитриевич во время этой моей речи скромно молчал, продолжая вертеть свои коробочки.

Но когда я завершил эту свою довольно-таки эмоциональную речь... Боже! Какая разразилась овация!»

---

От составителя

Напомню, что если «Жизнь и судьба» ждала на Западе издания книгой ПЯТЬ ЛЕТ, то «Колымские рассказы» ждали ДВЕНАДЦАТЬ.

**P.S.** Как позже выяснилось, Сарнов ввел меня в заблуждение относительно публикации глав из романа Гроссмана в журнале «Континент» и его редактора Владимира Максимова. Подлинную картину восстанавливают российские литературоведы Юрий Бит-Юнан и Давид Фельдман. Оставляю в сборнике отрывок из статьи Сарнова лишь потому, что факт остается фактом – на протяжении пяти лет «Жизнь и судьба» не могла найти за границей русского издателя и вышла книгой благодаря швейцарскому сербу Владимиру Дмитриевичу.

Ниже отрывок из статьи Бит-Юнана и Фельдмана «К истории публикации романа В. Гроссмана...»

«Вопреки Сарнову, континентовская публикация началась не «уже в 1976-м», а в четвертом номере еще 1975 года, продолжалась она пять номеров, и ни в одном по «две главы» не помещено, а всего напечатано – двадцать три8.

Как говорится, ничего личного. Только библиография. Согласно редакционному уведомлению, печатались главы второй книги романа «За правое дело». Лишь с шестого номера появилось «заглавие „Жизнь

и судьба“), и редакцией отмечено: «Как нам стало известно в последний момент, именно так назвал автор вторую книгу романа „За правое дело“. Принимая во внимание волю покойного писателя, мы продолжаем публикацию глав этой замечательной книги под новым названием».

Выходит, континентовские редакторы, готовя публикации в четвертом и пятом номерах, еще не знали, что у второй книги есть «авторское» заглавие – «Жизнь и судьба».

Тем не менее, книгу Гроссмана они признали «замечательной». Указав также, что полностью напечатать ее не позволяют объем и периодичность журнала, но «в ближайшее время это сделает одно из западных издательств».

Действительно, «Континент» выходил раз в квартал, и примерно треть романа печаталась более года. Об источнике же текста сообщалось: «Трагическая история рукописи романа будет рассказана нами в послесловии в конце публикуемых глав».

Так и было. В восьмом номере – статья Б. Ямпольского «Последняя встреча с Василием Гроссманом (Вместо послесловия)»<sup>9</sup>.

Да, как-то непохоже, чтоб мемуарист ознакомился хотя бы с одним номером «Континента», где напечатаны главы романа Гроссмана».

<sup>8</sup> Здесь и далее см.: Гроссман В. За правое дело. Главы из второй книги романа // Континент. № 4. 1975. С. 179-216; Он же. То же // Там же. 1975. № 5. С. 7-39; Он же. Жизнь и судьба. // Там же. 1976. № 6. С. 151-171; Он же. То же. // Там же. 1976. № 7. С. 95-112; Он же. То же. // Там же. 1976. № 8. С. 111-133. См. электронную версию журнала «Континент»:

[http://www.vtoraya-literatura.com/razdel\\_95\\_str\\_1.html](http://www.vtoraya-literatura.com/razdel_95_str_1.html)

<sup>9</sup> Ямпольский Б. «Последняя встреча с Василием Гроссманом (Вместо послесловия) // Там же. № 8. 1976. С. 133-154».

Юрий Бит-Юнан, Давид Фельдман, «К истории публикации романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба» или «Как это было» у Б. Сарнова», опубликовано в альманахе славистики «Toronto Slavic Quarterly», № 45, 2013 [http://www.utoronto.ca/tsq/45/tsq45\\_bit-junan\\_feldman.pdf](http://www.utoronto.ca/tsq/45/tsq45_bit-junan_feldman.pdf)

## *Первый комментарий к комментарию Ирины Сиротинской*

Этот любопытный комментарий <http://shalamov.ru/research/151/> Сиротинской к статье Льва Тимофеева «Поэтика лагерной прозы. Первое чтение «Колымских рассказов» В. Шаламова», опубликованной в журнале «Октябрь», №3 за 1991 год, выложен на сайте shalamov.ru.

Комментарий, как я предполагаю, на самом деле представляет собой письмо Сиротинской в редакцию журнала «Октябрь» сразу по выходе номера, содержавшего статью Тимофеева. Фраза: «Вышло и двухтомное издание, включающее шесть сборников колымских рассказов в авторской последовательности (М.1992)», – включена позже, может быть, в ходе оцифровки письма для сайта. Мое предположение несложно проверить, сделав запрос в редакцию журнала «Октябрь», получили ли они это письмо весной-летом 1991 года? Если получали, оно должно храниться в архиве журнала. Время написания важно, поскольку в 1991 году Сиротинская, высказывая свои претензии, оговаривает, что это «не в укор издателю» – она еще не до конца определилась, что ей следует говорить, а чего нет, например, год спустя она (один-единственный раз) проговаривается Джону Глэду о передаче Шаламовым списков КР в Америку; это потом она будет клеймить ИМКА-Пресс как наймитов американской разведки, а покамест не вжилась в роль, осторожничает и отзывается об эмигрантах миролюбиво.

Итак, несколько моментов в комментарии Сиротинской, которые мне хотелось бы в свою очередь прокомментировать.

### Списки «Колымских рассказов» и ИМКА-Пресс

«Авторская композиция сборников в издательстве ИМКА-пресс нарушена. Первый сборник – «Колымские рассказы» – назван «Первая смерть» и содержит также рассказы из сборника «Воскрешение лиственницы» («Кража», «Тишина», «Термометр Гришки Логуна», «Две встречи»). Сборник «Артист лопаты» также содержит рассказы из сборника «Воскрешение лиственницы» («Причал ада», «Храбрые глаза», «Марсель Пруст», «Безымянная кошка», «Огонь и вода», «Облава», «Смытая фотография»). То же можно сказать и о сборнике «Левый берег», где авторская композиция совершенно разрушена. А сборник «Воскрешение лиственницы» просто перестал существовать. О погрешностях текста и неточности предисловия не говорю».



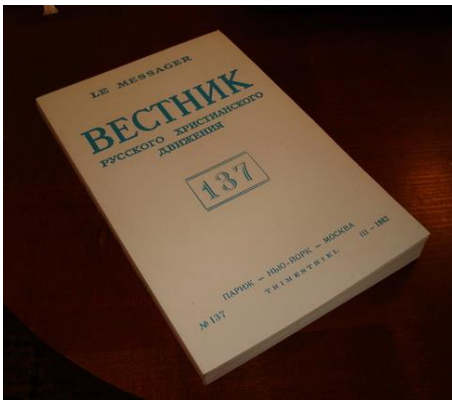
Все это очевидно (хотя слова о совершенной разрухе, учиненной композиции сборника «Левый берег» – чепуха, композиция на девяносто процентов авторская с добавлением девяти текстов из других циклов), но не было очевидно, пока в Сети не появились электронные версии оглавлений сборников Шаламова, выпущенных в издательстве ИМКА-Пресс – сами книги давно стали библиографической редкостью. Из этой очевидности проистекает другая: в руках Михаила Геллера, составлявшего для ИМКА-Пресс сборник «Воскрешение лиственницы», 1985, не было авторской редакции «Колымских рассказов», переданных Шаламовым в Париж для издания книгой в русском эмигрантском издательстве, а издательством этим, без сомнения, была как раз ИМКА-Пресс, через семнадцать лет заказавшая Геллеру работу над сборником. Составлять сборник ему пришлось по собственным кривым, с оказией полученным (от Геннадия Айги, пишет Леона Токер без ссылки на источник; согласно Д. Зубареву и А. Макарову – от Владимира Рябоконя) спискам\*. Иначе говоря, сам факт того, что в 1968 году Шаламов передал в издательство списки, вернее, самиздатское Пятикнижие «Колымских рассказов», и что эти списки, по сообщению парижского «русского друга» Хенкиных, благополучно дошли до адресата, – сам этот факт хозяева издательства, а именно Никита Струве (на фото) и Солженицын, решили предать забвению, сделать несуществующим. Спрашивается, зачем так тщательно заматывать следы, ведь решение не издавать книгу – не преступление. Или в данном случае все-таки преступление?

*\* Любопытно, что в анонсе к публикации рассказа «Тропа» (1982) в нью-йоркском альманахе «Часть речи» сказано, что рассказ входит в самиздатский сборник «Воскрешение лиственницы», циркулировавший в самиздате. Время «циркуляции» не названо, но по меньшей мере конец семидесятых-начало восьмидесятых. Этого сборника у Геллера тоже не было.*



***О трупоедах. Шаламов в журнале «Вестник РХД», №137 [III-IV], 1982***

После смерти Шаламова Никита Струве публикует в своем журнале подборку материалов памяти автора «Колымских рассказов». Трупоедами я называю именно его и его коллег из издательства ИМКА-Пресс, а, конечно, не авторов мемуаров и эссе, посвященных Шаламову, и не подвижника Михаила Геллера.



Блок состоит из статей Геннадия Айги «Один вечер с Шаламовым», Владимира Якубова (Владимира Френкеля) «В кругу последнем. Варлам Шаламов и Александр Солженицын»\*, Анатолия Якобсона «Лицо пейзажа-человека» и Льва Корнева (возможно, поэт Лев Озеров, пользовавшийся этим псевдонимом) «Геологическая тайна»\*\*.

Их дополняют стихотворение Шаламова «Памяти Анны Ахматовой» и, как сказано в анонсе, «неизданные» рассказы – «Экзамен», «Белка», «Чужой хлеб», «Воскрешение лиственницы». Действительно не изданы из четырех только два. Рассказ «Чужой хлеб» уже печатался в том же «Вестнике», №89-90, 1968 г., а позже был тиражирован «Новым журналом». Рассказ «Экзамен» также опубликовал в 1971 Роман Гуль.

Поле отгремевшей битвы погружается в ночь и заполняется падальщиками. В том же году издательство ИМКА-Пресс переиздаст лондонский том «Колымских рассказов» 1978 года, потом, в 1985, продублирует это переиздание и выпустит составленный Михаилом Геллером второй сборник прозы Шаламова на русском, «Воскрешение лиственницы».

«Список-68» – пятитомник «Колымских рассказов» в авторской редакции, переданный Шаламовым в Париж для издания собранием сочинений – рассекречен так и не будет, по сей день.

ВЕСТНИК РХД № 137	Ш, IV-1982
СОДЕРЖАНИЕ	
	Стр.
От редакции. Бессмертная надежда – Никита Струве .....	3
БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ	
Молельный акафист Святому Духу – М. Скабалланович .....	5
Две беседы Феолога епископа Анкирского (предисловие и перевод архим. Амвросия Погодина) (США) .....	19
Как читать Библию – о. Матта Эль-Мескин (Египет) .....	56
Беседа о современном коптском монашестве в пустыне Скит (Египет) – Е. Демина (Дания) .....	74
Богословие Евангелия Иоанна Богослова – Прот. Сергей Булгаков .....	92
Мифы о происхождении Бытия – К. Гершельман .....	108
ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ	
Стихи – А. Семенов (Москва) .....	117
Отрывки из второго тома "Очерков литературной жизни" – А. Солженицын .....	120
Письма Баламуца – К. Львов .....	131
■ Вокруг Шаламова	
Один вечер с Шаламовым – Г. Айги (Москва) .....	157
В кругу последнем – В. Якубов (Москва) .....	162
Геологическая тайна – Л. Корнев (Москва) .....	168
Лицо пейзажа – человека – А. Якобсон .....	179
Памяти Анны Ахматовой – В. Шаламов .....	189
Четыре неизданных рассказа – В. Шаламов .....	192

Смотреть фотографии полностью крупным планом, архив с файлами, ZIP

[https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Vestnik\\_RXD\\_137\\_1982.zip](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Vestnik_RXD_137_1982.zip)

\* *Кстати, Френкель повторяют переданную Ириной Каневской версию парижского адреса «списка-68», почему «Колымские рассказы» не были изданы книгой на Западе, и всем ходом рассуждений выражает понимание такого рода резонансов:*

*«Мне думается, Шаламов [...] не сумел, да и не хотел найти выход из безвременья последнего*

*круга – в живую историю. Точку опоры можно обрести только в истории; там же, где нет времени, нет и реальности, не на что опереться. И потому все сужался и сужался жизненный круг Шаламова, а последней точкой могла стать только смерть.*

*Но не будем судить. Да, не случайно Солженицын привлекает больше внимания: он не согласен «отменить» время, не согласен, что наша страна должна навеки впасть в иллюзорный мир мифа; и он восстанавливает связь времен – то, что необходимо всем нам. [...]*

*Ведь не только о физическом, – о духовном распаде в кругу последнем свидетельствует Шаламов».*

*Не будь я уверен, что Френкель ничего не знал о «списке-68», я бы сказал, что он озвучивает позицию Никиты Струве и Солженицына, позицию, разумеется, демагогическую, ибо читатель сам в состоянии*

разобраться, «что необходимо нам всем». Очень ко времени и к месту пришла статья Френкеля в «Вестнике РХД» с откликами на смерть Шаламова (попутно замечу, она в этой подборке статей центральная, ибо концептуальна).

А с тем, что Солженицын отнюдь не случайно привлек больше внимания, спорить бессмысленно, это печальный факт.

**\*\* Электронные версии всех перечисленных статей выложены в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»:**

Геннадий Айги <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/10732.html>

Владимир Якубов (Владимир Френкель) <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/39498.html>

Анатолий Яковсон <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/44000.html>

Лев Корнев <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/249796.html>

---

### ***Ирина Сиротинская. Шаламов и Запад***

Главка, вставленная для седьмого тома собрания сочинений Шаламова, ноябрь 2013, в мемуары Сиротинской «Мой друг Варлам Шаламов», до сих пор не печаталась.

За исключением некоторых нюансов и при всей моей нелюбви к автору, полностью с ней согласен. Мародеры и бесстыжие циники. И недаром промелькнуло имя Никиты Струве. Сказано о нем так: «Меня до сих пор не покидает удивление – как могли так действовать известные западные либералы и защитники прав человека вроде Н. Струве? Как могли так пренебречь не только правами человека и автора, но элементарными моральными требованиями, запрещающими присваивать плоды чужого труда?» Это сильно отличается от претензий Сиротинской, например, к Гулю, публиковавшему Шаламова, но не платившему ему ни копейки. Струве, за исключением двух маленьких текстов, не печатал Шаламова при жизни, к нему требования гонорара были бы, пожалуй, чрезмерны – что такое гонорар за две журнальных странички... Сказано иначе: пренебрежение «элементарными моральными требованиями, запрещающими присваивать плоды чужого труда». Я уверен, Сиротинская знала историю «списка-68», но замалчива-

ла ее, выстраивая свой лживый образ советского патриота-Шаламова, лишь однажды передавшего рукописи КР за рубеж.

Очень резко и справедливо о Солженицыне.

Союз советских писателей тоже справедливо, хотя и мимоходом, назван монстром.

---

## **В. Т. и Запад**

«На Западе те же сволочи, что и у нас, но их еще больше» – вот генеральная мысль В. Т. по поводу западного мира.

Отношение к Западу на протяжении лет менялось – и все от прохладного к холодному.

Главное, мы для Запада «чужие», интерес есть – как к акробату – выйдет из сальто или грохнется, любопытство, но не глубокое и ответственное сочувствие, понимание.

Все это, как всегда у В. Т., проистекало из глубокого личного опыта. Веря в Запад, он отдал свои рукописи Р. Гулю. А тот десять лет (с 1967 по 1977 г. (!)) [неточность: с 1966 по 1976, одиннадцать лет – прим. составителя] поддерживал ими свой журнал. Десять лет! Убийство для «Колымских рассказов». Ради своих частных интересов Гуль предал не только В. Т., но те миллионы колымских мертвецов, которые остались безгласными. Это считал В. Т. предательством, подлостью, тупостью.

Успех Солженицына усугубил его пессимизм. Вот что нужно Западу – сенсация, позволяющая извлечь коммерческую и политическую выгоду из страданий и смертей тысяч и тысяч людей. «Делец» Солженицын умело создал эту сенсацию и поддерживал ее своими письмами по каждому поводу. Не нужен талант, проза кровоточащая, правда, справедливость – нужна газетная шумиха, ловкий стратег и тактик, удачливый акробат.

«Нобелевскую премию они отдали Солженицыну», – с горечью сказал В. Т., понимая разный уровень своей и А. И. прозы. «Они», конечно, и не знали Шаламова. А А. И. [Солженицын] умело снял сливки западного интереса к лагерной теме. «Красное колесо», наверное, никто не дочитал до конца.

Итак, от некоторых иллюзий (отчасти под влиянием Н. Я. [Мандельштам]) до крайнего, бешеного неприятия, раздражения благодушной западной всеядностью.

С этим же благодушием незаинтересованности западные издания относились не только к прозе В. Т., но и к нему самому, полностью игнорируя тот факт, что В. Т. еще жив и надо бы поинтересоваться его мнением, да и поделиться прибылью от защиты прав личности с большим стариком. Нет, его печатали и оглашали в эфире, не затрудняясь спросить разрешения. Меня до сих пор не покидает удивление – как могли так действовать известные западные либералы и защитники прав человека вроде Н. Струве? Как могли так пренебречь не только правами человека и автора, но элементарными моральными требованиями, запрещающими присваивать плоды чужого труда?

Что говорить о гадком монстре – Союзе писателей, ничего не сделавшем для своего коллеги? Монстр – он монстр и есть, кормит самого себя – и только.

А что говорить о государстве? Чего ждать от него, взявшего 20 лет жизни В. Т. и миллионов своих граждан? «Детоубийца Русь». Но это одно дало В. Т. – комнатку в интернате, еду три раза в день. Жалкое милосердие соцстраха.

А что сделали борцы за права человека? Ограбили больного, нищего старика. То, что было для них грошами – сто тысяч франков, десять тысяч долларов, – могло спасти В. Т. от интерната, сделать его старость защищенной. Сволочи, конечно, готовые присвоить каждый франк\*. И еще распускают слухи, что В. Т. помогал Солженицын. Ни копейки, никогда.

Боже мой, как беззащитна старость. Даже младенец защищен <теплотой>, нежностью.

-----

\* От составителя

*К вопросу о скаредных сволочах. Из воспоминаний Игоря Голомштока «Эмиграция»:*

*«Незадолго до моего отъезда Надежде Яковлевне Мандельштам исполнилось 73 года. Обычно в день ее рождения в ее убогой однокомнатной квартирке на Большой Черемушкинской собиралась куча поклонников. Но на этот раз, сообщила мне Майя Розанова, старуха сидит без денег и не представляет себе, как будет принимать гостей. Мы отправились в «Березку» и на мои валютные рубли, присланные мне для выкупа (аббревиатуру ОВИР я тогда расшифровывал как Отдел Выкупа Из Рабства), накупили джина, виски, разных заморских деликатесов, вроде кетчупа, и принесли все эти дары волхвов на Большую Черемушкинскую. К моему отъезду Надежда Яковлевна от-*

неслась с полным пониманием. Она попросила меня только об одном одолжении. Два года назад в Лондоне издательством ИМКА-press была опубликована ее «Вторая книга» и прошла с большим успехом. Сколько там причитается ей гонорара, ее не интересовало. Она только попросила меня связаться в Лондоне с ее старой приятельницей, вдовой Хемингуэя Мартой Голлхорн, чтобы та получила из издательства хоть какие-нибудь – небольшие – деньги и переслала ей.

В Лондоне мы с Алеком Дольбергом раздобыли ее адрес и отправились на свидание. Еще не старая, спортивного вида женщина занимала в Челси обширную мансарду, обставленную строго и со вкусом. Марта соединила меня по телефону с главой издательства ИМКА-press Никитой Струве. Я рассказал ему о плачевном положении Надежды Яковлевны, и в ответ, к моему удивлению, из трубки раздалось неясное бормотание: какие деньги?.. почему?.. банки закрыты... «Ничего, – сказала Марта, – я пошлю Наде свои тысячу долларов, но из Никиты эти деньги выбью». Таково было мое первое столкновение с теми представителями старой эмиграции, которые считали себя распорядителями судеб и творчества оставшихся в России писателей».

Электронная версия статьи – в блоге «Варлам Шаламов и концентрированный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/292348.html>



## Вологда и Москва двадцатых годов

### *Екатерина Сизгорская. О Шаламове в юности*

«Я узнала его в юности, когда пришлось жить в одном почти месте, – вспоминала Екатерина Николаевна. – Семья наша жила временно в кабинете отца, секретаря духовной консистории, а Варлам, он тогда по возрасту был для нас Варлаша, жил в соборном доме. Когда мы в Вологду приехали, нам сказали, что из кремля есть подземный ход в Прилуки. Нас очень занимало, где бы найти этот ход. Вот тут мы и бегали». Она так описала Шаламова-ребенка: «Худенький, астеничный, небойкий мальчик и очень гордый. Разные кругом были мальчишки, а этот – такой, который, так сказать, знает себе цену, но внутри себя».

Из статьи Нины Дьяконицыной и Риммы Рожиной «И Лида сморщит брови, кивая на букет», журнал «Вологодский лад», №8, 2007, сетевая версия на сайте Данте XX века [http://www.booksite.ru/varlam/vologda\\_01.htm](http://www.booksite.ru/varlam/vologda_01.htm)

---

### *Первый сексуальный опыт Шаламова*

Цитируется по журнальной публикации глав из книги Валерия Есипова «Шаламов»:

«Об этой тайне мне однажды поведала И. П. Сиротинская, которой вполне доверительно и опять же по-взрослому, все рассказал Шаламов. Передаю только суть: «Мужчиной я стал неожиданно, в четырнадцать лет. Однажды вышел во двор и засмотрелся на молодую женщину-соседку, которая развешивала на веревки свою стирку. Она тоже поглядывала на меня, потом подозвала к себе, взяла за плечи и сказала: «Ты уже совсем взрослый парень. Пойдем со мной...» Это была, по видимому, молодая вдова одного из погибших в Гражданскую войну».

***«Шаламовский дом» в Вологде, 1930-50-е годы***

Из рассказа Ксении Куцеповой, преподавателя Петербургской государственной консерватории, правнучки вологодского купца Самарина, жившей в Вологде в тридцатые-пятидесятые годы. С сайта газеты «Наша Вологда», 2 августа 2012 <http://nvologda.ru/?p=3936>

---

«[...] после ареста матери [Куцепова] жила у деда Валентина Воронина, ведущего хормейстера Вологды в другом известном особняке, расположенном у стен Вологодского кремля. Сегодня это «Шаламовский дом», филиал Вологодской картинной галереи и мемориальный музей, посвященный памяти поэта и прозаика Варлама Шаламова.

А в 30-е годы XX века дом был поделен на коммунальные квартиры, в одной из которых и жили Воронины.

В свое время аресту подверглись практически все члены купеческой семьи. [...] бабушка Ксении Феодосьевны Мария Александровна, вышедшая замуж за германского подданного Владимира Фишера, была выслана в Германию и погибла в 1945 году во время штурма Берлина советскими войсками.

Мать Ксении Феодосьевны Марина Владимировна Фишер была арестована в 1944 году. Так Ксения попала в семью деда, на тот момент ей было всего восемь лет.

– Я жила в «Шаламовском доме» много лет, но абсолютно не слышала такой фамилии – Шаламов. О Варламе Шаламове я узнала лишь в 90-е годы, когда это имя было возвращено из небытия. И хотя окружавшие в те времена взрослые люди, несомненно, были знакомы с Шаламовыми, они молчали и ничего не говорили. В то время все жили под гнетом страха и обсуждали даже самые простые бытовые вопросы шепотом, а у входа всегда стоял собранный чемодан. Потом, читая автобиографическую повесть Шаламова «Четвертая Вологда» и «Колымские рассказы», я воспринимала все описанные события и пережи-



вания как свои собственные. Читать эти произведения без слез просто нельзя, – рассказывает Ксения Куцеева».

---

### *Шаламов в Московском университете, 1926-28 гг.*

Преподаватель исторического факультета МГУ Сергей Агишев прочел в Институте всеобщей истории РАН пространный доклад на тему «Шаламов и МГУ». В докладе прослеживаются процесс деградации университета в первое десятилетие большевистской диктатуры и судьба Шаламова-студента факультета советского права этого вуза. В материалах к докладу публикуются тщательно описанные документы, связанные с недолгим студенчеством Шаламова, среди них – доносы сокурсников и выписка из протокола заседания Правления МГУ от 13 февраля 1928 г. об исключении Шаламова из университета «за сокрытие им в момент поступления в Ун-т своего социального происхождения, а также за участие в скандале».

Ниже тексты этих доносов с сохранением орфографии, пунктуации и синтаксиса оригинала.

---

«Во фракцию ВКП (б) 1го Моск. Гос. Университета  
Члена ВКП (б) агента хоз-правового отделения, студента Совправа  
(зачетная книжка № 612, п/б № 0051846) Коробова Михаила Арсеньевича

#### Заявление

Настоящим прошу выяснить социальное происхождение и положение по документам, находящимся в Университете, студента Совправа судебного отд. II курса гр-на Шаламова В. За время пребывания в прошлом 1926-27 уч. году в одной семинарской группе с тов. Шаламовым мы все считали, что он рабочий, так как он выдавал себя за такового. Мне известно, что он в прошлом году получал стипендию и

пользовался общежитием. В прошлом учебном году Шаламов не вызывал подозрений по своему поведению в группе. Однако, летние каникулы дали возможность случайно установить социальную принадлежность Шаламова.

Я каникулы провел в г. Вологде и неожиданно встретил там же Шаламова. Был поражен этим обстоятельством потому, что в беседах с ним я говорил ему, что я Вологодский. Он же в Университете, в группе и беседах со мною назывался рабочим-кожевником какого-то подмосковного завода. Факт встречи в Вологде мне показался подозрительным и тем более тогда, когда Шаламов сказал мне при встрече, что он Вологодский уроженец и что адрес его жительства «Соборная гора, дом 2 кв. 2». Я очень хорошо знал, что дом этот церковный и поэтому сообразил, что Шаламов имеет какое-либо отношение к вологодскому духовенству. На следующий же день от ряда партийных тов. я установил, что Шаламов, наш студент, является сыном соборного дьякона, который во время изъятия церковных ценностей выступал в качестве ярого противника указанного мероприятия Советской власти. Студент Шаламов В. связь с родителями не порвал. Если же и работал где-либо на заводе в качестве рабочего, то это было ни больше, ни меньше, как прием временной социальной перекраски, рассчитанной на поступление в ВУЗ.

Я считаю, что таким «рабочим», как Шаламов, не только не следует давать стипендии и общежития, но и не место в Университете, особенно на факультете Советского Права. Есть более достойные люди, которые из-за таких находятся в ожидании поступления учиться.

Надеюсь на принятие соответствующих мер по изложенному мною в настоящем Заявлении.

К сему <подпись>  
1927 г. 24 Сентября

Изложенные факты подтверждаю  
кд. ВКП (б) № 482 студент 1 МГУ межд фта 3 курса  
<подпись Ф. Писконкель>

-----

«В тройку содействия и коменданту Черкасского общежития ст-тов 1го М.Г.У. от ст-тов проживающих в комнате № 76: Шпекторова А. И., Залилова М\*, Виноградова В, Германова А. П. [Н -?] и Смирнова А.

## Заявление

В комнате № 7б вместе в вышеуказанными т. т., проживает студент 2го курса Судебного отделения Ф-та Сов. права Шаламов В. Т. которым постоянно производится нарушение всяких правил общежития и в частности нашей комнаты. К числу таковых нарушений нужно отнести:

1. По вине Шаламова, во время зимних каникул, была обворована наша комната его другом и приятелем Прозоровым, которого он привел переночевать. В результате последний прожил около 3х месяцев. Когда мы с первых-же дней стали возражать и довели до сведения коменданта – Шаламов защищал Прозорова всей, поповской честью. Обложив матом каждого из нас, – говорил, что Прозоров его – хороший друг и что он за его благонадежность ручается. В результате Прозоров обворовал нашу комнату, о чем с повинной, сознался Шаламову через оставленное письмо. Когда мы после покражи стали говорить Шаламову о поступке Прозорова он заявил «Хотя я за него и ручался, но не отвечаю».

2. Почти каждый день Шаламов бывает активным участником «компаний» в комнатах 9 и 10 куда собираются (к девочкам) его друзья по «станку» [речь идет, поясняет Агишев, о типографском станке Бюро печати МГУ, где, в частности, печаталось «Завещание Ленина», распространявшееся Шаламовым] как он их рекомендует. Напившись как сапожники, криком, стуком, танцами и пением каких-то «гимнов» «Деньги – деньги. Все за деньги» [салонный цыганский романс – прим. Агишева]. Под гитарный перезвон не дают нам ни заниматься ни спать до 3-4х часов ночи. После всего этого, заводит своих, пьяных, друзей к нам в комнату. Натаскает грязных матрацев на стол и под стол – укладывает их спать.

3. Такая-же самая история случается и днем. Когда мы уходим Шаламов заводит своих друзей в комнату и превращает ее в трактир-хлев как это имело место 10го/II с/г (вызыв. коменд.) Напившись до изнеможения он их укладывает спать на кровати. Сам-же зачастую уходит, оставляя их одних. Так что мы приходим, а здесь обитают неведомые личности и в их полном распоряжении комната.

4. Встречая почти каждый день такие факты, когда мы начинаем говорить об этом Шаламову. Он предпочитает своим долгом выругать каждого из нас своим вульгарным красноречием в перемешку с матом и заявляет – «Плевать я на вас хочу» (с батиной колокольни) и далее переходит опять утверждать – «Это мои друзья по “станку”». Я за них ручаюсь

5. Из-за такого поведения Шаламова наша комната имеет небрежный вид во всех отношениях

Невозможно никак установить чистоту и опрятность. А поэтому на основании вышеизложенного просим тройку содействия и коменданта принять меры к выселению Шаламова из нашей комнаты и общежития – избавить нас от Шаламовщины.

11/II 28 г. к сему подписи

Шпекторов

Залилов

Германов

Виноградов

Смирнов

Все изложенное подтверждается со стороны тройки содействия

Пом. завхоза <подпись>»

*\* От составителя.*

*Муса Залилов (Муса Джалиль, 1906-1944) – в будущем советский редактор, поэт и политрук, погибший в немецком плену, Герой Советского Союза (1956), Лауреат Ленинской премии (посмертно, 1957), один из официальных символов послесталинской советской идеологии. В дневниках Шаламов называл его безнадежной бездарностью, однако написал о нем благожелательный подцензурный очерк «Студент Муса Залилов» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/89837.html>, опубликованный в журнале «Юность», № 2, 1974 г.*

---

Эти и другие материалы к докладу Агишева выложены на сайте Всемирная история <http://www.worldhist.ru/News/384/9937/>

## Вишера

### *Где должна быть установлена памятная доска Шаламову в Соликамске?*

А в продолжение уже о другом мемориальном объекте – музее доблестного местного НКВД, по посещаемости догоняющем Эрмитаж.



«В это время [конец 20-х годов] через город проследовал известный сегодня писатель В. Шаламов. На здании Свято-Троицкого мужского монастыря ему установлена мемориальная доска. Только эту доску установили не на том здании. В 1929 году в Соликамске уже была пересыльная тюрьма, но располагалась она в здании бывшего женского монастыря. Сегодня это церковь Иоанна Предтечи в микрорайоне Красное».

«Ссылные в Соликамске»

<http://www.pmem.ru/index.php?id=695>

\* \* \*

«В 2005 году членами общества «Мемориал» при финансовой поддержке Соликамского магниевого завода совместно с «Северной палатой недвижимости» на здании Свято-Троицкого мужского монастыря была установлена мемориальная доска в память о В. Т. Шаламове. «Вес памятного знака – 150-200 килограммов. Планировали, что установка займет часов пять, а справились за два», – рассказал Юрий Владимирович Горшков, начальник ремонтно-механического цеха СМЗ, руководитель работ по установке памятной доски, отлитой на одном из пермских заводов.

Памятная доска установлена на стене Свято-Троицкого монастыря, но, по мнению Г. А. Бординских [Геннадий Бординских, краевед – прим. составителя], автора книги «Соликамск литературный», она помещена не на том здании, т.к. пересыльная тюрьма на территории соликамского мужского монастыря появилась только в 1937 году, а пересылка в конце 20-х годов располагалась в зданиях бывшего женского монастыря на Красном\*.»

«Соликамск в судьбе репрессированных писателей»  
<http://www.solikamsk.tv/node/1033>

*\* Речь идет о бывшем пригородном селе Красное, сейчас микрорайон Соликамска. Иоанно-Богословский женский монастырь был закрыт в начале двадцатых годов.*

Похоже, что именно так дело и обстоит:

«В 1928 году здание церкви [Иоанна Предтечи – прим. составителя] было передано НКВД».

Путеводитель по Соликамску  
[http://www.docme.ru/doc/43086/solikamsk%3A-putevoditel.\\_.-2010](http://www.docme.ru/doc/43086/solikamsk%3A-putevoditel._.-2010)

В бывший Свято-Троицкий мужской монастырь пересыльная тюрьма перекочевала значительно позже, до конца тридцатых годов монастырским комплексом владел калийный трест Высшего Совета Народного Хозяйства.

«Усольский исправительно-трудовой лагерь был организован 5 февраля 1938 года.

В Соликамске находилось управление лагеря и пересыльная тюрьма, которая разместилась в помещениях Свято-Троицкого мужского монастыря. [...]

В 1928 году помещения монастыря были переданы калийному тресту ВСНХ СССР, а через десять лет – НКВД».

«О музее Усольского ИТЛ НКВД СССР» <http://kirov.media-office.ru/?go=6493035&pass=e0864d6a18567e664909bd93b3e4c1a7>

К слову. Невероятно, но факт – в двух шагах от храма благоденствует музей местного НКВД, работающей «не только как выставочный зал, но и как общественный центр – здесь организуются встречи ветеранов, и как образовательное учреждение – соликамские школьники приходят в музей на «Уроки мужества».

Недавно «состоялось знаковое событие – появился 1000 посетитель. Счастливчиками оказался целый класс подшефной школы № 4 города Соликамска. [...]

В общей сложности за год в музее было проведено 79 экскурсий!

Итоги года подведены, и в новом 2013 году у Совета ветеранов новые планы, новые задумки. Ведь 5 января 2013 года у Усольского ИТЛ НКВД СССР юбилей – 75 лет. За эти годы много раз менялись названия управления, не раз оно реорганизовывалось, но были и остаются тысячи людей, которые всю свою жизнь посвятили служению УИС Прикамья и Российской Федерации!».

[http://fsin.perm.ru/index.php?option=com\\_content&task=view&id=510&Itemid=4](http://fsin.perm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=510&Itemid=4)

Читается, без балды, как роман.

Возвращаясь к Шаламову.

«С 1938 года здания [Свято-Троицкого – прим. составителя] монастыря принадлежали Управлению мест заключения системы НКВД, местное подразделение которого печально известно как «Усольлаг». Через пересыльную тюрьму, находившуюся в стенах Соликамского монастыря, прошли по этапу тысячи заключенных».

Статья «Останки узников сталинского Усольлага...» на сайте Православие <http://www.pravoslavie.ru/news/53492.htm>

«Большие разрушения были нанесены монастырю после передачи его в 1938 году в ведение НКВД. Здесь была размещена пересыльная тюрьма», – информирует сайт Уральский паломник <http://www.уральскийпаломник.рф/?p=227>

Сам Шаламов в рассказе о Соликамской пересыльной тюрьме упоминает только подвал бывшей церкви, откуда этап пешим ходом погнали на Вишеру.

Так все-таки, где место мемориальной доске Шаламову в Соликамске?

На закуску любопытный пример пересечения реальности и ее восприятия, наделяющего реальность особой – хотя и обманчивой – аурой подлинности.

«В 1990 году я был под Пермью, в Соликамске, в храме Вознесения [Свято-Троицкая церковь, бывшая Вознесенская – прим. составителя],

который был тюрьмой, а к моменту нашего приезда стоял уже пустой. Гулял ветер, разбитые вышки, фонари, храм был перегорожен на верхний и нижний этаж. Я поднимался по ступеням из лиственницы и думал – я здесь был. Абсолютно физическое ощущение – был. А потом я услышал: в этом лагере сидел Шаламов», – говорит режиссер Юрий Норштейн.

Хотя Шаламов, судя по всему, здесь не сидел и сидеть не мог.

Все недостающие гиперссылки к материалу – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/236219.html>

---

### ***Шаламовская «Вишера» и исторические реалии***

Из статьи научного работника Березниковского историко-художественного музея В. В. Швеца «Легенды и реальность» трудового лагеря на Адамовой горе. По материалам антиромана «Вишера» В. Шаламова».

«Одним из источников сведений об использовании труда заключённых на строительстве Березниковского химического комбината является антироман «Вишера» Варлама Шаламова. Он первым приоткрыл завесу тайны участия заключённых на стройках первой пятилетки. Шаламов отбывал свой первый срок в «ВИШЛАГе» в качестве наказания за участие в распространении знаменитого «политического завещания» Ленина и непосредственно находился в Красновишерске и Березниках.

Анализируя произведение Шаламова, выявляются некоторые неточности. По оценке В. Шаламова тысячные этапы прибывали практически ежедневно. К январю 1930 г. «контингент» заключённых в УВЛОНе [Управление Вишерского лагеря особого назначения – прим. составителя] достиг 60 тысяч человек [согласно Шаламову, очерк «Вишера» – прим. составителя], в то время как в апреле того же года, когда сам В. Шаламов прибыл на Вишеру, он составлял всего 2 тысячи человек.<sup>2</sup> Однако даже с определением местоположения лагеря много неясностей. К примеру, очевидец тех далёких событий, Г. В. Мельни-



ков, работавший в 1932-33 гг. бухгалтером треста «Березникхимстрой», спорит с Шаламовым, указывая, что лагерь располагался в районе Калий-горки, а на Адамовой горе находились бараки спецпоселенцев.<sup>3</sup> Косвенно версию Г. Д. Мельникова подтверждают и воспоминания другого очевидца тех событий – Серафима Ивановича Юрьева, создателя и первого начальника службы КИПа БАТЗ, работавшего на строительстве химкомбината с весны 1931 года. Он также указывает что лагерь находился на месте будущего калийного комбината<sup>4</sup>.

Уже к лету 1930 года этот лагерь был построен. Согласно исследованию, в 1932 г. в Лёнвинском ( г. Березники) отделении Вишерского ИТЛ в заключении находились 12 228 чел<sup>5</sup>. Руководство УВИТЛ обеспечивало выход на работу 80% от списочного состава заключённых, а это примерно восемь с половиной тысяч человек. Если в 1932 году рабочих на химкомбинате насчитывалось около 15 тысяч, то значит более половины из них составляли как раз узники «ВИШЛАГА».

-----

2. Шаламов В. Вишера. Антироман. М., 1989. С. 15.

3. Мельников Г. «Мог ли Миша Долгополов прогулять в пивбаре «Медведь» миллион рублей ?» // Березники вечерние. №18(483) 16.05. 2002. С.4.

4. Фонд воспоминаний музея филиала «Азот» ОАО ОХК УРАЛ-ХИМ в г. Березники. Воспоминания С. Юрьева Дело №101 С. 4.

5. Сидорова И. Т. «Березниковский химкомбинат в годы первых пятилеток» Материалы международной научно-практической конференции «Стратегия экономического, политического, социокультурного развития в условиях глобализации» Березники, 2012. С. 307.»

С сайта Березниковского историко-художественного музея <http://www.museum-berezniki.ru/nauchno-issledovatel'skaja-rabota/legendy-i-realnost-trudovogo-lagerja/>

---

*Андрей Шимкевич и Шаламов. «Не веришь – прими за сказку»*

Андрей Шимкевич – загадочный и несколько сомнительный в качестве свидетеля человек – утверждает, что в начале тридцатых годов был знаком с Шаламовым и тот даже содействовал его первому побегу из лагеря. Ниже приведу этот рассказ, записанный его лагерным товарищем, экибастузцем и колымчанином мемуаристом Семеном Бадашом <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=1355>

Итак, Андрей Михайлович Шимкевич, по сведениям Википедии. Внук известного русского зоолога Владимира Шимкевича и сын офицера и литератора эсера Михаила Шимкевича, эмигрировавшего во Францию, где в 1913 году родился Андрей, а в 1917 вернувшегося в Советскую Россию, знавшего с Луначарским и расстрелянного в годы Большого Террора. Андрей, покинув по настоянию отца Францию, в 1929 приехал в Москву, но с отцом не поладил и спустя два года, в возрасте восемнадцати лет, был арестован, отдав тюрьмам и лагерям в общей сложности 27 лучших лет жизни. В 1958 году получил французский паспорт, вернулся в Париж и умер в 1999 восьмидесятишестилетним старцем. Это самая общая канва его биографии, расцвеченной сюжетами, из которых можно слепить несколько романов Дюма.

В квадратных скобках – примечания составителя.

Вот что рассказывает с его слов Семен Бадаш:

«Так я работаю [в лагере] все лето 1950 года. В Экибастуз продолжают прибывать этапы. [...] На объекте знакомлюсь с Андреем Шимкевичем, небольшого роста, с правильными чертами лица и светлой бородкой клинышком. Говорит картавя, с ошибками. Свою историю скрывает. Ее я узнаю только на воле, когда мы встретимся в Москве. Об этом расскажу позже. [...]

В 1930 году его арестовывает ГПУ и обвиняет в шпионаже. Андрею дают 5 лет лагерей и отправляют в УСЛОН (Управление Соловецких лагерей Особого назначения). Там он знакомится с Варламом Шаламовым, который ему покровительствует и даже помогает в подготовке к побегу. Андрей бежит с Соловков и по дороге, в тайге, встречает еще двух беглецов, разоруживших конвой и имеющих оружие, но без патронов. Втроем они добираются до Москвы [а оттуда до турецкой границы, где схвачены пограничниками – прим. составителя]. Андрея переводят в Тифлис, в камеру смертников в крепость Метсхи. Там выносят смертный приговор опять через ОСО, по старой статье 56-6 и новой – 83 «переход госграницы».

Через некоторое время Андрею заменяют смертную казнь на 10 лет заключения и снова отправляют на Соловки, в УСЛОН. И снова он встречается с Варламом Шаламовым».

Семен Бадаш, «Колыма ты моя, Колыма...», документальная повесть. Сетевая версия в электронной библиотеке Белоусенко [http://www.belousenko.com/books/gulag/badash\\_kolyma.htm](http://www.belousenko.com/books/gulag/badash_kolyma.htm)

Бадаш пишет воспоминания в 1979-80 годах и неточен в датах. Шимкевича арестовали в январе 1931 года и этапировали в УСЛОН, который Бадаш не без основания называет просто Соловками, поскольку в систему Соловецких лагерей входили и Вишерские, где в 1931 году на строительстве Березниковского химкомбината работал Варлам Шаламов. В тридцать первом Шаламов в качестве заключенного служил в Отделе рабочей силы, а с октября, после освобождения по зачетам рабочих дней, заведовал бюро экономики труда – должности не из последних, учитывая специфику стройки. То, что Шаламов того времени – по-прежнему идеалист и русский революционер в классическом смысле, готовый вступить за товарища-каторжанина и претерпеть побои охраны и выстойку на морозе – мог покровительствовать дезориентированному и, вероятно, отчаявшемуся юнцу, вполне вероятно. Вероятно ли ожидать от него содействия (и каким образом?) побегу заключенного, что неизбежно грозит новым сроком – этого я не знаю.

Найти сведения о Шимкевиче в интернете очень непросто, и сведений этих мало. Перипетии его лагерных приключений, повторяю, достойны пера Дюма, например, согласно интервью, данному им французской газете, 1981, он встречался (или даже сидел в одной камере) в Лубянской тюрьме со знаменитым Раулем Валленбергом, причем непонятно – данные противоречивы – только ли до официальной даты смерти шведского дипломата летом 1947-го, но и позже, что, естественно, противоречит официальной советской версии.

В пользу его упоминаний о знакомстве с Шаламовым можно привести следующему аргументы. Семен Бадаш освободился и вернулся в Москву в октябре 1955 года. Сам Шимкевич освободился, проживая тогда в Казахстане, в конце 1957-го, хотя и эти сведения требуют уточнения, ибо каким тогда образом год до отъезда во Францию он умудрился, согласно Википедии, проработать переводчиком в издательстве «Прогресс»? Но допустим. Репатриировался он во Францию в марте 1958 года. В любом случае, о Шаламове он мог рассказывать

Бадашу только в Москве («на воле»), т.е. в короткий период зимы 57/58 гг. Имя Шаламова знали тогда немногие, главным образом в кругу Пастернака и сотрудников журнала «Москва» и исключительно как начинающего поэта и очеркиста. До первого поэтического сборника, а тем более до начала хождения в самиздате «Колымских рассказов» должны были пройти годы. Тем не менее, имя его Шимкевичу хорошо известно и повторяется в рассказе Бадашу дважды, что, по всей вероятности, не случайно.

Таков краткий сюжет из лагерной эпопеи Шимкевича, связанный с Варламом Шаламовым. Судить о степени достоверности этой истории не берусь, на мой взгляд, в ней больше от мифотворчества.

Напоследок приведу тезисы доклада, прочитанного в Петербурге на 10-х Иофовских чтениях: «Право на имя. Биографика 20 века», 21-23 апреля 2012. Доклад называется «Затерянный в ГУЛАГе: три жизни Андрея Шимкевича», авторы – москвичи Дмитрий Зубарев и Геннадий Кузовкин, «Международный Мемориал».

«В 1965, публикуя в «Новом мире» шестую книгу воспоминаний «Люди. Годы. Жизнь», Илья Эренбург рассказал биографическую новеллу, хотя подчеркнул, что «она может показаться чересчур литературной, неправдоподобной». Ее герой – мальчик, родившийся накануне революции в Париже, сын русских литераторов. Его отец вернулся в Россию, а мать вышла замуж за скульптора и осталась во Франции. Увидев фильм «Броненосец Потемкин» мальчик решил уехать в страну социалистической революции к отцу. Жизнь в отцовском доме не сложилась, мальчик связался с беспризорниками, пытался бежать за границу. После образцовой детской колонии в Болшево мальчика вернули в семью отца. В 1937 отца арестовали, а сын оказался уже во «взрослом» ГУЛАГе. Вернуться в Париж ему удалось только в конце 1950-х. Встретившись там с Эренбургом, он сказал: «Меня тянет назад в Советский Союз». Писатель назвал в новелле только имя мальчика – Андре, не упомянув фамилий родителей и отчима. За почти полвека, прошедшие с момента публикации знаменитых мемуаров (более 60-ти изданий на 20 языках), биография загадочного Андре вобрала в себя имена Анатолия Луначарского, Ромэна Роллана, Максима Горького, Ле Корбюзье, Лаврентия Берия, Екатерины Пешковой, Варлама Шаламова, Рауля Валленберга и при этом остается совершенно неизученной...»

С сайта НИЦ «Мемориал» СПб <http://www.cogita.ru/analitka/10-e-biograficheskie-chteniya-pamyati-veniamina-iofe/10-e-iofovskie-chteniya-tezisy>

Текст доклада мне, к сожалению, недоступен, хотя, полагаю, именно там следует искать более или менее достоверную информацию о лагерьном, т.е. советском, периоде жизни Андрея Шимкевича.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small loop in the middle.

## Колыма

### *Олег Максимов. Колыма, в аркагалинской химической лаборатории*

От составителя:

На сайте Дальневосточного отделения РАН на странице памяти ученого-химика Олега Максимова (1911-2001) выложен его небольшой мемуар под названием «Химик на Колыме» <http://lib.febras.ru/maximov/himic.htm>. В колымских лагерях Максимов провел с 1936 по 1945 гг., в войну заведя лабораторией при угольной шахте, где работали заключенные. В воспоминаниях Максимова упоминается не только Шаламов, но и знакомые читателю «Колымских рассказов» «потомок декабриста» Сергей Лунин и завлабораторией Галина Зыбалова. Шаламов, в свою очередь, упоминает в рассказе «Галина Павловна Зыбалова» Олега Борисовича Максимова. В приведенном отрывке рассказывается о поиске средств лечения желудочно-кишечных расстройств, принимавших на лагерной Колыме характер смертоносной эпидемии.

---

«Все описываемые ниже события происходили вскоре после начала второй мировой войны в Аркагале, маленьком колымском поселке, расположенном возле угольных шахт, в ту пору только-только начинавших выдавать товарный уголь, а впоследствии превратившихся в основную кочегарку «золотой» Магаданской области.

[...] колымская глубинка отстояла от Магадана на 700-900 километров и доставка туда грузов автотранспортом была разорительной из-за непомерного расхода бензина на прямые и обратные рейсы. Леса же на Колыме убоги и рождают только чахлую лиственницу, растущую сотни лет. Поэтому расходовать древесину на чурку для газогенераторных автомашин было бы преступно. Вскоре к нам из Москвы подъехали молодые специалисты: Г.П.Зыбалова и ее муж П.С.Подосенов, которые и должны были заняться с Турским переконструированием существовавших транспортных генераторов. [...]

Амбулаторией аркагалинского лагеря ведал Сергей Михайлович Лунин, вчерашний студент пятикурсник, попавший на Колыму за

анекдот, со смешным трехлетним сроком. Сережа, коренной москвич и прямой потомок декабриста Лунина, отличался легким и веселым характером, что не мешало ему очень вдумчиво и ответственно относиться к своей нелегкой работе – на угольных шахтах почти неизбежен частый и, порой, тяжелый травматизм. Ему была крайне необходима на операциях мало-мальски квалифицированная помощь (подать инструмент, следить за наркозом и т.д.), и он часто обращался ко мне за такой помощью в вечерние и ночные часы. Я стал допоздна засиживаться в амбулатории, а потом тайком от лагерных охранников пробирался в свой барак. Вскоре на наши посиделки «нештатных медработников» стал заглядывать Тимофей Родионов, горный инженер, в молодости «комсомолец двадцатых годов», а ныне с нехорошей статьей КРТД отбывавший свой «первоначальный» пятилетний срок. Позже к нам присоединился Варлам Тихонович Шаламов, в будущем крупнейший поэт и писатель, автор «Колымских рассказов». В ту пору, особенно с наступлением весны, в лагерях свирепствовали желудочно-кишечные заболевания, уносившие тысячи жизней. Причин было много, а вот лекарств никаких. Сережа тяжело переживал свою беспомощность, часто ездил в базовую лагерную больницу Чай-Урьинской долины, но там было не лучше. Все забирал фронт, а заключенные умирали как мухи. [...]

Я наготовил несколько сот грамм натриевых солей гуминовых кислот (НСГК) и стал в повышающихся дозах поедать их с пищей. Занятие это было достаточно противным и, достигнув суточной дозы в 30 грамм, я прекратил его, отделавшись лишь небольшой задержкой стула. Далее, необходимо было подтвердить лечебное действие НСГК. Порция несвежей похлебки вызвала нужный эффект, и я стал лечить себя ежедневными дозами около 1 грамма НСГК. Собственно, уже к концу второго дня нужда в лечении отпала. Потом мы с Сережей повторили этот эксперимент, меняя «инициатор» расстройства и сроки начала лечения. Все предположения полностью оправдывались, от добровольцев, предлагавших свои услуги, не было отбоя, но мы, многоопытные зеки, понимали, что на широкие эксперименты требуется санкция «свыше», т.е. от вольнонаемного врачебного начальства. Сережа добился новой поездки в базовую больницу и, счастливый, такую санкцию привез. Моя старческая память не сохранила фамилии той женщины, врача Чай-Урьинской больницы, которая тогда уверовала в нашу инициативу, пошла нам навстречу, а, позднее, сама принимала участие в широком внедрении этого лекарственного средства. Началась самая радостная пора: большинство Сережиных пациентов быстро поправлялось, популярность лекарства росла. Правда, успех был не

сто процентным. Истощенные больные с запущенными кровавыми поносами гибли, но кто мог знать, что было причиной самой болезни: бактериальная инфекция, застарелая цинга, пеллагра или иной цветок из букета хронических недугов заключенного. [...]

Тысячи больных, явных и потенциальных, было вылечено, эпидемия явно шла на убыль, лагерные врачи слали нам свои поздравления. Но тут произошло непредвиденное. Где-то в верхах Севвостлага сменилось начальство, начались кадровые перестановки и был заменен начальник аркагалинского лагпункта, который, хотя и не помогал, но и не препятствовал нашим лекарственным мероприятиям. В лагере участились «шмоны» (ночные обыски), был произведен обыск и в больнице. Папку со всеми нашими записями, историями болезней и прочим изъяли, а Сергея за бурные протесты посадили в карцер и пригрозили отправить на прииск (а ему-то и сидеть оставались пустяки). Мне удалось с помощью лабораторного начальства (заведующей тогда еще была Г.П.Зыбалова, которой Шаламов впоследствии посвятил один из своих рассказов) связаться с базовой больницей, и Сережу срочно перевели в другой лагпункт; связь с ним у меня надолго утратилась. Вот так бесславно завершилась наша инициатива, которая пришла в диссонанс с генеральным назначением колымских лагерей смерти. Сергея судьба забросила далеко на север (в Певек), препарата он не имел и вскоре после освобождения уехал заканчивать учебу в Москву. [...]

Мною была сделана попытка опубликовать наши результаты. В рукописи большой статьи, посвященной физико-химической характеристике аркагалинских углей (журнал «Колыма» № 3, 1947 г.) я привел данные, обосновывающие возможность такого применения гуминовых кислот, результаты наших экспериментов и указания на тот значительный успех, который был получен при их использовании в лагерных больницах (речь шла о многих тысячах спасенных жизней). Однако, редакция журнала изъяла эту часть рукописи, сославшись на горно-промышленный профиль журнала и полный запрет на публикацию сведений о лагерях».

---

*Евгения Гинзбург. Нина Савоева, главврач больницы для заключенных в Беличьей*



Личность Нины Савоевой, героини новеллы «Черная мама» и персонажа многих других рассказов и очерков Шаламова, тесно связана с колымским периодом его биографии. В основном разделе сборника приведены воспоминания Савоевой о Шаламове и Евгении Гинзбург в бытность обоих санитарными работниками в больнице для заключенных, где вольнонаемная Савоева работала главврачом.

Отрывок из известных мемуаров Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», сетевая версия в электронной библиотеке [http://thelib.ru/books/ginzburg\\_evgeniya/krutoy\\_marshrut.html](http://thelib.ru/books/ginzburg_evgeniya/krutoy_marshrut.html)

---

«Пушкин самолично доставил меня к начальнице, пред ее испытующие и грозные очи. В официальных бумагах местная властительница именовалась очень прозаично – главврач центральной больницы Севлага. Но она являлась одновременно и начальником лагпункта. Власть ее над телами и душами вверенных ей заключенных была абсолютна еще и потому, что самый главный хозяин провинции – начальник северного горного управления Гагкаев был земляком и другом нашей главврачихи. Оба они были из Осетии.

(Ее звали Нина Владимировна Савоева. Забегая вперед, надо сказать, что судьба оказалась милостивой к этой женщине: ее жизнь сложилась так, что выявились лучшие стороны ее натуры и, наоборот, оказались подавленными те первичные инстинкты властолюбия и самоуправства, которые были ей свойственны. Полюбив заключенного-лаборанта, она стала позднее его женой и после смерти Сталина работала уже рядовым врачом в Магаданской больнице. Встречаясь на магаданских улицах со мной и Антоном, она приветливо здоровалась и говорила что-нибудь обыденное. Дескать, сегодня в кино «Горняк» идет хорошая картина... Трудно было поверить, что всего за несколько лет до этого она казнила и миловала, выходила из внутренних апартаментов походкой царицы Тамары, говорила отрывистым гневливым голосом, приказывала приближенным рабьям мыть себя в ванне и умащивать свое довольно грузное и бесформенное тело разными ароматическими веществами.

Снова возвращаюсь к банальной мысли: абсолютная власть разлагает абсолютно. Незлая по натуре, Нина Савоева совершала немало постыдного под крылом Гагкаева, этого районного Сталина, о жестокости которого ходили постоянные слухи. Как хорошо, что благодаря

любви к мужчине судьба Савоевой переломилась! Еще несколько лет беличьиного владычества – и она окончательно погибла бы, превратившись в палача.)

В тот момент, когда я предстала перед ее грозным ликом, она была еще в полном блеске величия. Ее черные кавказские глаза метали молнии. Широкая короткопалая рука, вся в кольцах, то и дело поднималась в повелительном жесте.

– Отведете ее в туберкулезный, – сказала она Пушкину так, точно меня тут не было. – Там и жить будет, в кабинете. Посуду отдельную. Предупредите: больные острозаразные. Пусть будет осторожна...

Эти гуманные слова главврач произносила так оскорбительно, что мне вдруг захотелось заплакать. Очевидно, таков был местный ритуал: к мелкой рабыне вроде меня не могли быть обращены непосредственные слова владычицы».

---

### *Михаил Миндлин. О главвраче лагерной больницы Нине Савоевой*

Михаил Миндлин отбывал срок в тех же лагерях, что Шаламов. Привожу отрывок из его мемуаров. Дело происходит в 1942 году. Миндлин заболел пневмонией на прииске Джелгала и едва выкарабкался.

«После наступившего благоприятного кризиса Володя [врач Владимир Махнач (Мохнач), упоминается и у Шаламова, негативно, как приспешник лагерного начальства – прим. составителя] каким-то чудом организовал мою отправку в лагерную больницу в поселок Ягодный. Перед отправкой Махнач мне признался, что он вынужден был от меня не отходить еще и потому, что, находясь в бредовом состоянии, я жуткой матерщиной поносил «отца родного». Боясь, чтоб кто-нибудь из санитаров меня не «продал», он вынужден был все время находиться при мне.

Больницу возглавляла молодой врач, вольнонаемная осетинка. Очень интересная и исключительно отзывчивая к больным, но в то же время независимо державшая себя по отношению к начальству любого ранга. Порядок в больнице был образцовый, чистота идеальная, и все благодаря энергии «мамы черной», так мы ее называли. Спустя не-

сколько лет я узнал, что она вышла замуж за моего товарища по заключению Бориса Лесняка, до ареста студента третьего или четвертого курса мединститута. Я от всей души радовался за Бориса, ибо был уверен, что такая женщина, как «мама черная», будет ему верным другом и женой.

В больнице я быстро поправился и через месяц снова вернулся на «Джелгалу».

Михаил Миндлин, «Анфас и профиль: 58 – 10» <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=10961>, с сайта Сахаровского центра

Шаламов оказался в ягодинской больнице (Беличье) на следующий год и при содействии Савоевой и Лесняка «кантовался» там сторожем и культургом до не то весны, не то конца 1945-го, после чего был отправлен на общие работы на ключ Алмазный, а оттуда на Джелгалу.

---

### ***«Шерри-бренди». Как из басен возникает литература***

От составителя

Интересно, что о смерти Мандельштама Савоевой\* поведала – и даже показала место на нарах, где умер поэт – повариха транзитного лагеря, тогда как в пересыльном лагере в поселке Рыбак («Вторая речка») вообще не было поваров, пищу заключенным привозили в котлах. На Колыме Савоева пересказала этот слух Шаламову как достоверное свидетельство о смерти поэта. На основе этого пересказа Шаламов написал впоследствии «Шерри-бренди» (о котором кстати, вполне определенно сказал: «Рассказ «Шерри-бренди» не является рассказом о Мандельштаме. Он просто написан ради Мандельштама, это рассказ о самом себе»). А современный мандельштамовед Павел Нерлер уже пишет, что сведения о смерти Мандельштама получены Савоевой от «надежнейших из очевидцев – коллег-врачей из пересыльного лагеря под Владивостоком, на руках у которых 27 декабря 1938 и умер поэт». Следовательно, «о смерти Мандельштама знала она, в сущности, все». Это к вопросу о возможностях использования КР в качестве пресловутого «документа».

*\* Нина Савоева, справка из сетевого «Календаря событий и дат по Магаданской области, 2011»:*

*«Работала на Колыме в 1940–1972 гг.: в амбулатории на прииске имени Чкалова, главным врачом больницы Севлага в поселке Беличьа (1942–1945 гг.), где в это время находились репрессированные В. Т. Шаламов и Е. С. Гинзбург, в больнице в Нижнем Сеймчане, на прииске «Ударник», главным врачом райбольницы Заплага в Сусумане, главврачом больницы Маглага. Последние годы перед отъездом на «материк» работала хирургом в отделении черепно-мозговых травм областной больницы».*

---

«Свой 30-й день рождения, ровно 70 лет назад, Шаламов встретил во Владивостоке, в пересыльном лагере, что располагался на территории «экипажа» – нынешнего Моргородка. К тому времени этот обустроенный и обжитый заключенными лагерь работал в полную силу. Он был разделен оградой из колючей проволоки на две большие части – мужскую и женскую. В мужской было четыре зоны: для контриков – «врагов народа», бытовая – для уголовников, «китайская» – для КВЖДинцев и РУР (рота усиленного режима) – для штрафников всякого рода. Свидетель тех лет М. Е. Выгон, прибывший на пересылку в июне 1937 г. вместе с Шаламовым, вспоминал: «На 33-й день мучительного пути мы прибыли во Владивосток. Нас привели в палаточный городок, расположенный в сопках, огороженный несколькими рядами колючей проволоки, с вышками через 50 метров. Тут нам такая была встреча... Большие толпы «друзей народа» (бандиты, воры, уголовники всех мастей) с воплями: «Бей троцкистов, шпионов, врагов народа», – с матерной руганью проводили нас до барачков».

[...] После смерти Осипа Мандельштама появилось множество легенд о его смерти. Одна из них оказалась более устойчивой и стала почти хрестоматийной. Ее рассказывали всем, кто бывал во Владивостоке после 1938 года. Суть ее в том, что после смерти поэта его тело еще несколько дней находилось в бараке и оставшиеся в живых получали за него пайку хлеба. Мне же думается, вряд ли эта легенда имеет под собой основу. Ведь 11-й барак был заселен московской и ленинградской интеллигенцией, которой, в силу воспитанности, претила сама мысль использовать в каких-либо целях тело умершего солагерника. Но именно эта легенда легла в основу рассказа Шаламова «Шерри-бренди», написанного в 1958 г. [...]

Как известно, сам писатель лично не был знаком с Мандельштамом, ни в жизни, ни на пересылке с ним не встречался. Он услышал эту легенду на Колыме из уст лечащего врача Н. В. Савоевой (1916-2003). Если разобраться по существу, то сама врач тоже «пленник легенды».

Она родилась в Северной Осетии в крестьянской семье. Окончила сельскую школу-девятилетку. В 1935 г. поступила в 1-й Московский государственный медицинский институт им. Сеченова, совмещая учебу с работой няни и медсестры. В 1940 г. после получения диплома сама обратилась с просьбой направить ее на работу в Магадан. Скорым поездом «Москва – Владивосток» в составе большой группы молодых врачей выпуска 1-го МГМИ 1940 г. она, вероятно, в августе прибыла во Владивосток.

«Городок на Второй Речке Владивостока, – вспоминала она, – не очень гостеприимно, без особого комфорта принял группу транзитных пассажиров, ехавших на Колыму. Еще несколько лет тому назад этот городок являл собою пересыльную зону ГУЛАГа для заключенных всех мастей и статей, направляемых на золотые прииски и оловянные рудники с правом умереть там от стужи, голода и непосильной работы. Теперь эту зону перевели в Ванино и Находку. А Владивосток принимает договорников».

Здесь автор ошибается; пересылка в то время работала в «полную силу». Изменился только маршрут: из Владивостока транспорт заходил в Находку (здесь обустроивался новый лагерь), затем в Ванино (ставшее вскоре главной транзиткой ГУЛАГа) и только после этого держал курс на Магадан. Это подтверждается воспоминаниями многих лагерников, в частности, А. Д. Евсюгина, находившегося на пересылке Владивостока с мая по июль 1940 г. Кроме того, уже в 1941 г. согласно имеющемуся акту территория лагеря (именно лагеря) была передана в ведение Тихоокеанского флота.

А «негостеприимный городок на Второй Речке», о котором вспоминает Н. Савоева, – это территория поселка Рыбак (старожилы помнят это название) в районе нынешних улиц Гамарника, Постышева и т.п., прилегающих к речке Ишимке. Тогда к ожидаемому наплыву вольнонаемных и весьма специфического континента вербованных чуть обустроили территорию, привели в порядок имевшиеся здания, построили временные, обитые брезентом бараки. Об этом мне рассказывали очевидцы тех событий. К примеру, Р. Ф. Кожевников из Уссурийска в письме от 23 мая 1989 г. вспоминал, как в те годы ездил с мыса Песчаного во Владивосток в гости к бабушке на ул. Гамарника (перестроенный дом сохранился). «Напротив, – пишет он, – был проволочный забор и дома с парусиновым верхом... Отчетливо помню как сейчас –

драки, крики, балалайки, гармошка, пьянки, вонища, костры и мусорные ямы».

[...] Далее молодой врач вспоминает: «Прибытие парохода, на котором нам предстояло плыть в бухту Нагаево (порт Магадана. – В. М.), задерживалось. Мы пребывали в томительном ожидании. Нас, молодых врачей, попросили помочь на кухне, так как нагрузка на поваров была большая. Поварами, раздатчиками, уборщицами работали в основном женщины. И наша группа врачей на 80 процентов была женской. Одна из поварих работала здесь еще в лагерной кухне, когда этапы заключенных шли непрерывными потоками. Думаю, что и она сама была тогда заключенной с небольшим сроком по бытовой статье. Она со мной разговаривала доверительно, мне было интересно ее слушать. Я ходила к ней в гости несколько раз, и в беседе без свидетелей как-то она мне сказала:

– Хотите, я покажу вам в вашем бараке место на нарах, где умер в 1938 г. известный поэт Мандельштам? Он был уже мертв, а соседи по нарам еще два дня получали на него хлеб, завтрак, обед, ужин. Он был известен еще до революции... Мне это имя было тогда еще не знакомо, но я запомнила его в связи со столь трагической судьбой этого человека».

Представить себе молоденькую женщину-врача на трехэтажных лагерных нарах пересыльного лагеря, где умирал поэт, достаточно трудно. Но, тем не менее, повариха, вероятно, ей что-то показала. А между тем, хорошо известно, что пищу в пересыльном лагере не готовили, поэтому поваров там не было. Ее, как и воду, привозили в больших полевых котлах-кухнях. Об этом вспоминают практически все прошедшие ад пересыльного лагеря (в частности, генерал А. В. Горбатов). Здесь, кроме больнички и санпропускника с «баней», больше ничего не было.

Тем не менее запавший в душу трагический рассказ остался в памяти молодого врача. В сентябре 1940 г. на пароходе «Феликс Дзержинский» она прибыла в Магадан. Работать начала на прииске им. В. Чакова. И с первых дней, отстаивая интересы больных, постоянно конфликтовала с администрацией лагеря. Через два года она уже главный врач больницы Севлага в пос. Беличьем Ягоднинского района, где и познакомилась с больным з/к Шаламовым, реально помогая не только ему, но и другим заключенным, в частности Гинзбург.

«В 1944 г. в больнице Севлага на Беличьей, – вспоминала она, – я рассказала о смерти Осипа Мандельштама В. Т. Шаламову, который попал в больницу как тяжелый дистрофик и полиавитаминозник. Мы изрядно над ним потрудились, прежде чем поставили его на ноги. Я

оставила Шаламова в больнице культоргом, сохраняя его от тяжелых приисковых работ, где он долго продержаться бы не смог. До 1946 г. Шаламов оставался в больнице» и «до освобождения из лагеря больше на тяжелые работы не попадал. Уже в пятидесятые годы (1958 – В. М.) под Калининым им написан рассказ «Шерри-бренди» по мотивам моего ему пересказа о смерти Осипа Мандельштама».

Марков Валерий, «Шерри-бренди: 18 июня исполняется 100 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста Варлама Шаламова», 15 июня 2007. С сайта Владивостокской библиотечной системы <http://vladlib.ru/elib/gosti/shalamov.html>

\* \* \*

«К сожалению, в ЖЗЛ Шаламова [речь идет о книге Валерия Есипова «Варлам Шаламов» – прим. составителя] переключалась распространяемая ошибка о «пересылке на Второй Речке». На самом деле на Второй Речке, в районе нынешнего автовокзала, располагалось совершенно иное учреждение – Владлаг, откуда на Колыму не отправляли. Тогда как пересыльный пункт («пересылка», «транзитка») находился на Моргородке – район нынешних улиц Днепроvской, Вострещова, Печорской, Ильичева. Это территория бывшего флотского «экипажа», нынешние жилые кварталы за стадионом «Строитель», что детально доказано и описано владивостокским историком Валерием Марковым».

Из статьи Василия Авченко, «Дальневосточник поневоле» <http://www.novayagazeta-vlad.ru/160/Istoriya/Dalnevostochnikponevole>, «Новая газета, Владивостокская редакция», №160, 1 ноября 2012

---

### ***Юрий Давыдов. Шаламов о смерти Бориса Савинкова***

«Сын Савинкова, Виктор, носил фамилию матери. Его мать, жена Савинкова, была дочерью писателя Глеба Успенского, великого мученика совести.

Виктор Успенский приезжал из Ленинграда на свидания с отцом. Савинков однажды сказал: услышишь, что я наложил на себя руки, – не верь.

В мае 1925 года он ходатайствовал об освобождении вчистую. Савинкову дали понять, что надежда слабенькая. Мавр, сделавший свое дело, вероятно, осознал, сколь жестоко он обманут. Нам неизвестно, получил ли Савинков ответ на свое ходатайство. Известно другое: в мае 1925 года газеты сообщили о его самоубийстве.

Варлам Шаламов, многолетний колымский каторжанин, поэт и прозаик, известный ныне всему читающему миру, рассказывал: Савинкова сбросили в пролет тюремной лестницы. Так, умирая, исповедуясь, шепнул Шаламову лагерный доходяга, бывший латышский стрелок.

И это савинковское «не верь», и этот рассказ В. Т. Шаламова передаем со слов здравствующей внучки Германа Лопатина\*, выдающегося демократа отдельно взятой страны, не имеющей демократических традиций.

А Виктор Успенский, добрый знакомый Е. Б. Лопатиной, погиб в кровавом потоке. В том потоке, что захлестнул многостральный город после «террорной работы» в Смольном».

Из очерка писателя Юрия Давыдова о Савинкове-Ропшине [http://az.lib.ru/s/sawinkow\\_b\\_w/text\\_0090.shtml](http://az.lib.ru/s/sawinkow_b_w/text_0090.shtml)

*\* Елена Бруновна Лопатина – географ, знакомая Шаламова, адресат его писем, см. ее короткий мемуар в данном сборнике*

---

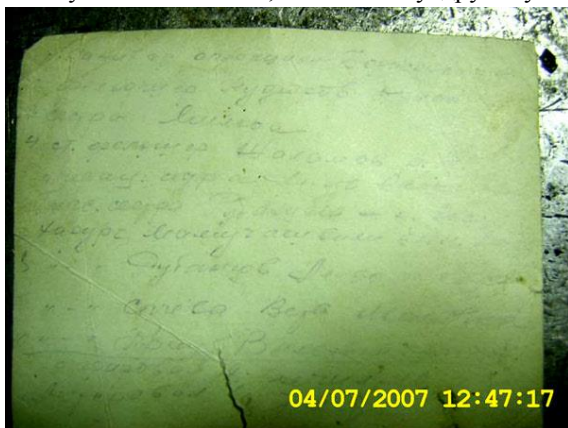
### ***Воспоминания колымских медиков о Шаламове***

В 2007 году «Медицинская газета» сообщила об организации в бывшей Центральной больнице для заключенных (больницы Севвостоклага) в поселке Дебин на Колыме комнаты-музея Шаламова <http://www.mgzt.ru/article/180/>. Организовал ее бывший главврач больницы, позднее – главный врач Магаданского областного противотуберкулезного диспансера №2 Георгий Борисович Гончаров. Гончаров, сообщает газета, «систематизировал частично им самим записанные, частью выуженные из малодоступной печати воспоминания медиков больницы, работавших рядом с Варламом Шаламовым.

В конце 40-х – начале 50-х годов он [Шаламов] доматывал срок в хирургическом отделении и фактически был хозяином его – для всех, включая заведующего. Как старший фельдшер, отвечал за порядок, и



порядок в палатах, перевязочных и операционных царил отменный. Из больницы Варлаам Тихонович почти не выходил, даже летом. Вначале эти «увольнительные», как любому другому заключенному, ему за-



прещали, а потом, когда разрешили, он уже настолько свыкся со своим положением, что не захотел его менять.

Питались заключенные из числа медицинской obsługi все вместе. Стол был относительно неплохим: консервы, каша, рыба, иногда мясо.

В продмаге поселка Дебин стояли бочки с красной икрой и креветками, но картошка или лук оставались первейшим дефицитом, тем более в больнице».

Собранного Гончаровым «за десяток лет работы» в больнице, добавляет корреспондент, «с лихвой хватит на документальный фильм», однако, воспоминания колымских медиков о Шаламове до сих пор (январь 2014) не опубликованы.

---

### ***Мария Ночнова. Воспоминания о Георгии Демидове и Центральной лагерной больнице для заключенных в поселке Дебин***



Лагерница Мария Ночнова (1926-1996) во второй половине сороковых работала медсестрой одновременно с Шаламовым и Георгием Демидовым в Центральной больнице УСВИТЛа в пос. Дебин. Родом из Орловской

области, из крестьян – глиняная хата, единственная корова. В двадцать

девятом семью раскулачили, почти все погибли в ссылках и лагерях. В 37-ом была осуждена и отправлена на Колыму с последующим поражением в правах. Принадлежала к общине евангельских христиан (баптистов). Освободилась в 1950 году. До 1969-го жила там же, в селе Ягодном, потом переехала в село Раменское Московской области. Внук Ночновой, оперный певец Дмитрий Денисов, издал на свои средства книгу ее воспоминаний и стихов, преимущественно религиозных. Сборник по малотиражности практически недоступен, поэтому весьма благодарен модератору блога «Варлам Шаламов и концентрационный мир» Наталье Сегеде, которая сфотографировала страницы воспоминаний Ночновой, относящиеся к периоду ее работы в больнице в Дебине, часть из них (стр. 11, 12, 15-20) я перепечатал.

**Мария [Григорьевна] Ночнова, Воспоминания, стихи – М. : [Весть], 2008**



***Мария Ночнова, 1953***

«Федор Ефимович Лоскутов делал все возможное и невозможное для своих больных, спасая их от этапа. Георгий Георгиевич Демидов работал рентгенотехником. Рентгенологом в то время был договорник, капитан медслужбы – Захаренко Александр Семенович. Он всячески опекал Демидова. Он знал ему цену.

[...]

Сопровождать больных на рентген, поговорить с Демидовым – все мы считали за счастье. Веселый, остроумный, в своем неизменном

кителе, высокий, красивый брюнет. И когда из отделения внезапно исчезли медсестры – Наташа Максимова и Люся Сапфирова, старший фельдшер Петрашкевич Дима улыбался: «Во, стервы, опять в рентген рванули». Демидова уважали все заключенные и вольные. Он говорил, что в Харькове у него семья: жена и дочь, показывал фото, радовался письму.

[...]

В 1947 году над заключенными 58 статьи, работающими в больнице, нависла новая туча. Стали отправлять в «Берлаг» (тюрьма в тюрьме). Новый, изощренный метод убийства. И без того голодная пайка сокращалась.

Конвой свирепствовал без предела. Множество ограничений и издевательств, которые трудно придумать нормальному человеку. Непосильный каторжный труд в забое. Ветхий бушлат и рваные бурки при температуре минус 60-65 градусов. Заключенные под номерами (номер на одежде спереди и сзади). «Берлаг» отличался от простого лагеря, как небо от земли.

Позже, в 1949 году, когда я работала в вольном отделении, ко мне в палату положили лейтенанта из «Берлага», с прииска «Холодный», Кочкина Петра Михайловича. Он как-то попросил меня принести ему что-нибудь почитать.

– А где я возьму?

– А вы попросите на поселке у вольных, вас тут все знают.

– А вы что, своих заключенных распускаете по поселку собирать книжки?

– Нет, мы не пускаем. У нас «Берлаг». Война с Америкой будет, мы их расстреляем.

Однажды в «Берлаге» на «Холодном» доведенные до отчаяния люди пошли на самоубийство. Разоружив охрану, всей бригадой ушли в тайгу. Мороз минус 60. Люди истощены, в рваном тряпье. Ни дороги, ни еды, ни тепла. На 20 человек выслали сотни солдат. Через несколько часов всех беглецов расстреляли и положили перед вахтой: «Смотрите, то же ожидает и вас».

Демидов загремел в «Берлаг» с первым этапом. Через полтора месяца прибыла машина из «Берлага», с прииска «Холодный». В отделениях для берлаговцев были выделены отдельные палаты. Я работала в такой палате.

Я сразу побежала вниз, в приемный покой – нет ли кого из своих. На полу приемного покоя вповалку лежали люди. Многие из машины выносили на носилках. Я стала всматриваться в каждого.

– Ой, Демидов! – Георгий Георгиевич стал неузнаваем. Передо мной был сгорбленный, трясущийся старик. В то время ему было 39 лет. Бушлат третьего срока, бурки стянуты тряпкой, лицо и руки обморожены.

Я приготовила место в уголке, принесла от завхоза (Семена Ивановича Ваврищука) еще одно одеяло.

Диагноз: пневмония, алиментарная дистрофия, цинга. Пробовала заговорить с ним, он молчал. Я погладила его руку. Он зарыдал, как ребенок, и стал бить кулаком об стену (я боялась за его психику).

Он заговорил: «Маша, народ наш – раб. Это народ, которым 100 лет назад торговали на рынках. Никакой другой народ не допустил бы этого». Как только узнала, сразу же примчалась Мамучашвили. Она приходила к нему по нескольку раз в день, приносила еду. Прошло пять дней. Георгий Георгиевич пришел в себя, стал разговаривать, шутить. [...]

Георгия Георгиевича долгое время держали на истории болезни, и он снова работал в рентгенкабинете. Немалую роль в его судьбе сыграла Елена Александровна Мамучашвили. Мы все летали, как на крыльях, радовались возвращению Демидова. Когда я бежала в рентген, я записывала все, о чем надо поговорить. В любое время нас могли разлучить. Отправить на этап – его или меня. Нам посчастливилось, он работал в отдельном кабинете. Со всеми остальными заключенными встречались только по ходу, только «здравствуй». Иногда удавалось на медицинских конференциях, которые проводились два раза в месяц, сесть рядом с Варламом Тихоновичем Шаламовым, перекинуться несколькими фразами. Однажды речь шла о лабораторных анализах. Лектор сказал: «Анализ крови на реакции: Вассермана, Видаля, кровь на билирубин, – берется натошак, чтобы больной не был накормлен». И объяснил, почему.

Шаламов с места: «Что понимать под словом «накормлен»? Разве их накормишь?»

В одну из первых встреч я спросила Демидова:

– Георгий Георгиевич! А как вы относитесь к верующим? – (он еще не знал, что я верующая).

Он ответил: «Люди, которые среди общей враждебной стихии идут по какой-то своей линии, преследуя все отрицательное, они, безусловно, по своим моральным качествам стоят выше других».

Для меня очень радостно было такое его заключение. Для меня Демидов был духовным наставником, прибежищем в критические минуты.

До Колымы я работала в поликлинике. И первое время, работая в больнице, не могла привыкнуть к смерти больных. Причины смерти: абсцессы легких, пневмония, гипертоническая болезнь, болезни печени, болезни сердца, почек, язва и рак желудка. И все это на фоне необратимой алиментарной дистрофии и цинги. Это в терапевтическом отделении. У заключенных от цинги полностью выпадали зубы, наступала потеря зрения, появлялись трофические язвы. Это были живые скелеты. Рост 170-180 см, а вес 30-40 кг. Половина больных умирало.

Однажды я целый день металась от одного умирающего к другому. В конце смены (работали заключенные ежедневно с 8 утра до 8 вечера) я прибежала в рентгенкабинет и со слезами упала на грудь Демидова.

– Георгий Георгиевич! Больше не могу. Завтра пойду к начальнику лагеря проситься на этап.

– Маша, упокойся. Ты первый год на Колыме и ничего не знаешь. А я отрубил уже десятку. Тебе 20 лет, а мне в два раза больше. Послушай меня, детка. Ты не виновата в этом убийстве. Эти люди умерли на больничной койке, а сколько погибло сегодня в забое, сколько замучено в лагерных изоляторах, на приисках, рудниках и лесоповалах. Левый берег – колымский курорт. И тебе повезло, что ты сюда попала. Кто-то за тебя молится. И, дай Бог, тебе до конца отбыть здесь весь срок. Тут тебя никто не тронет: ни блатные, ни вохра. В лагерях на Колыме – производ, о котором ты не имеешь ни малейшего представления.

Безысходное положение было у больных, у которых кончался срок. [Рассказ о заключенном, срок которого кончился и которого с постоянной температурой под сорок и зловонной мокротой (абсцесс легких) выписали из больницы на верную смерть – прим. составителя]

По-хорошему, таких людей после освобождения следовало бы отвозить в вольную больницу, скажем, в Магадан. Но такие расходы не были предусмотрены. Отделения для вольных в то время на Левом не было».

---

Автобиография Марии Григорьевны Ночновой на сайте Сахаровского центра <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=698>

*Александр Козлов. О медиках-персонажах «Колымских рассказов»*

В книге краеведа Александра Козлова «Из истории здравоохранения Колымы и Чукотки (1941-1954 гг.)»

<http://narod.ru/disk/12383202001/Из%20истории%20здравоохранения%20Колымы%20и%20Чукотки.pdf.html>, выпущенной под эгидой Магаданского областного дома санитарного просвещения и Магаданского областного краеведческого музея областным книжным издательством, 1991, тираж 2000 экз., рассказывается, в частности, о колымских врачах, фигурирующих во многих рассказах, очерках и мемуарах Шаламова.

С горем пополам удалось конвертировать эти страницы из отвратительно сделанной электронной версии книги. Для литературоведов и тех, кому интересен колымский период жизни Шаламова.

---

Яков Уманский (стр. 14-16, 99)

Нельзя не вспомнить патологоанатома и терапевта Якова Михайловича Уманского. «Что до Уманского, – писала в своих воспоминаниях «Крутой маршрут» Евгения Гинзбург, – то он, оказывается, прибыл на Колыму в качестве вольного врача-договорника. «Хотите презирайте, хотите нет, но я приехал за деньгами. Двойная ставка, процентные надбавки, а у меня две дочки. Обе невесты, Сусанночка и Лизочка. Я вырастил их без матери, жена умерла рано». Дальше жизнь Якова Михайловича вдруг приняла такой оборот: в 37-м вольные врачи Магадана были призваны выразить на собрании свое гневное возмущение антисоветскими и аморальными поступками арестованного в Москве известного профессора Плетнева. И тогда доктор Уманский, приехавший на Колыму с целью скопить приданое дочкам, поднялся и сказал: «Я не знаю политических взглядов профессора Плетнева, на эти темы с ним не беседовали. Но я работал в его клинике и могу заверить вас, что все эти разговоры о том, что он якобы пытался изнасиловать пациентку, абсолютно несусветная чушь. И это скажет вам всякий, кто хоть немного знает профессора Плетнева. И лично я голосовать за такие вздорные обвинения не могу». На этом и закончилось накопление

приданого для барышень Уманским. На другой день после этого выступления Яков Михайлович был арестован».

По-иному излагает историю Я. М. Уманского писатель Варлам Тихонович Шаламов, который был также знаком с ним по Колыме. «Уманский учился в Брюсселе, – утверждает он в рассказе «Вейсма-нист». – После революции вернулся на родину, работал врачом, лечил. Уманский разгадал суть 37-го года. Понимая, что его долгая загранич-ная жизнь, его знание языков, его свободомыслие – достаточный повод для репрессий, старик попытался перехитрить судьбу. Уманский сде-лал смелый ход – он поступил на службу в Дальстрой, завербовался на Колыму, на Дальний Север как врач и приехал в Магадан вольнонаем-ным. Лечил и жил. Увы, Уманский не учел универсализма действующ-щих инструкций. Колыма его не спасла, как не спас бы и Северный полюс. Уманский был арестован, судим трибуналом и получил срок десять лет. Дочь отказалась от «врага народа», исчезла из жизни Уманского, осталась только случайно сохраненная фотография на письменном столе брюссельского профессора».

Что же касается подлинной биографии Я. М. Уманского, то родился он в 1877 году на Киевщине, в семье евреев-мещан. Учился и окончил в 1910 году медицинский факультет Одесского университета. После этого работал в военных госпиталях, затем – в различных клиниках страны. Перед отъездом на Колыму Я. М. Уманский трудился в мос-ковской поликлинике «Метро», а в бухту Нагаева приехал летом 1935 года. На материке у него остались жена Любовь Осиповна и две доче-ри: Сусанна и Елизавета. В Магадане Яков Михайлович работал по специальности, проявил себя как опытный и знающий врач. К сожа-лению, его «вольная деятельность» продолжалась недолго. Согласно архивным документам, Я. М. Уманского действительно арестовали 10 октября 1937 года. Результатом было ложное обвинение. 13 декабря его осудили по 58-й статье сроком на десять лет. Освободился Яков Михайлович 11 октября 1947 года и вновь стал работать в Дальстрое по вольному найму. О дальнейшей его судьбе будет рассказано ниже. [...]

Осенью 1947 года был принят на должность судебно-медицинского эксперта транзитного отделения УСВИТЛа известный патологоанатом Я. М. Уманский, отбывший десятилетний срок заключения. Спустя несколько лет его назначили санинспектором, а затем – врачом-прозектором Магаданской больницы. «Он получил пожизненное при-крепление к Магадану, – писал В. Т. Шаламов в рассказе «Вейсма-нист». – Уманский умер 4 марта 1953 года, до последней минуты про-

должая свою никому не завещанную, никем не продолженную работу по лингвистике». Во поводу последнего утверждения автора говорить трудно, но дата смерти нуждается в уточнении. Сохранившиеся справки и сообщения дочери Я. М. Уманского – Сусанны Яковлевны свидетельствуют: «Группа кадров Санитарного управления с прискорбием извещает о преждевременной смерти от паралича болезненно-измененного сердца Вашего отца Уманского Якова Михайловича, который умер 20 сентября 1951 года. Тело покойного погребено на кладбище города Магадана». К сожалению, место его захоронения пока не обнаружено.

Нина Савоева (стр. 38)

А. Ф. Хорошев в своих «Очерках истории здравоохранения Магаданской области» отмечал: «В 1939 году на базе открывшихся приисков «Большевик», имени Чкалова открылось Чай-Урьинское управление, где первыми врачами работали Н. В. Савоева, Е. Демб и другие». К сожалению, автор допустил неточность. Чай-Урьинское горнопромышленное управление было организовано 3 ноября 1940 года. Согласно архивным материалам 24-летняя комсомолка, хирург Нина Владимировна Савоева приехала на Колыму именно в этот день. Спустя две недели она была назначена заведующей врачебным участком прииска имени Чкалова, а с конца декабря 1941 года – начальником санчасти всего Чай-Урьинского горнопромышленного управления. Немного позднее Н. В. Савоеву перевели главным врачом центральной больницы Севлага в поселке Беличье. В настоящее время она на пенсии, живет в Москве.

Сергей Лунин (стр. 38)

В ноябре 1942 года начальником санчасти Чай-Урлага был утвержден только что освободившийся из заключения врач-хирург, ровесник Н. В. Савоевой – Сергей Михайлович Лунин. Осужденный на пять лет по статье АСА (антисоветская агитация), он провел в колымских лагерях два года. В феврале 1943 года С. М. Лунин возглавил санчасть УСВИТЛа Чаун-Чукотского горнопромышленного управления. Вместе с ним заведующей больницей была направлена 30-летняя Эдит Абрамовна Саботко, работавшая до этого санинспектором на приисках Колымы. [...]



Шаламов искажил его биографию, как и биографии Э.А. Саботко и Я.М. Уманского.

Моисей Доктор [Дактор] (стр. 79)

Как удалось установить, на одном пароходе с Н. А. Серебренниковым, Н. М. Хазановичем (летом 1943 года выбыл в ряды действующей армии) и другими медработниками приехал на Колыму 29-летний врач-невропатолог Моисей Лейбович Доктор, «заслуживший» впоследствии суровую оценку В. Т. Шаламова. У нас, правда, нет данных, чтобы присоединиться к такому утверждению. Известно лишь, что М. Л. Доктор прибыл в Магадан после окончания Харьковского мединститута и был назначен заместителем начальника Санитарного управления Дальстроя по политической работе. В апреле 1941 года он возглавил санитарный отдел УСВИТЛа. В этой должности М. Л. Доктор проработал одиннадцать месяцев, затем был переведен в Чай-Урьинское горнопромышленное управление в связи с ликвидацией там своеобразного «прорыва» в деятельности местных органов здравоохранения. С октября 1942 года М. Л. Доктор – начальник центральной больницы УСВИТЛа. В данной системе он работал и после Великой Отечественной войны.

Александр Рубанцев (стр. 93-94)

Читавшему рассказы Б. Т. Шаламова встречалась фамилия заведующего хирургическим отделением Центральной больницы УСВИТЛа. В рассказе «Прокуратор Иудеи» его зовут Кубанцевым, «Заведующий хирургическим отделением Центральной больницы Кубанцев, – пишет В. Т. Шаламов, – только что из армии, фронта... Алексей Алексеевич». В то же время в рассказе «Потомок декабриста» В. Т. Шаламов называет другую фамилию: «Хирург Рубанцев, заведующий отделением был фронтовой хирург, майор медицинской службы, дельный, опытный работник, приехавший сюда после войны отнюдь не на три дня... Александр Александрович Рубанцев».

Последнее соответствует действительности. Вот что удалось пока собрать о А. А. Рубанцеве. Родился он в 1898 году. Окончил Днепропетровскую мужскую гимназию и Днепропетровский медицинский институт. Потом работал главврачом и врачом-хирургом в ряде больниц Московской области. Во время войны с Финляндией (в декабре

1939 – мае 1940 года) А. А. Рубанцев был начальником отделения военного госпиталя. В годы Великой Отечественной войны он – хирург военных и эвакуационных госпиталей Риги, Уфы, Тулы, Калуги. С декабря 1945 года А. А. Рубанцев работает заведующим хирургическим отделением Краснополянской райбольницы. Оттуда завербовался в Дальстрой. «Товарищ Рубанцев, – отмечала заместитель начальника Санитарного управления А. Н. Свердлова в характеристике, составленной 27 марта 1948 года, – работает в качестве заведующего хирургическим отделением Центральной больницы УСВИТЛа с октября 1947 года. Знающий и опытный врач-хирург с большим стажем. Умело применяет свои знания в практической работе. К больным внимателен, но несколько суховат. Настойчив, требователен к подчиненным. Подготовкой медицинских кадров не занимается, легче идет на удаление того или иного работника, вместо исправления его недостатков и воспитания. Отличается своенравием и некоторой строптивостью, что иногда отрицательно сказывается на работе».

15 марта 1948 года «в целях руководства научно-исследовательской работой Центральной больницы УСВИТЛа и для оказания консультативной помощи частям управлений, а также для разработки лечебно-методологических инструкций и рецензий научных работ, представляемых врачами и выполняемых на Крайнем Севере», приказом по Санитарному управлению был создан «ученый совет при Центральной больнице УСВИТЛа». Кроме А. А. Рубанцева в его состав вошли: председатель – начальник Центральной больницы УСВИТЛа М. А. Винокуров (сменил М. Л. Доктора), секретарь – И. А. Горелик, член – И. А. Топорков. В сентябре 1948 года Александра Александровича перевели в Магадан. Там он заведовал хирургическим отделением поликлиники № 1. В декабре 1950 года А. А. Рубанцева откомандировали в распоряжение Енисейстроя МВД СССР (Красноярск). Таким образом, он проработал на Колыме немногим более трех лет.

---

## ДОПОЛНЕНИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

О Лунине можно добавить, что после увольнения в 1948 году из больницы Севвостлага в пос. Дебин, где он работал заведующим хирургическим отделением и где у него случился конфликт с Шаламовым, Сергей Михайлович уехал «на материк» и поступил на работу хирургом в больницу пос. Суксун в Пермском крае, в 150 км от адми-

нистративного центра области и в 33 км от ближайшей железнодорожной станции.

«Жил под наблюдением органов, работал. В декабре 1949 года вновь подвергся аресту, но в марте 1950 дело было прекращено. В Суксуне он проживал в так называемом «больничном доме» по ул. Халтурина, № 5. Тогда там жили врачи и медсестры. Послевоенное время задержало в эвакуации многих выдающихся и интересных людей, с которыми общался и молодой хирург.

Среди них регистратор больницы Каннинг Лидия Георгиевна – жена Павла Каннинга – сподвижника К. Э. Циолковского. Она была «старой породы», и многое пожилую дворянку и потомка декабриста роднило. Он проявлял о ней особую заботу. «Лунин производил впечатление человека общительного, раскованного, но знающего себе цену. Умел привлечь к себе внимание, но близко не подпускал: какают дистанция между ним и окружающими все время присутствовала... Ореол фамильного рока он умело сохранял», – вспоминал о нем в ту пору эвакуированный из Витебска в Суксун подросток Юрий Мороз.

Проработав некоторое время в должности хирурга, Лунин был назначен главным врачом суксунской больницы. Он решает перестроить всю больницу, добывается новых помещений для «скорой» и кабинетов врачей, делает ремонт старинных помещений. При нем в больнице был открыт физкабинет. С сотрудниками был доброжелателен и за молодых специалистов заступался и помогал. Он – заводила компании и участник любых мероприятий, которые ему были не чужды. Внешне красивый, Сергей Михайлович всегда был любим женщинами и любил повеселиться по-гусарски.

Таким он был и на Колыме. К сожалению, любовный северный роман закончился смертью любящей его женщины. В Суксуне он ни с кем из женщин не связал свою жизнь.

С первой женой Луниной Марией Александровной (1915-2002 гг.) после его ареста пути разойдутся, впоследствии она станет известным в России ученым-химиком. «Бабушка коллоидной химии» – так ласково называли её коллеги из МГУ им. М. В. Ломоносова.

Имя хирурга было у все на слуху, о нем с благодарностью многие помнят и сейчас.

Максимова Анна Михайловна, работница артели «Медник», работала у станка, и её длинные волосы однажды затянуло в ременную передачу, содрав с головы вместе с кожей. Сложную операцию по наращиванию кожи головы в суксунской больнице провел Сергей Михайлович и вылечил Анну. Она прожила 93 года!

О Луние ходили и ходят легенды. К примеру, что операции он проводил даже в лесу, на пеньке! Помнят случаи и о «нетрадиционных» лагерных методах лечения.

Из Суксуна Сергей Михайлович уехал в 1952 году. После этого он работал в Московской Боткинской больнице в отделении срочной хирургии и в санавиации. В то время некоторые жители Суксуна продолжали обращаться к нему за помощью, и он никогда не отказывал. Когда на самолете разбился академик Ландау, Лунин был в числе тех, кто «собирал» ученого. Умер Лунин в 1963 году от легочной недостаточности, даже не дожив до 50 лет».

Наталья Токарева, научный сотрудник районного краеведческого музея

Из статьи в суксунской районной газете «Новая жизнь» к 95-летию со дня рождения Лунина. Электронная версия всей статьи с фотографиями – на сайте газеты <http://raionka.perm.ru/res/fs/file3134.pdf> и в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/299126.html>

О работе Лунина в Боткинской больнице см. очерк Юрия Шапиро в данном сборнике

---

### ***О персонаже одного рассказа Шаламова***

О прототипе главного героя (можно в кавычках) рассказа Шаламова «Эсперанто» стукаче Скоросееве.

«В рассказе [«Эсперанто» – прим. составителя] делается прозрачный и недвусмысленный намёк на живого прототипа – ГОРАЗЕЕВА В.И. – о чём говорит слегка переделанная фамилия и то обстоятельство, что во время ареста именно он был зам. руководителя Московского общества эсперантистов... На самом же деле всё было гораздо «проще» и страшнее: следователи сходу брали арестованного «в оборот», выдвигали обвинение и принуждали к «добровольному» призна-

нию. При этом они заставляли арестованного назвать всех своих знакомых и оговорить их. Затем «брали» и их, а затем процесс повторялся...»

С сайта истории эсперанто в России-СССР. Здесь же отдельная страница <http://historio.ru/gorazeev.php> посвящена Владимиру Горазееву (1897-1970).

На форуме «Esperanto новости» в теме «Скорбная дата» сын Горазеева Николай приводит некоторые биографические подробности <http://e-novosti.info/forumo/viewtopic.php?t=6522>:

«Мой отец Горазеев Владимир Иванович был один из тех репрессированных эсперантистов из Москвы. После освобождения он продолжал жить в Магадане. Когда стало возможным, он стал преподавать Эсперанто в Магадане, ездил в Москву и встречался с теми, кому повезло пережить те годы. Умер он в 1970 году в станице Крепостная Краснодарского края».

Здесь же о жестоких гонениях на эсперантистов в сталинском СССР и нацистской Германии.

В письме, адресованном составителю через аккаунт в ЖЖ, Николай Горазеев <https://www.facebook.com/nik.gor.5> пишет: «Мой отец ушел на пенсию в 1956 году. Но и после этого он продолжал свою профессиональную деятельность, но уже как общественный деятель – именно так, потому что его деятельность просветителя, пропагандиста защиты природы и благотворителя была социально значима для Магадана. Курсы эсперантистов он вел бесплатно, читал лекции об охране природы, об уникальности Северной природы, обучал молодежь, выращивал и бесплатно дарил городу и горожанам уникальный посадочный материал для озеленения и обогащения личных подсобных участков новыми для северного города растениями. После него в Магаданской области стали выращивать и черную смородину, и крыжовник, и землянику крупноплодную, и многое другое. Им были разработаны и применяются до сих пор технологии пересадки крупномерных деревьев из леса на городские улицы в условиях жесткого климата Магадана. Он был одним из создателей и руководителей Магаданского отделения всероссийского общества охраны природы. Умер он, к сожалению, вдалеке от Магадана – в станице Крепостная Краснодарского края. Руководство Магаданской области и города Магадана не оказало никакой помощи для оформления его могилы или переноса тела в Магадан.

Я просто хотел уточнить некоторые факты и дать какую-то характеристику его дальнейшей деятельности. Я не знаю, знаком ли был Шаламов с моим отцом, что, скорее всего, вероятно, так как отец с начала 50-х годов вел активную общественную деятельность, несмотря на всяческие запреты. Ему повезло, что рядом с ним были понимающие люди, в том числе и ответственные руководители, которые поддерживали его. Что касается времен заключения, то это были очень тяжелые времена, особенно в первые годы, когда отцу пришлось работать на угольной шахте (именно «на», а не «в»), так как он не работал в самой шахте, а только на переборке добытого угля). Он заболел тифом и чуть не умер. Как ни покажется трагикомичным, но эта болезнь спасла ему жизнь. Был приказ Сталина закрывать полностью территории, где проявится тиф. Единичные заболевания сразу же засекречивались и не указывались ни в одних документах. В противном случае всю Колыму закрыли бы на карантин. Осенью 1941 года на это пойти никто из руководства Дальстроя и УСВИТЛа не решился. Медики сделали все, чтобы вылечить отца. После этого его еще на год оставили при подсобном хозяйстве больницы. Дальнейшее отбывание «наказания» он совершал в подсобных хозяйствах УСВИТЛа и Магаданского Горкомунотдела. Так как он работал там агрономом, то это позволяло ему не только лучше питаться самому, но и помогать другим, а кое-кого он тем самым спас от смерти».

Электронная версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/298446.html>

Интересно, что «бродячий актер» из анонимного письма в редакцию, опубликованного журналом «Посев» в 1972 году в связи с шаламовским «Письмом в ЛГ» (см. в данном сборнике), явным образом солидаризуется с Шаламовым в оценке Скоросеева-Горазеева. На Колыме, точнее, уже в Магадане, Горазеев работал по своей специальности агронома, как сказано выше, до середины пятидесятых годов.

---

**Начальник прииска «Партизан». О документальности «Колымских рассказов»**

Решил как-то провести опыт. Взять наугад один из «колымских рассказов» и посмотреть, как там в смысле документальности. Напомню, я противник видеть в «Колымских рассказах» свидетельство, на мой взгляд, свидетельство – слабая сторона КР в отличие от эстетической и философской, как документ КР не внушают достаточного доверия, чего, например, не скажешь о потрясающих мемуарах Олега Волкова «Погружение во тьму».

Взял короткий рассказ «Две встречи», полностью отвечающий условиям опыта: названы место действия и основной персонаж, не считая рассказчика, который не поименован, но стопроцентно сам автор. Персонаж рассказа – начальник прииска «Партизан» Леонид Михайлович Анисимов, бывший заключенных перчатками по лицу. Стал искать эту фамилию на различных сайтах гулаговской и дальстроевской тематики.

Сначала о прииске «Партизан». У Шаламова он назван небольшим – две тысячи заключенных. Нигде ничего о нем не нашел, кроме названия и дислокации, разве что на одном из магаданских сайтов дано его расположение на спутниковой карте и сказано [http://www.esosedi.ru/onmap/priisk\\_partizan/7081289/index.html](http://www.esosedi.ru/onmap/priisk_partizan/7081289/index.html), что «прииском Партизан не был, был командировкой на 150 заключенных», впоследствии всех перевели на Джелгалу, а от «Партизана» оставалось два барака, которые значительно позже, примерно в семидесятых, срыли бульдозером. Численность контингента заключенных, как видно, резко расходится с цифрой Шаламова.

Теперь сам Анисимов. Искал долго и нудно, нашел эту фамилию в колымском контексте только в «Архипелаге ГУЛАГ», II, стр. 100:

«Многие лагпункты известны расстрелами и массовыми могилками: и Оротукан, и ключ Полярный, и Свистопляс, и Аннушка, и даже сельхоз Дукча, но больше других знамениты этим прииск Золотистый (начальник лагпункта Петров, оперуполномоченные Зеленков и Анисимов, начальник прииска Баркалов, начальник райотдела НКВД Буров) и Серпантинка».

Итак, некий Анисимов – оперуполномоченный на прииске Золотистом, причем источник, естественно, не указан. Прииск Золотистый был ликвидирован в 1942 году. Если это Анисимов из рассказа «Две встречи», то он пошел на понижение – с начальника лагпункта до опера, что, опять же, противоречит рассказу Шаламова – по Шаламову, Анисимов после «Партизана» стал большим начальником в Западном

управлении и в Чукотстрое, сделал в Дальстрое впечатляющую карьеру.

Обратился к Западному управлению (Заплаг, Западное ГПУ и ИТЛ, Западный ИТЛ УСВИТЛа), создано в 1949 г. Среди начальников Анисимова нет <http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/r3/r3-102.htm>

Стал искать данные по начальству Чукотстроя (Чукотский ИТЛ Дальстроя), действовал с августа 1949 по июнь 1956 гг. Нашел. Анисимова среди начальников нет <http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/r3/r3-460.htm>

Конечно, интернет – недостаточный источник информации, но, как известно, в магаданский архив ФСБ историков не пускают.

В общем, все отвечало моим ожиданиям: либо никакого Анисимова не было, либо фамилия изменена, как это случается у Шаламова, все выдумано и концов не найдешь.

Совсем недавно, уже забыв об Анисимове, листал в интернете разные материалы по Колыме и наткнулся на очерк, который поисковик Гугла в свое время почему-то проигнорировал:

«ПРИКАЗ № 636

Начальника Главного Управления Строительства Дальнего Севера НКВД – СССР

«7-го» сентября 1938 г.

г. Магадан

Содержание: Об ослаблении борьбы за план и антигосударственной практике работы ряда приисков Северного и Южного Управлений.

[...]

7. Нач. прииска Партизан АНИСИМОВУ, главному инженеру НАГОРНОМУ, имеющим все возможности выполнять план и резко снизившим добычу металла, доказывающим, что нет металла, ОБ"ЯВИТЬ ВЫГОВОР, обязав немедленно прекратить позорную работу и срыв плана металлодобычи, бороться за план, организуя работу».

Из подборки документальных материалов по лагерям Колымы в очерке Александра Кинко «Хозяин Синего Пламени» <http://www.proza.ru/2010/03/20/1199>



Выясняется, что рассказ «Две встречи» абсолютно документален. Анисимов появляется на «Партизане» в качестве начальника прииска зимой 1937/38 гг., а в сентябре ему объявляют выговор за срыв плана золотодобычи.

Публикую результаты эксперимента, не меняя, впрочем, своего отношения к документальности КР в целом.

---

---

*Александр Городницкий. Стихи Шаламова в ленинградской студии в 1947 году?*

«Глеб Семенов [Глеб Сергеевич Семенов, поэт, руководитель ленинградских поэтических объединений – прим. составителя] как мог воспитывал в нас вкус. А мог он многое. Человек с прекрасной памятью, родом из старой ленинградской интеллигентской семьи (мать, Елена [Наталья – прим. составителя] Георгиевна, была когда-то актрисой, а отец – известный писатель Сергей Семенов), он обладал тонким и безошибочным литературным вкусом. Прежде всего он читал нам наизусть множество стихов авторов, о которых мы, тогдашние жертвы полуобразованщины и усеченных школьных программ сталинской эпохи соцреализма, попросту ничего не знали. Только спустя много лет я понял, как рисковал Семенов, называя нам многие запретные тогда имена и читая стихи, в ту пору не печатавшиеся. Ведь на дворе был 1947 год. Помню, как-то он прочел нам на занятии строчки неизвестного (так он сказал) автора, которые я запомнил с первого раза наизусть:

В глубокой выработке, в шахте,  
Горю с остатками угля.  
Здесь смертный дух, здесь смертью пахнет,  
И осыпается земля.

Последние истлеют крепи,  
И рухнет небо мертвеца,  
И превращаясь в пыль и пепел,  
Я домечтаю до конца.

Я лишь на миг тебя моложе, –  
Пока еще могу дышать:  
Моя шагреновая кожа, –  
Моя усталая душа.

«Чьи это стихи?» – спросил кто-то из нас. Глеб Сергеевич по своей привычке многозначительно поднял брови и ничего не ответил. Только год назад, прочтя подборку в одном из толстых журналов, я узнал, что автор этих «безымянных» полюбившихся мне стихов был Варлам Шаламов, сидевший в то время в колымских лагерях. Как стихи эти добрались до Глеба Сергеевича в то время?

Понимал ли он, что играет с огнем – ведь вход на занятия был практически открытый? Видимо, понимал, но миссионерский свой долг понимал еще лучше».

Из воспоминаний поэта и барда Александра Городницкого «И вблизи и вдали», М., «Полигран», 1991 г., на портале И. Л. Викентьева <http://vikent.ru/enc/4163/>

---

Александр Городницкий, биографическая справка  
<http://moswriter.ru/add.php?id=567>

---

«Первым ЛИТО [литературным объединением – прим. составителя], появившемся в послевоенном Ленинграде, считается литературная студия при Дворце пионеров имени Жданова. Студией, или «Лицеём», как называли ее, вкладывая в это особый, «пушкинский» смысл, сами студийцы, руководили Давид Яковлевич Дар и Глеб Сергеевич Семенов».

Наум Синдаловский, «Фольклор внутренней эмиграции», журнал «Нева», №7, 2013. Электронная версия на сайте Журнальный зал <http://magazines.russ.ru/neva/2013/7/13s.html>

От составителя

Насколько я помню, стихи Шаламов начал записывать в 1949 году на лагпункте Дусканья, а передал их с Еленой Мамучашвили Пастер-

наку в феврале 1951-го. Откуда Семенов в 1947 году мог знать, во всей вероятности, еще и не записанное стихотворение «В закрытой выработке, в шахте...»? Рассказанное Городницким определенно смахивает на миф.

---

### ***Об одном неопознанном колымчанине***

Из письма Шаламова Аркадию Добровольскому, Туркмен, 13 августа 1955 г. («Новая книга», 2004):

«Вале [Валентину Португалову\*], пожалуйста, передайте привет. Получил ли он мои записочки в Мяките? [...] Очень доволен вашей оценкой Петрова<sup>19</sup>, который настолько мне был антипатичен с первого взгляда, что я в свое время и знакомиться с ним отказался. А случайно увидев его стихи у Кундуша, укрепился в решении не тратить ни одной минуты на знакомство с этим растленным типом. [...]

Лоскутов мне написал два письма, но что-то давно не получаю».

*\* От составителя. Валентин Валентинович Португалов (1913-1989), поэт, переводчик, свой срок отбывал на Колыме. Там, в Центральной больнице, познакомился с Варламом Шаламовым. Уже в 1950-е (из дневников Александра Gladкова – в 60-е), в Москве познакомил Gladкова с Шаламовым.*

19 Петров – неустановленное лицо».

Я его установил, этого Петрова, он же Петров-Агатов, персона странная, сомнительная и в истории диссидентского движения довольно известная.

«В декабре 1973 г. из Владимирской тюрьмы на 19 лагпункт прибыл Александр Александрович ПЕТРОВ-АГАТОВ (АГАТОВ – литературный псевдоним). В прошлом ПЕТРОВ-АГАТОВ был коммунистом, руководящим работником Ставропольского крайкома партии. Он является автором текста известной песни «Темная ночь» (из кинофильма «Два бойца»). В 1947 г. за несколько критических замечаний в

адрес СТАЛИНА ПЕТРОВ-АГАТОВ был обвинен в антисоветской пропаганде и в июне 1948г. Особым совещанием приговорен к лишению свободы. 5 раз бежал из лагерей. Каждый побег квалифицировался как контрреволюционный саботаж; за каждый побег ему давали новый срок. В 1956 г. ПЕТРОВ-АГАТОВ был освобожден и реабилитирован. После освобождения ПЕТРОВ-АГАТОВ работал референтом министра культуры Чечено-Ингушской АССР. Широко печатался. Его песня «Чечено-Ингушетия моя» стала чем-то вроде гимна республики. В 1960 г. ПЕТРОВ-АГАТОВ был снова арестован. Освободился в 1967 г. Обстоятельства этого дела неизвестны. После второго освобождения ПЕТРОВ-АГАТОВ писал и переводил. Ему принадлежит много переводов стихов ЯНДИЕВА, Раисы АХМАТОВОЙ, Ахмета ВЕДЗИЖЕВА, МУТАЛИЕВА. Он переводил почти всех чеченских и ингушских поэтов. В 1967 г. в журнале «Простор» был напечатан цикл его собственных лирических стихов, в 1968г. в журнале «Нева», № 3 – еще одна подборка его стихов. В № 8 журнала «Нева» за 1968 г. была напечатана его повесть «Тайна старого костела». 26 июля 1968 г. ПЕТРОВА-АГАТОВА снова арестовали. В обвинительном заключении по его делу было сказано: «26 июля 1968 года Управлением КГБ при СМ СССР по г. Москве и Московской области за проведение антисоветской агитации арестован ПЕТРОВ А.А. Произведенным по делу расследованием установлено, что ПЕТРОВ с 1943г. писал, хранил и распространял различные стихи антисоветского содержания... В дальнейшем ПЕТРОВ А.А. написанные в 1943-53гг. стихи антисоветского содержания переписал в записные книжки и хранил их с целью последующего распространения. В 1968г. ПЕТРОВ... составил рукописный сборник, озаглавив его «Песни надежды и веры». В свой рукописный сборник ПЕТРОВ включил антисоветские стихи, написанные им в 1943-53 гг., в которых содержатся клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, а в стихотворениях «К Богу» и «Соединенные Штаты Америки», «Президенту Джонсону», кроме того, содержатся призывы к свержению Советской власти... В июле 1968г. он, кроме того, написал текст антисоветского содержания под названием «Послесловие»... Приговор – 7 лет (по ст.70 УК РСФСР).

В лагере ПЕТРОВ-АГАТОВ написал документальную повесть мемуарного характера «Арестантские встречи». Повесть и несколько стихотворений из сборника «Песни надежды и веры» («Колымский тракт», «К Богу», «Двадцать шесть», «Меч Гумилева») были напечатаны на Западе. В ноябре 1970 г. ПЕТРОВ-АГАТОВ был отправлен на 3

года во Владимирскую тюрьму. В декабре 1973 г. он прибыл на 19 лагпункт».

Не знаю, что в этой справке из выпуска 33 (10 декабря 1974 г.) <http://www.memo.ru/history/DISS/chr/XTC33-7.HTM> «Хроники текущих событий» правда, а что записано со слов Петрова-Агатова, к показаниям которого следует относиться с большой осторожностью.

Андрей Синявский, сидевший с ним в лагере, рассказывает о нем в очерке «Темная ночь», опубликованном в журнале «Синтаксис», №1, 1978. Отрывок:

«Был даже такой эпизод накануне Дня Победы, 9-го мая. Явился пьяный надзиратель в БУР и спросил:

– А кто тут из вас написал «Темную ночь» ?

– Я! Я эту песню написал, – вскинулся Агатов.

– Ну так вот – тебе амнистия ко дню Победы. Начальник лагеря приказал. Выходи на сутки раньше – в зону.

И Петров-Агатов вышел из БУРа за песню «Темная ночь», которая полюбилась начальнику, вышел в обитую зону, и об этом рассказывал, смеясь и плача:

– Помиловали!.. За старую мою песню об Отечественной войне...

Темная ночь, только пули свистят по степи,

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают...

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,

И у детской кровати тайком ты слезу утираешь...

...И вот пророк сменил пластинку. На старости лет, еще раз, в последний раз, Петров-Агатов прозрел. Он закладывает товарищей, с которыми провел лучшие годы своей жизни. Плача и плача (как сказано в одном японском средневековом романе), он рубит им головы. «Литературная газета», «Неделя» радостно подхватывают его обличительные очерки о советских диссидентах».

Выясняется, однако, что авторство песни он себе приписал:

«Наводя параллельно справки о студентах Литинститута, оказавшихся не по своей воле на Колыме, я наткнулся на письмо более чем сорокалетней давности. Неизвестный корреспондент, фамилии которого я не сумел разобрать, писал Валентину Португалову из Грозного, где он работал референтом местного министра культуры, о своем вполне сносном житье-бытье и предлагал прислать в колымский посе-

лок Ягодное фрукты. Меня это письмо заинтересовало тем, что его автор был знаком с В. В. [Португаловым – прим. составителя] еще по лагерю и что теперь он занимается литературным трудом: «Печатаюсь. Больше – переводы с чеченского и ингушского. Сделал два-три текста для песен. Поют». А не из тех ли он студентов Литинститута (о «Темной ночи» я тут и не вспомнил), которых я ищу? Но как узнать фамилию?

«Ключ» нашелся в тексте письма. Его автор спрашивал Португалова об общих знакомых, бывших заключенных: враче Лоскутове, кино-сценаристе Добровольском и некой Лиле – «Последняя меня особенно интересует».

Елена Евгеньевна Орехова, вдова А. З. Добровольского\*, моя старая и добрая знакомая, которой я послал ксерокопию этого письма, уверенно назвала его автора – Александр Петров. С этим человеком у нее связаны горькие воспоминания, и отзывалась Елена Евгеньевна о Петрове весьма нелицеприятно: был такой заключенный на Левом берегу, ранее судимый за уголовное преступление, писал стишки, выдавал себя за Агатова, автора «Темной ночи», в числе знакомых афериста были находившиеся там же в это время (конец сороковых) Шаламов и Португалов...

Миф, очевидный для тех, кто находился у его истока, тем не менее просуществовал не один десяток лет и даже попал на страницы печатного органа.

Он еще раз всплыл на поверхность в самом неожиданном месте – в книге известного литератора Юлия Даниэля, осужденного в 1966 году вместе с Андреем Синявским, – «Я все сбиваюсь на литературу» («Звенья», М., 2000). У Ю. Даниэля в письме из лагеря от 22.02.70 есть такая фраза: «Да, еще одна «надпись» появилась – «Надпись на пластинке «Темная ночь».

А. Ю. Даниэль, сын писателя и составитель книги, комментируя эту фразу, писал:

«Текст этой «Надписи» не сохранился. Легко, впрочем, предположить причину ее возникновения: еще в Мордовии до Ю. Д. доходили приветы от А. А. Петрова-Агатова, отбывавшего срок на 3-м л/о в пос. Барашево. Александр Александрович Петров-Агатов (1921-1986), поэт и переводчик, член Ленинградского отделения Союза писателей, в 1969 г. был осужден за «антисоветскую» пропаганду (по его словам, за стихи) и приговорен к 7 годам лагерей. Про него в лагере ходили слухи, активно поддерживаемые им самим, что он – автор текста знаменитой лирической песни «Темная ночь» (на самом деле авторство принадлежит поэту В. Агатову). Впоследствии, уже на свободе, опублико-

вал в ЛГ (1977, 2 февраля) статью-донос на А. И. Гинзбурга (известный в то время диссидент, недавно умер в Париже. – А.Б.). Еще позднее был арестован и осужден по уголовному обвинению; умер в заключении» (указ. соч., с. 845).

Такая вот странная судьба выпала этому человеку».

Александр Бирюков, «Колымские истории. Безумный марш под знаменем Ленина» на сайте автора Белый мамонт [http://www.belmamont.ru/index.php?action=call\\_page&page=product&product\\_id=343](http://www.belmamont.ru/index.php?action=call_page&page=product&product_id=343)

*\* Орехова-Добровольская. Знакомая Шаламова по Колыме, см. ее воспоминания в данном сборнике*

В действительности автором песни «Темная ночь», исполнявшейся в фильме «Два бойца» Марком Бернесом, является Владимир Гариевич Агатов (Вэлвл Исидорович Гуревич), советский поэт-песенник (1901-1966) и тоже лагерник (1949-56 гг.).

Об истории статьи-доноса Петрова-Агатова на Александра Гинзбурга и о самом этот типе см. в главе двадцатой книги Пола Голдберга «Заключительный акт. Драматическая история Московской Хельсинкской группы» <http://topreferat.znate.ru/download/pdfview-10646/10646.doc>

Очерки Петрова-Агатова «Арестантские встречи» были напечатаны в НТС-ском журнале «Грани», № 82, 1971 год.

Наличие таких людей в диссидентском движении и либеральных кружках и провоцировало Шаламова на высказывания вроде того, какое приводит в своих мемуарах Сиротинская: «„ПЧ“ [«прогрессивное человечество», саркастическое выражение Шаламова по отношению к либеральной интеллигенции и диссидентам – прим. составителя ] состоит наполовину из дураков, наполовину – из стукачей, но – дураков нынче мало». Хотя мне кажется, Петров-Агатов при его эксцентричности и придурковатости был куда менее опасен, чем настоящие мастера мимикрии и двурушничества.

## *Юрий Шапиро. Колыма после Шаламова*

«О Шаламове я впервые услышал от Павла Елагина, поэта по призыванию, медстатистика Нексиканской больницы. [...]

Как-то, наслушавшись его рассказов о человеческих судьбах, я спросил его: «Почему вы не опишите всё то, о чём рассказали мне?». «Зачем, ответил он мне, всё равно никто никогда не опубликует такие воспоминания». В те годы это было резонно. «Неужели никто и никогда не узнает о том, что на самом деле довелось пережить миллионам людей на Колыме?». «Читал я в лагере рассказ о этой правде. Сидел я в Сусумане с одним вечным каторжником, Варлаамом Шаламовым, который чуть ли не с двадцатых годов скитался по тюрьмам и лагерям – он писал о пережитом. Помяните моё слово, вы когда-нибудь услышите его фамилию». Услышал я её вскоре, во время поездки в Адыгалах, на дорожную командировку, где в фельдшерском пункте работал Шаламов.

Его я там не застал, к тому времени он уехал на материк. Я побывал в домике, где он организовал фельдшерский пункт – он блистал чистой, и в нём всё сохранилось в том виде, какой был при Шаламове. Спустя годы я прочитал «Колымские рассказы» и вспомнил слова Павла Елагина. Один из рассказов называется «Афинские ночи». В нём речь идёт о докторе Докторе, начальнике лагерной санчасти. Он причастен к многим чёрным делам, которые творились на Колыме. После его увольнения из лагеря он стал начальником курорта Талая в то время, когда там работал мой отец. Я говорил о том, что он писал на отца доносы в МГБ, надеясь отправить в лагерь отца и мать, и преуспел бы в этом, если бы не смерть Сталина. Исключённый из партии Доктор уехал в Москву и несколько лет работал в больнице Боткина, откуда перешёл в 47 больницу незадолго до моего поступления в ординатуру; когда я услышал его фамилию и захотел посмотреть на этого мерзавца в Боткинской больнице, его уже не было. Как-то я разговаривал с приятелем, нейрохирургом, знавшим Доктора. «Милейший человек, – ответил мне мой приятель, – обязательный, позволяет себе слегка фрондировать, беспартийный». «Будешь беспартийным, если тебя исключат из партии. Что же до того, что он милейший человек, то почитай Шаламова». Я рассказал ему о роли Доктора в судьбе моего отца. Приятель только развёл руками. [...]



«Начальником курорта был подполковник Доктор, крупная сволочь, сделавший себе карьеру в НКВД и ГУЛАГе. Его превосходно описал Варлаам Шаламов в «Колымских рассказах» в новелле «Афинские ночи». Из лагерной системы его, как еврея, убрали и друзья пристроили его на тёплое место. Он быстро смекнул, что можно воспользоваться плодами отцовского труда и выдать их за свои. Вызвав отца, он приказал ему на отчёте, который ежегодно посылался в Магадан, прописать его фамилию. Отец отказался.

Тогда Доктор поставил на отчёте гриф «секретно» и таким образом лишил отца доступа к его же работе. Затем он решил избавиться от него самым простым и доступным ему способом – посадить его. Спустя несколько лет я узнал, что шаги в этом направлении он предпринял. Спасла отца смерть Сталина – в разгар «дела врачей» вступиться за отца никто бы не стал. После смерти Сталина спасти нужно было Доктора, его выгнали из органов и исключили из партии. По странному стечению обстоятельств, одним из мотивов его исключения из партии была попытка расправиться с отцом. Мне об этом рассказал Николай Яковлевич Новокрещенов, бывший членом бюро обкома партии, знавший моего отца и меня. Мы ехали с ним и будущим заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС Севруком на прииск «Мальдяк», и он подробно рассказал мне о всех перипетиях этого дела. Это был тот несчастный случай, когда справедливость восторжествовала и зло было наказано. Доктор уехал в Москву, несколько лет работал в Боткинской больнице, где все его считали очень милым человеком. Перед моим приходом в Боткинскую больницу он перешёл в 47 больницу. Через несколько лет он умер. На его совести тысячи человеческих жизней».

«Врачом-терапевтом работал Владимир Онуфриевич Мохнач. Несмотря на более чем шестидесятилетний возраст и пятнадцатилетнее заключение, он был строен, подтянут, аккуратен. Я любил бывать у него и часами мог слушать его рассказы. В 1937 году он, биолог по образованию, был директором одного из институтов Академии Наук во Владивостоке. В числе многих он был арестован. [...]

Мохнач был настоящим учёным. Работая врачом в лагерной больнице, он постоянно сталкивался с больными алиментарной дистрофией и пеллагрой, сопровождающихся профузными поносами. Однажды он опрокинул на свой хлебный паёк пузырёк с йодом. Пришедший на приём к нему больной дистрофией заключённый схватил этот кусок хлеба и съел. Совершенно неожиданно в его состоянии наступило резкое улучшение. Владимир Онуфриевич понял, что дело заключается в

расщеплённом йодом крахмале. Он начал поить больных крахмальным клейстером, добавляя в него йод. Результаты были поразительными. Много лет спустя, будучи уже свободным человеком, он запатентовал своё открытие.

Вернувшись в Ленинград он стал заведовать лабораторией, получил звание профессора. Несколько раз о нём писали центральные газеты».

«Сергей Михайлович [...] работал на общих работах в забоях, заболел силикозом, тяжёлой формой бронхиальной астмы. Его заметил Яков Соломонович [Меерзон], забрал в санчасть лагеря и начал учить. Вскоре Лунин был переведен в больницу левого берега. После освобождения и реабилитации он уехал в Москву, экстерном сдал государственные экзамены в институте и был принят на работу в больницу им. Боткина. Я познакомился с ним, когда учился в клинической ординатуре. [...]

Сергей Михайлович Лунин встретил меня настороженно, хотя внешне относился ко мне хорошо. Однажды ко мне подседа его любовница Галя Д. И начала меня уговаривать рассказать ей всё, что я о нём знаю. Я ответил ей, что у нас с ним был один учитель и что на Колыме о нём помнили, как о хорошем хирурге.

Она отстала от меня, но в его отношении ко мне было что-то такое, чего я понять не мог. Через много лет, уже после смерти Сергея Михайловича, прочитав рассказ В. Шаламова «Потомок декабриста», я понял, в чём было дело. Сергей Михайлович опасался, что я посвящён в то, о чём написал Шаламов, и боялся, что я могу поделиться с кем-нибудь из боткинцев своим знанием. Я действительно ничего не знал о той постыдной истории, в которой он был главным действующим лицом, да если бы и знал, то не стал бы делиться этим ни с кем. Сергей Михайлович был очень больным человеком, на Колыме он заболел силикозом, у него развилась тяжелейшая бронхиальная астма, и я помню его в клубах табачного дыма – курил он беспрерывно, задыхаясь от частых астматических приступов. Оперировал он очень хорошо».

Из статьи «Перечитывая Шаламова», опубликованной на сайте автора <http://shapiroyv.ru/qsc> и на сайте Псевдология <http://www.pseudology.org/evrei/shapiroyv.Pdf>

### *Петр Демант. Суд над Аркадием Добровольским, пос. Ягодное, 1957*

Аркадий Добровольский – кинорежиссер, лагерный товарищ Шаламова, с которым тот поддерживал переписку на протяжении 1955-59 гг. С 1937 по 1953 Добровольский отбывал на Колыме два срока, после чего, пораженный в правах, остался жить и работать вольнонаемным в поселке Ягодное. Летом 1957-го вновь арестован по 58-й статье и освобожден только осенью следующего года. Шаламов с большой тревогой следил за судьбой товарища через его жену, Елену Орехову – новое судилище, особенно после кровавого подавления Венгерской революции, не без оснований казалось ему регрессией к сталинизму, от которого пытается отмежеваться Хрущев.

Демант, наблюдая очередной расправу над Добровольским вблизи, описывает ее в свойственной ему иронически-приземленной манере, что, конечно, не должно обманывать относительно участи, грозящей арестованному по 58-й статье с двумя сроками по той же статье за плечами. В письмах Шаламову Ореховой того времени звучит подлинное отчаянье: «...невыносимо тяжело, как подумаешь о том, что 17 лет ни за что человека таскали (и какого человека), отнято здоровье, жизнь отнята, а теперь что же – и умереть в тюрьме?»

Рассказ Деманта интересен, кроме прочего, тем, что позволяет увидеть людей и события Колымы на пересечении взглядов Шаламова и другого человека, что во всей полноте проявлено, например, в мемуарах Бориса Лесняка.

Вот образец «краснобайства» Добровольского, на которое ему пеняет Демант, действительно чреватого в тех условиях:

«Пришел я в УРЧ, там дают расписаться в окончании срока и... и пролонгации нет, идете на вольный поселок.

Я вышел, как в тумане, и первый, кто меня встретил и поздравил, был Аркадий Добровольский. Это был большой умница, красавец, интеллект которого подымался над общим уровнем, человек необыкновенной судьбы, просидевший в лагерях три срока. В последующей моей жизни он играл большую роль, но тогда был мне мало знаком. Он обнял меня и сказал: «Алексей, сегодня ты из маленькой зоны переходишь в большую». Это была горькая правда...»

Из воспоминаний Алексея Яроцкого «Золотая Колыма» <http://www.booksite.ru/fulltext/3sh/ala/mov/23.htm>

---

«Летом 1957 года Ягодное всколыхнула сенсация – дело Добровольского. Этого человека я еще в лагере не раз встречал.

...В середине тридцатых молодой украинский «писмэнник» имел большие перспективы: красивый краснобай с атлетической фигурой и ласковыми карими глазами производил неизгладимое впечатление на прекрасный пол. По его сценарию был поставлен фильм «Трактористы», который перед войной имел шумный успех. Но, увы! Когда фильм вышел на экран, его автор уже сидел на пересылке в Находке и ожидал отправки на Колыму.

В лагере ему сначала было очень тяжело, как и прочим «троцкистам», но он сумел выкрутиться, устроившись на фельдшерские курсы. На Левом Берегу, куда с двадцать третьего километра перекочевала Центральная УСВИТЛовская больница, он привлек внимание заведующей химлабораторией, некоей Матильды, интеллигентной дамы, которую арестовали накануне докторской защиты. Сделавшись ее близким другом, Аркадий Захарович получил место фельдшера в морге – работа по-колымски непыльная. Ему дали дневальную, чтоб готовила и стирала, и жил он там кумом королю.

В морге Добровольский принимал своих близких друзей – больница была отстойником интеллигентных и образованных лиц, которые всеми правдами и неправдами старались в ней зацепиться. Среди них выделялись известный писатель Варлам Шаламов, крупный химик Мохнач – изобретатель синего йода, железнодорожный инженер Яроцкий, посаженный за то, что на каком-то совещании не согласился с мнением Кагановича, бакинский журналист, фантазер и фотограф «от бога» Асир Сандлер и другие, жизнь каждого из которых могла бы послужить сюжетом для потрясающего романа. Когда этих людей разогнали, определив их в Берлаг, Добровольский, которого Иван Суржиков не без основания назвал «политическим блатным», изловчился избежать этапа на наш «Днепровский», однако позже оказался таки на руднике «Холодном», но скоро благополучно оттуда освободился.

Имея много друзей, как на Колыме, так и на Украине, притом известных и влиятельных, он немедленно устроился в Ягодном, сперва заведующим угольным складом, а затем главою пекарни. Ездил в Магадан и женился там на лагерной подруге Елене Ореховой, чей грех состоял в том, что она была в оккупации и ей нравилось, как немецкие офицеры целовали ее ручку. Подвизаясь на хлебном месте, Аркадий

Захарович построил себе небольшой домик и начал принимать гостей, будучи человеком компанейским и любителем вести дискуссии, что с самого основания социалистического государства считалось дурной привычкой и привело не одного неосторожного простофилю на Колыму, а иногда и в могилу.

Среди его гостей было несколько завсегдатаев: известный боксер и художник Яков Высоцкий, бывший фронтовик геолог Кубатьян и среди других также красавец Миша С. Аркадий любил откровенничать, после XX съезда ему казалось, что наступил час свободы, и поплатился за свое легковерие! Уполномоченный КГБ Жалков решил по «старому доброму» правилу «создать» у себя в районе «контрреволюционную группу», чтобы за ее «разоблачение» получить впоследствии повышение и орден, и начал собирать на красная компромат. Нашлись и лжесвидетели. Миша С. вначале отказался подписывать ложные обвинения, но Жалков предупредил:

– Вашей жене скоро рожать – каково ей будет с младенцем без мужа? Пахнет «червонцем»! Вы к тому ж числитесь у нас немецким шпионом, членом «Цеппелина»...

И Миша сдался. А Яша Высоцкий, у которого недавно появился второй ребенок, отказался от подписи, и его тоже взяли – слабая, конечно, «группа», всего двое, но что поделаешь?..

Таскали всех гостей в «хитрый домик», некоторые сдались, другие «откалякались». Меня тоже вызывали, я, признаться, здорово напугался, ведь на волю вышел не так давно. Но притворился дурачком, сказал, что Добровольского никогда всерьез не воспринимал, раз он, катаясь на велосипеде, слушает на ходу музыку, да и не так часто бывал у него.

На суде, проходившем в Доме культуры, собрался весь партийный актив. Приговор, конечно, был предreshен, но Добровольский отлично защищал себя, вгоняя в пот магаданского прокурора. А Кубатьян...

Судья прочитал свидетельство армянина: «Когда по радио диктор упомянул фамилию товарища Хрущева, обвиняемые обменивались знаками и улыбались...» Высоцкий сразу же спросил Кубатьяна: «Скажи, Вазген, какими знаками мы обменялись с Аркадием? Рты передернули или что-то пальцами показали? Ну, улыбались мы всегда, это правда...» Кубатьян не выдержал: «Я отказываюсь от своего свидетельства! Не было ничего такого! Мне Жалков голову морочил!» – «Вы же подписали ложное свидетельство, – всполошился судья, – подумайте!» – «Я и подумал, не хочу клеветать на честных людей!» – кричал Кубатьян.

А Жалков ерзал в первом ряду, злой как черт. К Кубатьяну после суда подошел первый секретарь РК:

– Что же, отобрать у тебя партбилет?

– За то, что сказал правду? – огрызнулся тот.

Больше ему никто ничем не угрожал.

Высоцкому дали шесть лет, Добровольскому, как «духовному отцу группы» и ввиду его «троцкистского прошлого» – восемь. Готовый приговор принесли через несколько минут после выступления судьи – все было заранее отпечатано.

Яшу этапировали на прииск «Ветренный», что недалеко от озера Джека Лондона. «Политический блатной» Добровольский попал в магаданскую внутреннюю тюрьму – «Дом Васькова», у него вдруг обнаружили множество болезней.

Во время очередного партийного съезда кто-то из московских друзей Аркадия сумел передать Хрущеву прямо в руки подробное описание позорного процесса. Через несколько дней в Магадан прилетел заместитель главного прокурора СССР – знакомые Добровольского немало удивились, увидев его на улице в компании сердитого начальника в черной форме.

На «Ветреном» же, единственном лагпункте с «политическими», произошло ЧП: начальник режима был старой довоенной школы и так крепко нажал на «контриков», что они его избили до полусмерти, и весь произвол всплыл наружу, тем более, что прокурор из Москвы оказался тут как тут.

Добровольского и Яшу привезли в Ягодное, где состоялся пересуд. Теперь все завертелось наоборот: лжесвидетелей быстро разоблачили, и после обеда оба арестанта вышли на свободу, поприветствовав за руку лишь Кубатьяна. Яша вечером уехал на охоту, а рано утром вернулся с убитым медведем. Добровольский, которого незадолго до суда реабилитировали, сняв обвинение в троцкизме, собрался и уехал в Киев, где получил квартиру и был восстановлен в Союзе писателей Украины. Там он написал сценарий к военному фильму, сошелся с известной украинской поэтессой, но через год, после возвращения жены и сына, захворал. Его здоровье действительно оказалось подорванным – он лежал в больнице, сломал там шейку бедра и вскоре умер, так и не реализовав всех своих литературных возможностей».

Петр Демант (Вернон Кресс), «Мои три парохода», электронная версия на сайте Колыма и колымчане

[http://photo-kolymy.ucoz.ru/\\_ld/0/35\\_1Oo.doc](http://photo-kolymy.ucoz.ru/_ld/0/35_1Oo.doc)

---

## *Еще об Андрее Максимовиче Пантюхове*

Я уже рассказывал в блоге, посвященном Шаламову, о докторе Пантюхове <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/34475.html>. Напомню, Пантюхов – один из немногих, о ком Шаламов впрямую говорил, что обязан им на Колыме жизнью. Не считая врача Федора Лоскутова, по рассказам Елены Ореховой-Добровольский своим авторитетом у уголовников спасшего Шаламова от расправы (о чем тот не знал), это – Нина Савоева, Борис Лесняк и Андрей Пантюхов, снявший Шаламова с этапа в Сусумане и направивший в Магадан на курсы фельдшеров, что позволило ему выжить. Савоева и Лесняк написали воспоминания, от Лоскутова в архиве Шаламова сохранилось много писем, включая автобиографию, имеются и другие источники, а вот о Пантюхове неизвестно почти ничего: немного у самого Шаламова и столь же немного в мемуарах Лесняка и Савоевой.

Как протекала жизнь Андрея Максимовича Пантюхова после Колымы?

Все, что я смог отыскать – ниже. Это, конечно, крохи, но пусть будут хотя бы крохи.

Кое-что о своей послелагерной жизни Пантюхов рассказывает в единственном опубликованном его письме Шаламову от марта 1961 года, а письмо это не единственное – Шаламов пишет в воспоминаниях [О Колыме]: «У меня есть личные письма Пантюхова, несколько его печатных работ». Живет он в Павлодаре, северный Казахстан, работает врачом-терапевтом в областной больнице, одновременно заведует отделением гельминтологии местной санэпидстанции и проводит исследования для института медицинской паразитологии. По работе довольно часто бывает в Москве, в Павлодаре уже 11 лет, прижился. Вот кратко и все.

Дополнить могу немногое.

Прежде, чем перейти на работу в стационар, Пантюхов заведовал областной станцией скорой помощи. «Впервые отделение скорой ме-

дицинской помощи было организовано в 1952 году при областной больнице. Заведующим в нем стал Пантюхов Андрей Максимович. В отделении был развернут один круглосуточный врачебный пост».

Сайт павлодарского департамента здравоохранения добавляет: «Служба скорой помощи состояла из одного врачебного поста и автомашины Газ-АА. На скорой работали позднее ставшие заслуженными врачами Казахской ССР – Султанов Галим Ташимбаевич, Пантюхов Андрей Максимович, будущий кандидат мед. наук».

Значит, Пантюхов все-таки защитил диссертацию. Шаламову он пишет, что в ходе исследований набрал материала, которого «более чем достаточно для оформления как кандидатской диссертации. Но, – замечает он, – дело в том, что защищать канд. диссертацию мне, собственно, незачем. (Разве что ради удовлетворения личного тщеславия, а мне это не нужно)». Оказалось, все-таки нужно, капля «тщеславия» у Пантюхова нашлась. Кроме того, получил звание заслуженного врача республики, оказалось, зря гноили на Колыме, вполне достойный человек.

Описторхоз, которым помимо своей обычной врачебной практики занимался Пантюхов – это, как сказано в справочнике, заболевание, вызываемое мышечными паразитами, а точнее, «червями из рода *Opisthorchis*.[...] Распространён на территории России, Украины, Казахстана и стран Юго-Восточной Азии. Заражение происходит при поедании плохо обработанной рыбы семейства карповых, характеризуется поражением печени и поджелудочной железы».

Неудивительно поэтому, что одна из научных работ Пантюхова (1965) называется «Динамика зараженности рыб р. Иртыша...». Кроме того, он автор статьи «Некоторые вопросы эпидемиологии описторхоза в Павлодарской области», опубликованной в специальном медицинском сборнике, и соавтор брошюры «Описторхоз», выпущенной в 1970 году издательством «Кайнар», Алма-Ата.

Некоторый итог профессиональной деятельности Пантюхова как паразитолога подводит упоминание о нем в одной монографии: «Широкие мероприятия по борьбе с инвазией в Казахстане были развернуты А. М. Пантюховым в Павлодарской области, где удалось заметно снизить уровень пораженности населения описторхозом».

Вот, пожалуй, и все, что удалось найти в интернете об Андрее Максимовиче Пантюхове. Остались ли у него родственники, сохранились ли его бумаги или хотя бы фотография, мне неизвестно. Письма его могут и даже должны (по пунктуальности адресата) храниться в архи-



ве их общего с Шаламовым друга Бориса Лесняка – и Шаламов в них фигурирует обязательно, Лесняк пишет об этом, – но у кого архив Лесняка и Савоевой, мне тоже неизвестно. Собственно говоря, вся статья о том, что мне неизвестно и что бы хотелось знать. Доктор Пантюхов того заслуживает.

Все относящиеся к статье гиперссылки см. в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»

<http://ru-prichal-ada.livejournal.com/251141.html>

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a final upward stroke.

## 101-й километр

### *Туркмен и Озерки, среда обитания*



Барак для сезонных рабочих пятидесятых годов. В одном из таких барачков и жил Шаламов, работая – «с отвращением» – товароведом и экспедитором на Озерецко-Неплюевском предприятии в 1953-54 гг. Селиться ближе 101-го километра от Москвы ему запрещалось.

Фото из клинской газеты «Серп и молот» от 28 июня 2012 г.  
<http://www.klin-serpmolot.ru/userdata/archive/1340886379.pdf>

Работник Клинского краеведческого музея Лариса Соловьева рассказывает, что представляли собой тогдашние Озерки, набитые сезонным рабочим людом: «Поселок в то время имел неуютный вид и носил временный характер. Дороги отсутствовали, непролазная грязь, отсутствие всякой культуры...

Столовая, магазин-ларёк, медпункт и всё...

Здания поселка были крайне неприглядными. В досчатом сарае ютилась механическая мастерская с одним кузнечным горном и двумя тисками».

Библиотека, по словам Шаламова, «очень плохая», и живет он «таким медведем».

Летом 1954-го Шаламов переехал работать в соседний поселок Туркмен, где условия были не лучше, зато библиотека оказалась выше всяких похвал, ее, как выяснилось, некогда лично комплектовал глав-

ный инженер предприятия, ссыльнопоселенец Караев. Книжки и отлучки в Москву делали эту жизнь для Шаламова выносимой и давали (каким уж образом, непонятно) писать стихи и рассказы.

---

«Тринадцать малоэтажных жилых домов вскоре будут сданы в Клинском муниципальном районе, и кто назовёт эту цифру несчастливой? Во всяком случае, не жители домов без удобств, газа и воды, какие есть, например, в посёлке Туркмен, где практически ничего не изменилось ещё со времён, когда после лагерей и до реабилитации селились люди, которым позволялось приближаться к столице не ближе 101 километра. Там, кстати, жил писатель Варлам Шаламов.

– Дома барачного типа, аж страшно туда заходить. Было торфопредприятие, для его работников строили, – рассказывала Анна Степанова, после техникума 42 года на этом предприятии проработавшая сначала мастером, потом начальником участка и, наконец, председателем профкома. – Там же никаких удобств! Есть дома двухэтажные – потаскай-ка воду и дрова на второй этаж! Отопление-то печное...»

Алексей Сокольский, «Переезд со старых мест», клинская газета «Ежедневные новости», 4 февраля 2012 года [http://enp-mo.ru/netcat\\_files/123/110/ENP\\_2012\\_02\\_04\\_N19\\_2710.pdf](http://enp-mo.ru/netcat_files/123/110/ENP_2012_02_04_N19_2710.pdf)

**Самиздатское собрание сочинений Шаламова, авторская редакция, 1965/66-68 гг.**

***Самиздатское собрание сочинений Шаламова в архиве Леонида Пинского***

Мне удалось ознакомиться с частью самиздатского собрания сочинений Шаламова, хранящегося в архиве Леонида Ефимовича Пинского, сводка материалов о котором дана в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/150652.html>. Состоит оно (вернее, состояло, но об этом ниже) из пяти томов «Колымских рассказов» и двух томов стихов в одинаковых красных переплетах, включающих шесть циклов «Колымских тетрадей».

Дарственная надпись на титульном листе гласит:  
*«Дорогому Леониду Ефимовичу с глубокой симпатией эти колымские стихи, шесть тетрадей.  
В. Шаламов.  
Москва, август 1966»*

Дорогой Леониду Егоровичу  
с любовью и уважением - сын

Колесник своих шефов  
ВАРЛАМ ПАЛАМОВ  
Ильинград.

В. Паламов  
Ильин, август 1966.

КОЛЫМСКИЕ ТЕТРАДИ

(стихи 1987-1956 гг.)

"И пусть над нашим смертным ложем  
Возвьется с криком воронья  
Те, кто достойней, окая, окая,  
Да уерят царские гзоя."

(А. Блок).

Относительно томов прозы для меня было очевидно, что это именно тот *четырёхтомник* Шаламова, который был составлен им при участии и, можно сказать, под редакцией Леонида Пинского, и который искусствовед Игорь Голомшток читал по возвращении с Колымы, узнавая персонажей и места действия. «[...] в 60-х годах известный литературовед Леонид Ефимович Пинский, сам бывший лагерник, дал мне прочитать четыре машинописных тома «Колымских рассказов» Варлама Шаламова, составленных Пинским вместе с их автором, я читал их, почти не отрываясь, целые сутки» (см. в разделе воспоминаний). В то время я еще не знал о существовании пятого тома, хранящегося в Русском архиве в Бремене, и не читал воспоминаний Александра Храбровицкого, который говорит о *пятитомнике* «Колымских рассказов», прочитанном им в 1968 году.

В поисках объяснений, почему недостает четвертого тома, я спился с внучкой Пинского Людмилой Дмитриевной Мазур, и она ответила буквально следующее: «Действительно, это был четырехтомник Колымских рассказов. Но сохранились только первые три тома – последний был передан после 1981 г. (после смерти Леонида Ефимовича), насколько мне не изменяет память (я была тогда совсем ребенком) через Елену Алексеевну Грин (Ильзен). Я помню, как она за ним приходила и сказала, что именно последний том не дошел...»

Мазур не знает, куда именно «не дошел» том, то есть для кого – какого издательства на Западе – Елена Грин его забирала. (Елена Грин – жена репрессированного в СССР американца и лагерника Джорджа Грина, к кругу которого принадлежали помощник Шаламова Моисей Авербах и его жена, машинистка Шаламова Елена Кавельмахер <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/122123.html>. Ильзен-Грин в этом сюжете занимает одну из главных, хотя и не проясненных ролей). Никаких догадок на эту тему высказать не могу. По моим соображениям, именно этот пятитомник – тогда я знал только о четырехтомнике – был переправлен Шаламовым летом 1968 года через Ирину Каневскую и Кирилла Хенкина в Париж, в издательство ИМКА-Пресс, и там бесследно пропал. Однако между 1968 и 1981 гг. пролегал тринадцать лет. Почему отсутствие четвертого тома было обнаружено так поздно, кому он понадобился и где обретается, не знаю. В любом случае, том этот едва ли «дошел» и на сей раз, поскольку ни в парижских изданиях КР ИМКА-Пресс (1982, 1985), ни где-либо еще на русском пятитомник прозы Шаламова в авторской редакции не появился.

Итак, что представляют собой оставшиеся тома (Книги).

Каждая из них содержит по одному циклу – каждый цикл практически в том виде, в каком он публиковался Сиротинской.

«Книга первая» озаглавлена и содержит цикл «Колымские рассказы».

«Книга вторая» озаглавлена и содержит цикл «Артист лопаты».

«Книга третья» озаглавлена и содержит цикл «Левый берег».

Четвертая книга по логике вещей должна содержать цикл «Очерки преступного мира», все тексты которого написаны в пятидесятых годах. (О книгах четвертой и пятой этого собрания сочинений см. ниже, в статье «В качестве резюме», написанной после обнаружения тома с циклом «Воскрешение лиственницы» в Русском архиве в Бремене). Поскольку в своих публикациях сборников КР с конца восьмидесятих годов Сиротинская слепо копировала подбор и расположение текстов первых трех томов этого самиздатского собрания сочинений, логично предположить, что ее публикации отображают и содержание четвертого тома, цикла очерков «о ворах», вне всякого сомнения, замечу, имеющегося в фонде Шаламова в РГАЛИ (именно на третьем, «Левый берег», и пятом, «Воскрешение лиственницы», книгах, подаренных Шаламовым возлюбленной, и сделаны его дарственная надпись и посвящение, приводимые в каждом издании «Колымских рассказов»).

Словом, мы имеем дело с полным корпусом «Колымских рассказов» из пяти циклов, каким он был утвержден Шаламовым и издан под редакцией Пинского в его подпольной переплетной мастерской тиражом в несколько экземпляров (комплектов). Этот совместный труд Сиротинская все годы выдавала за плоды своих текстологических штудий. Все штудии заключались в том, чтобы отдать тот или иной том готового самиздатского пятитомника (вернее, ксерокопии входящих в него рассказов) для перепечатки машинистке издательства. Полностью архив Шаламова она так и не просмотрела, поскольку рассказ «У Флора и Лавра» с его выраженной колымской тематикой, включенный автором в план «Колымских рассказы», каким-то непонятным образом был обнаружен только после ее смерти, в 2011 году. По-видимому, она просто забыла – если знала – о существовании этого рассказа, упрятого куда-то на дно коробки.

## Обобщение

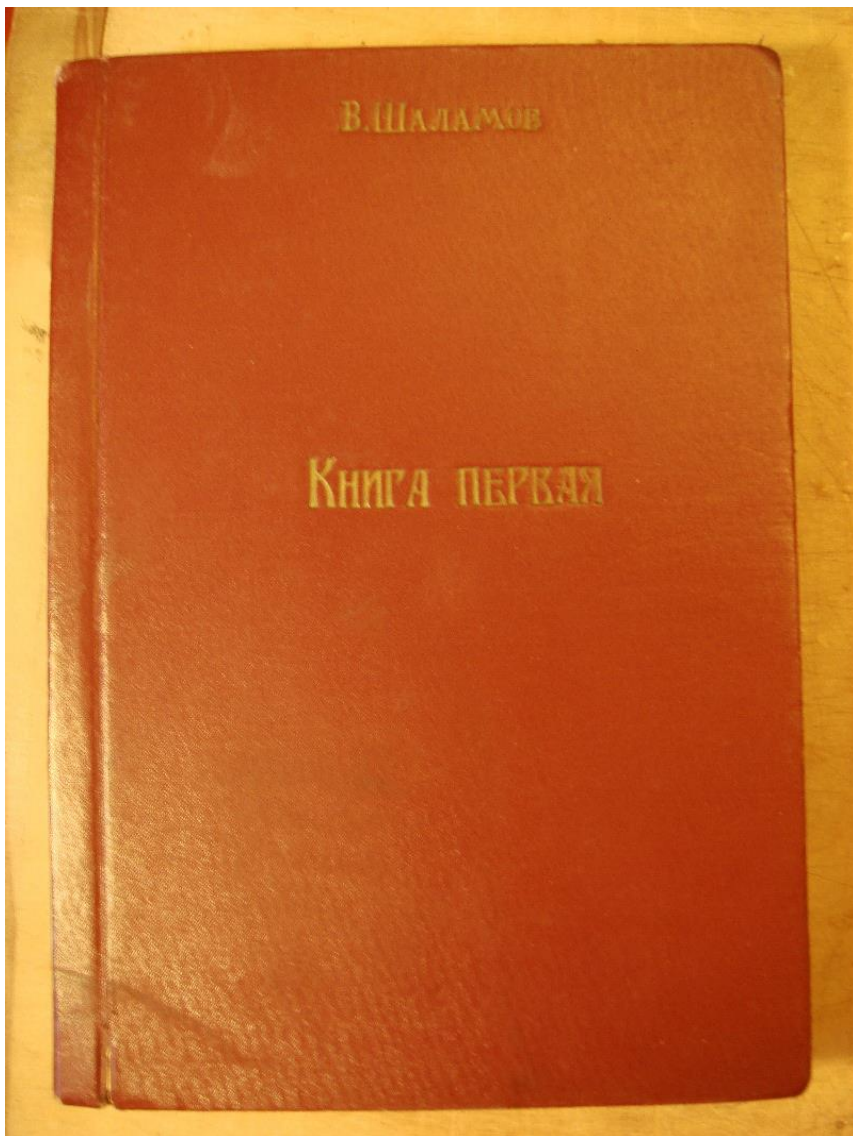
Вот что – по замыслу автора – должно было выйти на Западе в 1968 году на русском (в издательстве ИМКА-Пресс) и на французском (в издательстве Les lettres nouvelles) на пять-шесть лет раньше, чем «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына! – внутренне завершённый колымский эпос из тех ста двадцати с лишним рассказов, каким он виделся Шаламову уже на самом раннем этапе. Шаламов совершенно сознательно шел на острейший и, возможно, губительный для него конфликт с советским режимом. Предприятие не увенчалось успехом и даже не получило огласки вследствие предательства или мещанской близорукости, смешанной с прагматизмом, тех, кого он по неведению считал своими естественными союзниками – русской правоцентристской демократической эмиграции и французской левой в лице издателя Мориса Надо.

Прав я или нет, легко проверить, запросив в архиве издательства Леттр Нувель, см. электронную версию статьи Марка Головизнина <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/171078.html> – чего до сих пор либо не сделано, либо сделано, но результаты не оглашаются – фотокопии микрофильма переданных Шаламовым Морису Надо списков КР и сличив их с фотографиями имеющихся машинописных томов (кстати, в микрофильме, переданном французам, должен быть и недостающий четвертый том).

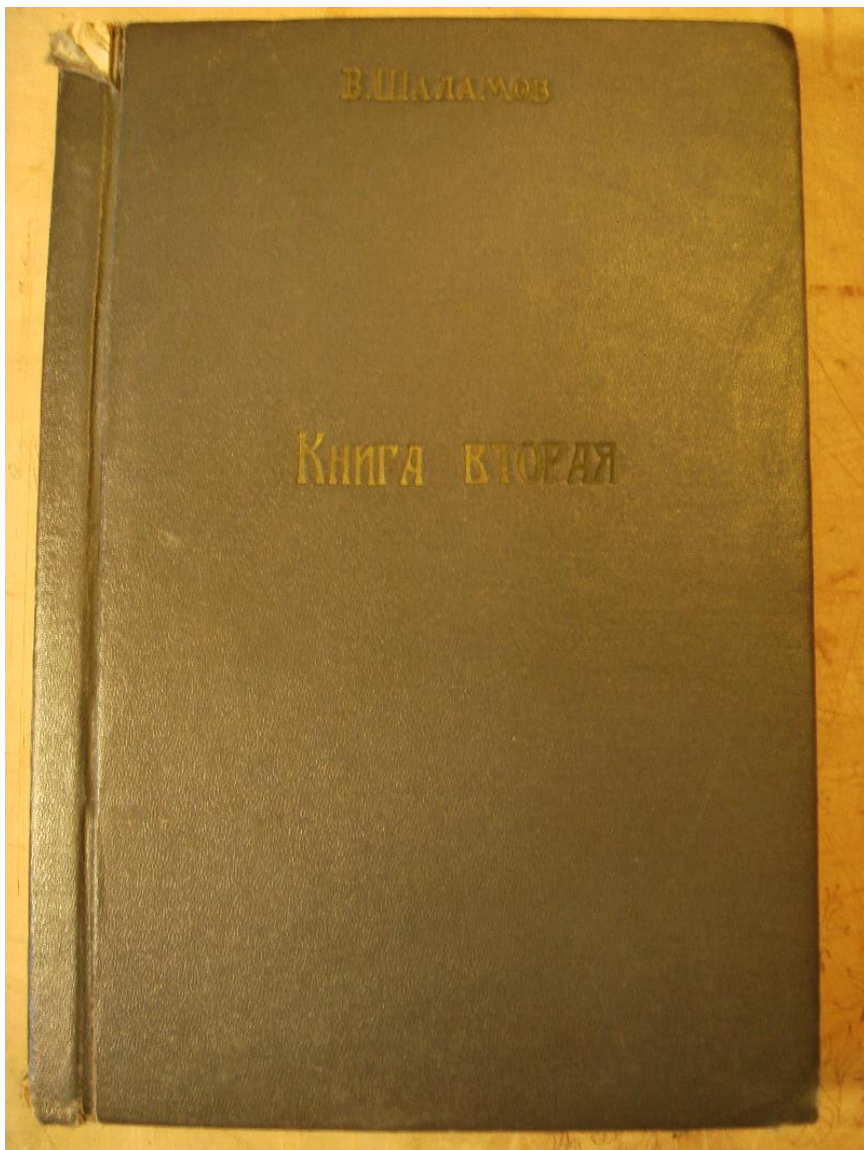
Все приводимые ниже фотографии трех томов прозы собрания сочинений Шаламова из архива Пинского (20 штук) можно посмотреть и скачать по ссылке, ZIP-архив, 4,3 МБ [http://dl.dropbox.com/u/9178411/Shalamov\\_Pinsk\\_KR.rar](http://dl.dropbox.com/u/9178411/Shalamov_Pinsk_KR.rar)

Фотографиями обязан Людмиле Мазур и Михаилу Михееву, за что приношу особую благодарность.

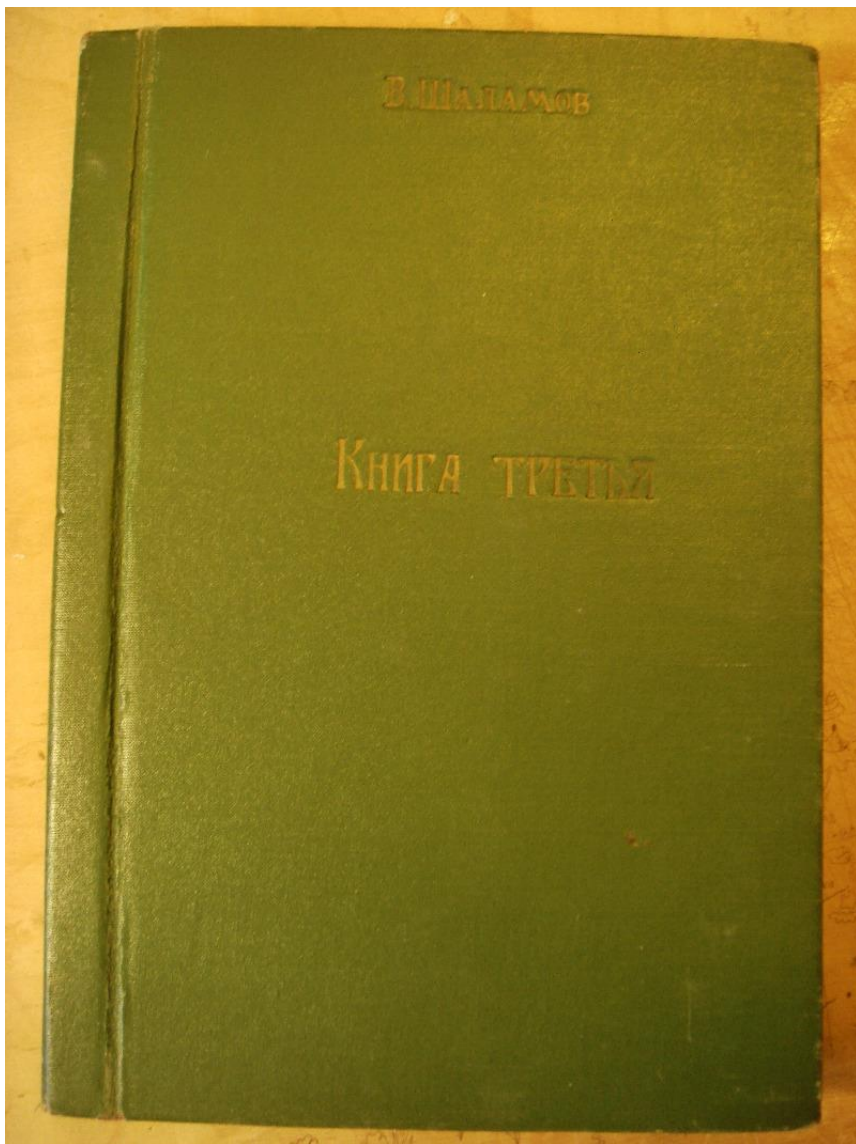




**Обложка Книги первой («Колымские рассказы»)**



**Обложка Книги второй («Артист лопаты»)**



**Обложка Книги третьей («Левый берег»)**

СОДЕРЖАНИЕ

По снегу . . . . .	3
На представку . . . . .	4
Н о ч ь ю . . . . .	12
Плотники . . . . .	16
Солнечный забор . . . . .	23
П о с ы л ь к ы . . . . .	27
Д о ж ь . . . . .	32
К а н ь . . . . .	36
Сухим пайком . . . . .	42
Инокентор . . . . .	53
Апостол Павел . . . . .	61
Ч ь о д ы . . . . .	67
Сува Тамара . . . . .	74
Шерри-Френни . . . . .	80
Детские картины . . . . .	87
Студенное молоко . . . . .	91
Х л е б . . . . .	96
Завладелец амой . . . . .	104
Татарский мулла и чистый воздух . . . . .	111
Первая смерть . . . . .	120
Тетя Поля . . . . .	125
Галотун . . . . .	131
Тайга золотая . . . . .	139
Василья Денжсов, похититель скандов . . . . .	145
Серофим . . . . .	149
Виктовой дель . . . . .	153
Д о м и н о . . . . .	162

Содержание сборника «Колымские рассказы», начало



Геркулес . . . . .	174
Боговая тералия . . . . .	178
Стлания . . . . .	191
Красный крест . . . . .	194
Заговор вристов . . . . .	204
Идосный вриствя . . . . .	224

Содержание сборника «Колымские рассказы», окончание

## ПО СНЕГУ

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устаает, ложится на снег, закуривает, и нахорочный дым стелется синим облачком над белыми блестящими снегами. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал — воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не зашли ледяских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной — скалу, высокое дерево — человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с миса на миса.

По проложенному узкому и неверному следу движется пятерка человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, трактора. Если идти по пути первого след и след, будет заметная, но едва проходная узкая тропка, стежка, а не дорога, — яви, по которым пробираться труднее, чем по целине. Не воюу чишлее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той головной пятерки. Из адушек по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях сидят не висатели, а чистатели.

БАРАМ КАЛАЖОВ

АРТИСТ ЛОНАТЫ

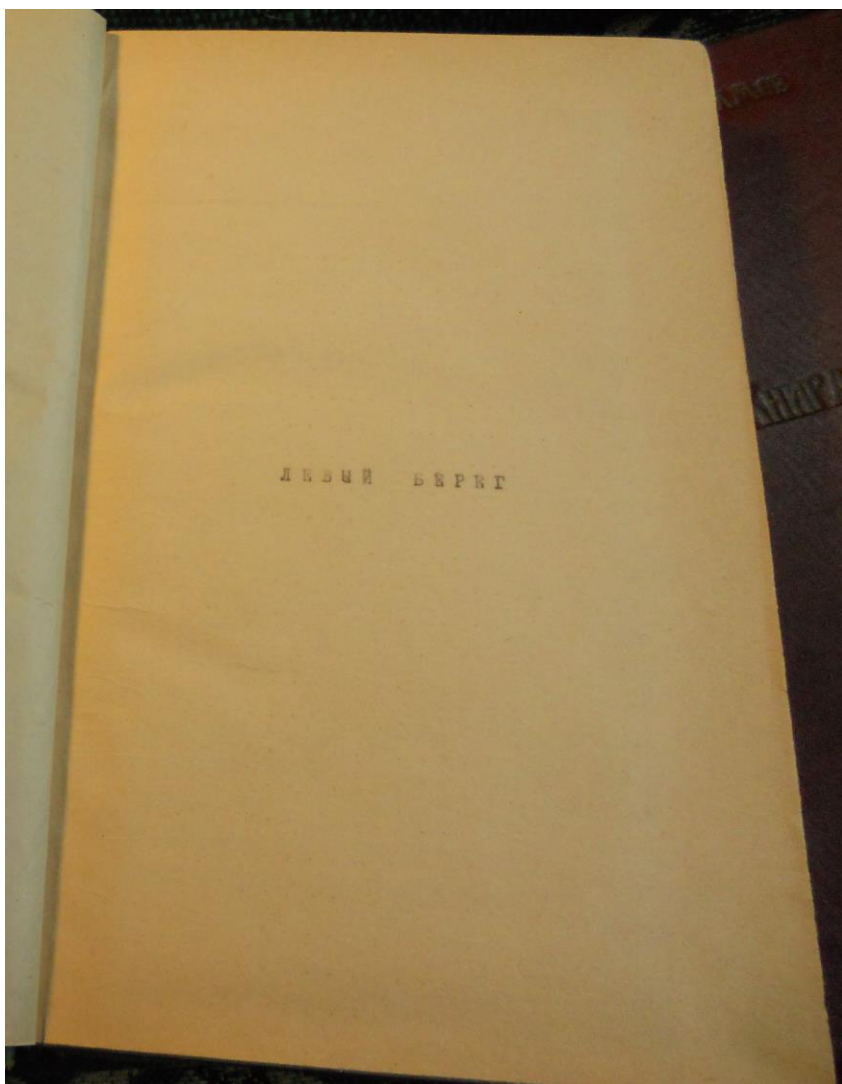
Титульный лист сборника «Артист лопаты»

СОДЕРЖАНИЕ

Припадок . . . . .	I
Надгробное слово . . . . .	4
Как это началось . . . . .	21
Почери . . . . .	34
Утка . . . . .	40
Бизнесмен . . . . .	44
Калигула . . . . .	48
Артист лопаты . . . . .	51
Рур . . . . .	66
Богданов . . . . .	75
Инженер Киселев . . . . .	82
Любовь капитана Толки . . . . .	95
Крест . . . . .	107
Курсы . . . . .	121
Первый чекист . . . . .	176
Вейсманнот . . . . .	195
В больнице . . . . .	205
Июнь . . . . .	212
Май . . . . .	222
В бане . . . . .	230
Ключ Алмазный . . . . .	237
Зеленый прокурор . . . . .	246
Первый зуб . . . . .	300
Эхо в горах . . . . .	308
Берды Онка . . . . .	320
Протеза . . . . .	326
Погоня за паровозным пимом . . . . .	330
Презид " " " . . . . .	344

Содержание сборника «Артист лопаты»



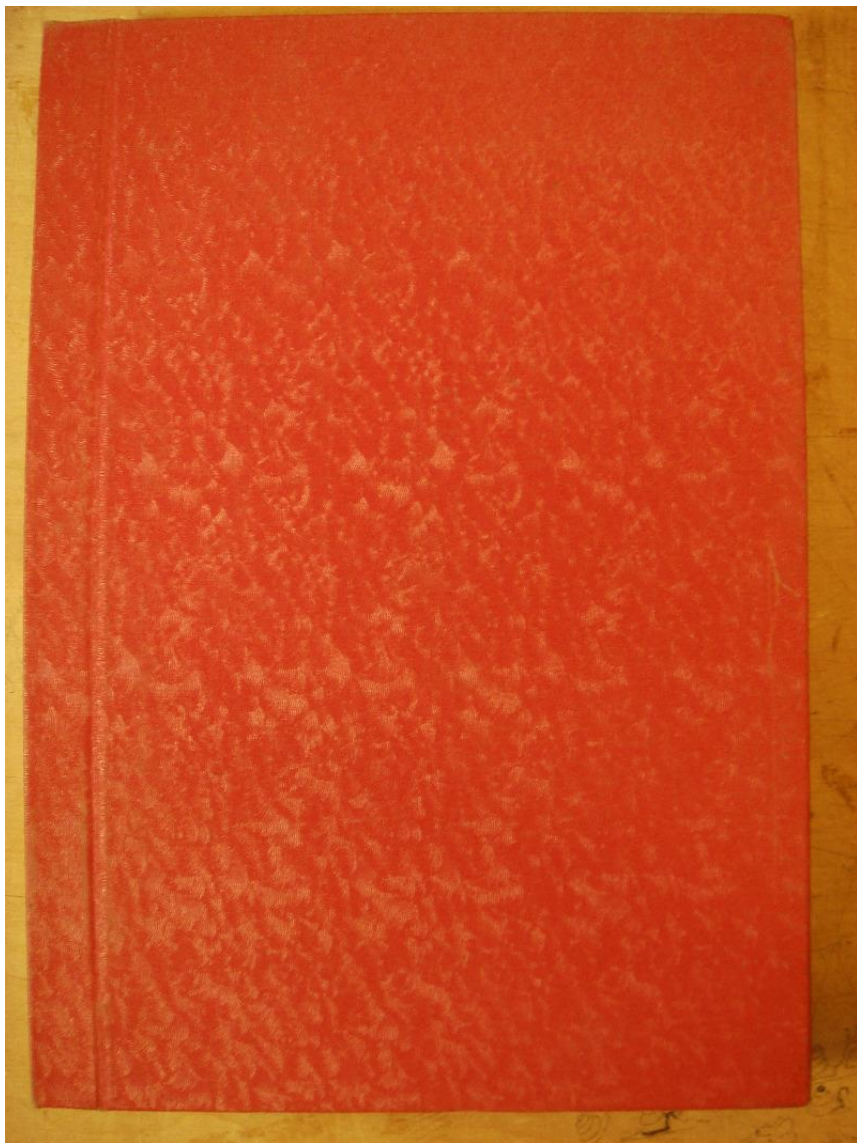


Титульный лист сборника «Левый берег»

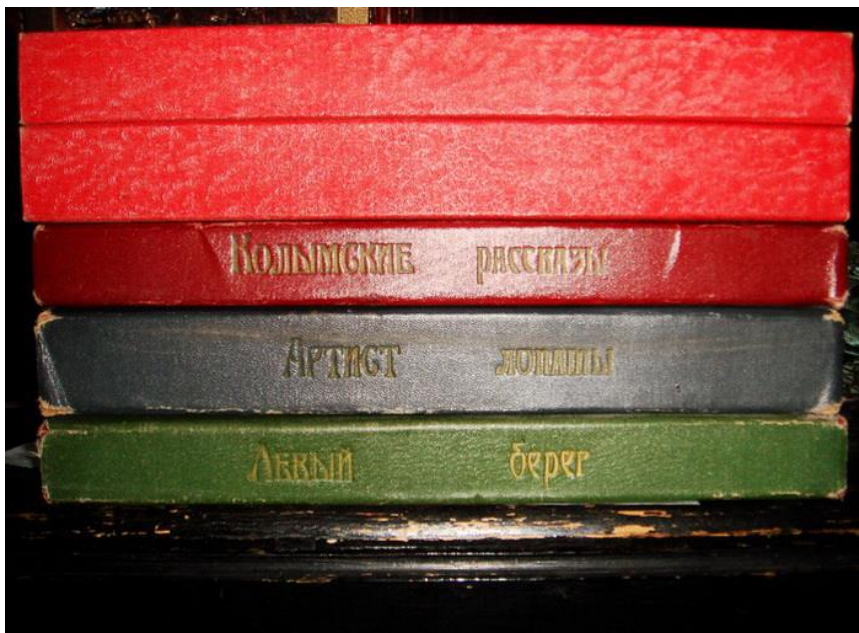
СОДЕРЖАНИЕ

Прокурор Музей . . . . .	2
Проживание . . . . .	6
В приемном покое . . . . .	13
Геологи . . . . .	18
Медведи . . . . .	25
Ожерелье княгини Гагариной . . . . .	28
Иван Фелорович . . . . .	40
Академик . . . . .	55
Алмазная карта . . . . .	65
Необращенный . . . . .	73
Лучшая похвала . . . . .	84
Потомок декабриста . . . . .	102
Комбеин . . . . .	118
Магия . . . . .	136
Ляда . . . . .	141
Аневризма аорты . . . . .	154
Кусок мяса . . . . .	160
Мой процесс . . . . .	170
Эсперанто . . . . .	190
Спецназ . . . . .	199
✓ Последний бой майора Пугачева . . . . .	202
Начальник больницы . . . . .	219
✓ Буквирист . . . . .	227
По лентилузу . . . . .	246
Сентенция . . . . .	256

Содержание сборника «Левый берег»

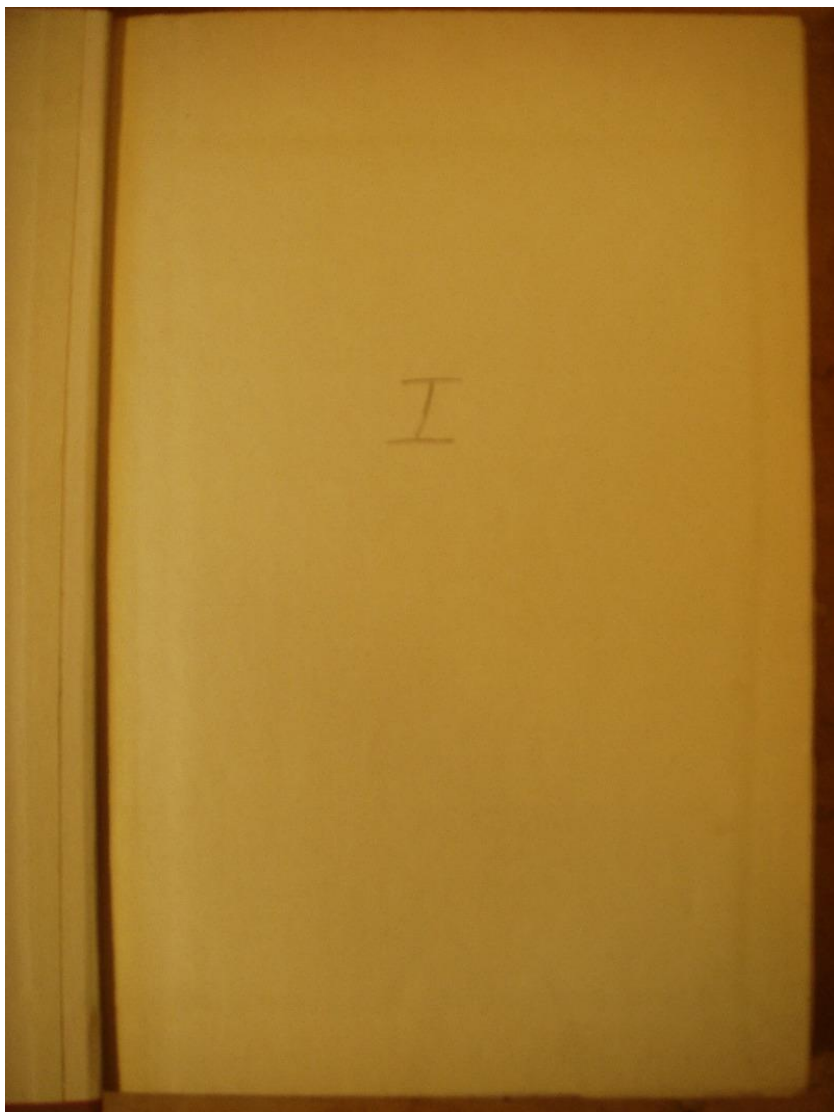


**Обложки двухтомника «Колымских тетрадей»**



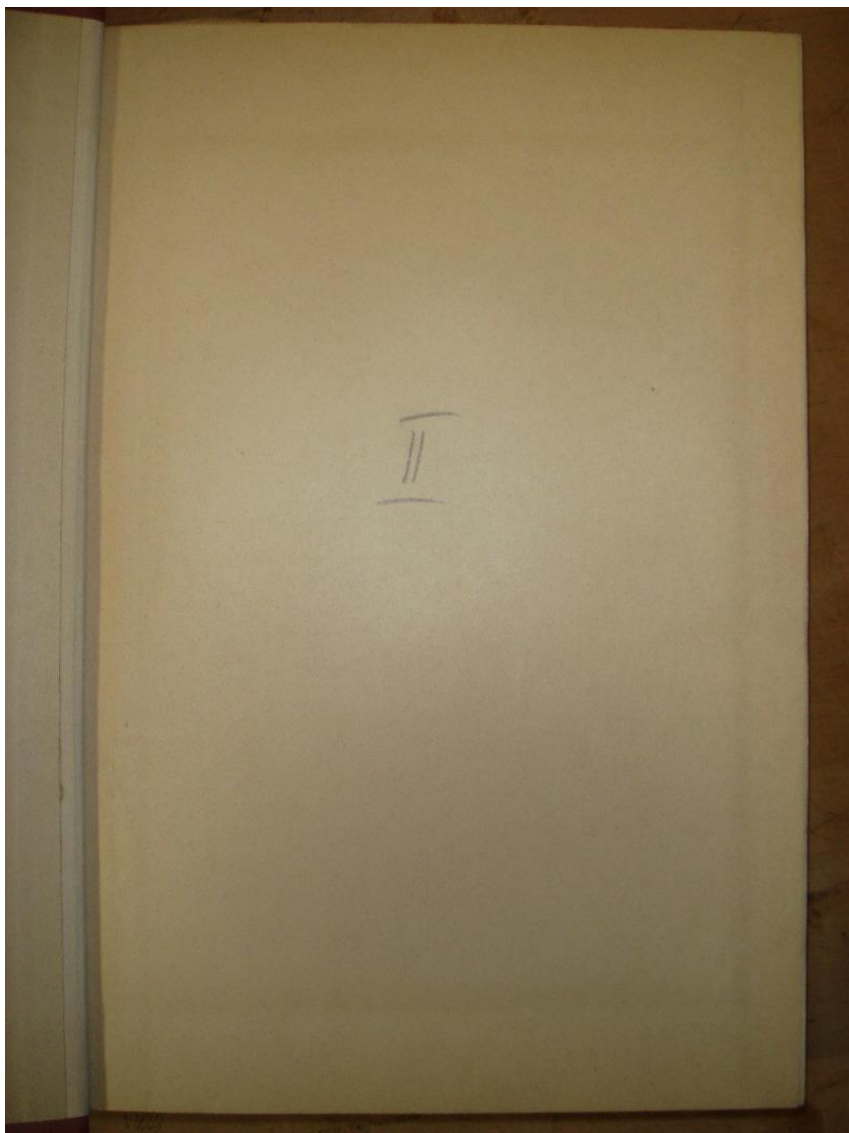
**Корешки томов собрания сочинений Шаламова из архива Леонида Пинского**

На корешках книг прозы вытеснены названия входящих в них циклов «Колымских рассказов».



**Первый сборник стихов**





**Второй сборник стихов**



***Самиздатское собрание сочинений Шаламова в Русском архиве, Бремен. Том «Воскрешение лиственницы»***

В поисках списков «Колымских рассказов», переданных Шаламовым на Запад, я списался с архивистом Исторического архива (Русского отдела) Центра изучения Восточной Европы Бременского университета (Германия) Марией Классен.

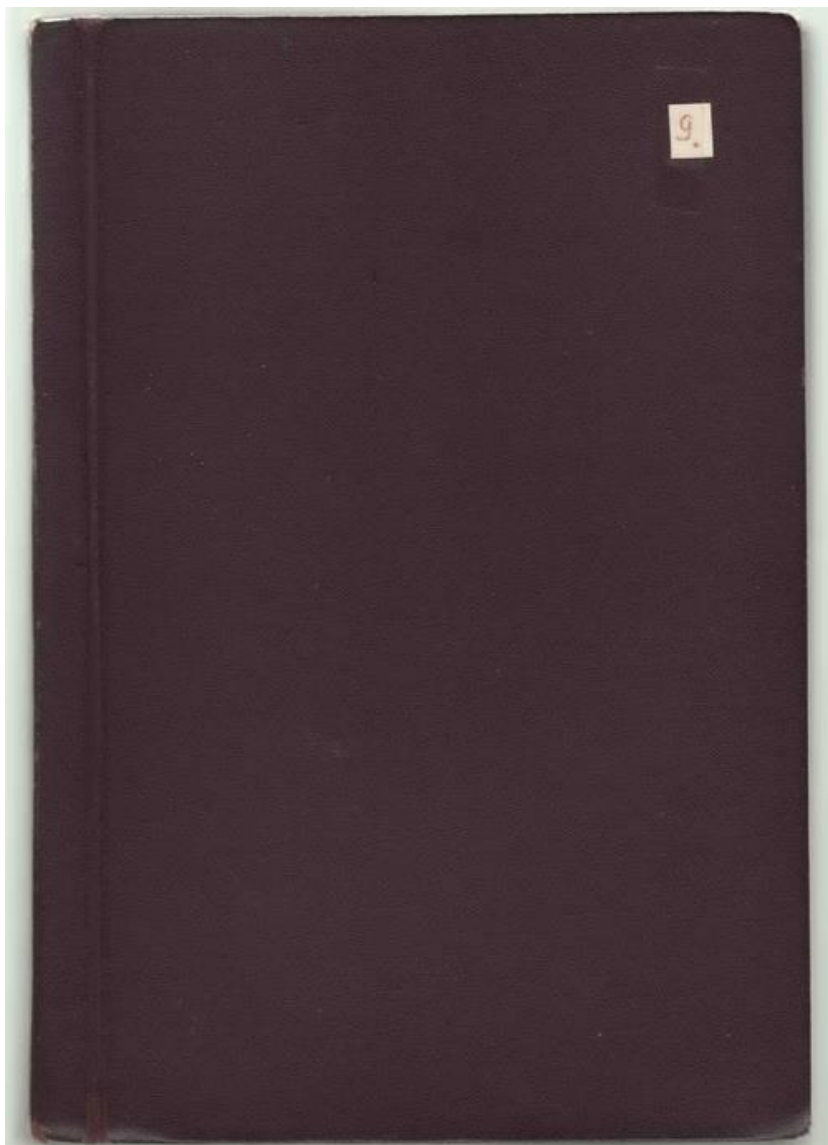
Выяснилось, что в фонде знакомой Шаламова Елены Ильзен-Грин\*, жены Георгия (Джорджа) Грина, в доме которого собирались оппозиционно настроенная интеллигенция, диссиденты и бывшие узники ГУЛАГа, среди них Моисей Авербах, помощник Шаламова и друг его близкого друга Якова Гродзенского, и его жена, машинистка Шаламова, хранятся тома самиздатского собрания сочинений Шаламова, в частности:

***Первая колымская тетрадь. Синяя тетрадь, 300 страниц в переплете,***

***Третья колымская тетрадь. Лично и доверительно, 625 страниц в переплете,***

***Книга пятая. Воскрешение лиственницы, 260 страниц в переплете.***

Само название «Книга пятая. Воскрешение лиственницы» отсылает к самиздатскому собранию сочинений, о котором речь выше. В архиве Пинского осталось три тома, четвертый – но по отсчету от количества книг, которое сохранила память Людмилы Мазур, а не по последовательности книг пятитомника – в 1981 году был взят как раз Еленой Ильзен-Грин, машинисткой Пинского, для передачи за границу вместо «не дошедшего». Пятый, бременский, есть авторская редакция цикла «Воскрешение лиственницы». Искусствовед Игорь Голомшток говорит о четырех томах «Колымских рассказов» издания Пинского потому, что читал их до появления пятого тома, году в 1966-67 – пятый том был издан только в 1968 году\*\*, после завершения Шаламовым всего корпуса «Колымских рассказов», и именно этот пятитомник в 1968 прочел от корки до корки Александр Храбровицкий.



**Обложка «Книги Пятой. Воскрешение ливтенницы».** Источник:  
Бремен, Русский архив, FSO 01 89



В. ШАЛАМОВ

КНИГА ПЯТАЯ

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

Титульный лист «Воскрешения лиственницы»

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Т р о н а .
2. Г р а ф и т .
3. Причал алл.
4. Т и ш и н а .
5. Две встречи.
6. Термометр Гринки Логуна.
7. О б л а в а
8. Храбрые глаза.
9. Марсаль Пруст.
10. Смытая фотография.
11. Начальник политуправления.
12. Р я б о к о н ь .
13. Житие инженера Кипреова.
14. В о л ь .
15. Безымянная кошка.
16. Чужой хлеб.
17. К р а х а .
18. Город на горе.
19. Э к з а м е н .
20. За письмом.
21. Золотая мадаль.
22. У остремени.
23. Тамирин-Мирецкий.
24. Вечерняя Махитга.
25. Борис Кванин.

26. Визит мистера Поша.
27. Велка.
28. Водопад.
29. Огонь и вода.
30. Воспоминание ливневницы.

---

00000

---

Источник: фонд Елены Алексеевны Ильзен-Грин в Русском архиве Института по изучению Восточной Европы при Бременском университете, Германия – FSO 01 89. Премного благодарен за помощь архивисту Марии Классен.

Смотреть фотографии крупным планом, ZIP-архив, 0,3 МБ  
[http://dl.dropbox.com/u/9178411/Voskr\\_listvennitsi\\_tom\\_5.zip](http://dl.dropbox.com/u/9178411/Voskr_listvennitsi_tom_5.zip)

Содержание книги в точности соответствует содержанию цикла «Воскрешение лиственницы» во всех переизданиях Сиротинской начиная с 1990 года, единственное отличие – у Сиротинской рассказ «Тамарин-Мирецкий» называется «Хан-Гирей», а рассказ «Огонь и вода» – «Укрощая огонь».

Рассказ «Огонь и вода» (1966) был включен Шаламовым в «список-66», отправленный в Америку, и под тем же названием напечатан в нью-йоркском «Новом журнале», №104, 1971. Из этого списка его взял для лондонского издания «Колымских рассказов» 1978 года Михаил Геллер. Первоначально рассказ входил в сборник «Артист лопаты», но год спустя был передвинут Шаламовым в конец нового цикла, составленного из рассказов, написанных в 1966–67 гг.

Рассказа «Тамарин-Мирецкий» в «списке-66» не было. Он написан позже и включен Шаламовым сразу в сборник «Воскрешение лиственницы», вместе с остальными четырьмя томами собрания сочинений переданный им в 1968 году через Хенкиных в Париж в издательство ИМКА-Пресс («список-68»). Как известно, в ИМКА-Пресс «Колымские рассказы» не вышли, сверх того, адресат Шаламова вообще скрыл существование этого пятитомника. О нем ничего не знал даже Михаил Геллер, в 1985 году составлявший для ИМКА-Пресс второй сборник шаламовской прозы, куда под названием «Тамарин-Мирецкий» и вошел рассказ о генерале-кавалеристе, ботанике и лагернике, добытый для Геллера кем-то из его московских друзей.

Некоторую лауну на сегодняшний день представляет собой четвертый том этого собрания сочинений – «Очерки преступного мира». Возможно, это он был взят в 1981 году у вдовы Леонида Пинского Евгении Лысенко Еленой Ильзен-Грин для передачи за границу вместо «не дошедшего» (куда?) списка и затерялся, однако, один из очерков о ворах, «Сучья» война», был напечатан в журнале «Синтаксис» в 1988 году со ссылкой на архив Н. Лепина (псевдоним Пинского: ЛЕонид

ПИНский), то есть на сборник, составленный из «Очерков преступного мира». Нет никаких сомнений, что Сиротинская в своих переизданиях копировала содержание этого четвертого тома по собственному комплекту шаламовского Пятикнижия КР 1968 года, хранящегося в фонде Шаламова в РГАЛИ. Из понятных соображений существование этого собрания сочинений держалось ею в секрете, секретность эта пережила Сиротинскую и, вероятно, переживет Страшный Суд, так что аутентичную Книгу четвертую следует искать в каких-то других архивах. Уверен, что рано или поздно она будет найдена.

Сейчас совершенно ясно, что именно было в «фибровом чемодане», полученном Ириной Каневской от Шаламова летом 1968 года для передачи в Париж в издательство ИМКА-Пресс – полный корпус КР в пяти томах – от цикла «Колымские рассказы», писавшегося в основном в пятидесятых годах, до цикла «Воскрешение листовницы», написанного в 1966-67. То же самое было в фотокопиях, переданных для издания на французском Морису Надо.

Весь этот пятитомник хранится в фонде Шаламова в РГАЛИ – именно с него копировала Сиротинская издание полного корпуса КР (исключая поздний цикл «Перчатка или КР-2») для двухтомника 1992 года издательства «Советская Россия». В своей манере она это даже признает – но так, что понять что-либо из ее признания невозможно. Опровергая [ложные <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/113873.html>] слухи о погребении архива Шаламова в советском спецхране, она между делом пробрасывает: «у меня всегда под рукой были готовые к публикации тексты «Колымских рассказов».

Характерно, что Сиротинская нигде ни словом не упомянула о существовании этого собрания сочинений, вся заслуга создания которого принадлежит Шаламову как автору и Пинскому как редактору-составителю. Характерно, что Сиротинская вообще нигде ни словом не упомянула Леонида Пинского, словно в окружении Шаламова его не было – беззастенчиво пользуясь при этом плодами его труда. Называя вещи своими именами – Сиротинская украла работу Пинского и выдала за свою. Сегодня сайт shalakov.ru оцифровывает и выкладывает тетради с рукописными текстами цикла «Колымские рассказы», словно именно по этим рукописям они и печатались. Пусть сфотографируют и выложат обложки и оглавления книг пятитомника КР под редакцией Леонида Пинского! По совести, во всех изданиях следует писать: **«Составитель Л.Е. Пинский»**. Не И.П. Сиротинская, а Л.Е. Пинский! «И.П. Сиротинская» – это наглый плагиат и введение читателей и исследователей в заблуждение.

---

\* «В шестидесятые годы наш дом стал одним из московских центров самиздата, у нас постоянно собирались бывшие заключенные и диссиденты».

Георгий Грин, в предисловии к подборке стихов жены, Елены Ильзен-Грин, на сайте Поручика Сивухи-Ржевского «Мои творческие друзья» <http://psr.i8.com/Drugi/index.html>

\*\* Время издания Книги пятой, включающей цикл «Воскрешение лиственницы», легко устанавливается по двум источникам:

1 В дневниковой тетради Шаламова, начатой в январе 1968 года, через страницу после февральской записи о разгромной статье в ЛГ по поводу стихотворения Олега Чухонцева «Повествование о Курбском» следует не датированная запись: «Последняя моя книга посвящена Ирине Павловне. Она – автор этой книги вместе со мной. Без нее не было бы этой книги».

2 Записка Шаламова аналогичного содержания, приведенная Сиротинской в ее переписке с Шаламовым, помечена: «лето 1968».

Таким образом, выход пятого тома падает на конец весны-раннее лето 1968-го. Очевидно, что его издание было приурочено к возможности передать пятитомник КР за границу с находившейся в это время в отпуске в СССР Ириной Каневской, которая забрала у Шаламова чемодан с книгами, по ее словам, «в начале лета 1968 г.»

---

### **Второй комментарий к комментарию Ирины Сиротинской**

Речь, напомню, идет о т.н. комментарии Сиротинской к статье Льва Тимофеева, см. статью «Первый комментарий к комментарию Ирины Сиротинской»

Самиздатские собрания сочинений Шаламова в РГАЛИ

«Есть источники, указывающие, что «Артист лопаты» был вторым сборником. Однако, есть источники, подтверждающие, что этот сборник – третий. Да и по личным воспоминаниям я могу сказать, что Варлам Тихонович называл его третьим. К этому выводу я, в конце концов, и пришла», – пишет Сиротинская.

Первым из упомянутых Сиротинской источников служит собрание сочинений Шаламова под редакцией Леонида Пинского 1965/66-1968, а вот что является вторым, я не знаю. Несомненно, существует еще один многотомник, где цикл «Артист лопаты» (Сиротинская неспроста называет его «сборником») идет третьим. В таком случае, и этот многотомник должен храниться в РГАЛИ, в фонде Шаламова. Не исключено, что перестановка циклов произошла при издании Книги пятой, содержащей цикл «Воскрешение лиственницы», в 1968 году – до этого циклы шли в последовательности, указанной Сиротинской со ссылкой на первый источник. Ее так называемые «личные воспоминания» – дело личное, это совершенно лишняя декоративная завитушка на величественном строении запертого в РГАЛИ, забытого пятитомника.

---

***В качестве резюме. Первое издание «Колымских рассказов» на русском, 1965/66-68 гг. Украденные возможности***

Итак, подвожу итог.

Первое прозаическое собрание сочинений Шаламова, включающее пять томов «Колымских рассказов», увидело свет в самиздате в СССР ориентировочно в 1965/66- весна 68 гг. и было плодом сотрудничества автора с филологом и философом Леонидом Ефимовичем Пинским. Оно состояло из пяти вручную переплетенных машинописных книг, содержавших циклы «Колымские рассказы», «Артист лопаты», «Левый берег», «Очерки преступного мира» и «Воскрешение лиственницы». То, что это собрание сочинений вышло в нескольких (3-5) комплектах, решающего значения не имеет – в условиях подполья другого тиража быть не могло. О сотрудничестве Шаламова с Пинским именно в связи с «Колымскими рассказами» имеются независимые друг от друга свидетельства по меньшей мере трех заслуживающих доверия

человек – жены Пинского переводчицы Евгении Лысенко («В. Т. Шаламову он помог сгруппировать отдельные колымские рассказы в циклы, что придало им характер истинной эпопеи»), переводчицы Лилианы Лунгиной и, наконец, искусствоведа Игоря Голомштока, прямо писавшего о «четырех машинописных томах «Колымских рассказов» Варлама Шаламова, составленных Пинским вместе с их автором. Почему у Голомштока этих томов четыре, я уже говорил – пятый том появился позже. Этот пятитомник по двум разным каналам был передан Шаламовым в Париж для массового издания на русском и во французском переводе в 1968-ом, однако, на русском «Колымские рассказы» изданы не были, а на французском вышел небольшой сборник произвольно скомпонованных текстов.

Это собрание сочинений в практически неизменном виде копировалось Сиротинской для всех последующих изданий КР с добавлением шестого, позднего, цикла – «Перчатка или КР-2», в который, однако, входят четыре рассказа шестидесятых годов, не включенные Шаламовым в пятитомник. Кто составлял этот последний цикл, не знаю, выскажу свои соображения в статье, посвященной сборнику «Перчатка или КР-2».

Три первых тома этого Пятикнижия КР хранятся в архиве Леонида Пинского, пятый – в Русском архиве при Центре изучения Восточной Европы университета города Бремен в фонде Елены Ильзен-Грин. Совершенно уверен\*, что не менее двух комплектов пятитомника находятся в фонде Шаламова в РГАЛИ в Москве – это комплект самого Шаламова, отвезенный Сиротинской в тогда еще ЦГАЛИ перед помещением Шаламова в дом престарелых, и – с большой вероятностью – комплект, подаренный Шаламовым Сиротинской в шестидесятых годах и тоже помещенный ею в архив.

Я считаю, что во всех будущих изданиях «Колымских рассказов» составителем пяти первых и основных циклов КР следует указывать не Сиротинскую, а Л. Е. Пинского, а в качестве первоисточника, на базе которого делается переиздание – собрание сочинений Шаламова под редакцией Пинского 1965/66-68 гг.

Прошу текстологов, филологов, историков литературы и издателей учесть эти соображения.

И наконец.



Не устаю повторять: все-таки поразительно, что «Колымские рассказы» в том виде, в каком мы их читаем, по замыслу автора должны были быть изданы за границей еще в 1968 году, на гребне скудного и самодовольного благополучия тысячелетнего советского рейха! Шаламов бросал режиму вызов поистине беспримерный. Издание пятитомника «Колымских рассказов» на русском в эмигрантском издательстве, а затем в переводах на французский и другие европейские языки, должно было поставить власть в чрезвычайно сложное положение – вновь сажать смельчака, отсидевшего все мыслимые сроки и сотворившего из своих страданий бессмертный эпос, означало спровоцировать громкий международный скандал, а игнорировать такой вызов было нельзя.

Выйди шаламовское Пятикнижие КР 1968 года на Западе – вся современная история русской литературы могла бы быть другой. У нее появился бы совершенно иной ориентир, нежели тот, что воздвиг и утвердил эпигон классической традиции Солженицын. Совершенно другой была бы и судьба Шаламова – человеческая и творческая. Мы знали бы совершенно другую его прозу семидесятых годов. Люди, по вине которых этого не случилось – преступники, во всяком случае, перед лицом мировой культуры, перед лицом русской словесности, в новом веке достигшей, наконец, дна падения.

Выйди «Колымские рассказы» в полном виде на Западе в 1968 году, совершенно иначе сложилась бы ситуация противостояния русской интеллектуальной элиты, русской интеллигенции, и власти кремлевских свиноподобных ничтожеств – этот взрыв расчищал площади для требований свободы, совершенно не уместившихся в уклад жизни и образ мыслей московского либерального соглашательства.

Ничего этого не произошло по вине совершенно конкретных людей, возглавлявших совершенно конкретные институты, я их не раз называл. Плюю на их могилы и в лицо тем из них, кем земля, очевидно, брезгует.

*\* Моя уверенность, кроме прочего, подкрепляется следующей строчкой в описании фонда Шаламова в РГАЛИ в выпуске 7 Путеводителя по архиву (№206. Шаламов В.Т.):*

*«сб. [обращаю внимание: сокращение «сб.» не позволяет понять, о каком количестве экземпляров сборников идет речь] рассказов и очерков: «Колымские рассказы» (1954 – 1961), «Очерки преступного мира» (1955 – 1960), «Артист лопаты», «Левый берег» (1960 – 1965), «Вос-*

*крещение лиственницы» (1966 – 1967), «Вишерский антироман» (1970), «Перчатка, или КР-2» (1973)».*

*Первые пять – это и есть пятитомник Шаламова, выпущенный при участии Пинского.*

*С сайта РГАЛИ*

<http://guides.eastview.com/browse/guidebook.html?bid=144&sid=11523#efid11508>

---

### ***Первые издания «Колымских тетрадей» на русском, середина 60-х годов***

Первое издание шести поэтических сборников «Колымских тетрадей» было осуществлено в СССР в 1966 году лично Шаламовым. На этом издании базируются все последующие публикации «Колымских тетрадей», что обязательно должно учитываться исследователями и издателями.

Существует не менее трех (помимо фонда Шаламова в РГАЛИ) самиздатских комплектов двухтомника «колымских стихов», содержание которых почти в точности соответствует содержанию постсоветских изданий этого поэтического массива.

Двухтомник 1966 года с дарственной надписью автора, находящийся в архиве Леонида Пинского, включает все шесть циклов «Колымских тетрадей».

В другом самиздатском двухтомнике, находящемся в Русском архиве Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете, Германия, по сообщению работника этого архива Марии Классен, содержится пять первых из шести циклов «Колымских тетрадей» – отсутствующий завершающий цикл «Высокие широты» (Шестая колымская тетрадь) ко времени издания этого двухтомника либо еще не был вполне оформлен, либо составляет отдельный том.

Вот краткое описание «бременского» двухтомника из фонда Елены Ильзен-Грин:

«В фонде Ильзен-Грин находятся три тома в переплете, на первом томе наклейка «1», на титульной стр. – римская 1 и 1,2,4 тетради, Первая Колымская тетрадь; Синяя тетрадь – до стр. 111; Вторая Колымская тетрадь, Сумка почтальона – до стр. 210; Четвертая Колымская тетрадь, Златые горы – до стр. 298.

На втором томе – наклейка «2», на титульной странице римская 2, Третья Колымская тетрадь, Лично и доверительно, начиная со стр. 303; Пятая Колымская тетрадь, Кипрей – нач. со стр. 388.»

Как видно, последовательность всех пяти поэтических циклов в точности соответствует их последовательности в публикациях Сиротинской. Сиротинская как обычно не столько занималась текстологией, сколько копировала уже имеющееся.

Аналогичный комплекту двухтомника из архива Пинского есть у Вячеслава Всеволодовича Иванова, он подарен ему Шаламовым сразу после выхода в свет. Дарственная надпись Пинскому на двухтомнике «Колымских тетрадей» сделана в августе 1966-го. В письме Шаламова Вяч. Вс. Иванову от 21 августа 1966 мы читаем:

«Дорогой Вячеслав Всеволодович.

У меня приготовлен Вам небольшой подарок. Я переплетал свои колымские стихи (1937-1956) из шести тетрадей. Там есть и «Снега аввакумова века» и почти все, что я за эти годы написал рифмованно-го. [...]

Скажите, когда я могу этот подарок (полпуда весом) Вам привезти?»

В примечаниях к тому стихов Шаламова в четырехтомном собрании его сочинений, 1998, Сиротинская пишет: «Впервые «Колымские тетради» в полном объеме опубликованы в 1994 г. в издательстве «Версты». Это неправда. Впервые в полном объеме они были опубликованы в 1966 году автором при содействии Леонида Пинского в виде самиздатского двухтомника, состоящего из всех шести поэтических циклов. Дальше у Сиротинской сказано: «В настоящем издании они [«Колымские тетради»] печатаются по текстам белого экземпляра «Колымских тетрадей», сохранившегося в архиве В. Шаламова». Это правда, поскольку печатаются они с двухтомника, подготовленного самим Шаламовым. Однако, о самом этом двухтомнике не говорится ни слова, наличие его скрыто за словом «рукописи», наводящем на мысль о некоем рукописном «белом экземпляре»: «Рукописи стихо-

творений В. Шаламова хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства».\*

С середины девяностых годов Сиротинская, безусловно, проделала немалую текстологическую работу, но не меньше половины того, что ей приписывается, ею просто присвоено.

Ниже я сделаю сверку содержания самиздатского шаламовского двухтомника с содержанием циклов «Колымских тетрадей» в собрании сочинений Шаламова, 1998, в выходных данных которого единственным составителем и подготовившим текст для издания значится И. П. Сиротинская. Последовательность стихотворений и циклов в изданиях, которые разделяет больше тридцати лет, идентичны либо очень близки. Стоит напомнить, что к августу 1966 года Шаламов и Сиротинская были едва знакомы, и никакого участия в составлении сборников «Колымских тетрадей» она принимать не могла, она лишь учитывала в публикациях поправки и комментарии, сделанные Шаламовым позже, в конце шестидесятых годов.



**Переиздание («Версты», 1994) книг «Колымских тетрадей» Шаламова, выпущенных при содействии Пинского (1966).**

***Составителем названа И. Сиротинская***

Биограф Шаламова Валерий Есипов пишет, что судьба шаламовской поэзии еще трагичнее его прозы – читатель не был знаком с ней даже из самиздата. Это неправда. Москвич Владимир Пимонов в репортаже о первом разрешенном властями вечере памяти Шаламова

(газета «Русская мысль» от 31 июля 1987 года <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/283955.html>) свидетельствует, что – задолго до переиздания 1994-го, сделанного Сиротинской – по Москве ходят все шесть «незалаченных» самиздатских машинописных сборников «Колымских тетрадей». Его свидетельство развернуто подтверждает публикатор посвященных Пастернаку стихов Шаламова Владимир Рябоконт (см. в данном сборнике).

\* *«В архиве», согласно путаному описанию фонда Шаламова (№206. Шаламов В.Т.) из Путеводителя по РГАЛИ, выпуск 7, хранится следующее:*

*«Сб. стих-ний: «Высокие широты», «Златые горы», «Кипрей», «Лично и доверительно», «Синяя тетрадь», «Сумка почтальона» (1949 – 1956), тетради с записями стих-ний (1949 – 1979)»*

*Это, видимо, и есть «беловой экземпляр» и «рукописи» Сиротинской. С сайта РГАЛИ*

*<http://guides.eastview.com/browse/guidebook.html?bid=144&sid=11523#refid11508>*

---

### ***Самиздатский авторский двухтомник «Колымских тетрадей», первоиздание, 1966***

В шести следующих статьях я выложу фотографии оглавлений циклов самиздатского поэтического двухтомника, составленного Шаламовым в середине шестидесятых годов и известного как «Колымские тетради». В качестве приложений добавлю оглавления тех же циклов в переиздании, осуществленном в девяностых годах Сиротинской. Занимающиеся и интересующиеся поэзией Шаламова смогут сверить содержание ранней и позднейшей авторских редакций всех шести циклов, поскольку, внося поправки, Сиротинская как публикатор, надо полагать, исходила из указаний Шаламова. Повторяю, утверждение Сиротинской о том, что «впервые «Колымские тетради» в полном объеме опубликованы в 1994 г. в издательстве «Версты», вводит в заблуждение. Впервые они были изданы автором в 1966 году. В публикациях Сиротинской «Колымские тетради» содержат на 24 стихотво-

рения меньше, чем первоиздание, шесть сборников которого насчитывают 487 стихотворений.

Также в качестве приложения даю примечания Сиротинской к третьему тому собрания сочинений Шаламова 1998 года, включающему его поэтическое наследие. Двухтомник 1966 года не упомянут вовсе, содержание его не представлено, сказано только о некоей собранной Шаламовым «книге из шести тетрадей», соотносящейся с некоей «беловой рукописью» и с неким «беловым экземпляром «Колымских тетрадей», сохранившемся в архиве В. Шаламова», тогда как речь должна идти о полноценном издании, осуществленном автором в условиях невозможности сделать это иначе как на машинке и за свой счет. Таким образом, самиздатский двухтомник «Колымских тетрадей» представляет собой окончательную авторскую редакцию шести поэтических сборников, какими они должны были быть отпечатаны массовым тиражом в 1966 году. Читатели и исследователи вправе знать «Колымские тетради» в первоиздании и судить, насколько оправданы внесенные автором впоследствии изменения.

Двухтомник в одинаковых красных переплетах хранится в архиве Леонида Ефимовича Пинского, в то время близкого друга Шаламова, его помощника и адресата дарственной надписи на двухтомнике.

Всеми фотографиями обязан Михаилу Михееву и Людмиле Мазур, за что премного им благодарен.

---

### *Приложение I*

#### Ирина Сиротинская. Примечания к 3 тому собрания сочинений 1998 года

Стихи В. Шаламова, написанные в 1937 – 1956 гг., были им самим собраны в книгу «Колымские тетради», состоящую из шести тетрадей: «Синяя тетрадь», «Сумка почтальона», «Лично и доверительно», «Златые горы», «Кипрей», «Высокие широты». Впервые «Колымские тетради» в полном объеме опубликованы в 1994 г. в издательстве «Версты».

Реально запись этих стихов была начата Шаламовым в 1949 г. на ключе Дусканья, где он работал фельдшером в поселке лесорубов и имел отдельную избушку-медпункт. Сохранились тетради, шитые Шаламовым собственноручно из разных листов бумаги. После возвращения с Колымы в 1953 г. и до реабилитации и возвращения в Москву в 1956 г. писатель интенсивно работал над текстами колымских и постколымских стихотворений (так он называл стихи, написанные в 1953 – 1956 гг.). В результате им была подготовлена беловая рукопись «Колымских тетрадей», не содержавшая, однако, датировки каждого стихотворения.

Впоследствии стихи из «Колымских тетрадей» многократно правились автором, а при публикации – и редактором. В настоящем издании они печатаются по текстам белового экземпляра «Колымских тетрадей», сохранившегося в архиве В. Шаламова, исключение составляют тексты, существенно переработанные автором позднее («Стланик», «Раковина», «Как Архимед, ловящий на песке...», «В гремящую грозу умрет глухой Бетховен...», «Земля со мною»).

Некоторые стихотворения 1940 – 1956 гг. не были включены автором в беловую рукопись «Колымских тетрадей». Видимо, это произошло отчасти по недосмотру автора (как со стихотворением «Сосна в болоте»), а иногда стихи исключались намеренно (как, например, стихотворение «Модница ты, модница...»). Эти стихи собраны составителем в отдельную группу, поскольку их место в композиции «Колымских тетрадей» автором не обозначено.

Тексты стихотворений 1957 – 1919 гг. сначала записывались автором в ежегодно заводимые рабочие «толстые тетради», где проводилась вся работа над ними, затем стихи набело переписывались в «тонкие тетради» и наконец перепечатывались. Датой создания стихотворения Шаламов считал запись в «толстой тетради». Таким же образом определялась дата стихотворения и составителем.

К сожалению, многие «толстые тетради» с первоначальными текстами стихов были похищены у Шаламова. Один из похитителей продал в 1995 г. похищенное в Вологодскую картинную галерею. Хотелось бы надеяться, что его примеру последуют и остальные. Тогда на основе полного архива возможно было бы провести текстологическое исследование всех вариантов стихотворений и точно датировать их. Это соответствовало бы желанию Варлама Тихоновича Шаламова – издать стихи как поэтический дневник по хронологии.

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. Шаламов специально занимался подготовкой комментариев к своим стихам, а также их датировкой.

Авторские комментарии приводятся в тексте примечаний к настоящему тому.

Рукописи стихотворений В. Шаламова хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства.

Тексты последних пяти стихотворений записаны составителем под диктовку автора, который в то время находился в Доме инвалидов и престарелых, поэтому их автографов не существует.

Стихотворения В. Шаламова имеют много вариантов. Часто автором вносились изменения в тексты под давлением редакторов, однако и сам В. Шаламов не раз обращался к текстам стихов, особенно к тем, которые были им включены в «Колымские тетради».

В настоящем издании, как правило, используется последний авторский вариант текста. Восстановлены купюры, сделанные при публикациях. Варианты полностью не воспроизводятся, оговаривается лишь их наличие в случае, если рукопись была доведена автором до белой стадии раннего варианта, в основном, в «Колымских тетрадях» (М., 1994), где воспроизведены тексты до середины 1956 г., и дается отсылка к этому изданию.

## *Приложение II*

### Стихотворения, не вошедшие в «Колымские тетради» 1940-1956

- «Модница ты, модница...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
«Игрую детской увлеченный...». Впервые: Юность, 1965, № 10.  
Пурга. Впервые: Московские облака. М., 1972.  
Картограф. Впервые: Огниво. М., 1961.  
«Кусты у каменной стены...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
Рублев. Впервые: Огниво. М., 1961.  
«Я пришел на ржавый берег...». Впервые: День поэзии. М., 1969.  
«Я устаю от суеты...». Впервые: Юность, 1970, № 7.  
Пегас. Впервые: День поэзии. М., 1970.  
«Не в пролитом море чернил...». Впервые: День поэзии. М., 1968.  
«Ощутил в душе и теле...». Впервые: День поэзии. М., 1968.  
Кама тридцатого года. Впервые: Огниво. М., 1961.  
«Детский страх в тот миг короткий...». Впервые: Знамя, 1968, № 12.  
Поэзии. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
40 [градусов]. Впервые: Огниво. М., 1961.  
Цыганский романс. Впервые: Юность, 1969, № 3.



«Подростком сюда затесался клен...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

Сосна в болоте. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.

«Кто ты? Руда, иль просто россыпь...». Впервые: День поэзии. М., 1967.

«Еще в покое все земное...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

«Похолодеет вдруг рука...». Впервые: Кодры, 1989, № П.

#### 1957-1981

Вверх по реке. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

Каюр. Впервые: Огниво. М., 1961.

Бивень. Впервые: Сельская молодежь, 1964, № 10.

Прямой наводкой. Впервые: День поэзии. М., 1962.

Ветер в бухте. Впервые: Москва, 1958, № 3.

Каменотес. Впервые: Огниво. М., 1961.

Память. Впервые: Москва, 1958, № 3.

Духовой оркестр. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.

Ручей. Впервые: Огниво. М., 1961.

Шоссе. Впервые: Огниво. М., 1961.

Закладка города. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

Горный водопад. Впервые: Литературная газета, 1966, 30 июля.

Разведка. Впервые: Огниво. М., 1961.

Мой архив. Впервые: Литературная газета, 1968, 3 апреля.

«Немилосердное светило...». Впервые: Знамя, 1968, № 12.

«Где роса, что рукою сотру...». Впервые: Знамя, 1968, № 12.

«Когда рождается метель...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.

«В дожде сплетают нити света...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.

Жест. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.

«Я выходил на чистый воздух...». Впервые: День поэзии. М., 1967.

«Ни зверя, ни птицы... Еще бы!..» Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

Некоторые свойства рифмы. Впервые: Огниво. М., 1961.

Ода ковриге хлеба. Впервые: Москва, 1958, № 3.

Арбалет. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.

Голуби. Впервые: Огниво. М., 1961.

«Я сегодня очень рад...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.

«Этот дождик городской...». Впервые: Юность, 1969, № 3.

Радуга. Впервые: Огниво. М., 1961.

Речные отраженья. Впервые: Знамя, 1965, № 3.

Весна в Москве. Впервые: Огниво. М., 1961.

Шесть часов утра. Впервые: Москва, 1958, № 3.  
Московские липы. Впервые: Огниво. М, 1961.  
Зима. Впервые: Огниво. М., 1961.  
«Птица спит, и птице снится...». Впервые: Литературная газета, 1968, 24 июля.  
Притча о вписанном круге. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
Кристаллы. Впервые: Юность, 1965, № 10.  
Ледоход. Впервые: Сельская молодежь, 1965, № 4.  
«Вот солнце в лесной глухомани...». Впервые: Знамя, 1965, № 3.  
Тропа. Впервые: Знамя, 1966, № 7.  
«Взад-вперед между кручами...». Впервые: Знамя, 1966, № 7.  
Черский. Впервые: Огниво. М., 1961.  
За брусликой. Впервые: Литературная газета, 1968, 24 июля.  
«Гиганты детских лет...». Впервые: Юность, 1969, № 3.  
«Огонь – кипрей! Огонь – заря!...». Впервые: Знамя, 1968, № 12.  
Сестре. Впервые: Точка кипения. М., 1977.  
Круговорот. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
Лунная ночь. Впервые: Огниво. М., 1961.  
«Это чайки с высоты...». Впервые: Московские облака. М., 1972.  
Приморский город. Впервые: Огниво. М., 1961.  
«Куда идут пути-дороги!...». Впервые: Юность, 1965, № 10.  
Виктору Гюго. Впервые: Огниво. М., 1961.  
«Я верю в предчувствия и приметы...». Впервые: Московские облака. М., 1972.  
Слеза. Впервые: Огниво. М., 1961.  
Ивы. Впервые: Огниво. М., 1961.  
До восхода. Впервые: Огниво. М., 1961.  
Паук. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Я знаю, в чем моя судьба...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
Листопад. Впервые: Знамя, 1968, № 5.  
Лицо. Впервые: День поэзии. М., 1964.  
Пушкинский вальс для школьников. Впервые: Юность, 1968, № 5.  
Стеклодувы. Впервые: Московский комсомолец, 1968, 13 сентября.  
Басня про алмаз. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
Огниво. Впервые: Огниво. М., 1961.  
«Покамест нет дороги льдинам...». Впервые: Знамя, 1968, № 12.  
«Стихи – это стигматы...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
Вечерняя звезда. Впервые: Сельская молодежь, 1963, № 12.  
Гарибальди в Лондоне. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
Устье ручья. Впервые: Юность, 1967, № 5.  
Бирюза и жемчуг. Впервые: Юность, 1968, № 3.

Кипрей. Впервые: Огниво. М., 1961.  
Горная минута. Впервые: Огниво. М., 1961.  
Нитроглицерин. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Он тащит солнце на плече...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Мягкий плюш, томленный бархат...». Впервые: Знамя. 1990, № 7.  
На память. Впервые: День поэзии. М., 1985.,  
Юго-Запад. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
Первый снег. Впервые. Сельская молодежь, 1966, № 6.  
«Золотой, пурпурный и лиловый...». Впервые: Юность, 1969, № 3.  
«Да, рукопись моя невелика...» Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Не спеши увеличить запас...». Впервые: Юность, 1966, № 9.  
Бухта Нагаева. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
Речь Кортеса к солдатам перед сражением. Публикуется впервые.  
Андерсен. Впервые: Литературная газета, 1968, 3 апреля.  
«Мне снова жажда вяжет губы...». Впервые: Знамя, 1968, № 5.  
Старая Вологда. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
Корни даурской лиственницы. Впервые: Знамя, 1970, № 1.  
Рояль. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
«Толпа гортензий и сирени...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Будто выбитая градом...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
«Орудье высшего начала...». Впервые: Юность 1969, № 3.  
Капля. Впервые: Юность, 1969, № 3.  
Бурение огнем. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Бесплодно падает на землю...». Впервые Московские облака. М., 1972.  
«Мы предтечи, мы только предтечи...». Публикуется впервые.  
«Ручей питается в дороге...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Пусть чернолесье встанет за деревьями...». Впервые: Знамя, 1968, № 5.  
«Часы внутри меня...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Жить вместе с деревом, как Эрзя...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Тихий ветер по саду ступает...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Стихи – это судьба, не ремесло...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Поэзия – дело седых...». Впервые: Неделя, 1963, 6 октября.  
«Когда после разлуки...». Впервые: Знамя, 1965, № 3.  
«Летний город спозаранку...». Впервые: Точка кипения. М., 1977.  
«О подъезды, о колонны...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Свяжите мне фуфайку...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
Роса. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

Арктическая ива. Впервые: Сельская молодежь, 1963, № 12.  
«Упала, кажется, звезда...». Впервые: День поэзии. М., 1962.  
«В годовом круговращенье...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Не в Японии, не на Камчатке...». Впервые: День поэзии. М., 1962.  
«Костер сгорел дотла...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
«У деревьев нет уродов...». Впервые: Юность, 1965, № 10.  
Над старыми тетрадами. Впервые: Юность, 1966, № 9.  
«Я под облачной грядюю...». Впервые: Юность, 1965, № 10.  
«Стихотворения – тих о творения...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
«Да, театральны до конца...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Я думаю все время об одном...». Впервые: Москва, 1964, № 5.  
«Я вовсе не бежал в природу...». Впервые: Москва, 1964, № 5.  
«Кровь солона, как вода океана...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
Амундсену. Впервые: Знамя, 1972, № 11.  
Рязанские страдания. Впервые: Юность, 1968, № 5.  
«Сосен светлые колонны...». Впервые: Московские облака. М., 1972.  
«Я хочу, чтоб средь метели...». Впервые: Знамя, 1968, № 5.  
«Не удержал усилием пера...». Впервые: Юность, 1967, № 5.  
«Я иду, отражаясь в глазах москвичей...». Впервые: Знамя, 1965, № 3.  
«Осенний воздух чист...». Впервые: Знамя. 1965, № 3.  
«Он чувствует собачьей кожей...». Впервые: Знамя, 1965, № 3 (под назв. «Гравер»)  
«От кухни и передней...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
«Выщербленная лира...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
Таруса. Впервые: Точка кипения М., 1977.  
«Я – северянин. Я ценю тепло...». Впервые: День поэзии М., 1968.  
«Вчера я кончил эту книжку...». Впервые: Юность, 1968, № 5.  
«Я не искал людские тайны...». Впервые: Юность, 1969, № 3.  
«Рассказано людям немного...». Впервые Юность, 1968, № 5.  
«Не линия и не рисунок...». Впервые: Юность, 1965, № 10.  
Нерест. Впервые: Сельская молодежь, 1965, № 10.  
«Кета родится в донных стойлах...». Впервые: Юность, 1965, № 10.  
«Я ищу не героев, а тех...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.  
«Как гимнаст свое упражнение...». Впервые: Юность, 1965, № 10.  
«Я не лекарственные травы...». Впервые: Юность, 1965, № 10.  
«Пусть свинцовый дождь столетья...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.  
«Не покончу с собой...». Публикуется впервые.  
«Любови случайное явленье...». Впервые: Юность, 1987, № 3.

«Взад-вперед ходят ангелы в белом...». Публикуется впервые. Посвящено А. А. Ахматовой.

Живопись. Впервые: Знамя, 1968, № 5. Б. Биргер в 1967 г. написал портрет В. Шаламова.

«В судьбе есть что-то от вокзала...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

«По старому следу сегодня уеду...». Впервые: День поэзии. М., 1969.

«Нет, память не магнитофон...». Впервые: День поэзии. М., 1968.

«Я тоже теплопоклонник...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

«Не шиповник, а пионы...». Публикуется впервые.

«Грозы с тяжелым градом...». Впервые: Знамя, 1968, № 12. Посвящено И. П. Сиротинской.

«Три корабля и два дельфина...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

«На память черпнул я пол-океана...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

«Усиливающийся дождь...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

«Усиливающийся ливень...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

«Быть может, и не глушь таежная...». Впервые: Знамя, 1968, № 12.

«Все осветилось изнутри...». Впервые: Знамя, 1968, № 5 (под назв. «Восход солнца»).

«В лесу листок не шелохнется...». Впервые: Юность, 1970, № 7.

«Я живу не по средствам...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

«Я одет так легко...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

«Как на выставке Матисса...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

Разночтения в первой строфе.

«Как пишут хорошо: «Испещрено...»...». Впервые: Юность, 1987, № 3.

«Суеверен я иль нет – не знаю...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

«Приглядишься к губам поэта...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

«Дорога ползет, как червяк...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

«На небе бледно-васильковом...». Впервые: День поэзии. М., 1969.

«Волна о камни хлещет плетью...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

«Как в фехтовании – удар...». Впервые: Знамя, 1970, № 1.

«Ведь в этом беспокойном лете...». Впервые: День поэзии. М... 1985.

Вечерний холодок. Впервые: День поэзии. М., 1970.

«Летом работаю, летом...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

«Не чеканка – литье...». Впервые: Юность, 1971. № 11.

«Мир отразился где-то в зеркалах...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

Воспоминание о ликбезе. Впервые: Московские облака. М., 1972.

«Моя мать была дикарка...». Впервые: Московские облака. М., 1972.

Прачки. Впервые: День поэзии. М., 1972.

«И мне на плече не сдержать...». Публикуется впервые.

«Три снежинки, три снежинки в вышине...». Впервые: Московские облака. М., 1972 (разночтения).

«Хранитель языка...». Впервые: День поэзии. М., 1972.

«Острием моей дощечки...». Впервые: День поэзии. М., 1985.

«Пусть лежит на столе...». Впервые: Юность, 1981, № 8 (под назв. «Для биопсии»).

«Как Бетховен, цветными мелками...». Впервые: Точка кипения. М., 1977.

«Уступаю дорогу цветам...». Впервые: Юность 1973 № 8

«Стихи – это боль и защита от боли...». Впервые: Точка кипения. М., 1977.

«Я не люблю читать стихи...». Впервые: Юность, 1981, № 8.

«Я поставил цель простую...». Впервые: Юность, 1973, № 8.

Топор. Впервые: Точка кипения. М., 1977.

«Ветер по насту метет семена...». Впервые: Точка кипения. М., 1977.

«Она ко мне приходит в гости...». Впервые: Точка кипения. М., 1977.

Посвящено И. П. Сиротинской.

«Не суеверием весны...». Впервые: Точка кипения. М., 1977. Посвящено И. П. Сиротинской.

«Письмо из ящика упало...». Публикуется впервые.

«Хоть стал давно добычей тлена...». Публикуется впервые.

«Я, пожалуй, рад безлюдью...». Публикуется впервые.

«Просто – болен я. Казалось...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

Славянская клятва. Впервые: Несколько моих жизней. М., 1996.

«Коктебель невелик. Он родился из книг...». Впервые: День поэзии. М., 1975.

«Я скитаюсь по передним...». Впервые: Несколько моих жизней. М., 1996.

«Слышу каждое утро...». Публикуется впервые.

«Зови, зови глухую тьму...». Впервые: Литературное обозрение, 1990, № 10.

«Вот так умереть...». Впервые: Юность. 1987, № 3.

«Мизантропического склада...». Впервые: Точка кипения. М., 1977.

«Судьба у меня двойная...». Впервые: Советская библиография, 1990, № 6.

Сверчок на печи. Впервые: Литературное обозрение, 1989, № 8 (без назв.).

«В гулкую тишину...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

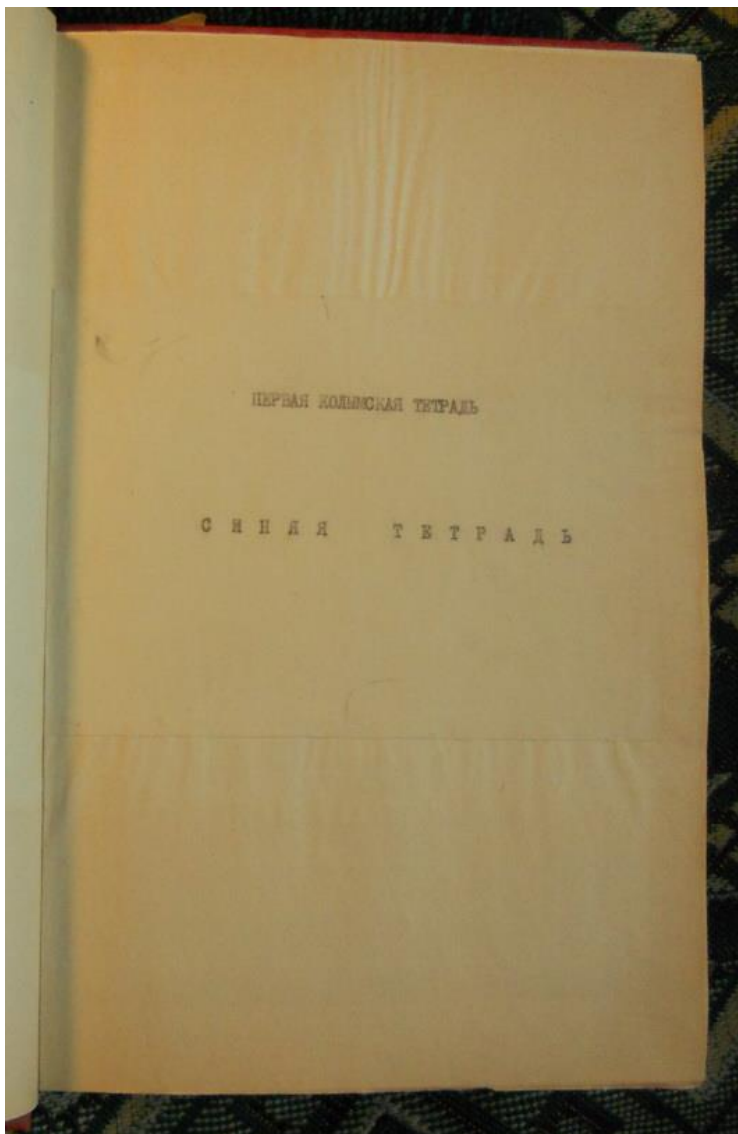
«Яблоком, как библейский змей...». Впервые: Литературное обозрение, 1990, № 10.

«Не буду я прогуливать собак...». Впервые: Литературное обозрение, 1990, № 10.

Следует добавить, что приведенная библиография Сиротинской отнюдь не всегда правдива – она игнорирует публикации стихов Шаламова в русской эмигрантской периодике. Сиротинской как библиографу в данном сборнике посвящена отдельная статья «Ложь как принцип» (подраздел Архив, библиография).



***Цикл «Синяя тетрадь», «Колымские тетради», первое издание, 1966***



**«Первая колымская тетрадь». Титульный лист сборника первого, «Синяя тетрадь», в авторском самиздатском двухтомнике «Колымских тетрадей» Шаламова, 1966 год**



ПЕРВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕТРАДЬ

СВОИ ТЕТРАДЬ.

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Песерной змья
2. Я бедез, оливок и наг
3. Не судя нас сликко строго
4. Роккоз воображение
5. Зажитие
6. Навьсь, как любовь, нистауде
7. Деседь бедая
8. Я вмаз теод, весна
9. Дуна, точно снежная сойка
10. Серий камень
11. Рассеянной и рококоз
12. Дандия
13. Наверх
14. Тиньяна
15. Буаге
16. Я вьоба погоду детства
17. Авет воздуха, как рестоор
18. Эй, красавица, стоа, богоди
19. Ни травинка, ни кусточка
20. Ты не застогивай крочказ
21. Следио твоах ног
22. Принасья мне так, как раньше
23. Здесь морозь шумат реки
24. Ходящюй кистью винограда
25. Боже ты мой, сколько
26. С кочаи, с Гурки
27. Спитает снег и днем и ночью
28. змлье почуяв, конь хранит
29. Костыр и звезди
30. Ты катор развяжешь одение
31. Не забудь, что ты выкрашены
32. Наше счастье, как змьяна радуга
33. Рассвет поля чие зношера
34. Ковачно, Омиаки
35. Не дождущя тепла-потоли
36. Подвесу я к реке снечку
37. Собака беслукино, как теи
38. Сколько, оленья нирта
39. Все те же снега аваакуньва лека
40. Спектральные цвета
41. Школа
42. Не гляди, что слишком рано
43. Визг и шехест
44. Кду
45. Где то детское, переагто
46. Наверно, я всег не настояция
47. Я тебе - доброй похожей
48. Я силе в постоеах мертвецои
49. Поганя, горедская колдунья
50. Чем ты мучишь, чем Пугачевь
51. в эаонтоз мраротке, в жале
52. высочна кач. Гитарный звон

II.

53. Ариаднина нить
54. Волшебная аптека
55. Ротсезаль
56. Шагай, веселый индеец
57. Бодриния Изгорова
58. Стрелецкая смерть
59. Карт коштами несок
60. Начево
61. В этой степной земле
62. Воспоминания свободы
63. Заносит их дорожной пылью
64. А мы в счастье капитанов
65. Дерзатинский
66. Романо
67. Летят в Годову чужь Талая
68. Камен
69. Я в сне в день рождения
70. Небеса над бульваром Смоленским
71. Сколько писем к тебе разорвано
72. Мостовая моя, торсионная
73. А, как медьяровский герой
74. Все то, что было упущением
75. Как ткань сожженная
76. Я иначе вновь и исповедальня
77. Нес
78. Стоя, вращенье земли навстречу  
вокальных обещаний
79. Синей дали, малой дали
80. Я наклонялся дереву
82. Август
83. Далеко небо. Белые снега
84. Ради Бога, этим летом
85. Есть состояние истощения
86. Старинной каменной скульптурой
87. Цвета связываются в букет
88. Все так, но все об этом речь
89. Стучался я в амалтку
90. Я Гэр не видел огневидных
91. Путьяну
92. Намнут по небу облака

Педерной пшаво, синей плесенью  
Моя испачкана стужа  
Они рождались в дни воскресные  
Вамногословны и тихи  
Они, как звери, быстро выросли  
Креценским снегом крецены  
В морозной тьме, в боковой сырости  
И все же выжили они

Они не хвастаются предками  
Ни до потомков дела нет  
Они своей гранитной клеткой  
Довольны будут много лет.

Ташыр, пробуженные птицами  
Не соловьиных голосов  
Кричат про то, что вечно снится им  
В устье камня и лесов.

Меня простит за аналогии  
Любой, кто знает жизнь мою  
Почерпнутые в зоологии  
И у рассудка на краю.

Стихотворение, открывающее цикл

Смотреть фотографии в полном виде в хорошем качестве, архив с файлами, 10,4 МБ <http://dl.dropbox.com/u/9178411/Sin tetrad.zip>

В переизданиях «Колымских тетрадей», осуществленных Сиротинской, цикл «Синяя тетрадь» содержит на 13 стихотворений меньше. Желающие могут сравнить – ниже оглавление этого цикла из третьего тома собрания сочинений Шаламова, 1998

### Синяя тетрадь

«Пещерной пылью, синей плесенью...». Впервые: Литературная Россия, 1987, 3 июля.

«Я беден, одинок и наг...». Впервые: Смена, 1988, № 88.

«Не суди нас слишком строго...». Впервые: Дружба народов, 1987, № 3.

«Робкое воображенье...». Впервые: Смена, 1988, № 88.

Заклятье весной. Впервые: Знамя, 1970, № 1 (в сокращении).

«Замолкнут последние выюги...». Впервые: Знамя, 1993, № 1.

«Ты держись, моя лебедь белая...». Впервые: Колымские тетради. Версты. М., 1994.

«Я вижу тебя, весна...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Луна, точно снежная сойка...». Впервые: Знамя, 1993, № 1.

Серый камень. Впервые: Шелест листьев. М., Сов. писатель, 1964.

«Рассеянной и робкой...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Розовый ландыш. Впервые: Сибирские огни, 1988, № 3.

Наверх. Впервые: Юность, 1967, № 5.

Букет. Впервые: Колымские тетради. М... 1994.

«Я забыл погоду детства...». Впервые: Аврора, 1987, № 9.

«Льют воздух, как раствор...». Впервые: Знамя, 1993, № 1.

«Эй, красавица, – стой, погоди!..». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Ни травинки, ни кусточка...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Ты не застегивай крючков...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Следов твоих ног на тропинке таежной...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

«Приснись мне так, как раньше...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Здесь морозы сушат реки...». Впервые: Знамя, 1993, № 1.

«Холодной кистью виноградной...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Боже ты мой, сколько...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«С кочки, с горки лапкой заячьей...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Сыплет снег и днем и ночью...». Впервые: Стихотворения. М., Сов. писатель, 1988.

«Жилье почуяв, конь храпит...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Костры и звезды. Синий свет...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Ты капор развяжешь олений...». Впервые: Стихотворения. М., 1988. Гостя. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Наше счастье, как зимняя радуга...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Новогоднее утро. Впервые: Знамя, 1993, № 1.

«Конечно, Оймякон...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Не дождусь тепла-погоды...». Впервые: Знамя, 1993, № 1.

«Поднесу я к речке свечку...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

«Собаки бесшумно, как тени...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Скользи, оленья нарта...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Все те же снега Аввакумова века...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Спектральные цвета...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994. Школа в Барагоне. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

«Не гляди, что слишком рано...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Визг и шелест ближе, ближе...». Впервые: Стихотворения. М., 1988. Еду. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Где же детское, пережитое...». Впервые: В мире книг, 1988, № 8.

«Я тебе – любой прохожей...». Впервые: В мире книг, 1988, № 8.

«Я сплю в постелях мертвецов...». Впервые: В мире книг, 1988, № 8.

«Погляди, городская колдунья...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Чем ты мучишь? Чем пугаешь?...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«В закрытой выработке, в шахте...». Впервые: Дружба народов, 1987, № 3.

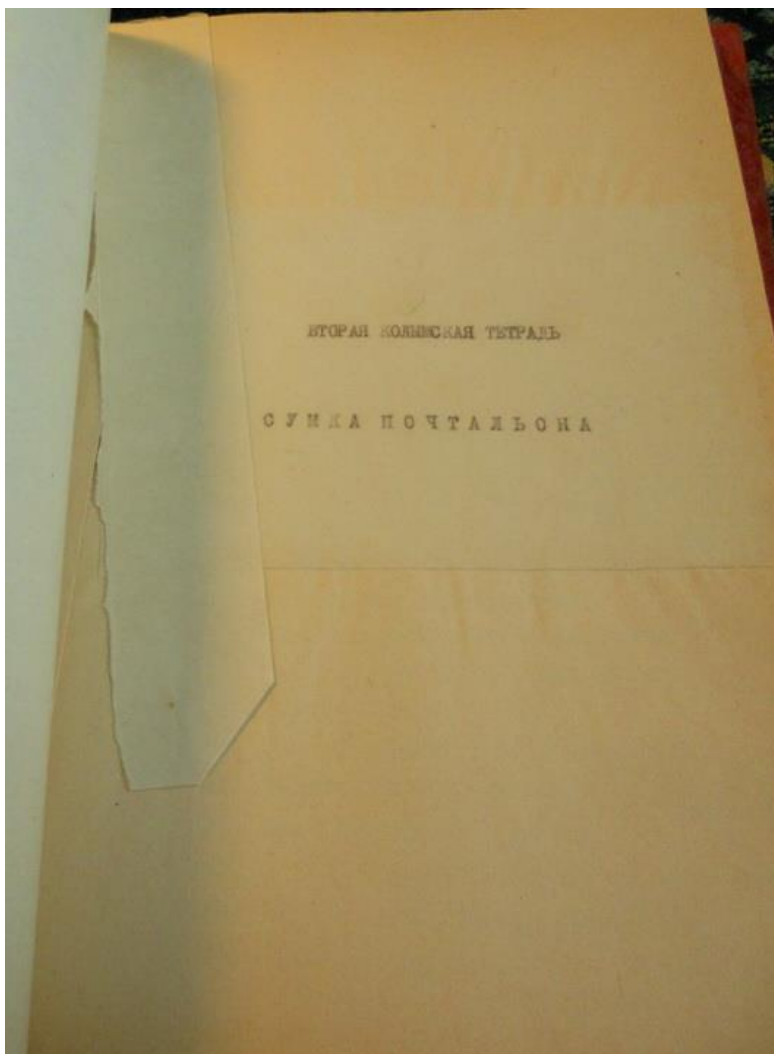
«Басовый ключ. Гитарный строй...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Я отступал из городов...» Впервые: В мире книг, 1988, № 8. Волшебная аптека. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Ронсеваль. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Шагай, веселый нищий...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
Рыцарская баллада. Впервые. Колымские тетради. М., 1994.  
«Квадратное небо и звезды без счета...». Впервые: Сибирские огни, 1988, № 3.  
«В этой стылой земле, в этой каменной яме...». Впервые: Сибирские огни, 1988, № 3.  
«Воспоминания свободы...». Впервые: Сибирские огни, 1988, № 3.  
«Я пил за счастье капитанов...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
Баратынский. Впервые: Юность, 1966, № 9.  
«Платочек, меченный тобою...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Лезет в голову чушь такая...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
Камя. Впервые: Огниво. М., 1961 (в сокращении). Шелест листьев. М., 1964.  
«Я песне в день рождения...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Небеса над бульваром Смоленским...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Сколько писем к тебе разорвано!..». Впервые: Колымские тетради. М., 1994. Посвящено Г. И. Гудзь.  
«Мостовая моя торцовая...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Я, как мольеровский герой...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Ради Бога, этим летом...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Как ткань сожженная, я сохраняю...». Впервые: Знамя, 1993, № 7.  
«Я нынче вновь в исповедальне...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
Пес. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Стой! Вращенью земли навстречу...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Синей дали, милой дали...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Я жаловался дереву...». Впервые: Дружба народов, 1987, № 3.  
Август. Впервые: Огниво. М., 1961.  
«Есть состоянье истощенья...». Впервые: Смена, 1988, № 88.  
«Старинной каменной скульптурой...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Все так. Но не об этом речь...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

---

*Цикл «Сумка почтальона», «Колымские тетради», первое издание, 1966*



**«Вторая колымская тетрадь».** Титульный лист сборника второго, «Сумка почтальона», в авторском самиздатском двухтомнике «Колымских тетрадей» Шаламова, 1966 год

## СЛЖКА ПОЧТАЛЪОНА

1. В часи нощи, медитиве
2. Я почувствувал сказки
3. Память окрида столько ака
4. Как Архимед, ковчарий на песке
5. Ключ (Хрустели кости у кустов)
6. Не старость, нет, все та же глупость
7. Возвращение (Каков необычной властью)
8. Едва выживает годова
9. Мы дыши тяжело
10. Чтоб торопиться умирать
11. Я с лета приберет цветы
12. Иду, дорогу пробивая
13. Весна (Цветна засушенное тело)
14. Перед небом (Здесь человек в привычной позе)
15. *Позлу* (В моем, еще недавнем прошлом)
16. С годами все безоговорочней
17. Конце Ахилла (Когда я оставсь один)
18. Перстень (Смейся, пой, пляши и лги)
19. Рассказ о Данте
20. Утро стрелецкой казни (В предсмертных  
носовых рубахах)
21. Боярыня Морозова (Попрошаться с сонной  
Москва)
22. Скоро мне при свете свечки
23. О твоих письмах (Сотый раз иду на почту)
24. Затлевет цапки, вспыхнут руки
25. Скоро в серое море



26. Четвертый час утра
27. февраль. Это месяц туманов
28. Скрипач (Скрипач играет на углу)
29. Не открои после двери
30. Мы спорим обо всем на свете
31. Мы несчастье и счастье
32. Мне что ни ночь, то море бреда
33. Свидание (Отворила тихие двери)
34. Лес гнется ветром ударом
35. Кольбальная (Заснежило край мой горный)
36. Зима уходит в ночь и стужа
37. Дождя неожиданной влагой
38. Там где-то мировом закована слякоть
39. Тихина (На край лезги мы дуга)
40. Остановлены часы
41. Откинув облачную крышку
42. Бухта (Дальней лодки паруса)
43. Что стало ближним? Что далеким?
44. Деревья зашпони, как свечи
45. Перед нами русская телега
46. Нет, тебе не стать весной
47. Ты капор развлекешь олений
48. Я, как рыба, плыву по ночам
49. Изменился давно фарватер
50. Мне одежда Гулливера
51. Перевод с английского (В староверском дому)
52. Луна свисает, как тяжелый
53. Вечер стояла у крыльца (Прощание)

54. Утро (На стенке шари́т желтый луч)
55. Неосторожный иг
56. Како́й! за́слоня и кни́гой
57. Я разорву́ ку́стот ко́нцо
58. Ве́дь то́лько дли́нный ряд мо́гил
59. Прино́днаты́ миллио́ном ру́к

Содержание цикла «Сумка почтальона»

+ +  
+  
В часи ночиня, лединя,  
Осатанял от манти,  
Я брону в небо позиння  
Семидесятой широти.

Пуснай геолог бородатий,  
Оттаяв циркуль на костре,  
Скрестит мои координаты  
На закодированной горе,

Где, как Тангейзер у Венеры,  
Плененный снежной наготой,  
Я двадцать лет живу в пещере,  
Горя единственной мечтой,

Что вырвавшись на свободу  
И сдвинув плечи, как Самсон,  
Обрушу каменные своды  
На многолетний этот сон.

---

Стихотворение, открывающее цикл

Смотреть фотографии в полном виде в хорошем качестве, архив с файлами, 13,1 МБ [http://dl.dropbox.com/u/9178411/Sumka\\_pocht.zip](http://dl.dropbox.com/u/9178411/Sumka_pocht.zip)

В переизданиях «Колымских тетрадей», осуществленных Сиротинской, цикл «Сумка почтальона» содержит на одно стихотворение меньше. Желающие могут сравнить – ниже оглавление этого цикла из третьего тома собрания сочинений Шаламова, 1998

### Сумка почтальона

«В часы ночные, ледяные...». Впервые: Литературная Россия, 1987, 3 июля.

«Я коснулся сказки...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Память скрыла столько зла...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Как Архимед, лоящий на песке...». Впервые: День поэзии. М., 1985. Ранний вариант: Колымские тетради. М., 1994.

Атомная поэма. Впервые: Дальний Восток, 1989, № 7.

«Не старость, нет, – все та же юность...». Впервые: Юность, 1967, № 5.

Возвращение. Впервые: Колымские тетради. М., 1994. Посвящено Г. И. Гудзь.

«Мы дышим тяжело...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Едва вмещает голова...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Чтоб торопиться умирать...». Впервые: Смена, 1988, № 88.

«Я с лета приберег цветы...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Иду, дорогу пробивая...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Цветка иссушенное тело...». Впервые: Литературная газета, 1966, 30 июля.

Перед небом. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Поэту. Впервые: Новый мир, 1988, № 6 (в сокращении).

«С годами все безоговорочней...». Впервые: Смена, 1988, № 88.

Копье Ахилла. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Перстень. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Утро стрелецкой казни. Впервые: Дорога и судьба. М., Сов писатель, 1967

Боярыня Морозова. Впервые: Огниво. М., Сов. писатель, 1961.

Рассказ о Данте. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

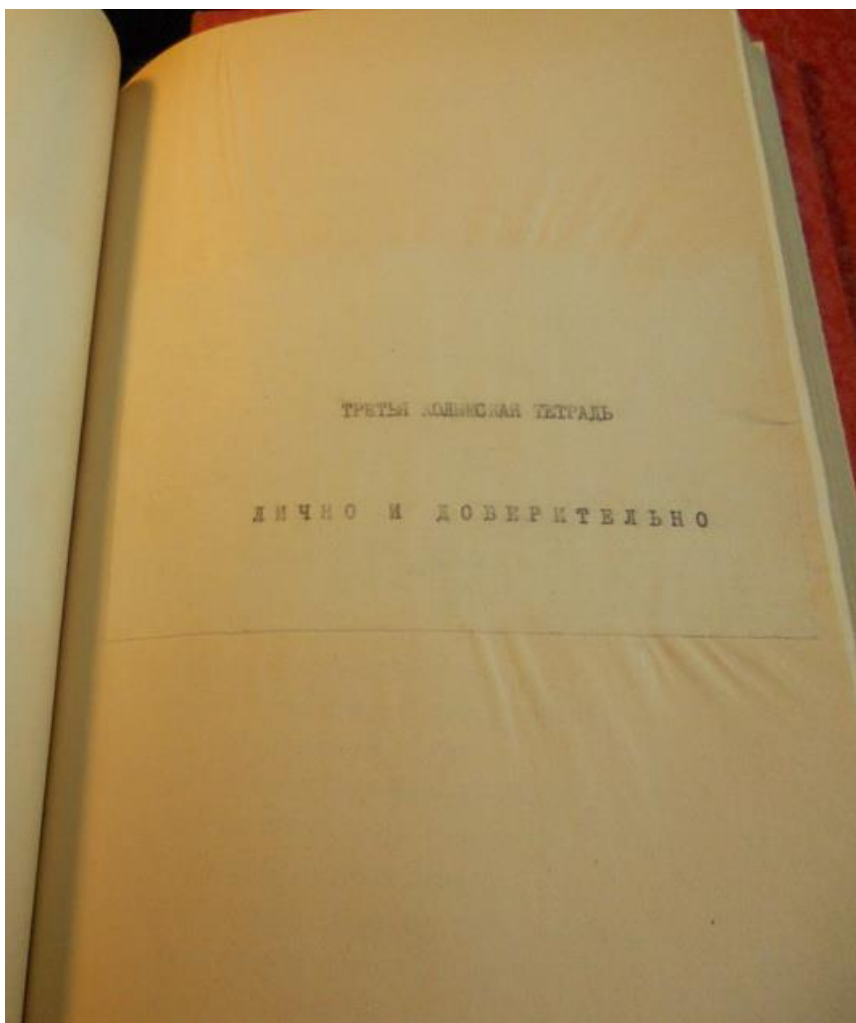
«Скоро мне при свете свечки...». Впервые: Юность, 1981, № 8.

Верю. Впервые: Шелест листьев. М... 1964. Посвящено Г. И. Гудзь.  
«Заглотят щеки, вспыхнут руки...». Впервые: Юность, 1981, № 8. Посвящено Г. И. Гудзь.  
«Скоро в серое море...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Четвертый час утра...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Февраль – это месяц туманов...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
Скрипач. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Не откроем песне двери...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
«Мы несчастье и счастье...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Мы спорим обо всем на свете...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Мне что ни ночь – то море бреда...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
Свидание. Впервые: Колымские тетради, М., 1994.  
«Лес гнется ветровым ударом...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Засыпай же, край мой горный...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
«Зима уходит в ночь, и стужа...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Дождя невидимую влагой...». Впервые: Огниво. М., 1961 (под назв. «Холодный день»)  
«Там где-то морозом закована слякоть...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«На краю лежим мы луга...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Остановлены часы...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Откинув облачную крышку...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
Бухта. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Что стало близким? Что далеким?...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Деревья зажжены, как свечи...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Пред нами русская телега...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Нет, тебе не стать весною...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Я, как рыба, плыву по ночам...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.  
«Изменился давно фарватер...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Мне одежда Гулливера...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
Перевод с английского. Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
«Луна свисает, как тяжелый...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

Прощание. Впервые: Юность, 1968, № 5.  
Утро. Впервые: Огниво. М., 1961.  
«Неосторожный юг...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Какой заслоню я книгой...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Я разорву кустов кольцо...». Впервые: День поэзии. М., 1986.  
«Ведь только длинный ряд могил...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Приподнятый миллионом рук...». Впервые: Литературное обозрение, 1989, № 8.

---

*Цикл «Лично и доверительно», «Колымские тетради», первое издание, 1966*



**«Третья колымская тетрадь». Титульный лист сборника третьего, «Лично и доверительно», в авторском самиздатском двухтомнике «Колымских тетрадей» Шаламова, 1966 год**

ЛЮЧНО И ДОВЕРТЕЛЬНО

1. Я, как Ной, над морской волной
2. Бог был еще ребенком и умрадкой
3. Живого сердца голос властный
4. Птицелов (Согнулась западня)
5. Замела в наступившем штиле
6. Похороны (Под Новый год я выбрал дом)
7. Здесь первый искренний стихом
8. К так называемой победе
9. Гора (В <sup>ура</sup> ~~сердце~~ известняке)
10. Он смеял без людей, без книг
11. Еще ишь (Ты левый, что запрокинув голову)
12. Возможно ль этот тайный спор
13. Ишь (Все соловьи осоловели)
14. Гроза (Сменялись обложка и волны)
15. Тайга (Тайга - молчаливица от века)
16. Сосны срубленные (Пахнут медом будущие бревна)
17. Он из окна своей квартиры
18. О песне (Темное происхождение)
19. Над трубами Витима
20. Концерт (Скрипка, как желтая птица)
21. Мы гуляем среди торосов
22. Среди холодной тьмы
23. Я здесь живу, как муха, мучась
24. Кому-то нынче день порожий
25. Клен и рослый и плечистый



26. Приходит с улиц, площадей
27. Персей и Иуан (Она еще жива, Расел)
28. Я нище с прежних стезей
29. Затерянный в зеленом море
30. Силетают ветви полукруг
31. Вечерней мыслью голубов
32. В мозгу вся ночь трансекут строки
33. Баратинский (Мы втроем нашли находку)
34. Потухнут свечи восковые
35. Я видел все: песок и снег
36. Ушло почтовой бандеролью
37. Кто домик наш, подруга
38. Ночная песня (Бродит ночь волчьей стаей)
39. Я мальчином умру
40. Не успокоит, не согреет
41. Вся даль весенняя бродила
42. Он пальмы замерзшие греет
43. Я жаловался дереву
44. Белое небо. Белые снега.
45. Август (Вечер. Яблоки литые)
46. Пес (Вот он лежит, поджавши лапы)
47. Лезет в голову чужь такая
48. Серый камень (Моими ли руками)
49. В болотах стелится туманы
50. Сломал и смял цветы
51. Как будто маятник огромный
52. Ты упадешь на снег в метель
53. Мне б только выздороветь немножко

54. Нет, не для нас, не в нашей моде  
 55. Всяду нах, сухой, как порох  
 56. Я на этой самой тропке  
 57. Оттенель (Дорожкам время пробудиться)  
 58. Пережидаем дождь  
 59. Луч (Будто кистью маховой)  
 60. В 15 лет (Хожу, задыхаясь тяжело)  
 61. Реквием (Ты похоронена без гроба)  
 62. Густеет темный воздух  
 63. Стучался я в калитку  
 64. Фортинбрас (Ходят взад-вперед дозоры)
- 

Содержание цикла «Лично и доверительно»

Смотреть фотографии в полном виде в хорошем качестве, архив с файлами, 10,4 МБ [http://dl.dropbox.com/u/9178411/Lichno\\_i\\_doverit.zip](http://dl.dropbox.com/u/9178411/Lichno_i_doverit.zip)

В переизданиях «Колымских тетрадей», осуществленных Сиротинской, цикл «Лично и доверительно» содержит на 6 стихотворений меньше. Желающие могут сравнить – ниже оглавление этого цикла из третьего тома собрания сочинений Шаламова, 1998

### Лично и доверительно

«Я, как Ной, над морской волною...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Бог был еще ребенком, и украдкой...». Впервые: Аврора, 1987, № 9.

«Живого сердца голос властный...». Впервые: Юность, 1967, № 5.

Птицелов. Впервые: День поэзии. М., 1966.

«Замлела в наступившем штиле...». Впервые: Литературная Россия, 1987, 3 июля.

Похороны. Впервые: Литературная Россия, 1987, 3 июля.

«Здесь первым искренним стихом...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«К так называемой победе...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Гора. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Он сменит без людей, без книг...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

Еще июль. Впервые: Знамя, 1993, № 1.

«Возможно ль этот тайный спор...». Впервые: Кодры, 1990, № 5.

Июль. Впервые: Знамя, 1957, № 5.

Гроза. Впервые: Знамя, 1957, № 5.

Тайга. Впервые: Знамя, 1957, № 5.

Сосны срубленные. Впервые: Москва, 1958, № 3.

«Он из окна своей квартиры...». Впервые: Юность, 1969, № 3.

О песне. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Над трущобами Витима...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Концерт. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

«Мы гуляем среди торосов...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Среди холодной тьмы...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Я здесь живу, как муха, мучась...». Впервые: Смена, 1988, № 88.

«Кому-то нынче день погожий...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Клен и рослый и плечистый...». Впервые: Огниво. М., 1961 (под назв. «Осень»).

«Приходят с улиц, площадей...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Персей и Муза. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Я нынче с прежнею отвагой...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Затерянный в зеленом море...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

«Сплетают ветви полукруг...». Впервые: В мире книг, 1988, № 8.

«Вечерней высью голубою...». Впервые: В мире книг, 1988, № 8.

«В мозгу всю ночь трепещут строки...». Впервые: Дружба народов, 1987, № 3.

«Потухнут свечи восковые...». Впервые: В мире книг, 1988, № 8.

«Я видел все: песок и снег...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Ушло почтовой бандеролью...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Кто домик наш, подруга...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Ночная песня. Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Я мальчиком умру...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Не успокоит, не согреет...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Вся даль весенняя бродила...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Он пальцы замерзшие греет...». Впервые: Литературная газета, 1966, 30 июля.

«Белое небо. Белые снега...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«В болотах стелются туманы...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Сломав и смяв цветы...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Как будто маятник огромны и...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Ты упадешь на снег в метель...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Мне б только выболеть немножко...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Нет, не для нас, не в нашей моде...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

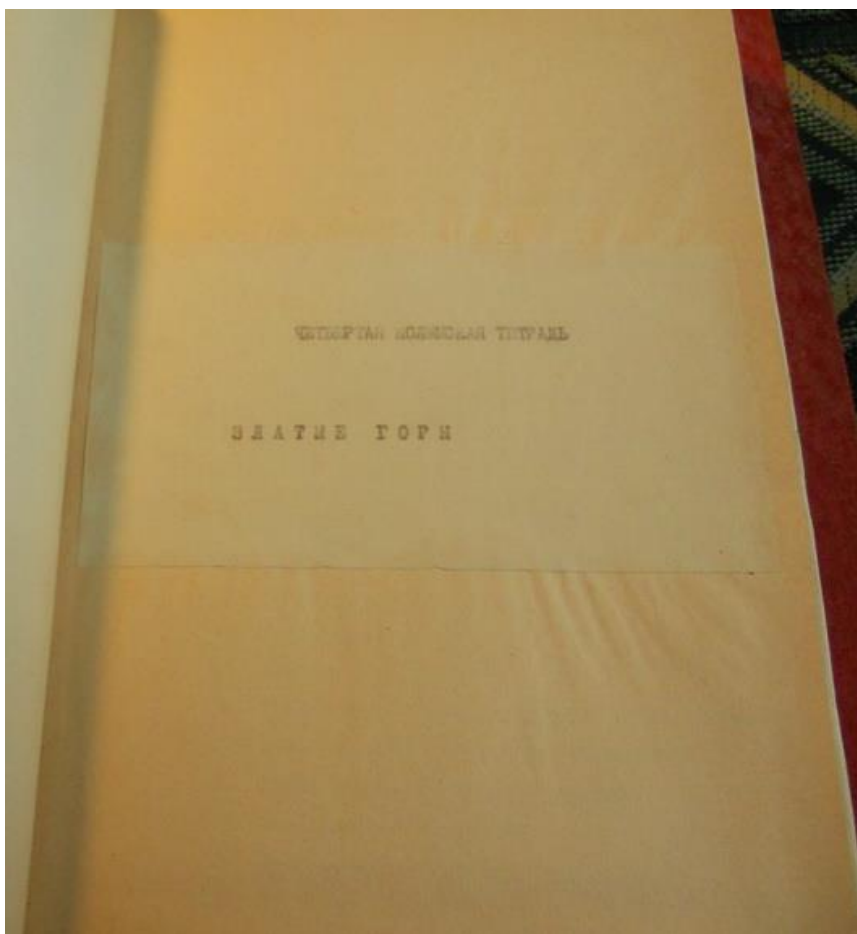
«Всюду мох, сухой, как порох...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Я на этой самой тропке...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Оттепель. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Пережидаем дождь...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
Луч. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
В пятнадцать лет. Впервые: Огниво. М., 1961.  
Реквием. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Густеет темный воздух...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.  
«Стучался я в калитку...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
Фортинбрас. Впервые: Точка кипения. М., Сов. писатель, 1977.

---

*Цикл «Златые горы», «Колымские тетради», первое издание, 1966*



**«Четвертая колымская тетрадь». Титульный лист сборника четвертого, «Златые горы», в авторском самиздатском двухтомнике «Колымских тетрадей» Шаламова, 1966 год**

БЛАТНЫЕ ГОРЫ

1. Зимний мед
2. Инструмент (До чего же приятна-на)
3. Тебя я слышу, слышу, слышу
4. У крыльца (У крыльца к моей душе)
5. Так вот и хожу
6. Восток звезд в ночи глубокой
7. Отчего на этой даче
8. В леске (Леска, дорожка игольница)
9. Заплатки горы (Когда я плелся еле-еле)
10. Я с отращиванием пшеницы
11. Говорят, мы нежно пашем
12. Мы ночи боимся напрасно
13. О тебе мы судим разное,
14. Романы (В заболоченной Чукотке)
15. Вернулась в будни деловые
16. Вернусь на этот детский плач
17. Ты смутисься, ты замучись
18. Упомянутое бегство
19. Мне все мои болезни
20. Зимний день (Свет, как в первый день творенья)
21. Сохлейт (Зачем не в каменном колоде)
22. Опять сквозь лиственницы поросль
23. Все кадное - кино, кино
24. Воспоминание (Соблазнительные речи)
25. В тишине оловянной

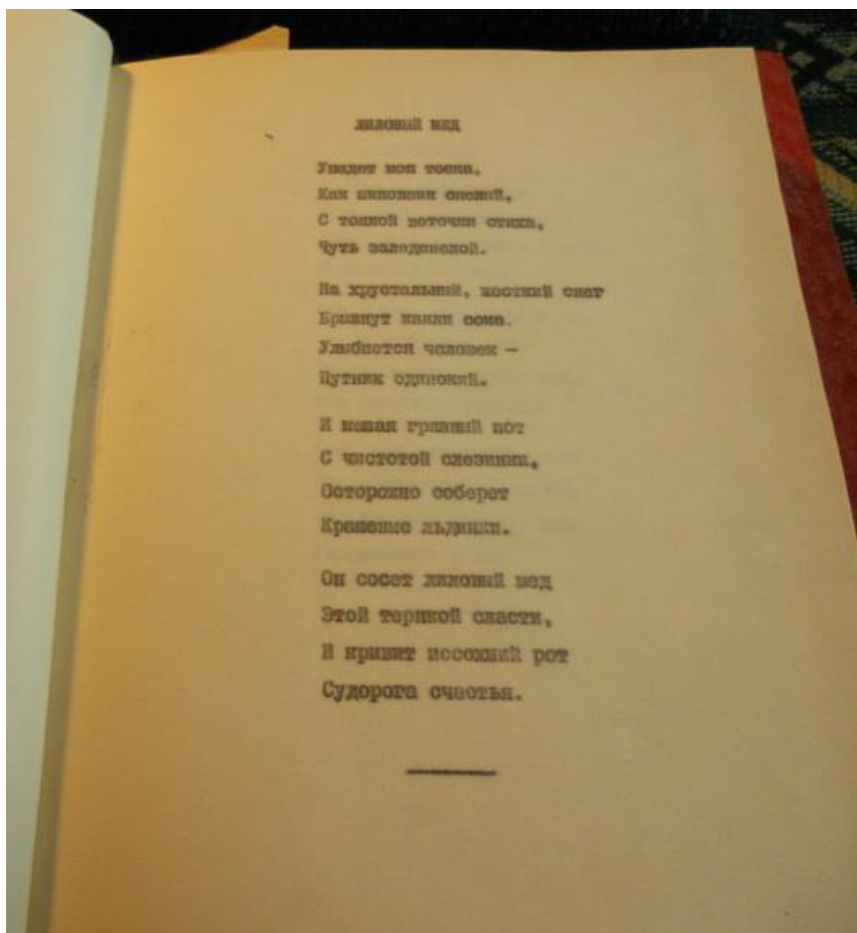
26. Я или все чувствую одно
27. Из двенадцати Доминикова (Бессмертен только шиповник)
28. Сущность, так ушла
29. Эка-дак (Что и! Захватил заложника ханжлы)
30. Одиноким осенью (Гораздо я такой уж грешник)
31. Нет, не духа кинематографа
32. На улице войны
33. На приговоренной поборнице
34. И - море, меня поднимает луна
35. Печалью песни так война
36. Комкает снег усталые олени
37. Гора бредет, согнувшись спину
38. Курку пустым конвертом
39. Вечер холодный слезки итисков
40. Вешни ручья утраты
41. Натурализма, романтизма
42. Ни отрезан край у тучи
43. Исполнение желаний (В кадре дородная хозяйка)
44. Жизнь, прожитой не так
45. Стихи? Какие не стихи
46. Все молчит: зверье и птицы
47. Мне в желтый глаз ромашки
48. Мне жить остаться - нет надежды
49. Конец надеждам и раскаянием
50. Уйду, уседу в дали дальние
51. Светотени досок искристой
52. Ты мол, последний поскоход
53. Ведь мы - не просто дети
54. Может быть твоё джигонье



55. Ветка (Воспоминья по мне, название)
56. И твой голос люблю погромной
57. Любя из вчерашних пьез
58. О, плакать, ты - ричаг
59. Разогреть норо здесь, что-ли
60. Здесь все, как в бибии, простое
61. Стань - не просто отрешенье
62. Отвали этот камень сораи
63. Видишь - дрогнули чернила
64. Лицом и молчащему ниру
65. Лезут в окна пошлыми
66. Тесно в загородном шире
67. В природе грубои красноречьи
68. Авантюи в Пустозерье (Не в брезнях, а в робрах)



Содержание цикла «Златые горы»



Стихотворение, открывающее цикл

Смотреть фотографии в полном виде в хорошем качестве, архив с файлами, 13,2 МБ [http://dl.dropbox.com/u/9178411/Zlat\\_gori.zip](http://dl.dropbox.com/u/9178411/Zlat_gori.zip)

В переизданиях «Колымских тетрадей», осуществленных Сиротинской, цикл «Златые горы» содержит такое же количество стихотворений, как и первоиздание – 68. Желающие могут сравнить – ниже оглавление этого цикла из третьего тома собрания сочинений Шаламова, 1998

### Златые горы

Лиловый мед. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

Инструмент. Впервые: Юность, 1967, № 5.

«Тебя я слышу, слышу, сердце...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

У крыльца. Впервые: Огниво. М., 1961.

«Так вот и хожу...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Шепот звезд в ночи глубокой...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Отчего на этой даче...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

В шахте. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Златые горы. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Я с отвращением пишу...». Впервые: Смена, 1988, № 88.

«Говорят, мы мелко пашем...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Мы ночи боимся напрасно...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

«О тебе мы судим разно...». Впервые: Дорога и судьба. М., Сов. писатель, 1967

Романс. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Вернувшись в будни деловые...». Впервые: Сибирские огни, 1988, № 3.

«Вернись на этот детский плач...». Впервые: Знамя, 1993, № 1.

«Ты смутишься, ты заплачешь...». Впервые: Точка кипения. М., 1977.

«Упоительное бегство...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Мне все мои болезни...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

Зимний день. Впервые: Стихотворения. М., 1988.

Сольвейг. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Опять сквозь лиственницы поросль...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Все людское – мимо, мимо...». Впервые: Огниво. М., 1961 (под назв. «У костра»).

Воспоминание. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«В тарелке оловянной...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Я знаю мое чувство емкое...». Впервые: Литературная Россия, 1987, 7 июля.

Из дневника Ломоносова. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Сумеешь, так утешь...». Впервые: Юность, 1987, № 3.  
Жил-был. Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
Однажды осенью. Впервые: Знамя, 1957, № 5.  
«Нет, не рука каменотеса...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«На улице волки...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«На приморском побережье...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Я – море, меня поднимает луна...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Пичужки песня так вольна...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Копытят снег усталые олени...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
«Гора бредет, согнувши спину...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Шуршу пустым конвертом...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Зачем холодный блеск штыков...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Велики ручья утраты...». Впервые: Огниво. М., 1961.  
«Натурализм, романтизм...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Мы отрежем край у тучи...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
Исполнение желаний. Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
«Жизни, прожитой не так...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.  
«Стихи? Какие же стихи...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Все молчит: зверье, и птицы...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
«Мне в желтый глаз ромашки...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Мне жить остаться – нет надежды...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Конец надеждам и расплатам...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Уйду, уеду в дали дальние...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Светотени доскою шахматной...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
«Ты шел, последний пешеход...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Ведь мы – не просто дети...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.

«Может быть, твое движенье...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Ветка. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

«Я твой голос люблю негромкий...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Любая из вчерашних выюг...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

«О, память, ты – рычаг...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Разогреть перо здесь, что ли...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Здесь все, как в Библии, простое...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Стихи – не просто отраженье...». Впервые: Московские облака. М., Сов. писатель, 1972.

«Отвали этот камень серый...». Впервые: Знамя, 1993, № 1.

«Видишь – дрогнули чернила...». Впервые: Литературная Россия, 1987, 3 июля.

«Лицом к молящемуся миру...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Лезут в окна мотыльки...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

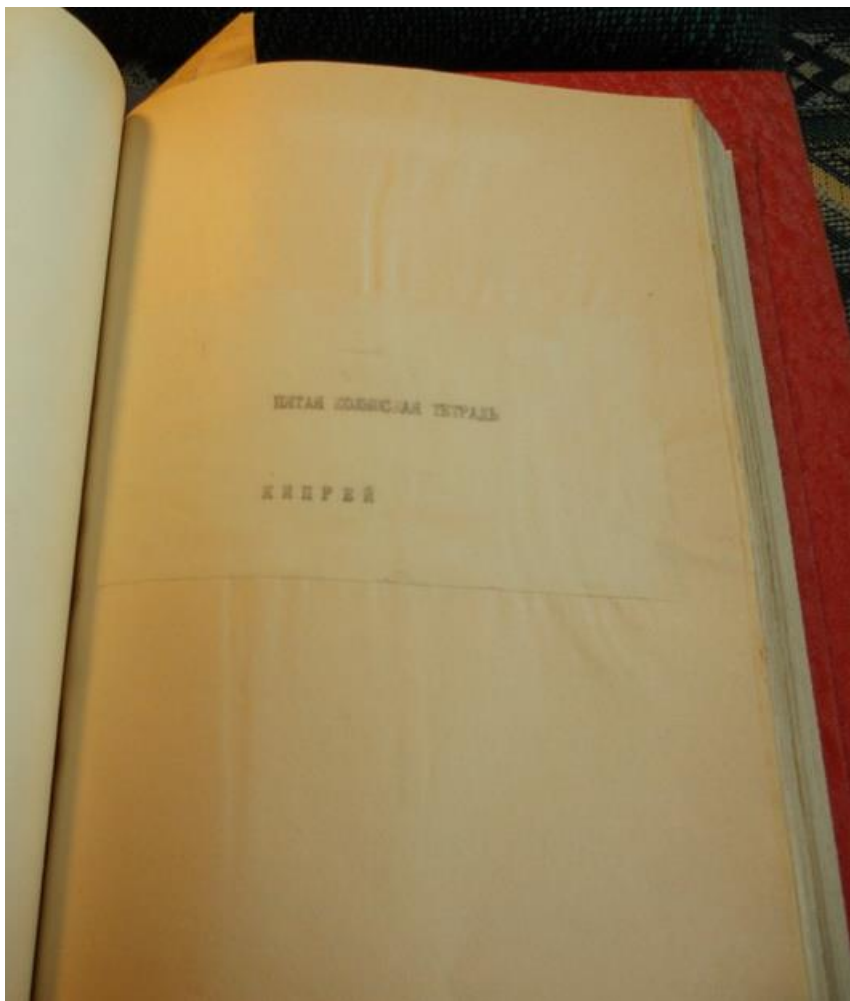
«Тесно в загородном мире...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«В природы грубом красноречье...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Аввакум в Пустозерске. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967 (в сокращении).

---

***Цикл «Кипрей», «Колымские тетради», первое издание, 1966***



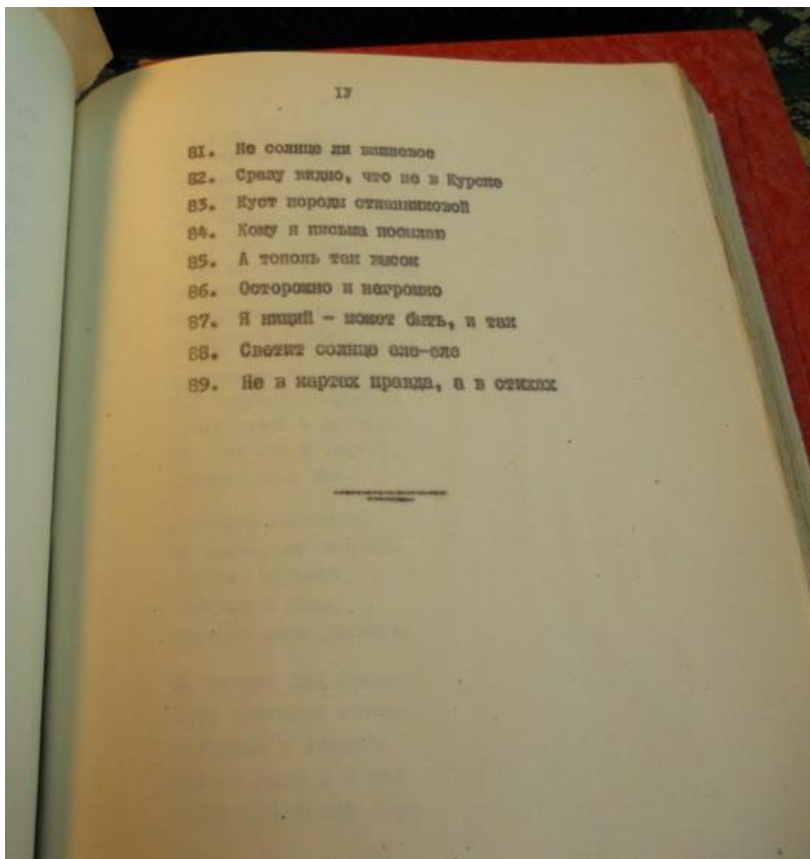
**«Пятая колымская тетрадь».** Титульный лист сборника пятого, «Кипрей», в авторском самиздатском двухтомнике «Колымских тетрадей» Шаламова, 1966 год

1. Я в воде не тогу
2. Давило (Я хотел бы так немного...)
3. По нашей бестолковости
4. Душ начави море
5. Станси (Я - тоска, я твой знакомый)
6. Забралась высоко в горы
7. Предвостный солонок
8. Навенок не доли
9. Кусты разогнуты в прикувыном стоном
10. Свой дом родимый броси
11. Мои дворны хрустальные
12. Жизнь - от корня и до корня
13. Кар-Итица (Ты - витанье в небе черном)
14. На этой горной высоте
15. Семейские картинки (Синеглазый ребенок...)
16. О, если б я в жизни был только туристом
17. Ты дуку извернись до дна
18. Верьте, смерть не так жестока
19. Два журнальных мудраца
20. По долинам, по распадкам
21. Все ночь мои портреты
22. Не жалей меня, Таня, не пугай моей слезы
23. Тает слабые снега
24. Из тьмы несов, из топи блат
25. Боялись испокон

26. Я твоей глоток любла ивгроский
27. В болотях залившие горы
28. В потемневшем бешиковье
29. Кто задолбался от недоверья
30. Востройшиа арестантским нагом
31. Скрой возманил сокрети
32. Смах в усах аналгой ели
33. К нем из окна еще доисител
34. Ветает ветер ралый сад
35. Вдось избрават мортвонцов
36. Пророчниа или кликуша
37. Твои рочи - как слово
38. Вот две - две капли дождевые
39. Пусть я, взрослея и старея
40. Когда от зесухи изкучась
41. Жизнь другая, жизнь не наша
42. Я двигавось, как мшь
43. Виззавно молкнет птичье пенье
44. Я - актер, а лямба - рампа
45. Не хватаетчегю? Не гор ни
46. Резче взгляды, резче кости
47. На садовые дорожки
48. На обрыве (Скала кричит - вперед ни шагу)
49. Нииче я пораньше лягу
50. Вся земля, как поле брани
51. Нет, нет! Пока не встанет день
52. Слабает дождь, светлеет день



53. Я силована мной эри
54. Наклонясь к люту боремы
55. С моей тоской, сугубо жгучей
56. Слабеет красна и тона
57. Мы горели с тобой тайнами
58. Вдвину каждой порой ножи
59. И ждали младенца века
60. Где жизнь? Хоть велестом люта
61. Дуна, быть может, непонятно
62. Сырая сумрачная мгла
63. Вот так и ждали мы, не зная
64. Докли, как книги, слабой волест
65. Я - чей-то сон, я - чья-то жизнь чужая
66. Польша-бабочка (Пресловутый туз бубновый)
67. Лед (Еще вчера была рекой)
68. Опоздав на десять сорок
69. Ты волной морского цвета
70. Борьмочут у крыльца две синенькие галки
71. Что прошлое? Старухой-смолядишкой
72. Мечты людей невыносимо грубы
73. Безобразен и бесцветен
74. Это все - ее советы
75. Ни версты, ни годы - ничто ниномем
76. Пальцами я отодвину
77. Все плыть и плыть - и ждать порыва
78. Опять гроза. Какой еще Бетковен
79. Безаминные герои
80. Пусть в прикинутом изданья



### Содержание цикла «Кипрей»

Смотреть фотографии в полном виде в хорошем качестве, архив с файлами, 12,9 МБ <http://dl.dropbox.com/u/9178411/Kiprey.zip>

В переизданиях «Колымских тетрадей», осуществленных Сиротинской, цикл «Кипрей» содержит то же количество стихотворений – 89. Желающие могут сравнить – ниже оглавление этого цикла из третьего тома собрания сочинений Шаламова, 1998

### Кипрей

«Я в воде не тону...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
Желание. Впервые: Знамя, 1993, № 1.  
«По нашей бестолковости...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Луна качает море...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
Стансы. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Забралась высоко в горы...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Придворный соловей...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
«Намеков не лови...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Кусты разогнутся с придушенным стоном...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Свой дом родимый брошу...». Впервые: Новый мир, 1988, № 6.  
«Мои дворцы хрустальные...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Жизнь – от корки и до корки...». Впервые: Юность, 1967, № 5.  
Жар-птица. Впервые: Огниво. М., 1961.  
«На этой горной высоте...». Впервые: Юность, 1969, № 3.  
«Сельские картинки. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«О, если б я в жизни был только туристом...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Ты душу вывернешь до дна...». Впервые: Смена, 1988, № 88.  
«И мне, конечно, не найти...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Верьте, смерть не так жестока...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Два журнальных мудреца...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«По долинам, по распадкам...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Всю ночь мои портреты...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Не жалея меня, Таня, не пугай моей славы...». Впервые: Новый мир, 1988, № 6.  
«Тают слабые снега...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Из тьмы лесов, из топи благ...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
«Боялись испокон...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«В болотах завязшие горы...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«В потемневшее безмолвье...». Впервые: Огниво. М., 1961.  
«Кто, задыхаясь от недоверья...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.  
«Нестройным арестантским шагом...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«Скрой волнения секреты...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.  
«Смех в усах знакомой ели...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.  
«К нам из окна еще доносится...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

«Шатает ветер райский сад...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Здесь выбирают мертвецов...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Пророчица или кликуша...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

«Твои речи – как олово...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Вот две – две капли дождевые...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Пусть я, взрослая и старея...». Впервые: Дружба народов, 1987, № 3.

«Когда, от засухи измучась...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

«Жизнь другая, жизнь не наша...». Впервые: Смена, 1988, № 88.

«Я двигаюсь, как мышь...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

«Внезапно молкнет птичье пенье...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Я – актер, а лампа – рампа...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Не хватает чего? Не гор ли...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Резче взгляды, резче жесты...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«На садовые дорожки...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

На обрыве. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Нынче я пораньше лягу...». Впервые: Юность, 1966, № 9.

«Вся земля, как поле брани...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Нет, нет! Пока не встанет день...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Слабеет дождь, светлеет день...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Я сказанье нашей эры...». Впервые: Дружба народов, 1987, № 3.

«Наклонись к листу березы...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«С моей тоской, сугубо личной...». Впервые: Дружба народов, 1987, № 3.

«Слабеют краски и тона...». Впервые: Новый мир, 1988, № 6.

«Мы дорожим с тобою тайнами...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Вдыхаю каждой порой кожи...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

«Я жизни маленькая веха...». Впервые: Дружба народов, 1987, № 3.

«Где жизнь? Хоть шелестом листа...». Впервые: День поэзии. М., 1985.

«Луне, быть может, непонятно...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Сырая сумрачная мгла...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Вот так и живем мы, не зная...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Дождя, как книги, слышен шелест...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Я – чей-то сон, я – чья-то жизнь чужая...». Впервые: Смена, 1988, № 88.

Полька-бабочка. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Лед. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

«Опоздав на десять сорок...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Ты волной морского цвета...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Бормочут у крыльца две синенькие галки...». Впервые: Смена, 1988, № 88.

«Что прошлое? Старухой скопидомкой...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Мечты людей невыносимо грубы...». Впервые: Смена, 1988, № 88.

«Безобразен и бесцветен...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Это все – ее советы...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Ни версты, ни годы – ничто нипочем...». Впервые: Знамя, 1990, № 7. Мак. Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Все плыть и плыть – и ждать порыва...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«В гремящую грозу умрет глухой Бетховен...». Впервые: Литературная газета, 1968, 24 апреля. Ранний вариант опубликован: Колымские тетради. М., 1994.

«Безмянные герои...». Впервые: Знамя, 1990, № 7.

«Пусть в прижизненном издании...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Не солнце ли вишневое...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Сразу видно, что не в Курске...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Стланик. Впервые: Знамя, 1957, № 5. Ранний вариант опубликован: Колымские тетради. М., 1994.

«Кому я письма посылаю...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«А тополь так высок...». Впервые: Колымские тетради. М. 1994.

«Осторожно и негромко...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

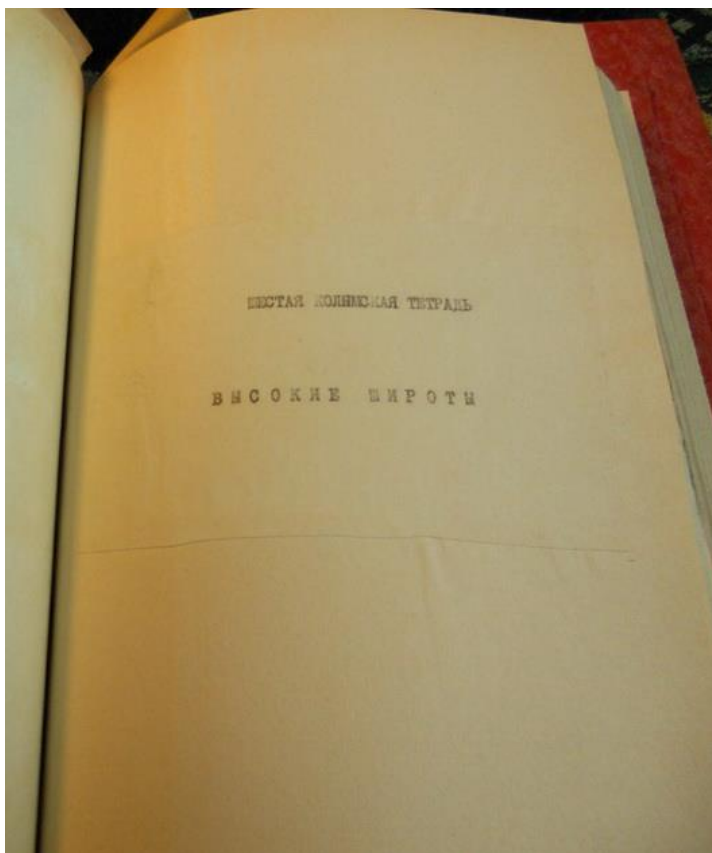
«Я нищий – может быть, и так...». Впервые: Смена, 1988, № 88.

«Светит солнце еле-еле...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Не в картах правда, а в стихах...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

---

**Цикл «Высокие широты», «Колымские тетради», первое издание, 1966**



**«Шестая колымская тетрадь». Титульный лист сборника шестого, «Высокие широты», в авторском самиздатском двухтомнике «Колымских тетрадей» Шаламова, 1966 год**

С У Л А В А Е И Е

1. Все одним и тем же: "Пусть поговорит вероносец"
2. И я, и ты, и восточный квартал
3. Не надо винтажики на глазомер
4. Не надо винтажики на глазомер
5. Не надо винтажики на глазомер
6. Не надо винтажики на глазомер
7. Не надо винтажики на глазомер
8. Не надо винтажики на глазомер
9. Не надо винтажики на глазомер
10. Не надо винтажики на глазомер
11. Не надо винтажики на глазомер
12. Не надо винтажики на глазомер
13. Не надо винтажики на глазомер
14. Не надо винтажики на глазомер
15. Не надо винтажики на глазомер
16. Не надо винтажики на глазомер
17. Не надо винтажики на глазомер
18. Не надо винтажики на глазомер
19. Не надо винтажики на глазомер
20. Не надо винтажики на глазомер
21. Не надо винтажики на глазомер
22. Не надо винтажики на глазомер
23. Не надо винтажики на глазомер
24. Не надо винтажики на глазомер
25. Не надо винтажики на глазомер
26. Не надо винтажики на глазомер
27. Не надо винтажики на глазомер
28. Не надо винтажики на глазомер
29. Не надо винтажики на глазомер
30. Не надо винтажики на глазомер
31. Не надо винтажики на глазомер
32. Не надо винтажики на глазомер
33. Не надо винтажики на глазомер
34. Не надо винтажики на глазомер
35. Не надо винтажики на глазомер
36. Не надо винтажики на глазомер
37. Не надо винтажики на глазомер
38. Не надо винтажики на глазомер
39. Не надо винтажики на глазомер
40. Не надо винтажики на глазомер
41. Не надо винтажики на глазомер
42. Не надо винтажики на глазомер
43. Не надо винтажики на глазомер
44. Не надо винтажики на глазомер
45. Не надо винтажики на глазомер
46. Не надо винтажики на глазомер
47. Не надо винтажики на глазомер
48. Не надо винтажики на глазомер
49. Не надо винтажики на глазомер
50. Не надо винтажики на глазомер
51. Не надо винтажики на глазомер
52. Не надо винтажики на глазомер
53. Не надо винтажики на глазомер





Смотреть фотографии в полном виде в хорошем качестве, архив с файлами, 7,8 МБ [http://dl.dropbox.com/u/9178411/Vis\\_shiroti.zip](http://dl.dropbox.com/u/9178411/Vis_shiroti.zip)

В переизданиях «Колымских тетрадей», осуществленных Сиротинской, цикл «Высокие широты» содержит на 4 стихотворения меньше. Желающие могут сравнить – ниже оглавление этого цикла из третьего тома собрания сочинений Шаламова, 1998

### Высокие широты

О песне. Впервые: Литературная газета, 1966, 30 июля.

1. «Пусть по-топорному неровна...». Впервые: Литературная газета, 1966, 30 июля,

2. «И я, и ты, и встречный каждый...». Впервые: Литературная газета. 1966, 30 июля.

3. «Я много лет дрови л камня...». Впервые: Новый мир, 1988, № 6.

4. «Не для анютиных ли глазок...». Впервые: Литературная газета, 1966, 30 июля.

5. «Весною все кричало, пело...». Впервые: Литературная газета, 1966, 30 июля.

6. «Так где же песня в самом деле?...». Впервые: Литературная газета, 1966, 30 июля.

«Ни шагу обратно! Ни шагу!...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

Плавка. Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

Бумага. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Пень. Впервые: Огниво. М., 1961.

Хрусталь. Впервые: Огниво. М., 1961 (под назв. «Богемское стекло»).

«Вхожу в торфяные болота...». Впервые: Знамя, 1993, № 1.

«Скажу тебе по совести...». Впервые: Литературная Россия, 1987, 3 июля, № 27.

Ястреб. Впервые: День поэзии. М., 1968.

Белка. Впервые: Огниво. М., 1961.

Славословие собакам. Впервые: Семья и школа, 1966, № 6.

Баллада о лосенке. Впервые: Огниво. М., 1961 (под назв. «Лосенок»).

Гарт. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Какая в августе весна?...». Впервые: Юность, 1969, № 3.

«Мне недолго побледнеть...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Пускай за нас расскажут травы...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Ты слишком клейкая, бумага...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Ты видишь, подружка...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«В воле твоей – остановить...». Впервые: Юность, 1969, № 5.

«Я о деревьях не пишу...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

После ливня. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

У края пожара. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Я целюсь плохо зачастую...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Приводит нынешнее лето...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Незащищенность бытия...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967. Посвящено О. С. Неклюдовой.

«Мечта не остается дома...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Гроза, как сварка кислородная...». Впервые: Огниво. М., 1961.

«Всю ночь он трудится упорно...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Водопад. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Черная бабочка. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.

Дождь. Впервые: Семья и школа, 1966, № 6.

Обогатительная фабрика. Впервые: Шелест листьев М., 1964.

«Деревья скроются из глаз...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Третья парка. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Гнездо. Впервые: Знамя, 1957, № 5.

Роща. Впервые: Шелест листьев М., 1964.

«Я жив не единым хлебом...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Цепляясь за камни кручи...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Гомер. Впервые: Дружба народов, 1987, № 3.

«Опять заново руки...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Ведь мы не просто дети...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.

Наедине с портретом. Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Лицо твое мне будет сниться...». Впервые: Дружба народов, 1988, № 3.

«Нет, я совсем не почтальон...». Впервые: В мире книг, 1988, № 8.

«Ветров, приползших из России...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Нет, нет, не флагов колыханье...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.

«Я нынче – только лицедей...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Ведь только утром, только в час...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Ночью. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Не поймешь, отчего отсырела тетрадка...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Лучше б ты в дорожном платье...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Земля со мною. Впервые: Огниво. М., 1961. Ранний вариант опубликован: Колымские тетради. М., 1994.

«Мне полушубок давит плечи...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994

«Поэты придут, но придут не оттуда...». Впервые: Знамя, 1993, № 1. Тост за речку Аян-Урях. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Мне горы златые – плохая опора...». Впервые: Юность, 1967, № 5.

«Мигрени. Головокруженья...». Впервые: День поэзии. М., 1986.

«Сказала мне соседка...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Пусть невелик окна квадрат...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Раковина. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967. Ранний вариант опубликован: Колымские тетради. М., 1994.

«Он в чердачном помещенье...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

В церкви. Впервые: Колымские тетради. М... 1994.

«Меня застрелят на границе...». Впервые: Дорога и судьба. М., 1967. Воспоминание. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Какой же дорогой приходит удача?..». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Удача – комок нарастающей боли...». Впервые: Москва, 1968, № 3.

«Мечта ученого почтенна...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

Стихи в честь сосны. Впервые: Дорога и судьба. М., 1967.

«Замшелого камня на свежем изломе...». Впервые: Сельская молодежь, 1963, № 12.

«Хочу я света и покоя...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Ты не срисовывай картинок...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Да, он оглох от громких споров...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Воображенье – вооруженье...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Нам время наше грозами...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Не только актом дарственным...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Мы имя важное скрываем...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Есть мир. По миру бродит слово...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Прочь уходи с моего пути!...». Впервые: Знамя, 1993, № 1.

«Все стены, словно из стекла...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«С тобой встречаемся в дожде...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Ты услышишь в птичьем гаме...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Мы с ним давно, давно знакомы...». Впервые: Смена, 1988, № 8.

«Давно мы знаем превосходство...». Впервые: Смена, 1988, № 8.

«Тупичок, где раньше медник...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Был песок сухой, как порох...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Свет – порожденье наших глаз...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Мне не сказать, какой чертою...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Гроза закорчится в припадке...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Какой еще зеленой зорьки...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«...А лодка билась у причала...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

«Что песня? – Та же тишина...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Сирень сегодня поутру...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Опять застенчиво, стыдливо...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«А мы? – Мы пишем протоколы...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Слова – плохие семена...». Впервые: Знамя, 1993, № 1.

В защиту формализма. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Синтаксические раздумья. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Любой бы кинулся в Гомеры...». Впервые: Дружба народов, 1987, № 3.

«Мне жизнь с лицом ее подвижным...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

Март. Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Я падаю – канатоходец...». Впервые: Знамя, 1993, № 1.

«Она никогда не случайна...». Впервые: Шелест листьев. М., 1964.

«Кто верит правде горных далей...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«Зачем я рвал меридианы?...». Впервые: Колымские тетради. М., 1994.

«От солнца рукою глаза затеня...». Впервые: Стихотворения. М., 1988.



## Эволюция корпуса «Колымских рассказов»

**Варлам Шаламов. Предисловие к сборнику «Колымские рассказы», 1965 год**

Решил, что не помешает выразиться с полной определенностью, поскольку то, что кажется очевидным мне, вовсе не обязательно очевидно для других.

В томе шаламовских эссе печатается его литературный манифест под названием «О прозе» <http://shalamov.ru/library/21/45.html>, датированный 1965 годом. На самом деле это не безадресное теоретизирование в отсутствие слушателей, а предисловие автора к сборнику (циклу) «Колымские рассказы», подготовленному им для издания – на Западе, разумеется, в СССР середины шестидесятых вопроса об издании КР стоять не могло. Не исключено, что это западное издание мыслилось Шаламовым одновременно и на русском, и в переводе.

Последнее приходит на ум, потому что предисловие совершенно явно адресовано западному читателю. Абсолютное большинство авторов, к которым отсылает Шаламов – западные (Фолкнер, Брэдбери, Азимов, Моруа, Ирвинг Стоун, Стендаль, Бальзак, Флобер, Экзюпери, Хемингуэй, Веркор, Уэллс, Оскар Уайльд, Лоренс Стерн, автобиографическая проза Чарльза Чаплина, Нильса Бора, Гогена), значительно меньше, но все же присутствует хорошо знакомая европейцам русская классика (Лев Толстой, Пастернак, Ахматова, Короленко, Мандельштам, Чехов, Пушкин, Лермонтов). Советская литература, за исключением Солженицына – что в разговоре о лагерной прозе неизбежно – не упоминается вообще.

Предисловие переполнено прямым разговором с читателем, в котором из раза в раз повторяется название сборника и указывается количество текстов в нем, с тех пор не менявшееся:

«Ни одной строки, ни одной фразы в «Колымских рассказах», которая была бы «литературной», – не существует. [...]

Автор надеется, что в 33 рассказах сборника никто не усомнится, что это – правда живой жизни».

Иначе говоря, уже к осени 1965 года Шаламов не только думал о публикации «Колымских рассказов» книгой в объеме первого – одно-

именного – цикла на Западе, но и подготовил ее к изданию. Была ли она передана и кому, мне неизвестно. В это время Шаламов был уже знаком и с Надеждой Мандельштам, и с Натальей Столяровой, и с Натальей Кинд, имевшими выход на русские эмигрантские издательства, причем последняя лично засвидетельствовала, что передавала «Колымские рассказы» «за бугор», а содействие Шаламову Столяровой в этом деле подтверждают другие посвященные, в частности, Лиана Лунгина и Сергей Григорьянц, тоже передававший рукописи Шаламова на Запад. К сожалению, подпольный характер этой деятельности в случае ее неуспеха (неиздания книги) скрывал для непричастного все следы происшедшего.

На мой взгляд, с этим превосходным авторским предисловием и следует издавать книгу впредь. Оно скажет читателю больше, чем любая чужая вводная критическая статья.

Мысли опубликовать «Колымские рассказы» на Западе – в составе сначала сборника, а затем все более полного собрания сочинений – Шаламов был привержен на протяжении почти пяти лет, до выхода в 1969 сборника на французском в издательстве Мориса Надо, жестоко разочаровавшего его фатальной неполнотой, случайным отбором текстов, равнодушием читательской публики и отсутствием резонанса.

На всякий случай напомним, что предисловие, написанное в 1965 году, не могло предназначаться для комплекта «Колымских рассказов», довольно долгое время лежавшего в издательстве «Советский писатель» – как минимум годом раньше рукопись была возвращена Шаламову с формулировкой категорического отказа. По логике вещей, этот отказ и послужил началом его решительного поворота в сторону Запада – если верить Шаламову, еще на исходе лета 1964-го, с уже отвергнутой советским издательством рукописью, он заявил Солженицыну, что ничего на Запад не даст.

**P.S.** Только позже сообразил, что Сиротинская предупредила отрывками из этого эссе первую сделанную ею подборку КР в журнале «Новый мир», 1988, см. в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/200453.html>. То есть она знала, что это задумано как предисловие к сборнику («вместо предисловия, – сказано в редакционном введении, – несколько мыслей писателя о своей прозе»), но как обычно все извратила.

---

***Промежуточное звено. Самиздатский сборник «Колымских рассказов», начало 1965 года***



Самиздатский сборник колымской прозы Шаламова, экспонировавшийся на выставке «Тогда, в шестидесятые...» (Опыт «оттепели»), подготовленной при активном участии Международного Мемориала, в Москве, 2013, филиал Государственного Литературного музея.



*Источник списка: Международный Мемориал. Фонд 175. Личные коллекции самиздата. Оп. 1. Дело 35. Коллекция А.Толыго, получен из Киева. В. Шаламов. Колымские рассказы, 1966*





Вардан Шамазов "Колымские рассказы"  
/Оглавление/

1. По снегу	
2. На "представку"	
3. Вечье	
4. Двотники	
5. Одиночный замер	
6. Посылка	
7. Ромль	
8. Калт	
9. Сухих пальцем	
10. Диксентор	
11. Апостол Павел	
12. Ягоды	
13. Сука Тамара	
14. Мерри-Бренди	
15. Детские картинки	
16. Стуженное молоко	
17. Дюб	
18. Заканнатель змей	
19. Татарский мушкетер и свиной воздух	
Первая смерть	
21. Тета Поля	
22. Галстук	
23. Тайга золотая	
24. Барабаны	
25. Выходной день	
26. Домино	
27. Геккулес	
28. Лечебная терапия	
29. Василья денжоса, похититель свиной	
30. Стаяник	
31. Красный крест	
32. Заговор шристов	
33. Тефозный карантин . . . . .	154-170
Сб.2-я	
1. Артист лонати . . . . .	171-181
2. Дочери . . . . .	182-185
3. Первый зуб . . . . .	186-190
4. Первый чекмет . . . . .	191-196
5. Как это началось . . . . .	200-208
6. Надгробное слово . . . . .	209-220
7. Зейсманист . . . . .	221-227
8. Кусок мяса . . . . .	228-234
9. Утка . . . . .	235-237
10. В бани . . . . .	238-242
11. В больницу . . . . .	243-248

«Колымские рассказы», «Сборник второй», оглавление (ниже – перечень и годы написания рассказов «второго сборника»):

## Сб. 2-й

- 1 Артист лопаты 1964
- 2 Почерк 1964
- 3 Первый зуб 1959
- 4 Первый чекист 1964
- 5 Как это началось 1964
- 6 Надгробное слово 1960
- 7 Вейсманист 1964
- 8 Кусок мяса 1964
- 9 Утка 1963
- 10 В бане 1955
- 11 В больницу 1964

Список (проще говоря, самодельная книга) представляет собой стопку не сброшюрованных листов машинописи. На титульном листе дата «1966». Озаглавлен «Колымские рассказы» и разбит на две части. Первая часть оглавления действительно соответствует циклу «Колымские рассказы», однако переходит в оглавление некоего «Сборника второго» – названия рассказов этого безымянного цикла обрываются внизу страницы, а продолжения нет. Имелась ли вторая страница с оглавлением, работники архива Мемориала не знают. По всей вероятности, эти одиннадцать рассказов и составляли «Сборник второй», о чем немного ниже.

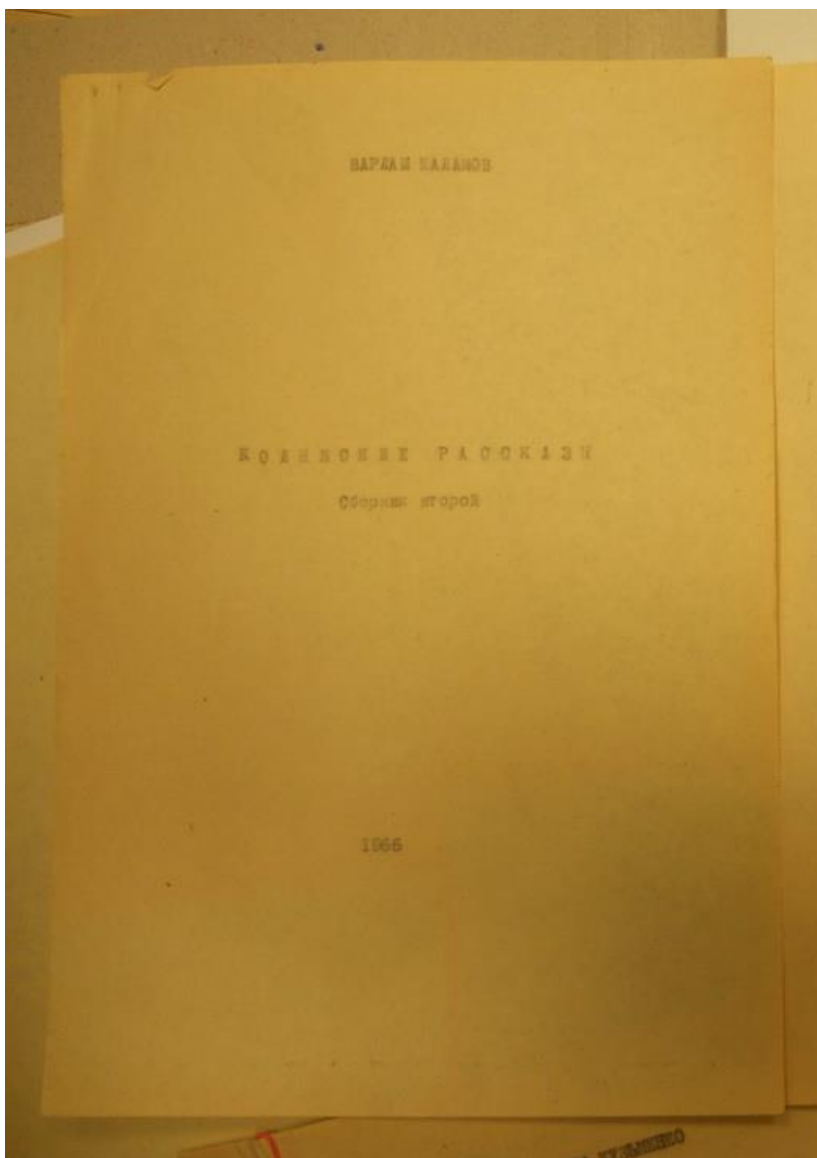
Этот почти полувековой давности список содержит 33 рассказа первого цикла, остальное либо потерялось на пути от читателя к читателю, либо хранилось отдельно, либо вообще отсутствовало в рукописи, имевшейся в распоряжении машинистки.

Я уверен, что список представляет собой неполную копию черновой редакции КР, восходящей к Шаламову. Уверен также, что дата на титульном листе – 1966 – означает не время составления книги автором, а дату перепечатки данного списка – это как бы год его поступления к читателю от распространителя самиздата, заменившего своей датой отсутствующую. Сама авторская редакция сделана в конце 1964 – начале 1965 гг., если не раньше (последнее – относительно цикла «Колымские рассказы»).

Постараюсь обосновать.

Состав первого цикла почти идентичен канону, единственное отличие – в расположении рассказа «Васька Денисов, похититель свиней», передвинутым на три позиции выше. В таком виде он мог выйти толь-

ко из рук Шаламова. Если же список вышел из рук Шаламова, то 1966 год как дата его создания никуда не годится.



«Сборник второй» не включает ни одного рассказа, написанного после 1964 года. Семь из одиннадцати текстов этого безымянного сборника датируются 1964-м (всего за этот год написано 12 рассказов) – складывается впечатление, что составлялся он на свежем материале написанного в 1963-64 гг.

Еще в письме Шаламова Фриде Вигдоровой от 16 июня 1964 года речь идет только о «Колымских рассказах» без какого бы то ни было членения на циклы (при наличии полусотни и больше текстов это и могло выражаться в нелепом объединении под одной обложкой цикла «Колымские рассказы» и безымянного «второго сборника»). К лету же 1965 безымянных сборников не осталось. В письме Н. Мандельштам от 21.7.1965 Шаламов говорит о перегруппировке рассказов и дополнениях в цикле «Артист лопаты», а также о том, что цикл с первоначальным названием «Уроки любви» будет носить название «Левый берег». Иначе говоря, деление на циклы произошло не позже первой половины 1965 года, а в 1966 КР уже проследовали в Америку в виде трех почти окончательно оформленных книг – «Первая смерть» (цикл «Колымские рассказы»), «Артист лопаты» (близкая к финальной версия одноименного цикла) и «Левый берег» (тоже близкий к конечному вариант одноименного цикла).

Наконец, еще один веский довод в пользу датировки сборника, с которого делалась «мемориальная» копия, рубежом 1964-65 гг. Одиннадцать рассказов «Сб. 2-го» фигурируют как самостоятельный цикл уже в письме Шаламову Солженицына от 28 марта 1965 года, именно в таком виде последний получил их от автора и именно на них пишет отзыв:

«По поводу «Одиннадцать» (рассказы из рукописи сборника – В.О[грызко]). Хочется Вам сказать, что все они кажутся мне значительными, незаменимыми по верности свидетельствами, как всегда у Вас очень точно и весомо передающими обстановку. Отличными кажутся мне «Утка», «Первый зуб» (и принципиален к тому же, и изящный приём с подбором концов) и «Надгробное слово» (глубочайшая искренность, ничего нарочитого). Остальные все хороши, и все ценны познавательно. Только, пожалуй, рассказ об эпилептике [«Первый чекист» – прим. составителя] мне показался аморфным – главным образом по мысли. Можно спорить об авторской точке зрения в «Почерке»\*.

Нет никакого сомнения, что речь идет именно об одиннадцати рассказах «Сб. 2-го», существовавших в виде такого усеченного «цикла» уже к весне 1965 года.

## 29. Шоковая терапия

Еще в то благодатное время, когда Нерзляков работал конюхом и в самодельной крупорушке - большой кошерной башке с пробитым дном на махаче сите - можно было приготовить на озегах, полученного для лошадей - крупку для людей, варить кашу и звать горькими, горички мешком выгнать, утишать голод, - еще тогда он думал над одним простым вопросом. Крупные обояние материковские кони получали ежедневно порцию казенного озега вдвое больше, чем привалящие и косматые якутские лошадики, хотя те и другие ели за одинаково мало. Уолыдкун-першерону "Грому" засыпалось в кормушку столько озега, сколько хватило бы пяти "якутам". Это было правдиво, так велось всегда и не это мучило Нерзлякова. Он не понимал, почему лагерный людской паек, эта таинственная роспись белков, жиров, витаминов и калорий, предназначенных для поглощения заключенным в называемых котловым а-стои составляется вовсе без учета живого веса людей. Если уж к ним относятся как к рабочей скотине, то в вопросах рациона надо быть более последовательными, - используя принцип исчисления лошадиных норм, а не держаться какон-то выродившейся средней - канцелярской выдумки. Эта странная средняя в лучшем случае была выгодна только малорослым и действительно малорослые "доходили" позже других. Нерзляков по своей конюшечки был вроде першерона "Грома" и жалкие три лошаки каша на завтрак только увеличивали посуху, боясь везудке. А ведь, кроме пшеницы - и маиса, и сахара, и мяса - попадало в котел вовсе не в том количестве, какое записано в котловом ястре. Видел Нерзляков в другом. Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего. Цупленки и ятевлягенты все же держались дольше, чем гигант калууани - природный землекоп - если их кормили одинаково, а соответственно с ятевской "чайкой". В некотором повышении па-ка за проценты выработкой тоже было мало толку, потому что основная роспись оставалась прежней, никак не рассчитанной на взрослых людей. Для того, чтобы лучше есть - мало было лучше работать, а для того, ктоцы умирали первыми повсеместно. Они первыми "доходили", что внимало всегда замечания враче: дескать, асл эта Прибайкалийе послале русского народа. Правда, родной был латышский и ятевлягенты далекие стоил от лагерного бита, чем бит русского крестьянина и я было труднее. Но главное все же заключалось в другом: они не были менее выносливы, они просто были крупнее ростом.

Года доктора назад случалось Нерзлякову после цыги, которая быстро свалила конюхом, поработать ассистентом санитаром в местной больнице. Там он узнал, что выбор дозы лекарств делается по весу. Испытание новых лекарств проводится на кроликах, мышах, мырских свинках, а человеческая доза определяется пересчетом на вес тела. Дозы для детей меньше, чем дозы взрослых.

Но Лагерный Рацион не рассчитывался по весу человеческого тела. Вот это и был тот вопрос, неразрешенное решение которого удивляло и возмущало Нерзлякова.

Не то, что он принимал свое несчастье - что он слишком крупнее для лагерного пайка. Просто он хотел есть, вечно хотел. Но раньше, чем он осознал окончательно, ему чудом удалось

Таким образом, перед нами авторская редакция КР рубежа 1964-65 гг., произвольно датированная при перепечатке 1966-м. Она показыва-

ет, что первый цикл, «Колымские рассказы» (почему Геллер – следуя указаниям автора? – называет его «Первая смерть»), не знаю, но прошу обратить внимание на положение одноименного рассказа в оглавлении списка – он не пронумерован, хотя в нумерацию входит, и сдвинут внутрь столбца заголовков двумя пробелами), уже готов, тогда как будущий цикл «Артист лопаты» обретается в некоем зачаточном состоянии и даже не назван. Рассказ «Припадок» (1960), этот подчиняющий пространство и время памяти вход в черную дыру цикла, вообще не попал в оглавление, а следующее за ним не менее мощное «Надгробное слово» стоит на шестом месте. «Надгробное слово» предваряется здесь хрониками безумных «гаранинских» расстрелов и иных способов массового умерщвления заключенных «Как это началось» – казалось бы, лучшего зачина к прощальному слову над трупами «мучеников, а не героев» не придумаешь, однако, впоследствии Шаламов и Пинский поменяли рассказы местами, жертву естественной последовательностью нарратива ради чего-то большего. Какого рода эффект достигался правкой и добились ли они желаемого эффекта? Почему в списке 1964–65 г. за рассказом «Артист лопаты» идет «Почерк», а в окончательной редакции – «РУР» (1965)? Почему рассказ «Кусок мяса» будет вынесен в другой цикл? И так далее. Сначала постановка этих и подобных вопросов, а затем ответы на них – вот что позволит дать должное представление о величественной архитектуре КР, подчиняющей историческую и преходящую Колыму Слову о Колыме с его запасом прочности на века. Какие законы тут действуют? Точнее, в соответствии с какими требованиями искусства один устой укреплен, а другой ослаблен, один вход заложен, а другой пробит и ведет не в залу, а на галерею, опоясывающую эту залу? Чтобы понять общий план, нужно проследить этапы становления «Колымских рассказов» к окончательной форме, к Пятикнижию КР Шаламова, оформленному при участии Пинского, стадии их упорядочивания и циклизации. «Мемориальный» список КР рубежа 1964–65 г. – звено достаточно раннее и тем дает пищу для размышлений. Таких звеньев должно быть много, картина по возможности должна прослеживаться от начала к концу. Нужно искать, датировать и выстраивать в последовательности рукописные и самиздатские списки корпуса. В этом – ключ если не к поэзии, то к ее пониманию.

Данными по источнику списка и фотографиями обязан Михаилу Михееву, за что весьма ему благодарен.

\* URL <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/47736.html>

Смотреть фотографии в крупном масштабе в хорошем качестве в формате JPG, архив с файлами 5,5 МБ [http://dl.dropbox.com/u/9178411/Spisok\\_KR\\_1964-65.zip](http://dl.dropbox.com/u/9178411/Spisok_KR_1964-65.zip)

---

### *Еще одна самиздатская книга колымской прозы Шаламова, май-июнь 1965*

Кроме «мемориальной» самиздатской книги «Колымских рассказов» со «Сборником 2-м», в самиздате середины шестидесятых ходила еще одна, более поздняя, машинописная книга КР, включавшая, без сомнения, все тот же готовый цикл «Колымские рассказы» в его канонической форме и дополнительный сборник, возможно, по-прежнему именуемый «вторым», но уже отличающийся составом от предыдущего. В отличие от «мемориальной» книги, которая складывалась на рубеже 1964/65 гг. (см. письмо Солженицына Шаламову с отзывом об «Одиннадцати» в предыдущей статье), здесь условный «Сборник второй» дополнен еще несколькими рассказами\*. «Надгробное слово», начинающееся в первой, «мемориальной», книге на 209 странице, передвинуто на 222-ю, а за ней идет рассказ «Букинист» (стр. 231-246), исчерпывая тем самым почти весь объем, который в «мемориальной» книге занимают пять следующих за «Надгробным словом» рассказов. Если прибавить эти пять и еще один или два предшествующих «Надгробному слову», то объем «Сборника 2-го» будет составлять не меньше сотни страниц (171-270) и включать не меньше тринадцати рассказов из складывающихся на наших глазах циклов «Артист лопаты» (преимущественно) и «Левый берег».

Эта самиздатская книга – более поздняя, чем «мемориальная». Ее можно смело датировать концом весны 1965 года: в рассказ «Букинист» Шаламов включает письмо от Вениамина Кундуша, помеченное 22 апреля этого года, следовательно рассказ написан уже в мае, если не позже, и приблизительно тогда же или чуть позже попадает в составе сборника к машинистке. Эта вторая самиздатская книга КР, клочок которой находится в «Ленинградской коллекции самиздата» (фонд не указан) архива Международного Мемориала – пожалуй, одна из последних перед началом оформления Шаламовым циклов «Артист ло-

паты» и «Левый берег» уже в виде чего-то знакомого нам как читателям: в письме от 21 июля 1965 Шаламов пишет Надежде Мандельштам о работе над этими циклами, причем «Левый берег» дополнен рассказами «За паровозным дымом» и «РУР», канонической концовкой имеет новеллу «Поезд», а рассказ «Академик» перенесен в цикл «Артист лопаты».

Исходя их вышеуказанных сроков, можно с уверенностью сказать, что циклы «Артист лопаты» и «Левый берег» начали интенсивно оформляться как целое к середине лета 1965 года. Я связываю это со знакомством Шаламова с Леонидом Пинским, оказавшим, по-видимому, неоценимую редакторскую помощь в составлении этих сборников и цикла «Воскрешение лиственницы» (1966-67), а, возможно, и уже написанных, но не сгруппированных воедино «Очерков преступного мира», для которых, без сомнения, предназначался и очерк «Красный Крест» (1959), перемещенный потом в первый цикл.

Итак, существует (или существовала) еще по меньшей мере одна самиздатская книга КР объемом не менее 270 страниц, отпечатанная в мае-июне 1965 года. Возможно, экземпляр ее сохранился в каком-то архиве – государственном, частном или общественной организации. Хорошо бы ее найти.

-----

*\* Обратите внимание на пагинацию (нумерацию страниц) карандашом. Описание сделано Михаилом Михеевым:*

*Шаламов. Букинист. 16 стр. [Ленинградская коллекция Самиздата; пагинация: сначала 1-экз. машинка: от 1 до 16, поверх нее карандаш: от 231 до 246] [...]*

*Надгробное слово (9 страниц) [малый формат: в поллиста; машинистка 2 экз., пагинация карандаш: от 222 до 230] <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/220021.html>*

---

***Сборник «Колымские рассказы», подготовленный для издания книгой на Западе, лето 1965 года. Процесс Синявского и Даниэля***



Я уже писал о предисловии Шаламова к сборнику «Колымские рассказы», подготовленному им для издания «за бугром», возможно, сразу на русском и в переводе, в 1965 году. Сейчас могу уточнить сроки и контекст этой его первой такого рода инициативы.

Сам сборник в более или мене близкой к чистовой версии сложился не позже 1963 года\* и распространялся в самиздате в виде машинописных книг по меньшей мере в двух вариантах (см. соответствующие статьи в данном сборнике). Знакомство в мае 1965-го с Надеждой Мандельштам и ее кругом, а также сравнительно вегетарианская атмосфера, стимулировавшая оппозиционные настроения и позволявшая нелегально печататься за границей Синявскому и Даниэлю, за что, впрочем, оба вскорости предстали перед советским судом, резко подтолкнули Шаламова к решению сделать достоянием читательской публики и собственную, давно готовую, но не имеющую шансов быть опубликованной в СССР книгу колымской прозы в составе первого цикла.

Поскольку сборник давно сложился и отстоялся, во второй половине августа Шаламов отдает рукопись на отзыв\*\* самому большому тогда для него литературному и нравственному авторитету – Надежде Мандельштам, причем с авторским предисловием, что знаменует последний этап подготовки книги к изданию.

Предисловие писалось в июле-первой половине августа – в нем упоминается поездка Солженицына по Тамбовской области (21.6-10.7), хотя вполне возможно, что наброски этого литературного манифеста сделаны раньше – например, в текст почти без изменений включен отрывок из письма Шаламова Грозденскому от 24 мая о характере документальности рассказа «Шерри-бренди».

Отзыв Мандельштам наверняка окрылил Шаламова и еще крепче утвердил его в замысле.

После выражения общего восхищения прочитанным, уже подписавшись под письмом от 2 сентября, Мандельштам подытоживает:

«1) По-моему, это лучшая проза в России за многие и многие годы. Читая в первый раз, я так следила за фактами, что не в достаточной мере оценила глубочайшую внутреннюю музыку целого. А может, и вообще лучшая проза двадцатого века».

Речь идет обо всем сборнике, не о каком-то отдельном рассказе, хотя к отдельным рассказам цикла: «Дело юристов», «два-три рассказа, которые не доведены до полной силы: вышивальщица, например

[рассказ «Галстук» – прим. составителя]», «Тифозный карантин», – высказываются некоторые претензии вплоть до того, что «"целое" книги не готово – надо убрать повторы» в двух рассказах, усилив и развив главную тему каждого.

Собственно говоря, это полноценная, хотя и краткая, рецензия литератора-профессионала на книгу, представленную к печати.

В конце Мандельштам добавляет об «удивительном блеске» того, что она называет «отступлением» (от художественной прозы и очерка в эссеистику), а именно «о современной прозе. Оно бьет в точку. В самую точку».\*\*\* Речь, без сомнения, идет как раз о шаламовском предисловии к сборнику, так и называемомся – «О прозе».

Не знаю, последовал ли Шаламов советам Надежды Яковлевны, частично, видимо, да, поскольку внес в текст предисловия следующую фразу: «Чуть-чуть исправишь – и нарушается сила подлинности, первичности. Так было с рассказом «Заговор юристов» – ухудшение качества после правки было сразу заметно (Н.Я)».

Итак, в середине лета 1965 года Шаламовым подготовлен сборник «Колымские рассказы» для передачи и издания книгой на Западе. Поскольку одновременно они с Пинским интенсивно работают над оформлением двух следующих циклов, «Артист лопаты» и «Левый берег», Шаламов дает понять читателю, что объем написанного не исчерпывается содержанием данной книги, на подходе следующие, в составе которых упомянутые им в предисловии рассказы «Крест» и «Как это началось».

Рукопись могла быть передана на Запад уже осенью 1965 («Как можно обвинять писателя в том, что он хочет печататься? [...] возможность печататься нужна писателю, как воздух», – негодует Шаламов в феврале следующего года в «Письме старому другу») – через Наталью Столярову, Надежду Мандельштам и ее окружение, Наталью Кинд и других. Была ли она передана и куда, мне неизвестно. На русском за границей она не вышла\*\*\*\*, что можно объяснить по-разному, а прямые документальные свидетельства подпольная деятельность если и оставляет, то по оплошности.

Возможно также, что сентябрьский арест Синявского и Даниэля заставил Шаламова на время отложить инициативу и посмотреть, как будут развиваться события. В феврале он пишет для неподцензурного сборника Александра Гинзбурга процитированное выше «Письмо старому другу», а в конце мая-начале июня пересылает в Америку уже не один сборник КР, а три, что в свете недавнего осуждения Синявского

на семь, а Даниэля на пять лет кажется чистейшим безумием. Настоящий ответ Шаламова на приговор советского суда двум отщепенцам-антисоветчикам содержится не в «Письме старому другу», а в передаче им шестисотстраничного списка «Колымских рассказов» для издания книгой на Западе. Шаламов увидел, как развивались события и чем кончилось, и дал ответ вровень вызову.

Логика и последовательность событий в таком случае выглядят так: подготовка Шаламовым книги для издания за границей – арест Синявского и Даниэля – ожидание, что воспоследует – суд, приговор, травля обоих в печати и кроваваджное выступление Шолохова – шаламовское «Письмо старому другу» – подготовка еще двух сборников колымской прозы – передача корпуса КР за границу как ответ на репрессии против писателей-диссидентов.

Шаламов все делал вовремя, в нужном направлении и с учетом момента. Он прекрасно ориентировался в происходящем, исключая, конечно, происходящее в кругах незнакомой ему русской эмиграции, и как бы далеко ни шли его планы, в них не было ничего от маниловщины. Его способности к реалистической оценке обстоятельств не уступали ничьим другим. Этот трезвый и дальновидный ум принадлежал человеку героического склада, знающему цену своему гению. Для реализации задуманного в 1965-68 годах Шаламову не хватило только печатного станка. Только печатного станка! Печатным станком владели его недоброжелатели и враги.

-----

\* В седьмом томе собрания сочинений Шаламова опубликована внутренняя рецензия работника издательства «Советский писатель» А. К. Дремова от ноября 1963 года. В рецензии, обосновавшей отказ публиковать книгу, сказано: «В рукописи В. Шаламова «Колымские рассказы» 33 рассказа», – и приведены названия двух десятков новелл, входящих в окончательный вариант первого цикла. Скорее всего, этот самый ранний из известных машинописный сборник «Колымские рассказы» отличался от известного нам и составом, и расположением текстов, однако, несомненно, как целое цикл существовал уже в 1963 году. Весной следующего года, по словам Шаламова из письма к Ольге Неклюдовой, его читал и отписал свое впечатление находившийся в Ташкенте Солженицын, а также колымский товарищ Шаламова ленинградский режиссер Леонид Варпаховский. Летом 1964-го издательство вернуло рукопись автору.

\*\* Вполне возможно, что машинопись сборника, полученного для отзыва, находится в архиве Надежды Мандельштам в РГАЛИ <http://www.rgali.ru/object/217943605?lc=ru>

\*\*\* «Современная новая проза может быть создана только людьми, знающими свой материал в совершенстве, для которых овладение материалом, его художественное преображение не являются чисто литературной задачей, а долгом, нравственным императивом».

Шаламов, «О прозе», предисловие к сборнику «Колымские рассказы», 1965

Словосочетание «современная проза» повторяется в эссе трижды, причем с первой строки.

\*\*\*\* Кстати, не мешало бы сличить последовательность рассказов в книге, изданной на немецком Фридрихом Миддельхауе в Кельне в 1967 году, т.е. первым когда-либо изданным сборником «Колымских рассказов», с авторской редакцией первого цикла. У меня, к сожалению, такой возможности нет. Судя по тому, что пишет в своей статье Марк Головизнин («Текст сборника скомпонован из двадцати шести очерков, принадлежащих циклу собственно «Колымских рассказов»), это издание сделано именно с подготовленного Шаламовым сборника «Колымские рассказы», 1964/65 – ко времени кельнского издания цикла «Артист лопаты» и «Левый берег» были давно написаны, оформлены и переданы в Америку Глебу Струве. Интересно в таком случае, какие семь из тридцати трех рассказов авторской редакции сборника были выброшены немецкими переводчиком и издателем, т.е. руководствовались они в отборе эстетическими – собственными, конечно – или какими-то другими критериями?

---

### ***Попытка реконструкции списка КР, переданного Шаламовым в Америку в 1966 году***

Статья Михаила Геллера «Колымские рассказы» или «Левый берег?» (сентябрь 1989), см. в блоге «Варлам Шаламов и концентрации»

онный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/210952.html>, посвящена первому российскому (тогда советскому) сборнику колымской прозы Шаламова, включавшему три цикла КР – «Левый берег», «Артист лопаты» и «Очерки преступного мира». Сразу скажу, что претензии Геллера к Сиротинской как к публикатору безосновательны, о чем он, впрочем, не знал – статья для газеты «Русская мысль» писалась в промежутке между двумя советскими изданиями КР 1989 года. В т.н. комментарии к журнальной статье Льва Тимофеева, в общих чертах повторяющего претензии Геллера, Сиротинская объяснила, что издательство «Современник», выпустившее сборник под названием «Левый берег», просто опередило издательство «Художественная литература», которое готовило книгу под названием «Воскрешение лиственницы» – туда наряду с одноименным циклом и должен был войти цикл «Колымские рассказы» (Геллер называет его «Первая смерть»). Последний же цикл, «Перчатка или КР-2», по признанию Сиротинской, еще вовсе не был готов для издания: «Не были готовы тексты» (!), – оправдывается душеприказчица, повергая в недоумения – уж не сама ли она их писала, – но речь не о нем – Геллер вообще не знал о существовании этого шестого цикла, в самиздате не распространявшегося и погребенного вместе со всем архивом Шаламова в «спецхране» РГА-ЛИ, а лучше сказать, арестованного и осужденного на бессрочное одиночное заключение. Претензии Геллера к составу циклов, предложенному Сиротинской, беспочвенны уже потому, что никакой отсебятиной, за исключением разве что изъятия из «Очерков преступного мира» эссе о Сергее Есенине, она не занималась – Сиротинская тупо копировала пятитомник Шаламова под редакцией Леонида Пинского 1965/66-1968 гг., а ничего аутентичнее не придумаешь. Хочу всячески подчеркнуть это обстоятельство. В вопросе об аутентичности текстов и разбивке их на циклы апеллировать к геллеровским изданиям нужно осторожно и со знанием дела – Геллер знал список, отправленный Шаламовым в Америку («список-66»), но не знал ни самиздатского пятитомного собрания сочинений, переданного с Хенкиными в Париж издательство ИМКА-Пресс («список-68»), ни фотокопий с этого многотомника, переданных тогда же для издания на французском в Леттр-Нувель («список Надо»). Геллеровские сборники, в особенности второй, сделаны замечательным человеком на свой страх и риск в отсутствие какого бы то ни было доступа к окончательным авторским редакциям пяти первых циклов КР. Сиротинская очень легко могла бы отвести претензии Геллера и Льва Тимофеева, объявив о наличии у нее не просто «рукописей», а пятитомника Шаламова-Пинского, и опубликовав факсимиле страниц с оглавлениями томов. Не сделала она

этого по очень простой причине – признание вклада Леонида Пинского в оформление корпуса КР как целого никак не входило в ее расчеты. Из почтенного текстолога она превращалась в заурядного копииста, наследовавшего, правда, авторские права Шаламова, но прискорбным образом не располагающего даже оригиналом завещания, который она добросовестно передала госбезопасности, а та уничтожила. История советских изданий КР тонет в грязи специфических секретов спецслужб и своекорыстных конъюнктурных соображений Сиротинской, на которую внезапно свалилось сокровище, никому до сих пор не нужное. Эта история требует отдельного исследования, за которое, надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь возьмется.

Теперь, разобравшись с текстологическими претензиями Геллера к Сиротинской, попытаюсь из сведений, приведенных в статье и содержания лондонского сборника 1978 года реконструировать список «Колымских рассказов», переданный Шаламовым в Америку. Что именно должно было выйти на Западе книгами в 1966 году, когда Солженицын еще считал, или, во всяком случае, декларировал, что «не подобает русскому писателю печататься за границей»? «Список-66», как известно, был присвоен Романом Гулем, который пользовался им в течение одиннадцати лет для нужд «Нового журнала», а затем передал (или продал?) права на никогда не принадлежавшие ему «Колымские рассказы» руководителю лондонского издательства ОРИ Стипульковскому, который и привлек Михаила Геллера для работы над книгой. Полагаю, вместе с правами на издание Гуль передал в Лондон и копию шаламовского списка, оказавшуюся тем самым в распоряжении Геллера. Желющие могут сравнить результат моей реконструкции с натуральным «списком-66», хранящимся где-то либо в архивах «Нового журнала», либо у наследников Гуля. Думаю, ни те, ни другие не будут возражать на просьбу исследователей творчества Шаламова ознакомиться с содержанием этого древнего машинописного фолианта – это ведь не секретные документы, а Америка, как известно – открытое общество, что накладывает на ее русскоязычную общину соответствующие культурные обязательства.

Дальше мои кустарные текстологические штудии. Мне и самому было мучительно заниматься этим сложением-вычитанием, представляю, как мучительно будет вникать, поэтому никого не держу, но выводы должны следовать из анализа.

I Список разбитых на три части рассказов из лондонского сборника, 1978, составленного Геллером основе «списка-66» и материалов, добытых из эмигрантских журналов и стараниями анонимного «московского друга», жаль, что не называет его по имени. Последовательность рассказов сохранена. Рядом с названием стоит год написания. В тех случаях, когда в каноническом тексте КР (публикации Сиротинской на основе машинописного пятитомника Шаламова-Пинского) рассказ принадлежит другому циклу, рядом с годом написания стоит название этого цикла (ВЛ – «Воскрешение лиственницы», ОЧ – «Очерки преступного мира», ВШ – антироман «Вишера»).

Цикл «Первая смерть» («Колымские рассказы»)

По снегу	56	
На презентацию	56	
Ночью	54	
Плотники	54	
Одиночный замер	55	
Посылка	60	
Дождь	58	
Кант	56	
Сухим пайком	59	
Кража	67	ВЛ
Инжектор	56	
Апостол Павел	54	
Ягоды	59	
Сука Тамара	59	
Шерри-бренди	58	
Детские картинки	59	
Сгущенное молоко	56	
Тишина	66	ВЛ
Хлеб	56	
Заклинатель змей	54	
Татарский мулла и чистый воздух	55	
Термометр Гришки Логуна	66	ВЛ
Первая смерть	56	
Тетья Поля	58	
Галстук	60	
[Две встречи]	67	ВЛ
Тайга золотая	61	

Васька Денисов, похититель свиней 58  
Серафим 59  
Выходной день 59  
Домино 59  
Геркулес 56  
Шоковая терапия («Рауш-наркоз») 56  
Стланик 60  
Красный Крест 59  
Заговор юристов 62  
Тифозный карантин 59

\* \* \*

Цикл «Артист лопаты»

Припадок 60  
Надгробное слово 60  
Как это началось 64  
Почерк 64  
Утка 63  
Бизнесмен 62  
Калигула 62  
Артист лопаты 64  
РУР 65  
Богданов 65  
Инженер Киселев 65  
Любовь капитана Толли 65  
Крест 59  
Курсы 60  
Первый чекист 64  
Причал ада 67 ВЛ  
Вейсманист 64  
В больницу 64  
Июнь 59  
Май 59  
Храбрые глаза 66 ВЛ  
В бане 55  
Ключ Алмазный  
Зеленый прокурор 59  
Марсель Пруст 66 ВЛ  
Безымянная кошка 67 ВЛ



Первый зуб 59	
Эхо в горах 64	
Берды Онже 59	
Огонь и вода («Укрошая огонь»)	ВЛ
Облава 66	ВЛ
Протезы 59	
Смытая фотография 66	ВЛ
Погоня за паровозным дымом 65	
Поезд 64	

\* \* \*

Цикл «Левый берег»

Прокуратор Иудеи 65	
Боль 67	ВЛ
Прокаженные 63	
В приемном покое 65	
Геологи 65	
Медведи 56	
Ожерелье княгини Гагариной 65	
Академик 61	
Алмазная карта 59	
Необращенный 63	
Визит мистера Поппа 67	ВЛ
Лагерная свадьба	ВШ
Потомок декабриста 62	
«Комбеды» 59	
Магия 64	
Рябоконь 66	ВЛ
Житие инженера Кипреева 67	ВЛ
Лида 65	
Аневризма аорты 60	
Кусок мяса 64	
Женщина блатного мира 59	ОЧ
Мой процесс 60	
Эсперанто 65	
Начальник больницы 64	
Сергей Есенин и воровской мир 59	ОЧ
За письмом 66	ВЛ
Графит 67	ВЛ

Последний бой майора Пугачева 59

Букинист 56

По лендлизу 65

Сентенция 65

**II** Семнадцать рассказов из этого перечня входят в канон цикла «Воскрешение лиственницы»:

За письмом 66 +

Графит 67 +

Рябокоть 66 +

Житие инженера Кипреева 67 +

Визит мистера Поппа 67 +

Боль 67 +

Облава 66

Смытая фотография 66 +

Марсель Пруст 66 +

Безымянная кошка 67 +

Причал ада 67 +

Термометр Гришки Логуна 66

[Две встречи] 67 +

Тишина 66 +

Кража 67

Храбрые глаза 66 +

Огонь и вода +

Все они, согласно Сиротинской, а, стало быть, пятитомнику Шаламова под редакцией Пинского, написаны в 1966-67 гг. и – хотя бы частично – не должны были быть включены Шаламовым в список, переданный в Америку. Однако, датировки представляются сомнительными, и состав циклов «списка-66» мог значительно отличаться от состава первых трех сборников «списка-68» = окончательной редакции пятитомника.

Вот рассказы 1966-67 гг., опубликованные в «Новом журнале» (значок + рядом с названием): № 96, 1969 – «Рябокоть», «Марсель Пруст»; № 98, 1970 – «Житие инженера Кипреева»; № 101, 1970 – «Графит»; № 103, 1971 – [«Две встречи»], «Безымянная кошка»; № 104, 1971 – «За письмом», «Огонь и вода»; № 108, 1972 – «Причал ада», «Храбрые глаза»; № 111, 1973 – «Смытая фотография»; № 113, 1973 – «Тишина»; № 115, 1974 – «Визит мистера Поппа», «Боль». Че-

тырнадцать (возможно, тринадцать) из семнадцати – что называется, львиная доля. Не думаю, что, живя в Париже, Михаил Геллер стал бы собирать недостающие тексты КР для нью-йоркского «Нового журнала», редактора которого он сурово осуждал за публикацию КР россыпью, что, по его мнению, практически уничтожило книгу (см. его предисловие к парижскому переизданию «Колымских рассказов» 1982 года)\*. Очевидно, все эти рассказы имелись в «списке-66», иначе говоря, с их датировками предстоит разбираться – либо они достаточно произвольны, либо существовали более ранние редакции, а датировки Сиротинской относятся к окончательным.

Рассказ «Две встречи» взят в квадратные скобки потому, что впервые был опубликован в 1968 году в парижском журнале «Вестник РСХД» и мог быть перепечатан Гулем оттуда.

Рассказ «Огонь и вода» был включен Шаламовым в «список-66», напечатан в «Новом журнале» и в публикациях Сиротинской вошел в советский сборник «Воскрешение лиственницы», 1989, под названием «Укрощая огонь». Рассказ «Шоковая терапия» в отредактированном виде под названием «Рауш-наркоз» также печатался в «Новом журнале». Очерк «Лагерная свадьба» входит в поздний антироман «Вишера», он был опубликован в журнале «Грани» в произвольной подборке 1970 года.

Ни в сборниках Геллера, ни в публикациях Сиротинской нет рассказа «У Флора и Лавра», хотя, насколько я знаю, в шаламовский план КР он включен – в какой цикл, мне неизвестно. Почему он выпал и как случилось, что был обнаружен в архиве Шаламова только в 2011 году, публикатор объяснениями не удостоил.

Любопытно, что рассказы «Экзамен», «Город на горе» и «Чужой хлеб» (под названием «Хлеб», первая публикация под аутентичным названием – «Вестник РСХД», 1968), опубликованные в «Новом журнале» в 1971-72 гг., вошли только во второй составленный Геллером сборник, ИМКА-Пресс, 1985. Все три рассказа написаны в 1966-67 гг. и включены автором в цикл «Воскрешение лиственницы» (самиздатская Книга Пятая собрания сочинений, 1968 г.). Как они в свое время выпали из поля зрения Геллера, для меня загадка.

**III** Итак, за вычетом нескольких текстов (тех самых, что найдены Геллером в эмигрантской периодике и получены от «московского друга», а именно – рассказов «Облава», «Кража», «Термометр Гришки

Логуна», «Лагерная свадьба», возможно, «Две встречи», и очерков о Сергее Есенине и женщине блатного мира) остается почти сотня рассказов, они-то и составляют шестисотстраничный «список-бб», переданный Шаламовым Глебу Струве через Кларенса Брауна.

Вычтем шесть-семь вышеозначенных чужеродных текстов из содержания лондонского сборника. Остается то, что должно было быть издано тремя полноценными книгами – «Первая смерть» («Колымские рассказы»), «Артист лопаты», «Левый берег».

Вот полное содержание этих книг в геллеровской последовательности рассказов и циклов. Как они соотносятся с каноническим корпусом КР, я указываю рядом с названием цикла.

Цикл «Первая смерть» («Колымские рассказы»). Полностью совпадает с каноническим первым циклом, включая, кроме того, два рассказа из будущего цикла «Воскрешение лиственницы».

По снегу 56  
На представку 56  
Ночью 54  
Плотники 54  
Одиночный замер 55  
Посылка 60  
Дождь 58  
Кант 56  
Сухим пайком 59  
Инжектор 56  
Апостол Павел 54  
Ягоды 59  
Сука Тамара 59  
Шерри-бренди 58  
Детские картинки 59  
Сгущенное молоко 56  
Тишина 66  
Хлеб 56  
Заклинатель змей 54  
Татарский мулла и чистый воздух 55  
Первая смерть 56  
Тетя Поля 58  
Галстук 60  
Две встречи 67

Тайга золотая 61  
Васька Денисов, похититель свиней 58  
Серафим 59  
Выходной день 59  
Домино 59  
Геркулес 56  
Шоковая терапия 56  
Стланик 60  
Красный Крест 59  
Заговор юристов 62  
Тифозный карантин 59

\* \* \*

Цикл «Артист лопаты». Полностью совпадает с каноном не считая довеска в виде шести рассказов из будущего цикла «Воскрешение лиственницы» (рассказ «Укрощая огонь» называется у Геллера, вернее, в «списке-66», «Огонь и вода»).

Припадок 60  
Надгробное слово 60  
Как это началось 64  
Почерк 64  
Утка 63  
Бизнесмен 62  
Калигула 62  
Артист лопаты 64  
РУР 65  
Богданов 65  
Инженер Киселев 65  
Любовь капитана Толли 65  
Крест 59  
Курсы 60  
Первый чекист 64  
Причал ада 67  
Вейсманист 64  
В больницу 64  
Июнь 59  
Май 59  
Храбрые глаза 66  
В бане 55

Ключ Алмазный  
Зеленый прокурор 59  
Марсель Пруст 66  
Безымянная кошка 67  
Первый зуб 59  
Эхо в горах 64  
Берды Онже 59  
Огонь и вода («Укрощая огонь» 66)  
Протезы 59  
Смытая фотография 66  
Погоня за паровозным дымом 65  
Поезд 64

\* \* \*

Цикл «Левый берег». На девяносто процентов совпадает с каноном. Недостает рассказов «Иван Федорович», «Лучшая похвала» и «Спецзаказ». При этом включает шесть рассказов из будущего цикла «Воскрешение лиственницы» и, возможно, хотя и сомнительно, два текста из «Очерков преступного мира» и «Лагерную свадьбу», промелькнувшую только однажды в журнале «Грани» – я предпочел их убрать.

Прокуратор Иудеи 65  
Боль 67  
Прокаженные 63  
В приемном покое 65  
Геологи 65  
Медведи 56  
Ожерелье княгини Гагариной 65  
Академик 61  
Алмазная карта 59  
Необращенный 63  
Визит мистера Поппа 67  
Потомок декабриста 62  
«Комбеды» 59  
Магия 64  
Рябокоть 66  
Житие инженера Кипреева 67  
Лида 65  
Аневризма аорты 60  
Кусок мяса 64

Мой процесс 60  
Эсперанто 65  
Начальник больницы 64  
За письмом 66  
Графит 67  
Последний бой майора Пугачева 59  
Букинист 56  
По лендлизу 65  
Сентенция 65

**IV** Подводя итог. Геллер располагал списком, включающим три первых тома собрания сочинений Шаламова под редакцией Пинского, дополненных рассказами из будущего цикла «Воскрешение лиственницы», датировки которых требуют уточнения. К лету 1966 года эти три тома были составлены Шаламовым и Пинским почти набело с добавлением рассказов, количество которых не позволяло пока думать о новом сборнике, поэтому Геллер ошибается, намекая на то, что Сиротинская копировала лондонское издание – оба копировали авторские редакции трех первых циклов КР, только с разных, разделенных двумя годами и естественно различающихся списков. Авторская редакция «списка-66» была дополнена Геллером пятью-шестью текстами из сборников «Воскрешение лиственницы» и «Очерки преступного мира» и очерком «Лагерная свадьба», попавшими к нему из других источников. Эти и другие не вошедшие в первые три книги окончательного пятитомника тексты Сиротинская в своих публикациях совершенно оправданно удалила.

**V** Чего я не понимаю – это следующего пассажа из статьи Геллера: «У меня хранится написанный Варламом Шаламовым план «Колымских рассказов». Однако он был составлен тогда, когда было написано немногим более 60 рассказов. Мне пришлось самому размещать 103 рассказа по трем частям книги».

О «Колымских рассказах» периода, когда было написано немногим – и даже многим – более 60 рассказов, дает представление «мемориальный» список КР рубежа 1964-65 гг., которому в этом сборнике посвящена отдельная статья. С полной уверенностью могу утверждать, что план КР того времени весьма отличается и от разбивки на циклы, которую осуществил Геллер, и от деления на сборники, которое пред-

ложила Сиротинская. Поэтому я ставлю под сомнение слова Геллера о том, что ему пришлось размещать 103 рассказа по трем частям книги. Размещать самостоятельно ему пришлось лишь несколько текстов, что, кстати, и придает ему уверенность в своей правоте как текстолога-составителя. В период, когда имелось «немногим более 60 рассказов», не было еще ни названий сборников, ни собственно сборников, за исключением уже действительно оформленного первого цикла. Вообразить, что Геллер самостоятельно разбросал десятки рассказов по трем частям в точном соответствии с окончательным планом Шаламова, не прибегая к телепатии или ясновидению, невозможно. Следовательно, у него был план 1966 года, а именно «список-66», полученный Стипульковским от Гуля вместе не с шестьюдесятью, а почти сотней рассказов. Меня огорчает, что Геллер искажает положение дел, при этом вопреки всякой логике требуя от Сиротинской следования своей схеме как образцу. Кроме того, меня огорчает, что Геллер нигде не упоминает самого важного обстоятельства – того, что «Колымские рассказы» издательство ОРІ получило не от «московского друга», а от редактора нью-йоркского «Нового журнала», отнюдь не утруждавшего себя сбором в Москве поштучно самиздатских рукописей КР, а сидевшего на трехтомнике, который достался ему задарма и которым он монопольно и бесстыдно распоряжался в течение одиннадцати трагических для Шаламова лет\*\*. В «капиталистических джунглях» русской эмиграции Шаламова постигла та же судьба, что в джунглях Московии.

**VI** Еще один итог на закуску. Этапы становления «Колымских рассказов» как целого приходится восстанавливать ретроспективно, не от начала к концу, а от конца к началу. На сегодня можно определенно сказать, что пять первых циклов были окончательно оформлены к лету 1968 года, что три первых цикла были практически довершены к лету 1966 года (последующие изменения касались лишь перемещения полутора десятка рассказов в сборник «Воскрешение лиственницы»), а первый цикл приобрел законченную форму к началу 1965-го, хотя в предварительном варианте существовал значительно раньше – как минимум в 1963 году. Все эти технические подробности необходимы как отправная точка для рассуждений об эстетической и смысловой стороне циклизации «Колымских рассказов» и меры ее успеха. В противном случае все рассуждения повисают в воздухе.

-----



\* «Колымские рассказы», попав на Запад, не выходят книгой, а печатаются на протяжении многих лет, по одному-два, вразброс, бессистемно, нередко «исправленные». Как если бы картина Рембрандта, обнаруженная на чердаке, была разрезана на мелкие куски, а потом демонстрировалась как куча обрезков. Возможно и по отдельным кускам – вот глаз, вот рука – удалось бы понять, что перед нами великое произведение искусства. Но картины – не было бы...»

Михаил Геллер, «Последняя надежда», предисловие к парижскому переизданию «Колымских рассказов», 1982  
<http://www.booksite.ru/fulltext/1sh/ala/mov/37.htm>

\*\* Полагаю, Стипульковский и Геллер получили от Гуля не только авторский план КР, но и сами тексты, весь «список-66», опубликованный «Новым журналом» лишь частично. Эту уверенность подкрепляет тот факт, что напечатанный в «Новом журнале» рассказ «Раушнаркоз» («исправленная» версия рассказа «Шоковая терапия» – без двух первых и двух последних страниц) вошел в лондонский сборник не только под своим настоящим названием, но и на том месте, которое ему определил Шаламов в первом цикле.

---

### ***Первая подборка рассказов из сборника «Перчатка или КР-2», «Новый мир», 1989***

В 1989 году Сиротинская сделала «Новому миру» еще один подарок <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/200453.html> за тридцатилетнюю обструкцию Шаламова – опубликовала в нем огромную, почти семидесятистраничную (а фактически больше, поскольку дюжина страниц идет мелким шрифтом) подборку прозы, включающую рассказы из сборника «Перчатка или КР-2», письмо, адресованное ей Шаламовым и известное как его манифест «новой прозы», и эссе из «Вишерского антиромана» «В лагере нет виноватых».

Вот содержание подборки под заголовком «Варлам Шаламов. «Новая проза»:

Из черновых записей 70-х годов [что-то вроде вводного слова, скомпилированного из дневниковых записей Шаламова]

Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме

Тачка - I

Тачка - II

Галина Павловна Зыбалова

Иван Богданов

Яков Овсеевич Заводник

Вечная мерзлота

Шахматы доктора Кузьменко

Афинские ночи

Рива-Роччи

<О моей прозе>

В лагере нет виноватых

В подборку вошла половина сборника «Перчатка или КР-2». В комментарии Сиротинской на первой странице сказано:

«Публикуемая проза Шаламова входит в последнюю книгу его колымских рассказов – «Перчатка, или КР-2». Этим книг шесть: «Колымские рассказы» (1954-1963), «Очерки преступного мира (1954-1960), «Левый берег» (1959-1965), «Артист лопаты» (1959-1965), «Воскрешение лиственницы» (1966-1967), «Перчатка, или КР-2» (1970-1973). Он писал, что колымские рассказы «вместо мемуара... предлагают новую прозу, прозу живой жизни, которая в то же время – преображенная действительность, преображенный документ».

Свои соображения о сборнике «Перчатка или КР-22» выскажу в следующей статье.

Смотреть фотографии этих и других страниц крупным планом в хорошем качестве в расширении PNG, архив с файлами, ZIP, 31 МБ [https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Nov\\_mir\\_KR-2\\_1989.zip](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Nov_mir_KR-2_1989.zip)

---

***Что такое сборник «Перчатка или КР-2»?***

В каких условиях готовился и публиковался цикл «Перчатка или КР-2» и что он, собственно говоря, собой представляет.

В 1988 году советские журналы начали публикацию подборок «Колымских рассказов», а на следующий год все пять оформленных Шаламовым циклов КР вышли книгами. Работа Сиротинской как публикатора этой части шаламовского наследия сводилась к предоставлению редакциям журналов и издательств копий текстов из самиздатского пятитомника, выпущенного автором при участии Леонида Пинского еще в шестидесятых годах. Однако, в течение года готовое самиздатское собрание сочинений Шаламова иссякло – время буквально мчалось, Сиротинская не была готова к такому повороту событий. Шаламов шел на расхват, и нужно было удовлетворять ажиотажный «перестроечный» спрос. В 1989 году Сиротинской пришлось, наконец, заняться тем, на что ей было дано десять лет – с весны 1979, когда архив Шаламова целиком перешел в ее руки. До этого она в него не заглядывала, пяти готовых томов в начале «перестройки», казалось, хватит надолго, никто не ожидал, что процесс либерализации примет лавинообразный характер. В декабре 1989 года журнал «Новый мир» выдает очередную сенсацию – оказывается, помимо вышедших пяти циклов КР существует шестой, подборка рассказов из которого под заголовком «*Варлам Шаламов. «Новая проза»*» и публикуется в номере. В примечании Сиротинская пишет, что «Колымские рассказы» состоят из шести книг, вот в эту последнюю, шестую книгу, «Перчатка или КР-2», и входят публикуемые рассказы. Откуда они взялись?

В так называемом «комментарии» к статье Льва Тимофеева Сиротинская оправдывается, что в 1989 году рассказы из цикла «Перчатка или КР-2» были «не готовы». В примечаниях к шаламовскому четырехтомнику 1998 года добавляет, что «рассказы из сборника «Перчатка или КР-2» не имеют набело перепечатанных текстов». Иначе говоря, имелись черновики – по-видимому, машинописные с правкой от руки и в неупорядоченной последовательности. Летом 1971-го Шаламов записывает в дневнике, что «Перчатка», как правильно заметила И. (т. е. Сиротинская), может открывать сборник (Сиротинская почему-то датирует рассказ 1972-м). Вот все, что известно о составе этого сборника от Шаламова. Так кто его составлял? Сам Шаламов или Сиротинская, причем в спешке, в состоянии предельной мобилизации хватательных рефлексов, не поспевая за спросом? Десяти лет ведь мало, чтобы управиться с двумя десятками текстов, не доведенных до ума автором или Геллером\*. Если сборник составляла Сиротинская, то исходя из каких соображений, авторских указаний, плана? С чем мы

имеем дело – с продуманной книгой или с произвольным набором текстов? Сборник состоит из 21 рассказа, четыре из них были написаны в шестидесятых годах, но по каким-то причинам не включены Шаламовым в пятитомник. Наконец и, пожалуй, главное: принадлежит ли вообще этот сборник корпусу «Колымских рассказов» или его следует печатать отдельно, как антироман «Вишера» и воспоминания о Колыме? Шаламов, по-видимому, сам отчленил его от собственно «Колымских рассказов», назвав «КР-2», то есть другой, самостоятельной книгой, наследующей «Колымским рассказам», но не являющейся их частью\*\*. Почему шаламоведы даже не ставят этих вопросов? Почему сборник «Вишера» естественным образом рассматривается как отдельное произведение, а «Перчатка или КР-2» – как непонятный, но неустрашимый довесок к «Колымским рассказам»? – только вследствие того, напоминая, что в таком качестве его публиковала Сиротинская. «Колымская проза Ш. самим писателем разделена на шесть книг» – пишут составители библиографического словаря «Русская литература XX века: прозаики, поэты, драматурги», М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005, и перечисляют известные сборники КР, последний из которых – «Перчатка или КР-2». Откуда у них уверенность, что шестая книга включена в корпус «самим писателем»? До сих пор известно обратное – шестая книга включена в корпус не Шаламовым, а Сиротинской, якобы со ссылкой на указание автора, в 1989 году. Прямых доступных исследователям указаний Шаламова на принадлежность сборника корпусу «Колымских рассказов» нет. Корпус «Колымских рассказов» кончается, как известно, «Воскрешением лиственницы». «Перчатка или КР-2» – с самого начала совершенно другая книга, если это вообще книга, а не собрание разнородных текстов, объединенных колымской тематикой\*\*\*. Мне хотелось бы видеть шаламовский план этого сборника\*\*\*\*. Хотелось бы знать, чем руководствовалась Сиротинская, говоря о шести циклах «Колымских рассказов», а не о пяти и дополняющей их отдельной книге поздней прозы Шаламова, уже иначе обращающейся с таким материалом как Колыма – в этой Колыме семидесятых годов лиственнице воскресать незачем. На основании чего Сиротинская сформировала канон из шести сборников, а не из семи, например, включив туда «Вишерский антироман», как она называет эту книгу в том же примечании к новомирской публикации 1989 года – только потому, что за корпусом закрепилось название «Колымских рассказов», а Вишера – это явно не Колыма? Но ведь многие «колымские рассказы» написаны на материале Вишеры, к этому привыкли и это не режет глаз. Точно так же не резало бы глаз, если бы «Вишерский антироман» был в конце восьмидесятых включен Сиротин-

ской в корпус «Колымских рассказов» как самостоятельный поздний цикл. Вернее, как раз резало бы, поскольку это совершенно другая поэтика. Но совершенно другая поэтика и в сборнике «Перчатка или КР-2». Шаламов – если название цикла принадлежит ему – сам подчеркивает в названии книги, что это не продолжение пятитомника «КР», а «КР-2», начало другого корпуса «колымских рассказов», с Колымой как она есть, жизнь после которой – благо сомнительное, ибо измерение поэзии ее покинуло и осталось только угрюмо свидетельствовать, причем при отсутствующем суде и пустом зале. Осталась «лагерная литература», за первой частью которой последуют мемуары о Колыме, а потом литература будет просто отброшена, и «лагерная литература» вместе с лагерными воспоминаниями воссоздадут себя во плоти – в доме престарелых и в психбольнице, завершив тем самым второй массив колымских рассказов Шаламова, в которых нет уже ничего от ненавистной ему «литературы», но в которые вернулась поэзия.

Я думаю, филологам не следует слепо доверять редакторскому дару Сиротинской лишь по причине ее монополии на архив Шаламова. Следует по меньшей мере разобраться по бумагам архива, кто же составитель этого странного шестого цикла КР под названием, как раз обособляющим его от завершенного пятитомника, и проанализировать его тексты с точки зрения семантики и формальных приемов, сверяясь не с каноническим колымским Пятикнижием шестидесятых годов, а с поздней «Вишерой» и, по-видимому, еще более поздним циклом мемуаров о Колыме – во всех трех найдется больше общего, чем у всех трех с цветущей прозой Шаламова пятидесятих-шестидесятых годов.

-----

*\* К слову – когда именно Сиротинская занялась архивом Шаламова, то есть рукописями его прозы. В цикле «Перчатка или КР-2» двадцать один рассказ. Цикл небольшой, на 150 страниц. Рассказы шестидесятых годов явно были отпечатаны, из остальных семнадцати только девять написаны в 1972-73, когда у Шаламова могло не быть машинистки и кое-что могло остаться в виде рукописного текста, хотя по смыслу сказанного Сиротинской, все было отпечатано, только не набело. Другими словами, подготовительная работа предстояла минимальная, даже учитывая прочтение и компоновку – по странице в день это не более полугодя. Несколько месяцев 1989-го это и заняло, к зиме у Сиротинской была готова подборка для «Нового мира», а в 1990 – и весь сборник, выпущенный московским издательством «Ор-*

бита» под одной обложкой с циклом очерков «Вишера», что, пожалуй, и правильно. Вот начало работы Сиротинской с рукописями Шаламова – 1989 год. Не раньше. Три необходимых условия: одобрение начальства, щедрая материальная компенсация, символический капитал. В Сиротинской второй половины семидесятых и дальше бессмысленно искать хотя бы каплю идеализма и непосредственности. Это энергичный, разворотливый литературный предприниматель-монополист, основатель успешного семейного бизнеса. (Напомню, что Солженицына она постоянно попрекает делячеством «на крови». Кто-нибудь видит разницу?) «Беатриче» тут так же уместна, как «Елена Прекрасная».

\*\* «Колымскими рассказами» в начале семидесятых Шаламов обобщенно называл весь пятитомник «КР» из пяти циклов, оформленный для издания за границей, это совершенно наглядно демонстрирует, например, его письмо к Сиротинской от 1971 года, публиковавшееся ею как литературный манифест Шаламова [О новой прозе].

\*\*\* Собственно говоря, тут ВСЕ неясно. В тех же примечаниях к четырехтомному собранию сочинений Шаламова, 1998, Сиротинская пишет: «В 1973 г. Шаламовым дописываются последние рассказы из сборника «Перчатка, или КР-2», рукописи которых были заключены в отдельную папку с надписью «Проза 1973 года». Но сборник остался незавершенным».

Словосочетание «Перчатка или КР-2», строго говоря, вообще нигде не встречается в опубликованных текстах Шаламова. Откуда оно взялось? В папке с «прозой 1973 года» может лежать только шесть рассказов. В папках с какими названиями лежат остальные, в частности, включенные Сиротинской в сборник «Перчатка или КР-2» рассказы шестидесятых годов? Что делает эти папки единым целым – может быть, стягивающая их резинка?

\*\*\*\* Возможно, он существует. В описи архива Шаламова в РГА-ЛИ (фонд 2596) <http://www.rgali.ru/object/11045426?lc=ru> среди прочих материалов, а именно «сб[орники]. рассказов и очерков», назван и «Перчатка, или КР-2». Однако интересно, в какой последовательности: «Колымские рассказы» (1954 – 1961), «Очерки преступного мира» (1955 – 1960), «Артист лопаты», «Левый берег» (1960 – 1965), «Воскрешение лиственницы» (1966 – 1967), «Вишерский антироман» (1970), «Перчатка, или КР-2» (1973)». В таком виде корпус «лагер-

*ной» художественной прозы Шаламова – то, что принято называть «Колымскими рассказами» – состоит не из шести, а из семи циклов.*

---

### ***Неопределенность датировок Сиротинской***

I У Сиротинской как публикатора некоторые циклы прозы Шаламова датированы в противоречии с датировками входящих в них текстов\*:

«Колымские рассказы» (1954-63)

«Очерки преступного мира» (1954-60) – хотя в письме Солженицыну от 1963 года Шаламов говорит о «воровском материале» как о чем-то, над чем он, возможно, собирается поработать на даче Солженицына в Солотче.

«Левый берег» (1959-65) – на самом деле 1956 (рассказы «Медведи», «Букинист») – 65 гг.

«Артист лопаты» (1959-65) – на самом деле 1955 (рассказ «В бане») – 65 гг.

«Воскрешение лиственницы» (1966-67)

«Перчатка или КР-2» (1970-73) – на самом деле 1962 (рассказы «Человек с парохода», 62 г., «Уроки любви», «Подполковник медицинской службы», 63 г., «Шахматы доктора Кузьменко», 67 г. (54?) – 1973 гг.

«Вишера» (1970-71) – однако по крайней мере один очерк антимана, «Лагерная свадьба», написан в шестидесятых – он помещен в журнале «Грани», №76, 1970, вместе с рассказами шестидесятых годов, а с 1969 года Шаламов, как известно, пишет исключительно «в стол» и в самиздат ничего не дает. Не говоря уж о том, что сам очерк «Вишера» написан в 1961 году.

II Если моя реконструкция «списка-66», отправленного в Америку (см. соответствующую статью), верна, то этот машинописный трехтомник включал не менее семи рассказов, датируемых 1967 годом, чего быть не может – рассказы, написанные в 1967 году, не могут быть отправлены для издания в 1966-м.

III Рассказ «Шахматы доктора Кузьменко» Сиротинская датирует 1966 годом, при этом в описании «Записных книжек» Шаламова о тетради с записями 1954 года сказано, ею же: «... в тетради записаны... рассказ «Шахматы доктора Кузьменко». Как это понимать?

Рассказ «Шерри-бренди» сам Шаламов датирует 1954 годом, принятая датировка – 1958. Почему?

Вот что пишет она сама в примечаниях к собранию сочинений Шаламова:

«В. Шаламов редко датировал свои рассказы. Поэтому даты многих из них определены по косвенным признакам и даются в угловых скобках. Очень помог при датировке перечень рассказов, который вел писатель по мере их создания. При сопоставлении точно датированных автором рассказов с этим перечнем определялись возможные хронологические рамки написания многих рассказов.

Кроме того, до 1967 г. В. Шаламов записывал свои рассказы в школьные тетрадки, которые имели типографскую отметку о годе и квартале их изготовления. Это обстоятельство также помогало определить дату создания рассказа.

Таким образом, источниками датировки произведений были: авторская датировка рукописи, список прозаических работ, регулярно пополнявшийся писателем; типографская отметка о времени изготовления тетради; соответствующие упоминания в текстах рукописей, письмах, записях и т. п.; почерк автора, имевший свои особенности в 50-х, 60-х, 70-х гг., бумага – носитель текста, и др.»

Датировки Сиротинской приблизительны. Они требуют более детального уточнения по рукописным и машинописным оригиналам (авторизованным и неавторизованным, но поддающимся датировке самиздатским спискам). Речь идет, конечно, о датировках рассказов – их черновых и чистовых вариантов, а затем уже – о резонах, какими руководствовались в распределении их по циклам Шаламов и Пинский, и как следствие – о желаемом и достигнутом эстетическом результате.

\* *«Новый мир», №12, 1989, примечание к подборке рассказов*





## **Ирина Сиротинская в судьбе Шаламова**

### *Ирина Сиротинская о себе*

Интервью, взятое журналистом Евгением Ржевским у Сиротинской в 2007 году и выложенное им на сайте журнала «Самиздат» [http://samlib.ru/r/rzhewskij\\_e\\_w/ayasijukakangel.shtml](http://samlib.ru/r/rzhewskij_e_w/ayasijukakangel.shtml)

---

А Я СИЖУ – КАК АНГЕЛ...

Ирина Павловна Сиротинская (5 октября 1932 – 11 января 2011) – российский архивист и литературовед, близкий друг писателя Варлама Шаламова, правопреемник, хранитель и публикатор его наследия. С 1964 по 2006 годы работала в ЦГАЛИ научным сотрудником, в последние годы – заместителем директора.

Разговор с ней я записал в 2007 году.

В давние времена моего детства здесь, где сейчас станция метро «Сокол» кончалась Москва, и начинался прекрасный сосновый лес. А теперь я не знаю, где эта Москва и кончается. Наверное, скоро уж соединится с Ленинградом.

Я родилась в 1932. Жили мы на Динамо, в коммунальной квартире, а неподалеку был клуб летчиков. На здании стояли их бюсты – сейчас это гостиница «Советская». Нашим соседом был авиационный техник, друживший с В. Чкаловым, который иногда приходил к нему. Я была маленькая, и помню только сапоги Чкалова да свитер грубой вязки. Он осторожно прошел мимо меня, что-то сказал маме, и зашел в комнату. Видимо, я была воспитанным ребенком – к знаменитому летчику не лезла, сидела в своей комнате и взрослым не мешала. Сосед меня очень любил, только все время подбрасывал меня вверх, а я боялась, что не поймает.

Мой папа – из семьи потомственного священника. По церковным архивам я проследила историю рода до XVII в., а дальше – просто времени не хватило. Источники в идеальном состоянии, нужно только найти ключ – к какому благочинию принадлежала церковь. Выяснила,

что мой род жил вокруг Суздаля и Юрьева-Польского. Мы даже старушку нашли, которая помнила семью моего деда. Дом был хороший, пятистенок, но бабушка его продала, и мы видели только место, где он стоял – там растет березка. От пятиярусной церкви остались одни руины – ее взорвали. Наша власть, конечно, непредсказуема – в 1960-е то чего взрывали? Секретарь обкома говорил: «Подумайте, ученые говорят, что это памятник культуры. Это церковь-то памятник культуры?». А ведь теперь готовы где угодно церковь построить. Приехала к сыну в Бибирево – прямо перед окнами у них возвели часовню. Я в церковь не хожу, но думаю, что какая-то душа все-таки существует. Мне есть, в чем исповедоваться, есть и грех. Я попробовала, думала, может, сразу полегчает. Мальчишка-священник сказал, что Господь мне прощает, но вот сама себе я не простить не смогла. Чувство вины как было, так и осталось.

С родителями мне, конечно, неслыханно повезло. Как всем, кого родители любили. Они просто обожали меня, тем более, что я была тогда единственным ребенком. Невозможно представить, чтобы они меня отшлепали, или что-то сказали строго. Никаких ужасов 1937 я не знала – родители мне ничего, естественно, не рассказывали. Это было счастливейшее время в моей жизни. Я ходила в детский сад, и очень не любила, когда мной командуют. Когда мы возвращались из детского сада домой, я строила родителей в ряд: папа впереди, за ним мама, а я сзади – иначе отказывалась идти. А когда открывали дверь, порядок менялся – первой должна была входить я. Однажды папа открыл дверь и вошел первым. Я очень плакала из-за этого, а родители покорно вышли и сказали: «Иди первая». А я думала: «Какие они глупые! Как они не понимают, что понарошку не годится!». Но, как ни странно, злой я не выросла.

Мама всю жизнь прожила в коммунальных квартирах, но я не помню, чтобы она когда-нибудь ссорилась с соседями. Она вообще никогда ни с кем не ссорилась. На соседей она нахвалиться не могла: такие они все были хорошие. Теперь я понимаю, что она была просто ангелом. Таких людей мало.

Во время войны завод, на котором работал отец, эвакуировали в Иркутск, и мы, соответственно, тоже туда уехали. Уезжали из Москвы как раз 16 октября. В городе была паника, немцы стояли совсем близко, на Волоколамской шоссе, и уже заезжали в Москву на мотоциклах. Не помню, с какого вокзала уезжали, помню только жуткую толпу на платформе, с узлами, вопящую и стремящуюся в вагоны. С тех пор не люблю толпы, даже праздничные. Я очень боялась потеряться, но папа взял меня на плечи, влез в вагон, посадил на третью полку и побежал

за мамой. И я громко заплакала – хотя вообще не была плаксою. Папа был молодой, красивый и крепкий. А мама была маленькая, и не могла не то что протолкаться, но даже защитить себя.

Несмотря на то, что папа был беспартийным, его оставили взрывать Москву. Но город не сдали, и папа благополучно приехал к нам. Завод начал работать сразу же, как только поставили станки на платформы, не имея даже крыши над головой. Рабочие спали прямо на заводе по два часа и снова принимались за работу, потому что был приказ уже через две недели сдавать самолеты с конвейера. Папа был заместителем начальника цеха по инструментам.

В Иркутске нам дали комнату, а когда родился мой младший брат, то даже однокомнатную квартиру. Жили на Болотном участке – когда снег таял, он действительно превращался в болото. Рядом был тракт из булыжника и с большими кюветами. По нему гнали заключенных, а мы бегали смотреть. Они стали моим первым потрясением: казалось, что заключенные должны быть страшные, а я увидела обычных людей. До сих пор помню лицо одного молодого парня. Мне было тогда девять лет, он смотрел на меня, и, видимо, что-то вспомнил – может быть, сестренка у него дома осталась или еще кто-то, но вид у него был очень грустный. Лица у всех заключенных были усталые, а у него еще и очень печальное. Он вызвал во мне жалость, симпатию. Позже я уже не удивлялась заключенным – «Иркутлаг» был одним из самых крупных лагерей, и их всегда гнали по тракту в определенные часы. Они почему-то все шаркали ногами – на них была обувь неопределенного вида – этикие чуни. И вот так шаркая, неторопливо, они каждый день шли куда-то...

В Иркутске был госпиталь. Раненые сидели на скамеечках, а мы располагались поблизости и слушали их рассказы. Они заглядывались на девиц, а к нам относились как к детям. Да мы и были детьми, и другого внимания нам не было нужно. Но мы их обожали! И чем больше ран, тем больше обожали.

Я недавно ездила в Иркутск – хотелось посмотреть на город детства. Каменный дом, в котором мы жили уже в 1944, сохранился, а болотистый участок, где были двухэтажные бараки, снесли. Там построили дома, заасфальтировали тракт, подняли кюветы, и превратили наш участок в приличную улицу.

В Москву вернулись в 1945, сразу после окончания войны. Комната была уже не наша, мебели никакой не было. Во время войны мы все ходили с заплатками, и это никого не смущало. Жили в студгородке на Соколе. Пять корпусов из шести отдали студентам, а в разбомбленной половине шестого дали комнаты нам. Чтобы облегчить отопление,

длинные окна забила листами фанеры, между которыми натрусили чего-то для удержания тепла. Разрушенную часть забетонировали и огородили забором. По сравнению с Иркутском, где было молоко и другие продукты по доступным ценам, в Москве было голодно.

Вот из этой половинки дома я и вышла замуж – на Песчанку. Прожила со свекровью 40 лет, и прожила дружно – я унаследовала от мамы внутреннюю дисциплину, не позволяющую ссориться, – но я прекрасно понимала, как хорошо было бы жить без нее. Учитывая, что невестки будут испытывать ко мне те же чувства, я на гонорары от книг Шаламова сразу купила кооперативные квартиры двум сыновьям, а с третьим разъехались, отдав ему одну комнату и оставшись в двухкомнатной квартире с мужем и свекровью. Свекровь почему-то не хотела жить с дочкой, она ссорилась с ее мужем. Не знаю, какая может быть почва для ссор! Впрочем, я и не вникала.

Со мной поссориться почти невозможно. В этом духе я и свекровь свою очень хорошо воспитала. Ей казалось, что я недостаточно любила ее сына. Может быть, действительно так и было, потому что у меня в голове одни герои. Идеалом для меня всегда были люди в военной форме, особенно летчики. Но я любила своего мужа такой, знаете, домашней любовью, как отца своих детей. А он меня обожал, в буквальном смысле слова на руках носил! Надорвался, бедняжка. Когда мы ездили в свадебное путешествие, я стонала: «Ах, у меня сердце слабое». И он меня в гору на руках нес – у Ирочки, видите ли, сердце большое – он, правда, спортсмен, сильный был. Но Ирочка до сих пор жива, а его уже нет на свете.

Я по утрам бегала в молочную кухню, а ребенок оставался со свекровью. Однажды она имела неосторожность сказать: «Как хочешь, а я с твоим ребенком сидеть не буду». Я ответила: «Если Вам трудно, конечно, не надо!», и замолчала на два года. Появился третий ребенок: муж опасался, что если будет один, то я его брошу. Наверное, так и было бы, потому что желающие были. Но я понимала, что с тремя детьми это невозможно. Муж, к тому же, очень любил детей. И я, конечно, их очень люблю. Так я и ходила в молочную: один ребенок в коляске, другой держится за коляску, а третий сам по себе бежит. А сумка с бутылочками очень тяжелая. Можно было, конечно, мужа вечером посылать. Но тогда как же семья? Мы вечером все собирались – летом гуляли, играли во что-нибудь. Дети помнят большой стол, и как все мы хохочем. И вот я как-то раз вошла в квартиру, слезы у меня сами текут, и свекровь, видимо, поняла, до какой степени мне тяжело и говорит: «Ира, давай я буду гулять с ними». Я сказала: «Но вам, наверное, будет тяжело?». Она вся задрожала и говорит: «Нет!». И с

тех пор гуляла – в снег, дождь, холод, жару – три часа. За это время я успевала в магазин сходить, квартиру убрать – юркая была, все успевала. И никогда с тех пор мы не ссорились. Муж заходил к ней в комнату ненадолго, интересовался как там она? Жива ли? А с другой стороны – чего ему там сидеть? Здесь стол, всем весело. Я с ней держалась холодноовато, но вежливо. Мы пенсию у нее не брали, и она старалась делать мне подарки. Я подарки брала, но не теплела. Однажды она сделала что-то такое, что я поцеловала ее в лоб и сказала: «Вы наш настоящий друг». Она прослезилась и говорит: «Конечно, Ирочка, я ваш друг». Так мы с ней и жили. Она прожила 92 года.

Муж строил «Буран», который один раз слетал и стоит теперь в Парке культуры и отдыха в качестве аттракциона. А сборочный цех, в котором муж работал, не просто закрыли, а разломали – американцы дали денег. И теперь там бегают дикие собаки. Он не смог это пережить и умер.

Уже после XX съезда меня удивил однокурсник – казах. Он посмотрел на портрет Ленина и сказал: «Как я ненавижу этого человека». Я рот открыла от удивления, потому что к Ленину таких чувств не испытывала. Считала, что Сталин – мерзавец, искажил ленинскую политику. Владимир Ильич, конечно, тоже не подарок, но он к НЭПу повернул. Кровь и при нем лилась бы, но гораздо меньше.

Когда пели дифирамбы Сталину, я понимала, что он не может быть корифеем всех наук. Родителям ничего не говорила, но сама не верила. В 16 лет я написала ему письмо о том, что кругом очень много неправды. А мама сказала: «Нигде этого не говори. Люди исчезают прямо из очередей». Я сама уже это понимала и письмо, конечно, не подписала, а попросила ответить через газету «Правда». Так что я предпринимала попытку наставить Сталина на путь истинный. Но письмо, видимо, не дошло. Во всяком случае, он моим советам не последовал и не могу сказать, что его смерть стала для меня трагедией.

Когда преподаватель на лекции объявил, что Сталин умер – все обмерли. Многие заплакали, а кто-то просто отер сухую слезу. Но не было никого, кто бы открыто обрадовался. Хотя, конечно, я специально аудиторию не осматривала.

Я тогда сказала себе – и с этого начался мой интерес к В. Шаламову: «Такой идиоткой, как я, мои дети не вырастут! Они будут знать правду». И занялась самиздатом. А работа в архиве такую возможность давала, ведь нам сдавали свои материалы и В. Гроссман, и В. Шаламов, – это я уговорила его сдать, – и материалы Б. Пастернака хранились – детский лепет по сравнению с Шаламовым, и архив А. Солженицына лежал необъявленный в отделе комплектования, где я

как раз работала. Были и перепечатки всякие, и «Большой террор». Мы с детьми тогда читали эту книгу, а муж не захотел – он в члены партии вступил. Мне, когда я стала замдиректора, тоже предлагали вступить в партию, и не раз, но я отказывалась от этой «чести», поскольку после XX съезда мне все стало ясно. Я была очень просвещенным человеком и поэтому не хотела быть членом партии.

Кстати, о Солженицыне: мы с ним общались по делу. В нашем архиве – фонд его первой жены, и туда попали его письма к ней. Он хотел, чтобы эти письма перевели в его фонд, а в фонд жены положили ксерокопии, потому что на свой фонд она могла наложить вето. Он так любил ее, такие хорошие письма писал! А когда она заболела раком – бросил, и ни разу не навестил. Когда у нее был юбилей, Наталья Дмитриевна (вторая жена Солженицына) принесла ей букет. Та спросила: «Это вы не пускаете его ко мне?». Наталья Дмитриевна ответила, что он сам не хочет. Говорит, ему это тяжело. Ему, видите ли, тяжело видеть больную жену! Он себя очень бережет.

Солженицын не просто нечестный человек, некоторые его поступки мелки и ничтожны. Его «заело», что давно умершего В. Шаламова вдруг все признали, и он решил отыграться – сказал, что у него все рассказы на одну колоду, наврал, что тот был уже почти слеп, да еще и намекнул, что он был не вполне адекватен. Я ему сказала, что лгать нехорошо. В. Шаламов никогда не смог бы быть общественным деятелем – он был прям, как телеграфный столб, и в отличие от Солженицына, не сотрудничал ни с КГБ, ни с ЦРУ. Ведь известно, что ЦРУ давало Солженицыну деньги для публикаций о ГУЛАГе, а в лагере он был стукачом по кличке «Ветров». Потом, правда, говорили, что это клевета, но есть же копия его донесения! Впрочем, Солженицын, конечно, все отрицал. А посмотрите, как он вернулся в Россию – в правительственном вагоне! Ничего себе – пророк! Пророки пешком ходят.

Вообще, о диссидентах хорошо сказал В. Шаламов: он называл их «ПЧ – прогрессивное человечество», и говорил, что оно состоит наполовину из дураков, а наполовину – из стукачей. Но дураков нынче мало».

Стукачи были и у нас в архиве – поскольку коллектив маленький, их все знали. При них я ничего не говорила, но как-то раз, видимо, не сдержалась. И вот однажды ко мне подошла парторг, очень хороший человек, хоть и коммунист убежденный, и сказала: «Ты поменьше раскрывай рот при такой-то. Она на тебя донесла. Хорошо еще, что мне».

Наш парторг была очень честным, умным и смелым человеком. Когда в Чехословакию ввели танки, она плакала. Я к ней относилась с

большим уважением. Она была убеждена, что в будущем наступит настоящая хорошая жизнь.

Коммунисты были разными. Если бы не я, то и мой муж вступил бы в партию. Делая мне предложение, он сказал: «Я считаю, что в двух случаях человек должен быть абсолютно честен перед самим собой – когда делает предложение и когда вступает в партию». «Ну и ну! – подумала я. – В партию ты у меня никогда не вступишь». И он действительно не вступил. Я его «растлила» своими рассуждениями: «Во-первых, ты должен будешь сидеть на собраниях вместо того, чтобы с детьми на коньках кататься. И не торт покупать, а взносы платить. Дадут какую-нибудь нагрузку нудную, и ты должен будешь отчитываться. Кроме того, все лизоблюды – в партии. Человек – или честный, или партийный. Или дурак. Середины нет. Ты кто?». Конечно, я не думала, что коммунист и порядочный человек – всегда понятия противоположные. Это я мужу так говорила.

Недавно в магазине видела: старушка перебирает мелочь – ей на маленький пакет ряженки хватает, а на большой – нет. Я долго думала, не оскорблю ли ее, дав денег? Поколебалась, стоя в стороне, и подумала, что на ее месте я бы денег не взяла, а купила бы маленький пакет. И ушла. Сейчас много людей ходят голодными. Хорошо, что меня «кормят» произведения Варлаама Тихоновича, и не русские издания, а зарубежные. Не могу сказать, что живу роскошно, но имею возможность съездить в Италию, которую обожаю. Особенно Флоренцию.

Я там была много раз. Сначала правительство в командировки посылало – архив Тарковского оценивать. Я жила в его квартире с огромной террасой, выходящей в сад, целый месяц и ценила в свое удовольствие.

Еще приглашало для консультаций итальянское издательство, решившее выпустить воспоминания В. Шаламова. Я обожаю итальянцев, потому что у них есть душа. Мужчины, прочитав его книги, рыдали на моем плече. Я чувствовала себя неловко, потому что уже не могла плакать – все выплакала в свое время. Владельцем этого издательства является герцогиня Фрискабальди. Во Флоренции есть храм, а позади него – пристройка, которую не каждый замечает. Оказалось, что это дворец, и что как раз храм является пристройкой к нему. Герцогиня рассказывала, что они используют только 24 комнаты: «Остальные просто невозможно убирать. Да и ни к чему, у нас семья не такая большая». В этом доме семья Фрискабальди прожила 11 веков! Есть ли в России хоть одна семья, прожившая на одном месте так долго?!

Последний раз ездила в Грецию. У меня был собственный водитель. Это стоило, конечно, дорого, но в Грецию не каждый день ездишь. Он

возил меня на древнее кладбище, на котором похоронены марафонцы. Могилы освещены, и видно, как они лежат – стройно, как в строю стояли, так их и положили. А больше всего меня потряс огороженный участок: там раньше стояла стела, она сейчас в музее, а на бордюре – фигура собаки, слегка оскалившей зубы и стерегущей сон хозяев. А у меня незадолго до этого умерла моя собака Лада. Врач говорил, что шансов выжить после операции у нее – 50 на 50. Я решила попробовать. Говорила ей: «Лада, поживи еще немного, хоть годика два давай еще вместе поживем». А она жалобно скулила, как будто хотела сказать: «Я бы рада, да, видишь, ничего не получается». И когда я увидела ту собаку, уже два тысячелетия караулившую хозяев, то просто кинулась ей на шею.

Я ушла на пенсию в должности заместителя директора архива. Ушла потому, что работать стало очень трудно. Одно дело, когда приходит читатель, я ставлю ему «допустить», и он уходит. Но бывают совершенно безумные посетители. Представьте, входит однажды в кабинет плотная женщина и утверждает, что она – дочь Есенина. Она похожа на него примерно так же, как и я, но показывает открытку и говорит, что это – есенинский почерк, и просит, чтобы я выдала справку, подтверждающую родство. Я вижу, что она ненормальная, а у меня на столе – малахитовый чернильный прибор, и боюсь, что она меня этой чернильницей трахнет. Я ей говорю: «Да, действительно, что-то общее есть. Но вы же разумная женщина, и понимаете, что такие справки выдает ЗАГС. А мы степень родства не определяем».

Самым замечательным событием моей жизни было знакомство с Варламом Тихоновичем Шаламовым. Он был человеком пронзительнейшего ума. Будучи абсолютно независтливым, подбивал своих приятелей-заключенных писать, хвалил все, что они писали. Советовал иногда, они, правда, воспринимали его советы не всегда адекватно. Считали, что он их учит. Он был очень одиноким и мало кому доверял. Говорили, что он постоянно молчал. Когда я к нему приходила, то не замечала, как проходили пять часов, и все это время он говорил не переставая. Я помогла ему тем, что слушала. И многое он смог написать только потому, что ему было, кому рассказать.

Вторым таким событием, или, может, как раз первым, – были дети. И мои дети, и дети моих детей. Появление каждого – что-то невероятное. Ребенок – это целый мир. Маленькие дети подкупают тем, что всему верят. А я очень люблю фантазировать, сочинять сказки – так мы ходили с ними в дальние страны.

Сейчас Россия вымирает без всякой революции. Деревни умирают на глазах. Поля стоят незасеянные. В селе, соседнем с тем, где у нас



дача, зимуют пять старушек, а в нашем – только нанимаемый нами сторож с овчаркой. Остальные приезжают из города на лето. Мне даже неудобно бывает, потому что чувствую себя барыней – приходят внуки тех старушек и приносят нам землянику в банках. Сами-то в лес не ходим – там комары кусаются. Мы покупаем у них огурцы, помидоры – делать ничего не надо. А раньше там был колхоз, сеяли рожь, овес, была молочная ферма, на которой мы покупали молоко. Сейчас молоко привозят в пакетах. Три раза в неделю приезжает машина и привозит все, что хочешь. Однажды я спросила, почему нет «чудотворожка», который я очень люблю. Так они в следующий раз привезли! Как видите, коммерция развивается. Но народа там нет, а каков народ там, где он есть, где-нибудь в глубинке, я не знаю. Боюсь, что до процветания России далеко.

Думаю, я сделала в жизни все, что могла. Никогда не имела умысла сделать человеку что-то плохое. Могла, конечно, расстроить, особенно близких, но неумышленно. А так – сижу я себе как ангел. Как-то раз, в метро, сошла бабушка, и я села на ее место. Компания напротив стала кричать: «Одна старая б... сошла, другая б... села», а я этого просто не услышала!

---

### *Павел Нерлер. Сиротинская в погоне за Мандельштамом*

От составителя

Сюжет, прослеживающий попытки Ирины Сиротинской заполучить для ЦГАЛИ (РГАЛИ) архив Осипа Мандельштама и тесно связанный с отношениями Надежды Мандельштам и Шаламова. Отрывок из статьи Павла Нерлера с сайта Воссоединенный виртуальный архив Осипа Мандельштама <http://www.mandelstam-world.org/archive.php?archive=2> . Интересно, что попытки Сиротинской понудить Н. Мандельштам «сдать Осю» ЦГАЛИ продолжались до 1970 года, хотя от дома вдовы поэта ей было отказано еще осенью 67-го. Примечательна также степень доверия Мандельштам к рекомендованной ей Шаламовым архивистке: «Никаких воспоминаний у меня нет – это легенда», – пишет она Сиротинской через полтора года после того, как Шаламов читал эти воспоминания и отписал автору впечатление.

«В сер. 1960-х гг., стараниями И.П.Сиротинской, формирование ф.1893 [фонд О.Мандельштама] стало более целенаправленным. Осенью 1966 РГАЛИ в ее лице вступил в контакт с Е.Э.Мандельштамом, братом О.М., и с Н.М. [Надеждой Мандельштам], поселившейся в Москве в конце 1965. И.П.Сиротинская посетила брата поэта 15 и 21.10.1966 и ознакомилась с его собранием. Он показал свой архив, обещал в будущем передать его на гос. хранение, изъявил желание посетить ЦГАЛИ и выступить с воспоминаниями о детских и юношеских годах О.М. Первая встреча И.П.Сиротинской с Н.М. состоялась 28.9.1966 (связующим звеном, возможно, послужил, А.К.Гладков, еще осенью 1964 уговаривавший Н.М. отдать экземпляр машинописи ее воспоминаний в ЦГАЛИ – см.: РГАЛИ. Ф. 2590. Оп.1. Д.104. Л.142). В 1966 и самой Н.М. даже пришлось отречься от своих воспоминаний (ср. в письме Н.М. И.П. Сиротинской от 25.11.1966: «Никаких воспоминаний у меня нет – это легенда» – РГАЛИ. Дело фонда 1893. Л.27). Тем не менее контакт РГАЛИ с Н.М. оказался довольно продуктивным: в 1966-1967 – в обмен на фотокопии других автографов О.М., хранившихся в ЦГАЛИ, – Н.М. подарила архиву 3 фотографии О.М. (2.12.1966), 11 листов автографов О.М. – черновики к «Египетской марке» (6.2.1967), а также 4 листа автографов стих-ний О.М. («Домби и сын» и «Теннис»), еще 3 фотографии и машинописный экземпляр эссе О.М. «Разговор о Данте» (18.5.1967). Эти материалы вошли в опись 2 ф. 1893 (Дд. 4,5 и 10, правда, фотографий вписано не 6, а 5). Примерно в это же время (сер. мая 1967) Н.М. забрала поэтическую часть архива О.М. у Н.И.Харджиева – операция, в которой, в качестве представителя РГАЛИ, участвовала и И.П.Сиротинская (Н. Мандельштам-3). Переговоры о передаче архива продолжились и в 1968: так, 10.10.1968 Н.М. писала Н.Е.Штемпель: «Насел на меня архив ЦГАЛИ, чтобы я сдала Осю. Интересно, какие у них камни за пазухой» (Собр. П.М.Нерлера). По словам И.П.Сиротинской (ее переписка с Н.М. продолжалась до 1970), Н.М. обещала в будущем передать в РГАЛИ весь оставшийся у нее архив О.М., однако со временем она изменила это решение и в 1972 переправила его за границу». [Добавлю: вслед за рукописью своих «Воспоминаний», вывезенных в конце шестидесятых славистом Кларенсом Брауном, который по инициативе Шаламова в 1966 году переправил «Кольмские рассказы» в Америку для издания книгой и вопреки воле автора «сдал» их редактору «Нового журнала» Роману Гулю. – прим. составителя].

От составителя.

Согласно мемуарам Сиротинской, с Надеждой Мандельштам ее свел не Гладков, а как раз Шаламов в ноябре 1966 года. Нерлер, однако, называет другую – и даже точную – дату: 28.9.1966.

В продолжении статьи на примере судьбы архива Надежды Мандельштам отлично показано, что представлял собой ЦГАЛИ, от лица которого действовала его будущий замдиректора Ирина Сиротинская:

«После смерти Н.М. 29.12.1980 РГАЛИ запрашивал о судьбе ее личного архива нотариальную контору, из ответа которой явствовало, что в квартире покойной никаких бумаг обнаружено не было. Через 2,5 года – 2.7.1983 (по др. сведениям 1.6.1983) – ее личный архив, хранившийся у одного из ближайших ее друзей и наследников – Ю.Л. Фрейдина, был конфискован КГБ после обыска у него (Вести из СССР. Мюнхен. 1983. №17). Ссылаясь на вырванное у Ю.Л. Фрейдина под давлением «заявление», КГБ передал архив Н.М. в РГАЛИ (в его составе: 175 документов объемом в около 1500 листов, 20 книг с автографами, комплект фотокопий и негативных пленок с АМ, 2 коробки). Впоследствии Ю.Л. Фрейдин потребовал возвратить архив Н.М. ему, но РГАЛИ категорически [отказался] это сделать. В начале 1990-х Ю.Л. Фрейдин так охарактеризовал сложившуюся ситуацию: *«Летом 1983 г. имевшиеся у меня мандельштамовские материалы, включая книги, фотокопии рукописей, личный архив и воспоминания Надежды Яковлевны, копию ее завещания, издания собрания сочинений О.Э.Мандельштама, а также многое из моего личного архива – было без каких-либо законных оснований изъято у меня сотрудниками московской прокуратуры и КГБ. Полная история этой грабительской акции выходит за рамки данной статьи. Скажу только, что мои протесты, поданные вплоть до самых высоких инстанций, остались без ответа. Может быть, теперь, к 100-летию поэта, грабители или те, кто хранит награбленное, усомнятся и вернут все законному владельцу?...»* (Фрейдин Ю.Л. «Остаток книг»: библиотека О.Э. Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам. Исследования и материалы. М., 1991. С.237. См. также: Фрейдин Ю.Л. Судьба архива поэта // Литературная газета. 1991. № 1. 9 янв. С.13). 18.12.1990 Р.И. Рождественский как председатель Комиссии по лит. наследию О.Э. Мандельштама обратился в РГАЛИ с просьбой вернуть Ю.Л. Фрейдину незаконно изъятые у него документы. Однако, даже несмотря на отсутствие возражений со стороны Прокуратуры, РГАЛИ не отступил-ся от своей позиции».

Кстати, письма Варлама Шаламова Надежде Мандельштам, опубликованные Сиротинской в «Новой книге», 2004, (если это не черновики) являются частью этого краденого и засекреченного собрания, так что шансов увидеть свет до крушения коммунизма у них было не больше, чем у «Колымских рассказов».

---

*Ирина Сиротинская, «Поход за рукописями», с дополнениями и комментарием составителя*

### **Поход за рукописями**

#### 1

На стене комнаты Варлама Тихоновича Шаламова, первой его комнаты, которую я увидела – маленькой, на первом этаже – висели два портрета – Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны Мандельштам. В первом своем письме зимой 1966 г. мне В. Т. писал: «Для всех я был предметом торга, спекуляции, и только для Н. Я. – глубокого сочувствия».

Варлам Тихонович много рассказывал мне о воспоминаниях Н. Я., говоря, что это прекрасная русская проза, это глубокий и точный взгляд на время. Даже говорил, что Н. Я. не уступает в талантливости своему мужу. Надо ли говорить, что я заинтересовалась этой необыкновенной женщиной и попросила меня с ней познакомиться. В. Т. обычно еженедельно бывал у Н. Я. Иногда с раздражением упоминал о «людях с кухни Н. Я.» (кухня, как я убедилась впоследствии, была гостиной Н. Я.)

Наконец в ноябре 1966 г. я, по рекомендации В. Т., познакомилась с Н. Я. Сначала она мне показалась очень некрасивой, даже неприятной, но потом совершенно очаровала умением вести беседу, умом, тактом. Я не встречала более интересного собеседника. Видимо, с каждым она умела говорить на интересующие его темы. И со мной она говорила о детях («ведь я – педагог»), о литературных знакомых О. Э. и своих... Скоро В. Т., неудержимо расплываясь в улыбке, сообщил мне, что я Н. Я. очень понравилась. «И я, – вешал В. Т., – выразил свое глубокое

удовлетворение». «Можно бы обойтись и без этого», – сказала я, к удивлению и растерянности В. Т.

Думаю, что это был со стороны Н. Я. лишь запуск зонда, чтобы проверить отношение В. Т. ко мне. И это мне не понравилось.

Такая же проба была произведена и со мной. Н. Я. всегда очень высоко оценивала прозу В. Т. «Я думаю, проза Шаламова – новые пути русской литературы». И вдруг сказала: «В. Т. очень злой». Я удивилась и неожиданности суждения, и самим этим словам. И возразила: «Да что Вы, он очень добрый». И поймала взгляд Н. Я., какой-то изучающий взгляд.

– Ну да, это с Вами он добрый.

И поняла, что это был пробный шар. Такие манипуляции с собеседником мне не понравились. Может быть, это и безобидно, но я не считала возможными такие дипломатические приемы в частной жизни. С тех пор с Н. Я. Мы более ограничивались кругом чисто профессиональных моих вопросов – судьбой архива О. Э., который был у Харджиева, у Л.С. Финкельштейн.

Рассказывала Н. Я. и кое-что о себе и О. Э. Теперь, читая отрывки из первого варианта «Второй книги» (Литературная учеба. 1989. № 3.), историю разрыва О. Э. с Ольгой Ваксель, сосиски Н.И. Харджиева, которыми кормил он Н. Я., и т. п., я понимаю, что эти отрывки она тогда как бы читала на слушателя. Думаю, что переделка «Второй книги» и уничтожение первого варианта тесно связаны с переоценкой личности Н.И. Харджиева прежде всего.

Мне она говорила: «Подумать только, эти сосиски я не могла забыть всю жизнь! Ну, я ему покажу? Он мне сказал – немного пожил бы Мандельштам, у него и другая жена была бы. Подумаешь – жена! А я у него один».

Она была в бешенстве. Думается, была она и ревнива, и нетерпима. И, как и собиралась, переписала книгу совсем в другой тональности.

Н. Я. передала в ЦГАЛИ несколько автографов О. Э. («Египетская марка», «Домби и сын», «Теннис»), фотографии. Я ей скопировала то, что было у нас.

## 2

Рукописи О. Мандельштама хранились тогда у Н.И. Харджиева. Он несколько преувеличивал свою роль хранителя и истолкователя Мандельштама. Как рассказывала мне Надежда Яковлевна, он говорил в ответ на ее претензии: «Подумаешь, жена! Пожил бы Мандельштам, у него другая жена была бы. А я у него один».

Н. Я. была просто в истерике: «Он может уничтожить рукописи! Надо отнять их у него!»

В мае 1967 г. была организована «экспедиция» для изъятия рукописей у Харджиева. Мы собрались в «Москве» у Ласкиной в составе: Н. Я., Алексей (сын Ласкиной и Симонова, физическая сила нашей компании), Саша Морозов («ему он откроет дверь» – сказала Н. Я.) и я, представитель государственного архива, куда Н. Я. обещала отдать рукописи О. Э.

Н. Я., истерически дрожа, обещала кричать в окно, если Н. И. не будет отдавать рукописи. Алексей обещал держать Н. И., спрашивая Н. Я.: «А вы знаете, где они лежат?»

Саша не верил в коварство Н. И., уверяя, что он отдаст все.

Так, живописной группой, мы дошли до дома Н. И.

Решили, что сначала пойдут Саша и Н. Я. Мы с Алексеем оставались в резерве и ждали во дворе, пока Н. Я. поднялась к Николаю Ивановичу. Но наша помощь не понадобилась.

Саша оказался прав. Н. И. отдал папочку с рукописями О. Э. Правда, как потом говорила Н. Я., рукописи были не все.

Мне Н. Я. сказала: «Не прерывайте нашего с Оськой свидания, я потом отдам в архив все».

Этого обещания она не сдержала.

И когда через полгода я, крайне бережно, напомнила ей о нем, Н. Я. резко сказала мне: «Какое юридическое право Вы имеете требовать у меня архив? Я отдам его туда, где занимаются Оськой».

Я ответила: «Это Ваше право, Н. Я., и, сохрани Бог, я ничего не требую, я просто спросила, помня Ваше обещание».

Это был наш последний разговор с Н. Я. Больше она не приглашала меня к себе, как прежде, своими маленькими записочками.

Вскоре В. Т. спросил меня (после визита к Н. Я.), обещала ли передать Н. Я. архив к нам. Я ответила, что обещала. Видимо, Н. Я. говорила с Варламом Тихоновичем на эту тему и говорила с раздражением.

А некоторое время спустя В. Т. спросил меня, что я думаю о Н. Я. Я сказала, что она умница, редкая умница, но ей немножко не хватает благородства. И В. Т. вдруг стремительно заходил по комнате:

– Много, много благородства там не хватает. Я сказал ей, что не могу больше у нее бывать.

Я пыталась его смягчить, убеждала, что ему нужен литературный круг, знакомства, общение, и круг Н. Я. – это интересные люди, это возможность говорить на любые темы, это...

– Не нужен мне никто, – резко ответил В. Т.

В. Т. никогда не действовал половинчато. Рвать – так сразу и навсегда. Так он поступил с Г.И. Гудзь, первой женой, с О.С. Неклюдовой, второй женой, с Б.Н. Лесняком, своим колымским другом, с другими людьми, и с Н. Я. так же.

Конечно, были и глубокие причины у него для охлаждения дружбы с Н. Я. Как-то еще в начале 1967 г. он обмолвился о своих визитах к Н. Я. «Это нужно для моей работы». Думаю, что «нужность для работы» была к 1968 г. исчерпана.

Да и «болельщицкие», как говорил В. Т., наклонности Н. Я. его раздражали, резкое размежевание – кто за нас, а кто за другую команду. Ему было тесно в команде, даже в команде умной, просвещенной, левой.

В. Т. не любил команд и прервал отношения с Н. Я. навсегда.

-----

Первоначальная версия очерка – под названием «Надежда Яковлевна Мандельштам» – опубликована в: Шаламовский сборник. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 131-133. Специально для настоящего издания И.П. Сиротинская дополнила этот текст подробностями визита к Н.И. Харджиеву. Следует заметить, что сама Н.Я. Мандельштам в качестве четвертого участника «похода» называла не Алексея Кирилловича Симонина (в памяти которого, по его словам, этого эпизода не осталось), а Лазаря Израилевича Хволковского (1925 – 2005) – «Зорю, бывшего мужа Жени Ласкиной» (Мандельштам Н. Книга третья. Париж, 1986. С. 124). – Ред.

---

Опубликовано в альманахе Мандельштамовского общества «Сохрани мою речь...». Вып. 4. В 2 ч. М.: РГГУ, 2008.

Электронная версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/209757.html>

\* \* \*

*Дополнения и комментарий к воспоминаниям Сиротинской «Поход за рукописями»*

Сиротинская как всегда темнит и лукавит, скупно обнародуя то, что считает полезным для своей версии, и – довольно бездарно, кстати – манипулируя этими крохами информации с тем, чтобы сбить читателя с толку. История охоты ЦГАЛИ и Сиротинской за рукописями Мандельштама подробно описана филологом Павлом Нерлером, и кончается эта история очередным изъятием архива, только на сей раз не Надеждой Мандельштам у Харджиева, а ГБ и ЦГАЛИ – бумага Надежды Мандельштам у ее душеприказчика Юрия Фрейдина и помещением их в «спецхран» под охрану Волковой и Сиротинской. Таким образом, частично Сиротинская своей цели достигла. К счастью, только частично, поскольку предусмотрительная Надежда Яковлевна еще в семидесятых успела передать рукописи мужа в открытый для исследователей архив Принстонского университета по ту сторону океана. Обе истории с изъятиями пахнут довольно скверно, что не мешает, однако, дополнить более раннюю – как она изложена у Сиротинской – некоторыми подробностями и снабдить комментарием.

Появлению Сиротинской с Н. Мандельштам у Харджиева предшествовало появление обеих в издательстве «Искусство», где работал тогда Александр Морозов и где он ухитрился издать в виде тонюсенькой книжки эссе Осипа Мандельштама «Разговор о Данте» – по тем временам настоящий подвиг. Иначе говоря, «поход за рукописями» имеет предысторию, переходящую в саму историю, рассказанную Сиротинской и окончившуюся ее бесславным изгнанием с «кухни» владелицы вожделенных рукописей. Так что обижается она зря – обе дамы плели каждая собственную интригу, и победила сильнейшая, хотя за ней не стояло ни могущественного ЦГАЛИ, ни тайной полиции. Проиграл слабейший – Шаламов. Мужчинам вообще не следует вступать в отношения женщин, они заведомо в проигрыше. В конечном счете Шаламов тоже покинул «кухню». Но не так, как рассказывает Сиротинская, а совершенно иначе. Не было никаких «вскоре» и «некоторое время спустя». Отношения Шаламова с Мандельштам развивались, конечно, не полностью автономно от ее отношений с Сиротинской, но в своем русле и своем ритме. Расставляю временные вехи. Ноябрь 1966-го – знакомство Сиротинской с Н. Мандельштам. Апрель-май 1967-го – посещение обеими издательства «Искусство», где готовится к выходу книга Харджиева о Маяковском, и «поход за рукописями» с изъятием их у Николая Ивановича. Работа Мандельштам над книгой об Ахматовой, которая пишется на глазах заинтересованного и сочувствующего Шаламова. Октябрь-ноябрь 1967-го – отказ Сиротинской от дома Надежды Мандельштам. Поздняя весна 1968-го – издание Шаламовым



и Пинским в виде машинописного сборника цикла «Воскрешение лиственницы», название и смысловой стержень которому дает одноименный рассказ, где ветка лиственницы, «дерева концлагерей», оживает в доме «вдовы поэта». Август-сентябрь того же года – начало работы Н. Мандельштам над «Второй книгой», которую «Варлаам», так высоко ценивший ее первую книгу воспоминаний, «советует немедленно перестать писать». И наконец, к началу 1969-го, с накоплением всего отрицательного – включая изгнание Сиротинской год с лишним назад – в отношениях Шаламова с Мандельштам, происходит то, к чему Сиротинская перепрыгивает в статье парой строк, утаив от читателя все, что можно утаить, и обесмыслив все, что можно обесмыслить – разрыв автора «Воскрешения лиственницы» с хозяйкой дома, в котором эта лиственница преждевременно воскресает. Вот яркий пример того, что представляют собой мемуары Сиротинской «Мой друг Варлаам Шаламов», куда комментируемый текст в слегка измененном виде входит главкой «Надежда Яковлевна Мандельштам».

Ниже об истории «похода за рукописями» повествует детально осведомленная в происходящем Эмма Герштейн, литературовед, текстолог и многолетняя подруга Надежды и Осипа Мандельштамов. Надежду Яковлевну она называет то общепринятым «Н. Я.», то саркастическим «Наденька». Фигурирует в интервью и Сиротинская, которая, оказывается, знакома с Александром Морозовым задолго до (возможных) встреч с ним в доме престарелых у тюремной койки беспомощного Шаламова, о чем она, естественно, тоже умалчивает. Замечу, что интервью Герштейн было опубликовано в 1999 году, когда все трое – и она, и Сиротинская, и Морозов – были живы-здоровы и спокойно могли выяснить между собой, не является ли публично озвученное Герштейн мнение Морозова о Сиротинской грязной инсинуацией, но последняя предпочла ничего не выяснять и никаких опровержений не добиваться. Почему – понятно, ибо здесь только начини...

(В качестве примечания. Л.С. Финкельштейн, упомянутая Сиротинской – жена знакомого Мандельштамов по воронежской ссылке литературоведа и поэта Сергея Рудакова. В 1944 Рудаков погиб на фронте, и часть находившихся у него рукописей к тому времени тоже погибшего Мандельштама не то пропала, не то, как подозревала Н. Мандельштам, осталась у его вдовы, которая не спешила их возвращать).

Итак, **Эмма Герштейн** (в квадратных скобках – прим. составителя):

«Харджиев посвятил текстологии Мандельштама пятнадцать лет, а она упрекала Н.И. [Харджиева], что он медлит. [...] что это за текстология, какое-то буквоедство. И ей уже надо освободиться от Харджиева. [...]

Она объявляет, что он специально все задерживает, она требует скорей, а он, видите ли, такая архивная крыса, корпит над этим – а надо сдавать в печать! [...]

А Мандельштам все не выходит – он пятнадцать лет не выходил.

И тогда Наденька решила забрать у Николая Ивановича Мандельштамовский архив. Она [...] стала требовать у Н.И. назад архив Мандельштама [...]

Н.Я. пришла в издательство «Искусство», когда книга [Харджиева] о Маяковском еще не вышла, вместе с Сиротинской, заместительницей главного директора ЦГАЛИ, про которую Морозов говорил, что она главная гепеушница, хотя Волкова [Наталья Волкова, директор ЦГАЛИ] была главная и не скрывала это [...]. Н.Я. пришла с жалобой на Харджиева, что он украл архив Мандельштама. Морозов сам мне рассказывал: «Вы не знаете, с каким человеком она пришла». А потом Надя пошла у Харджиева вырвать архив Мандельштама. Сиротинская стояла внизу и ждала. Харджиев ей сказал: «Надя, я ведь вам говорил, что я верну архив по первому требованию». И выдал ей весь архив».

Из интервью Герштейн журналу «Зеркало», январь 1999  
<http://zerkalo-litart.com/?p=2809>

---

### *Сиротинская и Лидия Перова*

«Шаламова [после поездки Сиротинской в Вологду в 1968 году – прим. составителя] взволновали воспоминания о детстве, иначе как объяснить, что он рассказал Ирине Сиротинской о Лидии Васильевне именно как о своем юношеском увлечении. Известно это из рассказа самой Лидии Перовой – она в беседе с Владимиром Воропановым упомянула один случай. Однажды в квартиру на Беговой резко позвонили. Лидия Васильевна открыла дверь и увидела незнакомую женщи-

ну. Та с ходу, даже не сказав, кто она такая и по какому поводу пришла, спросила: «Вас зовут Перова Лидия Васильевна?» – «Да, это я, – подтвердила хозяйка, – а в чем...» Договорить гостя не дала, она то ли снова спросила, то ли констатировала факт: «Так вы и есть та самая Лида Перова, первая любовь Варлама Шаламова?» Опешившая Лидия Васильевна снова не успела ничего ответить, странная гостя сразу же после сказанного повернулась и ушла. Имя ее стало известно позже – это была Ирина Сиротинская. Что привело будущую наследницу творческого архива писателя на Беговую, до сих пор неизвестно, сама Ирина Павловна предпочитает об этом визите молчать».

Из статьи Нины Дьяконицыной о Лидии Перовой, жене художника Василия Сигорского, «И Лида сморщит брови, кивая на букет», опубликовано в альманахе «Вологодский лад», 2007, № 8. Электронная версия на сайте «Данте XX века» [http://www.booksite.ru/varlam/vologda\\_01.htm](http://www.booksite.ru/varlam/vologda_01.htm)

---

### *Завещательное распоряжение Шаламова, 4 апреля 1969 г.*

«Заявление. На случай моей внезапной смерти. Я не успел переделывать, переписать мое завещание. Все мое наследство, в том числе и авторское право, я завещаю Сиротинской Ирине Павловне. Москва, 4 апреля 1969 г. Шаламов Варлам Тихонович»

Приводится в монографии Ирины Некрасовой «Судьба и творчество Варлама Шаламова», местонахождение документа: РГАЛИ, ф. №2596, оп. №3, ед. хр. 368, лист 70

---

### *Судьба завещания Шаламова от 1969 года*

Текст документа:

## «ДУБЛИКАТ

Город Москва четырнадцатого июня тысяча девятьсот шестьдесят девятого года.

Я, Варлам Тихонович Шаламов, проживающ. в городе Москве, Хорошевское шоссе дом 10 кв. 3 настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

1. Все мое имущество, какое окажется к дню моей смерти мне принадлежащим в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, в том числе авторское право, я завещаю Сиротинской Ираиде Павловне.

2. Содержание статьи 535 Гражданского кодекса РСФСР мне нотариусом разъяснено.

3. Экземпляр завещания хранится в делах Первой Московской государственной нотариальной конторы по адресу: улица Кирова, дом №8 и экземпляр выдается завещателю Шаламову Варламу Тихоновичу

/подпись/

г. Москва

За 14 июня 1969 года завещание удостоверено мной, Володиной М.П., государственным нотариусом Первой Московской государственной нотариальной конторы.

Завещание подписано гр. Шаламовым Варламом Тихоновичем в моем присутствии.

Личность завещателя установлена, дееспособность его проверена.

Зарегистрировано в реестре за №1д-2799.

Государственный нотариус /подпись/

Взыскано государственной пошлины – один рубль

Гербовая печать: 1 МГНК МЮ РСФСР»

[Текст в штампе ниже]:

«3 октября 1990 года мной, Едоновой С.И., государственным нотариусом Первой Московской государственной нотариальной конторы, настоящий дубликат завещания взамен утраченного, выдан Сиротинской Ираиде Павловне. Завещание удостоверено государственным нотариусом названной государственной нотариальной конторы 14 июня

1969 года и зарегистрировано в реестре №1д-2799. Экземпляр завещания хранится в делах нотариальной конторы.

Личность гр. Сиротинской И.П. установлена.

Зарегистрировано в реестре №19д-17534.

Взыскано государственной пошлины – три рубля.

Государственный нотариус /Едонова/

/печатать/

---

Сканы документа на сайте «Варлам Шаламов»  
<http://shalamov.ru/gallery/18/14.html>  
<http://shalamov.ru/gallery/18/15.html>

---

От составителя

Сергей Григорьянц свидетельствует <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/91968.html>:

«Наталья Борисовна Волкова [бывший директор ЦГАЛИ-РГАЛИ – прим. составителя], с которой я тоже на днях виделся, тоже рассказала мне очень странную вещь – якобы Сиротинская только после смерти Шаламова уже в архиве, разбирая его бумаги, случайно обнаружила конверт с завещанием и передачей ей всех прав на рукописи. Для Волковой, как для директора ЦГАЛИ, это очень существенный пункт, поскольку именно он определял характер хранения и распоряжение архивом Шаламова. Поэтому я не думаю, что Наталья Борисовна могла в этом рассказе как-то ошибиться или что-то спутать».

Итак, согласно рассказу Волковой, завещание было найдено Сиротинской в бумагах Шаламова уже после его смерти, т.е. после 1981 года, и вскоре исчезло, отчего и понадобился дубликат 1990 года. Куда оно делось? Едва ли Сиротинская его потеряла, более того, потерять его она не могла, поскольку завещание, являющееся частью фонда Шаламова в государственном хранилище, должно было быть зарегистрировано среди материалов архива. Если рассказ Волковой достоверен, то завещание было или уничтожено Сиротинской или изъято у нее либо Волковой, либо КГБ, либо КГБ через Волкову. «Обнаружив» завещание – о котором ей, несомненно, было давно известно – среди

бумаг Шаламова, Сиротинская как дисциплинированный работник полусекретного советского учреждения доложила о находке начальству и вверила документ определенной ему начальством судьбе, иначе говоря, отдала на уничтожение. И только в октябре 1990 года, когда начальство озаботилось другими делами и завещание Шаламова никого уже не интересовало, пошла за дубликатом, который официально утверждал бы ее статус наследницы со всеми сопутствующими выгодами. Избавившись ради карьеры от подлинника завещания Шаламова в пользу уничтожившей его тайной полиции, в моральном смысле Сиротинская отказалась и от завещанных ей Шаламовым рукописей. Юридическая сторона этой истории очередного предательства подтверждает права Сиротинской, моральная же их отвергает. Логика всего сказанного проистекает из факта отсутствия подлинника завещания Шаламова и рассказа Волковой Григорьянцу.

---

### *Забота Ирины Сиротинской о Шаламове, 1979-1982*

Как именно выражалась забота Сиротинской о Шаламове в бытность его пациентом дома престарелых?

Во-первых, совершенно убежден, что ходить к Шаламову она начала только с лета 1981 года, после получения им Премии Свободы, это единственная временная привязка, какую она дает в своих мемуарах. Шаламов к тому времени проживал в палате один, его соседа (1979-80) Сиротинская уже не застала.

Теперь. Частотность посещений Сиротинской Шаламова в богадельне.

«Последний раз я видела его перед Новым годом», – говорит она в интервью <http://www.tvkultura.ru/news.html?id=155112> телеканалу Культура, 2007 г. – и это, скорее всего, в выходные, 26-27 декабря. А узнала она о смерти Шаламова из звонка Юлия Шрейдера 19 января 1982 года. То есть бывала она у него не чаще, чем раз в месяц. Хорошо если за все время была десять раз.

Никто из посещавших Шаламова в доме престарелых ни разу ее не видел. Как и ее уже взрослых детей, кстати, того же Александра Ригосика, нынешнего хозяина архива и авторских прав Шаламова.

Поэтому пусть заткнется про «прогрессивное человечество», которое устроило вокруг «старости Шаламова» «шоу». «Шоу», без сомнения, было. «Шоу» в таких случаях возникает стихийно, но обстирывало, кормило, купало и лечило Шаламова от пневмонии, да просто было рядом, именно «прогрессивное человечество» в лице Александра Морозова, Татьяны Николаевой, Татьяны Леоновой, Ольги Гуревич, Татьяны Уманской, Елены Захаровой и Людмилы Анис, которую Сиротинская облыжно называет «кагэбэшницей», ни сказав о ней больше ни слова, то есть вообще, кто она такая и что в ней кагэбэшного. «В интернате он уже не мог спустить их с лестницы, как делал дома», – без тени стыда пишет она о людях, из чистого сострадания и адекватного представления о масштабе Шаламова как явления взваливших на себя бремя ухода за никому не нужным, совершенно беспомощным стариком, которому Сиротинская ни разу не постирала обоссанную пижаму.

Для полноты картины. За пять лет, с весны 1976 по лето 1981, «Бетриче» посетила своего Данте один-единственный раз – для того, чтобы перед отправкой в дом престарелых забрать у него для ЦГАЛИ («спецхран», полицейского тайника) остатки архива.\*

*\* Это не домыслы, а факт. В октябре 1977 Шаламов просит Сиротинскую прийти взять приготовленную ей в подарок книжку «Точка кипения» и пишет, что не виделись они больше трех лет. Сиротинская в примечании к публикации утверждает, что это неправда – прошел только год. Вполне допускаю, что Шаламов ошибся, и не виделись они, как и рассказывает Сиротинская, с весны 1976 года. В любом случае, за книжкой она не пришла, Шаламов отправил ее по почте. Это октябрь месяц. А с ноября Шаламова начинает опекать Людмила Зайвая, которая постоянно звонит Сиротинской, извещая о состоянии подопечного и тоже прося прийти, но слышит неизменное: «Нет». Появилась Сиротинская у Шаламова только в апреле-мае 1979, чтобы забрать архив, а потом уже летом 1981 в богадельню.*

---

***Корреспонденция Шаламова после помещения его в богадельню***

В книге «Варлам Шаламов и его современники» Валерий Есипов пишет:

«Еще в мае 1979 года он был помещен в дом престарелых и инвалидов на улице Лациса в Москве. Когда Лихачев об этом узнал – скорее всего, через круг знакомых литераторов – он направил свое письмо [от 20 сент.] именно на адрес последнего казенного пристанища Шаламова. Ирина Павловна Сиротинская, постоянно навещавшая писателя, сообщила автору этих строк, что, когда она увидела письмо академика на тумбочке в палате, оно было раскрытым, то есть, была вероятность, что Шаламов мог его с чьей-то помощью прочесть, по крайней мере, ощутить доброжелательный посыл. О написании ответа, учитывая состояние писателя, речи уже не могло быть».

Я не верю «постоянно навещавшей писателя» Ирине Сиротинской. Письмо мог увидеть действительно навещавший Шаламова Иван Исачев и передать его ей, объяснив, что оно уже было вскрыто и что Шаламову, ведущему «растительную» жизнь, оно уже ни к чему. Если Сиротинская сама увидела это письмо на тумбочке, то почему не спросила Шаламова, прочли ли ему его, и если не прочли, то почему не зачитала сама? Она постоянно подчеркивает, что могла общаться с Шаламовым, что вербальная коммуникация у них сохранялась, однако Есипов говорит только о вероятности того, что Шаламов мог знать содержание письма Лихачева. Сиротинская же могла и должна была знать это точно, от самого Шаламова. Никакого раскрытого письма на тумбочке она не видела, она не бывала в богадельне ни в семьдесят девятом, ни в восьмидесятом годах.

К слову, письма, адресованные Шаламову, ее вообще не интересовали. Раньше я думал, что она забирала их на его старой квартире на Васильевской улице – думал как раз потому, что сентябрьское письмо Лихачева попало в РГАЛИ. Теперь выясняется, что оно было послано на дом престарелых. Тогда я перескажу одну историю, источник которой за давностью лет назвать не могу, но клятвенно заверяю, что читал это в газете собственными глазами.

Рассказчик – москвич, в то время в довольно молодом, студенческом возрасте. У них намечалось какое-то большое семейное торжество, и им дали адрес хорошей кулинарки, умеющей печь вкусные торты. Заказали торт, и студент за ним пришел. Хозяйка оказалась общительной, и они немного поговорили в прихожей. В конце разговора женщина, показав пачку писем, посетовала, что они приходят на имя



съехавшего соседа, и она не знает, куда их девать. Студент, понятно, тоже не знал. Удивило его и запомнилось ему, что письма были адресованы Варламу Шаламову. Пересказываю близко к тексту. Ни одного из этих писем в ЦГАЛИ, по-видимому, нет, значит, все они в конце концов были выброшены на свалку. Вот так Сиротинская заботилась о корреспонденции отправленного в богадельню Шаламова, да и о самом отправленном в богадельню Шаламове. Верю, что позже, с весны 1981-го, она там бывала, хотя, напомним, НИКТО из посещавших Шаламова и ухаживавших за ним НИ РАЗУ ЕЕ ТАМ НЕ ВИДЕЛ.

---

### *Виктория Швейцер. ЦГАЛИ времен Шаламова и Сиротинской*

Статья литературоведа и биографа Марины Цветаевой Виктории Швейцер, опубликована в парижском журнале «Синтаксис», № 4, 1979 год [http://imwerden.de/pdf/syntaxis\\_04\\_faximilno.pdf](http://imwerden.de/pdf/syntaxis_04_faximilno.pdf). Именно в этой «братской могиле» Сиротинская стремилась – с полным успехом – похоронить рукописи Шаламова, а также – к счастью, безуспешно – архив Осипа Манделъштама. Как минимум, этих двоих, хотя судя по упоминаниям Юрия Домбровского в ее мемуарах, возможно, и других неугодных власти писателей и поэтов.

ЦГАЛИ – именно тот архив, куда госбезопасность передала и где сгинул в «спецхране» конфискованный у Юрия Фрейдина архив Надежды Яковлевны Манделъштам. Ворье так и не вернуло архив законному распорядителю ее наследия.

Опускаю в статье то, что относится не к ЦГАЛИ, а к другим государственным хранилищам, ситуация в которых была ничуть не лучше, и цитаты из дневников Михаила Кузмина, в которых Швейцер искала информацию о Цветаевой. Интересно также, как нагло фальсифицировались в альманахе ЦГАЛИ под названием «Встречи с прошлым» публикуемые материалы.

---

### **Братская могила**

Начну с истории, на первый взгляд, совсем незначительной. Как-то давно, читая «Нездешний вечер» Цветаевой, посвященный замечательному поэту Михаилу Кузмину, я вспомнила о его дневниках. Кузмин вел дневник, ежедневно записывая туда все, что считал нужным, о своей интимной и внешней жизни. Один из близких к Кузмину в последние его годы людей говорил мне, что Михаил Алексеевич любил иногда читать им, молодым, записи из своего дневника...

Я захотела взять этот дневник в архиве, чтобы посмотреть: может быть, Кузмин, тогда уже мэтр, как-то отметил встречу с только появившейся на литературном горизонте Цветаевой, встречу, так душевнораздирающе описанную ею в «Нездешнем вечере».

Многотомные дневники Кузмина хранятся в Москве в ЦГАЛИ (Центральный Государственный Архив Литературы и Искусства, одно из главных советских хранилищ подобного рода). Они пронумерованы, слегка аннотированы и внесены в опись довольно обширного фонда Кузмина – всё честь-честью. Я выписала два тома: тот, где записи начала января 1916 г. – времени «Нездешнего вечера», и тот, в котором лето-осень 1921 г., когда Цветаева написала приводимое ею в очерке письмо Кузмину. Я уже строила планы, как сравню две записи об одном вечере, об одних людях таких несхожих поэтов – Цветаевой и Кузмина; как узнаю от самого Кузмина о впечатлении, произведенном на него стихами Цветаевой и ее чтением...

Получаю отказ: дневники Кузмина не выдаются, они на «спецхране». Для меня же «спецхран» недоступен: то, что находится на «специальном хранении», выдается по специальному разрешению, а чтобы получить таковое, нужно ходатайство со специальными подписями и печатями, которые мне, к тому времени уволенной с работы, взять негде. Редактор одного из московских журналов, мой благодетель, который раз в год дает мне «отношение» в ЦГАЛИ, каждый раз начинает разговор словами «только не в спецхран». И я с радостью соглашаюсь: конечно, не в спецхран. Надо сознаться, что я и сама боюсь этого «храна», как боюсь долгие годы всего официального: домоуправления, врача в районной поликлинике, школьную учительницу моей дочки, даже доброжелательных ко мне женщин из читального зала ЦГАЛИ – не говоря уж об участковом милиционере. Я не делаю ничего предосудительного, но мне почему-то кажется, что я живу «зайцем», что в любую минуту кто-то – не знаю кто – вдруг спросит: а почему вы живете в этой квартире? Или: а почему вы берете бюллетень? Или: а почему вы читаете в нашем читальном зале? Откуда это чувство, это постоянное ожидание неприятности или беды? Может быть, мне подсознательно кажется, что «они» по глазам могут понять,

как я все здешнее, «ихнее» не приемлю и ненавижу?.. Осознала я это только в ОБИРе, поймав себя на том, что стараюсь не смотреть в глаза «инспекторам».

Но почему «закрыты» дневники Кузмина? Я всегда думала, что он один из самых безобидных для советской власти поэтов: он не только никогда не выступал против и никогда ни в чем антисоветском не был замешан, но даже умер естественной смертью, так что его и посмертно реабилитировать не пришлось. После доверительных разговоров с сотрудниками архива выяснилось, что дневники «закрыты» не за политику, а за «неприличие»: Кузмин был гомосексуалистом. Я знала об этом и, хотя не испытываю никакой симпатии к этой странной породе людей, никогда и подумать не могла, что этот порок (или несчастье) может стать на пути к архивным материалам.

«Но меня не сексуальная, а литературная сторона интересует», – убеждала я архивистов. «Нельзя, – был ответ. – Неприлично». Бедное наше начальство! И об этом ему надо заботиться: как бы, прочитав записки гомосексуалиста, мы не сгорели от стыда за него или, не дай Боже, не соблазнились...

И все же секс – не политика; здесь еще можно найти лазейку. Мне предложили указать примерное время, когда Кузмин мог упоминать Цветаеву, а «наши хранители сами поищут для вас в его дневниках». К сожалению, о «Нездешнем вечере» они ничего не нашли – не смею думать, что плохо искали, но и поручиться, что Кузмин ничего о нем не записал, не могу. И вдруг – радость: хранители нашли упоминание о Цветаевой. К моему столу в читальном зале подходит милая молоденькая сотрудница с толстенной книгой и, подавая ее мне, смущаясь, предупреждает: «Вам разрешили посмотреть только на странице 685, там упомянута Цветаева». И правда – упомянута. Под датой «8 июля 1921 г.» отмечено среди других письмо от Цветаевой.

Тогда, воровато оглядываясь, я все-таки начинаю листать и смотреть то, что у меня в руках. [...]

Вот все, что я успела незаконно выписать из «закрытых» дневников Кузмина. Могла ли я не переписать этого, могла ли дать этим запискам, на мгновение оказавшимся у меня в руках, опять скрыться в небытии архива? Все, что относится к Блоку и Кузмину, – это наша культура, наша история. Какая же здесь государственная тайна? Вопрос этот, конечно, чисто риторический, потому что государственной тайной в нашей стране пронизана вся жизнь, а то, что касается истории, – особенно. И государственные архивы призваны эту тайну – охранять. Вот мы и дошли до главного слова – охранять.

Нормальному человеку может показаться, что у архивов – три основных функции: собирать, хранить и делать общим достоянием то, что принадлежит нам всем: любящим, знающим, хотящим знать. Вот тут наивный человек и ошибается, потому что на советском языке это называется «принадлежит народу». В любом случае это значит – не нам, не вам и не мне. Потому что от имени «народа» с нами будет говорить директор ЦГАЛИ Н.Б. Волкова, или заведующая Рукописным Отделом Пушкинского Дома К.Д. Муратова, или заведующая Отделом Рукописей Публичной Библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрин – фамилии ее не помню, но о разговоре с ней расскажу. Они точно знают, что нужно «народу», а что нет. А вы, хотя бы вы были не просто любознательный читатель, а профессионал, пришедший за материалами для работы, даже и понять не сможете, кто вы-то сами: то ли вам отказывают от имени народа, к которому вы не принадлежите, а он не хочет поделиться с вами своими богатствами; то ли, наоборот, вы и есть народ, который еще не созрел, чтобы знать государственные тайны, и добрые тети вас от этих ненужных – и даже вредных! – знаний оберегают.

Волкова поговорит с вами вежливо, обтекаемо, с улыбкой – и не разрешит вам читать ничего, что «закрыто». Муратова говорит прямо (и даже пожилым докторам наук, профессорам): «Я вам ничего не дам, потому что все, что можно напечатать, мы сами опубликуем». В конечном счете «что можно» зависит, безусловно, не от нее, а диктуется откуда-то «сверху». Все-таки мне чем-то нравится ее прямота и детская уверенность, что она и есть тот «народ», которому принадлежат все хранящиеся в Пушкинском Доме материалы. Есть в этом нечто патриархальное, как будто там и спецхрана никакого нет, а просто: не дам и только... И не дает. [...]

Я ничего не имею против работников архива лично, однако к тому чувству страха, о котором я писала, в отношении их прибавляется какая-то брезгливость к их явно полицейским функциям и постоянное любопытство: а что они думают об этом «про себя», как, например, она рассказала бы о разговоре со мной дома? Неужели ей и впрямь кажется необходимым уберечь меня от этих дневников и эти дневники – от меня? Не знаю.

За последние 10-15 лет советские архивы развивают большую активность в приобретении материалов. Обхаживаются старички и старушки, которые когда бы то ни было имели отношение к литературе, театру, живописи или их деятелям. Учтены возможные владельцы и наследники каких бы то ни было архивов. Старые бумажки стоят теперь денег, за приобретение их архивы иногда платят. Повидимому,

гроши, потому что один ленинградский коллекционер, прося моего содействия в покупке рукописей, сказал: «Передайте, что я плачу мало, но все-таки втрое больше, чем Ленинская библиотека». Но дело, конечно, не в деньгах, а в смысле и целях этого накопительства. Естественная задача любого архива – собирать и хранить, не дать затеряться культурным или историческим ценностям. Архив собирает, научные сотрудники обрабатывают, датируют, систематизируют материалы (надо признаться, часто довольно плохо). А там уж начальство решает, что можно пустить в научный оборот – ведь в архивах занимаются прежде всего научные работники, – а что нельзя. Что это за «начальство», я не знаю, думаю, что существует специальная комиссия, решающая, какие из архивных материалов должны находиться на «специальном хранении». Это та же цензура, которая стыдливо именуется «главлит», и так же как цензоры, архивные «главлитчики» невидимы для постороннего глаза. Знаю, что еще не очень давно Главное Архивное Управление было в ведении Министерства Внутренних Дел, теперь же скромно пишется «при Совете Министров». Это однако, дела не меняет, и архивы продолжают осуществлять функции охранителей.

Умерла старая поэтесса и переводчица В.К. Звягинцева. Она жила одна, законных наследников не имела и завещания не оставила. По закону все ее имущество переходило в собственность государства. А дом ее был «полная чаша», потому что его миновали бури времени: в нем не было обысков и арестов и даже пожаров или переездов давным-давно не случалось. Хозяева были люди литературные и театральные, у них собралась прекрасная библиотека; Вера Клавдиевна показывала множество редких поэтических книг с дарственными надписями, рукописи А. Белого и Б. Пастернака, акварели М. Волошина, письма и записки Цветаевой. Не знаю, что делает государство с вещами, но бумаги и книги с автографами поступают в ЦГАЛИ, остальная библиотека – в букинистические магазины, где вскоре появились давние книжечки самой Звягинцевой «Московский ветер» и «На мосту». В день смерти (она умерла в больнице) собрались в квартире Звягинцевой близкие друзья, погрузили, поискали ее интимную переписку, чтобы по ее желанию уничтожить. Не нашли. Зато в хаосе письменного стола наткнулись на письма Цветаевой и волошинские акварели. Их забрали ближайшие друзья Звягинцевой, чтобы в суматохе разбора бумаг они случайно не затерялись. На другой же день они позвонили в ЦГАЛИ, чтобы предупредить об этом и сказать, что передадут всё представителю архива. Думаете, их благодарили? Как бы не так! Их немедленно предупредили, чтобы они никому не показывали писем Цветаевой и не

вздумали переписать их для себя. Порядочный человек обычно теряет при таком натиске. Они рассказали мне об этом разговоре, смущаясь от нежелания меня обидеть (они не знали, что у меня есть эти истинно страшные письма, потому что Звягинцева дала мне переписать свои цветаевские автографы) и невозможности нарушить данное ЦГАЛИ слово. В ответ я разразилась несдержанной речью на тему о том, что государство, подведшее Цветаеву под петлю, а Мандельштама толкнувшее в братскую лагерную могилу, не имеет никакого права на их литературное наследство и архивы. «Они вам так говорят и забирают эти бумаги вовсе не потому, что государству это нужно и интересно, а только для того, чтобы скрыть их ото всех! – кипела я. – Этих писем никто никогда больше не увидит. Архив – это еще одна «братская могила!» Я оказалась права. Эти письма Цветаевой, как почти весь ее архив, очутились в спецхране.

Мне могут возразить: как же «братская могила», когда советские архивы не только предоставляют свои фонды научным работникам, но и сами издают то «Ежегодник», то «Летопись», то «Встречи с прошлым». На это отвечу: советская власть в любой своей ипостаси фальсифицирует все, не смущаясь никакими подтасовками. Приведу два примера. [...]

ЦГАЛИ затеял выпуск сборников «Встречи с прошлым», составленных из материалов архива. Во 2-ом выпуске помещена публикация М.А. Рашковой «Марина Цветаева за рубежом (Письма М.И. Цветаевой к В.Ф. Булгакову)». Не буду касаться тенденциозности публикатора, это дело ее совести, а, может быть, недопонимания. Но письма Цветаевой мы имеем право читать так, как она их написала. Случилось, что подлинники этих писем мне случайно дали (потом отобрали, так как оказалось что они на спецхране), и я сверила рукописи с опубликованным текстом. Я обнаружила несколько мелких ошибок и неверно проставленных знаков препинания. Существеннее, что слова «Воскресе» и «Пасху» (стр. 218), написанные Цветаевой с больших букв, напечатаны с маленьких. Но вот в письме 1-м дважды опущены совершенно безобидные упоминания М.Л. Слонима. Перед словами «Страстно хочу на океан»: «Уже просила Слонима похлопотать о продлении мне «отпуска» (с сохранением содержания) до осени». И после фразы «Мне стыдно Вас просить, знаю, как Вы заняты, знаю и ужасающую скуку «чужих дел»»: «но Слонима я уже просила, а больше некого». Казалось бы, здесь нет ничего «криминального», тем более, что публикатор подчеркивает трудности зарубежной жизни Цветаевой. Дело просто: в отличие от вернувшегося Булгакова Слоним не «пропущен», поэтому Цветаева не должна была с ним дружить и обращаться

к нему за помощью. Имена других эмигрантских писателей не выброшены из текста писем только потому, что упоминаются в отрицательном контексте.

Но самое интересное впереди. Начало 2-го абзаца на стр. 217 читается так: «Страстно хочу на океан. Отсюда близко. Боюсь, потом никогда не увижу. М/ожет/ б/ыть/, в Россию придется вернуться или еще что-нибудь»...

Я уже привела фразу о Слониме, с которой начинался этот абзац у Цветаевой. Дальше в рукописи: «Страстно хочу на океан. Отсюда близко. Боюсь, потом никогда не увижу. М. б., в Россию придется вернуться\* (именно придется, – совсем не хочу!) – или еще что-нибудь...»

К слову «вернуться» – сноска, примечание Цветаевой: «\* В случае переворота, не иначе, конечно!»

Пустяки? Выброшено всего 11 слов из четырех писем? Но это самые значительные слова, характеризующие политическую позицию аполитичной, как принято считать, Цветаевой, ее отношение к советской власти и проблеме возможного возвращения на Родину. Эти слова здесь совсем не случайны: Цветаева обращается к человеку – Булгакову – хотевшему и надеявшемуся вернуться в Советский Союз, неоднократно об этом хлопотавшему. Но с тех пор как имя Цветаевой стало упоминаться и произведения ее появляться в советских изданиях, ее возвращение всячески обыгрывается и трактуется (не без участия дочери Цветаевой, ныне покойной А.С. Эфрон) как акт доброй воли и чуть ли не признание советской власти\*). Вот и тут, выбросив из цветаевского текста несколько слов, архивисты переворачивают с ног на голову принципиальную позицию поэта. Дескать, уже в 1926 г. (письмо датировано: Париж, 2 января 1926 г.) для Цветаевой мысль о возвращении была естественной, обычной («вернуться или еще что-нибудь») и никакой проблемы не было. Это вполне гармонирует с тем, что в заметке публикатора сказано об участии мужа Цветаевой С.Я. Эфрона в евразийстве и Союзе возвращения. Противоречит это только правде. Поэтому о возвращении в Советский Союз С.Я. Эфрона не упомянуто вовсе (тем более о его гибели в лагере), об остальных же членах этой поистине трагической семьи говорится глухо: «В конце 1930-х годов вернулась на Родину и семья Цветаевой: в 1937 году дочь Ариадна (чтобы в 1939 попасть в тюрьму и провести в лагерях и ссылках последующие 17 лет – об этом ни слова, это советская власть себе давно простила – В.Ш.), а в 1939 году сама Марина Ивановна с сыном Муром». (Она – чтобы, промыкавшись немногим более двух лет, повеситься в Елабуге, он – чтобы 18-ти лет быть призванным в армию и погибнуть, кажется, даже не доехав до фронта). Прочтет неосведом-

ленный читатель эту публикацию и умирится благостной картиной: сколько лет Цветаева думала о возвращении и наконец-то в 39-м году смогла вернуться!

Как видите, советский архив существует для того, чтобы обслуживать советское литературоведение или советскую историю. Эти науки извлекут из архивных фондов то, что им годится, где нужно – пригладят, где нужно – обкорнают, где нужно – подтасуют. И все приспособят для нужд советской власти. А будет выгодно – продадут и заграницу.

Я слышала, что некоторые доверчивые старые эмигранты, мучимые ностальгией, передают советским коммивояжерам типа Зильберштейна [литературовед, искусствовед, коллекционер, муж директора ЦГА-ЛИ Натальи Волковой – прим. составителя] свои архивы. Опомнитесь! Знайте, что вы бросаете бумаги дорогих вам людей в братскую могилу, где погребена уже не одна сотня жизней. И если когда-нибудь их оттуда извлекут, вы сами их не узнаете.

Уже закончив эти заметки, я листала для какой-то справки «Неизданные письма» Цветаевой и случайно наткнулась на фразу, напечатанную жирным шрифтом (стр. 254): «В Россию как в хранилище не верю». Речь шла о том, что мы называем архивными материалами.

---

\* Я сама грешила этим и считаю нужным здесь оправдаться. Начала я заниматься Цветаевой давно, когда не только «моды» на нее не было, но и известна она была в Советском Союзе мало. Влюбившись в ее творчество, я, как и А.С. Эфрон, поначалу считала, что главное – опубликовать Цветаеву, познакомить с ней читателей, а остальное – пустяки, цель оправдывает средства. Этому очень способствовала почти полная неосведомленность моего поколения в политических судьбах русской эмиграции, ее жизни и развитии русской литературы за рубежом. Судьба любого эмигранта, в том числе и Цветаевой, о которой я кое-что знала, представлялась весьма схематично. И только годы спустя реальная жизнь Цветаевой и ее литературная судьба стали мне по-настоящему понятны. Я поняла, что в литературоведении и истории литературы недопустима никакая фальсификация, даже малейшая. Любые недомолвки, самые вроде бы невинные натяжки и подтасовки искажают облик поэта, его время, историческую правду в целом. Тем более в глазах советского читателя, получающего информацию из одних рук – официальных. «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». Если постоянно сопровождать произведения Цветаевой сообщениями



о том, какая она была революционерка и только случайно не поняла Октябрьской революции, как она и эмиграция терпеть не могли друг друга, а Цветаева рвалась в Советский Союз – это не может не запасть в голову даже скептически настроенному читателю. С тех пор уже десять лет я ничего не печатала в Советском Союзе о Цветаевой.

[Примечание редакции] Швейцер, Виктория Александровна – родилась в 1932 году в Москве. Окончила филологический факультет МГУ. Много лет занималась творчеством Цветаевой и Мандельштама. Печаталась в журнале «Новый Мир». Работала в Союзе советских писателей, откуда была уволена за организацию среди писателей сбора подписей в защиту Синявского и Даниэля. В 1977 году эмигрировала и в настоящее время живет в Америке.

---

### **Так все-таки, был Шаламов в «спецхране» или нет? Да, был!**

Завершение моего небольшого расследования, связанного с доступом в советский период к архиву Шаламова в ЦГАЛИ, куда его по просьбе переезжающего в дом престарелых Шаламова отвезла Сиротинская весной 1979 года. По утверждениям Сергея Григорьянца, Натальи Волковой, Александры Свиридовой и других, архив находился в «спецхране», иначе говоря, был недоступен, Сиротинская же уверяла, что фонд Шаламова был открыт. Этапы расследования – в приложениях к моему очерку «Московский рассказ. Жизнеописание Варлама Шаламова, 1960-80-е годы».

Вот разоблачение очередной лжи Сиротинской – содержание страниц 150-152 нижеуказанного «Путеводителя» по фондам бывшего «спехрана» ЦГАЛИ (РГАЛИ).

Примечание, полагаю, следует понимать так. Материалы описи 2 были засекречены, потом, на рубеже 80-90-х, **рас**секречены, дополнены материалами в основном, вероятно, девяностых годов, которые сразу оформлялись как открытые, и вся опись была переработана в плане объединения этих двух блоков материалов тематически и хронологически.

---

«Путеводитель: Фонды бывшего спецхрана»  
Издательство Российская политическая энциклопедия, Москва,  
2010  
695 стр. ISBN 978-5-8243-1484-7

«В девятый выпуск путеводителя по фондам РГАЛИ включена наиболее полная информация о материалах, находившихся на обособленном хранении (так называемом спецхране) по состоянию на 1 ноября 1987 г., когда на волне демократических преобразований общества началось массовое рассекречивание ранее тщательно охранявшихся государством архивных материалов».

Отсюда [http://www.kniginina.ru/index.php?id=38738&item\\_type=10](http://www.kniginina.ru/index.php?id=38738&item_type=10)

---

## «ЧАСТЬ 1. ЧАСТИ ФОНДОВ, НАХОДИВШИЕСЯ НА СПЕЦХРАНЕНИИ

**Шаламов В. Т.**

Ф. 2596; оп. 2; 263 ед. хр.; 1901–2000 гг.\*

*Шаламов Варлам Тихонович* (1907–1982) – писатель. Репрессирован.

Рукописи В.Т. Шаламова. Сборники рассказов, очерков и воспоминаний: «Колымские рассказы» (1954–1973), «Вишера» – «Вишерский антироман» [1960-е – 1970-е], «Воспоминания» [1970-е]; «Четвертая Вологда» – автобиографическая повесть [1968–1971]; «Федор Раскольников» – повесть (1973); рассказы: «Возвращение», «Господин Бержере в больнице», «Три смерти доктора Аустино» [1930-е], «Встанная новелла», «Герман Хохлов», «Глухие», «По способу Джанелидзе» и др. [1950-е – 1970-е]; пьесы: «Комедия в четырех актах» – «Памятный листок» [1950-е], «Анна Ивановна» [1960-е], «Вечерние беседы» [1970-е]; стих-ния (1937–1981); эссе: «Все или ничего», «Заметки о стиховой гармонии», «Как сделана "Метель" Пастернака», «Кое-что о моих стихах», «Национальные границы языка и свободный стих», «О новой прозе», «О новой русской прозе», «О прозе», «Писательское чтение», «Поэтическая интонация», «Проза двадцатых годов», «Рифма», «Стихи в лагере», «Стиховедческий разбор стихотворения А. Межирова "Защитник Москвы"» [1960-е – 1970-е]; выступление на вечере памяти О.Э. Мандельштама (1966); воспоминания о С.И. Аллилуевой, П.Н. Васильеве, А.К. Воронском, Я.Д. Гродзенском, Н.Я. и О.Э. Мандельштам, Б.Л. Пастернаке, В.В. Португалове, М.А. Светлове, А.И. Солженицыне и др. [1959–1970-е]; записи автобиографического характера [1960-е – 1970-е], автобиографии 2 [1960-е] и др. Всего 550 рук.

[страницы 150-152]

**Шаламов В. Т.**

Ф. 2596; оп. 2; 263 ед. хр.; 1901–2000 гг.\*

*Шаламов Варлам Тихонович* (1907 – 1982) – писатель. Репрессирован.

Рукописи В.Т. Шаламова. Сборники рассказов, очерков и воспоминаний: «Колымские рассказы» (1954 – 1973), «Више-

ра» – «Вишерский антироман» [1960-е – 1970-е], «Воспоминания» [1970-е]; «Четвертая Вологда» – автобиографическая повесть [1968 – 1971]; «Федор Раскольников» – повесть (1973); рассказы: «Возвращение», «Господин Бержере в больнице», «Три смерти доктора Аустино»

[1930-е], «Вставная новелла», «Герман Хохлов», «Глухие», «По способу Джанелидзе» и др. [1950-е – 1970-е]; пьесы: «Комедия в четырех актах» – «Памятный листок» [1950-е], «Анна Ивановна» [1960-е], «Вечерние беседы» [1970-е]; стих-ния (1937-1981); эссе: «Все или ничего», «Заметки о стиховой гармонии», «Как сделана "Метель" Пастернака», «Кое-что о моих стихах», «Национальные границы языка и свободный стих», «О новой прозе», [«О новой русской прозе»], «О прозе», «Писательское чтение», «Поэтическая интонация», «Проза двадцатых годов», «Рифма», «Стихи в лагере», «Стиховедческий разбор стихотворения А Межирова "Защитник Москвы"» [1960-е – 1970-е]; выступление на вечере памяти О.Э. Мандельштама (1966); воспоминания о С.И. Аллилуевой, П.Н. Васильеве, А.К. Воронском, Я.Д. Гродзенском, Н.Я. и О.Э. Мандельштам, Б.Л. Пастернаке, В.В. Португалове, М.А. Светлове, А.И. Солженицыне и др. [1959 – 1970-е]; записи автобиографического характера [1960-е – 1970-е], автобиографии 2 [1960-е] и др. Всего 550 рук.

Письма В.Т. Шаламова: Ф.А. Вигдоровой 3 (1964 – 1965), Г.А. Воронской – ксерокоп. 16 (1959-1977), Я.Д. Гродзенскому 49 (1962 – 1971), Г.Г. Демидову 5 (1965 – 1967), Л.З. Копелеву (1965), Б.Л. Пастернаку – ксерокоп. 20 (1952 – 1956), А.И. Солженицыну 21 (1962-1966), Ю.А. Шрейдеру 60 (1966 – 1978).

Письма В.Т. Шаламову: М.Н. Авербаха (1968), Е.С. Гинзбург 2 (1967), Я.Д. Гродзенского 8 (1963 – 1965), Г.Г. Демидова 7 (1965 – 1967), А.З. Добровольского 29 (1955-1960), Л.З. Копелева (1965), Ф.Е. Лоскутова 15 (1955 – 1965), Н.А. Решетовской 2 (1963, 1964), А.И. Солженицына 14 (1963 – 1966), Ю.А. Шрейдера (1975) и др. Всего 17 корр..

Следственные дела по обвинению В.Т. Шаламова в антисоветской агитации и контрреволюционной троцкистской деятельности – ксерокоп. (1929 – 1943); реабилитационные документы – подлинник, ксерокоп. (1956, 2000); библиография произведений В.Т. Шаламова, опубликованных в СССР, России и за рубежом в 1932 – 2000 гг. (1973 – 2000).

Воспоминания, диссертации, статьи о В.Т. Шаламове: В.Г. Агеевой, Г.В. Адамовича, Е.В. Волковой, В.В. Есипова, М.Н. Золотоносова, И.С. Исаева, Л. Клайн, Е. Михайлик, И.В. Некрасовой, Л.С. Панова, И.П. Сиротинской, Ф.Ф. Сучкова, М. Такаги, У. Харта, Ю.А. Шрейдера и др. – авт., маш., печ. выр., ксерокоп. (1967 – 2000); рецензии на его произведения: А.К. Дремона, Г. Лаптева, Э. Мороза, В.П. Солнцева (1963 – 1967); письма с упом. о В.Т. Шаламове: Г.И. и М.И. Гудзь –

Б.Л. Пастернаку – ксерокоп. 5 (1952-1956); М.Н. Аввакумовой (1987), Г. Айги (1988), Ф. Апановича 2 [1994, 1998], В.И. Аринина 6 (1988 – 1994), В. П. Астафьева (1987), С. А. Баруздина 2 (1987,1988), М. Берутти 3 (1992 – 1998), В.В. Есипова 2 ([1990], 1997), Н.М. Ивановой-Романовой 6 (1988 – 1992), Л. Клайн 4 (1994 – 1997), Л. Кресченци (1999), К. Пигетти 6 (1991 – 1994), А. Раффетто (1998), А.И. Солженицына 2 (1989, 1990), М. Такаги 10 (1990 – 1999), Т. Ягтенберг – И.П. Сиротинской 2 (1989); И.П. Сиротинской – Ю.А. Шрейдеру (1979).

Материалы вечеров памяти В.Т. Шаламова и Международных шаламовских чтений (1987 – 2000).

Материалы свящ. Т.Н. Шаламова – отца (1894 1904).

Портрет В.Т. Шаламова работы Б.Г. Биргера – фоторепродукция (1967).

Фото В.Т. Шаламова, индивидуальные и в группах с Г.И. и М.И. Гудзь, А.Е. Крученых, О.С. Неклюдовой и др., 14 (1908 – 1956).

Фото: Н.Н. Асеева в группе с Б.Л. Пастернаком и А.А. Фадеевым [1930-е], Н.Я. Мандельштам 5 [1920-е – 1960-е], О.Э. Мандельштама (1933), Арс.А. Тарковского (1987), Т.Н. Шаламова в группе с архиеп. Тихоном (Белавиным), свящ. Н. Кашеваровым и др. – фотокоп. (1901), Н.А. Шаламовой матери – ксерокоп. [1904].

Фото участников вечеров памяти В.Т. Шаламова и Международных шаламовских чтений: Д. Глэда, О.М. Дмитриева, Л.П. Злобина, М. Никольсона, К. Пигетти, М. Такаги и др. 38 (1987 – 1997).

\* Опись 2 фонда № 2596 В. Т. Шаламова после рассекречивания была дополнена новыми материалами и переработана».

В дополнение к теме см. статью «Сиротинская о судьбе архива Шаламова» в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/106020.html>

---

*Что охраняем, то и имеем*

## **ЛЕВЫЙ БЕРЕГ**

*И. П. Сиротинской*

*Ире – мое бесконечное воспоминание,  
заторможенное в книжке «Левый берег»*

Почему обычная  
дарственная надпись –  
кстати, на чем она сде-

лана? – преподносится в качестве постоянного эпиграфа к циклу «Левый берег» (в сущности, подается как его составная часть) во всех современных изданиях «Колымских рассказов»? На титульном листе аутентичного самиздатского сборника «Левый берег», хранящегося в архиве Леонида Пинского и составляющего третий том собрания сочинений Шаламова 1965/66-68 гг., никакого специального посвящения Сиротинской нет. Почему в таком случае не публиковать в качестве эпиграфов ВСЕ дарственные надписи, сделанные Шаламовым на своих самиздатских книгах или подцензурных поэтических сборниках? Почему успешный имиджмейкер Сиротинская явочным порядком присвоила себе эту странную привилегию и никого это не удивляет, наоборот, всерьез истолковывается, например, шаламоведом Полиной Панченко как «рамочный компонент» цикла: «Весь сборник посвящен Ирине Сиротинской»? Сборник «Левый берег» НЕ ПОСВЯЩЕН Ирине Сиротинской, ей ПРЕЗЕНТОВАН экземпляр машинописного сборника С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ в знак уважения, любви и т.д. Точно так же Шаламов надписывал свои книги десяткам, если не сотням людей. Однако Сиротинская волей судьбы оказалась единственной хозяйкой шаламовского архива (унаследовав его от ГБ, курировавшей «спецхран» РГАЛИ), чем бессовестно и воспользовалась.

«Он говорил, что, может быть, не писал бы дальше цикл «Колымских рассказов», если бы не было такого слушателя. Даже посвятил мне цикл «Воскрешение лиственницы». (Из ее интервью Джону Глэду, 1992)

О цикле «Левый берег» она здесь скромно и совершенно справедливо умалчивает, а цикл «Воскрешение лиственницы» действительно посвящен Сиротинской.



## Шаламовская послелагерная Москва: события, среда, быт

### *Дом Шаламова на Хорошевской, 10, Москва*



«Дом на углу Беговой улицы и Хорошёвского шоссе

В этом доме, насколько я понимаю, когда-то проживал некоторое время Варлам Тихонович Шаламов.

Источник: интернет

Фотограф: неизвестен

Мы считаем, что снимок сделан между 1950-1960 годами (направление съемки – запад)»

С сайта «Фотографии старой Москвы»  
<http://oldmos.ru/photo/view/92206>

В этом доме, построенном пленными немцами, Шаламов проживал в коммунальной квартире с 1957 по 1972 гг., сначала на первом этаже с женой Ольгой Неклюдовой и пасынком Сергеем Неклюдовым, потом, с 1968 по 1972 – в коммунальной квартире на втором этаже, в итоге пятнадцать лет, дольше, чем где бы то ни было. Дом снесен.

---

*Борис Слуцкий. Из рецензии на поэтический сборник «Огниво», 1961*

«Книжица выпала из конверта, где ей было очень просторно.

Я прочитал ее, перечитал, взвесил на ладони – он легко там поместилась. Ста граммов в книжице не было. Умножение на двухтысячный тираж и вычитание всяких обязательных, испорченных и затерявшихся экземпляров дало десять пудов бумаги – один тючок средней величины.

Вот и весь расход материала на полный тираж «Огнива» – первой и единственной покуда книги стихов Варлама Тихоновича Шаламова, итожащей более чем тридцатилетние труды талантливого поэта.

В продаже я – неутомимый путешественник по книжным магазинам – эту книгу не видывал. Отзывов о ней – она вышла в свет полгода назад – не читывал. Как тут не подумать: а не затерялся ли тючок в арктической необозримости наших книготорговских складов?

Жаль было бы. Хорошая книга «Огниво».

А даже если все 2 000 экземпляров дошли до читателя? В какой пропорции состоят эти две тысячи с миллионами потребителей поэзии? [...]

Я заканчиваю эту статью рекламным зазывом: требуйте в книжных магазинах книгу Шаламова «Огниво». Это хорошая книга.

Требуйте! А когда в магазинах и библиотеках вам ответят отказом – требуйте у издательства доиздания этой и многих других недоизданных книг».

Опубликовано в «Литературной газете», 5.10.1961, электронная версия на сайте [shalamov.ru](http://shalamov.ru) <http://shalamov.ru/critique/106/>

---

***Владимир Колобов. Поэзии: Анатолий Жигулин, Шаламов и Солженицын. Середина шестидесятых***

«В 1964 году, когда в Воронеже вышел сборник поэзии «Память», Шаламов отозвался о книге отрицательно. Он «...сказал, что, по его мнению, «Кострожоги», «Бурундук» и другие мои лагерные стихи плохо передают природу Сибири и Колымы, и что он признаёт в поэзии только символы. Варлам Тихонович предлагал обратиться к его стихам. Он говорил, что в них плачет каждая травинка, каждый камешек. Но, на мой взгляд, вся суть была в том, что в тех напечатанных тогда стихах Шаламова были травинки и камешки Колымы, но не было людей», – вспоминал Жигулин.

За разрешением творческого спора поэт обратился к Александру Солженицыну. Тот ответил: «Я не смею никогда судить о теории поэзии (тем более что, по-моему, поэты и сами ещё ни разу не договорились о том, что такое поэзия), но мне кажется, Шаламов, говоря Вам о стихе-символе, за которым главное должно стоять неназванным, только предчувствуемым, – распространяет на всю поэзию метод только одного её направления, хоть и очень ценного, очень нежного, очень плодотворного. У нас это направление началось с Блока (не ручаюсь за точность), включает Ахматову, Пастернака (перечислять тоже не берусь) и, очевидно, самого Шаламова. Со всех сторон мне толкуют, что вот это и есть «единственная и настоящая поэзия – когда слова даже не имеют прямого смысла, когда переходы неуловимы, алогичны, но вдруг на что-то тебе намекают, что-то навевают. Я согласен – поэзия эта великая, тонкая, изящная, настоящая, я их всех очень люблю. И всё-таки никогда не соглашаюсь, что другой поэзии быть не может. По-моему, большинство стихов Пушкина и Лермонтова совершенно не отвечают этим критериям – но ниже ли они? Едва ли. Не уступлю их. (И, что меня очень удивило, Ахматова довольно высоко ставит Некрасова – а уж, кажется, противоположнее поэзии и найти нельзя). Поэтому я хочу всё-таки Вам посоветовать не верить Варламу Тихоновичу, что «Кострожоги», «Бурундук», «Хлеб» – не поэзия. Самая настоящая и самая нужная! И если пишется так – пишите!!»



Своё письмо, отправленное 20 апреля 1965 года, Солженицын заканчивал словами: «А прозу Шаламова постарайтесь прочесть».

Через несколько лет спор «колымских» поэтов благополучно решился. Однажды Шаламов, по словам критика Геннадия Красухина, пришёл в редакцию «Литературной газеты», прижимая к груди только что вышедший сборник Жигулина «Полынный ветер» [1975 – прим. составителя], и спросил: можно ли ему написать на эту книгу рецензию. Согласие было получено. И Шаламов написал восторженную рецензию, которая начиналась так: «202 раза повторяется слово «Холод» в 144 стихотворениях, составляющих книгу «Полынный ветер». Это – не оплошность, не безвкусица, не бедность, а тончайшее мастерство и богатство поэтического словаря Анатолия Жигулина».

Из статьи Владимира Колобова об Анатолии Жигулине «Честная журналистика способна изменить мир». Альманах «Новое в массовой коммуникации», сетевая версия на сайте Воронежского университета [http://www.jour.vsu.ru/edition/journals/accents/2011/accents2011\\_1-2.pdf](http://www.jour.vsu.ru/edition/journals/accents/2011/accents2011_1-2.pdf)

---

### ***Впечатления от Шаламова на вечере памяти Мандельштама, мехмат МГУ, 1965***

«Варлам Шаламов (бледный, с горящими глазами, напоминает протоппа Аввакума, движения некоординированы, руки все время ходят отдельно от человека, говорит прекрасно, свободно, на последнем пределе – вот-вот сорвется и упадет):

Я прочитаю рассказ «Шерри-бренди», написал его двенадцать лет тому назад на Колыме. Очень торопился поставить какие-то меты, зарубки. Потом вернулся в Москву и увидел, что почти в каждом доме есть стихи Мандельштама. Его не забыли, я мог бы и не торопиться. Но менять рассказ не стал. [...] (Читает рассказ «Шерри-бренди».)

Из записи о вечере памяти Осипа Мандельштама на мехмате МГУ 13 мая 1965 года. «Отпечатано по рукописному конспекту Генриетты Савельевны Адлер (1903-1996 гг.)», с сайта Одесский клуб [http://odessitclub.org/publications/almanac/alm\\_44/alm\\_44\\_255-261.pdf](http://odessitclub.org/publications/almanac/alm_44/alm_44_255-261.pdf)

«Об этом вечере – первом в СССР вечере памяти О. Мандельштама, на котором председательствовал И. Эренбург, есть несколько воспоминаний. Но впервые мы публикуем почти стенографический отчет о нем, который записала Генриетта Савельевна Адлер, жена писателя Сергея Бондарина, одессита по рождению и юности. Рукописный текст расшифровал краевед, хранитель одесской истории и культуры, друг С.А. Бондарина и Г.С. Адлер Сергей Викторович Калмыков».

Евгений Голубовский

Опубликовано в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская: Одесский альманах (сб.) кн. 44», Всемирный клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский, О.И. Губарь, И.Л. Липтуга. – Одесса: Издательская организация «ПЛАСКЕ», АО, 2011

(В книге Валерия Есипова «Варлам Шаламов» автором записи назван Александр Гладков).

А вот впечатление едва ли не противоположное:

«Затем какой-то человек, очень нервный и неровный, который сидел вместе с О.Э. на Колыме. Он говорил, затем прочел свою повесть – жуткую, о том, как умирал О.Э. И так было у всех на душе колмутно, а тут эта натуралистическая повесть...»\*

\* Из письма З. А. Мильман, работавшей в 1932-1949 гг. секретарем Эренбурга, литературоведу Е. И. Ландау от 18 мая 1965 г.

Приводится в статье Бориса Фрезинского «Диалог 1966 года. Илья Эренбург – Варлам Шаламов: «Нам надо реабилитировать совесть» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/46103.html>

Впечатление Александра Гладкова (из дневника 1965 года):

«Варлам Шаламов, который читает свой колымский рассказ «Смерть поэта» и иступленно, весь раскачиваясь и дергаясь, но отлично говорит».

Рассказы Валентина Гефтера и Раисы Орловой о том же вечере см. в разделе Воспоминания в данном сборнике.

## *Еще одна нить, связывающая Шаламова с Мандельштамом*

От составителя

Наталья Штемпель была ближайшим другом и помощницей четы Мандельштамов в воронежской ссылке. Ей посвящено несколько стихотворений, в том числе гениальные «К пустой земле невольно припадая» и «Есть женщины, сырой земле родные». Дружба Штемпель и Надежды Мандельштам продолжалась все последующие годы. Мандельштам всегда отзывалась о ней очень тепло и считала ее свидетельства полностью заслуживающими доверия. Штемпель оставила воспоминания о пребывании Мандельштамов в Воронеже и некоторое время по просьбе вдовы поэта хранила его архив.

Оказывается, Наталья Штемпель и Шаламов были знакомы. Она спрашивает о нем в письмах Надежде Яковлевне, опубликованных в журнала «Наше наследие» [http://altsoft.spb.ru/rgali\\_share/mails.pdf](http://altsoft.spb.ru/rgali_share/mails.pdf). (Примечания составляют часть публикации).

В письме от 25 января 1966 г.

«Целую Вас крепко, будьте здоровы.

Сердечный привет Ш.2

2. Вероятно, имеется в виду Шаламов Варлам Тихонович (1907 – 1982), писатель, поэт, один из первооткрывателей лагерной темы в литературе; в 1960-е гг. дружил с Н.Я.Мандельштам, у нее же познакомился с Н.Е.Штемпель, когда та гостила в Москве».

В письме от 20 февраля 1966 г.

«Хотелось еще прислать Ш.1 Цветаеву<sup>2</sup> и была уверена, что пришло, но пока библиотека собралась взять из бибколлектора книги, Цвет. из связки пропала. Мне это очень жаль. Ш. чудный.

1. В.Т.Шаламов.

2. Имеется в виду сборник М.И.Цветаевой «Избранные произведения» (М. – Л., 1965)».

И, наконец, в письме от 11 декабря 1969 г.

«Бывает ли Шаламов?»

Но Шаламов у Надежды Мандельштам уже не бывает.

---

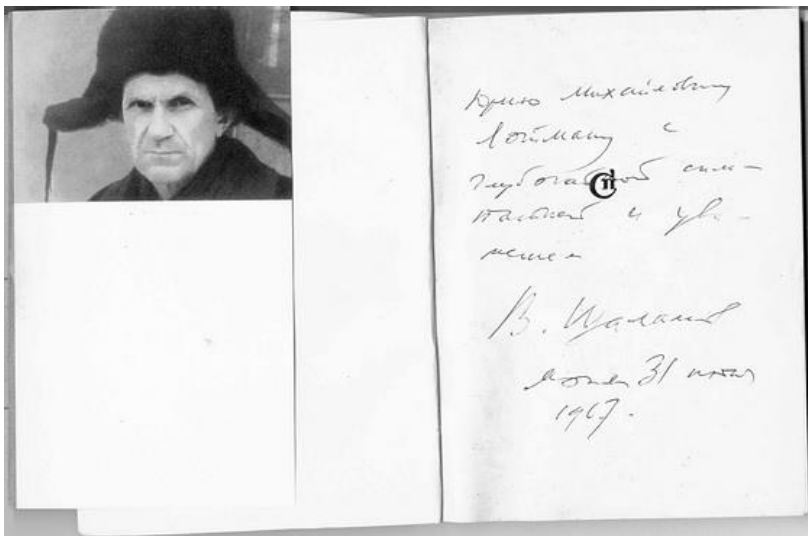
**Шаламов – Юрию Лотману, 1967**

Юрию Лотману адресовано недатированное письмо Шаламова середины семидесятых годов, в котором он предлагает свои «записи по вопросу о поэтической интонации» для тартусского сборника, очевидно, исследований по семиотике. Ответное письмо Лотмана не сохранилось или не опубликовано, но знакомы Шаламов и Лотман давно – подтверждением тому дарственная надпись Шаламова на своем поэтическом сборнике «Дорога и судьба»:

«Юрию Михайловичу Лотману с глубочайшей симпатией и уважением

В. Шаламов

Москва 31 июля 1967»

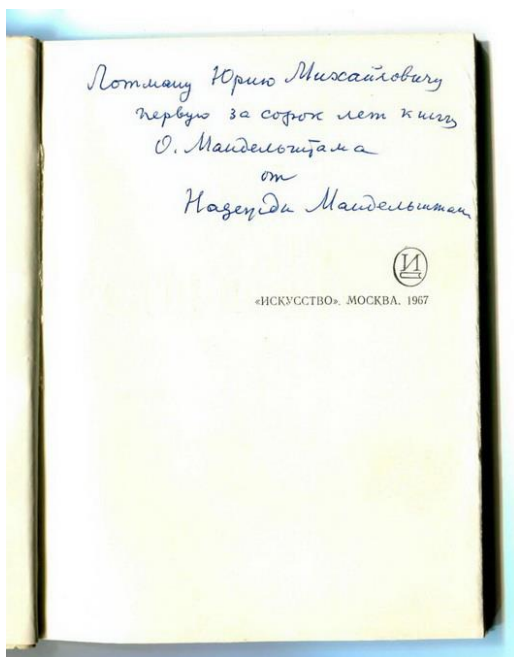


Скан любезно сделан сотрудником Таллиннского университета библиографом Михаилом Труниным с экземпляра книги, хранящейся

в личной библиотеке Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц в «Эстонском фонде семиотического наследия», фонд 5

### *Шаламов – Юрию Лотману от Надежды Мандельштам, 1967*

Насколько я знаю, этот экземпляр книги Осипа Мандельштама «Разговор о Данте», изданной усилиями Александра Морозова, передан Шаламовым по просьбе Н. Мандельштам Юрию Лотману в июле-августе 1967 года (в письме Надежде Мандельштам от 7.8.1967: «Я передал вчера Лотману книжку, которую вы мне дали [в примечании: «Разговор о Данте»]... Демидову и Лесняку переслал почтой»). Тогда же Шаламов подарил Лотману сборник своих стихов с автографом.

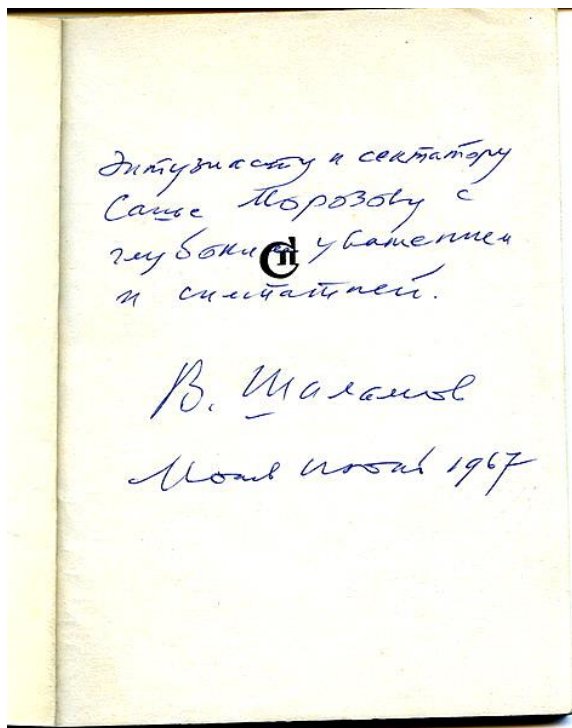


Скан любезно сделан сотрудником Таллиннского университета библиографом Михаилом Труниным с экземпляра книги, хранящейся в личной библиотеке Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц в «Эстонском фонде семиотического наследия», фонд 5.

*Смотреть фотографию разворота книги*

[http://dl.dropbox.com/u/9178411/mandelstam%20razgovor%20o%20Dante\\_razvorot.jpg](http://dl.dropbox.com/u/9178411/mandelstam%20razgovor%20o%20Dante_razvorot.jpg)

**Шаламов – Александру Морозову, 1967**



«Энтузиасту и сектанту\* Саше Морозову с глубоким уважением и симпатией.

В. Шаламов  
Москва июнь 1967»

\* Сектант, ревностный последователь

Дарственная надпись Шаламова Александру Морозову на книге «Дорога и судьба», взято со страницы Википедии, посвященной Морозову.

---

### *Сказка о Шаламове-нелюдипе*

Бытует сказка о нелюдипе Шаламове, шарахающемся людей и как следствие плохо ориентированном в мире, на вполне определенное место в котором он притязал. Эта сказка очень далека от действительности. Напротив того, Шаламов был человеком вполне общительным (несмотря на его решительные самоаттестации как завязанного одиночки), вхожим в самые разные круги и постоянно готовым к завязыванию новых контактов. Легенда о его патологической замкнутости зиждется на молве, которая стремится к упрощению любого образа до клише, и периоде жизни семидесятых годов, когда Шаламов и впрямь порывает почти со всей прежней средой и превращается в угрюмого бирюка. Однако, и этот разрыв не был мгновенным и тотальным, но растянулся на годы – с рубежа 1968/69 гг., когда Шаламов порывает с Надеждой Мандельштам и ее окружением, к тому времени, кстати, тоже претерпевающим перемены и замещения, и до весны 1972-го, когда после «Письма в ЛГ» инициаторами разрыва отношений (вплоть до таких демонстративных акций как уничтожение книжек и фотографий с дарственными надписями) становятся уже последние из его знакомых. Весь этот процесс имеет внутреннюю логику, обусловленную поражением Шаламова в борьбе за издание «Колымских рассказов» в СССР и на Западе, но возможен он стал лишь постольку, поскольку исходные позиции, а именно ситуация шестидесятых годов, позволяли ему развиваться в полную силу.

Опираясь на различные источники, я очертил круг друзей, приятелей и знакомых Шаламова шестидесятых годов. С некоторыми из этих людей его связывала настоящая дружба, с другими – более или менее тесные отношения, с третьими – приятельство, с четвертыми – ни к чему не обязывающее шапочное знакомство. Список этот очень далек от полноты, но достаточно представительен.

Я не включил сюда людей, с которыми Шаламов общался, так сказать, по велению долга – сотрудников редакций журналов, издательства «Советский писатель» и «Литературной газеты», хотя отношения с некоторыми из них, вроде поэта Олега Чухонцева, редактора Евгении Ласкиной или критика Геннадия Красухина, ничто не мешает назвать товарищескими. Общение Шаламова с работниками редакций, а их десятки, по необходимости было многосторонним и частым.

Моя задача – наглядно показать интенсивность и разнообразие контактов Шаламова в среде столичной интеллигенции шестидесятых годов и его осведомленность о происходящем в самых разных сферах культурной жизни.

-----

В полном смысле друзьями Шаламова можно назвать инженера и лагерника рязанца Якова Гродзенского (с начала шестидесятых до кончины последнего в 1971 году), диссидентку и переводчицу, лагерницу Наталью Столярову (впрочем, скорее, со стороны Шаламова, нежели обоюдно), мыслителя и выдающегося прозаика вдову Осипа Мандельштама Надежду Яковлевну, литературоведа, философа, диссидента, лагерника Леонида Пинского (все трое – середина-конец шестидесятых), архивистку Ирину Сиротинскую (1966 – первая половина семидесятых), наезжавших в Москву колымских товарищей Шаламова магаданца инженера Бориса Лесняка и, полагаю, павлодарца врача Андрея Пантюхова (оба – начало-середина шестидесятых).

Ниже приблизительный и в случайной последовательности список товарищей и знакомых Шаламова этого десятилетия (разумеется, удельный вес того или иного знакомства разный).

Олег Волков, писатель, лагерник, общественный деятель  
Федот Сучков, скульптор, литературовед, литератор, лагерник  
Елена Мамучашвили, врач, знакомая Шаламова по Колыме  
Александр Галич, поэт, бард, диссидент  
Александр Храбровицкий, литературовед, библиограф  
Елена Ильзен-Грин, машинистка Леонида Пинского, лагерница, диссидентка  
Вера Клюева, литературовед, поэт, переводчик  
Иосиф Амосин, библеист, исследователь свитков Кумрана, лагерник



Марина Баранович, переводчица, антропософ  
Галина Гагаева, психолог  
Юрий Лотман, литературовед, семиотик  
Вячеслав Всеволодович Иванов, семиотик, лингвист  
Лидия Бродская (Сегаль), переводчица, художник  
Новелла Матвеева, поэтесса  
Евгений Федоров, писатель, лагерник, специалист в области информатики

Габриэль Суперфин, филолог, диссидент  
Арсений Тарковский, поэт, переводчик  
Супруги художник Василий Сигорский и Лидия Перова, земляки Шаламова

Сергей Григорьянц, диссидент, общественный деятель  
Александр Гинзбург, диссидент  
Кларенс Браун, славист, литературовед, переводчик (США)  
Супруги драматург, мемуарист, лагерник Александр Гладков и актриса Эмма Попова

Владимир Вейсберг, художник  
Леонид Варпаховский, театральный режиссер, лагерник  
Мария Юдина, пианистка, педагог  
Вера Ливчак (Долгопосок), медик, в будущем лечащий врач академика Сахарова, диссидентка

Евгения Лысенко, переводчик, жена Леонида Пинского  
Эдварда Кучерова, преподаватель английского языка, лагерница  
Леонид Волков-Ланнит, историк фотографии, лагерник  
Супруги Евгений Пастернак, военный, сын Бориса Пастернака, и филолог Елена Вальтер

Виктор Хинкис, переводчик  
Александр Морозов, литературовед, текстолог  
Юрий Фрейдин, врач-психиатр  
Лидия Чуковская, писательница, общественный деятель  
Супруги литературовед Виктория Швейцер и диссидент, лагерник Михаил Николаев

Иосиф Бродский, поэт  
Георгий Демидов, колымский товарищ Шаламова, инженер, писатель, житель Ухты

Игорь Голомшток, историк искусства  
Сидней Монас, славист, литературовед, переводчик (США)  
Супруги литератор Вадим (сын писателя Леонида Андреева) и Ольга Андреевы (Франция)  
Ольга Андреева-Карлайль, художник, дочь Андреевых (США)

Фрида Вигдорова, журналист, литератор  
Алексей Симонов, журналист, сын писателя Константина Симонова  
Геннадий Айги, поэт  
Борис Биргер, художник, диссидент  
Супруги писатель, диссидент, лагерник Александр Солженицын и преподаватель химии Наталья Решетовская, рязанцы  
Супруги Виктор Живов, филолог, и Мария Поливанова, музыкант  
Юлия Живова, редактор, переводчица  
Петр Перли, врач-невропатолог  
Колымские товарищи Шаламова супруги инженер Иван Исаев и Галина Воронская, дочь революционера и литератора Александра Воронского  
Эйтан Финкельштейн, физик, активист сионистского движения в СССР, диссидент  
Юрий Домбровский, писатель и поэт, лагерник  
Супруги журналист и переводчик Кирилл Хенкин и журналистка Ирина Каневская  
Супруги историк культуры, дипломат Иван Рожанский и геолог, диссидентка Наталья Кинд  
Рита Райт-Ковалева, переводчик  
Леонид Тимофеев, советский теоретик-литературовед, литературный бонза  
Борис Слуцкий, поэт  
Наталья Штемпель, преподаватель, подруга Надежды Мандельштам, жительница Воронежа  
Анатолий Жигулин, поэт, лагерник  
Вениамин Кундуш, знакомый Шаламова по Колыме, лагерник, администратор, ленинградец  
Тамара Хмельницкая, литературовед, переводчик, ленинградка  
Джеймс Биллингтон, славист, искусствовед (США)  
Супруги семиотик, специалист по информационным системам, философ Юлий Шрейдер и математик Татьяна Вентцель  
Михаил Поливанов, физик, историк литературы  
Анатолий Якобсон, учитель, диссидент  
Василиса Шкловская, художник, жена литературоведа и писателя Виктора Шкловского  
Супруги-лагерники юриконсультант Моисей Авербах и Елена Кавельмахер, машинистка Шаламова  
Елена Лопатина, географ, внучка народовольца Германа Лопатина  
Евгения Гинзбург, мемуарист, лагерница  
Виктор Боков, поэт, лагерник

Вадим Борисов, филолог, диссидент  
Илья Эренбург, писатель, публицист, общественный деятель  
Рой Медведев, историк, диссидент  
Супруги литератор Евгений Хазин, брат Надежды Мандельштам, и художница Елена Фрадкина  
Ника Глен, переводчица  
Давид Самойлов, поэт  
Александр Андреев, швейцарец, переводчик, сын Вадима и внук писателя Леонида Андреевых  
Лев Аренс, биолог, лагерник, друг Ахматовой  
Мария Розанова, жена Андрея Синявского  
Зельма Руофф, литературовед, лагерница  
Лилиана Лунгина, переводчица  
Супруги литературовед, писатель, лагерник Аркадий Белинков и литератор Наталья Яблокова  
Эмма Герштейн, литературовед  
Евгения Студенецкая, этнограф-кавказовед, землячка Шаламова, впоследствии ленинградка  
Александр Межиров, поэт  
Израиль Гельфанд, математик, биолог  
Супруги поэт Валентин и Любовь Португаловы, колымские товарищи Шаламова  
Александр Богословский, литературовед, диссидент  
Сергей Снегов, писатель-фантаст, лагерник, житель Калининграда  
Супруги драматург, переводчик Николай Оттен (Поташинский) и переводчица Елена Голышева  
Елеазар Мелетинский, филолог, историк культуры, лагерник  
Супруги переводчик, литературовед, лагерник Лев Копелев и литературовед Раиса Орлова  
Лев Левицкий, литературовед, литературный критик

---

***Процесс Синявского и Даниэля. «Письмо старому другу» Шаламова и комментарий к нему Валерия Есипова***

Прочел комментарий Валерия Есипова к опубликованному в седьмом томе собрания сочинений Шаламова «Письму старому другу» <http://shalamov.ru/library/21/63.html> , февраль 1966 года.

Есипов считает себя ученым и шаламоведом. В принципе, мне все равно, кем он себя считает и чем занимается, но поскольку вместе с шаламовским Письмом неосведомленный читатель будет читать и его комментарий, приходится писать собственный.

Во-первых, прежде всего следовало бы напечатать в качестве комментария рассказ об истории шаламовского Письма самого Александра Гинзбурга, печатная версия которого (газета «Русская мысль», 1986) практически недоступна, а электронная доступна только в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» и в моем своде свидетельств о Шаламове современников. Мягко говоря, некорректно занимать печатный объем критикой недоступного читателю текста, объем которого вдвое меньше словоизлияний о нем комментатора, полагающего, что словечко «якобы» – нечто большее, чем ничтожный пропагандистский прием.

Теперь по существу дела.

«Спонтанность» – читай самостоятельность – данного публицистического выступления Шаламова «*малоправдоподобна*», заявляет Есипов – на него нажали Леонид Пинский и Надежда Мандельштам. Напомню, что Синявский и Даниэль были арестованы в начале сентября 1965 года. В начале декабря состоялась демонстрация в их защиту на Пушкинской площади, которую наблюдал и Шаламов и которая, по словам Вячеслава Вс. Иванова, его «обнадежила». 13 января начинается «охота на ведьм» в советской прессе, а через месяц проходит суд, живо обсуждающийся в кругах диссидентов, в частности, в доме Леонида Пинского, где Шаламов – свой человек. О каком нажиме может идти речь? Или, по мнению Есипова, пяти месяцев для Шаламова недостаточно, чтобы выработать самостоятельное отношение и высказаться без подсказок со стороны? Письмо, «несомненно», редактировалось, считает Есипов, поскольку в зале суда Шаламов не присутствовал и подробностей знать не мог. Чепуха! Записи процесса вели жены обвиняемых, Игорь Голомшток и Борис Вахтин, и все происходящее немедленно становилось достоянием участников полуподпольных кружков, вроде сборища в доме Пинского. Именно там и собирал конкретный материал для своего самиздатского сборника по делу Синявского и Даниэля Александр Гинзбург, именно там это все и зачитывалось, как зачитывалось вслух шаламовское «Письмо старому другу».

Далее. Есипов полагает, что обусловленная анонимность Письма была вскоре раскрыта госбезопасностью, и это повлекло резкое оттал-

кивание Шаламова от диссидентских кругов. Об отталкивании чуть позже. Сначала о подтасовках, к которым прибегает Есипов для вдабливания тезиса, что между Шаламовым и, условно говоря, диссидентами (тогда этого слова не было или оно едва народилось) вообще мало общего. Он ссылается на запись в дневнике Шаламова об «аде шпионства», последовавшего за раскрытием авторства Письма. Так и пишет: *«после этого события»*. Для Есипова подтасовка – дело настолько обычное, что совершается воистину «спонтанно». Запись об «аде шпионства» сделана Шаламовым в 1972 году и звучит так: «после ада шпионства в нижней квартире...». Между событиями зимы-весны 1966 года и избавлением от «ада шпионства в нижней квартире» пролегают два года, о чем Есипов, понятно, умалчивает. Что же случилось за эти два года, что могло повлечь «ад шпионства в нижней квартире», который кончается с переездом на этаж выше, где госбезопасность, надо полагать, бессильна? Происходит развод Шаламова с Ольгой Неклюдовой и бурно протекающий роман с Ириной Сиротинской. И все это в соседних с бывшей женой комнатах коммунальной квартиры при том что комната Неклюдовой – проходная. Ситуация, понятная даже ребенку и не имеющая никакого отношения ни к диссидентам, ни к госбезопасности, которая, конечно, не дремлет ни этажом ниже, ни этажом выше, ни к за уши притянутому сюда «Письму старому другу». Не переводя дыхания – хотя следовало бы, просто для того, чтобы уяснить, в какой ты жопе – Есипов продолжает: *«начавшиеся с той поры его [Шаламова] отзывы о "прогрессивном человечестве" – советском диссидентстве, где, по его словам, "стукачей больше, чем дураков"»* (далее следует ссылка на мемуар Сиротинской *«в данном томе»*). Тоже вопрос – какое отношение сочинение Сиротинской имеет к сочинениям Варлама Шаламова, составляющим седьмой том его собрания сочинений? Может быть, на самом деле автор писанины, похозяйски занимающей первые десятки страниц книги – Шаламов?). Но вернемся к нашим баранам. *«Отзывы о "прогрессивном человечестве" – советском диссидентстве»*, к сведению биографа Шаламова Есипова и читателей его лживого комментария, начинаются не *«с той поры»*, а с 1971 года, на пять лет позже «той поры», когда «Письмо старому другу» зачитывалось в тесном диссидентском кругу в доме Леонида Пинского, незаменимого сотрудника Шаламова по оформлению корпуса «Колымских рассказов». Именно семьдесят первым годом датируется первое употребление этого словосочетания, «прогрессивное человечество», – и дальше по нарастающей. До семидесятых никакого «прогрессивного человечества» у Шаламова не было, он сам был «прогрессивным человечеством»! В 1965-66 годах самые близкие ему

люди – Наталья Столярова, Надежда Мандельштам, Леонид Пинский – это и есть тогдашние диссиденты, независимо, назывались они диссидентами или как-то иначе. Вместе с другими бывшими лагерниками он напугает жену Синявского Марию Розанову перед ее отбытием в лагерь к мужу. До конца 1968 года Шаламов и есть классический диссидент независимо от того, было это слово в ходу или еще нет. Запись Шаламова, на которую в следующем предложении своего комментария ссылается Есипов: «Знакомство с Н.Я. и Пинским было только шантажом, рабством почти классического образца», – сделана не в шестидесятых годах, а в 1972-ом, уже на обратной стороне Луны, после «Письма в ЛГ», когда Шаламов действительно порвал с диссидентами или, лучше сказать, не пошел с ними за Солженицыным и русской эмиграцией туда, где книге «Колымских рассказов» места не оказалось. Между Шаламовым и диссидентами встали не есиповские мыльные пузыри, а невозможность русского издания «Колымских рассказов» на Западе, блокада с западного направления, вольным и невольным участником которой было просолженицынское советское диссидентство.

Для лучшего понимания событий, в фокусе которых находится комментируемое Письмо, повторю то, о чем я уже писал.

Летом-осенью 1965 года Шаламов готовит для издания на Западе сборник, известный нам как цикл «Колымские рассказы». Успеет ли он передать его «за бугор» с помощью Столяровой, Кинд или кого-то другого, мне неизвестно. Если успеет – судьба этого списка тоже неизвестна.

Осенью за несанкционированные властями публикации на Западе арестовывают Синявского и Даниэля.

Все, в том числе Шаламов, напряженно ждут, как будут развиваться события.

В феврале 1966-го Синявский и Даниэль предстают перед советским судом и получают соответственно семь и пять лет. Шаламов пишет для самиздатской аудитории «Письмо старому другу», где отказывает советскому суду в легитимности и утверждает безусловное право писателя печататься там, где его печатают.

В июне Шаламов передает в Америку уже не один, а три подготовленных за это время при участии Пинского сборника «Колымских рассказов» для издания книгами. Это – а не «Письмо старому другу» – его истинный ответ на процесс Синявского и Даниэля! Одновременно это и ответ на вопрос, диссидент ли Шаламов и в какой степени. В абсо-

лютной! «Море человеческой крови было пролито на советской земле».

Вот в какой цепи событий и обстоятельств следует рассматривать текст, опубликованный в собрании сочинений Шаламова через 47 лет после написания и почти через четверть века после его публикации в «перестроечном» Советском Союзе. СССР сдох, но возродился в советском шаламоведении, пережившем крушение режима в «спецхране» ЦГАЛИ, где оно по доверенности госбезопасности охраняло от читателей рукописи Шаламова. Судьба Шаламова и его трудов, как видно, мифологически безысходна.

*О термине Шаламова «прогрессивное человечество» см. в комментариях к статье в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/289142.html>*

---

### *Александра Раскина. Шаламов и Фрида Вигдорова*

От составителя.

Александра Раскина, преподаватель русского языка и литературы университета Тулейн в Новом Орлеане, мемуарист, переводчик, дочь журналистки и правозащитницы Фриды Вигдоровой, обрисовывает в письме к Елене Чуковской отношения матери и Шаламова в контексте середины шестидесятых годов. Помещаю ее рассказ с разрешения адресатов, с небольшими сокращениями, где речь идет об общеизвестном. Премного благодарен Александре Александровне Раскиной, Елене Цезаревне Чуковской и Михаилу Юрьевичу Михееву, благодаря которым этот небольшой очерк становится достоянием публики. Электронная версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/226486.html>

Хочу обратить внимание читателей на цитируемое Раскиной письмо Елены Чуковской с комментарием к дневникам матери (см. в разделе «Мемуары»). За пределами цитаты осталась важная подробность:

«Насчет сборника шаламовского помню хорошо. Его распространяла намеренно Вигдорова. Она заказала перепечатку, я ходила за руко-

писью к машинистке, которая жила у Чистых прудов. Машинистка была из бывших заключенных, и Фрида хотела дать ей заработок и вместе с тем книжка тогда была подпольная. По-моему, машинистку, пожилую женщину, звали Тамарой, отчества не помню.

К сожалению, сама рукопись у нас не уцелела. Она тогда ходила по рукам и домой не вернулась».

Речь, таким образом, идет не просто о разрозненных списках рассказов, объединенных колымской тематикой, а о самиздатском сборнике колымской прозы Шаламова первой половины шестидесятых годов, другими словами, о книге, о чем-то цельном. Весьма возможно, что эта книга как-то соотносится с «мемориальной» самиздатской книгой КР, отпечатанной с авторского оригинала рубежа 1964-65 гг. («Колымские рассказы» плюс «Сборник второй»).

Факт активного и бескорыстного распространения Фридой Вигдоровой машинописной книги КР, что подтверждает и Евгений Пастернак, служит необходимым дополнением к ее переписке с Шаламовым и к письму последнего Надежде Мандельштам по случаю смерти Вигдоровой. Как видно, все, сказанное Шаламовым в этих письмах, сказано от чистого сердца и имеет вполне реальные основания.

Ниже текст Александры Раскиной с моими пояснениями в квадратных скобках и примечаниями курсивом.

---

«Если речь идет о периоде с 60-го по 65-ый год, так тут сомнений быть никаких не может! Мама умерла в 65-ом году. И что получается, что она этих рассказов не читала? У нас в доме при маме была эта машинопись – я ее прекрасно помню. И вся наша семья, и все друзья в это время [Раскина в это время кончала филфак], конечно же, рассказы эти читали и обсуждали.

Детали, которые я помню. Шаламов был еще женат (они с женой разошлись в 66-ом году), и мама с недоумением рассказывала, что его жена, вместо того, чтоб гордиться мужем, говорит всюду: «И что это все так носятся с его рассказами? Вот я написала 4 РАССКАЗА В ДУХЕ КАФКИ...» [Шаламов, кстати, тоже написал рассказ «в духе Кафки», «Жук», в котором подлинно шаламовская только последняя строчка]. Я знаю, что Лидия Корнеевна с недоверием относилась к прямой речи в текстах мемуаристов, не ведших дневников, но я эти «4 рассказа в духе Кафки» вот как сейчас помню и мамин голос слышу.



Помню, что мама широко давала читать Шаламова. Такая деталь. С Шаламовым был дружен Юлий Шрейдер (муж Тани Вентцель). Он был крупный ученый и общественный деятель, с Шаламовым общался лично и переписывался – короче говоря, шаламоведы о нем обязаны знать. Так вот, в конце 80-ых Шрейдер вместе с театроведом (помоему) Ниной Крейтнер [театральный критик, музыковед] вели вечер памяти Шаламова. Интересно, может, этот вечер записывался на магнитофон? (Видео тогда еще не было в ходу.) Я на этом вечере не была, но Шрейдер рассказывал мне, что выступал Женя Пастернак и сказал, что рукопись «Колымских рассказов» он впервые получил от мамы. Я еще, помню, удивилась: Шаламов, как известно, общался с Борисом Леонидовичем, вроде бы естественнее было Жене получить рукопись от своего отца, чем от моей мамы. Ведь Шаламов писал свои «Колымские рассказы» еще при жизни Пастернака. Но потом подумала, что, может, Шаламов Пастернаку только стихи показывал, а прозу – нет? Мне кажется, надо у Алены спросить, когда она прочла рассказы Шаламова – и это тоже поможет нам установить какую-то датировку маминой культуртрегерской деятельности по отношению к рассказам Шаламова, раз Жене именно она давала их читать.

Теперь. Вы пишете: «помню, что Колымские рассказы распространила Фрида, которая заказала их перепечатку некоей гражданке, жившей у Чистых прудов. Я помню, т.к. ходила туда за рукописью, а машинистка эта была тоже из сидевших и, кажется, звали ее Тамарой (отчество забыла).»

Насчет машинистки Тамары у Чистых прудов – не помню. А главное, нам не нужно знать, кто именно маме перепечатывал разные рукописи – ведь сам факт, что кто-то перепечатывал и мама кому только чего только не давала рукописного читать, не подлежит сомнению. Об этом и Раиса Давыдовна пишет в очерке о маме (глава «Фрида Вигдорова»). Орлова Р. Д. Воспоминания о непрощедшем времени. М.: СП «Слово», 1993). С осени 64-го года до весны 65-го г. (с перерывом на мамины две больницы и операцию 14 января) мои родители жили вместе с Раисой Давыдовной и Львом Зиновьевичем [Копелевым] в Переделкине на даче у Ивановых [Семья писателя Всеволода Иванова]. Р. Д. пишет: «Мы многое вместе прочитали за эту зиму – «рукописное» хозяйство стало общим – роман А. Солженицына «В круге первом», рассказы и очерки В. Шаламова, «Святой колодец» В. Катаева (верстку, задержанную в то время цензурой), статью Цветаевой «Две Гончаровы» (стр. 287). Это к тому, кто и когда читал Шаламова. А вот –

насчет того, когда, кому и что мама давала читать (в сущности, «распространяла Самиздат»): «Летом 1959 года Фрида с семьей поселилась в подмосковной деревне Жуковка, где мы были старожилами... Фрида тогда, в 59-м году, уже начала делиться с нами, делиться рукописями и друзьями. Фрида по натуре своей не могла прочесть что-то важное, значительное и не поделиться с другими. «Читайте скорее, за вами очередь». Она была истинной просветительницей: всё открытое для себя она должна была открыть и другим – близким и дальним» (стр. 290 – 291).

И последнее. Это всё мои свидетельства по поводу именно мамино-го культуртрегерства, в частности, в отношении Шаламова, и где и когда моя семья читала его рассказы. Но мне кажется, что масса должна быть свидетельств от людей из литературской (или рядом) среды, которые могут подтвердить, что уже в начале-то 60-ых они «Кольмские рассказы» читали. Получали их от самого Шаламова, от Н.Я. Мандельштам, которая с ним дружила, и чей круг общения был очень широким, от Евгении Самойловны Ласкиной (Шаламов упоминает ее в последнем письме к маме), по знакомству из журналов или издательств, куда Шаламов предлагал рассказы, от Солженицына, наконец, – и продолжали распространять дальше.

P.S. [Это уже издателям Шаламова – прим. составителя] В примечании № 3 к письму Шаламова к Ф. Вигдоровой от 25 апреля 1965 г. – неточности. Написано, что ее депутатские блокноты «частично опубликованы в кн. Ф.А. Вигдоровой «Кем вы ему приходитесь». М. 1969». Это неверно. Правильный текст примечания должен быть такой: «Депутатские блокноты» частично опубликованы в подборке «Помогать и помнить». Из записок, выступлений и писем Ф.А. Вигдоровой», «ЛГ», 1968, 24 января; опубликованы полностью только в 2005 г., см. Ф. Вигдорова. «Вы просите в частном порядке...» Из блокнотов. «Новый мир», № 11, 2005 г.» Хорошо бы поправить...

*1 Татьяна Венцель – сестра мужа А. Раскиной – Александра Венцеля. Татьяна и Александр – дети математика и писательницы Е.С. Венцель, печатавшейся под псевдонимом И.Грекова. Кроме того, Татьяна Венцель – жена математика и философа Юлия Шрейдера, доброго знакомого и многолетнего собеседника Шаламова, опекавшего его в старости. См. их переписку, воспоминания и статьи Шрейдера.*

---

### **Сергей Заграевский. Шаламов и семья Моисея Авербаха**

Моисей Авербах, знакомый Шаламова через их общего друга Якова Гродзенского (оба – бывшие заключенные-воркутинцы), много и успешно помогал Шаламову в решении бытовых проблем, а его жена, Елена Кавельмахер, тоже бывшая узница Воркуты, была многолетней машинисткой писателя. Разрыв Авербаха с Шаламовым произошел по инициативе первого после шаламовского «Письма в ЛГ» 1972 года, расцененного московской либеральной интеллигенцией как «отступничество».

---

Судя по публикации шаламовских воспоминаний «Осколки двадцатых годов» в парижском литературном журнале «А-Я», № 1, 1985 год, посвящены они Авербаху: «Первому критику этой рукописи М. Н. Авербаху». Сиротинская в своих публикациях это посвящение игнорирует. Возможно, впрочем, это не посвящение, а дарственная надпись, однако дарственную надпись себе – на сборнике «Левый берег» – она всегда публиковала как посвящение. За то, что это скорее посвящение – Авербаху – говорит отсутствие подписи Шаламова и даты, когда сделана надпись. Насколько я помню, дарственные надписи Шаламова подписаны и датированы.

---

«У меня много хороших личных новостей, а главная – очень большая, не сравнимая с другими, – я получил комнату, уже переехал и живу впервые за шестьдесят лет моей жизни – в самостоятельной, отдельной комнате. [...] На учете я был меньше полутора лет и обязан тут всем М.Н. Авербаху, его советам и действиям, настойчивости, терпеливому общению с таким психом, как я. [...] все хлопоты, от первого до последнего документа, он взял на себя. [...] О благодарности моей я не хочу и говорить. Все это вне всех возможных степеней. Превыше всех надежд и желаний. Я ничего бы без М.Н. не добился, конечно. Не

одолеет бы ни одного барьера. [...] Словом, моя благодарность безмерна».

Шаламов – Якову Гродзенскому в письме от 14 апреля 1968

---

Переписка Шаламова с Авербахом

<http://213.154.165.210/fulltext/new/boo/ksh/ala/mov/86.htm>

\* \* \*

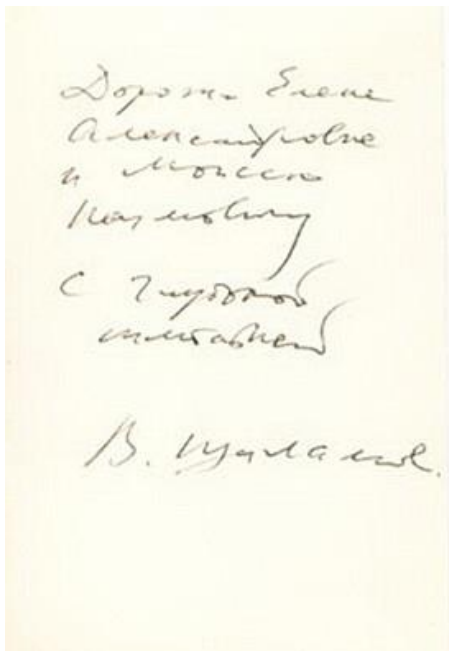


Сайт Сергея Заграевского, посвященный его деду Моисею Авербаху

<http://rusarch.ru/averbach/>

«Через дом Моисея Наумовича проходил огромный поток «антисоветской» литературы. Бабушка Елена Александровна печатала «самиздат» и отправляла дальше. Одна из бывших воркутинских лагерниц, немка Зельма Федоровна Руофф, получала через посольство ФРГ ворохи «тамиздата», то есть изданные за рубежом газеты, книги и журналы, и тоже отправляла дальше. Все это делалось не то чтобы совсем явно, но и не очень скрытно, КГБ об этом не мог не знать, но предпочитал их «не беспокоить».

Из воспоминаний Сергея Заграевского о семье деда на другом сайте [http://averbach.ru/averbach\\_pers\\_zagraevsky.Html](http://averbach.ru/averbach_pers_zagraevsky.Html)



«Пенсионерскую» жизнь в Москве ни дед, ни бабушка вести не стали. Закалившись в борьбе с НКВД, Моисей Наумович Авербах оказался неплохо подкован юридически и это использовал. После двадцати лет лагерей он никого и ничего не боялся и, числясь в какой-то «комиссии народного контроля», фактически подрабатывал адвокатом. [...]

А бабушка, профессиональная машинистка (при этом интеллигентнейший и образованнейший человек) печатала историку Рою Медведеву, профессору Иликону Лейкину (Зимину), Варламу Шаламову, Василию Гроссману и многим другим.

Завершая рассказ о родителях отца, скажу, что Моисей Наумович умер в 1982 году, а Елена Александровна – в 1992-м».

Из предисловия Сергея Заграевского к книге отца «Размышления о русских поэтах», с сайта, посвященного Вольфгангу Кавельмахеру <http://kawelmacher.ru/literature.htm>

Фотоархив Сергея Заграевского, посвященный его бабке Елене Александровне Кавельмахер (Колобашкиной), машинистке Шаламова [http://www.zagraevsky.com/photo\\_family\\_leninsky.htm](http://www.zagraevsky.com/photo_family_leninsky.htm)

«[...] бабушка [Елена Кавельмахер, жена М.Н.Авербаха – прим. составителя] была профессиональной машинисткой (на Воркуте она, несмотря на свой статус ссыльной, даже заведовала машинописным бюро в адмчасти одной из шахт) и печатала огромные объемы «самиздата». Среди ее «клиентов» были историк Рой Медведев, профессор Иликон Лейкин (писавший под псевдонимом «Зимин»), знаменитый автор «Колымских рассказов» Варлам Шаламов, не менее знаменитый Василий Гроссман и многие другие (не знаю, печатала ли она Солженицыну, но что-то его перепечатывала – это точно). Откровенно гово-

ря, брала она за работу по несколько повышенным расценкам, но все равно пользовалась огромным спросом – мало кому можно было доверить «нелегальные» сочинения».

---

### *Людмила Мазур-Пинская. Шаламов и Леонид Пинский*

«Сам Леонид Ефимович организовывал переплетное дело и помогал передавать рукописи за границу. В. Шаламов, Б. Чичибабин и многие другие получили здесь путевку в жизнь».

«Памяти хорошего человека», Людмила Мазур-Пинская о жене деда переводчице Евгении Лысенко, с сайта художницы Юлии Хазиной <http://julia hazina.com/news-archive.html?id=13>

---

### *Еще пара предосудительных знакомств Шаламова*

«Помню приехал к нам на посиделки Сидней Монас, профессор Техасского университета и редактор журнала «Славик ревью». Был он, между прочим, автором первой в Америке книжки о Третьем отделении при Николае I – очень уж прямые были намеки. Съездил он повидаться с Надеждой Мандельштам, с Шаламовым, потом – к нам».

Юрий Дружников, «Сад Эпикура на московской кухне», с сайта автора <http://www.druzhnikov.com/text/rass/russmif/8.html>

Год встречи с Монасом Дружников не указывает, но почти наверняка между 1965 и 68 гг.

---

Справка из Дневников американского православного священника протопресвитера Александра Шмемана: «Monas, Sidney (род. 1924, Нью-Йорк), профессор славистики Техасского университета в г.

Остин, шт. Техас, с 1969 г., специалист по русской литературе, переводчик, автор нескольких книг»

[http://www.golubinski.ru/ecclesia/shmeman/dnevniki/sh\\_ykazatel.html](http://www.golubinski.ru/ecclesia/shmeman/dnevniki/sh_ykazatel.html)

Константин Кузьминский, составитель антологии русской поэзии «У Голубой лагуны», называет его «Сенькой Монасом», «молитвами» которого «поездил по весне 76-го» по Америке, куда незадолго до того эмигрировал <http://kkk-bluelagoon.ru/tom4b/dar.htm>. Монас – сын русско-еврейских эмигрантов в Америку начала двадцатых годов прошлого века и при рождении звался Исаем Монастырским (отсюда Монас).

Вот о нем подробно на сайте университета города Остин, Техас <http://sites.la.utexas.edu/lifeandletters/2009/11/18/sidney-monas/>

Занимался, в частности, Толстым, Достоевским, Мандельштамом, Зошенко, Николаем Пуниним, активно переписывался с Корнеем Чуковским. Первый визит Монаса в СССР относится к 1957 году.

---

Информацию о другом, несомненно, предосудительном в глазах советской тайной полиции и вообще режима, знакомстве я почерпнул из описания архива Шаламова в РГАЛИ, хотя еще в начале своих занятий Шаламовым вслепую предположил, что именно Джеймс Биллингтон переправил в 1966 году рукопись «Колымских рассказов» в Америку <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/20742.html>. Сейчас я уверен, что сделал это славист-мандельштамовед Кларенс Браун, однако выяснилось, что Шаламов и Биллингтон действительно были знакомы, так что с некоторой степенью вероятности (определять степень данной вероятности – дело специалистов, называющих себя шаламоведами) связным мог быть и этот второй. В описании фонда Шаламова в РГАЛИ <http://www.rgali.ru/object/242503195?lc=ru> упоминается такая единица хранения:

«Шифр: ф. 2596 оп. 4 ед. хр. 64

Фотографии В.Т. Шаламова индивидуальные и в группах с Н.Я. Мандельштам. Автор фотографий – Дж. Биллингтон».

Сканы материалов отсутствуют, но совершенно ясно, что на знакомства Шаламова со своими западными гостями Надежда Яковлевна не скупилась, и, к слову, КГБ это наверняка было известно.

---

## ***Вера Клюева и Шаламов***

«Забавно, но у меня уже было некоторое соприкосновение с Монголией, так сказать, бытовое, через приятельницу моей матери – Веру Николаевну Клюеву. В 1943 году она с семьей уехала в Улан-Батор – в составе группы советских специалистов, направленных туда для помощи в деле организации первого монгольского университета. Свою комнату в большой коммунальной квартире в Кривоарбатском переулке (сейчас там Центральный дом актера) она оставила нам, незадолго до этого приехавшим из чистопольской эвакуации и ютившимся в маленькой комнатке в Переделкине. Когда же в 1950 году она вернулась, вместе с ней в дом въехала Монголия – в виде каких-то вещей, статуэток, картинок, книжек, бесконечных рассказов».

«Прямая речь: Сергей Неклюдов» 31.05.2012 с сайта Постнаука <http://postnauka.ru/talks/392>

«В начале 1920-х годов училась на Высших женских курсах; опубликовала почти одновременно три книги: «Верхарн». Переводы. Казань, 1921; годом позже и там же вышел сборник стихотворений «Акварели» (книга завершалась отдельным разделом – переводами из Армана Сюлли-Прюдома), еще была книга переводов с татарского – и больше публикаций практически нет, хотя к литературе она осталась близка, дружила с Варламом Шаламовым. Учившийся у нее в Москве, в Институте иностранных языков, Андрей Сергеев вспоминал: «...у нас в инязе была преподавательница русского языка Вера Николаевна Клюева, сама поэтесса, в 1922 году у нее вышел сборничек стихов «Акварели». Больше она не печаталась. В ее домашнем альбоме я нашел кучу стихов Олейникова, неопубликованные варианты начала «Торжества земледелия», Хармса». Вера Клюева была аккуратна, но ее архив не разобран по сей день: все стихи хранятся в нем не подписанными, и надо заранее знать: что – чье».

Анонс к переводам Клюевой на сайте Век перевода <http://www.vekperevoda.com/1887/klyueva.htm>

Дочь Веры Клюевой, Наталья Зеленина (Ольга Неклюдова в письмах к Шаламову называет ее Тусей), работала архивистом в ЦГАЛИ



вместе с Ириной Сиротинской. Последняя рассказывает, что по рекомендации Зелениной она и пришла к Шаламову.

---

### ***Наталья Кинд и Шаламов***

«Долгие годы мало кто знал о тесном знакомстве и дружбе Натальи Владимировны с Шаламовым. Сам писатель был опытным конспиратором и никогда не знакомил людей, которые его навещали, распространяли его самиздатскую прозу (Н.В. Кинд в свое время занималась переправкой «Колымских рассказов» на Запад). Все стало ясно только после того, как Наталья Владимировна взяла на себя организацию на своей квартире памятной встречи в первую годовщину смерти Шаламова. В тот день у нее собрались почитатели поэта. Были поминки, много гостей, едва все разместились».

«Наталья Кинд и Варлам Шаламов», с сайта Семейные истории  
<http://www.famhist.ru/famhist/kind/000239f8.htm#0007005e.htm>

---

Юлий Шрейдер:

«Было очевидно, как ей [Кинд] дороги и проза Шаламова, которая только начала пробивать открытую дорогу к читателю, и он сам как уникальная личность. Надо сказать, что его писательский масштаб тогда, да и (увы) теперь, осознан не слишком широким читательским кругом. Меня очень радовало, что Наталья Владимировна с ее тонким художественным вкусом оценила не только разоблачительный пафос сочинений Шаламова, но и их высокие литературные достоинства».

С сайта Семейные истории  
<http://www.famhist.ru/famhist/kind/000239f8.htm>

---

В качестве дополнения

На просьбу куратора проекта Заветный список М. Пряхина составить список из 30 книг, оказавших на него «самое глубинное влияние», физик и эллинист Иван Рожанский, муж Натальи Кинд, среди прочего (от Гомера и Софокла до «Процесса» Кафки и «Котлована» Андрея Платонова), называет «Колымские рассказы» Варлама Шаламова <http://zavetspisok.ru/rozhansky.htm>

---

### *Людмила Зайвая. О Шаламове и Наталье Кинд*

Зайвая рассказывает о Наталье Кинд и обстоятельствах, связанных с Шаламовым, на сайте «Семейные истории» <http://www.Famhist.Ru/famhist/kind/009efc00.Htm>

«Для меня знакомство с Наталией Владимировной связано с именем Варлама Тихоновича Шаламова. Это мне его посмертный подарок, редкий, дорогой, неоценимый. И чем больше времени проходит, тем дороже память о ней и о нем, тем грустнее чувствуется невосполнимость утраты. Мы познакомились 17 января 1983 года, в первую годовщину со дня смерти Варлама Тихоновича Шаламова, у нее дома. Собрались почитатели поэта за длинным, уютным столом, накрытым по всем правилам гостеприимства: накрахмаленная, отглаженная скатерть, салфетки и приборы, и водка непременно в графинах (бутылки на стол не ставить – это старое русское правило интеллигентного дома). Были поминки – гостей много – едва разместились. Вспоминали Шаламова, его многострадальную судьбу, читали стихи, слушали его голос на кассете, или тогда еще на катушках. Да ведь это было 14 лет назад. Сейчас, когда я пишу эти строки, снова канун памяти Варлама Шаламова, но уже 15 лет со дня смерти. Теперь я уже собираю большие поминки, и больно, что Наталии Владимировны с нами не будет. Меня к ней привел Юлий Шрейдер. Также он привел меня к Шаламову, с которым Наталия Владимировна была дружна с 60-х годов. С Шаламовым я познакомилась, когда он был уже очень болен, и в силу разных обстоятельств, известных теперь, разорвал свои отношения с внешним миром, и при нем остался только Шрейдер, навещавший его иногда. После смерти Шаламова оказалось, что у него много почитателей и поклонников. Людей редкой судьбы и души, но при его жизни

не сумевших к нему пробиться – он не хотел. Теперь я думаю, что он стеснялся своей болезни и беспомощности. Характер у него был крутой – поперек не пойдешь. Не знаю, как мне удалось его приручить, но я за ним ухаживала два года, до интерната, и понятия не имела о его бывшем окружении. Многие его друзья были в ссылке – это Сергей Григорьянц, Тая Уманская (Трусова), в больнице – Саша Морозов, Петр Старчик. В тот вечер за столом был Федот Сучков – автор памятника Шаламову, и было много молодежи. Что удивило меня в первую встречу? Было ощущение, что я здесь уже была, что я сюда вернулась, и хозяйка, поразительной красоты женщина, а ей было чуть больше лет, чем мне сейчас. И меня она встретила, как будто мы были знакомы всегда. Потом я поняла, что это ощущение было у всех, кто с ней общался. Она была удивительно доброжелательна ко всем, я не помню, чтобы о ком-нибудь она говорила категорично плохо. Были в ее жизни люди, которые ей не были любы, она не заостряла внимания на них, снисходительно переключалась на другие моменты, или внезапно рассказывала анекдот или хохму в стихах. В общем, после этого вечера мы подружились и встречались и перезванивались довольно часто. Мне стало жить уютнее и надежнее. У нее была прекрасная библиотека с редкими книгами «тамиздата», как мы их называли, недоступные нам, и она охотно давала их читать всем. Иногда мы сживали в ее милую закуску со столиком, креслами, и неизменной пепельницей, которая сама сбрасывала окурки. Иногда выпивали бутылочку чего-нибудь крепкого и я лезла к ней в душу с расспросами, теперь понимаю. Иногда она отшучивалась, а иногда вспоминала свои встречи с великими, теперь уже очень великими людьми: Пастернаком, Ахматовой, Бродским, Шаламовым, Солженицыным, Н.Я.Мандельштам и другими. Я жалею, что не записывала этих воспоминаний – но помню, стала несколько робеть. Для нее это были просто любимые люди – Боря, Анька, Еська, Варлам, Саша, Надя, для меня – кумиры. Солженицын называл ее «царевна» в «Бодался теленок с дубом», Иосиф Бродский прислал ей фотографии вручения нобелевской премии. Как она была счастлива, что все-таки он победил, хотя и с большой кровью. У меня сложилось впечатление, что Наталия Владимировна была со всем миром культуры на «ты» [...]

В общем, я была влюблена в Наталию Владимировну и мне хотелось, чтобы о ней узнали. Был 1987 год, 5 лет со дня смерти Шаламова, 80 лет со дня рождения – 1 июля, а 8 июля исполнялось 70 лет Наталии Владимировне. 1 июля я организовала шаламовский юбилей в маленьком зале ЦНИИ, пригласила писателей, академиков и Наталию Владимировну. Пригласила телевидение, но мне сказали, что они не

знают такого писателя. Я нашла внештатную корреспондентку Сашу Ливанскую, она честно созналась, что не знает его тоже. Я дала ей «Колымские рассказы», стихи, рассказала кое-что. Она была взволнована и сделала прекрасный репортаж на 13 минут. Это был первый эфир о Шаламове, и он прошел с успехом. К 8 июля, к 70-летию Наталии Владимировны, я придумала рубрику «Ровесники Октября», чтобы рассказать всем о ней. Снимали ее дома, с ее подругами – геологами. Наталия Владимировна возражала против ровесницы октября, она говорила: «я все-таки дореволюционная, я – керенская», – шутила она. Эфир прошел, Сашу Ливанскую взяли в штат ТВ, теперь она известная тележурналистка, а «Ровесники Октября» на этом кончились. Саша мне сказала: «У меня требуют «еще ровесников», им понравилось, но у меня пропал интерес. И еще Саша сделала одну съемку о Наталии Владимировне и Шаламове у нее дома в январе 1993 года. Ее сняли с внуками, их, прелестных, четверо, последний совсем маленький. Это было после дня памяти Шаламова уже в этом клубе, где мы все с вами сейчас находимся. Прошел с успехом эфир, а через 3 недели – 13 февраля – Наталии Владимировны не стало».

---

### ***В. А. Баскина. Шаламов и Наталья Кинд***

«Кинд переправила на Запад «Колымские рассказы» В. Шаламова. Благодаря ей проза Шаламова дошла до русского и европейского читателей еще при жизни автора. Она же на 40-й день после смерти писателя устроила у себя вечер его памяти. [...]

Когда в Москву из ссылок и скитаний вернулась Н.Я. Мандельштам, Кинд стала ей близким человеком, другом и помощницей. Надежда Яковлевна писала о Наталье Владимировне: «Живется ей трудно, но в ней есть какое-то высокое благородство, не позволяющее ей жить легче. Мне она на редкость мила и нужна».

В 1956 г. Кинд подружилась с Натальей Ивановной Столяровой. Душевный и жизненный опыт старшей подруги, ее эрудиция, человеческие связи, трагическая судьба влияли на формирование интересов и настроений Натальи Владимировны, все более вовлекая ее в дела русских диссидентов [...] До самой смерти Столяровой (1984) две Натальи были неразлучны. Их появление – немолодых, но элегантных, блестя-

щих, красивых, смелых, остроумных – всюду вносило громадный заряд энергии».

В. А. Баскина, «О геологе Наталье Кинд». Опубликовано в журнале «Природа», № 6, 2001. Сетевая версия на сайте VIVOS VOCO <http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/BIO/KIND.HTM>

---

### *Шаламов и столичный культурный слой, мозаика*

«Он [Александр Мень] ценил первые произведения Солженицына – «Раковый корпус», который я так и не сумел одолеть. Но особенно высоко – «Архипелаг ГУЛАГ» и «В круге первом». [...]

Я же был поклонником Варлама Шаламова – считал и до сих пор считаю, что именно он, многолетний обитатель последних кругов советского ада, нашел адекватную форму короткого рассказа для художественного описания сталинских лагерей. Отец Александр отдавал предпочтение Солженицыну, считая его дарование более крупным».

Сергей Бычков, «Отмывание жемчужин», с сайта журнала Toronto Slavic Quarterly <http://www.utoronto.ca/tsq/08/bychkov08.shtml>

\* \* \*

«Именно рукопись Е. С. [Гинзбург] явилась пиком мемуарно-гулаговского самиздата. [...]

Не хотелось бы принизить таланты других колымчан, в их числе – Варлама Шаламова. Вклад его в родную словесность нетленен. И все же упрямо настаиваю: в оттепельную пору успех «Крутого... [маршрута]» не шел в сравнение с успехом документальной прозы других летописцев тюрьмы и ссылки – до появления солженицынского «Архипелага». [...]

Варлам Шаламов [...] распаялся, когда речь заходила о «Крутом маршруте». Обвинял его в жалкой романтике, клеймил его сантименты как ложь, ложь, ложь».

Марлен Кораллов, «На високосной крутизне», с сайта газеты «Еврейское слово» <http://www.e-slovo.ru/222/6pol1.htm>

\* \* \*

«Было это, пожалуй, году в 1972 или 1973-м. Как-то вечером и появился Олег Куваев на Сретенке с такой объёмной папкой, что я невольно поёжился. [...]

Я сказал Олегу, что [...] если не вести разговор о мелких погрешностях, то можно сразу нести рукопись [романа «Территория» – прим. составителя] в издательство «Молодая гвардия» и она пойдёт с песнями. [...]

Но как изобразить Север и миновать лагерную тему (в те времена ещё не проявившуюся)? Жаль, мы не знали тогда великолепной прозы Варлама Тихоновича Шаламова, непревзойдённого и, пожалуй, до сего дня единственного, стоящего вне досягаемости писателя этой темы.

Владимир Дробышев, «Последний романтик», с сайта газеты «Литературная Россия», июнь, 2001

<http://www.litrossia.ru/archive/46/culture/1082.php>

\* \* \*

«Когда-то я сокрушенно думал, что наша эпоха не оставит великих мемуаров. Оказалось, что оставит. Ведь и гигантский цикл рассказов Шаламова – тоже мемуары».

Драматург Александр Гладков в сентябре 1966 года. Из предисловия Павла Нерлера к книге Надежды Мандельштам «Об Ахматовой»  
[http://imwerden.de/pdf/mandelstam\\_nadezhda\\_ob\\_akhmatovoy\\_2008\\_text.pdf](http://imwerden.de/pdf/mandelstam_nadezhda_ob_akhmatovoy_2008_text.pdf)

От составителя:

Шаламов, напомним, категорически возражал против определения своей прозы как «мемуары» («Я не пишу никаких воспоминаний»). Но для Гладкова эти «мемуары» все же «великие». Эстетически глухонемая и недалекая Евгения Гинзбург, наравне с Солженицыным один из кумиров тогдашней либеральной Москвы, умудрилась назвать «Колымские рассказы» «лагерными записками».

\* \* \*

«С Андреем Дмитриевичем [Сахаровым] я познакомился в 1967 году. Трижды Герой Социалистического Труда, лауреат всех известных премий, академик был тогда совершенно засекреченной персоной, и о нем мало кто знал. [...] Уже с первых встреч (а в последующие не-

дели и месяцы мы встречались довольно часто) я понял, что этот человек много лет жил в совершенно особой изолированной среде. Здесь главным была работа, а о событиях в стране, о жизни советских людей, даже истории СССР ученые-атомщики знали очень мало. [...] По просьбе Андрея Дмитриевича я начал его приобщать к так называемому «самиздату». Это были книги матери Василия Аксенова – Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», Солженицына «В круге первом», рассказы Варлама Шаламова, статьи генерала Петра Григоренко».

Рой Медведев, «Загадки жизни Сахарова», с сайта газеты Трибуна [http://www.tribuna.ru/interview/main\\_section/roy\\_medvedev\\_mysteries\\_of\\_sakharov\\_39\\_s\\_life/](http://www.tribuna.ru/interview/main_section/roy_medvedev_mysteries_of_sakharov_39_s_life/)

\* \* \*

«Один мой старинный друг, человек одновременно добрейшей души и совершенно кремневый во всем, что касается совести, когда мы перезванивались по окончании сериала [«Завещание Ленина» Н. Достая – прим. составителя], с нескрываемой горечью сказал: «Стыдно, ой как стыдно! В середине – конце семидесятых я уже был взрослый мужик, писал роман, а рядом в это время ходил по Москве такой человек, а потом в мучениях помирал, а я ничего об этом не знал, не помог, не поддержал, а ведь мог бы».

Валерий Каджая, «Доднесь тяготее...», с сайта журнала «Индекс» <http://www.index.org.ru/journal/27/kad27.html>

---

### ***Юрий Давыдов. Судьба Бруно Лопатина-Барта***

«Соседом Бруно Германовича был молодой Амусин, универсант. Он не горячился юридически, а тихо осознал, что соцзаконность реальна так же, как и социализм научный. Для Бруно Германовича он делал все, что мог. Прикладывал к лицу мокренькое полотенце, тихонько-осторожно поворачивал на койке, подбивал подушку и самокруточку сворачивал, и молча сострадал. И понял все, когда Лопатину сказали: соберись с вещами.

Амусин (Иосиф, кумрановед, библиист), тот вернулся. Спустя десятилетие нашел Елену Бруновну Лопатину. Ему Шаламов подсказал, поэт, прозаик, колымчанин».

Юрий Давыдов, «Бестселлер» <http://ystarefd.tk/?Paged=2>

---

### ***Об одном неустановленном адресате Шаламова***

Переписка Шаламова включает его недатированное письмо Э. Р. Кучеровой, в примечании к которому сказано: «Кучерова Эдварда Рувимовна – знакомая В.Т., н/у [неустановленное] лицо».

Кое-что мне удалось установить о Кучеровой два года назад. На сайте общества Мемориал «Социалисты и анархисты – участники сопротивления большевистскому режиму» «Кучерова Эдварда Рувимовна (? – не ранее 1966)» <http://socialist.memo.ru/lists/slovníkpart/15.htm> числится среди репрессированных при Сталине социал-демократов (меньшевиков). Теперь сведений прибавилось. В 2011 году вышла книга воспоминаний Бориса Евгеньевича Райкова, ученого-биолога и педагога, бывшего лагерника (Борис Райков, «На жизненном пути: автобиографические очерки: в 2 кн.», Рос. Акад. наук, Архив РАН, Санкт-Петербург: Коло, 2011). Сама книга мне недоступна, но на сайте издательства выложены ее оглавление и указатель имен <http://www.kolohouse.ru/uploads/cgstories/id92/raikov-index.pdf>. В седьмой главе восьмого тома рассказывается о преподавателях Архангельского пединститута (ныне Поморский государственный университет), где во время войны преподавал Райков. Один из разделов главы называется «Лектор английского языка Кучерова», а примечание уточняет: «Кучерова Эдварда Рувимовна, преподаватель английского языка в АГПИ».

Письмо Шаламова не датировано, но датируется без труда. Перечисленные в нем стихи «Ястреб», «Таруса», «Я – северянин» опубликованы в альманахе «День поэзии – 1968», и написано оно, скорее всего, на исходе года – Шаламов шлет «новогодние приветы». Время написания объясняет и грустный итог его тонких рассуждений о поэзии и приемах стихосложения: «Но кому это все нужно». К концу 1968 года до Шаламова уже должны были дойти вести из русского Парижа, и он должен был если не знать, то остро предчувствовать, что не нужны уже и «Колымские рассказы».



---

---

### *Анатолий Королев. Шаламов как вечный ээка*

«Ирина Сиротинская в своем слове о Шаламове подчеркнула особую поведенческую природу писателя, который дошел в своем максимализме до самого края. Он, например, даже не признал факт своего освобождения реальным событием. Он продолжал осознанно жить как зек, подчеркивая, что нет никакой разницы в СССР – жить в зоне или в Москве.

Например, он обучал Сиротинскую приемам лагерной каторги, учил, как правильно толкать тачку на земляных работах. Он был уверен, что этот опыт в советском отечестве нужен всем, иначе не выжить».

Из статьи Анатолия Королева «Проза Шаламова вводит слепца в храм» на сайте РИАНовости, июнь 2007

<http://www.rian.ru/culture/20070621/67574639.html>

---

---

### *Дом Шаламова на Васильевской, 2*



Дом в Москве на улице Васильевской, 2, где Шаламов жил с лета 1972 по май 1979, перед помещением в дом престарелых. На сайте Недвижимость Москвы прямо указывается, что в этом доме жил Варлам Шаламов

Фото с сайта московской маклерской фирмы

---

### *Совковая плесень*

В качестве примера того, с кем приходилось иметь дело Шаламову в советских издательствах.

Пишет бывший функционер совписа, а ныне член редакционной коллегии газеты «Советская Россия» Александр Бобров. С сайта газеты, 2007

<http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=1116>

«Лично я всегда на руководящих редакторских постах издательства «Советский писатель» публиковал стихи ещё живого Шаламова и закрывал глаза на его нетерпимость: ну пострадал ведь человек! [...]

Теперь понятно, что Шаламов угодил в лагерь не случайно, а как идейный враг системы. Собственно, тогдашнее время и было временем борьбы двух «систем Советов» – Сталина и Троцкого. Фраза Шаламова о том, что он настаивает на «глубокой внутрипартийной реформе на основе беспощадной чистки», говорит о том, что в случае изменения ситуации он сам бы оказался в составе «двоек» или «четвёрок» – или чего там ещё придумал бы Троцкий – и «выжигал» бы идейных противников, осуждая если не на расстрел, то уж точно на лагерное забвение».

Затем невменяемый Бобров цитирует стихотворение Шаламова «Славянская клятва», написанное в 1973 году:

«Клянусь до самой смерти  
Мстить этим подлым сукам,  
Чью подлую науку я до конца постиг.  
Я вражескою кровью свои умою руки,  
Когда наступит этот благословенный миг»,

– с таким комментарием:

«Благословенный миг кровавого мщенья – наверное, к счастью, – не наступил. Ну сколько можно было накануне [Великой Отечественной] войны мстить и перетасовывать с кровью ряды победителей?»

---

***Подборки стихов Шаламова в журнале «Юность», 1969, 1971, 1973, 1976 гг.***

Сканы страниц нескольких подборок стихов Шаламова в журнале «Юность», конец шестидесятых – середина семидесятых годов. В форматах jpg и png.

«Юность», №3, 1969, png, здесь

[https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal\\_Yunost\\_1969\\_3\\_1.png](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal_Yunost_1969_3_1.png)

и здесь

[https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal\\_Yunost\\_1969\\_3\\_2.png](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal_Yunost_1969_3_2.png)

«Юность», №11, 1971\*, jpg

[https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal\\_Yunost\\_1971%2011.jpg](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal_Yunost_1971%2011.jpg)

«Юность», №8, 1973, jpg

[https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal\\_Yunost\\_1973\\_08.jpg](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal_Yunost_1973_08.jpg)

«Юность», №10, 1976, jpg

[https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal\\_Yunost\\_1976-10.jpg](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal_Yunost_1976-10.jpg)

-----

\* К этой подборке. Крайне забавно и горько читать письмо Шаламову одного из редакторов «Литературной газеты» Татьяны Глушковой, которая упорно пыталась протащить в «органе ССП» подборку его стихов. Пример того, что представлял собой процесс публикации стихов в поганом совке.

«23-XI-71

Дорогой Варлам Тихонович!

Я даю Вам отчет в сегодняшнем дне, хотя события его – далеко не окончательные.

Гулиа (мой начальник и зав. отделом русских публикаций) прочел сегодня Ваши стихи (ту перепечатанную пачку, которую я Вам показывала) и вечером сказал мне, что выбрал несколько, а какие именно – покажет завтра.

Что до того, какие именно, – это почти не принципиально, т. к. в той пачке все были, по-моему, очень хорошие (а об иных я сказала бы и одним словом: прекрасны! Такая вещь, скажем, как «Начало метели», сопоставима с Фетом, не знаю, как Вы относитесь к этому поэту, для меня высшего сравнения-признания нет). И я потому больше озабочена количеством отобранных им стихов.

Однако: Гулиа, который хитрей, чем надо бы, заметил, что в № 11 «Юности» Ваша подборка открывается «гражданственным» стихотворением – «Луноход». И потому он теперь желает, чтобы и наша, литгазетовская, начиналась одним гражданственным стихотворением.

«Про луноход, про самолет – про любой созидательный труд народа – все равно!» (Это его слова.)

Это желание (если вспомнить, какое это уже по счету требование) меня возмутило. И я надеюсь, что можно будет уломать этих людей, чтобы не морочили больше голову, подобно старухе из сказки о рыбке и рыбке. Во всяком случае я буду требовать Вашей публикации – изо всех сил; если надо будет, пойду к Чаковскому, и отступать я не собираюсь.

И все же: если у Вас найдется одно такое стихотворение о чем-то (не – поэта) труде, что-нибудь, так сказать, героическое или патетическое, – может быть, Вы принесете его, когда будете во вторник?

(Я забыла сказать еще, что сегодня обещал мне защиту Ваших интересов С. Наровчатов, член редколлегии, которого я поймала за рукав, к счастью.)

Я прошу Вас поверить мне, что мне очень тяжело Вас мучить, а также тому, что Ваши публикации я считаю очень важными и для читателей, и для поэтов.

(Разговор о «Луноходе» и вытекающем отсюда – оттого, что Гулиа боится быть «менее осторожным, чем «Юность». Хотя я указала ему, что другие Ваши стихи в № 11, например – последнее, – куда «опаснее», чем все, предлагаемые сейчас ему.)

С глубоким уважением к Вам Т. Глушкова.

(Пишу вечером, дома, – потому письмо пойдет в обычном – без грифа «ЛГ» – конверте.)»

---

### ***Шаламов-переводчик***

На сайте Век перевода можно почитать переводы Шаламова <http://www.vekperevoda.com/1900/vshalamov.htm> с болгарского (Кирилл Христов, Николай Ракитин) и идиш (Хаим Мальтийский) – с подстрочника, разумеется.

В анонсе сказано, что переводы были предоставлены сайту, то есть поэту и переводчику Евгению Витковскому, «вдовой писателя – И.П. Сиротинской». Такого я еще не встречал.

О переводах стихов Мальтийского см. в письме Шаламова Якову Гродзенскому от 23 июля 1968 года.

---

### ***Поэзия Шаламова в зеркале советской сатиры***

**Валерий Фильченко. «Боль по Варламу Шаламову (Воспоминания пародиста)»**

Был 1979 год. Я только что приехал из Москвы с 1-го совещания молодых сатириков и юмористов России. Совещание проводилось на Комсомольском проспекте в здании Союза писателей России. Нас поздравили и благословили Сергей Михалков – Председатель Союза. Потом выступили Леонид Ленч, Анатолий Алексин, Александр Иванов и другие известные писатели-сатирики. Мои пародии, сатирические стихи получили одобрение и я окрыленный приехал домой в Ульяновск. Пошел сразу в книжный магазин и купил небольшую книжечку стихов неизвестного мне автора Варлама Шаламова. Нужно сказать, что в то время прилавки книжных магазинов ломались от стихотворных книжек. В Советском Союзе было очень престижно быть поэтом. Членов Союза писателей насчитывалось около 10 тысяч. Они неплохо существовали, получали содержание от Литфонда и хорошие гонорары от издательств. Я получил от издания своей книги афоризмов от При-

волжского книжного издательства (г. Саратов) 1600 рублей гонорара. Неплохо, если учесть, что на основной работе инженера-строителя мой оклад составлял 250 рублей. Я, окрыленный знакомством с А. Ивановым, купив сборник стихов, сразу сел писать пародию на Варлама Шаламова. Кто он такой, я тогда не знал. Сотни сборников стихов поэтов тогда лежали в книжных магазинах – они были неизвестны, я тонул в этом потоке, книжечки стоили 50-80 копеек, поэтому любой мог их купить без ущерба для кармана. Я прочитал сборничек Варлама Шаламова «Точка кипения». Как пародист выискивал какие-то несуразности и быстро их нашел. Родилась такая пародия, которую сразу напечатали в журнале «Чаян» <http://chayan-journal.ru/magazine>, имеющем тираж 600000 экз.

Вот она:

### НЕСБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ

Десять прачек полощут белье,  
Состязание света и звука,  
В мое детство в мое бытие  
Ворвалось, как большая наука.

Я белье никогда не стирал,  
Не хватало для этого знаний,  
И грустил я, когда разбирал  
Ворох грязных рубах после бани!

С детских лет я о стирке мечтал, –  
Состязании звука и света,  
Но не смог одолеть интеграл,  
И тогда я подался в поэты!

Но я на этом не успокоился. Читал книжечку, пока не зачитал до дыр. Родилась еще одна пародия:

### ВОТ ТАК ПУШКА

На пушке моего лафета  
Не только Пушкина клеймо  
На нем тавро, отмета Фета...

\*\*\*

Ему бы в секунданты  
Шекспира или Данте –  
Дантеса отвели бы пистолет.

Есть у меня в хозяйстве пушка –  
Незаменимый предмет,  
О, как завидовал мне Пушкин,  
Мечтал иметь такую Фет!  
Белье свое я на просушку  
Развешиваю вдоль ствола,  
Лафет мне служит раскладушкой,  
И местом для игры в «козла».  
Пугая всех прохожих громом,  
На дуло севши, как в седло,  
На пушке езжу я к знакомым,  
И в лес, и к родичам в село!  
Взяв небо синее на мушку, –  
Я рифмой бью по воробьям,  
Беру читателей на пушку  
В своих стихах и там, и сям!  
Бывал я в разных заварушках,  
И раз нарвался на скандал  
С Дантесом, но увидев пушку  
Он извинился и отстал!  
Я в меру своего таланта  
Скажу: остался б жив поэт –  
Ему меня бы в секунданты,  
Что против пушки пистолет!

Но вот, видите, не очень оскорбительная, а даже наоборот веселая пародия. Но все равно боль в сердце по Варламу Шаламову осталась до сих пор. Ну как это я в потоке вала стихотворных сборников не разглядел подлинного таланта, поставил его в одну шеренгу с легионом посредственностей, которые пришли в поэзию за славой и гонораром, не имея на это никаких оснований. Шел 1979 год. Кто такой Шаламов, никто тогда не знал. Писать о нем и его жизни, откуда он взялся, было строжайше запрещено. И только спустя два десятка лет [вдвое меньше, конечно – прим. составителя] вдруг выяснилось, что это человек не-

сгибаемой воли, вынесший все ужасы сталинских лагерей и умерший в одиночестве и забвении своих неблагодарных современников. Я и себя отношу к ним, и скорблю до сих пор, что не вник, не погрузился в глубину его чудесных стихов».

Валерий Фильченко (Св. Мопс), «Боль по Варламу Шаламову (Воспоминания пародиста)», со страницы автора на сайте Литсовет [http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material\\_id=18630](http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=18630), также в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/158441.html>

---

Отрывок из фельетона Бориса Егорова, заместителя главного редактора советского сатирического официоза журнала «Крокодил», «Аза» гадает...», где счетно-вычислительная машина высмеивает поэзию Вознесенского, Шаламова и некоторых других советских поэтов. Написан и опубликован фельетон в 1970 году, а затем вошел в сборник Егорова «Сюрприз в рыжем портфеле», М. «Советский писатель», выпущенный в год смерти Шаламова. Всего в СССР было издано порядка двадцати пяти книг Егорова.

Диалог программиста с машиной:

«Некоторое время в чреве машины раздавалось гудение: «Аза» переваривала литературу. На пульте управления мигали огоньки. Шла мучительная работа мысли. [...]

– Так у кого фразы короче?

– У прозаиков. Это называется «телеграфный стиль». Читателю, мол, некогда.

– А у поэтов?

– У поэтов наоборот – длиннее. У Вознесенского строчки уже в страницу не лезут, даже если без нолей. Надо печатать на машинке с большой кареткой. В развёрнутый лист. Как балансový отчет. А иногда он вообще стихи на полуслове обрывает и шпарит прозой.

– Так, так... Что ты ещё думаешь, Аза? [...]

«Аза» помолчала и вдруг начала цитировать: «Править лодкою в тумане больше не могу. Будто я кружусь в буране, в голубом снегу. Посреди людского шума рвётся мыслью нить...», «...каких держаться скользких истин в таком запутанном пути?», «Давно уж тёмной пеле-



ной покрыто небо надо мной, и с небосвода дождик льёт, и безнадежен небосвод...» [...]

Доктор Любопытный вспомнил, что на днях машина читала периодику за 1906–1910 годы, и пробормотал:

– Хватит, Аза, старинных цитат. Хватит туманов, скользких истин, вечной тщеты. Не на тему дня это.

– Вот и я говорю: не на тему. А цитаты вовсе не старинные. Все из журнала «Юность» за 1969 год. Из стихов Варлама Шаламова, Ларисы Васильевой и Ирины Озеровой. Я прочитала те строчки, что запомнила, подряд, чтобы сказать: существует «смещение вкусов и оценок». Хочу думать, что в дальнейшем смещения не будет...»

Из сетевой версии сборника в библиотеке Либрусек <http://lib.rus.ec/b/390187/read>

Цитируются стихотворения Шаламова «Капля» и «Какая в августе весна?».

О том, что представлял собой Егоров, пишет на сайте Проза.ру <http://proza.ru/2008/02/12/566> многолетний сотрудник «Крокодила» Александр Моралевич:

«За три десятилетия в «Крокодиле» – кого только не наблюдал я тут на средних и высших командных должностях! Сплошь и рядом были тут люди, не сопричастные даже самой провальной и убогой журналистике, а не то что самому коронному и редкостному её жанру – фельетонистике. Но они искупали это безграничной преданностью делу партии, её верные подручные. И таким вот подручным партии состоял Б.А.Егоров, заместитель редактора. Партия отрядила Егорова на сатиру из вооруженных сил».

Электронная версия материала – в блоге «Варлам Шаламов и концентрированный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/172533.html>

---

***Владимир Бондаренко. Шаламов и Станислав Куняев***

«Очень ценил Станислава Куняева стоящий в стороне от тогдашней литературной борьбы Варлам Шаламов. Это видно и по надписям, и по подаренным книгам.

К книге «Московские облака»: «Станиславу Юрьевичу Куняеву с глубоким уважением и симпатией. Автор. 18 сентября 1972. Москва. В. Шаламов».

К книге «Точка кипения»: «Станиславу Юрьевичу Куняеву – шлю очередной свой опус. Автор. С великим уважением и симпатией. В. Шаламов. Сентябрь 1977 года».

Из статьи Владимира Бондаренко в газете «Завтра». Сетевая версия на сайте газеты <http://www.zavtra.ru/denlit/135/11.html>

---

### *Марина Тарковская. Арсений Тарковский и Шаламов*

«[...] После смерти папы на даче в Голицыне среди случайно оставшихся в пустом доме книг я увидела тонкую книжку: Варлам Шаламов. «Московские облака».

Ощутил в душе и теле  
Первый раз за много лет  
Тишину после метели,  
Равномерный звездный свет.  
Если б пожелали маги  
До конца творить добро,  
Принесли бы мне бумаги.  
Спички. Свечку. И перо.

А я и не предполагала, что Шаламов писал стихи! О Шаламове мне было известно очень мало. Как он жил после возвращения? Как и где писал свои рассказы? Были ли у него близкие люди и почему он умер один, в приюте? Когда я смотрела на его последнюю фотографию, у тумбочки, с миской на коленях, я спрашивала себя, где же была я. Почему не пришла к нему, не наклонилась, чтобы помочь обуться, не подала попить в его смертный час?

И вот теперь держу в руках книгу его стихов. В коротенькой аннотации, конечно, ни слова о страшной судьбе Шаламова. А на титульном листе каким-то нетерпеливым, раскидистым, неустойчивым подчерком, с длинными хвостами у букв «т», «р», «у», сделана дарственная надпись:

«Арсению Александровичу с глубоким уважением и симпатией – автор. Москва,  
10 сентября 1972 – В.Шаламов».

Еще в книгу была вложена записка на листке в клеточку. Вот она: «Дорогой Арсений Александрович, «Московские облака» вышли в свет, и я шлю Вам сборник с величайшим удовольствием. Ни авторских со склада, ни заказа с Лавки писателей я до сих пор не могу получить, но в магазинах сборник есть. Еще раз благодарю за рекомендацию в Союз писателей, за добрые советы, жму руку. Москва, 10 сентября 1972. В.Шаламов».

Из интервью Марины Тарковской «Осколки зеркала», «Литературная газета», 1994 г. №12 (23 марта), сетевая версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»  
<http://ru-prichal-ada.livejournal.com/86856.html>

---

***Владимир Десятников. Шаламов и Солженицын в «Дневнике русского человека»***

Любопытное свидетельство отношения к Шаламову и Солженицыну в конце семидесятых человека из кругов т.н. «патриотов», группировавшихся вокруг журнала «Наш современник». В предисловии к «Дневнику» Станислав Куняев представляет автора так: «... в 1943-м после гибели отца на фронте был зачислен в Суворовское училище, закончил его, в 20 лет стал начальником погранзаставы, дослужился до звания капитана, вышел в отставку, поступил на исторический факультет МГУ и окончил его. Постепенно и естественно стал известным искусствоведом, другом многих знаменитых художников той эпохи, знатоком русского старинного зодчества».

По Десятникову, Шаламов предпочел умирать «на жесткой солдатской койке, мало чем отличающейся от лагерных нар», лишь бы не умереть в Париже или Лондоне, хуже которых для русского человека ничего нет. Сам 82-летний Десятников на жесткой солдатской койке умирать не собирается, напротив того, вполне преуспевающий живчик: почетный член Российской академии художеств, академик и вице-президент Международной Славянской академии наук, образования, искусства и культуры, кавалер ордена прп. Сергия Радонежского, автор двух десятков книг, альбомов, пьес и балетных либретто.

Интересно, навещал ли Десятников умирающего на жесткой койке Шаламова хотя бы для моральной поддержки?

---

*«Запись от 25 декабря 1978 г.*

Думаю, что А. И. Солженицын и В. Т. Шаламов – как те коса и камень. Казалось бы, оба прошли суровые испытания. Правда, Солженицын побывал лишь «в кругу первом», Шаламов прошел все круги советского ада. У Солженицына гулаговский срок – восемь лет, а у поповского «сынка» Шаламова – четверть века, причем большая часть – в колымских лагерях. Но, встретившись на воле, они тут же и разошлись. Более того, Шаламов, как мне известно, влил Солженицыну, что называется, промеж глаз. Об «Иване Денисовиче» отозвался с убийственной иронией, дескать, какие еще кошки в ИТЛ, их давно уже съели во всех лагерях. Нобелевского лауреата Шаламов причислил к разряду дельцов, делающих гешефт на святой теме, и не разрешил пользоваться своим обширным лагерным архивом.

Примечательно, что у Солженицына была возможность помочь Шаламову опубликовать свои рассказы в «Новом мире» у Твардовского, но он для этого и пальцем не шевельнул, ибо правда Шаламова о лагерях и людях была гуще солженицынской, да и в художественном отношении не слабее.

Ныне Солженицын выступает в своих многочисленных интервью как апостол морали и нравственности, но в самом деле-то он каков? Честнее, стыдливее, благороднее ли он своих героев и тех, кто, как Твардовский, к примеру, помогал ему выплыть, жертвуя собой?

Я интуитивист, и к тому же есть кое-какой опыт общения с художниками – людьми, нередко склонными к самовозвеличению. Это не такой уж и большой грех, скорее – способ самозащиты, – слаб человек. И все-таки что-то не лежит душа к Солженицыну, искушаемому непо-

мерным самовозвеличением. Ведь сколько до него громко квакающих лягушек попались на ту самую соломинку, через которую их и надували. Говорю, не умаляя достоинств и сильных качеств Солженицына. [...]

Нет в его рассуждениях глубокого внутреннего делания, восходящего к преподобному Сергию, к ученикам и последователям его – святым Иосифу Волоцкому, Геннадию Новгородскому – всем тем, кто не столько о пресловутых правах человека имел попечение, сколько нацелен был на выведение ереси жидовствующих на чистую воду.

Варлама Шаламова московские витии, сами не отведавшие и фунта лиха, ругают, дескать, он «ссучился», написал покаянное письмо, чтобы его не высылали за бугор, купил-де себе свободу. Смирennemудрый Шаламов, слава Богу, не хочет ни в Париже, ни в Лондоне умирать. Уж лучше здесь на жесткой солдатской койке, мало чем отличающейся от лагерных нар, от которых он не отвыкал во всю свою жизнь.

Раб Божий Варлам, по всем статьям, должен быть причислен к новомученикам российским. Им несть числа. Вспоминаю матушку Катуар, как мы ее с Галей звали, которая до самой смерти Е. В. Гольдингер приходила к ней и безвозмездно помогала – лечила, убирала, мыла, чистила, готовила. Делала она это с неиссякаемой любовью, пришедшей к ней не по закону, а по благодати. Как и Шаламов, матушка Катуар провела в лагерях четверть века. И всего-то за то, что дед ее был промышленником, память о котором сохранилась в названии подмосковной станции Катуар (Савеловское направление). Маленькая, щупленькая, ясноглазая матушка Катуар была для нас воплощением доброты и участливости к людям. Вот на таких лагерниках, как Шаламов и Катуар, и держится мир Божий. Глядя на них, и мы несем свой крест как можем, но скулить и тем более раздирать язвы, дабы разжалобить весь мир, не собираемся. Упаси нас Бог от всех бед, а наипаче от «страха иудейска». Не тем будь помянут нобелевский лауреат с «того берега».

Журнал «Наш современник», №2, 2011, сетевая версия на сайте журнала <http://nash-sovremennik.ru/archive/2011/n2/1102-26.pdf>

### *Татьяна Бек о Шаламове*

Пользователь ЖЖ Сергей (aruta) пересказывает впечатление от Шаламова писательницы Татьяны Бек. Прочсть можно в дневнике Сергея Попова <http://sergepolar.livejournal.com/547969.html>

«Т.А. Бек рассказывала мне, что видела В.Т. в юности, ей его показали из троллейбуса: по улице шёл совершенно невозможный, страшный даже на расстоянии старик в длинной пальто, простоволосый, явно не в себе, с огромным каменно-затёкшим лицом, плечи его ходили ходуном, он их действительно так отморозил, что поводил ими всё время, чтобы они не так ныли. Он шёл так, что его походка представляла угрозу целостности фонарным столбам... Размашисто, дёргано, как не ходят в городе, тем более в столице, никогда и никто. Городской сумасшедший».

---

### *Петр Старчик о Шаламове в старости*

Петр Старчик (род. 1938) – бард, исполнитель, еще в советское время положивший на музыку стихи Шаламова, Цветаевой, Клычкова и других русских поэтов. Вероятно, навещал Шаламова на Васильевской и в доме престарелых и определенно был на отпевании и похоронах писателя. Сведения взяты из блога философа и правозащитника Артема Марченкова <http://marchenk.bestpersons.ru/feed/post25006977/>

«В начале 80-х Старчик запоем пишет песни на стихи Шаламова. Попутно рассказывает про носовой платок Шаламова – заскорузлую от соплей простынь, которая по диагонали комнаты висит на веревке (после Колымы у Варлама был хронический насморк). Обозначает голодный невроз Шаламова, когда тот накопал побольше еды, так что она портилась...».

---

### *Валерий Шубинский. Юрий Трифонов, Шаламов и Солженицын*

« – Ну что нового мог добавить Трифонов к тому, что уже было написано на эту тему Варламом Шаламовым? Ничего. Потому он и оставил лакуны. В данном случае это свидетельствует только о том, что Трифонову не изменил литературный вкус.

– Это ответ вне исторического контекста. В то время мотивировка была одна и простая – цензурная.

– Я думаю, что не все так просто с мотивировкой. Писать на лагерно-тюремную тему после В. Шаламова, с произведениями которого Трифонов, несомненно, был знаком, равносильно тому, что писать про войну 1812 года после «Войны и мира» Л. Толстого. ТАК уже ни у кого не получится.

– Я тоже так думаю, но для той эпохи и того круга Шаламова, в сущности, не было. Был Солженицын.

– Прости, но это неточность.

Был, конечно.

Но Шаламов писатель, а Солженицын – социальное явление – пророк из бездны. И даже отчасти одобренный – ибо и на высоких ступенях русский национализм имел достаточно сторонников. А Шаламов – воссоздатель ужаса – не то, что вверху, но и в середине имел немного поклонников – мало кто хотел вспоминать, больше хотели забыть.

Потому Шаламова не было в обсуждении (печатном), не было промощена. Но на кухне конечно был.

– Да, это упрощение. Шаламов был, более того, к концу 70-х он стал на «западнических» кухнях рассматриваться как явление более «идеологически правильное», чем Солженицын, но он не рассматривался как возможная модель для такого писателя, как Трифонов – лауреата госпремии и т.д.».

«Поздний совок», диалог из блога литературного критика Валерия Шубинского <http://shubinskiy.livejournal.com/131261.html>



## **Переписка Шаламова, не вошедшая в семитомное собрание сочинений**

### ***Письма Елене Лопатиной, 1966-1975***

См. предисловие Лопатиной к переписке с Шаламовым в разделе Воспоминания

В.Т. Шаламов – Е.Б. Лопатиной

Москва, 8 июня 1966 г.

Дорогая Елена Бруновна.

Я получил Ваше милое письмо и очень рад, что мог содействовать такой важной для Вас встрече. Однако нравственных заслуг моих тут никаких нет – ведь иначе никто никогда бы не поступил (кроме нелюдей вроде лагерного начальства). Это из области самой элементарной морали. Поэтому Ваши похвалы в мой адрес ненужны.

Важно, конечно, самое главное – Ваша гордость за то, как держался отец, и я разделяю с Вами эту гордость.

Желаю Вам (и Н. В., раз Вы ее упоминаете) всего, всего лучшего. Чувства мои не изменились ни Вам, ни к ней.

Желаю Вам всего доброго. Лето по-прежнему остается моей рабочей порой, а с осени я Вашим услугам.

С сердечным уважением

В. Шаламов.

В.Т. Шаламов – Е.Б. Лопатиной

Москва, 10 октября 1970 г.

Дорогая Елена Бруновна.

В высшей степени мне было приятно получить именно от Вас книгу о Германе Лопатине\*. Я ее, конечно, читал, оценил и литературную искусность. Хотя вся эта изящная вязь ее не стоит по силе впечатления заднего форзаца книги, красного (в первой части не было его). Не вполне согласен с трактовкой Судейкина и Скандракова. Судейкин, на мой взгляд, – крупнее, Скандраков – мельче. Традиционный допрос



Лопатина изумителен. Полиция никогда не считалась с «донкихотством». Об Ошаниной мало. С Ошананой (она умерла рано, лет сорока) успел провести большое интервью М.Р. Попов, знаменитый народовец, позднее чернопеределец. Сведения об этой беседе не отразились в романе, а жаль, ибо Ошанина в нашем революционном движении фигура крупнее, чем Фигнер или Перовская.

Но все это пустяки. Материал и так редок, почти уникален.

Мой телефон 255-77-49 без всяких добавочных. Что же касается свидания, то лучше его пока отложить, и вот почему. В течение последних двух лет я работаю непрерывно, в высшей степени результативно. Работаю так, как я еще никогда не работал в Москве. Я написал за два последних года очень много. Я дорожу своим трудовым режимом, и пока не остановится этот поток, я не хочу сам, своими руками преградить ему дорогу. Режим мой очень хрупок. Тем более, что показались контуры моей главной работы, о которой я и думать не осмеливался. Может быть, год подождем?

Прошу меня понять, Елена Бруновна, – пишу: «прошу меня понять», нарушая дурную традицию модной современной фразы: «прошу меня правильно понять» – ораторской, писательской, литературной. Мне кажется, что наречие «правильно» вовсе лишнее в этой фразе – лишь искажает подлинный ее смысл.

С сердечным уважением

В. Шаламов.

В.Т. Шаламов – Е.Б. Лопатиной

Москва, 10 июля 1970 г.

Дорогая Елена Бруновна!

Вот почему я так думаю об Ошаниной: она ведь была ученицей Зайчневского, орловца, автора прокламации «Молодая Россия» – той самой, от которой отреклись и Чернышевский и Достоевский. Тем не менее, эта прокламация сама этап русского освободительного движения. Все якобинство Зайчневского проведено М.Н. Ошаниной через всю свою жизнь.

И Перовская и Фигнер присоединились к Народной воле не сразу после Воронежского съезда, а после некоторого двухмесячного раздумья. М.Н. Ошанина (Оловянников, Баранникова) – организатор съезда в Воронеже.

Перовской и Фигнер генетически, что ли, легче войти в ряды революционеров. Перовская дочь генерал-губернатора, и в этом {нрзб.} простоты ее перехода в террор. Ошанина – провинциалка, орловка, и нужно иметь больше личных данных для жертвенной бескомпромиссности, чем столичным цветам – вроде Перовской и Фигнер. Ошанина за границу была направлена как ответственный деятель. Провела Дегаевское дело в высшей степени умно и энергично и решительно. Ошанина – один из авторов письма Исполнительного Комитета царю – последнее после 1 марта 1881 г. Письмо это потеряно. Есть интервью в «Былом» не то с Серебряковым, не то с М.Р. Поповым, не {то} с Русаковым, я уже сейчас не помню. И хотя вопросов там мало {нрзб.}. У меня нет Былого под руками. Если все это взвесить, вспомнить, что Ошанина (как {нрзб.} Баранникова) принимала личное участие во всех покушениях «Н. В.», – вывод и подсказывается сам собой насчет ее роли в освободительном движении. Желаю Вам добра. Шлю приветы.

С сердечным уважением В. Шаламов. Прошу простить за задержку ответа.

В.Т. Шаламов – Е.Б. Лопатиной  
Москва, 9 апреля 1975 г.

Дорогая Елена Бруновна!

Я прочел Вашу статью: толковая, краткая и энергичная и бесконечно полезная главной цели, которую ставила публикация\*\*.

Лестно {нрзб.} было ощутить – из цикла телепатических совпадений, – что и в мою жизнь Иркутск вошел важной принципиальной вехой, как и Вологда – для Лопатиных. После 16 лет Колымы я возвращался – не в Москву, а мимо Москвы – в Чарджуй. В Москве была пересадка, где предстояло свидание с женой, вокзальное, во всяком случае. Чарджуй был избранным местом жительства. Грузовой «Дуглас» вывез меня из Оймякона за 6 часов в Якутск. А из Якутска на Москву были две дороги воздушных: одна – до Новосибирска, а другая – до Иркутска. Поскольку мне не оплатили дорогу – каждый грош был на счету. Самый дешевый путь был через Иркутск. От Иркутска ехал поездом до Москвы. Поезд шел утром следующего дня, у меня было несколько часов встречи с Иркутском – городом, в котором я никогда не бывал ранее. Был теплый вечер осенний – весь город на улице, ловящий последнее тепло перед долгой иркутской зимой.

Шум чужих разговоров, до которых мне нет никакого дела. Теплый ветер. Шум машин, звонки трамваев, голоса пешеходов.

Именно в Иркутске – первом большом городе, куда я приехал после шестнадцати лет гор и болот, – я понял, почувствовал каждой клеткой своего тела, какой же я все-таки горожанин. Потом все было то же самое – Москва, Ленинград, Калинин. Но первой встречей был Иркутск. Уже темнело, когда добрался до Ангары – зеленый {нрзб.}. Постоял на знаменитом мосту Ангарском.

Еще чем приятен мне Иркутск? Там в 1971 году в альманахе читинских писателей «Сибирь» (прежнее название «Ангара») печатались мои стихи. И хотя стихи эти были старые (перепечатанные из моих книжек), но, конечно, стихи соответств{овавшие?} местности, географии. Альманах «Сибирь» издается на общественных началах, так и гонорар-то не был положен. Но это было приятнее, чем попасть под золотой дождь Новосибирска. Всех этих Академгородков, где платят вольно щедро за {нрзб.} балованному ребенку вроде {нрзб.} высшей истины по вопросам, в которых он не имеет компетенции. Меня в этот «Интеграл» приглашали несколько лет, но {нрзб.} твердо уверен, что наука и стихи – это разные вещи, что такой «Интеграл» плодит только графоманов.

Книжки Кондратьева я еще не видел. Она в новых поступлениях. Сам Кондратьев – Бальзак халтуристов-биографистов. Перечень его трудов занимает пол-ящика в Ленинской. Заголовок «Пока свободою горим» – пошл и банален.

Идеал всякого заголовка – романа, стихотворения, очерка, повести: ОДНО СЛОВО.

Например: Лопатин. Это вдвое лучше, чем «Юность Лопатина», «Елена Лопатина», «Дело Лопатина», «Жизнь Лопатина» – и так далее. Но когда в заголовке из трех слов нет имени героя биографического очерка, это не только плохой издательский вкус, а прямой недосмотр.

К сожалению, саратовскую книжку о «Народной расправе» {?} мне увидеть не пришлось. Ее в каталогах Ленинской нет. Очевидно, она на спецхране. В Ленинской библиотеке много улучшений, но немало и неудобств, рогаток, затрудняющих приближение к книге.

Я работаю над «Опричным террором» – тоже Вологодская тема. Вологда ведь была в опричнине вся. И вот мне понадобился известный синодик Ивана Грозного. Я не историк, чтобы иметь доступ к документам. Но синодик был опубликован в одной из неконченных работ {нрзб.} одним советским историком. И я пользовался этой. Выписок не делал, а только переводил со срока на срок. И вдруг синодик отключили в один прекрасный день и я остался без книги. Можно было

бы получить через «спецхран» – но это лишняя волынка. Так что сказать, что библиотека – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА, можно не всегда. Саратовскую книжку\*\*\* я лучше почитаю у Вас – она невелика. Пишу Вам печатными буквами из-за своего неразборчивого почерка. Сердечный привет

В. Шаламов.

\* Юрий Давыдов. *Глухая пора листопада. Роман. 1 и 2 книги, М., 1970*

\*\* *Статья «Лопатины» опубликована в газете «Восточно-Сибирская правда» 28 февраля 1975 г.*

\*\*\* В. В. Широкова. *«Партия народного права», Саратов, 1972*

Опубликованы в журнале «Звезда», 1994, №1, публикация Елены Лопатиной. Электронная версия на сайте «Данте XX века» <http://www.booksite.ru/varlam/letter.htm>

---

### *Другие письма и записки Шаламова и его адресатов*

Другие не включенные в собрание сочинений письма и записки Шаламова разбросаны по статьям данного сборника в разделах Воспоминания и Материалы к биографии:

- Письмо Солженицына Шаламову от 5 декабря 1962 года и дарственная надпись последнего – в дополнении к воспоминаниям Александра Солженицына
- Приписка к письму Храбровицкого, адресованному в Париж эмигранту Александру Сионскому, от 25 сентября 1967 года – в воспоминаниях Александра Храбровицкого
- Записка Арсению Тарковскому от 10 сентября 1972 года – в статье Марины Тарковской
- Отрывки из писем Шаламова Людмиле Зайвой конца семидесятых годов – в ее мемуарах

---

### *Неопубликованная переписка Шаламова*

Сведения о неизданной переписке Шаламова читатель может почерпнуть в статьях «Фонд Шаламова в РГАЛИ» и «Материалы по Шаламову в других фондах РГАЛИ» данного сборника. По моим оценкам, не опубликовано порядка полутора сот писем Шаламова и его адресатов. К примеру: из 49 писем Шаламова Якову Гродзенскому опубликовано только 17, из 21 письма Александру Солженицыну – только 16 включая неотправленные, из 64 писем Юлию Шрейдеру – немногим более двух десятков, из 17 писем Надежде Мандельштам – 10, из 8 писем Борису Слуцкому – только одно, из шести писем Валентину Португалову – только одно и т.д.

Так же обстоит дело с письмами адресатов Шаламова: из 12 писем Натальи Столяровой опубликовано только 4, из 15 писем Федора Лоскутова – только 3, из 29 писем Аркадия Добровольского – 10, из 6 писем Федота Сучкова – только одно и т.д. Не опубликовано ни одного письма Александра Кременского, Виктора Фогельсона, Бориса Южанина и других.

Подробно со списком неизданного можно ознакомиться в Приложении к моему очерку «Московский рассказ. Жизнеописание Варлама Шаламова, 1960-80-е годы», хотя с выходом седьмого тома собрания сочинений Шаламова положение дел несколько изменилось. Впрочем, поправки внести несложно.

## **Поднадзорный**

### ***Из справки-ориентировки госбезопасности***

О Наталье Столяровой:

«В 1956 году, вернувшись в Москву, стала работать секретарем у Ильи Эренбурга. Хранила на его квартире рукопись книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». На второй день после смерти Эренбурга передала ее Солженицыну, с которым познакомилась еще в 1962 году на квартире писателя В. Шаламова».

Из оперативной справки-ориентировки ГБ. Б. Чехонин, «В коридорах Кремля и КГБ» [http://evartist.narod.ru/text16/006.htm#з\\_02](http://evartist.narod.ru/text16/006.htm#з_02)

---

### ***Шаламов под надзором ГБ***

«Какое-то количество документов, писем, [...] возможно, была похищена сотрудниками КГБ в ходе незаконных обысков, которые проводились на квартире писателя, находившегося под негласным наблюдением. [...] Вологодская картинная галерея (на чьем балансе и в чьем ведении находится Шаламовский дом) получила в 1996 году предложение приобрести рукописи писателя, которое «исходило от “частного лица” – как оказалось потом, офицера-пенсионера КГБ, который говорил, что «нашел рукописи в помойке» (!). На самом деле это был обыкновенный надсмотрщик за квартирой Шаламова».

Сергей Соловьев, «Создание виртуального архива Варлама Шаламова...» <http://shalamov.Ru/research/190>, со ссылкой на статью Валерия Есипова «Её называли Беатриче...» в четвертом Шаламовском сборнике, 2011

От составителя:

Соловьев умалчивает, что предложение Шаламовским домом было принято и рукописи выкуплены музейным работником вологжанкой

Мариной Вороно на деньги частного пожертвователя. Однако потом Сиротинская как владелица шаламовского наследия отобрала их у Вологодского музея, и сейчас они хранятся в РГАЛИ, где практически никому не доступны.

---

### ***Когда будут открыты материалы КГБ по Шаламову? Никогда!***

На сайте Алтайский край появилась подборка интервью <http://altapress.ru/story/80462>, приуроченная к истечению срока давности секретности архивов советской тайной полиции за 1937 год, ставший символом Большого Террора. Проинтервьюированы люди, хорошо знакомые с вопросом: директор музея «Память Колымы» в Ягодном Иван Паникаров, зампредела совета Мемориала Никита Петров, директор Государственного архива Алтайского края Галина Жданова и другие. По прочтении этих материалов у меня возникли следующие соображения относительно шансов когда-либо ознакомиться с послелагерной частью материалов по Шаламову, хранящейся у наследников «кровавой гэбни», хотя в кавычки это словосочетание брать, пожалуй, не следует. Сначала в двух словах о ситуации, связанной с рассекречиванием архивов НКВД-МВД-КГБ-ФСБ.

Иван Паникаров:

«Никто вот так запросто, несмотря на давность, не откроет нам архивы. [...] сегодня архив УВД Магаданской области, где хранятся дела бывших заключенных, отвечает на запросы примерно так: «Сведения предоставляются только родственникам...» Но процедура получения архивных документов, касающихся эпохи ГУЛАГа, и для родственников не так уж проста. К примеру, дочь разыскивает отца. Обращаясь в архив, она должна подтвердить родство, ей нужно предоставить копию свидетельства о рождении, где фигурируют родители, а она записана под фамилией отца. Далее – свидетельство о браке, где сказано, что она берет фамилию мужа...

[...] В архивах ГУЛАГа сотни тысяч дел, в которых фигурируют не только осужденные, но и свидетели, «стукачи», сексоты – как их рассекречивать, ведь у них дети и внуки могут быть.

[...] нашу нынешнюю власть прошлое мало интересует, поэтому и предстоит нам, исследователям, очередные мытарства и борьба с бюрократией. И нервы будут трепать все желающие – от высоких чинов до уборщиц архивов».

Галина Жданова:

«Закон на 75 лет ограничивает в архивах доступ посторонних лиц к документам, содержащим сведения о личной, семейной тайне и частной жизни граждан. Почему именно 75? Принято считать, что за это время происходит смена двух поколений, теряется прямая память и снижается возможный ущерб. Я была начальником отдела специальной документации 13 лет и просмотрела тысячи документов. Там действительно есть «горячая» информация. [...]

По истечении 75 лет право доступа к этим документам получит любой желающий, в 2012 году мы покажем ту часть дела, которая датируется 37-м. Правда, архивно-следственные дела из архивов службы безопасности в государственные архивы передали далеко не во всех регионах. У ФСБ нет читальных залов, и как там будут работать исследователи, неясно».

Никита Петров:

«Бюрократия использует установленные законом на охрану личной тайны 75 лет как рычаг, чтобы вообще не выдавать дела. «Творчески» развивая эти правила, в 2006 году придумали регламент, по которому до истечения 75-летнего срока, даже если человек мертв, на ознакомление с делом нужно разрешение родственников. Где искать родственников людей, расстрелянных в 37-м? И какое родственники имеют право распоряжаться документами государственных архивов? Жизнь предков им не принадлежит. Так сотрудники госструктур, ФСБ хотят снизить накал разговоров о прошлом, массовых репрессиях. «Мемориал» в прошлом году в Верховном суде добивался, чтобы все материалы дел на реабилитированных, не содержащие тайны личной жизни, были доступны независимо от 75-летнего срока. Но суд отказал.

[...] власти, прошедшие чекистскую школу, не заинтересованы в том, чтобы вести честный разговор о чудовищных преступлениях прошлого. Политика закрытия архивов сознательно ими культивируется».

Краевед Виктор Суманосов:

«По своей деревне, где я родился, нашел все, что возможно – всех репрессированных односельчан. Но передо мной стоит срок 75 лет, и я



жду, когда дела откроют. В 1937 году тринадцать человек в моей деревне забрали, восемь из них расстреляли, остальным дали по десять лет. [...] Людей, которые хотели бы отомстить, уже нет – ни кто сдавал, ни кого сдавали, ни тех, кто исполнял приказ. Именно поэтому к документам и ограничивают доступ на 75 лет».

От редакции:

*«Как «воспитывают» архивных работников и историков*

В декабре в Архангельске состоялся суд по скандальному делу Супруна – Дударева. Доктор исторических наук, профессор Михаил Супрун собирал сведения для Книги Памяти репрессированных немцев, содержащихся во время войны на территории Архангельской области. Александр Дударев, тогда начальник информационного центра областного УВД, предоставил исследователю доступ к архивно-следственным делам. В 2009 году Супруна обвинили том, что он нарушил неприкосновенность частной жизни, собрав сведения о пяти тысячах спецпоселенцев, составляющие их «личную или семейную тайну», а Дударева – в превышении должностных полномочий. В прессе периодически звучали мнения о фальсификации и абсурдности дела, однако Дудареву все же дали год условно. Дело Михаила Супруна закрыли за истечением срока давности, не став решать вопрос о виновности или невиновности историка».

\* \* \*

Вот еще на тему саботажа рассекречивания документов советской эпохи <http://ehorussia.com/new/book/export/html/1503>, из «Новой газеты», 2010.

«Для нынешних чиновников противоправная абсолютизация «личной тайны», с ее 75-летним сроком хранения, стала универсальным методом борьбы с исторической наукой, с учеными и их исследованиями. Хотя уже не раз объяснялось, что права мертвецов на личную тайну сомнительны и что ею могут считаться только интимные отношения и финансовое положение, а не биографические данные лиц, и уж тем более не их преступления и злоупотребления властью. Отказывая под фиктивным предлогом «защиты личной тайны» в выдаче дел по истории репрессий, чиновники тем самым цинично плюют на права жертв, но вместе с тем уважают и защищают права на сокрытие своих преступлений и злодеяний многочисленных палачей и стукачей, солдат и офицеров армии коммунистического террора.

75-летний срок секретности в архивах с начала нового века фактически негласно заменил установленный в действующем Законе об архивном деле 30-летний срок рассекречивания документов».

\* \* \*

И еще о доступности архивов советской тайной полиции на 2013 год:

«Уже много лет изучает историю сталинских лагерей старший научный сотрудник Поволжского филиала Института российской истории РАН в Самаре Алексей Захарченко. [...]

По словам историка, в России есть явный дефицит в комплексном, системном осмыслении и изучении «архипелага ГУЛАГа». Восполнить некоторые пробелы можно было бы за счет архивных документов. Но, сетует Захарченко, «по-прежнему нет свободного доступа к документам секретариата наркомата внутренних дел, многие материалы по истории отдельных лагерей, колоний, спецпоселений также засекречены».

С такой проблемой столкнулась и Мирьям Шпрау (Mirjam Sprau) из Центра исследований Восточной Европы Бременского университета, изучавшая систему лагерей на северо-востоке бывшего СССР в регионе Колыма-Магадан и, в частности, индустриального комбината «Дальстрой», созданного в ноябре 1931 года решением политбюро в первую очередь для добычи золота руками заключенных.

«По сравнению со значением этой лагерной системы, – указала Шпрау, – наши знания о ней пугающе малы, причем, не только у немецких историков, но и у российской общественности». Причину Мирьям Шпрау видит, среди прочего, в недоступности значительной части исторических архивов в Москве.

Она говорит даже о движении вспять: «В настоящий момент некоторые из открытых и уже обнародованных в 1990-е и в начале 2000-х годов документов снова оказались недоступны для исследователей». Весьма различны, по словам Шпрау, и условия работы в архивах на местах.

В государственном архиве в Магадане Мирьям Шпрау приняли хорошо, разрешили поработать с документами. А в местном партийном архиве дали только очень ограниченный доступ и строго следили, какие выписки она делает. В архив же магаданского ФСБ ее, как и российских историков, вообще не пустили».

Из статьи о выставке в Берлине, посвященной советским сталинским концлагерям, на немецком русскоязычном сайте RU.HABERLER, 05.28.2013 <http://ru.haberler.com/russian-news-277935/>

---

От составителя:

Итак, частично открыты и опубликованы Сиротинской предоставленные ей ФСБ – видимо, в порядке исключения – следственные дела Шаламова и отчеты осведомителей советской тайной полиции за период до 1960 года. Для всех очевидно, что слежка и наблюдение за Шаламовым велись до конца его дней, сопровождаясь санкционированными и «несанкционированными» обысками и изъятиями. Гебистская папка с донесениями стукачей на Шаламова и другими служебными материалами за период 1960-1982 гг. должна быть весьма увесистой. Для 1960 года период в 75 лет истекает в 2035 году. Для 1982 года этот период истекает, соответственно, в 2057-м. Прямых родственников у Шаламова не осталось. О дальних его родственниках я ничего не знаю. Иначе говоря, вполне может оказаться, что даже по истечении 75 лет карантин законным образом затребовать документы будет попросту некому, а посторонних к ним в законном порядке имеют право не допускать. Самое вероятное, что эти документы, представляющие собой ценнейшие материалы к шаламовской биографии, никогда открыты не будут, а если такое чудо и случится, то через десятки лет. Вывод и руководство к действию, в таком случае, формулируются сами собой: необходимо лишить спецслужбы монополии на укрываемую ими информацию путем обращения ко всем содержащим эту информацию альтернативным источникам. Зло не всесильно! Зло не должно заблуждаться относительно своих возможностей подчинять реальность инструкциям Министерства Правды!



## Шаламов в советском самиздате

### *«Колымские рассказы» в советском самиздате*

Клочок обширной темы, которой, надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь займется.

«Все вы знаете, что такое кооператив, особенно жилищно-строительный. А я вам расскажу о кооперативе самиздатовском, членом которого я состоял. Как известно, печатная база самиздата все еще слаба, и это просто трагедия. Так вот, чтобы исправить это трагическое положение, группа близких друзей решила создать кооперативное предприятие по перепечатке самиздата [...] Итак, мы решили открыть собственное издательство. Конечно же, наше издательство больше походило на обычное машинописное бюро. Каждый вложил в дело сколько мог. Сумма получилась не то чтобы очень внушительная, но все же немалая. Мы приобрели пишущую машинку, нашли честную, надежную машинистку и приступили к работе. Первой книгой нашего издательства была книга рассказов Варлама Шаламова. Тираж получился небольшой – всего 10 экземпляров, причем два последних читались с трудом. Но, лиха беда, начало. Книгу раскупили. Платили по 20 рублей за экземпляр. Вскоре, на вырученные деньги, мы приобрели роман Солженицына «В круге первом».

Диссидент Евгений Кушев в беседе на Радио Свобода, запись от 1976 года <http://www.svoboda.org/content/transcript/401018.html>

\* \* \*

«Мы в четыре руки перепечатывали с покойным Юрием Леонардовичем Болдыревым роман Солженицына «Раковый корпус». Я издавал в одном экземпляре альманах, который назывался «Вечер воспоминаний». Это перепечатки из откуда-то совершенно неожиданно появившихся в руках воспоминаний Ирины Одоевцевой, воспоминаний Ольги Ивинской. Это рассказы Варлама Шаламова лагерные, которые ходили в рукописях».

Саратовский музыкант Анатолий Кац в беседе на Радио Свобода о самиздате в советской провинции семидесятых годов <http://www.svoboda.org/content/transcript/24198164.html>

---

---

### **Самиздатские списки КР из архива Международного Мемориала**

Рано или поздно тема самиздатской, неподцензурной жизни «Колымских рассказов» в советском обществе, о которой Александр Даниэль справедливо говорит как о самостоятельной и насущной, станет предметом исследования. Для того, чтобы облегчить сбор материалов по этой теме, выкладываю в широкий доступ информацию о самиздатских списках КР, хранящихся в архиве Международного Мемориала. Вся информация предоставлена работниками Мемориала Михаилу Юрьевичу Михееву (в квадратных скобках – его примечания).

---

**Шаламов. Букинист.** (выделено жирным) 16 стр. [Ленинградская коллекция Самиздата; пагинация: сначала 1-экз. машинка: от 1 до 16, поверх нее карандаш: от 231 до 246] (1) санитаря «из больных»; (3) отточия перед: # - Кем же ты был на воле? # Все курсанты занимались ночи напролет. (4) # - Ты знаешь, какал самая большая тайна нашего времени? (5) – 2 отточия: (6, 7 и 14) по 1

Надгробное слово (9 страниц) [малый формат: в пол-листа; машинопись 2 экз., пагинация карандаш: от 222 до 230]

Ф.175. Оп. 17. **Список самиздата М.Н. Ботвинника** (выделено жирным):

Как это началось [на папиросной бумаге, 2-й экз., 7 стр.]

Мой процесс (10 стр.) [строк с отточиями – 19, причем иногда это – тире!]

Сгущенное молоко (2 стр.)

Ф.175. Оп. 20. **Е. Шаповал** (выделено жирным). [без общего оглавления]

«На представку» (7 стр.) [пагинация самостоятельная, машинопись, 1-й экз.]

Заклинатель змей (7 стр.) [пагинация самостоятельная, машинопись, 1-й экз.; наверху карандашом: Колымские рассказы; карандашом проставлено ударение над «о» в слове «романов» (хотя в след. экземпляре не проставлено)]

Татарский мулла и чистый воздух (8 стр.) [пагинация самостоятельная, машинопись, 1-й экз.; наверху карандашом: Колымские рассказы;]

Вейсманист (9 стр.) [пагинация самостоятельная, машинопись, 1-й экз.; наверху карандашом: Колымские рассказы;]

У стремени (8 стр.) [3-й или 5-й экз. машиноп.]

Надгробное слово (15 стр.) [пагинация самостоятельная, машинопись, 1-й экз.; наверху карандашом: «Артист лопаты»;]

«Сучья» война (25 стр.) [пагинация самостоятельная, машинопись, 1-й экз.; наверху карандашом: «Очерки преступного мира»]

[очень зачитанный и потерянный 2-й экз-р машинописного текста, подборка рассказов подряд:] Ягоды (1). Заклинатель змей (2); Как это началось (5); На представку [без кавычек!] (10); Надгробное слово (14-18).

---

См. также статью «Промежуточное звено. Самиздатский сборник «Колымских рассказов», ок. 1965 года» в данном сборнике.

---

## *«Колымские тетради» в самиздате в восьмидесятых годах*

«Хоть и много говорилось на вечере [памяти Шаламова в Москве - при. составителя] о творческом наследии, и специальная комиссия создана, а умолчали, что проза-то выдающегося советского прозаика так и не дождалась своего часа на родине. И шесть книжек поэзии ходят по рукам в машинописи, незалитованно».

Владимир Пимонов, «Рукописи не горят. Горят люди», газета «Русская мысль», Париж, 31 июля 1987. Электронная версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/283955.html>

---

«За 16 лет, начиная с 1961 года, вышло пять поэтических книжек Шаламова – «Огниво», «Шелест листьев», «Дорога и судьба», «Московские облака», «Точка кипения». Но все пять книжек вместе с журнальными публикациями, включая и две в «Вестнике РХД» (№№ 133, 137), – малая часть поэтического наследия Варлама Шаламова.

Большая часть стихов собрана самим поэтом в шесть поныне существующих в Самиздате больших поэтических книг (от 70 до более ста машинописных страниц), объединенных общим названием – «Колымские тетради» и эпиграфом Александра Блока:

И пусть над нашим смертным ложем  
Взвывается с криком воронье, –  
Те, кто достойней, Боже, Боже,  
Да узрят царствие твое!

Есть название у каждой из «Колымских тетрадей» – «Синяя тетрадь», «Сумка почтальона», «Лично и доверительно», «Золотые горы», «Кипрей», «Высокие широты», – но хронология в них не соблюдается, включены в них стихи и более позднего, не «колымского» (1937 – 1956) времени.

Параллельно с «Колымскими тетрадями» существуют и стихи разных периодов, соединенные в тематические циклы».

Владимир Рябоконт, из вступительной статьи к подборке стихов Шаламова «На похоронах» (Цикл стихотворений, посвященных Борису Пастернаку), газета «Русская мысль», Париж, 1988, 8 июля. Элек-

тронная версия статьи – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/299319.html>





## Письмо в «Литературную газету», 1972

### *Подлинная история «Письма в ЛГ»*

Отсылаю к дневнику Александра Гладкова за первую половину 1972 года в данном сборнике, где история «Письма в ЛГ» излагается со слов самого Шаламова. Для тех, кому лень, цитата по сути дела:

«(34) 23 фев. Сегодня в «Лит. газете» письмо в редакцию В. Шаламова. А только вчера я послал ему записку с предложением встретиться в воскресенье. Любопытно, что заставило его так написать? Беспричинно это не делается. Он не член Союза и там давление на него оказать вряд ли могли. Но его книжка стихов в плане «Сов. пис.». И все же меня это письмо удивило. В нем говорится, что «проблематика “Колымских рассказов” снята жизнью».

(38) 28 фев. В 2 часа еду к Шаламову. Он рассказывает мне историю своего письма в редакцию. Как я и думал, у него заблокировали книгу стихов в «Сов. пис.» и цикл стихов в «Лит. газете». При выяснении причин узнает, что всё упирается в Союз писателей. Он не член Союза. Разговор с Марковым. – Мы вас примем, но вот вас всё печатают за рубежом. Мы знаем, что Вы сами не передаете, что это делается без разрешения, но напишите мне об этом, а я покажу это письмо в приемной комиссии... В.Т. написал, Марков передал письмо, выбросив обращение и один абзац, в «Лит. газету». Но В.Т. ни о чем не жалеет и настроен задорно. Он хочет вступать в Союз. Вся беда в его полной оторванности от литер. среды и общей ситуации, с которой он не мог соразмерить своих поступков. И он искренне не понимает, как его письмо могут повернуть против [Владимира] Максимова, например, [Наума] Каржавина или еще кого-то. В.Т. даже не знал об исключении Галича [из Союза писателей и Союза кинематографистов – прим. составителя]. Но я не стал ему этого объяснять. Мне стало очень жалко его и я виню и себя в том, что, хорошо относясь к нему, редко с ним встречался, – в сущности, он жил в полной изоляции, усугублявшейся его глухотой и болезнями, бедностью и пр.»

Напомню, фоном шаламовского «Письма» служит суэта вокруг попыток Шведской академии вручить Солженицыну на частной квартире присужденную полутора годами раньше Нобелевскую премию, злобные ответные меры советских властей и кампания против «инакомыс-

лящих», сопровождающаяся обысками и различными санкциями. Шаламов, как справедливо пишет Гладков, живет в полной изоляции и, по-видимому, не отдает отчет, как будет воспринято злополучное «письмо» либеральной интеллигенцией. Думаю, что рыбаковский «негодяй» – типичная реакция этой среды. В какой-то мере ее оправдывает абсолютное незнание истинных обстоятельств трагической заграничной судьбы «Колымских рассказов», но правду удушаемый Шаламов рассказать не мог. Впрочем, даже зная правду Сиротинская сурово осудила своего «великого друга», хотя только теперь понятно, за что.

Из рассказа Гладкова выясняется, что письмо адресовалось в приемную комиссию Союза писателей, а в «Литературную газету» было передано первым секретарем правления этой организации Георгием Марковым – при том, что задним числом «В.Т. ни о чем не жалеет». Иначе говоря, сам Шаламов не планировал вызванный письмом резонанс, резонанс – и последующий остракизм – следствие провокации, в которой достаточно кулуарный документ был размножен гигантским тиражом как открытое письмо Шаламова под шапкой «В редакцию «Литературной газеты», принадлежащей не автору, а использовавшим его провокаторам. Что ж, провокация удалась на славу, имя Георгия Маркова не забудут. Интересно, сохранился ли в архиве Союза писателей или «Литературной газеты» подлинник шаламовского письма с марковской правкой?

Примечательно, что Сиротинская, полностью посвященная в эту историю, как обычно, извращает действительность: неподходящие, по ее мнению, выражения, она вычеркивала не из «Письма в ЛГ» – никакого «Письма в ЛГ» тогда не было – а из черновика письма Шаламова для членов приемной комиссии Союза писателей (причем даже к этому письму отнеслась отрицательно). «Письмо в ЛГ» было для нее таким же громом с ясного неба, как для всех остальных – под этим углом и следует рассматривать главку «1972 год» ее мемуара, ведь ничего подобного она не предвидела. Теперь поведение персонажей драмы выглядит куда понятнее и логичнее:

«Для меня это было крушением героя. Я (вообще-то совсем не плакса) ревела целую неделю. Насколько умнее меня был мой сын Алеша, совсем тогда еще мальчик двенадцати лет. Он сказал:

– Мама, как ты можешь судить его, оставлять. Этого я от тебя не ожидал.

Вскоре позвонил В.Т., и я пошла к нему. Он встретил меня, буквально заливаясь слезами, говорил, что он не такой, каким я его себе

представляла, что только в яму и должен был свалиться... В общем, тяжелая и грустная была встреча.

Я с трудом преодолела, а в полной мере уже никогда не преодолела какое-то отчуждение в себе».

(Сиротинская, «Мой друг Варлам Шаламов»).

С учетом рассказанного Гладковым психологически все достоверно, не правда ли?

Куда достовернее становится и навязчивое «советский писатель» в письме: «моим честным именем советского писателя», «честный советский писатель», «уважающий себя советский писатель», – ведь именно статус Шаламова как «советского писателя» и будет рассматриваться членами комиссии по приему в СП, он вовсе не безусловен, как пытается уверить Шаламов, понимая, что дело не в «советскости» писателя, а в позе подчинения, которая должна убедить негодаев, что враг повержен и можно принять его в лоно победившей организации негодаев и провокаторов. Но прежде нужно, чтобы он публично «свалился в яму», растоптать окончательно.

В письме другому советскому литературному бонзе, с которым, однако, у Шаламова сохранялось некое подобие человеческого контакта, Леониду Тимофееву, отправленном четыре дня спустя после публикации «Письма в ЛГ», слово «советский» не упоминается вообще – Шаламов пишет по существу высказанного: «Главный смысл моего письма в «Литературную газету» в том, что я не желаю сотрудничать с эмигрантами и зарубежными благодетелями ни за какие коврижки, не желаю искать зарубежной популярности, не желаю, чтобы иностранцы ставили мне баллы за поведение». Здесь все чистая правда – с некоторого времени действительно не ищет и действительно не желает.

Понятно также, почему одновременно с написанием «Письма в ЛГ», 15 февраля, Шаламов запрашивает у Сергея Наровчатова и Арсения Тарковского рекомендации в ССП: «Я прошу Вас дать мне рекомендации в члены Союза писателей. Я подал заявление в секцию поэзии и буду приниматься по трем книгам», – ведь письмо пишется в приемную комиссию ССП, а не в его печатный орган, все четыре бумажки: заявление, рекомендации и письмо, – должны подаваться в комплекте, подкрепляя друг друга. Становится вразумительной и чисто «ведомственная» фраза в письме, обращенная уж никак не к «господам из «Посева» и их хозяевам», а к канцелярским крысам совписа: «Инвалидность моя не даёт мне возможности принимать активное участие в общественной деятельности». Некоторое объяснение получает даже странное утверждение, что «проблематика «Колымских рас-

сказов» давно снята жизнью» – его ведь можно повернуть и так, как это сделано Шаламовым в написанной тогда же «Вставной новелле»: «Скажите, зачем вы это делаете? – спрашивает следователь ГБ пойманного за распространением «Колымских рассказов» Гусяка. – Ведь ничего этого нет. Вы объехали вдоль и поперек всю Колыму, ведь ничего подобного нет». И довод следователя по-своему убедителен, по крайней мере в обстановке того официального не то разговора, не то допроса, который предстоит Шаламову на комиссии. А после официального кулуарного разговора он вернется домой и напишет леденящие «Перчатку» и «Тачку» – правда, уже не для «белогвардейских изданий», а «в стол».

Изложенная в двух словах, подлинная история «Письма в ЛГ» выглядит так. Сборник «Московские облака» четыре года тормозится издательством «Советский писатель», журнал «Юность» и «Литературная газета» прекращают печатать поэтические подборки Шаламова. В ходе антисолженицынской и антидисидентской кампании выясняется, что не будучи членом Союза писателей Шаламов не может рассчитывать ни на издание книги, ни на журнальные и газетные подборки стихов. Камнем преткновения служит отсутствие у него членского билета организации. Марков, Полевой и Фогельсон предлагают устранить эту помеху вступлением в ССП, для чего, подсказывает первый секретарь Союза писателей, Шаламову нужно написать в комиссию объяснительную записку известного содержания. Шаламов охотно пишет. Марков, отредактировав письмо, передает его в редакцию «Литературной газеты», на страницах которой и появляется «Письмо в ЛГ», превращающее Шаламова в прокаженного, чего он поначалу не понимает, зато хорошо понимает Солженицын: «Умер Шаламов».

Вот вкратце что касается «Письма в «Литературную газету», родившегося как таковое в невольном соавторстве Шаламова с Георгием Марковым и требующего внятного комментария. В русло жестокого публичного конфликта с либеральной общественностью это сделанное в тактических целях верноподданническое – а иначе его не назовешь – заявление перенаправила полицейская провокация.

Для тех, кому интересно – полемика с Григорием Гольдштейном по поводу вышесказанного в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/226572.html>

***Петр Якир. Открытое письмо Варламу Шаламову, 1972***

«НОВОСТИ САМИЗДАТА

[...] 13. ПЕТР ЯКИР. «Честному советскому писателю Варламу Шаламову». 29 февр. 1972 г. Высоко оценивая творчество своего адресата и его нравственные качества, автор выражает ему свою жалость в связи с обстоятельствами, заставившими автора «Колымских рассказов» «подписать» письмо в «Литературную газету», опубликованное в ней 15 февраля [23 февраля – прим. составителя]. Шаламову адресуется «только один упрек» – по поводу его фразы, что «проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью».

«Хроника текущих событий», выпуск 24, 1972, на сайте Мемориала <http://www.memo.ru/history/diss/chr/chr24.htm>

От составителя. К сожалению, самого текста «открытого письма» Якира нигде не нашел.



***Сергей Заграевский. Моисей Авербах и «Письмо в ЛГ»***

«О накале страстей в то время говорит такой факт: когда в 1973 году Варлам Тихонович Шаламов в надежде вступить в Союз Писателей послал покаянное письмо в «Литературную газету», где очень обтекаемо написал, что «проблематика Колымских рассказов снята самой жизнью», ему, «отступнику», было немедленно отказано от дома Моисея Наумовича и, насколько я понимаю, от других «приличных» мест. Думаю, что Шаламову было не легче оттого, что его приняли в Союз Писателей».

Сергей Заграевский, «Мой дед Моисей Авербах», опубликовано на сайте автора [http://rusarch.ru/averbach/averbach\\_pers\\_zagraevsky.htm](http://rusarch.ru/averbach/averbach_pers_zagraevsky.htm)

---

**Михаил Геллер о «Письме в ЛГ» в польском журнале «Культура», Париж, 1972**

«В литературной жизни Советского Союза последних месяцев стоит отметить одно событие, увы, явно нелитературного характера. «Литературная газета» опубликовала письмо автора «Колымских рассказов» – поэта и писателя Варлама Шаламова, изобразившего сталинские лагеря с реализмом и правдивостью, которые можно сравнить только с солженицынскими, письмо, в котором Шаламов отказывался от своего произведения, утверждая, что все то, о чем он писал, давно перестало быть актуальным. «Колымские рассказы» никогда не печатались на родине писателя, а публиковались в русских эмигрантских журналах, были переведены на многие иностранные языки. И вдруг Шаламов, проведший около 20 лет в лагерях, не выдержал нового нажима и сломался, изменил самому себе. И страшная закономерность предательства: писателя сначала заставили отказаться от своих книг, а потом писать «то, что нужно». В очередном номере журнала «Юность» опубликовано стихотворение Шаламова, которого в свое время хвалил Пастернак, воспевающее дружбу египетского и советского народов, воздвигших Асуанскую плотину, «важнее которой нет, наверно, в целом мире».

Из обзора печати за июнь 1972 года в польском эмигрантском журнале «Культура», Париж. Электронная версия в книге Михаила Геллера «Российские заметки, 1969-1979» на сайте Центр Ельцина <http://www.yeltsincenter.ru/books/rossiiskie-zametki-1969-1979>

Напомню, Михаил Геллер – будущий составитель двух первых сборников прозы Шаламова на русском: «Колымские рассказы», Лондон, 1978 (единственный прижизненный) и «Воскрешение лиственницы», Париж, 1985. Видно, что Геллер совершенно не представлял себе ни ситуации, в которой оказался Шаламов, ни предыстории зарубежных публикаций КР в русских журналах. В дальнейшем, продолжая пребывать в неведении, он, насколько я знаю, уже ни словом не осудит Шаламова, а осудит Романа Гуля.\*

\* *«Судьба наносит писателю, быть может, самый страшный удар. «Кольмские рассказы», попав на Запад, не выходят книгой, а печатаются на протяжении многих лет, по одному-два, вразброс, бессистемно, нередко «исправленные». Как если бы картина Рембрандта, обнаруженная на чердаке, была разрезана на мелкие куски, а потом демонстрировалась как куча обрезков».*

*Михаил Геллер, «Последняя надежда»*

---

**«Письмо в ЛГ». Ответ журнала «Посев» «Литературной газете», 1972. Лев Рар**

В апрельском номере эмигрантского НТС-овского журнала «Посев», №4 (1179), 1972 год, был напечатан блок материалов, посвященных «открытому письму» Шаламова в «Литературную газету». Блок состоит из редакционного введения, текста шаламовского «Письма в ЛГ», ответа «Литературной газете» редактора «Посева» Льва Рара, отклика «друга Шаламова», подписавшегося «Бродячий актер», и открытого письма Шаламову сотрудника журнала рецензента С. Горянова.

Комментарии курсивом мои.

---

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ! — АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

# ПОСЕР

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

*Выходит за рубежом ежемесячно*

Год XXVIII

Апрель 1972 г.

№ 4 (1179)

## СОДЕРЖАНИЕ

МОСКВА. По году за минуту демонстрации. Суд над Надеждой Емелькиной (2). — Новый самиздатский журнал «Обзорение» (3). — Буковскому метят. Обращение к Курту Вальдхайму (ООН) Инициативной группы защиты прав человека в СССР (4). — Лживый и подлый репортаж. По поводу статьи «Биография подлости». Сергей и Татьяна Ходорович (5). — Письмо в редакцию «Таймс». Юрий Глазов, Юрий Штейн, Юрий Титов, Александр Вольпин, Владимир Гершович (7).

ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ (8).

ДЕЛО ШАЛАМОВА. Не тот почерк. В редакцию «Литературной газеты». Варлам Шаламов. — Ответ «Литературной газете». Лев Рар (9). — Последний страшный рассказ. Бродячий актер. — Под письмом стоит Ваша подпись. С. Горянов (10).

### ДЕЛО ШАЛАМОВА

#### НЕ ТОТ ПОЧЕРК

На опубликованное в «Литературной газете» «Письмо в редакцию Варлама Шаламова» мы послали туда же свой ответ, «Литературной газетой», конечно, не напечатанный. Кроме того, мы получили для опубликования два письма — одно от друга Варлама Шаламова, а другое от его почитателя. Мы публикуем ниже все эти документы для



сведения наших читателей, а также в надежде, что увидит этот материал и сам Варлам Шаламов. Можно было бы воздержаться от дальнейших комментариев. Но встает вопрос: почему понадобилась публикация протеста и всей связанной с ним дезинформации именно сегодня, через пять лет после опубликования рассказов Варлама Шаламова в «Посеве»? Ясно, что это – один из элементов общей кампании нажима на писателей, попытка лишить их отвоєванного уже права печататься в Самиздате и за границей – мы знаем о кампании против Солженицына и Галича, слышим о давлении на Максимова. Мы утверждаем; когда поддается давлению один, положение других становится более трудным. Из-за этого мы верим, что прав «Бродячий актер», кончающий свое письмо словами: «Прощай, Варлам! А, может быть, еще – до свидания?» – Ред.

[ТЕКСТ ПИСЬМА ШАЛАМОВА В «ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ»  
<http://shalamov.ru/library/24/73.html> – сост.]

#### ОТВЕТ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ»

Гражданин редактор!

В выпуске от 23 февраля Вы напечатали письмо в редакцию, под которым поставлена подпись Варлама Шаламова.

Принимая во внимание, что редактируемый мною журнал упоминается в этом письме семь раз, Вам следует напечатать мои поправки к нему.

Автор письма утверждает, что знаком с «Посевом» уже многие годы, так как говорит, что «и в прошлые годы, и сейчас «Посев» был, есть и остается изданием, глубоко враждебным нашему строю, нашему народу».

Я не собираюсь вдаваться в споры об отношении «Посева» к строю и народу, а также об отношении, которое он встречает в стране. Но если автор письма действительно уже давно и хорошо знаком с «Посевом», то он должен был заметить, что рассказы Варлама Шаламова мы печатали всего один-единственный раз, в выпуске от 7 января 1967 года («Почерк» и «Калигула»). Он заметил бы тогда, что мы печатали рассказы с оговоркой, что получили их из страны, где они ходят в списках по рукам.

Таким образом, это выдумка автора письма, будто мы печатали «по рассказу-два в номере», чтобы «создать у читателя впечатление, что я

(подразумевается Варлам Шаламов. – Л. Р.) их постоянный сотрудник».

Рассказы Шаламова печатал также литературный журнал «Грани», выходящий в нашем издательстве. Тут в двух выпусках – в июле и октябре 1970 года – было напечатано 15 рассказов, причем опять-таки редакция подчеркнула, что рассказы «распространяются почитателями его таланта в списках» и таким образом попадают за границу.

Первый напечатанный нами рассказ Варлама Шаламова (а таким образом и вообще первый напечатанный его рассказ\*, ибо в России его проза не печатается) назывался «Почерк». И мы обратили внимание именно на почерк опубликованного Вами «письма в редакцию», под которым стоит подпись Варлама Шаламова. Необходимо отметить, что почерк этот совсем не тот!

Лев Рар,  
главный редактор «Посева»\*\*  
Франкфурт/ Майн,  
8 марта 1972 года

---

*Примечания составителя*

\* Рар заблуждается относительно приоритета «Посева» – первый «колымский рассказ» Шаламова, «Стланик», был опубликован в советском журнале «Сельская молодежь» в 1965 году.

\*\* Также сотрудник Радио Свобода, ведущий программ «Не хлебом единым», «Балтийский маяк», «Партнер – Германия» и др. Пользовался псевдонимом Алексей Ветров.

От составителя

Возможно, Шаламов читал этот номер журнала «Посев», вернее, подборку материалов, озаглавленную «Дело Шаламова», или, скажем, ее ксерокопию, фотокопию. Возможно, даже в редакции «Литературной газеты», куда «Посев» направил официальный ответ – там Шаламову могли показать письмо Рара. Вот фрагменты записи из его дневника <http://www.booksite.ru/fulltext/1sh/ala/mov/24.htm>:

«Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление мое, его язык, стиль принадлежат мне самому. [...]

Если бы речь шла о газете «Таймс», я бы нашел особый язык, а для «Посева» не существует другого языка, как брань. Письмо мое так и написано, и другого «Посев» не заслуживает».

Сиротинская в комментарии пишет, что эта запись сделана Шаламовым «для себя» в феврале 1972 года, но я не доверяю ее датировкам. В интервью Джону Глэду она даже уточняет: «кажется, 23 февраля». Однако 23 февраля – это дата выхода номера «Литературной газеты» с письмом Шаламова, так что тут очевидная произвольная подстановка. Запись могла быть сделана в марте, в апреле – в опубликованном дневнике она просто отсутствует, почему, непонятно. Многие датировки Сиротинской приблизительны и ненадежны. Кроме того, не думаю, что запись сделана «для себя». Конечно, никакая советская газета не напечатала бы заявления, где говорится, что для газеты «Таймс» Шаламов нашел бы особый язык и что для советского государства он представляет собой бесконечно ничтожную величину, да и весь характер декларации не газетный. Тем не менее, в записи «для себя» не лгут: «Я никогда не давал своих рассказов за границу», – это прямая ложь. Предположу следующее: запись – в отсутствие какого бы то ни было реального – адресована воображаемому читателю (или оппоненту), которого «письмо в ЛГ» Шаламова привело в искреннее недоумение, как, например, Александра Гладкова. Хороший предмет исследования для психологов.

Электронная версия материала – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/251789.html>

Сканы страниц «Посева», №4 (1179), 1972, с материалами, посвященными шаламовскому «Письму в ЛГ», архив с файлами, ZIP, 8,7 МБ [https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shalamov\\_Posev\\_1972.zip](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shalamov_Posev_1972.zip)

---

**«Письмо в ЛГ». Ответ журнала «Посев» «Литературной газете», 1972. Аноним**

ПОСЛЕДНИЙ СТРАШНЫЙ РАССКАЗ

Письмо в редакцию «П о с е в а»

Шаламов страшный писатель. Вот уж, действительно, жестокий талант. Его «Колымские рассказы» – это жуткий парад лагерных доходов: цинготники, дистрофики, калеки, обезумевшие от голода и холода, теряющие последние силы в борьбе за свое жалкое существование. А над ними – свирепое лагерное начальство и безучастные паразиты «вольняжки». Именно такой была жизнь политзаклученных на Колыме в конце тридцатых годов.

Прииски, лесозаготовки, лагерные больницы, «исторические» персонажи вроде доктора Доктора, сцены звериной беспощадности – всё это изображено Шаламовым потрясающе. Прошедший в те же годы все круги колымского ада, свидетельствую: в этих кошмарных рассказах – всё правда. Эта же лагерная правда у Солженицына как-то выше, светлей. Ну, что ж! Шаламову не привелось побывать в круге первом. У него такой угол зрения. И всё же, как бытописатель советских концлагерей, Варлам Шаламов идёт сразу за нашим живым классиком. Конечно, от одного до другого дистанция огромного размера, но между ними поставить некого. Е. Гинзбург и А. Марченко это всё же «хроника» и «показания». Л. Гроссман [имеется в виду Василий Гроссман – прим. составителя] тоже стоит особняком. Он пишет о лагерях удивительно верно, а всё же чувствуется, что – с чужих слов.

О достоверности описаний Шаламова сужу уже по тому, как он изобразил в рассказе «Эсперанто» моё с ним знакомство за кулисами лагерного театра. В основном всё верно. Всё правда.

Но вот, на днях, я прочел в «Литературной газете» последний страшный рассказ Шаламова – «письмо в редакцию»: я – честный советский гражданин, я – честный советский писатель... антисоветский журнальчик «Посев» публикует в своем клеветническом издании мои «Колымские рассказы»... Зловонный антисоветский листок... Господа из «Посева» и их хозяева, пышущие ненавистью к нашему народу, и так далее и тому подобное.

Я ахнул. – Да что это ему (опять!) пальцы дверью прищемили? Ни один писатель Самиздата коль скоро его не печатают дома – не «отмежевался» от своих произведений, появившихся в Тамиздате «без ведома и согласия автора».

Явно ощущается все же, что Шаламов только соавтор этого письма. Небось, махнул своей костлявой, дрожащей рукой: Э! чем хуже, тем лучше... Люди поймут и простят меня шестидесятипятилетнего инвалида. Неужели не почувствуют, что этот «протест» у меня вырвали?

Со временем станет известно, к а к добились своего организаторы этого письма. Наверно, действовали пряником, а больше – кнудом.

Могли так или иначе сыграть на близких людях старика. Это они умеют... А, может быть, приложил руку лунцеподобный врач-палач...

Самое чудовищное в этом самоотречении писателя утверждение, будто «проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью». Ох, если бы! А что скажут Марченко, Буковский и тысячи других политзаключенных? Восемь лет назад Леонид Леонов предрёк, что у нас о лагерях будут писать еще лет восемьдесят. Да, писать будут. Надо писать.

Литературные надзиратели остановили перо Шаламова. Но он навсегда останется в истории русской литературы, как автор жутких рассказов о «нашей счастливой эпохе».

Прощай, Варлам!

А, может быть, еще – до свидания?

Бродячий актёр\*

9. 3. 1972 г.

-----

Автор этого письма – личный друг Варлама Шаламова. Если Шаламов прочтет это письмо – он узнает автора. Узнает – по когтям – и КГБ. Особые соображения, однако, не дают возможности раскрыть его псевдоним и для читателей журнала. – Ред.

---

*\* От составителя. Действительно, в рассказе Шаламова «Эсперанто» так зовется рассказчик, конферансье лагерного театра, эсперантист, который «был на воле большим актером». Единственное, что приходит в голову относительно личности автора – Николай Рытьков (1913-1973), диктор русской службы Би-Би-Си, бывший актер, эсперантист, лагерник-колымчанин, в середине шестидесятых бежал на Запад. Но это, конечно, только предположение.*

Электронная версия материала – в блоге «Варлам Шаламов и концентральный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/252078.html>

---

---

**«Письмо в ЛГ». С. Горянов. Открытое письмо Варламу Шаламову, журнал «Посев»**

ПОД ПИСЬМОМ СТОИТ ВАША ПОДПИСЬ

Открытое письмо Варламу Шаламову

Варлам Тихонович!

Трудно поверить, что Вы могли написать подобный пасквиль или хотя бы дать согласие на его опубликование. Суконный язык, словно бы из райкинских скетчей, неуёмная злоба и беспардонная ложь с головою выдают подлинных авторов.

Достаточно упомянуть, что Ваши рассказы в «Новом журнале» сопровождались специальным примечанием о том, что печатаются они без ведома и согласия автора, а «Посев» (тоже с упоминанием: «получены нами из России... ходят в списках по стране») напечатал только два Ваших рассказа в одном номере, да и то пять лет тому назад.

Замысел кагебистской провокации по отношению к Вам прост: показать, что поэт Шаламов, «человек трудной судьбы», потерявший здоровье и годы жизни в сталинских лагерях, не в пример иным «упрямым» собратям по перу, дорожит своей честью советского писателя и гневно клеймит происки закордонных идеологических диверсантов. Или, говоря поглубей и попроще: показать, что Шаламов ссучился.

Я уверен, что провокация была осуществлена без Вашего ведома. *Но под письмом в «Литературной газете» стоит Ваша подпись.* И если Вы во всеуслышанье не откажетесь от приписываемой Вам подлой роли, Вы перечеркнете всю Вашу жизнь поэта и человека.

Вспомните Ваши гордые строки:

«Меня застрелят на границе,  
Границе совести моей,  
И кровь моя зальет страницы,  
Что так тревожили друзей».

Увы! КГБ уготовил Вам куда более прозаическую роль стукача. И всего-то от Вас ожидают маленькой бескровной сделки с совестью. Вам достаточно просто промолчать.

Но как расценят Ваше молчание Ваши друзья и читатели? Как посмотрите Вы в глаза Надежде Яковлевне Мандельштам, которой посвятили стихотворение, и что скажет Александр Галич, посвятивший Вам одну из лучших своих песен?

Как будущий историк русской литературы объяснит, что одна и та же подпись стоит под фразой «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью...» и стихотворением:

Стихи – это стигматы,  
Чужих страданий след,  
Свидетельство расплаты  
За всех людей, поэт.

Искать спасенья будут  
Или поверят в рай,  
Простят или забудут...  
А ты – не забывай.

Ты должен вечно видеть  
В чужих страданий свет,  
Любить и ненавидеть  
За всех людей, поэт.

Ну, а если Вы все же промолчите? В конце концов Вам 65 лет, Вы – инвалид. После всего пережитого нелегко рисковать немногими оставшимися годами спокойствия. Кто решится бросить в Вас камнем?

Но Вы-то знаете, что в полдень 25 августа 1968 года вышли на Красную площадь семь человек. Семеро из многих миллионов.

Но рядом с Вами живет академик Сахаров, презревший покой и почести, ставший адвокатом рабов, героев и молчаливых.

Но из психотюрем и спецлагерей доходят до нас голоса Буковского, Григоренко, Галанскова...

В борьбе за свободу надо знать самому (и чтоб другие знали!), на чьей стороне находишься.

Для совести алиби не существует, как не существует скидок на старость и инвалидность. Право выбора позиции сегодня – моральный долг. По крайней мере для тех, кто понимает, что это не отвлеченный вопрос, а насущная потребность. Вы понимаете. Вы сказали в замечательном стихотворении об Аввакуме:

Наш спор – не церковный

О возрасте книг,  
Наш спор – не духовный,  
О пользе вериг.

Наш спор – о свободе,  
О праве дышать,  
О воле Господней  
Вязать и решать.

Каждое малое действие (и бездействие!) любого из нас ложится сегодня на ту или иную чашу весов. Когда больного Твардовского угоняли ехать в Калугу вызволять из психобольницы Жореса Медведева, ему ехать не хотелось. Позже он рассказывал: «Но я вспомнил библейское: «Если не я, то кто же, и если не сейчас, то когда же?» – и мои сомнения отпали».

Если не сейчас, то когда же?

С. Горянов\*

12. 3. 1972 г.

---

*\* От составителя. С. Горянов известен еще одной статьей в «Посеве» – «С позиции борца» (1974, №4). О чем она, не знаю, электронной версии номера в Сети нет. Эмигрант Горянов или советский гражданин, тоже не знаю.*

Электронная версия материала – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/252283.html>

---

### **Вокруг шаламовского «Письма в ЛГ»**

В целом общественная реакция на шаламовское «Письмо в ЛГ» была резко негативной, но некоторый спектр отношения все же присутствовал – осуждали, но по-разному, а некоторые даже оправдывали.



Ниже подборка свидетельств о реакции современников на письмо Шаламова.

«После того как Шаламов обругал меня за Солженицына (это было в 1969 году), я перестал встречаться с ним, но окончательный разрыв, когда я не ответил на его приветствие при встрече в ЦДЛ, произошел после появления 23 февраля 1972 года письма Шаламова в редакцию «Литературной газеты». [...] И.С. Исаев, товарищ Шаламова по Колыме, говорил мне, что письмо Шаламова в «Литературной газете» было напечатано с изменениями и добавлениями, сделанными без его ведома».

Александр Храбровицкий в книге «Очерк моей жизни. Дневник. Встречи» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/196238.html>

\* \* \*

«...и люди, и позиции тех, кто писал о Колыме были тогда очень разными, и я знал обо всех. Но противостояние Шаламова мне было ближе всего. И потому, когда появилось письмо в «Литературной газете», я написал ему, что считаю это недостойным. Хотя мне кажется – не отправил это письмо, просто перестал ему звонить».

Сергей Григорьянц, воспоминания о Шаламове, см. в данном сборнике

\* \* \*

«На фоне признанной репутации Шаламова как несгибаемого героя для многих оказалась неожиданным ударом публикация в 1972 году письма В. Шаламова в «Литературную газету» с «отречением» от вышедшей на Западе книги его «Колымских рассказов». Лично я не считаю этот документ отречением – это был способ спасти хоть какие-то возможности публиковаться в своей стране (а для него важно было публиковаться именно в своей стране). Никто не вынуждал Шаламова писать такое письмо. Это я утверждаю с его слов, сказанных спустя день-два после того, как письмо было напечатано. [...]

Могу сказать честно, что у меня и мысли не было о том, что я имею право его судить. Но многие присвоили себе такое право. Общественное мнение ждало от Шаламова большей непреклонности».

Юлий Шрейдер, «Варлам Шаламов о литературе» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/37970.html>

«После этой публикации многие от него отшатнулись, вокруг него создалась почти пустота. Лично я даже внутри себя не могу давать никаких оценок поведению Шаламова. Его нравственное чутье несравненно выше моего».

Юлий Шрейдер, «Правда Солженицына и правда Шаламова»  
[http://www.booksite.ru/varlam/creature\\_31.htm](http://www.booksite.ru/varlam/creature_31.htm)

\* \* \*

«В 1972 году, когда Варлам Шаламов опубликовал в «Литгазете» свое покаянное письмо (или подписал текст, написанный закосневшей гэбистской рукой), помню, я ужасно огорчилась. И в компании коллег, попивавших кофе в литгазетовском буфете, сказала что-то, Шаламова осуждающее. Мол, как мог человек, пройдя через долгий кошмар лагеря, сломаться в ту пору, когда ничего серьезного ему уже не грозило, написать, что проблематика колымских рассказов снята жизнью. И как это ужасно выглядит на фоне поведения Солженицына. И тут Лев Малкин, один из самых ярких авторов тогдашнего отдела науки, произнес: «Девочка, что ты знаешь о лагерях?» Сам-то он о лагерях немало знал: был взят в 1949-м студентом мехмата МГУ и по делу, не совсем уж вымышленному: был какой-то студенческий кружок, рассуждали о государственном устройстве, додумались до того, что в стране диктатура, кто-то стукнул – как же тут в заговоре против Сталина не обвинить? И вот этот человек, убежденный противник режима (ничуть не скрывал), нам, щенкам, объясняет, что у нас нет права осуждать Шаламова. А Солженицын – дело другое, он это право выстрадал».

Алла Латынина, «Пора гасить костры», журнал «Новый мир», июнь 2003  
[http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/2003/6/latyn-pr.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2003/6/latyn-pr.html)

\* \* \*

«А потом вдруг – его тягостное отречение от «Колымских рассказов» в «Литгазете» в феврале 1972 [...]. От дела всей своей жизни – так громко отрёкся...

Меня – это крепко ударило. Кто?? Шаламов?? сдаёт наше лагерное? Непредставимо, как это: признать, что Колыма – «снята жизнью»?! И помещено-то в газете было почему-то в чёрной рамке, как если бы Шаламов умер. Я в тех же днях откликнулся в самиздате. И добавил в «Архипелаг»\*.

Александр Солженицын, «С Варламом Шаламовым»  
[http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/1999/4/solgen.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/4/solgen.html)

*\* «23 февраля 1972 г. в «Лит. Газете» отрекся (зачем-то, когда уже все миновали угрозы): «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью». Отречение было напечатано в траурной рамке, и так мы поняли все, что – умер Шаламов. (Примечание 1972 г.)»*

\* \* \*

«(43) (...) 6 марта. Вечером в ЦДЛ [...] # Неприятный осадок после разговора с А. Рыбаковым [писатель Анатолий Рыбаков – прим. составителя] о Шаламове. Конечно, этот маленький и весьма ловкий «прогрессист» считает теперь Шаламова «негодяем».

Из дневника Александра Гладкова за 1972 год <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/226572.html>

\* \* \*

«...я знаю человека, у которого висел портрет Шаламова в его квартире, а после этого он портрет снял. И на Западе была реакция».

Джон Глэд в беседе с Сиротинской <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/34056.html>

\* \* \*

«Когда в присутствии [Георгия] Демидова смели заглазно попрекать Шаламова отречением от «Колымских рассказов», тот взрывался: «Да что вы вообще о жизни знаете, о том, как ломают?..»

Екатерина Якович, несомненно, со слов Валентины Демидовой, с которой беседует об отце

[http://ru\\_prichal\\_ada.livejournal.com/27223.html](http://ru_prichal_ada.livejournal.com/27223.html)

\* \* \*

«...в «Литературной газете» появилось печально известное отречение В. Шаламова от «Колымских рассказов» с упреками по адресу тех, кто способствовал появлению книги в зарубежном издательстве.

Помню гневную реакцию знакомых ветеранов ГУЛАГа на поступок Шаламова. Слышал, что кто-то, не ограничившись разрывом отношений с ним, уничтожил когда-то подаренные им книги и фотографии.

Думаю, будь жив отец, он, человек либеральный и сам хлебнувший горя, не осудил бы Шаламова.

Сергей Гродзенский, из воспоминаний об отце и Шаламове  
<http://shalamov.ru/memory/181/>

\* \* \*

«Это истинный бессребреник, восьмое чудо света, и я вполне искренне считаю, что он занимает первое место в моей коллекции выдающихся умов. И я не принадлежу к тем быстроногим, кто в темпе и со злорадством выкрикнул, что имя Шаламова зловонно, как кошачий кал, и столкнул старика под откос за его письмо в Литгазету. Елки-палки, сколько раз я одергивал злые языки, хотя отдаю себе отчет, что тех, кто стоит на бескомпромиссных позициях, мне не переубедить. Глубоко ж копнул наш Достоевский. Ничто нас так не радует, как падение праведника и позор его».

Евгений Федоров, «Одиссея», журнал «Новый мир», №5, 1994  
[http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/1994/5/fedor.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/5/fedor.html)

\* \* \*

«Я и мои друзья тоже тогда читали в «Литгазете»: «Я – честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении XX съезда коммунистической партии...» Но у нас, хотя и опечаленных, ни на минуту не возникло ощущение, что писатель в чем-то изменил себе. С самого начала было ясно, что текст письма навязан ему, больному, шестидесятипятилетнему. До сих пор еще не изучены все обстоятельства появления этого письма. Но и сейчас, и тогда, в 1972 году, никто всерьез его не принял. Только с гневом подумали о грязных действиях властей, перепугавшихся распространения «Колымских рассказов» на Западе. Отрекся ли Галилей? Нет, не отрекся Шаламов от себя, не капитулировал! Но с того момента, по укоренившейся в России традиции, соотечественники и начали по-настоящему искать в самиздате (и тамиздате) «Колымские рассказы».

Григорий Шурмак, «Наш спор – не духовный...», газета «Русская мысль», № 4284, 1999

## *Шаламов, Булат Окуджавы и «письма в ЛГ»*

Михаил Михеев, работающий с дневниками Александра Гладкова, наткнулся на аналогичную шаламовской («Письмо в ЛГ») историю с Булатом Окуджавой, подробности ниже.

Сначала несколько цитат из дневников Гладкова о нажиме на Окуджаву с требованием дать антисоветчикам «отповедь», потом присланный Михеевым отрывок из книги Дмитрия Быкова «Булат Окуджавы» [http://www.gramotey.com/?open\\_file=1269073850](http://www.gramotey.com/?open_file=1269073850), М. 2013, с его добавлениями (мои примечания отмечены звездочками), потом подобранные мной материалы для сравнения положения находившихся под давлением партийно-полицейских литературных инстанций Булата Окуджавы и Варлама Шаламова.

Премного благодарен Михаилу Михееву за всю предоставленную информацию.

Александр Гладков, из дневника 1972 года:

«27 марта. Слухи о том, что над Окуджавой собирается гроза. Его вызывал к себе Ильин\* и требовал письма с отмежеванием от зарубежных изданий, но Булат отказался, а на партийном собрании говорили, что текст их разговора уже передавала Бибиси (!). У Аллы [жена Юрия Трифонова – прим. составителя] неприятности в Политиздате тоже в связи с редактированием ею романа Окуджавы. Впрочем, я думаю, что с ним обойдется. Булат – человек умный, твердый и гордый.

28 мар. (...) [обедает в ЦДЛ, с Окуджавой – М.М.] # У Окуджавы дела неважны, под него идет глубокий подкоп. Юра [видимо, Юрий Трифонов – прим. составителя] ходил в Пахре к К.Симонову. Тот в свое время дал положительный отзыв на роман Окуджавы, против которого сейчас в Политиздате идет кампания. Он просит вмешательства Симонова. Тот неохотно обещает, но удивляется, почему Булат не хочет подписать письмо против изд-ва «Посев».

4 июня. (...) # Бибиси сообщает, что Булат Окуджавы исключен из партии. 1-го я об этом еще не слышал. Будто бы он исключен за отказ «признать политические ошибки». От него Ильин требовал письма с осуждением его издателей за рубежом, а он отказывался его написать. Человек он стойкий и вряд ли встанет на колени.

20 июня. Окуджава держался на парткоме, где его исключали, дерзко. Его просили отмежеваться от предисловия к выпущенной в ФГР его книге (кажется, Филиппова) [Натальи Тарасовой – прим. составителя]. Он сказал, что готов выругать Ф. если тут же он сможет выругать его здешних хулителей. Будто бы он даже сказал: – Мне одинаково надоели и они и вы... (...) # Заправлял исключением С.С.Смирнов, который травил и Пастернака.

11 сент. Слышал в ЦДЛ, что какая-то высшая инстанция не утверждает исключения из партии Б.Окуджавы. Неужели «писателей» поправят партчиновники? Стыд какой!

29 нояб. В Литгазете письма в редакцию Булата Окуджавы и А.Гладилина, где они отрицают антисоветский характер их произведений, опубликованных за границей.

# От Булата Союз давно добивался «письма», но хотели также, чтобы он обругал изд-во «Посев» и тех, кто прикосновенен к изданию книг. Он отказывался: его исключили из партии. В конце прошлой недели дело его должно было разбираться на райкоме. Видимо, его оставили, согласившись на эту редакцию письма, в которой нет ничего его унижающего».

Из книги Дмитрия Быкова «Булат Окуджава»:

«Ильин передал Окуджаве недвусмысленное требование «печатно покаяться». В качестве примера он сослался на отречение Варлама Шаламова от заграничной публикации «Колымских рассказов» (в тексте этого отречения содержалась шантажом вырванная у больного, полунического Шаламова фраза о том, что «проблематика „Колымских рассказов“ давно снята жизнью»). Окуджава наотрез отказался. Чиновнику из МГК, приехавшему в писательский партком на собрание, он сказал: «Вас я, может быть, никогда больше не увижу, а на себя мне каждый день в зеркало смотреть».

(...)

И начальник пятого (диссидентского) управления КГБ СССР Филипп Денисович Бобков (потом, в вольные девяностые, начальник службы безопасности «Медиа-Моста» в целом и НТВ в частности) пишет такую справку: «1 июня 1972 года Партком Московского отделения Союза писателей РСФСР принял решение об исключении из членов КПСС за антипартийное поведение поэта и прозаика Булата

Окуджавы. Окуджаву в беседах со своими близкими связями (sic!) высказывался по этому поводу: «Надоела мне эта возня жутко. Они очень надеялись, что я, напуганный, соглашусь выступить в прессе. И после того, как это пробушевало, я сказал опять «нет». Видимо, такое было дано задание, что если скажет «согласен», то, значит, пощадить. Нужно было, чтобы я выступил, как выступил недавно Шаламов. А для меня это унижительно».

(...)

Наконец 29 ноября 1972 года в «Литературной газете» – действительно по соседству с аналогичным заявлением Анатолия Гладилина – появился следующий текст:

«В течение ряда лет некоторые печатные органы за рубежом делают попытки использовать мое имя в своих далеко не бескорыстных целях.

В связи с этим считаю необходимым сделать следующее заявление:

Критика моих отдельных произведений, касающаяся их содержания или литературных качеств, никогда не давала реального повода считать меня политически скомпрометированным, и поэтому любые печатные поползновения истолковать мое творчество во враждебном для нас духе и приспособить мое имя к интересам, не имеющим ничего общего с литературными, считаю абсолютно несостоятельными и оставляю таковые целиком на совести их авторов.

18. XI. 72. Б. Окуджаву»\*\*.

Добавления Михаила Михеева:

«При этом в самом обращении Окуджавы не был назван никто лично и никакой печатный орган, но в предшествовавшей его с Гладилиным письмам – редакционной анонимной статье – среди пинаемых издательств упоминался злополучный «Посев», а среди тех, кто уже дал ранее «достойную отповедь» этим издательствам – Галина Серебрякова\*\*\* и – Варлам Шаламов.

Что же касается еще более ранней «отповеди», Твардовского, то его письмо опубликовано за 2 года до Шаламовского, в той же ЛГ – 11 февраля 1970 (на 9 странице) [но считается почему-то, что 18 фев.], однако в урезанном редакцией виде по сравнению с тем, что он послал им, т.е. без требования опубликовать на родине его поэму «По праву памяти», появившуюся без его ведома за границей (в СССР она была издана только через 15 лет после его смерти).

Загадками остаются 1) было ли известно Шаламову при написании его «отреченного» письма это письмо Твардовского\*\*\*\*, и 2) это исключенное из него при публикации требование, а также 3) не было ли

аналогичного требования и в самом письме Шаламова? 4) Ну, а был ли вообще прецедент, чтобы на такое «увещевание» – со стороны литератора, опубликованного на западе, ЦК бы поддался – и согласился на публикацию текста? (Не так ли Солженицын, играя с этими дядями из ЦК, почти довел их до того, что они готовы были разрешить публикацию в НМ «Ракового корпуса» – в «обмен» на его «покаянное» письмо?)».

*\* Виктор Ильин – работник НКВД-КГБ, секретарь Московского отделения Союза писателей*

*\*\* В редакцию «Литературной газеты» // Лит. газ. 1972. № 48 (29 нояб.). С. 9*

*\*\*\* Имеется в виду роман ортодоксальной советской коммунистки Галины Серебряковой «Смерч», повествующий о ее пребывании в лагерях. Роман с разрешения Хрущева должен был быть напечатан в СССР, но после его отставки набор рассыпали. Один из оттисков попал на Запад, где в 1967 году роман вышел книгой в переводе на польский, а отрывки из него печатались в нью-йоркской эмигрантской газете «Новое русское слово» <http://www.a-z.ru/women/texts/kurgan2r-e.htm>. По-видимому, им-то Серебрякова и давала «ответь», какую именно и где, не нашел. О писаниях Серебряковой Шаламов в письмах к Солженицыну отзывался с презрением.*

*\*\*\*\* Шаламов не очень внимательно, но все же следил за судьбой Твардовского. Запись в дневнике рубежа октября-ноября 1971 года:*

*«Государственная (б.<ывшая> Сталинская) премия присуждена Твардовскому. Ссора друзей закончилась миром. Твардовский реабилитирован. Ничего другого от него и не просили, как только слушать старших, что он и сделал...»*

Комментарий составителя:

Я не чувствую себя достаточно компетентным сравнивать положение Булата Окуджавы и Варлама Шаламова, но мне кажется, они несопоставимы. Окуджава состоял в КПСС, откуда вышел только в 1990 году, и в Союзе писателей, издавал все, что писал, выступал на официальных вечерах авторской песни, ездил в заграничные командировки и был любимцем публики и в СССР, и на русском Западе, не знаю уж, что тому причиной, наверное, характер творчества, а песни его распространялись в магнитофонных записях и звучали по всей стране почти как песни Высоцкого.



Если ограничиться периодом пятидесятих-семидесятих годов, то пяти советским поэтическим книжкам и лондонскому сборнику «Колымских рассказов» Шаламова Окуджава мог противопоставить впечатляющий список только отдельных изданий в СССР и русских эмигрантских издательствах. Соотношение будет примерно один к шести. Вот список произведений Окуджавы, увидевших свет в 1950-70-е годы.

### Книги, выпущенные в СССР

#### Поэзия:

Лирика. Калуга: изд-во газ. «Знамя», 1956  
Острова: лирика. М.: Совет. писатель, 1959  
Веселый барабанщик: кн. стихов. М.: Совет. писатель, 1964  
По дороге к Тинатин. Тбилиси: Лит. да хеловнеба, 1964  
Март великодушный. М.: Совет. писатель, 1967  
Арбат, мой Арбат: стихи и песни. М.: Совет. писатель, 1976

#### Проза

Фронт приходит к нам: повесть. М.: Дет. лит., 1967  
Прелестные приключения. Тбилиси: Накадули, 1971  
Глоток свободы: повесть о П. Пестеле. М.: Политиздат, 1971  
Похождения Шипова, или Старинный водевиль: истин. происшествие. М.: Совет. писатель, 1975  
Путешествие дилетантов: из Зап. отстав. поручика Амираана Амилахвари. Роман. М.: Совет. писатель, 1979  
Избранная проза: Бедный Авросимов. Роман; Похождения Шипова, или Старинный водевиль: повесть. М.: Известия, 1979

#### Драматургия:

Глоток свободы: пьеса в 12 карт. с эпилогом. М.: Воуап, 1966  
Женя, Женечка и «катушка», или Необыкновенные и достопоучительные фронтовые похождения гвардии рядового Евгения Колюшкина, вчерашнего школяра: киноповесть / Б. Окуджава, В. Мотыль; предисл. авт. М.: Искусство, 1968

### Книги, выпущенные в русских издательствах за границей:

«Песенка о дураках» (Лондон, 1964)  
«Будь здоров, школяр» (Франкфурт-на-Майне, 1964, 1966)  
«Веселый барабанщик» (Лондон, 1966)

«Проза и поэзия» (Франкфурт-на-Майне, 1968, 1977)  
«Два романа» («Бедный Авросимов» и «Фотограф Жора»), (Франкфурт-на-Майне, 1970)  
«Бедный Авросимов» (Чикаго, 1970; Париж, 1972)  
«Прелестные приключения» (Тель-Авив, 1975)

Стоит добавить постановки по пьесам Окуджавы и его киносценарии того же периода:

#### Театр

«Глоток свободы» (Л., ТЮЗ, 1967; Красноярск, ТЮЗ им. Ленинского комсомола, 1967; Чита, Театр драмы, 1971)  
«Мерси, или Старинный водевиль» (Л., Театр муз. комедии, 1974)

#### Кино

«Верность» (1965; в соавторстве с П. Тодоровским; постановка: Одесская киностудия, 1965);  
«Женя, Женечка и «катюша» (1967; в соавторстве с В. Мотылем; постановка: Ленфильм, 1967);

И, наконец, пластинки (магнитофонные записи не в счет – это «самиздат», точнее, «магнитиздат») с исполнением песен, выходившие в шестидесятых-семидесятых и в СССР, и на Западе.

Вот здесь <http://magazines.Russ.Ru/slo/2001/1/bib.Html> библиография Булата Окуджавы, включающая сотни публикаций только на территории бывшего СССР и только на русском языке, и то далеко не полная, о чем сказано в предисловии.

Еще одна библиография здесь <http://web.Ru/bards/okoudjava/memory/books.Htm>



## «Премия Свободы»

### *Премия Свободы французского ПЕН-Клуба*

В 1981 году Шаламов был удостоен Премии Свободы французского ПЕН-Клуба. Ниже сведения, какие мне удалось найти о ней в интернете.

«Учредитель премии, член правления французского ПЕН-клуба Дмитрий Столыпин (внук русского премьер-министра) сказал журналистам о «Премии Свободы» следующее:

«Эта премия – дань уважения и признания тем литераторам, которые обречены на долголетнее заключение в тюрьмах и лагерях за то, что они осмелились выразить открыто свои мысли и проявить свой литературный дар. Председателем жюри «Премии Свободы» является член французской академии Эжен Ионеско, в состав жюри входят Жорж Эмманюэль Клансье, член академии Пьер Эмманюэль, Нобелевский лауреат по медицине Андре Львов, писатели Рене Тавернье, Веркор и, наконец, я сам. Начиная с 1980 года премия присуждалась писателям, весьма отличным друг от друга, но чьей общей чертой явилось гражданское мужество...».

В числе русских писателей «Премией Свободы» были отмечены в 1980 г. Лидия Чуковская и в 1981 г. Варлам Шаламов».

Напечатано в журнале «Посев», №6, 1983, выложено на сайте Русская идея <http://www.rusidea.org/?a=7019> с примечанием 2007 года:

«Премия Свободы» писателям, проявившим мужество в несвободных странах, присуждалась французским ПЕН-клубом, в руководство которого (одно время был генеральным секретарем) в те годы входил внук российского премьер-министра П.А. Столыпина Дмитрий Столыпин (а сын Столыпина, Аркадий Петрович, входил в руководство НТС и в редакцию «Посева») – вот почему этой престижной премией награждали не только борцов против апартеида в ЮАР, но порою и русских националистов, как Л.И. Бородин, В.Н. Осипов. Такая награда была способом их защиты гласностью от репрессий».

Другими лауреатами «Премии Свободы», кроме Шаламова, насколько я смог установить, были в разные годы:

*Лидия Чуковская (СССР)*  
*Георгий Владимов (СССР), который отказался от нее в пользу*  
*Леонида Бородина (СССР)*  
*Марк Новаковский (Польша)*  
*Владимир Осипов (СССР)*  
*Юрий Тарнопольский (СССР)*  
*Абделлатиф Лааби (Марокко)*  
*Адам Михник (Польша)*  
*Недим Гюрсель (Турция)*  
*Адам Загаевский (Польша)*  
*Бужор Недельковичи (Румыния-Франция)*

Премия Свободы – опять же, насколько мне удалось выяснить – присуждалась в течение восьми лет (1980-1988). Вероятно, с окончанием «холодной войны» ее основная, политическая, составляющая себя исчерпала.

\* \* \*

«Кстати, о премии, данной ему французским Пен-клубом, которая тоже, наверно, повлияла на его конечную судьбу. В.Т. ее требовал, имея в виду, вероятно, какой-то жест ее получения. Когда же я заговорил о возможных деньгах, какое было бы его распоряжение, он равнодушно заявил: «Государству – так все делают».

Александр Морозов, «Смерть Варлама Шаламова» в «Хронике текущих событий» (1982)

---

О французских литературных премиях:

«Число литературных премий во Франции больше, чем во всех остальных странах вместе взятых. Мне не раз приходилось слышать это фантастическое утверждение, навряд ли отвечающее действительности, но, в то же время, констатирующее несомненный факт – число литературных премий в этой стране необычайно велико. И, в то же время, роль государства в присуждении премий за достижения в обла-

сти литературы во Франции мала, чтобы не сказать ничтожна. Единственная премия, с натяжкой отвечающая статусу государственной, это премия, присуждаемая Французской Академией, официальным покровителем которой является президент республики. Как ни странно это звучит, но премия, которую присуждает Французская Академия, не принадлежит к разряду самых престижных и не числится в списке пяти, так называемых, больших премий. А пять больших премий – это Гонкур, Ренодо, Фемина, Интер Алье и премия Медичи. [...]

Из других больших премий, которые присуждаются не только французским но, также иностранным авторам, самой престижной считается премия Медичи».

Семен Мирский, соавтор – наравне с Михаилом Геллером – Поминального слова о Шаламове 1982 года, в беседе на Радио Свобода о литературных премиях Старого и Нового Света <http://archive.svoboda.org/programs/otbl/2004/otbl.062004.asp>

---

В общем, как ни крути, совсем не по масштабу Варлама Шаламова эта премия, а учитывая причастность к ней НТС и «Посева» даже оскорбительно-двузначна.

Материал выложен в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» 3 марта 2011 года <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/19284.html>

---

### ***Еще о Премии Свободы и ее лауреате Варламе Шаламове***

*«Я к нему наклонялась и говорила прямо в ухо. Говорила: премию «Свобода» тебе дали! Он говорит: где? Я говорю: во Франции».*

*Сиротинская в интервью газете «Московский комсомолец» <http://1001.ru/arc/mk/issue401/>*

Не могу уяснить для себя сюжет с этой загадочной Премией Свободы французского ПЕН-Клуба, присужденной Шаламову весной 1981 года. Все, что я нашел о ней в интернете – в предыдущей статье. Теперь поискал об ее учредителе\* Дмитрие Столыпине, внуке Петра Столыпина, сыне Аркадия Петровича Столыпина от французенки, дочери дипломата. Было бы совершенно логично, если бы «русскую» часть этой премии курировал ее учредитель и единственный человек с русскими корнями среди членов жюри. По-видимому, так оно и было.



Дмитрий Столыпин (род. 1934) – французский журналист и литератор, всю жизнь проработал в агентстве Франс-Пресс (где прежде работал его отец), автор нескольких книг на французском – одна из них называется «Литературная жизнь в СССР», – словом, славист, эксперт по советской русской литературе и одновременно влиятельный литературный функционер, один из трех вице-президентов французского ПЕН-Клуба. Тесно связан с русскими солидаристами (что-то вроде облегченного варианта муссолиниевского фашизма или франкизма, так сказать, фашизм с человеческим лицом – ни в коем

случае не нацизм) через своего отца, Аркадия Петровича Столыпина, ярого антикоммуниста, входившего в руководство НТС и журнала «Посев». Того самого журнала, выпускаемого одноименным издательством, который Шаламов в «Письме в ЛГ» 1972 года крыл последними словами, причем, без сомнения, искренне – к правому клерикализму и монархизму у него никаких симпатий быть не могло.

Премия, по словам Дмитрия Столыпина, присуждается как дань признания писателям-политзаключенным. Эта формулировка вполне приложима к таким ее лауреатам как Леонид Бородин или Юрий Гарнопольский, но не к таким как Лидия Чуковская или Варлам Шаламов – первая за полвека до получения премии около года провела в ссылке, второй отбыл срок и реабилитирован в середине пятидесятых. Какими все-таки критериями руководствовалось жюри? Кто выдвинул Шаламова на премию? За год до того «Колымские рассказы» вышли на

французском, так что номинировать Шаламова мог и кто-нибудь из французов. Во всяком случае, кто-то должен официально предложить чью-то кандидатуру. Это должно быть соответствующим образом оформлено. Потом должно быть обсуждение и голосование семи членов жюри, весьма уважаемых представителей французской интеллектуальной элиты. Это тоже должно быть соответствующим образом оформлено. Премии с неба не падают, каждая премия, да еще такой уважаемой организации как французский ПЕН-Клуб, должна быть обставлена подобающими формальными процедурами. Все эти бумаги должны храниться в архивах, причем открытых, никаких секретов тут нет.

Французы могли быть не в курсе дела, а вот Дмитрий Столыпин – не мог, на то он и славист и эксперт по русской литературе и сын видного деятеля Народно-Трудового Союза. Дмитрий Столыпин должен был знать, что Шаламов давно не диссидент и находится не в тюрьме, а в доме престарелых, и присуждать ему сейчас эту премию – значит не защищать его гласностью от репрессий – в чем смысл премии! – а наоборот, делать его их мишенью. Кто же все-таки выдвигал Шаламова на премию? Как голосовал Дмитрий Столыпин? Существуют ли какие-то протоколы заседаний, в которых зафиксирована позиция членов жюри? Что должно было последовать за присуждением премии? Какая-то церемония? Какая именно? Как предполагалось провести церемонию, на чьей территории? – наверное, на территории Франции, не СССР же? Имелся ли какой-то знак, который должен вручаться лауреату? Какой именно? Был ли денежный приз? В какой сумме? Каким образом намеревались передать знак и деньги лауреату – ведь страна, чей он житель и гражданин, явно этому воспротивится? Может быть, знак и деньги оставались во Франции, пока лауреат не сможет их получить? Тогда кто их получил – ведь по завещанию все имущество Шаламова наследовала Сиротинская? Получила ли Сиротинская причитающееся Шаламову – если, конечно, лауреату Премии Свободы что-то причиталось помимо моральной поддержки?

Еще один важный момент, может быть, самый важный. Аркадий Столыпин, сын Петра Столыпина, и Александр Солженицын – друзья, что вполне понятно любому, листавшему «Красное колесо». А Дмитрий Столыпин, по его словам, считает своей *«особой своей заслугой то, что вместе с Франсуа Мориаком сделал все для представления к Нобелевской премии друга отца Александра Солженицына»*\*\* . Действительно, на Нобелевскую премию Солженицына выдвигал католический писатель Франсуа Мориак. Не выдвигает ли теперь кандидатуру Шаламова на Премию Свободы тот, кто сделал все получения Сол-

женицыным премии Нобелевской? Разница между премиями и обстоятельствами их присуждения очевидна. Вернее, настолько очевидна, что возникает вопрос, случайно ли все это? В марте Шаламову присуждают Премию Свободы. Месяцем-двумя позже редактируемый Никитой Струве журнал «Вестник РСХД» публикует подборку стихов Шаламова, записанную Морозовым осенью прошлого года и, видимо, где-то вскоре после того переданную на Запад, где список лежит и ждет своего часа. Александр Морозов, безусловно, вне подозрений, но два отчаянных парижских лоббиста Солженицына, лоббирующие теперь Шаламова – это случайность или такая бесхитростная политическая игра, в которую нужно втянуть дремлющую ГБ? Не знает ли кто-нибудь ответа на этот вопрос? Три звена одной цепи: присуждение Шаламову никчемной, но демонстративно антисоветской премии – публикация подборки его стихов в христианско-демократическом антисоветском журнале – решение администрации дома престарелых о переводе его в психушку, принятое в начале лета 1981 года и спустя полгода осуществленное. Я говорю о том, что бьет в глаза и требует пристального внимания к первому звену этой цепи – Премии Свободы, учрежденной отнюдь не младенцем в политике Дмитрием Столыпиным. Если он жив, было бы любопытно послушать, при каких обстоятельствах Шаламов удостоился высокой зарубежной награды? Такое впечатление, что богобоязненная эмиграция на пару с госбезопасностью добивали Шаламова. Может быть, оно ложное. А, может быть, и нет. Во всяком случае, пища для размышлений и дорожный указатель к очередному зиянию в шаламовской биографии.

*\* Другая формулировка: «секретарь комиссии по присуждению Премии Свободы» (Посев, №7, 1985)*

*\*\* Из интервью газете «Зеркало недели. Украина», 14 февраля 2003*  
[http://zn.ua/SOCIETY/parizhskoe\\_intervyu\\_so\\_stolypinym-31077.html](http://zn.ua/SOCIETY/parizhskoe_intervyu_so_stolypinym-31077.html)

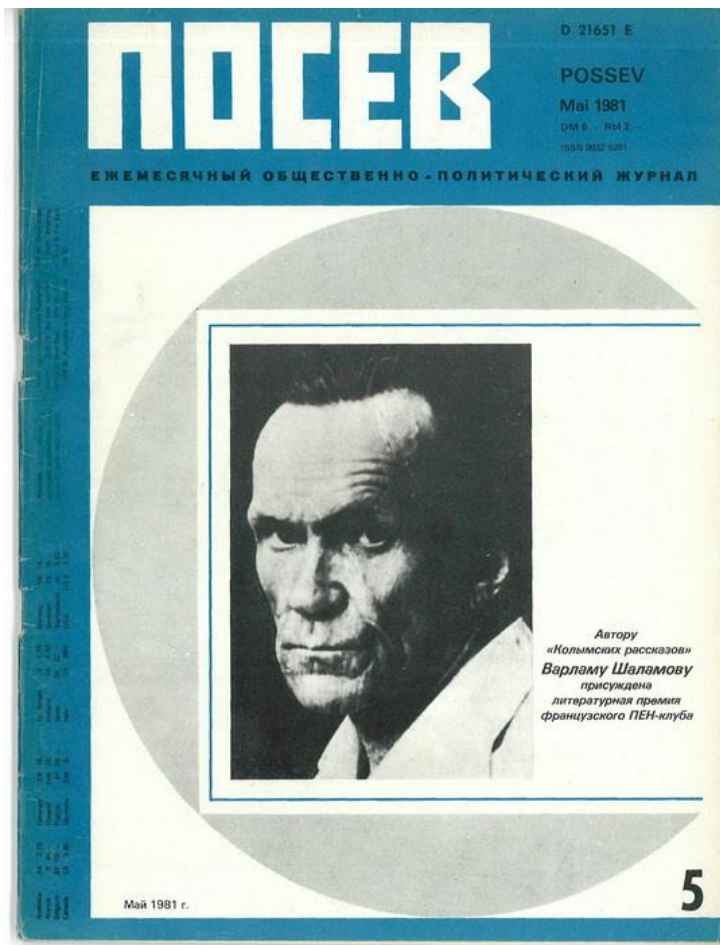
---

### ***Шаламов на обложке журнала «Посев», 1981***

Майский (1981) номер франкфуртского НТС-овского журнала «Посев» вынес на обложку номера фотографию Шаламова и сообщение о присуждении ему Премии Свободы французского ПЕН-Клуба.



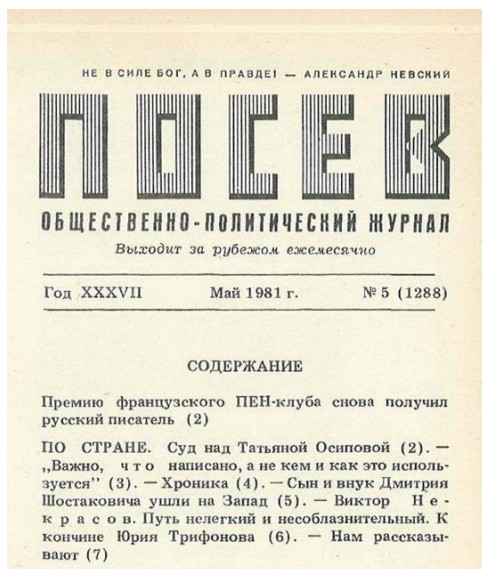
*Автору  
«Кольмских рассказов»  
Варламу Шаламову  
присуждена  
литературная премия  
французского ПЕН-клуба*



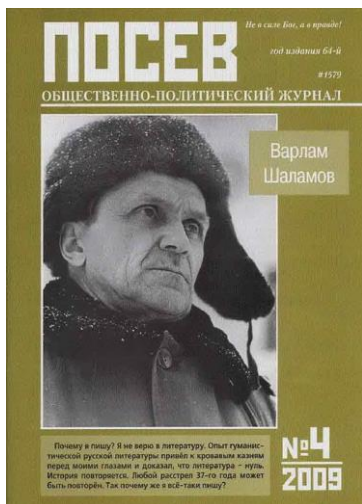
Смотреть фотографии крупным планом в хорошем качестве, архив с файлами, ZIP, 1 МБ

[https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal\\_Posev\\_2009\\_2.jpg](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal_Posev_2009_2.jpg)

Фотографии взяты с сайта Падуанского университета, Италия



\* \* \*



Вторично фотография Шаламова появится на обложке журнала «Посев» в 2009 году. Не помню его портретов на обложке ни одного другого журнала.

Смотреть фотографию крупным планом в хорошем качестве [https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal\\_Posev\\_2009\\_2.jpg](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Shal_Posev_2009_2.jpg). С сайта журнала

---

### **Что такое «Премия Свободы французского ПЕН-Клуба»?**

Из биографии в биографию Шаламова (я понимаю, что по большей части они просто тупо передираются из издания в издание, с сайта на сайт, но все-таки...) – от Википедии и официальной есиповской биографии Шаламова до последней неграмотной компиляции в никому не известном блоге – повторяется в разных вариациях одна фраза: в 1981 году французское отделение Пен-клуба наградило Шаламова премией Свободы.

Какая реальность за этими словами? В чем выражалось пресловутое присуждение Премии Свободы (Шаламову и вообще) французского ПЕН-Клуба, кроме самих этих слов: «присуждена Премия Свободы французского ПЕН-Клуба»?

Я решил все-таки попытаться выяснить. Ныне живут и здравствуют, насколько мне известно, двое из ее «советских» лауреатов: публицист Владимир Осипов (г. Долгопрудный, Россия) и поэт Юрий Тарнопольский (г. Наррагансетт, США). Однако о присуждении премии Осипову я читал только на сайте Русская идея, и в статье о нем в Википедии ни о какой премии Свободы французского ПЕН-Клуба ни слова. Зато о присуждении этой премии Юрию Тарнопольскому сообщило в свое время такое солидное издание как «Посев» (№7, 1985, стр. 63):

«Продолжает свою работу в поддержку и защиту преследуемых в Советском Союзе писателей французский ПЕН-клуб.

Французский ПЕН-клуб присвоил Почетную грамоту поэтессе Ирине Ратушинской, приговоренной 17 сентября 1982 г. к 7 годам лагеря и 5 годам ссылки за «антисоветскую агитацию и пропаганду» (ст. 70). Книга ее стихов на 3-х языках (по-русски, по-английски и по-французски) по инициативе международного ПЕН-клуба издана в США.

Поэту Юрию Тарнопольскому за вышедший в Париже во французском переводе сборник стихов «Лужайка в сосновой роще» французским ПЕН-клубом присуждена Премия Свободы. Тарнопольский родился в 1936 г. в Харькове, он доктор химии, руководил кафедрой органической химии в Политехническом институте Красноярска. В 1976

г. изъявил желание выехать в Израиль, после чего был уволен с работы. 30 июня 1983 г. приговорен к 3 годам лагеря за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» (ст. 190/1)».\*

\* URL <http://rucont.ru/file.ashx?guid=63a511c8-18f7-40a1-a6fb-0eac14c19db9>

Я написал на e-mail Юрию Тарнопольскому <http://spiropero.net/PrefaceRus.html> с просьбой рассказать, что же реально представляла собой эта премия – какая-то церемония, диплом, медаль, памятный знак, денежное вознаграждение и т.д.? Он любезно откликнулся, однако ответ не только ничего не прояснил, а напротив, поверг меня в окончательное недоумение: а существовала ли вообще эта премия?

«Я не помню, кто мне сказал или написал после 1986 года, – пишет Тарнопольский, – что я разделил эту премию с Ириной Ратушинской. Я слышал это от нескольких человек, у меня была связь с Францией, и мои стихи были действительно переведены во Франции, но я не помню никакого официального подтверждения. Это все, что я знаю. Поиск на Интернете не дал никаких результатов. Однако я нашел, что эта премия до Шаламова не дошла. Никаких деталей о самой премии я не нашел, хотя этот поиск не был исчерпывающим.

Политическая «премия» такого типа вовсе не обязательно связана с деньгами».

Лауреат премии через много лет безуспешно ищет о ней какие-либо подробности в интернете.

То есть журнал «Посев» и вражеские голоса извещают, что Премия Свободы французского ПЕН-Клуба присуждена Юрию Тарнопольскому (или Варламу Шаламову) – и на этом все кончается?

Кто-нибудь в состоянии разрешить эту загадку?



## Дом престарелых, психушка, смерть

### *Багаж Шаламова при переезде в дом престарелых*

В Фонде Шаламова в РГАЛИ хранится следующий документ <http://www.rgali.ru/object/242095196?lc=ru>:

«Шифр: ф. 2596 оп. 4 ед. хр. 7

Приёмная квитанция Дома престарелых Литфонда СССР о принятии личных вещей В.Т. Шаламова.

Крайние даты: февраль 1979

Количество листов: 2»

Копии или фотографии квитанции нет, поэтому можно только догадываться, что из вещей взял Шаламов на очередной этап, вернее, в дорогу в свой новый и, как он, вероятно, надеялся, последний приют (эта надежда не оправдалась). Почему бы сайту shalamov.ru, работающему с архивом Шаламова, не выложить текст или сканы этой квитанции? Ведь именно такие мелочи – хотя едва ли это мелочи – и создают реальную картину происходящего. Вот человек переезжает на новое место, выезжает навсегда, лишается прописки, а с ней и права на покидаемую комнату, на казенную жилплощадь, которую до сих пор занимал. Он знает, что никогда сюда не вернется, остатки барахла вынесут, сделают ремонт, поселят других людей. Это больной, дряхлый, почти беспомощный старик – и при этом, надо не забывать, великий писатель, пусть уже смутно, но продолжающий знать себе цену. Что он берет с собой для устройства на новом месте, как он представляет себе это новое жилище, чему там есть место из вещей его прошлой жизни, как он представляет себе эту новую жизнь, что в ней может сохраниться от прежней? Взял ли он пишущую машинку, о которой рассказывает Павел Шабанов? Взял ли какие-то книги, пишущие принадлежности? Взял ли еще какую-то одежду, кроме той, что на нем? Что посчитал нужным упаковать помогавший ему при переезде Иван Исаев, наверное, не хуже или даже лучше Шаламова представлявший, куда того перевозят? Почему квитанция датирована февралем 1979 года, если Шаламов переехал в конце мая? Словом, с чем он перебрался в дом престарелых? Спустя два с половиной года его увезут оттуда, по-видимому, в одной пижаме. Каких вещей он лишился в течение этих двух с половиной лет? Елена Захарова вспоминает, что после пе-

ревода Шаламова в психушку от жильца в палате не оставалось почти ничего. Какова стартовая позиция в этом процессе обнищания человека до одного тела в заношенной больничной пижаме, до окончательно неимущего существа, с которым обращаются, как с куском падали? Психбольница квитанции о приеме личных вещей Шаламова уже не выписывала, их не было. Почему эти два листа, достойные быть включенными в «Колымские рассказы», никого не интересуют?

---

### *Дом престарелых в Тушино*



Дом престарелых № 9 на улице Вилиса Лациса, 2, где Шаламов прожил с конца мая 1979 по 14 января 1982 гг. Начал функционировать в 1969 году.



Фотографии с сайтов Храмы Москвы

[http://www.temples.ru/show\\_picture.php?PictureID=64579](http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=64579)

и Город и семья  
<http://www.moscowfamily.ru>

---

### *Михаил Айзенберг. О Шаламове и Александре Морозове*

В программе «Памяти Александра Морозова», 2008, на сайте OpenSpace поэт Михаил Айзенберг рассказывает, как Александр Морозов «считывал» с губ тяжело больного Шаламова его последний сборник стихов.

Видеозапись <http://www.openspace.ru/literature/events/details/3374/>

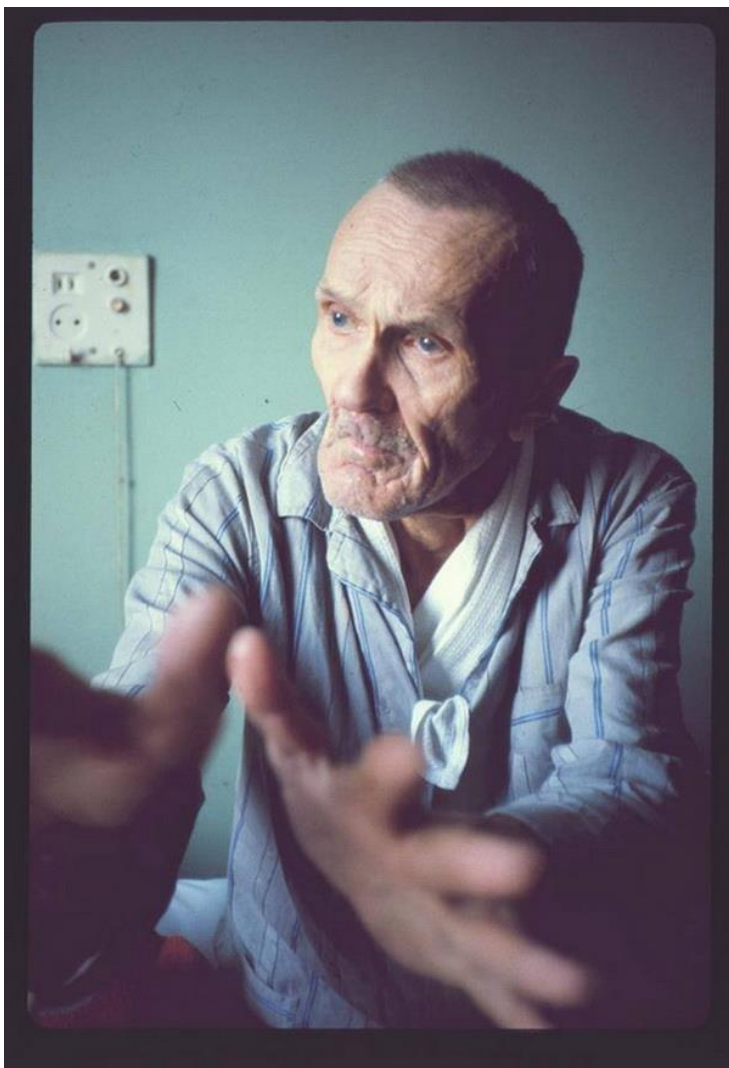
«Если бы не Саша, мы не знали бы «полного» Шаламова. Потому что уже в доме престарелых Шаламов сочинял стихи и написал довольно много стихотворений, целый корпус, в сущности, целый сборник. Стихотворений совершенно других, совершенно особенных и замечательных. Но он не мог не только их записать, в силу состояния здоровья, но даже сказать кому-то, что он эти стихи сочинил – его никто не понимал, его речь. Никто, кроме Саши, который понял, что Шаламов ему пытается сказать об этих стихах, и стал записывать эти стихи по строчке, по букве,.. я не знаю, по звуку. Сверяя с автором. И в результате этих стихов накопилось на целый сборник, и Саша опубликовал их, еще при жизни Шаламова, ну, за границей, разумеется [...]

Абсолютно невозможно забыть, как он читал стихи. Ну прежде всего Мандельштама, но и Шаламова, и своего любимого Стаса Красовицкого, но прежде всего Шаламова. Он читал требовательно и хищно. Никто так не читал».

---

*Шаламов в доме престарелых, фотографии*





Шаламов в феврале 1980 года. Фотография выложена в дневнике Аркадия Бабченко <http://starshinazapasa.livejournal.com/700895.html>. Автор – Кристина Милетич (Christine Miletich). То, что Николая Милетич навещал Шаламова в доме престарелых (см. статью в данном



сборнике), я знаю, а вот кто такая Кристина Милетич – нет, хотя явно родственница. И откуда взята фотография – тоже.



Шаламов в 1981 году. Фото Олега Каплина. Опубликовано в журнале «Огонек», № 22, май 1989 г.

---

### ***О Татьяне Николаеве, опекавшей Шаламова в богадельне, 1980 год***

По воспоминаниям ухаживавшей за Шаламовым в доме престарелых Татьяны Леоновой, о его пребывании в приюте она узнала осенью 1980 года от своего ленинградского приятеля инженера и правозащитника Леонида Романкова. Романков же, пишет Леонова, узнал об ужасном положении автора «Колымских рассказов» от некоей псковской знакомой, которая, бывая в Москве, навещала одинокого старика. Ни в переписке, ни в дневниках Шаламова нет никаких упоминаний о

Пскове. Я написал Леониду Петровичу с просьбой прояснить эти обстоятельства. Он любезно откликнулся.

С девушкой по имени Таня его познакомила псковская поэтесса Елена Филиппова. «К тому времени, – рассказывает Романков, – мы уже прочли «Колымские рассказы» и находились под сильным впечатлением. Я дал их прочитать Тане, и она решила поехать в Москву и попытаться отыскать Шаламова. Насколько я помню, она пришла по адресу его проживания, и там ей сказали, что он по ошибке вместо лекарства закапал в глаза зелёнку, потерял зрение (на время), и его увезли в дом престарелых. Там она его нашла. По возвращении в Питер она всё это рассказала в кругу моих друзей, с которыми я регулярно встречался, обмениваясь самиздатом и вообще занимаясь всякой диссидентской деятельностью. Это были поэты Владимир Дроздов, Геннадий Комаров, Ирина Знаменская, «крюковед» Александр Заяц...

Таня стала регулярно ездить к В.Т., привозила продукты, он диктовал ей стихи (как и Александру Морозову, которого я встретил на одном из московских вечеров после перестройки).

Мы с друзьями собирали деньги для В.Т., которые переправляли в Москву (правда, история с деньгами вышла некрасивая, об этом пишет Таня Леонова).

Приезжая из Пскова, Таня приходила в гости либо к нам, либо к другой моей знакомой, Наташе Дюковой (журнал «Мария»). Там мы встречались, и она рассказывала о своих визитах к В.Т. Не буду рассказывать скучные детали, лучше бы найти её, но по телефонам, которые у меня остались – Лены Филипповой и Наташи Дюковой, позвониться не могу – никто не отвечает. Помнится мне, что Таня как-то привезла листок со своей записью о встрече с В.Т., и там был его стих. Но вот где этот листок – надо попробовать найти его, но у меня такое кол-во бумаг».

Мне пришло в голову, что этой Таней могла быть Татьяна Уманская, ухаживавшая за Шаламовым вместе с Еленой Захаровой и Людмилой Анис – я смутно помнил, что в восьмидесятых годах Уманская была выслана из Москвы, не в Псков ли? Поискал, что есть об Уманской в интернете, оказалось – нет, не она. Татьяна Уманская-Трусова жила в Москве, ссылку отбывала в Читинской области уже после смерти Шаламова и с Псковом не связана.

Через какое-то время Романкову удалось связаться с Еленой Филипповой, та сообщила, что видела Таню последний раз пятнадцать если не больше лет назад и в таком состоянии, в каком человек едва ли

склонен делиться воспоминаниями. После безуспешных поисков в банке данных города Пскова, где информация хранится в течение 10 лет, и в псковском ЗАГСе, где в традициях кафкианских канцелярий требуют место и точную дату смерти или дату регистрации брака разыскиваемого («замкнутый круг», как выразилась Филиппова), она прислала Романкову те данные, какими располагает: «Николаева Татьяна Сергеевна, родилась 22 (или 23) ноября 1953 г. в Пскове». Была знакома с супругами Григорием Померанцем и Зинаидой Миркиной. «Они ее Танечкой называют. В Москве она у них много раз была в гостях», – пишет Филиппова. Кроме того, выяснилось, что Татьяна печаталась в самиздатском альманахе «Майя» (1980, Фрунзе-Псков-Ленинград) под псевдонимом Нейник. Константин Кузьминский выложил неполную электронную версию альманаха на своем сайте Антология новейшей поэзии «Голубая лагуна» <http://kkk-bluelagoon.ru/tom4b/maya.htm>. Справка об авторе гласит: «НИКОЛАЕВА/НЕЙНИК/. Род. в 1953г. в г. Пскове. Работала в проектно институте. В настоящее время работает сторожем в отделе вневедомственной охраны. Ранее в журналах и альманахах «Самиздата» не печаталась». Т.е. ко времени знакомства с Шаламовым Татьяна уже основательно «выпала из системы» и вела классический для молодого маргинала-интеллигента образ жизни, приводивший, как правило, никуда.

С легкой иронией выведена под именем «ундины Таты» в повести Филипповой «Исходный вариант» <http://negima.narod.ru/texts/way.doc.html>

Итак, летом-осенью 1980 года Шаламова в доме престарелых опекал еще один человек, псковитянка Татьяна Николаева, оставившая об этом письменное свидетельство (тем более важное, что сделано при жизни Шаламова). Этот листок хранится среди бумаг Леонида Романкова и, надеюсь, со временем будет найден.

Фотографию оглавления самиздатского альманаха «Майя», №1, 1980, где печатались Николаева, см. в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/151327.html>. При просмотре крупным планом видно, что второй идет «Т. Николаева/Нейник, стр. 15-18»

### *Татьяна Уманская о Шаламове*

Пользователь Сергей (aruta) излагает в Живом журнале то, что он называет «версией Трусовой-Уманской». Прочсть можно в дневнике Сергея Попова <http://sergepolar.livejournal.com/547969.html>

«Его сдали «по договоренности», считала Т.Н., умирать «в отведенные сроки». Самому В.Т. под конец казалось, что его снова посадили. В камере – кружка, алюминиевая миска, стол, койка. Окна то ли нет, то ли оно забрано намордником. В.Т. сидит в лагерных полосатых штанах. Эта фотография сделана то ли самой Т.Н., то ли Сергеем Тер-Григорьянцем, которые отыскали В.Т. и приходили к нему несколько дней, пока он не скончался. В день гибели Т.Н., не обнаружив В.Т. в комнатухе, бросилась на «медсестру» и бия ее по равнодушной морде, добилась ответа на вопрос, где он. Каталка с ним стояла в подвале. В.Т. был еще жив. Закавав ему рукава и штанины, Т.Н. обнаружила под кожей огромный желтоватый пузырь со следом укола, то ли камфары, то ли чего-то еще. В.Т. протянул с этим пузырем совсем недолго, дыхание его ослабело, и он отправился дальше, в луга вечной охоты».

О самой Татьяне Уманской-Трусовой, педагоге и диссидентке, см. в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/151955.html>

---

### *Андрей Высоков. Путь Шаламова в психбольницу*

«Метродепо начинается прямо за дорогой, за бетонным забором, кажущимся сверху игрушечным, и веером расходится в сторону улицы Свободы. Ручкой своей веер упирается в другую улицу, названную именем латвийского писателя и госдеятеля Вилиса Лациса, а дальней своей стороной – через линейку гаражей – в лес. Лес стеною стоит на горизонте, всё остальное – это огромное небо, только справа, вдали видны редкие огоньки Новых Химок, а слева, тоже на изрядном удалении, дома по Вилиса Лациса. И еще, прямо передо мной, между мет-

родепо и лесом, торцами глядя на Вилиса Лациса, стоят два пятиэтажных корпуса дома для престарелых, соединенные крытой галереей. Это не обычный дом для престарелых [...]

Это именно здесь прожил последние три без малого года Варлам Шаламов. Здесь он писал стихи. Вернее, он не писал их, он их с трудом наговаривал, а за ним записывали. (Так же Георгий Иванов незадолго до смерти – в больнице «богомерзкого» Йера – шептал Одоевцевой: «Поговори со мной еще немного, не засыпай до утренней зари», и она послушно записывала за ним...) Это здесь Шаламов узнал о награждении его французским Пен-клубом премией Свободы (премиальных денег он, конечно, так и не увидел). Это отсюда его в январе 1982-го увезли в интернат для психохроников, говоря проще – в сумасшедший дом. [...]

Сумасшедший дом помещался в Лианозове, на Абрамцевской улице. Где-то я прочитал, что Шаламова везли туда через всю Москву. Это не так, – его везли вообще не через Москву, но по самому ее краешку. Я знаю, как его везли, сейчас я вам это расскажу.

Дело было морозным январским утром. Одетого в легкую больничную одежду Шаламова затолкали в неотапливаемый кузов машины скорой помощи. Он не хотел ехать, сопротивлялся (после будет сделана «медицинская» запись: «буен, пытался укусить санитара»). Выехали на Вилиса Лациса, сразу свернули налево, на прямую, как стрела, Планерную улицу, и поехали вдоль забора метродепо. Проскочили вот здесь, прямо под моим окном, и на перекрестке снова повернули налево – на улицу Свободы. И снова свободы досталось Шаламову немного – меньше километра, до поста ГАИ. Сейчас пост ГАИ находится перед поворотом на МКАД, но в те годы он стоял после съезда на кольцевую дорогу, который с поста даже не просматривался. Кто знал, этим пользовался: если нужно было на машине попасть в Москву, избегнув встречи с ГАИ, достаточно было проехать этот короткий и кривой отрезок по встрече – медленно, с включенной аварийкой. Стало быть, не доезжая до поста, санитарный рафик ушел со Свободы направо и очень скоро уже катил по внутренней стороне МКАД. Кольцевая дорога в то время представляла собой узковатый и кособокий шлях, со стертой разметкой, весь в трещинах и колдобинах, и с известной гордостью носила народное прозвище «дорога смерти». Собрав все полагающиеся на ее долю ямы, санитарка додрезбезжала до поворота в Лианозово, и вскоре уже были на месте, – искомый интернат за номером 32 тоже недалеко убежал от московского кольца. Весь путь вряд ли отнял больше сорока минут – пробок на дорогах тогда не было, но и этого времени было вполне довольно, чтоб убить слабого, слепого, не

по зиме одетого и потому прозябшего до костей старика. Об этом почему-то не говорят, но это было вполне сознательное, более того – грамотно спланированное убийство, замаскированное под совдеповское разгильдяйство. Через три дня Шаламов умер от двустороннего воспаления легких [...]»

Из статьи «Грустных и ясных, как небо, стихов», 2009, на сайте Кипарисовый ларец <http://www.tatarinova.org/text/79>

---

### *Здание бывшей психбольницы, где умер Шаламов*



Бывший психоневрологический интернат № 32, с 1992 года – реабилитационный Центр для инвалидов.

Москва, ул. Абрамцевская, д. 35

«Это было какое-то марсианское место, посреди изрытого замерзшими глиняными колдобинами пустыря стояло большое серое бетонное здание».

Из воспоминаний Елены Захаровой «Последние дни Шаламова».

## *Хроника последних дней Шаламова*

Январь 1982

15, пятница\*. Шаламова насильно увозят в приют для умалишенных с диагнозом «сенильная деменция». К тяжелой душевной травме добавляется полученное при перевозке или ожидании в приемном покое воспаление легких.

Вечером Татьяна Уманская в панике сообщает по телефону Елене Захаровой, что Шаламова в комнате нет, его куда-то перевели.

16, суббота. Захарова и Людмила Анис едут в дом престарелых, узнают, что Шаламова увезли в психушку.

17, воскресенье. Утром Захарова и Анис едут в интернат для психохроников на Абрамцевскую улицу в Лианозово, где находят Шаламова в общей палате в бессознательном состоянии. После полудня он умирает. Захарова, назвавшись родственницей Шаламова, получает от врача справку о смерти.

18, понедельник. В ЖЭКе Захаровой отдают паспорт Шаламова, лежащий там на прописке. Она обменивает в ЗАГСе паспорт и справку на свидетельство о смерти, необходимое для похорон.

19, вторник. В шесть утра сосед звонит Людмиле Зайвой и говорит, что «Голос Америки» сообщил о смерти Шаламова. Зайвая извещает по телефону Юлия Шрейдера, Шрейдер – Ирину Сиротинскую\*\*.

В Союзе писателей Александру Морозову и Захаровой предлагают устроить гражданскую панихиду, Захарова заявляет, что Шаламов завещал отпеть его в церкви. Союз писателей самоустраняется, обеспечив транспорт.

20, среда. Захарова и Морозов с товарищами организуют похороны по церковному обряду. О смерти Шаламова узнают Борис Лесняк и Нина Савоева.

Некролог в эмигрантской газете «Новое русское слово»

21, четверг (возможно, еще 20-го). Шаламова отпевают в церкви Николы-на-Кузнецях и хоронят на Ново-Кунцевском кладбище. Контролирующая церемонию госбезопасность распространяет среди провожающих слух, что усопший не хотел «шума на похоронах», однако Федот Сучков и Морозов читают над могилой стихи. Провожающих, по разным оценкам, от тридцати до полутора сотен. Поминки справляют в домах Сергея Хоружего, Геннадия Айги и Натальи Кинд, где Сергей Григорьянц зачитывает прощальное слово.

27, среда. Короткое извещение в «Литературной газете» о смерти Шаламова.

*\* От составителя*

*Евгений Шкловский в монографии «Варлам Шаламов» пишет: «Это произошло 14 января. Очевидцы рассказывали, что, когда Шаламова перевозили, был крик. Он пытался еще сопротивляться».*

*Та же дата и в сообщении Александра Морозова для «Хроники текущих событий»: «Шаламова перевели 14 января 1982 года». Правда, Морозов ссылается на Захарову, якобы узнавшую о переводе Шаламова от его колымского товарища Ивана Исаева, что противоречит рассказу самой Захаровой. Причем Исаеву сообщает о переводе Сиротинская.*

*В краткой биографии Шаламова, составленной Сиротинской и уточненной Есиповым, сказано: «14 января 1982 г. – по заключению медкомиссии переводится в пансионат для психохроников». Ссылки на какой-либо источник нет.*

*Так все-таки, 14-го или 15-го? В документальном фильме Александры Свиридовой для программы «Совершенно секретно» на ее вопрос, сколько дней Шаламов мог находиться в психушке, Елена Захарова отвечает: два-три дня, – а присутствующая при этом директор заведения Б. Сырникова говорит о регистрации, но называет только дату смерти, которая и так хорошо известна.*

*В своих воспоминаниях Захарова цитирует врача психобольницы: доставлен позавчера, т.е. 15-го. Это противоречит всему, что рассказывает Морозов (см. ниже).*

*Кроме того, непонятно, кто видел, что Шаламов сопротивлялся при переезде и был, как пишет Шрейдер, привязан к стулу, а не был накачан аминазином? Кто разговаривал с очевидцами?*

*Повторяю, Александр Морозов в сообщении о смерти Шаламова для «Хроники текущих событий» (см. в разделе воспоминаний) совершенно иначе, нежели Захарова и Зайвая, рассказывает о том, как и через кого стало известно о переводе Шаламова в психбольницу. Согласно Морозову, Елена Захарова узнала о переводе 14 января от Ивана Исаева, которому, в свою очередь, сообщила Сиротинская. В таком случае, Сиротинскую с самого начала уведомили о переводе Шаламова в приют для умалишенных, но она там не появилась, и умер Шаламов в ее отсутствие на руках Захаровой и Анис.*



*\*\* Рассказ Зайвой подтверждается документально. В письме Рэму Баранцеву от 19 января Шрейдер пишет: «Сегодня позвонили, что умер Шаламов. Пока ничего не знаю о похоронах» <http://www.math.spbu.ru/user/brem/RUS/letter2.pdf>. Далее, у Зайвой: «В полдевятого позвонила Сиротинской, она сказала: я знаю, мне сказал об этом Юлий Анатольевич Шрейдер». Согласно Зайвой, ни она, ни Шрейдер, ни Сиротинская о переводе Шаламова в психушку не знали, во всяком случае, никто из них об этом не упоминает.*

---

### **Отпевание Шаламова в церкви**



Отпевание Шаламова в церкви Николы-на-Кузнецях. Пятый слева – Фазиль Искандер.

Фото Олега Каплина, опубликовано в журнале «Огонек», № 22, май 1989 года.

---

### **Андрей Бессмертный о похоронах Шаламова**

Андрей Бессмертный-Анзимиров, активист прихода отца Александра Меня, ныне кинокритик и деятель православия за рубежом, по его словам, Шаламова не знал, а только помогал Елене Захаровой в организации похорон и нес гроб с телом писателя. Вот его краткие показания: «На похоронах помню Феликса Светова, Шрейдера и Бори-

са Михайлова (ныне священник), Серёжу Григорянца, Серёжу Хоружего, у которого в доме были поминки с моим участием, Петю Старчика, на отпевании также помню Искандера и Юнну Мориц. Кто ещё нёс со мной гроб – не помню, а остальных названных в тексте не знал и не знаю».

Из блога священника Якова Кротова <http://yakov-krotov.livejournal.com/1400099.html>. В упомянутом тексте – «Кто именно отпевал, хоронил и поминал Шаламова?» (см. ниже), названы Евгений Полищук, Александр Морозов, Ирина Сиротинская, Виктор Фогельсон, Владимир Леонович и другие.

---

### ***Кто именно отпевал, хоронил и поминал Шаламова?***

«Отпевание почившего литератора не привлекло особого внимания москвичей: проститься с ним пришло не более сотни человек, среди которых – старые друзья, в прошлом, как и покойный, лагерники, а также молодые энтузиасты-почитатели, последний год ухаживавшие за ним в доме престарелых. Ни плачущих родных, ни известных «деятелей культуры»; впрочем, Литфонд выделил 250 рублей на похороны своего «непутевого», неимущего члена и на поминки по нему, которые в то время могли пройти лишь на частной квартире\*...

\*[Примечание] Это была квартира известного ныне религиозного философа и православного богослова С. С. Хоружего».

Евгений Полищук, «Человек и Бог в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова», на сайте «Журнала Московской патриархии», №2, 1994 <http://www.jmp.ru/jmp/94/02-94/17.htm>

На сайте Литературный салон Людмила Колодяжная <http://www.poezia.ru/user.php?uname=llik7191> добавляет о похоронах Шаламова <http://www.poezia.ru/salon.php?sid=34780> следующее:

«Евгений Полищук в январе 1982 года был одним из тех (рядом с ним были известный математик и философ Сергей Хоружий и замечательный бард Пётр Старчик, написавший цикл песен на стихи В. Шаламова), кто был на отпевании Варлама Шаламова и нес гроб с его телом».

(Поэт Владимир Леонович, напротив того, «твердо помнит», что до могилы гроб донес, как он выражается, «СОНМ АНГЕЛОВ» в составе Сиротинской, Морозова, Искандера, Шрейдера, Феликса Светова и Виктора Фогельсона. Вот, кстати, он же об отпевании Шаламова: «Отпевал покойного протоиерей Александр Куликов, в церкви в Замоскворечьи у гроба стояли Фазиль Искандер, Феликс Светов и Виктор Фогельсон. До кладбища они не доехали».)

Что-то я, откровенно говоря, не пойму. Что, поминки по Шаламову справлялись сразу в трех местах – в доме Натальи Кинд (по свидетельству Сергея Григорьянца, читавшего там «Прощальное слово»), в доме Геннадия Айги (по свидетельству Анатолия Сенина) и в доме Сергея Хоружего (по свидетельству Евгения Полищука, к тому же, это как бы «официальные» поминки, если на них были истрачены деньги Литфонда)? Не говоря уж о том, что какого-то рода поминальный обряд – хотя бы из соображений приличия – должна была организовать у себя Сиротинская. Не перебор ли с поминками? Причем участники и тех, и других, и третьих почти игнорируют в воспоминаниях присутствии друг друга на похоронах. Кроме того, нет никаких свидетельств о посещении Шаламова в доме престарелых Полищуком и Старчиком, хотя Хоружий, кстати, соавтор Виктора Хинкиса – чья дочь Елена Захарова ухаживала за Шаламовым с лета 1981 года – в деле перевода джойсовского «Улисса», определенно там бывал, хотя бы однажды: «Варлам Тихонович Шаламов [...] был крепче – вологодский мужик, держался дольше, однако и он последние дни свои провел, засушивая корки хлеба и набивая ими матрац. Я видел это и не забуду. Не только классическая декартово-кантовская антропология, но и философская антропология двадцатого века явно отказывали перед таким опытом» (из предисловия к сборнику «Феномен человека в его динамике и эволюции», М. 2009).

Судя по некоторым свидетельствам, в доме Натальи Кинд отмечались сороковины со дня смерти Шаламова. Однако, «Прощальное слово», сказанное там Григорьянцем, датировано 19-20 февраля, то есть писалось ко дню похорон, да и сам он совершенно определенно говорит, что читал его в доме Натальи Кинд сразу после возвращения с кладбища.

Словом, во всем, что касается похорон Шаламова и поминок по нему, до сих пор много противоречивого и неясного.

**Глеб Панфилов и Андрей Тарковский. Два режиссера о Солженицыне и Шаламове в беседе на исходе 1982 года**

<...>

*Тарковский.* А после «Иванова детства», где-то в те же времена, я был приглашен на одну из знаменитых встреч Хрущева с интеллигенцией...

*Панфилов.* Помню-помню эту встречу. На Воробьевых горах?

*Тарковский.* Нет, две было встречи: одна на Воробьевых горах, а другая в Свердловском зале в Кремле. Так вот на встрече в Кремле, помню, столы были выстроены в форме буквы «Ш», а во главе стола был президиум с Хрущевым и трибуна для выступающих. А за соседним от меня столом, там, где стол почти что упирался в президиум, сидели Твардовский и Солженицын...

*Панфилов.* А тебе нравится Солженицын?

*Тарковский.* Подожди, об этом потом... А тогда его безумно хвалили за «Ивана Денисовича», отмечая, что он первым в нашей литературе коснулся такой важной темы...

*Суркова.* Правильной дорогой пошел...

*Тарковский.* ... пошел правильной дорогой, то есть разоблачил культ личности и так далее... Что же касается литературы Солженицына, то должен сказать, что я не в восторге. По языку он кажется мне вычурным, немножко надуманным и как бы псевдорусским... Манерный такой язычок при публицистической конструктивности, а сама-то конструкция простенькая... Нет в нем поэтичности, полета, оторванности...

*Панфилов.* ... от материала...

*Тарковский.* ... от материала, от среды, которая заставляет, например, парить в воздухе прозу Гоголя или Толстого... Другое дело, что Солженицын, конечно, удивительный человек. Я его уважаю за его гражданскую позицию, за то, что он не боялся говорить правду. А в наше время, извини меня, это...

*Панфилов.* ... за то, что он выстоял и не сломался!

<...>

*Тарковский.* Мы ведь немного о нем знаем...

*Панфилов.* Он высокого роста?

*Тарковский.* Нет, невысокого... рыжеватый, мешковатый – типичный провинциальный учитель. С веснушками на руках, на лице, с такой рыжей шкиперской бородкой, без усов. Норвежская такая борода... Тип немножко странный... Чрезмерно вежливый... Неприятно вежли-

вый... Я с ним столкнулся там на перерыве, где нас бесплатно угощали бутербродами с маслом и красной икрой и жидким чаем с лимоном. Я стоял в буфете за мраморным столиком, а он стоял за соседним. Я поздоровался с ним из чувства глубокого к нему уважения. Он ответил мне: «Здравствуйте. Простите, с кем я имею честь?»

*Панфилов.* Так и спросил?

*Тарковский.* Да, он должен знать, с кем он здороваётся: он же был ЗЭКОМ – так что всегда все записывал, и его нельзя было взять голыми руками! Я сказал, что поздоровался с ним, потому что читал его книги, что мы незнакомы, но мне показалось естественным с ним поздороваться...

*Панфилов.* А он что?

*Тарковский.* Да ничего – просто кивнул в ответ и отошел в сторону. Он не подошел к моему столику, чтобы что-то спросить... в этом было что-то от провинциальной вежливости... Знаешь какой? Эмигрантского типа... тип вежливости, такой противенький...

*Панфилов.* Просто это его практика бывшего зэка...

*Тарковский.* Ну да – он должен знать, кто, что, зачем, с кем поздоровался...

*Панфилов.* А Шаламов?

*Тарковский.* Не читал его. Я почти ничего здесь не читаю в этом роде...

*Суркова.* А в воспоминаниях Лидии Чуковской о том, как ее исключали из Союза писателей, она очень интересно пишет о том, как у них в домике на даче в Переделкине жил Солженицын, что он никогда не садился с ними за стол, не терпел никакого панибратства, не шел ни на какое сближение, ел из своей кастрюльки на своей отдельной тарелке...

*Тарковский.* Так он живет и здесь, в эмиграции, своим домом, своей жизнью, работает по 18 часов в день – так что дружеские отношения его только отягощали бы...

*Панфилов.* Ему нужно чувство дистанции, ведь он пишет толстые тома... А чтобы успевать их писать, нужно время: или-или! Интересно, что и в Америке сейчас он ведет себя очень независимо. Учит американцев, как жить, – прямо-таки хлещет их! Это не робкие замечания директора второго канала. Он их прямо-таки публично по морде... на банкете, где собираются по несколько тысяч человек, все правду-матку кроет... Пророк!.. А вы даже не знаете «Колымских рассказов» Варлама Шаламова? Он тоже бывший учитель и очень скромный человек...

*Тарковский.* У него такие маленькие короткие рассказы, да?

*Панфилов.* Рассказы маленькие, но у него их около девятисот... Меня они совершенно потрясли! Кстати, Солженицын очень тепло пишет

о нем в своем «Теленке», как о старшем зэке, человеке старшего поколения, который к тому же много больше отсидел...

*Тарковский.* Да, я читал!

*Панфилов.* Меня потрясает в нем прямо-таки библейская простота формы...

*Тарковский.* Это очень важно.

*Панфилов.* Летая «НАД», он пишет обо всем как бы отрешенно – понимаешь? То есть для сравнения, к примеру: недавно был разговор об «Ожоге», «Острове Крым» [романы Василия Аксенова – прим. составителя] – и это все такое яркое, интересное, выстраданное...

*Тарковский.* Я не читал.

*Панфилов.* Это надо прочитать! Потому что в этих романах он решился перешагнуть, переступить. И сделал это честно, последовательно, он добился очень важного результата: серьезный, зрелый, мощный писатель в рамках своей собственной индивидуальности – ни в чем себе не изменяет, понимаешь? В «Ожоге» сказал правду в форме такого романтического героя, существующего одновременно в нескольких ипостасях. Он одновременно и музыкант, и врач, и ханыга у ларька – понимаешь? Это очень здорово!.. Сделано замечательно... А вот у Шаламова библейская простота изложения. Например, меня прямо-таки ошеломил рассказ «Последний бой майора Пугачева», как зэки подготавливают побег... Как они сумели все точно по-военному осуществить, какие были при этом осложнения, как они все-таки ушли в лес и как их там случайно засекли...

*Тарковский.* Случайно?

*Панфилов.* Да. И стали выбивать. Последнее, что там описано, как один из них ел... не помню, кажется, бруснику, схваченную морозцем, понимая, что он обречен. Он спокойно смотрел, как гибли товарищи, потому что сам он оказался на возвышении, а другие рассыпались по полю, за стогами: как их истребляли одного за одним. По-моему, он был уже даже ранен, но совершенно спокоен. Понимаешь: настоящий военный, он знал, на что шел... В его сознании возникает образ его учительницы из деревенской школы, которая его очень любила... Потом война... потом судьба, в результате которой он оказался здесь. Понимаешь? Такими ретроспекциями сделано... И это конец! А главное, что он абсолютно ни на кого не обижен, ни на кого не зол...

*Тарковский.* Спокойная констатация.

*Панфилов.* Нет, это не просто констатация. Все согрето огромным чувством любви к каждому, кто там был, а там были не только интеллигенты, но и подонки, и уголовники – весь социальный спектр... Но с каким благородством истинно интеллигентного человека описывает

это сам Шаламов! Великий писатель! ВЕЛИКИЙ! И скромнейший! Там совершенно нет ни показного артистизма, ни тщеславия, ни желания продемонстрировать себя во что бы то ни стало... Удивительно!

*Тарковский.* Я читал несколько рассказов, я помню...

*Панфилов.* Последние годы он ослеп и совершенно исчез из жизни. К нему ездили какие-то его поклонники, люди, которые его высоко почитают, и помогали ему. Но он совершенно одинок и сейчас, через 25 лет после заключения... Замечательный человек... Душа у него замечательная, удивительная... У него такие сюжеты! Как заключенные на полосе потихонечку собирали ягоды, чтобы их не заметили: ведь нельзя было уклониться ни вправо, ни влево... А когда один из заключенных вдруг обнаружил поляну земляники и потянулся к ягодам, то его тут же беспощадно убили. БЕС-ПОЩАДНО! А банка с ягодами опрокинулась и покатилась... Да. «Туда» нельзя. Суровая, мужественная и нежная проза!

*Суркова.* Словом, это НАША отечественная «земляничная поляна»...

*Тарковский.* Ха-ха... Страшно! «Сюда нельзя!» А куда можно?  
<...>

Расшифровка магнитофонной записи, сделанной ассистентом Тарковского Ольгой Сурковой в конце 1982 года в Риме. Фрагмент. Сетевая версия – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/296223.html>

---

От составителя

Разговор, обращаю внимание, происходит в конце 82 года, а Панфилов говорит о Шаламове в настоящем времени: «он совершенно одинок и сейчас, через 25 лет после заключения». То есть не знает даже того, что Шаламов умер, и вообще довольно смутно его себе представляет. «Бывший учитель». Рассказов «около девятистот». При всей восторженности отношения, Шаламов для него не более чем набор клише или, скорее, легенда, нечто совершенно неопределенное, причем до слащавости положительное: замечательный человек, скромнейший, душа у него замечательная, – реального человека – нуль. А ведь и он, и Тарковский – это самое ядро не просто советского, а московского, наиболее информированного, культурного круга, что очень хорошо рисует контекст судьбы и труда Шаламова. Тарковский, со-

гласно беседе, его не то читал, не то не читал (совершенно определенно не читал, поскольку когда через четыре года прочел, отозвался в «Мартирологе» как о гении), Памфилов читал, но из «девятисот» рассказов помнит лишь два, причем смысл второго упрощает до искажения.

---

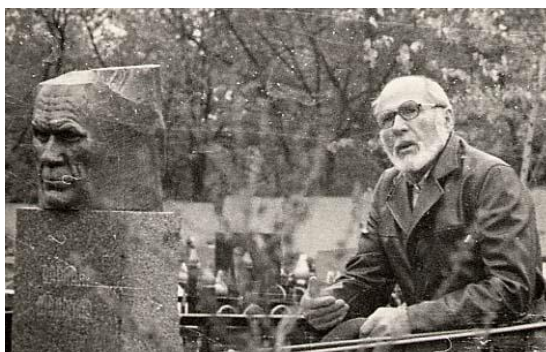
### *Как выглядела могила Шаламова в восьмидесятые годы?*

Статья о памятнике на могиле Шаламова <http://www.shalamov.ru/events/6/> на сайте shalamov.ru вводит в заблуждение:

«Открытие памятника Шаламову на Кунцевском кладбище 1982

В Москве на могиле Варлама Тихоновича Шаламова на Кунцевском кладбище усилиями его давнего друга, скульптора Федота Федотовича Сучкова и хранительницы наследия писателя Ирины Павловны Сиротинской был установлен бронзовый памятник. Пришлось приложить немало сил, чтобы выбрать гранитную стелу, отлить в бронзе копию деревянного скульптурного портрета, выполненную Ф.Ф. Сучковым еще при жизни Шаламова, смонтировать памятник. Огромное количество людей помогало собрать деньги, необходимые для выполнения этих работ. [...]»

На фотографии ниже Федот Сучков у могилы Шаламова



Указанная в статье дата не имеет к памятнику никакого отношения – это год смерти Шаламова. Памятник был установлен где-то в конце восьмидесятых годов, когда на гонолары от первых из-



даний «Колымских рассказов» (а первые журнальные подборки КР появились только в 1988 году) Сиротинская, по ее словам, заказала Сучкову надгробье с бронзовой головой писателя, в 2000 году украденной вандалами. Из обмолвки Сучкова в послесловии к публикации рассказа и стихов Шаламова в журнале «Смена», №22, 1988, тоже следует, что в этом году памятник уже был: «...портрет пригодился – по копии с него был отлит памятник».

В письме в газету «Литературная Россия» от 21 июля 1989 года читательница Ирина Лазутина сетует на неухоженность могилы Шаламова:

«Вроде и не заброшена, а таким бездушием веет. Скульптурный портрет писателя поставлен так, что увидеть его толком нельзя – к дороге он стоит «затылком». С другой стороны – впритык ограды других могил – не подойдешь. На ограде висит изуродованная временем и непогодой фотография Шаламова. Все это производит очень тягостное впечатление. Цветы трудно положить и некуда...

Сейчас, казалось бы, у Шаламова достаточно почитателей, и вечер не так давно был в ЦДЛ, посвященный его памяти...

Почему же таким забвением веет от его последнего пристанища?»

Но это 1988-89. А раньше?

Как выглядела могила Шаламова в восьмидесятых годах? Что там было? Крест? Стела? Надгробная плита? Кем установленные? Ни фотографии, ни описания могилы за этот период я не нашел. Может быть, кто-нибудь знает? Бывал ли там вообще кто-нибудь в течение шести-семи лет?





Наиболее вероятно, что стоял вот этот простой железный крест, установленный в день похорон, только фанерную табличку сменила железная.



## Некрологи тех и других

### *Сообщение о смерти Шаламова в «Литературной газете»*



«Литературная газета», 27 января 1982 года, стр. 6

---

### *Сергей Григорьянц. «Прощальное слово», 1982*

Прощальное слово, сказанное Сергеем Григорьянцем на поминках по Шаламову в доме Натальи Кинд. Опубликовано в журнале «Континент» № 34, 1982 год. Электронная версия в библиотеке ImWerden [http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/kontinent\\_034\\_1982\\_text.pdf](http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/kontinent_034_1982_text.pdf)

#### СЛОВО О ВАРЛАМЕ ШАЛАМОВЕ

Но вдруг, умывшись на заре,  
Водою ключевою...

Мы еще не в состоянии понять истинное значение творчества и судьбы Варлама Тихоновича Шаламова, как неспособны осознать смысл и последствия трагического периода русской истории, внутри которого находимся.

Шаламов неотделим от России, как Волга, как Уральский хребет, для него не было выбора: уезжать или оставаться – ему, как Божье испытание Иову, дана была судьба всей России, и он повторил ее в своей – человеческой судьбе. Вместе с тем – Шаламов всемирен, всечеловечен, ибо его свидетельство не умещается в рамки национальной литературы или истории, свидетельство, в существовании которого мы уже четверть века боимся себе признаться, ставит вопрос о возможности дальнейшего существования всего человечества, о праве человечества на существование.

Солженицын не верит в способность европейской цивилизации выжить, Шаламов не видит оправдания человеческой природе.

«Мертвый дом» Достоевского – не более, чем детский сад в сравнении со столь близким нам домом, вызвал у Шаламова и отношение к надежде Достоевского («красотой спасется мир») – как к детскому лепету. В своем «Желании I» Шаламов ответил:

Я хотел бы так немного!  
Я хотел бы быть обрубком,  
Человеческим обрубком.  
Отмороженные руки,  
Отмороженные ноги...  
Жить бы стало очень смело  
Укороченное тело.  
Я б собрал слону во рту,  
Я бы плюнул в красоту –  
В омерзительную рожу,  
На ее подобие Божье  
Не молился б человек,  
Помнящий лицо калек...

В молодости – университетской, позднелефовской – он еще успел вдохнуть воздух творимого искусства – в разломах и свободе не знающего своего пути XX века. Не по возрасту рано и очень определенно – с так называемой троцкистской молодежью – Шаламов узнал, что ни ему, ни России дышать этим воздухом не суждено.

Мы вышли в наш тягостный путь  
В покорном угрюмом молчаньи...

Не все уроки в то время были еще смертными, для Шаламова они стали – спасительны. Через несколько лет:

Не боясь я иду в темноту, –

уже с миллионами других вернувшись на каторгу, он – благодаря этим урокам – не погиб в первую же зиму, как Мандельштам, как Святополк-Мирский. Впрочем, кто знает, сколько сотен раз Шаламов счел милосердным и счастливым быстрое, по его понятиям, убийство Мандельштама. Впереди у Шаламова было еще двадцать лет гибели. «Среди беспмятного льда» он увидел и испытал то, что не довелось пережить ни одному на земле поэту. Он не покончил с собой, не бросился под автоматы в запретку, не устал думать «о всемогуществе могил», чтобы свидетельствовать о том, что не должен ни пережить, ни увидеть ни один человек в природе:

Потухнут свечи восковые  
В еще не сломанных церквах,  
Когда я в них войду впервые  
Со смертной пеной на губах...

Там, где вся Россия в сотнях каторжных песен творила величайший многоголосый реквием самой себе, небывалую в мировой истории сагу своих страданий и гибели, там Варлам Шаламов в своей угловатой, судорожно рыдающей прозе нашел новый жанр повествования (нет завязок и кульминаций среди тысячеликотной смерти), чтобы сохранить лики и души погибших, их место казни и последние шаги, а в стихах вел нескончаемый спор с Богом о смысле и праве такого мира на земле.

Тот мамонт выл, дрожа всем телом,  
В ловушке для богатырей,  
Под визг и свист осатанелый  
Полулюдей, полужверей.

И побиваемый камнями  
И не мудрец и не пророк,  
А просто мамонт в смертной яме,  
Трубящий в свой Роландов рог.

Он звал природу на подмогу,  
И сохло русло у реки,  
И через горные отроги

Перемещались родники.

Стихи Шаламова уже жили: синяя его тетрадь, тайно вывезенная с Колымы врачом, уже была передана Пастернаку и стала предметом его гордости за русскую поэзию, а Шаламов все еще шел, как первопроходец через свою судьбу – с упорством и без надежды.

«У жизни на краю» не было уже ни сил, ни гордости, но оставался последний отблеск человеческого достоинства и высокого предназначения.

Может быть тому порукой  
Был огарок восковой,  
Осветивший столько муки,  
Столько боли вековой, –

написал Шаламов не столько о Пастернаке, сколько о себе.

Но и второй «урок» кончился для Шаламова. Со всей Россией ему померещилось, что жить опять, кажется, можно. Оказалось, что можно пока не умирать.

Прозы – огненного свидетельства, сравнимого по трагическому пафосу лишь с «Житием» протопопа Аввакума –

... Тетрадь тряслась от плача  
В любых натруженных руках, –

печатать не хотел никто («какие-то очерки...») – считалось в либерально-литературных кругах), стихи печатались в отрывках, с разрушенными циклами, чтобы раздробить, придушить, заглушить насколько возможно, рвавшийся из них к Богу и людям предсмертный хрип русской души и русской культуры. И даже в еще шедший в эти годы

Наш спор о свободе,  
О праве дышать,  
О воле Господней  
Вязать и решать...

его – главного свидетеля – пускать не хотели и боялись. В литературных кухнях-салонах к Шаламову относились с заметной и насмешливой снисходительностью (а потом и злорадством: «мы еще тогда это говорили»), а он жаждал какого-то действия, или, вернее, действенной жизни литератора-профессионала: переводил, писал об уголовном ми-

ре, создавал наставления для начинающих поэтов, разбирал раннее творчество Репина, – и все это никому не было нужно. Кое-что, правда, издавалось, но проходило, как правило, незамеченным. Известность Шаламова была такова, что когда году в 70-м появилась наконец первая книжка его прозы (разумеется, по-немецки, а не по-русски), и фамилия и имя автора были перевернаны.

Но песня петь не перестала  
Про чью-то боль, про чью-то честь,  
У ней и мужества достало  
Мученье славе предпочесть.

Не только стихи и прозу его понимать было – страшно, но и с ним самим было – трудно. Шаламов всегда оставался строг, не прощал даже близким: одному – вынужденных компромиссов, другому – смеси крови с розовой водичей, третьему – заемного словаря. Но каким же беспощадным судом судил он в одиночестве (никого рядом не было) самого себя, если смог написать:

Всего я касался лишь краем  
И стал чересчур обтекаем.

Это о себе, почти голодающем, но полтора десятилетия не вступавшем в Союз писателей; о себе, не написавшем ни строки не только «датской» (к датам), но и просто проходной; о себе – отказавшемся от помощи полуприличного литературного бонзы, приславшего к Шаламову (по генетически-непроизвольному хамству) за прозой и стихами своего секретаря. И если он, изнемогая в одиночестве, и делал хоть что-то, чтобы уцелеть, то лишь потому, что видел себя все еще полным сосудом не переданного людям бесценного опыта.

Внезапная, но весьма закономерная смерть Шаламова (вскоре после опубликования его последних стихов в «Вестнике студенческого русского Христианского движения») – это не только огромная, поистине невосполнимая потеря для нас, для русской и мировой культуры, для нравственного бытия всего человечества. В ней чудится и зловещее пророчество.

Жизнь Шаламова, как мы говорили, повторяла судьбу всей России. В последние месяцы ему уже было уготовано место в психушке, куда его перевели, по нашему обыкновению, тайно и, очевидно, против его воли, – его, поэта, создавшего незадолго до этого цикл замечательных стихов.

Шаламов не уставал предупреждать:

Она еще жива, Расея,  
Опаснейшая из Горгон.  
Заржавленным щитом Персея  
Не этот облик отражён...  
Но дом Горгон находит Муза  
И – безоружная – войдет,  
И поглядит в глаза Медузе,  
Окаменеет – и умрёт.

Иногда кажется, что, если бы Достоевский не умер, Александр Второй не был бы убит и эпоха русского идеализма, веры в Народ-Богоносец и во всемирное провиденциальное значение России не закончилась бы так трагично. Так и судьба Шаламова, таинственная, загадочная, какой только и может быть истинная судьба, судьба, поставившая перед человечеством вопрос о смысле его бытия среди немой, но чистой природы, эта судьба оборвалась, когда, кажется, и для других жизней человеческих места уже не остается. Впрочем, сам Шаламов не был настроен столь безнадежно: себе и своим читателям он предрек жизнь славную и бесконечную. Он сказал:

Тебе обещаю, –  
Далекая Русь,  
Врагам не прощая,  
Я с неба вернусь.

Пускай я осмеян  
И предан костру,  
Пусть прах мой развеян  
На горном ветру.

Нет участи слаще,  
Желанней конца,  
Чем пепел, стучащий  
В людские сердца.

19-20 января 1982 года

---



Интересно, что в речи Григорьянца нигде не упомянуто название «Колымские рассказы» – первое, с чем ассоциируется имя Шаламова, и о самой его прозе сказано мельком. Обилие цитируемых стихов как-то соотносится с официальным некрологом в «Литературной газете», сообщающей о смерти поэта, а не писателя.

---

### *Некролог в газете «Русская мысль» и журнале «Континент»*

#### «СКОНЧАЛСЯ ШАЛАМОВ

17 января в Москве в доме для престарелых в возрасте 74 лет скончался Варлам Тихонович Шаламов, известный русский писатель, автор одной из самых правдивых и самых страшных книг о сталинских лагерях: «Колымские рассказы».

Шаламов не просто прошел через советский ГУЛАГ, он провел там в общей сложности 22 года, изведав самые жуткие из островов Архипелага. В 1929 году он был впервые осужден на 5 лет лагерей. В 1937 – в эпоху «большого террора» его вновь арестовывают и отправляют на Колыму. В 1942 – срок закончен, но специальным постановлением Шаламова оставляют в заключении «до конца войны», а вскоре – в 1943 – он снова осужден лагерным судом за «контрреволюционную пропаганду».

На свободу Варлам Тихонович вышел лишь после смерти Сталина – в 1953 году. С тех пор больной и потерявший все писатель жил в Москве, зарабатывая литературным трудом. Вышла книга его стихов, отдельные вещи появились в советских журналах, но главная книга – «Колымские рассказы» – так никогда и не была опубликована в СССР. Но ее узнали – через самиздат, рукопись «Колымских рассказов» широко разошлась по стране. А в 1980 книга наконец вышла в свет в английском издательстве «Оверзис». В 1980 г. Шаламов был удостоен за нее «Премии Свободы».

«Русская мысль»

---

На удивление бездушный и халтурный некролог. Особенно неприятно, что его живущий в эмиграции автор не удосужился узнать точных дат издания лондонского сборника «Колымских рассказов» – 1978, и присуждения Шаламову Премии Свободы французского ПЕН-Клуба – 1981.

Напечатан сначала в газете «Русская мысль», затем перепечатан в журнале «Континент», № 31, 1982. О существовании этого некролога я узнал из мемуара о Шаламове Александра Храбровицкого. Электронная версия журнала в библиотеке ImWerden [http://www.vtoraya-literatura.com/publ\\_511.html](http://www.vtoraya-literatura.com/publ_511.html)

---

**«Памяти В. Шаламова», журнал «Вестник РХД», №136, 1982**



В парижском журнале «Вестник РХД», №136 (I-II), 1982 года, в рубрике «Литература и жизнь» была опубликована подборка материалов, посвященных смерти Шаламова. В подборку входят текст сообщения о смерти, фотография Шаламова в доме престарелых, известные фотографии его отпевания и похорон, а также два стихотворения Геннадия Айги – «И: ПОСЛЕДНЯЯ КАМЕРА» и «Стланик на камне»

Ниже текст сообщения о смерти Шаламова.

**«ПАМЯТИ В. ШАЛАМОВА**

17 января 1982 в психиатрической больнице, в возрасте 74 лет, скончался Варлам Шаламов. Летом прошлого года «опекуну» пыта-

лись положить его в психушку. Было проведено обследование, но врачи отказались признать его душевнобольным – да и как, слепого и глухого. И вот, за несколько дней до смерти, он исчез из инвалидного до-

ВЕСТНИК РХД № 136	1, II-1982
СОДЕРЖАНИЕ	
	Стр.
От Редакции. К трехсотлетию со дня сожжения Аввакума – Никита Струве .....	2
БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ	
Новые переводы псалмов (СССР) .....	5
Из Синайского Патерика .....	11
Слово в честь Божией Матери Хрисиппа пресвитера нерусалимского (предисловие и перевод архим. Амвросия Погодина) ..	41
Богословие Евангелия Иоанна Богослова – Прот. Сергей Булгаков .....	51
Вера, борьба и соблазн Льва Шестова – А. Сопровский (Москва) .....	68
Из писем Льва Шестова к Борису Шлечеру и Адольфу Лазареву ..	121
■ Искусство и религия	
Икона в православной эстетике и жизни – Е. Огнева .....	125
ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ	
Памяти Шаламова .....	142
Стихи из книги "Поле-Россия" – Геннадий Айги (Москва) ..	147
Письма Баламута – К. Львоис .....	154
Гоголь и Блок – Н. Сергеев (Москва) .....	177
Суд совести Льва Ильича – М. Тимофеев (Москва) .....	189
■ Литературный архив	
Россия распятая – Максимilian Волошин .....	195

ма, где находился в течение года после полной потери зрения. Как он умер – ведает Бог. Он был сыном православного священника, чуваша. В завещании он просил, чтобы его отпевали в храме. Отпевание состоялось в Николо-Кузнецкой церкви. Было в завещании указано и кладбище, на котором он хотел быть похоронен. На отпевании было много молодежи, на кладбище непрерывно пели «Святый Боже» и «Со святыми упокой».

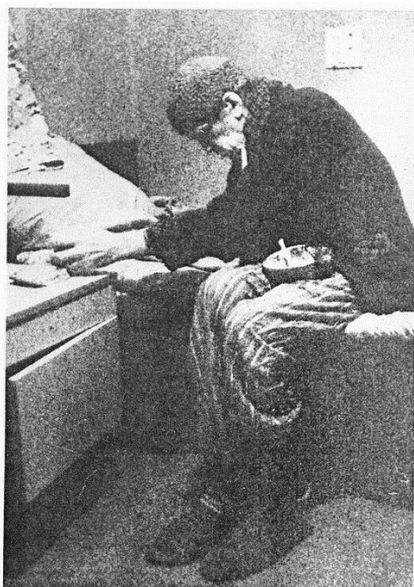
Шаламов узнал о выходе в Англии его книги. Ему принесли ее в инвалидный дом. Он ощупал ее и сказал: «Я понял. Они

издали мои рассказы». Так же узнал он о присуждении «премии Свободы» Пен-Клубом и был безмерно благодарен.

(Из частного письма)»

Смотреть фотографии страниц журнала крупным планом, ZIP-архив с файлами, 8,8 МБ

[https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Vestnik\\_RXD\\_136\\_1982.zip](https://dl.dropboxusercontent.com/u/9178411/Vestnik_RXD_136_1982.zip)  
[zip](#)



В. Шаламов в камере.

### Небольшой комментарий

Текст сообщения взят, возможно, из письма Геннадия Айги. На это указывают несколько примет. Отец Шаламова назван чувашом, а Айги настойчиво подчеркивал свое чувашское происхождение, сменив даже русскую фамилию Лисин на чувашскую Айги. Шаламов действительно баловался легендами о «полузырянской» родословной отца, но слова «чуваш» нигде не упоминает. Во-вторых, текст дополняется двумя стихами Айги. И наконец, можно сравнить несколько строчек письма с пассажем из воспоминаний Сиротинской.

«Шаламов узнал о выходе в Англии его книги. Ему принесли ее в инвалидный дом. Он ощупал ее и сказал: «Я понял. Они издали мои рассказы».

«Я приношу ему том «Колымских рассказов», изданный в Лондоне, – мне дал его для В.Т. Гена Айги. Он медленно ощупывает книгу: «Я понимаю, что издали Там, – говорит он равнодушно, – но ведь должны быть деньги».

Бросается в глаза полная неосведомленность автора письма относительно реалий пребывания Шаламова в богадельне. Шаламов провел там не год, а почти втрое больше. Врачи, обследовавшие Шаламова, как раз признали его душевнобольным, точнее, слабоумным. Об обстоятельствах его смерти отправитель письма ничего не знает. Зато знает о завещании, которого не было. Об издании «Колымских рассказов» в Лондоне Шаламов узнал задолго за дома престарелых – книгу еще на рубеже 1978-79 гг. передала ему через Юлия Шрейдера Наталья Столярова, Шаламов показывал ее заглянувшему проведать его после госпитализации врачу Михаилу Левину и постоянно держал при

себе. Никакой «безмерной благодарности» французскому ПЕН-Клубу за Премию Свободы Шаламов не испытывал – Морозов пишет, что он ждал какого-то символического жеста вручения, а Сиротинская говорит о равнодушии. Словом, все сообщение представляет собой пересказ слухов и домыслы, что удивительно, учитывая время, прошедшее со дня смерти Шаламова до выхода номера журнала – реальные обстоятельства никого не интересовали. Зато непропорционально густо религии – у несведущего читателя должно создаваться впечатление о глубокой религиозности усопшего, то есть и тут либо неведение, либо подтасовка с целью выполнить популярный «социальный заказ».

Электронная версия материала – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир»

<http://ru-prichal-ada.livejournal.com/249517.html>

---

***Михаил Геллер и Семен Мирский. Поминальное слово о Шаламове. Радио Свобода, 1982***

В программе «Мифы и репутации», приуроченной к 100-летию со дня рождения Варлама Шаламова, Радио Свобода транслировало коллаж из посвященных ему передач двадцати-, тридцатилетней давности. Среди них – Поминальное слово\*, написанное Михаилом Геллером и Семёном Мирским. Геллер, напомним, составитель первого сборника «Колымских рассказов» на русском, Лондон, 1978. Мирский – журналист, сотрудник парижского отделения и мюнхенской штаб-квартиры РС, в то время литературный консультант издательства Галлимар, которое в 1969 году выпустило в переводе на французский первый, кельнский, сборник «Колымских рассказов», называвшийся «Статья 58. Записки заключенного Шаланова» (1967).

Ниже текст этого Поминального слова – сильного, участливого, компетентного, пронизательного, – с небольшим, но важным комментарием составителя.

ПАМЯТИ ВАРЛАМА ШАЛАМОВА: К 40-МУ ДНЮ КОНЧИНЫ.  
*26-е февраля 1982 года*

В одном из своих стихотворений Варлам Шаламов говорит о себе:

Я вроде тех окаменелостей,  
Что получают случайно,  
Чтобы доставить миру в целости  
Геологическую тайну.

В его жизни многое было случайностью. Случайно он уцелел после 22 лет лагерей, в том числе Колымы. Случайно написанные им «Колымские рассказы», многие годы в рассыпную циркулирующие в самиздате, попали на Запад, и в 78 году впервые были опубликованы полностью на русском языке. И как бы случайно открылся великий русский писатель. Писатель, в целости доставивший миру тайну советских лагерей, тайну советского мира, тайну человека, брошенного в ад на земле, тайну его смерти и его жизни. Не было сомнения в праве Варлама Шаламова писать об аде. «Именно ему, а не мне – признавал в «Архипелаге ГУЛаг» Александр Солженицын – досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт. Шаламов – привилегированный свидетель».

В 1929 году, 22-летним студентом МГУ, он был арестован в первый раз и осужден на пять лет. В 1937 году он вторично, как деликатно выражается Краткая литературная энциклопедия, был «незаконно репрессирован», снова на 5 лет. В 1942 году его не освобождают, как полагалось, но задерживают до конца войны. А в 1943 году вновь осуждают на 10 лет за антисоветскую агитацию, выразившуюся в утверждении, будто бы «Бунин – русский классик». «Колымские рассказы», писавшиеся Шаламовым после возвращения в Москву в 60-е годы, были свидетельством, но свидетельств о советских лагерях к этому времени было уже немало, в том числе и свидетельств о Колыме. Среди них были воспоминания Евгении Гинзбург, мемуары Екатерины Олицкой, воспоминания нескольких иностранцев, счастливо выбравшихся с Крайнего Севера. Шаламов не писал «мемуаров». Он написал книгу о человеке «на дне», последней черте, перед лицом неминуемой смерти. Шаламов написал книгу о Колыме. Колыма была хуже ада. В аду наказывают грешников, в аду мучаются виновные. Ад – торжество справедливости. Колыма – торжество абсолютного зла. Колыма не была адом. Она была советским предприятием, советским заводом, который давал стране золото, уголь, олово, уран, питая землю

трупам. Это было гигантское рабовладельческое хозяйство, которое отличалось от всех известных в истории тем, что рабская сила была здесь совершенно бесплатной. Лошадь на Колыме была неизмеримо дороже зэка. Лопата была дороже. Колыма – близнец гитлеровских лагерей смерти. Но и от них она отличается. Не тем, конечно, что в Освенциме и Трешлинке людей уничтожали в газовых камерах, а в Колыме, на полюсе холода, заключенных селили в брезентовых палатках. Разница в том, что в гитлеровских лагерях люди знали, почему их убивают. Их убивали, потому что они были врагами нацизма, или евреями, русскими военнопленными. Тот, кто умирал в Колымских лагерях, умирал недоумевая, спрашивая: «За что?» Никогда еще в истории мировой литературы писателям не приходилось видеть ничего подобного. Массовое истребление людей, не знающих, почему их убивают, выжав предварительно все соки.

Зинаида Гиппиус очень хорошо написала о пределе, который был поставлен писателем, жившим до нашего времени:

Будь счастлив Дант, что, по заботе друга,  
В жилище мертвых ты не все познал.  
Что спутник твой тебя отвел от круга  
Последнего – его ты не видал.  
И если б ты не умер от испуга,  
Нам все равно о нем бы не сказал.

Шаламов дошел до последнего круга, все там познал, не умер от испуга, и сказал нам об увиденном.

Есть множество определений сущности писательского таланта. Ни одно из них не удовлетворяет до конца. Талант остается необъяснимым, неожиданным, удивительным. Нет, однако, сомнения, что необходимым составным элементом писательского таланта является смелость. Варлам Шаламов бесстрашно идет до конца в своем описании человека в лагере. Он бесстрашен не в описании лагерных ужасов, жестокости или мучений. В числе очень немногих писателей нашего века, рассказавших о советских и гитлеровских лагерях, Шаламов не боится сказать страшную правду: лагерь – место, в котором люди без морали, палачи создают условия, в которых отказываются от морали и жертвы.

Эпиграфом к «Колымским рассказам» могут служить слова [героя] рассказа «Домино», оказавшегося соседом пожирателя трупов: «Есть, несомненно, вещи более страшные, чем мясо трупа на обед». Страшнее людоедства, вынужденного невыносимым голодом, картина чело-

веческого падения. Бесстрашие в описание низости, слабости, смерти человека в лагере позволили Шаламову с поразительной силой рассказать о величии, мужестве и воскрешении в лагере. У писателя нет иллюзий. Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и 99% людей этой пробы не выдерживали. Но тот, кто выдерживал, кто в одиночку вставал в борьбу против лагерного мира, побеждал и доказывал право человека быть человеком.

Варлам Шаламов спрашивает, почему в лагере люди живут в условиях, в которых человеческая жизнь невозможна? Одних, очень немногих, поддерживает вера в Бога. Подавляющее большинство живет, ибо надеется. Шаламов видит в надежде зло, ибо она крепче лагерной проволоки держит людей в рабстве. «Надежда, – говорит один из заключенных, – всегда кандалы для арестанта. Надежда – всегда несвобода». Отвергая надежду как зло, как обман, писатель противопоставляет ей волю к свободе. Главный герой книги, который появляется в рассказах под разными именами – Андреев, Голубев, Крист, Шаламов – говорит о себе: «Я никогда не был вольный. Я был свободный во все взрослые годы моей жизни». И если есть воля к свободе, говорит Шаламов, может произойти воскрешение человека. «Колымские рассказы» – зеркало, отражающие дно лагерного мира. Но этот лагерный мир – отражение жизни по эту сторону проволоки.

Рассказав о последнем круге, Варлам Шаламов рассказал одновременно о всех кругах советской жизни. Страшная его книга становится великой литературой, ибо рассказ ведется поэтом. «Когда все чувства покинули человека, он все еще видит вокруг себя природу – небо, снег, непобедимый сибирский стланик, видит цветы и травы буйного Колымского лета. Когда человек видит небо и землю, цветы и снег, рождается слово». Варлам Шаламов сохранил память о самом страшном и самом лучшем, что есть в человеке, и поэтому его книга останется в литературе, пока будет жив русский язык.

---

От составителя

Требуется только одна существенная поправка. «Колымские рассказы» ни в коем случае не «случайно попали на Запад» – Шаламов как минимум трижды целенаправленно передавал их для издания книгами на русском и французском. Не знаю, почему сказано о случайности, меня это настораживает. Трудно поверить, что Геллер еще в 1978 году,



при «передаче прав» на «Колымские рассказы» от «Нового журнала» издательству ОРІ, не задал Гулю вопроса, как у того оказались три полных с довеском цикла КР, да еще с авторским планом, которому сам Геллер следовал в лондонском сборнике. Кроме того, уже в декабре 1982-го Гуль в выступлении на радиостанции Голос Америки сделал достоянием гласности передачу Шаламовым рукописи «Колымских рассказов» на Запад в 1966 году. О списке, отправленном Морису Надо, Геллер и Мирский наверняка ничего не знали. А вот о «списке-68» вполне могли и даже должны были знать непосредственно от Хенкиных или из мемуара Ирины Каневской, рассказавшей об этой истории там же, на Радио Свобода, сразу после смерти Шаламова. Возможно, издательство ИМКА-Пресс уже выразило намерение переиздать лондонский сборник «Колымских рассказов» 1978 года и намекнуло составителю, что нежелательно перетряхивать на людях грязное белье эмиграции, да еще в таком деликатном и скандальном вопросе. Все это до сих пор – если не белое пятно, то контурная карта событий, почти лишенная красок. К сожалению, как почти всюду в замкнутых и подвассальных сообществах, все в русской эмиграции – при сопутствующей грызне, что понятно – были друг с другом повязаны, и сохранность грязных корпоративных секретов обеспечивалась, да и обеспечивается, этой круговой порукой не хуже, чем ведомственными инструкциями спецслужб.

\* Текст <http://www.svoboda.org/content/transcript/401018.html>  
Аудио, в сокращении <http://www.svoboda.org/audio/Audio/14762.html>

---

**Густав Герлинг-Грудзинский. «Клеймо. Последний колымский рассказ», 1982**

*То, что я видел, – человеку не надо  
видеть и даже не надо знать.  
Я поразился страшной силе человека –  
желанию и умению забывать.*

*Мне хотелось быть одному. Я не боялся воспоминаний.*

*Варлам Шаламов. «Колымские рассказы»*

Великий писатель умирал. Умирал уже три дня, с тех пор как его, сопротивляющегося из последних сил, уверенного, что его опять погонят на Колыму, избитого и растерзанного, со связанными за спиной руками, перевезли из дома престарелых и инвалидов в психиатрическую лечебницу под Москвой. Умирал уже три дня, не понимая, что умирает. Жизнь медленно покидала его, только покидала, не возвращаясь ни на мгновение, даже на те краткие мгновения, которые позволяют умирающему осознать умирание. В полосатой пижаме он сидел на койке в узкой палате с зарешеченным окном напротив круглого глазка в обитой железом двери. Днем под перекрестьем двойного света – от лампочки над дверью и от обледенелого окна, а ночью в тесных путях лучей лампочки под потолком. Из коридора иногда доносились шаги, там раздавались крики и проклятия, скрежетали ключи в замках; он не слышал их. Из окна открывался вид на пустой заснеженный двор, отгороженный стеной от улицы; не для него был этот вид. В палату изредка заходила пожилая женщина в белом халате; он с трудом поднимал веки и затуманенным взглядом цеплялся за быстрое движение ее губ, но по его губам не пробегала даже легкая дрожь. Давно уже он был глухим и почти слепым, а в последнее время начал терять дар речи; его бормотание имело какой-то смысл лишь для того единственного друга, который время от времени навещал его в доме престарелых и инвалидов.

Когда-то, видно, высокий и плечистый, теперь он сидел на койке и был похож на окаменелость или на огромный ледяной нарост, напоминающий по форме человека. К полосатой робе он прижимал, цепко обхватив обеими руками, миску с недоеденной кашей, из которой торчала ложка. Массивная глыба его головы, поросшая волосами, как скала мхом, нависала над миской так недвижимо, с таким напряженным упорством, словно он искал какую-то нечаянно потерянную драгоценность. Может быть, он сидел так, затаившись в неподвижности, для отражения нового нападения? Удивляло, что он не ощущал сонливости и старческой слабости и что побоями не удалось добиться от него ни единого стога. Оцепенел навечно? Нашел способ отодвинуть своим оцепенением смерть? Или же он застыл так потому, что умирал, не осознавая собственного умирания?

Сразу после того, как его перевезли в лечебницу, у него наступила потеря памяти. Потеря полная, если не считать одного-единственного образа. Этот образ был когда-то стержнем его рассказа о «прибытии на причал ада». Мрачные силуэты скал, окружающих бухту Нагаево. Где-то далеко позади, за океаном, в другом, реальном мире, угасла навсегда осенняя яркость красок. Здесь, у ворот Колымы, с неба стекала густая мгла. Вокруг ни следа пребывания человека, темно и холодно, заключенные сходили с корабля на землю, на «причал ада», и их глотала беспредельная ночь. И такая же беспредельная ночь, враждебная и жестокая, вновь через много лет заползла в его сердце, заполнила целиком, не оставив места ни для чего другого. Будто в его венах потекла, лениво проталкиваясь и причиняя тупую боль, черная, густая кровь.

Будущий биограф Великого писателя отметит, наверное, что умирал он каждый день, каждый час, каждую минуту на протяжении двадцати колымских лет. Двадцать лет ползал он по краю пропасти, понимая, что значит поскользнуться. Но он знал не только об этом. «Я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни». Именно тогда осаждаемый постоянными вопросами: «Остался человеком или нет?» Так что же было основным в великом инстинкте жизни? Не забывать. Не для того, чтобы однажды передать другим свои воспоминания, нет, ведь есть вещи, о которых человек, не побывавший в аду, не должен знать. Основным в великом инстинкте жизни была необходимость сохранения в душе всех испытанных страданий, сохранения до последнего вдоха, иначе грозит утрата самосознания. Основным в великом инстинкте жизни была сама жизнь, пусть такая же страшная и тяжелая, как крест, несомый на Голгофу.

Через двадцать лет он вернулся в Москву: жена его оставила, дочь от него отрекалась. На Колыме ему часто казалось, что он достиг предела одиночества; однако по-настоящему он познал его уже за тюремным порогом. Есть такая черта, за которой абсолютно одинокий человек боится самого себя, пытается убежать от самого себя. В его случае это могло означать только побег в колымское прошлое. Он готовился к этому побегу и, случалось, заходил так далеко, что временами не совсем понимал, где и как провел вторую половину жизни. Тогда он погружался в Пустоту, в бездумную легкость дурмана и внутреннего очищения. Но как-то ночью, когда взгляд его блуждал по потолку, он вдруг почувствовал резкое стеснение в груди. Он попытался освободиться от него, но тогда сжало горло, а потом наступило удушье. Кончилось приступом сухого кашля, сопровождаемого медленным спол-

занием вниз по утыканному словом «нет, нет, нет» склону. Позже Великий писатель, обращаясь к этому эпизоду в одном из своих рассказов, писал, что он сразу осознал, что готов уже все забыть, вычеркнуть из своей жизни двадцать лет, и каких лет. Когда, осознав, одержал победу над самим собой. Он понял, что не позволит своей памяти освободиться от всего, что видел. И он успокоился и заснул.

Он писал свои рассказы, не заботясь об их дальнейшей судьбе. Писал, чтобы «они остались в природе», существовали, все равно для кого, все равно где, все равно как; ведь земля не заботится о том, кто, где и как берет ее плоды; море не обращает внимания, что после прилива выбросило оно из своих глубин на прибрежные скалы. Каждый рассказ имел форму как бы стихотворения, разрастался в строках, выстраиваясь вокруг ядра эпизода или события. Он медленно, в муке и молча искал слова, которые точно совмещались с описываемым материалом. «Я не мог, не мог выжать из своего иссушенного лагерем мозга ни одного лишнего слова». Не было в его рассказах ни одного лишнего слова, не было слова, которое он не взвешивал бы долго и подозрительно на заскорузлой ладони лагерника. Он не заботился о судьбе своих рассказов, однако они разными путями прорывались в мир. Он написал их более ста, мог написать еще столько же. Он стал величайшим старателем, топографом, летописцем неизвестного архипелага, ада, устроенного людьми для людей. Если бы у него хватило сил, если бы его оставили в покое... Но он терял зрение, слух, дряхлел; и от него потребовали заявления, что жизнь лишила его рассказы актуальности. Он написал это заявление, что дало повод окружающим заговорить об «измене». И он остался один. Он и хотел быть один и уже не боялся воспоминаний, но согласился с тем, что они должны онеметь, безмолвно сопутствуя ему в его собственной все усиливающейся немоте. В награду за «измену» ему предоставили место в доме для престарелых и инвалидов – теплую, удобную комнату. Там он был один и «по-своему» счастлив, как «по-своему» счастлив был слепой поп в его рассказе «Крест», который старался спать и днем и ночью, потому что только во сне он прозревал. В день семидесятипятилетия им вновь овладело искушение писательством, и своему единственному другу, который навестил его в этот день, он пробормотал несколько коротких стихотворений. Скоро они были опубликованы за границей. И вот он наказан полутюремной камерой в психиатрической больнице.

Умирал он здесь уже три дня, не понимая, что умирает. И постоянно один и тот же образ, точнее – одно и то же видение. Черные ворота, кто-то невидимый бьет в них тараном, к воротам черной чередой приближаются люди, внезапно останавливаются, пытаются отступить,

дрожат черные скалы по обеим сторонам ворот, на них, как покрывало, опускается черное небо, и ворота медленно раздвигаются, а за ними клубятся вдали черные тучи, порозовевшие от огня, черное море трется о берег, как огромный зверь со вздыбившейся шерстью, толпа людей вновь трогается с места и бредет вперед, постепенно растекаясь и исчезая в огненно-черной пасти.

Он все сильнее сжимал в ладонях миску и конвульсивно упирался ногами в пол, чтобы удержаться в сидячем положении. Так он просидел до рассвета четвертого дня. Когда в заледенелом окне просветлело, он упал на подушку и подтянул ноги, продолжая прижимать к животу миску. Из зыбкого полусна его вывело прикосновение чего-то теплого к лицу, к голове, к шее. У него уже не оставалось сил, чтобы поднять веки, и он не мог, даже затуманенным взглядом, посмотреть на ту пожилую женщину в белом халате, которая гладила его, обнимала и монотонно повторяла какие-то слова. Не видя и не слыша ее, лишь предчувствуя, что скоро отгадет, он вспоминал колымскую Анну Павловну, маленькую, щуплую женщину, которая проходила однажды мимо золотого забоя их бригады и крикнула, указывая рукой на заходящее солнце: «Скоро уже, ребята, скоро!» «Я всю жизнь ее вспоминал», – признавался он в своем рассказе. Вспоминал всю жизнь как прекраснейший образ и символ Надежды. А надежда тогда была только одна: вернуться в барак и свалиться на нары. Нельзя жить без надежды, сто лет тому назад сказал летописец Мертвого дома. А умирать можно? Можно умереть без надежды? Наконец он понял, что умирает, наконец воскресли и ненадолго обступили его воспоминания, наконец восторжествовала несломленная память. Он улыбнулся, в его слабой, едва заметной улыбке тень страдания слилась с тенью победного торжества. И он умер, как засыпают после изнурительно долгой и тяжелой дороги, легко опускаясь в чистую и черную глубину. Будущий биограф Великого писателя, наверное, попытается установить, на чьих руках он умер.

И вот он лежит в гробу, усыпанный цветами, а над ним, с возвышения, священник совершает обряд. Палата, превращенная в часовню, небольшая и темная, тридцать человек с тонкими, ярко горящими в руках свечами тесным кольцом окружают гроб. В тот январский день выпал обильный снег и одновременно потеплело. От сверкающей белизны за окном побледнели в полумраке часовни звездчатые огоньки свечей, побледнели и лица стоящих кольцом людей. Хотелось бы прочесть хоть что-нибудь в их глазах, но все взгляды обращены были к лицу умершего.

Его лицо было и его посмертной маской. Запавшие глазницы, удлинившийся и заострившийся нос, морщины как шрамы на щеках, горькая, слегка насмешливая гримаса, оставшаяся от предсмертной улыбки, – только с давно уже мертвого лица смерть могла снять такую маску. Священник закрыл молитвенник, перекрестил тело усопшего и сошел вниз. Наступила тишина. Из круга вышел молодой человек, подошел к гробу, поднял свечу, огонь которой блеснул в его глазах, и произнес звонким и сильным голосом: «На каждом, на каждом лице Колыма написала свои слова, оставила свой след, вырубил лишние морщины, посадила навечно пятно отморожений, несмываемое клеймо, неизгладимое тавро!» Это была цитата из рассказа Великого писателя под названием «Тишина». Тишина вновь наступила и в часовне. К могиле гроб Великого писателя несли открытым, на его посмертную маску падали последние хлопья снега, сразу таяли и омывали ее скальвающими каплями. Перед тем как гроб закрыли крышкой, одна из женщин обтерла его лицо большим платком.

Будущий биограф Великого писателя одобрит, вероятно, что молодой человек, сказавший прощальное слово, выбрал именно эту фразу. Эта фраза почти уникальна в творчестве Великого писателя. Он, как известно, остерегался повторений и лишних слов и с недоверием относился к восклицательным знакам. Поэтому троекратно, пусть и в синонимах, повторенное слово **клеймо**, слово-образ, усиленное резкими прилагательными и припечатанное восклицательным знаком, звучит в его «Тихине» как библейское проклятие, как гул, поднимающийся из глубин земных.

*Опубликовано в журнале «Иностранная литература», №4, 1996 г.  
Электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/2313.html>*

---

Густав Герлинг-Грудзинский, – известный польский писатель и общественный деятель, эмигрант, участник Второй мировой войны, автор автобиографической книги «Иной мир. Советские записки» о сталинских концлагерях, в предисловии к русскому изданию которой он пишет: «Шаламов – вероятно, величайший писатель советского «концентрационного мира». В пос. Ерцево, Архангельская область, где Герлинг-Грудзинском отбывал срок, ему установлен памятник.



Вместе с переводчиком «Колымских рассказов» на итальянский, 1976, Пьеро Синатти (Piero Sinatti) выпустил книгу «Помнить, рассказать: разговор о Шаламове», 1999.

Рассказ «Клеймо» написан для «Дневника, писавшегося ночью» (апрель 1982) и представляет собой поминальное слово по Варламу Шаламову в форме новеллы, где использован тот же прием, что у Шаламова в «Шерри-бренди». Краткий анализ этой новеллы составитель дал в своем очерке «Московский рассказ. Жизнеописание Варлама Шаламова, 1960-80-е годы».

Подробнее о Шаламове и Герлинге-Грудзинском см. в вышеозначенном блоге: «Франческо Каталуччо. Герлинг-Грудзинский и Шаламов» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/90291.html> и «Пьеро Синатти. Судьба Варлама Шаламова в Италии» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/293340.html>

## Архив, библиография

### Фонд Шаламова в РГАЛИ, Москва

Общие сведения о фонде Шаламова и новых поступлениях на сайте Федеральные архивы

[http://www.rusarchives.ru/search.shtml?flexum\\_query=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2](http://www.rusarchives.ru/search.shtml?flexum_query=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2)

#### ФОНД ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

Номер фонда Ф. 2596\*

Объем 263 ед. хр.

Крайние даты 1901 - 2000 гг.

\* *(Это то, что называется «оп.2». О ней в выпуске №8 Путеводителя РГАЛИ*

<http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=145&sid=48194#refid48183> *Примечание составителя)*

Содержащиеся материалы

Историческая справка

Шаламов Варлам Тихонович (1907 - 1982) - писатель.

Аннотация

Рукописи В. Т. Шаламова. Сборники рассказов, очерков и воспоминаний: "Колымские рассказы" (1954 - 1973), "Вишера" - "Вишерский антироман" [1960-е - 1970-е], "Воспоминания" [1970-е]; "Четвертая Вологда" - автобиографическая повесть [1968 - 1971]; "Федор Раскольников" - повесть (1973); рассказы: "Возвращение", "Господин Бержере в больнице", "Три смерти доктора Аустино" [1930-е], "Вставная новелла", "Герман Хохлов", "Глухие", "По способу Джанелидзе" и др. [1950-е - 1970-е]; пьесы: "Комедия в четырех актах" - "Памятный листок" [1950-е], "Анна Ивановна" [1960-е], "Вечерние беседы" [1970-е]; стих-ния (1937 - 1981); эссе: "Все или ничего", "Заметки о стиховой



гармонии", "Как сделана "Метель" Пастернака", "Кое-что о моих стихах", "Национальные границы языка и свободный стих", "О новой прозе", ["О новой русской прозе"], "О прозе", "Писательское чтение", "Поэтическая интонация", "Проза двадцатых годов", "Рифма", "Стихи в лагере", "Стиховедческий разбор стихотворения А. Межирова "Защитник Москвы" [1960-е - 1970-е]; выступление на вечере памяти О. Э. Мандельштама" (1966); воспоминания о С. И. Аллилуевой, П. Н. Васильеве, А. К. Воронском, Я. Д. Гродзенском, Н. Я. и О. Э. Мандельштам, Б. Л. Пастернаке, В. В. Португалове, М. А. Светлове, А. И. Солженицыне и др. [1959 - 1970-е]; записи автобиографического характера [1960-е - 1970-е], автобиографии 2 [1960-е] и др. Всего 550 рук.

Письма В. Т. Шаламова: Ф. А. Вигдоровой 3 (1964 - 1965), Г. А. Воронской - ксерокоп. 16 (1959 - 1977), Я. Д. Гродзенскому 49 (1962 - 1971), Г. Г. Демидову 5 (1965 - 1967), Л. З. Копелеву (1965), Б. Л. Пастернаку - ксерокоп. 20 (1952 - 1956), А. И. Солженицыну 21 (1962 - 1966), Ю. А. Шрейдеру 60 (1966 - 1978).

Письма В. Т. Шаламову: М. Н. Авербаха (1968), Е. С. Гинзбург 2 (1967), Я. Д. Гродзенского 8 (1963 - 1965), Г. Г. Демидова 7 (1965 - 1967), А. З. Добровольского 29 (1955 - 1960), Л. З. Копелева (1965), Ф. Е. Лоскутова 15 (1955 - 1965), Н. А. Решетовской 2 (1963, 1964), А. И. Солженицына 14 (1963 - 1966), Ю. А. Шрейдера (1975) и др. Всего 17 корр.

Следственные дела по обвинению В. Т. Шаламова в антисоветской агитации и контрреволюционной троцкистской деятельности - ксерокоп. (1929 - 1943); реабилитационные документы - подлинник, ксерокоп. (1956, 2000); библиография произведений В. Т. Шаламова, опубликованных в СССР, России и за рубежом в 1932 - 2000 гг. (1973 - 2000).

Воспоминания, диссертации, статьи о В. Т. Шаламове: В. Г. Агеевой, Г. В. Адамовича, Е. В. Волковой, В. В. Есипова, М. Н. Золотоносова, И. С. Исаева, Л. Клайн, Е. Михайлик, И. В. Некрасовой, Л. С. Панова, И. П. Сиротинской, Ф. Ф. Сучкова, М. Такаги, У. Харта, Ю. А. Шрейдера и др. - авт., маш., печ. вып., ксерокоп. (1967 - 2000); рецензии на его произведения: А. К. Дремова, Г. Лаптева, Э. Мороза, В. П. Солнцева (1963 - 1967); письма с упом. о В. Т. Шаламове: Г. И. и М. И. Гудзь - Б. Л. Пастернаку - ксерокоп. 5 (1952 - 1956); М. Н. Аввакумовой (1987), Г. Айги (1988), Ф. Апановича 2 [1994, 1998], В. И. Аринина

6 (1988 - 1994), В. П. Астафьева (1987), С. А. Баруздина 2 (1987, 1988), М. Берутти 3 (1992 - 1998), В. В. Есипова 2 ([1990] - 1997), Н. М. Ивановой-Романовой 6 (1988 - 1992), Л. Клайн 4 (1994 - 1997), Л. Кресченци (1999), К. Пигетти 6 (1991 - 1994), А. Раффетто (1998), А. И. Солженицына 2 (1989, 1990), М. Такаги 10 (1990 - 1999), Т. Ягтенберг - И. П. Сиротинской 2 (1989); И. П. Сиротинской - Ю. А. Шрейдеру (1979).

Материалы вечеров памяти В. Т. Шаламова и Международных шаламовских чтений (1987 - 2000).

Материалы свящ. Т. Н. Шаламова - отца (1984 - 1904).

Портрет В. Т. Шаламова - работы Б. Г. Биргера - фоторепродукция (1967).

Фото В. Т. Шаламова, индивидуальные и в группах с Г. И. и М. И. Гудзь, А. Е. Крученых, О. С. Неклюдовой и др., 14 (1908 - 1956).

Фото: Н. Н. Асеева в группе с Б. Л. Пастернаком и А. А. Фадеевым [1930-е], Н. Я. Мандельштам 5 [1920-е - 1960-е], О. Э. Мандельштама (1933), Арс. А. Тарковского (1987), Т. Н. Шаламова в группе с архиеп. Тихоном (Беллавиным), свящ. Н. Кашеваровым и др. - фотокоп. (1901), Н. А. Шаламовой - матери - ксерокоп. [1904].

Фото участников вечеров памяти В. Т. Шаламова и Международных шаламовских чтений: Д. Глэда, О. М. Дмитриева, А. П. Злобина, М. Никольсона, К. Пигетти, М. Такаги и др. 38 (1987 - 1997).

-----

\*\* Сведения о составе документов оп. 1 - 3 (1900-е - 1982) фонда В. Т. Шаламова см.: вып. 7, с. 285 - 287. Оп. 2 переработана и дополнена новыми материалами в 2000 г.

Источник

[http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=145&direction=asc&fund\\_id=48183&sort=title](http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=145&direction=asc&fund_id=48183&sort=title)

ШАЛАМОВ

Варлам Тихонович (р. 1907), поэт.

РГАЛИ, ф. 2596, 501 док., 1940—1960-е гг.

[http://www.rusarchives.ru/guide/lf\\_ussr/shaa\\_shep.shtml](http://www.rusarchives.ru/guide/lf_ussr/shaa_shep.shtml)

---

РГАЛИ (общие сведения)

Контактная информация

Адрес: 125212, Москва, ул. Выборгская, 3, корп. 2

Код: 8 (499)

Тел.: (499) 159-76-85, (499) 159-73-81; Факс: (499) 159-73-86, (499) 150-78-10.

URL: <http://rgali.ru>

E-mail: [rgali@rgali.ru](mailto:rgali@rgali.ru), [rgali@list.ru](mailto:rgali@list.ru), [rgali@inbox.ru](mailto:rgali@inbox.ru)

Проезд: метро Водный стадион

Время работы: понедельник-четверг 9.00–17.00  
пятница – 9.00–16.00

1-й рабочий день месяца – санитарный день.

---

Директор: Горяева Татьяна Михайловна (тел. (499) 159-76-85)

Зам. директора: Злобина Галина Рауфовна (тел. (499) 159-73-81)

Зам. директора по административно-хозяйственной части: Красавин  
Алексей Александрович (тел. (499) 150-78-10)

Зав. отделом архивных коммуникаций: Стрижкова Наталья Алексеевна (тел. (499) 159-73-86)

Группа социально-правовых запросов: гл. специалист Дрезгунова Галина Юрьевна (тел. (499) 159-70-06, адрес: 125212, Москва, ул. Выборгская, 3, корп. 1)

-----

Зал рукописей

Зав. читальным залом: Неустроев Дмитрий Викторович

Сотрудники: Мельниченко Михаил Анатольевич

Телефон читального зала: (499) 159-75-13

Факс: (499) 159-73-86, (499) 159-74-96

E-mail: [zakazrgali@list.ru](mailto:zakazrgali@list.ru)

Режим работы читального зала:

с сентября по июль: понедельник-четверг 9.30–17.30; пятница 9.30–16.30, суббота и воскресенье – выходные дни.

Санитарный день – первый рабочий день месяца.

В августе читальный зал не работает.

Приём требований на выдачу документов прекращается во второй половине июля.

Обращаем Ваше внимание, что одновременно в читальный зал выдаётся не более 5 подлинников и 10 микрофильмов. Превышение этого количества в силу ряда причин, к сожалению, невозможно. Новые требования принимаются только после сдачи материалов по предыдущему заказу.

-----

Зал микрофильмов

Зав. читальным залом: Гаврилина Ирина Алексеевна

Адрес: ул. Выборгская, д. 3, корп. 1, комн. 8.

Телефон: (499) 156-69-52 (только для продления заказанных материалов)

Режим работы читального зала:

с сентября по июль: понедельник и четверг с 12.00 до 20.00, вторник и среда с 10.00 до 17.30, пятница с 10.00 до 16.30,

суббота и воскресенье – выходные дни.

Санитарный день – первый рабочий день месяца.

В августе читальный зал не работает.

Приём требований на выдачу документов прекращается во второй половине июля.

Обращаем Ваше внимание, что одновременно в читальный зал выдаётся не более 5 подлинников и 10 микрофильмов. Превышение этого количества в силу ряда причин, к сожалению, невозможно. Новые требования принимаются только после сдачи материалов по предыдущему заказу.

### **<Фонд Шаламова в РГАЛИ, поступления 1984-92гг.>**

Материалы, поступившие в РГАЛИ (ЦГАЛИ) значительно позже 1979 года, когда Сиротинская забрала у Шаламова перед его переводом в дом престарелых все, «вплоть до последней бумажки». Непонятно, откуда они взялись. Дюжину папок с машинописными сборниками прозы и стихов в 1978 году забрали на хранение Юлий Шрейдер и Людмила Зайвая, так что некоторые из перечисленных здесь материалов мог передать Шрейдер. Но откуда взялось остальное, в особенности письма Шаламову, которые должны были храниться у него дома, или, например, копии писем Климовой, которые Шаламову давала читать ее дочь Наталья Столярова для рассказа «Золотая медаль»? Часть материалов в начале девяностых могла вернуть государственному архиву госбезопасность, которую Шаламов уже не интересовал. Хотя едва ли тайная полиция держала в папке Шаламова рукописи, например, Ольги Карлайль и Веры Клюевой. В общем, многое здесь непонятно. И само количество – 1200 рукописей – впечатляет.

---

Российский государственный архив литературы и искусства. Путеводитель. Выпуск 7. Фонды, поступившие в РГАЛИ в 1984-1992 гг.. 1998

<http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=144&sid=11523#refid11508>

### **ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ**

206. Шаламов В. Т.

Ф. 2596; 566 ед. хр.; 1900-е – 1982 гг.; оп. 1 – 3

Шаламов Варлам Тихонович (1907 – 1982) – поэт, писатель.

*Рукописи В. Т. Шаламова.* Сб. стих-ний: "Высокие широты", "Златые горы", "Кипрей", "Лично и доверительно", "Синяя тетрадь", "Сумка почтальона" (1949 – 1956), тетради с записями стих-ний (1949 – 1979); авторские комментарии к стих-ниям (1969 – 1972); переводы стих-ний К. Р. Аманжолова, Р. Зоговича, Н. Ракитина, К. Христова и др. [1970-е]; повести: "Четвертая Вологда" (1971), "Федор Раскольников" (1973), "Вишера" [1970-е]; сб. рассказов и очерков: "Колымские рассказы" (1954 – 1961), "Очерки преступного мира" (1955 – 1960), "Артист лопаты", "Левый берег" (1960 – 1965), "Воскрешение листовенницы" (1966 – 1967), "Вишерский антироман" (1970), "Перчатка, или КР-2" (1973); рассказы: "Возвращение", "Три смерти доктора Аустино" (1936), "Пава и древо" (1937); очерки и статьи: "Эрзя" (1954), "В одной лаборатории" (1956), "Гоголь в Москве" (1959), Заметки о стихах" [1950-е – 1960-е], "Блок и Ахматова", "Василий Каменский", "Интонация Николая Ушакова", "Секреты стихов" и др. [1970-е]; пьеса "Анна Ивановна" [1960-е]; выступление на вечере памяти О. Э. Мандельштама (1965); воспоминания: "Асеев в 20-е годы", "Двадцатые годы", "Луначарский", "Маяковский мой и всеобщий", "Муса Джалиль", "Пастернак" и др. [1960-е – 1970-е]; записи о Ф. А. Абрамове, Н. Н. Асееве, А. А. Ахматовой, Е. А. Баратынском, Г. Бёлле, А. А. Блоке, В. Я. Брюсове, И. А. Бунине, А. А. Вознесенском, Н. Г. Гарине-Михайловском, О. Генри, А. К. Гладкове, А. С. Грине, Г. Р. Державине, Ф. М. Достоевском, Е. А. Евтушенко, С. А. Есенине, С. Т. Коненкове, А. Г. Коонен, П. Л. Лаврове, М. Ю. Лермонтове, Г. А. Лопатине, А. П. Межирове, В. Э. Мейерхольде, В. И. Нарбуте, Н. А. Некрасове, К. А. Некрасовой, Ю. К. Олеше, П. А. Павленко, М. С. Петровых, Б. Н. Полевом, Э.-М. Ремарке, А. М. Ремизове, К. К. Рокоссовском, М. А. Светлове, И. Л. Сельвинском, Я. В. Смелякове, С. М. Степняке-Кравчинском, А. Т. Твардовском, В. Н. Фигнер, М. И. Цветаевой, В. М. Шукшине, С. М. Эйзенштейне и др. [1960-е – 1970-е]; отзывы о произведениях: В. И. Казанского, В. В. Кожина, К. Г. Паустовского, М. А. Шолохова, И. Г. Эренбурга и др. (1957 – 1976) и др. Всего 1200 рук.

*Письма В. Т. Шаламова.* П. Г. Антокольскому (1972), А. А. Ахматовой (1965), О. Ф. Берггольц [1954], Л. Ф. Волкову-Ланниту 2 (1956), Г. А. Воронской (б. д.), А. К. Гладкову 3 (1967 – 1973), Г. И. Гудзь – жене 13 (1954 – 1956), Н. Н. Гусеву (1966), А. З. Добровольскому 8 (1955 – 1965), О. В. Ивинской 5 (1956), Ф. А. Искандеру (1970), В. В. Кожино-

ву 2 (1960, 1977), С. С. Лесневскому 2 (1968, 1972), Б. Н. Лесняку 6 (1964 – 1969), Н. Я. Мандельштам 17 (1965 – 1968), О. Н. Михайлову 5 (1968 – 1972), С. С. Наровчатову 3 (1972 – [1970-е]), О. С. Неклюдовой – жене 4 (1956 – 1966), Б. Л. Пастернаку 13 (1953 – 1956), К. Г. Паустовскому (1967), Б. Н. Полевому 2 (1973, 1974), В. В. Португалову (б. д.), Д. С. Самойлову (1973), Б. А. Слуцкому 2 (1962, 1973), Н. И. Столяровой 9 (1963 - 1967), Ф. Ф. Сучкову (1964), Арс. А. Тарковскому (б. д.), Л. И. Тимофееву 2 (1972, [1970-е]), Л. К. Чуковской (1969) и др. Всего 81 адр.

*Письма В. Т. Шаламову:* Вад. Л. Андреева (1967), В. Ф. Бокова (1961), К. Я. Ваншенкина (1977), Л. Ф. Волкова-Ланнита 4 (1956), А. К. Гладкова 3 (1967 – 1971), Г. И. Гудзь 13 (1954 – 1956), А. З. Добровольского 9 (1956 – 1966), Ю. О. Домбровского (1965), А. В. Жигулина (1965), О. В. Ивинской 2 (1956), В. И. Казанского 2 (1958, 1978), В. В. Кожина (1976), А. А. Кременского 3 (1967 – 1974), С. С. Лесневского (1968), Д. С. Лихачева (1979), Н. Я. Мандельштам 23 (1965 – 1968), А. А. Михайлова (1977), И. Л. Михайлова (1979), О. С. Неклюдовой 24 (1956 – 1967), Б. Л. Пастернака 6 (1952 – 1955), В. В. Португалова 8 (1956 – 1967), Б. А. Слуцкого (1967), Н. И. Столяровой 12 (1964 – 1967), Ф. Ф. Сучкова 6 (1964 – 1965), Л. И. Тимофеева (1965), В. С. Фогельсона 4 (1963 – 1964), С. П. Щипачева (1977), И. Г. Эренбурга (1961), М. В. Юдиной (1967), Б. С. Южанина 2 (1957) и др. Всего 98 корр.

Материалы к биографии В. Т. Шаламова (1907 – 1980).

Рецензии на сб. стих-ний и прозы В. Т. Шаламова: Е. М. Винокурова, В. В. Дементьева, О. М. Дмитриева, В. М. Инбер, Л. А. Озерова, Б. А. Слуцкого, Ф. Ф. Сучкова, С. А. Трегуба и др. (1961 – 1972).

Рукописи. О. В. Карлайль "Три встречи с Б. Пастернаком" (1960), В. Н. Клюева "Культура и быт Монгольской Народной Республики", "Монгольские баллады", "Народное творчество Монголии", "От Унгерна", Н. Я. Мандельштам "Труд", О. Э. Мандельштам "Четвертая проза", Ф. Ф. Сучков "Об Андрее Платонове", "Святая возвышенность" [1960-е] (авт., маш., маш. коп.).

Письма: Н. Н. Гусева – Н. И. Столяровой 2 (1962), Н. С. Климовой – С. С. Климову, О. Н. Климовой и др. – маш. коп. 47 (1906 – 1917); Б. Л. Пастернака – Г. И. Гудзь 3 (1952 – 1953), И. В. Столярова – К. В. и О.

П. Жилинским 2 (1924, 1926); запись телефонного разговора Б. Л. Пастернака и М. И. Гудзь.

Фото В. Т. Шаламова, индивидуальные и в группах, 34 [1920-е – 1970-е].

---

### *Материалы по Шаламову в других фондах РГАЛИ*

Прогулялся по сайту Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в поисках материалов по Шаламову вне его фонда. Вот что нашел.

1

«Письма А. К. Гладкова: [...] В. Т. Шаламова 16 (1966 – 1974)». Кроме того, здесь же хранятся «дневниковые записи (1928 – 1976)» и «Записные книжки А. К. Гладкова 20 (1934 – 1966)».

(К счастью, Михаил Михеев уже работает в фонде Гладкова над его дневниками и обнаружил в них много интересного и важного о Шаламове)

Фонд драматурга и мемуариста, лагерника А.К. Гладкова в РГАЛИ (РГАЛИ. Ф. 2590)

2

В Фонде Льва Копелева в РГАЛИ, Ф. 2549 (Копелев Л.З.) 4 письма Шаламова [опубликовано 3], а также рукописи стихотворения и рассказа «Борис Южанин».

3

В Фонде Суркова Е. Д. (Ф. 3078; 836 ед. хр.; 1891 – 1989 гг.; оп. 1) письмо Шаламова (1964)

4

В Фонде Берггольц О. Ф. (Ф. 2888; 1408 ед. хр.; 1907 – 1997 гг.; оп. 1) письмо Шаламова (1956)

5



В Фонде Симонова К. М. (Ф. 1814; 4299 ед. хр.; 1883 – 1981 гг.; оп. 5 – 9) письмо Шаламова (1972)

6

В Фонде Ольги Неклюдовой, второй жены Шаламова (фонд: 509, в РГАЛИ ) <http://libinfo.org/index/index.php?id=114344> хранятся 13 его писем (1956 – 1965)

7

В Фонде редакции журнала «Новый мир» хранятся среди прочих рукописи Шаламова, проза или поэзия, не сказано.

8

В Фонде Бориса Слуцкого в РГАЛИ, Ф/3101 (Слуцкий Б.А., источник: выпуск 7 Путеводителя РГАЛИ) 6 писем Шаламова за период 1961-1973гг. [опубликовано только одно], рукописи «В. Т. Шаламов «Из колымских тетрадей» – цикл стих-ний (1937 – 1956), «Асеев в двадцатые годы» – воспоминания – маш. [1960-е]].

9

Наконец, материалы Надежды Мандельштам в Фонде Осипа Мандельштама в РГАЛИ.

Описания документов, не то что сканов, нет, есть только прејскурант:

Разделы систематизации описи (7)

7.1. Рукописи Н.Я. Мандельштам

7.2. Письма Н.Я. Мандельштам

7.3. Письма к Н.Я. Мандельштам

7.4. Материалы к биографии Н.Я.Мандельштам

7.5. Материалы, собранные Н.Я.Мандельштам и отложившиеся в фонде

7.6. Материалы о Н.Я.Мандельштам

7.7. Материалы Евгения Яковлевича и Якова Аркадьевича Хазиных

Здесь обязательно должны быть и рукописи Шаламова – невозможно представить, чтобы у Н. Мандельштам не было, например, списков посвященных ей рассказов «Сентенция» и «Воскрешение лиственницы» и посвященного ее мужу рассказа «Шерри-бренди», – и материалы, касающиеся самого Шаламова, скажем, в черновиках ее книг, откуда Виктория Швейцер выписала цитату об отношении Шаламова к

поэзии как к любви. Кроме того, очертив круг ее эпистолярных контактов – сама она полученных писем, как правило, не хранила – можно обратиться к архивам тех, кому она могла писать о Шаламове, как, например, своей подруге Наталье Штемпель. Архив Н. Мандельштам, по свидетельству Павла Нерлера, с момента незаконного изъятия его госбезопасностью у душеприказчика Юрия Фрейдина (1983), передачи в ЦГАЛИ и засекречивания, до 2006 года лежал мертвым грузом, и в Сети его подробной описи нет.

\*

Поскольку гулял я по сайту РГАЛИ как зевака, к тому же непрощенный, то нашел, конечно, немного, ну и интернет есть интернет – там вообще мало что оцифровано, на этом respectable сайте, хорошо если в двух словах охарактеризовано.

Вне РГАЛИ хранится письмо Шаламова Александру Богословскому (1965), литературоведу, впоследствии политзаключенному, работавшему вместе с Натальей Столяровой над рукописями поэта Бориса Поплавского

Источник:

Архивный фонд А.Н. Богословского.

Фонд № 694

ИМЛИ РАН, отдел рукописей <http://rukopis.imli.ru/?n=15>

Также вне РГАЛИ письма Шаламова хранятся в архиве поэта Виктора Бокова, подробности – в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/208715.html>

---

### ***Рукописи Шаламова и списки его творений за рубежом. Краткий обзор***

Гигантский по объему архив Шаламова распылен по Америке и Европе и, за исключением Марка Головизнина, никого из шаламоведов – ни российских, ни западных, живущих, быть может, в несколь-

ких остановках от мест хранения рукописей – почему-то не интересуется. Вот *самая общая и, разумеется, неполная сводка*. (Чтобы не придирались: рукописями я называю машинописные тексты, да оно и по существу правильно – написано рукой, пусть и посредством клавиш пишущей машинки, точно так же, как обычная рукопись написана рукой посредством пера или карандаша. Рукой без письменных принадлежностей написаны только десять заповедей и еще «мене, текел, фарес»).

1 Примерно шестисотстраничный список «Колымских рассказов», полученный в 1966 году от Шаламова Кларенсом Брауном и переданный последним Роману Гулю. Должен храниться либо в архиве нью-йоркского «Нового журнала», либо в личном архиве его редактора Гуля.

2 Пятитомник полного корпуса «Колымских рассказов» (исключая цикл «Перчатка или КР-2») издания Леонида Пинского, составлявший содержимое полученного от Шаламова «туго набитого рукописями» «большого фибрового чемодана», который Ирина Каневская и Кирилл Хенкин переправили в Париж в 1968 году. Возможно, в чемодане находился и самиздатский двухтомник «Колымских тетрадей» 1966 года. Хранится, предположительно, либо в архиве издательства ИМ-КА-Пресс, либо в личном архиве его редактора Никиты Струве.

3 Список «Колымских рассказов», переправленный Шаламовым для издания на французском, 1969, в Париж. Лилиана Лунгина, связанная с Леонидом Пинским и его кругом, говорит о «рукописях», французский издатель Морис Надо говорит о «фотопленке», полученной от сотрудника французского посольства в СССР. Хранится – если не потерян – либо в архиве издательства Les lettres nouvelles, либо в личном архиве издателя. (См. письменное свидетельство-объяснительную записку Мориса Надо в разделе воспоминаний).

Возможно, у Лунгиной и Надо речь идет о двух разных списках.

4 Части поэтического и прозаического собрания сочинений Шаламова 1965-68 гг., хранящиеся в Русском архиве Центра по изучению Восточной Европы университета города Бремен (Германия) в фонде Елены Ильзен-Грин (ф.89). Включают три машинописных тома стихов и прозы. В том же архиве находятся в открытом доступе оригиналы писем Шаламова Ольге Ивинской (последнее письмо Шаламова Ивин-

ской опубликовано с купюрами, по-видимому, обширными) и фотографии Шаламова с дарственной надписью Ирине Каневской.

5 Списки «Колымских рассказов», напечатанных 1967-70 гг. в журналах «Посев» и «Грани» во Франкфурте-на-Майне в Германии. Должны храниться либо в архивах журналов, либо в архиве выпускавшего их НТС-овского издательства «Посев».

6 Списки «Колымских рассказов», по словам Леоны Токер, передававшиеся Михаилу Геллеру Геннадием Айги, а по сообщению Д. Зубарева и А. Макарова – Владимиром Рябоконом, для публикации в лондонском и парижском изданиях прозы Шаламова, 1978, 1985. Хранятся, по-видимому, либо в архиве издательств ОРІ и ИМКА-Пресс, либо в личном архиве Геллера. Здесь же список «Четвертой Вологды», напечатанной в парижском издании 1985 года.

7 Список «Колымских рассказов», переправленный на Запад немецкими студентами, получившими его от Сергея Григорьянца, и, возможно, послуживший материалом для издания первого сборника КР на одном из основных европейских языков под названием «Статья 58. Записки заключенного Шаланова», Кельн, 1967. Может храниться в архиве этого, по словам Марка Головизнина, «достаточно авторитетного издательства» или у его основателя Фридриха Миддельхауе.

8 Списки «Колымских рассказов», переправленные в Италию слависткой Сереной Витале и другой итальянкой, имени которой Сергей Григорьянец не помнит. Где хранятся, не знаю.

9 Рукопись цикла стихов «Неизвестный солдат», переданная Александром Морозовым «Вестнику РХД» в 1980-81 гг. Должна храниться в архиве журнала в Париже.

10 Рукописи «Воспоминаний» и рассказов Шаламова, печатавшихся в 1984-85 гг. газетой «Русская мысль». Должны храниться в архиве газеты в Париже.

11 Рукопись пьесы «Анна Ивановна», опубликованной в журнале *Russ. Lit. Triquarterly*, вып. 19, 1986, издательство Ардис, Анн Арбор, Мичиган. Хранится, по всей вероятности, в архиве издательства.

12 Оригиналы писем Шаламова к Пастернаку, проданные, по словам бывшего директора РГАЛИ (ЦГАЛИ) Натальи Волковой, вместе со значительной частью архива Пастернака, Государственному музею грузинской литературы им. Г. Леонидзе, Тбилиси.

13 Письма Шаламова семье Андреевых. Должны храниться либо у парижских наследников Вадима и Ольги Андреевых, либо у Ольги Андреевой-Карлайль в Америке, там же экземпляры поэтических сборников с дарственными надписями.

---

### *Материалы по Шаламову в архиве Михаила Геллера, Франция*

Большая часть архива известного историка, литературоведа и редактора Михаила Геллера находится во Франции, в Библиотеке международной современной документации (BDIC) <http://www.bdic.fr/> (Нантер, под Парижем), куда ее передал его сын, профессор Лозанского университета, вице-президент Фонда исторических исследований имени М.Я. Геллера филолог и славист Леонид Геллер (Heller Leonid <http://www.proff.ch/professor.view.do;jsessionid=B4ECC650CDA9E35032389F7E87C925A3?pId=9ae990c0825cfc6e4e6f92425187a246&navHist=H3> – здесь, кстати, его телефон и e-mail). Он же, согласно электронному справочнику, является хранителем материалов французского филиала Фонда. Одна из научных статей Леонида Геллера, «Страх страшнее страха», посвящена рассказу Шаламова «Прокаженные», ее электронная версия выложена в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/25275.html>.

Напомню, что Михаил Геллер – составитель единственного прижизненного сборника «Колымских рассказов» на русском, Лондон, 1978, и второго сборника шаламовской прозы под названием «Воскрешение лиственницы», Париж, 1985 – это почти полное шаламовское «колымское» Пятикнижие плюс «Четвертая Вологда» и другие произведения. Логично предположить, что многие материалы, использованные Геллером при составлении этих книг, хранятся в его архиве по вышеуказанному адресу. Здесь могут быть копии рукописей, полученные издателем Анджеем Стипульковским от Романа Гуля, списки прозы Шаламова, собранные Геллером самостоятельно для сборника

«Воскрешение лиственницы», в том числе список «Четвертой Вологды», автографы Шаламова, сопутствующая переписка с издателями и помощниками и проч.

Любопытно, что в течение тридцати-тридцати пяти лет никто из шаламоведов – ни российских, ни зарубежных – не заинтересовался материалами, с которых осуществлялось издание **первых** шаламовских книг на русском.

---

### *Папка с первыми «колымскими» стихами Шаламова у Леона Траубе в Бремене*

Статьи литератора Наума Циписа из журнала «Приокские зори», Тула, и самого Леона Траубе из германской «Русской газеты».

Некоторые детали расходятся, в частности, Траубе говорит о 1953 годе, но по прошествии стольких лет это немудрено.

---

Наум Ципис

#### **Стихи из старой папки**

Мы встретились на приеме у врача. Оказалось, что и я, и Александр Сукальский, инженер из Донецка, оперировали свои сердца в одном госпитале. Слово за слово – он пригласил меня к себе домой. [...]

Среди гостей был человек, который пользовался общим вниманием. Он был «своим» в любой теме разговора. Сын «врага народа», воспитанник спецдетдома, участник войны (в семнадцать лет ушел на фронт), выпускник Ленинградского института инженеров кино, Леон Траубе собрал большую библиотеку, создал прекрасные авторские фотоальбомы [...]

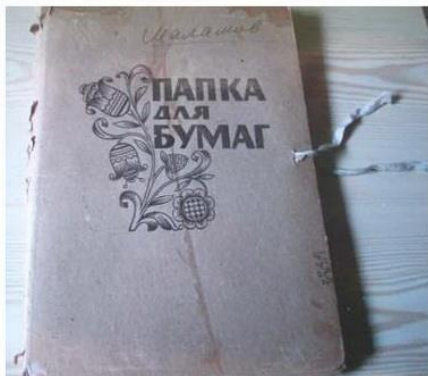
Наше знакомство переросло в прочные теплые отношения. Однажды Леон спросил: «Вы любите Шаламова?» На что я ответил: «Любить его трудно. Я не был с ним знаком. Но его, по-моему, невозможно не уважать и невозможно им не восхищаться». «Хотите почитать его

неизвестные стихи?» Наверное, у меня в тот момент было потерянное выражение лица: незнакомые стихи Шаламова в Бремене?! [...]

В начале девяностых Шаламов не просто популярен – он стал моден. Ненавидевший всякую позу, он об этом уже не узнал. [...]

Леон жил по соседству с Шаламовыми, дружил с дочерью поэта и его племянником. Отвоевав войну, молоденький авиационный техник вернулся в свой дом в Чистом переулке. Однажды – в 1951 году\* – Леон Траубе стал свидетелем такой сцены: в квартиру Шаламовых пришел человек и передал Галине Игнатьевне, жене поэта, небольшой бумажный сверток. «От вашего мужа». Строчки из автобиографических заметок поэта: «В 1949 году я, работая фельдшером в лагере, попал в «лесную командировку» и все свободное время писал – на обороте старых рецептурных книг, на полосах оберточной бумаги, на каких-то кульках...» Сверток с этими стихами «коллега» поэта по ссылке и передал Галине Игнатьевне. Шаламов опасался, что при полном его освобождении их могут отнять и уничтожить. Поэт просил жену перепечатать стихи на машинке в трех экземплярах: два отдать на хранение знакомым, а один оставить у себя. Перед смертью Галина Игнатьевна [скончалась в 1986 году – прим. составителя] подарила Леону свой экземпляр – старую папку с ненапечатанными стихами мужа. Тогда еще не напечатанными... Их было ровно сто. Так я встретился с «подпольными» стихами Варлама Шаламова и часть из них, с разрешения хозяина этой папки, передаю редакции журнала «Приокские зори».

[Дальше идет подборка стихов из «Колымских тетрадей»]



*\* По словам врача Елены Мамучаивили, она привезла и передала Галине Гудзь пакет со стихами из «Синей тетради» в феврале 1952 года*

Опубликовано в тульском журнале «Приокские зори», №2, 2012  
[http://medtsu.tula.ru/PZ/2012\\_2/06.pdf](http://medtsu.tula.ru/PZ/2012_2/06.pdf)

Наум Ципис – постоянный автор журнала, лауреат российской литературной премии «Левша» имени Лескова за 2010-й год, живет в Германии, Бремен. Биография <http://www.biografija.ru/biography/cipis-naum-froimovich.htm>

---

Леон Траубе

«В одном московском доме на Пречистенке, в Чистом переулке, жили три мальчишки. Один из нас, Кирилл, был племянником Варлама Тихоновича Шаламова. Мы проводили много времени в их многолюдной коммунальной квартире, некогда принадлежавшей большой семье жены Шаламова. Что тогда, до войны, мы могли знать о Шаламове? Только то, что его никогда не было дома. В начале тридцать восьмого и моя семья в одночасье исчезла из дома...

Зимой 1953 года, когда Шаламов после лагеря находился в ссылке, я приехал в Москву в командировку и остановился у Кирилла. В один из вечеров я стал свидетелем того, как к ним пришел некто в телогрейке и негромко переговорив с женой Шаламова, передал ей небольшой сверток. Это были стихи. Варлам Тихонович опасался, что их могут отобрать при освобождении и передал сверток с оказией.

Невозможно забыть, с каким волнением разбирали каждый листок оберточной бумаги, страницы из служебных тетрадей и другие бумажки, на которых были записаны стихи. Потом все было перепечатано на машинке надежными людьми и спрятано. Позже Галина Игнатьевна [Гудзь] подарила мне один экземпляр этих стихов.

Прошло много лет. Я живу в Германии, и со мной старая папка. Вы познакомитесь с малой частью стихов из этой папки.

И со своей душевной болью  
Я в города войду тогда...

\*



Леон Траубе (родился в 1924 году в Москве), по специальности киноинженер. Много лет занимался исследованием творчества Омара Хайяма, изучал архитектуру и экстерьеры Ленинграда, Бремена, Амстердама, Парижа, Брюсселя. Автор ряда печатных работ.

Живет в Бремене. [Ред.]

---

Опубликовано в германской «Русской газете» <http://ruszeitung.de/wanderer/w8.htm>. Цитируется стихотворение Шаламова «Я нынче вновь в исповедальне...»

Если, как рассказывает Траубе, стихи перепечатаны Галиной Гудзь и папка существует, то это те стихи, которые читал Пастернак.

Леон Траубе, судя по всему, жив и здоров, и с ним можно списаться. Племянника Шаламова действительно звали Кирилл, это муж Светланы Злобиной, поделившейся в октябре 2012 года своими воспоминаниями о Шаламове (см. в данном сборнике). Статья Циписа опубликована задолго до интервью со Злобиной, даты публикации статьи Траубе на сайте RusZeitung нет.

Связь с Траубе через <http://1180195.vkrugudruzei.ru/>

---

### ***О судьбе «списка-66» и перспективах на будущее***

Литературовед Яков Клоц (США), выступавший в Праге на международной конференции по Шаламову с докладом о публикациях «Колымских рассказов» в нью-йоркском «Новом журнале», говорит в интервью сотрудникам Радио Свобода Александре Вагнер и Дмитрию Волчку:

*«Речь идет о рукописи страниц в 600. К сожалению, как часто бывает с великими рукописями, ее след пропал.»*

Речь, напомню, идет о машинописном корпусе «Колымских рассказов» («список-66»), при посредничестве Надежды Мандельштам переданном Шаламовым в 1966 году через Кларенса Брауна издателю Гле-

бу Струве. В Америке эта шестисотстраничная рукопись попала в руки Романа Гуля, монополизовавшего «Колымские рассказы» на одиннадцать лет для публикаций политического характера в своем «Новом журнале». В состав «списка-66», согласно моей реконструкции, входили три полных сборника – «Колымские рассказы», «Артист лопаты» и «Левый берег», дополненные текстами из будущего цикла «Воскрешенные лиственницы».

Итак, выясняется, что он пропал. Обычная манера воров и жулья прятать концы в воду. Что ж, не все потеряно. Шансы отыскать копию «списка-66» велики. Я убежден, что дубликат этой рукописи может быть найден либо в архиве Михаила Геллера, вместе с Анджеем Стипульковским, директором польского эмигрантского издательства ОРІ, получившего от Гуля «права на издание» «Колымских рассказов», либо в архиве этого лондонского издательства. Том «Колымских рассказов», составленный Геллером в 1978 году, имеет основной авторскую редакцию трех первых сборников, а взять ее Геллеру – как и аутентичные версии уродовавшихся Гулем текстов – было неоткуда, кроме как из «списка-66» или его дубликата.

Вообще, это норма в отношении оригиналов авторских редакций «Колымских рассказов»: «список-66» пропал, местонахождение списка, переданного Морису Надо, неизвестно, местонахождение «списка-68», переданного в издательство ИМКА-Пресс, неизвестно, что в точности представляет собой сборник «Колымских рассказов», предлагавшихся Шаламовым «Новому миру», и где он сейчас (в РГАЛИ?), неизвестно, о самиздатском авторском собрании сочинений Шаламова 1965-68 гг. тоже ничего было неизвестно, пока я не нашел его в архиве Леонида Пинского и в Русском архиве в Бремене. Шаламов как был в «спецхране», так и остался. Это хорошо. Наглядное свидетельство его угрожающей актуальности.

---

*Александра Свиридова, Ирина Сиротинская. Послесловие к переписке Шаламова с Солженицыным*

Фрагмент из обсуждения фильма «Несколько моих жизней» («Круглый стол»), в котором Александра Свиридова и Ирина Сиро-

тинская рассказывают о попытках добиться от Солженицына разрешения на обнаружение его писем к Шаламову. Здесь же о том, как редактировали письма Шаламова при публикации их в журнале «Знамя» в, казалось бы, разгар гласности-перестройки. Из книги Александры Свиридовой «Судьба одного фильма», электронная версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» <http://ru-prichal-ada.livejournal.com/180196.html>

---

«Александра Свиридова: – [...] я не помню, в какие годы это было, но нам было сказано: единственное, что надо – убрать Солженицына, потому что вчера в ЦК было объявлено, что он враг.

Из зала: – Значит, это ноябрь 88-го.

Александра Свиридова: – Легко датировать, потому что это – реальное событие. После чего я сказала, что я это не уберу, потому что Солженицын в отношениях с Шаламовым не очень красиво выглядит. И я говорила, что меня не занимает идеологический аспект проблемы. Вот два человека, почти с равной биографией и равными задачами в искусстве, скажем так. У них были свои специфические взаимоотношения. А Ирина Павловна была хранителем величайшей ценности, на мой взгляд, – это переписка Шаламова с Солженицыным. И я сказала, что мне бы хотелось оставить Солженицына. После чего с нами прекратили всяческие отношения. Прошел год, наверное. А в сценарии был фрагментарно прочерчен путь их взаимоотношений, – сближения и разминовения. После года нас пригласили снова, сказали, что ваш сценарий крайне занятный, хотелось бы над ним работать, вот только Солженицын теперь бог, поэтому нельзя о нем ничего плохого. Как-нибудь откорректируйте фигуру Солженицына, и мы это запускаем. Я снова объяснила, что Солженицын в нашей ситуации вне оценки. С этим вступили в работу и это было крайне любопытно. Я опускаю подробности, как, но я хотела в фильме путем диалога дать фрагменты переписки Шаламова с Солженицыным. Но Солженицыну стало известно, что эта переписка поднимается со дна, и... Кто стал инициатором, вы сообщили ему или он – вам?...

Ирина Сиротинская: – Я, естественно. Сначала Борисов поехал к Солженицыну в Вермонт, и я попросила его... «Новый мир» ознако-

мился с перепиской, очень захотел ее напечатать, и Борисов отправился в Вермонт с тем, чтобы уговорить Александра Исаевича дать разрешение. Александр Исаевич категорически этого разрешения не дал.

Александра Свиридова: – Вся нелицеприятность Солженицына в отношении Шаламова очевидна, когда берешь в руки эти письма. Ответ – письмо, письмо – ответ.

Ирина Сиротинская: – Одним словом, он категорически не дал. С тем приехал Борисов. Но, поскольку я Солженицына немножечко знала, – в свое время от его родственников «В круге первом» носила Варламу Тихоновичу читать и обратно, то я обратилась к нему сама, и как можно эмоциональнее пыталась втолковать ему в письме, что тут важно... В общем, меня-то больше всего волнуют те суждения в письмах Варлама Тихоновича, поэтому их надо предать гласности, не откладывая надолго, и поэтому настойчиво его прошу изменить решение. Он мне прислал в ответ, чтобы я прислала ему копии всей переписки и он подумает, хотя преамбула была, что он категорически запрещает всем, что он против того, но в порядке исключения он просит прислать копии, и он ознакомится с письмами. Это все проходили месяцы, пока туда, пока оттуда, все это очень нескоро. Наконец Александр Исаевич прислал ответ, что он разрешает опубликовать письма Варлама Тихоновича и не разрешает публиковать свои, чтобы не поощрять всех остальных, которые, такие-сякие, публикуют без всякого согласия. Это было в январе, если не ошибаюсь, этого года, потому что в 6-м номере это все пошло – журнал «Знамя» в шестом номере опубликовал письма, кроме одного его письма, которое Бакланов снял... Понимаете, Варлам Тихонович такая фигура, которая всех не устраивает. Когда его публикуют где-нибудь в издательстве, и мне говорят: все хорошо, но там, где написано, что «ты все еще жива, Россия, опаснейшая из Горгон», так вот эту строчку давайте снимем. Это – никак. А когда Бакланов публикует, он говорит: вы знаете, великий писатель, все прекрасно, но вот это письмо, давайте, не будем публиковать – он в нем плохо отзывался об Евгении Гинзбург, а это так несвоевременно. Давайте... Он, понимаете, никогда ни в какие рамки не укладывался. Ну, вы понимаете эти рамки, и сколько я всем ни говорю, что он уже давно над всеми этими сварами, он уже давно вне... И если он плохо сказал о Есенине, то и Есенин, и сам Шаламов, – они уже давно в иных масштабах просто. Но каждый, особенно издающий, живет своим масштабом, и тем – другим – масштабом он жить не может и не хочет. И

поэтому Шаламов всегда терпит, как правило, какой-то ущерб. Ну, хоть во фразе, но все-таки ущерб.

Александра Свиридова: – После этого мы связались с корреспондентами Центрального телевидения в США, потому что нашу группу не выпускали снимать интервью с Солженицыным, и он дал согласие, что готов ответить на вопросы о Шаламове. Ирина Павловна выехала по частному приглашению в США, вывезла на груди кассету «Бетакам», и когда она была там, Солженицын...

Ирина Сиротинская: – Нет, тут несколько другое. Солженицын не обещал, а обещали корреспонденты – согласие было со стороны корреспондентов. Со стороны Александра Исаевича – не было. В Штатах я познакомилась с огромным кругом лиц, там был великолепный священник, личный друг Солженицына, мои хозяева, – переводчик Джон Глэд, тоже знакомый с Солженицыным, и все они дружно принялись помогать мне встретиться с Солженицыным. Но все их дружеские усилия были совершенно напрасны. Я получила письмо от жены Солженицына, где очень вежливо было написано, что она просит, то есть они просят меня понять, насколько Александр Исаевич весь в творчестве, загружен, и поэтому никаких абсолютно интервью никому не дает, и для кино он решительно сниматься не будет. С этим я прекрасную эту кассету привезла обратно.

Александра Свиридова: – Поэтому эпизод с Солженицыным в фильме скомкан, опущен, и остается только впроброс. К величайшему сожалению, мне не удалось это сделать».

От составителя:

Письма Солженицына Шаламову до сих пор не опубликованы. Между тем, началу этой переписки более полувека.

---

***Библиография советских журнальных подборок стихов Шаламова, 1950-70 гг.***

Наткнулся на нормальную библиографию советских журнальных подборок стихов Шаламова <http://webapp1.dlib.indiana.edu/letopis/result.jsp?lang=en>, чего ни в одной российской библиографии Шаламова нет. На сайте, что удивительно, университета штата Индиана, США.

---

1 Шаламов, Варлам. Стихи о Севере: Стланник. – Гнездо. – Тайга. – Однажды осенью. – Гроза. – Июль. Знамя, 1957, кн. 5, с. 117-119.

2 Шаламов, Варлам. После разлуки. Стихи: «Когда после разлуки...» – «Я иду, отражаясь в глазах москвичей...» – «Осенний воздух чист...» – Речные отражения. – Гравер. – «Вот солнце в лесной глухомани...» Знамя, 1965, кн. 3, с. 121-123.

3 Шаламов, Варлам. «Как гимнаст свое упражнение...» – «Куда идут пути-дороги?...» – «У деревьев нет уродов...» – «Кета родится в, донных стойлах...» – «Не линия и не рисунок...» – Кристаллы. – «Игрую детской увлеченный...» – «Я под облачной грядою...» – «Дожди порой смывают юры...» [Стихи]. Юность, 1965, № 10, с. 43-44.

4 Шаламов, Варлам. После дождя. – На огороде. – Славословие собакам. [Стихи]. Семья и школа, 1966, № 6, с. 16.

5 Шаламов, Варлам. «Не спеши увеличить запас...» – «Нынче я пораньше лягу...» – После поездки. – Над старыми тетрадами. – Баратынский. [Стихи]. Юность, 1966, № 9, с. 14.

6 Шаламов, Варлам. «Не старость, нет, – все та же юность...» – Инструмент. – Наверх. – «Больного сердца голос властный...» – Устье ручья. – «Не удержал усилием пера...» – «Мне горы златые – плохая опора...» – «Жизнь – от корки и до корки...» [Стихи]. Юность, 1967, № 5, с. 53-54.

7 Шаламов, Варлам. Дороги. Стихи: «Пусть чернолесье встанет за деревьями...» – Живопись. – «Я хочу, чтоб средь метели...» – Листопад. – «Мне снова жажда вяжет губы...» – Восход солнца. Знамя, 1968, кн. 5, с. 58-60.

8 Шаламов, Варлам. «Удача – комок нарастающей боли...» – Бирюза и жемчуг. [Стихи]. Москва, 1968, № 3, с. 181.

9 Шаламов, Варлам. «Рассказано людям немного...» – Прощание. – Рязанские страдания. – «Мне снова жажда вяжет губы...» – Пушкинский вальс для школьников. – «Вчера я кончил эту книжку...» – «В воле твоей – остановить...» [Стихи]. Юность, 1968, № 5, с. 25.

10 Шаламов, Варлам. Донное слово. Стихи: «Быть может, и не глушь таежная...» – «Где роса, что рукою сотру...» – «Немилосердное светило...» – «Снег прибегает в сад...» – «Детский страх в тот миг короткий...» – «Грозы с тяжелым градом...» – «Покамест нет дороги льдинам...» – «Огонь-кипрей! Огонь-заря!..» Знамя, 1968, кн. 12, с. 118-120.

11 Шаламов, Варлам. «Этот дождик городской...» – «Гиганты детских лет...» – «Какая в августе весна?...» – «На этой горной высоте...» – «Я не искал людские тайны...» – «Золотой, пурпурный и лиловый...» – Цыганский романс. – Капля. – «Листок дубовый – как гитара...» – Поэту. [Стихи]. Юность, 1969, № 3, с. 65-66.

12 Шаламов Варлам. Таежный край. Стихи: «Поблескивает озеро...» – «Я пришел на ржавый берег...» – «По старому следу сегодня уеду...» – Корни даурской лиственницы. – Весне. – «Ну, вот вам мой отчет...» – «Как в фехтовании удар...» – «Он многословен, как Гомер...» – Знамя, 1970, кн. 1, с. 135-138.

13 Шаламов Варлам. «Весь гербарий моей страны...» – У окна. – «Оглушительен капель стук...» – «Орудье кружевницы...» – «Я устаю от суеты...» – «Озерная вода прозрачней, чем глаза...» – «Клен, на забор облокотясь...» – «Избушка крыта финской стружкой...» – «В лесу листок не шелохнется...» [Стихи]. – Юность, 1970, № 7, с. 69-70.

14 Шаламов Варлам. Луноход. – «Коварна карта марта...» – «Стоял я тихо возле скал...» – «Читать стихи, сбиваться с шага...» [Стихи]. – Юность, 1971, № 11, с. 89.

15 Шаламов Варлам. Асуан. Стихи. – Юность, 1972, № 4, с. 33.

16 Шаламов Варлам. Поворот сибирских рек. Стихи: «Славно озеро Байкал...» – Амундсену. – Знамя, 1972, кн. 11, с. 96-97.

17 Шаламов Варлам. «Я поставил цель простую...» – «Тишина – это лозунг мира...» – «Уступаю дорогу цветам...» – «Как сердечный больной...» – «Иногда в одиноком походе...» [Стихи]. – Юность, 1973, № 8, с. 30.

18 Шаламов Варлам. Блок. – «Не суеверием весны...» – «Измерены звездные леты...» – «Выкиньте все гипотезы...» – «Она ко мне приходит в гости...» [Стихи]. – Юность, 1974, № 11, с. 74.

---

***«Наливаются кровью аорты...». Неизвестная статья Шаламова, шестидесятые годы***

Сергей Соловьев, редактор сайта shalakov.ru, обронил в докладе, помещенном в сборнике материалов международной Шаламовской конференции 2011 года, настораживающую фразу. Речь идет о работах Шаламова, связанных с «восстановлением связи времен и рассчитанных на публикацию. Сначала – в легальной печати, затем – в самиздате («Колымские рассказы», «Письмо старому другу» и «НАЛИВАЮТСЯ КРОВЬЮ АОРТЫ» – ОБРАЩЕННАЯ К ГУМАНИТАРИЯМ РЕЧЬ О МАНДЕЛЬШТАМЕ С ПРОПОВЕДЬЮ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАНИМАТЬСЯ СУДЬБАМИ СОВРЕМЕННИКОВ, КОТОРАЯ, СУДЯ ПО ВСЕМУ, ТАКЖЕ ПРЕДНАЗНАЧАЛАСЬ ДЛЯ БЕСЦЕНЗУРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ)...» [выделено составителем]. К последней статье дается ссылка: «РГАЛИ, Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 123. Л. 12».

Судя по названию статьи, да и прямой характеристике Соловьева, посвящена она трагической судьбе Осипа Мандельштама, а две вещи – ее, как сказано, публицистический неподцензурный характер (плюс соседство с «Письмом старому другу») и тематика – свидетельствуют, что написана она в период самых тесных отношений Шаламова с вдовой поэта Надеждой Яковлевной и диссидентами, т.е. в 1965-68 гг. Даже если это не машинопись, в то время почерк Шаламова был вполне читаемым. Включить статью в семьмой том собрания сочинений, таким образом, не составляло труда. Почему же ее там нет? Я думаю, мы наблюдаем действие цензурного фильтра: доза идеологически вредного уже выдана читателю «Письмом старому другу» и во избе-



жание перебора публикацию статьи следует придержать. Другого объяснения нет, а сайт shalakov.ru, курирующий публикации шаламовского наследия, уже не раз демонстрировал политическую ангажированность самого худшего толка. Намордник советской цензуры не снят с Шаламова и через тридцать с лишним лет после его смерти.

---

### *Рассказ Шаламова «Исландская сага»*

У Шаламова нет такого рассказа, верно? Не знаю. Вот что пишет он сам в письме к Сиротинской от <1971> года, которое та публиковала как эссе под условным названием [О моей прозе]. Кстати, почему год написания в угловых скобках? Сиротинская что, не уверена в датировке письма настолько, что заключает в угловые скобки даже год написания? Итак, вот что пишет Шаламов:

«Колымские рассказы» – вне искусства, и все же они обладают художественной и документальной силой одновременно. Познавательная часть – дело десятое, для автора, во всяком случае. Познавательность, ценность ее – это как бы сама понимающаяся важность и новизна. Даже в познавательной части «Колымских рассказов» – новая запись русской истории, самых скрытых и страшных страниц – от Антонова до Савинкова – от «Эха в горах» до «Исландской саги».

«Это в горах» – рассказ, входящий – и включенный самим Шаламовым в середине шестидесятых годов – в сборник «Артист лопаты», то есть в цикл «колымских рассказов», хотя тематика его «вишерская» – дело происходит в новоиспеченном лагере Вишера, только что выделенном из системы Соловецких лагерей (СЛОН) в «самостоятельный важный лагерь на Северном Урале». Герой рассказа – заключенный Михаил Степанович Степанов, некогда командир Красной Армии, отпустивший из плена эсэра-сокамерника по Шлиссельбургу Антонова, предводителя антибольшевистского восстания на Тамбовщине. Не знаю, насколько все это правда, наверное, художественная литература. В «Новой книге», 2004, в ссылке к приведенному выше отрывку из письма Шаламова Сиротинская поясняет: «Рассказы В. Т. Шаламова. Второй рассказ остался в набросках».

Но это поздняя запись. В ссылке к тому же отрывку из того же письма, опубликованного как эссе [О моей прозе] в журнале «Новый

мир», №12, 1989, Сиротинская пишет: «Рассказы В. Т. Шаламова об А. Антонове, руководителе крестьянского восстания в Тамбовской губернии, и о Б. Савинкове».

Значит, рассказ есть, хотя, как выясняется, и в набросках. Ну и прекрасно, опубликуйте наброски. Рассказ «У Флора и Лавра» даже как наброски нигде не упоминался. Мало ли рассказов Шаламова выглядят как наброски. Один из его принципов, как известно – никакой правки. Даже слова оставлял недописанными. Опубликуйте же, наконец, тексты! Тексты-то опубликуйте, а читатель пусть смотрит, что там наброски, а что готовое. И филологи заодно выскажутся, когда тексты-то увидят своими глазами.

Ну вот. Что еще сказать... Могу сказать, что со слов Юрия Давыдова примерно знаю содержание рассказа. Содержание таково: кто-то из заключенных, по всей вероятности, бывших латышских стрелков, на смертном одре рассказывает Шаламову (или нарратору) правду, а именно – как звери-чекисты инсценировали самоубийство Савинкова, выбросив его в тюрьме в пролет лестницы. Не знаю, правда это или очередная былина, но хотелось бы почитать, что там у Шаламова о «самых скрытых и страшных страницах русской истории». Тем более что история даже не русская, а исландская. Ну найдите тогда переводчика с исландского. Со смерти Шаламова прошло больше тридцати лет, сделайте же, наконец, доступными для читателя все его тексты, стражи наследия!



### ***Вводное слово Михаила Геллера к «Краткому жизнеописанию Варлама Шаламова, составленному им самим»***

В сборнике «Воскрешение лиственницы», ИМКА-Пресс, Париж, 1985, составленном Михаилом Геллером, напечатано с шаламовского автографа «Краткое жизнеописание...» <http://shalamov.ru/library/35/> автора «Колымских рассказов». Ему предпослано вводное слово составителя сборника.

«Варлам Шаламов работал над биографией до конца жизни – возможно, это последний текст, написанный его рукой. Он не успел закончить «Краткое жизнеописание», дойдя лишь до 1945 г. Предсмерт-

ная биография была очень сжатым изложением того, о чем было рассказано в «Колымских рассказах». Коротенькая фраза: «Чтение по гаранинским спискам» возвращает нас к рассказу «Как это началось»: «Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные музыканты – из «бытовиков» – играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензинные факелы не разрывали тьму, привлекая сотни глаз к заиндевелым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова... Каждый список кончался одинаково: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин». О том, как спас его следователь Скановский, Шаламов рассказал в «Заговоре юристов» – следователь назван «капитан Ребров», а заключенный – «Крист». В нескольких рассказах вспоминаются доносчики – И. Заславский и М. Кривицкий. «Заговор юристов» заканчивается словами: «Почерк Криста был спасительным, каллиграфическим». Когда Шаламов писал «Краткое жизнеописание» – почерк становится все труднее разборчивым. Некоторые слова остались в рукописи непрочитанными».

Почему-то Геллер (если вводное слово его) смешивает следователя Реброва из рассказа «Заговор юристов» и безымянного следователя из рассказа «Почерк». Не знаю, какие у него для этого основания, может быть, имеется несколько вариантов текстов. Фамилия Крист – у героя «Почерка», в «Заговоре юристов» главный герой – Андреев.

В Сети текст вводного слова – в электронной библиотеке ImWerden в составе второй части парижского сборника, pdf-файл <http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=3812>

---

### *Ложь как принцип. Библиография в собрании сочинений Шаламова*

Библиография большей части художественной прозы Шаламова в его семитомном собрании сочинений – не что иное как наглая ложь. Ретуширует эту ложь строчка в примечаниях Сиротинской: «Сведения

о первых публикациях рассказов указываются по отечественным изданиям»\*. Таково решение Особого Совещания (ОСО).

Вот малая толика примеров, а общее их число далеко за сто.

.....

«Сентенция»

*У Сиротинской: Впервые: Новый мир, 1988, № 6.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», №85, Нью-Йорк, 1966

«Сухим пайком»

*У Сиротинской: Впервые: Знамя, 1989, № 6.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», №85, 1966

«Почерк»

*У Сиротинской: Впервые: Знамя, 1989, № 6.*

На самом деле: Впервые: еженедельник «Посев», Франкфурт-на-Майне, 7 янв. 1967

«Сука Тамара»

*У Сиротинской: Впервые: Родина, 1989, № 2.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», № 86, 1967

«Шерри-бренди»

*У Сиротинской: Впервые: Москва, 1988, № 9.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», № 91, 1968

«Две встречи»

*У Сиротинской: Впервые: Сибирские огни, 1989, № 4.*

На самом деле: Впервые: «Вестник РСХД», №3-4, Париж, 1968

«Рябоконь»

*У Сиротинской: Впервые: Московский комсомолец, 1989, 19 янв.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», № 96, 1969

«Надгробное слово»

*У Сиротинской: Впервые: Новый мир, 1988, № 6.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», № 100, 1970

«Графит»

*У Сиротинской: Впервые: Знамя, 1990, № 7.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», № 101, 1970

«По лендлизу»

*У Сиротинской: Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.*

На самом деле: Впервые: «Грани», Франкфурт-на-Майне, № 76, 1970

«Погоня за паровозным дымом»

*У Сиротинской: Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.*

На самом деле: Впервые: «Грани», № 76, 1970

«Кусок мяса»

*У Сиротинской: Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.*

На самом деле: Впервые: «Грани», № 77, 1970

«Сергей Есенин и воровской мир»

*У Сиротинской [подразумевается, в составе «Очерков преступного мира», хотя очерк о Есенине опубликован как раз не был]: Впервые: Дон, 1989, № 1.*

На самом деле: Впервые: «Грани», № 77, 1970

«Безымянная кошка»

*У Сиротинской: Впервые: Колымские рассказы. М., Современник, 1991.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», № 103, 1971

«Город на горе»

*У Сиротинской: Впервые: Каскад, 1989, окт. – ноябрь.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», № 107, 1972

«Ягоды»

*У Сиротинской: Впервые: Дружба народов, 1988, № 5.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», № 112, 1973

«Визит мистера Поппа»

*У Сиротинской: Впервые: Волга, 1989, № 7.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», № 115, 1974

«Прокуратор Иудеи»

*У Сиротинской: Впервые: На Севере Дальнем, 1988, № 2.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», № 117, 1974

«Как это началось»

*У Сиротинской: Впервые: Дружба народов, 1988, № 5.*

На самом деле: Впервые: «Новый журнал», № 119, 1975

«Васька Денисов, похититель свиней»

*У Сиротинской: Впервые: Огонек, 1988, № 22.*

На самом деле: Впервые: Сборник «Колымские рассказы», ОРІ, Лондон, 1978, составитель Михаил Геллер

«Облава»

*У Сиротинской: Впервые: Воскрешение лиственницы. М., Худож. лит., 1989.*

На самом деле: Впервые: Сборник «Колымские рассказы», ОРІ, Лондон, 1978, составитель Михаил Геллер

«Белка»

*У Сиротинской: Впервые: Колымские рассказы. М., Современник, 1991.*

На самом деле: Впервые: «Вестник РХД», №1, Париж, 1981

«Тропа»

*У Сиротинской: Впервые: Московский комсомолец, 1988, 7 янв.*

На самом деле: Впервые: альманах «Часть речи», №2-3, Нью-Йорк, 1981-82

«У стремени»

*У Сиротинской: Впервые: Воскрешение лиственницы М., Худож. лит., 1989.*

На самом деле: Впервые: Сборник «Воскрешение лиственницы», ИМКА-Пресс, Париж, 1985, составитель Михаил Геллер

«Сучья» война»

*У Сиротинской [подразумевается, в составе «Очерков преступного мира», хотя было отдельное издание: Варлам Шаламов, «"Сучья" война», Серия: Библиотека «Огонек», 1989 г.; Изд-во: Правда]: Впервые: Дон, 1989, № 1.*

На самом деле: Впервые: «Синтаксис», №23, Париж, 1988

«Четвертая Вологда», автобиографическая повесть

*У Сиротинской: Впервые опубликована в сокращении в журнале «Наше наследие» (1988, № 3 – 4), полностью – в журнале «Лад» (1991, № 3 – 10).*

На самом деле: Впервые: Сборник «Воскрешение лиственницы», ИМКА-Пресс, Париж, 1985, составитель Михаил Геллер

«Анна Ивановна», пьеса

*У Сиротинской: Впервые: Театр, 1989, № 1.*

На самом деле: Впервые: альманах «Russian Literature Triquarterly», Анн Арбор (Ардис), США, Мичиган, 1986

.....

И так далее – невозможно переписывать здесь решительно всю библиографию колымской и прочей прозы Шаламова, да и библиография его поэзии не избежала подлогов. Не говоря уж о том, что часть «Колымских рассказов» вообще впервые появилась в переводе на немецкий и французский, и библиограф обязан это отметить. И не говоря уж о семитомном самиздатском собрании сочинений Шаламова 1965/66-1968 гг.

Как бы ни относиться к Роману Гулю, Никите Струве, Наталье Тарасовой, Михаилу Геллеру (а к трем первым я отношусь не лучше, чем Сиротинская), прямая обязанность текстолога, шаламоведа и просто честного человека констатировать факт первой публикации того или иного произведения тогда-то и там-то. Если человек поступает обратно этому требованию, он либо неосведомлен, либо лжет. Сиротинская была прекрасно обо всем осведомлена. Цивилизованная ложь обычно стыдлива и обставляет себя полуправдой и подтасовками. Сиротинская лжет бесстыдно. Бесстыдна ложь лишь тогда, когда уверена, что никакие разоблачения ей не страшны, весь эфир забит только ею, и когда исходит из установки, что чем больше лжи, тем она эффективнее. Сиротинская всеми правдами и неправдами утверждала свой культ личности как первого и единственного популяризатора великой шаламовской прозы. Напор и масштабы фальсификации на фоне брегливого невмешательства научного сообщества, по существу, попустительства, сделали свое дело. Никто уже не осмелится возразить, что первым настоящим популяризатором творчества Шаламова был Михаил Геллер. Поражает, однако, другое. Недавно осиротевшее советское шаламоведение вместе с прямохождением начинает осваивать респектабельность, его привечают в европейских столицах. Казалось бы, пора

приобретать человеческий облик. Нет, не пора. Все нормально. Главное – не падение, главное – удачное приземление. Вот образчик лжи из седьмого, свежего тома собрания сочинений Шаламова. Ложь как принцип продолжает хозяйничать.

*Ворисгофер. Впервые: Шаламов. Воспоминания. М. 2001 (публ. И. П. Сиротинской)*

*Берданка. Впервые: Шаламов. Воспоминания. М. 2001 (публ. И. П. Сиротинской)*

На самом деле:

Ворисгофер. Впервые: Варлам Шаламов. Сборник «Воскрешение лиственницы», ИМКА-Пресс, Париж, 1985, составитель и публикатор Михаил Геллер

Берданка. Впервые: Варлам Шаламов. Сборник «Воскрешение лиственницы», ИМКА-Пресс, Париж, 1985, составитель и публикатор Михаил Геллер

Может быть, кто-нибудь из коллег просветит составителей тома, что они уже не в пещере и лгать нужно цивилизованно?

*\* Под словом «отечественные» Сиротинская понимает «советские» – в девяностых и двухтысячных, когда в Москве выходили собрания сочинений Шаламова, никому бы и в голову не пришло называть журналы «Кодры» и «Литературная Армения» «отечественными».*

---

### **Отсутствующий том собрания сочинений Шаламова**

Сводка части литературного наследия Шаламова, которая должна бы составлять восьмой том собрания его сочинений.

Мог что-то упустить или в чем-то ошибиться по неведению.

Перечислено в произвольном порядке:



1 «Краткое жизнеописание Варлаама Шаламова, составленное им самим»

2 Пьеса «Комедия в четырех актах» – «Памятный листок» (1950-е)

3 Статьи и заметки Шаламова, написанные во второй половине пятидесятых, в основном для журнала «Москва», в частности, очерки «В одной лаборатории» (1956) и «Гоголь в Москве» (1959)

4 Значительная часть переписки Шаламова (50-70-е годы), включая письма его адресатов, из общего объема не менее полутора сот эпистол. Основное среди них: письма Солженицына и недостающие в семитомнике ответные письма Шаламова, Переписка со Шрейдером – несколько десятков не вошедших в собрание сочинений писем того и другого, письма Елене Лопатиной, несколько десятков писем Якову Гродзенскому и ответные, письма Людмиле Зайвой, Борису Слуцкому, Валентину Португалову, Сергею Снегову и многое другое.

Письма адресатов Шаламова – Натальи Столяровой, Федота Сучкова, Федора Лоскутова, Аркадия Добровольского и многих других.

5 Статья «Наливаются кровью аорты...», середина шестидесятых годов

6 Рассказы и очерки «Опричный террор», «По способу Джанелидзе» (1970-е годы) и, возможно, еще что-то в том же роде, мне неизвестное.

7 Статьи «Как сделана "Метель" Пастернака», «Снег» (1970-е)

8 До сих пор не опубликованные дневниковые записи разных лет

9 Черновики рассказов «Бригадиры» и «Нина» (время написания мне неизвестно), которые упоминает журналист Виктор Филиппов в статье о возвращении музею Шаламова его «незаконно» конфискованных госбезопасностью рукописей. Кто-нибудь видел эти наброски напечатанными? Или слышал о них?

10 Материалы госбезопасности из папки Шаламова шестидесятых-восьмидесятых годов – это в идеале, конечно, поскольку контора какой была, такой и осталась – непроницаемой.

11 Важные биографические материалы, например, заявление о предоставлении ему пенсии первой категории с сопутствующими справками, ходатайства о предоставлении ему отдельной московской жилплощади, заявление о приеме в члены Союза писателей, квитанция о получении багажа Шаламова в доме престарелых, заключение медицинской комиссий, освидетельствовавших Шаламова на предмет его психического здоровья и проч.

Не сомневаюсь также, что со временем в архиве Шаламова и в частных собраниях обнаружатся новые, совершенно неизвестные тексты, как это случилось с рассказом «У Флора и Лавра», статьей «Вторжение писателя в жизнь» и очерком о писательском мастерстве Хемингуэя.



## Разное

### *Борис Гудзь, чекист и доносчик*

Очерк\*, 2002, о Борисе Игнатьевиче Гудзе, сотруднике НКВД, брате первой жены Шаламова Галины и ее сестры Александры Гудзь – Аси из шаламовских воспоминаний [О Колыме].

Гудзь, по его словам, сделал внушительную карьеру в органах госбезопасности и некоторое время был легальным резидентом советской разведки в Токио. В 37 году написал на Шаламова донос <http://www.booksite.ru/fulltext/new/boo/ksh/ala/mov/2.htm>, по которому тот был арестован. Вскоре, однако, сам был отстранен от службы как выдвигенец и доверенное лицо «врагов народа» и таким образом сумел уцелеть. В дальнейшем работал шофером, начальником автоколонны, директором автопарка. Дожил до ста четырех лет. В шестидесятых и семидесятых сотрудничал с телевидением и КГБ в качестве консультанта. Очерк опубликован на сайте ФСБ, и вот что в нем сказано о человеке, которому Гудзь приходился шурином, и его семье:

«Мужа сестры Гали, Варлама Тихоновича Шаламова тоже упрятали на Колыму [по чьему доносу, не сказано – прим. составителя]. А у них дочка была совсем кроха, в 35-м родилась. Как-то стало забываться, что ломались судьбы не только тех, кого уничтожили или держали в тюрьмах и лагерях. Родители, дети, жены тоже страдали. Растить детей без отцов и в благополучном обществе непросто, а тут еще и материальные тяготы – членам семей репрессированных трудно было получить работу.

Шаламов выжил, состоялся как творческая личность, прославился своими колымскими рассказами. Но семья-то их рухнула, и вовсе не потому, что кто-то из супругов был плохим человеком. Просто мало кому удалось сохранить семьи в нечеловеческих обстоятельствах, после почти двух десятилетий вынужденной разлуки, после мучений, уносивших здоровье, корживших души. Не люди в этом виноваты. В этом страшная вина государства, правившей партии перед прошедшим адские муки народом».

Занятно читать на сайте ФСБ, наследницы НКВД и КГБ, слова об адских муках, которые причинили народу советское государство и

партия коммунистов. Не мешало бы рассекретить архивы этой замечательно отзывчивой и совестливой организации.

В комментариях к шаламовскому очерку «Чистый переулок» <http://shalamov.ru/library/21/65.html> Валерий Есипов тоже упоминает Б. Гудзя:

«Известно, что старый чекист, перешедший со временем на хозяйственную работу, был крайне удивлен, что Шаламов вернулся с Колымы живым. Красноречивый факт привела свояченица Шаламова С. И. Злобина, жившая в середине 50-х годов в той же квартире в Чистом: Борис Игнатьевич (располагавшийся там же в отдельной комнате), возмущаясь, срочно звонил в милицию, когда замечал Шаламова, приходившего сюда. Так он реагировал на незаконное пребывание в столице бывшего каторжника, которому было тогда определено житье только на 101-м километре. Больше всего его поразило то, что Шаламов был в 1956 году реабилитирован».

Все это следует знать, памятуя, однако, о невероятном самодоносе Шаламова, написать который его вынудила семья. Единственный в жизни донос Шаламов под нажимом семьи написал на самого себя. Шаламов тридцатых годов – совершенно не изученный человек. Тем человеком, каким мы его знаем, его сделала Колыма.

\*URL:<http://www.fsb.ru/fsb/history/author/single.html?id%3D10318065@fsbPublication.html>

---

### *Александра Свиридова. Вокруг Шаламова*

«Следом за Горбачевым во власть пришли молодые люди, а в Госкино у руля встали мои товарищи. Один из них, чуя перемены, прислал мне мемуары безымянной старухи о герое Революции и гражданской войны Федоре Ильине-Раскольникове. [...]

Папку за папкой я перебирала «параллельные» судьбы, выживая «единицы хранения», имеющие отношение к Раскольникову, и однажды они все рядком улеглись в стопочку передо мной в пустом зале Румянцевской библиотеки в Отделе рукописей. Я любила заглядывать в формуляр выдачи, узнавать, кто и в каком году дотрагивался до меня

до этих листочков. С удивлением обнаружила в каждом формуляре детской рукой старательно выведенное слово «Шаламов». Я изучала почерк и видела руку школьника...

Подивилась, что бывают однофамильцы у великих писателей. Последним архивом, куда я пришла в поисках материалов о Раскольникове, был ЦГАЛИ – Центральный Государственный архив литературы и искусства. Там тоже всюду стоял тот же автограф. Закончив работу с архивом Раскольникова, я задала резонный вопрос на тему архива Шаламова. В Ленинке мне сказали, что такого не существует. Зато в ЦГАЛИ объяснили, что он есть, но находится в «спецхране», что в переводе на язык людей означало, что «единицы хранения» засекречены. Я отправилась к директору ЦГАЛИ.

– Что вы хотите увидеть в архиве Шаламова? – заинтересованно спросила Наталья Борисовна Волкова.

– Посмотреть, не писал ли он о Раскольникове...

– Писал. Это была его последняя работа перед смертью...

Я поежилась.

– Я хотела бы посмотреть, какова его версия смерти Раскольникова: он убит или сам умер?

– Минуточку...

Директор ЦГАЛИ вышла и вернулась со своим заместителем – Иридой Сиротинской. Повторила ей мой вопрос.

– Конечно убит, – категорично сказала И.Сиротинская. – Варлам Тихонович в этом не сомневался...

Я к этому времени твердо стояла на том, что Раскольников покончил с собой...

– Я могла бы посмотреть эту рукопись?.. На чем основана его уверенность...

Меня допустили к секретному архиву Шаламова. Это был океан».

Из статьи «Шаламов», журнал «Посев», №4, 2009, сетевая версия под названием «Чтоб они, суки, знали...» на сайте Свобода слова

[http://ipynews.org/pandora\\_article01112010.php](http://ipynews.org/pandora_article01112010.php)

---

«Сколько бы раз я не слышала, что что-то сделано «системой», столько я стараюсь разглядеть за этим безликим словом лицо. В случае с Варламом Шаламовым мне удалось пройти дальше и глубже: я встречалась с лицом системы, снимала его, этого «друга народа», и

хоть пленку украли из монтажной, и я полагаю, что знаю, кто, по прошествии двадцати лет я помню этого человека. Рука спотыкается писать «человек», но – увы – скудость языка не знает синонима для описания этих чудовищ. В. Шаламов описывал их, создавая образ. Откройте «Колымские рассказы», прочтите о вохрах, блатарях и «суках». Это был он – я знаю его фамилию. Он сидел за столом в кабинете директора «Дома ветеранов». И сложенные в замок его крепкие крестьянские руки с наколкой на каждом пальце притягивали так, что трудно было оторвать глаз.

[...] Его нашли друзья в этом страшном «Доме». И навещали до последнего дня.

И записали за ним еще книгу стихов... Его нашла еще слава – там же. Пен-клуб Франции присудил В. Шаламову в 1981 году премию за его прозу, и иностранные корреспонденты, расквартированные в Москве, ринулись на поиски героя. И нашли его в этом гадюшнике, пропахшем мочой и преисподней. Я была там, нюхала, когда снимала директора в наколках.

– Никакое КГБ за ним не следило, – с презрением сказал директор. – Кому он был нужен? Это я сам позвонил в КГБ и попросил, чтоб меня оградили от этих посетителей.

Главное, что не понравилось ему в визитерах – даже не то, что они выражали ему недовольство тем, в каких условиях содержится гений, а то, что они – все! – были «лица еврейской национальности».

Если он еще жив – передаю ему мое глубочайшее сочувствие. [...]

Для тех, кто не знает или забыл – напомним, что в любом казенном заведении ты облачен в казенную пижаму, которая на учете у директора. А потому – пижаму «Дома ветеранов» с В. Шаламова сняли, а пижаму психушки – надели только, когда привезли. А в пути – заплутали: январь, метель. Молодому, здоровому, крепкому поездка нагишом в январе не по силам, а обмороженному старику – верная смерть. Чего и хотела страна с января 1937-го...

Даже странно, что он еще прожил целых 72 часа.

Я нашла тех, кто прошел в том январе за ним след в след. Хрупкая женщина Лена Хинкис-Захарова в 1992-ом приехала со мной в тот самый Диспансер психохроников и рассказала, как приняла последний выдох В. Шаламова.

Татьяна Уманская, которая была с ней, пыталась осадить меня.

– Я думаю, его намеренно никто не простужал, – сказала она. – Просто об этом никто не думал. Его нужно было убрать с глаз долой, и его убрали...

Приближалось 75-летие Шаламова. Была опубликована в одном журнале большая подборка его стихов. Стихов человека, объявленного безумным. Администрация пансионата на «Планерной» хотела от него избавиться. [...]

Я сняла этот материал для телепрограммы «Совершенно секретно» в 1992 году, когда мы с Артемом Боровиком создали ее в первый, и как оказалось, последний год свободного телевидения России. Цитирую по сохранившейся у меня пленке.

Добавлю только, что ни юридически, ни фактически Варлам Шаламов одиноким человеком не был. У него была жена от первого брака, с которой он состоял в разводе. Была дочь от этого брака, которая швырнула трубку, когда ей позвонили, уведомить о дне и часе похорон. И были два сына этой дочери – то есть два его внука, которые сегодня могли бы стать миллионерами, торгуя правами на издание литературного наследия. Но им не повезло... У детей был отец, который запретил упоминать имя Шаламова в доме. Один из высокопоставленных начальников Управления... лагерями. Только после его смерти мальчики пришли в Архив литературы и искусства посмотреть на фотографии деда.

Был и второй брак, и пасынок в этом браке.

Его отпели и предали земле на Кунцевском кладбище».

Из статьи «Январь. Достать чернил и плакать... Смерть Варлама Шаламова», 2011, на сайте Свобода слова  
[http://ipvnews.org/pandora\\_article17012011.php](http://ipvnews.org/pandora_article17012011.php)

---

«В 1992 году я решила рассказать о смерти В. Шаламова.  
[...] Мы с Артемом Боровиком посвятили один выпуск программы [«Совершенно секретно»] теме свободы. И, представив несколько возможных вариантов трактовки этого понятия, закончили рассказом о трагической кончине В. Шаламова.

– Видимо, ни одному человеку в мире не нужно было столь мало, чтобы ощутить себя совершенно свободным, как человеку советскому, – сказал Артем Боровик, стоя на фоне многоэтажного дома, где жил в последние годы В. Шаламов. – Если не видишь в переплете окна ключку, а рядом нет конвоя, – значит, ты свободен. Вообще единственное состояние свободы, которое выстрадала и освоила Россия за века, есть состояние нахождения вне зоны, вне тюрьмы, вне лагерей. Боль-

шой русский писатель, с книгами которого мир и Россия сегодня лишь знакомится, отдал тюрьмам и лагерям 20 лет своей жизни. Потом все же оказался на воле и, более того – был счастлив. Хотя бы потому, что рядом не было вохров и блатарей. Последние годы жизни он провел в Москве, в этом доме. Отсюда при загадочных обстоятельствах он попал опять в неволю – в Дом для престарелых, а оттуда при не менее загадочных обстоятельствах, в психиатрическую клинику».

Из книги Александры Свиридовой «Судьба одного фильма», 2012

От составителя:

В этой отснятой для программы «Совершенно секретно» ленте и содержится сделанный Свиридовой монтаж – или «нарезка» – фотографий Шаламова в доме престарелых, который я принял за документальные съемки и разыскивал как «удаленное видео» из предыдущих изданий этого сборника. Документальных съемок с Шаламовым, как кажется, не осталось.





## Несколько слов о «Колымских рассказах». От составителя

### *«Почерк». Три версии одного сюжета*

Первая версия этой истории изложена в рассказе Шаламова «Почерк». В двух словах: роботоподобный лагерный следователь, наткнувшись в своей рутинной палаческой работе на попавшую к нему в ходе очередной кампании экзекуций папку своего писаря из политических заключенных, уничтожает ее и тем самым, проявляя некоторое человеческое участие, спасает нужного лагерного раба от смерти.

Литературовед и шаламовед Елена Михайлик в диалоге с писателем Кириллом Еськовым\* в блоге последнего подкрепляет шаламовскую версию этой истории:

«Кирилл Еськов (afраниус): «[...] насчет «Почерка» у меня были сомнения – уж не сказка ли? Но ты же, как я помню, и провела соответствующее «капитанское» расследование, и разрыла, что была паратройка месяцев (зимой 37/38-го) административной несостыковки, когда приговоры лагерных троек приводили в исполнение на месте даже без визирования их наверху, так что в принципе тот следователь мог повернуть такой фокус с засовыванием папки в печку – не рискуя на следующий же день встать к стенке за «недостачу». В смысле – что он тут же взял и своей властью расстрелял кого-то другого: цифры сошлись – и ладно. [...]

Елена Михайлик (el\_d): Не вполне так. Там была несколько более сложная ситуация. Это были даже не приговоры. Это были представления. Составляли их младшие опера. Спускалась квота, они выбирали квоту. Соответственно, фактически, по последствиям, это и был приговор – но формально, нет. И даже не дело. А просто сводка на человека, которым заполнили место в списке. Соответственно, старший мог спокойно эту сводку сжечь, это был даже не «альбом» для тройки, а совсем местный внутренний документ, за который не отчитывались. И поставить кого-то другого. А вот ни рассказчик, ни сам Шаламов этого, понятное дело знать не могли.

И не я – я только по верхам, что там действительно было особое производство. А тщательно по всем документам эту историю выстроил Рогинский».

Затем кто-то из пользователей спрашивает Михайлик, где можно об этом прочесть, и она рекомендует работу Бацаева и Козлова «Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР в цифрах и документах», 2002 год.

Работы Бацаева, Козлова и Широкова я читал, они есть в Колымской электронной библиотеке, но описания вышеназванного «особого производства» в них не нашел. Не нашел в Сети и работ Арсения Рогинского по этой тематике, вернее, даже не знаю, что именно искать, где про это рассказано? О какой его статье, обосновывающей реалиями короткой колымской зимы 37/38 гг. безнаказанный «фокус следователя с засовыванием папки в печку», говорит Михайлик Еськову, тоже не знаю, кто в курсе, прошу подсказать.

Итак, по Михайлик, дело обстояло так. Какой-то младший лагерный опер для заполнения спущенной сверху квоты на отстрел политических, подал вышестоящему, но тоже невысокому чину сводку или «представление» с делом Криста, имя которого фигурирует в списке будущих жертв. Папка – документ внутренний, и ничто не мешает старшему оперу сжечь ее, заменив папкой другого человека. В этой замене он может не отчитываться, поскольку в расстрельную квоту суммарное количество дел укладывается, а список, по-видимому, можно пересоставить. (Или еще проще: Крист подходит для этого списка, и его дело подается младшим опером старшему для занесения Криста в список).

Все, вроде бы, логично. Непонятно одно. Что было в папке – копии или подлинники бумаг заключенного? Напрашивается мысль, что подлинники, «тоненькие бумажки, подшитые в папку» из канцелярии ОЛПа – зачем дублировать и без того имеющиеся в центральной картотеке в Магадане бумаги заведомо обреченного, если на основании этих бумаг следователь просто утверждает его место в расстрельном списке? Но если в возможностях следователя заменить папку Криста на папку другого, для чего их сжигать, оставляя заключенного вообще без бумаг? Как вообще можно оставить заключенного в лагере без бумаг? Без документов в лагере обретается только Берды Онже из одноименной новеллы, но это чистая литературная аллюзия, персонаж, заимствованный из рассказа Тьянова, не имеющий никакого реального прототипа. Кроме того, любой копающий под старшего опера карьерист может проследить, к кому последнему попало дело Криста и где оно сгнуло – тем самым в атмосфере разнузданного террора следова-

тель ставит под смертельный удар самого себя. Куда правдоподобнее, если он просто отложит папку в сторону, чтобы впоследствии заметить другой, но тогда не было бы драматической развязки рассказа, позволявшей Кристу понять, кому он обязан жизнью. Итак, вторая версия сюжета – это та, в которой следователь просто откладывает папку Криста в сторону, на завтра заменяя ее другой, о чем может знать всеведущий рассказчик, но что неизвестно его «второму я», Кристу, и значительно обедняет смысл и символику происшедшего.

Третья, наиболее правдоподобная версия подсказана Шаламовым в недавно ставшем доступным очерке «Слишком книжное» (1959):

«Героическим выглядит неожиданный поступок одного невысокого хозяйственного начальника, у которого я работал по ночам после трудового дня на морозе – за хлеб, за суп переписывал негнушимися пальцами какие-то ведомости, списки, карточки «категорий питания». Применение слова «категория» в групповом питании лишь повторяло язык газет, язык «больших» людей.

Однажды ночью хозяйственный начальник этот, бывший заключенный, вошел в избушку-контору МХЧ, где я работал ночью. Он открыл дверцу тумбочки и показал втиснутую туда пачку газет, полную «подшивку» Рыковского процесса.

– Сегодня ночью поменьше работай и побольше читай. – И вышел в ночь.

Я прочел весь этот «процесс» тогда и до сих пор поражаюсь его смелости, благородству его поступка. Вскоре я перестал работать в МХЧ ночами, уехал и никогда больше не встречал этого человека, этого хозяйственника – Владимира Михайловича Смирнова».

Непосредственно перед этим отрывком Шаламов рассказывает, как опасно было для «вольных» вообще делиться с заключенными какой бы то ни было информацией: «Рискнуть рассказать что-либо нам – хотя бы о Леоне Блюме и составленном им кабинете, никто, конечно, не решался. За такие рассказы не отделаться служебным выговором или лишением партбилета. Тут дадут, обязательно дадут «срок». Конечно, выдадут этот срок не «весом», не «сухим пайком» в виде семи граммов свинца, но «срок» дадут наверняка. А «срок», – отбываемый в забое на севере, – все вольнонаемные на севере знали это очень хорошо – это смерть в девяносто случаях из ста. Идти на такой риск из-за рассказа о тысячной речи Вышинского на Генеральной ассамблее ООН или о беседе Молотова с Гитлером – не было, конечно, никакого смысла».

Вот, мне кажется, завязь сюжета будущего рассказа «Почерк» – драматизовать реальную ситуацию до предела, выправить ходы так, чтобы на кон напрямую, недвусмысленно ставилась жизнь – и не покровителя заключенного, а его самого. «Колымские рассказы» – не документ, а литература, художественный вымысел, плод творческого воображения. Это, конечно, не отменяет ни легендарной «гаранинщины», ни Колымы, ни всего ужасающего мира советских концлагерей. Однако словесность – это в первую очередь и главным образом слова, их подбор и расстановка с целью добиться желаемого художественного эффекта. Словесность – это эстетика, а не добросовестный слепок с действительности. Мера достоверности в литературе определяется полнотой эстетического, факт для искусства – всего лишь повод. Миром, сотворенным литературой, управляют собственные законы, независимые от законов так называемого реального мира, которому искусство противопоставляет иную, лучшую вселенную, в идеале бессмертную, иначе никакого смысла в искусстве нет.

\*[URL:http://afranius.livejournal.com/157418.html?thread=16879594#t16879594](http://afranius.livejournal.com/157418.html?thread=16879594#t16879594)

---

#### *Четвертая версия того же загадочного сюжета*

Предыдущая статья осталась от предыдущего издания сборника, но я решил ее не убирать – во-первых потому, что мне и сейчас нравится третья версия, во-вторых, для того, чтобы показать, насколько важно скорейшее появление научных материалов в широком доступе – мысль и интуиция требуют пищи и постоянного притока свежего воздуха.

В конце 2013 года вышел сборник материалов Шаламовской конференции, состоявшейся за два с половиной года до того – два с половиной года понадобилось, чтобы сделать эти материалы хоть в какой-то мере доступными, хотя интернет позволяет обнародовать их немедленно. Сборник содержит выступление председателя правления Международного Мемориала Арсения Рогинского, посвященное проблеме свидетельства в «Колымских рассказах» и, в частности, фактической стороне дела в рассказе «Почерк» – именно это выступление и имела в

виду Елена Михайлик в своем сетевом диалоге с Еськовым в октябре 2011 года. Сведения по истории северо-восточных лагерей, которые приводит Рогинский, не оставляют сомнений, что рассказ Шаламова строго документален. Впрочем, и сам Рогинский с коллегами-историками до обнаружения экстраординарной директивы Ежова от августа 1937-го считали описанное в «Почерке» невозможным, так что мои прошлые сомнения совершенно оправданы.

Одновременно в Сети появилось прежде практически недоступное «Краткое жизнеописание Варлама Шаламова, составленное им самим» из парижского сборника «Воскрешение лиственницы» тридцатилетней давности. Здесь Шаламов даже называет фамилию следователя, порвавшего у него на глазах его дело – Скановский. С августа 1937 по конец 1938-го Шаламов работал забойщиком на прииске «Партизан», стало быть, там это и произошло (порвать папку, точнее, «фитюльку из трех-четырех бумажек», с делом заключенного, как следует из доклада Рогинского, можно было только в этот период), и старшим следователем прииска был, надо полагать, этот Скановский – слова Шаламова должны подтвердить довоенные архивы НКВД по Колымскому краю. Правда, Шаламов ни словом не упоминает об обстоятельствах, при которых было уничтожено его дело, и ничто не говорит, что это обстоятельства рассказа «Почерк», действующее лицо которого все-таки не Шаламов, а Крист.

Тем не менее, в сумме все это убеждает, что в создании «Почерка» воображение почти не участвовало – писатель взял факт из жизни и добросовестно перенес на бумагу.

Парадоксально, однако, что, развеяв сомнения одного рода, изложенное Рогинским и сообщенное Шаламовым порождает сомнения куда более основательные, а с ними и четвертую версию загадочного сюжета. Поделюсь ими после отрывка из доклада Рогинского, где внятно расставляются все точки над ё:

«Я – читатель Шаламова, по крайней мере, с 1970-х, а может быть, и с конца 1960-х. Как и все, или, по крайней мере, как очень многие, я начинал с восприятия Колымских рассказов как свидетельств, потрясающих свидетельств, вызывающих абсолютное доверие. Иногда все-таки мне казалось: «Ну нет, это слишком, этого не может быть!». Вот, например, рассказ «Почерк». Это рассказ о человеке, который переписывал расстрельные списки. Меня там поразили два момента. Первый: Шаламов описывает, как по ночам по бараку бегали нарядчики, будили заключенных по каким-то спискам и уводили «на этап». А из кон-

текста ясно, что на расстрел. Но ведь так не бывает! Мы же знаем, что не могут из барака человека взять просто так на расстрел, такого не может быть. Человека сначала ведут во внутрилагерную тюрьму, в штрафной изолятор или БУР, там проводят следствие, допрашивают, потом он получает приговор, после этого уже расстреливают. Но чтобы взяли из жилого барака прямо на расстрел – нет, такого не бывает; я это твердо понимал. И второй момент. Герой рассказа, следовательно, берет и рвет дело. Такого тоже не может быть! Дело учтено в стольких журналах, в стольких местах, что уничтожить дело – это покончить с собой. Если это обнаружится, такой следователь обречен: его сразу же арестуют.

И так я думал до тех пор, пока мы не обнаружили – в 1990-е уже годы – так называемую директиву Ежова № 409 от 5 августа 1937 года по проведению лимитных операций в лагерях. То есть по лагерной составляющей той массовой операции, которая в это время разворачивалась на воле. Она по тем же самым признакам проходила в лагерях. Расстрелу – а в лагерях иной санкции не было, лагерная операция была стопроцентно расстрельная – подлежали заключенные, которые якобы продолжали в лагерях «антисоветскую подрывную работу». На каждый лагерь выдавались лимиты. 3-й отдел лагеря (это оперчекотдел) распределял эти лимиты по лаготделениям и лагпунктам. Что же происходило далее? Для того, чтобы тройка осудила заключенного, повторный арест его в лагере был не нужен. И никакие допросы были не нужны. Бралось его лагерное оперативное дело, т.е. дело по наблюдению за ним – там и какие-то его характеристики, составленные оперативниками, и всякие доносы-донесения, – и на основании этого дела начальник оперчасти (вернее, сначала рядовой оперативник) писал заключение. После чего это заключение лагерного оперативника, иногда вместе с копиями каких-то доносов-«доказательств», скреплялось и отсылалось вместе с другими на тройку. Для всех лагерей это были тройки региональные — областные и краевые; в единственном лагере страны, а именно на Колыме, в Севвостлаге, где сидел Шаламов, была организована специальная тройка. Причина простая: чтоб не гонять дела с Колымы в Хабаровск. Далеко. Потом от тройки – официально она называлась тройка при Управлении НКВД по Дальстрою – приходило, иногда просто по телефону, подтверждение, что все эти люди приговорены к расстрелу.

Тем временем люди работали, они ничего не знали, все происходило за их спиной. Выходили на работу, лежали в больнице... А потом однажды их выводили прямо из жилых бараков. Говорили, что на этап. А вели на расстрел. То есть то, что я считал невозможным, оказалось

возможным – один-единственный раз в ГУЛАГовской истории, именно тогда, вот в этот кусочек 1937-1938-го гг. То есть сомнения мои насчет этого момента у Шаламова – зряшные!

И второе. Лагерному оперу, начальнику оперчасти этого гулаговского островка приходила только цифра: вы должны выдать столько-то человек – 30-50-70... Список людей, кого туда отобрать, зависел исключительно от него и его подчиненных, больше ни от кого, никем не проверялся и никем не контролировался. Вот в этой 409-й директиве очень точно написано: начальники третьих отделов на основании имеющихся материалов оперучета составляют на каждого подлежащего репрессированию подробную справку, дальше справки подписываются начальником третьего отдела, начальником лагеря и направляются на решение тройки. Понимаете? Это не обычное дело. Обычные дела бывают, как вы знаете, трех видов: следственное дело, личное дело заключенного и оперативное дело по наблюдению за заключенным в лагере. И эти дела везде учитывались. А это не первое, не второе и не третье. Это совсем другое, этакая фитюлька из трех-четырёх бумажек, которые начальник оперчасти и вправду мог спокойно порвать, увидев знакомую фамилию, на том основании, что младший опер ему не того вставил. Шаламов, конечно, не знал, не мог знать, что если рвали дело, если кого-то вычеркивали, то обязательно брали на это место кого-то другого. Цифры-то должны были быть исполнены. Но, так или иначе, и этот сюжет – с порванным делом и спасенным от расстрела человеком – и он оказался правдивым».

Итак, фабула «Почерка» вполне достоверна, Шаламов писал с натуры. Однако, в ходе чтения и обдумывания вычитанного у Рогинского и Шаламова у меня возникли еще более фундаментальные сомнения следующего порядка. Оперчасть – святая святых лагеря, а составление расстрельных списков – величайшее и, разумеется, совершенно секретное таинство этого культа смерти. Насколько правдоподобно, что в святая святых не только допущен, но и приобщен к главному священнодействию – пусть в качестве писаря – враг из врагов сталинского режима, заключенный-троцкист, для которого, по словам Шаламова, достаточно отогнуть загнутый край переписываемого листка, чтобы «проникнуть в тайну этого кабинета»? Что это означает реально? Реально это означает, что перед глазами заключенного-троцкиста, объекта неусыпно-параноидальной бдительности лагерной политической полиции – списки его подлежащих скорейшему уничтожению солдагнерников, тоже троцкистов, среди них могут быть его друзья, близкие,

товарищи по подпольной организации, а он не сексот, не осведомитель, случайный человек, доверять которому со стороны следователя – детское легкомыслие, профессиональным убийцам вообще-то чуждое. Что может помешать писарю известить о надвигающейся гибели любую из жертв, и кто может предсказать поведение жертвы, рассудок и душевные силы которой не парализованы внезапным грубым пробуждением среди ночи? Под таким углом зрения вся фабула «Почерка» кажется несколько фантастичной. Если так, что же в ее основе? Безотрадная действительность лагерей должна была буквально плодить легенды о чудесном спасении. Сейчас я склоняюсь к мысли, что перед нами лагерная легенда о чудесном спасении, которую Шаламов мастерски переработал в псевдодокументальный рассказ. Спасителен не почерк Криста – спасительно чудо, надежда на которое не покидает обреченного до конца.

Вот пересказ этой легенды простым языком.

– У одного заключенного-литерника был прекрасный, каллиграфический почерк. Старший опер взял его переписывать дела, в том числе составлявшиеся им по заявке сверху списки подлежащих расстрелу. Однажды он увидел, что по бумагам его писарь должен быть внесен в этот список. Но следователь не захотел терять отличного писаря и спас его, заменив в списке другим. Да, на соседнем прииске дело было, на «Партизане», мне один тамошний забойщик рассказывал.

– Надо же, повезло! А говорят, чудес не бывает...

---

### ***«Инжектор», ареал распространения***

Тоже к вопросу о документальности «Колымских рассказов».

Михаил Михеев, работающий с дневниками драматурга Александра Гладкова, обнаружил в его архиве весьма любопытную запись. Привожу ее вместе с текстом «колымской» миниатюры Шаламова «Инжектор», которую литературоведы Альштуллер и Дрыжакова в своей статье «Мученик колымского ада», 1985, напрямую называют «документальным материалом». В 1960 году, когда сделана запись Гладкова,



они с Шаламовым были не знакомы и в самиздате КР еще не ходили. Заключение Гладков отбывал в Архангельской области.

-----

### **Александр Гладков**

Ф. 2590 оп. 1, е.х. 60. Из попутных записей\*

(36) Один начальник при посещении кухни санчасти записал в книге замечаний: «Антисанитарное состояние хорошее». Он же на рапорте бригадира слесарей: «Инжектор отказывается работать. Механик, которому я докладывал, не предпринимает никаких мер»... наложил резолюцию: «Инжектору объявить выговор в приказе»... Он был майором, говорил заключенным «ты», натянуто шутил с простым людом и демонстративно грубил интеллигентам. Узнав, что я писатель, возненавидел меня и искал случая придраться, но на счастье получил повышение и уехал в другой лагерь...

\*

### **Варлам Шаламов**

#### **Инжектор**

{Начальнику прииска тов. А. С. Королеву}  
от начальника участка «Золотой ключ» {Кудинова Л. В.}

#### **РАПОРТ**

Согласно Вашему распоряжению о предоставлении объяснений по поводу шестичасового простоя 4 бригады з/к з/к, имевшего место 12 ноября с. г. на участке «Золотой ключ» вверенного Вам прииска, доношу:

Температура воздуха утром была свыше пятидесяти градусов. Наш градусник сломан дежурным надзирателем, о чем я докладывал вам. Однако определить температуру было можно, потому что плевок замерзал на лету.

Бригада была выведена своевременно, но к работе приступить не могла из-за того, что у бойлера, которым обслуживается наш участок и разогревается мерзлый грунт, вовсе отказался работать инжектор. О плохой работе инжектора я неоднократно ставил в известность главного инженера, но мер никаких не принимается, и инжектор во все разболтался. Заменять его в данное время главный инженер не хочет.

Плохая работа инжектора вызвала неподготовленность грунта, и бригаду пришлось держать несколько часов без работы. Греться у нас негде, а костров раскладывать не разрешают. Отправить же бригаду обратно в барак не разрешает конвой.

Я уже всюду, куда только можно, писал, что с таким инжектором я работать больше не могу. Он уже пять дней работал безобразно, а ведь от него зависит выполнение плана всего участка. Мы не можем с ним справиться, а главный инженер не обращает внимания, а только требует кубики.

К сему начальник участка «Золотой ключ» горный инженер  
{Л. Кудинов.}

Наискось рапорта четким почерком выписано:

1) За отказ от работы в течение пяти дней, вызвавший срыв производства и простои на участке, з/к Инжектора арестовать на трое суток без выхода на работу, водворив его в роту усиленного режима. Дело передать в следственные органы для привлечения з/к Инжектора к законной ответственности.

2) Главному инженеру Гореву ставлю на вид отсутствие дисциплины на производстве. Предлагаю заменить з/к Инжектора вольнонаемным.

Начальник прииска  
{Александр Королев.}

1956

-----

*\* Примечание Михеева: «1960-70 гг., 220 л. – это уже литературно обработанные дневниковые записи, что-то вроде афоризмов или «записок на манжетах»*

Совершенно ясно, что перед нами «блуждающий» лагерный сюжет, искусно поданный Шаламовым как документальное свидетельство.

«Апогеем создания видимостей можно считать небольшой рассказ В.Т. Шаламова «Инжектор», в котором цитируется объяснение начальником смены пятидневного простоя в связи с неисправным инжектором, который не работает на пятидесятиградусном морозе. В ответ на объяснительную записку начальник лагеря постановляет отстранить от работ осужденного Инжектора, арестовать и начать расследование по факту срыва работ... Поручик Кижэ шагнул в XX век...», – пишет культуролог Наталья Тищенко. Можно добавить, что этот советский подвиг подпоручика (так правильно) Кижэ – не колымский эндемик, ареал его распространения весьма обширен.

---

### ***«Колымские рассказы» как изнанка «Архипелага ГУЛАГ»***

Мне только недавно пришло в голову, что ведь у Шаламова была куча знакомых, сидевших по всем лагерям Союза. Грозденский, Авербах, супруги Грин сидели в лагерях Воркуты. Домбровский – в Сибири в районе Тайшета, Федот Сучков – в Красноярском крае, Виктор Боков – в Кемеровской области. Александр Гладков и Елезар Мелетинский – в Архангельской. Олег Волков – ну, пожалуй, везде, кроме Колымы. Лихачев – на Соловках (первый срок Шаламов отбывал на Вишере, это отделение СЛОНа, но на Северном Урале). Наталья Столярова – не то в Воркуте, не то в Средней Азии. Иосиф Амосин – в Коми. Леонид Пинский – в Поволжье. Аркадий Белинков – в Казахстане. Сергей Снегов – в Норильске. Первая жена, Галина Гудзь, обреталась в ссылке в Туркмении. И т.д. Всех я не знаю.

И вот удивительно – нигде у Шаламова нет рассказов этих людей о лагерях Воркуты, Сибири, Поволжья, Средней Азии, Норильска, Русского Севера. Только Вишера и Колыма, только свой личный опыт и опыт людей, знакомых по этим местам. Никакой попытки нарисовать общую картину советского концентрационного мира. Наоборот, такое ощущение, что все лагеря Союза уместились на Вишере и на Колыме, и сама Вишера – это только начальный этап Колымы, куда она переме-

стилась по возмужанию вместе с Берзиным. Никакой солженицынской истории с географией. Необитаемый остров, отделенный от «материка» непроходимым пространством. За пределами острова ничего нет. Какой-то «Робинзон Крузо». Кораблекрушение, спасение, выживание. Впечатление, что это намеренное, демонстративное отталкивание от проекта, подобного «Архипелагу ГУЛАГ». «История своей души – не более». Солженицын ворочает эпохами и частями света, а Шаламов обживает какую-то безжизненную вневременную точку на карте, куда их с товарищами привезли умирать и вот они умирают и все никак не умрут. У Солженицына – мир по Ньютону, а у Шаламова – мир по Эйнштейну, где какая-нибудь «черная дыра» забрала пространство и время целой галактики. Это мир не физической реальности, а мифа, где все реальные пропорции искажены до неузнаваемости, где из бытий реальности рождаются архетипы. Не нужно никакой Воркуты и никакого Норильска, потому что все это уже дурное повторение сияющего самодостаточного колымского эйдоса, формы форм. Пройти Колыму означает побывать в преисподней, которая вне пространства и времени. Но если она вне пространства и времени, то где же она? В измерении, где обитают души отверженных. В измерении души. Поэтому Шаламов пишет не «историю лагерей», история лагерей – область историографии, а «историю своей души – не более». Поэт пишет историю своей души, не более, а душа сомасштабна Творцу, изваявшему Вселенную, и бессмертна. Поэт создает поэзию, нечто бессмертное.

---

### ***Неопровержимость литературы***

В последнем номере журнала «НЛО» напечатана статья философа Валерия Подороги «Дерево мертвых. Варлам Шаламов и время ГУЛАГа» [http://www.nlobooks.ru/node/3380#\\_ftn1](http://www.nlobooks.ru/node/3380#_ftn1). Хороша форма статьи – обширные комментарии к обширным же, на страницы, цитатам из рассказов Шаламова. Хорошая, интересная статья, есть над чем подумать. В корне не согласен с автором.

Дело в том, что свидетельство, центральный пункт его рассуждений, а именно свидетельство о ГУЛАГе как о чем-то исключительном, вообще не нуждается в литературе. Меньше всего оно нуждается в литературе. Меньше всего свидетель должен быть литератором. Чем больше он литератор, тем менее достоверно его свидетельство с точки зрения утвержденных человеческим опытом приемов верификации. Свидетельство нуждается в технических средствах и юридических процедурах. Простейшее техническое средство – глаз или ухо. Более совершенное – микроскоп или наушники, подсоединенные к чувствительному подслушивающему устройству. Еще более изощренное – язык прикладных научных дисциплин, вроде баллистики. Ничего общего с литературным он не имеет и не может иметь, как и язык юридических процедур. Подорога пишет: «Стать свидетелем – вот к чему должен стремиться бывший узник ГУЛАГа. Поэтому литературный опыт В.Ш. следует рассматривать с точки зрения документа и абсолютного свидетельства». Рассматривать художественную прозу с точки зрения документа – гиблый путь. На этот путь толкает сам Шаламов, долбя, как дятел: документ, документ, – но не считая нужным – или не имея возможности – определить свою словесность более внятно, чем «не проза документа, а проза, выстраданная как документ».

Что это, собственно говоря, значит? Само понятие «проза» автоматически отсылает к литературе – нигде иначе как в литературе это слово неприменимо. Любая проза – это «литература», против которой парадоксальным образом восстает Шаламов. Почему он употребляет слово «литература» – совершенно неясно. Для таких случаев есть общепринятое понятие «литературщины». Литература – это в первую очередь набор технических приемов, которые используются для достижения определенного эффекта, в идеале художественного. Литературщина тоже пользуется этими приемами, но неуклюже или мошеннически. Поэтому она и литературщина. Шаламов сбивает с толку своим употреблением слов, вкладывая в них какие-то неконвенциональные значения без внятного истолкования. «Проза, выстраданная как документ» – это набор слов либо поэтический троп. «Проза» – это «литература» по определению, отбор и расстановка слов с целью добиться художественного эффекта. «Выстраданный» – это болезненно, мучительно пережитый, причем не обязательно физически, выстраданными могут быть чувство и даже убеждения. «Как документ» означает в качестве чего-то, чья аутентичность подтверждена объективно, со стороны и профессионально. Страдание, степень выстраданности далеко не всегда можно подтвердить со стороны и профессионально, человек – актер по природе, а мир – театр. Выстраданность, отлитая в

литературную форму, донесенная посредством технических приемов, используемых профессиональным писателем, не имеет уже почти никакого отношения к аутентичности страдания или документа.

Шаламов взвалил на себя две ноши, унести которые за раз невозможно. Невозможно писать одновременно «историю лагерей» и «летопись своей души». Результатом будет «проза, выстраданная как документ» или просто проза, выстраданная всем существом. Совершенно не обязательно для этого быть узником Колымы или Аушвица. Достаточно быть просто тонко организованным существом с писательскими способностями, или, скорее, талантом, или, скорее, гением. Достаточно гениальности. Кафка не был в «колонии осужденных» и не подпал под «процесс». Платонов не расстреливал автохтонное население Чевенгура и не копал «котлован». Но проза их была выстрадана всем существом и как таковая создана посредством абсолютно нетривиальной, полностью отвечающей поставленной задаче техники, набору литературных приемов.

Подорога всецело сосредоточен на содержании «Колымских рассказов», игнорируя всякую их художественность. Между тем, главное в них – именно художественность, эстетика. Если это и свидетельство о ГУЛАГе, то свидетельство поэта, в полной мере наделенного как даром слова, так и даром поэтического воображения. Сказать, как Подорога, что «в Колымских рассказах» нет ничего собственно литературного – это сказать (или повторить за Шаламовым) чистую бессмыслицу. Ничего собственно литературного нет в сообщении о том, что бульдозер выкопал яму и свалил туда бесхозные трупы. Это может быть свидетельством очевидца, но не будет иметь никакого отношения к «Колымским рассказам», где новелла «По лендлизу», строго говоря, никаким свидетельством не является, ибо даже не названо место действия, и эти «тысячи трупов», учитывая, что за весь 1938 год на Колыме умерло немногим более десяти тысяч человек, очень сомнительны – все жертвы Колымы 1938 года уместились бы в таком случае в трех-четырёх подобных захоронениях. Если описанное и происходило, то в своем свидетельстве Шаламов назвал цифру большую действительной на порядок, а то и на два. Но это совершенно неважно, поскольку именно рассказ «По лендлизу», литература самой высокой пробы, и воплощает ГУЛАГ в его бесчеловечности, разобщенности, преступности, безысходности и тем культурно осваивает, то есть делает достоянием человечества, которое его допустило.

Шаламова нельзя упрекать в том, что он не исполнил «задачи прямого отображения гулаговского мироустройства», он ее перед собой и не ставил. Он «летописец собственной души», познавшей ГУЛАГ и

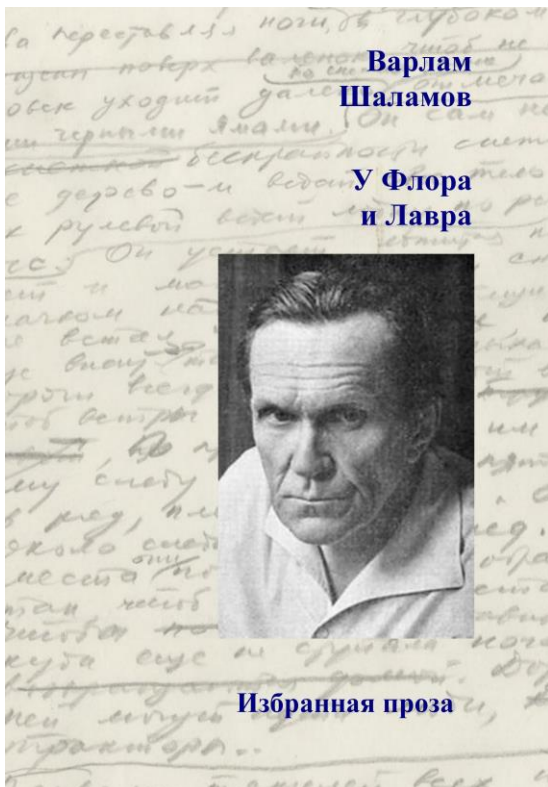
отобразившей метаморфозы ее собственного устройства в условиях лагерей, нам не нужно видеть ГУЛАГ, если мы видим душу, пребывающую в ГУЛАГе, ничего большего зрелище ГУЛАГа не даст. Только в этом смысле «каждый мой рассказ – абсолютная достоверность, достоверность документа». Только в этом смысле «любой факт в «Колымских рассказах» неопровержим». Гений действительно неопровержим, потому что форма, в которую отлит труд гения, делает его уязвимым только для явлений того же рода, труд гения может быть опровергнут только трудом другого гения, но к проблеме документа и свидетельства это отношения не имеет. Достоверность труда гения – величина постоянная. Достоверность «Колымских рассказов» – в их литературности, ни больше, ни меньше. А назвать эту словесность можно «новой прозой», «прозой, выстраданной как документ», литературой документа и вообще как угодно.

*«Нет литературного произведения, которое бы рождалось без формы. Какие бы мотивы ни лежали в основе толчка к творчеству – без формы произведение не рождается. Это бесспорный факт, по которому, конечно, нельзя судить о приоритете именно формы. Сам выбор формы может говорить о содержании. Но выбор, отбор, контроль – это уже вторичная стадия дела, а в основе у всякого художника ясный поиск чистой формы. Неопределенное чувство ищет выхода в стихи, в размер, в ритм или в рассказ. Дело художника – именно форма, ибо в остальном читатель, да и сам художник может обратиться к экономисту, к историку, к философу...»*

*В. Шаламов*

---

**Составленный мной сборник избранной прозы Шаламова**



**Варлам Шаламов**  
**«У Флора и Лавра. Избранная проза»**

*Сборник рассказов, очерков и эссе; письма – 361 стр.*  
*Составитель Дмитрий Нич*  
*Личное электронное издание, 2013*

Ниже мое вводное слово



«Читатели обычно не считаются с волей автора и правильно делают. Автор слишком близок к своему детищу, кроме того, время испытывает вещи на прочность или, вернее, на универсальность, пренебрегая критериями оценки, актуальными для автора и его современников. Я решил составить для себя «Избранное» Шаламова принимая во внимание единственный и важнейший параметр: без каких его произведений русская литература понесла бы невосполнимый урон. Пусть эту дерзость обзовут вкусовщиной, меня это не смущает, я не сторонник принципа «один человек – один голос», по крайней мере, в области изящной словесности. Уверенность мне придают развитый вкус, прекрасное знание шаламовской прозы и преклонение перед его личностью.

Писатель имеет неотъемлемое право на представленность в полном виде, но такое же неотъемлемое право на отбор из представленного имеет читатель.

Моя задача – разрушить отталкивающее клише о Шаламове как об авторе «лагерной прозы». По его собственным словам, он пишет о лагере не больше, чем Герман Мелвилл о море. Моря у Мелвилла много, охота за Белым Китом происходит в море, без моря здесь не обойтись, но написана книга не ради моря. Море – материал, из которого складывается рассказ о людях в исключительных обстоятельствах, шекспировская трагедия. Проза Шаламова написана не ради лагеря, лагерь навязан ему как материал, бесчеловечность и низость которого делает искусство бессильным. Лагерь навязан поэзии как ее предел.

С Шаламовым поэзия проходит великое испытание – испытание огромной областью жизни, которую она, по здравом размышлении, не в силах освоить, не в силах преобразить. Шаламов доказывает, что поэзия всемогуща. Из материала концлагерей его гений творит собственную «Божественную комедию», ни в величии, ни в звучании не уступающую поэме великого итальянца.

Части шаламовского творения неравноценны, это две с лишним сотни рассказов и очерков, несколько полновесных томов. Даже благожелательно настроенный читатель не будет читать их подряд и во всем объеме. Аргументы филологов, что «Колымские рассказы» представляют собой единое и особым образом выстроенное целое, которое нужно осваивать именно как целое и в порядке, предусмотренном автором, как правило, не работают – обычный, даже искушенный, читатель не интересуется интертекстуальностью и проблемами циклизации. Моя задача – облегчить этому читателю знакомство с Шаламовым, собрав под одной обложкой лучшее и при том вне зависимости от жанра, тематики, времени написания и т.д. Традиционные новеллы и очерки дополнены здесь частными письмами и даже комментарием к стихотворению – блестящим текстом, по жанровому признаку лишенным права быть представленным в корпусе шаламовской прозы. Словом, лучшее.

Читатель увидит совершенно другого Шаламова, нежели безыскусного угрюмого свидетеля и летописца лагерных ужасов, это порождение пошлого ума рецензентов. Он увидит стилиста, не уступающего Бунину и Набокову, поэта, в совершенстве владеющего языком для передачи тончайших оттенков смысла и величия мира во всем многообразии его обстоятельств, красок и форм, открывающихся даже взгляду лагерного раба, если этот раб – гений. Он увидит совершенство формы, в которой донесен опыт мученика – это совершенство и есть единственно возможное во вселенной концлагерей «преодоление зла» – не победа добра над злом, а победа творческой мощи над материалом, смертоносным для поэзии и поэта.

Искусство не учит и не свидетельствует. Искусство господствует».

Скачать книгу в форматах PDF, RTF и HTML можно в профиле блога «Варлам Шаламов и концентрационный мир»

<http://ru-prichal-ada.livejournal.com/profile>



*Михаил Поздняев*

### **Стихи о расслабленном**

И вспомнил Варлама Шаламова я,  
как враскачку он шел по Тверской,  
руки за спину круто заламывая,  
макинтош то и дело запахивая  
и авоськой плетеной размахивая  
с замороженной насмерть треской.

С той поры, как впервой предо мною возник  
сей Летучий Голландец в людской толчее,  
с боку на бок со скрипом кренясь,  
почему-то все время являлся он мне  
в тот же час и на месте одном,  
где стоят Моссовет и на мерине князь  
и табачный ларек на углу.

Что я видел: колеблемый ветром тростник  
иль сошедшую с места скалу?

Это после уже, по прошествии лет,  
он прошел – и приятель спросил:  
«Знаешь – кто?» – и я долго смотрел ему вслед,  
как он шел по Тверской и мотал головой,  
точно лошадь по шею в траве луговой  
на исходе немислимых сил.

На винтах, на шарнирах, на слове честном,  
на пределе, на грани сознания и тьмы –  
и мычит, и клекочет орлом, и хрустит,  
и хрустит, как кустарник в костре...

Что я видел, скажите? Что видели мы?  
Воскрешение Лазаря? Дантову тень?

Что нам явлено было? Бог весть.

Но теперь – стоит мне перед сном произнестъ:  
«Се ми гроб предложит, се ми смерть предстоит» –  
говорю и, не вем, отчего,  
вижу снова тот солнечный день – и его.

И – о ужас кромешный. О стыд.

1989

*Валерий Петроченков*

**Памяти Варлама Шаламова**

Март пророчит суровые иды,  
Колобродит метель под стрехой.  
Каково вам в саду, Геспериды,  
Этой мартовской ночью глухой?

Неужели вам слышатся трели  
Соловья и раскатистый гром?  
Это ж надо дожить до апреля  
И плоды раздарить сентябрем.

Пала Греция. В парус Язона  
Закатай золотое руно.  
Жизнь – бескрайняя римская зона,  
И другого, увы, не дано.

2001

*Герман (Грейнем) Ратгауз*

### **Варлам Шаламов**

Ты из каких былин, каких пословиц?  
Зачем так зорко смотришь на меня,  
Ворчун угрюмый, древний беспоповец,  
В железном свете меркнувшего дня?  
Жизнь не была тебе,  
как сладкий пряник.  
Изгой на тёмном жизненном пиру,  
Что ты узнал? морошку,  
скудный стланник  
И тайну кедров в траурном бору.  
Ты не изведал никакой поблажки,  
Твой тёмный быт представить не могу.  
Ты был раздет до нитки, до рубашки.  
Обмят блатными в мерзостной шарашке,  
Стал фельдшером, лечил свою цингу.  
С улыбкой смотришь на юнца-еврея,  
Чьи пальцы не просохли от чернил,  
Достойнейший наследник иерея,  
Что чёрной сотней ненавидим был.  
Безвинной кровью кончилась эпоха,  
А ты – оглохший, хворый –  
как ты прав.  
«Живём не для девического вздоха», –  
Промолвил твой любимый Владислав.

1997

*Виталий Амурский*

Листая Шаламова, будто эпохи-шалавы  
Коснулся, и в рельсу удары бездушно-пустые  
Явившись, как бубны небесных шаманов,  
В морозе колымском над сопками скорбно застыли.  
Хрустящим ледком обожгла онемевшие пальцы бумага,  
А мутное солнце сподобилось штампу Лубянки,  
И мерно, под шаг часового, гул ада ГУЛага  
Донесся по-дантовски нашим «Прощаньем славянки».

2008

*Геннадий Айги*

## **СТЕПЕНЬ: ОСТОИКИ**

Варламу Шаламову

Вы сами уже посещаемы чем-то похожим на зарево:

и образ возможно  
для всех состоялся:

от всех независимый:

не пламя ли это незримое нищенства  
в ветре бесшумном:

недолгого облика? –

или возможность опасного е с т ь:

в освещаемых лицах –

как будто  
раскрытия ждущих:

как что-то хранящие? –

или – не-явным накалом (как будто уставившись  
зрением неким болезни неспешной):

всюду – невидимо – всех озаряющее:

о н о окончательное  
Слова-Огня:

давно охватившее  
даже места уже наших предчувствий и мыслей? –



оно ли везде словно в ветре бесшумном:

без вести без духа:

само занялось?

1967

*Владимир Герцик*

В западне заводной мелодрамы  
И в прогибе дурных скоростей  
Только бритвенный ангел Шаламов  
Знает гиблую цену людей.

Обернись, на бегу пропадая,  
Полузверь оголенной души.  
На скале теплота золотая  
Перепрячет осевшую жизнь.

И вжимая хрипящие пальцы  
В ту тупую, отвесную тьму,  
Натянуться, вдохнуть и взорваться  
Из судьбы – в меловую трубу.

А в стране победившего гноя  
Тихо чавкает красная топь,  
И в норе, нарядившись собою,  
Я седлаю свое помело.

1980-е годы

*Юрий Айхенвальд*

Памяти Варлама Шаламова

Черный снег на фоне белом.  
Белом,  
словно омертвелом, –  
вот колымская судьба.  
Вот такое  
поле боя  
алкашу – для водопоя,  
а Шемяке – для суда.  
Лица черные.  
Землею  
обоженных.  
Золою  
ставшие.  
Экклезиаст  
говорил про вещи эти:  
– Почернеет все на свете.  
Волк не выдаст –  
Вошь продаст.  
Не хотите – не ходите.  
Голубым богам кадите.  
Ждите  
милостей в ответ,  
Что в основе негатива?  
Люди жили?  
Эко диво!  
Век в колымских перспективах  
пишет свой автопортрет.

1985

*Евгения Изварина*

Памяти Варлама Шаламова

Пили копоть и ветер.  
Ели глину и мох.  
При посмертном сюжете  
не присутствовал Бог.

Видно, не достигала  
длань Твоя, Саваоф,  
трупных рвов вдоль канала,  
ледяных островов...

Из лазури и сини  
вряд ли кто-то смотрел  
в тупичок, где и ныне  
кровью плещет расстрел.

Из зари и восторга  
вряд ли кто-то сходил  
в гной тюремного морга  
с мирром горних кадил.

Но в купели светила,  
в царственных облаках  
что-то... происходило –  
когда мы в рудниках

без дыханья,  
без взгляда,  
пузырями земли –  
горизонтами ада  
к жерлу Истины шли.

Из сборника избранного, 1989-2007

*Михаил Немцев*

(памяти Варлама Шаламова)

Я выбрал дом, я выбрал дом, чтоб тихо умереть,  
Я выбрал дом, чтоб умереть без слёз.  
Сам себе построил гроб, из сосен и берёз  
я выбрал дерево одно, чтоб переждать мороз.  
На острова уходит зверь, чтоб тихо умереть.  
Эвенк уходит по реке, туда, где дед и брат.  
И не тревожит дальний путь того, кто пережил  
И всех родных, и всех чужих, и сам тому не рад.  
Я выбрал дом перед зимой, я не люблю зимы.  
Уже и баню не стопить, и не прогреться мне.  
Но печь шумит... Я дверь закрыл, и кончены труды.  
Я выбрал дом, я дверь закрыл, прощай, родной мой ад.

2009



**Варлам Шаламов в свидетельствах современников. Сборник.**

Личное издание. Издание пятое, дополненное, 2011, 2012, 2013, 2014. – 1186 с. PDF

Составление, корректура, предисловие, примечания, авторские статьи  
Дмитрия Нича

Оформление Игоря Генина

В оформлении и статьях сборника помимо оригинальных использованы фотографии авторов мемуаров, страниц журналов и книг, найденные в Сети, а также портрет Шаламова работы сербского художника Зарко Дринчича.